КНИГА БЫТИЯ

С. Снегов

КНИГА БЫТИЯ

С. Снегов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.

- Сергей Снегов
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
  - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
    - ГЛАВА ПЕРВАЯ
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4

- 5
- 6
- 7
- 8

- ГЛАВА ВТОРАЯ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

○ ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

○ ЧАСТЬ ПЯТАЯ

-
- ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

        - 21
        - 22
    - ГЛАВА ВТОРАЯ
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
        - 6
        - 7
        - 8
        - 9
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119

- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163

- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172

- comments
  - 1

Сергей Снегов
Книга бытия

ПРЕДИСЛОВИЕ
«Я прожил жизней в этом мире две…»

Это было, наверное, лет шестнадцать назад.

В доме собралось человек десять — праздновали день рождения. Преобладали молодые женщины.

Во главе стола сидел хозяин — за-восьмидесятилетний, маститый. На его книгах выросло много людей, им восхищались и его не принимали, о его эрудиции рассказывали легенды. Все гостьи, конечно, были с ним неплохо знакомы — но приличествующий случаю пиетет читался почти на каждом лице.

Комната была сравнительно большой, но узкой — и человек, возглавлявший стол, был надёжно блокирован. Собственно, у него было только два способа покинуть своё место: либо выходить на балкон и лезть через кухонное окно, либо поднимать по очереди каждую женщину и пытаться протиснуться у неё за спиной. Первое, учитывая возраст, было рискованно, второе — долго и обременительно.

И надо же было так случиться, что зазвонил телефон! Звали, естественно, хозяина.

Все ещё только собирались подняться и дать ему дорогу, когда он опустился на четвереньки и пополз под столом. Гостьи оторопели. Через пару минут из-под стола показалась лысая голова, классик региональной литературы зацепился рукой за столешницу, встал, закатил глаза, сказал с придыханием (сильно подозреваю, что это был способ отдышаться): «Какие ножки!» — и взял телефонную трубку.

Я очень хорошо помню этот момент, потому что это был мой день рождения.

Трудно говорить о собственном отце — так и хочется отстраниться и остаться объективной (ну, хотя бы попытаться это сделать…) Но, наверное, отстранение — не лучший способ рассказать о человеке, тем более в предисловии к такой книге.

Папа до смерти оставался одесским босяком. У бабушки было пятеро детей — выжил он один. Иногда мне казалось, что вся жизненная сила, которая была отпущена на их долю, без остатка перешла к нему. Иначе просто невозможно объяснить, каким образом он выдержал то, что ему выпало.

Он родился очень давно — в начале XX века, в 1910-м. Сейчас очень немногие люди могут вспомнить то время — если они вообще остались, те, которые помнят. Может быть, именно поэтому он должен был написать эту книгу.

Папа был обязан рассказать о дореволюционной Одессе, о знаменитой босяцко-бандитской Молдаванке, о буйстве и безумии первых лет революции, о гражданской войне, о голоде начала двадцатых, когда на базарах продавали человечину, о том, как младенчески-наивные и всё-таки прекрасные надежды на то, что ещё чуть-чуть, вот-вот — и жизнь станет просто замечательной, сменились паранойей и манией преследования… Наверное, это было его долгом — иначе, только для себя, ему было бы трудно решиться на «Книгу бытия».

Мне кажется, папе можно и нужно верить — он всё это видел. И он очень старался быть объективным — до полной беспощадности к самому себе.

В той большой стране, о которой он рассказывал, жил маленький мальчишка — и судьба его тоже была необычной. Его исключили из гимназии — за хулиганство, до четырнадцати лет он шлялся по улицам, а затем, словно спохватившись, вернулся в школу, чтобы, проучившись в ней чуть больше трёх лет, выкрасть документы и поступить в университет.

Мальчишка повзрослел, но остался мальчишкой — рутина ему была скучна. Студент-третьекурсник физического факультета стал доцентом — он преподавал философию. Но этот доцент не умел врать — и, естественно, в его лекциях очень скоро были обнаружены отступления от догм марксизма-ленинизма. Не нужно объяснять, что это тогда означало.

Жизнь рухнула — и он продолжал жить. Он любил женщин — и они отвечали ему взаимностью, слепо верил друзьям — и они его предавали (нет, конечно далеко не все и не всегда — и всё-таки…), был очень добр и сентиментален — и порой поступал жестоко и несправедливо. Он просто был человеком.

У него, неверующего (в этом неверии он старательно убеждал себя всю жизнь) не было иного способа исповедаться, кроме «Книги бытия».

Это была работа в стол — никто и представить не мог, что когда-нибудь это можно будет напечатать!

Первые двадцать шесть лет папиной жизни — здесь, в этой книге. Оставалось ещё пятьдесят восемь, с 1936-го по 1994-й. О них попробую рассказать я — но делать это придётся очень конспективно…

Год 1936-й. Готовился громкий процесс: три друга, дети видных и разных родителей (большевика, правого эсэра и меньшевика) объединились для того, чтобы уничтожить власть, которая дала им путёвку в жизнь. Один из арестованных признал все обвинения — и вскоре сошёл с ума и умер в пересыльной тюрьме. Судьба второго неизвестна. Третий — папа — остался

отказником. И, возможно, спас и себя, и остальных, потому что открытого процесса не получилось.

Год 1937-й. Приговор Высшей Военной Коллегии Верховного Суда СССР (прокурор — Вышинский, судья — Никитченко, будущий главный советский судья на Нюрнбергском процессе) гласил: десять лет лагерей. Папа отправился торной для того времени дорогой: Бутырка, Лефортово, Соловки, Норильск…

Конец 1940-х. Срок заключения истёк — остались ссылка и поражение в правах. В Норильске начали строить завод по производству тяжёлой воды, которая используется в качестве замедлителя нейтронов при ядерных реакциях, и папу назначили главным инженером. Но применять собирались термодиффузию, а не электролиз, и он отказался от должности, поскольку недостаточно разбирался в этом процессе. Это было спасением: завод так и не пошёл, и новый главный инженер покончил жизнь самоубийством.

Год 1951-й. Папа познакомился с нашей мамой. Она была «вольняшкой», приехала в Норильск по собственной воле. За связь со ссыльным её исключили из комсомола, выгнали с работы, выселили из общежития. В управлении НКВД пытались спасти от вражеских козней девичью идейную непорочность, маме предлагали отдельное жильё, которого офицеры ждали по нескольку лет, но она стояла насмерть!

Год 1952-й. В Норильске шла чистка. На Большой Земле готовилось «дело врачей». После него планировалось выселить из обеих столиц всех евреев — для них нужно было подготовить места в Заполярье. На ссыльных заводили новые дела, приговоры разнообразием не блистали: либо расстрел, либо высылка в лагеря на побережье Ледовитого океана и на острова в Белом море. Собственно, это была тоже казнь — только медленная. Папе определили Белое море. Узнав об этом, мама стала почти непреклонной: ей нужен официальный брак. Она хочет стать членом семьи врага народа! Тогда (даже в лагере!) ей будет легче пережить всё, что им уготовано. И папа сдался. На их свадьбе не было гостей, потому что он был уверен: он приготовил своей молодой (на семнадцать лет младше) жене не радость, а муки. Он фактически приговорил её к смерти.

Год 1953-й. В марте, через три с небольшим месяца после их одинокой свадьбы, умер Сталин.

К тому времени стало ясно, что из трёх дорог (философия, физика, литература), которые некогда открылись перед папой, осталась только писательская. Дело в том, что незадолго до этого одну из папиных научных работ, посвящённую производству тяжёлой воды, главный инженер Норильского металлургического

комбината Логинов увёз в Москву, и она попала на стол Мамулову, заместителю Берии, курировавшему ГУЛАГ. Интерес врага народа к запретной теме вызвал у бдительного Степана Соломоновича подозрение. Строительство завода сорвалось — явное вредительство! А тут ещё это исследование… Не иначе этот гад подыскивает способ передать секреты Советского Союза Трумэну!

Логинов, вернувшись в Норильск, вызвал папу, запер дверь кабинета и сказал: «Пей — сколько влезет, баб заводи — сколько посчастливится, но науку пока оставь. Пусть они о тебе забудут! Я сам скажу, когда можно будет вернуться…» И он сказал, только разрешение это запоздало. Потом, после освобождения, папу звали в Курчатовский институт, но всё уже было решено.

Год 1955-й. Реабилитация. Она шла негладко. Тем, кого судили «тройки», было попроще. Но решение Верховного Суда мог отменить только сам Верховный Суд, а там была очередь. Наконец папу вызвали в Москву получать чистые документы. Генерал КГБ сказал: «Сергей Александрович, я поздравляю вас! И хочу предложить написать заявление против вашего судьи Никитченко. Сейчас он живёт у себя на даче, под домашним арестом. Нам нужен повод, чтобы завести на него дело». Папа отказался. Он не хотел, чтобы главный советский судья на Нюрнбергском процессе был признан преступником. Генерал засмеялся. «Везёт этому Никитченко! — сказал он. — Сами понимаете: вы не первый, кому мы это предлагаем. Но Иона Тимофеевич выбирал себе хороших обвиняемых: все отказались — и объяснили это так же, как вы».

А дальше наступила мирная жизнь.

Прежняя папина профессия напомнила о себе только в 1972 году, когда он написал повесть «Прометей раскованный», посвящённую западным физикам — создателям атомной бомбы. Книга попала в руки Я. Зельдовичу. Он и Г. Флёров разыскали папу и предложили ему написать о советских учёных. Они добились в ЦК КПСС разрешения на открытие архивов и посещение закрытых институтов — и в 1979 году вышла книга «Творцы» («Прометей раскованный-2»). Однако третья её часть, в которой говорилось о создании и об испытании бомбы, была запрещена, рукопись конфисковали. Правда, называлось это уже по-другому, да и проделано было поделикатней.

Папа был в Москве, когда к нам домой явился молодой человек и объяснил маме: издательству срочно нужны дополнительные экземпляры и оригинал рукописи (требуется сверить кое-какие цифры и факты), а телефон в квартире уже несколько дней не работает. Единственное, что сумел сделать

Сергей Александрович, — это послать за ними его, редактора, по личным делам оказавшегося в Калининграде. Естественно, молодой человек был в курсе всех деталей и знал имена и отчества всех друзей и родственников…

Он не учёл только одного: всё-таки он имел дело со старым лагерным волком. Один экземпляр папа успел сдать в архив. Возможно, эта рукопись и сохранилась.

Не была напечатана и «Повесть об институте», в которой рассказывалось о получении советского плутония (Институт радия в Ленинграде).

Папа не хотел лгать — даже когда не мог сказать правду. Если можно было молчать, он молчал, когда молчать было нельзя — говорил. Честно. Его вызывали в обком и КГБ и предлагали подписать письма против Пастернака и Даниэля с Синявским — он отказался (да ещё на выступлении в КТИ в присутствии наблюдателя сказал, что мы все ещё будем гордиться, что жили в одно время с Борисом Леонидовичем!). После событий в Чехословакии нам домой позвонил заместитель начальника управления КГБ области — Комитету было поручено собрать отзывы интеллигенции, а мнения Снегова информаторам узнать не удалось… Не может ли Сергей Александрович лично, в порядке одолжения, сообщить, как он относится к вводу нашей армии в дружественную страну? Папа был краток: «Это — ошибка, за которую мы будем расплачиваться десятилетиями!». Его вежливо поблагодарили — а его и без того пухлое досье пополнилось очередной записью…

Я часто думаю: возможно, папу не трогали потому, что считали кем-то вроде городского юродивого (такие тоже были нужны).

К тому же в одной из первых его повестей — «Иди до конца» — был эпизод, когда герой слушает «Страсти по Матфею» Баха и размышляет о Христе (это сочувственное изображение было первым в советской литературе). Профессор Боннского университета Барбара Боде в своём ежегодном литературном обзоре заявила, что русские реабилитируют Христа. «Литературная Россия» ответила «подвалом» «Проверь оружие, боец!». Боде не смолчала — газета тоже: статью «Опекунша из ФРГ» предварял суровый эпиграф: «Если тебя хвалит враг, подумай, какую подлость ты сделал!»… Папа попал в «чёрные списки» — его перестали печатать.

Не от хорошей жизни он ушёл в фантастику — просто он по-прежнему не хотел лгать. Его первый фантастический роман «Люди как боги» отвергли подряд четыре издательства — по мнению рецензентов, в обществе будущего, нарисованном

Снеговым, ощущалась явная нехватка коммунистической идеологии и упорно тянуло тлетворным духом Запада… Кстати, много позже, когда «Люди как боги» всё же увидели свет и книгой заинтересовались в США, во Всесоюзном агентстве авторских прав запретили её перевод на английский язык. Объяснение было прежним: это произведение нетипично для советской литературы и не отражает её высокого идейного уровня… И всё же именно фантастика, переведённая на восемь языков, принесла папе известность (из суммарного тиража его книг — около 2 млн экземпляров — 1,3 млн приходятся именно на неё). А после выхода романа «Люди как боги» на немецком языке в Дрезденском университете на трёх факультетах — философском, физическом и филологическом — прошли научные конференции: студенты пытались разобраться, насколько возможно будущее, которое он придумал.

Но папа всё-таки успел сказать свою правду — к сожалению, не до конца. Он довёл «Книгу бытия» только до ареста. Точка была поставлена за двадцать дней до его смерти.

А теперь — очень личное.

Печатала «Книгу бытия» (как и всё остальное за их сорок два года) мама. Я не знаю, что она чувствовала, когда аккуратно разбирала по экземплярам рассказы о любви своего мужа к другим женщинам. Но я помню строчки из папиного письма (он тогда был в Комарово, куда уезжал каждую зиму — работать) — я прочитала его уже после того, как их обоих не стало: «Галочка, я понимаю, как тебе сейчас трудно. Но я хочу, чтобы ты помнила: это всё было до тебя».

Ему шёл восемьдесят четвёртый. У него были два инфаркта и диабет. Правда, он, как всегда, не очень с этим считался — но в таких случаях близкие обычно начинают готовиться. Нет, не ждут, конечно, не ждут! Боятся, не хотят, отказываются верить… И всё-таки — все мы смертны. А тут ещё операция. Не знаю, о чём думали наши друзья и знакомые, но реакция их была на удивление одинаковой: «Как? Почему? Не может быть!»

Каким образом он ухитрился нам внушить, что — бессмертен?

Первая папина жена называла его принцем холодных улиц. «Я король сегодня. Король снегов», — с горечью говорил он в лагере. И спустя сорок с лишним лет, в девяносто четвёртом, очень старый и очень уставший, он, наверное, всё-таки остался королём. Тогда, в феврале, в день его смерти, я впервые видела зимнюю грозу. Уже стемнело. Снег был мелким, жёстким и частым — метель, свистящее и постанывающее белёсое марево. И сквозь него били молнии и гремел гром. Это было, правда! И ещё одно.

Когда-то он сказал о себе — как обычно, честно и, как обычно, беспощадно:

Я прожил жизней в этом мире две.
Всего лишь две! Одну — пустяк, жизнёнок,
Набор дерьма и чепухи — свою.

Вероятно, он имел право так говорить — потому что вся его гордыня, о которой он так охотно и (чего уж там!) с такой гордостью поминал, уходила на то, чтобы мерить себя только абсолютными мерками, до которых человек не может дотянуться по определению. Легко быть кривым в царстве слепых — но папа хотел не этого. Его самолюбие было неотделимо от самоуничижения.

И всё же — «набор дерьма и чепухи»… Не знаю. Не верю. Не согласна! В конце концов, я тоже имею право на собственное мнение. И потом — дальше в том стихотворении было сказано:

Другую — за других. За всех других.
За человека и за зверя. За
Траву и камни, океан и небо,
Планеты и пространства. За тебя
И за него. Короче, я в себя
Вобрал все радости, все муки мира,
Все истины его, все заблужденья,
Всю ненависть, всю нежность,
В общем — всё.

И вот это было уже чистой правдой.

Поэтому мы и не стали менять рискованное название этого двухтомника — «Книга бытия». Папа сам, не то посмеиваясь, не то слегка кокетничая, частенько называл его претенциозным. Но это не кощунство и не богохульство — это действительно книга бытия. Разумеется, всего лишь человеческого.

Но, может быть, именно в этом его сила.

Татьяна Ленская

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Младенчество

1

Как и у всякого человека, жизнь у меня была полна важных событий: в одних проявлялся лик эпохи, они были общими для всех, я называю их своими с тем же правом, с каким песчинка, взметенная бурей, с гордостью и страхом говорит: «Я — ураган!» Другие касались только меня, проистекали из глубинной моей сути. Но все объединяла одна черта — считаю ее характернейшей из моих особенностей: видимость в них не совпадала с сущностью. То, какими они представлялись и мне, и моему окружению, разительно отличалось от того, какими они были реально. Пляска теней в кривом зеркале — вот самая точная формула моего жизненного пути.

А для любителей философии скажу по-иному: ноумен, моя жизнь (в ее истине), как-то, конечно, была связана с феноменом, ее внешним обликом, но то была связь опровержения, а не отражения. В отчаянии и ярости я часто утешал себя: видимость бытия и есть его сущность, и нечего хулить неудачно устроенное мироздание. Но такого трусливого успокоения хватало ненадолго: я все же был мыслящим человеком.

2

Первым важным событием моей жизни было то, что я родился.

Это произошло 23-го июня 1910 года по старому стилю, в замечательный языческий праздник Ивана Купала, когда наши предки повсюду разжигали костры и в нарядных одеждах, с венками на головах кричали и пели, прыгая через огонь и славя таким причудливым способом набравшее летнюю ярость светило.

Правда, я родился уже утром, на угасании костров, но жар их еще поныне животворит душу, и с солнцем мы старые приятели — чем его больше, тем мне добрей. Но солнца мне слишком часто не хватало. Долгие годы в полярных снегах я неустанно тосковал по нему. Рождение в праздник солнечного бога, казалось, сулило избыток света и пламени, но видимость и тут злорадно показала затылок: тьмы в моей жизни случалось больше, чем света, мороза больше, чем жары. К тому же у писца Михайловской церкви, где зафиксировали факт появления на свет еще одного раба божьего,

почерк был со слишком красивыми завитушками, июнь превратился в июль, и я потерял прекрасный день рождения, получив взамен ничем не примечательное 23 июля (5 августа по новому стилю). Мать никогда не признавала злополучной описки в метрике, но паспортный режим неумолимо строг — я покорился, сохранив в себе привязанность к язычеству и тайное собратство с солнцем.

Итак, я родился. Это, пожалуй, единственное, что можно считать твердо установленным. Костры, пылавшие в ту ночь в далеких от нас тысячелетиях, и песни, доносившиеся оттуда же, не дали матери заснуть. Всю ночь она металась — начались родовые схватки. Отец работал на плужном заводе Гена, он ушел по рассветному гудку, оставив жену в муке творения новой жизни. И мать родила, едва он скрылся.

Не знаю уж, кто меня принимал, — какая-то акушерка, наверное, была. Мать говорила, что когда меня ободряюще хлопнули по попке, я не заплакал, как полагалось, а засмеялся. Этот мой первый смех — тоже одна из обманчивостей моего бытия — стал постепенно семейной легендой. С той поры меня бессчетно тузили по заду — физически и фигурально, — но способности смеяться я не потерял. Улыбка — дверь души человека, в смехе всего ярче проявляется характер. Причин для слез у меня в жизни было куда больше, чем для веселья, но на слезы я остался туговат, а смеялся часто — легко, радостно, весело, недоуменно, горько… Как когда.

Я начал с необычного — встретил жизнь улыбкой, а не гримасой. Впрочем, впоследствии необычности стали для меня обычными — так что все было в порядке.

Но я не просто родился. Я родился преувеличенный. В матери, когда я смог оценить ее рост, было около полутора метров, а весу больше пятидесяти килограммов она никогда не набирала. И такая крохотная, в общем-то, женщина выдала без долгих страданий и разрывов улыбающегося мальца ровно в тринадцать фунтов (почти пять с половиной килограммов). «Какой великан! Вот уж воистину будет богатырь!» — восхищались бабушки, дед и соседки, обманутые видимостью гигантизма. Однако даже в лучшие свои времена я не превзошел ста шестидесяти семи сантиметров, то есть не сравнялся и со среднерослым современным человеком. Голодные годы оборвали мой рост. Голова и туловище справились, ноги своего не добрали. Вряд ли между восемью и двенадцатью годами я прибавил хоть сантиметр.

Низкорослость меня не угнетала. Я мерил себя не по телу, а по духу.

Мать, разродившись, несколько часов отдыхала, а потом поднялась, оделась и села у окна, поджидая отца. Он увидел ее издали и вообразил, как всякий на его месте, что родов еще не было. Вбежав в квартиру, он схватил мать на руки и закружился с ней по комнате. Она смеялась, а он лишь после нескольких виражей вдруг с испугом осознал, что вес жены основательно уменьшился, да и габариты уже не те. Осторожно положив ее на кровать, он выхватил меня из прикрытой колыбельки и снова дикарски затанцевал — уже со мной.

Мать умоляла его успокоиться, обе бабушки негодовали — боялись, что он закружит мою нестойкую еще головку, дед сердился, а отец плясал и радостно кричал.

Мне часто описывали мое знакомство с отцом, я не мог в это не верить, но вера до сердца не доходила — очень уж властный, умный, недобрый человек, какого я знал, не походил на взбалмошного юного мужа и ошалевшего папашу, каким его дружно рисовали.

Носить людей на руках он, впрочем, любил. Женщин он покорял также и этим. И эту страсть к тасканию подружек на себе он передал мне, а я своему сыну Евгению — любопытная генетическая особенность нашего рода.

3

Раз уж я заговорил об отце, расскажу о нем подробней. Дела его пройдут через все мое младенчество, а то, что деятели розыска называют словесным портретом, я постараюсь дать уже здесь.

Отец был невысок — немного повыше мамы, очень широкоплеч, очень силен, очень ловок. И к тому же — элегантен, в праздники — великолепно наряден и самое главное — чертовски красив, во всяком случае в молодости. Женщины оглядывались, когда он проходил мимо — так меня уверяла тетя Киля, горячо почитавшая своего старшего брата.

Они не только оглядывались, но и заглядывались на отца — отец, впрочем, отвечал им тем же. Он был, конечно, лихим женолюбом и не собирался этого скрывать — здесь, мне кажется, таились корни их вечных раздоров с мамой. Мать не могла примириться, что существуют еще другие женщины, она хотела быть если не одной в мире, то, по крайней мере, единственной в его мирке. А он, хоть и всерьез исповедовал догму: «…а люблю лишь тебя одну!», не смог превратить таинство страсти к женщинам в простую житейскую тайну. При последнем нашем свидании он говорил мне: «Зиночка была у меня на сердце,

остальные — от встречи к встрече».

Думаю, он преувеличивал горе своего разрыва с матерью и легкость отношений к другим женщинам. Пятидесятилетний, он женился на восемнадцатилетней девушке.

— По любви, — доверительно сообщила мне тетя Киля. — Такая любовь — страх!

— С чьей стороны любовь? С его? — иронически поинтересовался я.

— С обеих, — убежденно сказала тетя. — Говорю тебе: влюблены просто ужасно.

Что до характера, то его отец вполне мог бы подобрать себе и получше. Полунемец-полугрек по крови, русский по основному языку, он совместил в себе многие дурные черты своих народов (наряду со многими добрыми) — вспыльчивость, задиристость и быстрый ум грека, сентиментальность, жестокость и основательность немца, беспорядочность и широту русского. Сочетание получилось и редкое, и резкое.

Соседи его не любили и побаивались. Он ни с кем особенно не церемонился, язык у него был гибкий и легкий — на стихи и мат, любовные признания и несусветные поношения, а руки сами хватались за нож. Кстати, владел ножом отец артистически. Мать рассказывала, что, когда была беременна мной, его, пьяного, возвращавшегося ночью домой, подстерегли обиженные им хулиганы. Он выхватил нож, но справиться со всеми не сумел и упал. Мама вихрем налетела на толпу, повалилась на отца животом и прикрыла руками. Чтобы не зарезать женщину, хулиганы били ножом под нее — и лишь немного поранили отца. А когда, отвечая свистку городового, спешившего к месту драки, кругом залились свистки дворников, нападавшие скрылись.

Отец, поднявшись, хотел бежать за ними, но мать не пустила. Он дико матерился и грозил всех перерезать. Никого, конечно, не зарезал, но, если приходилось возвращаться одному в темноте, старался не напиваться. Этого вполне хватало, чтобы на новое нападение не осмеливались.

Вот два свидетельства отцовской чудовищной ловкости. Была, вероятно, весна 1914 года (еще до высылки его в Ростов-на-Дону — это произошло после начала войны). Мы вчетвером — мама, отец, мой старший брат Витя и я — отправились на второе христианское кладбище. Там была похоронена сестра Нина (она умерла, когда ей исполнился год, — еще до нашего с Витей рождения). Наверное, это происходило в воскресенье — воскресенье было традиционным днем посещения Нининой могилки.

Что было на кладбище, не помню, а вот совершившееся на

обратной дороге вижу, словно вырезанное на камне. У моего брата был костный туберкулез — Витя передвигался с костылем (вскоре понадобился и второй). Мама с отцом шли впереди. Обычно мы проходили под виадуком, а в тот день поднялись на насыпь и пошли через линию железной дороги. Родители уже спускались с насыпи, когда мы с Витей вышли на полотно. И надо же было случиться, что в эту минуту из-за поворота вынесся разогнавшийся маневровый паровоз. Витя заторопился, зацепился костылем за рельс и свалился на колею. Затормозить машинист уже не мог, он лишь отчаянно засвистел — я так же отчаянно закричал. Отец обернулся и непостижимо прыгнул вверх. Все произошло в какие-то доли секунды — распластавшись у рельсов, он схватил Витю и перебросил через себя, паровоз ударил отца решеткой в плечо и отшвырнул вниз — вслед за сыном.

Локомотив остановился метрах в пятнадцати, и, когда машинист подбежал к нам, отец уже держал Витю на руках. Не знаю, сохранился ли костыль или был раздавлен колесами, но хорошо помню, что до дома отец нес брата на руках и Витя, перегнувшись через его плечо, смотрел на меня серьезно и хмуро — огромными, умными, недетски серьезными глазами…

Позже, в школе и институте, я часто приходил с товарищами на эту насыпь — и мы пытались повторить отцовский прыжок, но и трети дистанции не одолевали. Не хватало, видимо, удивительной силы и стремительности отца, да еще нужно было увидеть, что вот сейчас, на глазах твоих, если ты опоздаешь хоть на сотую секунды, погибнет твой сын…

А второй случай произошел уже после Витиной смерти, летом семнадцатого, перед окончательным разрывом матери и отца (он ненадолго вернулся тогда из ростовской ссылки). Вероятно, тоже было воскресенье — родители пошли гулять в сад общества «Трезвость» (он был разбит около Чумки — большого холма над общей могилой погибших от давней одесской чумы). Звенела музыка, по аллеям шествовали разряженные парочки. Думаю, и мать, красивая, хорошо одетая, молодая (ей шел двадцать восьмой год), и отец, тоже красавец, при галстуке, в шляпе, в праздничном костюме, в перчатках, не только не терялись, но и выделялись в этой толпе.

Во всяком случае, я, тащившийся позади (меня отвлекали аттракционы и лавчонки), увидел, как двое мужчин удивленно уставились вслед родителям. Одного, огромного, тяжеловесного, редкого силача, я знал — это был кузнец, недавно поселившийся на нашей Мясоедовской. Мы часто бегали к нему в кузню смотреть, как ловко он орудовал ручником, ремонтируя детские коляски, и как тяжко бил кувалдой, превращая бесформенный кус

раскаленного железа в колесный обод.

Кузнец с возмущением сказал второму, незнакомому, низенькому:

— Тю, да это не Зиночка ли с Мясоедовской?

— Зиночка, — скорбно подтвердил незнакомец. — Та самая, что в газетном киоске сидит.

— А с ней чужак? Да он о двух головах! И нам смотреть, как чужаки наших женщин уводят? Отошьем!

— Отошьем, — согласился низенький.

— И так отлупим, чтобы опосля всю Молдаванку берегом моря обходил!

— Отлупим.

И они поспешили за родителями.

Я побежал следом. Не уверен, что предупреждать отца об опасности — но драку посмотреть хотелось, это помню. Драки, однако, не получилось — слишком односторонним было избиение. Низенький, более наглый (если не более храбрый), схватил отца за руку — и тут же с жалобным визгом рухнул навзничь. Высокий, бесцеремонно рванувший было к себе маму, с воплем: «Наших бьют!» ринулся ему на помощь. Он был на голову выше и раза в полтора толще отца и уже занес над ним чудовищный кулак, но отец ударил его в подбородок. Кузнец отлетел, врезался головой в дерево и распластался рядом с товарищем.

Отец неторопливо поправил шляпу, повернулся к испуганной маме, церемонно подставил ей согнутую в локте руку и громко сказал:

— Пойдем, Зиночка!

Они пошли дальше прогулочным шагом.

Я, конечно, задержался. Низенький, вскочив, поспешно удрал. Кузнец ощупал голову и попытался догнать отца. Но его схватили набежавшие люди, и я слышал, как они горячо втолковывали ему: «И не смей! Это же Сашка Козерюк! Он зарежет тебя, коли сунешься. Богу скажи спасибо, дешевкой отделался».

Не знаю, вознес ли кузнец благодарность богу, но родители гуляли в саду «Трезвости» допоздна — и никто к ним больше не приставал. Чтоб закончить эту главку, добавлю анкетных данных. В 1910 году, когда я родился, отцу было двадцать шесть лет, а маме двадцать один. Я был третьим ребенком в семье. Мать вышла замуж шестнадцати лет, в семнадцать родила Нину, прожившую всего год. Ее смерть так потрясла мать, что и двадцать лет спустя она плакала, вспоминая о дочке. Черноволосая от природы, мама тогда поседела, и лишь постепенно начали отрастать прежние черные волосы. Тетя Киля

говорила мне: «До слез было жалко, Сережа — корешки черные, а весь волос седой, как у старухи. А личико молоденькое-молоденькое, просто девочка!» Впрочем, в семнадцать лет старыми не выглядят — даже поседев.

Витя был старше меня на два года, с младенчества все хворал, а в три года у него открылся туберкулез, который и свел его в могилу семи лет от роду. Был еще брат Боря, родившийся после меня, он тоже болел и рано умер — года в два.

А последним маминым ребенком стал мальчик, так и не получивший имени, — я помню этого младенца, крохотного, с огромной головой, появившегося на свет, казалось, только для того, чтобы тут же сказать миру «прости». Страшное слово «водянка», повторяемое всеми, долго и зловеще звучало в моих ушах. Очень уж нежизнеспособны были творения моих родителей — из пяти детей выжил лишь я один.

4

Виноват в болезненности детей был, видимо, отец, а не мать. Порода, данная им, была порочна в нескольких поколениях и многих проявлениях. По мужской линии отец был из одесских греков, хотя кого-то из моих предков звали Герасимом (не помню, деда или прадеда). Что до отцовского деда, то он был сумасшедшим — об этом в семье говорили часто. Мелкий торговец-грек, что-то наживший за долгую свою одесскую базарную хлопотню, решил возвратиться в родную Грецию, оставив на берегу взрослого сына. Он был уже в помрачении ума — то буйно веселился, то беспричинно горевал, то впадал в ярость и грозил всем ножом. На судне его связали, заперли в каюте и, вероятно, отмантузили, истово исповедуя, что хороший, а главное — своевременный тумак очищает мозг лучше любого лекарства. Прадед притих и правдоподобно разыграл роль нормального человека. Вскоре его развязали и выпустили на палубу. И тут на глазах ошеломленной публики он сверкнул последней сценой своего земного бытия: с ликующим воплем сиганул за борт. Спасти его, как сообщили сыну (назовем того все-таки Герасимом), не удалось. Думаю, его и не старались спасти.

Чем занимался дед Герасим, не знаю, но какое-то вполне приличествующее одесскому греку занятие у него было, иначе он вряд ли покорил бы сердце молоденькой, умной и практичной немки Каролины, моей бабки, приехавшей в буйную Одессу из тихого немецкого селения. До конца своей жизни она плохо говорила по-русски — и вряд ли Герасим владел немецким

настолько, чтобы одурять немок-колонисток медовыми речами. Любовь, как это часто бывало в Одессе, возникла у них «деловая» и «теловая», а не словесная.

И со всей немецкой аккуратностью Каролина незамедлительно родила мужу сына, нареченного Александром (это и был мой отец), и дочь, наименованную Марией.

Недостаточность словесного общения с женой Герасим с лихвой компенсировал избытком возлияний — и вскоре допился до белой горячки. Дом превратился в земной филиал ада. Дед то трусливо скрывался от зеленых чертей, то, осмелев и озверев, гонялся за ними с ножом (а заодно — и за женой с детьми, убегавшими к соседям). В какой-то особо буйный приступ его удалось связать (помогли городовой и дворник) и водворить на Слободку-Романовку, где тогда помещался дом умалишенных. В Одессе словечко это — Слободка — означало то же, что Канатчикова или Сабурова дача в других городах.

Каролине недолго пришлось носить передачи мужу. Он буйствовал, и в палате его, связывая, лечили (по обычаю того времени не так лекарствами, как карцером). Интенсивное лечение принесло плоды — он скончался еще нестарым, дав возможность своей жене облегченно вздохнуть. Мама говорила, что причиной гибели деда было безудержное пьянство. Думаю, не только оно. Паранойя, поразившая и прадеда, и деда, могла стать следствием сифилиса, модной мужской болезни прошлого столетия — не исключаю, что мои темпераментные греческие предки способны были прихватить эту пакость в распутной портовой Одессе: вряд ли они подражали монахам, отворачиваясь от дешевых панельных соблазнов.

Бабка осталась без кормильца и без дела с двумя малышами на руках. Она ничего не знала и не умела, кроме как вести домашнее хозяйство и присматривать за детьми. До эмансипации и равноправия, взваливших на женщину, кроме специфически женских, еще и мужские заботы, общественная жизнь тогда не доросла. Тем более чужда таким сомнительным веяниям была моя бабка, воспитанная в колонистской немецкой старине.

Выход был один — срочно обзавестись вторым мужем.

Жениха долго искать не пришлось, он жил в том же доме — зажиточный биндюжник Исидор Козерюк, украинец, лет на тридцать с добрым хохлацким гаком старше своей суженой, одинокий вдовец, непьющий, не озорующий, рачительный хозяин, истово верующий в бога и черта, верно служащий царю и околоточному. «Какие у папы были кони, какие крепкие биндюги, а рабочих он подбирал старательных, непьющих!» — через тридцать лет восторгалась Киля. Слово «зажиточный» я

заимствовал из Килиного лексикона, а мать моя к достатку тестя относилась с иронией: палат каменных Исидор Козерюк не нажил, даже одноэтажного домишка после себя не оставил, но ели у него сытно, одевались чисто, жили в побеленных комнатах с крашеными полами — чего еще надо было неэмансипированной, оголодавшей немке? Она пообещала ему любовь и верность, он ей — квартирное благополучие. Деловой договор скрепили таинством венчания в Михайловской, на Молдаванке, церкви.

Так Каролина во второй и последний раз сменила фамилию. В девичестве она была не то Бауман, не то Боймер, фамилии ее первого мужа не знаю, помню лишь, что она звучала вполне по-гречески (правда, без «аки» и «пулоса»). И для закрепления любовного договора на следующий год после замужества трудолюбивая немка принесла молодому шестидесятилетнему отцу дочурку, которую он нарек Акулиной и безмерно полюбил. Впрочем, не меньше он любил и приемышей Сашу и Маню — они никогда не жаловались на его сухость или черствость.

Единственным неудобством в этой украинско-немецко-греческой семье было смешение лютеранства с православием: Каролина с Сашей и Маней ходили в кирху, а Исидор с Килей — в церковь, но иных трудностей, кроме разных маршрутов, разноверие не причиняло. То, что старшие дети говорили с мамой по-немецки, а младшая подражала им (без особого успеха), даже нравилось Козерюку. Он, видимо, уважал все, чего не понимал, — дар, более всего отличающий воспитанного человека от мещанина. Все, что я слыхал об Исидоре Козерюке, убеждало меня: он был стариком, лишенным внешнего образования, но с природной душевной воспитанностью и хорошей человеческой терпимостью.

Правда, была у всего этого и обратная сторона. Каролина быстро усвоила одну из типичных черт украинского быта — главенство в доме женщины, немыслимое в добропорядочной немецкой семье. Старый муж покорно передал молодой супруге бразды домашнего правления. Дети росли своеобразные.

Об отце я еще многое порасскажу, а пока замечу: свобода с ранних лет ему была предоставлена чрезмерная (если судить по сегодняшним меркам). А когда у него один за другим стали рождаться дети, а у Мани появились сыновья Шура и Валя (наши с Витей ровесники), многодетная Каролина рьяно переключилась на ремесло многовнучной бабушки. Рано умершую Нину она вместе с невесткой оплакала (не до чрезмерного страдания, как моя мать), болезни Вити сдержанно сочувствовала, Шуру и Валю с охотой ругала и наказывала шлепками за дело и впрок, а во мне души не чаяла. Я вообще стал общим любимцем, что, кстати,

привело к серьезным неудобствам, а захваливание и заласкивание меня начала именно немецкая моя бабка. Мама много раз рассказывала, как однажды, когда готовили обед, я толкался на кухне, ко всем приставая и всем мешая. Мама чистила картошку. Каролина мыла ее и бросала в открытый чугунок на плите — варился борщ на обе семьи. Одна нечищеная картофелина упала на пол, я схватил грязный клубень и бросил его в кастрюлю. Мама хотела было отшлепать меня, но бабушка не дала — она стала тискать и целовать внука.

— Умный, умный мальчик! — растроганно твердила Каролина. — Настоящий немец, знает, что добро не должно валяться на полу! Зина, у Мани дети глупые, они ничего не понимают, твой Сережа разумнее всех, это такое золото, твой киндерхен, такой… как это называется?.. Молодец!

— Молодец против овец, а против молодца — сам овца! — возразила мать, однако наказывать меня не стала. Я бессчетно слышал от нее впоследствии эту пословицу…

— При бабушке Каролине наказывать тебя было невозможно: она не дала бы, какую бы пакость ты ни сотворил, — часто говорила мама.

Сама Каролина ничем особенным не страдала, но дети ее здоровьем не удались.

Отец был человек незаурядный. Простой рабочий, слесарь, может быть — лишь слегка повыше средней руки, формально так и не продвинувшийся выше двухклассной церковно-приходской школы, он поражал разнообразными интересами и такими же разнообразными дарованиями. Он много и жадно читал, любил стихи (в семье царил культ Некрасова и Кольцова, в значительной степени сотворенный им), сам пытался писать. Он знал Белинского и Писарева, умел щегольнуть среди своих (среда была рабочая) образованием. К тому же рисовал — хотя и бесталанно, выпиливал узоры на дощечках, клеил ящички (один из них сохранился) — руки у него на такие поделки были искусные. В домашнем и приятельском кругу он слыл натурой выдающейся, авторитетом. Но он пил — и пил мрачно, не бутылками, а бутылями, напивался до видений, до окостенения, до беспамятства, до диких взрывов ярости. Я помню его разговорчивым и замкнутым, веселым и мрачным, мастером на хорошее слово и лихим матерщинником.

Он так и не нашел себя. Слесарничанье и выпиливание по дереву и металлу шли не из глубин души. Кстати, уже пожилой, он работал мастером в трамвайном депо Ростова — и одновременно был режиссером-постановщиком в театре Дома культуры.

Мне говорили, что в Ростове его уважали именно как театрального деятеля. «Родился он с любовию к искусству» — но жизнь не позволила претворить эту любовь в дело. Типичный, в общем-то, случай: человек не осуществил того, к чему был призван природой. В этом смысле я тоже могу многое продемонстрировать.

Не то чтобы отец впрямую был душевно болен, но психику его к разряду нормальных не отнесешь — это точно. Пьянство у него было родом болезни, а не подражанием окружению — он считался недостижимым выпивохой. Возможно, вначале он пил, чтобы выделиться, — бравировал луженым желудком и хмельной развязностью, но потом водка стала потребностью.

Зато его сестра Маня была ненормальной в самом прямом смысле. Муж ее, Юлиус Фридрих (тоже из немцев-колонистов), в 1905 году уехал в Америку на заработки, пообещав вскоре выписать жену к себе. Вначале письма приходили часто, затем — реже, адреса Юлиуса менялись — он метался по чужой стране в поисках удачи. Когда я родился, вестей уже не поступало — и все жалели бедную Маню и ругали неверного мужа и нерадивого отца.

Маня одна верила, что Юлиус вернется. И он вернулся — в ее помутившемся сознании. Он тайно являлся к покинутой жене и уверял: он по-прежнему любит ее, но должен скрываться, поскольку принимал участие в беспорядках 1905 года и боится, что правительство его накажет. И хотя давно не было правительства, против которого он бунтовал, а новая власть скорее наградила, чем покарала бы его за буйную молодость, Маня свято верила всему, что призрачно нашептывал ей воображаемый муж.

— Сегодня утром я шла к себе на джутовую фабрику, а Юлиус сидел в канаве на улице — там еще кусты растут, так он под ними спрятался, — доверительно говорила она мне году в 26-м. — Он поманил меня и попросил прощения: он еще не может раскрыться. Скоро, скоро он придет домой и обнимет меня и Шуру с Валей. Так он сказал и убежал: на улицу вышли люди, ему ни с кем нельзя встречаться.

Маню даже не лечили, тихая ее шизофрения никому не мешала и никого не расстраивала. О видениях ее говорили улыбаясь — печально или сочувственно. Кроме сыновей, разумеется, — тем болезнь матери была горька. Ткачиха на джутовой фабрике, она слыла аккуратисткой, ее портрет висел на Доске почета, ее награждали премиями. Во всем остальном, кроме встреч с затаившимся мужем, она была нормальна: хорошо вела хозяйство, обмывала детей, была отзывчива и добра —

проникновенно, душевно добра (такими умеют быть только те, которые по-настоящему, полно любят людей). Маленькая, худенькая, смирная, очень неторопливая, так и не отделавшаяся от немецкого акцента — она почти никогда не улыбалась, не повышала голоса, ни на кого не сердилась, ни к кому не придиралась, не знала бурных желаний, не ведала страстей — полная противоположность брату и сестре. Ею не восхищались, ей не удивлялись, ее не обижали, не ставили (кроме как на работе) в пример — она проходила по жизни тихонько и незаметно. Зато ее любили. Любили искренне.

О тете Киле сказать можно гораздо больше, чем о Мане, но я не пишу биографий родственников. Киля была добра и бурна, взбалмошна и смиренна, деятельна и ленива. Она все могла сделать — кроме одного: устроить собственную жизнь. Мужа у нее так и не завелось, но сына Володю, моего двоюродного брата, она хоть и с трудом, но вывела в люди — в полулюди, в пожарники, сказала она как-то.

Как и Маня, она работала ткачихой на джутовой фабрике, но, нажив туберкулез, ушла оттуда и занялась сбором и продажей лекарственных трав. Киля так преуспела в этом искусстве, что помогала не только другим — она и себя вылечила без врачей и больниц. Случайных и не очень дружков у нее была пропасть, но искренне и чисто любила, почти суеверно обожала, почти обожествляла она только одного человека — своего брата, моего отца.

5

Материнская линия (полная противоположность отцовской!) брала психическим и физическим здоровьем.

Дед, Сергей Антонович Гришин, и бабка Ирина Афанасьевна (девичьей ее фамилии не знаю) родились крепостными. У меня сохранился бабушкин вид на жительство, выданный в 1910 году, когда ей было 64 года — следовательно, отмену крепостного права она встретила пятнадцатилетней (дед был старше года на четыре).

В виде на жительство сказано, что бабка неграмотная, православная, из деревни Юрлово Работновской волости Дмитровского уезда Орловской губернии. Мама говорила, что Гришины были многочисленны и обширны (скорее род, чем семья) — и расселились они из голодной Орловщины по разным весям империи. Большинство подались в Томскую губернию на неведомые сибирские пустошá, а дед с беременной бабкой в особо голодный год сбежали на заработки в Новороссию — да там и

остались, продляя ежегодно виды на жительство (сперва в Аккермане, потом в Одессе).

О бабке разговор впереди, в младенчестве моем она сыграла роль важнейшую, а дед умер, когда мне подходило к двум годам, его знаю лишь по рассказам. Они рисовали хорошего человека, доброго, почти кроткого. Огромный — много крупней любого из нас (впрочем, семья была низкорослой и словечко «огромный», возможно, весьма относительно), — голубоглазый, страшно сильный, улыбчивый, покладистый, он был наделен множеством редких достоинств: не пил, не курил, не сквернословил, в неверие не ударялся, в бардаки не хаживал, по хозяйству был первый (куда пошлют; а не посылали — сам вызывался).

Один был у человека недостаток и, видимо, так контрастирующий с достоинствами, что, вспоминая деда, непременно говорили об этом его пороке. Он был страстным игроком в орлянку. Мог бросать пятаки на улице, во дворе, даже дома. Каменщик по профессии, он зарабатывал сносно, но если в день получки бабушка не отбирала заработок, оставив ему на удовольствия пару гривенников, зачастую быстренько спускал на орлах и решках все, что имелось в кармане. В игре его, похоже, преобладала страсть, а не умение: мама сокрушенно вспоминала, что ему никак не удавалось найти партнеров, которым бы он сумел не проиграть — о выигрышах и не заикались, выигрыш и дедушка были понятия несовместимые.

Я был назван в его честь — и он выделял меня среди прочих внуков, постоянно (в свободное, разумеется, время) возясь со мной.

— У дедушки тебя нужно было отбирать силой, — говорила мама. — Не знаю, кто больше огорчался: ты или он. Единственная разница: он только хмурился, а ты ревел.

Еще знаю, что дедушка никогда и ничем не болел — просто не болел. Не хворал, не раскисал, не занедуживал, не жаловался на недомогание. А умер внезапно: пришел домой, посидел, повалился, захрипел — и помер. И врача вызвать не успели.

— Он почему-то очень устал в тот день! — воспоминала мама, и в ее представлении этого было достаточно для объяснения — настолько не вязалась с дедом даже простая человеческая усталость.

Бабушка, вероятно, болела, но так редко и так легко, что все запомнили ее женщиной образцового здоровья. К тому же была она лихая плясунья и заводила дворовых хороводов и песен. Неграмотная, как и дед, помнила бессчетное число сказок и песен — и щедро выдавала их всем, кто хотел слушать. В смысле здоровья мама пошла в нее: за шестьдесят лет, что я ее наблюдал,

она болела считанные разы — и ни разу хворь не была серьезной. И пела она тоже охотно, несильным, но чистым сопрано, — романсы, народные песни, арии из опер. Зато как рассказчица мало что переняла у бабки — книги забивали изустную традицию. Я часто с удивлением понимал, что знаю бабушкины истории и сказки куда лучше, чем мать.

Генетическая линия матери несомненно была здоровой. Братья и сестра перебрали от хворой отцовской ветви, я, по-видимому, зарядился от материнской родни.

6

Отец был, конечно, неверующим, мать, конечно, верила — стало быть, спора, какому вероисповеданию меня учить, не возникло: лютеранство в нашей семье оборвалось на отце, все его дети были отданы православию. Меня крестили в Михайловской церкви. Но и это важное в глазах матери и ее родителей действо было не слишком благопристойным: таинство крещения смешалось с площадным шутовством.

Михайловская церковь находилась в самом центре района, который именуется Молдаванкой и в котором, сколько помню, уже и до революции молдаван почти не оставалось. Зато из всей еврейско-украинско-греко-русской Одессы именно здесь обитало самое однородное население: почти не водились греки, было сравнительно немного евреев, а немцы оставались в явном меньшинстве — преобладали украинцы и русские. И конец Комитетской улицы, где рачительное начальство воздвигло церковь Святого Михаила, был географическим центром этого, в общем, рабочего, а не торгового района. Комитетская сохранилась до сих пор (даже названия не изменила), а церковь снесли — не то перед войной, не то сразу после нее, на ее месте теперь тенистый скверик.

Киля вспоминала, что день, когда меня крестили, был очень жарким. Все совершалось по обряду — крестные (отец и мать) вошли в церковь, родители остались на паперти. По случаю жары церковные врата были распахнуты, и отец хорошо видел, что совершается внутри. Одет он был празднично — завился, надушился, выутюжил свой лучший костюм, вывязал яркий галстук. Но, предвкушая угощение после таинства, с утра немного зарядился. Соответственно радостному настроению — не для скандала, а для воодушевления.

И, стоя у раскрытых дверей, увидел, что священник не удержал меня, голенького, в руках и уронил рожицей в купель. Попик был старый и немощный, лет под восемьдесят, а я, как уже

говорил, родился гигантом — да еще изрядно добавил за несколько дней на материнском молоке. Все произошло одновременно — священник поспешно выхватил меня из купели, а возмущенный его неловкостью отец, свирепо матерясь, попытался ворваться в церковь и кулаком научить священнослужителя, как обращаться с детьми. Мама отчаянно вцепилась в него и не дала церковному таинству превратиться в кулачную расправу, но дело было сделано: под сводами небольшой церквушки отчетливо прозвучало святое слово крещения и уличный мат — и все было покрыто обиженным младенческим визгом.

Я потом часто с усмешкой размышлял об этом случае — и каждый раз убеждался, что в какой-то степени он определил мою жизнь. Если и звучало во мне святое слово (святое не в смысле религиозных догм, а как синоним высоких человеческих истин), то обязательно тут же раздавался похабный мат — и в разыгрывающуюся чудовищную какофонию вплеталось тонкое рыдание оскорбленной души.

7

Дом, в котором я родился, стоял на Балковской (недалеко от Виноградной). Балковская, ныне Фрунзе, была самой длинной улицей в городе — и не только самой длинной, но, пожалуй, и последней: она охватывала по периметру почти всю Одессу (кроме двух слобод, раскинувшихся за ее пределами — Пересыпи и Слободки-Романовки). Как Старопортофранковская отделяла собственно город от Молдаванки, так Балковская отделяла Молдаванку от внегородских расселений. Таким образом, родители мои обитали не просто в живописном районе (воспетом, кстати, многими писателями) — они жили на самой его окраине. Я сказал «живописном», но Молдаванка отнюдь не отличалась красотой домов, улиц и площадей. Площадей вообще почти не было, дома, особенно рядом с нами, — сплошь одноэтажные (они лишь изредка перемежались двухэтажными). А если попадалось здание в три этажа, оно надменно взирало и на соседскую одноэтажную невзрачность, и на придавленных его величием прохожих. Об этой Молдаванке распевали в уличных стишатах:

В нашей грязной Молдаванке
Немощеные края.
Ночью слышен звон гитары:
«Выйди, милая моя!»

В нашей грязной Молдаванке
В непроглядной тьме ночной
Раздается звук пощечин
И свистит городовой.

Не знаю, как насчет пощечин, но тьма на улицах была воистину непроглядной, и городовые свистели часто, а дворники торопливо и подтверждающе им отзывались.

С Балковской родители уехали, когда мне не исполнилось и двух лет. Однако некоторые мои воспоминания вполне отчетливы.

Вот самое первое из них. Я стою на веранде второго этажа. Яркое солнце заливает просторный двор, окаймленный двухэтажными верандами, увитыми диким виноградом, а посреди двора неторопливо, очень солидно вышагивает себе мальчонка в красной шапочке со свисающей на ухо кистью — невозмутимо шагает, душа из него вон! Я знаю, что его зовут «мальчик-татарчик», он маленький, вероятно — годов пяти или шести, феска просто горит на солнце, а кисточкой мальчик-татарчик помахивает, как собака хвостиком, — и я, потрясенный, не могу отвести глаз от этого удивительного зрелища.

Мама потом говорила, что некоторое время в нашем доме действительно жил такой мальчишка и его на самом деле звали татарчиком. И добавляла, что мне в ту пору было чуть больше года.

Второе событие, врубившееся в память, разыгралось тоже во дворе. Мама подходит к воротам, с улицы появляется отец. Он хватает маму на руки, несет ее через весь двор, поднимается по лестнице и скрывается в нашей квартире (мы живем на втором этаже). Мама лежит на отцовых руках совершенно не протестуя, в полном смысле покоится, ничуть не мешая себя нести. Когда я потом вспоминал об этом, она равнодушно говорила:

— Саша сумасшедший, он таскал меня на руках целыми кварталами и радовался, когда выбегали из домов — поглазеть. Ужасно любил форс! На людях любую дикость мог вытворить. А носить меня ему было легко — он ведь сильный.

Я тоже был сильным (даже очень) и, случалось, таскал женщин по нескольку кварталов на руках — для форсу или тех, кто был мне дорог (хотя — за единственным исключением — не на глазах у прохожих), и могу засвидетельствовать, что дело это очень приятное, но далеко не такое легкое, каким представлялось маме.

Несколько лет назад я попросил показать мне дом, где я

родился. Лучше бы мама не соглашалась! Мы подъехали на такси, я осмотрел снаружи двухэтажное, невзрачное строение, вид его ничего не пробудил во мне, ничего не сказал — я не помнил этого дома.

А потом мы вошли во двор. Я предвкушал простор, залитый солнцем, безбрежный простор, где-то на далеких краях обведенный кольцом двухэтажных застекленных деревянных веранд. Ошеломленный, я молча поворачивался. Двора не было. Все остальное сохранилось — веранды, пронзительно синее небо, обжигающее солнце, ползущий по стенам дикий виноград. А простор исчез. Было крохотное пространство, десятка два метров в длину, десяток в ширину — вот и вся моя детская необозримость. Конечно, я вырос с того времени раза в два-три, но двор уменьшился не вдвое, не в квадрате — в десятой, в двадцатой степени! Он был не просто мне незнаком — он был из иного мира, его не могло быть в моем детстве. Он был мне враждебен. Он разрушал, грубо и нетерпимо, что-то очень дорогое, почти заветное. Явление его было почти равнозначно крушению мироздания.

— Что ты вдруг остановился, Сережа? — спросила мама, удивленная.

— Наслаждаюсь прекрасным видом, — ответил я мрачно. — Кстати, ты узнаешь эту тесную дыру?

— Конечно. Здесь почти ничего не изменилось. Почему ты хмуришься?

Этого я объяснить не мог. В ее сознании крушения мироздания не совершилось. Дом был как дом — из ее мира.

Потом я снова приехал на Балковскую. Меня вдруг поразило, что лестница на второй этаж в доме, указанном мамой, расположена не там, где я ее помню. Мне сказали, что неподалеку стоял дом, сгоревший во время войны, — и там была лестница, которую я ищу.

Я пошел на пепелище — и разом ожили воспоминания. И двор здесь был широкий, и правая стена сохранила следы веранды, и лестница могла стоять там, где я привык ее вспоминать. На этом пустыре вполне мог быть мой дом, я без труда воссоздал его в себе. Стало легко, мироздание все же оказалось несокрушенным. Погибло одно жилое здание и отказала память у одной пожилой женщины — это тоже нехорошо, конечно, но куда отрадней катастрофы с мироощущением!

8

Мне не было двух лет, когда родители переехали на Мясоедовскую — дом № 11, угловой, двухэтажный. Одной стороной он выходил на оживленную Прохоровскую. Переезд, сколько сейчас понимаю, стал необходим в связи с новым партзаданием отца. Об отцовской партийной деятельности стоит поговорить подробней.

По натуре отец был бунтарем — любое правительство претит такому человеку. Удивительно, что он не примкнул к анархистам! Вероятно, впитанная с молоком матери чисто немецкая привычка к порядку и аккуратности отвратила его от революционного хаоса анархизма. Он был согласен на любое безумие, но требовал, чтобы в безумии была строгая система. Он стал ярым врагом анархизма — вероятно, и потому, что находил в нем бездну привлекательностей. Среди рабочих течений сильней других был, естественно, большевизм — отец стал большевиком.

В вожди не вышел: характер не позволил (слишком уж опасен был такой своевольный человек даже в роли местного вождика), но в своей среде занял положение довольно видное. В подпольном кружке (им руководил некий Земблюхтер — я часто слышал эту фамилию) отец числился первым активистом. На плужном заводе Гена организовывал подпольные собрания, чтение прокламаций, выступления против администрации, произносил речи, призывал к борьбе против царизма. Это не могло встретить понимания у блюстителей порядка — тюрьма быстро стала второй отцовской квартирой.

В первый раз он попал за решетку, если не ошибаюсь, в 1901 году, но вскоре вышел на волю. Вторая посадка, в 1903-м, была продолжительней: отец выбрался из камеры лишь к 1905 году, чтобы жениться на шестнадцатилетней девчонке (маме приписали в паспорте два года, дабы все стало по закону) и принять деятельное участие в забушевавшей революционной буре. Естественно, последовала новая отсидка.

С этого времени жизнь отца приняла стадийный характер: срок в тюрьме, примерно такое же время на воле, новая отсидка, новый выход на свободу. Существование достаточно сумасбродное, но порядок в безумии имелся — а это было самое важное. В тюрьме отец времени не терял: зачитывался книгами, занимался образованием, дискутировал с врагами — меньшевиками и эсерами. А на воле пил, шлялся по бабам и, сменив место работы, с пылом организовывал большевистские кружки, вел революционную агитацию. А еще ссорился с мамой, водил ее в театры, страстно любил и незамедлительно обеременивал — и снова удалялся в отсидку. Его хватало если и не на все, то на многое.

Так продолжалось до 1912 года, когда одесский комитет большевиков подыскал отцу новое занятие, по общему убеждению подходившее ему больше, чем работа у верстака. Стала выходить «Правда» — для ее распространения нужно было создать легальный центр в рабочем районе. Отец в это время слесарил в железнодорожных мастерских (сейчас завод им. Январского восстания). Ему предписали взять разрешение на газетный киоск, стоявший на углу Прохоровской и Мясоедовской. Хоть и с трудом, но разрешение было получено. Спустя пятьдесят лет в одесской газете «Знамя коммунизма» в статье «О том, как «Правда» шла в народ» некто Зубицкий рассказал о превращения слесаря в торговца.

Впрочем, сомневаюсь, что из отца получился сколько-нибудь добропорядочный торговец (тем более что торговать он должен был отнюдь не спекулятивным товаром). Вообще-то он никак не торговал. Он заходил в киоск, а не сидел в нем. Сидела мама, иногда бабушка — выдавать копеечные (или двухкопеечные) газеты и выпуски бульварного чтива (по пять копеек за шедевр) позволительно и без особого образования.

Но у отца освободилось время — и его вполне можно было использовать для партийной агитации. А в самом киоске вместе с литературой легальной и поощряемой наличествовала и запретная — и ее без труда распространяли среди верных людей.

Так газетный киоск на Молдаванке стал центром большевистской агитации.

Место было выбрано удачное. Перекресток Мясоедовской и Прохоровской тоже находился на окраине Молдаванки, но это была совсем другая окраина, чем перекресток Балковской и Виноградной. Район, что в Одессе называли «городом», начинался всего в двух кварталах, за Костецкой, резиденцией знаменитого Мишки Япончика, и за не менее знаменитым одесским Толчком. И люди здесь весьма отличались от людей Балковской — в основном евреи, торговцы и ремесленники, украинцев и русских было значительно меньше.

На первый взгляд, это место не очень подходило для большевистской агитации, но, во-первых, среди еврейской бедноты (а здесь селились, конечно, бедняки, те, что побогаче, стремились в «городские» дома), сплошь оппозиционной, доносчиков и филеров было негусто. И полицейского наблюдения поменьше, чем в чисто рабочих районах, которых власти, особенно после пятого года, основательно побаивались.

И, наконец, самое главное: «чисто рабочие улицы» располагались неподалеку — кто поддавался агитации и жаждал нелегальных изданий, легко мог подойти к нужному месту,

отправляясь на Толчок или на Привоз, самый знаменитый из одесских рынков (он тоже размещался поблизости).

А для пока еще не посвященных наличествовал богатый выбор бульварщины, как продаваемой (за обозначенные на обложке 5 копеек), так и выдаваемой («на прочет», за копейку). Киоск привлекал разнородную публику — на что, собственно, и рассчитывали.

Словом, родители переехали поближе к нему — посчитали, что так удобней. Тем более что хранить в киоске много нелегальщины было опасно, а сбегать (если что) домой и вытащить нужное из тайника — несложно.

9

Третье яркое воспоминание младенчества было связано как раз с киоском.

Помню, что был вечер: на перекрестке ярко горел газовый фонарь, на Мясоедовской (через два дома) вспыхнула реклама иллюзиона «Слон», такая же реклама пылала и напротив киоска, в другом иллюзионе, — названия его не помню. Мама закрывает киоск, отец торопит ее, а я, выйдя из будочки, наталкиваюсь на серого щенка — и замираю над ним. Щенок крохотен, жалок и смирен. Минуя взрослых, он подползает ко мне, я сразу его хватаю (хотя вряд ли много крупней, чем он). Прижимаю к груди и, похоже, целую. Он сразу признает во мне защитника и покровителя, сразу — и до конца своей долгой жизни — влюбляется в меня.

Кстати, собаки вообще меня любили — просто это была первая, открыто и сразу заявившая о себе собачья привязанность. Спустя много лет я напишу горькие и гордые строки:

> Да и любят меня в этом мире
> Только дети, женщины да собаки.

Мне часто говорили (особенно женщины), что больше мужчине и желать нечего. Я не согласен. Для человека, пытавшегося что-то сказать миру, счастье не исчерпывается ролью отца, любовника и собачьего покровителя. Но тут уж ничего не поделать — собаки меня любили. За всю жизнь меня искусала только одна, да и та была бешеной. Мама часто пошучивала:

— Я знаю, почему псы тебя не трогают. Они чуют в тебе свое, родное, собачье.

Вероятно, это правда. Маяковский утверждал, что все мы

немножко лошади. Во мне всегда было больше собачьего, чем лошадиного. Я воспринимал мир не только глазами, но и ноздрями. Запахи терзали и восхищали меня, одуряли и успокаивали. Я влюблялся и ненавидел по запаху. Незнакомые вещи я раньше обнюхивал и лишь потом осмеливался взять в руки. Принц Гаутама прошел, кажется, пятьсот перевоплощений, прежде чем стать верховным Буддой. Не знаю, были у меня перевоплощения или нет, но собакой я мог быть. Это по мне.

Итак, я с трудом поднимаю щенка на руки и прижимаю к груди. Помню грозный оклик отца, требующего, чтобы я выбросил «эту грязь» (он вообще ненавидел все, что грязно). Но грязи нет, есть очаровательное крохотное существо, беспомощное, ищущее во мне друга и покровителя. Я не могу обмануть его надежды, я рыдаю и гневно отталкиваю отцовскую руку. Пинаю ногами мать, которая пытается помочь отцу отобрать у меня щенка. Вероятно, я впадаю в истерику, первую в жизни, и она настолько поражает родителей, что они начинают совещаться, применять ли ко мне силу.

— Пусть берет щеночка, — решает мать. — Ты посмотри, Сережа весь трясется. Как бы его родимчик не хватил!

И я шествую через улицу к нашему дому, неся на руках новообретенного друга…

Наверное, щенка хорошо вымыли в тот вечер, потому что мне разрешили взять его в постель. Сперва он лежал на моих ногах, потом перебрался под одеяло и положил голову мне на плечо. Так мы и спали в ту ночь, о чем рассказывала мне мать, и еще много лет, что уже я сам хорошо помню.

Эта серо-беленькая дворняжка, названная Жеффиком, была самым добрым, самым нежным, самым верным другом моего детства. Жеффик просыпался раньше меня, но не будил, а терпеливо и неподвижно ждал, пока я открою глаза, и затем, впадая в трогательный восторг, ликующе прыгал на кровати. Он ходил со мной на прогулки, участвовал в моих играх или радостно следил, как я играю с другими, часами лежал у моих ног, когда я читал. Я говорил с ним, он меня слушал. Он умел великолепно слушать — внимательно и понятливо, лучшего слушателя я в своей жизни не знал.

Было трудное время, дни, недели, месяцы проходили, а я и носа не показывал на улицу — не в чем было выходить. Да и незачем — всех детей обрекали на затворничество. И я сидел на кровати, поджав под себя зябнущие ноги, и читал Жеффику книжки или рассказывал страшные сказки и истории, вычитанные в пятикопеечных выпусках. Жеффик не сводил с меня умных глаз, не прерывал моих рассказов, они были ему захватывающе

интересны. Он все понимал. Я знал это, я чувствовал, что иначе быть не может — все рассказы свободно доходили до его собачьего разума. Иногда он повизгивал, или коротко лаял, или начинал нервно двигаться (вероятно, давая выход эмоциям). Я не всегда разбирался в его настроениях и мыслях, но это уже факт моей биографии, а не его.

Не сомневаюсь, что Жеффик удивлялся непонятливости людей. Хозяин у него был взбалмошный и добрый, но недотепа. Сам Жеффик все понимал в хозяине — каждое слово, каждый жест, каждый взгляд, а хозяин не всегда был способен разобраться в простой собачьей речи, не говоря уже о тонких собачьих чувствах. Это было общее человеческое свойство, вовсе не индивидуальная хозяйская ограниченность. Люди в понятливости значительно уступали собакам. И я часто думал, что если бы изобрели дешифратор, переводящий человечий язык в собачий и наоборот, то первой фразой любого пса было бы ликующее восклицание: «Наконец-то вы стали понимать меня! Наконец-то вы поумнели!»

10

На перекрестке стоял городовой.

Вероятно, он не только стоял, но и ходил, а если было нужно — бегал, придерживая болтающуюся шашку. Но в моем воспоминании городовой только стоит. Даже не стоит — высится: огромный, завернутый в темную, тяжелую шинель, с шашкой на левом боку, кобурой на правом, затянутый широким ремнем со сверкающей бляхой, перекрещенный портупеей, в погонах, со свистком на груди, краснорожий, усатый, бдительно озирающий подвластный участок, грозный и непреклонный — именно такой образ власти, какой она всегда усердно, но не всегда успешно старается создать, какими бы туманящими фразами ни прикрывала это желание.

На детское мое воображение задумка власти действовала, для меня видимость была неотделима от сути. Я страшился городового, я старался не привлекать его внимания. Я осторожно обходил перекресток, когда он там возвышался, а если почему-либо раздавался его оглушающий свист, немедленно удирал, хотя, несомненно, свист этот не мог относиться ко мне. Как хорошо было бы власти, если бы люди всегда оставались детьми!

Картина «бдящего на посту» городового — статична. И она так врезалась в детскую память, вероятно, лишь потому, что существовало и другое, динамическое воспоминание. Была ночь — я знаю, что ночь, а не день, ибо в окнах темно, а у стола сидит

отец в подштанниках (днем такой вольности он себе не разрешал). Я на руках у горестно молчаливой матери, к нашим ногам жмется смертно напуганный Жеффик, в открытой на кухоньку двери видна бабушка.

Все мы (кроме, конечно, Жеффика) сидим. Но в комнате полно движения. По ней ходят городовой и жандарм. Какой-то офицер стоит около стола, неподалеку притулился дворник — он понятой. Все мое внимание сосредоточено на главном, так я сразу определил, жандарме. Он точно и всецело такой, каких рисовали потом на карикатурах. Много лет я пребывал в убеждении, что революционные карикатуристы изображали именно этого жандарма — огромного, с невероятными усами, с рожей, о которой говорят: «Семь ден ее объезжать — не объедешь!» Жандарм этот командует своими безликими подначальными (среди них и наш городовой), они раскрывают комоды, шкаф, переворачивают постели. А в углу поднимают (к моему страшному удивлению — легко поднимают) половицы и вынимают из тайника газеты и книги, книги и газеты. Гора бумаги накапливается, ей нет конца, так мне кажется, но конец все-таки наступает. Страшный жандарм подходит к столу и рапортует, я навсегда запоминаю его густой, как из бочки, бас:

— Три пуда нелегальной литературы, ваше благородие.

Офицер что-то пишет, присев к столу, отец расписывается, потом натягивает брюки, надевает пиджак и прощается с нами. Не знаю, что он говорит, но как поднимает меня на руки, как целует, как гладит мои волосы — помню, словно это было недавно. Толпа, заполнившая нашу тесную комнатку, удаляется, мама громко рыдает, всхлипывает бабушка, тихо визжит Жеффик, от страха за увезенного отца и от сочувствия к плачущей родне начинаю скулить и я. Мама властно обрывает меня, унося в кроватку:

— Спи, тебя это не касается.

Меня это все-таки касалось. Отца после отсидки в тюрьме выслали в Ростов-на-Дону, под гласный надзор полиции. Выбор места удивляет — все-таки техника высылок с той поры усовершенствовалась, один город на другой, такой же («шило на швайку»), теперь не меняют. Все решается не так по географическому, как по климатическому принципу: например, знойный юг заменяется ледяным севером, столичный асфальт — дикой тайгой.

Впрочем, в мире мало понятий столь же относительных, как ссылка. Множество людей за всю жизнь так и не выезжали за пределы родного города — и они вполне свободны и довольны. Но если им объявить, что город этот покидать запрещено и они

обязаны еженедельной явкой в комендатуру доказывать свое послушание, они мигом почувствуют себя горестными невольниками. Когда-то король Испании выслал Дон-Жуана из столичного Мадрида в Париж — и бедный Дон-Жуан, как о том свидетельствуют драматурги, безмерно тосковал в диком, холодном, неуютном, некультурном, провинциальном Париже — и, не вытерпев мучительной ссылки, тайком вернулся в родные места.

С той ночи я несколько лет не видел отца, младенчество мое кончилось.

Началось детство.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Детство

1

Дом наш номер одиннадцать снаружи, с Мясоедовской и Прохоровской, высился двумя этажами, а внутри приткнулись одноэтажные флигельки. В одном из них жили мы (квартира состояла из просторной кухни и комнатки, которая вряд ли была многим больше).

Справа, в таком же одноэтажном флигельке, обитал сапожник Исаак Клейман с сыном Хуной, дочерью Соней (кажется, так ее звали) и вечно больной женой Сарой. Соня была старше меня года на четыре или пять, Хуна — мой ровесник. С Хуной мы дружили, то есть играли и дрались — как выходило.

Дом был населенный, даже перенаселенный, домовладелец Федотов (или Федосов — точно не помню), отставной офицер, сдавал и квартирами, и углами. Плату взыскивал строго, а дворник, всегда нахмеле, всегда с метлой, бдительно следил за порядком — жили в большой тесноте, но не в такой уж большой обиде.

Ребятни в доме, как зачастую сокрушенно объявлял дворник, был «полон рот». Меня это устраивало. У меня, кроме Хуны, объявилось множество друзей. Среди них — Аня Цалкина, девчонка моих лет. У нее была сестра Шура, мать Соня, но отца не просматривалось не только в натуре, но и в помине — особенность для тех времен довольно редкая. «Меня зовут Аня Соневна!» — почти с гордостью сообщала моя подруга, когда подросла настолько, что стала понимать: кроме имен, у людей бывают и отчества.

Отсутствие приличного отчества мешало не Шуре, старшей, и не Ане, младшей, а их матери — безмерно худой, некрасивой, всем кланяющейся женщине. Ей покровительствовали — снисходительно, немного пренебрежительно, строго следя, чтобы ненароком не забыла: она — существо низшего ранга. Соня Цалкина, впрочем, была из тех сверчков, что знают свой шесток — смиренно принимала унижение как должное. В доме жила голытьба (особой нищеты, правда, не было, но и достатка тоже), однако и в этой социально однородной группе возводились кастовые перегородки и микроскопически возвышающийся демонстрировал микроскопически приниженному такое высокомерие, что и родовая аристократия позавидует. Я, правда,

аристократов увидел попозже, да и то в тюрьме и лагере, — свидетельствовать об их кастовости не могу.

Посреди двора располагался погреб с наклонной крышкой. Эта крышка служила местом сбора детей, площадкой игр и драк. Это был наш клуб. А еще был погреб в двухэтажном крыле по Мясоедовской, но сначала нас туда не пускали, там облюбовали себе местечко ребята постарше — они играли «во взрослых», «в папу и маму». Лет в пять я убедился: игра эта настолько откровенна и так бесстыдна, что моралисты могли бы хором завопить о распущенности детей, хотя скорее нужно говорить о невоздержанности родителей. Дети были как дети, не лучше и не хуже других. Но когда семья живет в одной комнате и родители не стараются скрыть свои отношения, чада обязательно подглядят, что вытворяют взрослые, а поглядев, захотят в это поиграть. Но то, во что с увлечением играли в погребе пятилетние, для семилетних мальчишек и девчонок становилось самозапретным. Стыд вообще приходит позже жажды подражать взрослым, он знаменует самостоятельность (иными словами — повзросление). «Распутные» девочки и мальчики через несколько лет становились вполне пристойными. Слепая подражательность спадала, наружу выступала чистая натура. Нужно было основательно хлебнуть житейской погани, чтобы замутить эту первоосмысленную чистоту. Погани, однако, хватало.

На Мясоедовской четкими рядами высились акации, к некоторым проволокой (чтобы мальчишки не унесли) были привязаны железные миски, выгнутые по обводу ствола и наполненные водой — для бродячих собак. Не знаю, какие основания для этого были, но в городе верили, что, дав собакам воду, можно защитить их от водобоязни, то есть бешенства.

Воду собаки лакали охотно, но бешеные все равно появлялись — о схватке с одной такой я еще расскажу. Бродячих псов вообще было множество. И хотя по городу ездили гицели, арканившие беспородных и безнадзорных, и появление фургона немедленно вызывало в собачьем народе (даже среди хвостатых аристократов) ужас и смятение, бродяг меньше не становилось. Думаю, они лучше увертывались от гицелей, чем домашние собачонки — те составляли основную часть добычи охотников за псами. Жеффик во всяком случае попадался три раза — и каждый раз я заставлял маму идти его выручать, что, конечно, стоило денег.

Один раз с ней пошел и я, но раскаялся. Псы за решеткой так выли и стонали, так бросались ко мне и маме, так просили их освободить, а мне так хотелось их выручить, что призрак этого собачьего ада преследовал меня много дней. Больше мама меня с собой не брала.

Жеффику выправили медную медаль на шею, но защита оказалась не абсолютной: выкуп домашних собак был, наверное, главным источником доходов собаколовов, а бесхозных псов, естественно, никто не выкупал — приходилось охотиться за хозяйскими.

Каждое утро улица выметалась начисто. Я много лет прожил в Одессе, она всегда была не такой уж грязной — я повидал много городов и погрязней. Но в моем детстве она сверкала чистотой. Дворники знали свои обязанности и не пренебрегали ими, как сейчас, — хозяин все равно спросит (а с того — городовой). Так что порядок был. По улицам метался черноморский ветер — он взметал листья, но не пыль. Ветром можно было дышать, а не задыхаться от него.

Наискосок от нашего одиннадцатого дома помещался номер двадцатый, тоже двухэтажный, с зеленым двориком и такой же ребятней. Это был дом-противник. Там жили наши враги. Одиннадцатый воевал против двадцатого. Агрессором были мы, одиннадцатые, война началась, вероятно, задолго до моего рождения, каждый, подрастая или переселяясь к нам, с увлечением включался в распрю, посильно подогревая ее.

Война разворачивалась в полдень, утром и вечером военные действия прекращались — слишком много в эти часы было взрослых (и в квартирах, и на улицах). Но в жаркие часы битва пылала. Достаточно было кому-нибудь завопить: «На войну! На войну!», как все мы самозабвенно бросались на штурм ненавистных двадцатых ворот. Летели камни, мелькали кулаки, временами жалобно звенели, разбиваясь в дробь, бутылки. Двадцатые скоро очищали поле сражения — булыжную мостовую — и укрывались во дворе. Иногда и вражеские ворота торопливо захлопывались — это была высшая победа, она знаменовала конец боевых действий и переход к миру.

Но что интересно: эти драки не были просто игрой. Они не только оставляли царапины и умножали синяки, но и порождали ненависть. Я ровно десять лет прожил в доме № 11 по Мясоедовской, дружил со многими мальчишками нашей, нечетной, стороны. Но не помню ни одного случая, чтобы в играх моих участвовал хоть кто-нибудь из стороны противоположной. Вражда была игровая — но она не просто существовала, не просто умножалась. Ее лелеяли, ее ревниво охраняли, ее любили.

Да, пока это была игра. Но она порождала потребность всегда иметь противника и, если реального врага нет, придумывать его — себе на доблесть, ему на горе. Девять десятых борьбы, виденной мной в жизни, были сражением с выдуманными врагами (особенно это касается битв, объявленных не простыми, а

«принципиальными»). Сама эта формула — «принципиальная» борьба — приобретала мистический оттенок, в ней угадывалась нераскрываемая тайна, она исключала любую возможность допытываться причин раздора, она понуждала к вере, а не к разуму. История свидетельствует: именно там, где верят во вражду, вражда становится самой свирепой. Сошлюсь на религиозные войны, чтобы не будоражить более близкие дела.

Дотошный критицизм, иронические сомнения, душевный скепсис еще никогда не порождали войны. Война создается верой. Я говорю о больших войнах, а не о мелких пограничных, династических и грабительских стычках.

2

Научился читать я на четвертом году жизни.

Удивительного — и даже сколько-нибудь выдающегося — в этом нет. В современной интеллигентной семье, где книги — жизненная потребность, а не развлечение, трехлетние грамотеи давно не редкость. Мой сын Женя в два года читал на улицах такие надписи, как «столовая», «магазин», а в три отстукивал на машинке «папа», «мама», «Женя» и отчетливо разбирал любой крупный шрифт. Правда, я рос не в интеллигентной, а в рабочей семье, бабка моя была неграмотная, а с ней я проводил большую часть дня, но зато книг у нас было много (из киоска и для киоска) — что было делать с книгами, как не пытаться прочитать?

И все-таки удивительность в моем раннем чтении наличествовала. Удивительным было то, что научил меня Витя, мой брат (и мама ему не помогала). Он был старше меня почти на два года. Если трехлетние чтецы и не редки, то пятилетний учитель, конечно, необычен.

Он был, не сомневаюсь, выдающимся человеком, мой брат Витя. Все, что он делал и говорил, после его смерти стало легендой среди родных и знакомых — и оно заслуживало того. Он отличался от всех нас — и внешне, и по характеру.

Туберкулез у него открылся, если не ошибаюсь, года в четыре, но необычен он был еще до болезни — я помню его лицо, к тому же у мамы сохранились фотографии. Страшно серьезный, с огромными глазами, с пышными темными кудряшками, он был иного типа, чем я или мама. Возможно, он походил на нашу греческую родню, южная кровь явственно забивала русскую половину.

В нем, ребенке, не было ребячливости. С ним мало играли. Он не заводил друзей среди мальчишек (я был единственным исключением). Мама любила его беспредельно и безраздельно,

страстно и нежно. Я не был ее любимцем, ко мне она относилась с холодным безразличием, впоследствии превратившимся почти во враждебность. Она говорила мне: «Я любила Витю, а не тебя. Витя был такой больной и несчастный, а тебя все цацкали, с тобой носились, тобой восхищались — зачем мне было тебя любить?» Привязанность к больным, жалость к несчастным, недоброжелательство к здоровым и удачливым были в ней уже тогда, потом они разрослись и перешли на животных — она окружала себя неописуемыми собачьими и кошачьими развалюхами, когда жила одна!

Бабушка, тоже любившая Витю, но далеко не так, как меня, часто мне жаловалась после его смерти:

— С Витенькой было трудно. Что ему ни скажешь, он не верил. Никакой правде не верил, все ему покажи, дай потрогать. Витенька, говорю, надо делать так, чтобы Бог поглядел и порадовался на тебя. «А как он глядит, бабушка?» — «Глазами, Витенька, такими же глазками, как у тебя». — «Откуда он глядит?» — «С неба…» — «Так далеко смотрит… А как он может?» — «Бог все может!» — «А если я в комнате, как он увидит?» — «Он через крышу видит!» — «А если я в погреб спрячусь?» — «И в погребе увидит». — «Там же темно!» — «Богу и в темноте светло». — «Нет, бабушка, этого не бывает, в темноте света нет, Бог не увидит, что я делаю в погребе ночью». Тебя бы, — сердито заканчивала бабушка, — я за такие слова отшлепала, а Витю жалко было, он ведь слабенький, да и не со зла на Бога наговаривал, обо всем ему надо было задуматься. И ничего плохого не делал, проказы (не то что ты) недолюбливал…

Я, конечно, передаю не дословно, но суть верна.

Для меня было загадкой, кто научил Витю читать и писать. Мама убежденно говорила: «Сам научился!» Сам научиться он не мог, но допускаю, что помощь взрослых была так несоразмерна успехам, что и впрямь могло показаться, будто он осилил грамоту самостоятельно. Как бы там ни было, года в четыре он хорошо читал, немного писал, немного считал, а поднаторев в чтении, стал преподавать это искусство мне.

Игрушки он недолюбливал, а мне подарили железную дорогу — рельсы, пружинный паровозик, семафоры. Твердо знаю, что хитрая эта конструкция не просуществовала и двух дней. Я ее, конечно, разобрал и, конечно, не смог собрать. Витя что-то наладил, но починки были не про меня, после очередной игры сам изобретатель паровоза не мог бы его воссоздать. Мы с Витей оставались одни — мама сидела в киоске, бабушка уходила на базар или подрабатывала у кого-нибудь домашними услугами — стирала белье, мыла полы, таскала дрова на кухню. Витя садился

на пол, я плюхался рядом. Он раскрывал букварь, показывал картинки, называл буквы, учил их складывать. Думаю, ученье на первых порах шло не борзо, Витя часто говорил мне:

— Селезя, ты дуляк!

Он не сердился, не раздражался, не вспыхивал и уж, разумеется, не бил меня, только произносил эту фразу, которая десятки лет потом звучала в моих ушах: «Селезя, ты дуляк!» И говорил так огорченно, с таким страданием за мою неспособность, что я, вероятно, из кожи лез, только чтобы не услышать ее снова. Она действовала куда сильней маминых колотушек и бабушкиных укоров.

Я боялся смотреть на брата, на его нахмуренное лицо, я знал: я, естественно, дурак, куда мне до Вити, но я честно старался постичь урок, я вглядывался в буквы и картинки, каждая буква была картинкой, я соединял в уме одну с другой, обе с третьей, три с четвертой и пятой и вслух объявлял, что получалось. Но получалась иногда такая несусветность, что приходилось опять выслушивать серьезное и печальное:

— Селезя, ты дуляк!

Каждый день мы сидели на полу, постигая тайны букваря, и Витя честно говорил маме, забегавшей нас проведать, — он в эти одинокие часы отвечал за мое поведение:

— Селезя не баловался, но Селезя дуляк!

Этот приговор до того соответствовал маминым представлениям о моих способностях, что она никогда его не опровергала, только в утешение целовала меня, как и Витю, торопливо усаживала за стол, торопливо ела сама и уходила в киоск. Посуду убирала уже бабушка.

На фотографиях Витя лихо разъезжает на велосипеде, просто стоит рядом со мной, но я не помню его без костылей. Костный туберкулез, уведший его в могилу, вскоре после ареста и высылки отца так обострился, что брата положили в больницу. Отныне и до смерти я видел его только в те дни, когда разрешалось посещение и мама брала меня с собой.

Я остался без строгого наставника и друга. И оказалось, что за время наших занятий я так сносно научился читать, что мог коротать одиночество с книгой. Одиночество было странным, я не тяготился им, пока не наступала темнота.

Днем я гонял по улице, частенько наведывался к маме в киоск, а когда она отправлялась в типографию за вечерними газетами, возвращался домой. Дома было темно, только в уголке перед образом Богородицы и деревянным складнем с Христом теплилась лампадка, но она часто гасла (то ли лампадного масла не хватало, то ли фитилек не справлялся). И при лампадке было

не сладко, Христос, строгий, как мой брат, только не такой всепрощающий, грозно глядел со складня огромными темными глазами. Куда бы я ни забивался, меня настигали безжалостные Господние глаза, у меня спирало дыхание, я уныло вспоминал, что натворил за день. Грехов выходило так много, что карающий взгляд вполне мог смениться чем-нибудь посущественней — например, низвержением в ад. Каждый вечер я чуть ли не ждал, что меня прямо из удобной постели вышвырнет в адские котлы — честно говоря, ожидание было не из приятных. Я начинал отчаянно, самозабвенно молиться: «Больше не буду!», «В последний раз, Боженька!» Собственно, это была не молитва, а мольба, вряд ли она могла порадовать бабушку, старательно обучавшую меня взывать к Господу по-хорошему и уверяющую, что никакой отсебятины Господь не потерпит, лучше уж совсем не молиться, чем разводить самодеятельность.

При колеблющемся огоньке лампады было жутковато — легкий ветер клонил, осаживал и приглушал огонек, Богородица, закованная в золоченый оклад, не менялась, но Христос то темнел, то светлел, глаза его тускнели, затем зловеще разгорались — и в это время смотреть на него было выше сил. Но все же и Богоматерь, и Сын ее, грозные судии моих прегрешений, были надежными защитниками от всякой ночной погани, они не только укоряли меня, но и оберегали от разных злых сил — такова была их главная служба в мире (это-то я твердо усвоил!).

Когда лампада гасла, охранительная мощь икон пропадала — и становилось вконец страшно.

Я сидел на кровати, поджав под себя ноги. Я твердо знал, что внизу копошатся существа, норовящие ухватить меня, как только я зазеваюсь. Я почти видел, как кто-то плотоядно облизывается в углу. По полу бегали тени, что-то ползало по потолку, что-то стукалось в окна, пытаясь прорваться сквозь стекло, на кухне кто-то урчал и поскрипывал, притворяясь голосом половиц. Меня окружали неведомые враги, я был целью их охоты. Единственное спасение — ни в коем случае не сходить с кровати, как бы ни хотелось на горшок, и (особенно) не показывать страха.

Я начинал громко петь, а когда истощался скудный песенный репертуар, громко рассказывал себе прочитанные сказки. «Говорит она ему: опечален почему?» — бесстрашно бросал я во тьму и содрогался от ужаса. Это была вечная битва с темными силами ночи — и я еженощно обязан был побеждать, ибо первое же поражение означало смерть.

И я сражался, предчувствуя погибель, и чем сильней было предчувствие, тем громче я кричал на все, что таилось под кроватью и по углам, шастало по потолку, кралось по полу: «И

тогда царевна-лебедь взмахнула широкими крыльями и полетела далеко-далеко!» Я мучился, изнемогал, почти плакал, но перемогал ужас и бессилие и отталкивал громким голосом все, что грозило мне из темноты!

И когда в квартиру входила бабушка, я, радостно визжа, бросался к ней, прижимался, повисал на шее. Мама задерживалась в киоске допоздна, бабушка всегда приходила раньше. Ее приход был избавлением. Думаю, она не понимала, какие ужасы окружали меня в моем темном одиночестве.

Иногда она сердилась: «Опять ты не спишь допоздна, горе с тобой!» — а я стыдился рассказывать о своих страхах. В доме горела лампа, по комнате ходила бабушка, теперь можно было подумать о сне. Она все равно не поверила бы, что засыпать одному было опасно, что на меня сразу напали бы, что единственным спасением было бодрствование, — нет, не поверила бы, не поняла, начала стыдить, может быть, даже накричала. Я требовал:

— Бабушка, расскажи сказку, тогда усну.

Она садилась рядом, заводила недлинную историю, и я, спасенный, засыпал.

Вряд ли мама понимала бездну ужаса, наваливавшегося на меня во время вечернего одиночества. Бабушка же, входя в комнату, расценивала мою радость очень просто — как любовь к ней и, растроганная, отвечала нежностью и лаской. Боюсь, она бы обиделась, если бы узнала истинную причину моих восторгов…

Я был самолюбив уже тогда (а впоследствии самолюбие мое стало патологически острым) — это мешало признаться, что я просто боюсь темноты. Видимо, страх этот я передал по наследству. Дочери мои, сколько знаю, не очень боялись тьмы, а сын ее определенно недолюбливал и защищался так же, как и я, — громко и фальшиво распевал песни. Правда, сказок вслух он себе не рассказывал.

Вите в больнице становилось не лучше, а хуже. Помню наше последнее свидание (день, видимо, был неприемный). Мы с мамой прижались к больничной решетке, по другую сторону стоял Витя — на костылях. Мама совала ему угощения, гладила его волосы, что-то долго и нежно говорила — он слушал, молчаливый, очень серьезный, очень насупленный. Возможно, он уже понимал, что не жилец. Я просто картавлю, а он вообще заменял «р» на «л» — это у всех нас (и у наших с Галей детей) от бабки Каролины: предки ее из Баварии, а там, кажется, недолюбливают «р». Во всяком случае, Каролина его не произносила.

На прощание Витя грустно прокартавил, по-взрослому

протянув мне руку:

— Селезя, до свиданья!

Мама тихо проплакала всю дорогу домой — и я боялся отвлекать ее. Я знал: я безмерно виноват перед братом, потому что подвижен, крепок, потому что забрал себе все здоровье, отпущенное на маминых детей. Я готов был наказать себя, но ничего не мог изменить — и оттого молчал, чтобы хоть этим компенсировать мое плохое поведение.

Обещанного свидания с Витей не состоялось. Он умер, не дожив до семи лет.

На похороны приехал отец. Потом я узнал: мама послала ему телеграмму, что Вите стало хуже, покладистая ростовская полиция разрешила прервать ссылку на месяц или два. Современному здоровому гуманизму, возросшему на беспощадности и исповедующему догму «Если враг не сдается — его уничтожают»[1] (разумеется, во имя человечности), подкрепленную формулой Багрицкого: «Оглянешься — а кругом враги; руку протянешь — и нет друзей» (сколько же людей нужно человеколюбиво уничтожить?) — такая слюнтяйская акция жестокой царской полиции, возможно, покажется гнилым либерализмом и признаком духовного и социального вырождения. Что ж, опровергнуть это трудно. Но, как бы то ни было, отец приехал в Одессу, и Витя умер при нем.

Похорон я не помню — возможно, меня просто не взяли на кладбище. Но на могилу брата я ходил часто — с мамой и бабушкой, с мамой без бабушки и один. Витя лежал рядом с сестренкой Ниной — два крохотных холмика, два маленьких деревянных креста, березка по одну сторону, куст сирени по другую. Здесь мама часами плакала — тихо и горько, а я сидел рядом, боясь не то что звуком — жестом ей помешать.

А где были могилы брата Бори и еще одного мальчика, умершего от водянки, я не знал — мама, вероятно, ходила и к ним, но там она не задерживалась.

3

Бабушка, как я уже говорил, была неграмотной.

Гюго утверждал, что книга убила камень — открытие книгопечатания вызвало регресс архитектуры (опосредованно, конечно). Сомневаюсь — барокко и ампир свидетельствуют против Гюго. Но что книга губит изустную традицию — несомненно. Никто не будет старательно напрягать память, если можно просто перелистнуть страницы. Потребность знать (и знать много) — общая для всех людей, разница часто лишь в том, где

удобней хранить знания — в голове ли, в книге или в мнемонической электронике компьютера.

Бабушка знала бездну историй, сказок и легенд — и не умела вывести на бумаге свою фамилию. А если учесть, что рассказчицей она была превосходной (для нее, в полном смысле художника слова, был не так важен сюжет, как орнамент впечатлений), станет ясно, с каким нетерпением мы с Витей ожидали сумерек — обычного часа сказок. Рассказывала она, разумеется, в любое время года, но я почему-то помню осени и зимы. В холодные и темные вечера сказкам предшествовал целый ритуал. Закончив приготовление ужина (и обеда на завтра), бабушка водружала на горячую плиту перину и подушки. Пух отлично прогревался — она переворачивала перину на горячую сторону, усаживала нас с Витей, сама взбиралась на плиту — и начинались сказки.

Свет не зажигали (нужно было экономить керосин) — и так было лучше: в темноте ярче работает воображение. Иногда Витя перебивал бабушку недоуменными или скептическими вопросами, она сердилась, что он ее сбивает, а я только слушал, слушал — и просил еще. Все было удивительно — и горячая перина под нами, и добрый голос бабушки, и сами сказки о братьях-богатырях, бедных царевнах, удачливых царевичах, верных волках и конях, злых волшебниках и ведьмах. И даже темнота, которая стала так терзать меня после ухода Вити в больницу, была волшебно прекрасна — в ней отчетливей прорисовывались образы и события, которые создавала бабушка.

Утро начиналось с молитвы — во всяком случае, наше с Витей утро, ибо, когда мы просыпались, отца с матерью уже давно не было. Молитвой командовала бабушка. Обычно добрая и покладистая, в процедуре утреннего общения с Богом она была строга, как старшина-украинец в казарме. Можно было не умыться (или только сделать вид, что умываешься), но не преклонить колени перед иконой было невозможно. Сначала опускалась на пол она сама, с боков коленопреклонялись мы. Она громко читала «Отче наш» — мы повторяли ее слова и жесты. Витя — без особой охоты и с некоторым недоверием, я — с верой и усердием (мне — в отличие от скептика брата — и в голову не приходило усомниться).

И надо же было случиться, что именно меня бабушка высекла за глумление над символом веры — и это была единственная порка, которую я от нее изведал.

Когда она торжественно начала: «Отче наш, иже еси на небеси…», а мы хором повторяли, она вдруг прервала моление и с ужасом посмотрела на меня:

— Сережка! Ты как говоришь? А ну-ка, повтори! Я охотно повторил:

— Отче наш, ниже виси на небеси…

Разъяренная, она спустила мои штанишки и стала околачивать ладонью зад, гневно твердя:

— Вот тебе ниже виси! Вот тебе ниже виси! Над Богом издевается, разбойник! В кого ты такой уродился?

Витя за меня заступился, я, рыдая, уверял, что и не пытался посмеяться над строгим Богом — бабушка не слушала.

Сегодня, с высоты моих шести десятков, я понимаю: мы все были правы — и она, увидевшая посягательство на священные формулы, которыми слабый человечек должен молить всевластного хозяина, и я, со слезами и божбой доказывавший, что молился искренне и серьезно. Вероятно, в тот день я верил даже больше, чем бабушка, ибо вносил здравый смысл в непонятную фразу «иже еси на небеси».

Что Бог живет на небе — это я усвоил. Что ему ежедневно, перед иконами, громко и внятно надо возносить прошения и мольбы — тоже понимал. Но я уже знал, что отнюдь не все моления будут услышаны — очевидно, владыка слишком вдали, его небесный престол чересчур высоко над землей. И слова «ниже виси», следовательно, были не издевательством, а горячей просьбой занять положение поудобней — чтобы лучше разобрать прошения земных слуг. Они уточняли молитву, наполняли ее живой плотью настоящей, от сердца, веры, превращали бюрократический формализм навсегда затверженного текста в деловой совет меньшого друга, в них была жизнь, а не догма. Бабушке бы порадоваться их глубине, а не прибегать к обидному рукоприкладству, делая задницу ответственной за душевный порыв.

Хорошо помню, что с этого дня у меня возникло какое-то недоброжелательство к Богу, восседавшему «на небеси». Я обиделся на него. Он-то должен был понимать, что я не глумился! И мог бы просветить бабушку. Господь не из хороших людей, с ним лучше поменьше общаться — таким было мое смутное ощущение.

Болезнь Вити не оборвала ежедневных вечерних сказок — просто у бабушки стало меньше слушателей. И сердиться она перестала — Витя расспрашивал, когда было непонятно, возражал, если видел несуразности. Я просто слушал и верил во все. И после пересказывал Жеффику — или самому себе. «Витя был рассудителен, ты наивен, — объясняла мне потом мать. — Просто удивительно, до чего ты был наивен!»

Наступили тяжелые времена — преддверие революции и

гражданской войны, и бабушка все больше выпадала из моей жизни. Она еще водила меня в церковь по праздникам, еще устраивала «сказочные вечера», но их становилось все меньше, а утренние молитвы все чаще предоставлялись моей совести.

Не могу сказать, чтобы совесть утруждала меня поклонами и длинными молениями — вряд ли ее хватало больше чем на пару торопливых крестных знамений и невнятный бубнеж «Отче наш». Только в утра, следующие за серьезными проступками, я хоть как-то старался — на всякий случай, чтобы задобрить боженьку (очень уж грозно подступали ко мне адские врата в некую геенну огненную…)

Я кое-что знал об этом — недаром в одесском зоосаде именно гиена вызывала у меня самый мертвящий ужас и самое живое отвращение, я боялся даже останавливаться у ее клетки. Это было воистину адское животное — об этом ясно говорило его название. Да и вид гиены соответствовал ее нехорошему имени…

Бабушка умерла в конце восемнадцатого или начале девятнадцатого года. Стояла зима. Было очень холодно. Я не вылезал из кровати. Сидя на перине, обложенный подушками, в комнате, где вода в ведре покрывалась такой плотной коркой льда, что приходилось делать прорубь, чтобы набрать кружку, я прижимал к себе Жеффика и изо всех сил старался сохранить еще оставшееся в нас тепло.

Бабушка, накормив нас чем бог послал, — а посылал он теперь крайне мало — брала джутовый мешок и уходила на розыски топлива. Раньше любимым ее присловием была легкомысленная сентенция: «Бог даст ден, Бог даст и пищу на ден!», она радостно возглашала этот символ своей веры, не обращая внимания, что мама сердится — ей не нравилось, что бабушка портит внуков: Бог давал день значительно легче, чем еду, мама говорила об этом резко и прямо.

Теперь становилось ясно: мамина взяла! День был, а пищи не было. И находить ее стало так трудно, что задание это мама у бабушки отобрала. Еду надо было добывать, а не покупать, для старухи это было непосильно. На ее плечи упала добыча топлива, упала и в переносном, и в прямом смысле — вечерами, шатаясь, она вваливалась в комнату. Мешок летел на пол, она опускалась на стул и что-то бормотала, качая седой головой. Я знал, что это означает: хорошего топлива найти не посчастливилось.

Иногда она тихо плакала, вытирая очень морщинистые щеки такой же морщинистой ладонью. Это было еще хуже: бабушка ничего не принесла, готовить еду не на чем, квартиру согреть нечем.

После бабушкиного возвращения начиналась моя работа —

первая в жизни. Мешок высыпали на пол. В нем всегда было одно и то же — шлак, который машинисты паровозов выбрасывали на колею. Бабушка выискивала несгоревшие, обгоревшие и не совсем превратившиеся в золу кусочки угля, туда же, в мешок, совала щепочки, сухие веточки, бумагу, тряпье — все, что могла найти. Моя задача была рассортировать ее добычу.

Истосковавшийся по движению и теплу, закутанный во все одежды, какие были в доме, я энергично раскладывал по отдельным кучкам хорошие угольки, еще годящийся в топку шлак, щепочки и ветошь. И я не помню, чтобы меня корили (а тем более — наказывали) за неаккуратность.

Бабушка растирала ноги, крестилась, охала, шла к печи и выгребала оттуда вчерашнюю золу. Мне разрешали взобраться на стул рядом с плитой и любоваться скудным огнем, разгоравшимся медленно, с едким дымком, и зачастую внезапно гасшим. Бабушка дула в плиту, чихала, отплевывалась, иногда, не справившись, снова плакала, но чаще ей удавалось разжечь пламя — и тогда на конфорки водружались чугунки со смесью воды и льда.

Дым наружу обычно не выгоняли — вместо него врывался холодный воздух, а он был хуже дыма. Лишь в очень большие дымостои, когда все пропадало из виду, бабушка приотворяла — и то лишь на несколько минут — наружные двери.

Еда была не только скудна, но и однообразна — ячневая каша (то есть молотый ячмень) и каша перловая (то есть ячмень немолотый). Мне первому выдавали ужин — я, конечно, не наедался, но острого голода уже не ощущал. Сразу после чая (горячей воды, заправленной морковным настоем) или гораздо более вкусного кофе (той же воды, но с настоем из жженого ячменя или жженых желудей; потом я часто удивлялся, что напиток этот вышел из употребления — таким райским он мне казался) с меня снимали пальто и прямо в рубашке и штанах немедленно отправляли спать.

Я скулил, что хочу еще посидеть, пока едят мама с бабушкой, но мама была так категорична, что ослушаться не удавалось. Потом я догадался, почему мне нельзя было оставаться на их ужин — ужина у них не было. Очевидно, львиную долю еды отдавали мне, а им оставались поскребки — только чтобы не протянуть ноги. Я ел — скудно и невкусно, но ел, а они — голодали.

Мама, более крепкая, выдюжила. Бабушка, не такая уж и старая (ей шел всего семьдесят третий год), свалилась от истощения. Когда-то она бежала от голода из Орловской губернии в хлебодарную Новороссию. Но он настиг ее и в

Новороссии. Она умерла от голода.

Каждый умирает по-своему — бабушка уходила смиренно. Может быть, нужно найти другое слово, более верное медицински, но я не могу: смиренное умирание — самое точное определение. Она не вставала с постели — и в комнате снова теплилась лампада (до бабушкиной болезни на лампадном свете тоже экономили). Иногда я поправлял фитилек — кусок нитки, продернутый через картонный поплавок. Сумрачный свет озарял строгое лицо Христа, хмуро сияла позолота оклада, а бабушка, беззвучная, неподвижная, такая маленькая на двухспальной кровати, медленно уходила из жизни.

А потом началось то, что навсегда осталось в моей памяти зримым образом смерти. В теле уже не было сил, а руки жили — они одни и жили, отчаянно не хотя умирать, отчаянно борясь с окостенением, но тоже по-своему, не бурно, не возмущенно, не протестуя, а как-то удивительно смиренно. Бабушка лежала на спине, она еще дышала, а руки ползли по груди к горлу и здесь, на горле, медленно шевелились, пальцы скрючивались и распускались, они словно нащупывали что-то. Бабушку душили неведомые путы, от них надо было освободиться, это были путы смерти — пальцы старались сорвать их. И вдруг, ослабев, руки падали, даже не падали — гасли, это единственное точное слово. Уже умершие, они лежали вдоль тела, потом в них опять что-то пробуждалось — они ползли на грудь, карабкались вверх, к горлу, и начинали новую безнадежную борьбу… Бессчетно, раз за разом — так мне казалось.

Я сидел неподалеку. Мамы не было — но она приказала мне ухаживать за бабушкой и помогать ей, если та захочет на минутку сойти с постели. Бабушка ничего не хотела. Она не пыталась встать, даже глаз не открывала, она лежала неподвижная и безгласная, почти мертвая — только руки еще жили…

Мама часто говорила, что перед смертью бабушка благословила ее и меня образом Богородицы — на долгую жизнь, на большое счастье. Этого я не помню.

Зато вижу, как бабушку увозят на кладбище: телега, на ней — гроб, накрытый рядном, и возница покрикивает на лошаденку. А за телегой идем мы с мамой — и она крепко держит меня за руку…

4

В детстве — как и всю жизнь — я бывал всяким. Порой во мне сидела похвальная (и длительная — на месяцы) благопристойность, временами перло дикое озорство…

Знаю одно: в отличие от Вити, сосредоточенного и самоуглубленного, я был непомерно общителен. Лез на все колени, требовал сказок и внимания — и всем приходящим рассказывал одну и ту же историю о царевне-лягушке: «А лягушка плиг, плиг! А лягушка плиг, плиг!» Если бы мои дети так надоедали мне и гостям, я быстро бы им внушил, что они неправы — а мне все сходило с рук. Конечно, иногда меня обрывали — но никогда не наказывали. Временами (разумеется — впоследствии) я поражался долготерпению окружающих.

Отсутствием аппетита я не страдал, но с детства умел превращать еду в тяжкое испытание для близких. В хорошие годы (до войны и в ее начале) продуктов было завались — и куриный бульон стал обязательным элементом моего меню. Я от него не отказывался — но ложку отвергал. Я хлебал бульон косточкой от куриной ножки (там, на суставе, есть крохотная ложбинка) — и никак иначе. При таком способе обед мог растягиваться на часы — как это можно было вытерпеть? Сам бы я полез на стенку, если бы при мне кто-нибудь осмелился так издеваться над едой…

— Неужели ты никогда не пыталась справиться со мной силой? — удивленно допрашивал я маму, когда подрос. — Побила бы, что ли!

— Это никому не мешало, — отвечала она, — хватало и более серьезных причин тебя бить.

Меня любили. Больше того — я был всеобщим любимцем. Мама объясняла свою холодность именно тем, что любви мне и так перепадало с лихвой. Я с удовольствием тараторил, редко плакал, был потрясающе легковерен и наивен — это не могло не нравиться взрослым, в любом из них я утверждал сознание взрослого превосходства. И потом — в детстве я был красив…

Юношей, рассматривая в зеркале худое, носатое, красногубое лицо, я удивлялся: куда что девалось? Когда-то я был похож на девочку — и мама подчеркивала это и длинными моими волосами, и яркими костюмами.

Днем я торчал у ее киоска и часто попадал в объятия какой-то девицы-маникюрши, ходившей на работу по Прохоровской. Я жестоко ее ненавидел! Она измывалась надо мной. Она целовала мой рот и говорила приторно-нежным голосом: «Мальчик, в каком магазине ты покупал такие красивые губы?» Однажды я больно укусил ее в щеку. Она заплакала. Мама отшлепала меня, но своего я добился — маникюрша больше не восхищалась моими губами и не намекала на их магазинное происхождение.

Кстати, у мамы сохранилась ее фотография. Юношей я часто вглядывался в красивое лицо и жалел о своей грубости. Если бы меня снова поцеловала такая девушка, я бы, конечно, не убирал

губ…

5

Когда началась Первая мировая война, в моду вошла военная одежда. Мама обрядила меня в мундир пехотного офицера — с погонами и шашкой на боку. Против шашки, пусть игрушечной, я не возражал, но мама оставила мне длинные, почти до плеч, волосы — а это было ни к чему. Мои мольбы успеха не имели, я попытался действовать сам — от меня стали прятать ножницы. Неудачным оказался и другой, хитроумно задуманный и терпеливо подготовленный план.

Ежедневно мне выдавалась копейка (или две) — на семечки. Я стал их копить, постепенно обменивая на серебро. Когда состояние мое достигло огромной суммы в 20 копеек, я направился в парикмахерскую.

— Мама сказала, чтобы вы остригли мне волосы, — доложил я мастеру.

Он покачал головой.

— Такие волосы не снимают, мальчик. Приведи сюда маму — и я буду иметь удовольствие видеть, как она ремнем всыпет тебе за эту просьбу.

Я вышел из парикмахерской расстроенный. Неизрасходованное состояние жгло руки. Я купил несколько стаканов любимых тыквенных семечек и коробку папирос «Цыганка». Папирос было десять, на крышке красовалась лихая черная девица с чудовищными серьгами. Я решил стань курцом — небрежно зажатая в зубах папироса смягчит позор длинноволосости.

Выпуская из носа клубы дыма и лихо постукивая шашкой по ноге, я неторопливо шел по Мясоедовской. На Госпитальной закурил вторую папиросу, свернул на Костецкую, вышел на Прохоровскую — и потерял сознание. Кто-то на руках притащил меня к киоску — я помню испуганное мамино лицо. Она принесла меня домой, уложила в кровать, обложила голову компрессами — и то ругала, то упрашивала больше не прикасаться к папиросам.

— Буду курить, если не острижешь волосы, — твердил я, плача. — Всю коробку выкурю!

Во избежание греха мама выбросила «Цыганку» в помойное ведро. Шантаж мой успеха не имел — шевелюра осталась. Восемь папирос мне скурить не удалось — за всю остальную жизнь их было только две (зато не с таким плачевным результатом). Итого, четыре папироски за шестьдесят лет — на большее моих

курительных потенций не хватило. Иногда я даже хотел посмолить, но не мог: отвращение оказывалось сильней.

Подрастая, я часто оставался в квартире один — и даже начинал чувствовать себя хозяином. Не могу утверждать, что чувство это всегда имело под собой основания. Пол я как-то подметал, мог и мусор вынести — хотя старался делать это тайно (очень уж стыдно было). Однако роль свою в домашнем устройстве преувеличивал — и весьма сильно.

Однажды в доме готовились к большому празднику. Мама принесла двух гусей и две бутылки запечатанного церковного вина — и сказала, что завтра вечером придут гости. Помню, как бабушка (она была еще жива) при свете керосиновой лампы ощипывала птиц, я усердно ей помогал. Утром мама побежала в типографию за газетами, бабушка, начинив одного гуся яблоками, а другого — гречневой кашей, сунула их в духовку. Когда они подрумянились, она тоже ушла — до вечера. Из духовки несло таким дурманящим запахом, что и у сытого слюнки бы потекли. Наверное, я не раз в нее заглядывал — чтобы отщипнуть, где понезаметней.

Во дворе я с гордостью объявил, что у нас вино и печеные гуси. Мне не поверили — я распалился. Все вопросы у нас решались на «спор». Меня прямо спросили: берусь ли я на спор доказать, что гуси имеются и зажарены, и что поставлю, если проиграю? Я поставил конфетные обертки — такие же обертки были предъявлены мне.

Толпою в десять-двенадцать голов мы двинулись на кухню. Гуси были торжественно вынуты и поставлены на стол, туда же я водрузил и две запечатанные, с ленточками акциза на горлышках, темные бутылки со сладким красным вином. Распираемый гордостью, я разрешил попробовать угощение — и сам к нему приложился.

Не прошло и часу, как все было выпито и съедено. Ошалевшие от выпивки и обильной жратвы, мы затянули песню — все пьяные в городе пели, мы не могли пренебречь обычаем. А когда хмель немного повыветрился, товарищи мои разбежались, а я остался сидеть перед заваленным объедками столом.

Тогда и появилась мама. Я знал, что долгой и основательной порки не избежать — ремнем по мягкому месту мне доставалось и не за такие прегрешения. Вероятно, я даже хотел наказания — кара все-таки снимала вину.

Мама с ужасом смотрела на стол и на меня. Ее лицо убеждало, что наказание нужно принять безропотно, каким бы оно ни было. Я даже хотел усилить его, чтобы хорошая боль очистила совесть, — и почти весело, с вызовом, начал

рассказывать. Но то, что произошло после, потрясло куда больше порки. Мама села у окна, закрыла лицо руками и разрыдалась.

— Сереженька, что ты наделал! Они же сейчас придут, я не успею ничего приготовить!

Я тоже разревелся.

— Мама, побей меня! — попросил я. — Не плачь, побей меня посильнее!

— Ты пьян! — сказала мама. — Боже мой, ты, наверное, много выпил. Ты можешь заболеть.

— Побей! — молил я. — Побей, я тебя прошу! Возьми папин ремень, он в комоде.

— Немедленно ложись спать, — приказала мама. — Хорошо, если отделаешься поносом.

Она поддерживала меня, когда я шел к кровати, и даже хотела бежать за врачом — так страшно я был бледен (она мне потом сама это рассказывала). Но заснул я быстро, дышал ровно. Сквозь сон смутно видел, как сходились гости — родственники и друзья, праздничные парочки, веселые, шумные…

Все закончилось сравнительно благополучно — гости поохали, повозмущались, посмеялись, мама просила прощения — и все (даже она) скоро забыли о неудачном угощении. Все — кроме меня.

Но далеко не все мне сходило с рук — причем иногда не в переносном, а в буквальном смысле. Как-то один из мальчиков, здоровяк и силач (лет восьми-девяти), забавлялся тем, что бил молотком по стенам — просто бил, по сучкам, зазубринам, мелким пятнам… Зрелище было захватывающее, вокруг толпилась малышня.

— Я бью как стреляю — какое угодно место с одного удара попаду, — похвастался он. — Иду на спор, что не промахнусь.

Черт дернул меня поспорить! Восьмилетний верзила окинул меня презрительным взглядом.

— Сопля! С тобой спорить, сосунок! Клади палец на стену, вмиг расквашу!

— И положу! — упорствовал я. Он бил неточно, это видели все.

Он перевел спор на деловую почву.

— Что ставишь?

— Папиросные этикетки.

Я приложил к стене средний палец правой руки — здоровяк размахнулся и ударил. На этот раз он не ошибся. Брызнула кровь. Молотобоец-любитель испугался, позорно закричал и удрал. Я опрометью кинулся домой.

Бабушка чуть не упала, увидев мой искалеченный палец. Она

опустила его в ведро с водой — вода порозовела, потом потемнела. Бабушка побежала за мамой.

Мама примчалась через минуту, перетянула руку у локтя, завернула ладонь в полотенце и повела меня на Госпитальную, в больницу. Там сделали перевязку. Я был так ошарашен случившимся и так напуган обильным кровотечением, что в первый момент как-то забыл заплакать, а потом было неудобно.

Сначала я боялся, что меня накажут, но быстро сообразил, что на этот раз кара минует. Это ободряло.

Мама тоже не плакала, зато бабушка разливалась за всех нас и грозилась оторвать «молотобойце» голову. Кстати, дома его выпороли — и, как он мрачно нас информировал на другой день, «больше, чем следовало». Впрочем, мне это мало помогло. Ноготь был разорван на две половинки и уже не сросся. На среднем пальце правой руки с той поры у меня растут два ногтя, сходящиеся под углом, — единственная моя особая примета.

Впоследствии я не раз удивлялся, что коменданты и охранники, составляя мой словесный портрет, тщательно выписывали всякие несущественности — масть и густоту волос, которые явно менялись, цвет глаз, тоже не очень постоянный, рост, полноту и прочее в том же духе, а вот эту примету, раздвоенный ноготь, ни разу не заметили.

Я им, конечно, не подсказывал.

Как началась Первая мировая, уже не помню — разве что на улицах появились автомобили. До войны моторов, как их тогда называли, было так мало, что явление хотя бы одного авто на Прохоровской (она вела от товарного вокзала в порт) вызывало смятение среди детворы. А теперь машины ездили часто, и было глупо бегать за каждой, отчаянно сзывая товарищей…

На улицах загремела военная музыка. Шли солдаты, ехали казаки с пиками, разносились команды офицеров — было чем любоваться и что слушать.

В мамином киоске появились восхитительные плакаты и открытки — ухмыляющийся огромный казак нанизывает на шашлычный шампур орущих и извивающихся германцев в шлемах с остриями (все они казались издевательскими копиями кайзера). Гордая надпись извещала: «Храбрый наш Козьма Прутков ищет на поле врагов».

Война туманила головы, вызывала разговоры, порождала шум и сумятицу. Ужаса не было. Отрезвление еще не наступило.

Для меня война означала свободу: теперь мама уходила на рассвете и возвращалась затемно. Я подрастал. Мне разрешалось самому переходить улицу и околачиваться около киоска (и даже сидеть в нем). Правда, на это требовалось разрешение Вити (он

был еще жив), а он не доверял моей самостоятельности.

Вскоре после начала войны (я уже говорил об этом) брата увезли в больницу, и у меня появился шанс стать настоящим «дворовым мальчишкой», как это называлось в Одессе, — первый шаг к тому, чтобы превратиться в «уличного». Высшей формой такого развития был «босяк».

И в материальном смысле война вначале не породила никаких затруднений. Базары ломились от снеди. В магазинах Чичкина, отделанных кафелем и освещенных яркими газовыми рожками, солнечно сверкали горы масла, вкусно пахли колбасы. В будние дни бабушка, по воскресеньям — мама брали меня с собой на базар.

Неподалеку, в трех-четырех кварталах, находился знаменитый Привоз, но туда ходила бабушка, мама предпочитала Косарку, небольшой рынок всего в одном квартале от дома. Косарка раскинулась на треугольной площади (примерно с гектар), к ней сходилось многолучье улиц: на первом углу — Мясоедовская, Комитетская и Средняя, на втором — Разумовская и Мастерская, в самую длинную сторону треугольника упиралась Южная, третий угол замыкало пересечение той же Разумовской и Садиковской.

Обычно такая бездна улиц, стекающихся в одно место, заставляет городские власти украшать устье прекрасными зданиями, создающими впечатляющую перспективу. Косарку окружали одно- и двухэтажные дома, она была самой невзрачной из городских площадей. Но рынок здесь был примечательный.

На две-три недели в году обычный продовольственный базар превращался в торжище рабочей силы, в средневековую биржу труда. В конце июня — начале июля по всей площади выстраивались косари — дюжие мужики и бабы (правда, их было гораздо меньше) со своими косами. По Косарке ходили мелкие помещики, управляющие имениями, просто богатые мужики и придирчиво проверяли наточку кос, вид косарей, ставили условия, торговались, били по рукам — приближались сенокосы, готовились к жатве. Сговоренные сезонники тут же садились в телеги и уезжали. Помню, какой-то мужик, положив наземь косу, хвастался мускулами: «Во, посмотри!» Мышцы, наверно, были могучими, но нанимали все же косарей, а не молотобойцев — сноровка была важнее силы.

Я сказал, что, кроме двух-трех недель, Косарка была обычным продовольственным рынком — но обычность относилась только к продовольствию. Базарчик этот мало походил на другие. Продажа здесь шла с возов. С раннего утра на площади выстраивались телеги, слышались конский топот, ржание и сердитые окрики

возниц: «Тпру, тпру, нелегкая тебя возьми!»

Торг начинался на рассвете и продолжался часов до четырех. Бабы, восседавшие на возах, поднимали рогожи, демонстрируя товар: домашнее масло в мисках и капустных листьях, копченые колбасы и окорока, зелень, фрукты, соленые арбузы и огурцы, муку, мед, патоку… И прежде всего, раньше всего — молоко, целое море топленого, густого, почти коричневого молока! На возах, в сене, чтобы не разбились и не расплескались, стояли десятки глечиков, глиняных, покрытых глянцем кувшинов, наполненных доверху. И не просто наполненных, а прокаленных в печи. Толстая румяная корочка плотно затыкала горлышко каждого кувшина, а под ней (толщиной в два пальца) теснилось не то масло, не то тесто — что-то коричневое, как шоколад, и не менее вкусное. Покупатели приносили на Косарку пустые глечики — и получали взамен полные.

После голодных лет войн и революции, когда наступил нэп, на Косарке снова появились возы с молоком, но торг был куда меньше, да и посуды, этих самых глечиков, не хватало, глиняные кувшины заменили металлическими — и вкус молока стал уже не тот.

На той же Косарке, с таких же возов, торговали самодельным хлебами — черными, серыми, солнечно желтыми, снежно белыми, всегда вкусно пахнущими, обычно крупными — килограмма на три, даже четыре. Покупательницы привыкали к продавцам: у того хлеб кисловат, у этого пресноват, у третьего сдобен, у четвертого сдобрен тмином и пахуч — в общем, подобрать можно было и на привередливый вкус.

Если война в первые годы и породила оскудение, так явственно обозначившееся позже, то я его не заметил. Зато хорошо помню, как запасали продукты на зиму. Нынешнему горожанину, прикованному к магазинам, не понять, что это значило.

К холодам готовились как в далекое морское путешествие. Завозили дрова и уголь, сараи и подвалы — у кого что было — доверху заполняли топливом. Это дело (вероятно, самое важное для взрослых) нас, малышню, особо не затрагивало. Зато продовольственные заготовки превращались в праздник.

Помню, что в квартиру втаскивали куль муки и мешок (поменьше) сахарного песку — на готовку, а в шкафчики укладывали сахарные головы в синих обертках — для стола. Кухню доверху забивали капустными шарами, бабушка их шинковала, я ел кочерыжки, а несъеденное тащил во двор — среди моих приятелей были и те, которые победней.

Солили не только капусту, но и зеленые помидоры, яблоки и

арбузы — тоже великолепная обжираловка. Арбузы на засолку покупались с возов — невзрачные, невкусные. Те, которые предназначались для стола, приносили с дубков, деревянных парусных суденышек, в конце лета и осенью густо населявших так называемую «военную гавань». Дубки шли из Херсона, Николаева, Голой пристани, Скадовска. Помню, больше всех ценились херсонские и голопристанские арбузы.

Мама, отправляясь в арбузный поход, брала с собой и меня. На маленьких суденышках — мне они казались огромными — вся палуба была забита кавунами. У свернутых парусов мачты стоял хозяин дубка. Каждый выбирал товар по желанию — «с надрезом» или без, хозяин называл цену. Обычно не торговались: она всегда была ниже, чем на рынке.

Я тоже «выбирал», то есть хлопал ладошкой по кавуну и просил маму взять вот этот, полосатенький, или соседний — черненький. Не помню случая, чтобы мама со мной согласилась, всю жизнь выборы (и не только арбузов) мне не удавались. Но меня это не огорчало — дело было вовсе не в кавунах.

Судно качалось на набегавшей волне, глухо билось бортом в причал, палуба убегала из-под ног — это было здорово, особенно если стоял вечер, и звезды над головой тоже метались, и клотик мачты чертил по ним свои кривые. Звезды были живые, как люди, гораздо живей: человеческая подвижность не изумляла, толпа на дубке и набережной не только двигалась, но и шумела, и толкалась, и незлобно поругивалась, а они молчаливо сверкали, молчаливо мчались — это было чистое движение, без сопутствующего гама, от него слегка кружилась голова.

Но самым большим праздником, конечно, было варенье. Его не варили, а творили, не изготавливали, а создавали — это был род искусства, а не кухонное ремесло. И как всякое искусство, оно нуждалось в восхищенных зрителях.

Тазы и чаны вытаскивались во двор по необходимости — там были печечки, составленные из кирпичей, но разделку ягод и разливку варева выносили на суд общественности из других соображений — ритуал требовал.

Моей, подмастерья, обязанностью было подавать сахар и миски с ягодами, открыто, а чаше украдкой — поглощать самые крупные экземпляры и вылизывать с тарелок сладкий ароматный «шум» (его снимали с кипящего варенья шумовкой или большой деревянной ложкой). В эти дни наш двор (да и соседние тоже) дышал ароматом кизила, райских яблок и винограда. И у всех малышей трещали животы. И мы гордились, как подвигом, неизбежными последствиями праздника. На другой день кто-нибудь непременно хвастался:

— Я так наелся, так наелся! Четыре раза ночью на ведро бегал, в первый раз думал: не добегу до горшка — нет, успел!

6

Война расширялась. В мировую схватку вторглась Турция: линейный крейсер «Гебен» обстрелял Одессу. Урон был ничтожный — эффект огромный. Могу представить, какие разговоры это породило среди одесситов, сходящих с ума и по меньшим поводам. Думаю, нападение «Гебена» довело воинственно-праздничные страсти до кипения.

Но странное дело: в памяти моей и моих друзей постарше — сужу по всем последующим разговорам — рейд крейсера к северным берегам Черного моря никак не отразился. Возможно, последующие трагические события вымели из головы и уличной трепотни вступление Турции в войну.

Зато отчетливо помню, как по Прохоровской шли полки, ехала конница, развевались знамена, кричали люди, женщины махали руками, мужчины бросали в воздух котелки и шляпы, картузы и кепки. Малышня тоже воевала — играми и насмешками над немцами.

Ненависть к врагу поменяла свою природу. В те годы Германия безусловно была самой выдающейся страной мира. Она уверенно завоевывала первое место в промышленности, в военном деле, в науке и культуре (кроме, может быть, живописи и поэзии), в социальном устройстве, в революционной теории и практике.

Гитлер начал схватку с миром, когда Германия и думать не могла играть ту блистательную роль, какая по неоспоримому праву принадлежала ей перед Первой мировой. С этой точки зрения фюрер пошел на войну, находясь во многократно худших условиях, чем кайзер. К нацистам относились вполне серьезно — со страхом, с ненавистью, с отвращением, но отнюдь не насмешничая и не глумясь над чудовищными их извращениями.

А над германцами кайзера измывались и хохотали, их представляли болванами и недотепами, толстый Михель (пивное чрево и пустая голова) выдавался за подлинный образ немца — понадобились тяжкие поражения, чтобы протрезвели до понимания реальности: орущий в пивной толстяк, трус и дурак если и существовал, то был исключением, а не правилом. Но взрослые тешились легендами об ограниченности врага, а мы бегали по улицам и орали: «Немец-фервалец обкакал свой палец, подумал, что мед, взял палец в рот!» Взрослые улыбались: они соглашались, что с немцами, особенно с какими-то фервальцами,

такие оказии возможны.

Первым реальным образом войны, ворвавшимся в мою жизнь, было исчезновение пьяных на улицах. В районе Мясоедовской и Костецкой, где жили в основном евреи, и в мирное время пили не лихо, но чуть подальше, на Степовой, Дальницкой и Малороссийской, в русско-украинском районе, никакой самый крохотный праздник не проходил без звона стаканов, дикого ора, пьяных драк и мертво спящих на тротуарах (а то и на мостовой). Каменная постель была не так опасна, как сейчас: умные лошади умели обходить храпящие тела. И вот пьяные превратились в редкость. Водка пропала. Ни кварт, ни соток, ни мерзавчиков! Правда, наклюкивались денатуратом, надирались политурой — но и денатурату поубавилось. У нас дома была спиртовка (ее питали из старой бутыли, содержимое которой уменьшалось с каждым розжигом), бабушка часто варила на ней кашу, грела молоко. Война превратила плиту в единственный источник огня.

Кстати, первое мое знакомство со спиртом (если не считать церковного вина) произошло на политурной основе. Как-то днем в проезде нашего дома трое людей процеживали жидкую краску через плотную тряпочку — мутная жидкость текла в подставленную кружку. Пили и закусывали по очереди. Я остановился неподалеку, с удивлением наблюдая за странным пиршеством, и, когда кружку взял третий мужчина, робко полюбопытствовал:

— Дяденька, что вы такое пьете?

— Можешь и сам попробовать, щенок! — Незнакомец захохотал и плеснул остатки мне в лицо.

Невыносимая боль обожгла глаза. Мне показалась: я ослеп. Схватившись за лицо, ничего не видя и надрывно вопя, я ринулся во двор. Навстречу выбежала бабушка. Кричала она, кричал я, со всех сторон, ответно надрываясь, спешили соседи. Кто-то притащил ведро воды — сначала в него погрузили всю мою голову, потом стали промывать глазные яблоки, протирать лицо мокрым полотенцем.

Не знаю, может ли спирт выжечь глаза, но я несколько дней провел в постели с повязкой на лице, и мама гневно выговаривала бабушке за нерадивость, а та только плакала. И приходил врач, который заворачивал мне веки, надев на себя диковинное зеркало, — это я хорошо помню. Зрение, к счастью, сохранилось и в молодости было очень сильным.

Три героя, так славно угостившие спиртом пятилетнего мальчишку, конечно, немедленно драпанули. Соседи твердили, что след ведет к строителям, работавшим где-то в нашем районе. Но еще Марк Твен справедливо заметил, что след привлечь к

ответственности нельзя — тем более что в моем случае никто и не собирался по нему идти…

Но я отвлекся. Мы все по-настоящему ощутили, что идет война, когда в Одессе появились пленные чехи. Разумеется, в австрийской армии были солдаты разных национальностей, но собственно австрийцев, тем более — германцев к нам не привозили. Чехов было множество, они свободно ходили по улицам. Вероятно, жили они в казармах для военнопленных и отпускали их лишь «на кормление» — но днем они заполняли город.

Удивительно, но одесситы относились к ним добродушно — даже доброжелательно. Взрослые выносили пленным еду — и те прятали хлеб в карманы, а кашу и супы с борщами выхлебывали на ступеньках. «Ну, и любят чехи сладкое, по пуду сахару могут сожрать!» — говорили вокруг. Бабушка как-то вынесла одному солдатику миску сахарного песку — так он высыпал песок прямо в торбу, а миску аккуратно вылизал. Малыши (я в том числе) не так одаряли, как устраивали обменные операции. Многие солдаты приносили тяжелый житный хлеб, угольно черный, пахучий, кислый (его выдавали в казармах), он казался нам — и сейчас, вероятно, покажется — необыкновенно вкусным. К тому же это была редкость — черный хлеб в магазинах южного города, где царствовала пшеница, не продавали. И когда во дворе появлялся «чех с солдатским хлебом», мы наперегонки мчались к нему с белыми булками и сайками, «франзолями», баранками, сдобой и сушками — хватали на кухнях все, что попадалось под руку. Мена была на редкость взаимовыгодная. Пленный получал белый хлеб, по которому стосковался, в весовой пропорции десять к одному, а мы упивались ароматным, вкуснейшим настоящим «житняком».

В памяти моей сохранилась еще одна сценка, разыгранная каким-то австрийским пленным. Я пришел из киоска. Во дворе около погреба сгрудилась толпа мужчин — они восторженно орали и радостно матерились. В стороне переговаривались и возмущенно плевались женщины. А когда какая-нибудь из них, любопытствуя, приближалась к толпе, ее бесцеремонно спроваживали — зрелище, видимо, было чисто мужское. Я, хоть и пятилетний, относился к мужской породе, к тому же мог пролезать у взрослых под мышками (а при большой охоте — и между ног), и мне не составило большого труда проникнуть в первый ряд довольно широкого круга, созданного мужчинами.

В центре его в одном «сербском ботинке» (сапожном творении весом, вероятно, с килограмм, если не больше, с толстенной подошвой, окованной железом) стоял высокий, очень

худой, очень жилистый чех с длиннющими усами. Я вначале посмотрел на его лицо, потом на ноги об одном ботинке и лишь потом разглядел, где был второй, — он висел на возбужденном, высунутом наружу члене. И чех, медленно поворачиваясь, чтобы все разглядели его потрясающее мастерство, так же медленно, без помощи рук, вздымал и опускал тяжеленную свою обувку. Он учтиво кланялся каждому ботинком, он приветствовал каждого взметаемым и склоняемым кожаным грузом — и в ответ несся громовый рев и хохот, кто-то в упоении даже забил в ладоши.

Потом чех сел на землю, деловито сунул разутую ногу в ботинок, столь же деловито спрятал сценическое орудие в штаны и радостно заулыбался зрителям. В него летели монеты, ему совали бумажки, бежали в квартиры, чтобы вынести оттуда что повкуснее — он принимал подарки, артистически кланяясь и прижимая руку к сердцу. А затем медленно удалился, отягченный разбухшим спинным мешком и провожаемый благодарными восклицаниями мужчин и возмущенным шипением женщин.

Впоследствии, знакомясь с бессмертным творением Баркова, [2] я часто думал, что легендарный предок Луки, до слез смешивший Ивана Грозного тем, что мастерски — тем же способом — выжимал гири, может быть, не уступал реальному чеху, но вряд ли превосходил его в этом редкостном искусстве.

7

Разлад между матерью и отцом глубокой трещиной прошел через мое детство.

Когда маме исполнилось пятнадцать, она нанялась упаковщицей на второй водочный склад. Вокруг нее уже начали виться парни — одним из них был мой отец. Она покорила его сердце сразу и на всю жизнь — и не только тем, что была миловидна (по южным критериям — даже красива). У нее было чистое, довольно сильное, звучное сопрано — в их заводском хоровом кружке (прототипе нашей самодеятельности) разучивали русские романсы, даже ставили сцены из «Жизни за царя»[3] и других опер. Она часто пела мне арию Антониды. И, в отличие от других работниц, она много читала, пробовала сочинять стихи, а потом, в годы революции, даже печатала их в большевистской газете. Так и не поладив с орфографией, она до старости любила писать письма стихами, чутко улавливая простейшие метры. Поэтических открытий не совершала, но корявые ее строчки поражали одновременно и полуграмотностью, и ясностью мысли, и каким-то явственным своеобразием. «Зиночка была самой замечательной женщиной в моей жизни!» — однажды признался

отец.

На их общее горе, он никогда ей не нравился. Невысокий, порывистый, вспыльчивый, переменчивый, страстный охотник до женщин, не верящий ни в бога, ни в черта, «ни в господа, ни в господина», он был воплощением всего, что пятнадцатилетней девчонке казалось неисправимыми недостатками. Ей нравился казак Герасименко. Я часто потом рассматривал фотографию этого господина. Он, конечно, мог покорить сердечко любой провинциальной красотки. Лихо и браво закрученные усы, ладно сидящий мундир (он скрадывал узость плеч), высокий воротник, откидывающий голову назад (что, безусловно, доказывало превосходство ее владельца над прочими смертными), низенькие сапоги и брюки с напуском — впоследствии я часто наблюдал подобную аристократичность низкорослых и узколобых у блатных великой сталинской эпохи.

На другой фотографии он уже в штатском. Усы даже подлинней (правда, уже не закручены), а пиджак с оттопыренными лацканами не делает плечи шире. Зато под ним — кружевная рубашка, какой и на современных стилягах не увидать. И на неулыбчивом лице прописано: верность и благонадежность. Доверься, не обману — говорит фотография. Мама готова была довериться. Герасименко сделал ей предложение, оно было принято. Но в любовные переговоры грубо вмешался отец.

Мама часто, то негодуя, то вздыхая, а порой — и улыбаясь, рассказывала, как совершилось умыкновение невесты.

Отец явился в дом, когда Герасименко чинно сидел у стола и вел со своей так и не сужденной ему суженой благопристойный разговор. Схватки соперников не было, беседа тоже длилась недолго. Отец вынул нож и бросил его на стол.

— Нож или порог! Задержишься на две минуты, одного из нас будут выносить.

Храбрый казак быстро сообразил, кого будут выносить и кто выйдет на своих, и безоговорочно выбрал порог. Он так заторопился, что отец захохотал ему вслед. Думаю, впрочем, ему расхотелось смеяться, когда он остался наедине с мамой — она-то была не робкого десятка! Но у нее не оставалось другого выхода.

— Саша объявил по всей Молдаванке, что зарежет всякого, кто попробует за мной ухаживать, — жаловалась она впоследствии. — Хороших ребят было много, на меня заглядывались, но даже подойти боялись — такого страху он нагнал!

Свадьба состоялась в 1905 году, когда маме (если верить ее нынешнему паспорту) было шестнадцать. Она утверждала, что в

тогдашних документах ей добавили два года, чтобы создать благопристойные восемнадцать, — но мне что-то не верится. На фотографии, датированной 1903-м, мама выглядит отнюдь не тринадцатилетней девочкой. Правда, на снимках с Витей она очень юная — невозможно представить, что это дважды рожавшая женщина. И все-таки я думаю: ей не тогда добавили, а сейчас убавили два года…

Дети пошли через год после свадьбы, ссоры — на второй день. Мама всегда объясняла это одинаково: ему были по душе другие женщины, он на всех кидал завистливые взгляды, говорил, что вот эта ему нравится, а та — еще больше… Много пил, а пьяный становится диким. Приносил домой мало денег (и в лучшие-то времена зарабатывал всего два рубля в день — да еще две трети пропивал и тратил на распутство). Причины, конечно, серьезные, но как-то мама, уже старенькая, разоткровенничалась:

— Отец твой был в любви бешеный, мог всю ночь меня терзать. А я еще девчонка была — что я тогда понимала? Я всегда отталкивала его, он только силой и добивался своего. Бывало, так расстраивался, что плакал. И все грозил, что пойдет к другим женщинам! И ходил, не стеснялся, даже хвастался, что те к нему относятся лучше.

Вероятно, все это правда. Отец не мог много зарабатывать — половину времени он проводил в тюрьмах. На свободе же много сил отнимали партийная работа и ухлестывания «за другими». А каким он становился диким, напившись, — это я и сам знал.

Один из скандалов врубился мне в память. Думаю, это случилось после смерти Вити, когда отца на два месяца отпустили из ссылки. Горе — вполне уважительный повод, чтобы планомерно и систематически надираться. Как-то он явился домой очень поздно — я уже спал. Меня разбудили звон разбиваемой посуды, грохот опрокидываемых стульев и крик матери. Отец бил маму — бабушка защищала дочь. Только то, что он еле стоял на ногах, спасло женщин от серьезных увечий.

Вырвавшись, мама выскочила во двор, бабушка схватила меня и побежала следом. Было далеко за полночь, все спали, искать убежища у соседей мама не захотела (да и нрав не позволял выносить семейные неурядицы на общий суд). Мы спрятались в погреб и закрыли крышку — но и через нее ясно слышали дикие крики отца, продолжавшего крушить все, что попадалось под руку.

Вероятно, шум доносился и до соседей, но все благоразумно притворялись спящими (тем более что скандалы такого рода в те времена отнюдь не были редкостью — сказано же: «Жена да убоится мужа своего!»).

Отбушевав, отец затих. Кто-то — бабушка или мама — забеспокоился: не случилось ли с ним чего? Мама хотела выглянуть из погреба — бабушка не пустила: «Увидит — еще убьет!» Решили послать меня: детей отец не бил — меня, любимца, тем более не тронет.

Я прокрался к окну. Комната была тускло освещена лампадой у образов и спиртовкой, стоявшей на полу. У спиртовки сидел отец. Сначала мне показалось, что он хочет поджечь квартиру. Я испугался, проскользнул в дверь — отец даже не повернул головы. Он громко, со слезами, твердил:

— Зиночка меня не любит! Зиночка меня не любит! — и совал в огонь палец.

Я схватил его за плечи, пытаясь оторвать от спиртовки, но он оттолкнул меня и снова ожесточенно погрузил в пламя ладонь. И все бормотал, что Зиночка его не любит и что он теперь сожжет свою руку.

Я так страшно закричал, что мать с бабушкой мигом ворвались в квартиру — наверное, вообразили, что отец стал меня мордовать. Вдвоем они оттащили его от спиртовки, мама перевязала руку, заставила лечь. Он стал покорным, только плакал — возможно, не от одной обиды, но и от боли. Много лет этот недожженный палец на правой руке плохо его слушался — все-таки он был основательно поврежден.

На мать, как и на всякую женщину, такое пламенное доказательство жгучей любви, несомненно, произвело впечатление. Как я ни напрягаю память — и раньше, когда она была посвежей, как ни напрягал — не могу вспомнить новых скандалов до его возвращения в ростовскую ссылку.

Благополучно прошел и второй его приезд — летом революционного года. Он прожил в Одессе несколько недель и, как говорили, испарился после июльских событий в Петрограде.

Зато финал семейной жизни родителей был жесток. Как понимаю, развязка наступила во время болезни бабушки (или сразу после ее смерти). Я уже ходил в гимназию, в первый приготовительный класс.

В это время и появился Осип Соломонович. Он пришел в гости с конфетами и роликовыми коньками — я не мог этого не запомнить. Визиты его учащались, он засиживался допоздна. Меня отправляли спать раньше обычного, но я как-то подглядел, что гость не ушел, а спокойно улегся с мамой в ее постель.

Разумеется, с возвращением хозяина посещения моего будущего отчима прекратились, но кто-то, наверное, донес отцу, что жена неверна.

Помню, был вечер, мы шли по Балковской и, свернув на

какую-то улицу, остановились около ничем не примечательного дома. Мама вошла во двор. Я спросил, куда она отправилась, отец зло усмехнулся.

— К адвокату.

Я не знал, что это такое — поэтому не удивился, что адвокат живет на окраине города, и не стал ничего спрашивать. Зато спрашивать начал отец.

— Сережа, можешь сказать мне правду?

— Конечно, папа, — заверил я.

— Когда меня не было, к маме кто-нибудь приходил?

— Один дядя приходил, — мигом выдал я маму.

— Какой дядя?

— С черной бородой — он еще подарки мне принес, — охотно доносил я.

— Ночевать оставался?

— Оставался. Он утром ушел. Мама еще не вставала, а он ушел.

Больше отец ни о чем не расспрашивал. Мама задерживалась. Я засмотрелся на что-то и повернулся спиной к воротам. Обернуться меня заставил сдавленный мамин крик.

Увиденное отпечаталось в мозгу, как на фотографии. Левой рукой отец схватил маму за грудь, а правой занес сверкнувший в глаза нож. Лица отца не помню (видимо, я не смотрел на него), но лицо матери говорило ясней слов. Она не защищалась, не вырывалась, не звала на помощь, она беззвучно кричала — широко распахнутыми глазами, крепко сжатым ртом: «Ах, так! Ах, ты такой! Тогда убивай!»

Я прыгнул на отца, повис у него на руке и потерял сознание. Очнулся я в аптеке на Степовой. Надо мной наклонился человек в белом халате, в стороне молча стоял отец, мать со слезами просила аптекаря спасти меня. Я посмотрел на них — и снова потерял сознание.

Второй раз пришел в себя уже дома, в постели. Около меня сидела мама, по комнате ходил угрюмый отец, на руке у него белела повязка. И опять я куда-то провалился — может быть, просто уснул. А когда сознание возвратилось окончательно, отца в квартире уже не было — прошло пять лет, прежде чем я увидел его снова.

Конечно, я стал спрашивать маму, почему отец хотел ее убить. Она удивилась, потом засмеялась, потом спокойно разъяснила, что ничего не было, я видел страшный сон — вот и все.

— Не думай об этом никогда! — говорила она ласково. — Мало ли какие сны пригрезятся. Бывают и ужасней твоего!

Я сердился, настаивал: это был не сон. Но она, не раздражаясь, непривычно нежно твердила свое и только через тридцать лет, уже после войны, рассказала правду.

Мой отчаянный прыжок спас маму. Я вцепился зубами в руку отца — и он не сумел ударить. И даже потеряв сознание, я не разжал челюстей. Я висел у него на руке — он не смог меня стряхнуть.

Подняв нож, отец лезвием разжал мне зубы — мама помогала ему. Кровь из прокушенной руки заливала одежду, но отцу было не до крови — его перепугала моя безжизненность, белое лицо, остекленевшие глаза. Прижав меня к груди, он кинулся в аптеку. Мама бежала за ним изо всех сил, но он далеко опередил ее. Когда она ворвалась в аптеку, меня уже приводили в сознание, а отцу делали перевязку.

— Он нес тебя на руках от Степовой до Мясоедовской, — говорила мама. — И все бежал: его пугало, что ты опять без сознания. А потом мы вызвали врача, тот провел ночь у твоей постели. Мы рассказали ему правду, и он посоветовал объяснить, что тебе приснилось это нападение. Он сказал: ты очень впечатлительный, ты можешь стать психически больным, если будешь думать, что мать чуть не убили на твоих глазах. И мы с Сашей поклялись, что никогда не расскажем тебе, как все происходило.

Возможно, совет врача был мудр. Но суть в том, что я не усомнился ни на секунду: страшные сны посещали меня куда реже, чем страшная реальность. И я всегда интуитивно знал, что горькая правда лучше сладкой лжи.

И всю жизнь ненавидел, когда мне лгали!

8

Воспитывал ли меня отец? Не знаю. Вернее — не могу ответить в двоичном коде: да или нет. Все было сложней.

Обычных наставлений — делай то-то, не делай этого — скорее всего, не практиковалось: слишком редким гостем он был в семье. Зато меня воспитывало само его существование, то, что я знал о нем, то, что говорили о нем другие. И когда он — в редчайших случаях — играл не очень нравившуюся ему роль учителя, уроки запоминались на всю жизнь. О двух из них я расскажу.

Первый был преподан в одно из его возвращений в Одессу (не то в «отпуск из ссылки», не то летом семнадцатого). Утром я подрался во дворе с приятелем, одолел его и на традиционно еврейско-немецкий вопрос: «Брот или тод?»[4] — получил традиционную просьбу о помиловании: «Брот».

На этом — по закону — драка кончалась, можно было продолжать мирные игры. Но непредвиденно появился двенадцатилетний брат моего соперника и, нарушив кодекс дворовой чести, основательно меня вздул. Бороться с верзилой на голову выше было мне не по силам — оставалось канючить, растирая слезы грязными кулаками (на потеху друзьям-приятелям).

В это время во дворе появился отец. Я заревел в голос и радостно пожаловался:

— Папа, папа, меня побили! Он грозно сверкнул глазами.

— Кто?

— Вот этот здоровила, вот этот! — закричал я, счастливый.

Двенадцатилетнему моему обидчику надо было немедленно удрать, а он стал объяснять, что зачинщиком был я — он лишь защитил поверженного меньшого брата. Отец бесцеремонно сгреб его и отвесил по заду десяток шлепков, приговаривая:

— Ты брата защищаешь — думаешь, мой сын без защиты? У него тоже есть защитник, нападать на него не дам!

Побитый, рыдая, грозил пожаловаться своему папе — я хохотал и показывал ему язык. Но радость моя была непродолжительна.

Отец вдруг снял ремень и знаком подозвал меня. Подходил я со страхом — чувствовал, что хорошего не ждать. Если бы знал точно, что будет, — удрал бы.

Вокруг сгрудились мальчики и девочки — предвкушали зрелище. Отец пригнул мою голову, зажал ее между колен, стащил с меня штанишки и, выставив голый зад на толпу, громко

объявил:

— Это тебе за то, что ты начал драться! — и пребольно выпорол.

Я рыдал не так от боли, как от обиды и стыда. Отец выпустил меня, позволил натянуть штаны и перевести дух. Я хотел было удрать, наивно полагая, что оскорбительная кара совершилась.

Но то было не наказание, а театральное действо. Отец срежессировал яркий спектакль — и не собирался завершать его раньше естественного финала. Он снова зажал мою голову между колен, снова оголил мой зад и вторично высек, так же громко объявив:

— А это тебе за то, что полез драться — и не победил, а дал себя побить.

Первую лупцовку встретили радостным хохотом и язвительными выкриками — вторую сопроводили лишь несколькими смешками. И снова наступил антракт, а не финал. Я плакал уже не от обиды — от боли. А еще больше — от страха: по лицу отца я видел, что представление не окончилось.

Третья порка была самой жестокой. Мальчишки молчали — кое-кто даже убежал. Голос отца был неумолим:

— Это тебе за то, что, побитый, ты не смолчал, а полез жаловаться!

У меня не хватало сил на слезы — я лишь судорожно икал и трясся. И штаны натянуть тоже не смог — отец сделал это сам.

Малыши, молчаливые, насмерть испуганные, разбежались по квартирам, как только отец выпустил мою голову. Он привел меня домой и похвастался бабушке, как хорошо поучил сына.

Бабушка уложила меня в кровать и побежала за мамой. Мама поставила мне градусник и устроила громкую ссору. Всласть нарыдавшись в подушку под родительскую перебранку, я уснул.

Кое-что из этого публичного поучения я усвоил — и на всю жизнь: лучше ни с кем не драться; если драться все-таки пришлось, нужно побеждать; а если победили тебя, то нечего жаловаться. Хоть какая, а — польза!

Вторая воспитательная акция физически была не столь жестока, но, пожалуй, не менее весома — если судить с точки зрения этики и житейской гносеологии.

Второй раз отец наглядно обучал меня в последний свой приезд в Одессу (это было перед началом гражданской войны, за несколько дней до окончательного разрыва с мамой). Я уже ходил в первый приготовительный класс гимназии и как-то принес домой пятерку по поведению. Надобно отметить: гимназия была лютеранской, там действовали немецкие оценки, пятерка равнялась нашей единице (а наша пятерка обозначалась

единицей).

Обеспокоенная мама попросила меня наказать. Отец согласился — правда, без охоты, вывел меня на кухню и равнодушно отшлепал. Боли не было, обиды — тем более, но я для порядку похныкал (не огорчать же родителей равнодушием к их каре!). В комнате мама сердито выговаривала отцу — его возражения так удивили меня, что я не закончил своего ритуального плача.

— Что это за наказание? — говорила мать. — Мальчишки каждый день бьют его сильней — и он их тоже. Ты его поласкал, а не побил.

— За плохой балл по поведению и этого хватит, — ответил отец. — Вот если он принесет мне высшую отметку, я высеку его по-настоящему.

Не знаю, извлек ли я из этого те выводы, которых желал отец, но хороших оценок по поведению у меня не было никогда. А тот прискорбный факт, что, несмотря на отменную академическую успеваемость и отнюдь не злостное (в общем-то) хулиганство, меня два раза исключали из школы за несовместимость этих понятий — школа и я, — явно свидетельствует, что какая-то часть отцовских воззрений на правильное поведение генетически передалась и мне.

* * *

Я пишу эти строки в Одессе, в прежней моей квартире. За стеной дремлет мать. Она такая старенькая, такая солнечно седая, такая высохшая, что невольно удивляешься, что жизнь еще теплится в ее бесконечно ослабевшем теле. И у нее отказывает память, она не помнит своих друзей и подруг, с трудом узнает их на фотографиях, ничего не может рассказать о своем прошлом. Весь ее мир сузился до непосредственного окружения — остальное редким озарением прорывается сквозь тьму, покрывшую былую жизнь.

Но одно понимание она сохранила — то, что понимание утрачено. Она говорит, виновато улыбаясь: «Я не помню, Сережа!» И добавляет: «Я все забываю, я очень старая!»

И мамина улыбка так грустна и добра, так удивительно человечна в почти уже нечеловеческом существовании, что хочется плакать. А когда ей приносят воду и лекарства (она признает только поливитамины и сок), она благодарит так громко, так жарко и долго, как будто уход за ней — невесть какой подвиг и благородство.

Она была мне суровой матерью, я годами не знал ласкового прикосновения ее руки — и сейчас теряюсь от ее покорно-благодарной ласки. Иногда она встает, опираясь на веник, как на палку, — она еще может пройти несколько шагов. Она прожила трудную жизнь, судьба не была к ней благосклонна: мама потеряла всех детей, кроме одного, голодала, холодала и, пережив всех друзей и подруг, осталась одна. Осколок времени, которого давно нет… Может, это счастье, что она мало помнит о нем?

Не знаю, сколько еще ей отведено до вечного срока, но эти последние месяцы (или дни?) ее жизни пронизаны тихим светом.

А со стены, из угла, с деревянной, о двух грубо сведенных досках, иконы на меня глядит Христос.

И я удивляюсь, почему так боялся его в детстве. В облике Иисуса нет ничего грозного, ничего карающего, ничего пугающего. Этот человек на доске немного полысел, но он еще моложав, с рыжеватой бородкой, серьезен, но не гневен. Он мог бы выйти на улицу (только нужно сменить хитон на пиджак или свитер) — и никто не поразился бы.

И лишь присмотревшись, я открываю новую черту в этом, казалось бы, всеглубинно и всесторонне изученном лице. У Христа необыкновенные глаза. Богомаз был из средних, икона — из дешевых, на вдохновенное изображение недостало ни мастерства, ни времени. Но в глаза художник вложил душу.

У Господа чертовски проникновенный взгляд. Это не пошлая острота, а точная формула. Христос глядит понимая. Это, вероятно, главная его, всеутешителя, обязанность. Только слабые души нуждаются в сочувствии, только немощные — в помощи. Но понимание нужно всем, могущественному не меньше, чем бессильному.

Моя эпоха была скора на поступки, легка на расправу, но бедна на понимание — да и не в моде оно было. Фантасты-политики, притворявшиеся философами, тем или иным способом изменяли мир, а его надо было познать. Этот выдуманный людьми человек с дешевой деревянной доски — познал. Он меня понимает. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь понимал. Пусть осудит, пусть отринет, пусть одобрит или накажет, но прежде всего, выше всего — поймет.

Как странно, что я когда-то так боялся этого серьезного, вдумчивого лица! Или страх истины, вечный в каждом из нас, командовал моими чувствами?.. И я просто боялся, что меня — знают? Обостренная детская свежесть превращала любой поступок в проступок, а проступок — в неизбывную вину, и я жаждал, как спасения, того, что, повзрослев, стал ненавидеть, —

«нас возвышающего обмана»?

Я человек. Человеку свойственно ошибаться. В этом рассказе о прожитой жизни, вероятно, много неправды. Но причина ошибок — извращения памяти, а не извращения совести. Во всяком случае, я очень стараюсь, чтобы так было: совесть у меня отнюдь не безразмерная.

9

Воспоминания так заполнили меня, что вчера, в солнечный день, я не мог долго лежать у моря. Я был на любимом своем пляже в Отраде — он теперь иной. В памяти сохранились дикие кручи, выжженные солнцем, скалы и камни, крохотная полосочка песка, ни кустика, ни деревца… А я спускался по тенистому парку, сидел на удобно распланированном пляже, кругом были беседки, пресные души, раздевалки, буфеты… Море штормило, но шторм не подтачивал берег, как в мое время, — волны разбивались на волноломе, прибой был шумен, но не грозен. Прекрасно изменилась моя Одесса! Возможно, и я был бы иным, если бы мне довелось расти в этих, не моего времени, условиях.

И вдруг мне нестерпимо захотелось повидать старую Одессу, вдохнуть пыльный воздух моей молодости. Я поднялся пешком наверх, вышел на Пироговскую. Ее было трудно узнать — она застроена новыми, сталинского ампира, домами — и вышел на Куликово поле. Вот уж где и в помине не сохранилось старья! Пыльный пустырь превратился в сад с платанами и серебристыми елями.

Затем потянулась Водопроводная, старенькая, одноэтажная, еще более пыльная, чем была, но уже отнюдь не тихая — сотни машин мчались по асфальту, сменившему прежний булыжник. Прежде движение на Водопроводной оживлялось только тогда, когда шли этапы арестованных и похоронные процессии (они направлялись на второе христианское и второе еврейское кладбища) — молчаливые заключенные и мертвецы, ведущие за собой свиты горюющих в голос родных и знакомых, были единственно живыми фигурами на этой мрачной дороге. Я побаивался ее. Она была грозна и вела туда, где нельзя жить или жизнь так скверна, что небытие лучше бытия. Сейчас я шел спокойно — улица была как улица, но пыль на ней была другая, городская, а не полустепная, в ней чувствовался энергичный бензин, а не вялая, утомленная солнцем земля.

Я часто ходил по этой дороге. Я любил тенистый сад в крохотном поселке водопроводчиков. Но лучше всего я чувствовал себя на втором христианском кладбище — я дружил с

его мертвецами, знал их по именам, по крестам, по кустам сирени и деревьям. Я залезал в открытые склепы и сидел там, содрогаясь от острого родства с теми, кто уже давно истлел. Люди этого мертвого тенистого городка были историей, их не существовало — они жили во мне, я становился сопричастен их бытию, отжитая реальность входила в мою живую жизнь. Я не осквернял могил, не любовался ими, не тешил любознательность громким чтением надгробных эпитафий и мещанских сентенций. Я просто ходил по аллеям и тропкам. Здесь было хорошо и покойно. Воистину это был «двор мира», как говорят немцы! Вчера, когда я покупал цветы у входа на кладбище и раздавал милостыню нищим у церкви, я, вероятно, хотел вернуться в прошлое. Я не знаю, для кого предназначались цветы. Не мог же я надеяться найти могилы бабушки, братьев и сестры, отмеченные лишь деревянными крестами! А для нищих я заранее приготовил серебряные монетки — но нищих было много, монет не хватило.

Теща не раз выговаривала мне, что я пложу бездельников, одаряя просящих подаяния. Ничего не могу поделать — так меня учила бабушка. Она говорила: «Сережа, им хуже, чем тебе». Мне часто бывало плохо, но руки я не протягивал. Я голодал, когда все голодали, — был соучастником социального бедствия. И нищета духа меня миновала — даже в годы идеологических катастроф я не склонял головы. Им хуже, чем мне, — бабушка права. И в том, что мне лучше, не только мое преимущество, но и моя вина. За вину надо расплачиваться. Не люблю, не люблю тех, которые проходят мимо протягивающих к ним руки!

Чего бы я ни ожидал от встречи с кладбищем, на котором не был много лет, ожидание не исполнилось. Я не узнал прежнего убежища мертвецов. Кладбище было — убежища не стало. На каждом шагу, на каждой аллейке, на каждой тропке шла борьба за место для мертвых, куда более жестокая и несправедливая, чем борьба между живыми. Там, где были захоронения прежнего и начала нынешнего века, высились памятники шестидесятых и семидесятых годов. Когда-то жаловались, что мертвые хватают живых, — здесь мертвые хватали и вышвыривали мертвых.

Один из великих революционеров минувших веков азартно провозгласил: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов!»[5] Вряд ли ему пришла бы в голову безумная идея заставить мертвецов сражаться с мертвецами — здесь ее осуществили. Кругом простирались пустыри, одноэтажные домики — места для новых могил хватало. Нет, нужно было это, ближнее, аристократическое кладбище — возвеличивание смерти ценой унижения смерти.

И надписи на новых памятниках, возведенных над могилами, откуда были выброшены старые кости, слащаво возглашали о

верности любимому покойнику, о вечной памяти, вечном горе: ложь при жизни, ложь после смерти. Ведь знали же хоронящие, что, расправляясь с давно умершими, они оправдывают тех, кто впоследствии вышвырнет вон их дорогих и любимых! Мирный двор, вечное упокоение, сон с миром… Нет мира на кладбище, есть подлая война за крохотное преимущество — лежать на сто метров ближе к воротам. И ради этой иллюзии попираются истины, выстраданные человечеством, — завет вечной памяти и вечного мира после смерти.

Короток, короток век мирного бытия покойника — куда короче его земной жизни. Бренно человеческое существование. Существование мертвеца еще более бренно. И это мы именуем «вечной памятью»!

К тому же на новых, семидесятых годов, могилках топорщились темные обветшалые крестики и мраморные ангелочки с опущенными крыльями и поднятыми горе очами. Откуда взяли клянущиеся в вечной памяти это сладостное крылатое барахло? На каком толчке обрели этот старорежимный утиль? Все оттуда же, со старых могил!

И все в порядке. Безутешные родственники радуются: они выполнили свой высокий нравственный долг перед покойником — земля ему пухом, и бережет его пуховый покой украденный, но неподкупный ангел-хранитель. Не жители могил, а временщики кладбищ — такова судьба тех, кого угораздило «дать дуба».

Я тоже «отдам концы», «откину копыта», «натяну на плечи деревянный бушлат», «преставлюсь», «почию», а точнее — загнусь (так мне ближе по земному бытию). Но где бы это ни совершилось, молю тех, кто организует мне мнимый вечный покой, исполнить просьбу, которую пусть рассматривают как последнюю: не хоронить меня на месте, где кто-то уже был похоронен. Ничьи кости не должны быть выброшены, чтобы дать приют моим. Я и в жизни своей не добивался блага за счет других — и смертью своей не хочу попирать ничью смерть.

Я долго искал, куда положить купленные цветы. Но все не мог решиться почтить память тех, чьи родные без почтения обошлись с бесхозными покойниками. Наконец на окраине, в зарослях сирени и акаций, нашел неубранную могилку и разбросал по ней астры. Присел около, посмотрел на полусмытый холмик и грустно пожелал тому, кто покоился под ним, долгого покоя — такого дефицитного у кладбищенских мертвецов.

А потом ушел, чтобы — крепко на это надеюсь! — больше уже никогда сюда не возвращаться. Ни живым, ни мертвым.

На обратной дороге, у моста, где отец спас упавшего на рельсы Витю, я остановился у поселка водопроводной станции.

Раньше ворота в это тенистое местечко были закрыты — нужно было или стоять снаружи, или пробираться сквозь щели. Сейчас, впервые в жизни, я двинулся внутрь с уверенностью, что не прогонят, — и остановился, взволнованный, перед огромным, в четыре обхвата — я сам проверил — осокорем. Я и раньше знал, что дерева, равного ему по мощи, в Одессе нет, и он не стал меньше за сорок лет.

А дальше, в глубине, высились еще два могучих осокоря, и еще два раскинули кроны рядом с железной дорогой (один из них тоже приближался к четырем обхватам — я всегда, приезжая в Одессу, любовался из окна его удивительной листвой).

Вокруг росли столетние каштаны и дубы, тоже деревца не из маленьких, но они все-таки уступали пяти великанам. Возвратившись к старшине осокорей, я гладил его кору, слушал его голос — ясный и громкий, в нем даже отдаленно не слышалось дряхлой хрипотцы. Поверху тянул бриз — внизу его поглощали дома, он запутывался и затихал. Мощная крона осокоря принимала его — и звучала как орган, листва жила, трепетала, сверкала на верхнем, свободном солнце, дерево пело, я слышал в нем все голоса, видел все краски.

И, когда ушел, долго оглядывался и долго и радостно слышал музыку старого великана, главного из пяти осокорей…

10

Война обернулась революцией.

Начала ее не помню, но восторг, ею вызванный, не забылся. Были, естественно, и пострадавшие, и перепуганные, и недовольные — но страдания, испуг и недовольство таились в квартирах, а ликование выхлестнулось наружу. Жизнь превратилась в непрерывный праздник. Город неистово торжествовал. Он пылал знаменами и флажками, красными розетками и лентами, оглушал маршами и пеньем труб, криками толпы и речами ораторов (садовые скамейки и уличные тумбы служили им трибунами).

Все хотели кричать и внимать чужим крикам — город упоенно вслушивался в свой ор. Такими запомнились первые революционные месяцы.

Революция предвещала поворот на новый (длинный и мучительный) путь — теперь-то мы понимаем, что рано возликовали. Но люди, творящие историю, редко ведают, что творят. Начало пути виделось завершением, а не подступом. В том, что было первым и робким шагом, узрели апофеоз. Отрицание прошлого приняли за утверждение будущего.

Крушение адских врат почудилось выходом в рай. Каждый ощущал себя освобожденным и возрожденным. Было от чего потерять голову!

Весной семнадцатого из ссылки возвратился отец. Я уже рассказывал об этом — добавить нечего. Летом он пропал. Мама говорила, что он скрывается. Вероятно, после неудавшегося июльского путча в Петрограде отец счел за благо исчезнуть с глаз ищеек Временного правительства. Возможно, однако, он получил какое-то партийное задание.

Ярче всего мне запомнились две демонстрации. Вообще-то их было много — и по важным поводам, и по неважным, и без всяких поводов. Демонстрация ради демонстрации — чтобы собраться, выстроиться, взметнуть над собой флажки и знамена и двинуться, «поя и свища», как метко определил это занятие Маяковский. Мы, ребятня, естественно, были самыми восторженными участниками любого уличного спектакля — от крестного хода с иконами и пением гимнов (были и такие) до вполне организованного и чинного шествия анархистов, по команде выкрикивавших лозунги, грозившие ниспровержением всякой организованности и любых команд.

Видимо, в каждой революции — в ее уличном, праздничном явлении — есть некая детскость социальной игры: люди не так добиваются своего, как демонстрируют себя — красуются, фанфаронят, обещают, угрожают, предупреждают… Исполнение придет потом, и тогда позы обернутся поступками, слова станут делом — красочная комедия жестов и криков превратится в сумрачную трагедию нетерпимости: сам воздух — точен Пастернак — запахнет смертью![6]

Итак, две демонстрации. Поводом для одной, как я потом узнал, был перенос с острова Березань праха лейтенанта Петра Шмидта и его соратников (путь лежал в Севастополь — через Одессу). Судя по всему, о ней было известно заранее: с утра все улицы в порт заполонила разномастная публика. Мама не пошла — мы отправились с бабушкой.

В порт не пробились, но около спуска к морю повстречали оркестр, несколько украшенных цветами гробов и плотную толпу, в которую, естественно, немедленно втиснулись. Бабушка крепко держала меня за руку: вдруг потеряюсь?

Шествие направилось к собору — там казненных должны были отпеть. Воистину все смешалось в семнадцатом году: внутри церковных стен смиренно молили упокоить невинно убиенных — снаружи яростно клеймили зверства царской тирании. Проповедям о небесной милости вторили мстительные требования земных кар, пению духовных гимнов —

революционные крики, колокольному звону — многотрубное «Вы жертвою пали»… Революция еще не определила себя, она еще была для всех.

Общество, конечно, ведут идеи, но живет оно иллюзиями. Маркс утверждал, что идея способна стать материальной силой — это правда, но только тогда, когда она порождает отвечающие себе общественные миражи. Мысль захватывает ум, а призрак ее всесильности воспламеняет душу. История без животворящего огня не движется. Бездушность — вяла, если не хрома.

Во время той демонстрации я получил царский подарок. Какой-то человек, вероятно устав от речей, пения, возгласов всепрощения и криков о мести, вручил мне красный флажок.

— Мальчик, ты очень шустренький — так возьми этот флаг и неси его до конца, а я потом заберу его обратно.

Думаю, мы рванули в разные стороны с одинаковой скоростью: он — радуясь, что отделался от ноши, я — торжествуя, что ее удостоился. Осененному флагом, конечно, зазорно ходить молча. Сколько помню, всю дорогу домой я орал и размахивал добычей. Впрочем, это никого не шокировало, даже дворников (еще не упраздненных). Все кругом кричали и махали флагами — такое было время. Но на Прохоровской меня ждало крушение. Бабушка ушла домой. Приятели, столпившиеся вокруг, завистливо интересовались, где я достал такой замечательный настоящий флаг на такой замечательной, гладко оструганной палке. Каждый хотел подержать его в руках — одного флага на всех явно не хватало.

Естественно, завязалась драка. Диким клубком мы катались по тротуару, а когда месиво расчленилось на самостоятельные тела, у каждого оказалась добыча — клочок ткани, обломок палки… Я тоже кое-что отхватил от полотнища. Мы мирно разошлись по домам, радостно размахивая честно завоеванными трофеями. Красная тряпочка «от Шмидта», прикрепленная к рубашке французской булавкой, еще долго и гордо красовалась на моей груди. В те дни все ходили с красными лентами — и я был как все. Ощущение, равнозначное чувству собственного достоинства.

Вторая демонстрация тоже была из похоронных — хоронили жертв революции. По Пушкинской несли гробы, скорбела музыка, гремели ораторы, люди, поочередно подходя к могилам, бросали цветы на свежие холмики, мягкий бриз развевал знамена. И снова и снова по городу разносились хватающие за душу слова: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». Подразумевалось: последнею жертвой, роковая борьба закончена, вот ее результат — всеобщее, для всех — ото всех — освобождение. Шла весна, она

знаменовала волю, она покончила с трудной зимой. Зимы больше не будет!

И вот что странно: война продолжалась, но она не умеряла всеобщего воодушевления. Она сама как бы застыла в недоумении — продолжаться или завершиться? Я знаю, шли жестокие споры: воевать до победы — или воткнуть штыки в землю и обнять своего врага? Это была битва речей и государственных решений — до меня ни то, ни другое не доходило. Но в ненасытном мальчишеском любопытстве я видел, что калек на улицах стало вроде бы меньше и раненые в саду больницы словно бы поредели. Это было мое окружение — раненые и калеки, я носил им хлеб и сахар, но люди, которым можно было вручить эти очищающие совесть подачки, встречались все реже. В моем микромире происходили важные перемены — они затрагивали и меня.

Не могу сказать, что митинговая эта вакханалия так же неистово продолжалась все лето. Возбуждение шло по синусоиде — то вздымалось до верхних этажей, то расползалось по панели. Но в дни выборов в Учредительное собрание произошел новый и, вероятно, самый сильный взрыв страстей.

Праздник кончился, радость была исчерпана — предстояло занять позиции для нового боя. «Марсельезу» забивал «Интернационал». Казалось, оба гимна говорили об одном — звали на борьбу. Но если первый делал это радостно-трубно: «Вперед, вперед, сыны Отчизны, день нашей славы наступил!», то второй грозно предупреждал: «Это есть наш последний и решительный бой!» И никаких разговоров о славе, скорей уж библейский Армагеддон — сражение воистину последнее и до последнего!

И на каждом перекрестке — толпа, а над толпой — на ящиках, на бричках, на штейгерах, на подводах, на броневиках — неистовые ораторы: бой ради славы, бой ради жизни, бой ради земли, бой ради равенства, бой ради прекращения всякого боя. К призыву не сражаться никто бы не прислушался.

Женщины, творцы жизни, аплодировали и кричали ура звучным глашатаям смерти. И самыми решительными — в бой на убой! — были те, кто требовал мира. Никто не хотел жертвовать жизнью ради войны до победы, но вот за вечный мир эту самую жизнь собирались отдавать запросто.

Я говорил, что историю движут иллюзии. Добавлю — великие иллюзии. Даже подлые идеи должны быть величественными (в определенном, конечно, смысле), чтобы стать действенными. Обывателей хватает в каждую эпоху. Но присмотритесь к истории: в ее трагедиях, ее свершениях нет налета обывательства.

Оно — тормоз, а не двигатель истории. В те пронзительно-громкие дни второй половины семнадцатого даже отъявленные мещане ощущали в себе прилив отнюдь не мещанского духа. Ибо история готовилась к огромному прыжку — она опиралась, как на трамплин, на пылающие души.

В нашем районе выборы проходили в Думе (вероятно, районной) — здании с античной колоннадой на Старопортофранковской. Мама, естественно, собиралась голосовать за большевиков, а я за ней увязался. Перед Думой змеились очереди — отдельная для каждого номера избирательного списка. Очень длинная, очень шумная — за большевиков, еще длинней, разношерстая, грубоватая, голосистая — за эсеров. Были очереди и поменьше — хорошо одетые, дисциплинированные граждане: меньшевики, бундовцы, кадеты. Над толпой возносился многоголосый вопль, даже на Привозе не так шумели, ссорились, переругивались и возмущались… Помню, как меня испугало шествие анархистов. Они двинулись на приступ избирательных урн плотной группой. Впереди вышагивал щупленький вожачок, весь в черном и с черной повязкой на глазу — смотреть на него было так страшно, что я в ужасе прижался к матери. Двое охранников осеняли лидера плакатом «Анархия — мать порядка» (весьма успокоительная сентенция…)

Вожак дико вращал глазом, таращился, кривился, выклычивался на толпу желтым зубьем — чтобы всем стало понятно: порядок-то будет, но — в будущем, наша мать, анархия, еще и не беременна им, так что остерегись вставать на дороге — горло порву! Его стражи, неукротимо продираясь вперед, зверски пихали плечами и задами обе очереди, эсеровскую и большевистскую.

Кто-то ответил ударом на удар, вождь пошатнулся — его свирепая повязка слетела, открыв нормальный, вполне здоровый свиноподобный глаз. Охранники дико заматерились, их предводитель завизжал, заметался — и бросился назад. За ним метнулись плакатоносцы. Плачущий вопль: «Как вы смеете! Мы вам покажем!» — замер где-то вдали. Обе очереди дружным хохотом заглушили сетования на безобразное поведение избирателей, осмелившихся навести порядок до того, как воцарилась его мать — анархия.

Не успели мы с мамой подойти к колоннаде, как послышались возмущенные крики — и я снова увидел анархистов, которые опять лезли напролом. Впереди вышагивал все тот же щуплый, но свирепый вожак с возрожденной черной повязкой. Вероятно, он решил попробовать прорваться через кадетов и меньшевиков — и на этот раз ему уступали дорогу.

Правда, возмущаясь и негодуя, но — за спинами лихой троицы. Я часто потом думал, что въяве увидел некую формулу нашего социального бытия: к сожалению, самое глубокое понимание не способно заменить самого плюгавого действия. Это вполне уяснил себе один из гениев человечества, провозгласивший, что задача состоит не в том, чтобы понять мир, а в том, чтобы изменить его. И — изменяли, не понимая.

Самая яркая примета одесских революционных лет — непрерывная чехарда властей. Сперва большевики, потом немцы и — за их широкими спинами — украинские самостийники: Рада, Петлюра, гетман Скоропадский. Кстати, фамилия эта, известная на Украине со времен Петра, подвела своего носителя, точно обозначив время его правления. Потом (недолго) опять большевики, оккупанты — греки и французы, снова большевики, за ними — на несколько опереточных месяцев — добровольцы и еще раз большевики — уже окончательно.

Каждая власть властвовала по-своему. Первый (послеоктябрьский) период одесского большевизма был трагикомичным. На рейде стояли броненосцы «Алмаз» и «Синоп», вполне большевистские по виду, но изрядно анархистские по содержанию (недаром на улицах пели: «Эх, яблочко, куда котишься? Попадешь на «Алмаз», не воротишься»). Командующий южными войсками левый эсер Муравьев то пламенно предвещал скорый взрыв мировой революции, недвусмысленно намекая, что именно он, Муравьев, этот взрыв произведет и направит, то уверял одесских капиталистов (вроде авиазаводчика Анатры), что если бы все буржуи были как он, то дело мирового социализма можно было бы счесть в шляпе.

А революционные моряки помещали в газетах грозные объявления — у меня долго хранился номер «Южного рабочего» с таким текстом: «Сегодня, 2-го февраля 1918 года, культурно-просветительская секция линкора «Синоп» организует в опере вечер в пользу секции; и посему граждан налетчиков просят в этот день не производить никаких нападений на мирных граждан, возвращающихся из театра, не то с ними расправятся по всей строгости революционных законов».

Уверен, что в тот вечер лихое братство грабителей и убийц великодушно дало перепуганным одесским обывателям выходной от страха. Благородные налетчики от души сочувствовали материальным нуждам культурно-просветительской секции «Синопа»: каждый, вполне в духе времени, ощущал себя не обыкновенным вором и грабителем-профессионалом, а чем-то вроде революционера. Первый период большевизма, полуанархичный и маловластный, позволял этой шатии-братии

окрашивать в розовый оттенок справедливой экспроприации любой удачный грабеж.

Кстати, о налетчиках. Бессмертные рассказы Бабеля навеки сохранят в литературе образы героев Молдаванки. Вероятно, Исаак Эммануилович прав высшей правдой искусства, я восхищаюсь им и меньше всего хотел бы порочить его великолепные создания. Но я жил на Мясоедовской, на углу Прохоровской, Костецкая шла параллельно, всего один малоприметный дом отделял нас от этой грязной, перенаселенной, шумной, нищей, опасной улицы — знаменитого нынче на весь мир проспекта налетчиков Мишки Япончика, прототипа Бени Крика.[7]

Так вот, я не помню, чтобы в семейных, дворовых и уличных байках Япончику отводилось сколько-нибудь заметное место. Основные сведения о нем я, например, почерпнул из литературы. Правда, я знал (об этом говорили), что человек этот создал боевой отряд налетчиков, под знаменем анархизма повел его на выручку Красной Армии и, естественно, храбро сражался с контрреволюционной гидрой. Большевики отблагодарили его по-своему, по-большевистски: в одно отнюдь не прекрасное утро расстреляли из пулеметов все Мишкино воинство и тем поставили точку на недолгой, но яркой истории кровавого братства одесских налетчиков. Кажется, в не вышедшей в свет картине по сценарию Бабеля была именно такая трактовка.

Но это не значит, что налетчиков в Одессе не было — конечно, были! У нас на Мясоедовской царила банда Кунянского. Помню его самого — наглого, красивого, быстрого, с неизменным «шпайером» в кармане. Помню, как он подходил к нашему киоску и спрашивал выпуски о Нате Пинкертоне. Помню, как стоял у дверей иллюзиона, и вокруг теснилась его «шестерня». Как-то некий гражданин задержался у входа, видимо заглядевшись на бандита, и Кунянский лениво ткнул его «шпайером» в бок, сказав, вероятно, что-то вроде: «Проходи, тебя же не бьют — чего любуешься?»

Иногда по Мясоедовской катил штейгер — полукарета-полудрожки, из которого лихо палил в воздух Кунянский и орали на всю улицу налетчики. И еще помню, как однажды под вечер по Мясоедовской мчалась целая кавалькада, бандиты ликующе вопили, а их атаман бросал из переднего экипажа разное барахло — ботинки, трусы, чулки, зонтики. Люди бежали за штейгерами, ловили брошенное и радовались, что им тоже перепало от удачного налета.

А в нашем дворе судачили: «Кунянский жутко скупой — за каждый грош всей пятерней хватается. А сегодня разошелся —

значит, было великое дело!»

Конец Кунянского был прост и естествен. В 1919 году в городе окончательно установилась советская власть — она немедленно стала наводить суровый порядок. Как-то утром Кунянского вывели из квартиры и увезли в ЧК. Вся улица твердила, что отважный налетчик скулил, вырывался, плакал, просил прощения… Больше он не вернулся — из ЧК редко кто возвращался.

Вообще говоря, налеты шли приливами и отливами. Власти украинских националистов, хоть и держалась она на прочных, как тогда казалось, австрийских штыках, хватало забот и помимо разбоя. К тому же главными богатеями Одессы были греки и евреи (впрочем, попадались и армяне). Украинцы, как и русские, обретались скорей в голытьбе, чем в «буржуях».

До поры до времени налетчиков терпели, но срок им выпал короткий. Немцы убрались восвояси, на рейде появились французские суда, по улицам города зашагали веселые французские моряки и пестро одетые греки. О самостийности не могло быть и речи!

Но интервентам тоже было не до бандитов — их заботило большевистское подполье. Налетчество расцвело и укрепилось. Теперь это был солидный, открытый, хорошо поставленный промысел. Именно в это время мясоедовский Кунянский гордо фланировал по родной улице и честолюбиво ловил уважительный шепот обывателей: «Кунянский идет, наш налетчик!» Не проходило дня, чтобы кого-то не ограбили. Убивали редко. От убийства, жестоко торгуясь, откупались. Один из знакомых моего будущего отчима с негодованием вспоминал: поймали его на улице трое. «Я им говорю: да вы с ума сошли — всего раздевать! Как я голый пойду? Я на это не согласный! Убедил взять пальто и шапку, штаны и ботинки оставили».

А в газете появилось любопытное объявление: «Гражданин, у кого я вчера на Большой Арнаутской случайно снял золотые часы, может получить их обратно у меня дома. Зубной врач такой-то». Потом стали известны подробности: к зубному врачу, мужику рослому и крепкому, подошел прохожий и попросил прикурить. Врач на спичку расщедрился, а отойдя, обнаружил, что на руке нет часов. Поняв, что его ограбили, он кинулся за незнакомцем с криком: «Отдай часы, не то душу выну!» Безропотный прохожий с душой расставаться не захотел. А дома врач увидел, что собственные его часы лежат на столике — он не взял их, чтобы не ограбили, но забыл об этом. Анекдоты такого рода широко ходили по Одессе.

Подошел срок убираться и французам с греками. От

французов осталась революционная память: восстание моряков на одном из военных кораблей. В городе много лет вспоминали фамилии вождей — Марти и Бадина. Революционная благодарность не терпит отступничества и не признает исторических заслуг: сперва запретным стал Бадин (что-то, видимо, не так сказал и не то сделал), и его имя убрали из названия судоремонтного завода им. Марти и Бадина. А много позже сковырнулся с правильной политической стези и Марти — затерли и его фамилию.

А что до греков, то они оставили Одессе тяжелый гороховый хлеб, камнем ложившийся в желудке. Хлопотливые и словоохотливые одесситы не шибко разбирались в прошлых заслугах эллинов, но потомков древней Эллады поминали лихом. «Такой жуткий хлеб едят, а хорошие люди, просто удивительно!» — говорила мама.

Ненадежных французов и неприметных греков сменили ликующие григорьевцы и котовцы. Революционные хроники уверяют, что неудержимый порыв повстанческой армии Григорьева[8] — позже эту фамилию выперли из истории — смел интервентов в море. Что до конницы Котовского, то она победно промчалась с Пересыпи по Дерибасовской и Пушкинской.

Впрочем, интервенты убрались недалеко. Солидная толика французского флота осталась на рейде, блокируя город с моря. Адмирал справедливо рассудил, что мешать шаландам и дубкам возить в город зерно и арбузы с помидорами куда безопасней и славней, чей бросать своих охваченных революционным брожением моряков на пулеметы Котовского. А мы, ребятня, бегали с Молдаванки на Николаевский — тогда он был еще Николаевским — бульвар, с высоты грозили кулаками кораблям, запиравшим выходы в море, и орали обидные куплеты про французских буржуев.

Была, правда, опаска: вдруг французы разъярятся и жахнут по городу одним-двумя снарядами. Но все заканчивалось благополучно: мы надрывались в издевках, а капитаны вкупе с адмиралом затыкали уши и зажимали волю в кулак, чтобы не унизиться до банальной мести.

Налетчики в эти дни заметно присмирели. И ЧК уже начала разворачиваться, и богатеи победнели. Незаконный, частный отъем излишков сменился законным — правительственными контрибуциями и реквизициями. Всю буржуазию в целом обложили внушительной данью, разверстав ее по каждому торговцу и промышленнику. Газеты печатали, что от кого получено, какая осталась недоимка и чем она грозит виновнику.

Одесса имущая возмущалась, рыдала, рвала на себе волосы,

вздевала руки к небу, каждый жаловался соседям, сколько с него затребовали, сколько изъяли, сколько осталось. «Босяки, что они из себя думают! Они же задушат нас, это же я не знаю что такое!» А отряды рабочих и чекистов обходили квартиры, обыскивали, изымали ценности, кого оставляли, кого забирали… Контрибуция накапливалась — добром и дубьем.

Мне кажется, грабители, потрясенные размахом властей, боялись присоединить свои усилия к разжижению накопленных буржуазией богатств: уже появился грозный термин «бандиты» взамен почти хвалебного «налетчики», название вешалось то как почетный знак, то как гиря — с одним можно было и выпендриваться, за другое ставили к стенке.

Но большевики, так и не завершив изъятий, отступили под натиском белогвардейцев. Незадолго до отступления восстали немцы-колонисты. В городе, помню, со страхом передавали, как жестоко воевали черноморские тевтоны, сто лет прожившие рядом с украинцами, русскими и евреями, но так и не приобщившиеся к языку и обычаям среды обитания и всегда презиравшие (в душе) тех, кто их окружал и кто на них наседал.

Небольшая эта страна, Германия, пятьдесят миллионов при кайзере, восемьдесят миллионов при Гитлере, дважды нагоняла страх на весь мир. От немцев всегда ожидали чрезвычайностей. И хотя одесское восстание по масштабам было помельче, чем бунт Григорьева или метания Махно, город заволновался. На какое-то время объединились даже социально непримиримые враги — чтобы лучше противостоять мятежу. Никто не горевал, что колонистов раздавили, и раздавили беспощадно — так жестоко они расправлялись с рабочими отрядами, явившимися в их села изымать продовольственные излишки.

А затем Одессу затопила мутная волна белогвардейщины. Странной штукой было это движение… Полной правды о нем не сказано, равно как и о революционном порыве большевиков. Меньше всего я могу быть объективным свидетелем истории: архивы для меня недоступны (и не так уж много правды в них сохранилось), а мир, который я знал, был не больше чем узким окружением — отдельные события, отдельные встречи и вообще «немногое мне память сохранила».

Что до публичных свидетельств (с обеих сторон), то каждый негативировал противника, оценка врага превращалась в смакование совершенных им зверств. Иллюзия вражеской всеподлости способствовала собственной отваге, она застилала глаза, была нимбом, который натягивали на свою голову: чем выше ты, чем ниже враг — тем беззаветней нужно на него бросаться. Такова уж натура человека: он может жертвовать собой

только во имя высоких идей (точнее — идей, которые кажутся ему высокими). Утверждаю это!

Думаю, в белогвардейском движении были свои святые, наивные, искренние души, фанатики честности и порядочности, страстно мечтавшие восстановить справедливость, неправедно искореженную революцией. Не сомневаюсь: еще больше, гораздо больше таких пламенных и чистых духом, которые мечтали с помощью насилия утвердить великое равенство и свободу, было среди красных — победа революции убедительно это доказывает. Но каждый чистый поток, если он силен, неизбежно рано или поздно взбаламучивает грязь. И чем он бурней и мощней, тем больше в нем мути.

Скажу сильнее: мощное течение самим движением своим взметает, умножает, выводит наружу всяческое дрянцо, которое, не свершись бури, дремало бы, возможно, в невидном своем «укрывище», как любит говорить Солженицын, черпающий слова не из лексикона живых людей, а из академических словарей. Не было еще в мире очистительного урагана, который не поднял бы пыли и не понес бы с собой всякую мерзость. Так что поводов для осуждения любого великого события всегда вдосталь — только рыться в этом дерьме занятие не столько даже неприятное, сколько неэффективное.

Контрреволюция белогвардейцев была частью грандиозного исторического действа — большевистской революции, величие которой бросило отблеск на безнадежное сопротивление реакции. Сама беспросветность попытки — офицерские полки шли в штыковые и сабельные атаки на могущественную красную артиллерию — не лишена известного величия. Я потом читал, что в Красной Армии сражались около двадцати пяти тысяч царских офицеров (военспецов), а в армии белой их было не больше семнадцати тысяч. Уже одно сопоставление этих малоизвестных цифр говорит, за кем пошла страна, кто должен был выиграть схватку не только в сфере идей, но и на поле сражений.

Не говорю уже о том, что вся военная промышленность находилась под контролем красных, а белые довольствовались подачками союзников да тем, что удавалось отбить у противника. Недаром они так судорожно рвались к Царицыну, Перми, Туле — крупнейшим центрам военного производства. Думаю, если бы большевики были хоть вполовину такими умелыми воинами, как белогвардейцы, гражданская война закончилась бы не в четыре года, а значительно быстрей. Но в решающей битве, битве за души, битве великих идей, преимущество красных было неоспоримым и подавляющим.

Именно в том, что белые не сумели вооружить своих солдат и

офицеров ни одной истинно великой идеей — основная причина их поражения. За новое, еще не изведанное, еще не испробованное, всегда сражаются охотней и самоотверженней, чем за старое, пусть и удобное, но надоевшее одним тем, что уже было. Только лозунги, зовущие вперед, поднимают людей. Такова уж природа человека — его тянет в туманную даль, а не в ясное «назад». Конечно, реакция временами побеждает — но ее торжество недолговечно.

Недавно мне довелось прочитать газеты времен гражданской воины. И меня ужаснуло, до чего поражение меньшевиков и кадетов (к эсерам это относится в меньшей степени) было заранее предопределено. Первые с блеском и точностью — талантливых литераторов им было не занимать — критиковали недостатки большевизма, яростно и скорбно прогнозировали безнадежное будущее. Но положительная их программа (если выражаться на современном бюрократическом) сводилась к одному: «Вся власть Учредительному собранию!» И ни один не задавал себе вопроса: а чего людям ждать от этого сакраментального Учредительного собрания? Каких благ, каких откровений, осуществления каких надежд? А большевики говорили кратко и вдохновляюще просто: «Мир и земля крестьянам!» Это было четко, ясно, это воодушевляло. И, стало быть, большевики должны были победить, меньшевики должны были погибнуть.

Трагедия социальных страстей того времени (да и нашего тоже) была в том, что не все понимали: одной критикой, даже правильной, ничего не добьешься. Социализм никогда не стал бы силой, способной свалить капитализм, если бы ограничился только криками о капиталистических недостатках. Васька слушает да ест… Только положительная программа — пинок в задницу — способен оторвать от сладостной жратвы. Маниловские воздыхания — ах, раньше было куда лучше, — души не зажгут. И зов назад тоже не воодушевляет. Кстати, Запад, потихоньку двигаясь вперед, непрерывно — и неизбежно — заимствует то одну, то другую особенность социализма, преждевременно возгласившего широкую программу действий. Недаром Рузвельта, вводившего элементы примитивного госкапитализма, многие называли красным. Гитлер вообще именовал свое движение социалистическим. Что бы сказали буржуазные идеологи семнадцатого о Картере, властно, но не очень умно — из-за отсутствия того самого, что зовется умом — наложившего свою президентскую длань и на внешнюю торговлю, и на внутреннюю экономику? Опишите сегодняшний капитализм — и получите картину, под которой, скажем, в 1910 году охотно подписался бы Ленин.

Но я отвлекся. Итак, Одессу захватили белогвардейцы. Шумно и ликующе возродились все приметы прежней жизни. Рынки, еще вчера пустые, пухли от изобилия. Поразительно: откуда взялось это богатство? Ведь только что ничего ни у кого не было… В переполненных ресторанах гремела музыка — входившие в моду душещипательные танго — и нарядные парочки томно кружились на натертом до блеска паркете. Проститутки и педерасты, оставив недавние хлопоты о создании собственных профсоюзов, охраняющих их производственные усилия и профессиональные умения, густо заполнили панели, обслуживая клиентов в старорежимном стиле, без апелляций к коллективно утвержденным таксам и нормам — кто как сумеет, кому как посчастит.

Над городом возносился благовест: церковь уже не чувствовала себя выше борющихся партий (как в первые месяцы семнадцатого). Впрочем, она могла бы встать над схваткой — если бы у красных было побольше широты души, а у иерархов — больше понимания эпохи. К тому же они не слишком грешили соответствием собственным своим догмам. Церковные князья и бароны были тысячекратно ниже религии, которую пышно обряжали и выражали, — они поспешили связать ее, незыблемо простоявшую две тысячи лет, с социальным строем, уже спешившим низринуться в пропасть.

А контрразведка, захватив кабинеты и камеры жандармерии и ЧК, делала свое дело — шел не просто пир во время чумы, а последний пир, празднество неизлечимо зачумленных. Она была не так даже жестока (хотя жестокости хватало с избытком), как неприкрыто цинична. Кто-то искренне, жертвуя собой, старался повернуть историю вспять — к испытанному социальному бардаку, ставшему для общества невыносимым, кто-то пытался обеспечить себе сегодняшнюю дымную и чадную житуху с водкой и бабьем, самые проницательные хотели отложить кое-что на завтрашний неисповедимый денек.

Для некоторых арестантов тюрьмы контрразведки превратились в подобие скверно оборудованных, но высокооплачиваемых гостиниц. Еще никогда в Одессе так не расцветало налетничество! Последним, правда, взрывом… Бандиты открыто носились в штейгерах, лихо — старательно не попадая — отстреливались от полицейских и не тужили, попадая в тюрьму. В обращении ходили добровольческие колокольчики (купюры с выщербленным царь-колоколом, знаменующие хоть и враждебную, но навек неуничтожаемую Русь). Бумажка в 1000 рублей называлась куском. Авторство странного названия приписывали контрразведке.

— Да я тебя, мерзавца, на пятьдесят кусков разорву! — орал офицер на прохиндея, доставленного на допрос.

— Убедительно прошу ваше благородие разорвать меня только на двадцать кусков! — смиренно просил налетчик.

— Спорить со мной, подлец? На сорок кусков — и ни одним меньше!

Сговаривались на тридцати. Начальнику доставляли тридцать «колокольчиков», налетчик спокойно садился в дрожки или штейгер. Пир зачумленных продолжался.

Конечно, все эти послабления были не про большевиков. Цинизм белогвардеищины так далеко не простирался: настоящих врагов не миловали, на них не наживались — тем более что нажива в данном случае вообще не светила. Зато грабители и убийцы настоящими врагами не были. Они были свои — нехорошие, но неизбежные. Что-то вроде естественного дерьмеца: пованивает, конечно, но нельзя же без этого. И потом: навоз — это удобрение, почему бы и не обогатиться? И обогащались — кто как мог.

Общество, восстановленное белогвардейцами в Одессе, смердело — это не только точная, но и снисходительная оценка. Его творцы чувствовали себя временщиками, а не освободителями — и тот, кто искренне прикипел к нему, с горечью и негодованием ощущал несоответствие между тем, о чем мечтал, и тем, что реально творил. Плач об этом сквозит во многих воспоминаниях белоэмигрантов. Взять хотя бы мемуары честнейшего барона Будберга, колчаковского министра: временами он, терзаемый совестью, больше хотел победы красных, чем своей (своих). Этот знал, что творит. Другие не знали, но творили. История шла, как и следовало идти.

Время временщиков кончилось быстро. В дикой спешке белые погрузились на французские и русские суда и навек пропали в томительном эмигрантском полубытии-полузабытьи. В Одессе установилась постоянная власть. Она была властна. ЧК наводила порядок железной рукой. Налетничество оборвалось как отрезанное. В новом мире не признавали шуток, не вымогали (тогда) взяток. Такса за прегрешения была постоянна — собственная голова. Кому-то из налетчиков удалось трусливо перекроиться в кустаря, в торговца, в рабочего — эти спаслись. На час. Но большинство пустили в расход — удивительно точное словечко! «Расходовали», разумеется, не только общественное дерьмо — досталось и многим великим ценностям. Прошли десятилетия, но и сейчас восстановлено далеко не все, что истреблялось так просто, так решительно, так обыденно и так бездумно.

Но это — особая статья. В те годы было важно другое: мир вооруженного воровства, мир лихого разбоя погиб мгновенно, не сопротивляясь. В городе царил порядок — порядок пустыни.

Закрытые лавочки, опустевшие базары, безлюдные улицы, ветер, вздымающий пыль на тротуарах и мостовых, рвущий плакаты с энергичными призывами добить Врангеля, отбросить Пилсудского, разжечь пожар мировой революции — такой мне запомнилась Одесса первых большевистских месяцев…

11

В первый послереволюционный приезд отца меня определили в школу.

Мать не делала культа из образования — эта черта неистребима в исконном крестьянстве. Но для отца, полунемца-полугрека (духовно он все-таки был ближе к немцам — и русским, естественно, — чем к грекам), образование было ордером на уважаемое существование. Он сам остро, как главную беду, ощущал недостаток знаний и никогда не смог бы с вызовом сказать сакраментальную фразу «Мы в гимназиях не обучались» (хотя в гимназии действительно не учился) — и, уж конечно, не допустил бы безграмотности сына. Его сыну дорога была только в гимназию!

Перед тем как бежать из Одессы (здешняя почва после июльского петроградского путча стала слишком горяча для его ног), отец оформил все необходимые документы — и меня определили в первый приготовительный класс гимназии святого Павла. Отвела меня туда уже мама. Не сомневаюсь: отец жалел, что не удалось взять сына за руку и по буйному Толчку, по беспокойной Старопортофранковской отвести в тихий переулок — к мрачному, неприветливому, надменному зданию единственной в городе лютеранской гимназии.

Чтобы гимназия была именно лютеранской, а не православной, вероятно, настоял отец. Впрочем, мать всегда хорошо относилась к немцам и часто хвалила их дисциплину, порядочность, трудолюбие и честность.

Было тут одно неудобство (для меня, естественно) — но с ним родители не посчитались. Уроки закона Божьего в гимназии вел пастор — протестантский владыка неба был не для православных. Нас в вере и страхе Божьем наставлял священник. И когда почти весь класс оставался учиться протестантству, кучку недопущенных выставляли в коридоры. Нас обязывали не шуметь, не бегать, не драться. Мы честно старались — получалось не всегда. И вот что примечательно: пастора я помню — он

шествовал в класс, неторопливый, полный, важный, черный, с очками на носу и молитвенником в руках, и добродушно и властно покрикивал по-немецки на нерадивых. А священника припомнить не могу. Он, несомненно, был и чему-то нас учил — вероятно, такому же невыразительному, каким был сам.

И еще одно, гораздо более важное: как ни стараюсь, на память не приходит ни один гимназист-еврей. В русские гимназии, сколько знаю, их принимали — к нам нет. Просвещенное немецкое землячество не допускало к себе евреев. Гитлер строил свою антисемитскую кампанию на прочном фундаменте! Одна из непростительных иллюзий истории: образование и лоск цивилизации почему-то отождествляются с человекотерпимостью. Великий мыслитель древности страстно настаивал: «Несть ни эллина, ни иудея»[9] — все, мол, люди. Но в наше время, спустя две тысячи лет, не каждый человек причисляется к человекам. В гимназии святого Павла «белокурые бестии» были уже в моде, но еще не узаконены. Их наличие в среде прихожан-учеников не декретировалось.

Теперь мой день был четко организован. Бабушка будила меня, следила, как я молюсь, умываюсь и ем, водружала мне на спину ранец и выпускала за дверь. А во дворе меня ждала моя подружка Аня Цалкина. Ей не выпало счастья учиться в гимназии — даже церковно-приходские школы были не для нее. Но она приобщалась к недоступной привилегии, истово провожая меня в класс.

Мы шли, держась за руки, по Прохоровской и Старопортофранковской до гимназического переулка, здесь я останавливался и отпускал ее — стыдился, что одноклассники могут увидеть меня с девочкой. Я уходил, оборачиваясь, — она некоторое время стояла и радостно улыбалась мне, потом возвращалась домой. Путь был не такой уж близкий, на полчаса детского хода, и погода выпадала разная — и солнце, и дождь, и мокрый снег, и добрый черноморский ветерок. Но не помню дня, чтобы Ани не было во дворе, и ни разу она не остановилась раньше, чем я ее отпустил.

Я был по-детски жесток — не выпускал ее руку, какая бы ни была погода, пока не чувствовал: дальше идти неудобно. Она была по-детски счастлива от моей дружеской безжалостности и все бежала рядом (я ходил очень быстро) — и что-то говорила о себе, о маме, о сестре Шуре, и покорно останавливалась, когда я приказывал, и улыбалась мне, пока я мог видеть ее улыбку.

Не знаю, что с ней потом стало. Сестра ее Шура вышла в комсомольские работники, уцелела в войну. Об Ане я ничего не слышал. Возможно, она не разучилась испытывать счастье от

соприсутствия с другом — и выполнила свое предназначение, покорно и радостно служа мужу и детям. А может быть, погибла в одесском гетто. Ад, устроенный гитлеровцами на Дальницкой улице, пожрал не одну тысячу хороших людей. «Я Анна Соневна», — говорила она о себе. Я уже говорил, что отца у нее не было. Причем не то чтобы они с сестрой его не знали — явление рядовое, это бывало у многих. Нет, в нашем дворе категорически утверждали: у детей Сони Цалкиной отца вообще не существовало. Не знаю, все ли соседи верили такому поразительному биологическому выверту, но Аня рано, слишком рано привыкла к тому, что произошла только от матери — она чуть ли не с гордостью отрицала необходимость отца. Такой она была — Аня Соневна — в свои семь-восемь лет, такой я ее навеки — в пределах своей среднедлинной жизни — запомнил.

В классе у меня появился товарищ — и тоже тихий и верный. Вильгельм Биглер — так его звали, моего доброго Личарду.[10] Мы с Вилли сидели рядом, он старательно выводил каракули в тетрадке с надписью «Иван Мах», я не менее усердно их списывал. Он учился, конечно, лучше меня, хотя борзым соображением не брал. Зато я был заводилой — и не обязательно пакостей, но непременно чего-нибудь «не того».

После уроков мы уходили вдвоем — путь вел на Тираспольскую площадь к Мещанской церкви. Где-то неподалеку была женская гимназия — мы старались подгадать к выходу девочек младших классов. Потеха совершалась по раз и навсегда утвержденным правилам. Завидев впереди двух гимназисток с косами, мы устремлялись за ними, но так, чтобы не вызвать ни у них, ни у взрослых опасных подозрений: шли быстро, но чинно, говорили не повышая голоса, особо не жестикулировали. А подойдя, быстро обходили парочку с двух сторон, каждый с силой дергал за ближайшую косу — и мы удирали.

Возмущенные и тайно довольные мужским вниманием девочки визжали, женщины бранились, грозя пожаловаться учителям и родителям, мужчины кричали: «Вот я вас, босяки, догоню — будете знать!» Как-то меня и Вилли попытался схватить один старичок — он пыхтел и размахивал тростью, мы отбежали и показали ему языки. Однажды нас обоих сгреб дворник и намылил холку — этого было вполне довольно, чтобы разок похныкать, но абсолютно недостаточно, чтобы отказаться от восхитительного хулиганства.

Иногда удавалось дергать за косы не одну, а две пары девчонок. Это было верхом удачи, в такие счастливые дни мы бежали до Мещанской церкви, непрерывно хохоча и возбужденно делясь друг с другом подробностями успешной акции. И слышали

восклицания женщин, то удивленные, то негодующие, то сочувствующие: «Ось же скаженные хлопци, чого их так розибрало!»

Наутро в классе с нетерпением ждали наших рассказов. Аня Соневна тоже выслушивала реляции о победах, и радовалась моей радости, и с сожалением взмахивала короткими, темными, не очень густыми и совсем не вьющимися волосишками — мальчишки, кроме меня, на нее внимания не обращали, вряд ли кто стал бы дергать ее за жидкие косички, даже если бы она их завела. А заводить Соня не разрешала — отрастая, волосы начинали выпадать (была у Ани такая болезнь).

Наши с Вилли эскапады научили меня очень важному искусству — здороваться с незнакомыми так, чтоб отвечали. В годы профшкольничанья и студенчества «здоровканье» стало любимым развлечением. Нужно было сказать незнакомому человеку «Здравствуйте!» и получить в ответ то же словечко или «Добрый день!» Штука была хитрая. Мужчины, как правило, отвечали сразу, только некоторые (из очень молодых или, наоборот, очень старых) сперва старались разглядеть, кто их приветствует. А женщины, твердо усвоившие, что с незнакомыми здороваться неприлично (город все-таки портовый), чаще всего начинали сомневаться: а вдруг этот, здоровающийся, их знает? Иногда они даже останавливались и спрашивали: «Мальчик, постой, ты кто?»

Так вот, я стал чемпионом города по провокационным приветствиям — это все признавали. Мы соревновались: кто выбьет девять хороших ответов у десяти мужчин и восемь — у десяти женщин, причем незнакомцы, у которых вымогалось здравствование, выбирались из самых неприветливых. Заключали пари. Бывали и неудачи, конечно, никакое трудное дело без них не обходится, но в среднем я обжирался бесплатным мороженым раз в пять-шесть чаще, чем угощал других на свои кровные, скудные деньжата.

Но я опять отвлекся. Именно это веселое занятие — дерганье девчонок за косы — и стало причиной того, что мне пришлось ровно на пять лет распроститься со всяким учением.

В нашем классе было, я помню, два учителя: добродушный, говорливый толстяк (уже не знаю теперь, что он вел) и учительница арифметики, молоденькая, стройненькая, с двумя длинными косами в руку толщиной. Они шевелились у нее на спине как большие желтые змеи — арифметичка любила встряхивать головой. Ни у одной из девчонок, которых мы терроризировали, и отдаленно не было такой красоты!

И я стал уговаривать верного Вилли подергать за косы

учительницу. Он сперва испугался, потом рассердился, затем смирился, после согласился — немного косноязычный, он не был способен сопротивляться красноречию, а я, думаю, был настойчив и красноречив. Судьба учительницы — и в еще большей степени наша — была решена в один ветреный снежный денек.

Урок арифметики был последним, мы с Вилли уселись на крайних у прохода местах на двух соседних партах. Арифметичка прошла в конец класса и начала проверять, как перекарябываются в иван-маховские тетрадки задания, написанные на доске. Она проверила мои записи, потом Виллины и перешла к следующим партам — прекрасные ее косы замаячили перед нашими глазами. Я мигнул Вилли — мы разом вцепились в них и дернули изо всей силы: я — правой рукой левую косу, мой верный оруженосец — левой рукой правую (такую операцию мы неоднократно отрабатывали на девчонках, акция была проверенной). Учительница закричала, упала, вскочила и вихрем вынеслась из класса. На полу осталась маленькая лужица. Урок был сорван. Вокруг нас с Вилли сгустились одноклассники. Благовоспитанные немцы не скрывали страха и восхищения.

Спустя минуту явился злой швейцар и, больно ухватив нас за уши (меня — за правое, Вилли — за левое), потащил таким макаром к директору. Директор что-то долго и строго нам выговаривал, оставил на два часа после уроков в пустом классе, а потом снова вызвал и объявил, что из гимназии мы исключены — пусть завтра придут родители, им расскажут о нашем возмутительном поступке.

Мама кинулась в гимназию в тот же день — и потом ходила еще не раз. Мольбы ее успеха не имели. Вильгельма Биглера в знак уважения к его родителем и учитывая меньшую вину (он честно и правдиво доложил, что инициатором действа был всецело я) восстановили, а для меня гимназическая дверь была закрыта навсегда. Это случилось в 1918 году. Только в 1924-м я снова взял в руки учебник.

И еще одно воспоминание, гораздо ярче и радостней, связано у меня с лютеранской гимназией святого Павла, которая в последний свой год (в гражданскую ее закрыли) так строго и справедливо отринула, если можно сказать — «выринула» меня из себя.

Она стояла у кирхи (или кирха была при ней), построенной не из кирпича, а из ракушечника и стилизованной под позднюю готику. Ракушечник — камень грубый и хрупкий, к особым изыскам не пригодный — во всяком случае, так считают архитекторы. Но давно известно — дело мастера боится. Из неблагодарного камня мастера-строители возвели такие высокие

стены с прихотливо выгнутыми углами, вывели такие плавные закругления, украсили окна такими тонкими кружевами наличников и рам, вывязали узоры такими прихотливыми линиями, что оставалось только обалдевать: неужто ракушечник? Тот, что годится лишь для уличных заборов да всякого немудреного гладкостроения?

В один из приездов в Одессу я узнал, что один — верней, одна директивная товарищ — ходатайствовала перед высшими инстанциями о разрешении снести кирху: ветха, не нужна, художественно малоценна, да еще того и гляди обе ее башни рухнут на головы прохожим… Я не так уж зол по природе, но кое-чего все-таки пожелал этой высокозадой начальственной даме, а заодно и лакеям-архитекторам, угодливо поддержавшим ее «мнение».

Так вот, к гимназии примыкала кирха, и нас туда иногда водили. Учиться по лютеранскому требнику запрещали — богослужение слушать не возбраняли. Служба была как служба, правда, можно было сидеть, что выгодно отличало кирху от церкви. Зато в православных храмах висели красочные иконы и священники одевались гораздо пышней, чем скромные пасторы, — так что церковь привлекала больше.

Но как-то в свободный часок («окно» — по студенческой терминологии) я пробрался в пустую кирху. Кто-то играл на органе, сквозь цветные витражи лилось сияние — многокрасочное, удивительное, оно ложилось на скамьи, передвигалось по стенам и полу. День был неровный, по небу мчались облака, солнце то вырывалось в полный свет, то гасло — все в кирхе то ликующе вспыхивало, то уходило в торжественный сумрак. И зал наполняла музыка — величественно печальная, проникновенно нежная. Я волновался, я был покорен, сражен, не мог двигаться. Я присел на заднюю скамейку и только слушал, слушал, боясь, что органист увидит меня и прогонит. Когда музыкант прервал экзерсисы, я поспешно удрал.

Вилли был согласен на все, что я предложу. К тому же пробраться украдкой в пустой зал — задача нехитрая, и Вилли покорно поплелся за мной. Усевшись на то же малоприметное место, мы слушали концерт ни для кого.

Органист сделал перерыв — мы ждали продолжения. Тут нас и обнаружили. Перед нами появился сам музыкант — невысокий, очень плотный, очень небритый и очень сердитый. И поинтересовался по-немецки, кто нас сюда пустил и зачем мы ему мешаем. В те годы (до болезни, во время которой я начисто забыл все языки, даже русский) я хорошо понимал немецкий и сносно на нем говорил, не путая его с идиш, которого в Одессе было

много трудней не знать, чем знать. И я объяснил, что мы слушаем музыку и сидим смирно, мешать не будем, лучше нам провалиться на месте, чем мешать.

Вилли меня поддержал (его немецкий был гораздо лучше) — и музыкант смилостивился. Он разрешил приходить в кирху, когда он играет, но не баловаться, не шуметь, не бегать — только сидеть и слушать. Такая программа нас вполне устраивала. Органист посадил нас на другую скамью — вероятно, хотел, обернувшись, проверить, как мы слушаем. В тот день он играл долго, мы с Вилли здорово опоздали домой. Не знаю, досталось ли от родителей ему — моя бабушка ворчала, а мама похвалила: музыку она любила.

Это были удивительные часы! Мы приходили после уроков, садились на «свои» места, клали рядом ранцы и слушали великую музыку. В пустом зале, пронизанном солнцем, она звучала по-иному, чем в переполненном. Все сливалось в гармонии — и звучные солнечные лучи, и поющие краски витражей, и многоголосье органа.

Органист был неутомимо трудолюбив, он проникал в самую душу музыки, трубные голоса пели, печалились, ликовали, скорбели, поднимали и уносили, они были оглушающе огромны, до боли нежны и едва слышны, они были всякие — их нельзя было слушать без замиранья сердца, временами не хватало сил на вдох. А потом все затихало — но мы не шевелились, и музыкант, спустившись к нам, говорил добрым голосом: «Геен зи, киндер!»[11] — и, бывало, хлопал по плечу и гладил по голове, если концерт казался ему удавшимся.

Праздники прекратились, когда меня исключили из гимназии. Потом, слушая орган (по радио, на пластинках, на концертах), я узнавал шалых знакомцев, впервые открывшихся мне с Вилли в пустой и пронизанной солнцем молельне — память о них жила во мне как часть моей собственной жизни.

Здесь я должен кое-что пояснить для читателей этих мемуаров (конечно, если такие когда-нибудь найдутся). Гете некогда назвал свои воспоминания кратко и точно: «Поэзия и правда». Память соединяет истину и вымысел — то одного больше, то другого. Я иногда ловил себя на том, что, говоря о пережитом, кое-что смягчал, кое-что усиливал, кое-что убирал напрочь. Рассказ постепенно менялся, он начинал играть пририсовками, становился, теряя свою маловыразительную правдивость, ярче, эмоциональней и убедительно логичней. Какое-то время я понимал, где реальность, где выдумка, потом — постепенно — вымысел одолевал, становился правдоподобней правды — и я сам, уверовав, уже не сомневался в его истинности.

То, о чем сейчас расскажу, содержит в себе и безусловную достоверность, и возможную выдумку — ибо оно слишком ярко, чтобы просто, без придирчивой проверки, счесть его правдой.

Достоверность его в том, что как-то я пошел на органный концерт Гедике, а после того встретился в Доме ученых с профессором Варнеке. Варнеке был мил, отлично воспитан, мне нравились его книги об античном театре, он восхищал эрудицией — а я, вероятно, виделся ему молодым, многообещающим научным работником. Он благоволил мне.

— Я видел вас вчера на концерте Гедике, — сказал Варнеке. — Как вам понравились адажио Баха и Бранденбургские концерты? Гендель и Франк тоже были великолепны, не правда ли? Не знаю лучшего исполнителя этих произведений.

— Я слишком плохо знаю музыку, чтобы судить об исполнении, — отговорился я. — Правда, вещи, которые играл Гедике, я слышал и раньше.

— И кто их исполнял?

— Право же, не знаю — органист мне совершенно неизвестен.

— А он играл хорошо?

— Откуда мне знать? На меня это действовало очень сильно.

— Сильней, чем Гедике?

— Наверное, сильней. Я ведь впервые слышал органную музыку… Возможно, он играл плохо — дело не в умении, а в том, как воспринимаешь.

— Кто же этот неведомый органист, так сильно вас захвативший?

И я рассказал Варнеке о толстом, небритом, плохо одетом человеке, услаждавшем меня и Вилли концертами «ни для кого». На этом достоверность кончается. Я не знаю, чего больше — правды или вымысла — в том, что последовало дальше. Возможно, один лишь вымысел.

Варнеке захохотал.

— Толстый, небритый, никому не известный музыкант? А вы знаете, что вам довелось слышать игру лучшего органиста Европы?

Я сейчас не уверен, что не придумал ту новеллу, которую поведал Варнеке…

Когда немецкий генерал Макензен в 1916 году захватил Румынию, кайзер решил совершить в завоеванной стране молебен по случаю успеха германского оружия. Знаменитый органист, профессор Берлинской консерватории, был послан в Брашов — подготовить торжественное богослужение. В городе был великолепный орган — второй в Европе, объяснил Варнеке. Я, правда, часто убеждался, что в любом деле первый всегда один, а

вторых — десятки (вторых органов в Европе, кажется, восемь или девять).

Как бы там ни было, профессор поехал в Румынию. Война еще продолжалась — и на музыканта для пущей безопасности напялили военный мундир. В России к форме добавили бы погоны — как минимум, полковничьи, и все было бы в порядке. В гитлеровской Германии тоже не пожадничали бы. Но в империи кайзера половина полковников, узнав о таком беззаконии, сочли бы себя смертно оскорбленными и немедленно написали рапорты об отставке — так что звание выше рядового или унтер-офицера профессору не светило.

Он мирно налаживал орган в Брашове, когда разразилось наступление Брусилова. Город захватили — среди прочих в плен взяли немолодого солдата, жалобно уверявшего, что он служитель Полигимнии (то есть музыкант) — и даже знаменитый.

Надо отдать должное русскому воинству: захваченного любимца музы не упрятали в лагерь для военнопленных, а привезли в Одессу. Сам Николай II издал рескрипт, разрешивший рядовому германской армии такому-то, в прошлом профессору Берлинской консерватории, жить на вольном поселении и совершенствовать свое мастерство на церковном инструменте. Впрочем, публичные концерты все-таки не дозволялись.

— Этого-то органиста вы и слышали, — закончил Варнеке свою историю, которой, возможно, вовсе не было. — Он, конечно, мог произвести впечатление — еще бы! А когда в Одессу вошли немцы, профессор благополучно вернулся в родной Берлин, где его знали лучше, чем у нас. Считайте себя счастливым, молодой человек, — вам повезло.

Мне-то повезло, а вот Варнеке — не очень. Когда в 1948 году я приехал к матери, меня ошарашили новостью: во время оккупации он стал городским головой. Мэр города — вот на какую вышину вознесся при немцах знаток античного театра, с негодованием сообщил мне один знакомый. После прихода советских войск будущее Варнеке было неизбежно определено — каторжный лагерь. Правда, в уголовщине старого профессора не обвиняли, но вины и без нее хватало. Для человека его лет и его здоровья выход из лагеря просматривался один — в вечную домовину. Не думаю, чтобы его послевоенная жизнь длилась долго.

Вероятно, мама, несмотря на все недоверие к дипломированному образованию, упросила бы вернуть меня в первый приготовительный класс (их было два — младший и старший), если бы не закрылась сама гимназия. Думаю, перестали работать почти все школы: кругом воевали, было не до ученья.

У меня появилось важное занятие — на какое-то время оно захватило меня полностью: я стал помогать маме продавать газеты. Нынче это просто, а в буйном восемнадцатом было подобно бегу с препятствиями: не обходилось без приключений, случались и кулачные схватки. Прежде всего надо было получить газеты, то есть, остервенело проталкиваясь сквозь толпу у типографского окошка, натужно орать: «Мне, мне, дайте мне! Мой киоск номер такой-то!» Эту часть программы я выполнял безукоризненно. Сильный, юркий, маленький, без слез сносящий толчки, тычки и затрещины, я оказывался вблизи окошка в момент выдачи, сгибаясь под тяжестью бумажной кипы, продирался к маме, стоявшей поодаль, и вручал ей основную часть добычи.

Затем мы шли в киоск. «Шли» — слово весьма растяжимое. В спокойные дни оно означало «шествовали» — с остановками, передыхом, оглядками и разговорами. В дни неспокойные (а таких случалось больше) «шли» было бегом без отдыха и оглядок, ибо на зазевавшегося разносчика газет отовсюду набрасывались жаждущие свежих новостей.

Помню, на выходе с Большой Арнаутской на Прохоровскую нас атаковала нестройная шайка читателей. Одни (с периферии толпы) умоляюще кричали: «Мадам, какие новости? Скажите: где наши, а где ихние? Почему стреляют, вот что ответьте — почему стреляют?» А те, что протиснулись ближе, просто вырывали газеты. Мама чуть не плакала, я бешено пихался, толкался — только что не кусался.

А когда мы выдрались и припустили дальше, пачка в руках мамы стала такой тощей, что она заплакала по-настоящему: «Что я дам постоянным покупателям?» — и приказала мне: «Спрячь свои газеты под рубаху, чтобы не отобрали».

Киоск окружала толпа своих — но мама открыла ставни не сразу. Оставшиеся газеты она положила под прилавок: «Это врачу Маргулису, это господину Михлееву, это тете Лизе…» — потом пересчитала полученные деньги. В угаре борьбы многие не удосужились заплатить — видимо, посчитали свое участие в свалке вполне достаточной платой. Нашлись, правда, и те, которые лихо швыряли керенки, не присматриваясь особо к начертанным на них цифрам — так вышло на так, в накладе мама не осталась.

Еще помню, что в тот день газета вышла на плотной синей бумаге — до революции сахарозаводчики обертывали в такую сахарные головы. Теперь сахара не было — обертка пошла в типографии. Вообще для печати использовали разную бумажную дрянь всех цветов радуги — например, обратную сторону

заверточных листов Высоцкого (была такая солидная дореволюционная фирма «Высоцкий. Китайский чай»). Впрочем, как раз чайная обложка была не дрянью — скорее, бумажным грандом: плотная, белая, прочная, она покоряла благообразием. Правда, на лицевой ее стороне тысячекратно и величественно-надменно повторялось одно слово: «Высоцкий» — но кто считался с такими пустяками?

У меня долго хранился дензнак, выпущенный Савранской анархистской республикой — существовало это могучее государство (Савранский уезд Херсонской губернии с парой десятков сел) недели две, но успело-таки завести собственные деньги. Их тоже печатали на обертках чаев Высоцкого, причем иные купюры (у меня была как раз такая) обрамляла высокомерно-язвительная надпись: «Чем наши хуже ваших?» Правители славного анархического Савранья, похоже, не были лишены ни сарказма, ни нахальства — они обладали полным комплектом того, что называют юмором висельников.

12

Вскоре после исключения из гимназии мне выпала первая тюремная отсидка — и не где-нибудь в милицейском участке, а на самой Маразлиевской, в знаменитой Одесской ЧК. Совершилось это многообещающее событие в качестве косвенного следствия ликвидации классовой несправедливости, еще оставшейся от проклятого капитализма.

Бывали эпохи, обуянные судорогой переселения народов. Восемнадцатый год в Одессе был охвачен спазмом уплотнения буржуазных квартир. Торговцев, заводчиков, всякую нетрудовую интеллигенцию (врачей, артистов и прочих) — сжимали в их просторных жилищах в одну-две комнаты, освободившуюся площадь отдавали рабочим.

По улицам в «город» тащились биндюги с Пересыпи, с окраин Молдаванки. На них громоздилась бедная мебель и тряпье, на тряпье восседали веселые женщины и визжащая от счастья детвора — путь из нищих каморок в благоустроенные буржуйские обиталища, наверное, представлялся им дорогой в рай. Позже, в студенчестве, я допытывался, сколько рабочих с Пересыпи и Молдаванки осталось в захваченных квартирах. Результат озадачил: практически все возвратились к родным пенатам!

Главной причиной обратного переселения, вероятно, была отдаленность от работы. Транспорт не ходил годами — первый трамвай после четырехлетнего перерыва пустили только в 1922 году. Наверное, влияла и тоска: все вокруг не свои! Но вот что интересно: незваные гости потихоньку возвратились на старые места, а созданная ими перенаселенность не только сохранилась, но и стала важной социальной особенностью грядущих десятилетий. Люди рождались и взрослели в коммуналках, общие кухня, уборная, ванная влияли на психику. Соседские, имущественные, идеологические, государственные нелады и склоки — все это можно назвать эффектом коммунальной квартиры. «Коммунальность» причиняла тысячи неудобств — и властно принуждала считаться с соседями, накладывая кандальные узы на бытовой индивидуализм.

Только после смерти Сталина страна попятилась к индивидуальному жилью (сперва — нерешительно, потом — все быстрее). Этот возврат к старому — широкий шаг вперед. Но мне кажется, наши сегодняшние правители не отдают себе отчета, чем грозит их всевластию неизбежная перемена психики, не отягченной необходимостью постоянно испуганно или зло озираться на соседа по квартире. Впрочем, они не сознают и

других перемен — гораздо более пекучих, чем какая-то подспудная психологическая революция.

Наша семья попала в разряд одаренных помещением. Домовладельца Федотова (или Федосова; остановимся ради простоты на Федотове) уплотнили, а потом и вовсе забрали в ЧК: он не внес причитающейся контрибуции. Из трех его роскошных — по молдаванским понятиям — комнат одну, освобожденную, передали маме — все же рабочая в недавнем прошлом, к тому же жена известного на Молдаванке большевика… Шило, в общем-то, менялось на швайку: одна крохотная комнатушка — на другую, вряд ли много больше.

Но первая комната, самостоятельная квартирка, была из голытьбовых, для босячья, а вторая, хоть и в новоорганизованной коммуналке, но буржуазная — незначительность физических отличий гигантски перекрывалась идейной благодатью. Воодушевляющий принцип «Кто был ничем, тот станет всем!» осуществлялся практически — повод для всеобщей дворовой зависти имелся…

Человек, которому все завидуют, уже по одной этой причине не может не чувствовать себя счастливым. Не сомневаюсь: мама была счастлива! Что до меня, то я просто задирал перед приятелями нос: мы вознеслись на второй этаж — теперь можно было взирать на одноэтажную шушеру с величественной высоты двадцати лестничных ступенек!.. Второэтажное наше величие прервал неожиданный обыск. Хорошо помню, что в комнаты, оставленные домовладельцу, пришел наряд красногвардейцев в черных кожаных тужурках — вскоре эта форма станет знаком отличия чекистов, хотя, припоминаю, тужурки эти носили и армейские командиры. Федотова дома не было; не уверен, что и жену его не арестовали, — кто-то, впрочем, остался. Маму не то позвали, не то она вызвалась присутствовать сама — чтобы узаконенный обыск с изъятием имущества не превратился в беззаконный грабеж. Я, естественно, юлил вдоль стен и между мебелью, стараясь не мешать — но и не упустить ни одной подробности захватывающего зрелища.

Начальник наряда, молодой парень с маузером на боку, убедившись, что ничего примечательного не обнаружилось, обратился к матери:

— Вы, собственно, кто здесь будете, гражданка?

— Соседка из вселенных, — ответила мама. — Жили внизу, дали ордер на уплотнение.

— Отлично! Посмотрим и у вас, соседка. Ведите в свою комнату.

Мама запротестовала. Она из рабочих, жена большевика, по

какому праву ее путают с буржуазией? Начальник наряда, не вдаваясь ни в юридические, ни в социальные тонкости, дал знак своим и открыл дверь в нашу комнату. И здесь совершилось чудо!

У плиты стояли два мусорных ведра, доверху набитые золой. Они притулились здесь уже давно, и никто — ни мама, ни бабушка — и не думал их опорожнять. А когда я попытался их поднять и вынести в мусорный ящик (они показались мне неподъемными!), мама, поспешно ринувшись к плите, наградила меня оплеухой — чтобы я случаем не надорвался (так — в свою пользу — оценил я ее поступок). А чекист подошел к ведрам и вывалил золу на пол! И перед моими зачарованными глазами засверкало золото… Золотые монеты я видел часто, до революции это была валюта ходячая, но в таком количестве узрел впервые — и в последний, естественно, раз. Оба ведра больше чем наполовину были заполнены золотом — зола только присыпала его поверху.

— Собирайте и считайте! — сказал чекист, взял из рук одного из красногвардейцев винтовку, подошел к окну и хладнокровно ударил прикладом в каменную кладку под подоконником.

Он точно знал, где и что надо искать, этот молодой человек с маузером на боку! Побледневшая мама не проронила ни слова, когда вдруг выпал кирпич, за ним — другой… Чекист просунул руку в дыру и спокойно вытащил бумажный пакет, обмотанный тряпками. Отшвырнув тряпки, он аккуратно положил его на стол. Из дыр в бумаге посыпалось золото — такие же пяти- и десятирублевики, как и те, что таились в ведрах.

— Считайте и записывайте! — приказал чекист красноармейцам и обратился к маме: — Больше ничего нет, гражданочка? Говорите честно! Не заставляйте нас ломать все стены.

— Больше ничего нет, — хмуро ответила мама. — Ломать стены можете, ваше право.

— Мы верим вам, гражданочка. Что до бриллиантов, то у вас их, конечно, нет, это мы знаем. Одевайтесь, поедете с нами.

Мама вознегодовала. Никуда она не поедет! У нее не на кого оставить сына. Она требует, чтобы золото не брали: оно честное, не ворованное. Она заплакала, начала кричать. Чекист властно прервал ее причитания:

— В ЧК разберутся, что честное, а что ворованное! Одевайтесь скорей, а то увезем раздетую… Сына пока возьмите с собой — там решим, что с ним делать.

Во дворе стояла черная закрытая машина с зарешеченным окном. Чекист примостился рядом с шофером, двое конвойных сели в кузов.

Я впервые катался в автомобиле — наслаждение в какой-то степени пересиливало страх. Машину безжалостно трясло, в заднем стекле убегали назад дома, они подпрыгивали и быстро уменьшались — это было восхитительно! Мама тихо плакала, у нее иногда так бывало — беззвучные, медленные, долгие слезы, свидетельство и выражение не столько большого горя, сколько полной безнадежности. До сих пор не могу понять, почему меня не оставили на бабушку — она была еще жива. Возможно, она поехала мешочничать по окрестным богатым селам — так делали многие горожане, сбывая тряпье и бездельные ценности за муку и сало. Во всяком случае объяснения матери насчет моего абсолютного одиночества сочли удовлетворительными, и в главной тюремной резиденции ЧК на Маразлиевской мне милостиво разрешили поселиться с ней — в одной камере.

До революции роскошный дом грека Маразли был украшением односторонней пышной улицы, своеобразной ограды великолепного городского парка на крутом берегу над Иностранной гаванью и ланжеронским пляжем — любимым местом купания одесситов. Вероятно, богатому греку принадлежали и другие здешние дома — недаром городские власти нарекли улицу Маразлиевской…

Следственный отдел ЧК располагался в фасадных помещениях, тюрьма — во дворе. Смутно помню нашу камеру — просторную комнату, вероятно полуподвал (в сухой Одессе каждый дом начинался с полуподвального этажа). В ней было окно, схваченное решеткой, из окна был виден двор — туда въезжали автомобили, там ходили люди (с винтовками и без), стрекотали мотоциклы… Я часами завороженно вглядывался в его неширокий загадочный простор.

В камере нас было четверо: мы с мамой, молоденькая, хорошенькая девушка и высокая, худощавая женщина с тонким лицом. Как звали девушку, точно не помню, кажется, — Соня, а женщина была княгиней Путятиной. Соня называла Путятину почтительно — княгиней, мама обращалась к ней по имени-отчеству (имени и отчества не запомнил).

Старост в камере тогда не назначали — до того идеального тюремного порядка, какой я потом узнал в Бутырке, первозданная ЧК еще не дошла, — но полным хозяином нашего маленького арестантского коллектива была княгиня. И это был настоящий хозяин — воистину глава общества! Умная, сдержанная, решительная Путятина вносила успокоение и веру в души двух женщин, склонных впадать в отчаянье. Я тогда не знал этого слова — «благородство», а если бы и знал, то не отнес бы его к аристократке, ибо каждому малышу в нашем революционном

бедняцком дворе было точно ведомо, что все аристократы сплошь обжоры, трусы, пьяницы, наркоманы и лжецы — в общем, настоящие подонки! Но много лет спустя, освоив и ходячий, и полузабытый словарь моей эпохи, я часто думал, что единственное это слово — «благородство» — и только оно, причем не в генетическом, а в моральном аспекте, может определить немолодую, худую княгиню Путятину — такую, какой она была в нашей камере.

По рассказам мамы, мы просидели на Маразлиевской около месяца, но дни были так однообразно схожи, что в памяти сохранились только несколько приметных событий. Главными среди них были допросы Сони и ночной шум во дворе.

Соню допрашивали нечасто, но подолгу. И перед вызовами на допрос она страшно волновалась и умоляла Путятину с мамой посоветовать, как ей себя вести, — видимо, знала нечто такое, чего в то грозное время лучше было не знать…

— Милочка, держитесь, — говорила княгиня. — Вы невиновны, а признаетесь — вас расстреляют. Будьте твердой, Сонечка, будьте твердой!

И маму Путятина убеждала в том же (я, прижавшись к маме, слышал эти слова — и навсегда их запомнил):

— Зинаида Сергеевна, вас выпустят, если не наговорите на себя. Терпеливо ждите, не волнуйтесь, ничего страшного вам не грозит.

Однажды, возвратившись с допроса, Соня возбужденно рассказала, что с ней разговаривал молодой и красивый чекист, что она ему очень понравилась, он сам это сказал. И он пообещал, что ее освободят, если она будет откровенной, — он сделает все, чтобы поскорей выпустить ее на свободу, ибо там, на свободе, он бы хотел продолжить их знакомство в более интимной обстановке. Соня сияла, она вмиг уверовала в свое скорое освобождение и грядущее счастье, потому что — она не хочет этого скрывать! — ей тоже понравился этот милый чекист, такой скромный, такой добрый — она даже не надеялась, что существуют такие замечательные молодые люди, среди знакомых парней нет ни одного похожего… А Путятина ласково и настойчиво твердила свое:

— Сонечка, не обольщайтесь, будьте твердой! Пожалейте себя, вам ведь жить и жить.

Мама, вернувшись с допроса, рыдала, уткнувшись лицом в подушку, я тоже плакал — от страха перед ее слезами и от сочувствия. Княгиня сидела на нарах рядом с нами и утешала ее. Маме предъявили обвинение в бандитизме — вероятно, не в прямом нападении с оружием в руках на мирных горожан, а в

том, что называется соучастием и хранением награбленной добычи.

— Они пугают вас, Зинаида Сергеевна, — говорила Путятина, — не расстраивайтесь. Они беспощадны, но зачем им расправляться с вами? Вы им не враг, они это знают. Все обойдется, поверьте мне.

Мама понемногу успокаивалась, только всхлипывала и бормотала со слезами: «Проклятое золото! Проклятое золото!» Я потом спрашивал ее, откуда взялись эти монеты, но она так резко прерывала меня, что отвадила от попыток доискиваться истины.

Те сотни кругляшек, что вывалились из ведер и пакета, быть нашими не могли. Дома иной раз не хватало рваной керенки на хлеб, а мама была не из тех, кто оставит сына голодным, когда в тайнике уйма денег. Могли они действительно принадлежать моему будущему отчиму (он признал их в ЧК своими — не знаю, было ли это правдой)? Он, конечно, зарабатывал больше матери и отца: в довоенной своей молодости был журналистом, а в военные и революционные годы простым служащим в типографии Финкеля, выпускавшей весьма читаемую, за одну копейку, полубульварную «Одесскую почту». Состояние в одну-две тысячи рублей — примерно на такую сумму тянули реквизированные золотые монеты — не поражало грандиозностью: у многих рядовых служащих были накопления и побольше, но сам Осип Соломонович не принадлежал к людям, способным хоть что-нибудь, кроме хороших слов, накопить. К деньгам он относился с дружеской нейтральностью, но они его определенно не любили, чтобы не сказать прямо — не терпели. Они его избегали, обходили, обтекали — в общем, не давались, это и он сам — сокрушенно, и мама — с добрым смешком — всегда признавали.

Возможно, это было золото домовладельца Федотова. Принимая в свою квартиру хорошо знакомую домовую жилицу, он мог упросить ее спрятать от реквизиции остатки своего состояния. В этом случае признание матери обернулось бы для Федотова расстрелом за злостное уклонение от контрибуции (если только он уже не был расстрелян за иные прегрешения, включая и самое важное — что был домовладельцем, то есть эксплуататором-буржуем). А Осипу Соломоновичу ничего не грозило: он мог со спокойной совестью взвалить на свои заслуженные плечи — в 1905 году организовал профсоюз печатников, был его председателем, сочувствовал большевикам — не такой уж тяжкий для него груз золота…

Вечерами, когда раньше, а когда позже, в зависимости от «производственной нагрузки» на эту ночь, во дворе запускали моторы автомобилей — и они рычали и ревели. Мама крепко

прижимала меня к себе. Соня заводила сдавленные рыдания. Путятина говорила:

— Расстреливать пошли… — И, прислушиваясь, добавляла: — Сегодня много расстрелов, очень рано начали.

В дни, когда расстрелов было мало, я успевал заснуть до того, как запускали моторы. Но неизменно наутро Соня возбужденно уверяла, что слышала и выстрелы, и крики, прорывавшиеся сквозь грохот автомобилей, и среди криков различила один женский — очень пронзительный был крик, жутко знакомый, она голову дает на отсечение, что это ее закадычная подруга, вот только непонятно, почему она попала в ЧК, она ведь такая тихоня, так всех сторонится…

Путятина устало возражала:

— Милочка, вы страшная фантазерка! Никто не кричал, вам померещилось. В таком шуме не то что голоса — выстрела не услышишь. Не взвинчивайте себя. Держитесь твердо — это единственное, что может вас спасти.

Однажды княгиня довела меня до слез. Несомненно, в женской камере я доставлял массу неудобств. В уборную нас водили вместе, а я уже не был таким маленьким, чтобы не понимать различия полов. Впрочем, в моей памяти не сохранилось ни одной «неприличной» картинки — стало быть, все нужные отстраненности умело соблюдались. Путятина относилась ко мне спокойно, с этакой холодноватой безучастностью. Ее не интересовало мое поведение, она не разговаривала со мной, не утешала, когда я расстраивался, не спрашивала, что мне нужно. Я был для нее досадным, но неизбежным неудобством, меня следовало терпеть — и только. Но как-то она подошла ко мне и вырвала из рук миску. В тот день нам выдали селедку — немного ржавую, конечно, но восхитительно соленую, а я и тогда, и всю жизнь спокойно обходился без сахара, но соль мог лизать, как лижут леденцы или мороженое.

— Нельзя, мальчик! — сказала она властно, она обращалась ко мне только так: мальчик. — Я запрещаю тебе это есть!

Мама вступилась за меня. Пусть Сережа поест селедки, он очень ее любит! Княгиня была непреклонна. После рыбы нам долго не будут давать воды — что почувствует Зинаида Сергеевна, когда ее сын будет плакать от жажды и просить попить? Мы, взрослые, еще выдержим, но мальчик на это не способен. Она не просит, она требует!

И княгиня забрала мою порцию селедки. Я залился слезами, мама утешала меня, но настаивать не решилась. Из сочувствия моему горю она сама едва притронулась к еде. А спустя

несколько часов разыгралась новая драма: Соня с запекшимися, вспухшими от сухоты губами била кулаками в дверь и требовала воды. Княгиня сидела на своей наре и молча глядела на стену — и, вероятно, далеко сквозь нее… Мама обняла меня, я со страхом следил за метаниями Сони — пока не заснул.

Эпилог тюремных бдений девушки, названной мною Соней, Путятина, к несчастью, предугадала. После одного из допросов та вернулась бесконечно счастливой. Раскрасневшаяся, сияющая, она бегала по камере и рассказывала, что следователь ее убедил, она призналась во всем, чего он требовал, и теперь он обещает ее немедленно освободить! И придет навестить ее дома… Она вспоминала, что у нее осталось из платьев — не встречать же влюбленного парня в этом изорвавшемся в тюрьме одеянии! Что-нибудь хорошее она подберет, что-нибудь она подберет!.. «Скоро я с ним встречусь дома!» — ликовала она. Свидание состоялось раньше. Отворилась дверь, и в сопровождении двух вооруженных красногвардейцев вошел ее суженый. И я навсегда запомнил этого человека в черной кожанке — молодого, красивого, убийственно змееглазого, с резким голосом, звучащим как жесть на ветру. Он вынул из кармана бумагу и прочел что-то такое, от чего Соня без памяти повалилась на пол. Визитеры повернулись и вышли — он первый, охранники следом.

Мама с княгиней подняли Соню, я помог им отнести девушку на нары. Путятина, смочив платок водой, терла Сонины виски, мама гладила Сонины руки — и не плакала. Я видел мамино лицо: скорбное, опрокинутое куда-то внутрь… Все свершалось в жестоком молчании.

Соня пришла в себя, что-то сказала, приподнялась… Сейчас же снова отворилась дверь — видимо, за камерой наблюдали в глазок. Появились двое в кожанках, они взяли Соню под руки и повели. Она еле двигалась, ноги ее подкашивались и заплетались, мужчины поддерживали ее и молча помогали идти. Она не оглянулась, ничего не сказала — вряд ли она что-либо отчетливо сознавала. На смерть идти вообще нелегко, а если ты — женщина и только что встретила свое двадцатилетие?.. В этот вечер, не засыпая, я долго слушал, как во дворе гремели моторы. Мама тихо плакала — я не осмеливался мешать ей. Княгиня лежала как мертвая и лишь иногда судорожно — каким-то приглушенным воплем — кашляла. Когда я наконец уснул, моторы все еще продолжали грохотать…

Не знаю, сколько еще дней после ухода Сони в вечное небытие мы провели на Маразлиевской. Новых женщин в камеру не добавляли. Как-то мама вернулась с допроса и сказала, что ей дали свидание с Осипом Соломоновичем — и он принес

радостные вести! Ему сказали, что ее обвиняют в бандитизме, он опроверг этот вздор — и ему поверили. Ее — вместе с сыном — переведут с Маразлиевской в обыкновенную тюрьму, там и закончат следствие.

— Вот видите, все кончается хорошо, — ровным голосом сказала Путятина. — В нормальной тюрьме редко расстреливают — это все знают. Вас скоро освободят, Зинаида Сергеевна. Ваш мальчик будет бегать по родному двору!

Когда за мамой пришли, Путятина обняла ее и погладила меня по голове — в первый раз за месяц нашего совместного тюремного бдения…

Нормальная тюрьма находилась на окраине города, за кладбищем (теперь это район интенсивных новостроек). Не знаю, как она называлась в те годы, а ныне это ДОПР, Дом предварительного заключения. Впрочем, может, аббревиатура эта расшифровывается по-другому: скажем, Дом общественных принудительных работ…

ДОПР понравился мне больше Чрезвычайки. Это была вполне уютная тюрьма — не передовая, конечно, без прикрепляющихся днем к стене нар, как в Лефортово, но в ней по ночам не гремели моторы, а иные заключенные почти свободно ходили по двору — это можно было видеть в окошко. Тюрьма была из тех, что по мне!

Не стоит думать, однако, что я жажду нового переселения в камеру — просто в жизни мне выпадали тюрьмы и похуже: Маразлиевская тому первый, но не единственный пример. Лев Гумилев, мой напарник по норильскому сидению, еще до войны говорил: «Сережка, твоя судьба, если судить по имманентности твоей натуры, такова: у Гитлера ты должен быть в тюрьме, а у нас — в лагере!» Не знаю, как с имманентностью,[12] но тюрьмы меня вниманием не обходили. И потом мы просто еще не знали, что уже проектируются и скоро войдут в строй гитлеровские лагеря уничтожения…

Освобождение из ДОПРа совершилось тихо. Трамваи в городе не ходили, извозчичьи лошади в основном были реквизированы, остальные пошли на мясо — мы с мамой пешком добирались домой. Дома нас встретила бабушка — обе они, и мама, и бабушка, ударились в слезы, а я выскочил на улицу и лихо носился по двору — все произошло именно так, как обещала княгиня Путятина.

Я часто вспоминал ее… Фамилию Путятиных я встречал и в учебниках, и в романах (например, во «Фрегате "Паллада"» Гончарова) — они оставили свой след в истории страны! А в моей жизни оставила след немолодая, изящная, удивительно умная, удивительно мужественная женщина — и она тоже была

Путятиной.

Думаю, ее расстреляли в одну из тех ночей, когда с вечера заводили свою смертную мелодию моторы во дворе многоэтажного, роскошного дома на Маразлиевской.

13

Странные это были годы — конец гражданской войны, победное утверждение советской власти. Не сомневаюсь: историк сочтет это время, окрещенное хлестко и исчерпывающе: эпоха военного коммунизма, определяющим и судьбоносным. Но я был обывателем, а не историком, к тому же обывателем малолетним. Моего взгляда не хватало дальше одной-двух улиц, да еще берега моря — Отрады и Ланжерона, двух самых близких городских пляжей.

Для меня те великие времена (о них так красочно писали потом в повестях и романах) были бесцветно серы. В моем окружений эпохальных событий не происходило. Умерла бабушка, это было горе — оно вскоре забылось. Закрылись все рынки, частная торговля строго воспрещалась. Для взрослых это была почти трагедия: новой одежды не достать, еды (сверх того, что выдавалось по карточкам, а карточки когда отоваривались, а когда и нет) не купить. Моим товарищам и мне особого горя это не причиняло: черный хлеб с солью и цибулей был для нас не менее вкусен, чем куриные ножки и пирожные.

Шли мобилизации — против белополяков, против Врангеля, против разрухи, против кулачья, не желавшего отдавать хлеб по продразверстке (иными словами — за так). Забирали взрослых мужчин, преимущественно рабочих. Я жил даже не в мелкобуржуазном — в нище-буржуазном квартале, с нашей Мясоедовской никого не брали, разве что из домов побогаче какую-нибудь мелкую буржуазию — бывших торговцев, адвокатов, врачей, да и то на общественные городские работы. Политические события, в общем, шли мимо нас — они если и захватывали мостовые Прохоровской, то на Мясоедовскую не сворачивали.

В те годы едва ли не самым важным для нас делом стали походы на бывший Толчок. Это была площадь гектаров на пять, сплошь заставленная деревянными палатками. Раскинулась она на пересечении Тираспольской, Колонтаевской, двух Арнаутских (Большой и Малой) и Прохоровской, по периметру Старопортофранковской, некогда служившей границей порто-франко, межой, за которой уже не действовала продажа иностранных товаров без пошлины.

По современной терминологии, Толчок был промтоварным рынком — не барахолкой, а городом ларьков и магазинчиков. До восемнадцатого года сюда ходили покупать обувь, одежду, ювелирные украшения, ковры, лошадиную сбрую, домашнюю утварь. Но потом местных продавцов обложили жесткой контрибуцией — и они закрыли свои лавчонки еще до того, как перестал работать рынок.

Ходили слухи, что в заколоченных магазинчиках припрятано много добра. Конечно, красноармейские наряды их обыскивали, но каждый одессит знал, что это воюют большевики отчаянно — в сыскных операциях они не доки. Южная фантазия (в горячее время она стала почти горячечной) безмерно преувеличила утаенные сокровища. Солидные взрослые на обезлюдевший Толчок не хаживали — можно было угодить в облаву, но малышам облавы не грозили.

Я тоже участвовал в ночных набегах и дневных вылазках, но не помню, чтобы чем-нибудь разжился — хотя все кругом хвалились добычей. Хвастовство, видимо, не было пустопорожним: даже в тридцатые годы, когда Толчок расчищали под сквер, под бывшими полами бывших магазинов находили то золото, то бумажные, потерявшие ценность, деньги, то драгоценности не шибко богатых толчковых — или толчейных? — ювелиров.

Первый период советской власти завершился красочной феерией — взрывались артсклады на окраине города (Одесса была тыловой базой Румынского фронта). Как теперь понимаю, катастрофической нехватки боеприпасов, которая во многом определила трагизм начальных военных лет, уже не существовало. Юго-Западному фронту Брусилова, например, хватило снабжения, чтобы разгромить войска противника. А в восемнадцатом году военная промышленность заработала и вовсе хорошо.

Запасы, скопившиеся в Одессе, предназначались не так для обороны, как для наступления. Центральная Рада открыла немцам дорогу на Украину, к городу приближались австро-немецкие войска. Содержимое складов Румынского фронта могло существенно увеличить вражескую мощь. Большевики, покидая Одессу пешком и на военных судах, сделали верный вывод — пороховые погреба за Балковской, в районе Дюковского сада, взлетели на воздух.

Это было летним вечером. Страшный взрыв потряс город. В нашем доме вылетели стекла. Люди, крича, выбегали на двор. За первым взрывом последовали другие. На окраине Молдаванки взметнулось пламя. Грохот не умолкал — теперь это были

единичные разрывы (то ли от подобравшегося к снарядам огня, то ли от детонации).

Наступила ночь, но зарево за Балковской не утихало. Оттуда бежали люди — женщины с детьми, мужчины со скарбом на спине. На улицах кричали, что окраина в огне, пожары надвигаются на центр, надо бежать в степь — только в степи спасение. Многие кинулись на берег моря. Из нашего дома выносили во двор перины и подушки, расстилали на земле дерюги и газеты — никто не решился ночевать под крышей.

Я лежал между мамой и бабушкой, слушал тревожные разговоры, иногда, отпросившись в уборную, выбегал на улицу. Ночь была темна — она не могла быть иной в городе, лишенном электричества. Но там, на окраине Молдаванки, за Пересыпью, пылало темно-красное зарево, оттуда порой доносились взрывы — продолжали гореть пороховые погреба и дома, по-прежнему рвались снаряды. Я возвращался в заполненный спящими двор, проталкивался между мамой и бабушкой, шепотом рассказывал, что видел. Помню, поблизости кто-то вскочил и закричал, что все трусы и дураки, и он отправится домой: если пропадать — так в постели, а не на камнях, двор никого не спасет! Выкричавшись, он ушел. Его выслушали и хором — кто еще не спал — осудили. Дело было ясное: пожары и взрывы продолжаются, они уже близко, скоро начнут рушиться дома на Мясоедовской — нет, встречать катастрофу лучше на воздухе, чем в тесной комнатке, откуда и не выскочить, если на тебя упадет потолок. Под этот неутихающий гомон я задремал.

Под утро потянуло холодом. Меня разбудила мама.

— Пойдем в кроватку, Сережа. Здесь ты простудишься.

Бабушка была на ногах — уносила в дом перины и одеяло. Двор быстро пустел. Утренний холод пересилил страх. Люди ругались и уговаривали друг друга. Кто требовал немедленного ухода в тепло, кто пророчествовал, что потолки в квартирах вот-вот рухнут… Когда встало солнце, ни на дворе, ни на улице не осталось и следа ночного лежбища. Мостовые были полны народа — кучками, парочками, в одиночку одесситы шли на Балковскую, за Дюковский сад. Пожары опалили его прекрасные деревья, сильно пахло пороховой гарью. Дальше не пускали — там работали солдаты и милиция. В город вступали австрийцы — они старательно обходили пожарище.

Вряд ли одесские взрывы повлияли на ход Первой мировой, но нашу детскую жизнь они существенно разнообразили. Когда охранники пепелища стали если и не менее многочисленными, то менее бдительными, любимым развлечением тех, кто посмелее, стали тайные вылазки в этот опасный район. Герои хвастались,

подвигами и предъявляли доказательства своей отчаянности — патроны и орудийный порох (он ценился выше патронного, который напоминал мелкую черную дробь). Случалось, притаскивали неразорвавшиеся снаряды — из них вытаскивали желтые, упругие пороховые ленты, похожие на плоские макароны.

Как-то я тоже пробрался к артпогребам и набил карманы тем, что помельче, — тащить снаряд мне было не под силу. Вскоре по городу поползли слухи: на пожарище взрываются мальчишки, которые пытаются развинчивать снаряды. Охрану усилили, но радикально изменить ситуацию могла только полная очистка места взрывов — властям было не до этого. Лишь в конце двадцатых, когда погибли несколько ребят сразу, отряды саперов расчистили площадку — и там, где еще недавно каждый неосторожный шаг грозил бедой, утвердилась мирная, в цветах и сухих бодыльях степь. Спустя несколько лет ее подмяли под себя заводские новостройки.

На несколько лет порох стал любимой нашей игрушкой — им пахли руки, пятна от него красовались на рубашках, куртках и штанах. Я хранил свое пороховое сокровище в потайном местечке (чтобы мама не обнаружила и не выбросила «эту гадость» в помойку): дырявая кринка была набита желтыми орудийными пластинками, мешочек — черными патронными зернышками. По вечерам, когда темнело, кто-нибудь вытаскивал пороховую ленту, поджигал ее и с криком мчался по улице — за ним радостно гнались друзья. Порох не взрывался, а сгорал, почти не дымя, свет его не был ярким, но обжигал не хуже любого другого пламени — зрелище восхитительное! Мужчины качали головами, кто-то улыбался, кто-то ругался, женщины только ругались, норовя вырвать из детских рук шипящую, дергающуюся ленту — их гнев только усиливал воодушевление. А еще порох можно было насыпать в ямки и под камни, тогда он сгорал гораздо быстрей — получалось нечто вроде взрыва, без шипа, но с «пыхом». При хорошем исполнении и земля взметывалась, и камешки подбрасывало — восторг! Не для взрослых, конечно.

Смерть бабушки принесла мне дополнительную свободу (теперь можно было пропадать на улице, пока мама сидела в киоске) — и добавочные обязанности. Бабушкина работа частично пала на меня. Например, сбор топлива (не зимние, крупные его запасы, конечно, а всякая растопочная мелочевка). Дело было хитрое. Я уходил в порт и выискивал там разбитые ящики и прогнившие доски (гавань была мертва: ни судов, ни людей, только чудом сохранившееся от цветущих лет старье). Бывал на товарных станциях, в парках — полазив по деревьям, там можно было разжиться сучьем.

Однажды из соседнего двора в Люсдорф, к немцам, отправилась «площадка» (обыкновенный биндюг) — подсобрать оставшиеся на полях кукурузные стволы, «будяки». После разгрома восстания колонисты присмирели и поредели, набеги на их владения стали безопасней — просто в Люсдорфе нужно было шастать ночью и без шума. Я упросил маму отпустить меня с соседями.

На площадке уселось человек пять. Уж не помню почему, завернули на христианское кладбище — возможно, загрузиться там сеном и сучьем (сторожам, естественно, выплатили «хабар»). Вдруг хлынул ливень, спрятаться было негде. Мы все полезли в склеп — он был открыт. Кстати, не он один — замков на последних обителях осталось мало. Официально отмененный Бог уже не грозил грабителям посмертной карой — они, и до того лишенные совести, а нынче освобожденные и от загробных страхов, этим воспользовались.

В недра склепа вела лестница в десяток ступеней, на стенах виднелись заделанные ниши с покойниками (две, помню, были пустыми — ждали новых жильцов). Кто-то засветил свечку, мы осмотрелись. Сквозь щели неплотной железной двери сыпалась вода, но у стен было сухо. Дождь гремел по склепу — он не собирался иссякать.

Пошли байки — чтобы и время скоротать, и себя подбодрить. Рассказы были как рассказы — в меру забавные, в меру страшные. А один поразил. В склепах, убеждал рассказчик, понизив голос, вовсе не одни мертвые кости — есть и люди, которых обделили доброй смертью (не то Бог, не то черт), они вроде бы умерли, а вроде бы и живы (сейчас их назвали бы хорошим словечком «зомби»). Короче, ни ад, ни рай их не принимает — приходится беднякам тосковать и злобствовать в могилах. Ночами они выбираются наружу и шастают меж крестов. Не дай Бог прохожему встретиться с таким шатуном — спасу не будет. Любимый прием полуумершего мертвеца, что и после смерти ни Богу свечка, ни черту кочерга, — схватить человека мокрой и жесткой рукой за шею и душить, душить, душить! Вот почему христианский люд знает свой предел на кладбище — от зари до зари. Раньше света не появляйся, позже света не задерживайся. И сейчас, если на всю правду, выбираться наружу — не дай и не приведи, как раз подберется костяной страшила. И не отобьешься от его влажных лап!

— Хватит пужать! — сердито крикнул возница, вожак нашей шатии. — Мальчишка с нами, понял? Давай лучше соснем, ребята, дожжища надолго, к немцам сегодня не пробраться. Так что выбираться и не думайте пока.

Не знаю, спали ли взрослые, но я заснул.

Было еще темно, когда меня разбудили. Дождь перестал. Возница скомандовал: «На выход!» — и первый полез наружу. Кто-то помог мне найти в темноте лестницу, ласково подтолкнул вверх. Сослепу я не попадал на ступеньки, а когда выбрался наружу, чья-то холодная, мокрая, костистая ладонь хлестнула меня по шее — по всему, рука недоумершего мертвеца. Я без памяти повалился на траву. Вероятно, обморок был коротким — меня поддерживали, гладили по голове. Захлебываясь слезами, я твердил, что на меня напал покойник.

— И никакой не покойник! — утешали меня. — Ну да ладно, успокойся, хватит хныкать. Ты же мужик! Такой герой, а чуть что — в штаны наделал.

А рядом кто-то надсадно кричал: двое жестоко избивали третьего. Избиваемый — я не видел его в темноте — крутился на земле, пытался встать и удрать, но его валили, норовили ударить ногой. Он рыдал и просил прощения: он вовсе не хотел пугать мальчонку «до без сознания» — просто хлестнул веткой сирени по шее, чтобы все посмеялись.

— Ладно, хватит ему! — приказал возница, он был один из тех, кто мордовал шутника. — Теперь домой, ребята! Ездка не вышла.

Я сидел на площадке биндюга и дрожал. Кто-то обнимал меня и ласково успокаивал. А позади скулил и жаловался мой обидчик, он негодовал: ну, хорошо, отмонтузили кулачьем, дело нормальное, а зачем лежачего — да ботинком по роже? Будка теперь такая, что и на улицу не показаться, мать родная не признает. Он еще припомнит эту подлость, он еще припомнит!

— Заткнись! — приказал возница. — Не утишишься — еще добавим, у нас кулаков хватит. А ты, малец, — повернулся он ко мне, — дома не говори, что было. Парень получил за тебя сполна, а маму, хорошую женщину, зачем расстраивать?

Маме я все рассказал — и она категорически запретила мне подобные путешествия. Ночные налеты на поля немцев-колонистов продолжались — и были гораздо успешнее. Оставалось только горько корить себя за болтливость.

Осип Соломонович (тот самый, из-за которого отец чуть не зарезал маму) стал бывать у нас дома так часто, что, казалось, еще чуть-чуть — и он превратится в постоянного жильца (так, собственно, вскоре и произошло). Как-то он принес кусок синей материи, и мама сшила мне комбинезон. Обновки в нашем районе стали настолько редки, что событие это было воистину общеуличное! Меня обступили — дергали за рукава, оттягивали резинку, туго охватывающую шею, норовили поддать коленкой в

крепко обтянутый задок — внимание было большое и уважительное.

А когда оно поутихло, общий интерес переместился на другого мальчишку — у него была папиросная коробка, из которой пытался выбраться большой черный паук. Не знаю, сговаривались ли мои друзья-приятели заранее, или все совершилось по вдохновению — но меня схватили, оттянули воротник и вывалили членистоногое мне за шиворот.

Закричав благим матом, я кинулся к материному киоску. Паук отчаянно дрался за свою жизнь, ползая по моей голой спине, — ощущение было не из приятных. Мама, к счастью, быстро сообразила, что произошло, и мигом содрала комбинезон. Паук попытался удрать — она остервенело раздавила его ногой. А когда попробовала снова погрузить меня в сшитый ею синий мешок, я стал вырываться и в ярости даже попытался разорвать обновку, еще несколько минут назад казавшуюся мне такой нарядной.

Уничтожить одежку не удалось, но вечером мама сама распорола ее и превратила в обыкновенные штанишки и куртку. С того дня я недолюбливаю комбинезоны — по-моему, они похожи на саваны. А пауков — ненавижу. Бабушка говорила, что убившему паука прощается сорок грехов. Если посчитать всех пауков, нашедших смерть под моей пятой, то, наверное, на каждый совершенный мной грех выйдет не меньше десятка прощений — соотношение вполне достаточное, чтобы после смерти вознестись в райские чертоги без бюрократических проволочек (я имею в виду взвешивание земных проступков и заслуг на небесных весах).

Конец моему озлобленному антипаукизму положил Женя, мой сын. Благодаря наставлениям тещи, он усвоил, что пауки очень полезны, и когда я на его глазах с омерзением наступил ногой на крестовика, впал в такую скорбь и так горько плакал, что я дал слово больше не злобствовать. Теперь я пауков не уничтожаю, просто обхожу стороной — вооруженный нейтралитет, так это, кажется, называется.

Вскоре случилось еще одно происшествие — и гораздо серьезнее. Я сидел у киоска с Жеффиком на руках и читал книгу. Внезапно мимо меня промчался пустой биндюг — лошадь ошалело несла, возница кричал и матерился, но остановить ее не мог. По всей Мясоедовской люди кидались к воротам и, скрываясь, поспешно запирали их за собой. По улице со всех ног мчались бродячие псы и кошки. От Госпитальной к Прохоровской, по середине мостовой, неторопливо бежала бешеная собака. Иногда она останавливалась и осматривалась — искала, на кого

броситься. Она не выла, не лаяла — только бежала (как-то странно: мелкой, раскачивающейся, целеустремленной трусцой), и все живое стремглав уносилось подальше.

Жеффик, охваченный ужасом, вдруг сорвался с моих колен и понесся через улицу — домой. Я помчался вслед, отчаянно зовя его, но он, всегда послушный, и не подумал остановиться. Собака, завидев добычу, яростно рванулась, нагнала и опрокинула Жеффика. Но загрызть не успела — я с ходу навалился на них.

Мой песик вывернулся и удрал — я остался лежать на мостовой. Собака перевернула меня на спину. Я инстинктивно закрыл руками шею и лицо — она раздирала ватные рукава куртки, добираясь до горла. В меня впились круглые, дикие, неподвижные, как у змеи, глаза, морда ее была в пене. Вероятно, она загрызла бы меня — но к нам подскочил какой-то военный, на ходу вытаскивая маузер.

Я увидел пламя, вылетевшее из черного дула, — собака отпустила меня и забилась на мостовой. Он, наклонившись, вгонял в нее пулю за пулей.

Подоспела мама — и с воплем бросилась ко мне. Военный неторопливо спрятал маузер в деревянную кобуру, ободряюще похлопал меня по плечу. Мама схватила его руку — хотела поцеловать. Он не дал — и ушел.

Я с ужасом и интересом смотрел на пса. Это была рослая желто-коричневая дворняга, лапы ее (даже после смерти) были деревянно напряжены и торчали как палки. Пена заливала морду, но крови из семи ран вытекло немного.

На улицу повалили люди — всем хотелось мстительно пнуть мертвую собаку. Мама попыталась увести меня, я не дался — сначала нужно было отыскать книгу. К счастью, она нашлась там, где я ее уронил.

У двери нашей комнаты сидел Жеффик, он жалобно скулил и трясся, зализывая раны. Я тоже был ранен — собака все-таки покусала мне руки (неглубоко — рукава защитили). Все хвори мама лечила одним способом — постелью. Промыв укусы, она уложила меня в кровать и побежала за Осипом Соломоновичем. Жеффик все трясся и все скулил — никак не мог успокоиться. Я позвал его, он вскочил на кровать, положил голову мне на шею (любимая наша поза) — и удовлетворенно затих.

Осип Соломонович постановил, что меня надо лечить уколами, а Жеффика придется отдать гицелям: спасти его невозможно, он неминуемо взбесится. Я внес поправку в его разумные рассуждения. Если Жеффика не спасти, то и я не буду спасаться. Только совместное лечение — иначе я не согласен.

Осип Соломонович еще не постиг тонкостей характера

будущего пасынка, но мама знала, где проходит граница, до которой я послушен и управляем. Она вполголоса уговаривала его — он отрицательно качал головой.

Как ни странно, убедил его пустяк — мой отказ от ужина. Мама уже привыкла, что, впадая в неистовство, тихое или шумное, я прежде всего перестаю есть. Возможно, она захотела продемонстрировать другу милые свойства моей натуры. Она поднесла мне еду — я оттолкнул ее, она снова попыталась меня накормить — яростным ударом ноги я вышиб тарелку на пол и со слезами заорал, что так будет всегда, если Жеффика не вылечат. Жеффик, соскочив с кровати, стал проворно подбирать мой ужин — досталось и ему. Жалобно завизжав, он поспешно юркнул под кровать. Иногда — очень редко, впрочем — он выказывал странную непонятливость, мой милый песик. У взрослых за все детские прегрешения отвечают седалищные места грешников — у меня козлом отпущения была еда. Я ненавидел ее, мстил ей, готов был топтать тарелки ногами — других способов настоять на своем у меня не было. Жеффик должен был с этим считаться!

Мои аргументы произвели впечатление на Осипа Соломоновича.

— Я сейчас же пойду в больницу и все улажу, — пообещал он. — Будете лечиться вместе.

На другой день мама, не открывая киоска, повела меня в психиатрическую больницу на северной окраине (в Слободке-Романовке). Никакого транспорта в Одессе не было — люди ходили пешком через весь город. Я нес Жеффика на руках — для него путь был слишком далеким. И потом: на улицах лежала пыль — а на лечение нужно являться с чистой шерстью…

В больнице хотели начать с меня — я вежливо разъяснил, что никого к себе не подпущу, пока не ублаготворят моего пса. Мама попросила не тратить времени на уговоры, к хорошему они не приведут — и фельдшер приступила к Жеффику, который сидел у меня на руках. Он только взвизгнул, когда в его тощее тельце вонзился шприц.

Меня кололи вторым. Удовлетворенный, на обратном пути я отпустил Жеффика — он весело бежал рядом. Мы с мамой пошли в типографию, и я честно выполнил свои обязанности — помог донести до киоска кипы газет. Жеффик звонким лаем предупреждал прохожих, чтобы они не преграждали путь — весьма существенная собачья помощь, если вдуматься.

Пятнадцать дней мы втроем путешествовали на Слободку-Романовку. Пятнадцать раз в моего пса и в меня вонзались шприцы с лекарством. Эффект был ожидаемым — ни Жеффик, ни я не взбесились. Правда, мама, сталкиваясь с иными моими

выбрыками, порой ворчала, что я недолечился, кое-что от бешенства во мне осталось, еще бы, мол, пяток раз уколоться — и был бы нормальным человеком. Я пропускал мимо ушей эти голословные обвинения. Я твердо знал, что нормальным не стал бы, сколько бы меня ни кололи. Бешенство проистекало не от внутренних, а от внешних причин — оно было единственной разумной реакцией на мир, меня окружавший.

Нерядовой этот случай внес некоторое разнообразие в мою жизнь. Сегодня я могу лишь запоздало пожалеть, что у нас не было детских садов с их четкой и разумной системой развлечений. Мы играли кто во что горазд. Чехарда казалась чуть ли не спортом, а поход на море — экскурсией. А уж если удавалось выбраться на «горячку» — искупаться в порту, в отбросной воде электростанции!..

Самая распространенная тогдашняя наша игра — «раскид». Все мы были коллекционерами — собирали обертки от конфет, наклейки со спичечных и папиросных коробков, вышедшие из употребления деньги (кроме царских: взрослые свято и долго верили в их крепость и детишкам не давали). Когда бумажек набиралось изрядно, гордый хозяин выбегал во двор и возвещал: «На раскид! На раскид!». И сейчас же его вопль подхватывали десятки мальчишек (девочек эта игра почему-то не захватывала): «На раскид! На раскид!» — и бросались в погоню за богачом.

Он выскакивал на улицу, летел мимо соседских дворов, размахивая кулаком, в котором было зажато все его бумажное добро. Из каждого двора, умножая толпу, выскакивали все новые и новые страждущие. Малолетний буржуй возвращался к своему дому и, еще раз торжествующе прокричав: «На раскид!», взметывал в воздух свои накопления.

Разноцветные бумажки кружились и падали — их хватали на лету, собирали на земле, за них боролись. В толпу сражавшихся вторгался и сам владелец. Выбросив свое состояние, он немедленно кидался его возвращать. Великим искусством и великим почетом было не так устроить раскид, как собрать на нем больше других. «Я выбросил сто штук, а собрал двенадцать — ни у кого столько нет!»

Я тоже участвовал в раскидах, сам их задавал. Выбрасывал-то накопленное я лихо, а вот собирал не всегда успешно: не последний, конечно, но в передовики хвата не выбирался.

Игры периодически прерывались очередной чрезвычайщиной. Помню «испанку», с опозданием докатившуюся до Одессы. Зловредный грипп, зародившийся где-то на западе Европы, безжалостно повалил в постель добрую треть города. Во дворах твердили о фантастическом числе умерших. Напутанные

родители сажали детей под замок. Меня тоже запирали. Это не помешало мне в самый разгар «испанки» надолго свалиться в постель — но не от гриппа, а с возвратным тифом.

Мама потом вздыхала: ты столько дней лежал без сознания, что мы уже не верили, что поправишься. Я с удовольствием вспоминаю тиф — эта болезнь мне понравилась. Она вела меня от бреда к бреду — и каждый разворачивался в необычайные приключения. Во мне орали какие-то голоса, я сам, не шевеля губами, кричал громко и надрывно. Надо мной наклонялась мама, она что-то говорила, водила рукой по моему лицу — я не мог ей ответить: молчаливые вопли внутри меня заглушали негромкий мамин голос.

Но самым удивительным было другое. Я смотрел на большой палец руки — он вдруг начинал расти, удлинялся, разбегался, раскидывался, он заслонял собой окно, сбрасывал с комнаты потолок, опрокидывал дома, и уже ничего не оставалось в мире, кроме него, — исполинского, чудовищного, заполнившего всю вселенную. Картина была страшная и восхитительная — и я снова и снова старательно вызывал ее у себя. Что-то наркотическое было в этом бреду.

Потом, заболев малярией, я пристрастился и к малярийным видениям. Иногда, сбитый с ног температурой, я сознательно не глотал хины — хотелось подольше побродить в цветном тумане. А свой сакраментальный, всеподавительный большой палец я вспоминал десятилетиями…

У моего тифа было одно забавное осложнение: я забыл массу слов. Если у меня и наличествовали когда-то способности к языкам, то болезнь выжгла их дотла. Даже русский возобновлялся с трудом. Недавно такой болтливый, я стал говорить мало и медленно — нужно было искать выветрившиеся из памяти слова. О немецком двоюродных братьев и идише — друзей-товарищей можно и не вспоминать: они выпали из меня начисто, как и не было. Потом я никогда не показывал даже ординарного умения усваивать иностранные языки: в моем мозгу напрочь заилило какие-то языковые извилины.

Потом случилась еще одна паника — и детей опять практически перестали выпускать на улицу: в городе разразилась холера. Помню, как около нашего дома зашатался и упал какой-то пожилой мужчина. Он стонал, корчился, пытался что-то сказать — потом затих. Мы с приятелем хотели помочь ему встать — нас отогнали пинками. Лицо у человека было желтым — как воск или масло. Кто-то испуганно закричал: «Холера, бегите!» — и мы кинулись прочь, как будто холера была зверем, который бросился за нами в погоню..

Я ворвался к маме в киоск, она выглянула в окошко, строго приказала мне сидеть на месте и, закрыв ставни, пошла смотреть на мертвеца. Только когда его убрали, она увела меня домой. «Лучше Сереже не выходить», — посоветовал Осип Соломонович, и свобода моя закончилась: его советы мама воспринимала как приказы. Она запирала двери на висячий замок и приходила только два раза в день — покормить меня.

Впрочем, настоящей эпидемии в Одессе не случилось. То ли меры приняли энергичные, то ли холерный вибрион был не из богатырских, но вскоре перестали говорить о смертях на улице — и детей выпустили наружу.

Вынужденное сидение дома приучало к одиночеству. Скучно мне не было: я играл с собакой или валялся в постели. Общительный по природе, по общению я не тосковал — вероятно, потому, что никогда не оставался совершенно один. Во-первых, был Жеффик. Отличный собеседник, он мог красноречиво лаять и еще красноречивей улыбался — не только хвостом (по выражению Марка Твена), но и мордой: временами хмурился и отворачивался, временами приходил в восторг — не знаю, телячий ли (восторженных телят не встречал), с меня хватало и обычного собачьего ликования.

Во-вторых, у меня был еще один захватывающе занимательный собеседник — я сам. Я разговаривал и спорил с собой, рассказывал себе сказки и страшные истории, поверял себе свои горести, утешал себя. Иногда мне бывало трудно наедине с таким другом, как я, но скучно — никогда. Спустя двадцать лет я поражал моего следователя Сюганова просьбами перевести меня в одиночку: для нормального заключенного она кажется (да, наверное, и не только кажется) изысканно-садистским, тюремного образца, филиалом ада. Но я не был нормальным — я мечтал об одиночке как об избавлении от пекла переполненных камер, как о радостной возможности всеполного соприсутствия с собой.

Третьим — самым важным и самым деятельным соодиночником — были книги. Но о них я расскажу несколько позже.

Маму, похоже, поразило спокойствие, с каким я сносил затворничество. «Ты никогда не жаловался, что оставляю тебя одного», — часто говорила она. Она была убеждена, что я равнодушен к одиночеству, — это очень помогло ей в тяжелую зиму 1920/1921 годов.

Современному человеку трудно представить быт последнего года военного коммунизма. Разваленная промышленность не поставляла того, что именуется товарами широкого потребления, — в широком потреблении была только военная

продукция, в ней недостатка не испытывали. Что до остального, то все откладывали до лучших времен — и в близком будущем эти лучшие времена не светили.

Наступил момент, когда вычерпали все запасы — и те, которые имелись у государства, и личные. Ни в продаже, ни в заначках, ни за деньги, ни за еду нельзя было найти мыла, керосина, одежды, обуви, посуды… Жизнь скатывалась к первобытному примитивизму. Комната наша освещалась плошкой, куда наваливали куски парафина (его принес Осип Соломонович), — крохотный фитилек давал света меньше, чем лампада, а чадил сильней. Но о лампадном масле мы даже не мечтали.

Мать С. Снегова — Зинаида Козырюк, 1902 г.

Казак Герасименко, сватавшийся к матери С. Снегова, см. стр. 82

Казак Герасименко, сватавшийся к матери С. Снегова, см. стр. 82

Мать и отец С. Снегова, 1907 г.

Мать и отец С. Снегова, 1907 г.

Мать С. Снегова
с его старшим братом
на руках

Мать С. Снегова с его старшим братом на руках

Старший брат
С. Снегова — Витя

Старший брат С. Снегова — Витя

С. Снегов
со старшим братом

С. Снегов со старшим братом

С. Снегов с матерью

С. Снегов с матерью

С. Снегов

Отец С. Снегова, 1915 г.

Отец С. Снегова, 1915 г.

С. Снегов с двоюродным братом и Жаффиком

Осип Соломонович (второй слева в нижнем ряду)

У соседей, Клейманов, не было и парафина — они его выпрашивали у нас по кусочку. Как-то мама принесла хорошее полено, сказала: «Это на лучины» — и показала, как их щипать. Я наготовил целый пук. Лучины светили гораздо ярче, чем нищенски-убогая парафиновая плошка, дым от дерева был куда приятней, а пламя, неровное, шипящее, то вспыхивало, то гасло…

И за ним нужно было ухаживать, часто меняя стержни. Мне нравились лучины. Они горели загадочно.

Осип Соломонович попытался отлить из парафина свечи. Практические — руками — действия не удавались ему никогда. Я долго мучился, но вылепил (именно вылепил, а не отлил) настоящую высокую свечу с фитильком, который если и не шел точно посередине, но и не вылезал наружу, как у моего отчима. Тогда я услышал, вероятно — впервые, сакраментальную фразу, которую потом часто бросали мне в лицо мои друзья и подруги (особенно, конечно же, теща) — причем не столько хваля, сколько обвиняя: «У тебя золотые руки, Сережа, ты все умеешь, только ничего не хочешь!»

Свеча была элементом роскоши — ее свет в какой-то степени возрождал утраченное цивилизованное бытие, во всяком случае — напоминал о нем.

Тяжелой проблемой стала нехватка посуды. Блюдца, рюмки, частично и тарелки были в каждой семье — эти предметы не относились к скоропортящимся. Но стаканы портились скоро и радикально — у них была сквернейшая привычка разлетаться на осколки при соприкосновении с полом. Правда, их можно было заменить железными кружками (которые, кстати, брали солидной устойчивостью) — но кружки нужно было еще достать. Однако голь на выдумки хитра: стаканы делали из бутылок — и посуда эта пользовалась в Одессе безоговорочным признанием. У нас накопилась горка пустой тары — было грехом этим не воспользоваться. Производством занялся я. Присмотревшись к соседям-стаканоделам и загубив несколько бутылок, я таки освоил ремесло. Технология была проста. Бутылку закрепляли, на середину набрасывали веревку — и терли, терли, терли… Разогретое стекло опускали в холодную воду, оно трескалось по кольцу — получался стакан. Я настолько увлекся, что мама, обеспечив семью, унесла излишки в киоск: бутылочные толстостенные стаканы, дешевые и не такие капризные, как из дореволюционного тонкого стекла, раскупались влет.

А еще я набивал папиросы. Отчим принес специальную машинку — трубку со стерженьком, — с тысячу папиросных гильз (где он только их добыл?) и махорку. Многие — из интеллигентов, естественно — предпочитали такие папиросы некультурным самокруткам. Изготовленные мной шедевры мама уносила в киоск — их брали поштучно, иные решались и на полдесятка. Единственное, что огорчало, — недовольство Жеффика: он был некурящий, как и я. Но я чихал в меру, он — припадочно. Надрываясь в чихе, он уползал под кровать и упрямо не откликался на зов.

Была еще беда — временами она приводила маму в отчаяние. За годы гражданской войны одежда изорвалась. Не смертельно, конечно, — на дыры можно было накладывать заплаты. Заплаты эти (на штанах, рубашках и куртках) расползались как парша — дело обычное, отнюдь не повод для горя. Но развалившаяся обувь починке не поддавались. Помню, у Осипа Соломоновича на улице слетели с ног оба ботинка. Один распался на две несоединимые части, в другом исчезла подметка — просто исчезла: была, когда он выходил из типографии, и перестала быть, когда он подошел к дому. Мама плакала и пыталась сотворить чудо. Вероятно, чудотворчество удалось: утром отчим ушел на работу — и, думаю, не совсем босой.

Впрочем, летом эта проблема не пекла. Ребята бегали босиком, взрослые надевали деревянные сандалии. Штука эта — деревяшки — была весьма заковыристой. Вроде бы просто: две дощечки скрепляли тряпичной перемычкой, поперек (по ноге) натягивали тряпичный же поясок — и вся недолга! Но мастерство «деревяночника» заключалось в том, чтобы точно рассчитать размеры дощечек, какую (переднюю — для носка или заднюю — для пятки) сделать поменьше, а какую — побольше, чтобы нога свободно выгибалась при ходьбе. В городе появились признанные мастера. «У меня деревяшки от Васи Гундосого», — хвасталась одна одесситка. «А я с Васей в цене не сошлась, взяла у Кости Друта», — огорчалась другая. На улицах стучали, грохотали, скрипели деревянные сандалии. Во дворах пели:

Невеста разоделась в пух и прах:
Фату мешковую надела
И деревяшки на ногах.

Но зимой деревяшки не годились. Взрослые — у кого не осталось и подобия ботинок — использовали мешковину. Это было забавное и громоздкое сооружение. Ноги обматывали джутовыми портянками, а портянки крепко, чтобы не расхристались, обвязывали веревками. Ходить нормальным шагом в такой обутке было опасно — при неосторожном движении мешковина рвалась. Но аккуратно шлепать (шлендрать) удавалось.

Многие одесситы — из тех, которые не могли разжиться обувью по промкарточкам — щеголяли в мокасинах из мешковины. Со временем мешковые изделия усовершенствовались, превратившись в нечто вроде чулка. Вместо подошвы — те же деревянные пластинки (их нашивали — не набивали, а именно нашивали! — по ранту). Жалко, обувное это

чудо появилось в тот момент, когда в магазинах и на базарах стали продавать настоящие ботинки, — так что изобретатель если и не разорился, то уж богатства не нажил.

Для детей мешковые поделки решительно не подходили: они требовали осторожности, осмотрительности и бережливости — отнюдь не детских достоинств. Мешковина на моих ногах, как прочно ее ни увязывали, разлохмачивалась после первого же выбега на улицу. Мама вспомнила о моей любви к временному затворничеству. Временное стало постоянным. Всю зиму 1920/1921 годов я просидел' дома. Со мной были Жеффик и книги.

Теперь — о книгах.

Это были «выпуски» — до войны они служили существенным элементом массовой городской культуры. К сожалению, историки литературы, талдыча о шедеврах, не обращают внимания на это обывательское чтиво, заполнявшее мозги множества читателей. Каждый выпуск — книжечка ровно в 32 страницы, с мягкой обложкой (на ней — непременная красочная картинка, предуведомляющая читателя о содержании) — стоил пять копеек. Если его не покупали, а брали на прочет (с возвратом), платили одну копейку. Когда появлялись новые выпуски из любимых серий, у киоска выстраивались очереди. В коммерческом обороте они, не сомневаюсь, занимали первое место.

Королем выпусков был Нат Пинкертон (как, впрочем, и королем сыщиков). Книжечек о нем было около сотни (больше трех тысяч страниц). Вначале совершались кошмарные злодеяния, преступники бесследно исчезали, но являлся великий Нат с верным помощником Бобом — и немедленно нападал на след, который вел куда надо. Детективов подстерегали коварные ловушки, но финал был неизменен: Пинкертон получал свой сыщицкий гонорар, преступников сажали на электрический стул.

У каждого монарха есть венценосная семья. Вокруг Ната Пинкертона теснились принцы и герцоги детектива. Виднейшим из них был толстяк Ник Картер. Этот тоже мог! Он, как выражаются блатные, туго знал дело. Читатель боялся за него: Ник без перерыва вдрыпывался в неприятности, сотни раз погибал в отчаянной борьбе с бандитами, но, недопогибнув, доводил кошмарные истории до вожделенного конца: деньги — для себя, казнь — для преступников.

Куда менее охотно покупали выпуски о Шерлоке Холмсе. Во-первых, они (единственные) были по сорок восемь страниц — не всякий любитель кошмаров отваживался переть в такую печатную даль. И ужасов в них было пожиже. Халтурщики, приспособившие великого героя Конан Дойля для ублажения обывателей, не

размахивались так широко и бесцеремонно, как авторы Ната и Ника. И мне, естественно, Шерлок Холмс казался бледной тенью настоящих мастеров сыска — Пинкертона и Картера. Да и выпуски о Рокамболе, бессмертно ловкая поделка Понсона дю Террайля, нравились побольше.

Кроме детективов, были книжки и для особо чувствительных. Помню длинную серию о бедной Гертруде (так, кажется, ее звали). Чего только не делали с этой милой девушкой! И обманывали, и насиловали, и ввергали в нищету — из выпуска в выпуск несчастья становились все изощренней. А она, тихая, скромная, честная, неизменно (в каждой книжке!) непорочная, всякий раз выбиралась к вершинам богатства и покоя.

Больше всего на сентиментальную слезу пробивали истории Зигфрида. Нет, это был не победитель Нибелунгов, рыцарь без страха и упрека, жертва коварного Гагена, а наш, можно сказать, современник (все-таки XIX век). Цирковой борец — тоже без страха, но с упреком, — он постоянно попадал в непостижимые неприятности, но к тридцатой странице каждого выпуска благополучно из них выпутывался. В этой серии было 92 книжки, и называлась она просто и благородно: «Зигфрид — король чемпионов». Ах, как зачитывались на Молдаванке историями про этого красавца и силача, непобедимого на ковре, щедрого в ресторане, великодушного с девицами (в постели)!

Помню «Пещеру Лейхтвейса» — длинное, тоже в десятках выпусков, повествование о благородном разбойнике, защитнике обиженных, грозе богатых, рыцаре и мстителе (с женщинами и за бедняков соответственно). Этот последыш Карла Моора тиражировал в сотнях тысяч экземпляров все, чем привлекал его предок, — добро, благородство и великодушие, только отражено оно было в тусклом и грязном зеркале. Выцветшая, изуродованная копия. «Разбойников» Шиллера никто в киосках не спрашивал, но в «Пещеру Лейхтвейса» спускались охотно.

На этом фоне выпуски о Гарибальди не катили. Действительность уступала лубочной фантазии. Кстати, впоследствии мне стоило немалого труда воспринять реального итальянца — без дешевого «выпускового» флера.

Все, что я читал тогда, в зиму моего затворничества, развлекало и отравляло. Воображение работало, вкус подавлялся. Вероятно, это особенность любых комиксов и дайджестов.

Однажды сквозь мощные барьеры бульварщины прорвалось нечто необычное. Мне попалась книжка без автора — автор был оторван (вместе с обложкой). Правда, это были стихи (существенный недостаток), а их нельзя пробегать одним духом, торопясь к всегда одинаковому, утешительному финалу.

Пришлось не спешить — и я как-то нечувствительно с этим примирился.

Стихи рассказывали о юноше по имени Евгений, потомке знатного рода, но очень обедневшем. Как-то дождливой ночью он вернулся домой, а за окном разыгралась буря. Дело было в Петербурге, там протекала злая река Нева — ветер повернул ее назад, и она как зверь кинулась на город, затопила улицы и площади, размыла могилы — по широким проспектам поплыли гробы. У Евгения была невеста Параша, хорошая девушка. Он всю ночь тревожился, что с ней, а утром поспешил на Парашину квартиру. Не добрался и спасся от наводнения (оно все усиливалось), взгромоздившись на мраморного льва. И что же он увидел? Дом Параши снесли волны, она погибла в осатаневшей Неве. Евгений сошел с ума. И еще в книжке говорилось, что как-то вечером он проходил мимо памятника царю, строителю Петербурга. Ему, конечно, захотелось высказать суровому самодержцу все, что накипело на душе. Но цари не переносят критики, даже справедливой. Разгневавшись, памятник сорвался с пьедестала и помчался за насмерть перепутанным юношей. Погоня продолжалась всю ночь: куда ни улепетывал Евгений, всюду его настигал безжалостный всадник. Ка-ка-ка — били по мостовой медные копыта, и мостовая сотрясалась. Только рассвет прекратил это безумие: царю пришлось воротиться на постамент, а несчастный Евгений вскоре помер.

Каждая строчка хватала за душу. Все было так удивительно и так великолепно, так не похоже на подвиги великих сыщиков, что я заплясал по комнате, выкрикивая что-то победное — наверно, индейские боевые кличи (только индейцы способны вопить так громко и непонятно). Потом я кинулся на Жеффика и повалил его на пол. Жеффик рычал, оборонялся, нападал, кусал, выворачивался — он умел соответствовать моему восторгу. Немного успокоившись, я строго прикрикнул:

— Перестань, ты совсем ошалел! Слушай, что я тебе прочту.

Жеффик сел у моих ног — я стал читать ему поэму. Он слушал внимательно, иногда (в самых сильных местах) дергал головой, от волнения бил хвостом. Возможно, он понимал не все (особенно это касалось строчек о происхождении и предках Евгения), но поведение беспощадного царя ему явно не понравилось. Он всей душой, как и я, сочувствовал горемыке, которого судьба покарала так жестоко и несправедливо.

Вечером я прочел поэму маме, она похвалила меня за то, что забросил выпуски. Осип Соломонович сказал, что знает автора стихов — их написал Пушкин. Я огорчился. Пушкин сочинял сказки про золотых рыбок и спящих царевен (их я мог читать

почти наизусть). И про него рассказывали много анекдотов и неприличных историй. Было обидно, что хорошая поэма принадлежит такому несерьезному человеку. К тому же я часто видел Пушкина на бульваре (он был памятником) — курчавая голова, старорежимные бакенбарды, ничего величественного и захватывающего. Разве можно сравнить его с дюком — герцогом Ришелье (тоже памятником — и на том же бульваре) и с величественным графом Воронцовым на Соборной площади! Даже с императрицей Екатериной недалеко от дюка, хоть царей отменили — и пора бы ей перестать красоваться на пьедестале. Нет, подумал я, наверное, поэму написал не Пушкин, Осип Соломонович тоже может ошибаться.

Ночью, в темноте, стихи вернулись (оказывается, я многое запомнил — сразу и на всю жизнь), я шептал их — сначала про себя, потом вслух, в меня плескала шумная волна Невы, я тихо плакал из-за Евгения, потерявшего невесту и гонимого по темному городу разъяренным царем. Мама прикрикнула:

— Чего ты там разбормотался? Спать надо!

Вскоре я примирился с авторством Пушкина. Но сколько бы потом ни возвращался к поэме, ни твердил ее наизусть — все так же томился и обалдевал.

В моей жизни было, вероятно, еще одно (и только одно) подобное ошаление — это произошло года через три или четыре. В новом нашем киоске — не на Мясоедовекой, а на Колонтаевской — появился какой-то журнал. Я потащил его домой и по дороге стал читать стихотворение о Шекспире. Был прохладный и ветреный вечер, шли тучи, звонили колокола, с благовестом мешался шум деревьев.

Звук мятущихся крон всегда волновал меня, я не мог слушать его спокойно — мне нужно было отвечать ему действием, и я начинал бегать и размахивать руками. Ветреной осенью у меня недоставало сил усидеть дома — и любые запреты матери были бессильны. А сейчас была осень, и ветер, и колокольный звон — и акации голосили по всей улице.

Я пробежал мимо дома, сделал крюк, вернулся — и снова пробежал мимо. Во мне органно гремели стихи, звучные, мерные, тяжелые, как колокола, от них спирало дыхание и становилось больно в горле.

Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах, преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

Я твердил и твердил эти строки, кричал их себе и домам, хмурому небу и мятущимся деревьям. История была немудреной: некий Шекспир написал в трактире сонет, и тот потребовал, чтобы его тут же огласили — это было правильно, ибо стихи на то и стихи, чтобы их читать, бормотать, шептать, а при случае — кричать. Но этот самый Шекспир не согласился со своим сонетом, он пренебрег справедливым требованием — потому что не признал в посетителях достойных слушателей. Шекспир швырнул салфетку и позорно смылся из кабака — правда, предварительно заплатив за съеденное рагу, чтобы не догнали лакеи. Конечно, он поступил нехорошо — об этом говорили тяжелые, низкого органного тона, очень звучные (колокольного удара) строфы. На месте автора я заставил бы Шекспира действовать по-другому. Я как-нибудь встречусь с поэтом и обязательно скажу, что я с ним не согласен. Надо запомнить его фамилию, его стихи, отныне — и всегда — читать все, что напишет этот человек. Фамилия автора была мне незнакома — Борис Пастернак.

Затем был голод.

Голоду предшествовало оживление торговли. Военный коммунизм исчерпал себя. Он славно послужил войне, а для мира стал неэффективен. Он мог функционировать лишь краткосрочно — это был экстремальный, а не нормальный уклад. Ленин объявил нэп — новую экономическую политику.

Новая политика означала частичное возвращение к старому: делай сколько сумеешь и будь спокоен — излишки не отберут, а купят. Кто-то из вечных скептиков сострил (острота его долго ходила среди одесситов): кончился бандитизм ружья — возвращаемся к бандитизму рубля.

Рубль и впрямь вел себя по-бандитски (правда, иначе, чем намекали) — он ошалело падал, накручивая на себя нули. Один целковый образца 1918 года равнялся тысяче девятнадцатого, год двадцатый добавил нулей еще на кусок, двадцать первый подхватил эстафету. Рубль катился на этих нулях как на колесах — вниз, в пропасть испаряющейся ценности. «Почем сегодня целковый?» — тревожно спрашивали при встречах.

Прежде извечная проблема существования заключалась в том, как добыть денег, теперь к ней добавилась новая: как поскорей их сбыть? Малейшая задержка существенно уменьшала их товарный вес. Деньги больше нельзя было копить — их необходимо было немедленно тратить. Расходы сулили богатство (во всяком случае — вещевое и продуктовое), сохранение вело к нищете. Умножение денежного запаса стало равносильно его потере, скупость — равнозначна разорению.

Думаю, великие герои накопительства — скупые рыцари, Гарпагоны, Плюшкины, — окажись они в России времен военного коммунизма и в первые года нэпа, просто-напросто сошли бы с ума. В 1923 году, когда появился золотой червонец, один рубль в новом, червонном исчислении равнялся десяти миллиардам в дензначных бумажках. На этом лихой бег в пропасть оборвался. Память о валюте, галопом несущейся в ничто, сохранилась лишь в уличных песенках, вроде популярной в Одессе «Чум-Чары»:

Залетаю я в буфет,
Ни копейки денег нет.
Разменяйте десять миллионов.
Чум-чара-чура-ра. Ку-ку!

В эти годы в Германии шла такая же призовая скачка — и, кажется, марка опередила наши военно-нэповские рубли по количеству накручиваемых нулей. Ремарк блестяще и горько

описал это крушение в «Триумфальной арке». Возможно, сведения из одной страны катализировали лихорадочную работу печатного станка в другой…

На селе поворот государственной политики от продразверстки к продналогу, по слухам, приняли сразу (во всяком случае — так написано в учебниках). Сомневаюсь. Крутые меры прошедших лет породили инерцию недоверия и опаски. В городе нэпу обрадовались — но спешить не стали. Разрешенные рынки долго не открывались. Дело было не только в том, что не хватало товаров — не было уверенности, что продавать безопасно. В памяти крепко засели облавы и обыски в лавках и магазинах. Рынок по-прежнему оставался страшноватым местечком: его внезапно могли окружить наряды красноармейцев — и тогда прощай не только товар, но и голова. Береженого Бог бережет! И хотя Бога, это было твердо доказано, не было, он продолжал беречь береженых.

Торг на базары не вышел — он к ним прижался. На нашей Косарке еще стояли рундуки и прилавки — но первые нэповские торговцы раскладывали товары на тротуарах Мясоедовской, на тряпках и газетах. Расчет был прост: появятся вдали красноармейцы — хватай свой скарб и мигом в ближайшие ворота. «Сховаемся в первой попавшейся квартире — ищи нас там!»

Смельчаков, выбравшихся торговать, поначалу было немного. Люди ходили на них смотреть, ими восхищались и любовались. Дни, однако, катились за днями — облав не было. Торгаши умножались — скоро они заполнили весь квартал от Прохоровской до Косарки. Но базарная площадь оставалась пустой. Она по-прежнему внушала страх. Ее немытые, потемневшие от непогоды прилавки грозно напоминали о пережитом.

Я часто бегал по Мясоедовской, присматриваясь, где что продается, и покупал (когда мама расщедривалась) то монпасье, то жареные тыквенные семечки. Помню, два милиционера (один постовой, другой, наверное, его начальник) громко убеждали продавцов, раскинувших свои подстилки на самом краю Косарки, выйти на площадь: на прилавках и в ларьках товар раскладывать удобней, чем на грязных газетах. Пока торговцы деликатно отговаривались, их соседи, потихоньку похватав свое добро, улепетывали. Улица наполовину опустела еще до того, как милиция поняла бесполезность уговоров и ушла.

Подползания к рынкам шли и на знаменитом Привозе, и в районе Нового базара — но там я бывал редко, а Мясоедовская, ставшая торжищем, была для меня родной.

Голод, поразивший страну, задержал процесс возрождения торговли.

Он шел как бы издалека, узнавался по слухам, о нем вычитывали сперва между строчек, потом из прямых репортажей. В Поволжье недород, с ним скоро справятся, продовольствие на Волгу уже везут, — уверяли на газетных страницах. Нет, очень уж большой неурожай, ожидается голод, — признавались спустя некоторое время. Потом тон изменился: голод, самый настоящий голод, пусть каждый помогает Поволжью чем может, это священный долг любого советского человека — спасать голодающих, — забили тревогу газеты, извещая, что организован правительственный комитет Помгол и во главе его встал всероссийский староста Михаил Иванович Калинин. Размноженный в тысячах экземпляров пронзительно-скорбный плакат Моора[13] кричал на улицах и площадях устами измученного, обезумевшего, страшного мужика, который тянул к прохожим костлявые руки: «Помоги!». Только тот, у кого вовсе не было сердца, мог равнодушно читать этот страстный призыв.

О том, что голод накатывается на Северное Черноморье, на Крым, на Херсон и Одессу, не говорили, в него не верили. Поволжье объявлено официально голодающим, туда двинуты составы с хлебом, у нас, наоборот, успешно собирают продналог, закупают излишки зерна и срочно увозят на Волгу — разве так поступали бы, если бы не было этого самого: хлебных излишков? Таково было общее мнение. Конечно, и в Причерноморье урожай не ахти какой, но все-таки не бесхлебица!..

А подползающий голод давал о себе знать зловещими приметами: вдруг появились беглецы из деревень, умножились беспризорные дети — они еще не сложились в товарищества, еще не образовали отрядов, каждый пока слонялся по городу в одиночку. Им еще подавали сердобольные женщины… И все громче становились рассказы, как стало плохо на селе — куда хуже, чем было при отмененном военном коммунизме.

Неунывающие одесситы для каждой новой напасти находили утешительное локальное объяснение. Конечно, плохо на селе, кто же спорит! Но почему? Надо выкачать хлеб для Поволжья, а мужик припрятывает. Вот выполнят план хлебосдачи — мигом появится на разрешенных базарах схороненные излишки. Месяц подождем, все наладится. Завелось в частной продаже мясо (мяса давно не видели) — одесситы радовались: жизнь повернулась на хорошо. Стали поговаривать, что в деревнях режут скот (нет надежды прокормить) — одесситы возмущались: какой дурак поверит, что крестьянин поведет под нож свою кровную «худобу», это же абсурд, надо не знать украинского кулака, чтобы поверить

в такую чепуху! Мужик сорвет с крыши солому, обдерет деревья до листика, вычистит землю до былинки, а бычку своему, коровке-кормилице, брату-коню не даст загнуться, скорей с жизнью своей распростится, чем с последней коровешкой. Разве не уродилась кукуруза? Столько на уличных базарах мамалыги! О чем это говорит? О том, что все в порядке, о чем же еще!

Если порядок и был, то грозный. Стало известно: продналог не выполнить (он еще не взят, а брать уже нечего) и облегчения, которое должно за ним последовать, не будет. Та самая солома с крыш, на которую в худом случае (где-нибудь в начале весны) надеялись легкомысленные горожане, уже содрана, а зима еще не установилась. Правительство объявило южные губернии угрожающими по голоду. Это означало, что отныне из них запрещено вывозить продовольствие — все собранное должно оставаться на местах. Не замедлил и следующий шаг. Бескормица быстро ширилась, она захватывала один уезд за другим — правительство сделало новое заявление, официально признав голодающими районами не только Поволжье, но и Крым, и Херсон с Одессой. В такие губернии (это полагалось по статуту официального голодания) продовольствие поступало извне. То, что недавно вывозили, должны были теперь возвратить обратно. Но возвращать было нечего. И голод стал собирать с деревень и городов свою страшную жатву. Жатва была обильна.

Осень прошла скудно, но сносно. От голода уже умирали, но единично — одинокие старики и старухи, бездомные нищие, беженцы из деревень, устремившиеся в сытый, как им воображалось, город, но не нашедшие здесь ни работы, ни подаяния, ни пропитания. Зимой 1921/1922 годов голод стал повсеместным — начали вымирать семьями. На улицах появились трупы. Люди гибли в квартирах, об их смерти узнавали соседи и милиция — трупы выносили и клали на тротуары, поближе к стенам, чтобы не мешали прохожим. Падали на камни и прохожие, пытались встать. Кому удавалось — ковылял дальше, кто не мог — затихал и замирал. Навеки. Этих тоже оттаскивали к стенам, чтобы не загромождали дороги.

Раз в день по Мясоедовской, по Костецкой, по Прохоровской, по Госпитальной, по Болгарской, по Малороссийской — по всему нашему району, сворачивая с улицы на улицу, — неторопливо проезжал фургон, карета смертников, так его окрестили. Это был длинный наклонный ящик с двумя боковыми стенами, громоздкий, без верха — его сконструировали, чтобы увозить павших лошадей. Он много лет исправно выполнял свои функции, его хорошо знали в городе: лошади, когда лишались последних сил, имели обыкновение падать там, где их ударяла судьба, они,

сколько помню, умирали всегда на ходу, а не в конюшнях. Но теперь лошадей на свалки не вывозили — фургоны приспособили для сбора людей.

Карета смертников останавливалась около валявшегося мертвеца, кучер и его напарник неспешно поднимали тело и швыряли его в ящик. Сколько раз я видел эти фургоны — и они никогда не были пустыми. Смертные повозки появлялись на нашей улице уже забитыми — на треть, наполовину, на две трети, — наши уличные покойники добавлялись к собранным неподалеку. В те годы на всех товарных вагонах красовалась категорическая надпись: «Сорок человек или восемь лошадей». Для живых соотношение было достаточно либеральным — пять человек занимали место одной лошади. В каретах смерти действовали законы куда суровей. В фургон больше одной клячи никак не впихнуть, но людей туда можно было навалить до десятка. И наваливали.

В первые месяцы голода кучера появлялись и во дворах, если им говорили, что кто-то помер в квартире. С помощью соседей они вытаскивали погибшего наружу и несли в свою карету. Потом такая услужливость показалась излишней. Даже просьбы милиционеров не действовали на возниц. Они огрызались, матерились, просто равнодушно отворачивались. Будут, мол, заходить в каждую квартиру — и половину трупов не увезут на кладбище. Хотите с честью похоронить своего соседа в общей могиле — вытаскивайте тело на улицу.

К весне очистка дома от мертвецов стала непременной обязанностью оставшихся в живых. Выработался особый похоронный ритуал. Фургон смерти вел свое очистительное шествие днем — значит, выносить умерших нужно было по утрам. А если — в первые месяцы — вытаскивать тела опаздывали, хорошим это не кончалось. Весь оставшийся день надо было ходить мимо трупа, иногда около него сидел кто-то оставшийся в семье, плакал и причитал — впрочем, плач был редок: смерть перестала быть чрезвычайным событием, она стала всеобщей житейской обыденностью. А ночью, когда улицы пустели, неведомо откуда набегали бродячие собаки и пиршествовали.

Я сказал «неведомо откуда» — и это не оговорка. Одесса всегда была полна беспризорного собачья, гицели не справлялись с его стаями. Но сейчас на собак охотились не гицели, а весь город. Бездомные псы поставляли мясо — для собственных нужд ловца, для продажи на рынке. Они быстро уяснили, что человек, еще недавно кормилец и охранитель, стал злым врагом, и стремглав уносились от любого — каждая встреча могла оказаться для них роковой. Но по ночам собаки появлялись на

улицах, чтобы жрать мертвечину, в том числе и вынесенных на увоз людей. В темноте на улицах слышался лай и визг, топот лап, яростный хрип собачьих драк. Утром псы исчезали. В городе говорили, что они на день убираются в степь — там им безопасней, чем в городе.

Бродячие собаки были не единственными пожирателями трупов. Сперва вполголоса, потом все громче стали говорить о случаях людоедства.

Однажды у нашего дома оставили мертвеца. Утром обнаружили, что у него отрублена нога — не отгрызена, не оторвана, аккуратно, хорошо наточенным топором отрублена. «Работа мясника, сделано умело!» — с негодованием говорили одни. «Понесут человечину на базар, сами мертвечину жрать не будут!» — с отвращением твердили другие. Мы вышли на улицу с мамой, я полез смотреть на одноногий труп — она, вкатив мне затрещину за непристойное любопытство, поспешно меня увела. Об этом мертвеце, расчлененном явно на еду, говорили еще долго — я со страхом прислушивался.

Прислушивался я и к вечерним чтениям отчима. Поужинав, он надевал очки, садился у огня и читал маме газеты — он любил читать. Она любила слушать. Газеты еще не знали нынешней совершенной цензуры, которая способна поставить абсолютные преграды любому нежелательному известию — в них печатали подробные репортажи, рассказывали о помощи голодающим, о развязанных голодом зверских инстинктах. В мою память навсегда врубился отчет о судебном процессе над группой людоедов. Помню, где это было: Бузулукский уезд одной из волжских губерний. Осатаневшие от голода крестьяне сожрали одного соседа, потом другого, затем стали охотиться на людей. Жертвами становились преимущественно дети. Одна подсудимая спокойно рассказала, как ловили и уплетали соседских ребят, как убили и съели ее собственного сына. «И вы его ели?» — спросил судья. «И я ела, что же было делать», — ответила она. «Да как же вы могли есть своего ребенка?» — «Плакала и ела». Думаю, в больших библиотеках эта газета, центральные «Известия», сохранилась.

Слухи о людоедстве в Одессе, газетные сообщения из Поволжья заставляли принимать меры. Школы, кажется, еще не работали, днем детей на улицы выпускали, но к вечеру загоняли домой. Именно загоняли. Помню, как я бежал из киоска, позади шла мама, а какой-то старик, не заметив ее, замахнулся на меня тростью и сердито закричал:

— Мальчик, что ты думаешь из себя? Ты хочешь, чтобы тебя поймали на петлю и выкроили на котлеты? Беги шибко домой и

закрывай двери, закрывай двери, я тебе говорю!

Возможно, слухи о ловле людей на жратву имели под собой какие-то основания, но в нашем районе не пропал ни один взрослый и ни один ребенок. И домашнему зверью, если за ним мало-мальски следили, опасности не грозило. Правда, выходя с Жеффиком на улицу, я надевал на него поводок — это ему не нравилось, он вырывался и скулил, но зато никто не нападал на меня, чтобы отобрать собаку. Но я видел, как вырывают еду изо рта людей. Какой-то голодающий на уличном базаре на Мясоедовской выхватил у продавщицы кусок мамалыги — кукурузной каши, сваренной вкрутую (в песенке пели: «и мамалыга с видом точно кекс») — и попытался удрать. Его нагнали около меня. Он упал, его били ногами, продавщица истошно кричала, вырывала мамалыгу, а он извивался под ударами, запихивал добычу в рот и судорожно заглатывал. И в его полубезумных глазах было одно человеческое чувство — наслаждение.

Лошадей в городе осталось мало — еще до голода гражданская война, воинские реквизиции и бескормица железной метлой очистили конюшни биндюжников. А что сохранилось, голод обрек на мясо. Лишь иногда можно было видеть, как по улице плелся одер, с которым хозяин не смог расстаться. Одна такая кляча рухнула на мостовой прямо против нашего киоска. Возница пытался поднять ее, возможно, ему и удалось бы, если бы хватило времени. Но из всех соседних домов — из нашего тоже — повыскакивали люди с топорами и ножами. Еще живую лошадь рубили и резали. Возница с воплем кидался то на одного, то на другого — на него замахнулись топором, пригрозили ножами. Тогда он стал умолять дать что-нибудь и ему. Мольбы подействовали больше, чем угрозы. Для возницы отрубили заднюю ногу, кто-то пытался ею незаконно завладеть, но раздались возмущенные крики: «Это хозяину! Пусть берет хозяин!» Возница взвалил на плечо окровавленный шмат и, сгибаясь под его тяжестью, поспешно удалился. Весь день воз оставался посредине мостовой. Только к вечеру хозяин его вернулся — вместе с товарищами, они дружно схватились за дышло и укатили повозку. «Какой ужас, Осип! — вечером говорила мама отчиму. — Лошадка еще билась, а они ее рубили! Вот Сережа видел, он тебе расскажет!»

В комнате моего друга Хуны в тот день была радость. Исаак Клейман, отец семейства, притащил домой кус лошадятины — был и суп, и вареное мясо. Будущее на нежданно сытый желудок казалось окрашенным в розовый цвет.

Будущее Клейманов был мрачно. Сейчас я расскажу, как

погибла вся семья. Начну издалека.

Наступившая зима, очень холодная (или она показалась такой обессиленным одесситам?), принесла с собой еще одну беду — морозы. Гражданская война нарушила правильное снабжение города топливом. От северных источников дров отрезали катящиеся то на юг, то на север фронты. Доставка угля из Донбасса морем стала невозможна из-за угона флота, а железные дороги — очень кружным путем — завозили топлива не больше, чем требовалось, чтобы полностью не замерли все промышленные предприятия. Был один выход — им воспользовались сперва воровски, единично, потом стихийно и массово.

Одесса была зеленым городом. На ее широких — по тогдашнему стандарту — улицах высились рослые деревья: акации, каштаны, клены, а по Пушкинской — одни платаны. Зачастую кроны перекрывали мостовые, движение шло в лиственном туннеле. Дворы были не только просторными, но и зелеными. И вот на все это обрушился топор дровосека. Сказано, конечно, фигурально: топоры не стучали — глухими ночами влажно повизгивали пилы. Дворники были упразднены, милиционеры стояли только на оживленных перекрестках, боязливые люди носа наружу не показывали — темнота и удаленность от перекрестков обеспечивали безопасность дворовым и уличным дровозаготовителям. Утром одесситы, крича, ссорясь, упрекая друг друга и всех себя вместе, устанавливали, что великолепная столетняя акация у их дома, или могучий лохматый тополь, или прекрасный каштан оставили на память о своем долгом бытии только пенек да кучу листьев — сучьев ночные дровосеки не оставляли, сучья тоже годились в печи и плиты.

Вырубка уличных деревьев, начатая еще до голода, безмерно усилилась в голодную зиму. На некоторых центральных улицах — «в городе» — порядок поддерживался: на Пушкинской, Дерибасовской, Николаевском и Французском бульварах ночным пилам визжать не дали, но по окраинам промчался истребительный вихрь. Зеленая Одесса стала Одессой голой. Несколько лет после голода прямые улицы открывали непривычную глазу одессита пустыню. Понадобились десятилетия, чтобы восполнить ущерб, нанесенный хищничеством одной страшной зимы. Только перед войной Одесса возвратила себе славу зеленого города.

Морализировать по этому поводу вряд ли уместно. Зимой 1921/1922 годов погибли десятки тысяч человек. Деревья, умирая, спасали от холодного окостенения другие десятки тысяч.

Они полностью исполнили свою благородную службу: украшали и очищали жизнь в спокойное время, не дали ей погаснуть в голодные месяцы. Мне часто приходилось читать, что ленинградцы, замерзая в нетопленых квартирах, не подняли топора на прекрасные липы своих скверов и парков (на редких улицах великого города росли деревья, но парки имелись и в городской черте). Можно восхищаться жертвенной стойкостью людей, так и не посягнувших на них, — и восхищение будет естественным и благодарным. Но я не уверен, хоть и влюблен в деревья, как в своих братьев и сестер, нет, не уверен, что жизнь человека дешевле даже самого прекрасного древесного ствола, самой раскидистой кроны.

Деревьев на улице хватило лишь до середины зимы. Надо было искать другие источники тепла. Их нашли в самих зданиях, начисто лишенных топлива. Дома начали отапливать методом разрушения домов. И центр этого разгрома пришелся на наш район.

Здесь я должен пояснить географию одесского голода. Разные районы голодали по-разному. Правительство предпринимало воистину крайние меры, чтобы спасти людей. На заводах и в госучреждениях получали продовольственные пайки. Пайки были разные, некоторые категории рабочих и некоторые промышленные предприятия удостаивались снабжения повышенного — ударного. Но и ударное, и простое нормированное, оно не выходило за межи крайней скудости: хлеб, ячкаша, перловка, селедка, сахарин, изредка сахар и подсолнечное масло. Гурман от такого пайка отшатнулся бы с ужасом, но гурманы давно перевелись, еда служила не для наслаждения — она была средством выжить. Государственное снабжение не гарантировало даже стандартной сытости, но существование обеспечивало — рабочие и служащие тоже голодали, но работали. Там, где дымили заводы, где размещались государственные учреждения, трупы на улицах не валялись.

Окраины Молдаванки, Пересыпь, Слободка-Романовка были традиционно рабочими районами. Даже временное переселение в буржуазные квартиры — после его прилива наступил отлив — не нарушило традиционного территориального размещения социальных классов. Служащие, естественно, проживали в «городе», в центре, отграниченном от окраин полукруговой Старопортофранковской. А в тех районах Молдаванки, что к нему примыкали, раскидываясь на периферии Толчка, Привоза, Новорыбного и Нового базаров, издавна селилась микробуржуазная голытьба — мелкие торговцы, портные на барахолку, сапожники, мороженщики, всяческие кустари. Эти

люди лишились традиционных заработков — а государственных пайков им не полагалось. Всей своей силой голод ударил по микробуржуазии. Именно наш район был жизненным пространством кустарничающей мелкоты. Именно он стал местом ее массового вымирания.

Не помню, где именно началась операция превращения полов и стен в топливо — возможно, даже в нашей бывшей квартире на первом этаже (она после нашего переселения наверх стояла пустая), — но визг выдираемых гвоздей, грохот разбиваемых простенков многие годы звучали в моих ушах. Квартиры, из которых все выехали или в которых все вымерли, обдирались начисто. Снимали полы, валили деревянные стены, пилили и рубили длинные толстые доски — двери шли в печи и на базар. Уже на следующий день после того, как помещение пустело, в него вторгались дровограбители.

В большой — целых три комнаты — квартире бывшего домовладельца нами была занята только одна, две — после исчезновения Федотова — оставались пустыми. Кто-то навесил на них замок. Однажды ночью замок сорвали, и за стеной завизжали выдираемые доски. Мама набралась храбрости и пошла пристыдить грабителей (ее в доме уважали), но скоро возвратилась вся в слезах. Ей объяснили, не стесняясь в выражениях, что, если она будет мешать людям жить, несладким станет и ее житье.

Разрушение квартир шло во многих домах, где жильцы вымирали или уезжали в более обеспеченные и потому менее страшные районы. Но у нас оно стало умело налаженным промыслом. Его организовал один из соседей (не помню его фамилии и профессии): невысокий, молодой, очень юркий, очень наглый, очень крикливый, грозивший каждую ссору превратить в драку — он отлично знал, что одесситы, шумные и скандальные, физические расправы недолюбливают, — в общем, из тех, о ком блатные презрительно говорят: берет, сука, на хапок! Он сам относил дрова на базар, а своим дроводерам бросал какие-то бумажки. На него жаловались в милицию, но с милицией он был запанибрата. В других местах и сами жильцы, и постовые все же пресекали разрушение — у нас этого не произошло. Помню, толстый милиционер (его фамилия была Хаит) пришел вечером во двор и, теребя ремни, громко сказал:

— Ребята, работайте ночью спокойно, я до утра на посту.

Я «слышал собственноручно», как говорил Бабель, эту милицейскую индульгенцию. Мама и Осип Соломонович в один голос приказали и вида не подавать, что мне известно о причастности постового к шайке, не то грабители расправятся и

со мной. Они уже подыскивали квартиру в другом доме — им не хотелось наживать перед отъездом неприятности. Мы были из последних, кто еще оставался в раздираемом на доски жилище.

Кое-где по соседству отдельные разваленные квартиры потом заделывали, ремонтировали, перестраивали. Дом № 11 по Мясоедовской уничтожили начисто. Только в войну, после бомбежек и пожаров, вновь появились такие скелеты бывших зданий. Еще лет десять после голода остов нашего дома пялился на обе улицы пустыми глазницами окон — его нельзя было ремонтировать, его надо было сносить. И снесли. Перед войной на этом — очень выигрышном — перекрестке возвели совершенно иного облика трехэтажку. Так вот — теперь о Клеймане.

Исаак Клейман принадлежал к шумному и нищему братству базарных сапожников — чинил ботинки «на заказчике», так это у них называлось. И естественно, когда не стало настоящей обуви, а на ногах горожан появились деревяшки и мешковинные мокасины, он лишился единственного занятия, кое-как его с семьей кормившего. А семья была немалая — обожаемая им жена Сара, некрасивая, вечно больная, даже когда считала себя здоровой, дочь, девочка старше меня лет на шесть, сын, мой друг Хуна, и еще одна дочь, совсем маленькая, имени ее не помню. Старшую назову Рахилью — кажется, это и вправду было ее имя.

Клейманы жили впроголодь, даже когда существовала сытость. Голод зловещей змеей еще только вползал на улицы, а семья уже люто голодала. Клейман бегал на базары, пытался что-то заработать, носил на продажу какой-то еще сохранившийся скарб. Существования пяти человек его старания не обеспечивали.

Помню, как однажды он выскочил на двор и с рыданием кричал на весь дом:

— Соседи, помогите, у меня же Сарочка умирает, она же умирает, соседи! Помогите, она же умирает!

Мама отнесла ему что-то (наверное, тарелку ячкаши — полужидкого хлебова из ячменной крупы), другие тоже помогали, время было еще не самое плохое. Но с каждым днем становилось хуже, соседская помощь иссякала. Клейман еще несколько раз выскакивал во двор и взывал о помощи — кричал, рыдал, рвал на себе волосы и, вдруг прекращая исступленные вопли, стучался по квартирам, падал на колени и молил, молил, молил… Ему перестали открывать, кричали через двери: «У нас ничего нет!» В это время кто-то выехал, кто-то умер — полы в опустевших квартирах подняли, окна сняли, простенки обрушили. Клейман был среди орудовавших топором. В семье у него появилась мамалыга, самая дешевая базарная снедь, если не считать макухи

— жмыха семян подсолнечника (макуха тоже шла к столу).

Морозы удалось протянуть, но весна повеяла теплым ветром и смертью. В доме уже успели разобрать на дрова все пустые квартиры, на чердаках сняли полы и накаты. Помню, как над нашей комнатой ухали топоры и трещали сдираемые доски, потолок трясся как живой, с него сыпалась штукатурка. Нам казалось, что он вот-вот обрушится и последние его перекрытия — крыша над нашими головами — будут с грохотом вырваны. Но нижние доски чердака не тронули. Мама тихо плакала. Я возмущался и требовал, чтобы они с отчимом пошли прогонять грабителей, но они не встали с кровати — знали, чем грозит защита своего благополучия.

День, когда в доме не осталось ни одной доски, годной на вылом, был для Клейманов днем крушения последних надежд на спасение.

Помню сцену, разыгравшуюся на моих глазах. Мама налила в миску ячкаши и велела отнести ее Клейманам. Наступал вечер. Я спустился вниз, прикрыв миску газетой, чтобы не увидели, что несу, и не отобрали — нападения бывали нередки, впрочем, на улицах, а не в доме.

Клеймана в комнате не было, Сара лежала на кровати, Рахиль тихо разговаривала с сестренкой. Я протянул миску Хуне и сказал, что мама послала ему еду. Хуна начал есть. Вошел Исаак и закричал:

— Что он делает, этот босяк, что он делает! Мама лежит голодная, а он набивает себе живот кашей! Сейчас же отдай миску маме, сейчас же отдай!

Сара робко попросила разрешить мальчику наесться, но Клейман вырвал миску из рук Хуны и передал жене. Она съела несколько ложек и отдала кашу девочкам. Исаак бегал по комнате и вслух разговаривал с собой. Потом он остановился перед старшей дочерью и возбужденно, срываясь на крик, стал убеждать ее спасти семью. Смысл того, что я слышал, дошел до меня лишь потом.

— Рухля, ты же большая, ты можешь всех нас накормить, — говорил он скорбно и страстно. — Посмотри на других девочек, посмотри. Другие девочки знают, что делать, они работают на семью. Твоя мама больная, ты же видишь, Рухля, она же такая больная. Я ходил на Дерибасовскую и на Екатерининскую, там открылись и Фанкони, и Робина. И там много хороших девочек, они помогают родным. Там теперь танцуют и поют, там такое едят, что пальчики оближешь! Так чего ты ждешь, я спрашиваю, Рухля, чего ты ждешь? Ты ждешь, чтобы мама умерла, ты этого ждешь?

Так он говорил, кричал, плакал и шептал, пока она не встала и не ушла. В комнате засветилась плошка — фитилек, погруженный в машинное масло, давал угарный и скудный свет. Сара стонала на кровати, Клейман то усаживался рядом с ней, гладил ее руки, уверял, что теперь все будет хорошо, Рухля принесет еду и деньги, то вскакивал и бегал по комнате, полушепотом крича на себя и успокаивая себя. Маленькая девочка заснула. Я рассказывал Хуне истории, вычитанные из пинкертоновских выпусков.

Весь тот вечер я провел у Клейманов — и весь вечер, заканчивая один рассказ о приключениях великого Ната, сразу переходил к другому. Клеймана сыщики не интересовали, он не вслушивался. Но когда я заговорил о тайнах Мадридского двора — были выпуски и о них, — он вдруг встрепенулся. От мадридских тайн я перешел к берлинским — всеведущие брошюрки подробно расписывали пиршества германского кронпринца, его похождения со знатными дамами в подозрительных кабаках, гнев его отца Вильгельма. Клейман вдруг с возмущением обрушился на кайзера, на наследника престола, на честных гофмаршалов и генералов, на коварных придворных дам:

— Нет, как живут эти босяки, как живут, я вас спрашиваю! Это же что такое, это же нельзя, чтобы было, так живут, я вам говорю, так живут!

Я уже собирался уходить, когда вернулась Рахиль. Клейман кинулся к ней с расспросами. Она сказала страшным шепотом:

— Я ничего не принесла, папа. Меня никто не берет, я худая. Я ходила около Фанкони, мне сказали: ты не годишься!..

Клейман зарыдал, сел на скамью у стола, где горела плошка, стал биться о него головой. Никто не остановил его — вероятно, он уже не раз вот так колотился о край стола. Все молчали. Я ушел к себе.

Сара и младшая дочь умерли в один день — во всяком случае, вынесли их вместе. Клейман криком созвал соседей, ему помогли вытащить трупы на улицу. Мертвые тела положили у ворот, Клейман сел на землю около них, молча смотрел на жену и дочь. Теперь он не кричал и не плакал — только смотрел. Кто-то положил около него кусок мамалыги, он машинально, не глядя, бросал ее в рот. Фургон мертвецов в этот день пришел поздно. Я сидел у киоска, читал книгу и видел, как Клейман помогал могильщикам нести жену и дочь. Только теперь я услышал его голос: «Осторожней, прошу вас, осторожней!» — кричал он, не давая фургонщикам бросить один труп на другой, как они обычно делали. Карета смерти продолжала объезд улиц, и Клейман все

ходил за ней. Я побежал вслед. На Костецкой — фургон свернул туда — подобрали еще один труп, и опять Клейман умоляюще кричал: «Осторожней, прошу вас, осторожней!» Нового мертвеца бросили на Сару и ее дочь, повозка направилась к Госпитальной и Болгарской. Клейман все шел за ней. Я возвратился к киоску.

О том, что Исаак умер, первым во дворе узнал я. Мама приказала отнести Клейманам очередную миску каши. Каши было мало, на донышке. Хуна сидел на пороге, ел очень вяло, через силу. Я сказал:

— Хуна, оставь папе и сестре.

— Папа умер, — ответил он. — Я не знаю, где Рухля.

Я вошел в квартиру. Жилище Клейманов располагалось около уборной, ночами, бывало, кто поленивей, оправлялся у самой его двери, под единственным окном комнаты. В доголодные дни Клейман часто разражался угрозами и проклятиями и показывал каждому, кто выходил во двор, какую мерзость сотворили у стены. И угрозы, и проклятья действовали мало. Рядом с жильем Клейманов, чуть подальше от уборной, находилась квартирка Цалкиных — я часто ходил сюда к моей подружке Ане Соневне. Теперь это был пустырь. Цалкины куда-то переселились, помещение разобрали на дрова.

Я вошел в комнату Клейманов. В ней давно не было полов — вырезали даже балки, на которые они стлались. Исчез и стол. Осталась одна только железная кровать, на ней лежал мертвый Клейман. Я сказал Хуне, что надо выносить отца.

— Я не могу, — ответил он.

Около него стояла принесенная мной миска. Каша была не доедена. Хуна равнодушно глядел на двор. Он вытянул толстые, распухшие ноги, от них тянуло тяжелым запахом. В этот день ярко светило весеннее солнце — Хуна подставил ноги теплу. Ходить он уже не мог.

Клеймана вынесли на улицу, положили на тротуар у самой мостовой. Рахиль больше не появлялась, возможно, погибла в стороне от дома, возможно, где-то спаслась. Хуна умер вскоре после смерти отца.

Утром я выскочил на двор и, возвращаясь, услышал слабый стон в разобранной соседней комнате. Там на золе и шлаке — их насыпали под доски пола для тепло- и звукоизоляции, — лежал Хуна и тихо повторял: «Зинаида Сергеевна! Зинаида Сергеевна!»

Я побежал за мамой. Она пришла, хотела поднять Хуну, но не смогла. Он смотрел на нас невидящими глазами и все твердил: «Зинаида Сергеевна! Зинаида Сергеевна!» Мама принесла еды — он еду не взял. Она попыталась покормить его с ложечки — пища, которую всовывали в рот, выливалась и выталкивалась оттуда.

Мама сидела около Хуны и плакала. А он, уставясь вверх пустыми глазами, все твердил: «Зинаида Сергеевна!» Он не узнавал мамы, жизни в нем оставалось только на то, чтобы звать ее. Не могу понять, как Хуна сумел подняться на второй этаж, как добрался до нашей квартиры — ноги его уже давно не держали. Вероятно, ночью он полз по двору, из последних сил карабкался по лестнице, а наверху жизнь стала окончательно покидать его. Мама положила ему на грудь кусочек хлеба — может, придет в себя и съест — и увела меня в киоск.

Вскоре я убежал домой — проведать друга. Еще на лестнице я услышал его крик. Он уже не шептал, не стонал, а кричал — тонким однообразным воплем — все то же: «Зинаида Сергеевна! Зинаида Сергеевна!» Руки его шевелились, он сбросил хлеб с груди на шлак, старался разорвать на себе рубашку, пытался подняться. Мне показалось, что к нему возвращаются силы. Я побежал к матери — сообщить об этом. Она разрешила снова вернуться к Хуне, но запретила подходить и дотрагиваться до него. Сейчас она закроет киоск и постарается покормить мальчика — может, удастся его спасти.

Хуна умер, пока я бегал в киоск. Он лежал на спине, уставясь в крышу распахнутыми глазами. Солнце, проникая сквозь щели, чертило на его лице сияющие полосы и кругляши. На голой груди Хуны копошилось что-то темно-серое. Я подошел поближе и всмотрелся. Наверх выползли вши, их было безмерно много — толстое, шевелящееся месиво. Прибежавшая мама оттащила меня от трупа, строго допытываясь, не дотрагивался ли я до одежды Хуны, не прикасался ли к нему руками. И хоть я уверял, что был осторожен, она увела меня домой, нагрела воды, выкупала в большом тазу, надела чистое белье и, уходя, заперла, чтобы я не смог снова побежать к Хуне.

В тот же день его увезли в фургоне смертников. Мама залила известью место, где он лежал. Запах известки еще долго напоминал мне о друге, которого не удалось спасти.

Теперь о том, голодали мы сами или нет. Мы не голодали. Мать была служащей, она получала паек. Получал паек и отчим — и гораздо больше маминого. Он служил в типографии, верней — в литографии, ему полагалось, думаю, ударное содержание. Приносить домой пайковое довольствие поручали мне. Выдавали его не каждый день — выходила большая корзина, носить надо было через весь город, с Екатерининской на Мясоедовскую. Я заблаговременно приходил в литографию и, скромненько усаживаясь в сторонке, наблюдал, как трудились мастера. Особенно меня восхищал седой высокий старик. Перед ним на столе лежала мраморная доска, он наносил на нее краски и

медленно их растирал.

Сперва получались разноцветные кляксы — в них не было сюжета, потом они расширялись, напирали одна на другую, дерево покрывалось сомкнувшимися пятнами — и вырисовывалась картина.

— Будет хороший плакат, мальчик, — удовлетворенно говорил старик. — Когда отпечатают, подарю один тебе.

Не знаю, сколько времени уходило на плакат — мне казалось, старик всегда рисует одно и то же. Иногда заходил Осип Соломонович, улыбался мне, говорил с художниками. Один плакат мне подарили, я принес его домой и повесил на стене. Он требовал: все, как один, на борьбу с разрухой, на нем шагали крепкие люди с лопатами, веселые мужчины в спецовках, краснощекие женщины в цветастых кофтах — таких здоровяков и красавцев было невозможно встретить на улице.

Полученное продовольствие я укладывал в корзину и маскировал сверху каким-нибудь мусором: щепочками, ветками, кусочками грязной фанеры — полезными в хозяйстве, но явно несъедобными вещами. От Екатерининской до Тираспольскои площади мне еще хватало сил бодро тащить перегруженную корзину, но здесь, на станции, где когда-то делали кольцо трамваи, я отдыхал не присаживаясь, чтобы, не теряя и секунды, бежать, если кто-либо вдруг полюбопытствует, что несу.

Однажды на площади ко мне подошел странный прохожий. На нем был рваный черный пиджак, на голове высился настоящий цилиндр — точно такой, каким на плакатах художники одаривали зловредных английских лордов. Из-под цилиндра выглядывало узкое, худое лицо такой нечеловеческой, бумажной белизны, что ее и трупной не назвать: трупы, это я уже хорошо знал, всегда желтоваты. Человек в цилиндре и не посмотрел на корзину, он смотрел на меня.

— Мальчик, дай мне поесть! — сказал он с каким-то проникновенным отчаянием. — Мне очень надо покушать, мальчик.

Теперь я не разбрасывал еду каждому, кто просит, как было в годы раннего детства: еда ни у кого не шла «на раскид». И сам по дороге, как ни был голоден, не осмеливался что-нибудь урвать. Вероятно, поэтому мне и доверяли нести домой сокровище пайка. Но я без колебаний полез рукой под камуфлирующую ветошь и оторвал кусок от свежего круглого хлебца.

Человек в цилиндре ел без спешки, в одной руке держал хлеб, а другую, вогнутой ладонью, подставлял под рот, чтобы и самая крохотная крошка не свалилась на землю. Я зачарованно смотрел на него. Было какое-то непонятное достоинство в каждом

движении его руки, его нижней челюсти, перемалывающей корку, в том, как он сгибал охраняющую ладонь, как вдруг ушли в себя его глаза — он словно ослеп, он не видел ничего вокруг, хлеб стал ему не пищей, осторожно отправляемой в пищевод, а неким таинством, и ощущать это таинство требовалось всем существом, не одним языком и зубами, — в еду надо было всматриваться внутренним зрением, чтобы постичь ее необычайное, почти мистическое значение.

А когда он расправился с последней крошкой, меня охватил страх, что он опять потребует хлеба. Но человек приподнял цилиндр, наклонил голову и тихо сказал:

— Спасибо, мальчик! — и удалился в сторону Нежинской улицы.

Мама рассердилась, когда я выложил на стол изуродованный хлеб. Волнуясь, я рассказал о своей встрече. Мама сказала, что я поступил хорошо. Я не сомневался, что она похвалит меня. То, что происходило с ней в эти месяцы, поражало меня потом всю жизнь. Но об этом поговорю чуть позже.

Человека в цилиндре я встречал еще раза три или четыре. Я возвращался из литографии в одно и то же время, отдыхал на одном и том же месте Тираспольской площади — незнакомец появлялся со стороны Нежинской и потом возвращался на нее, как будто выходил на площадь только ради свиданья со мной. И каждый раз просил дать ему поесть, очень медленно ел, благодарил и, сколько бы я ни давал, уходил, не прося добавки.

А потом он пропал. Мама спрашивала о незнакомце — я ничего не мог ответить. Осин Соломонович говорил, что он встречал человека в цилиндре, весьма похожего на того, какого я описывал: молодой, худой, невероятно бледный, одет в черный рваный костюм — когда-то была хорошая ткань и покрой отличный, — а на ногах у него то мешковина, то рваные ботинки, обувь он меняет. Отчим утверждал, успокаивая нас, что ему теперь, несомненно, лучше: идет весна, на базарах прибавляется еды, и американская АРА[14] не скупится на продовольствие для голодающих.

С таинственным незнакомцем я встретился еще раз, когда голод и вправду стал спадать. Это было в скверике у оперы, около величавого платана, посаженного, по одесскому преданию, еще при Пушкине. Я возвращался с Николаевского бульвара, куда ходил посмотреть, много ли иностранных судов пришли в порт с продовольствием, купленным на заграничные пожертвования. Впереди меня медленно шел человек — я сразу его узнал. Он лег на скамейку у платана, цилиндр свалился на землю. Я поднял его и подал незнакомцу. Он взял цилиндр и снова бессильно уронил

его. Даже в ночной темноте его лицо светилось пронзительно бело.

— Это ты, мальчик, — сказал он, каждое слово вышептывалось с трудом, оно долго выхрипывалось в горле, прежде чем становилось словом. — Я умираю, мальчик.

— Вставайте, — говорил я, силясь поднять его. — Вставайте, я помогу вам дойти домой. Скажите, где вы живете?

— Мальчик, ты мешаешь мне умирать, — прошептал он. — Уходи, мальчик! Ты мешаешь мне…

Я убежал от него. Я оглядывался: он лежал, уронив руку к земле. На траве валялся цилиндр.

Всю дорогу домой я давился молчаливыми, ожесточенными слезами. Я плакал не от жалости к этому странному человеку, не от возмущения против себя, что не мог ему помочь. Я ничем не возмущался, никого не жалел, никто не мог требовать от меня помощи.

Я плакал, потому что надо было плакать.

Пайки, приносимые мной из литографии, раскладывались на столе и сортировались — что в запас, что для немедленного употребления. И тут я узнал маму, какой до того не видел — вероятно, она и сама раньше не подозревала, что способна быть такой.

Она была неласковой, моя мама, я уже писал об этом. Сюсюканье с детишками (своими или чужими — безразлично) — обычное явление в южном городе, но ей оно было чуждо. Я рос без поцелуев, поглаживаний по голове, объятий, тем более — без нежных слов. На оплеухи мать была щедрей, чем на ласку. Не могу сказать, что я очень уж заслуживал наказаний, мальчик был как мальчик, и если на меня находил бес — а он временами находил и, кратковременный, был нестерпимо неукротим, — то и доставалось мне, что заработал, и еще немного сверх. Осип Соломонович не раз вступался за меня — он был гораздо мягче. Я злился на нее не всегда: многие кары, я понимал, были справедливы. Помню, как за одну из шалостей мама взгрела меня и еще сердито добавила: «Ну и сукин же ты сын!» Я немедленно воспользовался возможностью отомстить. «Вот именно, мама!» — сказал я злорадно. И был мгновенно одарен ошеломляющей оплеухой, однако и она не перешибла удовлетворения от собственного остроумия. Но при всей суровости обращения со мной одну материнскую обязанность мама считала священной: она знала, что меня надо кормить — какая бы погода ни стояла на дворе, какая бы власть ни шагала по улицам, сын ее должен получить свой кусок хлеба, свою тарелку каши.

Она стала забывать об этой священной обязанности, когда

голод достиг кульминации.

Я сказал, что мы не голодали. Это означало, что пайка вполне хватало, чтобы просуществовать без больших лишений. Лишения в семье искусственно создала мама. Мне не хватало того, что уделялось. Я был вечно голоден. Я не мог спокойно смотреть на хлеб, на мясо, на мамалыгу. Хлеб лежал на столе, на тарелку — бывали дни — выкладывали мясо. Хлеб был не мой, мясо предназначалось не мне. Половину провизии, получаемой по карточкам, мама откладывала. «Голодающим!» — хмуро говорила она, отливая кашу в отдельную миску, отрезая от хлеба добрую треть. И затем уносила часть отложенной еды соседям — сегодня Клейманам, завтра Цалкиным, еще кому-нибудь, — остальное брала в киоск: дать тому, кто будет просить, кто упадет неподалеку. Это скудное благотворение не было кратковременной вспышкой сострадания — оно стало суровой, ежедневной службой совести, оно превратилось в самую важную для нее человеческую обязанность. И она не ждала благодарности — она просто не могла иначе.

Умирающий Хуна не напрасно вползал к нам на второй этаж — он подбирался поближе к единственному человеку, который мог позаботиться о нем, который спасал его все последние дни его существования и все-таки не спас — только потому, что кругом были другие молящие о спасении, им нельзя было отказать. Я сказал: скудное благотворение. Оно было скудно, ибо большего не было. Но помню женщин, которые взбирались к нам, уносили кто кусок хлеба, кто немного каши и со слезами благодарили: понимали, как огромен дар, отнятый от себя. И не всегда они были знакомыми, порой просто прохожие, одинокие старухи, бродяжки, еле ковыляющие по тротуару, — мама, увидев их, определяла на глаз, насколько им плохо, и звала к себе покормить, дать что-нибудь на дорогу.

Помню, как она привела беженца. Вероятно, был праздник — Осип Соломонович не пошел на работу. Беженец рассказывал, как страшно жить в их деревне: половина односельчан вымерла, появились охотники на людей. Он с женой бежал в Одессу, жена лежит больная, он побирается по базарам. Мужчина жадно, без ложки, хлебал суп: наклонял тарелку и пил из нее. Он был грязен, изорван, в мешковине, ноги — в открытых ранах, от них странно пахло жареным мясом — меня мутило от этого запаха (много лет потом я не мог прикоснуться к мясу). Мама решила дать ему что-нибудь для жены, но в шкафчике оставался только кусок хлеба — это был мой хлеб, его отложили мне на ужин.

— Ты не умрешь, только раньше ляжешь спать, — жестко сказала мама, отдавая беженцу краюшку.

Мужчина ушел. Я глотал молчаливые слезы: было обидно, что лягу голодный. Осип Соломонович вступился за меня: хватило бы и супа, незачем было отдавать Сережин хлеб. Мама повторила: я не умру без этого куска, а женщине он, может быть, спасет жизнь.

Отчим, улучив минутку, когда она вышла, попросил, чтобы я не сердился: мама у меня великая женщина — я должен с этим считаться. Вероятно, я удивился словечку «великая» (потому и запомнил): оно не вязалось с хрупкой, маленькой мамой. Но я уже начинал догадываться: есть вещи более важные, чем сытость, есть поступки более высокие, чем каждодневная жратва. Да, не хлебом единым жив человек. Но эту истину (одну из величайших), можно и должно уточнить: чтобы жить достойно, необходимо не только требовать чего-то сверх хлеба, но и уметь добровольно от него отказываться. Мама в дни голода это понимала. А я не устроил истерики по случаю того, что лег в постель без ужина.

И когда перед смертью Сары Исаак Клейман, получив от мамы скудный дар, пытался целовать ей руки и кричал — в вечном своем возбуждении он разучился просто говорить: «Вы святая, Зинаида Сергеевна, нет, вы понимаете, это я говорю вам: вы святая!» — я чувствовал некоторое важное удовлетворение. Ради того, чтобы мама носила это звание, можно было и поступиться несколькими ложками ячкаши.

Клейман вообще часто выскакивал во двор — взывал о помощи, восторженно твердил, что Зинаида Сергеевна Козерюк (еще никто не звал ее по фамилии отчима — Штейн, она оставалась Козерючкой) самая настоящая святая, он голову за это положит. На просьбы о помощи соседи виновато опускали головы, святость поспешно утверждали. Я как-то радостно сказал маме, что ее называют таким хорошим словом — она вкатила мне затрещину и гневно приказала не богохульствовать: мало ли какие глупости говорят во дворе, она запрещает их повторять. Южане неумеренны в хулах и хвалах, одесситы признают только экстремальные оценки. В маме, всю жизнь прожившей на юге, сохранилась северная сдержанность.

Голод проходил разные стадии — и каждая была парадоксальной. Он начался осенью, когда базары еще не открылись, пайковое снабжение не наладилось. Он свирепствовал зимой, его усиливал мороз — именно в это время на улицах стали появляться трупы. Но уже работали рынки, распахнули двери давно закрытые частные кафе, ресторан Фанкони приглашал на ужины и танцы, в порт пришли первые пароходы из Америки с продовольствием от АРА и посылками от зарубежных

родственников… А весной голод нанес самый жестокий удар: тысячи людей, вытерпевших мучительную зиму, не вынесли возвращения солнца и тепла. Именно в эти дни на тротуары выносили больше всего трупов, чаще — иной день и повторно — совершали свои ездки фургоны мертвецов.

А на базарах закипела торговля — уже не только мамалыга и макуха, не только ячкаша и пайковый хлеб, но и заморские деликатесы: американское какао и сгущенное молоко, лярд, настоящий, как до войны, даже лучше, шпиг, сахар, а не сахарин, мука (до того белая, что глаза жмурились), шоколад, фруктовые консервы… И в ресторанах на Дерибасовской, на Екатерининской, на Преображенской, на Приморском бульваре гремела веселая музыка и танцевали разряженные парочки, а под окнами падали и умирали люди — официанты и швейцары оттаскивали мертвецов подальше от входа, чтобы не нервировать клиентов.

Я ежевечерне видел это немыслимое противоречие, оно не вмещалось в моей маленькой голове, оно мутило душу. Я слонялся по городу, мама больше не запирала меня, и набирался впечатлений, от которых потом всю жизнь не мог отделаться. Чудовищно несправедлив был этот голод рядом с танцующими парами, под музыку входивших в моду чарльстонов!

Однажды по Прохоровской двигалась парочка еще не виданных в Одессе людей: высокий толстый негр в сером плаще и в шляпе и мужчина пониже, белый, в новом — все новое казалось удивительным — красноватом костюме. Они шли от Степовой к Толчку — наверное, от товарной станции в порт, — неторопливо, важно, осматривались, пыхтели сигарами, переговаривались. Я заприметил их издали, побежал навстречу, оглядел, повернулся и, сменив торопливый шаг на степенный, двинулся за ними: мне было захватывающе любопытно.

— Кто это? Страшилы какие! — услышал я женский голос.

— Американцы! С пароходу, с АРЫ. Слыхала, вчера пароход пришел.

На лавочке, у трехэтажного углового дома, под вывеской «Доктор Моргулис. Венерические и мочеполовые болезни» сидели три женщины — одна молодая, большая и толстая, две другие щупленькие, пожилые. Все три лузгали семечки и сплевывали шелуху на землю. Уже это одно показалось странным: подсолнечные семечки давно перестали быть забавой, теперь это была дорогая пища. Толстая продолжала:

— А чего ищут американцы?

— Трупов ищут, — с готовностью ответила одна из щупленьких. — Много ли помирают, вот чего дознаются. Какая, стало быть, помощь нужна.

— Пошли им, Господи, побольше мертвяков, — равнодушным сытым голосом пожелала толстая молодуха. — Может, и впрямь прибавят помощи.

Потом я еще раз встретил эту женщину, подобрался к ней сзади и швырнул в спину камнем. Толстуха охнула и обернулась — это была не она! Смущенный и вмиг раскаявшийся, я все же (для порядка) показал ей язык и удрал. Она выкрикивала мне вдогонку общеходячие ругательства.

Американская помощь сыграла огромную роль в усмирении голода. Потом ее всячески принижали, обвиняли деятелей АРА в том, что продовольствие, которое они привозили, служило для маскировки самого банального шпионажа. Такие объяснения — для дураков и подонков. Что можно было вынюхивать в разоренной, измученной, ослабевшей от голодухи и неустройства стране?

И голод всячески затушевывают, отечественные учебники отказываются видеть в нем всенародную трагедию. Случился-де недород, в некоторых губерниях поголодали — подумаешь! Неприглядную правду препарируют и поправляют, истину подменяют политической целесообразностью. Но это — лакейская привычка. Политика меняется, завтра целесообразно не то, что сегодня, — выходит, историю нужно менять год от году. А истина — одна, как бы ее ни извращали. Иезуитство — оружие слабых, а не сильных. К сожалению, слабые — пока реальность не стукнет их по кумполу — как правило, считают себя ужас какими могучими! Неудивительно: дурак никогда не назовет себя дураком — только умный способен сокрушенно хватить себя по лбу: «Ах, какой же я идиот!» Так вот, АРА спасла многие тысячи людей — без нее они неминуемо погибли бы. В открытых американцами бесплатных столовых беспризорники получали полноценную еду, а не суррогаты. Посылки от заграничных родственников помогали выживать российским семьям. Часть присланных продуктов шла на рынки — и те, у кого не было спасительных забугорных родных, тоже обретали шанс. Весна 1922 года прошла в Одессе под знаком АРА.

Конечно, для тех, кто получал пайки, эта помощь не была определяющей — но эти люди и не умирали от голода. Даже пайковый хлеб стал лучше — в тесто добавляли американскую муку. Крестьяне, начисто подъевшие свое зерно, получали от государства семенные ссуды — тоже в большинстве своем за счет АРА. Я знаю: многие эмигранты, не сумевшие простить России своего отъезда, злорадствовали по поводу голода — что ж, подлецов хватало во все эпохи, ни одна страна не может пожаловаться на недобор мерзавцев. И спасибо благородным

душам (не одному великому Нансену), которые сделали что могли, чтобы смягчить ужасающий голод в Восточной Европе!

15

Мы переехали с Мясоедовской на Южную (дом № 39). Всего один квартал и Косарка (сейчас — Срединная площадь) отделяли старое наше жилье от нового. Перед переездом случились два события — одно крохотное, семейное, другое огромное, всенародное (если не сказать — всемирное).

Локальный катаклизм заключался в том, что Союз печатников командировал отчима в Харьков (Осипу Соломоновичу — вместе с другими уполномоченными — поручили раздобыть там всякие промтовары). Сотрудников типографии причисляли к рабочим — по карточкам им полагалась и одежда, и обувь. Но получать было нечего. Ближе к северу, в городах, не затронутых войной и послевоенной разрухой, промышленные предприятия работали. Правда, за морем телушка — полушка, да рубль — перевоз. К тому же и перевозить было не на чем: транспорт не справлялся с доставкой продовольствия для голодающих — где уж было думать об обуви!

В Харьков отчим ехал месяц, из Харькова — тоже. Печатники ликовали: надо же, как быстро! А главное — целый вагон мануфактуры (на каждой станции ко всем его замкам и пломбам выставляли самодеятельную охрану). Ничего не пропало, не усохло, не утряслось… Ушла разве что малость: на презенты станционным начальникам (за то, что не очень мурыжили в тупиках), дорожной ЧК, сцепщикам, сторожам, машинистам — ну и, конечно, на гонорар уполномоченным, все это добро привезшим.

— Как много вещей, Осип! — радовалась мама, любуясь отрезами на пальто и костюмы и цыганским шелковым платком (он потом сорок лет гнил в комоде и рассыпался лишь после войны, ибо она надевала его, по моим наблюдениям, только в очень большие праздники — и не каждый год).

Осип Соломонович вернулся из Харькова не только с подарками — но и с разочарованием.

Как и все убежденные советские евреи (впрочем, несоветские — тоже), отчим безмерно гордился, что второй по значимости фигурой революции был Троцкий. Начало двадцатых и конец гражданской — пик популярности пламенного революционного Иудушки (именно так, как известно, поименовала однажды Льва Давидовича фигура первая — Ленин). Вскоре по председателю Реввоенсовета прошелся и Сталин, презрительно обмолвившись о

«вожде с кучей газетных приветствий» — что, однако, не помешало будущему отцу народов по-черному завидовать и даже подражать Троцкому. Впрочем, это было позже. А тогда, в начале двадцатых, беспризорники, лихо стуча деревянными кастаньетами, во всю мочь орали на улицах:

На столе стоит тарелка,
А в тарелке каша.
Ленин Троцкому сказал,
Что Россия наша.

В дни, когда отчим был в Харькове, там стоял поезд Троцкого. Осип Соломонович не мог не поклониться своему кумиру. Он выцыганил свидание и был допущен в державный вагон. Адъютант доложил реввождю, что двое заслуженных печатников из Одессы просят их принять. И в тамбур донеслась отрывистая реплика Троцкого:

— Партийцы или беспартийная сволочь?

Поклонение не удалось. Ошарашенный отчим еле пробормотал приветствие, ответил на пару пустяшных вопросов — и сам не задал ни одного. «За что он назвал меня сволочью, Зина? Ведь он не знал меня!» — горестно вопрошал дома Осип Соломонович.

Он был довольно умный человек, мой отчим. Но, как почти все люди, чуть ли не обожествлял любого правителя. Считать своего господина выше себя — это общечеловеческая иллюзия. Да, конечно, для лакеев нет великого человека — возможно, потому, что они слишком приближены к телу. Другое дело — смотреть издалека… Великое разочарование — узнать, что тобой командует такой же человек, как ты, а может, и похуже. Тому, кто вознесся выше всех, не прощают среднести, а тем более — ничтожества.

Троцкий ничтожным не был. Он несомненно принадлежал к когорте выдающихся — и те, которые его свалили, морально были куда пониже, а интеллектуально — куда пожиже. Но отчим так и не простил председателю Реввоенсовета того, что он не наделен святостью, с точки зрения обывателя полагающейся ему по должности. Впоследствии это разочарование помогло Осипу Соломоновичу пережить партийные дискуссии — он презрительно отмахивался от оголтелых обвинений и взаимного обливания помоями.

Теперь о катаклизме глобальном — я имею в виду изъятие церковных ценностей. Его проводили под лозунгом помощи голодающим. Сомневаюсь, чтобы православное золото спасло хоть кого-нибудь из умирающих православных, иноверцев и атеистов — для этого оно просто запоздало.

Ценности изымали в тот момент, когда люди уже гибли, когда АРА уже развернула работу и в Поволжье, и на Южной Украине. Кого можно было спасти, того спасали и без церковных богатств. Но при ликвидации последствий голода, преодолении послевоенной разрухи сокровища, веками копившиеся в храмах, помогли — это правда. И помогли мощно. На них закупали зерно и мануфактуру, паровозы и вагоны, железо и станки…

Можно только пожалеть, что ни у одного из русских иерархов не хватило высоты духа, чтобы, не дожидаясь изъятия, добровольно отказаться от своих богатств — во имя спасения народа. Как бы это отвечало сути христианства! Но в любое великое учреждение (особенно если оно стоит достаточно долго) непременно пробираются люди мелкие. Именно они ожесточенней всех карабкаются вверх — и озирают подвластный мир, искренне полагая, что служебная высота отражает высоту характера. Отчаянная схватка власти и церкви уже вспыхнула — и в самом ее начале церковь могла одержать окончательную моральную победу. Но владыки не додумались до самопожертвования (или не осмелились на него) — и тем запрограммировали свое поражение на многие десятки лет. Мелкими и нерешительными людьми, видимо, были церковные иерархи — им противостояли личности куда более жесткие и куда более способные на поступки (в том числе — и на зверства, которых требовали их цели).

Ни при каких изъятиях я, естественно, не присутствовал, но порожденное ими смятение — видел, вызванные им разговоры — слышал. А после ходил с мамой в потускневшие церкви — и по-детски огорчался, что нет больше прежних пышных театров богослужения. Большинство одесситов одобряли очистку храмов — она казалась деянием во благо народа (да, наверное, и была им). Зачем копили сокровища — если не для того, чтобы в трудную минуту помочь людям? — таково было общее мнение. Впрочем, встречались и несогласные, и возмущающиеся — но тем хуже было для них.

Близорукие князья церкви вряд ли понимали, какой жестокий удар им нанесли. Речь шла даже не об утраченных богатствах — о потерянной вере. Жертва могла показать величие духа — насилие обнажило грязные стены. Число прихожан таяло, как лед под солнцем (и причина не только в том, что атеизм стал государственной политикой). Понимаю, мне возразят: истинно верующие остались! Справедливо, но неубедительно. Во все времена (и особенно — в нашей стране) по-настоящему, в полном смысле этого слова религиозных людей было ничтожно мало. В основном верили инстинктивно или интуитивно: необычность

притягивает, высота, к которой прикасаешься, возвышает (вполне иллюзорно, конечно, но…) Роскошь церквей косвенно, но веско свидетельствовала о величии Бога (недаром он выбрал себе такие земные апартаменты!). Тютчев гениально угадал в лютеранской кирхе с ее голыми стенами практическое завершение религии:

> …сбираяся в дорогу,
> В последний раз вам вера предстоит.
> Еще она не перешла порогу,
> Но дом ее уж пуст и гол стоит.[15]

Если бы не дисциплина и педантизм, органически присущие немцам, вряд ли в Германии исправно выполняли бы религиозные обряды (речь, понятно, о лютеранах в целом — а не об отдельных высоких душах). Лютеранство вообще самое слабое из христианских течений. Только в переломные эпохи оно способно функционировать вулканически, мощными выплесками чувств. Обыденность его офицеров (пасторов) не покоряет, тем более — не восхищает.

Другое дело — католичество (оно и сейчас остается могучей силой). Причина — и в обостренной моральной высоте, и в необычайно строгих требованиях к служителям культа (которые существенно выбиваются из среды обывателей), и в роскошной театральности обрядов. Католическая церковь не столько пропагандировала настояния и запреты (во всяком случае — среди обычных людей, глубины морали — это для посвященных), сколько поражала благолепием богатства, очаровывала гениальностью искусства и архитектуры, скульптуры и живописи, покоряла величием музыки.

Все это, обедненное и упрощенное (кроме, пожалуй, строгости моральных требований — причем для обывателей, а не для избранных), было и в православии. Но с него содрали нарядный мундир. Только в цитатнике Мао Цзедуна бедность трактуется как успех. Охлаждению людей к религии способствовало и ее обеднение (кроме всего прочего, разумеется). Неудачникам сочувствуют. Неудачников жалеют. Но еще никогда и никого неудачи не восхищали! Православная церковь была не ограблена, а сражена.

Сейчас намечается возрождение религии. Но ошибается тот, кто приписывает это магическому действию культа. Просто массовая культура становится все более глубокой — постепенно, почти незаметно для поверхностного взгляда. Просто инфляция нравственности, дефицит моральных категорий (неизбежное следствие усиления государственности) вызывает пока еще

неуясненный, не замеченный большинством протест. Он будет усиливаться — и приведет к буму морали, который будет равнозначен созданию новой веры. Если, конечно, человечество не успеет истребить себя в термоядерной катастрофе.

Так вот: религия все-таки сумела сохранить великие нравственные истины — именно они обеспечили ей двухтысячелетнее господство, несмотря на ничтожество и прямые преступления десятков поколений ее владык. И ныне душа взыскующего справедливости стремится не в соборы, а в царство высоких идей — к вечному духовному фундаменту христианства. От этого выигрывают и храмы, но — побочно и попутно. Человек движется к человечности. По сути, и коммунизм, и капитализм, и все церкви христианства хватают человечество за миллиарды рук и рекламно зазывают: «Идите к нам, у нас это есть!» Но недавние провалы капитализма и коммунизма (дорога у этих общественных систем одна — правда, идут они по ней разными зигзагами) более заметны, чем полузабытые прегрешения церквей. Неудивительно, что многие сворачивают на религиозную дорожку — она хороша уже тем, что в ее ямах ты еще не успел поломать ноги.

Но я опять отвлекся. Новая экономическая политика начала приносить плоды. Хозяйство хоть и медленно, но возрождалось. Рынки переместились с улиц на предназначенные для этого площади. Снова зашумел Привоз. На Косарке появились крестьянские возы с нехитрой снедью — скудной, малопитательной: хлеб из неполноценной муки, все та же мамалыга, ячмень, овес, подсолнечное и сливочное масло (достаточно, впрочем, жидкое)… Конечно, не шпиг, лярд, какао и сгущенка из роскошных американских посылок и выдач АРА, зато — свое!

Воскрес и транспорт. По городу пошел странный трамвай — его тянул старенький паровоз. Он дымил и гудел — это было восхитительно! Мальчишки бегали за ним толпами — восторженный рев босоногой свиты заглушал вопли гудка. А затем паровоз исчез — в трамвай впрягли лошадей. Обыкновенная конка, обветшалое достижение прошлого века, стала прыжком в прекрасное будущее. Она недолго погрохотала копытами четвероногих трудяг, позвенела нормальными — правда, ручными — колоколами вагоновожатых и кондукторов и уступила господство довоенному, бельгийской работы, трамваю: на электростанции пустили какие-то генераторы — часть их выработки пошла трамвайщикам. По рельсам побежали прежние быстрые колеса. Быстрота их, правда, была не очень-то быстрой. Но и довоенные трамваи рекордов не ставили. Помнится,

любимым нашим развлечением было вспрыгивать на полном ходу в открытые трамвайные двери (и он, этот полный ход, неразрешимых физических задач нам не задавал). Я тоже взмывал на подножку и пролетал добрую сотню метров, пока кондуктор не выскакивал на заднюю площадку и не заставлял спрыгивать (разумеется, и не подумав ради этого останавливать трамвай).

Любили мы ездить и на кишке. На задний бампер усаживались по нескольку человек. Двое держались за резиновый рукав пневматического тормоза, остальные — за них. Поездки выходили немногим дольше, чем на подножке: на каждой остановке приходилось спасаться от рассерженного кондуктора. Кондукторами были исключительно мужчины — они пресекали бесплатную езду вполне профессиональными подзатыльниками и тычками. А иногда, раскрыв заднее окно, просто сталкивали нарушителей трамвайной дисциплины с бампера — на ходу, естественно.

Однажды я поспорил с ребятами, что зайцем проеду от остановки до остановки и на ходу меня никто не сгонит. Заклад был ценным — кажется, аннулированный дензнак, я стал их тогда собирать (план подвига созрел заранее, но без материальной выгоды я бы на него не пошел).

Я скромно остановился у трамвайной площадки и, когда вагон тронулся, быстро вскочил на передний бампер, уцепившись за резиновый рукав. Риск состоял в том, что рукава эти закреплялись не всегда надежно. Сзади вагона это было не опасно: в крайней случае — шлепнешься на землю. Но впереди… Если срывался этот тормоз, дорога была одна — под колеса.

Вагоновожатый не мог видеть, что происходило на переднем бампере. Помню, сначала я очень испугался — мне отчаянно захотелось закричать и попросить, чтобы трамвай остановили. Оказалось, что колея, которая бежит на тебя, значительно страшней той, что убегает назад. Только самолюбие да надежда на выигрыш не дали унизиться до мольбы. Ребята молча, изо всей мочи бежали рядом с вагоном.

Необычного «зайца» заметили прохожие. Они стали кричать и показывать на бампер. До вагоновожатого наконец дошло, что происходит нечто опасное. Он привстал, увидел нарушителя, остановил трамвай и помчался за мной, размахивая гаечным ключом и ругаясь. Но я уже выиграл десяток метров — нагнать меня, наверное, не сумел бы и профессиональный бегун, не то что какой-то трамвайщик!

В этот день у меня было все — и почет, и выигрыш (его вручили очень торжественно). Правда, финал этой феерии оказался нерадостным. Я гордо поведал матери о своем подвиге.

Против катаний на задней кишке она не возражала — это было благородным мальчишечьим времяпрепровождением. Но сейчас так потрясенно уставилась на меня, что я мигом почувствовал приближение наказания куда более страшного, чем нормальные затрещины и выволочки. Кара была действительно ужасной — мама отошла к окну, села и заплакала.

Этого я вынести не сумел. Меня охватила великая жалость: она чуть-чуть не потеряла пусть и негодного (в этом меня убеждали систематически), но все же единственного сына! И я торжественно поклялся никогда больше не цепляться за тормозной рукав — передний, а не задний, естественно.

Пущенная после голода электростанция с трамваем кое-как справлялась, но на водопровод ее не хватало. Он, вероятно, бездействовал и всю гражданскую, но в те годы водоснабжение не относилось к моим обязанностям, за водой (именно «за», а не «по», ибо вода была не текучей, а стоячей) ходили взрослые — к колодцам (еще екатерининским) или на водопроводную станцию. Как-то я попытался помочь маме донести два ведра, но и одно было выше моих сил. Мама меня похвалила, но попытку пресекла: при каждом толчке (я почему-то непрерывно спотыкался) вода выплескивалась наземь.

Теперь водоснабжение полностью легло на мои плечи. Это была не тягостная обязанность, а почетный долг! Не каждый мальчик мог похвастаться, что ему так доверяют. Я гордился своими походами в гавань. Дело в том, что Одесса стояла на высоком берегу, порт (естественно) был на уровне моря. Вода из фильтров водопроводной станции на высоты не поднималась, но вниз текла охотно.

В арбузной гавани был кран (единственный) — к нему выстраивалась очередь на три-четыре сотни ведер. Вода шла под напором, но стоять приходилось несколько часов. К тому же многие не хотели ждать и лезли напролом — и при этом толкались, дрались и орали. Иногда очередь давала сдачи: одного такого нахрапистого водоноса так двинули по заду, что он опрокинул оба уже наполненных ведра. Он ругался, махал кулаками, требовал, чтоб его снова пустили вперед… Но толпа уже осмелела. Возмущенный до глубины души, он пристроился за мной и долго проклинал злодеев, которые так нагло обошлись с его задом. «Увидел бы — кто, голову бы свернул!» — уверял он соседок. И они сочувствовали: вот же не повезло хорошему человеку!

В каждое ведро бросали фанерный диск, чтобы вода не выплескивалась. Некоторые использовали коромысла, я их так и не освоил: руки были надежней плеч. В конце концов я так

настропалился, что не терял ни капли. Прохожие и соседи ахали: «Мальчик, какие у тебя полные ведра!» Удивление было слаще похвал.

От порта до нашего дома километра четыре — с грузом без отдыха не пройдешь. Как-то ко мне подошел старичок с двумя пустыми ведрами и попросил продать воду: у него болят ноги и сердце, он не выстоит длинной очереди, а если и выстоит, то не взберется наверх. Дома никого нет, он один — пожалуйста, мальчик! Он просил так долго и так жалобно, что я перелил ему оба ведра, взял несколько таблеток сахарина (ходячая мелкая монета) и побежал обратно в порт. Старик так согнулся под тяжестью добычи, что стало ясно: вряд ли ему удастся донести домой всю воду.

Было совсем темно, когда я наполнил ведра во второй раз. Улицы не освещались (впрочем, ночь была лунной). На Преображенской меня встретила мать — она закрыла киоск и пошла меня разыскивать. Я вручил ей заработанный сахарин и рассказал о старичке. Мама ответила, что я поступил хорошо, но больше так делать не надо.

Это же она повторила и дома, при Осипе Соломоновиче. Я еще долго удивлялся: как это — поступил хорошо, но больше так не делай? Впрочем, переспрашивать маму не стал: она сердилась, когда приставали со щекотливыми вопросами, и отвечала окриками, щелчками и тычками — это казалось ей самым убедительным. Решение сложной этической задачи пришлось оставить на потом — когда подрасту.

С того дня прошло много лет, я уже давно достиг взрослости и благополучно ее миновал — пора впадать в детство. Но эту проблему (как, впрочем, и многие другие, ей подобные) так и не разрешил.

В Одессе произошло выдающееся событие. В порт из Петрограда — в обход всей Европы! — пришел исполинский пароход «Трансбалт». Говорили, что он вмещает в своих необъятных трюмах ровно миллион пудов грузов (16 тысяч тонн, если по-современному), что скорость его чудовищна — почти 20 километров в час, что он один способен заменить угнанный белогвардейцами черноморский торговый флот.

Я бегал смотреть на это чудо. «Трансбалт» возвышался над гаванью, он оживлял пустое пространство, был черен, высок, длиннющ, из его труб валил густой дым (можно было только удивляться, как хватило угля на его создание). Дюк на бульваре торжественно простирал к «Трансбалту» руку, у обрыва толпились растроганные и восхищенные одесситы. В городе был праздник! Нет, не все корабли угнали эти босяки — белые, не все суда

прикарманили эти бандиты — французы, смотрите, как радостно дымит, как прекрасен наш черный красавец, наш бывший балтиец, теперь навеки черноморец, первенец и лидер будущего флота!

Порт возрождался медленно, дольше, чем другие отрасли, а он издавна был сердцем Одессы. Основным ремеслом города была торговля — все остальное в той или иной степени работало на нее. Но морское это занятие на многие годы замерло — и затих лихорадочный одесский пульс. Теперь городу предстояло стать индустриальным — операция долгая и мучительная.

Стремительно умножающиеся в стране новостройки обходили стороной опасную территорию, граничащую (по морю) с недружелюбными государствами. Десятилетиями Одесса практически не росла — она даже недобрала до прежнего, дореволюционного размера. Все города обгоняли ее. Когда-то по численности населения она занимала третье место в стране — теперь опустилась в третий десяток, приутихла, присмирела. Она была полупарализована — это не могло не сказаться на одесситах. До первой пятилетки безработица свирепствовала по всей стране, очереди на биржах труда выстраивались повсюду — но Одессу эта напасть поразила сильней, чем остальные города. В число безработных попал и отчим.

Уж не знаю, что произошло в его типографии. Не думаю, что Осип Соломонович проштрафился — к нему приходили бывшие коллеги, на юбилей наградили грамотой, вручили подарки. О плохом отношении это не говорит. Вероятно, просто были закрыты какие-то типографские отделы… Для семьи настали трудные времена. Базары ломились от продовольствия, магазины манили соблазнительными вещами — а у нас не было денег.

Между прочим, одесское продовольственное благополучие возродилось поразительно быстро! Сегодня мы сетуем, что никак не наладим нормальное сельское хозяйство. То ли бедны землей (ну, нет у нас никаких полей, лугов и степей!), то ли рабочих рук не хватает (каких-нибудь двести сорок миллионов населения), то ли руководители вконец бездарны, то ли экономическая система малоэффективна — только по всей стране (за исключением, понятно, столиц) много лет бездействуют мясные магазины, выстраиваются очереди за молоком, кое-где даже о сыре и масле знают лишь понаслышке. А после страшных потрясений — мировой и гражданской войн, истребительного голода — изобилие вернулось буквально за два года (во всяком случае — на рынки). Промышленность пробуждалась медленно — сельское хозяйство расцвело. Взрыв — так это видится через десятилетия.

А меня в те годы вдруг одолела странная болезнь —

отвращение к определенным видам пищи. С жареным мясом это было еще понятно — просто я не мог забыть, как пахли ноги голодного беженца. Но я отказывался есть масло, молоко, сыр, сметану, яйца всмятку, жареную рыбу, все виды грибов… Пока борьба шла с продуктовыми изысками, мама терпела — мои капризы не били по тощему кошельку. Но когда список ненавистников пополнили мамалыга, перловка, ячкаша, она вознегодовала. Сыновья привередливость становилась экономически разорительной!

Мама пыталась вразумить малолетнего бойца — объясняла, что кормить меня колбасами и ветчиной, гречкой и свиным салом ей не по карману. Я соглашался, что дорогая еда не для меня, но не сдавался.

Тогда она применила более действенную тактику: уходя в киоск, оставляла мне на обед только то, что я наотрез отказывался есть. Я спокойно скармливал еду Жеффику и терпеливо ожидал ужина. Находя вечером пустые тарелки, мама радовалась — подействовало!

Скоро я понял, что способ защиты выбран неверный: я-то стоял насмерть, но оценить этого мама не могла. И потом: я же не мог всю жизнь оставаться без обедов! Жеффику пришлось голодать вместе со мной. Это ему не нравилось. Но он понимал, что у меня жестокая война с его хозяйкой — стало быть, нужно терпеть. Он терпел, я терпел — не вытерпела мама.

Сперва она поколотила меня — разика два. Эффект, естественно, был обратным: вместо того чтобы покорно присесть к столу, я в бешенстве стал швырять тарелки на пол. Она пыталась высечь меня по-серьезному — я удрал на улицу и не возвращался, пока не пришел Осип Соломонович (при отчиме мама волю рукам не давала, только жаловалась). Он поговорил со мной как мужчина с мужчиной: он временно безработный, маминой зарплаты на троих не хватает — откуда брать деньги на то, что мне нравится? Не кажется ли мне, что я веду себя нехорошо?

Я охотно признал, что поведение мое и вправду не ахти. И если бы я мог, мигом стал бы примерным мальчиком — мечтаю о том, чтобы меня хвалили. Но у меня не получается. Примерность в меня не лезет. Я скорей умру, чем прикоснусь к таким отвратительным вещам, как сыр и жареное мясо, сметана и яйца всмятку. Я не прошу ничего взамен. Я готов питаться одним хлебом — пусть мама не трудится готовить разносолы (в смысле — мамалыги, перловки и всякие кефиры со сливочным маслом). Это не для меня — отныне и навсегда.

В квартире началась война. Я был готов на любое

сопротивление, вплоть до ухода в беспризорники — их теперь в городе много, чем я хуже? Даже не постеснялся пригрозить бегством из дому. Мама знала, что я — из сатанинского упрямства — способен сделать все, о чем сдуру сболтнул. Меня нужно было переломить решительно и бесповоротно. И она придумала гениальный план — его осуществление оборвало распри, связанные с едой.

Самым отвратительным было для меня подсолнечное масло. Я отказывался его есть с раннего детства, задолго до того, как возникла ненависть к другим продуктам. Все, что на нем готовили, было не для меня. Мама часто говорила:

— Ты возненавидел подсолнечное масло еще во чреве — меня, беременную, мутило от его запаха.

Этот внутриутробный антагонизм был серьезной индульгенцией — и я отвергал все, что имело отношение к маслу (даже просто стояло рядом с бутылкой). Мама, конечно, готовила на нем — для себя и отчима, но ей и в голову не приходило предлагать эту еду мне. И вот, готовясь к победе в затянувшейся войне, она рассудила, что масло отлично сойдет за тот снаряд, который пробьет брешь в моих антикулинарных укреплениях.

Операция была проведена блестяще! В понедельник, когда киоск не работал, мама пожарила на постном масле картофельные оладьи, а потом — для камуфляжа — пережарила их на свином сале (я его очень любил и люблю). Делалось это все, естественно, втайне, пока я слонялся по улицам. В обед она с невинным видом поставила оладьи на стол, сказала: «Твои любимые, на сале!» и стала ждать — с затаенным торжеством.

Мы пообедали, еще немного — и можно было трубить победу: «Вот ты какой! Ешь постное масло, и ничего с тобой не происходит. Теперь и слушать не буду твои выдумки! Будешь есть то, что и мы с Осипом Соломоновичем!» Но час торжества не настал. Меня стало выворачивать. Меня сводила жестокая судорога. Опустошенный, я не мог доползти до кровати, мама помогла мне улечься. Отчим убежал из дома.

Я лежал, снова вскакивал, в судорогах падал на пол (вероятно, и сознание терял). Осип Соломонович вернулся со своим добрым знакомым, знаменитым в Одессе толстяком — профессором Зильбербергом. Зильберберг долго сидел у моей кровати, щупал пульс, клал руку на лоб, что-то говорил маме, выписывал лекарство…

Потом я все выспрашивал у отчима, что сказал профессор. Наконец Осипу Соломоновичу это надоело — и он раскололся.

— Тебе было очень плохо, Сережа, ты был такой бледный — страшно смотреть. И тебя пробил пот, ты очень похолодел — это

больше всего испугало маму. Зильберберг сразу сказал: малыш отравился — чем вы его отравили? Мама все рассказала — и знаешь, что он ответил? Он сказал так: мадам Штейн, вы потеряли четырех детей, у вас остался один. И если вы будете продолжать эксперименты с едой, которая не по душе вашему единственному ребенку, так лишитесь и его тоже. За это я вам ручаюсь.

В понедельник киоск был закрыт законно — но во вторник он тоже не открылся. Я лежал, обложенный полотенцами и шалями, накрытый перинами и одеялами, в ногах тепло примостился Жеффик. Мама не отходила от моей постели.

На другой день я поднялся. Все волшебно переменилось. Внушительная бутыль с подсолнечным маслом — трехлитровая «рыковка» — исчезла. На стол ставилось только то, что я заведомо любил. И если я говорил: «Этого не хочу!» — «это» немедленно убирали. Никаких упреков, никаких споров, никаких уговоров — еще долго даже мимолетный мой продуктовый каприз становился для мамы категорическим императивом.

Боюсь, я беззастенчиво пользовался этой свободой воли. Впрочем, непривычная мамина покорность вскоре привела к парадоксальному результату: мне стало совестно терзать ее каждодневными выбрыками. Постепенно установился модус вивенди: она готовила то, что мне нравилось, — я понемногу расширял список приемлемого (возвратился к молоку, яйцам, жареному мясу, даже сливочному маслу — в готовку, а не на хлеб). Только сыр, грибы да сметана еще лет двадцать оставались под запретом. А подсолнечное масло — всю жизнь.

Уже после войны я приехал в Одессу и заметил, что на маминой кухне нет постного масла. Меня растрогало, что она помнит о моих пищевых извращениях и не хочет портить мне аппетита. Но вид масла на меня уже не действовал — лишь бы в еду не лили. И я сказал: сама-то она может пользоваться им свободно — обещаю не ворчать.

— Я давно его не ем, люблю, а не ем, — грустно ответила она. — Когда ты лежал, ужасно бледный, с закрытыми глазами, и я все думала, что ты не выживешь, я приказала себе даже рукой не касаться этого проклятого масла! В немецкую оккупацию совсем без жира сидела — а его взять не могла.

Годы эти — после великого голода — пусты в моей памяти. В мире происходили исполинские события, он вспучивался, клокотал — все проходило стороной. Мировые катаклизмы мало затрагивали мальчишку, который знал лишь две крохотные комнатки новой квартиры да десяток ближайших улиц. Умер Ленин — я услышал об этом днем, на улице. Было очень холодно,

и я побежал в киоск (теперь он был в двух кварталах от дома — новый, на Колонтаевской; даже старый находился ближе, но там хозяйничали другие). Мама расстроилась, у киоска стали собираться люди — просили газет. Однако печатные извещения появились только на следующий день. Шли траурные митинги и шествия — к одному примкнул и я, но холод заставил вернуться домой.

Демонстрациям по случаю ультиматума Керзона (Чемберлена?) повезло больше — они проходили в теплое время. Можно было орать: «Смерть буржуям и предателям!» Я выпросил у мамы немного деньжат, внес их в фонд постройки эскадрильи «Наш ответ Чемберлену»[16] — и почувствовал себя политическим деятелем. Во дворе пылали споры (не один я расщедрился): на что пойдут наши взносы? Кто кричал, что он жертвовал на мотор, кто — на крылья, а самые воинственные провозглашали: только на пулеметы! Теперь самолеты без них не летают, значит, самое главное — дать деньги на это превосходное оружие. Я тоже отстаивал что-то свое.

В городе уже открылись школы, но в школу я не ходил. До отца дошло, что я живу неуч неучем. Он — через сестер — передал матери, что возбуждает дело о передаче сына ему. Сам он в Одессу, кажется, не приехал — а тяжба пошла.

На стороне отца были важные преимущества: большевик-подпольщик, в войну — чоновец, потом (короткое, но значимое время) сотрудник ростовской ЧК — кому, как не таким выдающимся людям, воспитывать наших детей? А у мамы был только один аргумент: она — моя мать.

Судил Осип Черный. Время было новое — не старорежимный патриархат, при котором дети после развода оставались у главы семьи, но уж больно серьезными были заслуги отца… Судья колебался, на него давили с двух сторон. Меня привели на суд, Черный спросил: «А ты к кому хочешь, мальчик?» Я без колебаний ответил: «К маме!» — и на этом дело закончилось. Во всяком случае — на ближайшие два года.

Судебный процесс заставил маму с отчимом подумать о моем образовании. Не отдать ли меня в школу? В какую группу? Согласно терминологии того времени, так именовали классы — новое название создавало иллюзию революционного преобразования. Приготовительного класса гимназии я не закончил, но кое-что все-таки знал.

Формально дорога мне была одна — во второклассники. Но как посадить тринадцатилетнего оболтуса рядом с девятилетними пацанами? (Кстати, словечко это — «пацаны» — стало входить в моду именно тогда, в нем еще было

пренебрежение, почти презрение. Годы спустя колючие грани стерлись — и мы воспринимаем его чуть ли не как ласковое «малыш».)

Отчим мудро рассудил, что надо выяснить, как обширны мои знания: все же столько книг прочел — не может быть, чтобы в голове (даже такой, как моя, — продуваемой легким ветром) не удержалось что-то существенное,

— Хочу посмотреть, как ты справляешься с умножением и делением, — сказал он, уходя на службу (шел 1924 год, какую-то работу ему удалось раздобыть). — Вот тебе задание: помножь тринадцать на тринадцать. Вечером поглядим, что получится.

Сложение и вычитание я выучил в приготовительном классе, но до умножения и деления не добрался. Отчим и не подозревал, что мне предстояло не воскрешать в памяти давно забытые законы, а творить их самостоятельно. Вероятно, никогда потом я не совершал такого могучего умственного усилия!

Я перебрал тысячи способов. Прежде всего нужно было уяснить, что это вообще за штука — умножение. И я совершил великий интеллектуальный подвиг — установил, что в основе умножения лежит прибавление: чем больше прибавляется чего-то, тем сильней умножится это что-то.

Но прибавление не что иное, как сложение! Итак, умножение сводится к многократному сложению. Совершив это замечательное открытие, я выписал тринадцать раз — одно под другим — число 13 и получил великолепный итог: 169. Аккуратный столбик цифр смотрелся башней, он доказательно устанавливал мои незаурядные возможности.

Я пришел в восторг. Восторг обычно выплескивался схваткой с Жеффиком. Я кликнул его на борьбу — он мигом отозвался. Мы рычали, катались по полу, кусались (то я его, то он меня) и по очереди побеждали. Устав, я подмел комнату — схватка подняла много пыли, а мама не терпела, если мы с Жеффиком разводили грязи больше, чем ей воображалось нормальным.

Вечером разразился скандал. Отчим обманул мои ожидания. Мои математические открытия вызвали у него не одобрение, а негодование. Он кричал на маму, что своим попустительством моему безделью она растит невежду и дурака, что больше этого терпеть нельзя, что надо срочно выволакивать скверного уличного мальчишку, ее сына, из трясины дремучей безграмотности. В первый и последний раз в их долгой совместной жизни он орал на нее, стучал кулаком по столу. Жеффик забился под кровать и весь вечер не вылезал оттуда. Я боялся поднять голову. Я понимал: вина моя неизбывна. Мне, видимо, осталась одна дорога — в беспризорники, а потом — в

воры. Иного выхода я не видел.

Мама разбилась в лепешку: у меня появилась учительница, девушка из нашего же дома, хромушка (одна нога короче другой) Любовь Васильевна, маленькая, веселая и такая красивая, что проходящие мимо мужчины оглядывались, когда она сидела у ворот, лузгая семечки. Если она шла (тем более — бежала) очарование пропадало — такой сильной была хромота. Мама горестно говорила отчиму:

— Вот же не повезло Любушке! При таком личике она бы любого жениха себе выбрала — да нога не позволяет. И почему люди такими рождаются?

Любовь Васильевна учила меня весело и нестрого: сперва втолковывала урок, потом проверяла домашние задания. В тетрадках умножались арифметические задачи, склонения и спряжения. Учение шло плохо. Я с трудом понимал ее объяснения — она удивлялась моей тупости.

— Боже мой, Сережа, какой ты глупый! — говорила она ласково. — Даже не думала, что мальчишки бывают такими неспособными. И у тебя совсем нет памяти. Я говорю, а ты ничего не запоминаешь. Это очень нехорошо! Вот слушай, я опять объясню.

И она объясняла снова и снова — я снова и снова не запоминал. Слова доходили до меня словно в тумане, они расплывались в голове, четкие фразы превращались в месиво. Еще хуже было с домашними заданиями. Я заранее понимал, что ничего хорошего не выйдет. И не выходило: мрачное сознание собственной тупости костенило мозг, тормозило робкое желание постичь непостигаемое — вроде спряжений глаголов и различий между причастиями и деепричастиями.

Каждый месяц, получая свои пять рублей, Любовь Васильевна уверяла маму и отчима, что ей неловко брать деньги: она их не заслужила. Ничего путного все равно не получится — Сережу не обучить даже примитивной грамоте.

— Его бы врачам показать, — советовала она. — Мальчик вроде красивый и резвый (я видела, как он по улице гоняет). И с товарищами нормально говорит, даже книги читает. А на уроке молчит, смотрит в окно, двух толковых словечек не свяжет. Может, его в головку ушибли? Я бы на вашем месте проверила, Зинаида Сергеевна.

Эти ежезарплатные (если можно так сказать) вечерние монологи душили меня, как черные жабы. Я со страхом ожидал очередного вручения денег. После первого разоблачения мама взялась было меня бить — вмешался отчим. Взбучка Сереже, конечно, нужна, но ведь и опасность есть: что, если загвоздка и

впрямь в ударе по голове? Не усилит ли ушиб новая кара? Не перейдет ли неспособность в прямой идиотизм? Неудачный удар может вышибить из мозгов последнее понимание…

— Памороков у этого сорванца не отшибить! — возмущалась мать. — Разговаривать часами о книгах — это он может, а запомнить несколько строчек — способности нет? Притворщик он, вот что скажу тебе, Осип! Только битьем таких исправлять. Страницу в учебнике ему не выучить! А сто страниц при луне за час глотает — это, по-твоему, что?

Здесь я должен сделать отступление.

По сравнению с Мясоедовской, на Южной мы жили богато: две комнаты окнами во двор на третьем этаже. В дальней поставили две кровати: большую «варшавскую», металлическую, с никелированными шишечками — на ней спали отчим и мама; и маленькую, детскую, со стенками (они защищали от падения на пол) — мою. Я дрых в ней и уличным босяком, и школьником, и студентом… Потом, когда угнездиться в этом лежбище можно было только до колен, к нему приставили стул — для ног. Когда ко мне приходили гости, я всегда закрывал двери в спальню — не хотел, чтобы видели, где я сплю. Стыдно было. В большой комнате устроили гостиную. В ней царили мощный комод, внушительный шкаф, стол с керосиновой лампой под белым абажуром и четыре венских стула. Здесь ели, пили чай, здесь я готовил уроки и устраивал драки с Жеффиком. На стене висели отцовские поделки — копия (маслом) шишкинского леса и резной деревянный шкафчик, так тонко выпиленный, так аккуратно, щепочка к щепочке, склеенный, что казался кружевным. У него были золотые руки, у моего отца, только они хватались за нож с не меньшей охотой, чем за лобзик и кисть.

Гостиная (мама называла ее столовой — вероятно, в голодные годы это звучало надеждой) была налево от входа. Прямой коридор вел в кухоньку с одним окном и плитой — она почти не давала огня, зато с удовольствием производила дым, быстро заполнявший квартиру. За оконным пролетом открывался узкий, круглый, глазастый (по два окна на каждом этаже) колодец, внизу была домовая уборная.

На плите стоял медный примус — единственное техническое устройство, которое мама признавала. Впрочем, кухонька, выражаясь современным языком, была весьма продвинутой — с водопроводным краном и раковиной. Раковина действовала исправно (правда, любила засоряться), кран работал только по особым (вероятно, предназначенным для роскоши) дням — обычно я исправно таскал ведра со двора.

Так вот, в новой квартире Осип Соломонович ввел

еженощные развлечения с явным педагогическим налетом. Когда мы укладывались спать (Жеффик вскакивал в мою люлечку и пристраивался в ногах), он спрашивал:

— Что ты сегодня читал, Сережа? Расскажи-ка нам с мамой.

Мне это льстило. Каждый день я проглатывал новый выпуск, а то и целую книгу. Однажды я залпом осилил здоровенный том про сумасшедшего чудака из испанцев, вообразившего себя странствующим рыцарем. В книге был его портрет — худое лицо, не нос, а носище, усы как пики, а на голове медный таз вместо шлема. Чудила Дон-Кихот, так его звали, вляпывался в забавные приключения — нельзя было читать без смеха (и спустя десяток лет я вдруг начинал хохотать, вспоминая, как он дрался с деревянными мельницами, как его отдубасили бродяги, как его выворачивало наизнанку от собственного лекарства). У Дона был оруженосец — тоже штучка с ручкой, некий Санчо Панса, толстяк, то ли бесхитростный дурак, то ли тайный умник. Автор здорово поиздевался над этой парочкой (на каждой странице выдавал им выволочки и встряски), а потом вдруг пожалел. И какие-то они получились хорошие — такие хорошие, что уже невозможно было смеяться над их бедами и жутко злили те, кто подставлял им ножку.

Испанца и его слуги хватило на полный ночной рассказ. Одного выпуска обычно недоставало: Осип Соломонович сонным голосом приказывал: «Еще, Сережа» — и я заводил новую историю, пока оба, отчим и мама, не засыпали.

Вначале я окликал их — нужно было непременно довести до конца страшное дело об убийстве наследника престола или похищении знатной страдающей девушки (не бросать же ее в лапах кровожадных разбойников и вымогателей!). Мама сквозь сон шептала: «Мы слушаем, Сережа, говори, говори!» Вскоре я с удовольствием понял, что совсем не обязательно будить почтенную публику — можно просто притвориться, что она не спит. И я говорил, и меня преданно слушал Жеффик — этот не позволял себе вырубиться посреди захватывающего приключения. Иногда, впрочем, я лукавил — пропускал неударные эпизоды, сворачивал дело побыстрей — и все три моих слушателя ни разу не заметили обмана.

Так продолжалось почти два года: ежедневное пополнение историй и ежевечерний рассказ — не одна сотня книг! Но чем дальше, тем быстрей засыпали отчим с мамой — и я все больше обижался. Себя-то я не усыплял — наоборот, сон испарялся как дым. Я тихонько вставал, зажигал лампу в столовой и читал не дочитанное днем.

Но если мои рассказы маму убаюкивали, то свет, который

подло просачивался сквозь щели, будил. Она выходила, гасила лампу — я протестовал, просил еще полчасика, получал шлепок — на том и заканчивалось. Я возвращался в кровать, молча негодуя на судьбу, не дающую хорошему человеку скромной радости — узнать, чем закончится схватка бандитов с сыщиками. Вскоре я приспособился: услышав ворчание встающей мамы, мигом перелистывал книгу, мигом проглатывал последнюю страницу — наутро можно было не читать, а смаковать приключения (финал-то уже известен!).

В первые годы на Южной я совершил великое открытие: если шрифт не очень мелкий, для чтения вполне хватает лунного света. Теперь я ждал ночи (особенно в полнолуние) с нетерпением, а не с досадой. На большой кровати засыпали — на маленькой начинались часы наслаждений.

Пока луна обходила мое окно слева направо, я читал и читал — без окриков и помех. Правда, комната смотрела на север — надолго луны не хватало. Но ведь и спать надо! Я был доволен и тем, что мне перепадало. Разика два меня ловили: увлеченный книгой, я не успевал ее убрать, когда мама просыпалась. Орудие преступления исчезало у нее под подушкой, а мне выдавались толчок или оплеуха.

Неудачные занятия с Любовью Васильевной полностью прикончили ночные рассказы: чего интересного можно ждать от здоровилы, неспособного осилить учебник для второго класса? И я обрадовался, когда моя учительница решила распрощаться со мной.

— Я честная девушка, Зинаида Сергеевна, — объяснила она, принимая очередную пятирублевку. — Обучать Сережу бесполезно, он школу не осилит. Вы бы похлопотали, чтобы его приняли учеником куда-нибудь в кузницу или слесарную мастерскую. Руки у него проворные, напильник ему подойдет.

Мама несколько вечеров совещалась с отчимом, совещания превращались в споры, отчим сердился, мать не уступала. В доме появилась новая учительница — Ольга Николаевна Соколова.

Худощавая, средних лет, она преподавала немецкий язык — но теперь в школах его не изучали. Германию разбили, на революцию у немцев не хватило смелости, в мире заправляли французы с англичанами — зачем тратить силы на язык страны, явно выходящей в тираж? Ольга Николаевна воспитывала сына, мужа не было — заработок исчерпывался пятирублевками за домашние уроки.

Новой моей учительнице все рассказали честно: ее ученик — дубина, лодырь и неслух. Чего-либо толкового от него не ждать, но подготовить в школу хотелось бы. Если она не справится —

что ж, претензий никто не предъявит, против лома нет приема. Но, может быть, удастся хоть арифметику с географией пройти?

У Ольги Николаевны был свой метод обучения — она сразу взяла быка за рога.

— Сережа, я понимаю: вам трудно, — сказала она. Услышав это «вы», я покраснел от стыда. — Но я объясню, вы только внимательно слушайте. Потом выполните вот это и вот это задание. Уверена: все удастся.

Объяснения я, естественно, не понял — разволновался от неожиданного обращения. А не выполнить домашнего задания просто не мог: она верит, что я справлюсь — как же ее обмануть? Меня даже в жар бросило. Задание было сложнейшее: разделить пятизначное число на трехзначное, выписать все падежи десятка слов, выучить что-то из географии. Ольга Николаевна слушала меня с удивлением: арифметика была без ошибок, грамматика без описок, а географию я не рассказал, а оттарабанил.

— Очень неплохо, Сережа, — оказала она и поставила четверку.

Всего шесть лет оставалось до дня, когда я, самый молодой доцент в Одессе (и, вероятно, один из самых молодых в стране) поднимусь на кафедру, огляжу аудиторию третьекурсников (лишь один студент будет мне ровесником, остальные — на год, на два, на пять старше) и уверенно начну лекцию. И многие удивятся моей молодости, кое-кто возмутится, что сопляки полезли в науку, — но ни один не усомнится в эрудиции юного преподавателя. И на этом коротком пути от малограмотности до учености будет много хулы и хвалы, заслуженных и незаслуженных комплиментов и обвинений, я буду остро стыдиться неудач, меня будут глухо терзать упреки… Впрочем, восхищение стану принимать как должное, только иногда (для успокоения совести) краснея — и от явной незаслуженности, и от заведомого перебора. А мой друг, тоже юный доцент, Оскар Розенблюм с гордостью скажет: «Знаешь, Сергей, мы с тобой заслужили и незаслуженные похвалы». Но не будет во время этого бурного пути минуты, когда бы я радовался успеху так же, как той первой четверке. Ибо она снимала обвинение в тупости, была индульгенцией от греха неспособности, официальным пропуском в мир нормальных людей, способных понимать грамматику с арифметикой.

Я отпраздновал удачу: устроил дикую схватку с Жеффиком, два часа восторженно бегал из конца в конец города по холодным осенним улицам, а вернувшись, яростно вгрызся в домашнее задание. «Только на пятерку!» — приказал я себе. И получил ее!

Ольга Николаевна каждый раз аккуратно, черточками,

отмечала в учебниках нужный материал — «от» и «до». Но, пролетев дистанцию, я мчался дальше. Научившись лукавить в ночных рассказах (иногда я пропускал эпизоды, а то и сочинял свои, стремительней ведущие к развязке), я стал обманывать и на уроках: отвечая, не задерживался на отметке «до», а спокойно барабанил дальше. Потом как бы спохватывался: «Ох, вы этого не задавали, Ольга Николаевна, я сам выучил»… Ольге Николаевне надоели мои хитрости.

— Больше я вам не буду ничего задавать, берите сами, сколько осилите, — сказала она. — Я буду только слушать и поправлять в тетрадках.

Честное слово, я пожалел ее. Теперь я мог осилить столько, что ей пришлось бы слушать ответы и проверять задания часами. Уроки стали затягиваться. Мама, узнав об этом, попеняла: «Нехорошо так эксплуатировать учительницу!»

Ольга Николаевна сама нашла противоядие от моего рвения. Беря тетрадки, она спрашивала: «Трудностей не было, ошибок не наделали, Сережа?» Я уверял: все в порядке — она может не сомневаться. И она, успокоенная, не проверяя, ставила в тетради пятерку — красную или синюю (смотря какой стороной повертывался большой двухцветный карандаш). А затем засыпала под мой ответ по географии, истории или русской литературе.

Разумеется, она старалась этого не показать: низко опускала лицо, опиралась на руку, чтобы я не увидел закрытых глаз, и под мой однотонный бубнеж тихо отдыхала — от быта, женского одиночества, скучных уроков, внимательности и вежливости. Возможно, она понимала: я догадываюсь, что она устала, и мой уверенный, подробный, ясный ответ (он не требовал ни одного вопроса) как раз и предназначен для того, чтобы не нарушать ее отдыха. И, может быть, была мне за это благодарна.

Мои рассказы были свободными и долгими не только потому, что я сочувствовал Ольге Николаевне: учебники покоряли, в них открывалось столько интересного! Каждая страница захватывала больше Ната Пинкертона и Густава Эмара. О потрясающих вещах рассказывали эти книги — и то, что я узнавал, нельзя было просто складывать в голове, этим нужно было делиться. Конечно, у меня имелся Жеффик, но Ольга Николаевна, даже спящая, была лучше.

Я не отчитывался, как приготовил домашнее задание, я рассказывал о том, что со мной произошло, — и волновался, почти восторгался. А когда, повышая голос, намекал Ольге Николаевне, что пора просыпаться (мой рассказ закончен), она вздрагивала и торопливо говорила:

— Вы хорошо выучили урок, Сережа, ставлю пятерку. На

следующий раз возьмите опять сколько сможете.

Умножающиеся в тетрадях пятерки вызвали у мамы нехорошие подозрения. Она откровенно поговорила с учительницей. Не слишком ли Ольга Николаевна добра? Сережа известный лентяй, он только два дела любит — читать книги и бегать по улицам. И странно бегает — это все знают: несется как оголтелый. Потом вдруг остановится и остолбенело смотрит перед собой — а впереди ничего нет. Сколько раз и она, и соседи, и даже Осип Соломонович это видели! Многие сочувствуют: не удался сынок, Зинаида Сергеевна, не огорчайтесь, медицина и пострашнее дурь излечивает — дело времени. Как же может такой несерьезный мальчишка получать пятерки? Он же туповатый! Ольга Николаевна оправдывалась: что вы, Зинаида Сергеевна, Сережа мальчик способный, даже очень способный. И учится хорошо, претензий к нему нет, все, что задано, выполняет — отметки справедливы.

Вечером мама возмущалась:

— Осип, поверь мне, Сережа обманывает учительницу. Чтобы он каждый раз получал пятерки? Да ни в жизнь не поверю! Он же полчаса на стуле не усидит, шило у него в этом месте! Что же это за ученье без усидчивости? Нашел способ — и обманывает на пятерку.

— Сережа обмануть может, — соглашался отчим. — Но в данном случае, Зина, я думаю, он учится без обмана. Может, не на пятерку, а на верную тройку, ну, на снисходительную четверку управляется. Берется мальчик за ум.

— Чтобы браться за ум, надо его иметь, а голова пустая! — отрезала мама. И пригрозила: — Приду на урок, сама послушаю, как отвечаешь.

Я надерзил обоим. Дерзость была единственной защитой.

В обвинениях мамы (они повторялись) правда мешалась с обманом — и, к несчастью, подтверждала обман. Полчаса усидеть на месте действительно было свыше моих сил. К тому же она всего не знала: при ней я только срывался со стула, подзывал Жеффика, гладил его или учил стоять на задних лапках. Или говорил: «Я в уборную» — и выбегал на улицу. Но если меня никто не видел, я вскакивал с диким индейским кличем, катался по полу, хохотал и визжал.

Но была и другая правда — и мама не считала ее важной, даже если знала. С криком «Хватит!» я внезапно прекращал бешеную возню, садился на книгу — и целых полчаса больше не было иного мира, кроме того, что разворачивался на страницах учебников. За пятерки я не отвечал — это было дело Ольги Николаевны. Но и обмана не было!

Мамины обвинения добром не кончались. Лишь присутствие Осипа Соломоновича смиряло мать, скорую на поучения и расправы, и лишь оно заставляло меня укорачивать свой несносный, длинный и несдержанный язык.

Занятия с Ольгой Николаевной продолжались. Мама ни разу не пришла послушать мои ответы — думаю, боялась дикой истерики, которую я неизбежно закатил бы после ухода учительницы.

Однажды Ольга Николаевна поинтересовалась, что я читаю. Книги были хорошие (во всяком случае — я так считал). Как раз в это время я прикончил Луи Буссенара — роман о мальчишке чуть постарше меня, сорвиголове, который творил чудеса на войне в Африке, и перешел к другому, еще более увлекательному чтению — «Пожирателям огня» Луи Жаколио. Какая книга будет следующей — понятия не имею. Почему бы мне не записаться в детскую библиотеку? — поинтересовалась Ольга Николаевна. У нее там подруга, Александра Марковна, чудесный человек, ее все детишки любят — хорошо бы и мне пойти к ней.

— Я сегодня же расскажу ей о вас, Сережа, — сказала Ольга Николаевна. — А завтра смело идите в библиотеку.

В библиотеку я пошел, но отнюдь не смело. Меня одолевала робость, страшило просторное здание в Книжном переулке (уже само название внушало благоговение) — он был странно тихим по сравнению с громыхающим и вопящим рядом Привозом. Высокие, полуциркульные окна читальных залов свидетельствовали: за ними хранятся миллионы книг (меньше чем на миллионы, я, естественно, не мог согласиться).

Детское отделение библиотеки начиналось с парадного хода, он вел в гардероб. Из гардероба выходили в абонемент. В абонементе меня встретила Александра Марковна. Пятьдесят семь лет прошло с того радостного дня, когда я впервые увидел эту женщину. Ее, несомненно, уже давно нет на свете, а она все стоит перед моими глазами — низенькая, довольно полная, чуть сутуловатая, очень подвижная и очень серьезная. Она, наверное, умела и улыбаться, но я не помню ее улыбки. Зато она была проницательна и добра.

— Что ты будешь читать, мальчик? — спросила она. — Назови своих любимых писателей.

Говорить об авторах Натов Пинкертонов с Никами Картерами и мадридских (а равно парижских с берлинскими) тайн в строгом здании библиотеки было не совсем удобно. Но у меня имелся набор любимцев другого сорта — и я огласил его: Жюль Берн, Майн Рид, Фенимор Купер, Густав Эмар, Луи Жаколио…

— Книги хорошие, — одобрила она. — Сейчас подберу тебе

парочку. Когда прочтешь, принеси.

Я принес их на другой день. Она удивилась: так быстро? А запомнил? При быстром чтении многое пропускаешь… Этого она могла бы и не говорить: книги, даже наспех, единым духом проглоченные, я запоминал в мелких деталях — и на годы. Александра Марковна расспросила меня — и осталась довольна.

— Сегодня дам тебе три книги — две твоих любимых писателей, а третью я подобрала сама — «Оливер Твист» английского автора Диккенса. Может, тебе понравится.

«Оливер Твист» мне не просто понравился — он меня захватил, взволновал, очаровал. Пришлось задержаться на пару дней: быстро закончив роман, я тут же начал его перечитывать. Говорят, второй раз читают медленней — у меня выходило наоборот: при повторе я многое пропускал, зато смаковал выигрышные эпизоды. И запоминал их как в знаменитой рекламе пива: если и не навсегда, то на первые сто лет.

Однажды Александра Марковна спросила:

— Ты любишь читать пьесы? У меня есть хорошие.

Пьесы я любил смотреть. После безработицы отчим определился не в типографию, а в профсоюз журналистов. У него стали появляться билеты в оперу и драму. Вначале он ходил с мамой, потом передоверил посещение театров мне. До того, как эта моя служба превратилась в наслаждение, остались год или два. Но многие пьесы и либретто я уже знал почти наизусть. Как их можно читать? Это делают только суфлеры! Пьесы надо смотреть.

— Ты все-таки возьми этот томик Мольера. Переводы прозаические, не в стихах — тебе будет легче.

Мольер был великий шутник, это я понял сразу. Нельзя было не хохотать, читая о проделках Скапена и лукавстве Сганареля (тоже парень жох!). Я попросил еще — и получил Шекспира. Александра Марковна не забыла и о Майн Риде, и об Эмаре, и о Буссенаре, и о Рони старшем, но, когда я отказался от приключенческих романов, одобрительно кивнула.

— Я так и думала, — сказала она, — что ты скоро перерастешь своих старых любимцев, потому что появится новая любовь.

Новая любовь появилась не сама собой — ее привили. Александра Марковна не только подбирала книги — она устраивала их обсуждения. Раз в неделю самые активные читатели приходили в читальный зал и рассказывали, что понравилось, что — нет. Дневные разговоры с Жеффиком и ночные пересказы, как выяснилось, были неплохой школой ораторского искусства. «У тебя хорошо подвешен язык», — не раз

говорили мне впоследствии. «А у тебя, Сережа, хороший язык — грамотный и точный», — заметила как-то Александра Марковна. Я стал одним из лидеров читательского клуба. В конце каждой нашей встречи Александра Марковна предлагала новые книги — она рассказывала о них достаточно подробно, чтобы заинтересовать, и не слишком детально, чтобы не оттолкнуть: «Я это уже слышал — зачем читать?».

Мы ходили в наш клуб не просто с охотой — с радостью. Но вскоре мне пришлось расстаться с детской библиотекой.

— Ты перерос нас, Сережа, — грустно заметила Александра Марковна. — У нас нет того, что тебе нужно. Здесь очень небольшой фонд — мы такая маленькая библиотека! Я уже давно подбираю для тебя книги во взрослом отделении. Они согласны тебя принять, хотя тебе только четырнадцать, а у них записывают с шестнадцати.

И еще она сказала, что поражена, как быстро я перешел от развлекательного чтения к серьезной литературе и что у меня очень сильная память — это и хорошо, и плохо. Хорошо, ибо прочитанное остается надолго, плохо, потому что я запоминаю и гениальное, и посредственное, даже дрянное, — значит, мне нельзя читать плохие книги, только великие. И что такого выдающегося читателя они, детская библиотека, не могут отпустить просто так — они торжественно проводят меня на ближайшем обсуждении.

Проводы и впрямь были торжественны. Какая-то девочка произнесла обо мне речь: книги я читаю быстро, страниц не вырываю и не пачкаю. Кто-то из мальчиков пожелал одолеть весь взрослый фонд (что-то около двухсот тысяч томов, как я потом узнал). Александра Марковна объявила, что детская библиотека нескоро забудет самого активного своего читателя — и можно только пожалеть, что их дружба была такой недолгой. Она, Александра Марковна, надеется: я буду появляться на книжных обсуждениях. Мне вручили — естественно, под аплодисменты — письменную благодарность за активное читательство и пространное, с характеристикой, ходатайство о зачислении во взрослую библиотеку № 1, находящуюся в Книжном переулке города Одессы.

Связь с лучшей библиотекой моей жизни была напрочь обрублена.

Взрослое книгохранилище меня разочаровало. Мои выдающиеся читательские способности никого не заинтересовали. Худая библиотекарша средних лет с кислым видом прочитала торжественное ходатайство, с сомнением меня оглядела и без энтузиазма поинтересовалась, чего я хочу. Я

промямлил: надеюсь на ее советы, не скажет ли она сама, что мне взять. Нет, этого она не скажет — это скажет только каталог, вон те ящики. Можно выбрать две книги и держать их не больше двух недель, за просрочку — замечание, при повторной задержке — отчисление. Вот вам, мальчик, бумага — идите к каталогу и выписывайте нужную литературу.

Растерянный, я уныло уселся перед ящиками. Загвоздка была в том, что я и понятия не имел, какие книги мне нужны. В детской библиотеке каталогом была Александра Марковна, она безошибочно устанавливала, кому что брать. А здесь стоял сумрачный шкаф, его наполняли ящики, в каждом толпились безликие карточки — они олицетворяли неведомые произведения. Я искал хорошие романы и повести, а мне предлагали нечто, именуемое «нужной литературой»!

Я вступил в безнадежную борьбу со шкафом — и сотни тысяч бесстрастных картонок сразили меня. Бессильный и устрашенный, я отступил. Для многих рыться в каталогах — наслаждение. Могу только позавидовать. Для меня он — орудие пытки. Детский страх оказался таким сильным, что я и дома никогда не заводил реестра своих книг, хотя друзья (и особенно — теща) не раз предлагали свои бескорыстные услуги.

— Ты долго копаешься в ящиках, мальчик, — сказала библиотекарша. Она была женщина решительная и аккуратная, задумчивые люди казались ей крайне несообразительными: о чем еще думать, когда на карточке все написано? — Покажи листок заказа.

Я протянул ей бумажку и удрал домой с двумя книгами — «Историей цивилизации в Англии» Бокля и толстенным томом Данилевского (он выступал против дарвинизма). Обе они были написаны легко. Каждая страница Бокля открывала что-то новое — это нельзя было читать равнодушно. А Данилевский восхитительно (не хуже, чем отважный Дон-Кихот на деревянные мельницы) нападал на какого-то неведомого мне Дарвина и все метал и метал в него остроумные и язвительные копья. Порой мне было жалко тысячекратно уничтоженного незнакомца — автор, видимо, забывал, что уже втоптал противника в землю и, поднимая его, вдруг возмущался, что он еще живой, и снова валил наземь — и топтал, топтал… И опять поднимал — чтобы снова валить. Много позже я где-то прочитал, что Лев Толстой с великим сочувствием относился к труду Данилевского и надеялся, что с Дарвиным наконец будет покончено. Для меня же английского естествоиспытателя изначально не существовало — во всяком случае, пока я не взял в библиотеке «Происхождение видов».

Сдав обе книги, я наугад вытащил каталожную карточку — попался Платон. В тот день я унес домой том первый, в защиту Сократа на суде, затем — остальные.

Для Жеффика настали черные времена. Его хозяин не только не высовывал носа на улицу (это уже бывало, в голодные и военные годы жизнь часто ограничивалась четырьмя стенами), но и забыл о схватках — разве что восторг становился уж слишком непереносимым и нужно было выпустить пар. Мама встревожилась: что ты заперся в квартире? То в учебники уткнешься, то от толстенного тома не оторвать. Она сердилась, что я читаю даже за едой — удивительно, что попадаю ложкой в рот. Она начала отбирать книги — стало хуже: я перестал чинно жевать и глотал еду так стремительно, что запротестовал отчим. Пусть Сережа читает и за супом, и за вторым — мы хоть не будем бояться, что он подавится.

Когда, уже в школе, я стал писать стихи — я вспомнил зиму и весну 1924/1925 годов:

Что ни день, то новое слово.
Жизнь кипит. Где былая лень?
Если днем не узналось что новое,
Я считал небывшим тот день.

В эти месяцы великих открытий я узнал еще кое-что — как рождаются дети. В том, каким способом взрослые любят друг друга, тайны не было — слишком уж явно совершалась эта любовь. К тому же родители в своей взрослости забывали, что дети артистически подглядывают и подслушивают. Но что именно этот низменный способ выбран для создания новых людей, я и подозревать не мог! Возмущение мое не знало границ.

— Ты был очень наивным, Сережа, — говорила мне потом мать, — мы с Осипом Соломоновичем часто удивлялись: как можно настолько не понимать самых простых вещей? Он хотел раскрыть тебе глаза, я не дала: сам узнаешь, когда придет время.

Зачастую глаза раскрываются не в самой парадной обстановке.

Тайну создания людей я узнал на пустыре Разумовской улицы, в квартале от нашего дома. Еще недавно здесь стояло двухэтажное здание — в голодный год жильцы растащили его внутренности на дрова. Затем кто-то умер, кто-то убрался восвояси, стены обрушились — руины затянули лебеда и бурьян. Вечерами в кустах собирались мальчишки, обсуждали дворовые новости, договаривались о драках с соседними домами и рассказывали страшилки. В дни редких теперь выбегов на улицу

сюда забредали и мы с Жеффиком.

Однажды от меня потребовали что-нибудь рассказать. Я вспомнил какую-то гофманиану. Показалось мало. На второе я выбрал эпизод из «Тайн Берлинского двора». Приятели кронпринца усыпили молодую графиню (естественно, очень красивую и очень добродетельную — в подобных книгах добродетель всегда корреспондирует красоте, а не уродству) и привезли ее, спящую, сыну кайзера. Он не сделал ей ничего плохого — только вложил между пальцами ног любовную записку (вот будет красавица поражена, когда проснется в своей кровати и обнаружит неведомо как попавшее к ней письмо!).

Рассказ раскритиковали.

— Кронпринц — дурак, — заявил кто-то. — Ему нужно было ту графиню трахнуть, а не разбрасываться записками. Красавицу ему привезли, а он расписывается на ногах!

Что означает глагол «трахнуть», я, конечно, знал.

— Не мог он ее трахать, — высказался другой. — От этого родился бы мальчишка и стал наследником. Сын какой-то случайной графини! Кронпринцу тогда так досталось бы от папаши кайзера, что будь здоров!

Мне пришлось вмешаться. Кронпринц был, естественно, распутник и повеса, наследники престолов вообще ребята не дай и не приведи, жуткие штучки вытворяют в своих непрерывных попойках. Но с чего бы графине рожать, даже если он что и сделал? Дети появляются от поцелуев, а кронпринц и не думал ее целовать.

Все расхохотались — мои слушатели наивность утратили гораздо раньше. Они популярно разъяснили, отчего рождаются дети. Я не поддался.

— Это ты родился так, а я — от поцелуев, — сердито закричал я на самого заядлого оппонента.

Он обиделся: я выбрал себе возвышенный способ, а ему оставил низменный. Оскорбление требовало удовлетворения. Мы покатились по камням — спор о рождении шел насмерть! Ребята по-настоящему испугались и стали нас разнимать. Когда мы наконец поднялись, у меня из носа текла кровь, у него припух глаз. Пообещав друг другу завтра разобраться окончательно, мы разошлись по домам.

Мама ужаснулась, увидев окровавленную и разорванную рубаху. Наказание в этих случаях было одно — немедленная лупцовка. Я знал, что заслужил ее, и готовился терпеть. Но — справедливости ради — все-таки рассказал, против каких гнусных инсинуаций выступил. И произошло неожиданное.

Мама смыла с моего лица кровь, вынула из комода свежую

рубашку и не то что не наказала — вообще промолчала. Истина была очевидна и ужасна: людей создают гнусным способом! Я дрался напрасно.

Будет время — и я переменю свое мнение. Способ, показавшийся мне обидно низменным, станет возвышенно прекрасным. И я удивлюсь изощренной изобретательности природы, придумавшей это таинство. И буду пылко жаждать сопричастности ему. А тем, кто станет уверять, что истинная доблесть мужчины, воителя и губителя, — в уничтожении врага, и именно за это его любят женщины, стану отвечать с вызовом и презрением:

— Что до меня, то предпочитаю активно участвовать в создании людей, а не в их уничтожении. И, по-моему, это вовсе не мешает женщинам меня любить!

Но я снова отвлекся. В марте 1925 года Ольга Николаевна объявила, что предварительное обучение закончено. Она договорилась с Любовью Григорьевной, заведующей семилетней школой № 24: меня примут в пятый класс.

Детство кончилось. Подростком я вступал в новую жизнь.

Комарово, 14 февраля — 12 марта 1981 года

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Подросток

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Семилетняя школа № 24

1

Жить становилось все трудней. Мама пошла на меня жестокой войной. Она твердо установила, что я валюсь в пропасть.

Она объявила (при Осипе Соломоновиче), что с того дня, как я поступил в школу, нормально общаться со мной стало невозможно. Я и раньше — чуть ли не с первых слов, так она утверждала — был озорником и неслухом. И к тому же обманщиком. Перед посторонними выкомуривался: паинька, умница, всегда послушный, — а реально, в жизни? Только она знает, сколько пришлось со мной перетерпеть! Лишь недолгая моя учительница Любовь Васильевна проникла в мою суть. Она утверждала прямо: я лентяй, тупица, неспособен выучить самые простые задания, могу лишь отлынивать от занятий и разбойничать на улице вместе с такими же обормотами, как сам. Разве не правда то, что обо мне говорят соседи? Разве хороший человек, председатель домкома Исаак Китовский, не жалуется на каждом домовом собрании, что мой выход из квартиры равнозначен землетрясению — прыгаю через три ступеньки, расшатанная железная лестница гремит на всю улицу, как пустая бочка, даже стены трясутся, даже земля содрогается.

Добрый отчим робко попытался меня защитить:

— Выбегает он во двор безобразно, кто же спорит. Но, между прочим, Ольга Николаевна считала, что у него больше способности.

— Обманывал! — категорически установила мама. — На всей нашей улице нет такого обманщика, как Сергей. Он иногда так ловко притворяется, что даже я начинаю верить в его исправление. Пять-шесть дней — почти ангел, а потом такое начинается, что хоть святых из дому выноси.

— И вынесешь, — хладнокровно заметил я. — Ненавижу твоих святых. Сто раз уже говорил, что я теперь пионер, мне нельзя жить в одной комнате с иконами. Если не уберешь свое старорежимное суеверие, я однажды поломаю их и сожгу в печке.

— Слышишь, Ося? — возмутилась мама. — Вот он теперь какой — в школе от разных бандитов нахватался. Иду из киоска домой — и сердце схватывает: вдруг и вправду повытаскивал иконы? Меня той Богородицей мама на свадьбу с Сашей благословила, а Христос на складне еще от дедушки Антона, из Орла привезли. Он ради своего паршивого отряда красных босяков на иконы руку поднимает — а я ведь его пионерский галстук каждый день глажу! Как это терпеть?

— Пока руки не поднял, еще можешь потерпеть, — издевательски успокоил я маму. — Я же не запрещаю тебе молиться на эти отрыжки проклятого прошлого. Чурки с глазами, а не боги!

— Побезобразничай мне еще — я тебе ремнем напомню, что и твоя мать, и твоя бабушка, и твой дедушка, и наш Осип Соломонович — мы все вышли из того прошлого, и нечего нас убеждать, что оно проклятое! — мама явно перешла к угрозам.

Я замолчал. Нужно было во что бы то ни стало сдерживаться. Она охотно хваталась за ремень и умело им орудовала — правда, обычно не при отчиме. Но я чувствовал, что когда-нибудь она нарушит этот завет — сдерживаться при муже.

А мама продолжала напластывать обвинения. Как она радовалась, когда этого обманщика наконец определили в школу! Какие были надежды! Утром — надзор добрых учителей, днем — хороший отдых дома, игры без драк и крика, вечером — повторение уроков, выполнение заданий и крепкий сон без книг, которые он вытаскивает из-под подушки, чтобы читать при луне. Разве не так живут хорошие ученики? А что на деле? Еще хуже, чем до школы! Тогда он хоть над учебниками сидел. Сейчас — примчится, наскоро проглотит, что приготовлено, — и мигом на улицу. Даже с собакой перестал возиться. И допоздна его нет. Где он? Куда подевался? Час ночи, второй, третий — стучится наконец, только тогда и засыпаешь. И врет, что торчал на пионерском сборе, по-мирному гулял с товарищами. Где это видано — собрания за полночь? Разве хорошие школьники таскаются по ночам? Обман, всегда обман! Соседи говорят, видели его с девочками в нашем иллюзионе. Вот его ночные пионерские занятия — шляться с разными потаскушками по темным улицам. И ведь всего четырнадцать! Что же потом будет? Растет неуч неучем, а мы это терпим, Ося! Ты ведь на меня раньше сердился, что не забочусь о нем, не отдаю в школу. Позаботилась, отдала — а результат? С ужасом думаю: сдружится с молдаванскими босяками, совсем забросит учебу. Кино, гулянки, нехорошие девки, рвань и пьянь — так и до воровства недолго. Голова сохнет — что делать?

Горестная речь мамы явно впечатлила Осипа Соломоновича. Он помрачнел и задумался. Я молчал — и кипел. Я остро (и впервые, пожалуй, с такой силой) ощутил, что не могу убедительно оправдаться. Ибо в маминых обвинениях все было сущей правдой — и возмутительной ложью. Да, все верно: пионерские сборы по вечерам, прогулки с товарищами, походы в кино с девочками, позднее, после полуночи, возвращение домой — даже то, что я больше не выполнял домашние задания. Но все было совершенно иначе! Я ничего не мог опровергнуть — мне оставалось только удивляться, что белое безнадежно чернеет даже при правдивом описании. Впоследствии я не раз убеждался, что видимость трагично отличается от сущности. Тогда, в Одессе, я еще не знал, что миром правят не истины, а иллюзии, — потому что сам был непобедимо ими опутан. Отчим, кажется, нашел удачный ход.

— Зиночка, ты бы сходила в школу и узнала, как он занимается. Мне неудобно — я не отец. Подумают, что придираюсь к пасынку. А матери все расскажут честно.

Вечерний разговор после возвращения мамы из школы вызвал во мне схлест яростного протеста против лжи и горького признания унизительной правды.

— Говорила с самой заведующей — Любовью Григорьевной, она еще в их группе математике учит, — сказала мама. — И знаешь, что я тебе скажу, Ося? Сережка не только нас, но и всех учителей обманывает. И как обманывает! Я ей честно все рассказала: уроков не учит, все вечера пропадает с девочками, а нам врет, что был на пионерских сборах, домой является ночью. Терпежу с ним нет — растет мальчик неучем и босяком. А она мне: совсем наоборот! Что вы, Зинаида Сергеевна, вам нельзя так говорить о сыне. Он первый ученик в школе, это все учителя признают, одна только геометрия не очень идет, но ниже «хорошо» он не опускается. А что не готовит домашние задания, так теперь этого и не надо: у нас передовой Дальтон-план,[17] все учат только на уроках. И пионерские сборы бывают допоздна — а как иначе? Ребята готовятся к мировой революции (такая перед ними поставлена цель) — как тут без долгих собраний и горячих прений? Они говорят о помощи нашим угнетенным друзьям на Западе и на Востоке и готовы жизни отдать за освобождение истекающих кровью братьев! И девочек вы напрасно обижаете. Они у нас хорошие и воспитанные, отстающих нет, а если дружат с мальчиками — так что плохого? Вожатые из райкома комсомола учат, что они должны быть товарищами всему мировому пролетариату — неужели нам в собственной школе запрещать общаться с тем, кто сидит рядом? А какие широкие интересы у

вашего сына, Зинаида Сергеевна, какие удивительные книги он читает! Недавно принес в группу Платона и Канта — и читал их, пока учитель физики Сергей Владиславович не пришел (он опаздывал). Тут я не выдержала, Ося. Книг он читает много, пачками таскает из библиотеки, а что толку? Не по уму берет, верхогляд, спроси его, что читал, — про сыщиков и воров, про императоров и полководцев сразу начнет разливаться, а про тех самых Платона с Кантом только отмахнется — не вашего ума дело. А почему? Форс напустить — мастак, а копнешь серьезней — отворачивай, пойдем в объезд.

— Не вышло у нас согласия, — закончила мама. — Я ей свое, она мне свое. До ворот провожала — все уговаривала, что Сережа хороший, лучше не надо. Пожила бы с этим хорошим, поглядела бы, как выпендривается над борщом, как отскакивает от куска сыра, будто ему отраву предлагают, и от сливочного масла, и от сметаны, и от яиц всмятку… Подавай ему черного хлеба с салом или чайной колбасой! Всех нас посадил на сухой паек из-за своих капризов — такой хороший.

Отчим верил в меня больше мамы, неудачный разговор с суховатой Любовью Григорьевной его скорей порадовал, чем огорчил. Я молчал.

Самым обидным было то, что мама сознательно и безошибочно била по моим больным местам — и я не мог защищаться, ибо понимал, как глубоки мои недостатки, и стыдился себя. Да, Любовь Григорьевна не лгала: я достал в библиотеке две большие книги — древнего грека Платона и немца Канта — и носил их с собой в школу, чтобы почитать в свободную минутку. Но минутки все не было — и получилось, что я таскаю эти фолианты, только чтобы показывать их и хвастаться: мол, смотрите, что я знаю! Форс, нахальный форс. Даже еще хуже: я пижонил, когда их читал.

Ну, с Платоном было еще так-сяк: несколько ученых типов из Петрограда и Ленинграда, некий В. Соловьев, потом С. Жебелев с Э. Радловым и другие чудаки перевели на русский с десяток веселых и умных книг, где описывается, как лукавый старик Сократ, здорово похожий на толстого одноглазого Заглобу (его придумал поляк Сенкевич), только поумней, высмеивает, припирает к стене и переубеждает разных древних греков, которые кичатся своим положением и начитанностью. Нельзя было не смеяться, когда Сократ выводил на чистую воду прохиндеев. В общем, книги интересные и легкие — такие даже дурак осилит, хотя в некоторых были прямые неприличности. Например, один мужик лез с телесной любовью к другому — у нас его мигом оформили бы в тюрьму, а грекам это сходило с рук.

Их древние нравы были совсем развращены! Пересказывать Платоновы книги несложно — если, конечно, не лезть в заумности (их тоже хватало).

Куда хуже было с немцем Кантом. Он тоже написал кучу томов, но в библиотеке дали одну «Критику чистого разума». От этой критики не грех было и в отчаяние прийти: она могла каждому доказать, что он дурак. Слова-то в большинстве своем понятные, а сложишь из них предложение — и теряешься: о чем речь? Прочитав десяток страниц, до того обалдеваешь, что способен смотреть на солнце без закопченных очков, какие надевают во время солнечных затмений. И вообще — зачем критиковать разум, если он и без того чистый? В наше героическое время нужно избавляться от всякой грязи в голове, от суеверной веры в богов и чертей, от эксплуататорских предрассудков, от угнетения бедного народа. Но ничего этого в критике Канта и в помине нет — зато полно рассуждений, неясных не только чистому, но и мутному разуму. Точь-в-точь как говорит сосед Сухомлинов в те случайные дни, когда он трезвый: «Без стаканчика это не разобрать».

Книги этого Канта можно только перелистывать, но не перечитывать. И критика у него какая-то сомнительная — он по каждому поводу впадает в растерянность и сам себе не верит. Так, на одной странице, где-то в середине книги, он убедительно доказывает, что мир имеет начало, а на другой, рядом, утверждает (и тоже убедительно), что нет у него начала во времени и конца в пространстве. И еще объясняет, что этот самый мир состоит из частей и у всего есть причины для существования, а одновременно — никаких частей и в помине нет, и все беспричинно. Всего таких начисто отвергаемых утверждений Кант разыскал четыре и теперь важно именует их антиномиями, хотя среди ребят такие штуковины называются поточней и попроще — антимониями. А в предисловии какой-то похожий на Канта шмуряк важно возвестил, что этот сомнительный немец — величайший мировой философ и его не понимают только форменные дебилы и затаившиеся недотепы. Именно после того, как я одолел эту вызывающую шмурякову писанину, стало очевидно, что я недотепа и дебил. Мама сказала, что ее сын — верхогляд. Это, конечно, не так тяжко, но тоже не мед. И нельзя ни спорить, ни отругиваться — сам знаю: такое чтение больше чем на верхоглядство не тянет.

Вечный спорщик, я так и не полез в перепалку. С тех пор прошла уйма лет, чего только я ни слышал о себе: меня ругали. и хвалили, осуждали и даже превозносили. Но ругань не усугубляла моего внутреннего сомнения, похвалы его не опровергали. Про

себя, в себе, для себя я постоянно ощущал, что верхоглядствую, — такая бездна неизведанного была вокруг, так горько было сознавать, что многого я не знаю, так обидно было понимание, что до настоящей глубины я ни в чем не добрался. Мама вынесла окончательный вердикт:

— Бегать за тобой и выискивать, с какими девками шляешься, не буду. Но и денег на кино каждый день не жди, хоть разорвись. И возвращаться позже двенадцати запрещаю. Ровно в полночь накидываю цепочку на дверь — ночуй на лестнице.

— Буду ночевать на лестнице, на дворе, на улице — но возвращаться стану, когда мне нужно, а не когда ты приказываешь! — в тот вечер это была моя единственная реплика.

Глухо тлевшая война перешла в открытую фазу. День, когда вспыхнули прямые военные действия, был во всех отношениях неудачным.

Вечером секретари наших четырех пионерских отрядов не назначили походов за город, не было даже обычных сборов на школьном дворе: шел дождь, никто не захотел мокнуть. Фиру Володарскую, привычную мою киноспутницу, припахали дома, а пригласить другую девочку я не мог — Фира бы этого не простила. Тратить на самого себя двадцать копеек, единственный капитал, не хотелось: завтра Володарская наверняка захочет в кино, а денег уже не будет. Обстоятельства складывались так трагически, что я был совершенно свободен уже в восемь вечера, а домой (из принципа!) нужно было возвращаться только после двенадцати.

Будь погода получше, все бы обошлось: я сходил бы на море или просто посидел на Приморском бульваре (иногда здесь допоздна играли военные оркестры). Можно было посмотреть сверху на порт — он уже не был тих и темен, как в гражданскую, сверкали огни, гудели пароходы, грохотали краны, тяжело ухали перегружаемые тюки. А так пришлось бегать под дождем из парадного в парадное: долго укрываться в одном месте было нехорошо — жильцы могли подумать, что я не прохожий, а злоумышленник.

На нашей Молдаванке (на всем ее протяжении!) уличных часов не водилось — так что с определением времени вышли трудности. Я вернулся домой лишь тогда, когда с улиц совсем исчезли прохожие и приутих собачий перелай. Очень осторожно — чтобы ни одна ступенька не звякнула — поднялся на третий этаж и прикорнул у двери. Из квартиры слышались неясные звуки — мама, похоже, ссорилась с отчимом, он ей что-то сердито внушал, она не то оправдывалась, не то огрызалась. Я ничего не разобрал и уткнулся носом в воротник куртки — ночь была не

только сырой, но и холодной.

Утром мама с Осипом Соломоновичем прошли мимо меня. Он угрюмо глянул и промолчал, она спокойно сказала:

— Завтрак на плите, деньги на перекус на столе. Жеффика я хорошо покормила.

Я прошел в комнату. На столе лежала двадцатикопеечная монетка, рядом — хлеб. На плите томился кофейничек с какао. Жеффик махал хвостом и выгибал спину: еще не было случая, чтобы я не ночевал дома — важный повод радоваться возвращению! В духовке я нашел тарелку с перловой кашей, заправленной свиными шкварками. Я выставил завтрак на стол и задумался. За еду хвататься не стоило — положение было сложное. Вскоре план боевых действий определился.

Я начал его осуществление с того, что поставил тарелку на пол и приказал Жеффику вылизать ее до блеска. Он радостно согласился.

Давно прошли времена, когда тысячекратно воспетая беспризорниками и смертно надоевшая ячкаша была чуть ли не единственной едой — после прихода американских пароходов в продаже начал появляться даже рис. Перловку я терпел — к тому же со свиными шкварками она была почти вкусной. Однако нужно было отомстить за издевательства — и лучшей местью была голодовка. Однажды, во время великого голода, испугавшись, мама, наверное, продолжала бояться, что я недоедаю, и, в конце концов прощая мне любые выбрыки, не могла ни стерпеть, ни простить, ни просто примириться с моим отказом от еды. К тому же она знала, что никогда и ни при каких условиях, даже под страхом самой жестокой кары, нигде и ни у кого я не возьму в рот ничего вареного, печеного или жареного — если варила, пекла или жарила не она. Я ел только то, что было приготовлено ею (и при этом — далеко не все ел).

Так что она не случайно предупредила, что хорошо накормила Жеффика, — предполагала, о чем я подумаю в первую очередь.

Чисто вылизанная тарелка подсказала мне иной способ борьбы.

— Отлично сработано, Жеффик! — воскликнул я. — Теперь я отнесу ее в шкафчик, где чистая посуда. Мама подумает, что я ее вымыл, и положит в нее свою еду.

Начало было положено — теперь предстояло подумать об остальном. Я вдыхал одурманивающий запах, который шел из кофейника, и все не мог решиться наполнить чашку. Я очень любил какао. Я мог выпить его сколько угодно — а потом попросить еще. Отказ от него смотрелся бы очень эффектно!

Увидев, что я пренебрег какао, мама, конечно, не подаст виду — но я знал: она ужаснется. И окончательно поймет, что меня не сломить, что я готов на самые страшные лишения, но независимости своей не отдам. Но я так и не решился на этот крайний шаг. Войну можно вести и не отказываясь от какао… Я выпил весь кофейник — две полные кружки коричневого варева, ароматного, горячего, с вкуснейшей толстой пенкой. И съел весь хлеб, лежавший на столе. Ибо, согласно наспех выработанному плану, сейчас наедался на весь оставшийся день. А может, и на дольше — если хватит мужества отказаться от завтрака.

Двадцать копеек я забрал — эта монетка была моим боевым трофеем. Деньги предназначались на холодный перекус — чтобы я, придя из школы, мог что-нибудь перехватить (в нашей семье плотно ели только вечером — мать возвращалась из киоска раньше отчима и хлопотала у плиты, пока он не появлялся). Этот самый перекус был моей привилегией — я добился его после долгих споров. На углу Колонтаевской и Южной, всего в квартале от нашего дома, в крохотной комнатушке торговала лавчонка — один торговец, один прилавок, один сорт колбасы: сочная, свежая, толстая — чайная. От нее шел такой запах! Казалось, им одним можно наесться. За двенадцать копеек я покупал четверть фунта колбасы, добавлял одну полусдобную белую сайку (за пятак), наливал в чашку воды из крана — и пировал. Оставшиеся три копейки шли на изыски — стакан зельдерской с сиропом или три стакана чистой (ее еще не переименовали в газированную).

В тот день я решил отказаться от колбасно-саечного пайка и присоединил новую монетку к полученной накануне. Капитал обеспечивал независимость. Я понимал: без финансового обеспечения война с мамой обречена на позорное поражение. Я мог экономить на еде — это требовало элементарного мужества и небольшой стойкости. Но не идти в кино было выше моих сил! Я не мог представить, как переживу тот момент, когда Фира Володарская скажет, что на Мясоедовской или на Колонтаевской идет новый и, конечно, выдающийся американский боевик вроде «Синдбада» или «Акул Нью-Йорка» — и я признаюсь, отводя глаза, что у меня нет денег на билеты (пока еще детские). Позора я не боялся — она меня, разумеется, не упрекнет, но могло случиться кое-что похуже: вдруг она решит заплатить за нас обоих? Ради кинобоевика она может рискнуть на такой выпад — а мне потом куда подеваться? Никакой девчонке, даже Фире Володарской, я не мог позволить платить за себя.

С деньгами, однако, все обстояло отлично — и даже лучше. Недавно у меня появился новый способ обогащения — нужно было только проявить коммерческую сметку. От сотворения

Одессы и до последнего месяца в нашем районе Молдаванки было керосиновое освещение. Недавно появились электрические лампочки — но только в уличных фонарях (они сменили вольтовые угольные дуги). Даже в «городе», в больших магазинах, пронзительно сияли газовые трубки — конечно, когда подавался газ.

В газетах уже расписывали «лампочки Ильича», которые должны были превратить чадный квартирный полусумрак в роскошный светопожар нью-йоркского Бродвея. На электростанции восстанавливали старые дореволюционные котлы и монтировали купленные в Германии турбины. В «городе» спешно чинили электросети, у нас, за городской чертой, укладывали кабели, ставили новые уличные столбы. День, когда во всех квартирах Одессы вспыхнул яркий свет, стал праздником — разруха закончилась, началось невиданное благоденствие. Во всяком случае, так приняли приход электричества на Молдаванке. «Великая победа Советской власти! Грандиозный успех в борьбе за грядущую мировую пролетарскую революцию!» — писали во всех газетах, провозглашали на комсомольских собраниях и пионерских сборах.

Новый производственно-революционный успех немедленно породил новые житейские трудности.

Электричество сияло только в стеклянных лампочках. Раньше, в старых запасах, они еще попадались — дореволюционные, немецкой фирмы «Осрам». Сейчас появились свои, советские. Но их, как, впрочем, и прочих отечественных товаров, трагически не хватало. Уже тогда — и еще долгие десятилетия после — правил бал основной закон советской экономики, так блестяще (хотя, возможно, нечаянно) сформулированный А. Микояном на XX съезде КПСС: наша потребность в товарах растет быстрей, чем умножается товарное производство. А значит, чем богаче и культурнее мы будем становиться, тем больше нам будет не хватать необходимых вещей. И вечная эта нехватка убедительно свидетельствует о росте нашего благосостояния и нашем великом преимуществе перед капитализмом, задыхающимся от переизбытка товаров. Примерно так вещал с трибуны глубочайший философ социалистической экономики…

С электролампочками, впрочем, получилось не совсем по Анастасу Ивановичу. Новые были, естественно, в дефиците, но еще больше ценились осрамовские — особенно перегоревшие. Новое — оно и есть новое, это (в идеале) всегда шаг вперед по сравнению со старым. Теперь проволочки, впаянные в цоколь, делались из особого металлического сплава — он не терял

плотного сцепления со стеклом при высокой температуре, а значит, в баллон не поступал воздух и лампочки светили дольше. Раньше знали всего один материал, так хорошо сливающийся со стеклом, — чистую платину. А платина была как минимум вчетверо дороже золота — и в десятки раз ценней усовершенствованного сплава! Короче, за перегоревшую немку (они порой попадались на свалках) давали десяток новых лампочек. Это было доходное дело!

Со старых, еще до электробума, времен у меня сохранились штук пять «осрамовок» (я отыскивал их в мусоре, обменивал на всевозможные ценности — спичечные коробки, бутылочные наклейки, бумажки от конфет).

Достав свое ламповое богатство, я прикинул: если судить по нынешним ценам, я минимум на месяц сверх головы обеспечен походами в кино и разными вкусными штуковинами вроде медовых пряников и конфет «подушечка». Нужно было только поручить кому-либо реализацию бесценного электроутиля — за компенсацию, естественно. За этим дело не станет!

Мои военные действия получили мощную финансовую подпитку.

2

Так прошла неделя. Возвращался я после полуночи, устраивался на лестнице, спал до утра — и ни разу не подергал дверь, чтобы проверить, закрыта ли она на цепочку.

Уже на второй день военных действий у мамы сдали нервы. Она тихо подошла к двери — послушать, пришел ли я или еще где-то шляюсь. Я уловил ее легкие шаги, но притворился, что дрыхну, даже немного похрапел для убедительности. Мама так же тихо отошла, не дотронувшись до цепочки, — она еще надеялась, что я постучу сам.

На третий или четвертый день она крадучись подошла к двери, прислушалась к моему дыханию и осторожно сняла цепочку. Я молчаливо ликовал. Она отступает! Но я и виду не подал, что заметил это отступление, — я спокойно спал на лестнице.

Больше дверь не закрывали — но мне этого было мало. Я по-прежнему приходил поздно и устраивался на лестнице: мы же не разговаривали — откуда мне знать, что путь свободен? Мама должна была сама сказать, что снимает запрет на поздние возвращения — на меньшее я не мог согласиться. Ибо на самом деле мы спорили не о внешкольных занятиях и не о ночных гулянках — дело было гораздо более трудным и важным. Я

просто не мог отступиться — но и мать отказывалась покоряться.

Спор этот начался из-за икон.

В нашей квартирке их было немного — пять или шесть, все — в главном углу большой комнаты. Перед ними на поставце теплилась стеклянная лампадка, бросая сумрачный отблеск на лики богов и святых. Даже в годы гражданской войны, даже в мрачные месяцы голода ее трепетное сияние напоминало: мы не оставлены высшим надзором. Лампадка погасла, только когда развернулся нэп, — и ее пустая стеклянная чашечка запылилась.

Я не имел отношения к ее смерти. Мне нравился крохотный, от каждого дуновения колеблющийся огонек, — в темноте он был красочен и значителен, при нем холодные иконные лики теплели и обретали движение, меняя не только очертания, но и выражение. Когда я смотрел на этого ночного светлячка, у меня почему-то возникали только хорошие мысли. Много позже я думал именно о нем, время от времени повторяя строчки одного из любимых поэтов:[18]

В эту ночь я буду лампадой
В нежных твоих руках…
Не разбей, не дыши, не падай
На каменных ступенях.

Неси меня осторожней
Сквозь мрак твоего дворца
— Станут биться тревожней,
Глуше наши сердца…

В пещере твоих ладоней
Маленький огонек
— Я буду пылать иконней…
Не ты ли меня зажег?

Так вот: я не был виновен в том, что лампада иссякла. Возможно, в продаже исчезло лампадное масло. Страна упорно боролась с религией — наверное, кустари просто отказались его вырабатывать, чтобы не ссориться с властями: те могли задушить налогами.

Но против икон я восстал. Это произошло после того, как меня торжественно приняли в пионеры. Каждый пионер — активный безбожник, это я знал, однако наивно полагал, что безбожие касается лишь одного меня, а не всей семьи.

Но как-то ко мне пришли друзья — они поразились, взглянув на внушительный иконостас, и я понял: у меня дома нехорошо!

Нашу школу часто посещали вожатые из райкома комсомола (потом даже из горкома) — очень авторитетные парни. Кто-то из моих гостей сообщил им о непорядке. Алеша Почебит из нашего Ильичевского райкома и сам горкомовец Гриша Цейтлин явились меня просвещать. Они сразу взяли быка за рога. Мы слышали о тебе, Сергей, как о выдержанном, грамотном парне, стойком борце за наше революционное дело. Ты посещаешь все пионерские сборы, участвовал в агитационных походах, взял на себя стенгаз, тебя выдвигают в председатели школьной ячейки МОПРа.[19] Мы уже не говорим об успехах в учении, хотя и это немаловажно. Наш великий вождь Владимир Ленин наставлял: учиться, учиться и учиться! А другой великий вождь, Лев Троцкий, выразился еще сильней: «Грызите молодыми зубами гранит науки». В общем, пока ты в школе, у тебя хорошо. А дома? А дома у тебя полная старорежимность. Куда это годится — вся комната заполнена иконами? Жуткое мракобесие, иного слова не подобрать. Знаем, знаем, это мамино хозяйство. Но ведь ты пионер, так? Значит, обязан авторитетно разъяснить маме, что она отстала от нашей культурной жизни, от нашего передового пролетарского мировоззрения. Дети должны перевоспитывать своих отсталых родителей, такая сейчас всенародная задача. Короче, надо окончательно установить, кто ты сам — истинный борец за грядущую мировую революцию, отважный противник религиозного невежества и изуверства или соглашатель-меньшевик, покорно склоняющийся перед нашими идеологическими врагами? А что они, наши враги, порой рядятся в благородные родительские одежды, положения не меняет, ибо черное всегда черное, всегда реакция, а красное всегда красное, всегда революционный порыв вперед. Мы тебя уважаем, Сергей, и ждем, что ты оправдаешь наше уважение.

Взволнованный так ясно высказанным доверием, я дал торжественное пионерское слово немедленно начать агитационно-просветительную работу по перековке мамы из религиозной отсталости в прогрессивное пролетарское мировоззрение.

При первых же словах об иконах мама встала на дыбы. Отчим не вмешивался — он был евреем и не считал себя вправе говорить на такую деликатную тему, как наша с мамой религия. Над раввинами и синагогами он посмеивался охотно, как и над еврейскими религиозными праздниками, но дальше этого не шел. Мама закричала:

— Сопляк! Совсем перестал быть человеком! Чтоб я в угоду твоим босякам-пионерам убрала наши иконы? Да пусть кто-нибудь из них только придет — мигом спущу с лестницы! Больше

чтоб и не смел об иконах говорить! Учитель на мою голову выискался — яйца курицу перевоспитывают! Я тебя не заставляю молиться — скажи спасибо, а в мои дела не мешайся. Запрещаю!

Я не осмелился еще раз потребовать выноса икон — по старой памяти мама могла схватиться за ремень. Но при случае напоминал, что мне, активному пионеру и школьнику, неприлично смотреть на образа. Вскоре, окончательно распалившись, мама перешла в нападение. И формальным поводом послужило мое поведение, а не мой атеизм. Открыто восхвалять религию она не решилась. Все-таки всевозможные угодники и прочие великомученики зачастую были людьми довольно туманными, далеко не все их деяния, поименованные святыми, таковыми и являлись. Мама сама во многом сомневалась — особенно в части чудотворчества — и отнюдь не была религиозной фанатичкой. Над иными обрядами она даже посмеивалась. Недавно вся Одесса обсуждала чудо обновления старых икон и внезапное появление слез у образа Христа-Спасителя. Мама тоже пошла в собор, а потом неосторожно, при мне сказала отчиму:

— Вранье, по-моему. Помыли мылом запыленные лики и выдают за божественное чудо. А что до Христа, так надо еще доведаться, что за вода течет у него из глаз. У нашего Христа на стене слезы не каплют, а иконе больше ста лет, святей ее поискать!

Именно это ее сомнение заставило меня поверить, что я смогу легко провернуть ликвидацию. Но мама пренебрегала только обеднями и вечерями — главные праздники она выполняла исправно, а за дедовы и материнские иконы вообще встала горой. .

И все-таки я надеялся. Не мог отчим (я так на это рассчитывал!) не уговорить ее примириться со мной. Но по характеру мать была в меня! Снятая дверная цепочка осталась ее единственной уступкой (и пошла она на это, вероятно, только потому, что Осип Соломонович настоял). Пришлось сдаваться мне.

Ночь была очень холодной — ветер, снег (он еще до земли превращался в ледяной дождь), и я не выдержал. Радостный визг Жеффика громко возвестил маме и отчиму о возвращении блудного сына, но они сделали вид, что ничего не слышат. Впервые за несколько дней я сладко выспался.

Но поражение не смирило, а обозлило меня. Я перестал разговаривать с мамой и даже Осипа Соломоновича почти не замечал: отвечал лишь на прямые вопросы и только «да», «нет», «хорошо», «сделаю». Мы толкались в одной квартире, но совсем

перестали видеться — я приходил, когда они спали, они уходили, когда я спал (или притворялся, что сплю). Война зашла в тупик. Срочно нужен был выход — необычный, скандальный. Ожесточение превращалось в отчаяние. Жизнь в вечном молчании становилась непереносимой.

Отступить я не мог — это я знал твердо. Как, впрочем, и то, что мама тоже не отступит, сколько бы отчим ее ни уговаривал. Да и станет ли он это делать? Слишком далеко зашла ссора, слишком непримиримо было противостояние, чтобы он принял чью-либо сторону.

Все поменяла случайная встреча с тетей Килей.

Акулина Исидоровна Козерюк, единоутробная сестра отца, была совместным продуктом моей бабки Каролины и ее второго мужа Исидора Козерюка. Только довольно высокий рост да лицо — продолговатое, угловатое, крупноносое — намекали на ее старобаварское происхождение. В остальном она была типичной украинкой-черноморкой: веселой, доброй, шумной, подвижной, говорливой, вспыльчивой, хозяйственной и беспечной. Непредсказуемость, генетически отпущенная на всю семью, досталась ей одной. Собственного гнезда она так и не свила — но все-таки произвела на свет сына Леню. Она нежно опекала молчаливую сестру Маню, пестовала ее мальчиков Шуру и Валю, благоговела перед моим отцом (Киля истово верила, что он — самый выдающийся человек из всех, кого она знала). И, естественно, благоговение это частично распространялось и на меня.

Жила она тоже на Мясоедовской, неподалеку от нас, в сотне метрах от школы № 24, где я учился. Отношения у них с мамой были добрые, но, подозреваю, настоящей любовью здесь не пахло. Во-первых, родственные чувства у моей матери были не слишком развиты. Во-вторых, Киля, сколько понимаю, так и не простила ей измены обожаемому брату.

Наша встреча произошла у ее дома. Тетка перехватила меня посередине улицы.

— Как учеба? Как мама? Что дома?

Я был словоохотливым мальчиком, но о семейных делах распространяться не любил: честно говоря, хвастаться было нечем, да и не интересовали меня домашние коллизии. Тетка не раз досадовала: «Никогда от тебя ничего не узнать! Скажи маме: скоро приду поговорить о жизни».

Но в этот раз я вдруг раскололся: мама измывается надо мной, но я мужественно сопротивляюсь. Пусть тетя знает: я никогда не пожертвую своей независимостью. То мрачное время, те горькие годы, когда я неделями не выходил из комнаты,

потому что мама не могла найти мне целых ботинок или брюк (на моих уже заплаты негде было ставить) — все это прошло невозвратно, я теперь взрослый, к тому же удостоился высокой чести — меня приняли в пионеры. Я никому не позволю командовать, что мне говорить и на что смотреть, где чихнуть, а где высморкаться, с кем дружить, от кого отворачиваться! Пришла пора самому определять свою жизнь. И я ее окончательно определил, как бы мама ни старалась перекорежить ее по-своему.

Из осторожности я ничего не сказал об иконах. Дело было неясное: кто знает, как отнесется к моему иконоборчеству Киля… Особой религиозности я у нее не замечал, в церковь она почти не ходила — но зато и не иронизировала над церковными обрядами (а мама это себе порой позволяла). Тетка могла и рассердиться на меня за переход от старорежимного мракобесия к пролетарской сознательности. Женщины (особенно взрослые) были способны на такие странные выходки. С этим надо было считаться.

Тетя Киля приняла мою сторону.

— Помнишь, тебя спрашивали, с кем ты останешься — с отцом или матерью? Ты тогда объявил: «Хочу к маме»! И не подумал: так ли это хорошо? Я сказала Зине: «С Сережей тебе не управиться. Ему нужен настоящий отец, а не этот твой Осип. Чему он может научить мальчика? У него же никогда не было собственных детей — и от тебя не будет. От такого героя, как Саша, сама отказалась!» И получилось, как я пророчила: никакого согласия в семье! Ты сам понимаешь, Сережа, какую ошибку совершил, отрекшись от родного отца? Поддался уговорам матери, смалодушничал…

Я готов был согласиться, что поступил рискованно, — но мама меня не уговаривала. Это вообще было не в ее характере — она могла командовать, но не упрашивать. И на суд шла молчаливая, злая, хмурая, плотно сжав губы. Я и сейчас, спустя многие годы, не сомневаюсь: выбери я отца, она не сказала бы ни слова — повернулась бы и ушла, даже не попрощавшись. И только дома заплакала бы. И еще я помнил (и до суда, и после, и всегда потом), как отец занес над ней нож и только мой отчаянный прыжок спас ее от гибели, а его от позора стать женоубийцей на глазах сына.

Все это не позволило мне открыто признаться в ошибке. Больше того: я лишний раз уверился, что все было сделано правильно. Я ведь не мог предвидеть на суде, что когда-нибудь у нас с мамой пойдут нелады, а что отца нельзя простить, понимал и тогда.

Тетка уловила недоговоренность и начала хвалить своего брата. Собственно, это было естественное ее состояние — отцом

она могла восхищаться просто потому, что представился такой случай (упустить его она была органически неспособна).

— Ты никогда не знал своего отца — слишком мало жил с ним, а мама тебе всего не рассказывала, — говорила тетя Киля. — Ты теперь пионер, борец за пролетарское дело, ты должен быть в курсе. Он ведь выдающийся революционер, наш Саша, еще до японской войны, совсем пацаном, ушел в подполье, а перед самой свадьбой его впервые арестовали. После восстания на броненосце «Потемкин» бросали то в одну тюрьму, то в другую. Месяц, не больше, проработает на заводе — и снова берут. А как его уважали все, как слушали, когда он выступал на митингах! А какой он умница, сколько всего знает, сколько книг прочитал, какие картины рисовал, как по-столярному и по-слесарному самодельничал! Все умел — как никто!

От мамы я слышал об отце гораздо больше, чем мог услышать от его сестры. Но в мамины рассказы вплеталась вполне уловимая ирония — боюсь, она никогда не воспринимала отца всерьез. «Слесарь был хороший, но двухрублевый, больше не вырабатывал. Да и тот дневной заработок редко когда приносил полностью, половина шла на водку. И картины писал, даже маслом, — так, мазня, срисовывал с Шишкина или еще кого. Любил мастерить шкатулочки и коробочки, выходило красиво, но времени не хватало — то собрания, то пьянка, то тайные бабы, а то на отдыхе в тюрьме. Читал много, конечно, — в основном там, за решеткой».

Отцовская революционная деятельность маму тоже не восхищала. Она признавала, что через их газетный киоск тайно распространялась нелегальная литература, но прибавляла: сам отец никогда не сидел за прилавком, все легло на ее плечи — она передавала кому надо запрещенные газеты и книги, она укрывала их от чужих глаз. Я помню, после начала германской войны в ночном обыске у нас на квартире из-под половиц доставали тюки газет и кипы книг. Вероятно, их прятала мама, а не отец — ей было сподручней. Но арестовали его, а не ее, и он, а не мама, получил бессрочную ссылку в Ростов-на-Дону — и (фактически на всю оставшуюся жизнь) расстался с семьей.

Много лет спустя, в пятидесятилетие «Правды», в одесской областной газете опубликовали большую статью некоего Зубрицкого «Как „Правда" шла в народ». В ней рассказывалось, что большевистский подпольный комитет в 1915 году постановил организовать специальный пункт распространения новой газеты в рабочем районе Одессы. И для этого предписал Александру Козерюку, тогда слесарю вагонных мастерских, открыть на свое имя газетный киоск на Молдаванке. Маму, впрочем, тоже вспомнили: ее пригласили в президиум общегородского

торжественного собрания «правдистов» — старых и новых.

Мать рассказывала, что в годы гражданской отец командовал отрядом ЧОН[20] — карателями, перебрасываемыми на ослабевшие участки фронта. Потом, сразу после победы большевиков на Дону, подвизался в ростовской ЧК, а с началом нэпа не то сам вышел из партии из-за идейных разногласий с новой политикой (и пренебрег, кстати, подпольным партийным стажем, приносившим весьма существенные выгоды), — не то его изгнали во время одной из чисток начала двадцатых. Словом, я знал об отце достаточно много — и потому стал с интересом расспрашивать, как он ведет себя в Ростове.

— Он живет замечательно! — с восторгом возвестила тетка. — Знаешь, он уже давно не в ЧК — он теперь мастер трамвайных мастерских, хорошо зарабатывает. И у него дочка Вера, чудная девочка, будет тебе сестрой. Такая плясунья и певица, он водит ее с собой во Дворец культуры — и она проводит там весь вечер, пока он ставит спектакли.

— Ты же говорила, что он работает в трамвайном депо, а не во Дворце культуры.

— И там, и там! Саша все может. Он всегда увлекался искусством, картины рисовал, книги читал, столько стихов знает — Некрасов, Кольцов, Никитин…

— Еще разные столярные безделушки, — съехидничал я. — У нас на стене висит его деревянная шкатулочка с десятком ящичков. Неплохо сработано. Большевик-подпольщик, командир ЧОН, идейный чекист, мастер по дереву и по металлу, художник, а теперь еще и режиссер какого-то рабочего театра. Многовато специальностей. А как у него дома?

— Мир и благодать — вот его дом. Не то что у тебя с мамой!

— Я спрашиваю о водке.

— Что ты, Сережа! Об этом забудь. Никаких прежних запоев.

— Но все-таки выпивает? — настаивал я.

— Немного. Как же без этого? Все пьют, он что — урод перед другими? Я вот женщина, а тоже не отказываюсь от рюмашки — если в праздник.

— Как он пьет? Честно, тетя Киля!

Она заговорила очень осторожно.

— Стаканчик утром, стаканчик в обед, а когда вечерок свободен, то и два может… А чтобы больше — ни-ни! Сама видела. Пьянства не признает.

— Не пьяница, а четыре стакана водки в день принимает, — подвел я итоги. — И еще мастер в вагонном депо и режиссер рабочего театра. Широкий захват у моего отца!

Тетка обрадовалась.

— Вот видишь, сам понял, что на отца наговаривали. Встретиться бы вам, сразу бы сошлись. И он так любил тебя и Витю, когда вы были маленькие.

— Не встретимся, тетя Киля. Мы в разных городах.

Она опять стала осторожной.

— А если я напишу в Ростов, что у вас с мамой нелады? Что ты не отказался бы к нему приехать? Не всю же тебе жизнь проводить с матерью…

— Всю жизнь с мамами никто не проводит. Но с бухты-барахты к отцу не поеду!

— Даже увидеться не хочешь?

— Почему? Увидеться можно.

На этом наш разговор закончился — и чем дальше, тем чаще я его вспоминал. Теткино предложение расцвечивалось все более яркими красками.

Отношения с мамой осложнялись — скоро нам станет невыносимо жить вместе. Что я буду делать тогда? Перееду к отцу? Напрошусь к нему — после формального отказа от наших родственных связей? Как тот забулдыга — блудный сын, который на коленях приполз выпрашивать прощения? Или как нашкодившая собачонка, которая с поджатым хвостом скребется туда, откуда убежала? Я сгибался от стыда, что-то мычал и даже подвывал при одной мысли об этом.

В это время дома случилась беда — и она все изменила. Умер Жеффик.

Он был уже очень стар, мой добрый друг. Ему шел четырнадцатый год — собачья мафусаилова пора. После тринадцати он как-то очень быстро сдал — уже не бегал, задорно задрав хвост, а только прохаживался. По-прежнему беззаветно бросался в игры и драки со мной, но потом сваливался где-нибудь в углу и натужно дышал, обессилено вывалив язык. И не лаял — только повизгивал. Однажды, пытаясь вскочить на кровать, он сорвался и упал — пришлось его поднимать. Теперь он часто неподвижно лежал у меня на коленях — снежно беленькое тельце, коричневая мордочка, оттопыренные уши, белая ленточка от носа к затылку… И он смотрел грустно и виновато — благодарил за дружбу, извинялся за слабость. А незадолго до смерти вдруг перестал проситься ко мне в постель. Даже в клетушку, где я спал, уже не входил — пристраивался где-нибудь в углу большой комнаты и только утром выползал мне навстречу, слабо улыбался хвостом, слабо повизгивал — у него даже не всегда хватало сил лизать мне руки.

Однажды утром он не выбрался из своего угла. Я бросился к нему, стал тормошить, поднял на руки. Он смотрел на меня

отчужденными, незакрывающимися глазами — он не видел меня, он был вне моего мира.

Я никогда не был слаб на слезы. Если вода и лилась из моих глаз, то от гнева и возмущения. В тот день я рыдал от горя — наверное, впервые. Мама сердито прикрикнула:

— Перестань! Хвастаешься, что бестрепетный пионер, а сам нюни распускаешь. Возьми себя в руки. Все мы когда-нибудь умрем — утешайся этим.

Я не мог взять себя в руки. И меня не утешало, что все мы смертны. Я только начинал жить, до моего конца было необозримо далеко. Проблема собственной гибели была неактуальна — а смерть Жеффика стояла перед глазами и давила грудь. Мне стало немного легче только тогда, когда я подглядел, что мама, спрятавшись в спаленке, тоже плачет — молча, не отрывая платка от опухших глаз (иллюзорное, впрочем, утешение). Многие годы Жеффик был мне самым близким другом — но и ее любимцем он быть не переставал.

В то же утро, не дожидаясь моей просьбы, мама решила, что Жеффика надо похоронить по-человечески, потому что душа его (хотя у собак, говорят, нет души) была по-настоящему человечной. Я заикнулся о гробе — гроб мама отклонила: деревянная домовина не для животных, им нужно тесное слияние с землей. Мы похороним его среди деревьев, в траве, по которой он так ликующе носился. На помощь позовем брата Шуру, моего двоюродного брата, — он парень сильный и всегда любил Жеффика.

На другой день мы трое — мама, Шура и я — отправились в Дюковский сад, заброшенный парк на краю Молдаванки. Шура тащил на плече джутовый мешок с тельцем. В парке, как всегда в будний день, было пусто. Моей детской лопаткой Шура вырыл неглубокую ямку, мы уложили туда Жеффика, плотно присыпали землей, на одной стороне положили камень, на другой посадили березку — я хотел сирени, но поблизости не нашлось ни одного кустика.

Шла поздняя осень, близилась зима (в тот год она была морозной) — до весны я так и не выбрался на Жеффикову могилку. А когда нашелся свободный час и на Дюковский сад, я ее уже не нашел. Не было ничего — ни холмика, ни камня, ни березки.

У меня осталось только одно вещественное воспоминание. Незадолго до смерти Жеффика мы с Шурой сфотографировались. У мастера нашлась узорная деревянная подставка для цветов. Я водрузил на нее свою собаку. Так мы и увековечились: Шура восседал в кресле, Жеффик высился на подставке, а я стоял за

ними — правой рукой обнимал собаку, левую положил на плечо брата.

Люди перед фотоаппаратом обычно каменеют — напряженные лица, старательно наведенная на себя «умность» либо — крупным планом — значительный «характер». Я часто рассматриваю этот снимок. И всегда убеждаюсь, что только у одного из нас по-настоящему свободный вид и вполне умное лицо — у моей постаревшей собачки.

Смерть Жеффика изменила обстановку в доме. Оборвалась очень прочная нить, державшая меня в семье. Я по-серьезному задумался — а не переменить ли, в самом деле, дорогу жизни? Так ли уж закрыт путь к отцу?

Пойти к тете Киле и узнать, что вышло из ее затеи, я не мог — это было бы слабостью. Но думал об этом постоянно. Написала ли она отцу? Ответил ли он?

3

Мама открывала свой киоск примерно в одно время, а закрывала по-разному: могла засидеться до вечера, если оставались газеты и погода радовала, могла, распродав все, возвратиться уже днем. Раза два в неделю она делала дневной перерыв — сходить на базар и в магазины.

Но вечерами она всегда была дома. Это были священные часы — она готовила еду, отчим, присаживаясь неподалеку, громко читал ей газету, а я (если меня тоже заносило домой), примостившись подальше, играл с Жеффиком или погружался в книгу.

Я был аккуратным читателем — в библиотеке мне разрешали брать с собой не два томика «положенной выдачи», а четыре-пять книжиц — хватало не дольше чем на неделю (если, конечно, они не были уж слишком трудны). А затем начинался ужин — он вмещал больше половины предназначенной на день еды. Мама с отчимом опять обсуждали дневные новости — я их не слушал, я безотрывно читал (даже за супом или борщом). Мама ворчала, отчим меня защищал — он, бывший журналист, неискоренимо уважал тех, кто умеет погружаться в книгу. В свое время у него неплохо получались фельетоны и газетные стихи (собственно, это и очаровало когда-то маму), но с серьезной прозой он не справлялся даже в лучшие годы — она была вне журналисткой суеты. Меня устраивали их ужинные беседы — они не мешали, а помогали с головой уходить в чтение. Жеффик обычно сидел у моих ног — он знал, что я не жадина: кости из жаркого мы обычно делили пополам (я тоже любил их грызть).

Но однажды, уже после смерти Жеффика, ужин начался так необычно, что я даже оторвался от книги. Мать молча возилась на кухне, отчим сидел у окна и хмуро смотрел во двор — он так и не взял в руки газету. За едой они не перекидывались даже односложными репликами. Они никогда не ссорились — во всяком случае, при мне. Но сейчас вели себя так, словно насмерть разругались. Я давно не разговаривал с ними по собственному почину — только односложно отвечал на вопросы, но тут вынужден был нарушить наш вооруженный нейтралитет:

— Мама, что случилось?

Она ответила очень холодно:

— Ничего особенного.

— А неособенное?

Она ответила не сразу (была у нее такая манера, когда требовалось сдержать раздражение). Я уже понимал: внутренне

она кипит. И еще не зная причин, догадывался, что гнев ее связан со мной. Какой-то спор обо мне поссорил ее с Осипом Соломоновичем.

— Неособенное случилось — исполнилось самое горячее твое желание!

Я не вспомнил за собой никаких особенных хотений, тем более горячих. К иконам это относиться не могло — они по-прежнему украшали парадный угол. И я уверенно объявил:

— Не понимаю тебя. У меня нет никаких желаний, кроме тех, о которых ты давно знаешь.

Она уже не могла сдерживаться.

— Не знаешь? И приказываешь верить? Раньше все-таки старался не врать.

Я тоже начал кипеть.

— И сейчас не вру, мама. Не надо меня обвинять в том, чего нет. Ты что-то сама придумала, а злишься на меня.

— Придумала?!.. С тобой придумаешь! А что я могла придумать, может, хоть сейчас скажешь?

— Не могу сказать того, о чем понятия не имею.

— Значит, не бегал к тете Киле? Не жаловался, что не можешь больше со мной жить? Не упрашивал отца приехать и забрать тебя? И все это втихарька, тайно, трусливо… Мой сын, называется! Да такого сына!..

— Зиночка, не смей! — вмешался отчим. И вдруг резко повысил голос — только раз до этого дня он позволил себе кричать на маму (и тоже из-за меня — когда выяснилось, что я не знаю умножения и деления). — Я запрещаю тебе так разговаривать с Сережей!

Тяжело дыша, она с трудом сдержалась, но заговорила почти спокойно:

— Радуйся! Отец немедленно откликнулся на твой жалобный призыв. Сегодня он примчался в Одессу. Свою новую дочку Верочку прихватил с собой — похвастаться. Так что готовься к исполнению сокровенных желаний.

Я так растерялся, что глупо спросил:

— Откуда ты узнала?

— Тетя Киля прибегала к киоску, все рассказала. Завтра твой отец прибудет к нам в гости.

Больше в этот вечер она не разговаривала — ни со мной, ни с отчимом. В доме повисло враждебное молчание. Спать мы пошли рано — но уснул я поздно. Меня мучили трудные мысли. Я не представлял себе, как стану держаться, — но чувствовал, что жить как сейчас дальше нельзя. Какой она станет, завтрашняя жизнь? Я вдруг убедился, что не знаю, чего хочу. Я сердился на себя: зачем

столько наговорил тете Киле?

Отец появился к вечеру. С ним были девочка лет пяти или шести и тетя Киля. Верочка со всеми поздоровалась, дала себя поцеловать, повертелась перед зеркалом — живая, хорошенькая, нарядная, о чем-то лепечущая. Но я плохо понимал, что она говорит. Отец велел тетке:

— Киля, забирай Веру домой. Покрасовалась — и хватит. А мы тут немного потолкуем.

Киля немедленно ушла. Мама поставила на стол угощение — мясо, овощи, бутылку водки и торт. Отец взял меня за плечи и повертел перед собой, как деревянную игрушку, осматривая со всех сторон, только что не ощупывая.

— Вырос, но крупным мужиком никогда не будет, — постановил он. — Почему нос кривой, побили, что ли?

— Нос кривой по кривому характеру, — не удержалась мама. Отец кивнул, как бы утверждая характеристику.

— Вид у парня ничего, только в лице что-то женственное. Можно перерядить в девочку — вряд ли кто заметит подмену. Не пробовала, Зина? Раньше ведь любила всякие одежные маскарады.

— На Сереже пробовать побоялась. Можешь и ты попытаться — но вряд ли удастся.

Мне не понравился этот разговор. Когда появлялись лишние деньги, мама и правда любила наряжать меня в полуженские одеяния — хорошо, что денежного благополучия у нас давно не наблюдалось. Да теперь я бы и не разрешил уродовать себя дурацкими нарядами! Отец этого, конечно, не знал. А я не догадывался, что через пять лет с восторгом наряжусь в женское платье, из двух махровых полотенец сооружу грудь, накрашу губы и в таком виде — девушкой средней уродливости, но с солидным бюстом — целый день проваландаюсь по бульварам Одессы в компании хохочущих друзей — и никто из встречных-поперечных не заметит маскарада.

— Давайте за стол, — предложила мама, разливая водку. — Отметим встречу.

Отец показал на меня.

— А Сереже почему не наливаешь? Уже пора — парень молодец.

— Сереже не надо, — отрезала мать. — Он молодец против овец, а против молодца сам овца. — Это было ее любимое (по отношению ко мне) присловие.

— Берешься доказать? — пошутил отец.

— А чего доказывать? Он сам себя и показывает, и доказывает.

Они продолжали перебрасываться репликами. Мама говорила холодно и сдержанно, отец — непринужденно и весело, мы с отчимом молчали. Я переводил взгляд с одного на другого — все трое показались мне новыми и неожиданными. Впрочем, об отце можно не упоминать: я его знал лишь по разговорам о нем. Но мать была не похожа на себя — напряженная, собранная, резкая в словах и движениях. Она сжалась в нервный комок — словно готовилась к схватке. А молчаливый отчим старался не смотреть ни на маму, ни на отца. И у него было виноватое лицо, он как будто просил прощения — и смиренностью, и молчаливостью, и скованностью, и даже тем, что выглядел очень бедно рядом с нарядным отцом.

Я сказал, что отец был наряден, — это не совсем точно, ибо недостаточно. Конечно, хорошо сшитая и прекрасно выутюженная коричневая шевиотовая тройка выгодно отличала его от отчима, не снявшего своей домашней, сотни раз перелатанной курточки. Но дело было не в одежде. Осип Соломонович, сутуловатый, стареющий, не брал ни лицом, ни фигурой. А отец, моложавый, красивый тяжеловатой мужской красотой, был больше чем красив — изящен. Он не просто вырядился в дорогой костюм, не просто щеголял тонкой сорочкой и цветастым галстуком — все это ему подходило. Он двигался легко и свободно, сидел непринужденно, каждый жест, каждое движение, даже взгляд и улыбка его были так естественны, так полно ему соответствовали, что от одного этого казались красивыми.

Я вспомнил, что мама часто говорила (не мне, но при мне), что женщины — чуть ли не поголовно! — влюблялись в отца с первого взгляда. И только одна никогда не была им очарована — она, его жена. Раньше я считал, что объяснение отцовских донжуанских успехов — в его безрассудной храбрости, готовности на ссоры и драки с любым противником, в том, что он ни секунды не помедлит, если понадобится (даже ценой собственной жизни) защитить друга, а тем более — подругу. К тому же он пламенный революционер, идейный враг всякого загнивающего старорежимья. А еще — любовь к живописи и ручному штукарству… Но теперь я понял еще одну — и самую простую — причину его удач: он был просто красив. И очень элегантен.

— Неужели ты совсем забросил политику, Саша? — спросила мама. — Столько лет по царским тюрьмам валялся, семью одну оставлял на годы…

Отец отмахнулся хорошо выверенным, театральным жестом.

— Какая сегодня может быть политика, Зина? Все, за что боролись, рушится. Всюду обман и предательство. Те, на кого беззаветно надеялся, в кого беспрекословно верил, изменяют

нагло и открыто. Любимые вожди зубами впиваются друг другу в горло — читала, какую драчку затеяли на последнем съезде? Троцкого сшибли с поста грязными сапогами, теперь Зиновьев с Каменевым пытаются сбросить Сталина. Стоило таиться в подполье и обливаться кровью на гражданской, чтобы потом угодить в старое дерьмо!

— А твое нынешнее трамвайное депо тебе нравится?

— Добавь все-таки и Дворец культуры. Мечтал не об этом, конечно. Довольствуюсь, а не роскошествую.

— Хотел бы роскошествовать?

— Пожить бы прилично… Но при нэпе прилично живут только частники. Они победили — так получилось.

Мама удивилась.

— Саша, неужели ты завидуешь нэпманам? Может, и в торгаши пойдешь? Представить не могу!

Он засмеялся.

— И не надо представлять — не пойду. Все больше думаю о сцене. Но если по-честному, иногда жалею: все оказалось ненужным. Пошел бы с детства в промысел (хоть и в биндюжники — вместе с отцом), был бы сейчас владельцем заводика или магазина.

И он неожиданно с пафосом продекламировал:

> И я сжег все, чему поклонялся,
> Поклонился всему, что сжигал.[21]

— Врешь ты, Саша, — спокойно установила мать. — Никогда я тебе не верила. Ради красного словца не пожалеешь ни мать, ни отца.

Он опять засмеялся.

— Себя не пожалею — так верней. Нет, серьезно, Зина! На старости лет задумался о том, на что раньше и внимания не обращал…

Мне стал надоедать их разговор. Я сказал:

— Мама, можно мне уйти? Я обещал сходить с ребятами в иллюзион.

Отец живо повернулся ко мне.

— А какое кино будешь смотреть, Сережа?

— Пока не знаю. Выберем. — И, видя, что отца не удовлетворил мой неопределенный ответ, педантично перечислил наши киновозможности: — Картин много. В «Луне» вторую неделю крутят «Кабинет доктора Калигари», жуткая вещь, девочки даже кричат от страха. В «Орле» идет «Индийская гробница», тоже неплохая штука. На Ришельевской — «Доктор

Мабузо». А в «Слоне» — американский боевик «Трус», история про разных негров, еще двух забияк, полковника и генерала, и одного типа без чинов, но в маске. Такая фильма — не оторвешься! Буду уговаривать ребят на «Труса».

Отец всматривался в меня желто-коричневыми — «пивными», как их называла мама — глазами.

— Ты говоришь так, словно уже видел эти картины.

— И не единожды! — ответила за меня мать. — На некоторые фильмы он ходит чуть не по десятку раз. Не понимаю, что за любовь такая — снова и снова смотреть то, что знакомо наизусть… Из одного иллюзиона сразу перебегает в другой. — И она строго сказала мне: — Можешь идти, но больше чем на одну фильму сегодня не разбрасывайся.

Отец улыбнулся.

— Иди, если тебе разрешают. Мы тут с мамой и Осипом Соломоновичем без тебя потолкуем. А завтра я жду тебя у тети Мани — ровно в четыре. Не опоздаешь?

— Не опоздаю.

Мама рассказывала, что отец «до нестерпимости точен» — я тоже старался быть таким.

В эту ночь я вернулся домой сравнительно рано. Отца уже не было, мать и отчим спали. Я думал о завтрашней встрече. Отец был иным, чем я его представлял: моложе, красивей, элегантней — и непонятней. Он был сложней того человека, которого я смутно помнил и которого описывала мама, я пытался в нем наскоро разобраться — и путался.

Будущее было неясным.

Вернувшись из школы в полдень, я заново помылся, почистился — и зашагал на квартиру тети Мани. Она жила в конце Комитетской, неподалеку от Михайловской церкви, в квартирке из двух крохотных комнаток. Все были дома — и отец, и она, и Шура с Валей, и Верочка. Вера бегала из комнаты в комнату, кричала, пела, танцевала. Потом взобралась на стол, чтобы видеть себя в настенном зеркале, — и начала вертеться, охорашиваться и строить рожицы. Отец аккуратно опустил ее на пол и велел идти погулять — погода была хорошая, хотя приморaживало.

Валя получил деньги на конфеты, карусель и воду с сиропом — и ушел с Верой. Шура, потолкавшись, тоже исчез. Тетя Маня хлопотала на кухне.

Отец сел на диван и примостил меня рядом. Он смотрел на меня очень добрыми глазами — он был рад нашей встрече, я это чувствовал. Радуясь, он терял добрую часть своей мужественной красоты.

— Вырос, вырос! В последний раз, как виделись, малец мальцом был.

— Мне надо с тобой поговорить, папа, — сказал я, волнуясь.

— Надо, надо, Сережа! Для того я и примчался, чтобы поговорить с сыном. Билеты на поезд взял в тот же день, как получил Килино письмо. Всегда верил, что ты когда-нибудь перестанешь глупить — как тогда, на суде, и возьмешься за ум. Начинай, я слушаю.

Он, похоже, ожидал, что я начну жаловаться на мать, но я заговорил о том, что мучило меня всю нынешнюю долгую и бессонную ночь.

— Папа, правда, что после революции ты работал в ростовской ЧК? Мама говорила, даже председателем был…

Он вдруг разительно переменился. Его хмурые и строгие глаза чуть ли не отталкивали меня.

— Не председателем, только заместителем. Почему это тебя вдруг заинтересовало?

— Ты мне отец. Я хочу знать твою жизнь.

— Тогда надо бы захватить пошире, чем один двадцатый год. Раньше, в гражданскую, был командиром боевого отряда частей особого назначения. В ЧОНе командовали только партийцы с подпольным стажем, так что если белые кого из нас ловили — долгие пытки и расстрел были гарантированы. Правда, и мы их не жалели — да и своих, запаниковавших, тоже. Войну вели не на победу, а на истребление. Вот такая биография, раз заинтересовался. А до войны — подпольщина, скандалы с мамой (оба из непокорных)… До мамы — завод немца Гена, первые товарищи, первые пьянки, первые бабы, первые книги. Еще надо? Двухклассная церковно-приходская школа. От школы назад, к рождению, — ничего не помню. Но что-то было, даже многое, наверное, — детство все-таки. А до рождения — понятия не имею! Надо бы у знающего попа поинтересоваться: как люди до жизни живут? Но я к долгогривым не ходок, да и времени на церковную философию всегда жалко было. Теперь хватит?

— Папа, как тебе работалось в ЧК?

Он еще больше нахмурился — вспоминал прошлое. И заговорил не сразу.

— Работалось… Разве это работа? Работаю я в цеху. Что-то чиню, что-то мастерю. Выдаю продукцию. А в ЧК была революционная деятельность. Не так создавали новое, как искореняли старое.

— Вот об этом и спрашиваю — как искореняли?

Он понял, что репликами от меня не отделаться, и заговорил свободней.

— Дела определялись обстановкой. А в те годы она была такой — донская Вандея. Историей, надеюсь, интересуешься? Белогвардейцев разбили, самые отъявленные улепетнули в Константинополь. А их дети? Их отцы и родственники? Всему казачеству, всей вражеской интеллигенции не убежать. Вот и живи среди таких людей!

— Но ведь не все на Дону были врагами?

— Большинство! Мы вернулись победителями — и встретили врагов. Кто-то затаился, втихаря дожидаясь, когда мы скапустимся, а кто-то чистил припрятанный в сарае обрез. Жуткие Авгиевы конюшни. И задача одна — чистить! Беспощадно, беззаветно чистить!

— А как чистили?

— По-разному. Кое-где это поручали летучим частям, даже продотрядам. А у нас в Ростове — ЧК. Многое видели стены наших подвалов! Каждую ночь — карательные акции. Аресты ни на день не прекращались.

— Папа, ты расстреливал арестованных?

— Для этого были специальные люди. Мы составляли список приговоренных к вышке, вручали его командиру исполнителей — те проводили операцию.

— А списки ты подписывал?

— Это была функция начальника ЧК. Если он уезжал в командировку — да, подписывал!

— Скажи еще… — Я не сразу решился это выговорить. — В тех расстрельных списках было много имен?

— По-разному. Десятки — в каждом. Но раз на раз не приходился — бывало и до сотни.

— Сотня?.. В неделю, в месяц?

Он поглядел на меня с возмущением, как на дурака.

— В ночь! Я же сказал: акции совершались ежесуточно. — И отец повторил зло и выразительно: — Вандея же! Все вокруг кипит. Не только в горах — в открытой ковыльной степи банды. Или мы их, или они нас. Я всегда стоял за одно: мы — их!

Он говорил, а я вспоминал одесскую ЧК. Одесса не была Вандеей, в ней больше болтали, чем стреляли. Но на Маразлиевской, в роскошном здании, каждую ночь шли расстрелы. Я запомнил, я навеки хорошо запомнил, как за окном нашей камеры рычали моторы — чтобы заглушить крики тех, кого казнили прямо во дворе. Иногда они гремели до утра — и до утра умножались смерти…

— Ну хорошо, до сотни в ночь, — сказал я. — Но как же вы проводили следствие? Сколько нужно было юристов, чтобы каждого допросить, вызвать свидетелей, провести очные ставки…

— Боюсь, Сережа, ты не представляешь себе тогдашней обстановки. Мы боролись с оголтелым врагом. Арестовывали и судили по классовому признаку. Классовое сознание — вот что было определяющим, а не всякие там юридические формальности.

Я знал, что рискую, — и все-таки не удержался.

— Классовое сознание и классовые признаки, никаких юридических формальностей… Что же получается, папа? Значит, если бы я прошелся по Ростову в накрахмаленном белом воротничке и при галстуке, это было бы достаточным основанием, чтобы…

Отец зло сверкнул на меня желто-коричневыми глазами.

— А ты не ходи в двадцатом году по Ростову в накрахмаленном воротничке!

Мы оба помолчали, успокаиваясь. Я смотрел на него: элегантная тройка, дорогая белая рубашка, отлично вывязанный многоцветный галстук… Тогда, в двадцатом, в Ростове, одного его нынешнего вида хватило бы, чтобы попасть в роковой список.

У нас дома в комоде завалялась коробка с галстуками (он купил ее еще до ссылки) — их было шесть, все — новые. Потом, через несколько лет, я ее часто вспоминал. Отец, рабочий, покупал галстуки по полудюжине, а я, доцент Одесского университета, нахальный пижон, как меня иногда называли, ни разу не раскошелился больше чем на один — и тот в получку. Шесть смертных приговоров в простой картонной коробке, растерянно и возмущенно думал я, шесть «разменов» по классовому признаку…

— Столько ты всего испытал, — сказал я горько, — а зачем? Чтобы потом снова выискивать дорогую одежду и мечтать о собственном магазине…

Отец успокоился быстрей меня. И, конечно, самообладания у него было несравненно больше. Думаю, он вообще не понял, с чего это я так разошелся. Ему показалось, что меня (как и его самого, кстати) задело, что он живет совсем не так, как мечтал когда-то.

— Бытие определяет сознание, — сказал он и снова улыбнулся. — А сознание — это в том числе и желания, которые у тебя возникают. Сказать, чтобы я очень стремился в торговцы… Нет! Но бороться против них больше не буду. Есть дела и поважней. Я удовлетворил твое любопытство? Удовлетвори и ты мое. Поговорим о твоей жизни.

Я знал, что этого разговора не избежать — и готовился к нему всю ночь. Я боялся его — но он оказался много трудней, чем я представлял. Тот приступ откровенности, который неожиданно

настиг меня при тете Киле, просто не мог повториться!

Отец слушал внимательно, не перебивая, только изредка кивал, словно одобряя все, что я говорил. Во всяком случае, я понял это именно так, хотя на самом деле ему понравилось, что я не лгу и не приукрашиваю ни себя, ни свои отношения с мамой, а вовсе не мое поведение.

— Так и мама рассказывала. И про школу, и про то, что отказываешься заниматься дома, и про каждодневные хождения из одного кино в другое, и про собрания и прогулки, и про товарищей и подруг, и что способен целую ночь пропадать неизвестно где. Она крепко тобой недовольна! Между прочим, ты, кажется, пишешь стихи? И, наверное, под Есенина — он теперь в моде, особенно его кабацкие приключения. Прочти что-нибудь свое — из есенинского.

Стихи я начал сочинять с шести лет — и даже успел показать отцу ту детскую белиберду (он тогда на короткое время вернулся из ссылки). В школе рецидивы рифмоплетства участились. И Есенин мне нравился, даже очень, — я охотно декламировал его всем, кто хотел слушать. Но многих других поэтов я любил еще больше, знал лучше и подражал им охотней. Впрочем, чаще я старался вообще никого не копировать.

Я все же прочел одно из своих «есенинских» стихотворений (оно было написано для Фиры Володарской) — унылую рифмованную говорню о том, что в жизни нет ничего хорошего, а дальше станет еще хуже. Собственно, я всегда был оптимистом, но бодрые слова плохо укладывались в стихи — жалобы, даже лишенные оснований, поддавались рифмовке куда лучше. Потом я не раз убеждался, что начинающие (тем более — бесталанные) писатели всегда стартуют с уныния, трагических происшествий и ужасов, а не с веселья, удач и благолепия — катиться по ровной литературной дорожке всегда проще, чем живописать то, что по природе своей доступно лишь дарованию, которое не страшится трудностей (конечно, если при этом не скатываться до банального сюсюканья).

Сколько раз потом мне приходилось встречать молодых выпивох, бабников и здоровяков — кровь с коньяком! — которые, томно закатывая зенки, уныло гнусавили о безнадежности своего существования.

Стишата, прочитанные отцу, заканчивались приличествующей безотрадной фразой:

И будешь ты примерная супруга,
И буду я — примерный хулиган.

— Именно то, что я ожидал, — бодро сказал отец. Я обрадовался: мне показалось, что ему понравилось.

Тетя Маня стала готовить стол. Появилась селедка, соленые огурцы, вареная картошка, колбаса и хлеб. Посреди тарелок Маня водрузила бутылку водки. Мне вспомнилось, как мама рассказывала: отец, увидя одну бутылку, недоуменно спрашивал: «Зиночка, а что с этим делать?», а если их было две, потирал руки и шутил по-иному: «Вот теперь немножечко выпьем!»

Второй бутылки не появилось. Киля, похоже, была права — отец переменился.

Тетя Маня принесла два толстых граненых стакана, поинтересовалась, не нужно ли еще чего-нибудь, и ушла, чтобы не мешать.

Отец налил оба стакана дополна.

— Пей, сын. За нашу наконец состоявшуюся встречу, за нашу новую жизнь!

Я со страхом смотрел на водку. Вино я уже пил — не больше чем по рюмочке и только церковное, сладкий малоградусный кагор (мама давала его мне, когда я серьезно хворал — а болел я нечасто). Впрочем, порой в доме появлялась и водка: отчим никогда не отказывался от угощения. Пил он умеренно, зато мог хлебнуть и чистого спирта — и страшно гордился, видя, с каким уважением на него поглядывают гости.

— Что же ты не пьешь? — удивился отец. — Непохоже на тебя, Сережа. Стихи хулиганские пишешь, за девочками ухлестываешь, все вечера в кино, ночи неизвестно где — водка в самый раз по такой жизни. Правда, нужно плотно закусывать, а это, наверное, не всегда удается — при ночном-то шлянии. Стол полон — выпивай и наваливайся на еду.

Трудность была не в том, чтобы выпить, — мне просто не хотелось признаваться, что. я никогда не имел дела с крепкими напитками. Это была стыдная слабость! Отец ошибался во мне. «Шлянье» мое было совсем иной природы, чем он думал. С водкой оно никак не состыковывалось. Но объяснить этого я не мог.

— Пей! — повторил отец, хмурясь. — Больше одного стаканчика все равно не дам. Можешь не притворяться.

Я судорожно выхлебал водку и накинулся на еду. Отец тоже выпил — и теперь спокойно закусывал. Он молчал. А со мной совершались ошеломляющие перемены. Мир не поплыл у меня перед глазами (я читал, что именно так происходит с пьяными, и очень этого боялся) — он просто неторопливо отдалился от меня, остался, но стушевался. И, неясно сохраняясь, уже пропадал в каком-то «вовне». Предметы становились все туманней и расплывчатей, звуки — все глуше. Отец сидел напротив и

смотрел на меня — но из какого-то непостижимого далека. Он что-то сказал. Я не услышал.

Удивительное это состояние продолжалось, наверно, минуту или две. Вещи понемногу возвращались на свои законные места. Их очертания прояснились, звуки стали отчетливыми.

Теперь я слышал и понимал, что говорит отец.

— Мама, конечно, права — жизнь у тебя негодная. Будем ее менять. Постараюсь выправить все, что они с Иосифом напортили. Сколько раз говорил: поковеркаешь сынишку со своим сопливым еврейчиком — и слушать не хотела. От всего сердца убеждал — не получилось. Всегда была непокорной, чуть что не по ее — сразу на дыбы. Теперь, думаю, и сама понимает, что я прав. Но и сейчас скорее умрет, чем признает свою вину. Все на тебя да твоих товарищей валит. И ты не святой, и друзья твои — никуда, но беда в ней, уж не говорю о ее слюнтяе. Я им вчера, когда ты в кино нацелился, так прямо и выложил:

«Никудышные вы воспитатели! Сына у меня отняли — и что? Теперь сам буду растить настоящего человека». И посмотрел бы ты на него — чуть ли не в себя вдавился, глаз не поднимет, слова не вымолвит. А мама — она мама и есть: разошлась, как и раньше бывало.

С каждым его словом ко мне возвращалось сознание — но оно было новым и странным. Мир снова менялся — он оставался, но терял устойчивость. Все плыло и покачивалось. Ошеломление прошло, наступило опьянение — впервые в жизни.

Я с трудом выговорил:

— Зачем ты так на Осипа Соломоновича? Он хороший.

— Хороший! — презрительно покривился отец. — Никогда ни один Иосиф или Соломон не были способны ни на что на хорошее. Ловкачи и дельцы — да. Энергии и предприимчивости — навалом. И ничего сверх! Не говорю о физической работе — но хоть бы один художник или поэт… Скрипачей — отряды, но почему? Исполняют (и хорошо исполняют!) то, что сотворили другие. Настоящего, коренного — нет. Было когда-то у них государство — в простенькой войне навек отдали. Две тысячи лет валандаются по чужим странам — и везде все расшатывают, все портят. Почему они к нам в гражданскую пристали? Задача была одна — разрушать, поджигать, ломать. Вполне по ним, да и нам на пользу — приходилось мириться. Я так и влепил маменькиному Иосифу: «Испоганили мне сына. Трудно, очень трудно станет возвращать его в люди!»

— Так прямо и сказал?

— А чего мне стесняться? Посмотрел бы ты на него! Бледный, голову опустил. Трус! Все они трусы — Иосифы с Соломонами.

Я перестал понимать отца — и не только потому, что опьянение продолжало сгущаться. Сами его слова становились все непонятней, все невозможней. Мама не раз говорила, что отчим — лучший человек в мире, она счастлива, что встретила такого друга. Раньше подобных людей называли святыми, она и вправду убеждена, что он — святой.

Я не знал, был ли отчим праведником и единственным в мире, но что он — лучший из всех, кто меня окружал, понимал твердо. Я любил его — и любил больше мамы, хотя ни разу не назвал по-родному, на «ты», только Осипом Соломоновичем. Он понимал меня, он был добр, он ласково говорил со мной, бережно гладил по голове, никогда не распекал за шум, за поднятую пыль, за беспорядок, за бешеные игры с собакой. А если порой ругал, то лишь когда я, виноватый, сам готов был не то что ругать — почти проклинать себя. И ни разу, ни разу за много лет нашей жизни он не ударил меня — тогда как тяжесть маминых рук хорошо знали все части моего тела.

Было нестерпимо слышать, как отец честит моего отчима. Но я не умел говорить так же зло и категорично, а простые, без злобы, слова не годились. Я только недобро сказал:

— Ты считаешь, меня испоганили?

— А ты сомневаешься? — удивился отец. — Ну, не испоганили — это, пожалуй, чересчур. Но испортили порядочно.

— В чем именно испортили?

— Во всем, Сережа. Надо смотреть правде в глаза. Я тебе родной, а не придуманный отец. И характер у тебя не сахар, и поведение отвратительное, и товарищи подозрительные, ты лентяй и пустозвон. Всего не перечислишь. Но не отчаивайся, время еще не ушло. Будем возвращаться в человеки.

— Будешь возвращать, а не будем возвращаться, — уточнил я. — Как собираешься это делать?

Он не уловил моей нараставшей пьяной враждебности. Деловито вылил из бутылки оставшуюся водку, выпил не закусывая, и стал рисовать мое будущее — железные нотки позвякивали в его спокойном голосе.

— Прежде всего школа. Об аккуратном посещении не говорю, это само собой… После школы — час-полтора усердных домашних занятий. Теперь кино. Будешь посещать только те картины, которые я сам предварительно просмотрю. И не больше чем два раза в неделю. Книги для внеклассного чтения буду отбирать сам. Те, которые возьмешь без меня, проверю. О товарищах — босячество и разнузданность прекратим. О ком скажу — его не надо, с тем прекращай дружить. И о девочках: на время забудь, их пора еще не пришла. Последнее — стихи.

Хулиганство и бездельничанье — не тема, литературу такими стишками только портить, а не обогащать. Вот такая программа. Нравится?

Я изо всех сил старался, чтобы мой голос звучал ровно.

— Не имеет значения — нравится, не нравится. Скажи вот что, папа: с кем ты будешь ее выполнять?

— Как с кем? С тобой, конечно. Она составляется для тебя.

— Вот тут ты ошибаешься. Со мной не получится. Я к тебе в Ростов не поеду.

До него не сразу дошли мои слова. Он глядел на меня во все глаза — пока они еще блестели. Только лицо посуровело.

— Как это — не поедешь? А что Киле нарассказал? И мама согласна — вчера заплакала, но обещала препон не чинить. У нее слово твердое, сколько раз на себе проверял.

— У мамы препон не будет, у меня появились.

Теперь и глаза его изменились. Он глядел зло и беспощадно — такой взгляд у него был при рассказе об арестах по классовому признаку.

— Значит, передумал? Не по характеру нормальная жизнь?

— Передумал, папа. Не по характеру. Ты сам объяснил, что характер у меня — не сахар.

Он приподнялся. Я тоже вскочил. Пришлось ухватиться рукой за стол — ноги не держали.

— А тебе не пришло в голову, сынок, что я могу применить силу? — медленно сказал он. — Я приказал Киле бежать за билетами. Скоро она вернется — и я схвачу тебя и потащу на вокзал. Все же сын — имею права.

Я перестал сдерживать ярость. Я кричал и махал руками перед его лицом.

— Нет у тебя прав! Их отобрали три года назад — на суде. А применишь силу — буду драться. С тобой, и с Килей, и с Маней! Со мной не справишься так просто, как с теми, беззащитными, кого хватал по классовому признаку!

Он страшно побледнел. Глаза его сверкали.

— Не сметь вспоминать мое прошлое! — сказал он глухо. — Приказываю, слышишь: не сметь!

— Буду! — орал я в исступлении. — Плевал я на твои приказы! Все припомню, все! Как обижал мою маму! Как хотел убить ее на моих глазах! Как подписывал списки на расстрелы сотен людей, не знающих за собой вины! Убийца, треклятый убийца! Меня не убьешь, прошло твое время! Мелким эксплуататором стать хочешь? От всего, что было в тебе идейного, отрекаешься, горе-социалист! Не боюсь тебя, слышишь, не боюсь!

Мне показалось: еще чуть-чуть — и он бросится на меня. Но я не мог остановиться и кричал все яростней. Всю жизнь потом я помнил то свое состояние. Удивительно: во мне немыслимо переплелись два противоположных чувства — бешенство, не знающее преград, и жалкий страх, терзающий каждую клетку. Я клокотал, вырывался из себя, был готов к драке — бесстрашно и безрассудно. Кричал: «Я тебя не боюсь!», — и смертно боялся.

Я знал — мне говорили — о физической силе отца, о его неукротимости, о способности в любой момент, по любому поводу кинуться в драку, о неумении простить даже самую маленькую обиду, самое крохотное оскорбление. В далеком «впоследствии», в лагере, среди простых уголовников и воров в законе, я услышал грозную и уважительную оценку определенного типа людей — «настоящий духарик» и не раз думал, что если и знал настоящего духарика, то им был, по всему, мой отец.

Но до лагеря и воров в законе вперемешку с робкими интеллигентными фрайерами было еще очень далеко. Я стоял перед грозно неподвижным отцом (он все-таки сдержался) и дико орал — от ярости, заставлявшей надрываться в крике, и ужаса, не дававшего замолчать. Ибо чувствовал: как только я перестану вопить и ему не нужно будет меня слушать, наступит развязка. Он расправится со мной — он всегда расправлялся со своими противниками.

И развязка наступила. Мне не хватило голоса — не только на крик, но и на шепот.

Отец, не шелохнувшись, холодно произнес:

— Уже закончил? Больше ничего не добавишь?

Тогда я схватил скатерть и рванул ее на себя. На пол полетели тарелки, бутылка, ножи и вилки, два толстых граненых стакана. Звон разбитого стекла наполнил обе комнаты. Из кухни вбежала насмерть перепуганная тетя Маня. Я с ужасом смотрел на то, что сотворил. Вокруг меня валялись осколки посуды и ошметки закусок. Отец смотрел не на пол, а на меня — тяжело, испытующе. Он и не собирался расправляться со мной.

— Скандалить и пить ты умеешь, в этом я убедился, — сказал он бесстрастно. — Что до остального — «будем посмотреть». — Он иронически подчеркнул ходячие строчки Демьяна Бедного, круто повернулся и, брезгливо обойдя разор на полу, вышел из комнаты. Тете Маня выбежала за ним, но через минуту вернулась.

— Сережа, что же ты наделал! — воскликнула она со слезами. — Что теперь будет, ты подумал?

— Хочу домой, — сказал я с трудом. Водка все больше кружила мне голову. — Проводи меня, тетя!

Она вывела меня на улицу.

— Не сердись, Сережа, ты доберешься, улица у нас тихая. А я пойду к Саше. У него было такое лицо… Боюсь, как бы чего не наделал!

Я шел и шатался, один раз даже упал. Мимо прошли две женщины, одна, я услышал, негодующе сказала другой: «Молодежь пошла! Нализался, скотина, как старый алкаш!» Они и не подумали меня поднять — я с трудом встал сам. Не знаю, как я добрался. Подходя к дому, отчаянно старался держаться ровно. Понимал: позор, если соседи увидят меня пьяным. Такого унижения мне не перенести. Дверь открыла мама — и так вскрикнула, увидев меня, что в коридор выбежал перепуганный отчим. Они схватили меня под мышки и потащили в комнату. Слишком быстро — меня еще сильней замутило, и все выпитое и съеденное бурно исторглось наружу.

Мама побежала за ведром, наклонила мою голову, чтобы стало легче, потом вытерла мокрым полотенцем лицо, стащила облеванную куртку. Она знала одно лекарство для меня — постель. Я лежал с полотенцем на лбу. Тошнота постепенно смирялась.

Мама села рядом. Она долго смотрела на меня, потом спросила:

— Что у вас произошло? Почему ты так безобразно напился? Как папа мог это допустить?

Я с трудом выговорил:

— Он заставил меня выпить. Я побоялся отказываться.

— Что было потом? Как тебя отпустили одного в таком состоянии?

Я постарался говорить понятней.

— Я поссорился с отцом. Я его оскорбил.

— Оскорбил? Отца оскорбил? Совсем опьянел, совсем! Как оскорбил?

— Обругал. Наговорил нехорошего. Не знаю, как он вытерпел. Думал, станет меня бить — нет, только сам ушел из комнаты.

Мама с минуту раздумывала.

— Значит, поругались? Саша всегда был резок, у тебя тоже не заржавеет на острое словечко. Два сапога — пара. И я дура — отпустила тебя одного на такое объяснение. Думала, мы с Сашей обо всем договорились — значит, кончено! О твоем характере позабыла… Ничего, завтра пойдем к Мане, ты попросишь прощения. Саша долго зла держать не будет — отец все же.

Разъяренный, я вскочил на кровати. Меня снова охватило бешенство.

— Он больше мне не отец! А встретимся, такого наговорю, что сразу меня убьет, если не трус.

Мама испугалась.

— Хорошо, хорошо, успокойся, пожалуйста! Все будет по-твоему, не бесись. Да ложись же, ложись, чего вскочил! — Она повернулась к отчиму, отчужденно сидевшему в стороне. — Осип, что думаешь? Мне идти к Саше — или ждать, когда он придет?

Отчим ответил очень резко — я никогда не слышал у него такого тона:

— Мое мнение ты давно знаешь. Надеюсь, твой Козерюк больше не придет, а тебе скажу одно: смири наконец свою гордыню! Это преступление — отдавать сына. Сама себе не простишь. Сереже жить, пойми это, а мы только доживаем свое.

Она устало поднялась.

— Ладно, будь по-вашему, никуда не пойду. — Она ласково погладила меня по голове. — А ты, Сережа, засни. Хорошенько поспишь — все поправится.

Я спал нехорошо: тошнота подкатывала к горлу, я стонал, очень болел живот. Первое мое опьянение больше смахивало на отравление.

В очередной раз проснувшись, я увидел через открытую дверь, что в парадном углу перед иконами теплилась лампада. Много лет, я уже говорил об этом, она была бессветна, а сейчас неровный огонек призрачно озарял и добрую женщину с ребенком, и молодого, красивого, вдумчивого Христа, и другие лики — не такие ясные, не так выписанные, не так украшенные.

А на полу, на коленях, молилась, часто творя крестные знамения, мама — ее тихий голос едва доносился до меня, в нем слышались слезы.

В ту ночь вся невозможность увиденного (мама никогда не становилась на колени перед иконами, никогда не плакала перед ними, никогда не била поклоны) до меня так и не дошла: я и без того был до одурения переполнен новыми ощущениями. По-настоящему я понял его смысл много позже. А тогда лишь повернулся на другой бок и, снова засыпая, услышал, как мама, тихонько, чтобы не разбудить меня, возвращается к своей кровати.

Утром я просыпался рывками — приподнимал голову, сонно осматривался, снова падал на подушку. Мама с отчимом, тихо разговаривая, что-то делали в соседней комнате. Потом они оделись и ушли. Я спал, наверное, до полудня. Жеффик, конечно, не допустил бы, чтобы его хозяин валялся в кровати, когда за окном широко сияет солнце, — но Жеффика уже не было.

На столе меня ждал завтрак. Все остыло, даже любимое мое

какао. Я жадно набросился на еду. Сперва отравленный, потом опустошенный желудок наглядно доказывал великую истину, что природа не терпит пустоты. Лишь преодолев желудочный вакуум, я огляделся.

Икон не было. В парадном углу, четко выделяясь на запыленных, выцветших обоях (за три года мы ни разу не делали ремонт), мягко светились разноразмерные пустые четырехугольники. Я впервые понял, что значит не верить своим глазам. Я и не видел, и видел одновременно.

Я бессчетное число раз всматривался в эти образа — и они по-прежнему физически стояли перед моими глазами, хотя остались уже только в памяти.

Теперь я понял, что делали мама с отчимом, пока я дрых в своей кровати (крохотная, она уже давно была не по мне — и ноги мои высовывались наружу из ее спинки). Но куда они дели иконы? С собой унести не могли — на работу с образами не ходят. Я обыскал обе комнаты, пролез во все закоулки — икон не было. Открыл комод, выдвинул ящики — ничего.

Впрочем, я и не думал что-нибудь найти в комоде: иконы в нем могли только лежать — немыслимо, чтобы мать валила один образ на другой. Я раскрыл платяной шкаф. Они были там, укрытые от постороннего глаза. И они не лежали — они стояли вдоль двух стенок в том же порядке, в каком красовались на стене, — прежний иконостас. Только лампадки перед ним не было — завернутая в пакет, она была спрятана в стороне, среди запасной обуви.

Я не сразу закрыл шкаф — не мог оторваться от маминого священного тайника. Мне было очень сложно: я радовался, что добился своего, благодарил маму, обвинял себя, что заставил ее пойти на жертву. И уж совсем неожиданным был стыд, что все получилось как-то нехорошо… Я мучился: должен ли я сказать ей спасибо — или это будет свидетельством моего злого торжества?

Я ушел в школу, так и не решив, что делать.

Вечером, вернувшись, я сразу бросился к маме:

— Мама, я понимаю, как тебе было…

Она гневно оборвала меня. У нее дрожали руки — так бывало только при сильных потрясениях. Отчим тоже выглядел расстроенным. Мама швырнула мне письмо на двух страницах.

— Читай! Киля принесла от твоего отца. Он от всей души благодарит меня за то, что я тебя хорошо воспитала. Весь вопрос — от какой души?

Я не прочел, а проглотил письмо. Отец отрекся от меня. Он больше никогда не увидит сына. Он глубоко уверен, что я непоправимо испорчен, меня уже нельзя исправить. Он убедился:

я груб, несдержан, нахален. Еще мальчишка, хлещу водку, как воду, сочиняю отвратительные, хулиганские вирши, пропадаю все вечера, шляюсь по темноте с такими же сопляками-собутыльниками и подозрительными девками. Вот к чему привело твое воспитание, твоя материнская покладистость, Зина! Хочешь знать, что ждет твоего Сережу? Этот негодяй либо просто сопьется и окочурится на улице в какую-нибудь зимнюю ночь, либо схлестнется с прямыми уголовниками, станет обитателем воровских малин и тюремных камер. Он не желает зла своему неудавшемуся сыну, но, зная его будущее, не может не сказать вдогонку: «Туда тебе и дорога, поганец!»

Я молча возвратил письмо. Она глядела на меня распахнутыми негодующими глазами.

— Что скажешь о письме родного отца? Я высоко вздернул плечи.

— Когда мы прощались с отцом, он сказал о моем будущем — «будем посмотреть». Вполне согласен — посмотрим.

— Хорошо, это будущее. А сейчас?

— А сейчас… Письмо адресовано тебе, но я отвечу на «негодяя». И читать мой ответ ему будет куда неприятней, чем мне — его письмо. Он высказал мерзкие предположения о моем будущем — я припомню ему правду. Я ведь не все сказал, когда он меня напоил. Кое-что добавлю, мама!

— Хватит обострять и без того острые отношения, — осторожно заметил отчим.

— Пусть пишет! — решила мама. — И я от себя добавлю пару слов. Ты знаешь, Осип, я сама ругаю Сережу, когда он заслуживает, но терпеть наговоры Саши не стану.

Я написал в тот же день. И письмо было таким, какого не стерпел бы и святой, взыскующий страдания. Я не сомневался, что отец примчится кулаками учить меня вежливости. Я сознательно вызывал такой финал.

Отец, однако, не отозвался. Он повел себя так, словно моего оскорбительного послания не было. Вероятно, письмо не дошло до него. То ли отчим решительно запротестовал, то ли мама все-таки испугалась.

Я часто потом (всю жизнь!) думал: как все-таки не похожа реальность, какая она есть, на то, какой она выглядит. Отец вовсе не стремился оскорбить меня — возможно, он сам впал в отчаяние от мерзкого моего облика (того, что он себе вообразил). Я предстал ему не реальностью, а иллюзией.

Вся человеческая история — вакханалия иллюзий. Я и сам, и раньше и после (особенно — после), жил среди призраков, факты были куда нереальней красочных выдумок, радостных и грозных

фантазий. Когда-то говорили, что живописная ложь всегда правдоподобней правды. Отец всю жизнь творил миражи (и для себя, и для других) — не мне осуждать его за то, что и я в какой-то момент очутился среди его химер. Во всяком случае — он был честен. А быть честным в мире фикций — это очень болезненное дело.

Прошло шесть или семь лет, и я — совсем неожиданно — получил от него письмо. В одной из городских газет напечатали статью о молодых ученых Одессы. Среди них упоминался и я — в числе самых заметных. Тетя Киля выслала эту заметку в Ростов — отец отозвался немедленно. Он просил прощения за то, что при встрече так нехорошо подумал обо мне. Он увидел тогда бушующую энергию — и ужаснулся, что она выплеснется на самую легкую, самую скверную дорожку. Он бесконечно рад, что ошибся. Он уже тогда понял, что ординарным я не стану — мне суждены необычные поступки. Теперь он твердо знает, что я буду ученым — возможно, даже крупнейшим, он ждет от меня великих открытий. И заранее гордится ими.

Вот такое письмо — очень хорошее. И оно опять было полно красочных иллюзий — как и то, давнее. Просто на этот раз они были утешительными — а значит, вдвойне опасными. Никаким ученым, тем более крупным, я не стал. Никаких великих открытий не совершил. У него не было причин гордиться мною — скорей уж наоборот. Особенно если учесть, каким образом обернулось мое будущее.

Одно из его давних пророчеств все же исполнилось — я стал обитателем и тюремных камер, и лагерных бараков, полных профессиональных воров и убийц. И с некоторыми из них подружился, освоил их язык — даже издал небольшой словарик блатной музыки. И убедился: отец воистину с болью воспринял материализацию своего прорицания — и построил на ней новую впечатляющую химеру.

В конце 1936 года в Лубянской тюрьме мне разрешили одно свидание с женой. И она сообщила, что известие о моем аресте заставило отца покинуть Ростов и примчаться в Одессу, чтобы разузнать у матери все подробности. Он собирался поехать в Москву — надеялся на старые, еще времен большевистского подполья и гражданской войны, знакомства. Многие прежние его друзья занимают ныне высокие государственные посты — они посодействуют. Он не сомневался, что сможет меня освободить.

Я ужаснулся. На Лубянке яснее, чем где бы то ни было, чувствовался ледяной ветер, задувший по стране. Здесь иллюзиями не обольщались. В камерах с каждым днем прибывало давних подпольщиков — таких, как отец. Не так уж много

времени оставалось до дня, когда официально распустят общество старых большевиков и бывших политкаторжан — на свободе уже почти никого не было. И я велел передать отцу, что он никоим образом не сможет помочь мне, а себя наверняка погубит — в провинции пока спокойно, а в центре его соратников уже подметают.

Не знаю, подействовал ли мой уговор (верней — отговор) — или отец сам понял, что нынче спасителен лишь испытанный трамвайный принцип: «Не высовываться!», но в Москве он не появился.

Дошел черед и до него — правда, с некоторым опозданием. В 1938-м или 1939-м его взяли и определили в какой-то сибирский лагерь. Освободили в 1946-м. Он выехал в Ростов к семье, но по дороге заболел и умер на станции — не знаю какой. Там его и похоронили.

Ему было примерно 62–63 года. Умирая, он был на двадцать лет моложе, чем я сейчас, когда пишу о нем.

4

Аркаша Авербух, создатель нашей школьной ячейки МОПРа, после семилетки пошел рабочим на завод. Там тоже боролись за мировую революцию, но главным все же было выполнение производственного плана.

Аркаша скучал по прежнему размаху революционной борьбы и каждый раз, когда мы заседали по международным делам, аккуратно являлся в свою бывшую школу. Руководство ячейкой он передал мне, но идейными указаниями не оставлял. Я был ему благодарен: опытному борцу за мировое переустройство уже исполнилось семнадцать — мне было только пятнадцать, и я еще плавал в трудной проблеме всемирной революционной подготовки.

Зато я был изобретательней! Мне скоро надоели пламенные речи. Душа моя жаждала дела, а не слов. Я мучительно размышлял: что бы такое предпринять, чтобы сдвинуть застопорившее преобразование зарубежных стран. Обнадеживающая мысль пришла накануне очередного заседания бюро мопровской ячейки.

Мы собрались вечером в комнате нашей седьмой группы. Испытанный боевой актив: Фима Вайнштейн, Вася Визитей, Гена Вульфсон, Циля Лавент, Паша Савельев, Марина Крачковская. Немного опоздала к прениям Фира Володарская — она, впрочем, всегда опаздывала, ей одной сходило с рук подобное пренебрежение общественными обязанностями. Однажды я

добился, чтобы Фире вынесли пионерское порицание, — она обиделась: «Я пришла, чтобы потом погулять с тобой, а ты мне ставишь на вид. Никогда теперь не приду!» Угрозу, впрочем, не выполнила. Приходила и впредь — и аккуратней.

Я открыл заседание. Аркаша произнес хорошую речь о том, что на их заводе не забывают революционных задач и к грядущим революционным бурям готовы, а в нашем Ильичевском райкоме комсомола (он туда заходил) все ребята согласны ускорить их неизбежный приход, только пока твердо не установили — как.

Тогда я обнародовал перед собравшимися свой план.

В Бессарабии, в Татар-Бунаре (бывшей российской провинции, нагло захваченной румынскими боярами), недавно произошло крестьянское восстание. Труженики земли, до предела измученные помещиками, поднялись с оружием в руках на своих эксплуататоров. Они умоляли о помощи, но помощь не пришла. Восстание было потоплено в крови, оставшиеся в живых навечно ввергнуты в тюрьмы. Терпеть это невозможно. Каждая честная душа содрогается, когда узнает о зверствах румынских бояр. И встает законный вопрос: почему восстание не удалось? Почему наше правительство не оказало помощи, которую так страстно ожидали восставшие? Ответ ясен. Оно не решилось потому, что на него не давили. Давить должны были мы, весь сознательный советский народ. Мы этого не сделали. Значит, мы виноваты в тяжкой судьбе наших братьев за рубежом. Мы обязаны исправить свою ошибку! Предлагаю серьезно нажать на наше правительство, прямо потребовав, чтобы родную Красную Армию немедленно двинули через Днестр для помощи угнетенным братьям.

Моему плану обрадовались. Аркаша одобрил идею, но потребовал увязать наказание румыно-бояр с общей проблемой свержения капитализма. Правда, такое масштабное дело пока еще не подготовлено даже в малом — освобождении одной Европы. А ведь есть еще Америка, тоже враг не из слабеньких.

Фима согласился, что с освобождением Европы придется погодить, но усмирения Румынии нельзя откладывать — дело это назрело до нестерпимости, он готов к походу за Днестр.

Вася, признававший только крутые меры, закричал: «Немедленно жахнуть по боярам — и крышка всем!» Он жил не в Одессе, а в поселке Беляевка на Днестре: румыны под самым боком — их дружно и по-соседски ненавидели.

Циля (самая серьезная девочка в школе, председатель школькома) с немедленным ударом не согласилась и предложила раньше отправить в Румынию ультиматум — а там посмотрим, как ответят.

Гена презрительно отмахнулся: она, Циля, занимает

значительный общественный пост, а сама ни на что значительное не способна.

Фира промолчала: других она поддерживать не любила. И не терпела, если с ней не соглашались. Обсуждение шло очень важное — лучше было не вмешиваться в дрязги, а проголосовать потом за общее решение.

Марина и мой верный сторонник Паша Савельев в дискуссию так и не вступили.

В результате долгого обсуждения мне поручили написать командиру прославленной на весь мир красной конницы Семену Буденному хорошо аргументированное требование — послать наши боевые корпуса на белых румын. И не затягивать это нужное дело! И еще я должен добавить, что послание это — не от одной нашей школы, а фактически от всех советских школ, даже от всего народа, ибо нам больше невозможно терпеть того, что вытворяют эксплуататоры с закордонными братьями.

Письмо я сочинил тут же, на собрании, — Марина перебелила его аккуратным почерком, я подписал и понес на почту. Адреса Буденного мы не знали, но решили: если напишем на конверте «Москва. Кремль. Великому красному коннику Семену Михайловичу Буденному», — оно непременно отыщет адресата.

Недели через две меня вызвали прямо с урока и приказали немедленно явиться в Ильичевский райком комсомола: из Москвы прибыло важное известие. Меня взялся сопровождать Паша Савельев. Внутрь он зайти не решился — обещал подождать на улице.

В просторной комнате за тремя столами сидели три человека — два парня и одна девушка, инструкторы по пионерской работе. Одного, Алешу Почебита, я знал — он часто появлялся в нашей школе и помогал отрядам школьного форпоста. Еще он дружил с семиклассницей Шурой Рябушенко, раза два провожал ее домой, на Раскидайловскую, — это многие видели. Он был положительный, высокий и сильный, а она балаболка и хохотунья, ничего серьезного. Я сам с ней дружил почти целую неделю — но Шуру перебила Фира Володарская.

Я поздоровался с Алешей, спросил, зачем меня вызывали. Но главным в комнате оказался не он, а девушка. Она подозвала меня к своему столу.

— Мы вызвали тебя в связи с твоим посланием. Это ведь ты писал нашему великому конному командиру товарищу Буденному?

— Я… — Меня смутила сухость в ее голосе. И глядела она недоброжелательно. Я поспешно добавил: — Но решали мы

вместе, все наше мопровское бюро.

— Теперь читай ответ.

«Дорогой пионер Сережа, — писал Буденный, — был очень рад твоему письму. Вполне согласен с тобой, что издевательства капиталистов над нашими братьями за рубежом нестерпимы. Но наша великая конная армия подчинена родному советскому правительству и без правительственного приказа воевать не должна. Заверяю тебя, что в час, когда мы получим такой приказ, наступит желанный миг освобождения всех угнетенных в мире. Будь готов в ожидании этого великого часа. Желаю доброй учебы. Командарм Буденный».

Не уверен, что передал дословно (хотя много раз потом вспоминал эту записку) — но смысл точен. У меня дрожали руки. Я был счастлив — Буденный, правда, отказался выполнить нашу коллективную просьбу, но признал, что она не только разумна, но и желанна, только невыполнима без специального приказа — и собственноручно написал мне об этом.

— Могу я взять письмо с собой в школу? Девушка возмутилась.

— Ни в коем случае! Это важный военный документ. Он может храниться только в официальном учреждении. А школа — это учебное заведение. Понимаешь разницу?

— Но письмо адресовано мне, — возразил я. В ее глазах светилась суровая категоричность.

— Это только твое самомнение! То, что на конверте стоит твоя фамилия, еще ничего не означает. Ты должен отличать форму от содержания, если идейный пионер. Твоя фамилия — форма, она означает, что ты задал вопрос от своего имени.

— Я спрашивал от имени всей нашей школы.

— Вот видишь, сам понимаешь! Это не твой личный интерес — это интерес всех ребят. И ответ — им, а не одному тебе. Его должны видеть все пионеры, для этого одна ваша школа не годится. Мы поместим письмо в красивую рамочку и повесим в комнате первого секретаря. Пусть пионеры приходят в райком комсомола и изучают ответ великого командарма товарища Буденного на наш общий пионерский вопрос.

Я понял, что адресованное мне письмо я не получу, и, отдав пионерский салют, хотел уходить, но девушка меня задержала. Она была очень недовольна.

— Не торопись. Надо обсудить твое поведение. Мы хотели вынести тебе выговор за плохое понимание пионерского долга — но решили ограничиться воспитательной работой. Ты готов выслушать наши претензии?

— Всегда готов! — машинально ответил я официальным

отзывом, только руку над головой не поднял. Я был подавлен.

Главная девушка строго разъяснила, что пионерская организация не вполне самостоятельна — она не замыкается внутри себя. Это лишь одно звено в обширной цепочке, начинающейся ВКП(б) — Всесоюзной коммунистической партией большевиков, продолжающейся через ленинский комсомол и пионерскую организацию до малышей октябрят. Это могучая революционная цепь держится на железном подчинении низшего звена высшему. Мы, комсомол, и шага не сделаем без прямых указаний партии, без ее безусловного одобрения нашей инициативы. Пионерская организация, в свою очередь, выполняет указы, наставления, директивы вышестоящего звена — ленинского комсомола. Все, что совершается внутри пионерии, выносится на общее обсуждение, на общий пионерский суд. Но то, что простирается дальше, должно быть одобрено комсомолом — по крайней мере, согласовано с местными комсомольскими руководителями. А ты как поступил? Пришел к нам в райком согласовать свое обращение к товарищу Буденному? Получил разрешение? Даже старшего пионервожатого, нашего представителя при вашей школе, не поставил в известность! Вот он сидит перед тобой, — она показала на ухмыляющегося Алешу. — Для него письмо Буденного стало такой же неожиданностью, как и для всех нас.

— Я не знал, что надо извещать старшего пионервожатого, — повинился я.

— О чем и речь! Не знал, а должен был знать, — как сознательный пионер.

Мне пришла в голову отговорка, сгоряча показавшаяся безупречной.

— Но ведь если бы я пошел в райком просить разрешения, вы могли его и не дать.

— Очень возможно. Даже вполне вероятно, что не разрешили бы. Потому что учли бы то, что тебе и в голову не пришло: товарищ Буденный чрезвычайно занят конными делами и не может отвечать на посторонние вопросы, он в далекой командировке вне Москвы и вообще тяжело заболел… Ты захотел написать — это твое личное желание, нас оно не занимает. Но разрешить или запретить тебе это делать — наша проблема. Мы здесь для того и находимся, чтобы это решать. Учти на будущее.

— Учту, — пообещал я.

— Тогда будь готов!

— Всегда готов!

Я наконец отдал правильный пионерский салют. Алеша проводил меня в коридор.

— Как тебе Верочка? Выдающаяся комсомолка! — сказал он с восхищением. — Другой такой принципиальной и выдержанной в райкоме нет. Даже Гриша Цейтлин из горкома ее не переплюнет, а Гриша может как никто! Идут слухи, что на ближайшей конференции Веру выдвинут в секретари.

— И хорошо сделают, — согласился я.

— На днях я приду в школу, — пообещал Алеша. — Проведем торжественный пионерский сбор в честь письма товарища Буденного.

Паша Савельев выдержанно ждал меня на улице. Он был в шестом, а не в седьмом классе и большим активистом МОПРа еще не стал, но очень старался — и везде следовал за мной. Паша пришел в восторг, услышав о письме.

В тот же день все школьные активисты узнали о замечательном событии. Фима, самая проницательная голова нашей ячейки, категорически объявил: в письме имеется важнейшая подспудность. На самом деле конная армия уже полняком готова к походу на запад и ждет только приказа правительства — именно так следует понимать письмо товарища командарма!

— Мировая революция начнется весной, — доказывал он. — Осталось пережить зиму. Зимой войны не начинают, это факт. А весной — грянем!

Вся школа гордилась, что будущий командующий европейской освободительной армией известил нас в личном послании о наступлении мировой революции.

На торжественном сборе не радовался только Аркаша Авербух, самый авторитетный из наших мопровских активистов. Больше того: он был расстроен. Конечно, письмо пришло на мое, а не на его имя, — но я не мог подозревать Аркашу в зависти.

После собрания он пошел меня провожать — чтобы объясниться. На Косарке еще прошлой весной убрали последние лотки и не порубленные в голодное время торговые столы — теперь на их месте росли молодые деревца. Мы уселись на скамейку под одним из них — и Аркаша раскрыл мне свою душу. Всегда хмурый, с сумрачно прищуренными глазами, с ушами, торчащими перпендикулярно щекам как распахнутые крылышки, он говорил грустно, но коротко и увесисто.

— Фима ищет в письме тайну. Фима очень умный, но полный дурак, можешь мне категорически верить. Никакой мировой революции в эту весну не будет. Буденный струсил. Он же отговаривается, как ты этого не видишь?

Приказы правительства! По-настоящему захотел бы идти за кордон — сам бы велел правительству приказать. Что сильней —

боевая армия или десяток вождей? Кто будет воевать — молодые солдаты или наши старики-подпольщики? Я осторожно сказал:

— Ты, кажется, перестаешь верить в наше революционное правительство?

— Я больше не верю, что весной начнется мировая революция, — сказал он печально. — Для того и согласился написать товарищу Буденному, чтобы наверняка удостовериться. Я тебе скажу страшную вещь, Сережа. Я был на открытом партийном собрании нашего завода. Всех приглашали — я тоже пошел. И о чем, ты думаешь, шли прения? Доклад секретаря партячейки назывался по-хорошему: «О международном положении и наших задачах». А говорили о том, что производственный план под угрозой, что в лавочку около завода сахар привезли, но свежий хлеб бывает не каждый день, что в помещениях много мусора — надо подметать аккуратней. И хоть бы кто остановился на неотложной задаче — помощи нашим истекающим кровью зарубежным братьям! Полное затухание революционного духа.

— У нас в школе революционный дух в разгаре, — возразил я.

— Потому я и прихожу. У вас легко дышать — настоящий боевой воздух. На заводе потянуло нэпманским гнильем.

Мы помолчали. Он о чем-то нерадостно размышлял, я не знал, как ему помочь. Он был прав — положение становилось все серьезней. Нэп торжествовал на каждой улице — сияли новым, электрическим светом шикарные магазины, шумели базары, каждый вечер на специальных площадках гремела музыка и самозабвенно танцевали парочки. Бороться с этим безобразием становилось все трудней. Нехороший торгашеский дух проникал даже в крепости революции — на фабрики и заводы. Он заговорил снова:

— Я сейчас каждый день читаю газеты. Жуткое положение! Ты знаешь, кто после смерти товарища Ленина главный секретарь у нас в партии?

— Этот, как его… Нет, забыл, Аркаша.

— Грузин Иосиф Сталин, вот кто, — тебе это нужно твердо знать, раз заменяешь меня в ячейке МОПРа. Так вот, этот чудак Сталин договорился до страшной вещи — в глазах темнеет от возмущения! Сам поставил крест на мировой революции.

— Я ничего не слышал, Аркаша.

— Очень жаль, что не слышал! Во всех газетах напечатано. Надо строить социализм в нашей одной стране — вот такой его план. Полный отказ от победы во всем мире. Теперь понимаешь, почему Буденный так осторожничает? От такого типа, как этот

грузин, разве дождешься приказа о немедленном выступлении?

— Ну, он не один в правительстве, этот Сталин.

— Не один, конечно. И с ним борются — такие дискуссии развели! Но и он спуска не дает. Грызутся — а мировая революция погибает!

Подавленность Аркаши передалась и мне. Перспективы не было, жизнь упиралась в тупик. Некоторое время мы молчали. Из садика строителей, примыкавшего к Косарке, доносилась музыка — там кричали и топали ногами. Теперь такие гулянки устраивались каждый вечер — без билетов в сад не пускали. Было грустно от такого необузданного торжества.

Аркаша поднялся первый.

— Бывай, Сережа. На следующее бюро приду.

— Непременно приходи, Аркаша!

А письмо Буденного было заключено в полированную деревянную рамочку и долго висело над головой первого секретаря райкома комсомола. Потом оно исчезло — это вызвало разные слухи. Некоторые считали, что его просто сперли любители достопримечательностей, другие утверждали: его засекретили — из осторожности, чтобы о нем не узнали иностранные шпионы и не сделали вредных для нас выводов из собственноручного буденновского извещения.

Самые горячие были уверены: именно вражеские агенты его и похитили! И предлагали устроить общенародную облаву на шпионов — с заходом милиционеров в каждую подозрительную квартиру.

5

В нашей семилетней школе № 24 основным делом была общественная работа, а не учеба.

Уроки были как уроки. Главный предмет, обществоведение (а заодно — и русский язык), вела Варвара Александровна Пора-Леонович. Шептались, что она из сербских княгинь. Она не отрицала, что из сербов, а княжеского величия и ума у нее хватило бы и на немецкую императрицу. Вся школа ее любила и побаивалась, на обществоведение не опаздывали даже лентяи — она могла так взглянуть на опоздавшего, что сам выдающийся громобой Вася Визитей терял голос и только что-то жалко помекивал. Я ходил в ее любимцах. Во время перерывов она обнимала меня и, прогуливаясь по коридору, спрашивала, какие книги я прочел и что нового узнал.

Математикой командовала заведующая Любовь Григорьевна. Я математику не любил, особенно геометрию, и Любовь

Григорьевна говорила, что ждала от меня большего, но, видимо, уже не дождется. Я не знал, чего она хочет. Я честно учил ее уроки и твердо знал, что больше, чем честности, ей от меня не видать.

Зато Лизавету Степановну, совмещавшую физкультуру с украинским языком, мы любили даже сильней, чем Варвару Александровну. О ней рассказывали еще больше. Точно было известно, что она начинала как балерина и несколько лет провела в студии при оперном театре. Мой отчим утверждал, что помнит ее на сцене: худенькая, изящная, стремительная, она хорошо смотрелась в народных, особенно украинских, танцах. Германскую войну прошла в санитарных батальонах, гражданскую где-то и как-то перебедовала, а с началом нэпа появилась в кабаре — пела и танцевала. Когда открылись школы (в гражданскую почти нигде не учились), в последний раз сменила специальность — стала учительницей. Одинокая Лизавета Степановна жила при школе. Она была веселой, в школьных коридорах ее всегда окружали детишки. Она даже бывала на наших сборах — из всех учителей приглашали только ее. И она распевала с нами пионерские песни, а мы (после сборов) с удовольствием подтягивали Лизавета Степановне ее любимые украинские романсы:

Дивлюсь я на небо
тай думку гадаю:
Чому ж я не сокіл,
чому ж не літаю?

В Одессе, еврейско-русско-украинско-молдавско-греческой, украинский язык не получил широкого распространения даже в годы принудительной украинизации. А у нас в школе на нем не только пели, но и (иногда) разговаривали — и все из-за обаятельной Лизаветы Степановны. На выпускном спектакле я читал для нее типичный образчик украинского литературного импрессионизма — коротенькое стихотворение Павло Тычины. Она мне открыла этого ярко сверкнувшего поэта, обещавшего стать великим, но вскоре глухо погасшего в безвременье официального высокого признания — классика украинской поэзии. Стихи были блестяще выполнены — и к тому же отвечали моим служебным мопровским функциям:

На майдані коло церкви
Революція іде.
— Хай чабан, — усі гукнули,

— За отамана буде!

На мандат коло церкви
Засмутились матерь
— Тай свети ти ім дорогу
Ясен місяць у горі!

На мандані коло церкви
Замовкає річ.
Вечір.
Ніч.

Я закончил школу в 1926 году и после этого иногда видел Лизавету Степановну на улице. После войны, в 1948-м, временно освобожденный из лагеря, я приехал на неделю-другую в Одессу — повидать мать. И в свободный день посетил домик на улице Средней, где когда-то была наша школа (перед войной она переехала). На бывшем школьном дворике — совсем пустынном (только два тополя распростерли над ним свои непрестанно звенящие кроны) — сидела на лестничных ступеньках маленькая седая старушка. Я подошел к ней, поклонился и спросил:

— Вы не узнаете меня, Лизавета Степановна?

Она всмотрелась — и вдруг совсем по-молодому вскочила и бросилась мне на грудь.

— Сережа! Боже мой, ты!

Вероятно, никого за всю жизнь я не обнимал так нежно и благодарно, как мою старую учительницу…

С Верой Трофимовной, преподавательницей пения, отношения у меня сложились до сердечности простые: она не приняла меня в ученики. Она сразу раскусила меня! Правда, в шестом классе она долго старалась научить меня петь, а потом, ласково улыбнувшись, постановила:

— Давай договоримся, Сережа. Тебе бы лучше молчать, когда все поют, — а ты никак не можешь не участвовать. Получается, что всем мешаешь — хотя и не хочешь. Я разрешаю тебе уходить куда-нибудь подальше с моих уроков.

Не уверен, что я уходил гулять, но что целый час, отведенный на пение, радостно и свободно читал книги, помню хорошо.

Теперь — о человеке, несколькими словами переменившем мою жизнь (много, очень много лет мне язвил душу разговор с ним — но это был очищающий стыд). Сергей Станиславович Бартошевич, наш учитель физики. Высокий, благообразный, пышноусый, с аккуратной — широким клинышком — седеющей

бородкой, в неизменной белой фуражке, не то в курточке, не то в толстовке, но всегда с чистейшим подворотничком — настоящий старорежимный интеллигент среди расхристанной «босячки» (этот новый житейский стиль одолевал даже взрослых).

Физикой я тогда еще не увлекался. Мне были одинаково интересны все предметы, кроме, естественно, поэзии и истории — это были особые страсти. Но поэзию нам не преподавали, а история была лишь крохотной частью обществоведения.

Случилось, однако, так, что на книжном развале Конного базара я купил удивительную книгу. Деньги у меня теперь появлялись — приучился экономить на дневном перекусе и иллюзионных выдачах: мама поняла, что бороться с моей кинострастью бесполезно, а я постепенно усвоил, что далеко не всякий фильм заслуживает, чтобы на него бегать два-три раза. И потом: я начал сколачивать свою собственную библиотеку — это требовало вложений.

И одной из матерей-основательниц моего собрания стала брошюра петроградского профессора Ореста Даниловича Хвольсона под захватывающим названием «Теория относительности А. Эйнштейна и новое миропонимание. Издание третье. Петроград. 1923 год». Я упивался этой книжкой. Впрочем, блестяще написанная, она все же вряд ли была рассчитана на таких, как я. Я слишком мало знал о старом миропонимании, чтобы вникнуть в миропонимание новое — но поражен и завоеван был сразу. С того дня я неутомимо разыскивал все, что подписано этим влекущим именем — О.Д. Хвольсон. Прошло всего несколько лет — и пятитомная «Физика» этого петроградского профессора стала в полном смысле моей настольной книгой: я держал все тома самого полного в мире учебного курса физики не на полке, а именно на столе, под рукой.

Я ходил по школе и таскал под мышкой брошюру Хвольсона. Я рассказывал о ней друзьям. Я декламировал на переменах самые драматичные отрывки. И вряд ли понимал больше трети того, что читал. И едва ли мои приятели уразумевали больше половины того, что я рассказывал. Но все видели главное: я проник в глубины труднейшей из современных наук. По этой самой причине я — выдающийся чудак, особый тип, перед которым раскрывается сияющее будущее, а наша школьная физика — жуткая отсталость, вряд ли ее стоит по-серьезному изучать. И славный Сергей Станиславович — полностью старорежимен, он и понятия не имеет о революции в его собственной науке.

Передо мной открывался гладкий путь самодовольного всезнайки — бессервиссера[22] хвастуна, себялюбца, болтуна и

верхогляда. И я бодро двинулся по этой заманчивой дороге. На уроке физики при молчаливом восторге нашей седьмой группы я сказал Сергею Станиславовичу, что тот не знает собственной науки и учит нас неправильно: и свет не распространяется прямолинейно, и пространство искривлено, и масса тел отнюдь не постоянная величина, и время вовсе не однородно и не равномерно. Все это давно опровергнутое старье.

Сергей Станиславович растерялся как мальчишка. Он понятия не имел о новых открытиях. Весь его научный кругозор ограничивался старым гимназическим учебником Краевича — и новой, написанной для трудшкол, но столь же старой по сути книгой Цингера. Он потрогал протянутую ему брошюру Хвольсона, но читать ее не стал — и вдруг, запинаясь, растерянно извинился перед классом, что не следит за научной революцией. Он понимает: это его большой просчет, он постарается его исправить.

Я был героем дня. Даже малышня из низших групп поглядывала на меня почтительно. Все знали: я публично посадил в лужу самого уважаемого нашего учителя. В школьных коридорах с восхищением рассказывали, как жалко — ершом на сковородке — крутился наш физик, когда обнажилось его пустое нутро. Я гордо принимал поклонение.

На другой день Сергей Станиславович подошел ко мне на перемене — в тот день физики в нашей группе не было.

— Сережа, ты не можешь задержаться на часок после уроков?

— Конечно, могу, — сказал я поспешно. — А для чего это нужно, Сергей Станиславович?

— Хочу поговорить с тобой наедине.

Мы сидели в нашей седьмой группе — Сергей Станиславович на стуле, я за партой. Он ласково улыбался и смотрел на меня добрыми глазами. Мне было неловко: я понимал, что речь пойдет о вчерашнем его конфузе. Он, по всему, станет пилить меня за непочтительность. И я внутренне ощетинился: приготовился к резкому отпору, к жесткой защите своего права знать больше, чем он. Но он неожиданно заговорил о другом.

— Сережа, вчера ты рассказывал об очень интересных новых открытиях. И показывал книгу, о которой я еще не слышал. У меня к тебе большая просьба: изложи мне подробно самое важное, что в ней есть. И вообще: что ты узнал интересного о последних достижениях? Буду очень, очень благодарен тебе, если поделишься со мной научными новостями.

В тот день книги Хвольсона я в школу не взял, но это не имело значения: я помнил каждую страницу. И мог подробно — в меру собственного малопонимания — пересказать важнейшие

факты. Но я растерялся. Мне было трудно — Сергей Станиславович поставил меня в тупик: яйцо чванливо уселось за парту, чтобы учить курицу.

Впрочем, стеснение скоро прошло. Книга была такой захватывающей, что все постороннее стушевалось, а язык у меня всегда двигался свободно. Я увлекся своим рассказом.

Сергей Станиславович слушал внимательно, часто подавал реплики — и они были настолько к месту, что, еще не окончив рассказа, я смутно, но безошибочно ощутил: узнав от меня о новых открытиях, он разобрался в них гораздо лучше, чем я.

— Как интересно! Как необыкновенно, Сережа! — сказал он задумчиво. — Воистину новое миропонимание. А я так погрузился в нашу школьную физику, что перестал выходить за ее пределы. В гражданскую вообще было не до преподавания: мне иногда казалось, что я никогда не увижу школы.

— Завтра я принесу вам книгу Хвольсона.

— Не надо. Теперь я читаю медленно. Ты, наверное, одолел ее в три-четыре дня, а мне понадобится три-четыре недели. Мы сделаем по-другому, Сережа. Ты молодой, жадно кидаешься на все новое, быстро все усваиваешь. Давай устроим содружество: ты станешь сообщать мне обо всем интересном. Но не как вчера, не при всем классе, — ребята начнут посмеиваться, а я хочу по-серьезному. Ты будешь учить у меня школьную физику, а раз в неделю или две мы, как сегодня, посидим вдвоем, и ты мне расскажешь о том, что происходит в новой науке.

Какие-то книги я у тебя возьму, чтобы почитать, где-то мне хватит твоего объяснения. Не возражаешь, Сережа?

— Сделаю, как вы хотите, Сергей Станиславович.

Я начал багроветь от стыда. Он продолжал — так же ласково.

— Я ведь почему прошу, Сережа? Ты уже вырос, можешь меня понять. Я по отцу поляк, а пишут, что поляки — самый гордый народ в мире. Я в это не верю, мало ли что придумывают о разных нациях, да ведь без причины и ложь не солжешь. Когда я был в твоем возрасте (очень давно — еще при царе миротворце, до Николая Кровавого) мама частенько мне говорила: «Задираешь нос выше лба!» Вчера всю ночь плохо спал — так было обидно, что опозорился перед учениками.

Я воскликнул чуть не плача:

— Сергей Станиславович, честное пионерское, я не хотел…

— Знаю, знаю, — мягко прервал он меня. — Ты хотел поделиться удивительными открытиями, хотел вместе со мной порадоваться, что в науке совершается революция. И спасибо тебе за твое желание и твой интерес — это ведь и мне похвала, что ты читаешь такие книги… А получилось не совсем удачно. И потому,

Сережа, просьба: когда захочешь похвалиться, подумай, как примут нас с тобой ученики. Молодые всегда опережают стариков — это их право, их доля. Это старческая заслуга, что молодежь идет дальше. Но только бы без пренебрежения, без унижений…

— Сергей Станиславович, никогда больше! Даже в мыслях. Я все понимаю!

— Ни минуты не сомневался, что поймешь. Итак, мы договорились: узнаешь что новое — сначала просвети меня один на один. А потом, на уроке, я тебя специально вызову — и ты нам расскажешь. Всем интересно — и никому не обидно.

Я выскочил из класса, сгибаясь от стыда. Я шел и мычал какие-то оправдания — но они не оправдывали. Их попросту не было! Много лет прошло с того вечера, когда старый учитель рассказал легкомысленному ученику, как ранит необдуманный поступок. Но и взрослый, и стареющий, и старик, я краснею и сжимаюсь от острого стыда, если вспоминаю этот разговор.

Я узнавал много нового, непрерывно, каждую свободную минуту, читал — книги постоянно менялись. Но ни разу я не воспользовался дарованным мне правом учить моего старого учителя. Сергей Станиславович иногда сам спрашивал, не пришла ли пора побеседовать, — я отговаривался незнанием. Я больше не позволял себе беспардонно хвастаться на уроках какими-либо знаниями, приобретенными вне школы, — если это могло как-то уколоть преподавателей. Я, конечно, продолжал «выставляться», но уже не так нагло. И дело было даже не в том, что я стал бояться обижать людей, — постепенно, факт за фактом, год за годом в меня внедрялось сознание: унижая другого, я тем самым унижаю себя.

Иногда это выворачивалось весьма парадоксально. В Норильске, в лагере, один бывший коминтерновец, человек доброго и острого ума, как-то заметил:

— Сережа, вы, конечно, человек порядочный. Но ваша порядочность основывается на очень сомнительном фундаменте. Вы объективируете себя почти как постороннее существо и так самозабвенно в себя влюблены, так высоко оцениваете свое достоинство, что из-за одного этого не сделаете подлости. Вы не разрешите себе мерзости по отношению к другим — потому, что потеряете уважение к самому себе. Ваше доброе отношение к окружающим исходит, по существу, из самообожания.

Помню, я весело хохотал над этой остроумной оценкой — но убедительных возражений не подобрал.

И сейчас не сумею их предъявить.

Итак, я уже сказал, что главным занятием в нашей школе была общественная работа.

Я не раз поражался количеству общественных постов, какое можно воздвигнуть на пустом месте. Каждый ученик, если он не совсем лентяй и недотепа, тащил на себе ворох школьных нагрузок. Но чемпионом по числу добровольных и предписанных общественных назначений был, конечно, я.

Даже под страхом казни не припомню и трети того, что числилось за мной и на мне. Председатель ячеек МОПРа и безбожников, стенкор и редактор газеты, член школькома, Осоавиахима,[23] покровитель животных, борец за химию, за индустриализацию, за эмансипацию (женщин, естественно), за ликвидацию неграмотности, за городское садоводство, за чистоту школьных помещений, за ежедневную уборку школьного двора… В седьмой группе (выпускном, стало быть, классе) у меня была двадцать одна общественная нагрузка — я составил тогда полный список и навек запомнил количество ежедневно творимых общественных подвигов. Я гордился своим трудом, своей неиссякаемой работоспособностью, своей выдающейся сознательностью. И мной гордились — и ставили меня в пример.

Моя общественная деятельность все очевидней приближалась к безбрежности, но одной нагрузки мне все-таки не хватало (эта несправедливость острой иглой вонзалась в мое самолюбивое сердце). Я был только членом школькома, а не его председателем. Самый важный в школе общественный пост занимала семиклассница Циля Лавент.

Я знал, что главенство в школькоме личило мне гораздо больше, чем ей, — это понимали все мои друзья, все учителя. Но на каждом выборном собрании предпочитали ее — самую умную, самую спокойную, самую деловитую девочку нашей школы. Вероятно, и одну из самых миловидных — но мы, ослепленные великолепной Фирой Володарской, и отдаленно не замечали скромной красоты председательницы школькома…

Моя страсть к общественным обязанностям не пережила семилетки. Видимо, это была разновидность неизбежной детской болезни, истерзавшей организм и после выздоровления оставившей стойкий иммунитет. С седьмого класса и уже до смерти я больше не стремился общественно выделяться. Впрочем, иногда смутные мечты о чем-то подобном пробредали в разгоряченной голове — но в реальность не претворялись. Моя неприязнь к общественным нагрузкам стала темой для дружеских острот. Больше того: иногда она даже вызывала явное — и тоже общественное! — сочувствие.

Забавный случай произошел вскоре после моего

освобождения (в конце сороковых). Пока я был в лагере, ни о каких общественных нагрузках речь идти не могла — не в коня корм. Заключенных не удостаивали права носить почетное социалистическое ярмо. Заключенным я уже не был — и на меня обрушился груз расписанных внеслужебных обязанностей. Я изобретательно отбивался — но сил не хватало.

В энерголаборатории, где я был руководителем тепло-контроля и автоматики, меня избрали в члены месткома. Спустя год, на очередном перевыборном собрании, председатель — освобожденный, конечно (он собирал членские взносы и блуждал по комнатам — ничего кроме) — огласил перечень тех, кто посещал обязательные заседания (за год их набиралось, наверное, штук тридцать).

— А у начальника нашей теплолаборатории катастрофа, — скорбно объявил он. — Сергей Александрович всего один раз присутствовал на месткоме. И никаких оправданий своему неглижированию не нашел. Я считаю, мы должны потребовать у него честного объяснения, почему он пренебрегает своей важнейшей обязанностью.

Собрание зашумело: всех интересовало, как я оправдаюсь. Я вышел на трибуну и объяснил, что мне просто не повезло: заседания месткома назначались на те дни и те часы, когда шли срочные наладочные работы или когда я уходил на производственные объекты, где монтировалась наша автоматика.

Собрание опять зашумело: мои оправдания прозвучали не очень убедительно. Кто-то даже предложил поставить мне на вид — за несерьезность.

Потом зачитали список кандидатов в новый местком — прозвучало и мое имя. Я попросил самоотвод, выставив вместо себя отличного молодого инженера-тепловика. Самоотвод поставили на обсуждение — он оказался отличной темой для получасовых прений. В результате просьбу отвергли — и моя фамилия прочно утвердилась в списке для тайного голосования. Это была новая демократическая мода — уже одно словечко «тайное» покоряло, в нем слышалось приобщение к чему-то очень важному и настолько ответственному, что его надо было держать в абсолютном секрете.

Разъяренный, я поднялся и крикнул, не выходя к трибуне:

— Если вы за меня проголосуете, то выберете абсолютно пустое место. Торжественно обещаю ни разу не присутствовать ни на одном из заседаний!

На этот раз в шуме, покрывшем мои слова, было больше веселья, чем осуждения моей общественной несостоятельности.

Председатель счетной комиссии объявил результат тайного

голосования. Прежний месткомовский лидер получил больше двух третей голосов — он, недавно неплохой инженер, был просто рожден для общественной деятельности, это заслуживало признания. Остальные кандидаты довольствовались меньшим.

Затем последовала торжественная пауза.

— А за Сергея Александровича — единственного! — проголосовали все присутствующие. Против — один голос, вероятно, его собственный.

Раздался такой взрыв хохота, что я почти примирился со своим избранием. Это был смех особого рода, я слышал его впервые — не столько веселый, сколько зло иронический. Мы хохотали до усталости.

На заседаниях месткома, сколько помню, я так ни разу не побывал.

Все это произошло примерно через четверть века после школы — я уже полностью выздоровел от тяги к публичному выпендриванию. Но в седьмой группе меня трясла судорога общественного энтузиазма.

Она меняла свою интенсивность: одни нагрузки меня захватывали, другие я только исполнял — по возможности, аккуратно. В то время пренебрегать обязанностями было выше моих сил.

Мама иногда удивлялась сыновней старательности: «В тебе больше немецкой крови, чем отец тебе передал!» Не знаю, насколько определяющей была генетика, но исполнительность моя больше зиждилась на хвастовстве.

Главной страстью моей общественной души была, конечно, ячейка МОПРа. За тот год, что я ее возглавлял, не было не только срыва заседаний — даже минутных опозданий (исключение допускалось одно — для Фиры). Я сам приходил загодя. И вопросы мы решали важнейшие. Где раньше произойдет революция — в Индии или Германии, во Франции или в Америке? Какой она будет — кровавой или бескровной? Только ли братская кровь прольется в далеких странах — или нужно будет добавить свою? Мы всегда единогласно постановляли, что не останемся в стороне от забугорных классовых битв, мы рвались в бой.

Я или мой помощник Гена Вульфсон протоколировали это стремление. Мы проливали школьные чернила, чтобы завтра пролить собственную кровь. Каждый протокол формулировался как клятва — мы подписывали торжественное обещание умереть в любой момент, когда этого потребуют неотложные нужды освобождения всего мира.

Я нумеровал эти документы и, когда они накапливались, скреплял железной проволочкой и относил в Ильичевский райком

организации помощи революции. Протоколы поступали туда не только из школ, но и с предприятий и учреждений — освобожденный секретарь складировал их в папки, делал выжимки и посылал в горком, оттуда они шли в республиканский и союзный центры. Армия идейных бойцов за международную свободу заседала, гремела, грозила, обещала, клялась и порывалась вперед, нагоняя жуткий страх на врагов — мы в этом не сомневались!

Много позже, когда я понял, что живу в стране, где бушует энергичная работа по производству ничего из ничего, я отнес мою школьную (и такую захватывающую!) миссию к тому же разряду переливания из пустого в порожнее. Было нелегко смириться с тем, что история, которая совершается на моих глазах, в основе своей — скопище химер.

Апофеоз моей мопровской деятельности пришелся на время перед выпуском — по уровню международной революционной работы нашу ячейку признали первой в районе. Я был безмерно горд! Я понимал, что внес решающий (может быть) вклад в вызволение закордонных страдающих братьев из лап угнетателей.

Борьба с международными и отечественными сатрапами вершилась не только в ячейке МОПРа, но и на спектаклях школьных синеблузников. Это было время расцвета политического лицедейства живой газеты. Любители сцены, одетые в синие блузы (чаще шелковые, а не полотняные), обличали врагов (а заодно — мещан) пением, танцами и забавными беседами. Церкви и нэпманской буржуазии посвящались наскоро сочиненные пьесы, стихи, скетчи, танцы и музыка. В Москве печатались литературные сборники «Синей блузы», их раскупали, расхватывали, переписывали — старые балаганы получали хорошее идейное содержание.

Лизавета Степановна организовала у нас филиал синеблузной живой газеты. Она не могла проигнорировать первого общественника школы, хотя отчетливо видела, что я неисправимо бездарен в трех областях искусства — живописи, пении и актерстве.

«Синяя блуза» была вполне достаточным основанием, чтобы потребовать у матери новую одежду. Я презирал красивые шмотки (до периода пижонства оставалось еще несколько лет), но для синей блузы сделал исключение — все-таки форма рабочего класса.

Мама шила с радостью: она любила это делать и в детстве постоянно наряжала меня — пока я не восстал. Блуза, конечно, не была пределом ее мечтаний, но, как она утверждала, на бесптичье и пес соловей. Яркая, из хорошего сукна обновка сидела на мне

как фрак на обезьяне, но это уже были неизбежные издержки важного дела. Думаю, так выглядел не я один.

Только Фира Володарская была по-прежнему изящной. Впрочем, ей шла любая одежда — она лишь подчеркивала природные достоинства. К тому же Фира прекрасно танцевала, бывшая балерина Лизавета Степановна не только считала ее своей лучшей ученицей — но и утверждала: у девочки настоящий талант! Я был уверен: Фира станет театральной знаменитостью — другой дороги, кроме как на сцену, у нее попросту нет.

В те годы отчим часто получал бесплатные билеты в оперу и русский театр (оперные кресла были постоянными — 73 и 75). Он отдавал их мне, я ходил на спектакли либо с Геной, либо с Фирой — чаще, естественно, с Фирой. И как-то после «Лебединого озера» восторженно объявил:

— Фирочка, ты когда-нибудь будешь танцевать здесь Одетту с Одилией, а я стану тебе аплодировать. Я похлопаю как следует, можешь не сомневаться.

Меня удивило, что она промолчала — только вяло улыбнулась. Влюбленная в Фиру Лизавета Степановна сама рассеяла собственноручную химеру о сценической будущности ученицы. Мы сидели рядом, когда Фира танцевала на школьной сцене хитрый танец бедной покупательницы, обдуриваемой жадным нэпманом, — его, естественно, играл Вася Визитей. Его молдаванская (или цыганская?) натура придавала особую лихость поворотам и особое бешенство прыжкам — а без этого типичный нэпман не получился бы.

Я был в восторге!

— Как вы думаете, Фира будет настоящей балериной?

Похоже, Лизавета Степановна не очень хорошо расслышала мой вопрос.

— Да, ты прав, Сережа, Фире никогда не быть танцовщицей, — сказала она грустно. — И это так обидно! Столько в ней изящества, такая гибкость, такое чувство музыки…

— Почему?

— Видишь ли, на сцене часто приходится выступать в трико, полуобнаженной. А у Фиры ноги кривые. Сейчас, в длинной юбке, этого не видно, но экзамен в балетную школу сдают не в юбке.

Балериной Фира не стала.

Но она продолжала вдохновенно танцевать в наших спектаклях, а мы поддерживали ее прыжками, кривляньями и лихими переборами частушек. Я в потрепанном извозчичьем цилиндре (он был одним из ценнейших реквизитов нашей живой газеты) выкомаривался и гнусавил, изображая полупобежденного нашей славной властью нэпмана:

Хожу я и не падаю —
Ведь это чудеса.
С великою досадою
Гляжу на небеса.

Ах, Вор, ты мой Бог,
Скажи, зачем налог
Непманчика-пузанчика
Согнул в бараний рог?

После меня выскакивали две старушки (не то шести-, не то семиклассницы) и, горестно вопя, отчаянно боролись с религией. Одна изображала живую церковь митрополита Введенского,[24] другая старорежимную — патриарха Тихона.[25]

Две гитары за стеной
Жалобно заныли.
Мы, две церкви, меж собой
Доходы поделили.

Затем высыпала вся синеблузая живая газета — только скопом можно было показать панику старого мира, вызванную сообщением, что какое-то грозное учреждение по имени ЦК постановило начать борьбу с пережитками. Фира изображала замшелую церковницу — она живописно металась по сцене и махала руками, а мы хлопали и ревели в такт ее танцу:

Знать, конечно, мне все надо,
Конечно, надо! Конечно, надо!
ЦК страшней, наверно, ада!
Страшнее ада, господа!

В общем, борьба со старорежимным духом и бытом была героической и победоносной.

Только однажды в это воодушевляющее пустозвонство ворвалась живая струя.

Это случилось на выпускном спектакле. В репертуаре значилась какая-то идейная сценка с капиталистами (ими были Фима и я), соглашателем — английским премьером Макдональдом[26] (Генкой Вульфсоном), добрым молодцем — рабочим-революционером (естественно, Васей Визитеем) и почему-то почти настоящей ведьмой — этаким концентратом

малокультурья и старья. Уж не знаю, зачем московскому сатирику (пьесу извлекли из сборника «Синяя блуза») понадобилось совмещать политическую пародию со средневековым фольклором — но он это сделал и поставил Лизавету Степановну в трудное положение. Никто из девочек не пожелал играть ведьму. В ней ощущалось что-то настолько далекое от нашей действительности и такое постыдное, что все в ужасе махали руками, едва Лизавета Степановна заговаривала о роли.

В конце концов она нашла исполнительницу. Это была ученица шестой группы, девочка из моего дома. Я встречал ее каждый день, но ни разу не заговаривал. Невысокая, некрасивая, к тому же горбатая, она ходила по двору как-то боком — даже когда старалась держаться прямо. Наверное, и жизнь ее была скособоченной. Вот эта девочка и согласилась сыграть ведьму.

Я не видел ее из зала — я был на сцене. Но помню, как она выметнулась из-за кулис, вынеслась на подмостки, хищно раскинула руки, широко разметав лохмы волос.

Ее пронзительный резкий голос так отвечал каждому шагу, каждому жесту, что движение и звук слились воедино. Она пронеслась среди нас, неуклюжих статистов, каким-то стремительным метеором. Она возникла как живое существо в кукольном театре посредственностей и марионеток. Вероятно, она действительно была ведьмой!

Я любил читать стихи наизусть — вслух, про себя. В тюрьме и лагере они помогали выжить, сохранить рассудок. И всякий раз, когда я повторял про себя любимые строчки:

> И мимо всех условий света
> Стремится до утраты сил,
> Как беззаконная комета
> В кругу расчисленных светил,[27] —

я вспоминал этот ведьмовский прыжок из-за кулис.

В моей жизни было еще только одно подобное впечатление.

В Одессу приехала какая-то знаменитость. В честь нее дали «Русалку»[28] — эта опера обычно не вызывала в Одессе аншлагов. Я слушал ее уже несколько раз — но услышал впервые. Одна из сцен, очень известных (раньше я иногда довольно точно мурлыкал ее — про себя, конечно), мне не просто понравилась (это бывало всегда). Я бы сказал — она меня потрясла, если бы это вконец опошленное словцо не утратило своей первозданной силы.

На сцене мерно гудела свадьба. Хор девушек шутливо расписывал свадебный кортеж:

По невесту ехали,
В огород заехали.
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
Тыну поклонилися,
Верее молилися…

Девушки на разные голоса перешучивались со сватом, выпрашивали денежек. И вдруг в месиво толкающихся хористок, в переплетение просьб и отговорок ворвался — как бы из иного мира — огромной силы и страсти голос:

По камешкам, по желтому песочку
Пробегала быстрая речка…

Он был так красив и чист, что заглушил хор — и многокрасочная сцена оцепенела. Никто и не шевельнулся, пока этот проникновенный голос с мукой не возвестил:

…вечор у нас красна девица топилась,
Утопая, мила друга проклинала.

Я не помню фамилии певицы — знаю только, что она была знаменита. Но ощущение ледяной струйки, пробежавшей по спине, — осталось. Восторг, который меня тогда охватил, был почти равен страданию. Неожиданная встреча с прекрасным среди штампов и посредственностей всегда драматична — и чувство, которое она вызывает, не похоже на простое удовольствие. Оно — больше. Оно — иное.

А тогда, после спектакля, встретив во дворе свою соседку-ведьму, я поспешил восхититься ей в лицо. Она посмотрела на меня равнодушно: мои похвалы ее не тронули. Возможно, дело было в том, что я ей просто не нравился. Впрочем, может, и хуже: ее талант проявлялся только на сцене, в жизни она была посредственна.

Я ничего не знаю о ее судьбе.

7

Зима переходила в весну. Аркаша Авербух печально сказал мне:

— Скоро перестану ходить в школу. Когда я учился в седьмой

группе, я знал вас, шестиклассников, — всех. А кто мне знаком из пятигруппников? Я тебе скажу ужасную вещь, Сережа: я не вижу среди них таких борцов за всемирную справедливость, какими были мы.

Я понимал его скорбь. Я тоже не замечал среди пятиклашек людей, готовых положить жизнь за мировую революцию. И все же попытался утешить Аркашу.

— Я стану приходить сюда, как ты сейчас. Мы поддержим великий огонь, который разжигали в нашей ячейке!

Он покачал головой.

— В школу больше не приду. Мне семнадцать. Какой я товарищ этим пацанам? А мне на заводе дали анкету — вступать в комсомол. Постараюсь показать себя там. Как ты относишься к комсомолу, Сережа?

— Не мыслю без него дальнейшую жизнь!

— Это хорошо. Всегда верил в тебя. Будь готов, Сережа!

— Всегда готов! — ответил я, взметнув руку наискосок. Это я уже лихо умел — отдавать пионерский салют.

Не один Аркаша — мы все ждали решающего жизненного поворота. И тайно боялись, что он не получится. Мы метались из крайности в крайность: расписывали красочные перспективы послешкольного бытия — и про себя ужасались, что краски недостаточно яркие.

Фима определился твердо: он пойдет в училище живописи, потом — в архитекторы. У него в голове грандиозные планы: он переустроит наш город, возведет такие дома и дворцы, что страх будет задирать голову. В общем — схватит Бога за бороду.

Вася Визитей о будущем тоже не тревожился. Он возвратится в свою приднестровскую Беляевку — дел в поселке невпроворот, ему прямо пишут: «Ждем тебя Вася, без тебя нам вскорости невпродых — кулачье одолевает». Я кулачье вмиг прижму, хвастался Вася, а румынобоярам, что за рекой, такой шиш выставлю — ни в жизнь не выкусят! Перспективы, что и говорить, были зажигательные — Васе многие завидовали.

Гораздо хуже выглядело будущее моего нового друга Мони Гиворшнера. Я подружился с ним не сразу и как-то против воли. Он был социально порченный. Отец торговал, даже завел собственную нэпманскую лавчонку — папиросы, трубки, курительная бумага. Впервые увидев Моню, я удивился его одиночеству. Никто с ним не играл, он не ходил на пионерские сборы, не посещал мопровские и безбожные ячейки. Низкорослый — еще ниже меня — густо-курчавый, с каким-то удивленным лицом, он каждую свободную минуту проводил на турнике и вертелся так лихо, откалывал такие штучки, что вокруг всегда

собирались восхищенные зрители.

Лизавета Степановна говорила, что он может стать мастером спорта, может быть, даже чемпионом — если постарается и если повезет. Впрочем, пока до чемпионства было далеко. Энергичная наша учительница, споря и уговаривая, добилась, чтобы Моню приняли в пионеры и зачислили в мопровцы и безбожники. Еще она ввела его в синеблузую труппу, но больше чем на статиста его не хватило — и тут уж действовала не классовая порочность, а природная недостаточность.

Меня предупредили о Монином соцположении, и я некоторое время старательно его обходил, только издали любуясь упражнениями на турнике. Но как-то после занятий он задержался в школе и, поставив на парту шахматную доску, стал разыгрывать сам с собой этюды. Я тоже задержался — по общественным делам. Сначала присматривался, потом подошел. Моня молча, не глядя на меня, двигал шахматные фигурки.

— Ты, оказывается, шахматист, — установил я.

— Оказывается, шахматист, — согласился он.

Я наблюдал — он молчал. Я ждал, что он предложит мне партию. Я еще не знал, что болезненно самолюбивый Моня никогда ничего не предлагает и ничего не просит у незнакомых, чтобы не нарваться на отказ. Прождав минуты две, я сам предложил сразиться. Он охотно согласился. Я был убежден, что поставлю его на колени минут за десять — и почти не ошибся (во всяком случае — во времени): не прошло и десяти минут, как я был разгромлен.

Мы начали вторую партию — она закончилась еще быстрей, и тоже моим поражением. Впоследствии мы играли с ним не одну тысячу раз, и я гордился, если из десяти проигрывал не больше восьми. А в тот вечер, складывая фигуры, он ободряюще сказал:

— Ты, в общем-то, ничего, только торопишься. Это со временем пройдет.

С возрастом торопливость, конечно, прошла (особенно когда первая близкая подруга шепнула мне: «Не торопись!»). Но абсолютная бездарность в гимнастике и в шахматах — двух Мониных коньках — осталась на всю жизнь.

Подружившись, мы стали обсуждать будущее.

— Тебе хорошо, — сказал Моня. — Ты станешь великим ученым, это уже сейчас видно. Когда-нибудь определишь наконец, что такое энергия, масса, инерция. Подумай тогда и обо мне, твоем скромном слушателе. Вспомни, как мы пересоздавали мир в наших отвлеченных разговорах. А мне ничего не светит. Сын торговца — это не то пятно, которое можно стереть щеткой.

Я был твердо уверен, что мое будущее он определил точно

(разве что слегка приуменьшил). А самого Моню было жаль — происхождение по желанию не изменишь. Я все же попытался найти в его бесперспективности хоть что-нибудь радужное.

— Ты можешь пойти по спортивной дороге, Моня. Или серьезно заняться шахматами. Лизавета Степановна считает, что в гимнастике ты выдающийся тип.

Он уныло махнул рукой.

— Чтобы достичь чего-нибудь в спорте, надо пойти в гимнастическую школу, а там — анкеты. Кто меня примет — с моим-то отцом?

Как и следовало ожидать, все получилось иначе. Больших успехов Моне не выпало, но он закончил институт, удачно повоевал, ударно поработал на заводе в Риге, только вот умер не добрав возраста — около пятидесяти.

И у меня, естественно, все пошло наперекосяк ожиданиям. И ученым не стал — тем более великим, и почти половину человеческой своей зрелости провел за железной проволокой. Вторая, правда, прошла на свободе, но тоже в застенках — идеологических. А вот биологически я задержался на земле сверх ожидания — впрочем, на это не жалуюсь.

Много жесточе расправилась судьба с другим моим другом — Генрихом Вульфсоном.

Если был в моем окружении по-настоящему странный человек — и внешне, и по характеру — то, несомненно, он, мой добрый Генка. Высокий, большеголовый, жутко лохматый, с ранними усиками, молчаливо слоняющийся по школьным коридорам, во дворе он всегда присаживался где-нибудь в сторонке. У него рано открылся густой, соборный бас, но колокольный его голос редко звучал в школе: на вопросы и оклики Генка обычно отвечал не репликами, а улыбками — чаще смущенными или виноватыми. Только со мной он разговаривал охотно. Во-первых, хороший рассказчик (впоследствии — даже лектор и оратор), я умел и любил слушать. Он, загораясь, мог говорить часами — я, тоже загораясь и тоже часами, был способен его не перебивать.

Во-вторых (и это еще проще), у него был единственный друг — я.

Эта дружба началась нехорошо — можно сказать, мы подружились недобро.

Между нами встала Фира Володарская.

Я не уверен, что был в нее влюблен. Если — да, то это было нечто иное, чем дальнейшие мои любви, любовишки и увлечения. Я-то считал, что сохну по Рае из седьмой группы (она была на год старше меня) — активистке, главе нашего форпоста,

объединявшего четыре пионерских отряда, стройной, золотоволосой (две толстых косы падали чуть не до бедер), «девочке в желтом пальто» — так я мысленно называл ее, еще не узнав настоящего имени.

Мы учились вместе всего два месяца, только три-четыре застенчивых разговора скрепляли нашу внезапную дружбу. Сразу после выпускного вечера их группы (это был первый выпуск нашей школы) отец увез Раю в Балту (он там работал). Она написала мне — я немедленно отозвался. Переписка наша продолжалась почти три года. Она отправляла мне коротенькие сообщения о своем житье-бытье, я изливал душу на листах белой рулонной бумаги — каждое письмо не меньше метра в длину.

Фира Володарская вторглась в мою жизнь как раз в разгар переписки с Раей.

Сперва она поглядывала на меня без интереса. Ей было не до того — теснили поклонники. Самая красивая девочка школы, она не только знала об этом, но и умело этим пользовалась. Фима, боевой секретарь нашего второго отряда, назначал пионерские сборы лишь на те часы, какие были удобны Фире. Гриша Цейтлин, знаменитый горкомовский пионерорганизатор, бывая у нас, всегда находил минуту (а иногда — час), чтобы поговорить с ней. Генка, мой будущий друг, в нее влюбился — очень по-настоящему и очень по-своему: ходил поодаль, никогда не приближался, молча смотрел, молча слушал, что она говорила другим (к нему Фира обращалась редко)… Он был похож на шиллеровского рыцаря Тогенбурга (у меня был пик увлечения Шиллером), молчаливо и долгие годы вздыхавшего у окон так и не признавшей его возлюбленной. Я еще не начинал любовного спринта (до этого оставалось несколько лет), но уже тогда мог бы цитировать (если бы, конечно, знал цитату) строчки Саши Черного о том, как должен держать себя подлинный Дон-Жуан, а не слезливый немецкий барон:

> Дон сей был доном особого рода,
> Мигом прошел он к ней с черного хода.

Словом, я не раз потешался над молчаливой неуемностью Генкиной страсти.

Шуточки такого рода прекратились, когда «внимательные взоры» Фиры обратились на меня. Это совершилось в ее обычном стиле. Фира споткнулась, когда шла на очередное мопровское заседание. Причем именно в тот момент, когда мы поравнялись. Она охнула, сжала губы и закачалась на одной ноге. Я кинулся к ней.

— Сильно ушиблась, Фира?

— Немного. Постою и пойду.

— Обопрись на меня — так будет легче.

Она взяла меня под руку. Я еще никогда не ходил под руку с девочками. Это было довольно приятно, но чертовски неудобно! Она мужественно проковыляла со мной до школы, а после собрания сообщила:

— Мне уже лучше, но я боюсь идти без помощи. Проводи меня.

Обычно роль провожателя доставалась Фиме. Он не любил уступать свои привилегии и ревниво осведомился:

— А со мной идти не хочешь?

Она ласково ответила:

— Очень хочу, Фима. Ты живешь ближе ко мне, чем Сережа, тебе еще удобней. Иди с нами!

Несколько дней Фима сопротивлялся, потом сердито сказал:

— Теперь она хочет дружить с тобой. Подумаешь, очень мне надо! Я не страдалец по этой части.

Фира перестала хромать, когда выяснилось: можно не беспокоиться, моя роль бесповоротно определена. Это было едва ли не главное Фирино оружие: она умела в нужный (для себя) момент предстать очень слабенькой — сразу хотелось ей помочь. Она раньше других девочек поняла: это очень сильное преимущество — быть слабым полом. Она умела льстить тому, кто ее заинтересовал, она подчеркивала его достоинства — и в первую очередь силу.

Я не был исключением — попался, как и все остальные.

Гена вознегодовал. Он давно примирился с Фимой — как с горькой неизбежностью, но моего появления не стерпел. Он решил разобраться, кто я такой, — и следил уже не только за Фирой, но и за мной (даже когда я был один). Он смотрел на меня хмуро и недобро — это замечали почти все. Вася решил вмешаться.

— Слушай, чего Генка на тебя вызверивается? Давай его отлупим!

— Не вижу причин.

— Тогда он отлупит тебя, можешь не сомневаться.

— Я дам сдачи.

— Правильно! А я тебе помогу. Так отмантузим, что любо-дорого. Давно пора. Ходит, будто чем-то недоволен, ни с кем играть не хочет. Как стерпишь?

— Буду терпеть, пока сам не кинется. А твоей помощью, если понадобится, воспользуюсь.

— Обязательно понадобится, честное пионерское!

Ситуация разрешилась совершенно неожиданно. Гена остановил меня после уроков.

— Слушай, Серега, — сумрачно сказал он, глядя в сторону. — Давай поговорим.

— Давай, — согласился я — и сразу понял, что готовится драка. Я огляделся: Вася уже умотал, он всегда выскакивал первым. Придется отбиваться собственными кулаками. — Где хочешь говорить?

— Посидим во дворе, на скамеечке.

Я успокоился. Школьный двор — самое неудобное место для драк, по нему шляются ученики, ходят учителя. Мы сели на скамейку.

— Так о чем будем говорить, Гена?

Он хмуро размышлял, уставясь в землю. Это было решительно непохоже на подготовку к драке! Я повторил вопрос.

— Хочу с тобой дружить, — неожиданно выпалил он. Я не сообразил, что ответить. Генка поднял голову и посмотрел на меня — очень внимательно и грустно. Он, похоже, ждал, что я не соглашусь — это его заранее огорчало.

— Или ты не хочешь?

Я сказал первое, что пришло в голову, — и, как всегда, оно было самым нужным и важным.

— А как же Фира? Разве ты не сердишься, что я с ней дружу?

Он покачал головой,

— Сердился. Но это прошло. Какое я имею право? Она на меня и не смотрит. По-настоящему ей никто не интересен, так я думаю. Взрослые комсомольцы (тот же Гриша из горкома) пытаются ухлестывать… Она только забавляется. Вот почему хочу дружить с тобой.

Я наконец отошел от неожиданности.

— Не понимаю: какое отношение ее забавы имеют к дружбе со мной?

— Прямое, — ответил он серьезно. — С тобой она не забавляется, а дружит по-настоящему. Хочу понять: почему?

— Могу дать хороший совет — спроси у нее. Сразу все узнаешь.

— Ничего я не узнаю! Она все запутает. Она со мной даже не играет — просто смотрит сквозь. Будет она откровенничать!

— Не вижу, чем могу помочь.

— Это же просто, Серега! Начнем дружить — я сам пойму, кто ты такой. Хочется в тебе разобраться. Я же ни с кем не дружу, сам видишь. А с тобой — могу.

Мне показалось, что я все понял — и понимание это было недобрым. Он захотел стать поближе ко мне, чтобы приблизиться

к Фире. Я мог поделиться книгами и даже деньгами — но отдать подругу был не в состоянии. И до конца жизни так и не научился уступать кому-нибудь женщин, в которых влюблялся. В этом смысле я законченный эгоист! Я всегда готов был драться за свое право дружить и любить. И я немедленно принял вызов.

— Отлично. Будем дружить. Начнем немедленно. Что станем делать?

— Пойдем ко мне. Я покажу дом, посидим в саду — у нас хороший сад. Посмотришь, как я мастерю механизмы — тебе понравится. Я уже немало придумал.

— Ты изобретатель?

— Только стараюсь. Не всегда получается. Мне помогает папа. Сергей Станиславович тоже дает хорошие советы.

— Пойдем, — решил я. — Посмотрим твои изобретения.

Генка жил на краю Молдаванки. Там уже не было улиц — только хаотично разбросанные домики. Генкин сад был небольшим, но ухоженным, с ягодниками и фруктовыми деревьями. Посреди высился старый и ветвистый грецкий орех. Потом я узнал, что орехи на нем никогда не вызревали — им не хватало времени: Генка и его друзья (я в том числе) пожирали их зелеными. Генин отец не препятствовал этому разору, только ухмылялся и просил быть осторожней: один из местных ребятишек уже сорвался с ореха. Впрочем, в первое посещение до расправы с древесным старцем не дошло. Сад уже отцветал: весна в тот год была, видимо, ранняя. Гена показал мне стоящее под деревом странное сооружение, похожее на игрушку.

— Опылитель, — пояснил он. — Славно поработал, но попортился. Буду чинить.

— Откуда ты его взял?

— Сам смастерил. Из всякого ненужного барахла — на свалках его много. Кое-что купил на Конном базаре.

Внутрь конструкции был вмонтирован маленький моторчик (длинный шнур соединял его с комнатной розеткой), к которому крепился вентилятор. Воздух гнал пыльцу с одного цветущего дерева на другое. Классическое перекрестное опыление!

— Это отлично умеют делать и пчелы — ты просто повторяешь их работу.

Генка нахмурился.

— Не повторяю, а улучшаю! В природе низкий коэффициент полезного действия. Мой аппарат заменяет целый рой пчел. — Он на минуту задумался и вздохнул. — Правда, у опылителя есть серьезный недостаток: нужны электричество и шнур. Ничего, скоро я сконструирую моторчик, работающий от солнца. Тогда все станет просто.

— А когда это будет?

— Не знаю. Не могу достать детали. И постоянно отвлекаюсь на другие изобретения.

— Какие?

— Разные. Главное — вечный двигатель.

Он сказал это спокойно и уверенно. Сергей Станиславович нам не раз объяснял, что работать вечно невозможно — законы физики не позволяют. Но Генка снисходительно улыбался.

— Я хочу тебе сказать, Гена…

— Знаю, что скажешь! Конечно, вечный двигатель неосуществим. Но в каком смысле? В том, что нельзя творить энергию из ничего. А если преобразовать одну ее форму в другую? Прибор, основанный на этом принципе, условно говоря, будет работать вечно — если, конечно, исключить поломки. Таких двигателей сконструировано уже множество.

— Например?

— Да хотя бы ветряк! Он будет работать, пока дует ветер. И пока конструкция не обветшает. Или приливной движок. Есть приливы (а они постоянны, как небо и земля) — есть энергия. Чем не условно вечные двигатели?

— Но в Черном море приливы небольшие, а ветряные мельницы знали еще наши предки…

— Ветряных мельниц не конструирую. У меня другая задумка. Труба. Обыкновенная фабричная труба — идеальный вечный двигатель! Она будет работать, пока у земли есть атмосфера.

— Не понял…

Внизу, у земли, воздух плотней, объяснил Гена. Значит, давление больше. Одна атмосфера — против атмосферных долей на вершинах гор, разве не так? На сотне метров, на высоте хорошей фабричной трубы, это уже заметно. Воздух всегда стремится из зоны высокого давления в зону низкого — это каждый моряк знает: барометр падает — жди бури. На вольном воздухе перепад непостоянен, поэтому ураганы приходят и уходят. А в закрытом объеме трубы внизу давит сильно, на вершине меньше — и так всегда. Поэтому в каждой трубе день и ночь, без передыху, бушует постоянная буря — и сила ее задана только высотой. Посмотри, как труба выбрасывает заводские дымы — сразу поймешь! А если дымов нет, она засасывает нижний воздух — автоматически и безостановочно.

— Я как-то залез в трубу бывшего сахарного завода, и с меня сорвало фуражку, — вспомнил я.

— Вот видишь! А та сахарная труба вся в дырах, я ее хорошо знаю, в ней перепад давлений меньше. Я хотел проверить там

свою конструкцию — не получилось.

— Ты еще не рассказал, что это за конструкция.

— Поставлю в трубе вентилятор и динамомашину. Воздух — вентилятор — машина — электричество. И все без перерыва, без помощи человека, чистая автоматика — чем не вечный двигатель? Я подсчитал, что на хорошей трубе получу до сотни киловатт, а на сверхвысокой — и того больше.

— Сам подсчитал? — спросил я. Вычисление электрических мощностей казалось мне задачей почти невозможной — для моего ума, во всяком случае.

— Косвенно… По аналогии. На некоторых заводах стоят не трубы, а механические эксгаустеры. В общем, воздуходувки с обратным действием, дымососы. На каждом клеймо — где произведено, какая мощность. Я предположил, что естественная труба дает ту же мощность, что равноценный ей эксгаустер.

Генка еще не закончил свои объяснения, а я уже был убежден. Не знаю, что он намеревался открыть во мне, но я обнаружил в нем настоящего изобретателя. И удивился, что никто в школе этого не знает. Завтра же расскажу обо всем друзьям. Герой техники, второй Сименс или наш Шухов — на меньшее не согласен!

А он продолжал говорить — картина вырисовывалась грандиозная. Высоченные трубы — на улицах, на площадях, на перекрестках дорог. Днем электроэнергия течет на заводы, ночью освещает улицы и квартиры. Больше не нужно ужасных угольных электростанций, шахты закрывают — за полной ненадобностью.

Уж не знаю, как выглядит реальный рай, но многотрубный Генкин пейзаж весьма смахивал на сад Эдема…

Я ушел поздно. Сознание мое путалось. Высокие пирамидальные тополя казались грядущими энергетическими башнями.

На другой день я кинулся к Фиме. Услышав мои восторги, он презрительно скривился.

— Наговорил тебе этот чудик семь верст до небес — и все лесом. Я Генку знаю вот уже три года. Чтобы он стал великим инженером — никогда!

Я разозлился.

— Не кажется ли тебе, что лакей никогда не видит великого человека?

Фима был невозмутим.

— Не кажется. Никогда не служил в лакеях — потому не представляю, как у них со зрением. А Генку вижу насквозь и дальше.

Совсем иначе восприняла мой рассказ Фира (я, как обычно,

провожал ее домой). Она долго молчала, недоверчиво поглядывая на меня своими говорящими глазами, потом недовольно сказала:

— Не знаю, зачем ты ходил к Генке. Он скучный.

— Он замечательный! А когда вырастет, станет великим изобретателем.

Она подумала.

— Хорошо, будем ждать, пока он повзрослеет. Больше от меня ничего не нужно?

У меня появилась хорошая мысль.

— Он приглашал меня. Давай пойдем вместе?

— Так ведь тебя, а не меня.

— Пойдем! Тебе понравится.

У нее сжались губы — признак неуверенности. Она поколебалась, потом сказала:

— Ладно, раз просишь… Но — ненадолго. Встретимся в воскресенье, в полдень. Здесь, на Косарке, на этой скамье, под этим деревом, где сейчас сидим. Предупреди Гену — а то он куда-нибудь сбежит.

Никогда за всю жизнь я не встречал женщины, обладающей чувством точного времени. Фира была женщиной до мозга костей. К тому же ни у кого из нас не было часов. Правда, точное время я ощущал и без них — и успел устать, ожидая Фиру. Она издали весело замахала мне рукой.

— Я не очень опоздала, Сережа? Долго разжигала утюг, чтобы погладить блузку, древесный уголь попался мокрый. Ты не сердишься?

— Ты пришла точно, как обещала, — буркнул я. — Я не сержусь, а восхищаюсь. И твоей точностью, и тем, как прекрасно ты гладишь одежду.

Ее живогазетная синяя блузка выглядела идеально — ни одной ненужной складки. Схваченная узким пионерским ремешком, она очень шла Фире. Впрочем, ей шла любая одежда (я уже говорил об этом) — выбор был невелик, зато подбор точен. Фима рассказывал, что Лизавета Степановна как-то восторженно воскликнула:

— Фирочка, тебе бы побольше денег! Ты умеешь так нарядно одеваться…

Гена ждал нас на улице. В саду был приготовлен столик, на тарелке лежали первые черешни — еще не красные, только розовеющие, но уже вкусные. Я увлекся разговором, а не фруктами, Гена тоже не усердствовал — Фира с удовольствием ела их за троих. И очень красиво ела! Она неторопливо подносила ко рту каждую ягодку, неторопливо освобождалась от косточки, неторопливо жевала мякоть. Она рассчитывала каждое свое

движение — это требовало от нее больше внимания, чем наш разговор с Геной. Фира (впоследствии я это понял) не ела, даже не кушала — она красочно угощалась. Это был хороший урок, как нужно обращаться с первыми фруктами года! А Генка не оправдал моих ожиданий. Он мямлил, изредка поглядывая на меня — на Фиру смотреть боялся. Его глаза были опущены — словно он что-то выискивал под ногами. Он показал опылитель, притащил из комнаты какие-то машинки — они не очень заинтересовали даже меня.

Когда он ушел за новой порцией черешни, Фира быстро шепнула:

— Мне надоело. И очень нужно домой. Давай уйдем!

Я выбрал удобный момент и сообщил об этом Гене. Он проводил нас до ворот.

Когда его домик скрылся за деревьями, Фира схватила меня за руку и потянула в сторону.

— Ты куда? — удивился я. — Тебе же надо домой!

— Уже не надо. Сегодня воскресенье, уроки я сделала еще вчера. Здесь хорошо, хочу погулять. Или ты против?

— Я никогда не против того, чтобы погулять. Пойдем в Дюковский сад!

Конечно, это был самый запущенный и грязный из городских парков. Но зато здесь было мало людей, а его нечищеные озера и пруды, несмотря ни на что, оставались красивыми.

— Как здесь чудесно! — восхитилась Фира. — Я тут никогда не была. А ты?

— Я хожу сюда каждый свободный день.

— А куда еще ты ходишь?

— Больше всего люблю Хаджибеевский парк — там самые большие в Одессе деревья. Их посадили турки — еще до основания города. Но в парк нужно ехать на трамвае до Хаджибеевского лимана — пешком не доберешься.

Фира, похоже, обиделась.

— Почему ты никогда не зовешь меня туда?

— Скоро каникулы, времени хватит. Будем ходить по всем паркам Одессы. А еще я покажу тебе катакомбы.

Она брезгливо передернула плечами.

— Фу, подземелья! Терпеть не могу погребов. В нашем полно пауков и жаб — даже войти противно.

Я объяснил: катакомбы — это не сырые погреба, а огромные сухие туннели в толщах ракушечника. Но Фиру, судя по всему, не переубедил.

Она прыгала с кочки на кочку, с наслаждением погружала ноги в траву. Вокруг потемнело, в небе зажглась Венера, за ней

высыпали звезды. Ночь шла безлунная, в Дюковском саду еще не додумались возводить столбы и вешать на них лампочки — небесная иллюминация ожидалась хорошей. Я пообещал Фире звездное торжество.

— Очень красиво, очень! — сказала она задумчиво. — В небе начинается торжественный пленум звезд — и на него приглашены мы с тобой.

Я часто потом вспоминал это определение ночного южного неба — и всякий раз оно поражало меня своей точностью. Звезды перемигивались, то притухая, то вспыхивая, — выступали одна перед другой, как ораторы на пленумах, только молча.

— Помнишь ту ночь в парке Гагарина, когда проходил пионерский сбор всех отрядов города? — спросила Фира. — Ты тогда показывал нам звезды и называл их имена, а девочки дарили их своим ребятам. Я преподнесла Фиме Полярную звезду — она очень похожа на него своей важностью и идейностью. Васе досталось целое созвездие — Дракон, как раз по его жуткому характеру. А тебе Рая подарила Сириус.

Я смутился.

— Она сделала это, когда все отошли.

— Знаю. Я поняла, что она хочет побыть с тобой наедине, а потом спросила: зачем? Она призналась, что при всех постеснялась делать такой роскошный подарок. Где сейчас этот Сириус? Покажи.

— Сириус — зимняя звезда. Весной его можно видеть только глубокой ночью, а сейчас вечер.

— Жаль… Придется ждать до зимы. Ты по-прежнему переписываешься с Раей?

Я чувствовал, что разговор этот не сулит ничего хорошего. И напоминание о Рае было опасным. Они никогда не дружили, Рая и Фира, — обе слишком выделялись среди других девочек, а потому соперничали. Эти имена нельзя было соединять.

Я стал осторожничать.

— Как тебе сказать? Немного переписываемся.

— Что значит немного? Два раза в неделю, а не два раза в день?

— Два раза в день никогда не бывало.

— Значит, два раза в неделю было?

— Не считал. Возможно. Но сейчас — нет. Я не получал от нее писем недели три.

— Сочувствую. Наверное, очень переживаешь?

Я всем нутром ощутил, что наш диалог становится очень небезопасным — и резко переменил его направление.

— Переживаю, но не очень. Меня гораздо больше беспокоишь

ты, а не Рая.

— Вот еще новость! Чем я тебя беспокою?

— Тем, что в такой хороший вечер ты начала совсем не нужный разговор.

Она захохотала и прыгнула вперед. Она бегала хорошо, я — отлично. Ей не удалось бы удрать даже ясным днем, а сейчас сгущалась тьма. Впрочем, Фира и не хотела убегать.

Я нагнал ее у дерева, схватил за плечо. Тяжело дыша, она уткнулась мне в грудь. Всей убыстренной от бега кровью я ощутил, что должен прижать ее к себе и поцеловать. Но я еще никогда не целовал девочек — и жалко струсил. У меня перехватило горло.

— Пойдем, — сказал я хрипло и оторвал ее от себя.

— Да, надо идти, — вяло отозвалась она.

Мы молча вышли из парка. Постепенно я успокоился. К Фире вернулась природная насмешливость.

— Отчего молчишь? Что, ногу ушиб? — поинтересовалась она без тени сочувствия.

— С чего ты взяла?

— Ты так мчался… Я боялась, что сшибешь какое-нибудь дерево.

— Я сломал только один сиреневый кустик.

— Это ты в темноте увидел, что он сиреневый?

— Нет, узнал по запаху. У меня собачий нюх.

— Рада за тебя! А я боялась, что ты рухнешь — на меня или к моим ногам. Это было бы ужасно…

На улице светили фонари и ходили люди. Я мог не опасаться, что она примет мои слова слишком всерьез — и поэтому стал дерзить.

— Могу встать перед тобой на колени — чтобы доказать, что это не так уж и страшно!

Фира засмеялась. У нее был хороший смех — звонкий и добрый. Еще лучше она хохотала — правда, это случалось нечасто.

— Не надо. Не хочу тебя утруждать. У меня, кстати, жутко болят ноги.

— Тогда присядем.

Мы сели на скамейку (они стояли у каждого дома) — и замолчали. Звезды облепили кривые ветви акаций, как рождественские огоньки.

— Уже поздно, — пожаловалась она. — Нужно идти. А здесь так хорошо…

— Я могу приходить домой когда хочу, хоть глухой ночью — я своих уже приучил.

— Ты мальчик. Я всегда завидовала мальчикам! Попробовала бы я прийти глухой ночью — месяц пришлось бы плакать.

— С тобой так жестоко обращаются?

— Надо мной трясутся — а это хуже. Я с ужасом думаю о том, что в меня кто-нибудь влюбится — жить станет невыносимо!

— По-моему, в тебя влюблен Генка.

— Генка не в счет — он скучный.

— А что изменится, если влюбится нескучный?

— Ну, как ты не понимаешь? Нужно будет встречаться с ним, ходить в кино, долго гулять по улицам… Без этого любви не бывает.

— Но ведь мы с тобой гуляем — а не влюблены.

— Да, не влюблены… Это очень хорошо! Пойдем, мои уже беспокоятся.

Какое-то время мы шли молча. У ее дома остановились. Прохожих случалось все меньше. Фира, похоже, не очень спешила.

— Скоро выпуск… Мне нужно будет искать работу, — сказала она грустно, — так решили дома. А ты что станешь делать?

— Учиться дальше. Пойду в профшколу.

— Лизавета Степановна говорила, что ты будешь ученым. Наверное, даже профессором. Это правда! Ты скоро забудешь, как мы с тобой гуляли…

Я возмутился.

— Этого не будет! Ты мой друг на всю жизнь. Мы никогда не расстанемся, никогда. Честное слово!

Она благодарно засмеялась. Впрочем, ни смех, ни признательность никогда не мешали ей подшучивать.

— Это возможно только при одном твердом условии, Сережа. Перестань переписываться с Раей — терпеть не могу соперниц! У нее такие длинные, такие светлые косы… А я — шатенка. Перестанешь?

Я не сомневался ни секунды.

— Уже перестал! Если придет письмо, не отвечу. В моей жизни больше нет человека по имени Рая.

— Не зарекайся… — она опять засмеялась. — Впрочем, ты меня успокоил. До завтра. И спокойной тебе сегодняшней ночи!

Ночь была неспокойной. Я просто не мог оборвать ее скучным сном! Я шатался по Косарке, садился на скамейки, снова вскакивал. Подул ветер, тополя зашевелились и зашептались. Небо тоже задвигалось: звезды, мелькавшие среди листьев, вспыхивали и гасли. Я радовался и думал о жизни: конечно, она будет очень длинной! И я выполню все, что запланировал.

Жизнь и вправду получилась длинной — во всяком случае у

меня. Но она вышла совсем иной. Меня вели химеры — и между миражами воображения и призраками реальности не было особой разницы. Моей школьной подружки Фиры на всю жизнь не хватило — наша дружба не пережила лета. А та, от которой я так решительно отрекся, через несколько лет возникла снова — и уже навсегда. Не было у меня друга нежней и преданней до самого ее — в далекой дальности — последнего дня.

8

Торжественный выпуск был еще впереди, перед ним состоялась еще одна, не менее значимая, церемония — прием в комсомол.

Строго говоря, настоящим приемом это не было — объявляли кандидатов, вручали анкеты, а решали, достоин ли человек почетного звания, уже в райкоме.

Я не сомневался, что будет названо мое имя: главный общественник школы и ее первый ученик, я имел несомненные преимущества перед остальными.

Мы выстроились на школьном дворе — все четыре отряда. Алеша Почебит приветствовал нас от имени райкома. Затем он вынул из папки заветный листок бумаги и, высоко подняв его над головой, торжественно провозгласил:

— Анкета для вступления в Ленинский коммунистический союз молодежи вручается самому достойному кандидату, самому надежному борцу за наше великое пролетарское дело — преданной пионерке Розе Мациевич!

Я был разгромлен. Масштабы моего несчастья были ясны мне во всей их необозримости. Мою жизнь сломали — жестоко, неожиданно и незаслуженно. Мне дали понять: цели, которые я себе поставил, недостижимы по определению.

Через несколько очень тяжелых дней я подстерег Алешу — он пришел повидать Шуру Рябушенко, будущую свою жену.

— Значит, Роза — надежный боец за наше пролетарское дело, а я — ненадежный? — горько сказал я. — Она самый невидный, самый пассивный пионер в нашем отряде — а ты ее выделил!

— Не я, Сергей, — райком. Даже из горкома приходили… — Алеша был смущен. — Совещание очень ответственное — выдвигали кандидатов по всем школам района. Учли все достоинства и недостатки каждого ученика.

— И ее достоинства оказались выше моих?

Алеша перестал защищаться — теперь он нападал.

— Главное — соцпроисхождение. У Розы отец — рабочий (пусть даже не от станка — от вагранки). А твой кто? Газетчик, интеллигент. Разве можно сравнивать?

— Это Осип Соломонович будет вступать в комсомол?

— Чудак, зачем обижаешься? Мы знаем, что ты — наш, но нельзя же не учитывать родителей! Мы — пролетарский союз, а не буржуазный.

— Киоскерша и журналист, значит, буржуи?

— Трудовая интеллигенция. Это тоже важная прослойка, но

не фундамент. Удивляюсь: такой умный парень — а простых вещей не понимаешь!

— Я понимаю вот что: я пойду учиться дальше — и, очевидно, тоже стану прослойкой, а не фундаментом. Значит, мне загодя закрыты все дороги?

— Почему закрыты? Работай по специальности — на нашу общую пользу. Это не запрещено. Но в партию тебя не пустят. Мне, например, в нее вступить — раз плюнуть. Рабочий: не то что пустят — под ручки потащат. А тебе, сколько ни проси, от ворот поворот.

— Раньше тебя в партии буду — вот увидишь! — бешено крикнул я.

Алеша зло прищурился.

— В какой? Партий множество: монархисты, эсеры, меньшевики, кадеты… Что выберешь?

Много лет прошло с того разговора — мне так и не пришлось побывать ни в одной партии. Какое-то время я считал этот факт своей главной жизненной неудачей, и только потом окончательно понял: это величайшее мое счастье. Во всяком случае — я смог остаться независимым.

Вскоре после комсомольской моей трагедии произошло событие, несколько примирившее меня с собственной общественной ущербностью. Нам выдали свидетельства об окончании семилетней школы. Для меня сделали исключение: кроме оценок, в моем документе была и специальная характеристика. Ликуя, я перечитывал строчки, подписанные всеми учителями:

«Способность к усвоению знаний — выдающаяся.

Степень усвоения знаний — выдающаяся.

Прилежание — среднее».

— Открою тебе тайну, Сережа, — посмеиваясь, сказала Лизавета Степановна. — Диктовала Варвара Александровна, я записывала — у меня почерк лучше. Мы поспорили: какое поставить прилежание? Я хотела «хорошее», она — только «среднее».

Я удивился: мне всегда казалось, что Варвара Александровна была обо мне даже преувеличенно высокого мнения…

— Она сказала так: Сережа вполне достоин наших оценок, но пусть знает, что одних способностей мало, нужно много работать. А он разбрасывается… Сергей Станиславович даже пошутил: Варвара Александровна, вы говорите не как учительница, а как поклонница.

Я так смутился, что ничего не сумел ответить.

Школьные мои учителя вскоре ушли из моей жизни — но я

им до сих пор благодарен. А о Варваре Александровне еще расскажу — однажды мы с ней встретились.

Я радостно перечитывал блестящую свою характеристику — она казалась мне мандатом в грядущее.

Я был абсолютно уверен, что схватил Бога за бороду.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Профшкола № 2

1

Когда-то в этом двухэтажном здании размещалась гимназия — и это до сих пор чувствовалось. Просторный вход в вестибюль, парадная, в один поворот, лестница на второй этаж. Она была так широка, что по ней после звонка разом свергались вниз все шесть классов (на каждом курсе их было по два). Еще приятней и быстрее было съезжать вниз по широким деревянным перилам, отполированным ученическими задами до почти неестественного блеска.

Что до меня, то я пользовался только этим способом и достиг в нем такого мастерства, что вполне мог бы завоевать звание чемпиона по полетам на заднице — но, к сожалению, в школе его не существовало. Когда я на втором этаже вскакивал на перила, товарищи на нижнем марше поспешно отбегали к стене: я мчался боком — и так бешено, что мог и сшибить зазевавшегося. Такие случаи бывали.

Скоростные спуски на перилах прекратились на втором курсе. Дело в том, что между лестницей и стеной был закуток, куда иногда ставили разные учебные приборы и аппаратуру. Я никогда в ту сторону не соскакивал: можно было и ногу ушибить, и что-либо поломать. Но однажды, подлетая к первому этажу, я с ужасом увидел, что по лестнице — вплотную к перилам — поднимается директор школы. Выход был один — мгновенно перебросить ноги на другую сторону перил и низвергнуться в закуток.

Но в закутке был мужчина — склонившись, он что-то высматривал на полу. Я спрыгнул прямо ему на шею. Он спазматически распрямился, не успев меня сбросить. Картина получилась впечатляющая!

Перед директором и учениками стоял перепуганный и возмущенный учитель физики, а на плечах у него восседал я, вконец потерявшийся от неожиданности. К чести ребят, ни один не закричал и не засмеялся — это потом, вспоминая, хохотали

подолгу и безудержно (и то если поблизости не было учителей). На педсовете мне, естественно, вынесли какое-то порицание — пока без «оргвыводов». Пострадавший, по слухам, меня защищал. Но скоростные спуски все же пришлось прекратить.

Профшкола располагалась в самом престижном, как теперь говорят, районе — на улице Льва Толстого (она примыкала к Соборной площади). Всего в двух кварталах начиналась парадная Дерибасовская — нужно было только пройти по скверу мимо бронзового генерала Воронцова, одного из строителей Одессы. Направо высился собор, налево Садовая улица (на ней, одной из немногих в городе, совсем не было деревьев) — с главным почтамтом и крохотной, но знаменитой кофейней Дуварджоглу, где всегда можно было купить свежайшие и вкуснейшие пирожные «наполеон» по пятаку за штуку (мы дружно бегали сюда в каждый большой перерыв). Приветливый хозяин процветал: к нему наведывались не только соседи, но и жители других районов — кофе у него был особенно ароматным, пирожные — особенно нежными, фруктовая вода — особенно сладкой. Таково, во всяком случае, было общее мнение.

Тогда мы еще не знали, что толстяк Дуварджоглу, собственноручно создававший эти легендарные лакомства, непримиримый классовый враг и хищный эксплуататор трудящихся, а его зловредная деятельность начисто закрывает всем нам дорогу в светлое будущее. Это ясное понимание пришло года через два — и вражескую кофейню ликвидировали. Вместе с социально вредными ароматными пирожными.

Через двор от нашего главного корпуса находились учебные мастерские — кузница, столярка, слесарка и токарная. Занятия в школе были двухстадийными: до 12 часов теоретические дисциплины (три урока), потом — большая перемена (полчаса отдыха), затем — мастерские. Видимо, предполагалось, что школа готовит мастеровых, одухотворенных знаниями, или интеллигентов, наловчившихся мастерить. Однако на моей памяти только один из выпускников ушел на завод — и, между прочим, это был воистину первый ученик нашего курса, ни по одной дисциплине он не имел оценки ниже пятерки. Высокий, старше нас всех, спокойный, усердный, физически очень сильный, молчаливый — прекрасный парень, только не нашего поля ягода. В ученические споры он не вникал, в болтовне не участвовал. Думаю, из него получился великолепный мастер, образцовый отец семейства, мудрый хозяин дома.

Разнузданные и малодисциплинированные, мы не обладали ни одним из этих прекрасных житейских качеств. Зато только из нашей группы «А» вышли один заместитель министра, два ученых

(один — профессор математики в Сорбонне, другой — крупный специалист в астронавтике, доктор наук и лауреат Ленинской премии[29]) и полдесятка хороших инженеров.

Изобилие талантов не было прерогативой школы № 2 — вообще-то в Одессе открыли три профшколы. О первой я ничего не знаю — она находилась где-то поодаль. Но третья размещалась на Старопортофранковской, совсем неподалеку, и среди ее учеников, как стало известно впоследствии, числились Валентин Глушко и Сергей Королев, два создателя космонавтики, — других фамилий, пожалуй, и называть не стоит.

Я описываю нашу профшколу с запоздалым объективным спокойствием, но мое появление в ней было далеко не безмятежным. Скорее это было похоже на психическое потрясение. Двумя годами позже я поступил в институт — но даже близко не испытал ничего подобного!

Между труд- и профшколой лежала пропасть — это были разные формы жизни. В трудшколе царила семейственность, учителя могли ходить в обнимку со школярами, шутили и болтали с ними. В профшколе правила бал официальность. Учитель (здесь его называли преподавателем) не ходил с учениками — он шествовал сквозь них.

В трудшкольную учительскую воспитанники вторгались с шумом — на них могли закричать, но чаще дружески выслушивали. В профшколе в дверь просительно стучали и не всегда слышали в ответ вежливое: «Войдите». И здесь не существовало пионерской организации, никто не осмеливался появиться с галстуком, никто не возглашал лозунги, к которым так привыкли, — прежняя жизнь осталась за порогом.

Все это мелочи, конечно, — но они меняли стиль существования. Один из моих одноклассников ходил с большим красным гроссбухом под мышкой (типичная амбарная книга на две сотни линованных страниц). Каждый день он записывал туда новое стихотворение. Начинался этот амбарный цикл горестным ямбическим плачем — автор охотно декламировал его каждому желающему.

> Трудшкола — труд, профшкола — проф.
> Между ними глубокий ров.

Правда, поэт недопустимо часто (даже для одессита недопустимо!) путал ударения, но настроение передавал точно. Я часто заглядывал в его гроссбух — искал новые шедевры. Однажды он написал оду самому себе — по случаю первого бритья. Лирический герой смотрел в зеркало — на свое

намыленное лицо и рефренно, через каждую строку, восхищался:

Что за прелесть, что за прелесть
Этот бреющийся парень!

После этого рифмованного стихобрейства я перестал интересоваться его дальнейшими поэтическими свершениями.

Преподавателей в профшколе было много — я не запомнил даже половины. Еще меньше было тех, которые бы на меня влияли.

Собственно, таких нашлось только двое: математик Семен Васильевич Воля и словесник Михаил Павлович Алексеев.

Семен Васильевич не был обычным учителем математики — он был неистовым ее служителем. Любовь к своему делу описана многократно и разнообразно. Верная, истовая, тайная, вызывающая — определений придумано много. Семен Васильевич любил математику гневно. Не профессионально, а лично. Он не преподавал ее — он ею исторгался. Он не наказывал тех, кто не учил его уроки — спокойно, рассудительно и объективно (плохими оценками), а негодовал, возмущался, кричал — забывая, впрочем, заклеймить их в журнале холодными цифрами. Подобные ученики оскорбляли его, ибо унижали единственную в мире науку, достойную настоящего уважения. Вытерпеть этого он не мог — и ярился, пренебрегая равнодушным клеймами «посредственно», «плохо», «очень плохо» (и значительно более тусклыми «единица», «двойка», «тройка»). Я часто думал: такому бы человеку жить в семнадцатом веке… Он вызывал бы на дуэль усомнившихся в правильности теоремы, предавал бы публичной анафеме и очистительному огню отвергавших истинность постулата, тем более — аксиомы.

К тому же он удивительно не походил на стандартно благопристойного школьного учителя. Это был скорее штангист-средневес, цирковой борец или — на худой конец — бригадир портовых грузчиков. В нем, адепте высокой интеллектуальности, ни на грош не было броской наружной интеллигентности. Невысокий, коротконогий, широкоплечий, рыжевато-русый, круглоголовый, он обладал до того просторными и не всегда аккуратно выбритыми щеками, что одна эта «широкомордость» напрочь исключала его из шеренг узколицых, яйцеголовых и высоколобых (именно так, по общему мнению, должны выглядеть интеллигенты). И в класс он входил иначе, чем другие учителя, — быстро, широкими шагами (необычными для коротконогого), не клал, а бросал папку или портфель на свой столик, становился около коричневой доски и почему-то неизменно трогал двумя

пальцами кончик носа. Затем молча обводил весь класс суровым взглядом — и немедленно взрывался.

Так начинался его урок.

Я часто потом думал: хорошо ли он знал свою возлюбленную математику? И ответ был так же странен, как сам Семен Васильевич Воля. Он знал ее плохо. Высшие области математики ему были известны только понаслышке — или вообще неведомы. На втором курсе профшколы я стал заниматься началами дифференциального и интегрального исчислений — частным порядком (у нас в школе был и другой математик — Бронштейн, доцент какого-то института) и, к удивлению своему, обнаружил, что Семен Васильевич порядком плавает в простейших их правилах. Он был средним учителем среднеобразовательной школы — в рамках знаменитого учебника Киселева, выдержавшего чуть ли не тридцать изданий.

Но то, что Воля знал, он знал по-настоящему глубоко. Скажу сильней: он разбирался в этом проникновенно.

Это относилось прежде всего к геометрии — главной его страсти. Объясняя теоремы, он не считался со временем. Он поражался загадкам простых доказательств. Он громогласно (как-то в сердцах даже ударил кулаком по доске — за неочевидность положения) удивлялся тому, что казалось общеизвестным и неоспоримым. Навсегда запомнил я его рассуждения о пятом постулате геометрии Эвклида: две параллельные линии никогда не пересекутся.

— А почему не пересекутся? — гремел Семен Васильевич, впадая в раж. — Потому, что это опытный факт? Потому, что они не пересекаются перед нашими глазами, сколько бы мы ни всматривались? А если продолжить линии до бесконечности? Где гарантия, что там они не перехлестнутся? И какой же это факт, если мы не можем опытно продолжить его за границами нашего зрения, в этой самой неведомой нам бесконечности?

Потом, остыв, сказал уже спокойно:

— Вот почему мы определяем: это постулат, а не аксиома и не теорема. Ибо аксиома — истина абсолютно достоверная и без доказательств. Теорема — истина, требующая доказательства (при условии, что оно реально имеется, его нужно только отыскать). А здесь что? Истина вовсе не самоочевидна. И доказательств у нее нет — это заранее известно. Где выход? Принимаем ее как постулат — то есть как допущение, для которого нет ни опровержений, ни доказательств.

Думаю, Семен Васильевич никогда не читал (а возможно, и не слышал) о классических «Основаниях геометрии» великого математика нашего века Давида Гильберта. Но тот дух

творческого сомнения (даже в области, где все кажется сверхочевидным), тот поиск новизны в мире стереотипов, которые характеризуют книгу гениального немецкого геометра, были, независимо от Гильберта, по самой природе, от Бога, свойственны нашему школьному учителю математики.

Это было особенно ясно при решении задач на построение. Вряд ли они входили в программу школьной геометрии, но Семен Васильевич создал этот раздел в своем курсе — и он стал самым замечательным творением Воли. Мы приобрели книгу тамбовского учителя гимназии И. Александрова о методах решения геометрических задач на построение (этот учебник и сейчас хранится в моей библиотеке) — Семен Васильевич внес в александровские примеры пытливость, сомнение и строгую логику. Каждая задача разбивалась на три последовательных стадии: анализ, синтез, построение. Сначала исследовались заданные условия, побочные возможности сочетаний предварительных данных, затем определялись оптимальные соотношения этих условий и возможностей, потом разрабатывалась геометрическая модель лучшего решения — строилась та фигура, которая и являлась целью. И все это постадийно излагалось в тетрадке.

Это была, конечно, математика, но еще в большей степени — строжайшая логика. За всю долгую жизнь я не встречал никого, кто бы так остро ее чувствовал. Я был верным его учеником — он открыл мне новый мир, который, правда, я интуитивно ощущал и прежде, но все-таки осознанно он распахнулся передо мной после объяснений Семена Васильевича. Шестьдесят пять лет прошло с тех пор, как я сел за парту перед этим человеком, я узнал и забыл тысячи фактов и теорий, мне открылись и начисто выветрились из памяти тысячи людей и книг, но он, Семен Васильевич Воля, коренастый, вспыльчивый, сердитый, насмерть увлеченный — и сегодня стоит перед моими глазами.

Он не только учил — он обучал. Больше того: он поучал. И не одними своими уроками — но и самим собой.

Интересно, что сама по себе философия логики (даже в ее чисто математическом оформлении) его нисколько не захватывала. Он, наверное, закончил гимназию, вероятно, ему был хорошо знаком гимназический курс логики Челпанова, но я ни разу не слышал от него ни забавных логических описок, ни серьезных логических парадоксов, обильно разбросанных в челпановском учебнике. Просто они были вне логистики замкнутого математического мирка Семена Васильевича.

Однажды, уже студентом, я встретил Волю на улице. После того как я внезапно, за год до окончания профшколы, сбежал

оттуда, да еще украл из канцелярии документы, я стал очень популярен — обо мне говорили и сплетничали. Я знал, что Семен Васильевич возмущался, и горевал, и всех расспрашивал обо мне… Мы обрадовались друг другу. Я показал ему «Алгебру логики» — недавно купленную книгу Л. Кутюра, одного из видных представителей этой новой математической дисциплины, да еще изданную в Одессе в начале века, в родном для всех естественников прекрасном издательстве «Математика».

Я не сомневался, что Семен Васильевич обеими руками ухватится за нее. Но он только равнодушно перелистнул несколько страниц.

— Не по мне, — объявил он, как всегда, безапелляционно. — Не в коня корм, Сережа.

Словесник Михаил Павлович Алексеев, будущий академик, был абсолютно противоположен Семену Васильевичу Воле.

Он был классическим интеллигентом: среднего роста, худощавый, узколицый, всегда чисто выбритый (а у Семена Васильевича бритье явно не входило в число ежедневных процедур), к тому же с пенсне, в хорошо выутюженном, хотя и недорогом костюме, в чистой сорочке, при галстуке… Да и держался он всегда в узких границах обязательной для интеллигента воспитанности: ходил неторопливо, как-то изящно, внимательно слушал не прерывая (даже собственного ученика), ясно и четко отвечал на любой вопрос. Он был неизменно вежлив — это, наверное, главное, что бросалось в глаза. Даже с теми, кто не заслуживал вежливости или попросту не понимал ее. Это была внутренняя потребность Михаила Павловича, а не предписанная манера поведения. В ней ощущалось что-то изначальное (иногда — и очень неточно — это определяют словечком «принципиальное»). Порой вежливость путают с покладистостью, со стремлением жить в мире со всеми, а нередко — со смирением, даже с угодливостью. В Михаиле Павловиче она сочеталась с твердостью. В дни моей юности эта самая твердость чаше всего ассоциировалась с грубостью и откровенным хамством — неуступчивость Алексеева была всегда вежлива.

В 1926 году Михаилу Павловичу было 30 лет. Почти все молодые люди того времени стали безбожниками — кто по убеждению, кто от равнодушия, кто из-за социальной трусости. Атеизм превратился в моду — а мода могущественней самой хитрой агитации. К тому же это была жизненно выгодная, а для учителей — и единственная возможная форма существования. Ибо не может непросвещенный просвещать других! Ведь каждому ясно, что религия — это суеверие и тьма.

Так вот, я не раз встречал Михаила Павловича, когда он

выходил из собора. Он не афишировал свои походы в церковь — был диссидентом без инсургентства. Но храм стоял на дороге в школу — заходить сюда было удобней, чем в дальние церкви. Михаил Павлович, возможно, и не думал, в какой ужас он приводит заведующего местным отделом народного образования — просто идеологический камуфляж был чужд его природе. Он жил как требовала совесть — и только уникальные для школьного учителя знания и образованность спасали его от наказания за такое немодное поведение.

Он выделял меня среди своих учеников. Мы часто разговаривали вне уроков и на внепрограммные темы. Он писал статьи о пребывании Пушкина в Одессе — и его трогало, что я их разыскивал и проглатывал (все касающееся Пушкина насущно занимало меня уже тогда). Помню, как-то раз я заявил: он, Михаил Павлович, скоро станет знаменитым пушкинистом. Он отрицательно покачал головой.

— Боюсь, что нет. Меня все больше занимает Достоевский, особенно его влияние на западную культуру. У нас интерес к нему подавляют, а на Западе он все больше разгорается.

И Михаил Павлович рассказал, что читает двухтомный труд какого-то француза Вогюэ[30] о воздействии Достоевского на европейскую философскую мысль и намерен принять участие в исследовании этой проблемы.

— А вам надо знать всего Федора Михайловича, Сережа, — заметил он. — Что у вас есть? Приложение к «Ниве»? Вот и отлично. Начинайте с первого тома. Перечитайте и то, что уже знакомо, — и вы поймете это по-новому.

Я последовал его совету — и чуть не сломался на первом томе. Мне не понравились «Бедные люди» — и никогда потом не нравились. С недоверием и опаской я брался за другие книги. Достоевский открывался мне не сразу, входил в меня неровно. Лишь заинтересовавшись его философскими концепциями, я стал вникать в его художественное мастерство.

Уже после того, как Михаил Павлович уехал в Ленинград (а оттуда — в Иркутск, профессорствовать), я увлекся — но не влиянием Достоевского на культуру Европы, а его противоборством с европейской мыслью (это было время, когда я думал, что философия для меня не только любовь, но и профессия).

И Макс Штирнер,[31] он же Каспар Шмидт, автор «Единственного и его достояния», прямой современник Достоевского, и Фридрих Ницше, его духовный последователь, развивали философию эгоистического одиночества, противопоставления человека — человечеству. Штирнер,

несомненно известный Достоевскому (в сороковые и пятидесятые годы девятнадцатого столетия его хорошо читали), горделиво провозгласил: «Так как Бог занят только собой, то и я могу опереться на себя. Для меня нет никого выше меня». Фридрих Ницше даже провозгласил воинствующий эгоизм идеологией жизни — жизни для сверхчеловеков, естественно. Из разглагольствований Макса Штирнера (да и Фридриха Ницше) логически вытекало, что для настоящей личности нет ничего запретного, никто не может встать у нее на пути — ни Бог, ни государство, ни друг-сосед. Все возможно, все разрешено, все доступно.

Я был убежден, что именно против этой философии вседоступности и всеразрешенности исступленно боролся Достоевский в своих главных романах, что, снова и снова яростно ее опровергая, он тем самым каждый раз показывал, что с ней невозможно расправиться запросто. В этой его борьбе против штирнерианства проявлялась, так я считал, суть соборной (по столь модному у некоторых российских мыслителей определению) славянской души, которую возмущают любые формы надменного индивидуализма сверхчеловеков.

Мне самому мысль о противостоянии «Штирнер — Достоевский» казалась очень важной, но я понимал, что мне не по силам разработать ее детально. Я предлагал заняться этим ленинградскому литературоведу Соломону Лурье и моему другу Борису Ланде, написавшему очень интересную статью о творчестве Достоевского. Лурье я даже подарил книгу Штирнера «Единственный и его достояние».

Ни один из них не заинтересовался.

Михаил Павлович объяснял нам (во всяком случае — мне), что художественные приемы способны сделать абсолютно разными произведения, написанные на совершенно одинаковые темы.

В какой-то из школьных работ я заявил, что рассказы Джека Лондона о голоде уникальны в мировой литературе (если, конечно, оставить в стороне повесть Кнута Гамсуна «Голод»).

В классе Михаил Павлович объявил, что я получил пятерку, а потом попросил задержаться после уроков — сочинение заслуживает того, чтобы его подробно обсудить.

— Вот вы написали: «Если оставить в стороне повесть Гамсуна», — сказал он. Сколько помню, он всем ученикам говорил «вы». — Но можно ли оставлять Гамсуна в стороне? Повесть «Голод» появилась раньше прекрасных рассказов Лондона. Гамсун вообще обратился к этой теме раньше всех.

— Но Ленин восхищался именно рассказом Лондона «Борьба

за жизнь», — защищался я. — Ленин тоже оставил в стороне повесть Гамсуна.

— Да, Владимиру Ильичу понравилась «Борьба за жизнь», это очень важно. Но давайте оставим в стороне это авторитетное мнение и поговорим по существу двух художественных произведений — об их содержании, о форме исполнения. Лондон великолепно передает физиологию голода — муки, героизм борьбы, воистину исполинскую жизненную энергию, заставляющую человека искать спасения, несмотря на все страдания. Герой отказывается от богатства и бросает мешочек с золотым песком, который оттягивает ему руки. Это прекрасно написано — жажда жизни, жажда физического существования в решающее мгновение оказывается выше и сильней страсти к золоту. А его товарищ даже перед смертью не может преодолеть этой тяги — и гибнет. У одного человеческие чувства преодолевают общественные влечения — и он выживает, у другого психология мощней физиологии — и он обречен на смерть. Это, конечно, замечательно, спорить не надо. Вполне естественно, что Владимир Ильич, политика которого основана на примате материального бытия надо всем остальным, высоко оценил «Борьбу за жизнь».

Михаил Павлович так убедительно описывал достоинства лондонского рассказа, что я почти поверил, что он со мной согласен. Но он продолжал — все так же мягко и вежливо.

— Однако, посмотрите, Сережа, насколько повесть Гамсуна многообразней довольно бедного лондоновского сюжета. У Лондона герой голодает в северной пустыне, где нет никакой провизии, — здесь голод закономерен. У Гамсуна дело происходит в одной из самых богатых столиц Европы — это противоречит всему строю материальной жизни, недопустимо и противоестественно. Из этой противоестественности проистекают тысячи сюжетных неожиданностей — и Гамсун ярко описывает их неизбежность. Его герой — человек гордый, он пытается скрыть, что голодает, — вместо того чтобы попросить денег. Высшие чувства — себе на горе — побеждают в борьбе с мучительным материальным бытием. И самое замечательное, Сережа: человек, которого терзает чудовищный физический голод, — любит! О страсти мужчины к женщине повествуют тысячи книг, Чехов считал, что о ней больше нельзя писать — все уже раскрыто. Но Гамсун сказал о том, о чем не говорил никто, — о любви безмерно голодного и нищего интеллигентного человека к сытой и богатой женщине. Невозможность этого чувства, духовное унижение от телесного голода написаны ярче, чем сам голод. Вот что отличает одного прекрасного писателя — Джека Лондона от

другого прекрасного писателя — Кнута Гамсуна. Физиологические страдания и эмоции, ими порожденные — и бездна чувств, разбуженных муками, но ими не обусловленных. Психология, а не физиология! Тема одна — голод, но насколько у Гамсуна больше обертонов… Нет, Сережа, я не собираюсь превозносить Гамсуна перед Лондоном — только хочу доказать, что не стоит сосредотачиваться на одном и пренебрегать другим.

Парадоксальность этого разговора была в том, что Михаил Павлович рассказывал мне о литературных достоинствах Гамсуна именно в те дни, когда я переживал пик увлечения этим писателем. Все три гениальных норвежца — Генрик Ибсен и Кнут Гамсун в литературе и Эдвард Григ в музыке — открылись мне вместе и сразу.

Я читал и перечитывал Ибсена и Гамсуна, искал в магазинах и на развалах их книги, комплектовал разные издания (Маркса и Саблина). В какой-то степени это соответствовало примату высших психологических переживаний над элементарными терзаниями физиологии, о которых говорил Михаил Павлович. Денег на книги мама мне не давала — лишних средств у нас просто не было. Надо было экономить — на мороженом, пирожных, иногда и на дневных бутербродах. До собственных заработков — репетиторства с недорослями — оставался год или два. Так что победу идеальных чувств над миром «материального бытия, определяющего сознание» я мог увидеть и в собственной жизни, не пользуясь разъяснениями Алексеева.

А тогда, после разговора с Михаилом Павловичем, я понял, что от любви к замечательному писателю до точного знания, в чем его замечательность, расстояние огромное. Я мог подробно рассказать любую повесть Гамсуна, наизусть цитировать абзацы из «Пана», «Виктории», «Новых сил», упиваться стихами в прозе Мункена Вендта, одного из любимых персонажей норвежца, но это наслаждение было отнюдь не равнозначно пониманию. Михаил Павлович — понимал.

Вскоре я убедился (и опять на собственном опыте), что Алексеев далеко не всегда восстает против «отставления в сторону». Он задал нам вольное сочинение о последней прочитанной книге. Таковой — для всего класса — оказалась повестушка американца Фридмана о похождениях изобретателя поневоле Менделя Маранца, выпущенная приложением к «Огоньку». А перед этим я купил «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше. Надо сказать, читал я ее без особого удовольствия. Впрочем, Мендель Маранц радости тоже не доставил. И я сопоставил эти две книги. У них и вправду была общая черта: Ницше писал резкими и короткими философскими

афоризмами, Фридман — тоже короткими бытовыми изречениями (их еще именуют неприятным словцом «хохмы»).

Михаил Павлович рассердился. Разговаривали мы наедине, он был очень вежлив (не хотел меня обижать), но непреклонен.

— Сравнивать, конечно, можно все, что захочешь. Хорошее сравнение, если оно логически правомерно и эстетически гармонизировано, углубляет понимание. Но это должно быть правомочно! Иначе вы ничего не объясните — только вызовете неприятие, даже отвращение. Можно, конечно, сказать: «От него пахло дорогими французскими духами и свежим навозом». В этом случае ни разъяснений, ни дополнений не понадобится: вонь пересилит амбре. Два этих аромата — выгребной ямы и дамского будуара — эстетически несовместимы, они не гармонизируются. Вы сделали именно такую попытку совместить несовместимое. Я не поклонник Ницше, поверьте мне. Но сравнивать его с каким-то Менделем Маранцем… Ужасно!

Это короткое объяснение (отнюдь не педагогическая нотация) было из тех, которые формируют сознание.

А теперь о том, как мы обманывали Михаила Павловича, ибо обман (даже самых любимых учителей) — это извечный ритуал школьной жизни.

Он любил задавать нам сочинения — и на уроках, и на дом. С домашними все было просто: кто-то честно писал сам, кто-то тщательно скатывал, стараясь подправить (а вернее — подпортить) текст, чтобы копия получилась все-таки не абсолютной. А вот в школе приходилось исхитряться.

У нас в классе основные подсказчики были строго определены: математику взяли на себя Удлер и я, за русский язык отвечал тоже я, на других уроках отдувались Амос Большой, Леня Вайзель и Миша Кордонский (остальных не помню). Причем наши подсказки были поставлены на научную основу — мы учитывали психологию учителя.

На алексеевских уроках подсказывать с места было очень легко. Впрочем, сочинения особых хлопот тоже не доставляли. Михаил Павлович имел обыкновение ходить между рядами и близоруко всматриваться, как ученик двигает карандашом (или пером — уже не помню). Миновав парту, он никогда не оборачивался назад. Эта привычка открывала богатые возможности! На спину сидящего впереди навешивался листок с заранее написанным сочинением — сзади осторожно копировали его в тетрадку. Правда, нужно было не упустить момент, когда Михаил Павлович поворачивал, дойдя до «Камчатки», и поспешно отшпилить наспинные шпаргалки — после поворота они оказывались у него перед глазами.

Не помню случая, чтобы мы когда-нибудь попались.

Конфузы случались, конечно, — но по другим поводам.

Иногда Михаил Павлович задавал написать реферат на пять страничек по школьной программе — и назначал не только авторов, но и официальных оппонентов (для последующего обсуждения). Один из моих одноклассников, Шлапаков, сочинил, то есть честно скатал работу о ком-то из русских романистов, а я, оппонент, уничтожил ее в пух и прах (при полном одобрении Алексеева). Дело было в том, что непредусмотрительный литературовед воспользовался не моим текстом — обида была непереносимой. Я при всем классе пригрозил Шлапакову: «Разнесу!» — и разнес, а Шлапаков, тоже при всем классе и тоже в отсутствие учителя, пообещал: «Теперь у меня наплачешься!»

Вскоре мне задали реферат о Чехове. Антон Павлович не принадлежал к числу моих любимых писателей, но для примитивного школьного сочинения знаний у меня хватало. Тетрадка с рефератом мирно лежала передо мной. Но, когда начался урок и я протянул за ней руку, на парте ничего не оказалось. Я посмотрел на Шлапакова: его лицо было настолько спокойным, что все стало ясно.

Я схватил первую попавшуюся тетрадь и поспешил к доске. Михаил Павлович, естественно, не заметил, что я говорю совсем не то, что написано.

После урока Амос Большой торжественно объявил:

— Придется порадовать Семена Васильевича новыми глубинами математики. Смотришь на анализ пифагоровых штанов — и объясняешь, что случилось с бедной чеховской чайкой.

Потом я узнал, что похожий случай произошел с одним из моих друзей, Петей Кролем (он учился в другой школе). Правда, в отличие от меня, реферата он не написал — и вышел к доске с чистой тетрадкой. Великолепный его ответ был оценен полновесной пятеркой. И еще: я-то просто восстанавливал украденный текст, для молодой памяти это было несложно — я мог выучивать стихи страницами с первого чтения (если они мне нравились, разумеется). А Петя импровизировал — и, как всегда, когда речь шла о художественной литературе, делал это вдохновенно.

Впрочем, обойтись малой кровью удавалось не всегда. Как-то меня опять назначили оппонентом. И я снова пригрозил, что разнесу доклад. Опыт со Шлапаковым доказывал: я сумею исполнить угрозу. Заинтересованные лица посовещались и решили меня нейтрализовать. Исполнительницей приговора вызвалась быть Доля Оксман, самая красивая девочка нашей

школы.{1}

И вот на перемене, перед уроком Михаила Павловича, мои друзья высыпали на улицу, пугая прохожих ярко накрашенными губами. Я, конечно, тоже захотел выкраситься. Доля протянула мне какой-то коробок.

— Послюни его, он хорошо красит.

Я отнесся к делу со всей ответственностью — и яркогубые мои одноклассники, глядя на меня, почему-то радостно хохотали.

Прозвенел звонок, все поспешно стерли краску — женская губная помада стирается очень легко. А краска на моих губах держалась вмертвую — она даже не размазалась! Я тер ее, скреб ногтями — ничто не помогало.

Я вошел в класс с позорно накрашенным ртом — и сел за парту, прикрыв лицо рукой. Михаил Павлович осведомился, буду ли я выступать. Я мрачно пробубнил, что реферат замечательный — у меня нет к нему претензий.

После урока Доля хохотала так звонко и радовалась так искренно, что я простил ей это издевательство.

Михаила Павловича уже не было в нашей школе, когда я поступил на физмат одесского университета. Но мне передавали, что он очень расстроился.

— Какая ошибка! Ну, что Сергею в этой физике?

А спустя примерно сорок-сорок пять лет мой близкий и долгий (до самой его смерти) друг Борис Ланда приехал в Ленинград, чтобы проконсультироваться с Михаилом Павловичем по поводу своей работы о Достоевском, — академик Алексеев был, вероятно, самым видным у нас знатоком этого писателя. И в беседе упомянул обо мне, его давнем ученике. Михаил Павлович оживился.

— Так вы говорите, Сережа стал писателем? Никогда не сомневался, что он должен закончить именно литературой. Столько напутал, столько ненужных профессий насобирал, пока не вывернулся на единственную правильную дорогу!

И последнее.

Где-то в шестидесятых годах я увидел портрет Михаила Павловича. Я не узнал его — передо мной было совершенно незнакомое лицо. Если бы я встретил этого человека на улице, я бы прошел мимо, не поздоровавшись.

Все мы меняемся с годами…

2

Два года, проведенные мной в профшколе № 2, были временем расцвета нэпа. Новая буржуазия широко шагнула

вперед. Страна, еще недавно нищая, оборванная, донельзя измученная голодом и разрухой, преобразилась. Она богатела, наливалась живительными соками. Крестьяне распахивали оставленные помещичьи земли, заваливали базары и рынки мясом и салом, молоком и творогом, хлебом и ягодами. Усердно работали ремесленники. В городах открывались сияющие электричеством новые Чичкины, Елисеевы, Филипповы — количество товаров уже не уступало прежнему, дореволюционному.

Василий Шульгин, монархист, убежденный враг большевизма, тайно посетил Ленинград, Москву и Киев и, вернувшись к родной эмиграции, выпустил книгу «Три столицы», в которой удивленно заметил, что в Совдепии жизнь сытая и благополучная, как при царизме, только качество товаров, может быть, несколько похуже — на деликатесы и редкости в магазинах пока не бросаются.

Главным достижением нэповского периода было, конечно, внезапно грянувшее обилие продовольствия. Народ отъедался.

Поэт Эдуард Багрицкий, пока еще голодный (поэзия, если она настоящая, обычно начинает жировать в последнюю очередь), писал в 1926 году:

… плывет, плывет
Витрин воспаленный строй:
Чудовищной пищей пылает ночь,
Стеклянной наледью блюд…
Там всходит огромная ветчина,
Пунцовая, как закат,

И перистым облаком влажный жир
Ее обволок вокруг.
Там яблок румяные кулаки
Вылазят вон из корзин;
Там ядра апельсинов полны
Взрывчатою кислотой.

* * *

Там круглые торты стоят Москвой,
В кремлях леденцов и слив;
Там тысячу тысяч пирожков,
Румяных, как детский сад,
Осыпала сахарная пурга,
Истыкал цукатный дождь…

В том же 1926-м и у того же Багрицкого появляется и недоброе напоминание о том, что не хлебом единым жив человек и жратва вовсе не должна быть объектом обожествления — в глухих недрах общества вскипала ярость против изобилия, отпущенного не всем одинаково.

Всем неудачникам хвала и слава!
Хвала тому, кто в жажде быть свободным,
Как дар хранит свое дневное право
Три раза есть и трижды быть голодным.
Он слеп, он натыкается на стены,
Он одинок. Он ковыляет робко.
Зато ему пребудут драгоценны
Пшеничный хлеб и жирная похлебка.
Когда ж, овеяно предсмертной ленью,
Его дыханье вылетит из мира —
Он сытое найдет успокоенье
В тени обетованного трактира.

Багрицкий чутко ощущал вулканические потрясения, пока только нарождавшиеся в обществе и потрясавшие лишь политическое руководство — узкий круг фанатиков и фантазеров, персонифицировавших в себе государственную власть. Кто-то из них исступленно кричал о растущем засилье кулачества, заваливающего рынки продовольствием и требующего промышленных товаров. Кто-то успокаивал встревоженных крестьян: «Обогащайтесь!» Кто-то сетовал, что запаздывает мировая революция, — вот главное несчастье. Надо бы не жалеть ни денег, ни людей, чтобы подстегнуть Запад на добрый пожар, а Восток — на вселенскую смуту. Кто-то провозглашал, что на ближайшее время обойдемся и без мировой революции — будем строить социализм в своем отдельном дому, вот только придушить бы расплодившихся буржуйчиков (кулаков на селе и нэпманов в городе). И те, которые еще недавно с упоением твердили:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови.
Господи, благослови![32] —

отворачивались от затихшего Запада и недобро присматривались к собственной стране: уж слишком много развелось желающих отдохнуть в тени обетованного трактира, надо бы прервать их сытое успокоение. А то разленились вполне по Маяковскому:

Шел я верхом, шел я низом,
Строил я социализм.
Не достроил, и устал,
И уселся у моста.

Проницательные умы уже занимались своим прямым делом — проницали в пыльной схватке дискуссий, что благородная идея «не хлебом единым жив человек» при социалистическом осуществлении постепенно приведет к жизни без хлеба, на одних картофельных очистках и древесной коре — зато с полным набором высших эгалитарных идей.

В обществе, отдыхающем после мора гражданской войны, нарастало неравенство, пока еще мелкое, кухонно-бытовое, а на него уже вздымался вал уравниловки — готовилось повторение того, что было испытано при Савонароле[33] во Флоренции, при Иоганне[34] в Лейдене, но только безмерно умноженное, тысячекратно более свирепое и жестокое.

Народ набирался силы, становился зажиточным — нужно было радоваться, а в нем зрели грозные зерна новых потрясений. Нам обещали всеобщую одинаковость — революция не исполнила своих клятв, она нас обманула!

«За что боролись, на то и напоролись!» — цинично оценивали новую жизнь разочаровавшиеся, а она каждым своим живым вздохом опровергала иллюзии, когда-то поднявшие их на кровавую борьбу. Это разочарование постепенно преобразовывалось в запал новой войны, не менее кровавой и еще более беспощадной.

Друг Ленина, его ученик, при жизни вождя докладывавший от имени ЦК партии (как новый главный партийный руководитель) на двух съездах (XII и XIII), Григорий Зиновьев опубликовал руководящую статью «Философия эпохи» — и философия эта, по Зиновьеву, заключалась в жажде равенства как глубинном позыве человечества, как истинном смысле развития. И хоть сам Григорий Евсеевич в дальнейшем погиб во внутрипартийной свалке за руководящее кресло, эта объявленная председателем Коминтерна главная идея предвещала чудовищные революционные циклоны надо всем миром.

Жизнь опровергала иллюзии, фанатики, творившие их (для

себя и на всеобщее пользование), отвечали: тем хуже для жизни, будем ее резать по нашим единственно правильным меркам. Именно из зиновьевского окружения впервые понеслись истерические требования об ограничении кулачества, об окорачивании нэпманов. Отсюда было рукой подать и до ликвидации. Сам Зиновьев, правда, так и не осуществил своей эпохальной философии — это сделали после него люди покрепче и пожестче. Впрочем, они тоже были жрецами равенства — то есть гнездившихся в душе народа иллюзий о том, чего ему, народу, не хватает для полного общественного блаженства.

Интересно, что идею эту исподтишка осмеивали. В «Крокодиле», самом популярном сатирическом журнале, некто под очень многозначительным псевдонимом Савелий Октябрев внес издевательское предложение: для достижения полного равенства всех высоких людей поселить в горных районах, чтобы они не зазнавались, а всех низеньких разбросать по равнинам — там они почувствуют себя удовлетворенными.

Впрочем, деловые фанатики — не сатирики, они нашли решение попроще и порадикальней. У всех высовывающихся просто сносили головы — равенство было быстрым и полным. Я где-то читал, что Наполеон в итальянском походе сказал строптивому Жиро, будущему (после уяснения ситуации) своему маршалу:

— Генерал, вы ровно на голову выше меня. Но если вы будете со мной спорить, я уберу это различие.

Зиновьевская философия эпохи имела и чисто русскую окраску. Если не ошибаюсь, эти горестные, до боли точные строчки принадлежат Петру Чаадаеву:

Природа наша, точно, мерзость.
Смиренно плоские поля…
В России самая земля
Считает высоту за дерзость.

В маленьком мирке нашей профшколы зеркально отражались все социальные новинки общества.

У нас и в помине не было пылающих общественных дел. Понятно, что все мы переросли пионерский возраст — соответственно, отрядов в школе не существовало. Но и комсомольская ячейка, хоть и значилась, была почти незаметна. И самое главное: вольные общественные посты, конечно, наличествовали — энтузиазма не наблюдалось. Никто не стремился тратить время на ненужное и второстепенное.

Я не помню, была ли в профшколе ячейка МОПРа. Возможно,

да, но позыв немедленно раздуть вселенский революционный пожар отсутствовал. Мировая революция уже не оживляла наши молодые души, И сам я, рьяный ее поборник, еще недавно призывавший Буденного немедленно двинуть конную армию на помощь закордонному рабочему классу и угнетенному крестьянству, даже не пытался отыскать в новой школе комнатушку с ребятами, занимавшимися настоятельным делом — разжиганием всемирного пожара.

В этом тоже сказывалась новая философия эпохи.

Учитывая мое выдающееся общественное усердие, подробно описанное в трудшкольной характеристике, на первом курсе профшколы меня избрали председателем культ-комиссии. Я твердо помню, что за год не провел ни одного нормального заседания с повесткой дня, зафиксированными прениями и завершающей резолюцией. Зато разразился неординарной акцией. Тогда много говорили о пьесе немца-революционера Эрнеста Толлера «Гоп-ля, мы живем!» Мне понравилось это детски жизнерадостное восклицание, и я уговорил директора вывесить его в школе — в качестве нашего боевого клича. Вскоре красноогненная надпись засияла на широкой полотняной ленте. Плакат из двух слов: «Мы живем!» — повис в вестибюле напротив входной двери. Те, которые видели его впервые, улыбались и удивлялись (и то, и другое — одобрительно): уж больно не похож был этот лозунг на обычные висячие призывы, требования и торжественные обещания. Плакат провисел на стене весь учебный год, вплоть до каникул.

Я очень им гордился, ибо он стал единственным моим общественным достижением. Имел ли я в следующем году какое-либо отношение к культ- или другим комиссиям — решительно не помню.

Уклонился я и от публичного участия в партийных дискуссиях, взмахами огненных крыл закруживших наши школьные головы. Собственно, чисто партийными они были только в 1925-м и 1926-м, когда не шли дальше съездов, пленумов ЦК и областных партконференций. Но уже с начала 1927 года они сплошь бушевали по стране, вовлекая в свой круговорот всех, кого хоть сколько-нибудь тревожило, куда мы идем и что со всеми нами будет.

В школе дискутировали и на переменах, и на общих комсомольских и партийных собраниях, проходивших в актовом зале. Споры были такими пламенными, что не не зажечься ими мог только тот, кто был непроходимо туп или нем от природы. Я не был немым и тупым — но ни разу не участвовал в дискуссиях. Причины были гораздо серьезней. Меня не удовлетворяла ни

одна из сражающихся сторон. Я не мог тогда предложить собственной программы, а сведение счетов из-за несущественностей меня не привлекало. Если судить по темпераменту, я должен был рваться в бой, но не хотел махать кулаками без цели: игра (так я решил) не стоила свеч. Я иронизировал и над троцкистами, и над зиновьевцами, и над сталинцами, и даже над бухаринцами, которые все же были ближе остальных (Бухарин мне нравился). Друзья иногда говорили, что это на меня не похоже — возможно, но только на того, каким казался, а не каким реально был.

А бои разыгрывались страстные. В нашей школе заводилой был Леня Красный (он учился на параллельном курсе). Невысокий, порывистый, умный, великолепный оратор… Его было приятно слушать — даже если не вслушиваться. С ним нельзя было не соглашаться. Леня был, естественно, оппозиционером, а не «генералыциком». Так что наша школа поддержала оппозицию, а не «генеральную линию». Недолго, впрочем.

Сейчас я думаю, что у тогдашнего нашего вольнодумства были две причины (кроме, разумеется, Ленииного красноречия). Во-первых, оппозиция была именно оппозицией. Она критиковала социальную реальность, требовала отторжений, осуждений и перемен — жажда новизны покоряет молодежь, еще ничего из наличествующей реальности твердо не усвоившую, но заранее требующую ее немедленного переустройства.

Во-вторых, никто толком не понимал, из-за чего он, собственно, борется. И не только в нашей школе — везде. Я думал так уже тогда, поскольку внимательно читал периодически печатавшиеся дискуссионные листки. Чаще всего общее мнение сводилось к тому, что генералыцики — сторонники спокойствия и противники радикальных потрясений (будем постепенно строить социализм в своей отдельной стране, раз уж зарубежные рабочие изменили революционной классовой натуре). А оппозиционеры — радикалисты, им бы все побыстрей: вот бы подсунуть под Запад бочку с порохом и поднести спичку, а у себя дома скопом навалиться на кулака и торговца — главных врагов нашего благополучия. Думаю, впрочем, что гораздо действенней было то, о чем особо не орали: интеллигенция задыхалась под гнетом несвободы, ей не разрешали свободно мыслить, а оппозиция, критиковавшая сложившийся строй, одним этим открывала отдушину.

После очередного поражения генералыциков я спросил одного из них, Толю Богданова, своего одноклассника, умного паренька, впоследствии, в годы войны, директора Московского

военного завода (с перспективой на министра). Но до министра Толя не дошел, вернулся однажды домой после производственного совещания, присел в кресло отдохнуть перед ужином — и уже не встал: внезапное кровоизлияние в мозг в возрасте чуть больше тридцати лет.

— Толя, а здорово вам всыпал Леня Красный? Как ты переживаешь свое крупное поражение?

Он ответил рассудительно и веско:

— Никакого поражения нет, тем более — крупного. Ты думаешь, кого-нибудь интересует, что болтают в школах? Все решается на заводах. А там оппозиционеров лупят. И в хвост, и в гриву, и под хвост!

В этом Толя Богданов был абсолютно прав — на предприятиях оппозиции ломали хребет.

Наверное, в те дни у нас не было более радостного и энергичного человека, чем Леня Красный. Ему вполне подходило старое истрепанное выражение «всемирно знаменит в масштабе своего района» — если, конечно, под районом понимать школу. Он был не просто учеником — юным лидером складывающегося политического направления. Так думал не я один. Хорошо помню, как я однажды поинтересовался, что он собирается делать после школы.

— Как что? — удивился он. — То же самое. В молчунах, как ты, отсиживаться не буду. Пойми, Сергей, в стране совершается чудовищная несправедливость: людей насильно отводят от великих революционных традиций, забивают мелочами быта наши передовые идеи — как это можно терпеть? Как ты сам остаешься пассивным в такое время? Я готов отдать жизнь за свои идеи!

Я до глубины души понимал справедливость его намерений. Я сам всего год назад готов был отдать жизнь за немедленную помощь зарубежным угнетенным классам. Но все переменилось. У меня появились новые влечения и страсти, они непосредственно затрагивали мое существование, они, собственно, его и составляли — я уже не мог отказаться от них, от самого себя ради помощи кому-то неизвестному, который кстати, вовсе и не просил меня помочь. Я понимал, что это великий недостаток, а не достоинство, и не превозносил, а осуждал себя. Я чувствовал — иногда почти с отчаянием, — что меняюсь не к лучшему, а к худшему. Я восставал на себя — но ничего не мог с собой поделать. И с восхищением смотрел на Леню — он был много выше и лучше меня.

Со временем к этому уважению добавился страх. Я боялся за Красного. Люди, хоть как-то причастные к оппозиции, пропадали

на моих глазах. Некоторым (и немногим) счастливцам суждены были тюрьмы и лагеря, они получали шанс дождаться «своей» смерти, а не верховно назначенного выстрела в затылок. Леня, искренний, не принимавший несправедливости, нарывался на близкую пулю — я не сомневался в этом долгие годы.

И спустя двадцать лет, ненадолго вернувшись в Одессу, я стал осторожно допытывался у знакомых: может, они слышали что-нибудь о судьбе замечательного человека Леонида Красного? В Одессе ничего узнать не удалось, а в Москве я как-то повстречал приятеля, долгое время общавшегося с нашим школьным трибуном.

— Ну, и как он? — чуть ли не со страхом спросил я.

— В каком смысле — как? Человек как человек. Нормально живет, нормально работает.

— Неприятностей в его жизни не было? Вроде моих…

— Бог миловал. Наверное, характер спас. Никогда не нарушает священного трамвайного правила — не высовываться. Даже на профсоюзных собраниях выступает реже всех. Иногда жалко: такой умница пропадает, так бы далеко пошел, покажи себя настоящим общественником. Ни одного шага в сторонку от техники.

Единственный, кому на моей памяти удалось спастись от распахнувшего зубастую пасть Джаггернаута…[35]

3

У середины двадцатых была и еще одна, кроме партийных драк, примета: острый интерес к поэзии. На какое-то время стихи стали всенародным делом.

И тут были свои особенности, отличавшие нашу русскую моду от зарубежных.

Когда в области культуры появляются новые течения, они сразу же дифференцируются на общие и особые — одни для широких слоев, другие для элиты. Именно это естественное разделение — главный стимул совершенства: массовая мода пытается задавить элитарную, а та медленно, но неотвратимо ведет масскульт на высоты.

В нашей стране это нормальное соотношение было насильственно и трагически нарушено.

В первые десятилетия века в империи грянул бум всех видов искусств и науки. Надо сказать, что Россия, в прошлом, девятнадцатом столетии поразившая мир появлением таких гениев, как Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Толстой, Чайковский и Мусоргский, Лобачевский и Менделеев, в целом, в

среднести своей культуры, отнюдь не превосходила соседей — Францию, Германию, Англию, скорей — уступала им. Ибо еще Белинский запальчиво утверждал, что в России есть крупные писатели, тот же Пушкин например, а вот настоящей художественной литературы нет — отдельные выдающиеся вершины еще не делают страну горной. Думается, определенный резон в этом был.

И вот в начале столетия двадцатого Россия уже не разрозненными горными пиками, а общей горнестью, если можно так сказать, своей культуры резко рванулась вперед. В поэзии это время было названо «серебряным веком». Не знаю, как с цветом благородного металла, но в золотом девятнадцатом и в помине не было такого количества блестящих мастеров художественного слова: И. Анненский, В. Брюсов, И. Северянин, К. Бальмонт, А. Блок, М. Волошин, М. Кузмин, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Цветаева, И. Бунин, С. Есенин, В. Ходасевич — плюс еще порядка двух десятков имен, к ним приближающихся… Все золотое окружение Пушкина (кроме Лермонтова и Тютчева, разумеется) по мощи художественного мастерства значительно уступало этим новым, серебряного сияния, поэтам. Среди них, правда, так и не появилось пиков на равнине, но это была типичная горная страна — высочайший общий уровень мастерства.

Это же относится и к живописи, сразу сложившейся в несколько школ и выдвинувшей десятки мастеров мирового уровня. Достаточно назвать такие имена, как М. Врубель, В. Серов, И. Репин, В. Суриков, В. Поленов, Н. Рерих, К. Коровин, К. Сомов — и еще много, много замечательных фамилий. Когорта оригинальных живописцев поднялась из недр русской интеллигенции — и уже готовилась штурмовать Европу.

А разве осталась в стороне философская мысль? У нас никогда (за всю нашу историю) не было своих Декартов, Спиноз, Гоббсов, Локков, Кантов, Гегелей, Шопенгауэров, Ницше, Бергсонов, Марксов и Дьюи, даже Спенсеров и Контов. Собственно, Россия не родила гигантов и в двадцатом веке, но в ней, так долго отставшей от мировой философии, появилась своя горная философская страна с пиками европейского уровня: В. Соловьев, П. Флоренский, Н. Бердяев, В. Вернадский, Л. Шестов, А. Лосев, Н. Лосский, А. Введенский (не митрополит) — этот список можно продолжить.

Только отсутствие конкретных знаний мешает мне утверждать, что и в других областях искусства мы выходили на первые места. Но я уверен, что это было именно так.

В начале века Россия превращалась в страну передовой

мировой культуры.

Этот бурный подъем был оборван большевистской революцией. Ее вожди сами принадлежали к интеллигенции, не чурались философии и литературы (во всяком случае — и вполне справедливо — их можно отнести к незаурядным журналистам). У Ленина, Троцкого, Луначарского выходили многотомные собрания сочинений — их и сейчас интересно читать. Беда в том, что интеллигенты эти смертно боялись интеллигенции, люто ее ненавидели, ибо она (по определению) была враждебна их политическим прожектам. Когда большевики арестовали несколько десятков «кадетствующих интеллигентов» и Горький бросился их защищать от ЧК, Ленин написал ему: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».

Сказано ярко и сильно. А когда за спиной — государство, слово немедленно превращается в дело. Это в капиталистических странах правительства почти не командуют умами и частными интересами граждан — у нас власть диктаторская, тоталитарная, наловчившаяся карать не только за поступки, но и за тайные мысли — даже за подозрения, что ты способен их иметь. Естественно, она немедленно приступила к формированию сознания своих адептов. Никакого индивидуального словоборчества, никаких стихийно возникающих мод и течений — только то, что предписано.

Новых российских правителей, конечно, можно было честить как угодно — но относить их к дуракам все же не стоило. Они прекрасно понимали, что один запрет малодейственен. Надо было его подкрепить — например, такими строками:

> Вновь враги направляют удары
> В стан глашатаев новых идей.
> Берегите вождей, коммунары,
> Берегите вождей![36]

Вот это настоящая поэзия — та, что нам нужна! Поощрить ее — типографией, гонораром, продовольственным пайком!

В то же время тонкая барышня тихо скорбит о своей неудавшейся любви к женатому мужчине:

> Осень. Толпятся тучи-скитальцы.
> Желтые листья легки.
> Он носит кольцо на третьем пальце

Правой руки…
Но я спокойная, даже не плачу,
Не склоняю перед ним лица.
Лишь, прощаясь, чую рукой горячей
Холодок кольца.[37]

Еще одна дамочка[38] заныла о том, как сильна любовь, как мучительно трудно стать матерью, какое это ликование, какой восторг — материнство. Подумаешь, невидаль — была девкой, стала бабой. Это со всякой случается. Шекспировской силы строки? А надо внимательней присмотреться: подходит ли нам тот Шекспир? Не повредит ли он успеху на фронтах гражданской войны? Тоже ведь интеллигентик. И неясно — наш или не наш? Прихлопнуть все, что не приносит немедленной зримой помощи! Помощи нам, естественно. И создать, материально ее поощряя, новую моду — всяческого восхваления нас.

И первым классиком новой поэзии становится агитатор Демьян Бедный, в дореволюционное время назвавший себя вредным мужиком.

Бедный, несомненно, был даровитым стихослагателем, но сам чувствовал свою поэтическую ущербность.

Пою… Но разве я пою?
Мой голос огрубел в бою.

Ленин (в минуту литературного просветления) сокрушался, что Демьян приспосабливается к малограмотному читателю, не тащит его за собой, а остается на его уровне, — стало быть, его поэзия не развивает интеллекта и не отвечает элементарным эстетическим требованиям. Но это здравое понимание не помешало руководству РАППа[39] провозгласить в конце двадцатых годов чудовищный лозунг «одемьянивания советской литературы», сведения ее к примитивным агиткам и безвкусному выполнению «социального заказа». И если бы сам неосторожный Демьян не задел самолюбие Сталина обидным суждением о его характере и тем не потерял свой почти властительный ореол, то ретивые рапповцы и не так бы изгадили литературу!

Правительство вело двойную социальную игру — на расширение грамотности и на снижение художественного уровня, и это незамедлительно привело к потере интеллектуальной высоты, художественного вкуса, изобразительной силы. Да, конечно, о необходимости изучения лучших образцов мировой литературы говорили много и часто — но делали другое:

поощряли неумелый примитивизм, частушечное мышление, синеблузный интеллект. Великая поэзия, недавно поднимавшаяся на мировые художественные высоты, рушилась в заштатный провинциализм.

Доходило до того, что новоявленные поэты гордились своей малограмотностью как отличительным признаком наших рабоче-крестьянских кровей — я сам встречал таких мастеров литературы. Мой умерший друг Яков Зарахович утверждал, что описал в своей повести «Маляс» реальную сцену, когда заведующая местным культотделом, бывшая буденновка, ставшая высшим покровителем муз, строго «доводила до истины» городского культурника.

— Кого будешь исполнять? Чайковского? Кого-кого? Это же помещик, крепостник! Да ты понял ли, что задумал? Мы шашками их рубали, кровь свою проливали, чтоб под корень всех… А теперь им дорогу, хлопать им, да? Пока я жива, не будет!

Конечно, факт вопиющий. Но предписанный настрой был таков, что подобное могло случаться — в том самом порядке исключения, который иногда становился правилом.

Только могущественнейшее государство могло добиться такого удивительного результата: художественная литература стала развиваться назад. Правда, она умножалась. Страна бурно преодолевала вековую неграмотность, насыщалась образованием, как губка водой, и остро нуждалась в книгах. И книги ей дали. Сначала те, что уже были. Затем — новые, все ниже уровнем. Каждое старое издание становилось редкостью, вещью для избранных, тайной святыней. Иногда государство просто-напросто запрещало того или иного автора. Максимилиан Волошин горько сказал:

Мои уста давно замкнуты. Пусть!
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, но тетрадкой.

Но если власть отменила Волошина, поэта такой гражданской мощи, какой еще не знала наша литература, то на Ахматову, Цветаеву, Анненского, Бальмонта, Кузмина, Мандельштама и других прямых запретов не было. Но и они, стираясь в художественном полубытии, становились избранностью — с каждым годом их все меньше знали, все меньше читали, все реже вспоминали. «Довлела дневи злоба его» — стратеги новой социалистической литературы действовали безошибочно.

А те, которые продолжали существовать, либо закономерно

мельчали, либо вступали в борьбу с собой и присоединялись к посредственности.

Владимир Маяковский, начавший гениально и мощно, по собственному признанию, «наступал на горло собственной песне». Человек, создавший горделивое обращение к миру:

Эй, вы, небо! Снимите шляпу.
Я иду. Глухо.
Вселенная спит, положив на лапу
Клещами звезд огромное ухо, —

заканчивал гораздо более полезными в быту стишатами, имевшими к поэзии такое же отношение, как веник к виолончели:

Товарищи люди!
Будьте культурны.
На пол не плюйте,
А плюйте в урны.

Сейчас модно разыскивать убийц для поэтов, пошедших на самоубийство. Это попытка оправдать свое время, общество, самих себя, заставляющих талантливых людей отказываться от собственного таланта.

Маяковского погубило чувство неосуществленности. Я могу его понять, ибо неосуществленность терзала меня всю жизнь. Впрочем, мне было гораздо легче. Маяковский начал с колоссального взлета, все дальнейшее было непрерывным поступательным превращением из гиганта в посредственность. Я стремился в великие из ничего. Не вылез — грустно, но не повод для самоубийства. Он безмерно и неудержимо падал — пуля в собственное сердце означала долгожданную остановку в литературном самоуничтожении.

Еще разительней трагедия Есенина. Он сам назвал грядущую причину своей непростительно безвременной смерти:

С горы идет крестьянский комсомол
И под гармонику, наяривая яро,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.
Вот так страна! Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна
Да и, пожалуй, сам я больше здесь не нужен.

Окололитературное дурачье, выискивая, на кого персонально взвалить вину за гибель поэта, вместо общества, губившего творчество, придумало какого-то неведомого злодея, подобравшегося к Есенину исподтишка, а после, стало быть, написавшего за него стихи, — дабы закамуфлировать убийство под самоубийство.

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, без руки и слова.
Не грусти и не печаль бровей.
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

И ни один из сыщиков не заметил, что, отрицая самоубийство Есенина, они ставят перед историей новую, несравненно более трудную загадку, чем простое самоустранение поэта, осознавшего, что он лишний в мире Пролеткультов и Демьянов. Кто автор стихотворения-камуфляжа? Оно же великолепно! Кто он, совместивший гений и злодейство? Почему от него не осталось никаких следов, кроме потрясающих по силе строчек и тела жертвы?

О царской России говорили, что она — тюрьма народов. Советская Россия была тюрьмой талантов. Страшная угроза «Незаменимых нет!» господствовала в мире интеллекта. В Толстые, в Пушкины, в Рафаэли, в Шекспиры назначали особым, запротоколированным решением ЦК родной партии. В гигантской стране успешно воплощали культурный идеал философа-кавалериста прошлого столетия полковника Скалозуба:

Ученостью меня не обморочишь…
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам.
Он в три шеренги вас построит,
А пикнете, так мигом успокоит.

И успокаивали. Вначале социальным отвержением, тривиальным голодом — просто не печатали. И равнодушно

прислушивались к тем, кто корчился от невоплощения.

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?[40]

Общее падение культурного уровня интеллигенции, стимулируемое свыше, сказывалось и на той молодежи, которая шла в культуру на роль ее будущих мастеров.

В конце двадцатых годов вышел в свет сборник О. Мандельштама (он состоял из двух книг — «Камень» и «Tristia»).

— Памятник захудалого рода, — с сожалением сказал один из моих друзей.[41] — Интересно, но не захватывает. Теперь нельзя так писать.

— Нельзя, — подтвердил я. — Мир, отдающий нафталином. Вполне согласен: такие стихи больше никого не волнуют.

Впоследствии этот мой друг стал не только знатоком поэзии Мандельштама, но и добрым его приятелем. Он писал отличные стихи в том же «нафталинном» духе, и, попав в непечатаемые, пробавлялся переводами национальных поэтов. И вынужден был скрывать свою высокую поэтическую культуру, приобретенную не при помощи Государственного литературного института, а вопреки ему.

А для меня в годы лагерей и ссылок стали спасением строчки этих самых отсталых — и недосягаемых! — Мандельштама, Гумилева, Пастернака… Я твердил их про себя и для себя — почти каждую ночь. Мы, новое поколение, пытались вскарабкаться на высоты, которые для поколения предыдущего были простой почвой.

Двуликая политика правительства — подъема грамотности и понижения культуры — была противоречива сама по себе. Демьянизация литературы и превращение интеллигенции в сплошной Пролеткульт, в лихо пляшущее и орущее синеблузие, явно не удавались. Молодежь, набирающаяся образования, постепенно отворачивалась от предписанного и субсидируемого пути.

Правительству пришлось слегка отступить. В двадцатые годы возникла так называемая «молодая поэзия» с ее корифеями — А. Безыменским, М. Жаровым и И. Уткиным. Ей немедленно предоставили страницы журналов, сцены клубов, комнаты литературных кружков. В тридцатые годы в стране не существовало более громких поэтических имен, чем эти три. Даже недавно умерший Есенин, даже Маяковский были плохо

различимы в общенародном громе и звяке комсомольских поэтов. Их поэзия была, конечно, разновидностью художественной литературы. В отличие от пролеткультовцев и вредного Демьяна, совершенно исключавших интим из своих грозных стихов, молодогвардейцы допускали и любовь — как нечто неизбежное, но далеко не главное. Но, конечно, любовные перетурбации неизбежно сочетались с более передовыми задачами — трудом на благо родины, готовностью пожертвовать всем ради победы революционных идей.

До четырех — за иголкой.
Шьет на армейцев белье.
Радость моя — комсомолка,
Сердце мое!

Доходило и до:

Будет день — синеволосым вечером
Я рассыплю шелк твоих кудрей.
Буду гладить голубые плечи,
Как мальчишкой гладил голубей.

Дальше поэты-молодогвардейцы не шли, это был максимум. Никто не осмелился сделать женские плечи не столь синюшными, как откровенно голубые, и позволить себе страсти крепче мальчишеского увлечения голубями. Но спасибо и на этом — все-таки не один грохот медных труб, перекличка заводских гудков и свист взметенных шашек, а что-то личное.

Этим молодогвардейцы и взяли — чуть-чуть приоткрытой душой. Всенародная их популярность объяснялась не только тем, что их поощряло правительство, — они отдаленно, неумело коснулись некоторых вечных тем истинной поэзии.

А несчастье их заключалось в том, что они создавали второсортную литературу.

Я вовсе не хочу обвинять этих поэтов, особенно самого даровитого из них, Иосифа Уткина, в бездарности. Нет, они были по-своему талантливы — но больше чем на отдаленное подражание мастерам не тянули. Повторяю: они были второсортны. И могли кружить голову только тем, кто выкарабкивался из безграмотности и прибивался к массовой культуре.

Впрочем, таких было большинство.

Виктор Шкловский[42] (в те годы — остроумный и яркий)

язвительно писал, что у каждого настоящего писателя имеется своя тень, свой упрощенный двойничок в лагере пролеткультовцев. Молодогвардейская поэзия была видимой тенью тех, кого не выпускали на публичную сцену.

4

Во время взлета молодогвардейцев я стал посещать литературные кружки.

Тогда еще существовали (и боролись между собой) разные организации — РАПП, крестьянские писатели, «попутчики», ЛЕФ (левый фронт), твердокаменные пролеткультовцы. Сохранившиеся мастера Серебряного века ни в какие кружки не входили — они были отверженными, максимум общественной активности, который они себе позволяли, — ходить друг к другу в гости.

В первые советские годы в Одессе выросла плеяда настоящих писателей, очень скоро ставших знаменитыми: Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Семен Кирсанов. Но они перебрались в Москву и в родном городе появлялись только наездами.

У нас, сколько помню, существовали несколько писательских кружков: «Потоки октября», «Станок», «Перевал», «Молодая гвардия». В первых двух ютились старожилы пролеткульта, малокультурные, малопишущие Матьям и Батров и — единственный живой человек — тоненькая, изящная Галина Галицкая. Она работала на джутовой фабрике и так и не стала профессиональной писательницей, хотя у нее был настоящий талант. Впрочем, фабрику Галина вскоре бросила и определилась в литературные цензоры — редкий случай, когда советский цензор разбирался в том, что цензуровал.

Самой массовой, к тому же специфической организацией была «Молодая гвардия» при газете «Черноморская коммуна». В «Перевале» концентрировались люди постарше и посерьезней, из «попутчиков». Он размещался на той же Пушкинской улице, что и «Молодая гвардия», и в том же квартале, только на противоположной стороне.

Я определился в «Молодую гвардию» (в качестве постоянного члена), но изредка посещал и «Перевал».

У меня сразу появились новые знакомые, преимущественно поэты. Со многими я подружился на всю жизнь.

Я расскажу о трех замечательных подростках, красочно выделявшихся среди других, — Петре Кроле, Евгении Бугаевском и Семене Липкине.

Самым значительным из этой троицы был, наверное, Петр Кроль.

Благородная печать истинного космополита явно проступала в полуеврейском-полупольском Петином облике. Невысокий,

худощавый, остроносый, с живой, немного захлебывающейся речью, он выделялся среди всех какой-то жертвенной привязанностью к поэзии и удивительным в таком возрасте знанием мировой литературы. Он не пошел в институт — институт ему просто не был нужен, он и так превосходил многих преподавателей не только пониманием, но и обилием фактов, вмешавшихся в его голове. Когда нам требовалось уточнить, что написал в такой-то пьесе Шекспир, или Шиллер, или Лопе де Вега, или Кальдерон, или Гольдони, или Гюго, мы спрашивали у Пети — это было проще, чем искать в книгах. Не помню, знал ли он другие языки, но отдельные канцоны Данте он читал на итальянском, какие-то строфы Франсуа Вийона — на старофранцузском (наверное, выучивал отрывки в оригинале). Вийон, если не ошибаюсь, был его любимым поэтом.

Когда в фантастическом рассказе «Мертвые живут» я описывал сидящего в тюрьме давнего (и юного) французского поэта, я придал ему черты Петра Кроля — его лицо, его глаза, его лысоватую голову, его манеру разговаривать, его страстную увлеченность стихами. Я даже растрогался. Мне показалось, что так я смогу сохранить образ моего замечательного, так трагически погибшего друга.

В те годы Петя писал стихи почти ежедневно. Его соученик Борис Ланда (с ним, прошедшим через всю мою жизнь, я еще не был знаком) их записывал — скоро накопилась целая амбарная тетрадь. Наивные по содержанию, они уже тогда отличались той свободой формы, той легкостью изложения, которая отличает настоящего художника. Он, начинающий, уже был мастером. В Москве мне говорили, что Осип Мандельштам предвещал ему большое поэтическое будущее.

Абсолютно лишенный зависти, Петя радовался успехам товарищей даже больше, чем своим. Как-то он прибежал ко мне домой и, возбужденный, потребовал, чтобы я немедленно пошел с ним в «Перевал»: сегодня там читает стихи Аркадий Штейнберг, этого замечательного поэта просто нельзя не послушать. Я, разумеется, пошел.

Штейнберг явился с красивой и нарядной девушкой — она держалась в шумной сутолоке перевальцев так, как и должна держаться особа, сознающая свою незаурядность. Незаурядным выглядел и Штейнберг: хорошо одетый (в отличие от нас с Петей), сдержанный, внушительный. Мы услышали три больших стихотворения — «Верона», «Франсуа Вийон» и о декабристах (не помню названия).

Штейнберг начал с того, что встал в картинную позу. Голос его зазвенел.

Шито-крыто, ночь — ворона.
Спит дебелая Верона.

Он вообще хорошо играл тоном. Последнее признание идущего на казнь Вийона прозвучало глухо и скорбно:

Я слышу, как крылами шатает
Та виселица, что меня поджидает.

А начало стихотворения о декабристах было окрашено нескрываемой иронией:

История двигалась медленно, понеже
Все происходило как бы на Манеже.

После чтения Штейнберга окружили взбудораженные поклонники, а сияющий Петя воскликнул:

— Что я тебе говорил? Замечательно, правда?

Стихи были действительно сильные, к тому же прозвучали очень энергично. Штейнберг вскоре исчез — вместе с девушкой. Я еще долго жалел, что мне так и не удалось с ним познакомиться.

Петя прожил в Одессе года до 1932-го (или 1933-го?), потом перебрался в Москву. Мы встречались не только на литературных сборищах, но и дома — он ко мне приходил.

А вот я был у него только раза два. Они жили вчетвером — родители, сестра и Петя. Это была очень нестандартная семья. Не знаю, где работал отец, — но они всегда нуждались. Впрочем, Петины родные и не стремились к зажиточности — тогда мне казалось, что им это просто не нужно. То, что для других было чрезвычайным, здесь считали обычным.

Когда умерла мать, ее тело не один день лежало в квартире — отец не мог расстаться с женой. Во всяком случае, так говорил Петя — и не удивлялся. Он вообще не видел в жизни ничего странного — он жил среди странностей. Только хорошие стихи его поражали: нет, до чего же здорово!

Петя был уже взрослым, но нигде не работал. Он органически не мог этого делать — если, конечно, под работой понимать хождение на службу, перевешивание номерков, посещение профсоюзных собраний, получение зарплаты. Он был трудоголиком — но особого рода: непрерывно размышлял о литературе, читал и писал стихи, спорил о них. Пробавлялся случайными заработками, питался случайной едой, носил

случайно доставшуюся одежду — и казался вполне довольным, а иногда и счастливым.

И еще одна — и, возможно, главная Петина странность: он не увлекался женщинами. За полных десять лет нашего знакомства я не видел рядом с ним ни одной девушки (литературные компании не в счет). И среди его стихов не просто не было любовных — я не помню ни одного, где вообще говорилось бы о женщинах. Зато у него было много друзей-мужчин — тех, чьей поэзией он восхищался, тех, кого восхищало Петино творчество.

Он приходил ко мне домой (обычно — днем, он знал, когда я свободен от лекций), усаживался в кресло и читал свои, а чаще — чужие стихи. Иногда чтение превращалось в лекцию (и далеко не всегда — о современниках). Однажды он часа два восхищался португальцем Камоэнсом, поэтом XVII века. Речь шла о «Луизиаде», рассказывающей о странствиях Васко да Гамы, — и Петя не мог не поделиться со мной своим восторгом. Я остался равнодушным и к Камоэнсу, и к Ваське не Гаме, как я его тогда называл, — и Кроль гневно обрушился на меня. Есть люди, остро воспринимающие недостатки, — таких большинство, я тоже из них. А есть те, которые еще острей реагируют на малейший проблеск красоты, — и Петя был самым ярким представителем этого типа.

Меня в те времена увлекала философия, и в ответ на Петины излияния я рассказывал ему о своих изысканиях и о тех мыслителях, которые меня захватывали. Он слушал внимательно, но недолго: ничто, кроме поэзии, не могло занять его на продолжительное время. Своих стихов я ему не читал.

Иногда его одолевала блажь — прямо посреди поэтических бдений. Как-то, прочитав очередное стихотворение, он помолчал и вдруг деловито спросил:

— Сережа, что ты сделаешь, если я вдруг нападу на тебя и побью?

— А зачем тебе на меня нападать? — полюбопытствовал я.

— Ну, просто так. Нападу и буду бить.

— Ну, если просто, тогда ничего. Я думал — по важной причине.

— Ты не ответил на мой вопрос.

— А чего отвечать? Напасть — это сумеешь. Но побить — вряд ли. Я сам повалю тебя на пол и так измантужу, что без помощи не поднимешься.

Он опасливо покосился на меня. Мы были одного роста, но я много сильней — и он это знал. Дурные мысли продолжали терзать его.

— Ну, хорошо, я не буду тебя бить. А что ты сделаешь, если я

вскочу и кулаком высажу стекло в окне?

— Не советую — порежешься. Такие раны не скоро заживают. Не сможешь писать стихи.

— Ладно, кулаком не буду. А если возьму вон ту гипсовую статуэтку и выбью окно ей?

Я стал сердиться.

— Тогда я схвачу тебя за шиворот и вышвырну за дверь. И так наддам ногой нижнее ускорение, что ты, как та свинья у О. Генри, полетишь в десяти метрах впереди своего визга. Начнем, что ли?

Он помолчал и стал читать Михаила Кузмина. Тут он был сильней меня.

В Москве Петя жил той же жизнью — только хуже. Бесквартирный, ночевал по знакомым, ютился в случайных углах, ел от случая к случаю. Естественно, нигде не работал. И не мог бы работать, кстати, даже если бы захотел — прописки у него не было. Друзья устроили ему заказ от Госиздата — издание предполагалось публицистическое, на военную тему (в годы первых пятилеток она была модной). Мы случайно столкнулись с Петей в Москве, и он гордо показал мне этот первый и последний в своей жизни договор — на брошюру под хлестким названием «Пушки и параграфы». Возможно, он даже и аванс получил, но книги так и не написал — упомянутые пушки (вместе с параграфами) в поэтические строфы не впихивались. Вероятно, одна мысль о них порождала у него неукротимую зевоту. Лучше было голодать, чем питаться едой, нашпигованной военными причиндалами.

Во второй половине тридцатых, когда я уже гнил в тюрьме, арестовали и его. Он повалялся на тюремных нарах, поуродовался на лесоповале. И каждую свободную минуту занимался единственным делом своей жизни — стихами. Во время моего послелагерного (и короткого) столичного житья мне подарили чудом сохранившуюся папку — Петин архив. Последний цикл, написанный в заключении, отыскал великий поклонник его таланта, наш общий друг и впоследствии известный поэт Всеволод Азаров.

Не могу удержаться, чтобы не воспроизвести несколько отрывков из этих великолепных и скорбных стихов.

Того не передать словами,
Как здесь лежат, как здесь храпят,
Как у безногих под главами
Протезы жесткие скрипят.
Как человек умеет чахнуть,
Как человек умеет пахнуть,

Забыть мытье, забыть бритье,
Забыть еду, забыть про сон…
На многое способен он.

* * *

Я сыном посчитаться вправе
Того народа, чьи сыны
Всегда предпочитали яви
Галлюцинации и сны.
Нам свойственно к деньгам презренье,
Мы двойственны, как все творенья.
И бытие — орех двойной.
Меня коснулся мир иной.
И вот я взрослый. Я созрел
Для скверных слов и скверных дел.

* * *

Мы валим древесину в груды
Весь день — и позже, до зари.
Осину — дерево Иуды,
Его боятся упыри —
Сосну, березы, липы, клены
И дуб. И каждый труп зеленый
Пометит дегтем контролер.

* * *

Так без винтовки и стамески
Тянулась молодость моя.
И час настал, и в знак отместки
Я отрешен от бытия.
Я стал унылый и покорный.
Я научился чай цикорный
Глотать из кружек, кочевать,
На жестких нарах ночевать.
Мне просто скучно.
Жизнь есть сон.
Был прав испанец Кальдерон.

* * *

Что ж, слава есть в самом бесславье

И право есть в самом бесправье.
Пусть будет труден этот путь —
Он будет пройден. Как-нибудь…

Он не был пройден. Его насильственно прервали недалеко от той точки, какую Петин любимый Дант назвал серединой жизни. Выйдя на волю еще до войны, Петя уже не вернулся в недобрую Москву. Он умчался к бывшим ларам и пенатам[43] — ему казалось, что они у него еще остались. Но домашние боги ушли от него — даже в Одессе.

Во время короткого своего послелагерного приезда домой я пытался узнать, что с ним. Точно никто не знал, но все разговоры и слухи указывали на лагерь уничтожения для евреев на Дальницкой улице. Петя, выкручиваясь из железных пут судьбы, мог бы избежать этого страшного места. Моя мать была здесь несколько раз — приносила передачи для знакомых, она, несмотря на фамилию, была русской (это говорилось и в паспорте), ее свободно впускали и свободно выпускали: немцы еще больше, чем советские чиновники, чтили официальные документы. Петя мог доказать наличие польской крови, мог предъявить нееврейские бумаги одного из родителей, мог защититься семейным крестиком… Но он был неспособен это сделать. Он честно посчитал себя сыном избранного — на двухтысячелетнее гонение — народа и не властен был отступиться.

Он, тридцатилетний, погиб в конце 1944-го.

Пятьдесят лет прошло с тех грозных дней. Пятьдесят лет, мертвый, он вечно живет в моем сердце. И будет в нем жить, пока оно бьется.

А теперь — о другом друге, тоже рано умершем. Он свалил меня в пропасть, которую открыл для нас обоих. Я судорожным — всего в два десятилетия длиной — прыжком перепрыгнул через нее в относительно безопасное существование, ему такой прыжок не удался.

Я имею в виду Евгения Александровича Бугаевского.

Сыновья адвоката, известного в Одессе меньшевика, Евгений и Владимир (старший) были типичными интеллигенсткими отпрысками. Они даже жили в самом центре города. Не знаю, интересовался ли их отец литературой, но братья дышали ею (особенно Владимир, ставший впоследствие профессионалом, — правда, только переводчиком национальных литератур).

Нас с Евгением подружила любовь к Борису Пастернаку. Я тогда бредил сборником «Сестра моя жизнь», Женя швырял

пастернаковские строчки, как бомбы, в лица тех, которые не доросли еще до такой поэзии.

Он и сам писал стихи — это тоже сближало. Одно из стихотворений он посвятил мне — и я частично запомнил посвящение.

Когда вся жизнь в отпуску и на Стрельне,
Зимою и летом, юнцом и в годах,
Тогда и я, как помешанный мельник,
Хочу, как ворон, жить и летать.

Лечу по аллеям пустынного парка,
Слагая стенанья и крики в строфу.
Я ямбами буду глумиться и каркать,
На всех навевая свой страх и тоску.

Забыл все названья, запутал все даты.
Смешал в одно месиво топи и горы.
И средневековый вижу я город,
В котором аптекарем был когда-то.

Стою у аптеки, к двери прислонившись.
Сейчас, сейчас начинается страшное!
Сливаются тени и прячутся в нишах…
Но некогда ждать мне и некого спрашивать.

Так путник в пути, соскочив со стремян,
Присядет и скажет, что понял он счастье,
Что можно ведь жить, ни к чему не стремясь,
И вскочит в седло, чтобы снова умчаться.

И уже на запад плывут каравеллы.
Вдали показалась страна откровения…

Дальше не помню. Главную свою цель Женя видел в том, чтобы нагромоздить побольше яркого и картинного сумбура. Он был похож на живописца, который старается в предметном мире проницательно заглянуть в запредметное.

И хватит о нем — пока. В книге моей жизни ему будет отведено еще много страниц.

Семен Липкин реже всех нас посещал литературные кружки и предпочитал «Перевал», а не «Молодую гвардию». Он рано дистанцировался от молодогвардейства, хоть был на год или два моложе меня и Пети. И (в отличие от меня и Бугаевского) он, как

и Кроль, жил только поэзией. Конечно, в молодости Семен не мог сравниться с Петей по части литературной эрудиции, но в творчестве не уступал никому. Его стихи покоряли — и формой, и мыслями, и чувствами. Он полностью отошел от гремящей комсомольской поэзии, раньше всех нас — исключая, естественно, Петю — углубился в заброшенные рудоносные недра Серебряного века. Меня восхищало и его литературное мастерство, и самый дух его стихов. Они были мне близки. Как-то он переписал и подарил мне два особенно восхитивших меня стихотворения. Они сохранились. Не знаю, напечатаны ли они где-нибудь, сохранились ли у него самого.

В порту

Те, кочегарами и капитанами,
Матросами живущие, и те,
Которых кинуло к другой мечте…
О, матери с девическими станами,
Вас не забудут сыновья морей!..
О, нежный блуд прекрасных матерей!

Ночами ты, от любопытства скрытыми,
В каморках на Приморской замирав,
Приметами, портретами, за шкаф
Давно закинутыми и забытыми,
Оживший — самого себя порой
Ты выдаешь то песней, то слезой.

Я видел их у припортовой лестницы,
Когда, рассевшись на ступеньках той,
Все грызли пшенки с важной простотой,
Все ждали ветерка да лодки-вестницы,
Да сыновей, чтоб те смогли, просты,
Напомнить им любовников черты.

Они сидели старыми, серьезными,
Не чувствуя того, что воздух сперт
Бензинным запахом, того, что порт
Зовет, зовет гудками паровозными.
Я здесь остановился. Не зови
Пред этим вечным трепетом любви.

И второе — уже на общечеловеческую тему, запретную в тогдашней «общенародной и передовой» поэзии. В тюрьме и

лагере я часто твердил про себя эти строки, так созвучные тогда моему существованию.

Душа

Что душа? Лишь проталина
Как бы в почве подземной!
Но порой не сходна ль она
С одиночкой тюремной?

Сколько ж плача, стыда в нее
Внесено, и на стенах
Те же записи давние
Постояльцев забвенных.

Тот же неповоротливый
Надзиратель докучный:
Мозг — догадчик расчетливый
И всегда злополучный.

И смотрительской дочкою —
Час наступит печальный
Над мережкою-строчкою,
Видно в башенке дальней.

Сам судья наклоняется
В этом образе милом.
Вот уже приближается,
Приплывает к перилам.

Ну, не спрашивай имени,
Награждай приговором
И сама же казни меня
Невнимательным взором.

Липкин рано сбежал из Одессы. Вообще Одесса — удивительный город. Она обильно рождает таланты — но жить в ней они не могут. По-настоящему раскрывается и развивается только тот, кто покидает это отчее гнездо.

Я был глубоко убежден, что Липкин не просто прибудет в Москву — он воцарится в ней. Я долго не мог отделаться от иллюзий о нашем времени… Сам я рвался в Ленинград — и тоже для воцарения.

Сперва у Семена все шло великолепно. И Литературный

институт открыл ему свои двери, и журнал «Новый мир» отвел страницы для его стихов, и — самое главное — ими заинтересовался Борис Пастернак. И мечтать нельзя было о большем (для начала) успехе!

Во время одного из липкинских приездов в Одессу мы разговаривали о его делах в первопрестольной.

— Борис Леонидович решил, что мне нужно прочитать стихи Маяковскому, — весело рассказывал Липкин. — Он повел меня в Дом Герцена на Тверской бульвар. В ресторане за одним столиком сидели Маяковский, Асеев и Шкловский. Ну, Пастернак представил меня, сказал разные хорошие слова, я прочел стихи — и началось обсуждение. Маяковский сказал одно слово: «Говно!», Асеев был немного словоохотливей: «Ну, не совсем чтобы одно говно!» А Шкловский ударил кулаком по столу и возгласил: «А по-моему — здорово!» И на этом обсуждение закончилось. Борис Леонидович огорчился больше меня — я-то хоть познакомился с тремя знаменитостями.

— А как Москва приняла стихи в «Новом мире»? Все-таки лучший журнал в стране.

— Боюсь, она их попросту не заметила. Но зато их увидели за границей. И знаешь — кто? Сам Петр Бернгардович Струве! Старик внимательно следит за новинками советской литературы и рецензирует их в своем Нью-Йорке.

— Он, надеюсь, тебя не ругал?

— Куда там! Хвалил, да еще как! Написал, что молодой поэт Липкин, по-видимому — еврей, владеет русским языком намного лучше, чем большинство советских писателей. Ему, кстати, очень понравилась «Ярослава».

Я тоже любил это стихотворение. Правда, сейчас помню из него только одну строфу:

Ты выходишь к реке величавой
И полощешь срамное белье.
Ярослава моя, Ярослава,
Соколиное сердце мое!

— Сема, это очень хорошо, что патриарх русской эмиграции тебя расхвалил.

— Это очень плохо, Сережа. Боюсь, похвалы Петра Струве мне никогда не простят.

Он уже и тогда лучше меня разбирался в особенностях советской литературы. Прекрасный поэт, к тому же любивший и глубоко понимавший русскую культуру и русскую историю, он был фактически отлучен от них. Стал переводчиком

национальных литератур Советского Союза — превращал средних (на своем языке) поэтов в мастеров (на языке русском). И в том, что, например, мало кому известное песнопение киргизских ашугов «Манас» стало знаменитым эпосом, больше заслуги его воссоздателя Семена Липкина, чем безымянных древних слагателей.

Своеобразна роль переводчика в советской литературе. Особняком здесь стоят немногие подобные Пастернаку, который переводил Шекспира, Гете, знаменитых грузинских поэтов… Гений знакомил свой народ с творчеством других гениев и талантов. Собственно, этим же порой занимались и Пушкин с Лермонтовым.

Другое дело — прекрасные мастера перевода в многонациональной советской литературе. Ими становились обычно талантливые поэты, преимущественно — евреи, у которых просто не было иной дороги. Как правило, они оказывались выше тех, кого переводили. Это было, конечно, великое культурное деяние — выводить в просторную русскую литературу писателей других народов. Поэт, прозябавший в своем тесном национальном мирке, становился известным, а порой и знаменитым, когда появлялся на языке мирового значения, да еще в переложении настоящего мастера. У дверей талантливых переводчиков стояли очереди «оригиналов», классиков местного масштаба, — они добивались всеобщего признания, то есть перевода.

Но эта, повторяю, благородная государственная политика — приобщать второстепенные национальные литературы к общемировой (через русскую), — превращалась порой в издевательство над самой сущностью литературы.

Как-то в Москве я зашел к моему другу Рувиму Морану (в мемуарах «Люди. Годы. Жизнь» Илья Эренбург отозвался о нем как о большом эрудите и умнице). Для меня Руня, бывший одессит, был просто хорошим человеком и отличным поэтом — свойства далеко не заурядные. Мы сидели за столом и потихоньку пили мадеру. В эти дни спасли затерявшуюся в Тихом океане баржу, где сорок дней голодали три красноармейца, среди которых был татарин Зиганшин. Зазвонил телефон. Руня взял трубку.

— Да, я знаю, мне в «Литературной газете» говорили, — сказал он. — Обещали, что закажут вам двадцать четыре строки, не больше. Хорошо, пишите, я переведу. Советую остановиться на… — и Руня перечислил, какие детали эпопеи следует отметить. А мне, положив трубку, объяснил: — Это один казанский классик. Он сейчас в Москве и хочет напечатать в «Литературке» стихотворный восторг по поводу спасения земляка,

героически проголодавшего сорок дней.

Приканчивая мадеру, мы мирно беседовали. Снова зазвонил телефон. Казанский классик явно торопился.

— Не пойдет, — сказал Руня. — Не то, что я вам советовал. Переделайте. — И он повторил, каким хочет видеть оригинал.

Классик, судя по всему, в поте лица трудился над шедевром. Вскоре он опять позвонил — и Руня опять отверг его вариант. На этот раз мой друг действовал решительней.

— Нет, ваши переделки меня не устраивают. Предлагаю по-другому. Я уже написал перевод, а вы сделайте под него оригинал.

Он продиктовал классику готовый перевод еще не написанного стихотворения и вернулся к столу. Я возмутился.

— Руня, что за вздор? Разве ты не можешь напечатать свое стихотворение под своим именем?

Он хладнокровно ответил:

— Не будь наивным. Мои стихи «Литгазета» никогда не напечатает, а мои переводы национального классика — с радостью. Приходится выкручиваться.

Не хочу утверждать, что так было всегда. Но что видел, то видел.

Перед смертью Рувим Моран все-таки выпустил книжечку собственных стихов «Выбор» — в татарском издательстве (и, конечно, с добавлением переводов). Свою книжку издал и Семен Липкин. Прекрасные русские поэты оставались запретными, потому что у них не было «коренных кровей». А после смерти Морана вышли его избранные стихи — сборник «В поздний час» подготовили друзья Руни.

Липкину досталось еще одно горькое испытание, которого не изведал Моран, — полный запрет печататься. Правда, Руня побывал в лагере НКВД, а Семена Бог миловал. В годы липкинской опалы у меня вышел роман «Кольцо обратного времени» — я вставил туда великолепное Семино четверостишие, в свое время отмеченное Петром Бернгардовичем Струве:

Я разбойничал в логовах Даля
Эти звуки, как землю, скребя,
Чтобы трудные песни рыдали
О тебе, над тобой, для тебя.

К сожалению, это был только кукиш в кармане…

Шел 1927 год.

В Одессу приехал Владимир Маяковский.

Событию этому предшествовала хорошо продуманная реклама. На всех чугунных и бетонных рекламных тумбах вдруг появились загадочные афиши: на белом четырехугольнике по диагонали кровавой краской одно слово — «Маяковский». Необыкновенный плакат, естественно, взбудоражил одесситов. Маяковский? И что? Он же в Москве, а не в Одессе. Он таки да — Маяковский, и что тут особенного?

Спустя неделю появились новые афиши — уже из двух слов: «Маяковский выступает». Они породили новые толки. Выступает? Он всегда это делает, ноги у него длинные, язык еще длинней. Нет, вы мне скажите: где? Когда? У нас или в Херсоне? Или, не дай бог, в Николаеве?

На все вопросы ответила третья афиша — она появилась через неделю и известила, что Маяковский выступает в Одессе, в зале Биржи, день такой-то, кассы там-то, цена билетов от и до.

Мы, литературные приятели (я, Петя Кроль, Марк Зисман, Арнольд Боярский), твердо решили: нам необходимо проникнуть в Биржу — кровь из носа! Впрочем, эта самая кровь из этого самого носа была не очень-то и нужна — необходимы были дензнаки из кармана. А карманы наши ничего не содержали, кроме пыли и — у некоторых — грязных носовых платков.

В день концерта мы собрались у входа в Биржу, надеясь как-нибудь проскочить — солидные капельдинеры обычно бдительностью не отличались. Но это — обычно и по отношению к важным мужчинам с дамами (у них билетов не проверяли). А за нами они следили зорче клубных дружинников! Мы было впали в уныние, но повеселели, когда догадались обратиться за помощью к самому Маяковскому.

Он обычно останавливался в гостинице «Красная» — пышном здании как раз против Биржи — и вскоре показался на Пушкинской улице. Его сопровождали бывшие одесситы, теперь москвичи — Юрий Олеша и Семен Кирсанов. Мы ринулись к Маяковскому с воплем:

— Владим Владимыч! Не пускают без билетов!

Он возмутился:

— Вот еще — не пускают! Лезьте сюда! — Он распахнул свой широкий золотистый реглан и накрыл нас плащом, как огромными крыльями.

Под плащом было темно и неудобно. Я ухватился за поясной ремень, кто-то вцепился в карман, кто-то — в штанину. Маяковский шагал широко — мы семенили и толкались. Рядом истово сопел Петя, он, когда молчал, мог очень шумно сопеть. Мы

пересекли улицу, снова взобрались на тротуар. И услышали, как Маяковский нарочито громко — чтобы мы услышали — произнес:

— Со мной мои орлята. Посадите их повыше.

Он распахнул плащ, и мы вылезли наружу. Мы были в вестибюле Биржи. Капельдинер повел нас на галерку.

Вечер этот, как всегда у Маяковского, превратился в словесный бой. Впереди, на дорогих местах, сидели отнюдь не одни поклонники поэта. Когда он заканчивал какое-либо стихотворение (читал он много), раздавались и аплодисменты, и свист. Люди восхищались и возмущались.

Однако стихи зал слушал молча — это было наслаждение. Маяковский не декламировал, не упивался музыкой слов, как Багрицкий, а играл — голосом, позой, мимикой, жестами. Он больше чем актерствовал, варьируя интонации, — все его огромное тело участвовало в действии.

Особое впечатление произвело стихотворное послание к Максиму Горькому (поэт требовал, чтобы писатель вернулся на родину). Произнося название «Письмо поэта Владимира Маяковского…», Маяковский согнулся, сжался, вдавил голову в плечи, а руки — в туловище, заговорил чуть ли не дискантом, тонко и жалко, он живописал ничтожность — и на самом деле стал каким-то маленьким. И вдруг выпрямился, простер руки, оглушительно прогремел: «…писателю Максиму Горькому» — и голос, и фигура стали гигантскими. Это было так великолепно, что весь зал — и поклонники, и противники — взорвался аплодисментами, и Маяковскому пришлось сначала раскланяться, благодаря за восторг, и только потом начать читать.

Точно так же — от восторга — прервали и проклятие Федору Шаляпину, осмелившемуся искать более сытное и более свободное существование:

> И если вернется такой артист
> Назад на наши рублики,
> Я первый крикну: «Обратно катись,
> Народный артист республики!»

Только один раз оппонент осмелился прервать чтение. Когда Маяковский исполнял (это точней, чем затрепанное «читал»), недавно законченную и еще не известную поэму «Хорошо», в передних рядах началось движение — какая-то девица встала и, звонко цокая каблучками по паркету, вышла из зала. Маяковский демонстративно остановился и подождал, пока она не исчезла.

Минуты через две она вернулась и бесцеремонно процокала на старое место. В зале негодующе зашумели: девица явно

критиканствовала, но — ногами, а не словами. Маяковский снова остановился, чуть пригнулся, сделал характерный быстрый жест — он словно натягивал штаны, выпрямился и возгласил:

— Ух, даже мне легче стало!

Девушка рухнула в кресло как подкошенная. Зал хохотал минуты две — хохотал и бурно аплодировал.

Маяковский еще несколько дней пробыл в Одессе, но мы не осмелились прийти к нему в гостиницу.

Когда я думаю об одесских литературных сборищах, я вспоминаю не так стихи, как озорство и даже скандалы, граничащие с хулиганством, которое в двадцатые годы стало знамением времени.

Об этом я должен поговорить подробней.

Не знаю, виновна ли революция в этой вспышке, — шла свирепая междоусобная война, совершались дела куда пострашней банального хулиганства. Преступления стали бытом. В нашей семье долго хранилась книга Реми, известного карикатуриста аверченского «Сатирикона». На одной карикатуре («Кто как понимает») слева, на фоне небоскребов, стоял худощавый американец. Руки в карманах, гордая надпись: «Меня никто не ударит, у нас свобода». А справа виднелся покосившийся кабак, около него — пьяная фигура, торчащие из карманов бутылки и свирепая фраза: «Кому хошь врежу в морду — у нас свобода!» Какая-то доля правды в этой художественной констатации была.

Хулиганство, густо выплеснувшееся на улицы, было формой варварской вседозволенности — своеобразно понятой разновидностью свободы. В начале двадцатых по улицам маршировали нудисты, голые мужчины и женщины. Шествие их иногда сопровождалось музыкой — и всегда хохотом, улюлюканьем, свистом, сердитой руганью и восторженным матом. Касьян Голейзовский (в те годы — уже знаменитый балетмейстер) выпустил на сцену обнаженных женщин — всенародного одобрения не обрел, но танцовщиц, которые охотно согласились раздеться, нашел.

Людям, негодующим на безобразия, творимые нынешней молодежью, советую как-нибудь проглядеть газеты раньшего, по выражению Паниковского, времени — они предоставят материал куда посильней.

Бесчинства катились по стране, формы их были многообразны: от простительных в общем-то проказ — до отвратительных преступлений. В Ленинграде, почти в центре города, в сквере, орава из трех десятков мужчин в один из праздничных вечеров поймала молодую женщину — ее

насиловали всем скопом, несколько часов подряд. Процесс «чубаровцев», как их поименовали по месту преступления, подробно живописался во всех газетах.

Не бывало дней без драк и поножовщины — чаще всего в садах и скверах, на задворках, во время гуляний. Случалось, на улице группка из двух-трех подростков нападала на случайного прохожего (чаще всего — смирного), быстренько колотила его и умело смывалась. А потом гордились, что так ловко «обработали» какого-то «чудика». Хулиганство стало чуть ли не доблестью, им хвалились как подвигом (в своем кругу, разумеется).

Этот ореол быстро поблек, когда правительство сообразило, что бесчинствующую молодежь можно направлять на разные стройки — бесплатно искупать свою уличную храбрость. Уже возводились первые лагеря — для них требовался «контингент». А в тридцатые годы хулиганство как социальное явление было начисто задавлено — даже отчаянные храбрецы трусливо маскировали свою уличную браваду.

Но в конце двадцатых оно процветало. На Колонтаевской, в квартале от нашего дома, в иллюзионе «Слон» часто гасло электричество. Если это происходило днем, когда в кинозале было больше молодежи, чем взрослых, какой-нибудь голос пронзительно возвещал из темноты: «Умер Максим!» И зал мгновенно, мощным хором, откликался: «Ну и хрен с ним!» Тот же пронзительный голос продолжал: «Положили в гроб». Хор оглушительно ревел: «Мать его…». Дальше шла абсолютная похабщина и матерщина — под отдельные негодующие возгласы, возмущенный визг девушек и радостный хохот большинства. Это продолжалось, пока не зажигался свет или не прибегали разъяренные общественные охранники.

Издевательство над неведомым Максимом иногда подменялось куплетами чуть пристойней. В этих случаях ревел уже весь зал:

Моя жинка умерла
И в гробе лежала.
Я полез к ней переспать,
Она убежала.

«Сказание о Максиме» устраивалось преимущественно в кинотеатрах Молдаванки, Пересыпи и Бугаевки — рабочих окраин Одессы. И прекратились оно, сколько помню, когда в Россию вернулся Горький. Случайно или намеренно, но умершего фольклорного героя прочно привязали к писателю — это была уже политика, а политики начинали побаиваться. Однажды в том

же «Слоне» запели «Максима» — и чей-то грозный голос прокричал в темноте: «Кто материт Максима Горького?» «Максимиада» мгновенно оборвалась.

Впрочем, на других формах хулиганства приезд Горького не сказался — куда действенней была политика правительства, отечески опекавшего свои трудовые лагеря.

Удивительно, но жизнерадостные эти бесчинства, как правило, воспринимались доброжелательно, даже поощрялись — конечно, если они не переходили в прямые преступления. Одесса всегда была веселым городом. Хулиганов здесь считали шутниками, которые слегка перестарались с дурачествами. Без забавных выдумок городская жизнь была немыслима.

В те годы по центральным улицам слонялся рослый беспризорник примерно моих лет по прозвищу Юдка Перекопец. На перекрестках он картинно застывал и зычно ревел гимн новым технологиям:

Ну, настали времена,
Что ни день, то чудо!
Гоним водку из говна —
Четвертину с пуда.

Скоро Русь изобретет
К зависти Европы,
Чтобы водка потекла
Прямо в рот из жопы.

Скоро хитрый мужичок
По-буржуйски заживет,
Все сортиры перестроит
В винокуренный завод!

Авторство приписывали Демьяну Бедному. Если это так, то в Одессе классик пролетарской литературы завоевал гораздо большую популярность своими разбитными стишатами, чем идейно-боевой серятиной — не было человека, который не знал бы этих строк. А Юдку Перекопца одаривали хохотом и медяками, а иногда и чистым серебром — Госбанк расщедрился к этому времени и на серебряные полтинники.

Юдка обыгрывал и недавно прославившегося — сначала в Одессе, а потом и во всем мире — кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, создателя фильма «Броненосец Потемкин», а заодно и гремевшего в России Сунь Ят-Сена, скончавшегося в середине двадцатых вождя китайской революции. Куплеты эти

были собственной Юдкиной «рубки» и начинались так:

Едет Эйзенштейн в Китай
Ставить фильму «Сунь-Хунь в чай»

Остальное на бумаге невоспроизводимо. Одесскому гамену[44] эпохи нэпа бурно аплодировали за любые скабрезности, если в них звучало искреннее веселье. Однажды (это было недалеко от нашего дома, на бывшем толчке) я увидел, как он сердито кричал на внимавшую его импровизациям толпу:

— Граждане, что вы даете? На мамалыгу с черным хлебом? А на папиросы с пивом? А на водку и девочек? Хотите, чтоб рассердился и пошел всех кусать? У меня же с самой гражданской сифилис в каждом зубе, вы же этого не перенесете, у вас же у каждого приличные жены, по одной старой на плохого, по две молодых на хорошего. Чего всем желаю!

Угроза вызвала взрыв хохота, в Юдку полетели пятаки. Он ловко увертывался, однако несколько монет попали ему в лицо. Он радостно ругался, складывая добычу в бездонные карманы — единственную не рваную часть своей одежды.

Помню еще одну уличную забаву. Была середина нэпа, одесский порт почти полностью возродился. Во всех пяти его гаванях, недавно пустых и мрачных, швартовались солидные суда, между ними сновали портовые катера. Матросы, выходя в город, в серьезные стычки с милиционерами не ввязывались, что, впрочем, не мешало им устраивать на главных улицах — Екатерининской, Дерибасовской, Преображенской — безмолвные представления. Облюбовав какую-нибудь женщину, они гуськом шли за ней, не приставая и не разговаривая, — этакий хвост человек в десять. Несчастная скоро замечала преследование (о нем возвещал хохот прохожих) и перебегала мостовую, пыталась скрыться в подворотнях и магазинах — это почти не помогало: отброшенный было хвост выстраивался по ранжиру и терпеливо ждал, когда жертва осмелится выбраться наружу. Я был свидетелем, как в это развлечение вмешался постовой. Увидев мореманскую змею, ползущую за какой-то нарядно одетой дамой, он остановил головного матроса и грозно приказал:

— Перестаньте хулиганить! Вот еще придумали — приставать к посторонним!

Предводитель был очень вежлив — но за ним аккуратно выстроились десять безмолвных крепких ребят, готовых, если понадобится, превратить спор в потасовку.

— Товарищ милиционер, мы же ни к кому не пристаем. Ни одного нехорошего слова не сказали. Если у кого-то та же дорога,

то это его личное дело — при чем здесь мы? А идти в ряд по одному удобнее: кучей не пробьешься — такая толкотня на улицах…

Однажды мы с Долей Оксман стали жертвами очередного уличного развлечения.

Из Приднестровья в Одессу прибыл цыганский табор — на постой. Такие нашествия совершались регулярно, каждую весну и лето. Цыгане раскидывали палатки на вершине Чумки — внушительного, в несколько гектаров, земляного надгробия над общей могилой погибших в свирепую чумную эпидемию девятнадцатого века. Чумка давала обильную пищу для любимых городских легенд. Все одесситы свято верили, что за одну зловещую зиму 1812 года мортусы, могильщики в просмоленных плащах и масках, свезли сюда больше 50 тысяч тел. Они бросали их в огромную яму, не снимая ни одежды, ни украшений, ни драгоценностей, не вынимая из кармана денег. И потому Чумка — хранилище богатств, превосходящих сокровища знаменитой индийской Голконды. Люди страстно убеждали друг друга, что прошло сто с лишком лет, все бактерии давно вымерли, пора разрыть Чумку и извлечь золото и драгоценности. Всем известно, что Одесса была богатейшим купеческим городом в мире — зачем пропадать такому добру? Однако и самые убежденные в безопасности старой могилы ни разу не набрались смелости прийти сюда с киркой и лопатой — а вдруг все-таки хоть один микроб только затаился, а не подох? Зачем же самому рисковать — пусть раньше другие попробуют.

Храбрые взрослые — на всякий случай — обходили чумной холм стороной. Даже мальчишки, не боявшиеся ни черта, ни ладана, взбирались на него с опаской. Я сотни раз влезал на Чумку, шлялся среди рослого — по плечи — бурьяна и каждый раз невольно трусил. Зато потом хвастался, как подвигом, своим близким знакомством с чумохранилищем.

Кочующих по степной Украине цыган одесская Чумка нисколько не страшила, и они вольно раскидывали на ее плоской вершине свои изодранные шатры. Мужчины шатались по городу, чинили во дворах прохудившиеся ведра и лудили медную посуду. Женщины гадали — на картах и по руке, умело воровали. А горожане валили в табор на представления цыганят, на время теряя первобытный страх перед грозной чумной резервацией.

Как-то Доля Оксман попросила сводить ее на Чумку — посмотреть на цыган. Вероятно, было воскресенье: между палатками толпились любопытные. Цыгане стучали молотками, цыганки предлагали погадать, дети визгливо клянчили медяки — табор гремел, визжал и грохотал, как котельный цех. К нам с

Долей пристал совершенно голый цыганенок лет четырех или пяти, страшно грязный и удивительно красивый: с мощной копной вьющихся волос, запутанных в непрочесываемый клубок, и огромными черными глазами.

— Дяденька, дай гривенник, станцую тебе подвенечную кулику, — канючил он, не отставая ни на шажок.

— У меня нет гривенника, у меня только крупные деньги.

— А сколько у тебя крупных? — допрашивал лихой младенец.

— Двугривенный, — честно признался я.

— Тогда станцую две кулики — тебе и твоей девочке. Дяденька, не будь жмотом!

Я нерешительно повернулся к Доле. Ей очень хотелось посмотреть, как танцуют дети. Вокруг нас мигом стеснилась толпа: многие, как я теперь понимаю, уже видели «подвенечные кулики» и жаждали лишний раз — за чужой счет — насладиться зрелищем. Мальчишка самозабвенно затрясся, задрыгался, замахал руками, начал непристойно извиваться. И к ужасу Доли — да и моему — стал звонко изрекать похабщину. Впрочем, вряд ли он понимал смысл своей заздравной песенки. Первым величали, естественно, меня.

Кулика! Кулика!
В тебе палка велика!
Ты с подругою идешь.
Ах, ты здорово…

Доля стала отчаянно выдираться из толпы — я ей усердно помогал. Но нас не пускали. Люди хохотали и повторяли лихие величанья.

Когда мы наконец вырвались и я ее догнал, она расплакалась и гневно крикнула:

— Никогда не ждала от тебя такой пакости! Ты это нарочно устроил!

Я пытался оправдаться: я и понятия не имел, какой смысл таился в «подвенечной кулике». Доля не поверила. Несколько дней мы не разговаривали — при встречах она отворачивалась с нескрываемым отвращением. Впрочем, долго злиться Доля не умела — я все-таки дождался полной индульгенции.

Еще никто не подозревал, что нэповскому веселью жить оставалось не так уж и долго. Любовь к публичным шуткам и беззлобному надувательству была неистребима. На Соборной площади часто появлялся силач — и устраивал представления. Он приезжал на телеге, уставленной гирями и гантелями, с мальчишкой лет десяти, расстилал на пятачке перед собором

большой обшарпанный ковер, раздевался до трусов и творил чудеса. У него было тело нынешнего культуриста: рост под два метра, крупные бугры мускулов, стопы на треть метра каждая, кулаки с мальчишечьи головы — достойный соперник всемирно прославленного борца Ивана Подцубного! И он так играл мышцами, натужно вздымая над головой две явно многопудовые гири, так лихо стоял на руках, выбрасывая вверх немыслимые ножищи, так разбрасывал руки в стороны, прочно укореняясь на одной голове, что зрители кричали от восторга. А сборов всегда не хватало. После представления артист обходил толпу с шапкой и укоризненно качал головой, выбирая из нее медяки и гривенники. Я был свидетелем, как однажды это недовольство вылилось в новый спектакль. Вероятно, в тот день плата возмутительно не соответствовала затраченным трудам.

— Босяки! — презрительно бросил атлет толпе. — Разве вы понимаете настоящего силача? В Одессе больше нет знатоков цирка. Мальчик, собирай барахло! Они не стоят показывать им наше искусство.

Мальчишка ухватил обе многопудовые гири, которые с таким усилием, вздувая все мускулы, только что взметывал вверх его патрон, свободно, как детскими мячами, помахал ими и легко бросил в телегу. Яростный свист, хохот и восхищенная ругань огласили Соборную площадь. Силач взял в руки вожжи. И на него, и на лошадь, и на телегу, и на мальчишку щедро посыпались монеты — наконец-то! Дубликат Поддубного и пальцем не шевельнул, чтобы подобрать хоть одну — этим радостно занялся мальчишка.

После их отъезда толпа долго не расходилась. Люди шумно негодовали и еще более шумно восхищались мастерским обманом. Неожиданное зрелище стоило хороших денег — это признали все.

С концом нэпа пришел конец и открытому уличному хулиганству, и самодеятельным публичным забавам. К началу тридцатых власти отменили всякое не запланированное свыше веселье. Разбухшая милиция набирала трудяг в размножавшиеся лагеря. Прежнее ироническое добродушие по отношению к стражам порядка сменилось ужасом. Времена ЧК возобновились — но теперь дрожали не одни оголтелые буржуи и помещики, а всякий, на кого падало опасное внимание. Юдка Перекопец исчез, матросы не чудили на улицах, цыгане перестали кочевать по Украине (всех «оселяли» в отведенных резервациях), бродячие силачи не устраивали площадных цирков, вольное мальчишество присмирело. «Эпоха великого перелома» сурово карала легкомыслие.

Припоминаю маленькое происшествие, точно воспроизводящее страх перед теми, кто тебя охранял.

В 1932 году, в Харькове, тогдашней столице Украины, проходил комсомольский пленум (или конференция?). Среди делегатов были мой друг Лымарев и я (тогда — доценты Одесского университета). Заседали в здании ЦК комсомола — кажется, на Сумской улице. Я познакомился с хорошенькой харьковчанкой, тоже делегаткой, и, естественно, немедленно пустился в ухаживания. Когда я предложил проводить ее домой, она возразила: мол, живет на Журавлевке, а это место хулиганистое.

— А я в Одессе живу на Молдаванке, — сообщил я. — Молдаванские хулиганы славны по всей Украине. Куда вашим журавлевским!

— Хорошо, идемте! — согласилась она.

Когда мы выходили, нас задержал Лымарев. Он кое-что слышал о Журавлевке — там посторонним лучше и днем не появляться, а сейчас ночь. Он пойдет со мной. Я сообщил: когда я с девушкой, то смерть не терплю, если между нами появляется чужая рожа. Третий недопустим, согласился Лымарев. Они с приятелем будут далеко позади. Поцелуям, если мне повезет, это не помешает, а в случае опасности — подмога!

Журавлевка была местечко как местечко — одно- и двухэтажные (редко — повыше) домики. В каждом не двери, а ворота — и все закрытые. На широких и немощеных — в густой пыли — улицах ни одного человека, окна темные: здесь, в отличие от шумной и сияющей Сумской, ночь начиналась рано. Я украдкой оглянулся. Лымарев с другом шествовали метрах в двухстах.

— Я живу здесь, — сказала девушка и громко постучала в ворота.

— Не торопитесь, поговорим, — попросил я.

Она не успела ответить. Из пустоты внезапно материализовались два парня. Один скорбно произнес:

— С чужими гуляешь?

Ворота открылись. Девушка проворно юркнула в дом. Я запоздало крикнул «До свиданья!» Мои приятели были еще очень далеко. Скорбящий предложил — вежливо и недобро:

— Поговорить надо, парень.

— Лучше в другой раз. — Я попытался отойти.

Второй, молчавший, жестоко ударил меня. Я упал. Из носа на белую рубашку хлынула кровь. Говорливый наклонился надо мной.

— Не будем отлеживаться, хлопче. У нас принцип: лежачего

не бьем, а вдавливаем ногами в землю.

Друзья уже бежали к нам, но были еще далеко — журавлевцы вполне успевали обрушить каблуки на мое лицо. Нужно было подниматься. На этот раз меня не удалось свалить с одного удара. Но противников было двое — и я снова упал. Упал — и схватил за ногу одного из нападавших, чтобы он не удрал: помощь была уже близко.

Мой пленник отчаянно вырывался — ему это не помогло: спасители звезданули его по «кумполу» — и журавлевец притих и смирился с неизбежностью. Обездвижили и второго. Лымарев посмотрел на меня (рядом, на столбе, болталась одинокая лампочка) и расхохотался.

— Вся твоя рубашка — пыль пополам с кровью!

Я поднялся и, с трудом выдавливая слова, хрипло сказал:

— Жгучий вопрос современности: что делать с этими неудачниками?

Лымарев всегда находил быстрые решения. Он обратился к побежденным.

— Ребята, мы, одесситы, народ культурный — и поступим с вами по-культурному. На Сумской я видел отделение милиции. Вот туда вас и сдадим — пусть разбираются.

Один из пленников чуть не взвыл.

— Будьте людьми! Делайте, что хотите, но не в милицию! Там же Беломор, лесоповал… Не губите!

Озадаченный Лымарев поинтересовался:

— А что предлагаешь? Отпустить?

— Зачем отпускать? Нет, я по-честному. Мы ему юшку пустили? Бейте и нас до крови, слова не скажем. Чтобы полная отместка. — И журавлевец коварно добавил: — Еще неизвестно, как в милиции к вам отнесутся. Чужие в городе, ночная драка — могут и прихватить.

Первым ударил я. Видно, от пережитого кулак мой «перегорел» — парни поочередно охнули, но крови не было. Зато дюжий Лымарев выбил юшку из обоих — не то из носа, не то из зубов (впрочем, ее было поменьше, чем на моей рубашке). Третий наш приятель добавил, а Лымарев расщедрился на поучение:

— Значит, так, ребята. Вы с Журавлевки, мы с Молдаванки. У нас мостовые мощеные, а не земляные, как у вас. И лупят у нас чужаков покрепче — потому что кулаки посильнее и света на улицах больше. Совет: будете в Одессе, обходите Молдаванку. Признают — бока намнут, а не признают — ноги повыдергают, чтобы не шлялись в заповедном нашем раю.

Один журавлевец, прощаясь, поблагодарил:

— Спасибо, ребята, что по-человечески. Мы — ему, вы — нам.

Жуткое дело — попасть к этим гадам в милицию!

Мы, остыв, тоже порадовались, что обошлись без нее.

Так вот, общий дух распущенности коснулся и школ (правда, дуновение это было из легчайших). Мы не резвились, как обычные дети в обычные времена, — мы куролесили, а иногда опасно буйствовали.

В свободное время я приходил к Генке (он учился в Металлшколе № 3 на Старопортофранковской). Являлись и Фима, и Моня Гиворшнер, и Моня Гайсин. Разговаривали, спорили, ели фрукты из Гениного сада, а под вечер ходили «проветриваться».

Когда проветривались на окраине Молдаванки, свободы было больше. Где-нибудь заводилась свара — мы встревали, попадалась чужая драка — лезли в нее, не разбираясь, почему машут кулаками. Потом хвастались: «Знаешь, меня тот носатый чудак так тяпнул по шее! Ну, я ему тоже навернул под дых — аж завизжал».

Если гуляли в городе, приходилось смиряться — здесь драчунов не жаловали. Зато развлечений на этих нарядных, хорошо освещенных улицах было побольше. Иногда мы покупали билеты в кино, затем прятали их и пытались всем скопом проникнуть в зал — якобы на халяву. Порой это удавалось — и мы, разочарованные, садились на свои законные места. Чаще в дело вступали общественные охранники — и тогда разыгрывался спектакль: мы вырывались и кричали, нас тащили и выгоняли, иногда смазывали по шее — и мы вдохновенно отвечали ударами на удары.

Обычно кончалось тем, что нас силой доставляли в дежурку — и там мы возмущенно предъявляли билеты ошарашенным конвоирам и администратору.

— Вот же хулиганье! Хватают, ничего не спрашивая. Мы говорим: билеты есть, все честь по чести, а они — за шиворот! Будем жаловаться в милицию.

Администратор извинялся и разрешал с теми же билетами идти на следующий сеанс (наш-то уже давно шел), смущенные контролеры все же находили в себе мужество грозить, что в другой раз подобные шутки нам выйдут боком. Впрочем, два раза подряд в один кинотеатр мы не лезли — нас быстро запоминали.

Мы буйствовали коллективно. Женя Бугаевский, рьяный индивидуалист, устраивал развлечения не так индивидуальные (они тоже требовали соучастия), как типично индивидуалистические. Некоторые из них приобретали известность и прибавляли ему популярности.

Однажды дома, в компании приятелей, Женька громко скандировал нашего с ним любимого поэта — Бориса Пастернака

и смертно всем надоел. Я злился: Пастернак не Кирсанов и не Маяковский, его стихи нельзя кричать. Но Женя мало считался с чужими мнениями. Он продолжал вопить — это было безвкусно и почти непристойно. Владимир, который часто и охотно дрался с братом, попытался его усмирить: «Иди на улицу и кричи!». Вмешались и гости — но вышвырнуть Женю не удалось.

Тогда Володя (ему помогали приятели) связал поэтического охальника, пропустил веревку у него под мышками и вывесил на улицу. Женя болтался между двумя этажами и, неусмиренный, орал Пастернака. Соседи высовывались из окон, дабы прекратить шум, но — истинные одесситы! — принимались хохотать и аплодировать. Женя, воодушевленный успехом, надсаживался изо всех сил. И когда уставший брат вместе с гостями втаскивал его назад в комнату, он отбрыкивался и вырывался, но уже не кричал — голоса не было.

Вслед за этой выходкой последовала другая. Старец Пересветов, платный руководитель молодогвардейского кружка, объявил о грядущем обсуждении стихов Бугаевского. Женя долго готовился к своему творческому вечеру: достал (кажется, у тетки) женскую ночную сорочку, украсил голову чепцом, раздобыл длинную, выше головы, суковатую палку — и в таком не то покойницком, не то библейски-патриархальном облике явился в зал. Он стоял на возвышении и, стуча посохом, пытался перекричать хохот, свист и топот. Вызванный милиционер (в редакции «Черноморской коммуны» всегда дежурили стражи порядка) вместе с чуть не плачущим Пересветовым разогнали неудавшееся заседание.

Облаченный в ночную сорочку Женя, постукивая посохом, удалился в свой Покровский переулок. Мы провожали его и хохотали. Он был каменно серьезен.

Потом я спросил, зачем ему понадобилось это шутовство.

— Не шутовство, а разъяснение, — парировал он. — Мои стихи настолько необычны, что даже знаток не всегда разберется. Особая одежда подготавливала слушателей к особости произведений.

Примерно в то же время в кружке произошел еще один скандал. Некто Яша Щур, скорей журналист, чем поэт, вежливо попросил у Пересветова слово — и прокричал несколько лозунгов и воззваний в честь оппозиционных «истинных ленинцев».[45] Перепуганный Пересветов снова вызвал милиционера.

Дело было посерьезней Жениных выбрыков. Руководителю кружка, беспартийному старому учителю, строго попеняли: на занятия часто приходят посторонние люди, устраивают антисоветские митинги — не пора ли немного прикрутить гайки?

И Пересветов спешно их прикрутил. Отныне вольное хождение воспрещалось, каждый должен был заносить свою фамилию в специальный лист, лежащий на столике у входа, перед занятиями зачитывали все имена, чтобы выяснить, не пробрались ли на идейно выдержанное собрание одиозные фигуры или чужаки.

Настал мой черед хулиганить.

У меня имелся забавный сборничек «Русские остряки и остроты их», начинавшийся издевками Балакирева, шута Петра Великого, и кончавшийся анекдотами об остроумных людях прошлого века. Среди них был и рассказ о лицеисте Пушкине. Француз Трико, лицейский воспитатель, строго-настрого запретил своим подшефным покидать Царское Село (сторож должен был записывать отлучившихся). Однако Пушкин с Пущиным нашли способ обойти этот запрет. Пушкин подъехал к вахте и, не сходя с коня, крикнул: «Однако!» — вахтер внес фамилию в свой кондуит. Вторым появился Пущин и представился: «Двако». Сторож засомневался и покачал головой, однако записал и это имя. В это время француз узнал о бегстве учеников, вскочил на коня и помчался в погоню. Когда он крикнул: «Трико!», охранник рассвирепел:

— Однако, Двако, Трико! Вот я покажу вам, как озорничать!

И посадил бедного воспитателя в кутузку — там его и нашло прибывшее на выручку начальство. А Пушкин с Пущиным славно погуляли в Питере.

Я полностью передрал этот сценарий.

В нашем классе учился Кучер, отличный паренек (именно он вскоре уехал с родителями во Францию и впоследствии стал профессором Сорбонны). Нужна была еще одна подобная фамилия. Она нашлась — Телега. Все остальное было просто. Мы с приятелем записались под соответствующими именами. Пересветов, начиная занятие, зачитал список присутствующих: Кучер, Телега, Колесо, Дышло… Зал взорвался хохотом. Потребовали закрыть двери и проверить документы. Проверка показала наличие и Кучера, и Телеги, — дальше допытываться не стали: люди входили и выходили — поди разберись, были среди них Колеса с Дышлами или нет…

Занятие было сорвано — чего мы и добивались.

6

Время было странное — и мы были странные.

Возможно, никогда раньше не воздвигали такого множества ветряных мельниц и не появлялось такого количества фанатиков, кидавшихся на героическую борьбу с ними. Кинотеатры

перестали называться иллюзионами — но в иллюзион превратилось само общество. Головы кружились от бредовых идей и галлюцинаций, людей сводили судороги пламенной борьбы с тенями. Правительственные идеологи объявили себя материалистами, но, пренебрегая материальным миром, энергично боролись за призрачное господство в царстве фантомов. И никогда еще так мощно, как дикая зелень из плодородной земли, не перли из народных недр таланты и дарования. Недавняя революция обернулась двуликим Янусом — щедро культивировала человеческие способности, которые потом душила.

Одно из таких горячих сражений с идеологическими ветряными мельницами близко коснулось и меня — и в немалой степени определило мою реальную жизнь. В философии разгорелась дискуссия — и я не смог остаться в стороне. Конфликтовали механисты и диалектики. Жестокий этот спор и яйца выеденного не стоил — так показало неотвергаемое будущее. Но в двадцатые годы философская полемика казалась не иллюзией, захватывавшей ум и терзающей душу, а вполне реальным делом — той самой идеей, которая, по гениальному определению Маркса, умевшего под идеологический сумбур и неразбериху подводить убедительные основания, превратилась в материальную силу. Гегель когда-то пошутил, что можно доказательно обосновать любое утверждение — и потому все, что в мире есть испорченного, испорчено с добрыми намерениями. Именно это и оправдывалось в яростной схватке механистов и диалектиков. О чем они спорили? Это трудно четко обозначить — в принципе, речь шла об очередной фата-моргане.[46] И те, и другие соглашались, что они материалисты и даже воинствующие атеисты. Но материализм одних (механистов), опиравшийся на законы естественных наук, был примитивен — и эту их слабую сторону соперники хорошо разглядели и ловко раскритиковали. Вторые верно служили новой доктрине — материалистической диалектике. Беда в том, что она тоже была фикцией. Несколько здравых идей о противоречиях в любом развитии, о соотношениях количества и качества — и все… Слишком мало для настоящей науки!

Зато в дискуссии непрерывно поминались великие имена: Декарт и Спиноза, Кант и Гегель, Фихте и Шопенгауэр, Шеллинг и Ницше… В тяжеловесной книге лидера диалектиков Абрама Деборина «Введение в философию диалектического материализма» (среди адептов она стала библией) трактовались важные вопросы — меня это привлекало. Я увлекся — на всю жизнь — пантеизмом Спинозы, читал и перечитывал Гегеля, даже

его труднейшую до невразумительности «Феноменологию духа», задумал соединить с материалистической диалектикой некоторые идеи Лейбница. А поскольку я к тому же самостоятельно изучал анализ бесконечно малых величин (дифференциальное и интегральное исчисление) и продолжал увлекаться физикой, то в моем несозревшем мозгу родилась грандиозная и, мягко скажем, самонадеянная идея: я решил создать новую науку, соединяющую материалистическую диалектику, математику и физику. Я назвал ее «Системой исследования» и стал усердно заполнять тетрадь новыми законами мироздания — скоро выпочковалась целая карандашная книга.

Достоевский как-то сказал: «Покажите вы русскому школьнику карту звездного неба… о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». Я, вероятно, был похож на этого самонадеянного мальчишку.

Впоследствии я писал о тогдашних своих увлечениях:

> Когда все спят, я погружаюсь в том Спинозы…
> Сейчас передо мной вся мудрость мира.
> Все цели жизни на краю стола
> В зеленой книге. Строгий, ясный голос,
> Не заглушённый сплетнями веков,
> Звучит в моей душе. О, как все голо,
> Каким сплетеньем дрязг и пустяков
> Мне кажется весь мир мой в этот миг!
> Я принял бы все казни, все страданья,
> Когда б принятье их дало созданье
> Одной из этих вечно юных книг.

Мне казалось, что я окончательно определил свою ближайшую задачу: сделать из схематичной материалистической диалектики настоящую науку, для чего добавить к старым ее законам (отрицания отрицания, перехода количества в качество и единства противоположностей) законы новые (предварительно, разумеется, оные разработав).

Осуществление этого фантастического плана не мешало другим, более реальным делам. Среди них было много насущных — например, заставить Генку Вульфсона заняться изобретениями по-взрослому серьезно (себя самого я, конечно, считал очень серьезным).

В то время Генка интересовался проблемой реактивной отдачи. Может быть, определенную роль в этом сыграл его

соученик по профшколе № 3 Валентин Глушко,[47] а может, это была собственная Генкина идея, но он принялся разрабатывать снаряд, снабженный дополнительным ракетным ускорителем.

— Все дело, Серега, в скорости, с какой бронебойный снаряд ударяет в цель, — объяснял он. — Ее можно усилить за счет отдачи, если в снаряд встроить небольшой запал, который взрывается в момент попадания или за микросекунды до того. Все расчеты я сделал, конструкцию прочертил — надо построить модель.

Я предложил пойти в Одесскую артиллерийскую школу (еще до революции она разместилась в нескольких больших зданиях на третьей станции загородного трамвая) — там наверняка найдется нужное оборудование. Гена колебался, я настоял. Он перенес чертеж на ватман, приложил расчеты — и мы отправились. В школе у нас забрали бумаги, пообещали рассмотреть и попросили прийти через неделю.

Спустя неделю нас принял сам помощник начальника по политчасти. Этого человека, подпольщика-большевика, героя гражданской (два или три ордена Красного Знамени всегда красовались на его гимнастерке) хорошо знали в Одессе. Он поражал сразу — особенно копной вьющихся, черных с сединой волос (рядовые партийцы себе такого не позволяли). Даже знаменитые шевелюры Троцкого и Зиновьева, еще недавно председателя Коминтерна, не могли соперничать с волосяным шатром политрука артшколы. У него было широкое красное лицо («Очень просторная физиономия», — заметил потом Гена, не отличавшийся остроумием), и говорил он с таким жутким местечковым акцентом, какого не услышишь и в самых патриархальных еврейских семьях.

В школе его любили — он был строг, но добр, страсть к воинской дисциплине сочеталась у него с человеческой снисходительностью. Только ко всяким там оппозиционерам замполит был беспощаден!

— Слушай, Гена, знаешь, что я тебе скажу? — проговорил он со своим немыслимым акцентом. — Ты начертил — таки да — хорошую вещь. Я сам смотрел, ничего вредного, все на пользу нашей родной партии и советского государства. И тебе спасибо, что заботишься о боеспособности нашей победоносной Красной Армии. Продолжай дальше!

— А как насчет модели? — заикнулся Гена. — Мне бы построить опытную конструкцию.

— Это другое дело. Надо бы допустить тебя в наши военные мастерские — но ты же штатский, еще не призывался. Ты умница, Гена, ты понимаешь: как можно раскрывать военные секреты? Это

же преступление перед любимой партией и воинской присягой. Но не огорчайся: мы отправим твои бумаги в Москву — там рассмотрят и решат, а мы тебе сообщим. Ты оставил адрес?

— Да, написал на ватмане.

— Умница, что я тебе говорил! Это же самое главное — оставить адрес, чтобы тебя всегда нашли. Ну, до свиданья, мальчики. Работайте дальше на благо нашей родной партии.

Все дорогу домой мы смеялись: очень уж колоритен был славный политрук артшколы, созданной еще при царском режиме. О деле говорить было нечего — оно решалось в Москве. Надо было ждать.

Ответа Гена так и не дождался. Москва промолчала — вероятно, не посчитала изобретение важным. Уже после трагической Генкиной гибели я где-то прочитал, что модель бронебойного снаряда с реактивным ускорителем удара испытывали на каком-то полигоне. Понятия не имею, было ли это связано с вульфсоновской конструкцией.

Шла весна, последние месяцы второго курса, — нужно было готовиться к переходным экзаменам. Не было случая, чтобы школяры пустили это дело на самотек. Я с энтузиазмом включился в страду. Задача формулировалась просто: помочь всем, то есть сделать так, чтобы плохой ученик получил хорошую оценку. Мысль о том, что каждый зарабатывает баллы собственным усердием, отвергли сразу: экзамены — творчество коллективное. Мы создали сложную систему, призванную обеспечить незаслуженные результаты. Выделили пятерку лучших учеников, распределили их по предметам и обязали: никто в нашем классе не должен получить плохую отметку!

Сферами моей ответственности были русский язык и литература, математика, частично — физика. Михаил Павлович ушел из школы — это осложняло задачу (я уже рассказывал, как легко было его обмануть — он не придирался даже на устных экзаменах). Как-то он сказал всему классу:

— Вбитые в голову знания держатся недолго. Их надо не вбивать, а выращивать. А что до правил русской грамматики, то их надо знать, пока вы полностью не овладели языком. Потом можно забывать — все будет выполняться автоматически.

Однако и в отсутствие Михаила Павловича подсказки (даже грубые), что называется, катили. Физика тоже не ставила нерешимых проблем. Иное дело — математика.

Семен Васильевич Воля не терпел подсказок! Случалось, он так злился, что ставил плохую отметку и тому, кто отвечал, и тому, кто подсказывал. Рисковать на переходных экзаменах было опасно. Амос Большой помог разработать особую систему: я

садился на первой или второй парте, в руках у меня был карандаш — даже подозрительный Семен Васильевич не мог заподозрить подвоха: безобидное школьное орудие производства. Если я его ставил, тот, кого спрашивали, должен был отвечать «да», если клал — «нет». Если почесывал лоб или щеку, это означало: внимание, ловушка! Хорошенько подумай.

Еще сложней дело обстояло с формулами, которые нужно было писать на доске. Карандаш здесь не годился, а диктовать их с места я отваживался лишь в самых простых случаях — да и то при условии, что Семен Васильевич не услышит. Однако мы справились и с этим. Как-то, поглядев на доску со стороны окна, я заметил, что на ней высвечиваются какие-то штрихи, которые были незаметны при взгляде в упор. Это и стало решением. Я выписал самые употребительные формулы, а наши каллиграфы — Богданов и Кордонский — твердыми карандашами перенесли их на доску. Затем ее слегка сдвинули (наискосок к окнам — но едва заметно) и закрепили, чтобы горячий Семен Васильевич ударом кулака не водворил ее на место. Теперь тому, кто стоял слева, были видны все формулы, а Семен Васильевич, сидевший посередине класса, ничего не замечал.

Эта выдумка спасла многих. Блестящую схему развалил туповатый увалень Андросов (у его отца, профессора, коренного сибиряка, было классическое китайское лицо). В классе он сидел в правом ряду и, когда Воля вызвал его к доске, направился влево так демонстративно и неуклюже (к тому же оттолкнув учителя), что Семен Васильевич мгновенно рассвирепел.

— Что-то вы все умные, когда переходите на ту сторону! Становись куда вышел и отвечай по порядку.

Андросов, конечно, безысходно провалился. Не знаю, удалось ли ему перейти на третий курс.

Обилие хороших ответов у плохих учеников, видимо, мучило Семена Васильевича. Спустя несколько лет мы столкнулись с ним на улице. Он засыпал меня вопросами о житье-бытье, попутно спросил и о давних школьных экзаменах. Я был честен. Вместо того чтобы посмеяться, Воля нахмурился и проворчал:

— Спасибо, что не скрываешь своих скверных поступков. Больше я такого не допущу, можешь не сомневаться!

Я, конечно, был одним из самых изощренных и активных подсказчиков, но помощь требовалась и мне. Был в нашей профшколе такой важный предмет — технология металлов.

Вел его Петр Иванович Быков — и плохо вел, зато безмерно гордился своей специальностью. Я с ним не ладил. Как-то он сказал мне: «Все ваши физические и математические успехи ничего не стоят, если вы не знаете правил закалки и отпуска

стали».

Но я вовсе не желал узнавать эти правила! Я с отвращением глядел в конспект — там было сказано, что для закалки качественных сталей отлично подходят моча и навоз. И я сказал Быкову — при всем классе: «Я выучил, что при нагревании стали по ней пробегают разноцветные побежалые цвета и что это очень красиво. Все остальное в технологии металлов меня не интересует». А друзьям объявил, что на экзамен к Быкову не пойду, пусть переводят на третий курс с одним хвостом — я вовсе не собираюсь работать на заводе и меня совершенно не колышут даже самые лучшие сорта навоза!

Друзья обиделись. Я много потрудился, чтобы разные недотепы получили приличные оценки по основным дисциплинам, а теперь сам недотепствую. Они, друзья, не собираются это терпеть. Они силком, за уши вытащат меня на экзамене у Быкова — это их святая обязанность.

— Значит, так, Серега, — доложил мне Амос Большой коллективный план. — Контрольную работу по технологии металлов пишешь обычным своим почерком — никакой дешифратор не поймет. Быков поставит в тетради не оценку, а вопрос и вызовет тебя первым. Ты выйдешь и будешь безмятежно молчать.

— Как я могу молчать? Он же будет спрашивать.

— Не твое собачье дело, будет он спрашивать или нет. Твоя задача — выйти к доске и выдержанно помалкивать. Ясно?

— Ясно. Молчать о тайнах обработки металлов — мечта всей моей жизни.

Спектакль был срежиссирован мастерски! Быков действительно не разобрался в моей работе и вызвал меня к доске. Но только он раскрыл рот, чтобы разразиться убийственным вопросом, как поднялся его любимец Амос и попросил объяснить одно затруднение, встреченное в школьном учебнике «Технология металлов». Не ответить пятерочнику Большому Быков не мог. Когда он снова повернулся ко мне, второй ученик по его предмету Толя Богданов заявил, что, диктуя конспект о плавке, он, Петр Иванович, допустил ошибку. Нельзя ли внести ясность?

Быков стал подробно объяснять, что Толя просто не очень хорошо понял текст — его начали перебивать Леня Вейзель и Миша Кордонский (тоже из быковских любимцев). А когда все замолчали, и он снова повернулся ко мне, прозвенел звонок. Петр Иванович смотрел на меня и явно ничего не понимал. Он, похоже, вконец запутался: разговор шел интересный, я все время был у доски — значит, и я принимал в нем участие и задавал умные

вопросы.

— Давайте вашу работу, — буркнул Быков и на глазах у замершего класса переправил жирный вопрос на крупную пятерку.

Когда уроки закончились, меня стали качать. До сих пор, кстати, не понимаю: почему подбрасывали в воздух именно меня? За весь урок я не сказал ни слова. По справедливости надо было качать тех, которые так радостно взметывали меня над своими головами.

7

Я написал, что время было странное — и мы были со странностями. Я, например, был ими прямо-таки напичкан! И главная состояла в том, что меня почти не интересовали наши профшкольные девочки. А ведь раньше, в трудовой школе, я влюблялся (сначала — в Раю Эйзенгардт, потом — в Фиру Володарскую), да и после разнообразные увлечения составляли существенную часть моей жизни.

К тому же девочки у нас были миловидные, умные и культурные — не чета молдаванским трудшкольным подругам. Там преобладала рабочая детвора, здесь — интеллигенция: дети инженеров, директоров заводов, важных партийных чинов. Помню некое тройное звездное ядро, в которое входили Лида Гринцер, Юля Клемперт и Фира Вайнштейн, — вокруг него этаким облачным сгущением постоянно увивались ребята. Кстати, среди этой троицы была и моя будущая жена — но тогда я обращал на нее внимания еще меньше, чем на остальных.

Лояльней я относился к другому тройному девичьему содружеству, состоящему из Жени Чебан, Доли Оксман и Змиры (фамилии не помню). Правда, и с ними я не дружил — зато разговаривал охотней. Женя была умной и приветливой, Доля хорошенькой и говорливой, а Змира — настоящей красавицей. Впрочем, любоваться ею можно было только со стороны — при непосредственном общении очарование иссякало.

Поведение мое было тем более странным, что профшкола была буквально пропитана любовью. Именно любовью, а не увлечениями. Ибо здесь зарождались связи, сохранявшиеся всю жизнь. Мой друг Леня Вейзель влюбился в Долю Оксман и даже ревновал меня к ней (мы с Долей часто болтали). Женой его она не стала, но в душу запала навсегда. Через много лет я, уже профессиональный писатель, узнал ее московский адрес — мы начали переписываться. Я часто приезжал в Москву, но встретиться с Долей так и не удосужился (хотя мы постоянно

уславливались о свидании). А Леня, когда я сообщил ему ее адрес, мигом примчался из Свердловска — повидаться. Сейчас он, восьмидесятилетний, уехал в Тель-Авив к дочери. Мы переписываемся — и он постоянно вспоминает Долю.

Еще сильней стала связь, соединившая Амоса Большого и Юлю Клемперт. Любовь разразилась в нем как взрыв. Я как-то удивился:

— Амос, ты окружаешь Юльку со всех сторон. Откуда к ней ни подойдешь — ты! Вращаешься вокруг нее, как спутник вокруг светила. Я даже поглядеть на нее не могу — всюду ты.

— И не гляди! — обрадовался он. — Что не твое, то не твое. Заруби это на своем длинном носу. Соперников не допущу.

Вскоре после окончания школы они поженились. Воистину он не допустил соперников! И не оскорблял ее соперницами. Их удивительно прочная, неиссякаемая любовь продолжалась до его смерти (он умер в семьдесят девять). Вспыхнув в юности, она ровно и ярко светила им всю жизнь. Однажды, незадолго до кончины Амоса, я сидел у него дома — в квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Мы разговаривали.

— Слушай, дорогой мой доктор технических наук, многократный орденоносец, лауреат Ленинской и прочих премий, почему ты, собственно, носишь полковничьи погоны? — спросил я. — По твоей ракетной должности тебе давно пристало быть хотя бы генерал-майором…

Он захохотал.

— Столько лет ты, Серега, прожил, столько лиха хлебнул, а наивности не утратил! Я могу носить генеральские лампасы только на кальсонах. Если ты забыл, что я еврей, то мое начальство это хорошо помнит.

Дети Амоса уехали в Израиль еще при его жизни. Оставшись одна, Юля долго не решалась перебраться к ним. Прощание с Москвой далось ей нелегко: она умерла почти сразу после приезда на историческую родину.

Но я опять отвлекся. Мое принципиальное нежелание влюбляться отнюдь не мешало дружескому общению с девочками — во всяком случае, я был в этом уверен. На самом-то деле оно существенно осложняло мою жизнь. Однажды это осложнение чуть не стало трагедией.

Долю, видимо, злило, что наши разговоры никак не перерастают в ухаживание. Она дразнила и раззадоривала меня, а потом захотела проучить. На улице, во время большой перемены, она небрежно поинтересовалась:

— Почему мальчишки всегда врут? Дружим, любим… Сколько слов, а дела не дождешься. Трусы!

Я был горд и самонадеян.

— Только не я! Мое слово — дамасская сталь, закаленная по самому мерзкому рецепту Петра Быкова.

— Скажи еще (как все вы говорите), что готов на все!

— Скажу — как я говорю: готов на все!

— По первому моему слову?

— По первому твоему слову.

— Даже с собой покончишь, если прикажу?

— Уже сказал — готов на все.

— Тогда приказываю: покончи с собой! При всех.

И она насмешливо протянула мне лезвие от самобрейки.

Все-таки ей нужно было лучше меня знать…

Амос дружески называл мой характер собачьим, Леня Вейзель был более мягок: «В общем — не сахар». Насмешливая улыбка на хорошеньком Долиной лице сменилась ужасом. Я полоснул лезвием по запястью, на одежду и на землю хлынула кровь. Я поднял руку вверх — и стал с любопытством всматриваться в то, что натворил.

Кто-то достал носовой платок, меня быстро перевязали. Мы условились: для всех учителей я просто-напросто наткнулся рукой на кусок стекла — не хотелось, чтобы кого-нибудь из нас наказали за рискованные забавы.

Доля больше не осмеливалась меня подначивать.

Я и теперь с удовольствием посматриваю на левую руку: там наискосок протянулся отчетливый, сантиметра на два, рубец. Разрез только вскользь задел крупную вену. Дуракам везет! В далеком «потом» я сидел у постели умирающего друга. Ему посчастливилось меньше, чем мне. Вена — тоже на левой руке — была прорезана насквозь, кровь остановить не удалось. А может, он и сам не захотел ее останавливать: жизнь давно уже душила его — как рвота, забившая горло.

Итак, я не влюблялся. И все-таки именно девочки стали причиной того, что мне пришлось бежать из профшколы.

Совершилось это так.

Я уже говорил, что учебное наше время делилось на равные части. С утра — уроки, после большой перемены — занятия в мастерских (кузнечной, токарной и слесарной), по которым нас распределял педсовет.

На первом курсе меня отправили в молотобойцы — наверное, подошел по сноровке и физической силе. О нашем кузнеце Михаиле Васильевиче (он был из деревенских) говорили, что он способен выковать и плотницкий гвоздь, и казачью шашку, и кружевную ограду, и детскую коляску. Не знаю — при мне он мастерил нехитрые железные приспособления, годные на продажу

(для подкрепления школьного бюджета). Нас, помощников, у него было двое. Напарник мой, мастер от Бога, отличник по всем предметам (я уже писал о нем), едва ли не единственный из всех нас после школы сразу пошел на завод. Он быстро вписался в кузню, а мне поначалу доставалось.

— Серега, не топочись! — сердито кричал наш наставник. — Отставь заднюю ногу! Две ноги враз — не будет удара!

На втором курсе я ушел в слесарную мастерскую. Михаил Васильевич искренне пожалел меня.

— Ну, какой из тебя слесарь, Сережа? Удар, еще удар, потом ударчик — этому ты научился. Помаялся бы по-хорошему в кузнице лет десять — вышел бы в люди. Славный был бы кузнец…

Слесаря из меня точно не получилось. Но и в люди не вышел — кузнецом так и не стал. К тому же вскоре я узнал, что Михаил Васильевич — реликт. В эпоху паровых и электрических молотов профессия его — из низших.

Потом я часто встречал его на улице. Он широко открывал мне объятия — и я радостно целовал всегда небритые щеки и густые, хохляцкие, висячие усы.

Вообще-то я хотел попасть в токарную мастерскую. Меня туда не зачислили: решили (и справедливо!), что не стоит зря тратить на меня дорогой порох. А слесарем я оказался средненьким и нестарательным.

Мастером у нас был мрачный неудачник средних лет, вечно пьяный, к тому же не очень-то и превосходивший меня в слесарном своем искусстве.

Подошел к концу второй мой школьный год. Экзамены по предметам закончились, мы сдавали последние экзаменационные пробы в мастерской. Я выполнил заданную работу и остался доволен: на пятерку поделка не тянула, но добрую четверку обеспечивала. У соседнего верстака трудились Доля и Змира.

Они еле водили по какой-то шершавой кузнечной заготовке драчевым — очень тяжелым и грубым — напильником (готовили ее для слесарной обработки). Работа была отнюдь не для девичьих рук, да еще холеных (отец одной из девочек был секретарем горкома партии, другой — директором завода).

Я бы помог — и с удовольствием, но по цеху ходил мастер, а он не признавал помощи (особенно нарядным девушкам).

— Сережа, расскажи нам что-нибудь хорошее, — попросила Змира. — У меня отломались все пальцы — такой противный напильник!

— Прочесть вам поэму Маяковского «Хорошо!»?

— «Хорошо!» — это очень хорошо! Пожалуйста, читай.

Я увлекся декламацией — и не заметил, что к нам подошел

мастер. С минуту он вслушивался, а потом разразился скандал.

— Белоручки! — орал мастер. Он был нетрезв. — Еще танцы устройте в слесарке! Работать надо. Уши, понимаешь, развесили!

Я попытался защитить девочек.

— Да они же работают — видите, пилы у них в руках? Это я к ним подошел — поговорить. А мое задание вы уже приняли.

Он повернулся ко мне, одичав от ярости.

— Сопляк, будешь мне перечить? Да я тебя в три погибели согну, мать твою…

Мат был длинный и безобразный. Девушки, вскрикнув, отскочили. Я вырвал у Змиры драчевый напильник и ударил мастера. Он успел отшатнуться, но грубый металл таки проехался по его лицу. Он схватился за щеку и, дико матерясь, убежал из цеха.

— Что теперь будет? — горько воскликнула Доля.

— Скоро узнаем, — мрачно ответил я.

Но в тот день мы узнали немногое. Окровавленный мастер прибежал к нашему директору Зубовнику. Они долго разговаривали — при закрытых дверях. Какое-то время я ждал, что меня вызовут, потом ушел домой.

На следующее утро, не заходя в класс (там все клокотало), я направился прямиком к директорскому кабинету. Зубовник уже ждал меня. Он был очень хмур.

— Рассказывай, как было, Сергей.

Я рассказал. Директор тяжело вздохнул.

— Плохо дело! Мастер столько на тебя наговорил. Непочтителен, все время поешь или читаешь стихи. Это не преступление, конечно, но все же мастерская… Непорядок. А когда ударил, лицо у тебя было свирепое, как у настоящего убийцы. Короче, он требует твоего исключения — грозится уйти, если ты останешься. И его поддерживает мастер токарного цеха (они дружат) — он тоже собирается подать заявление об уходе.

— Что вы решили?

Директор уклонился от ответа.

— Решит педсовет. Вызовем тебя и мастера. Где найти двух хороших специалистов? Нельзя их терять. Попросил бы ты у него прощения. Может, хочешь куда-нибудь перевестись — на работу или в другую школу? Это можно организовать…

— Я подумаю, — сказал я и ушел из школы, так и не заглянув в класс.

Я ждал вечера: задуманное мной преступление требовало тишины и одиночества. Больше всего я боялся встретиться с друзьями: можно было не удержаться и проговориться о своем плане. Я забрался в глушь Приморского парка и долго сидел

около астрономической обсерватории (я еще не знал, что скоро стану здесь работать). Вечером в школе было пусто, только две уборщицы мыли полы. Я забрался в канцелярию и открыл большой шкаф, в котором хранились личные дела (мода на металлические сейфы с замками еще не наступила). Моя папка нашлась на нижней полке. Я перелистал ее — все документы были в порядке. Я взял свое дело под мышку и выбрался на улицу.

С профшколой № 2 «Металл» было покончено.

8

Больше скандалов не было. Мнения на педсовете разделились. Семен Васильевич Воля и еше несколько учителей решительно восстали против моего исключения, слесарный и токарный мастера настаивали. Зубовник нашел выход из затруднительного положения — он заявил, что я сам захотел уйти (правда, директор не упомянул, что хотение это выразилось в краже документов). Ограничились тем, что меня не перевели на третий курс. Не исключили и не оставили — забыли. Меня это вполне устроило.

А вот моих друзей — нет. Наш класс кипел. И не только он — вся школа. Мастеру слесарни не стало житья, он начал побаиваться учеников. Амос как-то крикнул ему:

— Что вы, пьяный, лезете с указаниями? Раньше протрезвитесь!

Дело дошло до того, что дня три его видели «тверезым как стеклышко». Это было настолько невероятно, что я не поверил! Но чудо преображения все-таки пришлось признать — тем более что рассказал мне о нем серьезный Толя Богданов.

Впрочем, мастер меня не интересовал. Было несколько настоятельных задач, требующих немедленного решения. Первая состояла в том, чтобы дома ничего не узнали. Я с содроганием представлял себе, что произойдет, если матери станет известно: меня собирались исключить из школы, я выкрал документы и теперь нахожусь в подвешенном состоянии — с сомнительными намерениями и без реальных перспектив. С этой трудностью я справился достаточно легко: друзья торжественно обещали не приходить ко мне домой — чтобы не отвечать на разные вопросы.

Вторая задача была посложней. Куда идти? Сомнений у меня не было — только в университет. А на какой факультет? Меня качало между двумя: русского языка и литературы и физико-математическим. Долгие — еще до бегства из школы — колебания разрешились в пользу физмата. Я знал литературу

лучше, чем математику с физикой, — и без университета не останусь невеждой.

Однако возникли новые затруднения. Примут ли мои документы? Мне оставался месяц до восемнадцати — не придерутся ли к этой нехватке? Каким будет конкурс? Выдержу ли я его?

Ответы нужно было искать в университете. Но двери его (по случаю каникул) были закрыты, приемные комиссии не работали. Оставалось одно — утром уходить из дому и, приткнувшись где-нибудь в затишном уголке, зубрить предметы, вынесенные на экзамены. Дома этого нельзя было делать: мама, конечно, давно примирилась с тем, что я непрерывно читаю, но все-таки не школьные учебники… Она сразу заподозрит неладное — и жизнь будет отравлена.

У меня появился оруженосец — наш одноклассник Володя Полтава. Раньше мы с ним особо не дружили — просто пару-тройку раз я помог ему подсказками и понятия не имел, что приобрел искреннего поклонника. Володя пришел в восторг, узнав, что я накинулся на пьяного мастера, расстроился, когда я бежал из школы, и поддержал мою идею с университетом. В классе спорили: окончательный я дурак или только слегка свихнулся от самомнения? Вступительные экзамены без справки о законченном среднем образовании выглядели авантюрой. Полтава запальчиво меня защищал. Он предлагал пари: я превзойду всех — и клялся, что постарается присутствовать на экзаменах, чтобы потом рассказать, как я держался. К общему удивлению, это последнее обещание он исполнил.

Приемная комиссия начала работать в начале июля. Месячная нехватка возраста мне не помешала. Я подал документы на физмат и вскоре узнал радостную новость: примут тридцать студентов, а заявлений около шестидесяти. Два человека на одно место — барьер нехитрый, возьму!

С соцпроисхождением было похуже — я шел как сын служащего, Иосифа Соломоновича Штейна, а среди абитуриентов было много детей рабочих и крестьян. У меня оставался единственный выход — превзойти их по знаниям, и я зубрил все усердней.

Вечером и утром мы сгущались у ворот университета — знакомились, болтали, спорили. В этой толпе меня заинтересовали двое. Один, Толя Дьяков, невысокий, плотный, смахивал на цыгана. Буйная черная шевелюра и усы старили его, он, вряд ли двадцатилетний, отличался от безусых юнцов. Другой, тонкий, изящный, молчаливый, с копной вьющихся волос, ни к кому особо не подходил, ни с кем особо не болтал и о себе

распространялся мало. Было известно, что его зовут Оскар Розенблюм и что он подал заявление на соцвос — факультет социального воспитания. Мы часто поглядывали друг на друга, но ни разу не заговорили. Мы не догадывались, что нам предстоит стать самыми близкими, самыми верными, самыми искренними друзьями, каких ни у одного из нас еще не было.

А сейчас — небольшое отступление. К тому времени бывший Новороссийский университет распался на отдельные институты (прежде они были факультетами) — физхиммат (физико-химико-математический), инархоз (институт народного хозяйства), ИНО (институт народного образования — здесь были два факультета: исторический и языков и литературы) и соцвос. В соцвосе было больше всего мест и самый маленький конкурс — воспитательство никого не соблазняло. Сюда подавали заявления абитуриенты с сомнительным происхождением. Разумеется, детей лишенцев (бывших дворян, капиталистов, нынешних нэпманов и торговцев) среди них не было — для этих высшее образованием было вообще закрыто, причем — наглухо. В соцвос шли чада служащих — это была их естественная классовая дорога. По идее, мой путь лежал сюда (кстати, здесь был свой физмат), но я твердо решил, что справлюсь с простеньким конкурсом и стану студентом основного института.

У Толи Дьякова наличествовало много достоинств: добрый, смышленый, покладистый, он был к тому же незаурядно словоохотлив. Как-то он рассказал, что мечтает стать астрономом, недавно вступил в постоянные члены любительской обсерватории в Приморском парке — а она замыкается на большую обсерваторию Академии наук. У них есть великолепный трехдюймовый рефрактор — так что он, Толя, теперь изучает звезды. И он обязательно добьется своей цели — работать в большой обсерватории! Именно Дьяков сообщил новость, которая разом зачеркнула засиявшие было передо мной радужные перспективы.

— Сегодня состоялся выпуск на университетском рабфаке. На физмат приняли двадцать шесть человек.

Сначала я не понял, чем это грозит. Дьяков, удивившись моей тупости, снисходительно разъяснил:

— Все очень просто, Сережа. На физмате было тридцать мест, двадцать шесть сегодня отдали рабфаковцам. Осталось четыре вакансии, а абитуриентов — шестьдесят. Итого пятнадцать кандидатов на место. Шансов практически нет. Хорошо, что я подал на соцвос — туда рабфаковцы не лезут.

— Что же теперь делать?

— Забери документы и переадресуй их на соцвос. Ну, а если

и там не удастся, останется последний шанс — пойти на рабфак. Умные так и поступают.

— А как попасть на рабфак?

— Проще простого, только долго. Идешь на завод, года три (или — минимум — два) работаешь в цеху, получаешь хорошую характеристику и подаешь на рабфак — как законный рабочий по соцположению. А там — годичные подготовительные курсы. После них поступление гарантировано.

— Так вся молодость пройдет, пока доберешься до университета!

— Молодость — товар скоропортящийся, это правда. Заберешь документы?

— Подожду. Попытка не пытка — пойду на экзамены. А провалюсь, стану рабочим, чтобы потом на рабфак. Сейчас поздно передумывать.

На другой день Володя Полтава сообщил друзьям страшную новость. Все лето визиты ко мне домой были под строгим запретом (я не хотел, чтобы мама что-то заподозрила) — но сейчас этот запрет был нарушен. Ходоки вызвали меня на улицу.

Мы уселись на тенистой Косарке — теперь она называлась Срединной площадью. От нее отходило восемь улиц — Мясоедовская, Комитетская, Средняя, Ремесленная, Южная и Садиковская, а также две линии (продолжения) Разумовской. В любом другом месте архитекторы задохнулись бы от энтузиазма: восьмиугольная (восьмилучевая) площадь могла бы стать блистательным городским украшением. Но в нашем районе не было более запущенного уголка…

— Плохо твое дело, Серега, — сказали друзья. — У нас такой план. Пишешь заявление о прощении. Извиняешься перед мастером. Убедительно просишь, чтобы перевели на третий курс. Учителя будут за тебя. Вся школа подпишется под коллективным заявлением. Не будь дураком — такого конкурса тебе не одолеть.

— Буду дураком, — сказал я печально. — Обратной дороги мне нет.

Уговаривали меня долго и безрезультатно. Потом постановили:

— Ну и дурак! Но таким везет — надейся на это.

Володя Полтава был единственным, кто продолжал верить. Он настойчиво твердил, что я блестяще сдам экзамены. Он чуть ли не кидался в драку со скептиками.

И вот оно наступило — время «Ч».[48]

И случились два почти невероятных происшествия, которые и подтвердили великую истину: таки да, дуракам везет.

Экзамен по физике принимал профессор Базилевич —

невзрачный и хмурый старик. Говорили, что он очень желчен, спорить с ним опасно, лучше вести себя по-телячьи: молчать и кланяться, пока он не потребует ответа.

Я вытянул билет — и руки у меня опустились: вывод формулы центробежного ускорения. В школе мы использовали геометрическое построение, а геометрию я недолюбливал. И теперь, стоя перед доской, уныло размышлял, как бы не запутаться в чертеже. Базилевич, не глядя на меня, недовольно поинтересовался:

— Что вы там молчите? Начинайте доказательство. Или вы его не знаете? Тогда скажите прямо — и закончим на этом.

— Я думаю, как лучше построить ответ.

— А чего размышлять? Доказательство одно — вот и ведите его.

— Почему одно? Можно по-школьному, а можно и при помощи интегрального исчисления.

Пораженный, он впервые посмотрел на меня.

— Вы знаете интегральное исчисление?

— Только начала дифференциального и интегрального. Занимался дома — для души.

— Хорошо, посмотрим, что осталось в вашей душе. Доказывайте интегральным способом.

С меня свалился тяжелый груз. Такое доказательство было несравненно проще обычного школьного построения. Теперь мне не грозила путаница геометрических чертежей. Я быстро вывел искомый интеграл. Базилевич посмотрел на доску.

— Садитесь, поговорим. Что еще имеется в вашей душе, кроме элементов высшей математики? Что вас заинтересовало в физике?

Это была немыслимая удача! Он не спрашивал программы, не заставлял выписывать формулы, что было самым трудным. Кроме механики, я очень страшился оптики: она вся держалась на геометрических схемах. А Базилевич интересовался новыми идеями и новыми физическими теориями — я нахлебался их сполна, штудируя популярные брошюры. Он спросил и о том, какие книги я читаю. Когда я упомянул, что недавно купил реферат Макса Борна о теории относительности, Базилевич нахмурился.

— Рано. Такие книги для ученых. Верхоглядствуете.

К слову: книга Борна пролежала у меня много лет — я ее так и не одолел. Корм был не в коня. Базилевич продолжал:

— Теперь ответьте: зачем нацелились на физмат? Вот самостоятельно учите высшую математику. Могли продолжать и без института…

Я был искренен.

— И остался бы полузнайкой! Я хочу систематически изучать науку.

— Хорошо, идите, — бросил Базилевич и стал что-то писать в экзаменационном журнале.

Володя Полтава пришел в восторг, он прямо-таки сиял.

— Сережка, пятерка обеспечена! Можешь убить меня на месте, если вру!

Убивать Володю не понадобилось. Но Базилевич добавил к оценке письменный отзыв о моем ответе — и когда решали, кого из пятерочников принять, а кому — отказать, это оказалось определяющим.

Экзамены по русскому языку прошли без особых приключений. Настало время последнего испытания — по обществоведению. Дисциплина была неопределенной — на таких срезались больше всего, было бы на то желание экзаменатора. А оно — было: слишком много страждущих претендовали на четыре оставшихся места. Экзамен принимали преподаватели всех четырех институтов бывшего университета. Они были строги и придирчивы: абитуриенты преодолевали последний барьер — не грех и планку повыше поднять… Больше всех свирепствовал самый молодой — аспирант профессора Герлаха (причем не обществовед, а экономист). Он не только придирался к ответам, но и подшучивал над отвечающими. И надо же было так случиться: я попал именно к нему! Это был второй узловой момент моей экзаменационной страды.

Впрочем, особого страха у меня не было: предмет я знал хорошо. Правда, это не гарантировало от придирок.

Аспирант начал с того, что с иронией посмотрел на меня. У него было полное румяное лицо — даже вполне добродушная улыбка выглядела на нем нагловато.

— Значит, сдаете? — поинтересовался он с таким видом, словно сама попытка экзаменоваться показалась ему чрезмерно смелой.

— Сдаю, — сдержанно подтвердил я.

— А что сдаете, какой багаж предъявите? Выкладывайте все на стол.

— Спрашивайте — отвечу. — Во мне закипало негодование. Но я хорошо понимал, что любая резкость может оказаться роковой, и крепко держал себя в руках.

— Хорошо. Поговорим… Например, о борьбе революционных материалистов с идеалистами в русском общественном движении конца прошлого века. Расскажите мне о позиции Плеханова. Вы, надеюсь, слышали о таком человеке — Георгии Валентиновиче

Плеханове?

Аспирант, конечно, не подозревал, что подсунул мне вопрос, который я знал гораздо лучше, чем все остальные. Незадолго до того я купил восемнадцатитомное (или двадцатитомное — сейчас не помню) собрание сочинений Плеханова и с жадностью проглатывал книгу за книгой. Перед этим я года два упивался Белинским, Добролюбовым и Писаревым. Чернышевский мне никогда не нравился, он писал слишком скучно, но эта критическая троица блистала живостью стиля и остротой разума. И вот, заполучив Плеханова, я понял, что они уступали этому человеку. Я сразу уверился, что в русской общественной литературе не существует фигуры более яркой и блестящей, чем Георгий Валентинович. И пребывал в этом убеждении несколько лет, пока не познакомился с «Письмами об изучении природы» Александра Герцена.

А тогда, на экзамене, я стал цитировать плехановские высказывания. Неожиданно аспирант прервал меня.

— Вы ошибаетесь: Плеханов этого не говорил.

— Как не говорил? — удивился я.

— А вот так, — аспирант был хладнокровен. — Видимо, не успел сказать.

Какое-то время я молча решал, шутит он или испытывает меня, потом вежливо произнес:

— Вы ошибаетесь. Плеханов говорил именно это и именно такими словами.

Аспирант побагровел.

— Вы кто — экзаменатор или экзаменуемый? Это вы мне говорите, что ошибаюсь?

— Я только повторяю слова самого Плеханова.

— Вы врете! Еще раз объясняю вам: ничего похожего Плеханов не писал. Я проштудировал его главную работу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и ничего похожего не нашел.

Он говорил возбужденно и зло. Но, в конце-то концов, ему было всего на пять-шесть лет больше, чем мне, — и я стал дерзить.

— Нужно читать не одну работу Плеханова, а все его произведения.

Аспирант, видимо, так возмутился, что стал грозно вежлив.

— Вот как — читать все произведения? Спасибо за добрый совет, я его не забуду. Может быть, подскажете, в каком томе сочинений Плеханова можно увидеть приведенные вами слова?

— В семнадцатом, — выпалил я не раздумывая (возможно, я назвал другой том, но тоже из последних — это хорошо помню).

Он встал и оглядел аудиторию. В ней находилось человек пять абитуриентов, ждавших своей очереди. Среди них незаконно притаился и Полтава. Володя восторженно следил за нашим спором.

Он был уверен в моей победе!

— Прощу прощения, товарищи, но мы с этим знатоком Плеханова на четверть часа удалимся в библиотеку, — сказал аспирант. — Надо проверить, что именно писал Георгий Валентинович в семнадцатом томе.

Он вышел первым. Библиотека располагалась в соседнем здании. Перед нами положили стопку книг. Аспирант жестом предложил мне найти нужный том и насмешливо добавил:

— Доказывайте теперь, что знаете не одну работу.

Я открыл искомую страницу. Он прочел, потом еще раз — и поднял на меня смеющиеся глаза. Он улыбался — и, к моему удивлению, почти радостно.

— Проучил, ну, проучил! — сказал он одобрительно. — И поделом мне, зазнаваться начал. — Он показал на внушительный столбик книг в желтых картонных переплетах и почти со страхом спросил: — Скажите, а вы все прочли?

— Все.

— И кого еще знаете из наших марксистов-философов?

— Ну, кого… Антонио Лабриолу, Франца Меринга… Об Энгельсе не говорю.

— А я не всех прочел, — сказал он с сожалением. — Знаю, что нужно, хочу — но решительно нет времени. Ладно, пойдемте назад. В хорошей отметке не сомневайтесь, но я к ней кое-что добавлю.

Потом выяснилось: он написал хвалебный отзыв на целую страницу. Два особых мнения, его и Базилевича, из двух противоположных областей знания, тяжелыми гирями легли на весы экзаменационной комиссии, решавшей нашу судьбу. Полтава загодя разнес слух о моем несомненном триумфе.

А сейчас — небольшое отступление о Володе. Я и до экзаменов дружил с ним не очень, а после вообще почти не встречался. Так продолжалось до 1944 года.

Я досиживал свой лагерный срок. Полтава прибыл в Норильск начальником одного из местных строительных управлений. За то время, что мы с ним не виделись, он успел закончить Харьковский строительный институт, поначальствовал на стройках ГУЛАГа. Мы встретились на одной из местных хозяйственных конференций, где присутствовали и заключенные (руководители некоторых объектов), и сразу узнали друг друга. Правда, мне уже было известно, что он появился в Норильске, а

ему сообщили, что среди заключенных находится его бывший школьный товарищ.

— Жду у себя, — сказал он. — Мой кабинет — в управлении строительства.

У меня уже были «ноги», то есть пропуск бесконвойного хождения. И я отправился к Полтаве.

Была во всем этом одна сложность: я никак не мог придумать, как мне обращаться к нему — на «ты» или на «вы». «Ты» означало восстановление прежних отношений, а дружба вольнонаемного и зека, узнай о ней «органы», могла стать небезопасной для вольняшки. Я решил дождаться его обращения — и сообразовываться с этим.

— Владимир Иванович ждет вас, — сказала секретарша, открывая дверь.

Полтава встретил меня очень приветливо, привстал, показал на стул, пожал руку. И сразу стал расспрашивать, как у меня дела на работе, когда конец срока. О том, почему я в заключении, кто вел следствие, не узнавал: опытный работник лагерных производств, он знал, какие расспросы относятся к числу запретных. И он очень умело избегал личных местоимений — видимо, предлагая их выбор мне. Поняв это, я сказал ему «вы» — и увидел, что он обрадовался.

Мы говорили около получаса — он рассказывал об учебе в Харькове, о стройках, на которых работал.

— Вы теперь знаете, где я нахожусь. Заходите, Сергей Александрович, — пригласил он, прощаясь.

— Непременно зайду, Владимир Иванович, — пообещал я, твердо зная, что больше не появлюсь.

Домой он меня не пригласил, но так вышло, что вскоре мы стали соседями. Меня освободили, взяли в престижную атомную промышленность и, как очень секретного человека, поселили в городской гостинице — поближе к телефонам. Там жили и Полтава с женой. Они — в люксе на третьем этаже, я — в дрянной каморке на первом. Теперь при встречах он неизменно приглашал в гости, но у меня ни разу не нашлось свободного времени, а к себе я не звал никого, кроме дорогих мне женщин, — перед ними я мог не извиняться за скудость обстановки, им нужен был я, а не изысканная мебель.

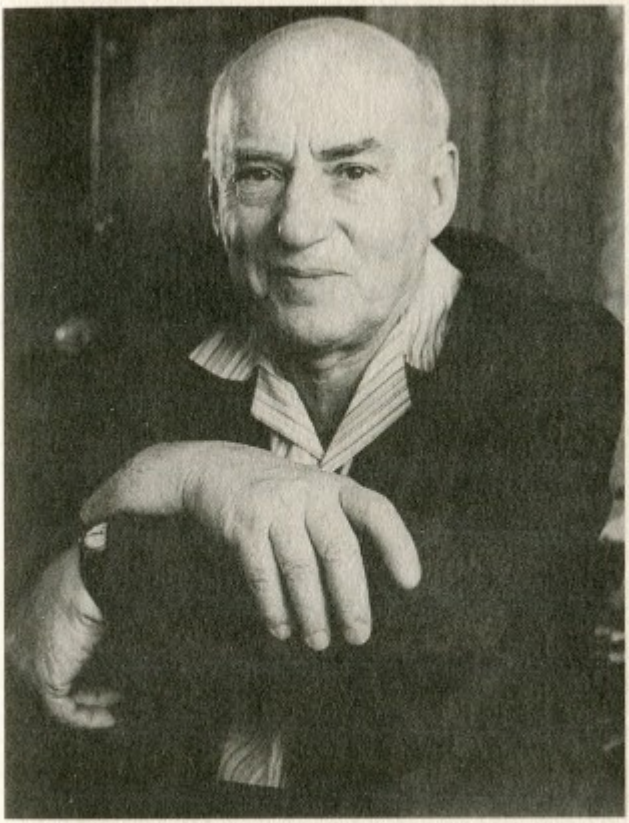
Спустя года два или три Полтава заболел и, недолго промаявшись, умер. Ему еще не было и сорока.

Но все это случилось в далеком «впоследствии», а в прекрасный августовский день 1928 году я стоял перед доской объявлений и не мог отвести от нее глаз — читал и перечитывал свою фамилию в списке поступивших на первый курс

физхиммата.

Время подростка кончилось. Я стал мужчиной.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Юность



1910–1994

1

Как ни странно, поступление в институт маму больше огорчило, чем обрадовало. Она заплакала. И отчим тоже расстроился. Я так редко видел маму плачущей, что неправильно понял ее. Я решил, что это слезы радости. Мне казалось, что это очень естественно: сын удачно сдал экзамены в высшую школу — как не радоваться?

Но мама поняла все по-своему.

— Ты бросил школу, ничего не сказав, — сказала она сквозь слезы. — Тебя хотели исключить — а мы об этом не знали. Ты тайком забрал свои документы и подал их в институт — и тоже скрыл! Мы думали, что ты утром бежишь на пляж и купаешься, как все дети, ведь лето, а ты ходил на экзамены. Мог на каждом срезаться, а мы и не догадывались. Все, все скрывал!

Я попытался оправдаться.

— Я не хотел вас огорчать. Хватит с вас и своих забот.

— Вот-вот — не хотел огорчать! Поступил как с чужими людьми. У тебя несчастье в школе, ты захотел в институт, висел на волоске — такие трудные экзамены… Мы посторонние, нас это не касается. А если бы ты срезался? Если бы не поступил и мы потом узнали, что ты натворил, — что с нами было бы? Ты подумал?

Я начинал злиться. Меньше всего я мог предвидеть такой поворот.

— Моей главной задачей было удачно сдать экзамены. Ты могла ее облегчить? Могла мне помочь? Ты помешала бы, если бы узнала правду. Ты бы ругала меня за то, что я украл документы, охала бы каждый раз, когда я уходил на экзамены, пилила бы, что я рискую. Разве не так? Мне нужно было избежать таких помех.

Мама снова заплакала.

— Да, так! — закричала она. — Наверное, помешала бы. Но ведь я твоя мать, и меня касаются не только твои радости, но и твои беды. Мне страшно думать об этих двух месяцах. Все могло так нехорошо закончиться!

— Однако все закончилось хорошо. Все хорошо, мама!

У отчима логики было все же побольше, чем эмоций.

Он успокоился — и стал успокаивать маму.

— Ладно, Зиночка, теперь поздно огорчаться. Нужно праздновать, а не плакать. Давай порадуемся за Сережу!

И он поцеловал меня. Мама, помедлив, тоже. Даже погладила по голове — а я не помню, чтобы она когда-нибудь делала это раньше. Но, даже радуясь, она продолжала обижаться, что я не позволил ей пережить вместе со мной все мои передряги.

Прошло несколько месяцев — и новые проблемы вытеснили воспоминания о заботах, которые ее так и не озаботили,

поскольку остались тайными. И все-таки мама отомстила мне. Отчим постоянно расспрашивал об университете (о профессорах, о студентах, о лекциях, о порядках) — она только слушала и почти не задавала вопросов. Я как-то упрекнул ее, что она мало интересуется моей жизнью, — она резко ответила:

— Не хочу лезть туда, куда меня не пускают. Сам теперь определяй, что мне можно знать, а что — нельзя.

Институтский корпус, куда мне теперь предстояло ежедневно ходить, стоял в самом начале улицы Петра Великого — это было красивое трехэтажное здание. В нем, кроме физмата, располагались химический и биологический факультеты. Позади, за небольшим скверико́м, находился второй корпус — институт экспериментальной физики (в нем мы проводили опыты).

Это была только часть прежнего Новороссийского университета. В здании на Преображенской, метрах в ста от физхиммата, рядом с научной библиотекой, нашел себе пристанище Инархоз — Институт народного хозяйства. И совсем в стороне, на Ольгиевской, поближе к Пересыпи, разместился комплекс зданий бывшего медицинского факультета, нынешнего Медина. Только в 1932 году часть институтов снова объединилась в университет — уже Одесский.

Он не относился к числу всеевропейски знаменитых. Прежде всего потому, что был слишком молод: в тот год, когда я стал студентом, ему исполнилось чуть больше шестидесяти. И в его истории было слишком мало крупных ученых. Недлинный их список исчерпывался тремя известными фамилиями — биологов И.И. Мечникова,[49] И.М. Сеченова[50] и А.О. Ковалевского[51] (причем все они преподавали в университете недолго).

В мое время лекции читали три академика — языковед А.И. Томсон (говорили, что он глубже всех в Советском Союзе знает санскрит), астроном А.Я. Орлов и биолог С.Я. Третьяков.

А у нас на факультете самыми видными профессорами были двое — Самуил Осипович Шатуновский и Иван Юрьевич Тимченко.

Шатуновский, уже очень старый, читал математический анализ (на старших курсах). Он приезжал в институт на дрожках, не один, а вдвоем с ассистентом. Тот соскакивал первым, помогал профессору выйти, брал его под руку и осторожно, останавливаясь через каждые десять шагов, вел в аудиторию. Чаще всего в роли поводыря выступал аспирант Шор, но иногда это была девушка (фамилии не помню).

В аудитории Шатуновский несколько минут отдыхал (этажи были высокие), потом медленно поднимался на кафедру или подходил к доске, говорил несколько тусклых слов — и

преображался. Все в нем менялось: голос становился сильным и по-молодому звучным, тело — подвижным, руки быстро выводили на доске формулы. Он рассказывал так ясно, переходил от факта к факту так логично, что его понимали даже самые непонятливые (я испытал это на себе).

Через несколько недель после зачисления я пробрался на лекцию Шатуновского (он читал на третьем курсе). Предмет был мне еще не по зубам — что-то вроде интегрирования дифференциальных уравнений, — но ту часть, которую объяснял Самуил Осипович, я понял, хотя и не знал, что ей предшествовало. И еще я увидел, как удивительно заканчиваются лекции Шатуновского. Профессор не просто завершал рассказ — он угасал. У него замирало тело, никла голова, падали руки, пропадал голос. Он еще стоял, но уже пошатывался. Еще несколько секунд — и он должен был рухнуть. В это мгновение к нему быстро подходил ассистент, Самуил Осипович брал его под руку и очень медленно, останавливаясь чуть ли не через каждый шаг, выходил из аудитории.

Эти лекции были не только блестящи по содержанию, но и сценически красочны — старому профессору хотелось аплодировать, как актеру (я не раз слышал это от восхищенных молодыми лекциями старика студентов старших курсов).

Естественно, никаких аплодисментов никто себе не позволял.

Не знаю, был ли Шатуновский крупным ученым, но лектор он был великий, преподаватель замечательный. Говорили, что он дружил с Карлом Вейерштрассом[52] — и этот великий немецкий математик, очень строгий экзаменатор, принимал подпись одесского профессора в зачетной книжке как гарантию студенческих знаний.

У меня долгое время хранилась работа Самуила Осиповича «Введение в анализ бесконечно малых». Книга была как книга, я читал и получше. Видимо, именно замечательное актерское дарование Шатуновского оживляло суховатую учебную программу.

И еще одно замечание. Карл Вейерштрасс (среди прочего) прославился и тем, что придумал непрерывную кривую, у которой ни в одной точке нельзя было взять производной (иными словами, провести к ней касательной прямой линии). В книге Шатуновского не было ни слова об удивительной кривой Вейерштрасса! А ведь Самуил Осипович излагал учение о производных, о том, что к любой непрерывной линии в любой ее точке можно построить касательную прямую. На его месте я бы непременно и с гордостью рассказал о триумфе друга. Словом, я был разочарован и даже стал подозревать, что все разговоры о

дружбе двух математиков — всего лишь одесские околонаучные сплетни. Может быть, они и знакомы-то не были…

Иван Юрьевич Тимченко, маленький и живой старик, вел у нас два курса — аналитическую геометрию и теорию определителей. Предметы были из простейших, но говорил профессор глухо, выговор был нечеток — разбирался в его объяснениях только тот, кто хотел разобраться. В институте шутили: «Чтобы не понять Шатуновского, надо быть дураком. Чтобы понять Тимченко, надо быть гением. Чтобы сдать Шатуновскому, надо быть гением. Чтобы не сдать Тимченко, надо быть дураком». Доля правды тут имелась — отвечать Ивану Юрьевичу было гораздо легче, чем слушать его.

Но он замечательно знал историю математики. Утверждали, что сравниться в этом с Тимченко во всей стране может только ростовский профессор Мордухай-Болтовской. Особенно интересовали Ивана Юрьевича XVII–XVIII века — возникновение и бурное развитие высшей математики, дифференциального и интегрального исчислений, начатых великими открытиями Ньютона и Лейбница.

Я взял в нашей научной библиотеке книгу Тимченко о некоторых математических исследованиях братьев Якоба и Иоганна Бернулли. Она была написана так же трудно, как трудны были его лекции. И в ней было полно цитат из первоисточников, написанных на латыни (причем — без перевода). Не то в этом, не то в другом труде Тимченко я нашел высказывание какого-то древнегреческого математика — оно тоже не было переведено. Иван Юрьевич явно рассчитывал не просто на хороших ученых, но на людей, получивших отличное классическое образование. В наше время такие книги были не по силам не мне одному.

Я как-то пожаловался на это Дмитрию Александровичу Крыжановскому (он читал у нас «Введение в высшую математику»). Крыжановский, отличный лектор, умел ясно излагать трудные теории и весело смеяться над тем, что было смешным. Он заулыбался какой-то светлой улыбкой — как и все университетские профессора, он уважал Тимченко, но никогда не отказывался поиронизировать над его странностями.

— Не вы один не понимаете Ивана Юрьевича. Его вообще не интересует, разбираются ли другие в том, что он говорит. Главное, что он сам что-то понял, дела до остальных ему нет.

— А почему он не переводит на русский латинские цитаты?

— Зачем? Он понимает их и без перевода. Он разговаривает с Ньютоном и Лейбницем на привычном для них троих языке. Он даже шутит по латыни, а не по-русски.

— Он очень много знает…

— Больше, чем много, — убежденно сказал Крыжановский. — Для Ивана Юрьевича в математике нет ничего неведомого. Он знает даже то, чего не знает. — Дмитрий Александрович засмеялся. — Во всяком случае, у меня не хватит знаний, чтобы проверить, где начинается его незнание.

Научные увлечения Тимченко равнялись по широте его эрудиции (а может, и превосходили ее). Загадки математики захватывали его не меньше, чем разгадки. Как-то он задержался после лекции, и Миша Гефен, мой сосед, хорошо чувствующий изящество строгих доказательств, почти восторженно сказал:

— Иван Юрьевич, как прекрасно, что простая формула гиперболы включает в себя такую бесконечность точек, выстраивающихся в извилистую линию…

Тимченко засмеялся. Это было очень непохоже на обычный смех. Рот широко открывался, усатая верхняя губа приподнималась — но наружу не вырывалось ни звука. Иван Юрьевич хохотал беззвучно. И его лицо сразу менялось: суженное к подбородку, длинно- и тонконосое, с очень широким лбом, обычно оно было серьезным до хмурости — беззвучный добрый смех словно освещал его.

— Извилистая линия, да… А что вы скажете, друзья, о линии, которая одновременно и линия, и площадь?

И Тимченко, увлекаясь, рассказал об итальянском математике Джузеппе Пеано, который нашел (или изобрел) — кривую, проходящую через все точки плоскости, на которой она лежит. Парадокс? Математика, самая точная, самая ясная из всех наук, по сути парадоксальна, как ничто другое (кроме, конечно, логики — та тоже напичкана неразрешимыми противоречиями). Чем глубже ее познаешь, тем неотвратимей наталкиваешься на очередную неожиданность. Достаньте, юные друзья, книгу «Основание математики» двух современных британских ученых — Уайтхеда и Рассела, там изложены парадоксы, которые не только поражают, но и восхищают, ибо они и глубоки, и неопровержимы.

За всю жизнь я так и не подержал в руках «Оснований математики», хотя много читал о знаменитых расселовских противоречиях. Это огорчало: было время, когда я всерьез увлекся теорией парадоксов и хотел разработать рациональную их систему, но так и не сделал этого — как, впрочем, и многого другого. Люди моего времени и моей страны на собственной шкуре узнали, что стоит за придуманным в древности термином «несвобода воли». А у меня к этому прибавилась еще и вялость воли…

Профессоров физики у нас было двое — Попруженко и Кириллов. Попруженко, милый старик с седыми хохлацкими

усами, был лектором старого стиля: он излагал проверенные факты, в новые теории не вдавался, звезд с неба не хватал, пороха не выдумывал. Впрочем, мы его уважали и любили — он, хороший преподаватель и славный человек, вполне это заслужил.

Совсем другим был Эльпидифор Анемподистович Кирилов, грек, обрусевший настолько, что даже изменил фамилию. Прежде всего он был неординарно красив. Благообразие древних эллинов, такое яркое в античных скульптурах, полностью воплотилось в нашем физике. Его профиль казался срисованным с мраморов олимпийцев — прямой, четкий, пропорциональный в каждой черточке. Не знаю, как выглядел Кириллов без одежды, но если обнаженным его тело смотрелось не хуже, чем одетым, с него можно было лепить статуи, как их лепили с его предков. В те годы в Одессе жило много греков (греческим назывался даже целый городской район) — их выселение вместе с частичным истреблением относилось уже к подвигам Сталина. Я часто встречал красавцев-эллинов, въяве воспроизводивших совершенные классические творения своей родины. Но самым красивым был он, наш профессор, Эльпидифор Кириллов. Это был живой образец почти поликлетовской[53] пропорциональности и гармоничности.

Но если внешностью своей Кириллов покорял, то поведение его вызывало улыбки и ухмылки. Он был эстетичен лишь неподвижный. Нет, я не хочу сказать, что двигался он некрасиво. Все было как раз наоборот. Каждый его жест был демонстративно изящен — Эльпидифор Анемподистович был до ненужности хорош в каждом шаге. Он не двигался, а исполнял движения. Он был похож на танцора, которому приказали не танцевать, а просто прохаживаться по сцене и который, просто прохаживаясь, не мог отделаться от привычки к изящным позам. Мы окрестили его «Наш балерун от физики».

Эта нарочитая картинность подсказала нам с Мишей Гефеном хорошую, но достаточно жесткую шутку. Мы были студентами из лучших — и Кириллов поручил нам подготовить оборудование для демонстрации статического электричества. Мы установили все, что требовалось, — и не ограничились этим, а провели к месту, где во время лекции любил стоять наш профессор, незаметный проводок от батареи лейденских банок (замыкать его можно было с нашей с Мишей скамьи). И вот Кириллов, шествуя по аудитории, остановился в заданной точке и картинно раскинул руки (он любил этот жест). Миша включил аппаратуру. Могучая шевелюра Эльпидифора Анемподистовича встала дыбом. Профессор почуял непорядок (увидеть этого он не мог) — и пригладил голову рукой. Миша, переждав, снова замкнул линию,

и мы (кто — открыто посмеиваясь, кто — втихомолку похохатывая) опять стали свидетелями красочного преображения изящного профессора в дикое пугало. Это была наглядная иллюстрация к кирилловскому рассказу о взаимном отталкивании частиц, заряженных одноименным статическим электричеством!

После занятия мы спешно размонтировали установку — Кириллов мог кое о чем догадаться и проверить, что, собственно, мы сделали с батареей лейденских банок.

А лекции он читал хорошо. И ученым был добротным. Мы знали, что в его отделении экспериментальной физики проводятся какие-то секретные эксперименты. Время засекречивания всяческих пустячков еще не наступило — стало быть, Кириллов работал над важными военными темами (во всяком случае — мы так решили). После войны (я узнал это из газет) Эльпидифор Анемподистович получил Сталинскую премию за исследования не то в области фотоэффекта, не то в каких-то разделах экспериментальной оптики.

Кроме Попруженко и Кириллова физику преподавал Базилевич, принимавший у меня вступительные экзамены. Но он числился профессором на Соцвосе, и я его лекций не слышал.

Я не собираюсь описывать всех преподавателей физмата, их было много — и каждый по своему интересен. Но о профессоре неорганической и физической химии Дмитрии Сергеевиче Добросердове расскажу — он был особенным.

И главная его особенность состояла, вероятно, в том, что он очень интересно читал. Его самого увлекало то, что он излагал. Скучные химические формулы становились событиями, окаменевшие факты — процессами. Он говорил об истории открытий — и современная точная наука превращалась в захватывающую авантюру, в которой полумистическая алхимия и полуслепая ятрохимия, нащупывая таинственные законы природы, творили из самих себя строгое знание. Поиски философского камня оборачивались на его лекциях научным приключением.

На старших курсах Дмитрия Сергеевича сменил профессор Богатский — он читал органическую химию, научно гораздо более организованную, чем неорганическая, но делал это так педантично и скучно, что мы ее только сдавали, не усваивая и не запоминая. И уж — тем более — не восхищаясь.

Лекции Добросердова заставили меня увлечься книгами по истории химии, как авантюрными романами. Вряд ли в другой науке могло найтись столько рискованных приключений и личных драм! Я так начитался, что у нас с профессором даже

произошла небольшая стычка.

— Дмитрий Сергеевич, можно вопрос? — обратился я к нему на одной лекции.

Он разрешил — и я продолжал:

— Вы говорили, что одной капли синильной кислоты достаточно, чтобы убить лошадь, а две капли смертельны для любого человека.

— Совершенно верно, — подтвердил Добросердов и вежливо осведомился: — А у вас есть возражения?

— Не у меня, а у великого химика Карла-Вильгельма Шееле, открывшего синильную кислоту.

И я с торжеством прочел цитату из дневника ученого: получив кислоту, он шпателем положил ее на язык — и ощутил небольшое жжение и сильный запах и вкус миндаля.

— Он принял, по-вашему, десятикратно смертельную дозу, но даже не ощутил, что она чем-то опасна.

Добросердов показался мне озадаченным, но нашелся он быстрей, чем я ожидал.

— Видите ли, — сказал он очень рассудительно. — Шееле был так напичкан кислотами и щелочами, так надышался всякими вредными испарениями, что на него, возможно, яды уже не действовали. Известно, что у многих укротителей змей появляется нечувствительность к укусам. И потом — не все люди одинаково реагируют на химические вещества. Если взять сто человек и дать им синильную кислоту, то девяносто девять непременно погибнут, но один, не исключено, даже не догадается, что принимал яд. У нас в аудитории около ста студентов. Для одного, надеюсь, опыт безвреден. Не хотите ли попробовать: не вы ли тот самый человек, кому порция синильной кислоты покажется чем-то вроде миндального сиропа?

Ответом ему был общий хохот.

У Добросердова была привычка начинать лекцию одной и той же фразой:

— В прошлый раз мы говорили, стало быть, о чем же?

Мы часто повторяли эти слова, подражая голосу Дмитрия Сергеевича. У Миши Гефена это получалось особенно хорошо (он вообще был отличным имитатором). И вот однажды, когда Добросердов уже вступил на кафедру, в затихшей аудитории отчетливо прозвучал его собственный голос:

— В прошлый раз мы говорили, стало быть…

Дмитрий Сергеевич так растерялся, что невольно закончил фразу:

— …о чем же?

К его чести, в следующую минуту он смеялся так же громко и

искренно, как и все мы.

Курс физической химии, который читал Добросердов, так подействовал на мое воображение, что я вдруг пустился разрабатывать теорию реакций. Эту область наш профессор не детализировал — только упоминал о ней. Я исходил из того, что любое взаимодействие между двумя разными молекулами имеет своеобразный «послед», часть энергии при котором передается соседям — и тем самым стимулируется их вступление в реакцию. В результате процесс, начинающийся как самовозгорание, становится более стремительным. Эти соображения я изложил на нескольких страничках, назвал свой опус «Гипотетическими размышлениями» (в честь любимых — на то время — «Метафизических размышлений» Рене Декарта) и отдал Добросердову — на отзыв. Он вежливо поблагодарил и пообещал прочесть. Но учебный год уже закачивался, впереди маячили каникулы — разговора не получилось.

А на втором курсе Добросердов у нас уже не преподавал. Мне показалось неудобным приставать к Дмитрию Сергеевичу, а сам он меня не искал: очевидно, не обнаружил в моих химических рассуждениях ничего нового и интересного.

Между прочим, впоследствии, изучая теорию цепных реакций академика Н.Н. Семенова, получившего за свои изыскания Сталинскую и Нобелевскую премии, я обнаружил, что пытался разработать нечто похожее. Ничего удивительного: не только я — тысячи энтузиастов-неофитов старались заново изобрести велосипед. Но, думаю, если бы Добросердов нашел время поговорить со мной, я бы наверняка переключился с чистой физики на физическую химию.

Позже, в сороковые годы, описывая процесс разделения изотопов водорода при электролизе, я так и поступил. Я воспользовался теорией академика А.Н. Фрумкина о замедленном разряде ионов единичного водорода, перенес ее на разряд ионов водорода тяжелого, дейтерия, и вывел математическую формулу разделения этих двух изотопов. И хотя сам Фрумкин написал мне, что исследование это «представляет значительный интерес для науки» (тогда я очень гордился этой оценкой), из моих физико-химических потуг (инициированных, кстати, повелителями ГУЛАГа) так ничего и не вышло: грозные судебные статьи стали непреодолимым барьером для грядущих атомных исследований.

А теперь пора поговорить о самых заметных преподавателях-гуманитариях: психологе Шевелеве, историках педагогики и дидактики Готалове-Готлибе и Гордиевском.

Шевелев читал лекции для всех факультетов — ему обычно выделяли самую большую, чуть ли не на пятьсот человек,

Октябрьскую аудиторию (она располагалась в главном здании Медина). Лектор он был блестящий! И активный сторонник бихевиоризма — модного учения, отрицающего самостоятельность сознания, которое когда-то называли душой. Бихевиористы сводили эту самую душу к взаимодействию внешних факторов и психических реакций на них. И Шевелев простыми опытами доказывал нам вторичность психики.

Как-то на его лекции всем студентам роздали по листку бумаги с десятью лабиринтами (каждый следующий — сложнее предыдущего). От нас требовалось как можно быстрее найти все выходы. Начинали одновременно, по сигналу ассистента. Я выполнил задание первым — и загордился: результат доказывал мою сообразительность и комбинаторный талант.

На следующей лекции Шевелев подтвердил мое высокое мнение о самом себе — правда, достаточно своеобразно.

— Студент физмата Штейн показал выдающиеся способности. Его время — три с небольшим минуты на десять правильно решенных лабиринтов. На моей памяти только два человека имели лучший результат, то есть обладали и большей сообразительностью, и большим комбинаторным дарованием. Один был вором и сидел в одесской тюрьме, другой работал пожарным в порту.

Следующий месяц стал для меня тяжелым испытанием. По каким бы университетским коридорам я ни ходил, в каких бы уголках ни прятался, кто-то из товарищей непременно пристраивался позади и скорбно бубнил мне в спину:

— Три были у мамы сына. И все — неудачники. Первый стал вором, второй поступил в пожарные, а третий подался на физмат.

И я искренне возненавидел свою победу на соревнованиях по комбинаторике, организованных профессором-бихевиористом Шевелевым.

Но в гулаговском бараке я переменил мнение. Я познакомился с ворами и убедился, что и сообразительность, и комбинаторное дарование — непреложные требования их профессии. Вор должен всей кожей, всем телом предвидеть угрозу и мгновенно оценивать ее степень — иначе его просто-напросто поймают. А пожарный, врываясь в горящий дом, обязан даже не видеть — чувствовать, кого спасать в дыму и пламени, куда бежать между рушащимися стенами, под падающим на голову потолком… Только стремительная оценка обстановки, недоступная обычному человеку, только молниеносный расчет действий и последствий могут позволить ему спасти гибнущих — и не погибнуть.

Поняв это, я стал гордиться сравнением Шевелева.

Готалов-Готлиб, один из самых старых профессоров университета, читал педагогику, дидактику и особый курс под странным названием «Система народного образования».

Первую еще можно было терпеть, вторая была (во всяком случае — для меня) неодолимо скучной, а СНО оказалась неожиданно интересна — на лекциях шла речь об истории создания в странах Европы частных и государственных школ, гимназий и лицеев, о появлении и развитии знаменитых университетов.

К несчастью для Готалова-Готлиба, на эти годы пришелся пик изобретательства в системе образования. В университет проник скорбно знаменитый Дальтон-план, и старый профессор стал ярым адептом нововведения. Была объявлена эра активного постижения науки — вместо прежнего пассивного выслушивания лекций. Преподаватель уже не излагал свой предмет, а усаживал нас в аудитории за учебники и статьи. Возвышаясь на кафедре, он пытливо взирал, как зевающие студенты активно овладевали наукой.

Из Дальтон-плана не могло получиться ничего хорошего — способ был из самых неэффективных. Чтение — процесс интимный, митинговая коллективность заранее обрекала его на неуспех. От неудачной «активной педагогики» скоро отказались — но Готалов-Готлиб был ей верен и гордился своей славой передового педагога.

Дальтон-план стал причиной одного забавного происшествия.

Профессор начал занятие с того, что раздал задания: студенты должны были активно постигать дидактику. Учебников на всех не хватило — он компенсировал это статьями из журналов. День был отличный, в просторные окна лилось солнце. Доставшаяся мне статья оказалась невообразимо скучной. Но я честно ее одолел (даже законспектировал) и доложил, что задание выполнил. Я надеялся, что Готалов-Готлиб отпустит мою душу на покаяние — иногда он был способен на добрые поступки.

— Отлично, просто отлично! — обрадовался профессор. — Вы показали замечательный пример активного усвоения предмета. Нужно наградить вас за такую старательность, такое усердие. Проработайте теперь еще и мою статью…

Я со вздохом взял толстый том — дореволюционный журнал министерства народного образования, где была напечатана статья Готалова-Готлиба о первых средневековых университетах Италии, Франции и Англии. Тема была интересной, но слишком уж на много страниц ее растянули, да и солнце за окном смеялось и звало…

Проснулся я от сильного тычка в голову. Растерянно вскочил.

Вокруг хохотали студенты, а надо мной возвышался грузный Готалов-Готлиб.

— Нет, поглядите на него! — негодовал он. — Мало того, что превратил активное изучение в сонную одурь. Но еще над моей статьей заснул. Над моей собственной статьей! Это что — в порядке критики моего труда, я вас спрашиваю?

Впрочем, этот инцидент не испортил наших добрых отношений. Старый профессор не страдал обидчивостью и злопамятностью. Да, конечно, он гордился собой и своими работами — причем очень явно, но это не заставляло его высокомерно отворачиваться от коллег. Полный и тяжелый, он был добродушен и даже хвалил себя как-то по-детски.

Сплетничали, что император Николай II, побывав в Одессе, публично пожал ему руку — и Готалов-Готлиб надел на нее перчатку, чтобы не стирать следы монаршего рукопожатия. Так и ходил — гордый и в одной перчатке. И охотно объяснял всем интересующимся причину.

Думаю, это было выдумкой — но очень точной. Готалов-Готлиб часто хвалил себя — но в его бахвальстве чувствовалось ироническое добродушие.

В начале тридцатых в стране началась кампания увольнения «дореволюционных» ученых, далеких от марксизма-ленинизма (а уж если считалось, что они относятся к нему враждебно…) Готалова-Готлиба отчислили из института. Не знаю, на что он жил, — до пенсий старикам советская власть тогда, кажется, еще не снизошла. Я иногда встречал его в научной библиотеке — он сидел в сторонке и читал старые журналы. Однажды он подозвал меня и показал книгу, которую взял. Это было деборинское «Введение в философию диалектического материализма» (в те дни в Советском Союзе активно боролись с Дебориным и его учениками, объявленными меньшевистскими идеалистами).

— Sic transit gloria mundi,[54] — вздохнул он. — Кончилась дурная мода на диалектику гегельянства. А ведь в настоящей науке не может быть ни моды, ни эфемерной славы — только твердые факты, только точные законы.

Больше я Готалова-Готлиба не видел. Возможно, вскоре он умер — он был очень стар.

Профессор Гордиевский читал у нас «Историю педагогических течений» — и был таким же выспренним, как и название его курса. Высокий, чопорный, одетый с иголочки, с темными усиками, с роскошной седой прядью в темной шевелюре, он ораторствовал, а не рассказывал. Всех наших профессоров интересовало, доходят ли до студентов их лекции. Гордиевский нас попросту не замечал: он был не учителем, а

проповедником науки.

Он поднимался на кафедру, высоко вздымал красивую голову (вероятно, чтобы случайно не отвлечься на студенческие лица) — и начинал исторгаться (иначе как исторжением я это назвать не могу). Его голос поражал богатством модуляций — от шепота до крика, от иронии до бешенства, от нежности до напыщенности — в зависимости от того, какое учение он сегодня излагал. Временами он просто грохотал, и жесты его были широкими и грозными. Навсегда остался в моей памяти его яростный голос, возвещавший несовместимость абстрактного божества деистов[55] и культа личного человекообразного бога:

— Так навіщо йому молітісь? Так навіщо його благаті? Все едіно він залышается глухим![56]

Щирый украинец Гордиевский походил на немца — палкообразного, классического (по стандарту наших карикатуристов) офицера-пруссака. Он единственный среди наших профессоров не только читал, но и говорил по-украински — даже если его собеседник был русским. В те годы вообще усилилась принудительная украинизация школ и учреждений. Каждым словом и каждым жестом Гордиевский подчеркивал свою национальность. И это при том, что (повторяю!) он совсем не выглядел настоящим украинцем, тем классическим хохлацким «дідом», каким рисует себя вождь современных украинских националистов Чорновил. Профессор высокомерно подчеркивал обе своих ипостаси — европейца по облику и образованию, украинца — по душе.

Я сказал, что украинизация была принудительной. Добавлю: она шла волнами, опадая и вздымаясь. Первый — на моей памяти — ее этап бушевал до падения Шуйского[57] и Скрыпника.[58] Сталин расправился с обоими — одного просто сбросил с поста, другого в голодный год принудил к самоубийству. Впрочем, падение вождей украинизма не остановило украинизации. Она продолжалась — правда, менее грубо: исчезли непрерывные языковые экзамены для служащих, перестали увольнять с работы не говорящих по-украински… Но в общественный быт государственный язык внедряли по-прежнему настойчиво.

А результаты?

Помню, году примерно в 32-м я приехал в тогдашнюю столицу Украины — Харьков (я уже писал об этом). Так вот, в один из дней я сидел в парке Шевченко. Мимо проходили веселые парочки — видимо, было воскресенье (или просто выходной после пятидневки). Кто-то говорил по-украински, кто-то — по-русски. Мне захотелось определить степень бытовой харьковской украинизации. Я взял блокнот, поделил страницу пополам и стал

записывать. После двадцати пар подвел итоги: семь говорили по-украински, тринадцать — по-русски.

— Украинизация в Харькове больше, чем в Одессе, но для столицы еще недостаточна, — оценил эти изыскания мой друг, доцент-политэкономист Лымарев. — Недорабатывают харьковчане. Надо поднажать!

Спустя почти сорок лет, в конце семидесятых, я снова оказался в Харькове. Меня пригласил местный физтех — в романе «Творцы» я много рассказывал об этом институте, харьковчане хотели услышать подробности.

Жил я в гостинице «Харьков». За моим окном, справа, громоздился многоэтажный «Госпром» — высшее архитектурное достижение города (столичной еще эпохи), напротив зеленел нарядный парк Шевченко.

В воскресенье, свободное от лекций и экскурсий, я сидел в парке — и опять смотрел на веселые парочки. Я решил повторить старый эксперимент — и не сомневался в результате. Тридцатилетняя (с гаком) украинизация, умножающиеся украинские школы, национальная литература…

Через некоторое время я всматривался в блокнот — и не верил своим глазам. Только три парочки из двадцати прошедших мимо меня говорили на чистом украинском!

Сейчас на Украине снова идет украинизация. Государственная «самостийность» требует самостийного языка. Несомненно, какие-то результаты будут достигнуты. Но всех препятствий не обойти. Тем более что одно из них заложено изначально: многотомный украинский словарь содержит в себе, кажется, около 50 тысяч слов, еще более многотомный русский — почти 150 тысяч. Это борцы разных весовых категорий.

Однако вернемся к профессору Гордиевскому.

В начале тридцатых и ему пришлось испить из горькой чаши. Он, как обычно, стоял на кафедре — прямой, худощавый, хмурый. Его язвили злыми вопросами, забрасывали враждебными репликами. Обвиняли в идеологических грехах, казнили за отступление от того, к чему он никогда не принадлежал. Он отвечал спокойно и выдержанно — не винился, а объяснял. От него требовали покаяния («разоружения» — так это называлось на лае дежурных идеологов) — кое-что он признавал, но ни в чем не сознавался. Я слушал его — и учился сохранять достоинство среди недостойной злобы. Меньше всего я мог предполагать, что и мне предстоит пережить такую же «разоблачительную» процедуру — и даже дважды: в Одессе, на кафедре, и в Москве, в следственной камере грозной Лубянки.

Смутно помню, как пытались вытащить на идеологическую

казнь еще одного профессора, читавшего политэкономию в Инархозе (кажется, немца, человека средних лет, но уже известного ученого).

— Ты знаешь, что он объявил? — с ужасом говорил мне знакомый студент. — Экономическую систему Маркса, мол, согласен излагать во всех подробностях, но сам лично придерживаюсь только австрийской школы экономики, ибо она одна истинно научна. Нет, ты понимаешь — такую чушь сморозил! Секретарь парткома даже за голову схватился.

Преподавателя быстро поперли с должности. Главные экономические дисциплины в Инархозе стал читать профессор Герлах — ученый уже советской школы. Студенты его хвалили: он хорошо знал предмет и доступно его излагал. Не всякий новый лектор удостаивался таких отзывов.

Я не знаю, что случилось дальше с Гордиевским. Если он и остался в университете, то полностью выпал из моей памяти.

Идеологическая чистка старой профессуры, грянувшая в начале тридцатых, бушевала среди гуманитариев. Меня она касалась только краем — и я особо в нее не вникал. Только если буйство совершалось в непосредственном моем окружении, я присматривался и запоминал. Все остальное доходило урывками и частично.

Одним из таких «урывков» идеологического очищения стало исчезновение профессора Тюльпы. Не знаю, где преподавал этот красивый молодой человек и действительно ли имел звание профессора. Лектор он был блестящий — знающий, остроумный, находчивый. Он выступал в клубах культуры — рассказывал о художественной литературе советского периода. Это было модно — говорить о попутчиках, футуристах, ВАППе и РАППе, комсомольской поэзии, украинских писателях. Я несколько раз слушал его лекции — они были свежи и блестящи. И вот Тюльпа исчез. И немедленно поползли мрачные слухи: это не наш человек, он только притворялся советским профессором. Дальше показания расходились: не то в тюльповскои родне обнаружился непорядок по социальной части, не то сам он сболтнул на лекции что-то чуждое — в общем, его убрали, чтобы не осквернял молодое сознание.

Потом выяснилось: Тюльпу на несколько лет отправили в ссылку. Когда он отбыл свой (пока еще краткий) срок и, вернувшись в Одессу, стал опять читать лекции, его снова вышибли — на этот раз навсегда. Я стал невольным свидетелем этой вторичной высылки.

Меня вызвал к себе Беляев, секретарь обкома партии по агитации и пропаганде. Он сидел за широким полированным

столом и жадно курил. Курили и почти все вызванные к нему — в комнате сгущался табачный туман.

К Беляеву вошел кто-то из прислужников и стал докладывать обстановку.

— Еще пустячок, — сказал он в заключение. — В городе появился Тюльпа, опять выступает с лекциями. Как прикажете поступить?

— Тюльпа? — удивился Беляев. — Что ему нужно в Одессе?

— Говорит, вернулся в родные места.

— Мало ли что он говорит! Передайте, чтобы немедленно испарился. А если заартачится, попросим покрепче.

Больше в Одессе никто о Тюльпе не слышал.

Теперь — о нашем курсе. Честно говоря, мне трудно вспомнить что-нибудь интересное — он был очень средним. Среди моих одноклассников по профшколе было многих ярких личностей, добившихся впоследствии серьезных успехов: Кучер — профессор в Сорбонне, Большой — лауреат Сталинской премии, конструктор, Богданов — директор завода, замминистра, Полтава — крупный строитель, Вайзель, Кордонский (и не они одни) — превосходные инженеры… Ничего этого я не могу сказать о моих сокурсниках. Если кто-то из них и стал выдающимся трудягой, то в университете ничто не предвещало такой возможности.

Курс был как курс: двадцать шесть рабфаковцев и пятеро прошедших вступительные экзамены — я, Миша Гефен, Оля Васильева, родственница нашего профессора теоретической механики, и Женя Мартынович (пятого уже не помню). Еще один нерабфаковец присоединился к нам позже — очень серьезный и дельный парень Олег Яровой.

Рабфаковцы отчетливо делились на две группы: «интеллигенты» (человек шесть) и «ребята из народа». Среди интеллигентов — Логинов, Ковалев, Кеслер, Корпун, Васин, Русаков… Эти люди не сумели добиться высшего образования в молодости. Тридцатилетние, они казались нам почти стариками. Университет был нужен им как почетный этап уже определившегося жизненного пути, а не как старт на высоты. Мы ежедневно встречались, даже дружили — и я все снова и снова убеждался, что они перезрели для науки. Бывшие учителя и рабочие, они растеряли свою творческую, производительную молодость на службе. Набрав необходимый стаж и понимая, что нормальные экзамены не для них, они записывались на рабфак — оттуда в университет (в общем-то им уже и не нужный) вела широкая и торная дорога. Все они были неплохими студентами — но не более того. И, как правило, возвращались на прежние должности (в большинстве своем — учителей средних школ).

Правда, с более почетными документами и более высокой (наверное) зарплатой.

Совсем иначе выглядели молодые рабфаковцы. Их было около двадцати — и отличались они друг от друга только оттенками серого. Нет, я не утверждаю, что они выглядели сплошной однородной серятиной. Характеры у них были очень разные. Злой Футескул ничем не походил на сдержанного и вежливого Драбчука, хороший парень Борис Баклан — на недоверчиво-недоброго Гардашника, простодушный Маснюк — на скрытного Васько… Нет, серостью были не их характеры, а их отношение к науке, понимание ее, стремление к ней. В этом они были одинаково неразличимы. Ни один из них (во всяком случае — на моей памяти) не сверкнул даже мимолетным проблеском таланта.

Должен оговориться. Я имею в виду талант к физико-математическим наукам. Есть мир — и есть окружение.

Там, в том окружении, откуда вышли наши рабфаковцы, они вовсе не были бездарностями. Они приезжали в Одессу из деревень, их посылали в университет заводы — как лучших из лучших (в своей среде). Это подтверждали документы с печатями школ, педсоветов, комсомольских и партийных ячеек. Но, интеллигенты в первом поколении, среди интеллигенции по праву рождения они оказались не в своей тарелке. И в науке — настоящей, многовековой — они тоже были не на месте. Исключения встречались — например, Ломоносов и Фарадей. На моем курсе, мне кажется, их не было.

Я уверен в этом, потому что сам однажды почувствовал, что значит оказаться не в своем окружении. Я уже преподавал в институте, много знал, хорошо ораторствовал и нравился девушкам — они мне, естественно, тоже. Две мои студентки, одна дочь профессора, другая из этого же круга, пригласили меня в гости, вероятно предупредив друзей, что появится местная знаменитость — молодой и яркий их учитель. И я провел целый вечер среди представителей культурной элиты Одессы.

В это время из печати вышел какой-то том Джорджо Вазари, живописца XVI века, с жизнеописаниями его современников. Завязался разговор. Я так и не принял в нем участия.

Я сам ощущал странность моего молчания. Я, конечно, читал Вазари и много знал о великих мастерах Ренессанса. Наверное, мои знания были шире и глубже, чем у остальных гостей. Но для меня, интеллигента практически в первом поколении, знаменитые имена, так легко и просто мелькающие в разговоре, в свое время были открытиями, а для собравшихся — бытом, знакомым с детства. Я не мог так непринужденно обращаться с

гениями! И потому с интересом слушал — и не вмешивался.

И, уходя, услышал удивленную реплику, обращенную к молодой хозяйке:

— А твой Штейн весь вечер промолчал. Как ему это удалось?

— Сама удивляюсь, — шепотом ответила хозяйка. — Даже не догадывалась, что он на это способен.

Впрочем, это не было насилием над собой: я всегда умел говорить так, что заслушивались, и был способен заслушиваться тех, кто интересно говорил.

Однако вернемся к нашему курсу. В нем, как в капле воды, отражалось то, что происходило в обществе.

Государство, назвавшее себя пролетарским и объявившее своей целью коммунизм, во имя грядущего социального равенства создало такое обширное и узаконенное неравноправие, какое вряд ли знали предшествующие эпохи.

Крестьян чохом исключили из нормальной жизни: их лишили паспортов, запретили переезжать в города без особого на то разрешения. Многих (бывших помещиков, зажиточных крестьян) объявили врагами государства.

А в городах множилось число лишенцев — людей, не имевших права избирать органы власти (тем более — быть избранными). Лишенцами стали все бывшие дворяне, промышленники, купцы (и, конечно, их дети), современные частные ремесленники и торговцы (вплоть до самых мелких). Для них были закрыты не только высокие посты в промышленности и государстве, но и образование и наука. Думаю, чуждой и враждебной была признана большая часть народа.

Воцарилось господство меньшинства над большинством (то, против чего, собственно, и была направлена революция) — причем и моральное обоснование этого было гораздо слабее, и социальная несправедливость несравненно выше. Если раньше богатые, образованные и умелые господствовали над беднотой и голытьбой, то сейчас господами стали неумехи и лентяи (в деревнях) и малограмотные трудяги (в городах). Для упрочения своей власти — верней, для элементарного ее сохранения — государство спешно выдвигало вперед свою единственную опору — бедняков и рабочих. Из них создавалась новая интеллигенция. Им, практически единственным, были открыты все дороги.

Но, укрепляясь как система диктатуры узкой народной прослойки, государство подрубало себя под корень, ибо закрывало дорогу самым ярким талантам из нежелательных слоев. Даже не лишенцы, не враги — простые государственные служащие и их дети попадали в разряд второстепенных, подозрительных. Они пахли не тем классом.

Интеллектуальная деградация и снижение общей культуры стали неизбежностью. Развиваясь как социалистическое общество, страна осуждала себя на прогрессирующую скудость и нищенство. Та самая материалистическая диалектика, которой так хвалились идеологи нового государства и которая импонировала им единством противоположностей, поворачивалась к ним своей второй, убийственной стороной, декретирующей убожество.

Курс физмата, набранный из рабфаковцев, был живым примером того, как избирательно создавалась новая интеллигенция — и самим возникновением своим гасила интеллектуальный потенциал всего народа.

Я помню, как исключали из университета моих однокурсников, когда в их биографиях обнаруживалось что-то порочащее анкетную чистоту (среди них были и мои приятели Карпов и Дьяков). Я знаю, как не пускали в университет талантливых, но социально чуждых людей — чтобы прошли свои, анкетно-близкие, пролезшие через рабфак.

Об одном случае отторжения классово-второстепенного претендента я должен рассказать — трагедия совершилась на моих глазах. Не помню только, произошло это в год моего поступления или позже.

Я познакомился с этим парнем в Инархозе (там шли экзамены). Высокий, жилистый, словоохотливый, он блестяще сдавал все предметы, но очень боялся приемной комиссии. Я, помню, даже удивился.

— Понимаешь, у меня социальный изъян, — сказал он. — Сразу после революции мой отец открыл мелочную лавочку.

— И сейчас торгует? — испугался я.

— Нет, и уже давно. Налоги задушили. Теперь он служащий на государственной торговой базе.

— Тогда чего ты боишься? Служащий — это не первый сорт, конечно, все-таки не рабочий и не комбедовец, но и не социально-чуждый элемент. Главное — сдать все экзамены на пятерки.

— На это я и надеюсь. Но, знаешь, мне столько раз кидали в лицо: сын торговца, сын торговца… Могут припомнить.

— Отец лишенцем не был?

— Имеет все социальные права.

— Если так, значит, пройдешь. Только не завались на экзаменах…

Он сдал все на пятерки. И, как сын совслужащего, тоже имел права — но своей социальной второсортности все-таки не потерял. В день, когда в Инархозе, на третьем этаже, вывесили список принятых, я снова его увидел. Он стоял на лестничной площадке, прислонившись к перилам.

Он хмуро поздоровался.

— Нет меня в списке. Не знаю, что теперь делать.

— Ты хорошо проверил? — осторожно спросил я.

— Три раза прочел. Меня нет. Мы помолчали. Потом я сказал:

— Надо идти в деканат. Наверное, какая-то ошибка. Ты же круглый пятерочник! Потребуй, чтобы выяснили это недоразумение.

— Ты прав, надо идти, — сказал он покорно. — Может, и недоразумение. Постою немного на площадке — и пойду.

Я потолкался на третьем этаже и спустился вниз. Когда шел по ступенькам, услышал многоголосый отчаянный крик. Мимо прихотливо извивающейся парадной лестницы пролетел какой-то человек и с грохотом ударился о каменный пол вестибюля. Сверху бежали вопящие люди. Я соскочил с лестницы и кинулся к изуродованному, залитому кровью, еще вздрагивающему телу.

Это был он, мой новый знакомый…

Наверное, кто-то вытеснил его из списка принятых — какой-нибудь серенький середнячок из полностью благонадежных по социальному статусу…

2

Еще в профшколе я понял, что пришла пора самому зарабатывать на жизнь.

На перекусы, на бутерброды в перерывах между уроками, временами даже на мороженое мама деньги давала, но на непрерывно покупаемые книги их не хватало. А без новых книг становилось трудно жить. Я начал понемногу заниматься репетиторством.

Мне повезло. Первым моим учеником стал сын владельца букинистического магазина — небольшой лавочки на углу Дерибасовской и Преображенской, напротив Пассажа, в нескольких шагах от Инархоза. Он был дубоват — в отличие от своего отца, плотного, живого, решительного мужчины средних лет с усиками того типа, какой впоследствии назовут гитлеровским.

— Слушай, учитель, — доверительно сказал он мне при первой встрече. — Давай договоримся по-хорошему. Ты три раза в неделю будешь приходить ко мне домой и превращать моего оболтуса в нормального человека — за это я назначаю тебе пять рублей в месяц. На всякий случай уточняю: назначаю — отнюдь не значит выплачиваю. Я так и не научился отдавать то, чего не имею. Благодаря заботам обо мне нашего дорогого, лучшего в

мире правительства, на меня насела налоговая инспекция, и я уже не дышу — только выкашливаюсь. Я подсчитал: я должен платить ровно в два раза больше, чем зарабатываю в дензнаках (о червонцах не говорю — их я не видел уже сто двадцать лет). И если ты не признаешь, что я форменное чудо, фокусник, превращающий пустое ничто в материальное, то ты никакой не учитель и недостоин обучать недотеп разуму, поскольку сам им не блистаешь. А теперь, если тебя и вправду почему-то интересует зарплата, оглянись вокруг и сообщи: как это тебе нравится?

Здесь было на что смотреть! Сплошные книги, из-под которых едва проглядывали стены. Хозяин отбирал те, что мне нравились, оценивал их и в конце месяца выдавал — ровно на пять рублей. Так в течение зимы я стал владельцем саблинского собрания Кнута Гамсуна, восьмитомника Бернарда Шоу (тоже Саблина[59]), роскошных брокгаузских изданий Шиллера и Шекспира, а в заключение — Гюго и Флобера. «В заключение» не потому, что бросил репетиторство, — нет, оно продолжалось, но сам хозяин исчез, навесив замок на дверь лавки.

В это время правительство занялось золотоискательством. Кампания, как водится, была энергичной и всеобъемлющей. Людей, у которых подозревали наличие дореволюционного золота, арестовывали (без предъявления каких-либо обвинений), сажали в камеры потесней и на первом же допросе объявляли: «Сдай припрятанное, иначе — пеняй на маму, что родила». Во время интенсивного этого государственного старательства не одна тысяча человек прошла через застенки на Маразлиевской и районные каталажки. Вернувшийся хозяин почти вдохновенно описывал свое пребывание на золотоочистке.

— Камера, понимаешь, судя по койкам, на шесть человек. Только койки выносили, и набивали нас до трех десятков. Не то что лечь — сесть нельзя, стояли, опираясь на плечи соседа. А чтобы мы не скучали — над головами электрическая лампочка горела. И ночью, и днем. Как-то один старичок потерял сознание — и ничего, не упал: некуда. Даже не покачивался — пока мы не испугались, не умер ли, и не вызвали охрану, чтобы его выволокли. Что теперь всей душой ненавижу — золото, — добавил он убежденно. — Даже тошнит, горло спазма хватает, чуть увижу. Столько вытерпел из-за этих николаевских кругляшек! Спасибо, жена все припрятанное разыскала и принесла. И еще на Новом базаре втихаря прикупила пару десяток, чтобы ровно сотня вышла — моя выкупная цена.

После золотой лихорадки хозяину было не до репетиторства. Он срочно и по дешевке продал все книги, закрыл лавчонку и

исчез с моего горизонта — наверное, на старости лет пошел искать новой доли.

А я стал искать нового ученика — «для поддержания штанов», как называл подобные операции Миша Гефен. Однажды на улице я увидел свою школьную учительницу Варвару Александровну Пора-Леонович, прогуливающуюся вместе со старшекурсником физмата Цомакионом. Он держал ее под руку, она нежно касалась плечом его плеча. Картина была до того неожиданная и неправдоподобная, что, дабы не попасться им на глаза, я постарался спрятаться за прохожими.

Дело в том, что Цомакион, сын профессора, преподававшего в одном из одесских вузов, высокий и худощавый двадцатилетний грек, был официальным женихом малопривлекательной дочери Варвары Александровны. Говорили, что вскоре на профессорской квартире должна состояться их свадьба. Но эти двое были мало похожи на тещу и зятя…

Я рассказал об увиденном товарищу, который был хорошо знаком с Цомакионами.

— Отсталый ты человек! — пожалел он меня. — Не знаешь, что здесь прямо-таки шекспировская драма. Придумай такое — никто не поверит. Но — факт.

Поверить на самом деле было трудно. Молодой Цомакион увлекся дочерью Варвары Александровны. Он водил ее на танцульки, их видели в опере, когда приезжала знаменитая Фатьма Мухтарова[60] (она пела Кармен и Далилу[61] и, по слухам, в последней партии обнажалась на сцене до полного «догола»). После потребного числа уличных прогулок и театральных посещений юная девушка, уверившись в чувстве поклонника, пригласила его домой — познакомиться с матерью. И тут произошла трагедия.

Цомакион влюбился сразу, как только увидел Варвару Александровну. И это еще не все! Небольшое любовное сумасшествие могло и пройти, если бы его не подпитали. Варвара Александровна увлеклась Цомакионом точно так же, как и он, — «до без ума». Как они там разбирались с брошенной девушкой — их тайна. Но результат виден всем. Влюбленные собираются венчаться, оскорбленная дочь ушла от матери, отец, кажется, тоже отказал сыну от дома. Молодой жених переехал к своей немолодой невесте, даже в университет перестал ходить — слишком много забот навалилось.

Я был потрясен — именно это затрепанное, но точное словечко лучше всего передает мое состояние. Это противоречило всему, что я знал о Варваре Александровне. Она не могла так поступить со своей дочерью! Она не должна была соединять свою

жизнь с жизнью юноши, который был на пятнадцать лет моложе. Я по-настоящему возмутился — тем, что она оказалась не такой, какой мне представлялась.

И я решил сказать ей об этом.

Ее примерный маршрут (из школы — домой) был мне известен. Я подстерег ее в районе дореволюционного Толчка (теперь здесь разбили сквер и поставили скамейки). Увидел я ее издали, но вдруг испугался. Варвара Александровна подошла поближе и узнала меня.

— Сережа, здравствуй, иди сюда! — по-обычному властно сказала она и села на скамейку. — Ты из университета или в университет?

Я пробормотал что-то невразумительное.

— Расскажи, как учишься, — потребовала она. — И не мямли, раньше ты никогда не лез за словом в карман.

Я рассказывал — и рассматривал ее. Впрочем, «рассматривал» — это неточно, я на нее засматривался. Я вдруг остро понял, что никогда по-настоящему не видел эту женщину. Подросток, прежде я не понимал ни женского уродства, ни женского очарования. Она была существом иного поколения, строгой учительницей — отнюдь не объектом мужского внимания. Но сейчас мне шел девятнадцатый год, я начал любить женщин и отворачиваться от них. И оказалось, что я не знал Варвары Александровны.

Прежде всего она была красива. Нет, не доведенной до совершенства миловидностью, не гармоничностью классических богинь — этой всепрекрасности не было в ее лице. Она была красива женственно. Она была «ewige Weiblichkeit», как говорят немцы, в каждой ее черточке проступала эта «Вечная Женственность», всегда покоряющая мужчин. И в ней, во всем ее облике, не только в лице, было благородство и величавая породистость, которая возникает усилиями многих поколений (недаром как-то в школе она не то призналась, не то повинилась в длинном ряде княжеских предков). Сейчас я не искал в ней ум, незаурядные знания, изощренное чувство прекрасного — все это я знал и раньше и потому не сомневался.

Я почувствовал, что сам влюбился бы в такую женщину, попадись она мне, а не Цомакиону. И что она, не достигшая и сорока, не должна быть обидно и горько одинокой, она имеет право любить и требовать любви. Даже если этому препятствует дочь — та, молодая, еще увлечется, еще увлечет собой другого мужчину…

— Что ты смотришь на меня, Сережа, будто не узнаешь? — вдруг спросила она.

Я растерялся, словно меня поймали на дурном поступке.

— Нет, я так — просто гляжу. Вы очень красивая, Варвара Александровна!

Она улыбнулась незнакомой улыбкой — грустной и чарующей.

— Ты знаешь, что моя жизнь изменилась? — спросила она прямо.

— Недавно узнал. И хочу от всей души, Варвара Александровна…

Она жестом прервала меня.

— Не надо, Сережа. Я знаю, что ты скажешь. Хорошо, что мы встретились. У меня к тебе предложение. Не хочешь взять репетиторство у моего знакомого? Надо готовить его дочь в институт. По-моему, ты вполне подходишь.

Она продиктовала адрес: Новосельская, дом в конце улицы. Хозяин — Крихацкий, поляк, хороший человек, отличный учитель, еще мать и две дочки, тоже хорошие, к тому же хорошенькие. Репетитор нужен младшей — Людмиле.

— Сегодня я увижусь с ними, скажу о тебе. Завтра приходи.

Варвара Александровна ушла. Я долго смотрел ей вслед: полная, она двигалась молодо и изящно.

Дом Крихацких был обычен для Новосельской (улицы, еще находившейся в черте «города», но уже примыкавшей к окраинам): двухэтажный, с тенистым садом и широким проездом. Здесь, на первом этаже, среди винограда, который густо заплел стены, виднелась белая дверь — к ней вели три ступеньки.

Я постучал. Мне открыла женщина средних лет.

— Вы Сережа? Входите, мы вас ждем.

В комнате сидели две девушки. Впрочем, одну из них девушкой в полном смысле слова назвать было трудно — она укачивала ребеночка. Молодая мама невнимательно посмотрела на меня, кивнула и стала что-то тихо напевать — наверное, чтобы заглушить голоса. Вторая, невысокая, лет семнадцати или восемнадцати, востроносенькая, с мальчишеской стрижкой (волосы были еще короче моих, но гораздо мягче и шелковистей — вскоре я в этом убедился), встала, окинула меня насмешливым, испытующим взглядом и молча протянула руку.

— Люся, ваша ученица, — сказала открывшая мне женщина.

Я договорился с Людмилой о днях занятий и собирался уйти, когда из второй комнаты показался высокий, усатый, краснощекий мужчина.

— Крихацкий, — шумно сказал он, протянув руку, и поинтересовался: — Вас моя злыдня еще не обидела, Сергей?

— А почему Людмила должна меня обижать? — удивился я.

— Нипочему. У нее такая привычка — всех и вся в мире высмеивать.

— Папа, ты ставишь меня в дурацкое положение, — возмутилась Людмила. — Сережа может подумать, что я настоящая чертовка.

— Ну, чертовка не чертовка, а что-то ведьминское в тебе есть. Разве это не ты недавно плясала на Лысой горе? Ах нет, то было на горе Брокен в прошлую Вальпургиеву ночь. — Крихацкий нежно погладил ее по голове. Судя по всему, он очень любил свою младшую дочь.

— Папа, ты сам всегда говоришь, что я похожа на тебя… — скромно сказала Людмила.

Она искоса посмотрела на меня: интересовалась, какое произвела впечатление. Я сухо поклонился и ушел. Она меня не особо впечатлила. Девушка как девушка, невысокая, миловидная, похоже, острая на язычок. Влюбляться я не собирался, шипы ее характера меня мало трогали. А знания у нее были неплохие — это успокаивало: после уроков с сыном хозяина букинистической лавчонки я побаивался обучать дундуков.

Так начались наши занятия. Три раза в неделю я приходил к Крихацким, спрашивал домашние задания, давал новые, объяснял малопонятное. Люся была хорошей ученицей — внимательной и понятливой. И она отлично слушала — очень серьезно и вдумчиво. Мне нравилось, что меня не перебивают и не отвлекаются.

Иногда появлялся отец, интересовался, как идут дела, что-нибудь говорил — больше цитатами (он был учителем литературы). Тогда Людмила преображалась: шутила и хохотала, реплики ее становились разящими и мгновенными. Откидывая голову, она смеялась — и ей невозможно было не ответить, так это было великолепно.

Ей, похоже, нравились наши занятия. Мы условились, что каждое из них должно длиться полтора часа — но вскоре стали задерживаться на два и больше. Обычно нас разгоняла ее мама. Она всегда говорила одно и то же:

— Ну, хватит вам, хватит! Людмила, нехорошо так эксплуатировать Сережу. Оставьте что-нибудь на следующий урок.

Но однажды она сказала иначе.

— Люся, посмотри в окно! Золотая же осень, а вы корпите в полутемной комнате. Хоть бы в парке погуляли…

— Я бы погуляла, да Сережа не приглашает, — мгновенно парировала Людмила (сначала она называла меня Сергеем Александровичем, но я быстро пресек такое пижонство).

— Если дело за моим приглашением, то вот оно — кладу к вашим ногам, — весело откликнулся я.

Людмила побежала переодеваться. На улице она сказала:

— Хочу побольше зелени. Куда пойдем?

— Предлагаю два места. Дюковский сад — он ближе. Ланжерон или Отрада — они дальше, но там лучше.

— Пойдем в Отраду. Там море.

До Отрады, одного из лучших пляжей, было далеко — солнце уже садилось, когда мы вышли к морю. Людмила уселась на прибрежную скалу (здесь их было много) и радостно засмеялась.

— Как хорошо пахнет море, Сережа! Спасибо за прогулку. А что будем делать? Я не захватила купальник — купаться не могу. Давайте побегаем, хорошо?

Бегать я любил и умел. Она соскочила со скалы и умчалась, но я догнал ее через десяток шагов и схватил за плечо — она вывернулась и побежала назад. Так мы сделали несколько пробежек.

Потом она сказала:

— Отдохнем немного и снова побегаем.

Я покорно опустился на камень. Людмила засмеялась и полезла на откос, нависавший над пляжем. Я хотел было броситься за ней, но она повернулась и предостерегающе закричала:

— Берегитесь! — А затем ринулась на меня с высоты.

Я успел схватить ее, но не устоял на месте — и по инерции закрутился. Она хохотала, обхватив меня за шею и поджав ноги, чтобы не удариться о камни.

— Как неосторожно! — сказал я, отдышавшись. — Вы могли разбиться, если бы я вас не схватил.

— Но вы же схватили! — лукаво сказала Людмила. — Впрочем, по-моему, вы очень испугались. Тогда жалею, что причинила вам неприятности.

Я попытался сохранить достоинство.

— Я действительно испугался — и даже очень. Но не за себя, а за вас.

Она снова захохотала, схватила меня за руку и потянула за собой. Мы носились вдоль берега моря. Когда у обоих не осталось дыхания, она опустилась на траву.

— Сердце бьется как барабан! — пожаловалась она. — Никогда не думала, что могу так отчаянно бегать.

Я отозвался веселыми куплетами (в них какой-то одесский грек оплакивал смерть своего брата):

Залко, залко брата Яни,

Залко, не поверись вы.
Сердце бьет, как бурумбани,
Ходись я без головы.

Мы перекидывались репликами, прижимались друг к другу плечами. Темнело, с запада примчался ветер — он змеился вдоль берега, вздымая песок и косоворотя белые барашки волн. Оттуда же, с заката, поползли, густея, тучи. Людмила вскочила, снова схватив меня за руку.

— Мы попадем под ливень. Скорее домой, Сережа!

Мы успели подняться наверх до того, как хлынуло.

Но за пустырем (он многозначительно именовался Куликовым полем), у трамвайной остановки, на нас обрушились хляби небесные. Дождь был скорый и обильный, но недолгий. Мы укрылись в парадном какого-то дома. Было темно, редкие фонари не рассеивали черноты. Во тьме шумел поток, мчавшийся по улице.

Ливень закончился так же внезапно, как и начался. Мы выглянули из парадного. Тротуары были пусты, на мостовой гремела вода. Нам нужно было перейти на другую сторону. Людмила сказала:

— Подождите, Сережа, я сниму туфли.

— Не надо, — ответил я и поднял ее на руки. Прижимая ее к себе (она по-ребячьи обхватила мою шею), я шел медленно, прощупывая путь в темной воде. Почти перейдя улицу, я остановился. Людмила встревожилась:

— Вы не ушиблись? Всего два шага до тротуара. Почему вы стоите?

— Именно потому и стою, что два шага. Хочу продлить удовольствие.

Я засмеялся и опустил ее на тротуар. Она все-таки сняла свои праздничные туфли — побоялась их испортить. Мне было проще: мои парусиновые сандалии давно промокли. Людмила с наслаждением шлепала по лужам — и шлепкам ее босых ног вторило влажное чмоканье моей обуви.

Была уже ночь, когда мы подошли к ее дому. С полминуты мы стояли молча, всматриваясь друг в друга — далекая уличная лампочка почти ничему не помогала. Я притянул ее и стал целовать, она полупротестующе откинулась — и потом прижалась, тоже целуя. Через какое-то время она вдруг оттолкнула меня.

— Вы плохо себя ведете! — сказала она строго. — Вы целуете свою собственную ученицу. Это верх неприличия! Я бы на вашем

месте постыдилась.

— А я не стыжусь! — ответил я, снова притягивая ее к себе. — Я плохой человек и на приличные поступки органически неспособен. Вам придется с этим смириться.

Она смирилась. Мы стояли у двери, до боли вжавшись друг в друга, и целовались — быстро и молча, чтобы не услышали и не помешали. А когда за дверью все-таки зашевелились, она шепнула:

— Сереж, до свидания! — и оттолкнула меня.

— До завтра! — уточнил я.

— Завтра у нас нет урока, — грустно сказала она.

— А если я приду просто так? — набрался я храбрости.

— Отлично, приходите! — быстро согласилась она. — Я скажу, что вы пригласили меня на танцульки в сквере.

— К сожалению, я не танцую — не научился.

— Неважно! Только не говорите этого моим.

— Люся, это ты? — раздалось за дверью.

— Я, мама. Сережа довел меня домой, мы прощаемся.

— Как вам не повезло, — посочувствовала мать, открывая дверь. — Такой страшный ливень — вы, конечно, насквозь промокли. Иди в комнату переодеваться.

— Я уже обсохла. Мы очень хорошо провели время. До свиданья, Сережа, до завтра.

Домой я не торопился. Мне было не до тесной комнатушки, не до разговоров с мамой и отчимом. Ночь шла тихая и густозвездная, уходить из нее было преступлением.

Лет через восемь мой друг Петр Кроль скажет (правда, совсем по иному поводу): «Меня коснулся мир иной». Так вот: в тот вечер я кожей ощутил это прикосновение. Я прочел не одну сотню книг о любви, теоретически изучил ее во всех формах и проявлениях. Я был хорошо подкован! И я ничего не знал. Она вспыхнула — и стала открытием.

Все было впервые: я обнимал женщину, нес ее на руках, целовал и получил — видимо, на всю остальную жизнь — нежное, горячее имя «Сереж». Все произошло так, как произошло. И я ликовал, и жадно вдыхал влажный ночной воздух, и громко выкрикивал какие-то стихи, и радостно аккомпанировал им звучным чваканьем насквозь промокших сандалий.

На другой день Людмила ждала меня. И не одна она — вся семья была в сборе. Нас провожали на прогулку, как в далекое путешествие. Крихацкий важно посоветовал быть поосторожней: по ночным улицам бродят разные уроды Калибаны[62] — лучше с ними не встречаться. Сестра вышла за нами на улицу и многозначительно сказала:

— Бойся нехорошей тени, Люся. Особенно когда стемнеет.

— Буду бояться, — весело ответила Людмила. Когда мы остались одни, я осторожно спросил:

— Почему такие провожалки? Что-нибудь случилось?

— У меня — ничего. А мои просто опасаются, что я поздно приду.

— Вы этого тоже боитесь?

— Я этого хочу. Вы знаете, куда мы пойдем?

— Знаю. Туда, куда вы захотите.

— Тогда снова в Отраду. Я сегодня в купальнике, будем плавать.

Шел конец сентября, вода была уже прохладной. Море простиралось гладкое, словно усмиренное. Мы искупались и легли на траву. Наша одежда была сложена рядом. Людмила сказала:

— Все-таки жаль, что вы не танцуете. В городском сквере сейчас играет военный оркестр.

— Если вам очень хочется, пойдемте. Я полюбуюсь на ваши танцы.

— Я сама не знаю, чего мне хочется. Нет, знаю!

Она вскочила и проворно влезла в мои брюки. Мне они были коротковаты — ей пришлись впору. Так же быстро она надела мою рубашку и, победно взмахнув волосами, встала передо мной. Ей шло быть парнем! В моей одежде она выглядела гораздо лучше, чем я сам.

— Теперь вы, — сказала она, бросив мне платье. — Быстренько!

Одевал я его с опаской: оно было тесным — и я боялся его порвать. Людмила хохотала — наверное, я был не самой привлекательной девушкой.

— Будем так ходить весь вечер, Сереж. Интересно, догадается ли кто-нибудь, что мы переоделись?

За пляжем, между скал, нашлось уютное местечко. Вскоре к нам присоединились миловидная, не по возрасту полная девушка и хмурый, грубоватый парень — моряк-каботажник, так он объяснил.

— Холодно стало, — сказала девушка. — Меня зовут Вера. А тебя как?

— Людмила, — храбро соврал я.

— А меня — Сережа! — немедленно откликнулась Людмила.

— Слушай, Люда, мне надо с тобой поговорить, отойдем в сторонку.

Мы выбрались из нагромождения скал. На пригорке высилась кирпичная избушка — недавно возведенная уборная.

— Мне нужно туда, а в темноте я боюсь, — сказала Вера и потянула меня за руку.

Не на шутку смущенный, я стал вырываться.

— Да мне совсем не хочется…

— А ты в запас пойди! До следующей уборной час ходу, — Вера стала еще настойчивей.

— Хорошо, я постою у двери, — сдался я. — А внутрь не хочу.

— В жизни не встречала такой странной девушки, — сердито сказала Вера и исчезла в неосвещенной избушке.

Когда мы вернулись, она возмущенно объявила, что я жуткая трусиха, даже войти в уборную побоялась. Моряк отнесся к этому спокойно: трусость — нормальное женское качество — только льстила его мужской смелости. Людмила неудержимо хохотала. Она то затихала, то снова взрывалась. И даже в городе, уже переодевшись, она останавливалась и снова начинала смеяться, представляя мой непритворный ужас.

Когда мы пришли, она постучала в дверь так неожиданно быстро, что мы не успели поцеловаться. Я расстроился. Она прошептала:

— Не сердитесь, Сереж. Завтра возместим.

На стук выскочила сестра и тревожно спросила:

— Все в порядке, Люся?

Людмила ответила весело и непонятно:

— Калибаны не появлялись. Опасные тени дорогу не пересекали. До завтра, Сереж!

Завтра было последнее наше занятие. Мы по обыкновению провели его одни. Людмила грустно сказала:

— Вот и кончились наши встречи, Сереж. Мы теперь не скоро увидимся. Через месяц-другой вы меня не вспомните. Я поступлю на курсы, вы засядете в университете. Станете важным и толстым — и уже не сможете переодеваться девушкой.

— А почему бы нам не встречаться и дальше? Мы могли бы отлично проводить время и без переодеваний.

Людмила лукаво посмотрела на меня.

— Итак, вы настаиваете на продолжении? И гарантируете, что все будет отлично? Это так серьезно, что я должна посоветоваться с семьей. Папа! Мама! — громко закричала она.

Родители вышли из соседней комнаты, за ними показалась и сестра с ребенком на руках.

— Слушайте все! Сережа только что сделал мне предложение. Нет-нет, не то, что вы подумали, — он на такое никогда не решится. И вы, Сережа, не делайте испуганного лица, я не собираюсь вас ни к чему принуждать. Папа и мама, извещаю: он предлагает мне стать его спутницей на прогулках куда глаза

глядят — то есть в никуда. В том числе и на танцульки, хотя сам не танцует, и на пляжи, где уже закончился купальный сезон. В любви он мне не объяснялся. Ну, что — оценим его великодушие? Крихацкий, по-доброму усмехнувшись, покачал головой:

— Сергей, можете не сомневаться: она не только приняла ваше предложение, но и коварно подбила вас его сделать. Советую одуматься, пока не поздно. Ведь она может заставить даже объясниться ей в любви. Всю жизнь провести с такой чертовкой — нет, у меня не хватит решимости вам это посоветовать.

Людмила подвела итог обсуждению:

— Предложение официально принимается. Запланированная внеучебная прогулка в никуда назначается на воскресенье: раньше мое новое бальное платье из Парижа не прибудет.

Первое плановое свидание закончилось первой ссорой.

— К морю не пойдем, — сказала Людмила. — Наши ребята собираются повеселиться в скверике на площади Льва Толстого. Я познакомлю вас с ними, вам они понравятся.

Возможно, если бы она не предупредила, что идет к друзьям и что они мне понравятся, я отнесся бы к ним как к любым случайным прохожим — то есть безразлично. Но я ждал встречи — и она пришлась мне не по душе.

В крохотном скверике собрались человек десять. Все мое детство на Молдаванке прошло в таком окружении — и я его уже не терпел: шумные до крика, развязные, бесцеремонные парни, девушки, всегда веселые, всегда болтливые, во всем поверхностные. Чудаки и чудачки, хохмачи-одиночки и шутники-коллективисты, жлобы с Бугаевки и Пересыпи, красючки из Дюковского сада…

Людмилу встретили радостно — хлопали по плечу, хватали за руки, тянули танцевать. Она со смехом отбивалась и оглядывалась на меня: как я чувствую себя в ее окружении? Я чувствовал себя отвратительно. Эти люди были обычны — а я хотел особенного.

В конце концов именно необычностью Людмила — остроумная без пошлости, резкая без грубости, насмешливая без невоспитанности — меня и привлекла.

Я сел на скамейку подальше от веселящихся. Мне стало обидно.

Она подошла и пристально посмотрела на меня.

— Что с вами? Я встал.

— Людмила, я должен попросить у вас прощения. Мне надо срочно уйти.

— Уйти? Да еще срочно? Вот так запланированная прогулка!

Объясните: что случилось?

— Мне очень скучно. Вы оставайтесь, а я ухожу.

Она быстро взяла меня под руку.

— Мы уходим вместе. Проводите меня.

Я иронически поинтересовался:

— Куда прикажете вас проводить?

— Туда, куда сами направитесь, — отрезала она. — И по дороге в это никуда подробно объясните, что вам не понравилось.

Я понял, что придется быть честным.

— Мне не понравилось мое появление в этом скверике. Мне не понравились ваши товарищи. Мне не о чем с ними разговаривать, они скучны. Меня удивляет, что вы своя в этом круге. И возмущает, что вы хотите сделать меня таким же…

Она разозлилась.

— Перестаньте, слушать не хочу! Знайте: я не ищу в вас друга.

— Как это понимать?

— Так и понимайте. Не хочу делать из вас друга. И не буду!

Она сердито замолчала, я тоже. Мы вышли на Раскидайловскую.

— Куда мы идем? — спросила Людмила.

— Вы сами очень точно назвали это место — никуда.

Она осмотрелась. Справа темнел Дюковский сад.

— Оно очень зеленое — это никуда! Давайте отдохнем. Мы вошли в парк и сели на пригорок. Я заговорил о том, о чем молчал всю дорогу.

— Все-таки, Людмила, почему вы не ищете во мне друга? У нее снова было хорошее настроение — и она опять подтрунивала надо мной.

— Неужели не понимаете? Вы недружески обошлись со мной. Я не позволяю своим друзьям хватать и целовать меня, а что сделали вы? Не оправдывайтесь — у вас нет оправданий!

Я был полон достоинства.

— Я и не думаю оправдываться!

— Вот и хорошо. Правда, вы, кажется, одумались и начинаете исправляться. Вчера, например, вы не захотели меня поцеловать.

— Я тут не при чем! Вы слишком быстро постучали в дверь.

— Ах, значит, это моя вина? Тогда это не так непоправимо! — Она повернулась ко мне и вдруг перешла на «ты»: — Сереж, хочу по-серьезному… Если тебе не нравятся мои друзья, я перестану с ними общаться. Тем более что они мне надоели. Мне хватит наших встреч. А тебе хватит?

— Надолго — нет, — улыбнулся я. — Разве что лет на сорок…

— Маловато, конечно, — сказала она со вздохом. — Нам ведь скоро по двадцать, до правнуков не дотянем. Ладно, ограничимся внуками. Приходи завтра вечером — сходим в кино.

Сестра Людмилы прохаживалась по улице с ребенком на руках.

— Рано вернулись, — сказала она. — Ничего не случилось?

— А что должно было случиться?

— В городе замелькали тени. Людмила повернулась ко мне.

— Когда я просила тебя прийти, Сереж?

— Вечером.

— Приходи после обеда.

— Вы уже перешли на «ты»? — удивилась сестра.

— Давно. Я, например, в тот день, когда Сережа у нас появился. Удивляюсь, что этого никто не заметил.

Она помахала мне рукой.

Я был растерян. Я понимал: происходит что-то нехорошее — слишком многозначительны были намеки сестры и упоминания отца о всяких Калибанах.

Завтра спрошу у Людмилы, решил я, — и спокойно заснул.

— Куда бы уйти подальше? — спросила Людмила, когда я пришел. Она выглядела озабоченной. Озабочена была и ее сестра. Мать и отец не выходили. — Лучше всего — за город. Только не к морю. Сегодня моря не хочу.

Я предложил поехать в Хаджибеевский парк. Людмила там еще не была. Моя мама любила Хаджибеевский лиман (вода здесь была гораздо солоней, чем в море) и часто возила меня сюда купаться. Лиманы меня не восхищали, а парк, особенно осенью, завораживал. Он был самым густым в Одессе.

— Там нет ларьков, — предупредил я. — Воду еще раздобудем, а еду надо купить по дороге.

Людмила проворно упаковала перекус. Сестра выбежала наружу и, вернувшись, доложила:

— Никаких теней, можно идти. Но поторапливайтесь! Мы зашагали к Пересыпи. В первом же киоске я купил сдобных булочек и помидоров, а потом осторожно заговорил:

— Вы все чего-то боитесь, я чувствую. Наши прогулки беспокоят твоих родных. Можно узнать: почему?

— Можно, можно, — быстро ответила Людмила. — Даже нужно! Но сначала отойдем подальше, чтобы за нами никто не подглядывал.

— Кто может за нами подглядывать?

— Никто. Но давай все-таки уйдем.

В Херсонском сквере нас уже ждал трамвай № 20 — старый, открытый, еще бельгийской постройки. Шла вторая половина дня,

на Хаджибей едут по утрам, а не к вечеру — в единственном вагоне сидели всего несколько человек.

— Теперь никому не удастся за нами подглядывать, — сказал я, когда трамвай тронулся. — Ужасно хочу побыть Натом Пинкертоном или Ником Картером. Согласен и на Шерлока Холмса.

Людмила не приняла шутки. Дома она выглядела озабоченной, на улице — встревоженной. В полупустом трамвае было некого бояться, но обычная веселость к ней не вернулась.

— Тень появился. — Она сказала это в мужском роде. — И следит за мной. Тень начал меня преследовать. Если честно, я боюсь.

То, что она рассказала, меня не сильно впечатлило — в книгах описывались истории куда опасней. Ее страх показался мне преувеличенным — и я не стал скрывать своего скепсиса.

Ну, влюбился в нее паренек (ничего удивительного — все-таки учились вместе). Все парни влюбляются в девушек, когда настает их срок. Ну, не нравился он ей — это тоже бывает. Ну, пригрозил, что не допустит, чтобы за ней кто-нибудь ухлестывал — нормальное дело. Только нашему праотцу Адаму простушка Ева досталась без всякого соперничества — и то в силу тогдашних географических обстоятельств. Ну, раскричался, что будет с ножом в руках отстаивать свои права (которые, кстати, до сих пор не может приобрести) — пустая болтовня: нож, о котором говорят, вовсе не так опасен, как тот, который выхватывают. В общем, дальше крика дело не пойдет — побесится и перестанет. Не стоит бояться и портить настроение из-за пустяков!

Я так и не понял тогда двух очень важных вещей.

Во-первых, литература всегда так или иначе отражает жизнь. Да, конечно, книги полны исключительными событиями — но события эти вовсе не исключены в реальности. Я недооценил соперника. Я не сумел понять, что в реальной моей жизни воспроизводится классическая литературная история. У меня попросту не хватило на это фантазии — существенный недостаток для будущего писателя-фантаста.

Во-вторых (и это уже очень личное), меньше всего я мог предугадать, что впервые столкнулся с тем, что будет сопровождать меня всю мою жизнь — нежеланно и неизбежно. Влюбляясь, я всегда буду отодвигать какого-нибудь соперника. Сейчас я понимаю, что знал, вероятно, величайшее человеческое счастье: мои любимые любили меня, у меня не было неудач. Я не хвастаюсь — только констатирую. Одна из моих давних возлюбленных, язва и умница, как-то сказала:

— Тебе везет с женщинами, потому что ты отчаянный трус.

Да, да, не удивляйся! Ты влюбляешься, когда замечаешь, что тебя уже любят. Ты боишься препятствий и не способен их преодолевать. Ты не можешь завоевать любовь. Ты умеешь только любить.

Возможно, она была права — и я просто боялся добиваться тех, кто был ко мне равнодушен. Но вот соперничества я никогда не избегал — ибо, влюбившись, не мог отступать. Я не был безрассудным храбрецом, но и труса не праздновал — здесь она все-таки ошибалась.

Тогда, девятнадцатилетний, я не мог этого знать и поверхностные свои рассуждения закончил тоже очень поверхностно:

— Как зовут этого неудачника, этого твоего «Тень»?

Она назвала какое-то распространенное имя (я его начисто забыл) — не то Семен, не то Шура, не то Абраша. Остановлюсь на Семене — это ему вполне подходит. Не знаю, почему шекспирофил Крихацкий именовал его Калибаном — вот уж на кого Тень решительно не походил.

В парке Людмила забыла свои страхи. Мы бегали по тропкам и аллеям, шумно гремя в осыпавшихся листьях. В одном из дубов чернело дупло — мы с трудом втиснулись в него.

— Мы с тобой в крепких древесных объятиях! — смеялась Людмила.

— В тисках двухсотлетнего дуба.

— А если здесь змеи? — Она вдруг испугалась.

— В Хаджибеевском парке они влюбленных не кусают.

— А разве мы влюбленные? Ты не говорил о чем-либо подобном. И я боюсь, что змеи на нас нападут.

Я ответил такими объятиями (в дополнение к древесным) и такими поцелуями, что даже самая недоверчивая и злая змея не решилась пошевелиться в своей норе.

— Что будем делать? — спросила Людмила, отдышавшись.

— Прежде всего вылезем и убедимся, что мир никуда не исчез.

Мир потемнел, склонявшееся солнце уже не пробивалось сквозь деревья. Я поднял Людмилу на руки — она удобно обняла меня за шею. Я шел, расшвыривая сухую листву, — мне хотелось, чтобы она звонче шуршала. Людмила терлась о меня щекой, потом нежно укусила за ухо.

Устав, я усадил ее на кучу сухих листьев и опустился рядом. Вечерний ветерок глухо зашевелился в ярких кронах каштанов и платанов, заворчал в старых, дрожащих осокорях, жестью зазвенел в дубах. Сквозь ветви склонившейся над нами березы остро глянула первая звезда. Мы принялись за еду.

— Как здесь хорошо! Как удивительно хорошо! — не то прошептала, не то вздохнула Людмила. — Даже не догадывалась, что есть такое чудесное место.

— Лучший парк в городе. И почти никто этого не знает. Смотри, еще не зима, даже не осень — а мы здесь одни.

— Надо идти, Сереж! — сказала она. — Не хочется, а надо. Сегодня мои будут очень беспокоиться обо мне. — Она положила голову мне на грудь и шепнула: — Сереж, я счастлива, как еще никогда не была!

Я тоже был счастлив. В моей — по общему мнению, трагичной — жизни было много моментов, когда я ощущал себя совершенно, абсолютно, всеполно счастливым. Вечер в осеннем Хаджибеевском парке был одним из них.

Спустя почти двадцать лет, многое пережив, я приехал в Одессу повидать маму. И почти сразу поехал в Хаджибей. Но я не нашел его. Парка не было — его начисто вырубили в войну.

В тот день наше с Людмилой прощание оказалось скомканным. На ступеньках, ведущих к двери Крихацких, сидел какой-то парень. Он приподнялся, когда мы подходили. Он был чуть повыше меня, широкоплеч, круглолиц — тусклый свет далекой лампочки не позволял разглядеть его более детально.

— Я давно жду тебя, Люся, — сказал он.

— Мог бы и не ждать, я тебя не звала, — холодно ответила она.

— Ты сказала, что будешь вечером дома.

— Я передумала.

— Нам надо поговорить, Люся.

— Мне не надо.

Он повернулся ко мне.

Я по-прежнему плохо видел его лицо. Он говорил медленно и спокойно.

— Слушай, будь человеком, — сказал он. — Ты весь вечер прогуливался с Люсей. Я здесь с пяти часов — пришел, когда вы ушли. А теперь уходи ты. Дай нам поговорить.

Она рассердилась. Я впервые услышал, как звенит ее голос.

— Семен! Разрешение на разговор со мной даю я сама! Убирайся. Мне надо условиться кое о чем с Сергеем.

— Значит, тебя зовут Сергей, — сказал он так же спокойно. — А я — Семен. Так ты дашь мне поговорить с Люсей?

Я не успел ответить. Людмила окончательно разозлилась.

— Я уже сказала тебе: уходи! Ты здесь лишний!

Он не обратил на нее внимания. Я продолжал молчать. Я не знал, что делать.

— Значит, не хочешь оставить меня с Люсей? Твое дело.

Теперь скажите, о чем вы хотите уславливаться?

Она закричала так, что ее не могли не услышать дома:

— Вот уж это тебя совсем не касается! Я никогда не давала тебе отчета в своих поступках — и впредь не буду, запомни это!

Дверь отворилась. Вышел Крихацкий, за ним виднелись встревоженные женщины.

— Кажется, явился гражданин Тень, — спокойно констатировал отец Людмилы, — он же Калибан. Какую бурю вы поднимаете в нашем прекрасном виноградном вертограде!

— Спроси у него (если, конечно, он сам это знает): чего он хочет? Сереж, в присутствии посторонних нам трудно разговаривать. Приходи завтра, как договорились.

Она явно подчеркнула слово «договорились» — чтобы я случайно не выдал, что договоренности не было, — кивнула и ушла в дом.

— Слушайте, ребята, — сказал Крихацкий. — Вы не мартовские коты, не вздумайте сцепиться. Идите спать.

Он закрыл дверь. Я поколебался и медленно отошел от дома. Семен двинулся за мной.

— Хочешь драться? — спросил я. Семен был явно из молдаванских или бугаевских — а в этих районах споры из-за женщин решались преимущественно кулаками. Я недолюбливал драки и до этого вечера не знал, что такое соперник. Мне надо было кивнуть и уйти — я не мог этого сделать: во мне закипело злое самолюбие.

— Ты не сказал, о чем вы условились, — напомнил он.

— И не скажу. Это наше с Людмилой дело. Больше тебе ничего не нужно знать? Тогда, если разрешишь, я уйду.

— Погоди уходить. Столько часов гуляли — можно потерять еще минут тридцать.

— Смотря на что терять. — Мое раздражение переходило в ярость. Я чувствовал, что драки не избежать. — Если на кулаки, то удовольствия немного.

— Кулаков не будет, можешь не беспокоиться. Заранее предупреждаю: драться с тобой не стану.

От неожиданности я растерялся — и мой ответ прозвучал глупо:

— Побаиваешься, значит? Не ожидал.

— И не ожидай, — веско сказал он. Мы стояли теперь под лампочкой — и я смог разглядеть его презрительную ухмылку. — С двоими такими справлюсь, если понадобится. Но мне нельзя драться. Я еще не сошел с ума. Я старику еще год назад, когда отшивал от Люси одного чудака, обещал не давать воли рукам, если кто полезет за ней ухаживать. Обмануть Крихацкого — не

могу.

— Значит, ты его боишься? Замечу на всякий случай.

— Я побаиваюсь только одного человека в мире — моего батю. Он столько раз драл меня в детстве, что извел в лохмотья дюжину хороших ремней. Я теперь его навсегда уважаю.

— Ты же сказал, что боишься Крихацкого?

— Я сказал, что не могу его обманывать. Если я тебя побью (а в этом не сомневайся), старик побежит к моему отцу. А батя, когда что не по нему, вмиг пресекает. Это одно тебя спасает. Теперь не волнуешься?

— Я и раньше не волновался. Тогда что ты от меня хочешь?

— Хочу убедить, чтобы ты сделал одну умную вещь.

— Смотря какую.

— Оставь Люсю. Она не для тебя. Ты еще встретишь много девушек. Свет для тебя не в ней одной.

— Вот как! А для тебя, стало быть, в ней?

— В ней, — печально подтвердил он. — Я тебе так скажу: нет для меня другого света, кроме как из одного этого окошка. Это еще с нашего детства. Старики, Крихацкий и мой батя, порешили вдруг, что мы так хорошо вместе играем, что надо эту нашу дружбу растянуть на всю жизнь. И нам объявили: вот вырастете — и поженитесь, так навсегда определяем.

— Глупость это — решать за детей их жизнь.

— Глупость, верно. А мне в голову запало — быть с Люсей вечно. Застряло в мозгах, как топор в коряге. Столько хороших девочек было в школе — нет, она одна в глазах.

— Но она тебя не любит, разве ты не знаешь?

— Знаю. И что в тебя влюбилась — тоже: ее сестра много понарассказала, когда уговаривала оставить Люсю. Меня это не остановит. Она скоро тебя забудет, если скроешься с глаз. А что до меня… Буду ждать и верить, что стерпится — слюбится.

— Не долго ли придется ждать?

— Сколько понадобится, столько буду. Ты столько не сумел бы.

— Слушай, что же это получается? Все середнячки, один ты — исключительный. Любовь — так от рождения до гроба. Верность — так Люся одна в глазах. И терпение — без меры, без счета, без срока. Прямо сверхчеловек какой-то! Не много на себя берешь?

— Беру по силе. Именно потому и говорю: я ей нужней, чем ты. И она должна — ради самой себя — быть со мной, а не с тобой, хоть сейчас любит тебя, а не меня.

— Чем докажешь свою необходимость?

— Всем. Каждым поступком. Каждой мыслью о ней. Скажи, ты

смог бы стирать ее штанишки и бюстгальтер?

— Зачем? Это ее дело.

— Значит, не можешь. А я — с радостью. Ты смог бы готовить ей еду, стелить постель, вытирать каждое пятнышко с ее одежды? А я мечтаю! Прикажи она: вымой мне ноги и выпей ту воду… Вон — даже передернуло! А я сразу побегу за тазиком. Тебе и в голову не придет равняться со мной.

— Не придет. Я даже в любви не буду рабом.

— Значит, я тебя убедил?

— Нет, конечно. Я не уверен, что ей нужны такие услуги. Есть вещи и поважней стирания чужого белья и мытья чужих ног.

— Значит, будем решать, кто кого?

— Не кто кого — а кто. Пусть сама выбирает. Я за равноправие во всем.

Он хмуро усмехнулся.

— Равноправие — при условии, что все козыри твои. Никакого выбора не будет. Ты в дамках, а меня — в мусорную корзину. Мало, мало любишь! Не думаешь о том, что для нее лучше.

— Об этом она сама должна думать.

— Это твое последнее слово?

— Последнее.

— Тогда скажи хоть, о чем вы уславливались.

— Не скажу. — Честно говоря, я и сам этого не знал…

Он молча всматривался в меня. В его лице не было гнева — одна хмарь. Он, кажется, всерьез убедил себя, что сможет меня уговорить.

— Ладно, твое дело. Я приму меры.

Мы разошлись.

Я шел и вспоминал наш разговор. Я понимал, что по силе любви уступаю Семену. Я и представить не мог той высоты покорности и верности, на которой он давно стоял. Но я знал: любовь, как и магнит, — это два разноименных полюса. Я был уверен и в себе, и в Людмиле. Наши полюса, так мне казалось той ночью, неразделимы.

А потом я вспомнил, что с первой минуты обращался к Семену на «ты», и засмеялся. Не так давно, в профшколе, при всем классе, Амос Большой чуть ли не клялся, что сам слышал, как я говорил какой-то собаке «вы».

— Он сказал тому лохматику: «Вы на меня не рычите, пожалуйста, я этого не люблю». Именно так, как джентльмен джентльмену. А что особенного? Сережка всегда такой. Спросите Леню Вайзеля, он, как у Бабеля, «собственноручно видел», как Сережка на Садовой столкнулся с трамвайным столбом, сказал

ему: «Простите, пожалуйста!» — и пошел дальше.

Вайзель подтвердил. Было так или не было, но «ты» я говорил очень немногим — это правда.

Во второй половине дня (утром был университет) я выбрался к Крихацким. Все были дома. Глава семейства посмеивался в усы.

Людмила почти набросилась на меня.

— Сереж, что у вас было с Семеном? Вы не ссорились?

— Вроде нет, — сказал я, приглядываясь. У нее припухли веки, словно она долго плакала. — Немного поговорили.

— О чем?

— О разном.

— А точней?

— Точней — о тебе. О том, как он тебя любит. Он очень подробно и убедительно доказывал, что никто не может любить тебя так крепко, как он.

— Нужна мне его любовь! — сказала она сердито. — Ты знаешь, что он сделал после? Вернулся, уселся на ступеньки и провел там всю ночь.

— Зачем?

— Утром папа спрашивал — он не ответил. Или сторожил нас от воров, или опасался, что ночью ты явишься ко мне.

— Вот почему он так допытывался, о чем мы уславливались! И даже пригрозил принять меры. Что нам теперь делать?

— Пойдем погуляем, там что-нибудь придумаем.

Когда мы уходили, сестра посоветовала Людмиле внимательно оглядываться: нас может сопровождать Тень. Крихацкий важно поправил:

— Не может, а будет. Хорошая тень неотделима от своего хозяина. Но она пропадает на ярком свету. Мой совет — не уединяйтесь в пустынных местечках. В центре города тоже бывает интересно.

Пока мы не выбрались на оживленные улицы, Людмила часто оглядывалась. На Приморском бульваре играл военный оркестр, каштаны роняли пожелтевшие листья. Мы сели на скамейку.

— Я вижу, что ты тревожишься, — сказал я.

— И даже очень! Это заметно?

— Ты ни разу не засмеялась. Даже не улыбнулась.

— Ты тоже не сыплешь шутками.

— Людмила, поговорим серьезно!

— Люблю серьезные разговоры. С чего начнем?

— Ты сказала, что будешь что-то придумывать. Не надо. Пусть все идет, как идет. Банальнейшая ситуация — одна девушка и двое парней. Здесь есть единственный выход: кто-то останется, кто-то исчезнет. Семен поревнует, понервничает,

побесится — и уйдет. Другого пути у него нет. Любовный треугольник имеет всего одно решение.

— Это верно, Сереж, — сказала она задумчиво. — Кроме одного: ты не знаешь Семена. Он ни на кого не похож. За мной в седьмом классе начал ухаживать один мальчик. Семен не стал с ним драться. Он отвел его в сторону и показал нож. Этого хватило! Я знаю: он всегда носит с собой нож. Он редко дерется, но его боятся все наши хулиганы.

— Мне он пообещал, что со мной драться не будет. Никогда! Согласись, это гораздо удивительней, чем игры с ножом.

— Не надо шутить.

— Почему? А знаешь, мама рассказывала, что у нее был поклонник, чудесный паренек, он ей очень нравился. И вот однажды мой будущий отец пришел к ней в дом, когда там сидел ухажер, и положил на стол нож: «Выбирай — нож или дверь!» Паренек выбрал дверь.

— Вот видишь — нож победил! Но меня мутит при одной мысли, что Семен может меня поцеловать. Я никогда не стану его женой.

— Правильно, и не нужно! Лучше будь моей женой. И плюнем на всех неудачников. Через неделю он отошьется от тебя.

Она посмотрела на меня печально и насмешливо.

— Не знаю, что будет через неделю. Но сегодня он здесь. Он преследует нас от самого дома.

— Преследует? Я его не видел.

— Он умеет скрываться. Сейчас он вон за тем каштаном, у памятника Пушкину.

Я присмотрелся — и ничего не увидел. Тогда я встал. Людмила схватила меня за руку.

— Не надо ссор!

— Я просто спрошу, зачем он нас преследует. И потом: он обещал не лезть в драку.

— Он обещал не начинать первым. Он тебя спровоцирует, а потом скажет, что защищался. Сядь, пожалуйста.

— Тогда давай подразним его.

И мы громко засмеялись. Однако насильственное наше веселье, вероятно, было не очень убедительным. Когда оркестранты, отыграв программу, стал взваливать на плечи трубы, Людмила засобиралась домой.

Только пройдя Екатерининскую и Дерибасовскую, уже за Университетом, я наконец разглядел Семена — довольно далеко от нас, на другой стороне улицы. Когда мы вышли на Новосельскую, он стал осторожно приближаться.

Мы стояли на ступеньках у двери Людмилы. Виноград,

увивший стены, был не очень хорошим прикрытием. Людмила грустно сказала:

— Целый вечер гуляли — и ни разу не поцеловались. Я притянул ее и стал целовать, стараясь, чтобы Семену было видно, как мы обнимаемся.

Из дома вышла сестра и поинтересовалась, не случилось ли чего.

— Слежка Тени отравила нам все, — сказала повеселевшая Людмила. — Завтра я жду тебя, Сереж, в то же время.

Я направился к Семену. Он стоял и спокойно ждал меня.

— Подглядывал? — зло сказал я. — Благородное занятие для смелого человека!

Он молчал и следил за каждым моим движением. Он хорошо держал себя в руках.

— И завтра будешь шпионить? Слушай, а если нам понадобится в уборную — ей в одну, мне в другую, — за кем пойдешь?

Он все же не выдержал.

— Не зарывайся! — сказал он хмуро. — Я драки не начну — но не нужно меня подначивать.

— Перестань нас преследовать! — потребовал я. — Смотри, хуже будет!

— Хуже того, что есть, для меня уже не будет. Я вас нигде не оставлю. На это не рассчитывай.

Я слушал его и обдумывал план, сгоряча показавшийся разумным. Однако следовало еще поразмыслить — и, главное, мне было нужно согласие Людмилы. Я презрительно бросил:

— Подглядывай, если ни на что другое не способен, — и повернулся к Семену спиной.

Он стоял и молча смотрел мне вслед.

Мы гуляли каждый день — и только в толпе не чувствовали слежки. Стоило выйти на пустую улицу или аллею Приморского парка (теперь Людмила боялась ездить за город), как вдали показывалась мрачная фигура, и чем пустынней было вокруг, тем она была ближе.

Я нервничал, Людмила похудела и побледнела. Она почти не смеялась — даже улыбалась редко.

Вскоре я разработал программу действий. Как-то мы уселись в городском саду на Дерибасовской, в самом шумном местечке города, и я начал разговор.

— Больше это терпеть нельзя, — сказал я. — Семен берет нас измором. Необходим большой скандал!

— Хочешь пойти к его отцу? — догадалась Людмила. — Пустое дело, Сереж. Отец еще странней, чем Семен. Он только

обрадуется. Еще прибавит: правильно, сын, добывай свое счастье, только буйство и хулиганство запрещаю. Он это скажет, не сомневаюсь!

— И тем укажет единственный выход. Семен в драку со мной не лезет — значит, начать надо мне. Вот и получится запрещенное буйство.

Людмила побледнела.

— Ты с ума сошел! Он же сильней тебя!

— Я знаю. И не собираюсь его побеждать. Я хочу вызвать такой скандал, чтобы Семен за километр обходил твой дом.

— Он выхватит нож, если дойдет до настоящей драки,

— Именно на это я и рассчитываю.

— Ты хочешь, чтобы он тебя зарезал?

— А вот это — нет! К тому же не так просто убить человека, который предупрежден и сопротивляется. Да и я не совсем уж слабак… Ну, поцарапает он меня — протестовать не буду. Главное, чтобы он выхватил нож, пошел на уголовщину — и разозлил своего отца.

— Ты рассчитываешь на счастливый случай, а в драках таких меньше, чем несчастных.

— Много ты знаешь о мужских драках! Максимум ваших женских ссор — выдрать сопернице клок волос.

— Ты меня оскорбляешь! И вообще: думаешь, мне безразлично, грозит тебе опасность или нет? Да я теперь спать не смогу. Я запрещаю тебе даже думать об этом! Если, конечно, я для тебя что-то значу и ты со мной посчитаешься…

Она изо всех сил удерживалась от слез: плакать на Дерибасовской — это все-таки слишком! Я потянул ее за руку.

— Пойдем. Я не сделаю ничего, если ты не захочешь. Но ты сама убедишься, что другого выхода нет.

Мы молча дошли до ее дома, молча расстались. Я даже не попытался ее поцеловать. Я был расстроен: мой план казался мне рискованным, но разумным. Семен, как обычно, следил за нами. Я прошел так близко от него, что чуть не задел плечом — он медленно посторонился.

Несколько дней я не ходил к Людмиле. Накопилось много неотложных дел, а главное — хотелось дать ей время подумать: я понимал, что мое предложение не из тех, какие убеждают сразу. Сам я увлекался все больше и больше. Я впал в многомерную фантастику: проигрывал в уме варианты драки и честно старался не зацикливаться на тех, которые предполагали мою победу (даже воображаемые, они требовали вмешательства счастливого случая). Распаляемый вымыслами, я старался держаться реальности.

Семен сильней меня (внешне, во всяком случае) — это его преимущество. Я предупрежден и осторожен — плюс мне. Он будет нападать, я стану обороняться — расклад в мою пользу. Он кинется — я отскочу. Он ударит — я увернусь. Я заранее просчитывал его действия, тысячекратно каждое репетировал, тысячекратно искал и находил ответы.

Вывод был один: большого урона он мне не нанесет, а на маленький я сам нарываюсь. Большая победа ценой малых потерь — таким виделся волшебный выход из безвыходной ситуации.

Окончательно все обдумав, я пошел к Людмиле. Я был уверен, что теперь смогу ее убедить.

Среди тысяч вариантов я не учел одного — того, что произошел в реальности.

Людмила встретила меня в своей комнате. В соседней Крихацкий негромко спорил с женой. Сестры не было — наверное, вышла погулять с ребенком.

Я ужаснулся, увидев Людмилу. Она выглядела больной: пожелтела, похудела. И она не обрадовалась — только поздоровалась тусклым голосом. Еще никогда она не встречала меня так равнодушно.

— Прости, что долго не приходил. Был очень занят.

— Это не имеет значения. — Она не смотрела на меня. — Правда, я ждала тебя: нужно было посоветоваться.

— Давай посоветуемся.

— Уже не о чем.

Я помолчал. Я не решался вновь заговорить о своем плане.

— Случилось что-то важное? — осторожно спросил я.

— Да, случилось, — сказала она пустым голосом. — И важное. Нам нужно расстаться, Сереж.

— Навсегда?

Она сбросила с себя безразличие (потом я сообразил, что ее испугало выражение моего лица).

— Нет-нет, не навсегда! Совсем не навсегда — на время. Только на полгода. Точней — до следующего апреля.

Теперь она говорила торопливо и умоляюще. Она не просто сообщала о принятом без меня решении — она упрашивала на него согласиться. Дать согласие не понимая я не мог.

— Неужели не ясно? — сказала она грустно. — Больше так жить невозможно. Он все время толчется около, если я дома. Он следит за мной, даже когда я иду с мамой на базар. Он подозревает, что ты можешь тайно прийти ко мне. Я бы выдержала, но мама больше не может. Она плохо спит, стала болеть. Сестра тоже нервничает — это отражается на ребенке. Папа категорически объявил, что не собирается жертвовать

здоровьем жены и внучки ради моих сердечных несуразностей. Он пошел к отцу Семена, у них был крупный разговор. Семен заявил, что пока ты рядом со мной — и он будет рядом. Он обещал, что с тобой не поскандалит, но не даст нам остаться вдвоем.

Все мои вымечтанные варианты стали пшиком. Я пожал плечами.

— Но ведь это глупо! Если мы будем мужем и женой, он не сможет запретить нам быть наедине.

— Ты, однако, пока не сделал мне предложения, — с упреком возразила она. — Впрочем, этот случай тоже рассматривался. Семен сказал, что не допустит нашей свадьбы — он ни за что не ручается. И папа, и мама, и сестра видят один выход: мы должны расстаться до апреля.

— Почему до апреля?

— Это предложил отец Семена: в апреле его сына призывают в армию. Он обещал, что никаких отсрочек и поблажек не будет. И призовут не в пехоту, а на флот — это ровно три года. Три года свободы для нас с тобой — сможем дважды пожениться и дважды разойтись. Это он сказал — не я, — добавила она поспешно. — После этого мы спорили здесь, у нас. Я подчинилась общему требованию, Сереж. И тебя прошу согласиться.

Я молчал. Я не мог отступить вот так — сразу. Потом сказал:

— Вы, я вижу, предусмотрели почти все. А вам не приходило в голову, что можно встречаться не явно, а тайно?

Она улыбнулась — впервые за этот день.

— Нет, не приходило. Это глупость — а глупости мы не рассматривали. Тайн от Семена быть не может. Я его не люблю и боюсь, но дураком не считаю: я знаю, на что он способен. Тайных свиданий не будет — будет встреча в апреле.

Я взял ее за руку.

— Люда, ты сказала всю правду — или что-то скрыла?

— Мне нечего больше добавить.

— «Всю правду» и «нечего добавить» — это разные вещи. Посмотри мне в глаза. Повторяю: ты сказала всю правду?

Она посмотрела мне в глаза.

— Я сказала тебе всю правду, Сереж.

Думаю, во второй комнате прислушивались к нам. Вошли все трое. Мать села рядом с Людмилой, обняла ее, словно благодаря за трудный разговор, Крихацкий приветливо улыбнулся в пышные усы и почти весело сказал:

— Наш Калибан вдруг задался гамлетовской проблемой: бить или не бить?

— Я не боюсь его битья, — ответил я сухо. Крихацкий

смутился, словно его поймали на чем-то неприличном. Я обратился сразу ко всем:

— Если вы и не слышали нас, то все равно знаете, о чем мы говорили. Мне приказано отбыть до апреля. Я ухожу. Всего вам доброго!

Я быстро пошел к двери, не взглянув на Людмилу. За мной бросилась ее сестра.

— Сережа, не сердитесь! — жарко шепнула она на приступочке. — Люсе тоже нелегко. Если что-нибудь случится, я сама вам сообщу.

У меня сжалось горло. Я не сказал ей спасибо — только крепко пожал руку.

Я возвращался домой растерянный и подавленный. Горя не было — была обида. Я не страдал — я злился. Все-таки я заслуживал другого обращения. Решали без меня, за меня, против меня. Я удивлялся самому себе. Мне казалось, что я должен горевать, расставаясь с девушкой, в которую влюбился до того, что готов был жениться, — я не раз читал о таких ситуациях. Но все происходило решительно не так, как в книгах!

Ночью я не спал — я задавал себе трудные вопросы. Кто ты такой? — допытывался я. Нормальный человек — или урод? Может, ты и не любишь вовсе — так, придумал себе увлекательную игру? Серьезную, кто же спорит, — и все-таки всего лишь игру, не больше? Ты практически потерял любимую, а боли нет — только уязвленное самолюбие. Выходит, вся твоя любовь была сплошным самолюбованием? Ты не рвешь на себе волосы, не плачешь, не мечешься, не мучаешься — неистовством и не пахнет. Тебя подкосило не расставание — а то, что его с тобой не согласовали. Значит, ты обманывался — и обманывал ее. Это главное: ты обманывал ее! Ей плохо, это видно, она шатается как больная, а ты беснуешься, что ущемили твое мужское достоинство. И ты готов злиться на нее — не за разрушенную любовь, а за уязвленную самостоятельность.

«Это не так, не так, — шептал я себе. — Конечно, мы разные, я все же не женщина. И самолюбие у меня другое — оно просто много сильней. Для женщины неведомы и пусты метания мужских самолюбий. Я не могу отчаиваться, как она, — я отчаиваюсь по-своему».

«Ты не умеешь тосковать, как Семен, — говорил я. — Ты неспособен, как он, мыть женщине ноги, сидеть на приступочке у ее двери. Для тебя это унижение. Признайся честно: это была любовь? Только ли поцелуями она исчерпывается? Недавно ты сдал Шевелеву теорию американских прагматистов.[63] Сознание выражает себя в чувствах, чувства — в поступках. И разве за две

тысячи лет до того, в Евангелии, не было сказано: по делам их познаете их?[64] Кто ты по чувствам своим и по делам своим? Была ли истинная любовь в твоем последнем разговоре с Людмилой?»

«А какая она — истинная любовь? — ожесточенно защищался я. — Моя вот такая. И я знаю, что она истинна. Она не перестает быть любовью, оттого что непохожа на другие любви. Обида на любимую — тоже одна из ее форм. Я обиделся, потому что люблю».

Я очень устал в ту ночь. Утром меня потянуло на стихи. Слова, не дававшиеся в темноте, легко ложились на бумагу.

Начало появилось сразу: «Для женщины неведомы и чужды метания мужского самолюбья». За ними быстро последовали другие строчки.

Закончив первое стихотворение, я немедленно принялся за второе — оно было необходимо: я видел, что ни в малейшей степени не сумел выразить сумятицы, разрывавшей меня ночью. Я должен осудить себя за то, что оправдывал свое поведение. Мне не было оправданий! Но имелись объяснения — они не обеляли, они обвиняли меня, неспособного объясниться:

Да, так всегда! Что делать мне, родная?
Хочу писать, хочу вложить в строку
Весь гнев свой, всю любовь, всю нежность, всю тоску…
Но вялы рифмы, лжет строка дрянная,
Но мысли рассыпаются в труху…

Теперь я был удовлетворен. Стихи удались — потому что свидетельствовали: я не способен выразить на бумаге сокровенное. Я удивился: я радуюсь тому, что бесталанен? И сразу же успокоил себя: яркое доказательство невозможности высказаться — тоже разновидность самовыражения. Хорошо плакаться на невоплотимость — уже воплощение, ибо художественный образ неосуществимости есть литературная форма осуществления. Тут был парадокс (тогда я ими бредил) — и он вполне меня устраивал. Сразу после того, как я письменно признался, что мне тяжело, мне основательно полегчало.

Тогда я еще не знал, что попытка передать свою боль словами, особенно метрированными и зарифмованными, — лучшее обезболивающее. Пьяница и разгильдяй Мармеладов, помнится, горько сетовал: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти… ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели!».[65] Он говорил о сокровенной тайне утешения — высказаться, выплакаться, исповедоваться.

Не так уж далеко было время, когда в сменявшихся камерах, в

часы удушья, распирающего грудную клетку, для меня останется одна форма спасения — читать чужие стихи и сочинять свои. Прав был Бернард Шоу, когда заставил Шекспира восторженно сказать возлюбленной: «Ага! Наконец-то горе выжало из тебя музыкальную фразу!»[66] Муки не только вызывают музыку — они очищаются и усмиряются собственной мученической мелодией. Стихи спасали меня в тюрьме — от тюрьмы.

Эту музыку, если верить Шекспиру, вызывало горе — но она не была горестной. Мне было очень плохо — и я искренне радовался, что из-за этого появлялись стихи и, случалось, они были хороши. Иногда я чувствовал себя счастливым — и готов был благодарить за это тюрьму.

Потом, после освобождения, я боялся и заикаться об этом — здравомыслящие люди посчитали бы, что я не в своем уме. Впрочем, это было почти правдой: погружаясь в себя, я выходил за пределы того, что называют этим самым «своим умом». Но и чужого никогда в себе не замечал. Просто все было другим. «Меня коснулся мир иной», — грустно жаловался в тюрьме Петя Кроль, в жизни не знавший ничего, кроме поэзии. Я был много реальней, чем он. Иной мир прикасался ко мне не тюремными стенами, а стихотворными строками — и это воистину было счастьем.

В те дни в Одессе стихи случались во мне каждый день. И я впервые смутно ощутил: они отнюдь не собирались слушаться меня и выражать то, что я намеревался высказать. Они жили по своим законам. Они отталкивались от меня, мое смятение было их почвой — но и только. Я хотел рассказать, добротно, дословно и последовательно, о своих отношениях с Людмилой, обо всей нашей истории — а вместо этого на бумаге вычерчивалась осень, вызмеивались выспренние и всеохватные рассуждения о своем «я»… Я писал о том, как обнимал любимую, а получалось слияние не с маленькой живой женщиной (к тому же не самое тесное — не дальше поцелуев), а с космосом. Тогда это словечко — «космос» — еще не вошло в обиход, но у меня оно появлялось чуть ли не в каждом третьем стихотворении. И я ощущал единство со всеми людьми и со всей природой.

Впрочем, причиной этого, вероятно, была все-таки не столько Людмила, сколько Бенедикт Спиноза (его книги постоянно лежали у меня на столе).

Этот пантеизм вырвался на волю в последнем из стихотворений, посвященных Людмиле.

Это я зашумел и, взметнувши деревья,
Поднял пыль в пожелтевшем саду;
Это я, полный муки, в отчаянье древнем,

Сдвину тучи на бровь и уйду;

Это я над полями, лесами, реками,
Пролетел, пробежал, прошумел;
Это я головою, ногами, руками
Рвался молниями во тьме;

Это я прошумел. И, познавши в набеге
Беспредельную ширь бытия,
Это я умираю в степи у телеги. Это — я.

Так я стихотворил целый месяц. И когда он окончился, передо мной оказалась стопочка из почти четырех десятков стихов, очень разных, но единых по мироощущению. Я стал выстраивать их в цикл, расставляя не по датам, а по содержанию. В мире был только один человек, которым я восхищался, на которого злился и над которым смеялся — я сам. И я не удержался, чтобы не поиронизировать даже над тем, что казалось самым сокровенным. Я назвал сборник «Бред. История одного сна» — и разбил на семь глав: «Посвящение», «Предисловие. Кредо», «Часть первая. Сон начинается», «Часть вторая. Бред», «Часть третья. У попа была собака», «Часть четвертая. Проснулись» и «Эпилог». Названия казались мне остроумными — я радовался им не меньше, чем стихам.

Спустя шестьдесят два года, готовя объединенное собрание своих стихотворений, я поразился, насколько юношеские эти размышления близки мне, старику. Разумеется, в них явно чувствовалась литературная неопытность. Я отредактировал их, но не стал менять сути. Не знаю, будет ли их кто-нибудь читать, но для меня они важны — как документ моей жизни.

Тогда, в Одессе, я и не подумал показать эти стихи Людмиле. И не только потому, что вообще не люблю (это стало ясно потом) выносить на общий суд то, что я делаю, — и если мне приходится этим заниматься, то лишь из-за того, что моей семье нужно как-то жить. Вторая причина была гораздо более важной и странной — я стал равнодушен к любимой. Я спокойно думал о ней, безразлично вспоминал Семена и семью Крихацких. Стихи о Людмиле отодвинули от меня ее саму.

Так продолжалось около двух месяцев, а потом я случайно встретил ее (она меня не заметила) — и точка была поставлена. Людмила шла по другой стороне улицы. Ее окружали друзья: две или три девушки, два или три парня — веселая, шумная группка. Людмила хохотала — звонкий ее смех был слышен очень

отчетливо. Я остановился, переждал, чтобы меня не заметили, и пошел по своим делам.

Но эта картина еще долго стояла перед моими глазами. Я недоумевал — даже возмущался. Жизнь Людмилы после нашего расставания должна была сложиться иначе! Эти стандарты были хорошо разработаны в любовных романах. Девушку насильно разлучили с возлюбленным, беда несовместима со смехом. А Людмила хохочет! Говорят, горе нестерпимо. Оказывается, веселье бывает более невыносимым — если оно чужое. Оно язвит жестче поражений.

Эта обида еще дала о себе знать — но об этом позже. А пока — самое главное: 9 февраля я женился на бывшей своей соученице по профшколе Фире Вайнштейн. И вечером послал Людмиле мстительную и глупую телеграмму: «Сереж умер». Я не лгал и не издевался — просто это имя, «Сереж», было для меня знаком особых наших отношений. Я хотел сказать, что все кончено. А Людмила поняла мою вычурную телеграмму как нормальный человек — и решила, что я умер.

Утром, когда я еще лежал в постели, в дверь постучали — и я услышал голос Людмилы:

— Вот так умер! Спит и не хочет просыпаться!

Она вошла ко мне с сестрой. Я проворно вскочил. Мама торопилась в киоск, отчим уже ушел. Мы остались втроем. Людмила дышала, как после бега.

— Что случилось? Не молчи, скажи наконец!

Я вынул из кармана загсовское свидетельство о браке. Людмила прочла его.

— Теперь понятно. Что тебе сказать, Сережа? От всей души поздравляю, желаю долгого счастья. Пойдем, нам не надо здесь оставаться, — сказала она сестре.

— Подожди, Люся, мне хочется кое-что узнать, — ответила та. — Сережа, раз вы женаты, это уже не имеет значения, но все же… Вы обещали ждать до апреля, мы вам поверили. Нам показалось, что вы все поняли.

Мне нестерпимо захотелось оправдаться.

— Я понял, что меня выгоняют. Мне показали на дверь, чтобы сохранить в доме покой.

Людмила ничего не сказала, а сестра возмутилась. У нее запылали щеки.

— Вы глупец, Сережа! Не покой, а Люсину жизнь! Семен замахнулся на Люсю ножом — папа едва успел его перехватить. Семен кричал: он убьет ее, но не допустит, чтобы вы были вместе. Это было за день до вашего прихода. Вот тогда мы все (Семенов отец тоже) решили, что вас нужно разлучить, пока его не возьмут

в армию.

Я с упреком обратился к Людмиле:

— Ты же утверждала, что сказала всю правду… Вместо нее опять ответила сестра:

— Вам нельзя было этого говорить! Вы придумывали всякие бешеные варианты. Мы побоялись, что вы кинетесь мстить. Проще всего было попросить не приходить к нам какое-то время. Семен тоже обещал исчезнуть, если вы перестанете встречаться.

— Расскажи хоть теперь, как все произошло, — попросил я Людмилу. Она заколебалась — и я горько добавил: — Надеюсь, ты понимаешь: сейчас это безопасно. При живой жене я не побегу мстить за прежнюю подругу.

— Ну, как произошло? — Она с трудом подбирала слова. — Обыкновенно… Он пришел к нам домой, я причесывалась перед зеркалом и что-то напевала. Он очень зло спросил: «Веселишься, значит?» — «Почему бы не веселиться, день хороший». — «И день хороший, и твой Сергей скоро придет». — «И мой Сергей скоро придет», — сказала я. Тогда он выхватил нож. Хорошо, что папа в это время проходил через комнату, он успел заломить его руку, но ножа так и не вырвал. Вот как это было. А на другой день пришел ты. — Она снова обратилась к сестре: — Пойдем, мне хочется домой.

— Проводите нас, Сережа, — сказала сестра. — По дороге еще немного поговорим.

День был морозный, под ногами скрипел снег. Мы шли молча. Нам нужно было сказать слишком многое — а это было невозможно. У двери мы с Людмилой остановились. Сестра убежавшая вперед (проверить, как ребенок), выглянула из комнаты.

— Сережа, зайдите на минутку. Родители хотят убедиться, что вы живы.

Я понимал, что этого не нужно делать, — но все-таки вошел. Крихацкие сдержанно поздравили меня. Разговор не клеился. Я помолчал, потом попрощался. Людмила подала мне вялую руку, сказала не глядя: «Прощай, Сережа!» Сестра, побежавшая закрывать за мной дверь, прошептала:

— Можете мне верить — от души желаю вам счастья. А поступили вы глупо, все могло повернуться по-другому. Бог вам судья, Сережа!

По дороге домой я издевался над собой, переиначивая в уме знаменитое изречение Зощенко — теперь оно вполне подходило и ко мне: «Горе молодого счастливого мужа не поддавалось описанию».[67]

Спустя пять или шесть лет я увидел Людмилу еще раз. Она

шла с двумя хорошенькими, нарядными девочками мал мала меньше — и радостно поздоровалась со мной. Я тоже обрадовался.

— Твои? — показал я на малолеток.

— Конечно. — Она лукаво, как прежде, улыбнулась. — Не жалеешь, что не твои? А могли бы…

— Не уверен, что тогда они были бы такими хорошенькими. Я рад за тебя.

— Я тоже за себя рада. Что ты так смотришь? Раньше ты не засматривался на меня.

— Раньше я боялся — это слишком действовало. А сейчас просто любуюсь. Ты очень похорошела.

— Спасибо за комплимент. Почему не спрашиваешь о Семене?

— А что я должен о нем узнать?

— Только то, что его нет. Я не видела его с того года, как мы расстались. Даже не знаю, жив ли.

Мы еще поболтали и разошлись. Больше никого из Крихацких я не встречал.

3

Много важного произошло со мной летом и осенью 1929 года. У меня вдруг появилась возможность переквалифицироваться из физика в астрономы. После лекции по теории определителей (я очень любил этот раздел математики) меня подозвал Иван Юрьевич Тимченко.

— Ко мне обратился директор нашей астрономической лаборатории Александр Яковлевич Орлов. Ему нужен хороший стажер из молодых математиков. Я посылаю ему на выбор троих — вас, Дьякова и Капрова.

Об Анатолии Дьякове я уже говорил — повторю самое важное. Усатый, подвижный, говорливый, он давно занимался астрономическими наблюдениями — сперва в областной школьной обсерватории на Нежинской (или Новосельской?) улице, потом в любительской взрослой (она размещалась впритык к государственной). Для него не существовало иной дороги. Он не просто любил астрономию — он жил ею. Судьба его (впрочем, как и у многих из нас) была очень неровной и путаной, успехи чередовались с провалами. В конце концов в глубине Сибири, в Горной Шории, Дьяков создал свою собственную обсерваторию — и начал предсказывать погоду для всего мира. Он стал очень известным.

Капрова я помню значительно хуже. Студентом он был неплохим, любил математику — вероятно, поэтому Иван Юрьевич и рекомендовал его Орлову. Была у него одна странность: оставаясь в одиночестве, он любил негромко постукивать по чему придется — то локтем, то пальцами. Однажды мы вдвоем кого-то ждали в аудитории. Капровский стук по парте складывался в какую-то мелодию. Я пересел поближе — Капров застучал громче. Мелодия определенно была знакомой, но я не мог вспомнить, откуда она.

— Героический марш из третьей симфонии Бетховена, — со вздохом сказал Капров. — Давно хочу проиграть его с начала до конца, но он плохо выстукивается.

Он произнес это так, словно озвучивание бетховенских симфоний было для него обычным делом. Между тем, я ни разу не видел его ни на одном симфоническом или вокальном концерте. Возможно, впрочем, ему просто не на что было покупать билеты: стипендии он, как и я, не получал. Но я жил с родными и подрабатывал уроками. Откуда брал деньги он, я понятия не имел.

Мы пришли в обсерваторию под вечер. Она занимала

солидный кусок Приморского парка — гектар или даже больше. За высокой каменной оградой раскинулся роскошный сад, среди деревьев таились низкие служебные постройки, над кронами высился астрономический купол. Член-корреспондент Академии наук Александр Яковлевич Орлов был видным организатором: он заведовал одесской обсерваторией, одновременно создал полтавскую и часто уезжал в Крым, в Симеиз — чем-то командовал и в обсерватории Крымской. Он был еще не стар — только подходил к пятидесяти, круглолиц, усат, громкоголос, категоричен.

Он одобрительно посмотрел на нас и, не приглашая сесть, поднялся и пожал каждому руку.

— Все от Тимченко? Очень хорошо, Иван Юрьевич плохих студентов рекомендовать не будет. Итак, называйтесь по очереди.

Мы объявили свои имена, фамилии и возраст. На этом анкетный допрос завершился. Орлов предложил пойти в парк.

— В такой прекрасный вечерок грешно сидеть в кабинете. Тем более будущим астрономам, чья профессия — взирать на небесные светила. Звезды, правда, еще не показались, но у нас будет время их дождаться.

В парке уже торжествовала осень. Обсерваторские аллеи подметались каждое утро, но к вечеру их снова заваливали листья тополей и кленов. Под деревьями стояли скамейки, но Орлов их проигнорировал.

— Ведем себя как перипатетики, — сказал он удовлетворенно. И обратился к Капрову: — А кто они такие — перипатетики?

— Не знаю, — ответил Капров.

— Не знаете? Очень жаль. Честно, но грустно. Впрочем, не так уж ужасно — незнание легко переходит в знание. Хуже путаница. А вы ответите, кто такие были перипатетики? — спросил он Дьякова.

— Ученики философа Платона, — быстро ответил Дьяков. Он всегда говорил быстро и уверенно. — Так называли всех, кто учился в академии этого древнего греческого мыслителя.

— Академия Платона? Так, так… Теперь остаетесь вы, — сказал мне Орлов.

— Перипатетики, или прогуливающиеся, — ученики Аристотеля, — ответил я. — Он любил обсуждать философские проблемы, гуляя с учениками в саду.

— Давайте присядем, — предложил Орлов. И, подумав немного, объявил: — Мне в обсерваторию нужен только одни математик. Я выбираю вас, — сказал он мне. — Приходите завтра к нашей старшей вычислительнице. Будете работать с цефеидами.

А вам, молодые друзья, желаю успеха.

Он пожал каждому руку и удалился. Мы молча вышли из обсерватории в Приморский парк. И только здесь к нам возвратилась способность говорить.

— Черт знает что такое! — ругался побледневший от огорчения Дьяков — он непроизвольно поглаживал и пощипывал усы. — Даже не поговорил по-человечески, два слова — и выгнал. Дались ему эти треклятые перипатетики! Они и вправду были у Аристотеля, а не у Платона?

— У Аристотеля, Толя.

— Тогда скажи: какое отношение они имеют к астрономии? Они ходили по саду и смотрели под ноги, нам, астрономам, надо вглядываться в небо — это разница! А тебе повезло, — сказал он с завистью. — Не просто астрономия, а цефеиды! Мечта.

Я чувствовал себя неловко: мое везение было не слишком справедливым. Раз уж дело дошло до выбора, в обсерваторию должен был попасть не я, а Дьяков. Я интересовался астрономией любительски, а для него она была родной стихией. Он знал гораздо больше, чем я. Я занял место, по праву принадлежавшее ему. И причина этого к делу не относилась — просто я лучше разбирался в философии.

Я заикнулся: может быть, стоит пойти к Орлову и попросить его принять на работу не одного, а двоих? И вообще: я могу уступить место Толе — он принесет больше пользы.

Капров молчал — он был подавлен, а Дьяков мой план отверг.

— Ничего не выйдет, Сергей. Мы в любительской обсерватории хорошо знаем наших соседей. Орлов рассердится и выгонит тебя — как нас. Не будем рисковать.

Толя явно считал, что больше на эту тему говорить не стоит, — он стал обсуждать полученное мною задание. Он был уверен (и я с ним соглашался): в звездной астрономии нет ничего интересней. Дело в том, что цефеиды, названные так по одной из звезд в созвездии Цефея, разгораясь и затухая, систематически меняют блеск. Вероятно, это происходит от того, что они варьируют свой объем: то чуть ли не со взрывной скоростью разбухают, увеличивая поверхность излучения, то опадают до прежнего размера. А почему это происходит — темна вода во облацех…

— Вот эту великую загадку ты, Сергей, и станешь решать. И будешь подробно нас информировать о каждом своем шаге!

Я скромно заверил, что готов незамедлительно взяться за раскрытие тайны и приложу все усилия, чтобы у звездного мироздания больше не осталось никаких секретов.

На другой день с твердой решимостью распутать все гордиевы узлы Вселенной я предстал перед «заведующей цефеидами» — немолодой, розовощекой, милой женщиной. Звали ее, кажется, Варвара Федоровна (впрочем, точно я этого уже не помню — все-таки с тех пор прошло шестьдесят лет с лишком). И она принялась методично остужать пылающее во мне вдохновение, алчущее немедленных результатов.

— Это просто замечательно, что вы пришли, Сережа, — ласково сказала она. — Александр Яковлевич вам уже говорил, что мы занимаемся цефеидами? Одна я решительно не справляюсь! Скопилось так много необработанных наблюдений — и в каждое нужно внести больше десяти поправок и корректировок. Вот этим мы и займемся.

И она развернула передо мной большой разграфленный лист, заполненный сотнями цифр.

— Мы вносим сюда новые данные, исправляем и подводим итоги. Потом рисуем новую таблицу. Как видите, очень просто. Перемена звездного блеска дана в истинном виде, а не в том, что видит глаз.

— А как с наблюдениями самих цефеид? — поинтересовался я. — Мне хотелось бы поработать на рефракторе.

— На рефлекторе, — поправила она. — Старый рефрактор мы передали соседям — любительской обсерватории.

— Извините — рефлектор. Вы разрешите на нем поработать?

— Разрешаю не я, а Александр Яковлевич, — холодно сказала она. — Не понимаю: зачем вам это нужно? Наши наблюдатели значительно точней вас измерят перемены. А смотреть из простого любопытства… Это даже наши соседи не разрешают — на любительской аппаратуре. Обо всем, что касается цефеид, вы узнаете, когда правильно обработаете этот лист.

Я покорился. Больше всего на свете (теоретически, разумеется, ибо практически этим никогда не занимался) я ненавидел бухгалтерию. Вычисления Варвары Федоровны были еще скучней бухгалтерских. А компьютеров и ЭВМ тогда не существовало… Конечно, я понимал, что без таких расчетов наблюдательная астрономия бесполезна. Но это означало только одно: не все ее разделы мне по душе.

Вскоре я отправился к Александру Яковлевичу попросил дать мне другое задание, больше соответствующее моим увлечениям.

— Это великолепно, что вас тянет к опыту, — одобрил он. — Но сейчас нам не нужны наблюдатели, а без новых вычислителей мы как без рук. Рассудите сами: ну, поставлю я вас на рефлектор рядом с опытным сотрудником — вы же только мешать ему станете. А что до точности наблюдений… Вам еще долго веры не

будет.

— Не боги горшки обжигают, — пробормотал я.

— Не боги, верно. Мастера! Между прочим, Варвара Федоровна замечательный специалист! Ее данные по цефеидам попали даже в международные справочники. Вас это не устраивает?

— Боюсь, не устраивает, — признался я.

Он явно был недоволен — и вдруг его охватило вдохновение. Александр Яковлевич никогда не менял своих решений — но это не мешало ему постоянно находить новые.

— Я придумал для вас работу! — объявил он решительно. — Она будет вам по вкусу. Вы просто рождены для нее.

— Какую? — воодушевился я.

— Сразу сказать не могу. Окончательно определимся после моей очередной поездки в Полтаву. Уезжаю через неделю, возвращаюсь через месяц. Пока продолжайте практиковаться на цефеидах.

Теперь я без прежнего отвращения помогал Варваре Федоровне в ее бесконечных вычислениях. Мысль о новой работе, несомненно связанной с тайнами мироздания, делала ряды цифр менее занудными. В свободное время я ходил к соседям — астрономам-любителям. Здесь усердствовал Толя и можно было поболтать с Сонечкой, милой девушкой, героически влюбленной в звезды и Дьякова (вскоре она стала его женой). Иногда подчиненных осчастливливал визитом руководитель — сын знаменитого певца Платона Цесевича. Он был значителен и важен — впрочем, отцовское имя было известней, чем его собственные труды. Впоследствии он заменил Орлова на посту заведующего (кажется, его уже стали называть начальником) Одесской государственной астрономической обсерватории.

Незадолго до возвращения Александра Яковлевича из Полтавы моя жена Фира поняла, что беременна. О родах нельзя было и мечтать — мы скрывали свой брак от Фириного отца. Он, правда, жил отдельно от жены и дочери — но деньгами им помогал. Ортодоксальный еврей, он поклялся, что не допустит в семью гоя.[68] Он приносил своим женщинам пятьдесят рублей в месяц — на них и жили: Любовь Израилевна была больна и не могла работать, а Фира, как и я, стипендии не получала. На семейном совете постановили: аборт неизбежен.

Тогда их делали только тайно — нужны были немалые средства.

Денег — ни маленьких, ни больших — у нас не было. Пришлось продавать, что имелось, и занимать — по пятерке, по десятке… Наконец оговорили место и день операции. И в это

время из Полтавы прикатил Орлов.

Радостный, искрящийся, он вызвал меня к себе.

— Я обещал вам дать работу по душе. Сегодня могу исполнить обещание. О лучшем молодой ученый и мечтать не может!

И он объяснил, что в районе Полтавы, согласно геологическим прогнозам, могут обнаружиться нефть или газ. Нужно определить районы возможных залежей, чтобы начать опытное бурение. Скопления углеводородов вызывают изменение силы тяжести — на эту аномалию указывают колебания маятника. Он, академик Орлов, организовал опытную поисковую геодезическую партию. От нас, астрономов, требуют помощи в выполнении первой пятилетки — эта поисковая партия будет нашим ответом. Работу с маятником он возлагает на меня. Экспедиция придется на время весенних каникул и продлится около месяца. Возможно, понадобится прихватить недельку-другую и сверх того — этот вопрос он согласует с товарищем Фарбером, директором института. Выезд в Полтаву послезавтра утром.

Пока он говорил, в моей голове проносились ужасные картины: Фира одна идет на операцию, одна возвращается обратно, одна лежит в постели, одна перемучивает потерю ребенка…

— Я не могу ехать послезавтра… По семейным обстоятельствам, — сказал я умоляюще.

Орлов сурово поглядел на меня.

— Вы хотели отойти от непрерывных вычислений — я предлагаю вам такую возможность. Вы мечтали об эксперименте — я его вам даю. Вы физик — работа чисто физическая. И последнее: мы помогаем выполнению первого пятилетнего плана! Считаю отговорки несерьезными.

— Но моя жена, Александр Яковлевич…

— Молодой человек, наука требует жертв. Но жертв у вас я не вымогаю — только служения, истового служения. Ваша жена должна понимать, что ваши успехи немыслимы без ее терпения и уважения к вашей научной верности. Идите в бухгалтерию и получайте командировочные.

Я вышел из кабинета Орлова и направился к выходу из парка. За мной ничего не значилось (денег за работу в обсерватории я не получал, инструментов и приборов не брал), меня ничто не могло остановить.

Больше никогда не появлялся я в Одесской астрономической обсерватории и не встречался с ее руководителем, академиком Александром Яковлевичем Орловым. Я даже к соседям-

любителям перестал заходить.

Служение астрономии не удалось. И первому пятилетнему плану я тоже не помог.

4

Одним из самых важных событий осени 1929-го стала моя дружба с Оскаром Розенблюмом.

Еще до этого, сталкиваясь в студенческой толпе, мы непроизвольно поглядывали друг на друга — взаимная заинтересованность была необъяснимой, но явной. Мы неизбежно должны были познакомиться — потому что были к этому готовы.

Знакомство произошло, когда мы столкнулись у дверей университета — и непроизвольно поздоровались. И в затруднении замолчали, потому что не знали, о чем говорить. Наконец Оскар выдавил из себя:

— Вы куда-то идете — я не помешал?

— Я иду на заседание литкружка при «Черноморской коммуне». Вы там не были?

— Нет. А это интересно?

— Иногда. Пойдемте вместе!

И мы пошли. Этот вечер к «иногда» явно не относился — он был скучным. Руководитель кружка Пересветов прочитал длинную нотацию о том, как нужно писать стихи и чем они отличаются от прозы. Арнольд Боярский собственным опытом полностью опроверг пересветовскую теорию. Изя Раппопорт продекламировал пессимистическую поэму, начинавшуюся многообещающей строкой:

Звени, бульвар, веселым кабаком…

— Как вам понравилось? — спросил я Оскара.

— Никак, — ответил он. — Я не люблю стихи. Наверное, не очень в них разбираюсь. Давайте уйдем.

— Давайте, — согласился я.

Мы шли по Пушкинской к Приморскому бульвару. В скверике около оперного театра сели на скамейку. Внизу тяжело дышал порт.

— Что вы читаете? — спросил я.

Оскар читал Иоганна Готлиба Фихте[69] — все, что нашел в университетской библиотеке. Его интересовало, как тот опровергает кантовское учение о вещи в себе и справляется с четырьмя антиномиями чистого разума, так блестяще

обоснованными Кантом. Меня это тоже занимало — но я считал, что парадоксальных противоречий много больше, чем четыре. Парадоксы возникают везде, где понятие бесконечного встречается с конечными предметами. Формулировка, принадлежащая одной сфере, незаконно переносится в сферу другую, где она неприменима. В качестве примера я привел некоторые математические парадоксы, взятые из работ Бертрана Рассела.[70]

— Но ведь это то самое, что утверждает Кант! — возразил Оскар. — Напомню вам, что, по его теории, противоречие возникает тогда, когда категории абсолютного применяются к миру вещей. А ведь абсолютное и бесконечное, по существу, равнозначны. Сужу по логике, а не по математике, как вы.

Я возражал, он приводил контрвозражения. Я называл одну книгу — он немедленно вспоминал другую. Мы спорили — и убеждались, что едины: по образованию, по интересам, даже по прочитанному. Еще ни разу я не встречал человека, мысли и знания которого так полно совпадали с моими. Разница была, возможно, только в том, что меня влекло к абстрактной философии (правда, с уклоном в естественнонаучную, или — по-старому — натурфилософскую, интерпретацию), а его больше привлекали исторические философские концепции.

— Меня занимает политика, — сказал Оскар. — Не практическая — ее оставим на потребу туповатых наших вождей. Политика как философия общественного развития — вот чему я хотел бы себя посвятить.

— Я тоже был политиком — в пионерские годы, — сказал я со смехом. — Даже послал письмо Буденному и предложил немедленно завоевать Румынию, чтобы ликвидировать там боярско-помещичье правление. Семен Михайлович поблагодарил меня за совет, но почему-то отказался его выполнить. А вы никому из вождей не писали?

— Я написал письмо Троцкому. Меня не хотели брать в пионерский отряд, потому что я сын зубного врача. Лев Давидович прислал в райком комсомола очень теплую личную рекомендацию — и меня с триумфом приняли в пионеры. Послание Троцкого долго висело в райкоме, потом его сняли.

— И письмо Буденного тоже украшало райкомовскую стенку. Но я вскоре забыл о нем.

— Я не могу забыть о письме Льва Давидовича, — хмуро сказал Оскар. — Хотел — но не дают. Теперь это самое одиозное имя. У меня были сложности при вступлении в комсомол — из-за «переписки с Троцким», так это формулировали.

— А меня вообще не удостоили приема! Ничего, как-нибудь

перебедую. Чем вы интересуетесь в политической философии, Оскар?

— Сейчас — грядущими социалистическими революциями.

— Чисто коминтерновская проблема — коренные перевороты в Китае, в Индии…

Он презрительно скривился.

— Коминтерновские революции оставим Коминтерну. Все они спровоцированы извне. Практика дурного политического пошиба! Нет, меня интересуют только спонтанно возникающие потрясения, те взрывы, которые назревают изнутри.

— Пока ни одной такой революции не предвидится — я имею в виду Европу.

— Ошибаетесь! Именно в Европе назревают большие перемены.

— Сколько я понимаю, вы говорите о Германии? Там, конечно, сильное рабочее движение. Тельман[71] с Торглером[72] такую агитацию развили… Но ведь и противодействуют мощные силы — социал-демократия, центристы, теперь еще нацисты Гитлера и Штрассера.[73] Одну пролетарскую революцию в Германии уже профукали — нет гарантии, что это снова не случится.

— Меньше всего я имею в виду Германию. Революция должна произойти в Испании!

Я удивился. На испанском троне сидел король Альфонс, от его имени диктаторствовал генерал Примо де Ривера, а коммунистическая партия была много слабей, чем в других странах Европы. Скорей бы я вспомнил об Англии — здесь недавно была общая забастовка горняков, чуть не превратившаяся в восстание.

— Помяните мое слово: Испания чревата взрывом, — продолжал Оскар. — Она скоро родит революцию — и мир ужаснется ее мощи. Я давно изучаю эту страну. Она непохожа на другие государства. Европейские революции были организованы: сперва появлялись вожди, затем инициировалось восстание. Кромвель в Англии, Мирабо, Робеспьер и Бонапарт во Франции, Ленин и Троцкий у нас… В Испании все произойдет наоборот. Там социальную почву разнесет подземный взрыв, наружу вырвется лава — и ее оседлают те, которые окажутся поблизости. У нас великие головы создавали под себя революцию, у них переворот напялит на себя подвернувшиеся личины.

— По-моему, это не очень соответствует марксистской теории о роли личности в истории, — улыбнулся я.

— История не всегда строится по Плеханову, — возразил он. — Чаще она идет по Гегелю. Помнится, товарищ Сталин в 17-

м говорил: «Есть марксизм догматический — и есть творческий». Очень неплохо сказано!

— Сталин, однако, не предсказывает потрясений в Испании.

— Он не всеведущ. Я буду создавать свою философию революции.

— Вы ее уже пишете? — спросил я с уважением. Меня покорила оригинальность проблемы: философское обоснование коренных переворотов.

— Собираюсь. Это должна быть большая статья. Я отправлю ее в журнал «Под знаменем марксизма».

…В отличие от меня, Оскар не слишком усердствовал за письменным столом. Прошло больше года, прежде чем он засел за прогноз. И все же успел рассказать об испанской революции за несколько месяцев до того, как она произошла. Впрочем, об этом никто не узнал: в журнал он свой трактат так и не отправил.

Зато заставил меня послать в «Под знаменем марксизма» мою первую философскую работу «Проблемы диалектики». Ее так и не напечатали — как и другие подобные статьи. Что ж, это вполне вписывается в стиль моей жизни: за долгие годы я опубликовал несколько романов, десяток повестей, три десятка рассказов — а в моем столе лежат сотни стихов (наверное, лучшее из того, что мне удалось совершить), трагедии, драмы и очерки на философские темы…

Но я опять отвлекся. Довольный Оскар (он чувствовал, что таки произвел впечатление) поинтересовался:

— А над чем работаете вы, Сергей?

Настал мой черед гордиться. Меня мучили не менее значимые проблемы. И прежде всего — теория материалистической диалектики. Дело в том, что ее попросту не существовало. В статьях и книгах только болтали об этом, упоминая всего три закона: единства противоположностей, перехода количества в качество и отрицания отрицания. Разве наука может исчерпываться тремя правилами? Энгельс, стоявший у ее истоков, дал лишь идею, а не научную систему — систему надо создавать, и я сейчас этим занимаюсь. И начинаю с перехода количества в качество. Тут, собственно, два закона. Один — по Гегелю:[74] нечто накапливается количественно, а затем меняется качественно. Другой идет от Лейбница:[75] бесконечность кроется под одеждой конечной величины (он положил эту математическую истину в основу изобретенного им дифференциального исчисления), беспредельность таится в ряду, ограниченном пределом. Я назвал этот процесс превращения бесконечного в конечное законом перехода количества в качество второго рода. Но многое еще неясно, надо доработать — и я это

делаю.

Что же до закона единства противоположностей, то он обычно трактуется как столкновение двух разных сторон одного явления. Два полюса магнита, человечьи спина и грудь, свет и тьма в оптике… Но такое единство — всего лишь равновесие. Это примитивное бухаринское понимание (даже если говорящий рьяно критикует Бухарина[76]). А настоящая диалектика — развитие, а не равновесие. И оно, развитие, немыслимо при равенстве противоречий. Одно должно быть сильней — оно словно разворачивает предмет, как будто наклоняет его к себе. А потом бурно нарастает противодействие и перебрасывает объект на другую сторону. Непрерывное усиление и ослабление разнонаправленных сил, своеобразное качание, если можно так сказать — ковыляние, а в результате — прямой путь вперед. Вы видели, как двигается в клетке тигр, Оскар? Он попеременно выбрасывает вперед то левые, то правые лапы. При этом он не иноходец, как лошадь, — просто сам противодействует своему движению. Это и есть образ диалектики. Я сейчас разрабатываю схему попеременного преодоления противоречий, она тоже подчиняется законам, обе стороны неравноценны не только в отдельные моменты, но и в целом, в суммарные сгустки времени. Когда-то говорили, что развитие идет скачками. Бывает и так, не отрицаю, но гораздо больше это похоже на узлы.

Закон единства противоположностей в моей схеме превращается в набор правил переузлования противоречий. Я, правда, только начал разрабатывать эту теорию, но открытий предстоит много и они будут важными — я это предвижу. Теперь и Оскар посмотрел на меня с уважением.

— Вы уже сформулировали свою теорию — или пока развиваете ее в уме? — перефразировал он мой вопрос.

— Кое-что начал записывать. Я готовлю большую статью под названием «Проблемы диалектики». Там будут не только исследования перехода количества в качество и единства противоположностей, но и многое другое, еще не изученное.

— Как интересно, — задумчиво сказал Оскар, — Мы по существу разрабатываем одну и ту же проблему развития, но с разных сторон: вы в самой абстрактной ее форме гегелевского логического движения, я в конкретности непосредственного революционного взрыва. А что вы сейчас читаете, Сергей?

В то время я штудировал трактат Макса Штирнера «Единственный и его достояние».

— Очень интересная книга, — одобрил Оскар. — А вы знаете, как Маркс с Энгельсом разнесли Штирнера в «Немецкой идеологии»? Непременно прочтите, вам будет интересно, хотя, в

общем-то, она много скучней других марксовских произведений.

Я пообещал завтра же достать «Немецкую идеологию». Я уже понял, что Оскар знает Маркса гораздо лучше меня — профессионально, а не любительски.

— И к каким выводам вы пришли? — продолжал он. — Считается, что Штирнер — предшественник Ницше (я имею в виду надуманную теорию сверхчеловека). Но, по-моему, он гораздо интересней!

Я тоже считал, что Макс Штирнер значительней Ницше. Конечно, его взгляды — разновидность субъективного идеализма[77] (такой была и система епископа Джорджа Беркли[78]). Но это философское течение могло возникнуть только при капитализме — подобное учение было чуждо предшествующим эпохам. Оба они, и Беркли, и Штирнер (а после, значительно видоизменив их системы, и Ницше) выражали его истинный дух. Я бы только добавил, что Беркли делал это с достоинством и наукообразно, Штирнер — с вызовом и нахальством, а Ницше прямо-таки с солдатской грубостью. Помните фразочку Штирнера на первых же страницах «Единственного…»: «Так как Бог занят только собою, то и я могу опереться только на себя. Для меня нет ничего выше Меня».

— И вы беретесь доказать свои парадоксальные утверждения? — спросил Оскар. — До сих пор я считал, что истинные выразители духа капитализма — позитивисты[79] (вроде Конта и Спенсера) и прагматисты (вроде Джеймса и Дьюи).

Возражения я подобрал уже раньше — для самого себя. Кант обосновал различие между чистым и практическим разумами. Я различаю рафинированный от всего внешнего капиталистический дух и его реальное претворение в практику. В чистом виде единичный капиталист есть — в его собственном мнении — центр, вокруг которого все вращается. Он существует для себя, он поклоняется и служит себе. Атомизированный мир отдельных объектов — вот что такое чистый капитализм! Естественно, в этом случае служение самому себе становится основой любой деятельности. И поскольку капиталисту свойственно самообожание, то и субъективный идеализм, являющийся философским его выражением, может возникнуть только при капитализме. Впрочем, это теория. На практике общество обслуживают разнообразные и многочисленные философские системы.

— В принципе — оригинально и интересно, — оценил мои философские откровения Оскар. — Однако необходимо солидное обоснование.

Тут он вспомнил, что не предупредил родителей о своей

задержке. Ни у меня, ни у него часов не было — но мы чувствовали, что уже далеко за полночь. Я давно добился самостоятельности и мог пропадать хоть целую ночь — ни мать, ни отчима это уже не тревожило. Оскар не был так радикален.

Я проводил его домой. Он сообщил родителям, что вернулся, — и еще час простоял со мной на лестничной площадке второго (а может, и третьего — уже не помню) этажа. Но мы так и не успели наговориться вдоволь.

Так началась наша дружба. Она длилась пять лет — до преждевременной смерти Оскара в 1934 году — и всю мою оставшуюся жизнь.

Когда я вернулся домой, было уже совсем светло.

5

А теперь — о моей первой жене.

Я снова увидел Фиру летом 29-го — на вступительных экзаменах.

После моего бегства из профшколы она училась там еще год. Я уже успел забыть всех наших девочек — ее, Лиду Гинцер, Юлю Клемперт, обеих Жень — Нестеровскую и Чабан, Долю Оксман… В свое время я не увлекался ни одной из них — а Фиры даже побаивался. Она была самои экстравагантной и непредсказуемой и верховодила в своем окружении.

Однажды в школе она подошла ко мне, погладила по голове и сердито сказала:

— Причесываться надо! Вихры торчат.

Я засмущался и попытался оправдаться:

— Я и водой пробовал, и слюнявил — ничто не берет.

— Тогда стригитесь, — презрительно ответила она.

Ее подруги при этом смутились даже больше, чем я.

Ни расческа, ни вода, ни слюни по-прежнему не помогали — и на всякий случай я стал сторониться Фиры: кто знает, что могло прийти ей в голову! Но она мной больше не интересовалась.

Я удивился, увидев ее на экзаменах. Наши девушки не особо стремились в университет, хотя впоследствии многие из них получили высшее образование. Я заговорил с Фирой — уже на «вы», по нынешнему нашему возрасту (впрочем, я, по-моему, предпочитал такое обращение к прекрасной половине человечества и в профшколе).

Фира чуть ли не возмутилась моему удивлению.

— По-вашему, одни мальчики достойны высшего образования? — грозно спросила она. — Не слишком ли много приписываете своему полу?

Я предпочел не заметить этого выпада против моего мужского достоинства.

— А на какой факультет экзаменуетесь?

— На ваш.

— Я на физмате. Значит…

— Совершенно верно — поступаю на физмат.

Я глядел на нее во все глаза. В школе она не обнаруживала даже отдаленных способностей к точным наукам. Она засмеялась — ошарашенный, я, наверное, выглядел очень глупо.

— Буду математиком — как и вы, Сергей.

— Я физик, а не математик, — с достоинством уточнил я.

— Я так сказала: буду физиком.

И Фира убежала. Тогда еще она не умела ходить степенно — это пришло после родов. Вскоре я узнал, что она бегала даже дома — от двери до окна. А если слышался входной звонок, мчалась открывать так стремительно, что стук ее каблучков рассыпался и на лестничной площадке.

Фира поступала на соцвос — все-таки конкурс там был поменьше. Но экзамены принимали те же профессора и доценты — и они были такими же строгими. Я ни минуты не сомневался, что она срежется по всем специальным предметам. Кое-что ей светило только на русском и обществоведении — гуманитарными дисциплинами она хоть интересовалась… Правда, не слишком активно.

Но Фира сдала все экзамены — причем блестяще (я сам потом увидел оценки). Я первый бросился к спискам принятых (чтобы поздравить ее или пособолезновать — как выпадет). И встретил ее у парадного институтского входа — узнавать свою судьбу она пришла позже других абитуриентов. В молодости она вечно опаздывала — даже на любовные свидания, чувство времени выработалось у нее лишь в зрелые годы (но и тогда нередко отказывало).

И мне опять пришлось удивляться: Фира не очень-то и обрадовалась.

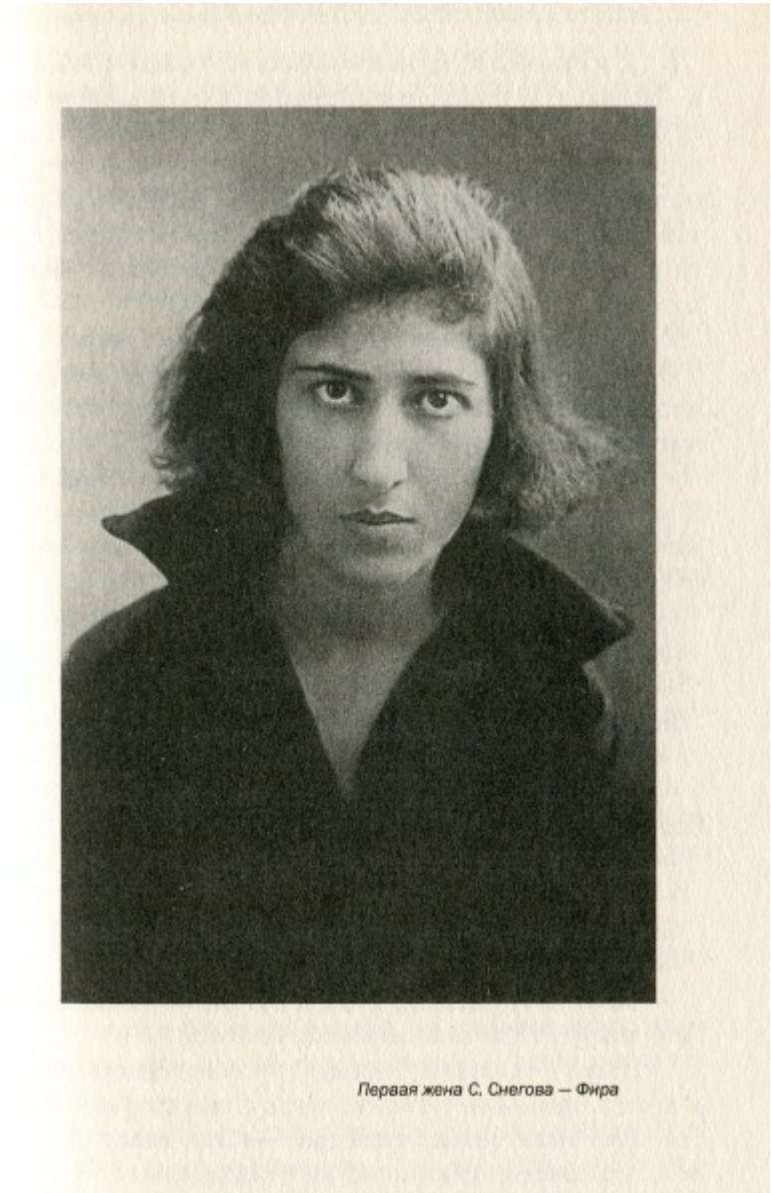
— Я и не сомневалась, — сказала она. — Сергей, мне кажется, вы смотрите на меня со страхом.

Я смотрел на нее с уважением. Я, конечно, мог бояться ее шальных выходок — это происходило импульсивно, но уважение вдруг не возникает — его нужно заслужить. Я впервые увидел в Фире серьезного человека.

А затем мне стало не до нее. Один из лирических героев Блока горько признавался:

Летели дни, крутясь проклятым роем…

Вино и страсть терзали жизнь мою…[80]



Первая жена С. Снегова — Фира

В ту осень меня терзали множество страстей: и любовь к Людмиле, и стихи, воплотившие и заменившие ее, и дружба с Оскаром, требовавшая ежедневных встреч, и обсерваторские попытки приобщиться к тайнам мироздания, и стремление

создать что-то свое в философии, и книги, которые нельзя было не читать… Фира затерялась где-то в стороне — даже силуэта ее не мелькало на моих дорогах.

А потом, сразу после Нового года, она появилась.

Она возникла около Тираспольской площади, в середине дня, во время снегопада. Она бежала в снежном тумане впереди меня, но скользкий наст не принял ее бега. Она поскользнулась, подвернула ногу, охнула и остановилась. Я успел подбежать и поддержать ее. Так когда-то происходило с другой Фирой — Володарской, но на этот раз все получилось гораздо серьезней.

— Это вы? — спросил я, вглядываясь в ее искаженное болью, заснеженное лицо.

— Я. Разве вы сомневаетесь?

Я стал неумело оправдываться.

— Сзади вы не похожи на себя.

— Хорошо, хоть спереди похожа! Это утешает. Ох, как больно! Боюсь, не сумею дойти домой.

— Я вас провожу.

— Спасибо. Не ожидала…

Я попытался обидеться.

— По-вашему, я такой невоспитанный?

— Такой погруженный в себя. Вы идете, не замечая ничего вокруг. И не мне одной так кажется.

— Знаю, — сказал я с досадой. — Амос сплетничал, что я прошу прощения у столба, когда с ним сталкиваюсь.

— Это были только сплетни? — Она повернулась ко мне. От тающих снежинок, от небольшого ветра с моря щеки ее порозовели. Она всегда казалась мне похожей на цыганку — распущенными волосами, удлиненным лицом и особенно большими, горящими, темными глазами с голубым до синевы белком. И голос у нее был цыганский — глубокий, звучный, легко меняющий интонации. Сейчас в нем звучало разочарование.

— Вам не нравится, что это сплетни, Фира?

— Не нравится. Я надеялась, что вы на самом деле раскланиваетесь со столбами.

— Для чего вам это?

— Ни для чего. Просто мне хотелось иметь среди своих знакомых человека, для которого реальны только его собственные мысли. О чем вы обычно думаете, Сергей?

— Обычно — о необычностях.

— Понятно. Обычные необычности. А сейчас о чем? Тоже о необычном?

— Конечно. Удивляюсь, что научился поддерживать хромающего человека. У меня в семилетней школе была

соученица, тоже Фира, она говорила, что со мной рядом нельзя ходить — я толкаюсь.

— Нет, вы не толкаетесь. Из вас может получиться если не ухажер, то сопровождающий. Не хотите им стать?

— В смысле — вашим не-ухажером?

— Как получится — вы только постарайтесь. У нас в школе вы ни с одной девочкой не дружили. Мы даже спорили: вы нас ненавидите или боитесь? Мужчины иногда такие трусы…

Я поспешно перевел разговор на другую тему.

— Вы хотите, чтобы с нынешнего дня я стал вашим постоянным сопровождающим?

— С нынешнего не получится, — сказала она с сожалением. — Мама назначила стирку — надо помогать. Мы пришли.

Она жила на Троицкой, рядом с Александровским бульваром. Дом был трехэтажным — но высотой с наши молдаванские пятиэтажки. Парадный ход был открыт, наверх вела мраморная лестница.

— Не хотите зайти? — спросила Фира и спохватилась: — Ах да, вы без фрака! Это неудобно. К тому же у нас стирка. Хорошо, зайдете завтра — вы не забыли, что подрядились меня сопровождать?

— Завтра я тоже буду без фрака, Фира.

— Это ужасно! Тогда другая, но обязательная просьба — причешитесь. Я ничего не имею против лохм, но мама человек старорежимный — ее ваши вьющиеся рожки могут испугать.

Мы еще поболтали, и я ушел.

Было уже поздно, я проголодался — но пойти домой не мог. Я был взвинчен и взбудоражен, словно со мной случилось что-то важное и удивительное. Ничего не было важного, ничего удивительного: подумаешь, встретил давнюю однокашницу! Ну, проводил ее домой, ну, немного поболтали — обыкновеннейшее дело. Но дело было необычайным.

Старая знакомая обернулась незнакомкой. В тот день я и вправду мог натыкаться на столбы и просить у них прощения. Передо мной сияли темные зрачки в разливе голубых до синевы белков, проникающий в душу голос разговаривал со мной… И я невнятно и восторженно твердил про себя любимые строчки:

Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.[81]

На другой день сразу после лекций я выскочил на перекресток — чтобы перехватить идущую из другого корпуса Фиру. Она была легка и стремительна.

— Вы уже не хромаете, — сказал я. — Неужели все прошло?

— Конечно. Я никогда бы не позволила своей ноге хромать больше одного дня. Что вы делали вчера, Сергей, когда мы расстались?

— Ходил по улицам.

— Долго?

— Не очень. До вечера.

Она недоверчиво посмотрела на меня.

— Но ведь шел снег!

— Он прекратился — и вышло солнце.

— Все равно. Было очень холодно. Не терплю холода! Вы любите зиму?

— Не знаю. Не думал об этом. Вероятно, я люблю все времена года. Но холодные улицы меня завораживают. Особенно если дует ветер. В эти часы я просто не могу находиться дома.

Некоторое время мы шли молча.

— Вы пишете стихи? — спросила она.

— Откуда вы знаете?

— В школе говорили. Вы ходили в литобъединение, устроили там скандал. Составили список присутствующих: Кучер, Колесо, Телега, Лошадь… А один ваш друг выступал в саване. Правда?

— Не в саване, а в ночной рубашке своей тетки. Мы иногда устраивали такие развлечения во время обсуждений.

— Своих стихов вы там не читали?

— Никогда. Я не люблю показывать другим то, что пишу.

— Мне покажете. Я для вас не другая, а просто Фира. Даю задание: принесите мне два стихотворения: одно — лучшее, другое — больше всего вас выражающее.

— Зачем?

— Хочу узнать, кто вы такой. Вы меня иногда пугаете. Здороваетесь со столбами, говорите собакам «вы», пишете стихи, удивляете экзаменаторов знаниями, избегаете девочек, устраиваете дебоши… Правда, что вас с товарищами таскали в милицию за то, что пролезали в кино без билетов?

— Когда вам принести стихи, Фира?

— Сегодня.

— У меня с собой их нет.

— Так напишите! Вечером вы должны быть у меня. Как условились — без фрака, но причесанный. Приходите ровно в семь — без опозданий. Мужчинам опаздывать неприлично, это женская слабость.

— А почему — в семь?

— В половине восьмого придут мои друзья — это их обычное время. Хочу успеть побыть с вами. Итак, до семи, Сергей.

Придя домой, я переворошил шумный ворох исписанных листов. Стихи о любви к Людмиле отмел сразу. Лучшим мне показалось вступление к поэме «Крестоносцы» (я собирался развернуть ее в солидное философско-приключенческое произведение).

На соборах отгремели речи,
На путях клубится едкий дым.
Едут рыцари, держа ряды,
И пылают полевые свечи.

Ведьмы ночью облетают стан,
Колдуны колдуют по дорогам.
Видел вождь во сне единорога,
Слух прошел: черт принял папий сан.

Быть беде. Низринулись дожди,
Всю весну никто не видит солнца,
Почернели новые червонцы,
Голод угрожает впереди.

Быть большой беде, беде, беде!
Кровь пролилась — это не поправить.
Восемь крестоносцев в переправе
Потонули в ледяной воде.

Быть беде! У полевой иконы,
Совершая пламенную ложь,
Ночью, при луне, сам грозный вождь
Просит, плачет и кладет поклоны.

Выбирая второе стихотворение, я долго колебался — и в результате остановился на самом декларативном.

Я был рожден в ночи и при огне,
И мне века свои открыли тайны,
Вассалы, сюзерены, смерды, таны
Знакомствуют со мной наедине.

Они — мои друзья. Средневековье
Мне по душе. Мне тьма ясней, чем свет.

В замшелых башнях, отданных сове,
Не раз блуждал, не соблюдя часов, я.

И мне не раз, приподняв свой берет,
Топорно кланялся торжественный схоластик.
Я испытал все пытки и все страсти,
Все муки умираний на костре.

А в сумрачных дворцовых коридорах,
Под капителями колонн витых,
В просторных храмах, шумных и пустых,
В судилищах, в религиозных спорах,

Являлась вдруг, проста и необъятна,
Иная жизнь, иной прекрасный грех.
И так мне были близки и понятны
Твоя душа, твой ясный гений, грек.

Теперь я был полностью экипирован — поэтически, разумеется.

Оставался только один вопрос — и он был самым трудным: как прийти точно к семи? Дома у нас висели «ходики», у Фиры, я не сомневался, были часы и посолидней. Но сколько времени уйдет у меня на дорогу? Я рисковал ошибиться минут на десять…

Переведя дух, я дважды крутанул звонок на входной двери, за которой немедленно послышался стук каблучков.

— Минута в минуту, — удовлетворенно сказала Фира, впуская меня, — я всегда была уверена, что вы беспощадно точны. А почему вы позвонили два раза?

Я растерялся.

— Не знаю… Так получилось.

— Отлично. Люблю узнавать гостей по звонкам! Отныне ваша визитка — два коротких звонка.

Она ввела меня в просторную комнату с двумя высокими окнами. Между ними стоял диван, напротив — фортепиано, над ним — два портрета, женщины и мужчины. В каждом углу покоились мягкие пуфики того же цвета, что и диванная обивка. Фира вспрыгнула на диван, свернулась калачиком и указала мне на пуф.

— Давайте предписанные стихи, Сергей. И помолчите, пока я буду читать. Можете засматриваться на меня. Мои друзья часто так делают, когда я запрещаю им говорить.

Я не стал засматриваться на нее, чтобы не показаться

нахальным, — и уставился на потолок. Он был очень высоким (я потом узнал — ровно четыре метра), почти в два раза больше, чем у меня дома. И по нему — вдоль всей комнаты — шел изящный карниз с гипсовыми цветами. Ни у одного из моих друзей не имелось такой роскоши — даже у Жени Бугаевского, а он жил в богатой квартире.

Фира быстро прочитала стихи.

— Почему вы пишете о вожде, Сергей? Крестоносцы — не индейцы. У них нет украшений из перьев.

— Наши партийные руководители тоже называются вождями. И, сколько помню, они носят полотняные фуражки.

Она расхохоталась. Раздался короткий, словно захлебывающийся звонок.

— Митя, — сказала Фира и умчалась.

Вошел высокий тонколицый парень с усиками. На голове его красовалась фуражка, похожая на морскую.

— Спитковский, — сказал он, протягивая руку. Но смотрел при этом на Фиру, а не на меня.

Фира показала ему на пуфик и опять села на диван. Снова прозвенел звонок — на этот раз долгий и басистый.

— Айседора! — воскликнула Фира.

Вошедшему было около двадцати лет — столько же, сколько мне и Мите. Но, в отличие от нас обоих, он был коренаст, солиден, широкоплеч, с резко очерченным — скульптурных линий — лицом. Он еле кивнул Спитковскому и протянул мне руку. Правда, смотрел он пристально и недоверчиво: судя по всему, я не понравился ему с первого взгляда.

— Исидор Гурович, — веско объявил он. Это прозвучало так, словно одно имя его способно было обвинить меня в недостойном поведении.

— Итак, все собрались — можем начинать вечер, — сказала Фира.

— Даже лишние имеются, — пробормотал Исидор и снова неприязненно посмотрел на меня.

— Айседора, не забывайся, — строго предупредила Фира. — Раньше ты считал лишним одного Митю.

— И сейчас так считаю! Он постоянно и каждодневно лишний. Если бы ты разрешила, я бы категорически потребовал: Митька, проваливай! И пусть зарастут травой твои следы к этому дому.

— На асфальте следов не остается, — ухмыльнулся Митя. Ему, похоже, нравилась перепалка. — Нечему зарастать.

Исидор скорчил свирепую мину. У него это получилось отлично: четкое лицо могло разительно меняться. Только на

античных театральных масках я видел такое разнообразие и такую определенность выражений. Впрочем, скоро я узнал, что театра Гурович не любил — он выбрал технику, а не искусство.

— Вечно вы спорите, — сказала Фира. — Как вам не надоест?

— Не надоест, — объявил Исидор. — Ибо наша обязанность — спорить.

— Это же тебе нравится, — со смехом подхватил, Митя. — Мы стараемся выполнять все твои желания.

— Сейчас я вовсе не хочу ваших споров! У нас сегодня новый гость — Сергей. Мы друзья еще со школы. Он, наверное, сможет рассказать что-то новое.

— Если он твой старый знакомый, то нового он тебе не скажет, — заметил Исидор. — И почему ты с ним на «вы»?

— Фира, прочти что-нибудь, — попросил Митя. — Мне гораздо больше нравится слушать тебя, чем Изю. — Он покосился на меня — видимо, хотел добавить, что и от новичка не ждет ничего интересного, но сдержался. Может быть, он понимал происходящее хуже, чем Гурович, зато воспитан был лучше.

— Только четыре строчки из одного нового стихотворения, больше пока не запомнила. — И она продекламировала:

Быть беде. Низринулись дожди.
Всю весну никто не видит солнца.
Почернели новые червонцы,
Голод угрожает впереди.

Митя подозрительно поинтересовался:

— Чьи это стихи? Никогда их не слышал.

Исидор точно знал, куда наносить удар.

— Удивляюсь, Фира! Раньше ты не увлекалась плохими стихами. Сплошное нытье: беда, дожди, никакого солнца, голод… И это в наше время! Ну, куда это годится? И вдобавок технический вздор — почернели червонцы. Их делают из золота, а оно принципиально не чернеет. Недавно видел советский червонец. Блестит, как лаковая туфля, одно отличие — желтый, а не черный.

Золотые советские червонцы я тоже видел. Отчим где-то достал несколько — и принес домой, чтобы мама полюбовалась. Монеты были красивые, блестящие, из «принципиально не чернеющих». Осип Соломонович сказал, что, по слухам, их выпустили на триста миллионов рублей, но они уже изымаются из обращения, а наркома финансов Брюханова строго наказали за попытку протащить золото в обращение.

Митя снова попросил:

— Фирочка, прочти что-нибудь хорошее, а не случайные стишата.

За окнами было темно, на черное небо выходила полная луна.

— Погаси свет, Митя, — сказала Фира. — Так мне будет лучше.

Спитковский щелкнул выключателем. От окон пролегли две лунные полосы. Митю и Исидора я видел хорошо, а Фира пропадала в диванной тьме. Несколько секунд тянулось молчание, потом с дивана зазвучал загадочный голос. Пастернак сказал: «Мне Брамса сыграют — я вздрогну, я сдамся». Я тоже вздрогнул — и сдался.

Фира читала Алексея Толстого — невидимая, она играла его балладу[82] разнозвучащими, покоряющими обертонами. Я еще никогда не слышал такого завораживающе красивого голоса!

Начала она очень спокойно.

Кто веслом так ловко правил
Через аир и купырь?
Это тот Попович славный,
Тот Алеша-богатырь.
За плечами видны гусли,
А в ногах червленый щит.
Супротив его царевна
Полоненная сидит.

Затем голос стал гневным — он протестовал, укорял, предупреждал:

Ты почто меня, Алеша,
В лодку песней заманил?
У меня жених есть дома,
Ты ж, похитчик, мне не мил!

И в ответ звучало — победно и торжествующе:

Ты не первая попалась
В лодку, девица, мою:
Знаменитым птицеловом
Я слыву в моем краю!

Без силков и без приманок
Я не раз меж камышей

Голубых очеретянок
Песней лавливал моей!

Голос упрашивал смириться, льстиво обещал радость и счастье — его сменяли слезы, обвинения и отчаяние:

Птицелов ты беспощадный,
Иль тебе меня не жаль?
Отпусти меня на волю,
Лодку к берегу причаль!

Страстные признания не спасали — остался последний аргумент. Начала говорить музыка.

Звуки льются, звуки тают…
То не ветер ли во ржи?
Не крылами ль задевают
Медный колокол стрижи?

Иль в тени журчат дубравной
Однозвучные ключи?
Иль ковшей то звон заздравный?
Иль мечи бьют о мечи?

Песню кто уразумеет?
Кто поймет ее слова?
Но от звуков сердце млеет
И кружится голова.

И вот — победа! Слова не дошли — звуки покорили. Музыка, самое абстрактное из искусств, единственное беспредметное чудо, снова явила свою конкретную власть — отмела сомнения, опровергла протесты, подчинила непокорных.

Что внезапно в ней свершилось?
Тоскованье улеглось?
Сокровенное ль открылось?
Невозможное ль сбылось?

Взором любящим невольно
В лик его она впилась,
Ей и радостно, и больно,

Слезы капают из глаз.

Любит он иль лицемерит —
Для нее то все равно,
Этим звукам сердце верит
И дрожит, побеждено.

И со всех сторон их лодку
Обняла речная тишь,
И куда ни обернешься,
Только небо да камыш…

Победительный голос смолк. Я снова и снова твердил про себя Пастернака. Да, я сдался, я был бессилен что-либо изменить.

Тишину прервал трезвый голос Гуровича:

— Митя, зажги свет, тебе ближе.

Сиянье лампочек выбросило из комнаты лунный свет. Фира тихо сидела на диванчике.

— Продолжим наши споры, — невозмутимо обратился Исидор к Мите.

Фира резко встала.

— Вечер окончен. Вы оба уходите. А вы, принц, — повернулась она ко мне, — останьтесь. Мне нужно с вами, поговорить.

— Ого, принц? — Митя с любопытством взглянул на меня. — И давно вы носите этот титул, ваше величество?

— Высочество, — поправил Исидор. — У принцев нет величия, у них есть только высота. — Он скептически оглядел меня с головы до ног. — Если они, конечно, высокие.

— Уходите, сколько можно повторять! — гневно потребовала Фира.

— Слушаемся и повинуемся, волшебница! — весело воскликнул Митя и первым направился к двери.

Исидор снова недобро посмотрел на меня. Когда они ушли, я сказал:

— Вы слышали, как Митя вас назвал?

— Волшебницей? Он часто так говорит, — равнодушно ответила она.

— Но вы действительно волшебница! Возможно, вы этого не подозреваете, но я знаю, я!

Она патетически произнесла:

— Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь. Я знаю, я[83]!

Я радостно воскликнул:

— Вы хорошо знаете Пушкина!

— Знаю, но плохо, — серьезно ответила она. — Вы догадываетесь, почему я вас задержала?

— Понятия не имею.

— Чтобы вы не вышли вместе. Айседора мог наговорить вам всяких гадостей.

— Почему вы его так называете? Он — Исидор. На Айседору он нисколько не похож.

— Вы имеете в виду Дункан?[84] Зато это прозвище ему подходит. При такой мужественной внешности он — полная баба: не уверен в себе, всех подозревает, теряется при каждом затруднении. Правда, он хорошо маскирует свою слабость. Мягкий Митя куда тверже Айседоры. Теперь уходите. Мой следующий приемный вечер — суббота. На этот раз не в семь, а в шесть. Побудем наедине подольше.

Я ушел. На улице меня ждали Спитковский и Гурович.

— Что я тебе говорил, Митя? — зловеще сказал Исидор. — Она оставила этого долгоносого типа, чтобы позлить нас. И вышвырнула его!

— Ну, все-таки не вышвырнула — только вежливо попросила унести бренные кости. — Митя с любопытством смотрел на меня. — Скажите, Сергей, вы нам соперник? Осмелюсь доложить, у нас с Изей самые серьезные намерения относительно Фиры. Будете включаться в соревнование?

— Еще не определился. Когда решу, доложу — сначала ей, потом вам. У меня к вам вопрос, Исидор. Ваши серьезные намерения, судя по вашим шуточкам относительно меня и по вашей грозной позе, вероятно, предполагают и прямое устранение нежелательных знакомых? Был бы очень благодарен за разъяснение — словесное либо физическое.

Он отодвинулся и мастерски скривился — это было видно даже в темноте.

— Я не дурак, Сергей. Дракой Фиру не завоюешь. До неприятного свидания на следующем вечерке! Вас, наверное, уже предупредили, что он состоится в субботу.

Мы разошлись. Через минуту я о них забыл. Во мне звучал Фирин голос. Впоследствии мне приходилось много пить — и чаще это было отравление, а не опьянение. По-настоящему — светло и восторженно — я был пьян в тот январский вечер. Пьян от восхищения, а не от алкоголя.

До следующей встречи оставалась неделя.

Много чего произошло за это время. Я встретил Людмилу — и не сумел перенести ее радости. Неконтролируемый гнев заставил меня резко переменить мою жизнь (к несчастью, это

случалось и потом).

Я написал стихи и назвал их «Фире».

Мне непонятен мир ваш. Что он — сон иль бред?
Мне непонятны вы. Я вас боюсь. Вы странны.
Жизнь в вашей комнате равна игре,
И радости язвят, как соль на ранах.

Не знаю, где действительность, где сны?
Пора бежать из рокового круга!
Гипноз пропал. Я вам не буду другом,
И вы не для меня, поверьте, рождены.

Ах, глуп мой крик! Ведь я же первый дам
Пример беспомощности и боязни.
Нет, к дому вашему не зарасти следам.
Я вас хочу. Фанатик хочет казни…

Фира была одна — как обещала. Она поинтересовалась, понравились ли мне ее знакомые. Я попросил ее что-нибудь прочитать. Она задумалась.

— Сейчас светло, я не люблю читать при свете. Но для вас прочту — любимое.

Довольно, встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно…[85]

Неделю назад меня покорил «Алеша Попович». В моих ушах еще долго звенела рыдающая мольба: «Лодку к берегу причаль!» Много десятилетий я с благодарностью вспоминал тот вечер. Последнее объяснение Татьяны Фира читала еще лучше!

Шестьдесят с лишним лет прошло с того дня, я слышал десятки оперных див, певших Татьяну, множество чтиц, произносивших ее монолог. Во мне давно угасла молодая категоричность, теперь я соизмеряю увлечения с реальностью (и порой мне это даже удается — правда, далеко не всегда). Я стал значительно объективней. И вот сейчас, старик, я воистину знаю, что никогда в жизни не слышал более горького и страстного признания! Именно так могла и должна была говорить Татьяна.

В одном месте я вздрогнул — Фира исказила строчку. Я сразу — на слух — поймал ошибку. Скорбно звенящий голос печалился:

…Сейчас отдать я рада

Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Евгений, видела я вас.
Да за смиренное кладбище,
Где ныне крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей…

У Пушкина Татьяна всегда говорит «Онегин» — Фира сказала «Евгений».

Я ненавижу, когда режиссеры или актеры правят текст великого мастера. Меня возмущает, когда ремесленник, популярный в дружеском клоповничке, накладывает немытую лапу на гениальное творение. Нет, это не Сальери, заклейменный как преступник, а сам Пушкин — всей силой своего неприятия — негодовал:

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери…[86]

Люди, неспособные сотворить великое, пытаются в нем соучаствовать, искажая его под свой уровень. Совершенные пьесы Александра Островского ставят как поп-арт и рок-трагедии. Блистательного «Пигмалиона» Бернарда Шоу превращают в серенькую оперетку. Талантливый Смоктуновский, произнося знаменитый монолог Гамлета о жизни и смерти, по воле режиссера поворачивается спиной к зрителю, а не менее (по-своему) талантливый Высоцкий лихо крутится на канате вокруг столба — для оживления мертвого шекспировского текста, надо полагать. Я спрашивал знакомых, смотревших фильм и видевших спектакль на Таганке, что им запомнилось в этой сцене. Один хорошо рассмотрел спину Смоктуновского, другой восхищался подвижными ногами Высоцкого. Монолог Гамлета до них не дошел, глубочайший его смысл скрыли выразительная задница и веселящиеся ноги…

Эта ненависть сопровождала меня всю жизнь.

И я утверждаю: если бы Пушкин услышал чтение Фиры, он безоговорочно принял бы ее отсебятину — как адекватное воплощение чувства. Татьяна должна была сказать «Евгений», а не

«Онегин»! Это была не ошибка, не бездарное оригинальничанье, не поправка ради поправки — имя вырвалось из ее души, оно совершенствовало, а не уродовало текст.

После этого монолога я не мог ни о чем разговаривать. Я встал.

— Уже уходите? — удивилась Фира. — А как же мои друзья?

Меньше всего я хотел пикироваться с ее приятелями! Во мне звучала Татьяна — мне нужно было с ней справиться. Я и догадаться не мог, что горькие эти откровения останутся со мной навсегда…

Фира обиделась.

— Вы мне ничего не скажете? Сергей, вам не понравилось, как я читала?

Я подал ей листок со стихотворением.

— Возьмите. Это ответ на ваши вопросы.

Она медленно прочитала стихи и остро глянула на меня.

— Как это понимать? Признание в любви? Вступаете в шеренгу взбалмошных Мить и маскирующихся Айседор?

— Не знаю, Фира.

— Кое-что здесь вполне реально. — Она словно размышляла вслух. — Почему бы не казнить фанатика, если он сам об этом просит? Но неужели радости язвят? И разве вы меня боитесь? Как-то не замечала. А что до следов, то Митя утверждает…

— Прощайте! — резко сказал я и ушел. Фира меня не проводила.

Вечер был холодный и ветреный. Домой не хотелось, на улице не гулялось. Я все-таки вытерпел до полуночи. Не знаю, как спят убитые, но в ту ночь я спал именно так.

Утром, уходя за газетами в типографию, мама разбудила меня.

— Тебе телеграмма. Завел друзей! Письма их не устраивают — общаются по телеграфу.

Еще не вполне проснувшись, я несколько раз перечел странную фразу: «Принц холодных улиц, найдите меня сегодня».

Когда до меня дошел ее смысл, я вскочил. Телеграмма была от Фиры — она уже называла меня принцем (почему?). Но куда бежать? Если она дома, зачем ее искать — нужно только повернуть два раза ручку звонка и войти. А если вне, то где — в институте? У друзей? На улице? У меня никогда не было детективного чутья… В конце концов я решил: искать надо вечером, а не днем. И у нее дома.

День прошел в чаду. Я томился — из-за грядущей встречи и нового имени. «Принц холодных улиц!» — восторженно твердил я. Ну, принц — это еще так-сяк, некоторое, прямо скажем,

преувеличение. Но холодные улицы!

Как ярко, как точно… Это же мой мир. Если и суждено мне где-то властвовать, то на продуваемых жгучим ветром мостовых, на иное не соглашусь!..

…Спустя много лет, в морозную зиму Заполярья (до полюса ближе, чем до железной дороги), уже коронованный полярным сиянием, я опять вспомнил тот солнечно-яркий холодный день.

Десять лет назад я встречал тебя,
Как подарок, распахнутая зима.
И влюбленная девушка в этот день
«Принц холодных улиц» — писала мне.
Принц холодных улиц! Твой снег сверкал
Тысячью приветствующих огней,
И бушующий ветер твой, снежный принц,
Горячил молодую кровь.
И вся жизнь впереди, как ночной буран,
И в метель казалась цветущей весной.
Я — король сегодня. Король снегов,
Царь уборных с замерзшей в гранит мочой.
Император кусочка гнилого льда.
И весна не ждет меня впереди,
Нет, не ждет. Крепок трон мой. Крепка моя
Абсолютная власть над черной пургой,
Над морозным туманом и льдом. Меня
Не встречает ни радостный поцелуй,
Ни влюбленные руки. Одна зима
И все крепче морозы. О, пусть скорей
Я костями сложу эту власть короля
В королевство проклятое льдов моих!

В окнах уже загорались огни, когда я дважды повернул ручку звонка и услышал торопливый перестук каблучков.

— Я боялась, что вы не придете, — сказала Фира, не отпуская моей руки.

— Почему?

— Мне показалось, что вы рассердились: я не так читала Татьяну.

— Вы читали изумительно! Я слышу ваш голос, когда остаюсь один. Я с вами, когда вас нет, — так это теперь происходит.

— Меня это устраивает, — весело объявила она, удобно сворачиваясь на диване. — Бедные Митя и Айседора!

— Я их не обижал.

— Их обидела я. Я расстроилась, что вы так внезапно ушли, и

выгнала обоих. Не хочу больше о них говорить! Что мы будем делать, Сергей?

— Вы будете читать стихи, а я — слушать.

— Вы умеете слушать? Все знают, что вы умеете говорить.

— Можете убедиться, что я лучше слушаю, чем говорю.

— Что вам прочесть?

— Что хотите.

— Тогда не Пушкина и не Толстого, а что-нибудь полегкомысленней. Слушайте Веру Инбер.

Мама, завтра будет праздница?
Праздник, Жанна, говорят.
Все равно, какая разница.
Лишь бы дали шоколад.

Будет все, мой мальчик маленький,
Будет даже детский бал.
Утром, знаешь, в старом валенке
Дворник мышку увидал.

Мама, ты всегда проказница!
Я не мальчик, я же дочь!
Все равно, какая разница!
Спи, мой мальчик, скоро ночь.

— Ничего себе легкомысленность! — засмеялся я. — По-моему, это трагическое стихотворение. Я не люблю Инбер, но это хорошо.

— Будете слушать еще?

— Хоть до утра.

Так шел час за часом. В коридоре гулко прозвучал один удар — время зашкалило за полночь. Нужно было уходить. Фира вскочила.

— Уже уходите? Вы обещали остаться до утра.

У нее тяжело прервалось дыхание. Я тоже задохнулся. У меня свело горло.

— Останьтесь, — шепнула она.

— Останусь, — ответил я.

Она погасила лампу. Луна была уже на ущербе, но в ее полусвете я видел, как Фира быстро двигалась по комнате. Она достала из диванного ящика подушку и простыни, накрыла диван, начала раздеваться. Я тоже стал раздеваться, но, уже полураздетый, вспомнил, что оставил обувь в коридоре. Фира накинула платье, выскользнула за дверь и принесла мои ботинки.

— Теперь никто не узнает, что я не одна, — прошептала она.

— А мама не придет? — забеспокоился я.

— Не придет. Потом объясню — почему.

Я прикоснулся к ней, притянул к себе. Я впервые трогал голую женщину. Я долго не мог убрать руки, а когда стал настойчивей, она задрожала и оттолкнула меня.

— Ты не хочешь? — пробормотал я растерянно.

— Хочу, очень хочу, но ты сделал мне больно, — шепнула она.

Мы лежали, прижимаясь телами, не отрывая друг от друга губ, потом я снова стиснул ее — и снова она меня оттолкнула, почти громко простонав: «Пусти, пусти, мне же больно!»

И мы опять лежали не двигаясь, и опять припадали друг к другу, и опять целовались, счастливые и подавленные, — девственник и девственница, не сумевшие покончить со своей девственностью.

Потом, вспоминая, я часто думал, что виной этому была не только наша неопытность. Просто я слишком много знал о любви, ни разу ее не испытав. Я твердо помнил предупреждение Фрейда: первая близость может вызвать у женщины скрытую ненависть — если мужчина будет грубым. Тихий стон: «Мне больно!» оглушил меня угрозой. Я не осмелился причинить боль. Это было странное состояние: хотеть и мочь — и одновременно не хотеть мочь.

Оба окна туманно засветились.

— Уже утро, — прошептал она. — Какое сегодня число?

— Второе февраля 1930 года, — ответил я. — День нашей свадьбы.

— Мы еще не поженились.

— Сегодня после лекций пойдем в загс.

Она ничего не ответила. Она лежала и смотрела в потолок. Я испугался: наверное, она злится на меня — я не должен был ее отпускать! Я вел себя нерешительно, а женщины часто путают бесцеремонность и силу.

— Ты не хочешь стать моей женой, Фира?

— Очень хочу. Но есть препятствия. Встретимся после лекции — расскажу. Постой, кажется, кто-то вышел в коридор.

Она вскочила с дивана и подкралась к двери. Я залюбовался. Голая Фира была прекрасна. Потом она часто ходила передо мной обнаженная, и я со смехом цитировал ей Кнута Гамсуна: «И к нему вошла Изелинда — нагая и греховная с головы до ног». Греховной Фира оставалась долго, а точеную фигурку стала терять вскоре после родов.

— Сосед пошел на работу, — сказала она, вернувшись. — Быстренько одевайся и уходи, пока мама не проснулась.

Я украдкой выбрался на улицу. Голова гудела. Идти домой не хотелось. Я пошлялся по городу, выбрался на берег моря, умылся — ледяная морская вода освежила лицо — и отправился в университет. После лекции мы встретились на обычном месте.

— Куда пойдем? — опросила она, взяв меня под руку.

— Как — куда? В загс, как условились,

— Ах, да, — фанатик хочет казни. Ты уже узнал, где наше лобное место?

— Мое, а не наше. Я не обещался тебя казнить. Дерибасовская, угол Екатерининской — подходит?

— Вполне. Три квартала до замужества. Но прежде нам нужно где-нибудь посидеть и поговорить.

— Будешь признаваться в жутких семейных тайнах?

— Буду, — сказала она серьезно. — Ты не ответил, где мы посидим.

— В сквере возле загса.

В воздухе чувствовалась крадущаяся весна, с неба низвергалось солнце. День был будний, народу мало. По стране шла героическая первая пятилетка, магазины закрывались один за другим — было не до прогулок. Даже по Дерибасовской.

— Есть два важных препятствия, — сказала Фира.

— Кому они мешают — мне или тебе?

— Нам.

— Слушаю.

— Во-первых — мама. Дело в том, что она больна. И болезнь у нее такая, при которой совместная жизнь становится очень трудной.

Фире, видимо, было нелегко говорить. Я чуть ли не клещами вытягивал из нее слова. У Любови Израилевны была эпилепсия. Периодические припадки — судороги, падения, крики. Несколько лет назад Фирин отец, Яков Савельич, оставил жену с двумя дочерьми (старшей — Эммой и младшей — Фирой). Сейчас у него другая семья, но детей нет. Эмма недавно вышла замуж и уехала к мужу в Ленинград. Фира с мамой живут в одной квартире, но в разных комнатах. Любовь Израилевна не заходит к дочери, когда у нее гости: боится, что припадок может начаться внезапно. Зачем пугать людей? Правда, в последние месяцы стало полегче: иногда судорог не бывает по неделе. Уход отца, так все они думали, ухудшит состояние матери, но эпилепсия, похоже, притихла, а не усилилась.

— Будем надеяться, что появление зятя еще больше ослабит болезнь. Теперь давай во-вторых.

«Во-вторых» был отец. Говорить о нем Фире было еще трудней. Он, знающий инженер, оставался правоверным евреем и

много раз грозил: если дочери выйдут замуж за русских, он проклянет их вместе с мамой — и навеки покинет. Он приносит Любови Израилевне пятьдесят рублей в месяц, они живут на эти деньги. Страшно подумать, что с ними будет, если он откажется от семьи!

— У тебя фамилия еврейская — Штейн, но отец все равно узнает, что ты русский. Он крикнет: «Взяла в мужья гоя — проклинаю тебя!»

— Я не совсем русский, — сказал я. — Я — космополит.

— Как это? — удивилась Фира. — Нет такой национальности — космополит.

— Зато есть мировоззрение.

Она недоверчиво поглядела на меня.

— И все-таки: кто ты на самом деле?

— Во мне три крови: русская, немецкая и греческая. Эти великие народы живут во мне. И не только они! Я и русский, и немец, и грек (по национальности), и англичанин, и француз, и итальянец (по духу). И очень тоскую, что только по духу! Особенно жалко, что во мне нет еврейской крови — я дружу с евреями, люблю их, восхищаюсь тем, как стойко они вынесли тысячелетние гонения, тем…

— Это политика, — с досадой прервала Фира. — Я еврейка — и не горжусь этим. Иногда мне очень хочется скрыть свою национальность. Что нам сказать моему отцу?

Вопрос был несложным — но ответа на него я не знал. Философствовать на тему космополитизма все-таки было гораздо проще. Кстати, впоследствии я часто жалел, что во мне нет еврейской крови: мне было бы гораздо легче жить, если бы меня считали открытым и очевидным евреем, а не прячущимся жидом…

— Боюсь, что есть только два выхода — и оба плохие, — продолжала Фира. — Первый: узнав все, ты отказываешься…

Я зло прервал ее:

— Говори о втором, Фира.

— Второй — скрывать, что мы поженились. Временно, конечно. Ни маме не говорить, ни отцу. Стараться даже не показываться ему на глаза.

— Тогда моим придется тоже не говорить, Фира. Муж и жена! Живут отдельно, с родителями не знакомятся, друзьям не признаются…

— Значит, отказываешься?

— Значит, соглашаюсь. Я же фанатик — и я хочу казни. А рядом со мной — фанатичка, плюющая на обычаи. Пошли, нас заждались в загсе.

В отвратительно тесной и грязной комнатушке сидела пожилая хмурая женщина, фиксировавшая «акты гражданского состояния» — браки, разводы, смерти и рождения. Она неодобрительно посмотрела на нас и осведомилась:

— С чем пришли, молодые?

От волнения я стал развязным.

— С главным молодым делом — хотим повенчаться.

— Ваши документы, — потребовала она.

У нас с собой были только студенческие книжки.

— Эти не годятся, — объявила женщина. — По ним не видно, сколько вам лет. Давайте метрики или профсоюзные билеты.

— Мы не члены профсоюза. А в студенты принимают только тех, кому уже исполнилось восемнадцать, — попытался объяснить я.

Теперь она смотрела на меня с суровым осуждением.

— Меня ваши институты не касаются. Давайте настоящие документы.

— У нас нет других документов, — сказал я почти с отчаянием. Паспортов в стране еще не водилось. Ленин считал их самым позорным явлением царской империи — и потому отменил. Сталин с ним не согласился, но паспорта ввели уже после нашего с Фирой брака.

Женщина немного смягчилась.

— Тогда отыщите двух членов профсоюза. При наличии таких свидетелей — зарегистрирую.

Мы с Фирой вышли на Екатерининскую и, хоть нам было не до смеха, дружно расхохотались.

— Бедному жениться — ночь коротка, — констатировал я. — В смысле: бедному на документы. Что будем делать?

— Я попрошу Женю Нестеровскую, она недавно вступила в профсоюз. А у тебя есть приятели-профсоюзники?

— Кто-нибудь найдется. К тебе сегодня можно прийти?

— Подожди несколько дней. Отец надумал ремонт, обещал принести строительные материалы, собирается руководить работой. Будем встречаться после лекций.

В солнечный день 9-го февраля мы снова подошли к загсу. Фиру сопровождала Женя Нестеровская, меня — Моня Гиворшнер, оба недавние члены профсоюза.

Женщина-инспектор была еще более угрюмой. Перед ней по обе стороны стола на скрипучих стульях разместились «брачующиеся» — хорошенькая полнолицая девчушка, очень взволнованная, и юный торговый моряк в парадной форме. Он нервничал, похоже, больше невесты: не знал, куда деть руки, краснел и бледнел.

Мы четверо пристроились на тяжелых стульях, расставленных вдоль стен.

Наблюдая за процедурой, я стал задыхаться от злости.

— Я заполнила свидетельство о браке, но прежде чем отдать его вам, по закону должна задать обоим один и тот же вопрос, — сурово сказала женщина. — Невеста, вы поинтересовались у жениха, не болен ли он заразными венерическими болезнями?

— Нет, — пролепетала девчушка, скорчившись от стыда.

— Очень жаль. А вы, жених, не скрыли от невесты свои заболевания?

Он держался мужественней:

— Не скрыл, потому что нечего. Я здоров.

— Рада за вас. Но должна предупредить: если вы утаили болезнь, то подлежите уголовному преследованию. Поздравляю с законным браком! Получайте свидетельство. Следующая пара, подсаживайтесь ближе.

Моряк с невестой — теперь уже законной женой — ушли как оплеванные.

Я кипел. Я знал: если она и ко мне обратится с таким вопросом, то я сотворю что-нибудь бешеное, оскорблю ее так, что она ужаснется. Но регистраторша, поглядев на нас с Фирой, заулыбалась — видимо, не увидела в наших лицах намеков на нехорошие болезни.

— Вы уже были у меня недавно, — сказала она. — Значит, нашли знакомых членов профсоюза? Свидетели, давайте свои членские книжки.

Получив свидетельство о браке, мы вышли из тесной загсовской комнатки — как из тюремной камеры. Я огляделся. На противоположной стороне Екатерининской стоял милиционер в парадной форме (в городе недавно ввели постовых). Он подозрительно посмотрел на нас и даже сделал шаг в нашу сторону: очевидно, из загса часто вываливались чересчур веселые и шумные компании.

Я почувствовал острое желание ознаменовать нашу с Фирой радость чем-нибудь этаким…

— Фируся, поздравляю тебя с мужем, а себя — с женой! — сказал я торжественно, и расцеловал ее чуть ли не под носом у стража порядка.

Какая-то парочка на противоположной стороне улицы засмеялась и замахала нам руками. Милиционер отвернулся и солидно двинулся назад на перекресток. Его хмурая спина свидетельствовала: целоваться на главной улице — это, конечно, беспорядок, однако наказанию он, к сожалению, не подлежит.

— В хорошие времена свадьбы отмечали в ресторанах, —

мечтательно сказала Женя.

Денег ни у кого не было. К тому же ни один из нас еще не бывал в ресторане — так что мы не очень хорошо представляли, о чем должны жалеть. Мы побродили по Дерибасовской, наши профсоюзные свидетели вспомнили о неотложных делах — свадебное торжество распалось.

— Сейчас пойдем по домам, а вечером приходи ко мне, — сказала Фира.

Я дал прощальную телеграмму Людмиле и отправился к жене. Она была одна.

— Все-таки познакомь меня с мамой, — попросил я. Фира отказалась. Маме всегда становилось хуже, когда появлялся отец, а во время ремонта он приходил каждый вечер. Припадков, к счастью, не было, но рисковать все же не стоит: если Любовь Израилевна увидит нас вдвоем, она может обо всем догадаться.

Мы сидели на диване и тихо разговаривали. Я не просил ее читать, она не предлагала. Обнимать ее было приятней, чем сидеть в стороне и только слушать. Иногда она выбегала в соседнюю комнату — посмотреть, как мама. Когда большие часы в коридоре пробили полночь, она прошептала:

— Сегодня можно остаться, отец не придет раньше утра.

Она закрыла дверь, я разделся. Уже обнаженная, она прижалась ко мне и попросила:

— Пожалуйста, не отпускай меня, если я крикну, что больно. Нужно же нам стать нормальными людьми!

И я ее не отпустил. Она слабо стонала. А потом мы лежали, усталые и радостные. Она сказала:

— Как странно! Я уже совсем не чувствую боли. Даже памяти о ней не сохранилось.

Февральская ночь быстро исчерпала себя. Когда рассвело, Фира сказала:

— Иди домой. Мне нужно поскорей убрать простыни, чтобы мама ничего не увидела. Встретимся после лекций.

Я пришел домой, когда мама и отчим еще спали. Торопливо разделся и мигом уснул.

Утром меня разбудил шум в коридоре, там стояли Людмила и ее сестра. О том, что произошло в то утро, я уже рассказывал.

После лекций я встретился с Фирой. Впервые она не бежала мне навстречу, а просто шла. Бессонная ночь чувствовалась в каждом ее движении.

— Пойди поспи, — посоветовал я.

— Вечером ты придешь?

— Вечером я приду.

Так началась наша диковинная семейная жизнь.

6

Первой о замужестве дочери узнала, конечно, Любовь Израилевна.

Нам не удалось скрыть мои частые посещения — к тому же теперь они стали каждовечерними. О том, что я иногда остаюсь до утра, она не догадывалась: мы умело таили наши законные, но секретные ночи. Любовь Израилевна захотела познакомиться со мной. И сразу поняла, что я — совсем иной вариант, чем Митя Спитковский и Исидор Гурович. Не знаю, что нас выдало, но в первый же вечер, когда я ушел, она сказала дочери:

— Знаешь, мне кажется, Сергей любит тебя больше, чем нужно. И ты его напрасно поощряешь.

Любовь Израилевна мне понравилась. Добрая, уравновешенная (когда не было припадков), она жила среди мелких бытовых забот, вдалеке от того мира, какой нам с Фирой казался единственно приемлемым.

— С такой тещей можно провести всю жизнь и ни разу не поссориться, — объявил я.

Всю жизнь провести не удалось — ни с Фирой, ни с ее матерью. Года через три, уже в Ленинграде, она умерла — и за все время, проведенное рядом, мы действительно не обменялись ни единым недобрым словом. Немногие женщины оставили во мне такую светлую память, как она, моя первая теща.

Когда Любовь Израилевна узнала, что мы муж и жена, она весь день проплакала у себя в комнате, а вечером пришла плакать к Фире. Я уже сидел там.

— Что же вы сделали, дети, что вы сделали? — причитала Любовь Израилевна. — Вы подумали, что теперь будет?

— Мы обо всем подумали, — весело заявил я. — Будет вот что. У вас есть две дочери, теперь появился сын. В скором времени прибудут внуки. Хлопот станет полон рот: ублажать больших и ухаживать за малыми. Вас страшит такая перспектива?

Не знаю, испугала или успокоила ее нарисованная мною картина, но она скоро смирилась с замужеством дочери. Оставался несгибаемый отец. Любовь Израилевна взяла на себя роль главной хранительницы тайны (и не на шутку облегчила жизнь нам с Фирой).

Однажды вечером, не предупредив о своем приходе, в квартире появился Яков Савельич. Кстати (редчайшая вещь!), у Вайнштейнов имелся телефон. Глава семьи выбил его по случаю болезни жены и — надо отдать ему должное — почти каждый день звонил и справлялся о ее состоянии. Так вот: отец пожелал поговорить с дочерью. Было уже поздно, я, естественно, был у

Фиры. Любовь Израилевна чуть ли не грудью встала у него на пути — ей даже пришлось слегка поссориться с бывшим мужем, чтобы отвлечь его от опасного намеренья. Так или иначе, но я успел быстренько одеться — и сбежал.

Гораздо хуже, что о нашем браке узнали мои родные. С этого дня наша жизнь переменилась.

Давно прошли времена, когда мама следила чуть ли не за каждым моим движением. Она смирилась с моими отлучками и уже не боялась, что я свяжусь с «хулиганами и босяками». Поздние прогулки с Людмилой не вызывали у нее возражений. Правда, она так и не смогла забыть страшного голода и потому тщательно следила, чтобы я утром завтракал, днем перекусывал, а вечером, где бы я ни был, оставляла для меня на столе обильный ужин, накрывая тарелки и чашки газетами (от мух).

Но мое поведение изменилось — и она стала что-то подозревать. Я пропадал ночи напролет — и никак не объяснял своего отсутствия. Это показалось ей чрезмерным. Впрочем, таким оно и было, если судить по законам нормальной жизни, а не по правилам сверхсуществования, которые я бесцеремонно для себя устанавливал. Кстати, своим детям я вряд ли разрешил бы такую жизнь, какую позволял себе.

У нас с Фирой установился определенный ритуал: если я оставался у нее на ночь, то приходил попозже, а если шел домой, то перед этим мы с ней немного — часа два или три — гуляли. В начале марта мы догуляли почти до моего дома. Потом я повернул назад — проводить Фиру. Мы прошли квартала два, ничего не замечая, потом я обернулся и увидел, что за нами молча идет моя мать.

— Зачем ты преследуешь нас, мама? — спросил я.

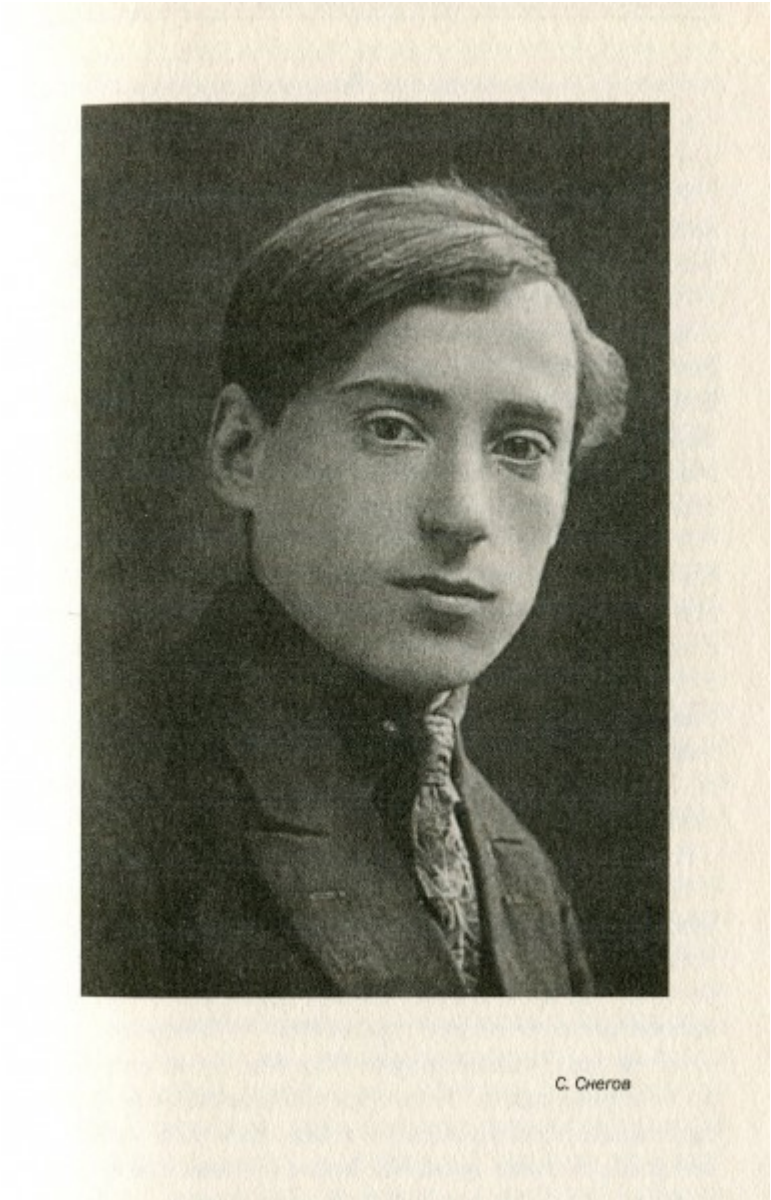
Она ответила очень властно:

— Оставь свою потаскуху и иди домой. Там поговорим.

Фира схватила меня за руку: она испугалась, что я устрою скандал прямо на улице. Но я даже не повысил голоса: дело было слишком серьезным, чтобы размениваться на уличные крики. Я сразу все решил.

— Фируська, иди домой, я скоро приду. Надо потолковать с мамой и Осипом Соломоновичем.

Всю обратную дорогу мама молчала. Я тоже. Отчим, увидев наши лица, испугался.



С. Снегов

— Зиночка, что случилось? — только и сказал он. И мама дала волю гневу.

— Вероятно, ничего особенного — если с точки зрения Сергея. Повадился по девкам — только и всего. Терпеть больше не могу — слышишь, Ося!

Отчим редко повышал голос — и на маму это действовало.

— Зина! Говори спокойно! Еще раз спрашиваю: что случилось?

Она заговорила спокойней:

— Ты всегда его выгораживаешь — так слушай. Я шла по улице, вижу: он со своей новой девкой подошел к дому, постоял и повернул обратно. Я пошла за ними. Он заметил и закричал на меня. Я приказала ему идти домой. Теперь спрашивай его сам.

Отчим повернулся ко мне.

— Что произошло, Сережа?

Я вынул из кармана свидетельство о браке.

— Мама оскорбила мою жену. Я ухожу. Ноги моей больше не будет в вашем доме!

Отчим молча прочел свидетельство и протянул его маме. Я выдвинул ящик комода, вынул свежую рубашку, свернул ее. Все совершалось в полной тишине. Отчим и мать следили за моими движениями. Мне хотелось сказать им что-нибудь гневное и грубое, но их молчание остановило меня. Я взял свидетельство о браке, спрятал его и вышел, тихонько прикрыв дверь, — мне показалось, что это подействует на них сильней, чем яростное хлопанье. На улице меня ждала Фира.

— Почему ты здесь? — чуть не закричал я. — Одна, ночью, на Молдаванке… Как ты посмела так рисковать? Я ведь мог и задержаться.

— Я не сумела пойти домой одна. Я так тревожусь! О чем вы говорили? Почему ты вышел так быстро?

— Я объяснил маме, что она оскорбила мою жену и что простить этого я не могу. Взял вторую рубашку и удалился. Вот, собственно, и все.

— Зачем ты взял рубашку? На тебе уже есть одна. И пиджак, и плащ…

— И пиджаков, и плащей у меня по одной штуке — и все на мне, а рубашек две. Зачем мне оставлять свою одежду, если я ухожу навсегда?

— Навсегда? — сказала она медленно. — Я думала, ты помиришься с родными.

— Моя мама, как и твой отец, не из тех, с кем можно легко помириться, — сказал я нарочито резко, чтобы избежать споров. — Да и я не очень способен вымаливать прощение. Мама это хорошо знает — она могла бы повести разговор по-другому.

Фира ничего не ответила. До ее дома мы дошли молча. Наконец я спросил:

— О чем думаешь?

— О тебе. Верней — за тебя. У тебя есть, где жить?

— Пока нет. Может, найду уголок у Генки Вульфсона.

— Я так и знала! Будешь жить у меня.

— Отпадает, Фира. Потом нечаянно нагрянет твой отец и

обнаружит нас в постели.

— К сожалению, постель будет случаться, как и сейчас, только в удачные дни. Я устрою тебе пристанище на чердаке.

— Чердачное логово! — засмеялся я. — Не думал, что дойду до этого.

Ту ночь я провел вместе с Фирой. А следующую — и многие другие — на чердаке. Любовь Израилевна устроила мне там приличное лежбище, — перин и матрацев не достала, зато нагребла соломы, накрыла ее чистой простыней и положила в головах настоящую пуховую подушку. Нашлось и старое ватное одеяло — ночи были холодные, я ежился даже в одежде.

Так прошло около полутора месяцев. Вечерами я сидел у Фиры или в библиотеке, иногда (если Любови Израилевне угрожало очередное посещение мужа) намеренно задерживался в обсерватории или слонялся по улицам, а после полуночи, когда сосед Вайнштейнов засыпал, украдкой пробирался на чердак и роскошно устраивался на чистой простыне, прикрывавшей старую солому. Только раздеться я так ни разу и не осмелился. И дело не в одном холоде — балки и стропила сплошь покрывала паутина. Это было очень противно…

Зато когда нам с Фирой удавалось побыть вдвоем, на мне не оставалось даже ниточки. И ходил я по комнате — если удавалось ходить — только в одежде нашего праотца Адама славных времен цветущего Эдема. И даже сейчас, по истечении многих лет и многих общений с женщинами, берусь утверждать, что те ночи были гораздо горячей и бессонней, чем ночи, проведенные Адамом с его простушкой Евой.

Вскоре я обнаружил, что главная трудность бытия состоит вовсе не в отсутствии благоустроенной жилплощади, а в гораздо более прозаической нехватке денег.

Утром после своего ухода, проверяя карманы, я нашел в них всего около пяти рублей. И вспомнил, что дома, в комоде, рядом с прихваченной рубашкой, лежала еще одна пятирублевка, недавно полученная от ученика, — ее-то я и не взял… Наверное, никогда — ни до, ни после — я так не жалел об утраченных деньгах! Но возвращаться за ними было немыслимо.

Оставалось успокаивать себя тем, что мама непременно заглянет в комод, увидит пятирублевку и поймет, что я ушел из дому без денег — и потому осужден на голодание. Это не может ее не расстроить! Она искренне горевала, когда я не доедал суп или оставлял половину жаркого, — а теперь для меня, может быть, станет проблемой простая горбушка хлеба… Конечно, мама будет мучиться! В мысли о ее страданиях было некое действенное утешение — и я к нему часто прибегал.

Лишения начались сразу. О том, чтобы есть что-либо приготовленное Любовью Израилевной (Фира на кухню заглядывала, только чтобы перехватить кусочек) не могло быть и речи. Прошло не меньше года, прежде чем я попробовал еду, сваренную не мамой. Эта сибаритская странность (и откуда она только свалилась на мою голову — при нашей-то бедности!) испортила всю мою жизнь. Правда, я охотно ел все, что можно было купить в магазине — хлеб, колбасу, фрукты, но они требовали денег, а деньги отсутствовали.

Я все же выработал меню, спасавшее от голода и позволявшее протянуть от одной репетиторской получки до другой. Дело в том, что стакан кислого молока с куском хлеба стоил в институтском буфете (да и в других кафе) всего пять копеек. Я рассчитал, что в этом случае могу позволить себе трехразовое питание. Ровно месяц я ни разу не отклонился от этой диеты. Я таил ее от всех — особенно от Фиры: моя жена вполне способна была прийти в ужас, узнав, как я питаюсь. Не уверен, впрочем, что сильно отощал от этого плотного довольствия: худому, подвижному парню, коим я тогда был, просто некуда было худеть дальше. Но именно в те дни я заработал устойчивую — на всю жизнь — неприязнь к кислому молоку, именуемому прекрасным и непонятным словом «мацони». О диете Фира не подозревала — но мое материальное положение ее тревожило. Я и сам понимал, что существовать на 5–8 целковых в месяц (столько я получал от учеников) невозможно, но другого приработка не светило. Фира стала настаивать, чтобы я попросил стипендию.

Студенты ежемесячно получали по 40–50 рублей — эта сумма вполне обеспечивала сносную жизнь. Правда, нэповские времена, когда фунт свежайшей и вкуснейшей чайной колбасы стоил 40 копеек (иными словами — рубль за килограмм), пирожное — 5, а мороженое, если поторговаться с разносчиком, даже 4 копейки, давно прошли. Теперь за килограмм колбасы брали 3 рубля, а за пирожное — 15 копеек. Но роскошная стипендия покрывала даже эти запредельные цены!

Я заколебался. Мой новый друг Оскар Розенблюм встал на сторону Фиры. Я попробовал сопротивляться.

— Но ведь ты, Ося, не подаешь, прошения! — Мы уже перешли на «ты».

— У нас с тобой разная ситуация. Во-первых, я не ссорился с родными. Во-вторых, я сын зубного врача, то есть человека свободной профессии. Детям таких родителей стипендии не положены.

— Я значусь сыном служащего — это тоже не сахар.

— Государственного служащего, Сергей! Большая разница —

служить государству или самому себе, как мой отец. Помни — попытка не пытка.

Я подал в ректорат просьбу о стипендии. В канцелярии мне разъяснили, что я должен заручиться рекомендациями трех важных институтских структур — парткома, комкома и профкома. И тут же добавили, что поскольку я не член партии и не комсомолец, то могу обойтись без партийного и комсомольского ходатайства. Но поддержка профкома обязательна даже для тех, кто еще не вступил в профсоюз!

Я пошел в профком. Председатель — высокий нагловатый парень, старшекурсник какого-то факультета, — принял мое заявление как просьбу о помиловании от закоренелого преступника, справедливо заслужившего смертную казнь. Фамилии его не помню, но звали его так же, как и меня, — Сергеем.

— Приходи завтра после лекций, я посмотрю твое личное дело, — процедил он сквозь зубы и указал на дверь.

Я был уверен, что ходатайства мне не видать. Первые же слова профсоюзного вождя, услышанные на другой день, подтвердили эту уверенность.

— Мы рассмотрели на профкоме твое заявление и решили его не поддерживать.

— Значит, отказываете? А почему?

— По самой простой причине — не заслужил.

Я стоял перед ним, сидящим за своим профсоюзным столом. Он ухмылялся мне в лицо. Он торжествующе выполнял главную свою функцию — ставил на место тех, кто страдал социальной второсортностью. Меня охватили отчаяние и бешенство. Но я сдерживался — пока.

— Не заслужил? По-моему, я числюсь хорошим студентом. Ни одной плохой отметки.

Он хлопнул рукой по моему заявлению — под ним, я видел, лежало мое личное дело.

— Что ты мне суешь зачетную книжку? По ней ты хороший. А по личному делу на стипендию не тянешь.

— Тогда объясни, что порочащего в моем личном деле. Он удивился моей тупости.

— Не наш ты человек — вот что. Из семьи какого-то служащего, а замахиваешься на стипендию, как будто сын рабочего или крестьянина-бедняка.

Я помолчал, стараясь успокоиться.

— Не наш человек, значит? А ты — наш?

— Я — наш, — с гордостью объявил он. — Отец — рабочий, дед — рабочий. Вот почему и поставили на это ответственное

место. У нас диктатура рабочего класса — может, знаешь? И я ее представитель в институте. Не тебе чета!

— Я знаю, что ты скотина и последний подонок! — закричал я. — Хвастаешься чужими заслугами! Представитель рабочей диктатуры!

Он вскочил — теперь мы оба стояли, чуть не упираясь лбами. Он грозно и негромко сказал:

— Наговорил, однако. Раскрыл свою натуру. Сын служащего позорит нашу рабочую власть. Сейчас пойду к ректору, подниму на ноги партком. Одно скажу напоследок: из института тебя выгонят с позором — это я обеспечу!

— Иди! Иди! — неистовствовал я. — И скажи ректору и парткому, что будешь исключать сына подпольщика-большевика, человека, который ставил эту диктатуру своими руками!

Он схватил лежащие на столе бумаги и выбежал из кабинета. Я ушел домой — к Фире. Она выслушала меня — и встревожилась.

— Он нехороший человек, все студенты знают. Чванлив, спесив, готов на любые пакости. Твоего исключения он, конечно, не добьется, но гадостей наделает много.

— Гадостей я не боюсь, а вот стипендия лопнула. Не знаю, что делать. Может, наняться в поденные грузчики на железнодорожной станции? Я где-то видел объявление…

Но дело повернулось иначе.

Меня вызвали к ректору института Фарберу. Его знали мало. Он никогда не посещал лекций и семинаров, редко появлялся на общих собраниях, даже в своем кабинете бывал нечасто. Говорили, что он из старых партийцев-подпольщиков — и в основном занят общественной работой. Самое главное — было решительно неизвестно: добрый он или злой. К нему старались не ходить даже по делу — для дел имелись проректоры и декан.

Я шел к Фарберу с тревогой.

Он был уже немолод. Величественная седая шевелюра резко контрастировала с по-юношески краснощеким лицом. Из-под больших очков (они были без оправы) проницательно светились глаза. Перед ним лежало мое личное дело, поверх него — прошение о стипендии.

Фарбер молча показал на стул и поправил темный галстук — видимо, он слишком туго охватывал белый накрахмаленный воротничок.

— У вас вчера произошла безобразная сцена с нашим председателем профкома, — сказал он. — Я хочу разобраться. Ваша фамилия Штейн?

— Штейн.

— Это по отцу?

— Нет, по отчиму — Иосифу Соломоновичу Штейну.

— Как фамилия отца?

— Козерюк.

— Он жив?

— Жив.

— В Одессе?

— Нет, в Ростове-на-Дону. Он живет там со времени своей дореволюционной ссылки.

— Почему вы не носите фамилию отца?

— Мама с ним разошлась. Я встретил его года три назад — и мы не поладили. Я взял фамилию отчима.

— Отчим — отчимом, отчимов может быть много. Отец — всегда один. Вашего отца зовут Александром?

— Да. Александром Исидоровичем.

— До революции он работал на заводе Гена?

— Сперва на заводе Гена, потом в железнодорожных мастерских.

— Александр Козерюк, — задумчиво сказал Фарбер. — Помню его. Отчаянная голова был ваш отец. Неизменный сторонник крайних мер.

Я молчал.

— Подведем итоги, — сказал Фарбер. — Сергею из профкома я укажу на недопустимую грубость. Сегодня же подам заявку в истпарт, чтобы прислали официальную справку о дореволюционной подпольной работе вашего отца. Теперь о стипендии. В институте с ними плохо. Но сына большевика-подпольщика без помощи не оставим. Желаю успешной учебы. До свидания!

Он встал и протянул мне руку.

В тот вечер мы с Фирой долго обсуждали наше будущее. Я считал, что меньше сорока целковых мне не дадут — так что основные материальные затруднения преодолеем. Фира тоже радовалась, но перспективы рисовались ей не такими благостными. Нас теперь трое, отцовский взнос да моя стипендия — это девяносто рублей. Правда, я обедаю не дома, а где-то на стороне, но моя еда тоже стоит денег — на нее и уйдет прибавка.

Даже тогда я не рассказал Фире о своей диете… Правда, я намекнул, что пора бы и перестать скрывать от ее отца наш брак: будет гораздо хуже, если он сам дознается. Но Фира не захотела даже слушать об этом.

А спустя несколько дней мы впервые поссорились.

Я уже говорил, что в Фириной комнате стояло пианино — на нем играла ее старшая сестра Эмма. Моя жена, как большинство

женщин, любила переставлять мебель — это давало ей кратковременное ощущение новизны. Пианино располагалось у внутренней стены — Фире захотелось поставить его в угол, где томился один из пуфиков.

Мы вдвоем перекатили громоздкий инструмент. Теперь он смотрелся изящней, но за ним образовался пустое пространство — комната стала красивей и тесней.

И вот однажды рано утром — мы с Фирой еще лежали — в дверь громко постучали и Яков Савельич потребовал:

— Фира, открой, мне нужно с тобой срочно поговорить.

Любови Израилевны слышно не было, — очевидно, он не стал ее будить (обычно она вставала поздно). Мы вскочили, я схватился за одежду, но Фира указала в угол:

— Лезь за пианино — там он тебя не увидит. Я его отвлеку!

Я проворно взобрался на инструмент и спрыгнул вниз. Фира бросила туда мою одежду и подала (не швыряя, чтобы не шуметь) ботинки. Голос отца стал сердитым.

— Почему не открываешь? Что с тобой случилось? Фира оглянулась (не завалялось ли где что-нибудь подозрительное) и гневно крикнула:

— Дай мне одеться! Потерпи, пока натяну платье.

Он замолчал. Потом я узнал, что, своенравный и вспыльчивый, он все-таки побаивался злить свою дочь. Фира открыла дверь.

— Входи, если понадобилось так рано разговаривать!

Яков Савельич вошел и свирепо огляделся. Фира стояла у пианино, чтобы закрыть расщелину между стеной и инструментом. Но он не пожелал лезть в угол. Видимо, с него было достаточно, что в комнате никого, кроме дочери, не обнаружилось. Выход отсюда был один — дверь, окна закрыты, этаж — третий… Вряд ли даже самый преданный поклонник отважился бы покинуть дом таким экстравагантным способом.

— Что молчишь? — сердито спросила Фира. — Раз уж поднял меня с постели, так разговаривай!

— Уже поговорили, — буркнул отец и ушел, так и не постучав к Любови Израилевне.

Фира кинулась к окну. Вскоре на улице показался Яков Савельич.

— Теперь выходи! — приказала она мне, скорчившемуся нагишом в тесном закутке.

Я перебросил через пианино одежду, потом выполз сам. Фира захохотала: я был с ног до головы облеплен паутиной — в темном углу ее скопилось много.

Я тоже засмеялся. Впрочем, веселье наше длилось недолго.

— Теперь папа подозревает, что у меня любовник, — сказала Фира. — И не успокоится, пока его не обнаружит.

— Он обнаружит мужа!

— Это еще хуже. Любовники иногда случаются — многие и разные, он это понимает. А муж — на всю жизнь, папа примет только того, кого сам подберет.

— Придется ему смириться со мной.

— Он с тобой не смирится. Не надо строить иллюзий, Сережа.

— Не надо строить иллюзий, что с таким положением смирюсь я! — ответил я резко. — Я больше не полезу прятаться за пианино — я тебе не нашкодивший кот!

— Больше такого не повторится, — сказала она кротко.

— Оно может повториться в любой день. Я не прошу — требую: прекрати этот глупый камуфляж! Твой отец должен узнать все.

— Ты забываешь, что мы зависим от него. Мама больна, она не может работать.

— Отцовская любовь ценой в пятьдесят рублей в месяц? — сказал я презрительно. — Ты хочешь, чтобы я уважал такого человека? О Любови Израилевне я не говорю: их отношения — их личное дело.

— Можешь не уважать, только не мешай нам жить, как мы привыкли.

— Вы-то, наверное, привыкли — но я привыкать не собираюсь!

Она долго думала, прежде чем ответить.

— Сережа, ты хочешь со мной поссориться?

— По-моему, мы уже поссорились, Фира. Боюсь, тебе придется выбирать: отец — или я.

Она сказала очень устало:

— Я думала об этом сотни раз. Здесь нет выбора: ты или он? Ни для меня, ни для мамы (я с ней уже говорила). Только ты, один ты! И ты напрасно спрашиваешь меня об этом — мой ответ тебе известен. Но если с моей мамой случится что-нибудь плохое, это останется на нашей совести.

Я ушел в институт раньше Фиры — она захотела поговорить с Любовью Израилевной. После лекции меня вызвали в канцелярию. Улыбающаяся секретарша Фарбера поздравила меня.

— Сообщаю вам постановление ректората. Вам назначена стипендия в размере…

Она говорила быстро, от волнения я плохо слышал. Я разобрал не все, но слова «…двадцать рублей» донеслись четко. Я ждал сорока или пятидесяти — так получали остальные студенты. Двадцатка не решала наших проблем, она казалась

издевательством — особенно после того, что я наговорил Фире. Мне стало очень обидно — и очень горько.

— Всем дают по сорок или пятьдесят — почему мне только двадцать? Разве я хуже остальных?

Секретарша засмеялась.

— Вы плохо расслышали. У вас персональная, а не общая стипендия. И размер ее — 120 рублей в месяц. Вот, прочтите постановление ректората.

Она протянула мне бумагу. В ней действительно значилась эта абсолютно непредвиденная цифра — 120.

В тот день домой я бежал, а не шел.

Фира была одна. У нее опухли и покраснели глаза, она с трудом поднялась с дивана. Я понял, что разговор с матерью был очень тяжелым. Но теперь было уже неважно, что они решили!

Фира опередила меня.

— Сережа, у меня две новости. Я нашла машинистку, которая сможет перепечатать твои «Проблемы диалектики». Нужно только раздобыть деньги.

— Отлично. Вторая новость?

— Я говорила с мамой. Она долго плакала, но я ее уговорила. Когда папа придет, мы расскажем ему о моем браке. Мама, правда, считает, что он проклянет меня и лишит помощи.

— Тогда слушай меня, Фира. Сегодня мне назначили стипендию. Она перекроет то, что вы получали от отца.

— Неужели больше пятидесяти? Неужели больше?

— Сто двадцать! — крикнул я. — Сто двадцать рублей, Фира!

Она обняла меня, прижалась лицом к моей груди и облегченно заплакала.

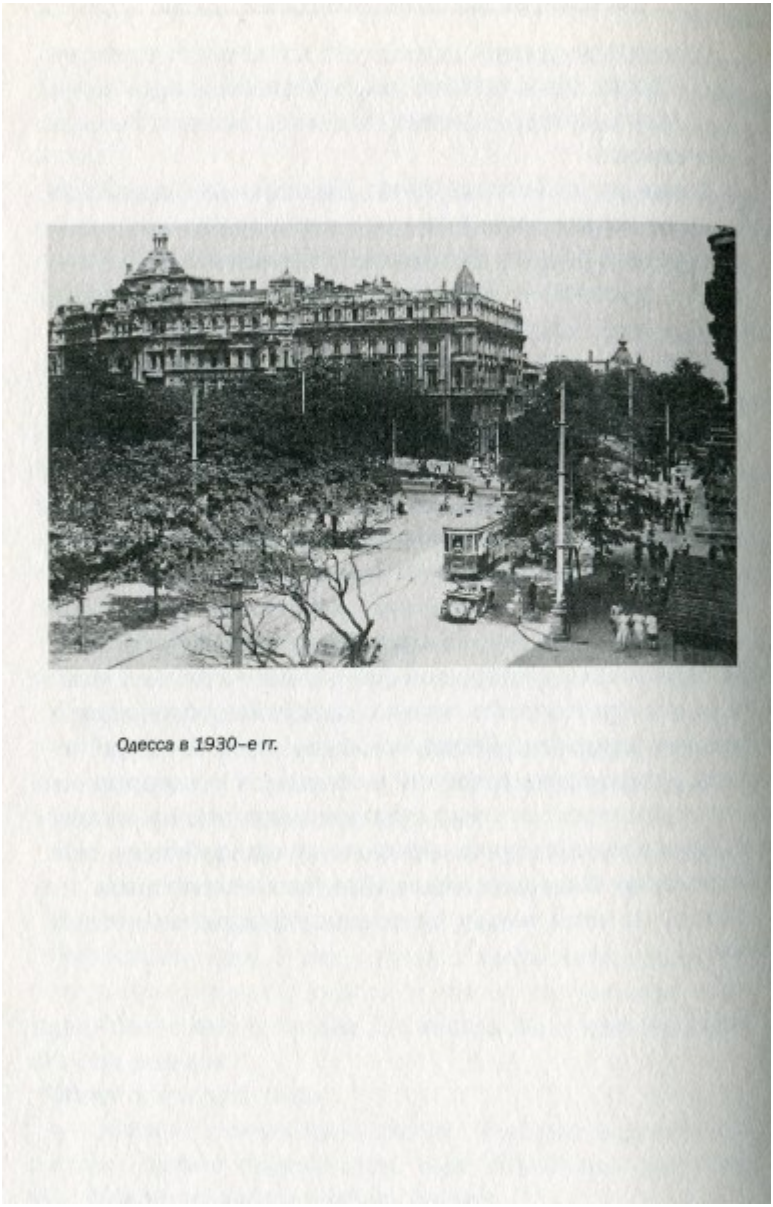
— Расскажи все подробно, — потребовала она, успокоившись.

И я рассказал, как меня вызвали в канцелярию, как я не понял, сколько буду получать, и расстроился, как радовалась за меня секретарша…

А потом замолчал. Я вспомнил, как обвинял председателя профкома в том, что он хвастается чужими заслугами. Моя персональная стипендия тоже была чужой заслугой. Сам я мог претендовать только на 40–50 рублей, как и остальные студенты. Остальное было оплатой труда человека, от фамилии которого я отказался, с которым не захотел общаться, который стал для меня чуть ли не врагом. Я не просто получал деньги за чужую работу — моя «персоналка» была аморальна. Она была недопустима.

Выводы из этой мысли предстояло продумать впоследствии.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Зрелость



Одесса в 1930–е гг.

Одесса в 1930-е гг.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Одесса

1

Подошла пора строить семейное гнездо — и оказалось, что я мало приспособлен к этому неизбежному занятию. Я потратил слишком много сил — и даже ярости, — отстаивая свою самостоятельность перед властной и крутой мамой, чтобы теперь, в той семье, которую выстраивал сам, суметь отказаться от завоеванного.

Но сейчас со мной боролись уважением и любовью.

Сначала мне казалось, что главная помеха нашей жизни — Яков Савельевич. Слишком уж много мне наговорили о его верности еврейским традициям и неприятии смешанных браков, да и контрольные его визиты (вечерние и утренние) особой радости не приносили. Позор, который свалился на меня, когда я, голый, прятался за пианино, жег душу. Я, не имея фактически ни гроша, повел себя по-диктаторски, хамски и дико, потребовав, чтобы моя жена и ее мать отказались от помощи отца. Я использовал свое право главы семьи — хотя вряд ли имел особые основания на него претендовать. Собственно, база у моих претензий была одна — Фирина любовь, и я бесцеремонно ее использовал.

— Я уеду в Ленинград к Эммочке, а ты живи как сможешь, — сдалась на требование дочери плачущая Любовь Израилевна.

Реакция Якова Савельевича на известие о том, что младшая его дочь выбрала себе мужа, не спросившись у отца и матери, была очень резкой — но все же не такой, как опасались.

Он, разумеется, обрушился на своих женщин с упреками и бранью. Конечно, заочно проклял меня — злого врага, разрушившего вековечные порядки в добропорядочной семье. Естественно, заявил, что видеть меня не хочет. И напоследок пригрозил, что больше никогда его нога не переступит порога квартиры, в которой совершилось это возмутительное преступление, — и несколько месяцев строго выполнял этот наложенный на себя запрет.

Однако гнев не помешал ему вынуть из кармана алименты и аккуратно положить (не бросить!) на стол обычные пятьдесят рублей. Правда, он поклялся, что теперь будет отсылать их по почте. Но время шло, обет не посещать изменническую квартиру был скорректирован: Яков Савельевич не появлялся у жены и дочери только тогда, когда дома был я. Он увиливал от встречи около года — а потом все-таки захотел посмотреть на своего зятя.

— В твоем отце борются национальная ограниченность и

общечеловеческое мужское начало, — сказал я Фире. — С первой все ясно. А его мужскую суть вы с мамой недооценили. Настоящий мужчина не сможет пренебречь помощью своей женщине (пусть даже оставленной), тем более детям — уже из одного чувства собственного мужского превосходства.

Фира, кстати, всегда сомневалась в существовании подобного, гендерно обусловленного, перевеса — что ж, ее отец сумел доказать, что это не пустые слова. Формально от его помощи отказались — но он продолжал приносить деньги в свою бывшую семью и обижался, если их не брали.

После знакомства мы с ним общались вполне мирно — я не видел с его стороны никаких националистических выбрыков. Возможно, его смягчило мое быстрое восхождение по научной лестнице, а может быть, причина была в том, что я, космополит генетический и идейный, даже внешне мало походил на классического гоя, «русско-кацапа» (недаром впоследствии коминтерновец Вайсфельд искренне предположил во мне некую «прожидь»).

Во время войны Яков Савельевич, еще в цвете сил, на пароходе «Ленин» эвакуировался со второй женой из Москвы в Новороссийск. «Ленин» был потоплен на переходе.

Весной 30-го на меня обрушилось много дел. Главным было то, что я закончил свои «Проблемы диалектики». Все, о чем я думал несколько лет, о чем спорил с Осей, наконец легло на бумагу. А еще — лекции, малоинтересная работа в обсерватории, семья… Потом, в тюрьме, во время вынужденного отдыха, я удивлялся тому, что меня на все это хватало.

Уезжая в Ленинград (об этом еще расскажу), я оставил «Проблемы диалектики» у мамы — и работа пропала. Сейчас, по прошествии шестидесяти лет, я с трудом вспоминаю содержание этой объемистой (свыше 200 страниц) рукописи. Постараюсь, однако, кое-что воспроизвести.

В первой главе трактовались проблемы перехода количества в качество. Я доказывал, что существуют две вариации этого закона — одна, гегелевско-энгельсовская, описывала скачок качества при непрерывности количественных перемен; другая, лейбницевская, говорила и о количественном скачке (одновременном с качественным). Вопросы движения, связывающего конечные величины с бесконечными (типичные проблемы точных наук), замыкались на этой вариации, которую я назвал вторым законом перехода.

Вторая глава была посвящена закону единства противоположностей. Я говорил о его статике, о тождестве противоречий, приводящем к устойчивому равновесию,

исследовал динамику противоположностей, перекосы их связей, перебросы главной роли от одного противоречия к другому — это нарушало равновесие и обеспечивало поступательное движение. Помню, что вывел какие-то правила и описал формы связи и динамики противоположностей. Глава вышла вполне конкретной (иными словами — научной), а не агитационной, как тогда было принято.

Примерами служили многочисленные факты из естественных наук и ленинская теория неравномерного развития капитализма. О том, что гипотеза эта привела Ленина к ошибочным выводам о неизбежности пролетарских революций, я не говорил — потому что верил в ее правильность. Меньше всего я мог осознать, что первая же осуществленная революция приведет (уже вела!) к бурному разрастанию еще одной, не замеченной Лениным, пары противоположностей: страха перед тем, что совершилось в России, и могучей коллективной волей впредь не допускать подобных катастроф.

В третьей главе я постарался логически обосновать ленинское положение о том, что в любом процессе имеется некий узел, основное звено, поведение которого определяет весь ход движения. Ленин рекомендовал ухватиться за это звено и при его помощи вытащить всю цепь. Кстати, он успешно использовал этот прием в своих политических операциях. Я считал, что понятие основного звена можно использовать в каждом процессе развития. И сейчас, многие десятилетия спустя, думаю так же.

Я уже забыл, что было в следующих главах. Помню только, что последняя из них называлась «Самодвижение понятий» — и я ей особенно гордился. В ней исследовались возможности тонких логических связей, которые позволяли найти решение совершенно неправомочно, казалось бы, поставленных вопросов. Ни одного из них, естественно, я сейчас и отдаленно не воспроизведу.

Рукопись была перепечатана, ее прочел и одобрил Ося — это был высший критерий ее доброкачественности. Передо мной встала новая — и не менее трудная проблема: что теперь с этой работой, уже написанной, делать? Мы с Осей решили послать ее по двум адресам: в Москву, в журнал «Под знаменем марксизма», и в Харьков, в Институт марксизма-ленинизма (так, кажется, тогда называлось это высшее философское учреждение). Командовали там известные ученые (украинский академик В. Юринец, приехавший из-за границы, академик Сенковский, написавший большую книгу о философских принципах теории относительности Эйнштейна), а директорствовал, если не ошибаюсь, Левик — кажется, отец известного переводчика

Вильгельма Левика.

Ответ из Москвы пришел довольно скоро: рукопись возвратили с припиской, что редакция просит написать статью о переходе количества в качество, используя материал первой главы. Письмо подписал Н. Кар — наверное, Николай Карев, известный тогда философ-деборинец.[87] Жестоко оскорбленный таким пренебрежением к моему труду, я и не подумал выполнять это пожелание.

Харьков отозвался через несколько месяцев — и об этом я еще поговорю.

Работа над рукописью осложнила мою семейную жизнь. Я постоянно думал о «Проблемах диалектики» — когда ел, когда разговаривал, когда ходил по улицам… Я впервые узнал, что можно поддерживать разговор на посторонние темы в тот момент, когда голова твоя занята совсем другим. Но, конечно, эту мою отрешенность можно было скрыть от всех — только не от молодой жены.

Фира раздваивалась: она восхищалась мной, но ей меня не хватало. Нет, она не упрекала, не обижалась — она, повторяю, восторгалась, а не возмущалась. За долгую мою жизнь мне, влюбленному, приходилось не раз делать и получать ослепляющие признания (и зачастую то, что я слышал, было сильнее того, что я произносил, — женщины любят обожествлять своих возлюбленных). Но никто и никогда не говорил мне таких слов, какие я слышал от первой моей жены, — и за одно это я остался ей благодарен на всю жизнь. Иногда мне даже становилось неловко: я, конечно, ценил себя высоко, но в тот, первый, наш год она ставила меня выше.

Помню ночной — после ласк — разговор.

— Фируся, я, разумеется, гениален — и не сомневаюсь в этом, — говорил я. — Но, видишь ли, мне еще нет двадцати. Говорят, если такой молодой человек чувствует себя гениальным, это юношеское преувеличение. Если подобные ощущения не оставляют его до тридцати, это прискорбное заблуждение. Если он продолжает твердить о том же вплоть до сорока, это нахальство. А если и после — то он и вправду гениален. Доживем до сорока, Фируся, и вернемся к этому разговору.

— Доживем, доживем! — смеялась она. — Но я и тогда не изменю своего мнения.

Нам выпало расстаться — и встретились мы, когда обоим подходило к сорока. Что ж, все вышло естественно: мы были другими, чем казались себе в двадцать лет.

Моя непрестанная отрешенность сделала Фиру одинокой. А она к этому не привыкла. Как-то она пошутила, что почувствовала

настоящее одиночество, когда перестала быть одна. Наша связь на время отменила дружеские посиделки в ее комнате. Правда, она — специально для меня — выучила два новых стихотворения: посвященное Амалии Ризнич «Простишь ли мне ревнивые мечты» Пушкина и «Мне в сумраки ты все пансионеркою» Пастернака (самые трагические, вероятно, произведения в лирике этих поэтов). Фира хотела играть в театре. Ее чтение было совершенным — так мне казалось тогда, так я это вспоминаю теперь. Я глубоко убежден, что в ней погибла великая актриса. Несвершенность — это была главная наша (моя, Фиры, многих друзей и самого времени) отличительная черта. По сути, мы все были кладбищами дарований.

Фирины друзья по-разному приняли перемену в ее жизни. Исидор Гурович мрачно сообщил мне:

— Вы опередили меня на два дня. Я уже собрался предложить ей быть вместе — и вдруг выскочили вы. Никогда вам этого не прощу!

Фира засмеялась, когда я передал ей этот разговор. Она увидела в нем лишнее свидетельство бабьей нерешительности мужчины, обладавшего импозантной и внушительной внешностью. Гурович вскоре утешился — женился на подруге Фиры, нашей свидетельнице Жене Нестеровской. Утешение, впрочем, оказалось малоутешительным. Брак был неудачен и скоро распался.

А Митя Спитковский пришел в неистовство. Он кричал Фире, что она его обманула. Он верил в их будущую любовь — нужно было только отогнать от Фириного дома Исидора. Он и не подозревал, что такой шмуряк, как я, может быть соперником ему, самому красивому парню среди ее знакомых. Если бы он только заподозрил, что я способен действовать так скрытно и неблаговидно, он расправился бы со мной, как я того заслуживаю.

А мне он с ненавистью объявил:

— Вы поступили подло, тайком одурив Фиру. Она не для вас. Долго вы вместе не проживете. Или она вас выгонит, или вы уйдете сами — когда поймете, что этот кусок не про ваш рот. И тогда приду я — уже навсегда.

Митя долго носился с этим решением. По-своему он мне нравился (не как соперник, разумеется, — как человек). В сущности, он был несчастен. В нем, казалось, все было — и всегда чего-то не хватало. Красивый, статный, велеречивый, хорошо одетый, великолепно выглядевший, он никогда не пользовался настоящим успехом. Он долго жил один — то ли из-за неразделенной любви к Фире, то ли из-за отсутствия тяги к нему у других женщин. Я не знаю, где и как он окончил свои дни.

Впрочем, до конца было еще очень далеко, а пока и он, и Гурович мешали мне жить спокойно. Как-то так получилось, что после недолгого ошеломления они снова стали появляться в Фириной комнате. И опять рассаживались на пуфиках около ее дивана, и слушали стихи или беседовали на модные темы — по моему разумению, разглагольствовали о сущих пустяках, не заслуживающих внимания. Я сидел тут же и внутренне кидался из крайности в крайность: наслаждался, слушая Фиру, и злился, когда вступали Митя с Исидором.

— Ты стала устраивать салоны, — зудел я после таких вечеров. — Но ты все-таки не мадам Рекамье, Фируся. Мне надоела эту пустая словоговорильня!

Фира смиряла меня ласками и хорошими словами — я быстро отходил. Я уже начинал понимать одну из главных черт ее характера, которая в конце концов и привела нас к разрыву: Фира была неспособна на жертвы. А я в те дни работал так напряженно, что присутствие посторонних было для меня нестерпимо. К тому же ненавидел пустобрехство (эта черта впоследствии осложнила отношения со мной не одному мужчине и не одной женщине) — у меня попросту не было пустого времени, его заполняли либо чувства, либо мысли, либо то и другое одновременно. Даже в тюрьме я мечтал об одиночке — самое страшное (для других) наказание виделось мне наградой, ибо там я мог оставаться наедине со строптивым, но неизменно интересным собеседником — самим собой.

Я отдыхал только при встречах с Осей. Ему я и пожаловался на свои заморочки. Он был категоричен.

— Да выгони их из дому! Ты мужчина или кто? Ну, и действуй по-мужски.

Кстати, Ося подружился с Фирой — как, впрочем, и я с Люсей, Осиной женой. Но он всегда был на моей стороне! Я знал: он не допустил бы у себя салона, в его доме был только один господин — он сам. И у этого господина был только один друг, имевший право находится в его квартире сколько угодно, — я.

Я попытался последовать Осиному совету. Никогда еще мы с Фирой не были так близки к разрыву!

— Чем тебе мешают мои друзья? — защищалась она, — Мне с ними интересно. Ты утыкаешься в свои бумаги, а мне что делать?

— То же, что делает Люся, — сидит в стороне и молча читает книгу, пока Ося работает.

— Я не Люся! Мне нужно, чтобы меня слушали. Я хочу быть актрисой.

— Ты учишься на математика, а не на актрису. И потом — у тебя под боком я. Читай мне одному.

— Сергей, не будь таким злым, — просила она.

Но я закусил удила — как в давних спорах с мамой. Правда, на этот раз я отстаивал не одну самостоятельность, а всю свою жизнь. Я не знал, что ради своего будущего готов пожертвовать будущим жены. Вопрос так еще не стоял. Это стало ясно потом, двадцать с лишним лет спустя, когда я влюбился в Галю, молодую, женственную, игравшую на сцене и подававшую большие надежды. «Или я, или театр — выбирай!» — сказал я. Она выбрала меня. И стала моим верным другом, моим усердным помощником — на те сорок с лишним лет, какие мы вместе (в радости и в горе) прожили.

А тогда, в юности, мой ультиматум был сформулирован несколько иначе.

— Или я, или вечные разговоры с друзьями, — сказал я жестко. — Сегодня твой вечер, они придут. И ты скажешь им, что закрываешь салон. А если не скажешь, то завтра я уйду.

— Я подумаю, — ответила Фира. — Пойдем погуляем, мне надо пройтись.

В те дни она отходила от аборта. Операция прошла благополучно. Все уладилось. Моя высокая стипендия позволила расплатиться с долгами, обеспечила нужный уход. Но Фира еще не успокоилась — к тому же я так некстати потребовал радикальных перемен.

Солнечный день клонился к вечеру, было прохладно — с моря дул ветер. Фира закутала шею красивым шелковым шарфом, конец его свободно развевался у нее за плечами. Какой-то мальчик задорно крикнул:

— Тетя, ты наполовину потеряла шарф — бросай его насовсем!

Фира, не оборачиваясь и не останавливаясь, сорвала его и кинула за спину. Я растерялся и застыл. Мальчик потянулся было за яркой материей, но взглянул на меня и заколебался. Я поднял брошенный шарф и догнал Фиру.

— Вторично возвращаю тебе то, что ты выбрасываешь. — Эта недавно услышанная фраза пришлась как нельзя более кстати.

Она приняла шарф как должное, но удивилась:

— Почему вторично?

— В первый и последний раз, — холодно пояснил я.

К чести моей своенравной жены, она больше ни разу не выбрасывала ничего, что мне приходилось бы поднимать. Дальше мы шли молча. Когда вернулись к дому, я сказал:

— Я еще погуляю. Вернусь к одиннадцати. Надеюсь, что я уже не застану твоих друзей.

Она молча поднялась наверх.

Вечером я позвонил своим обычным двойным звонком — и впервые не услышал быстрого стука ее каблучков. Дверь открыла Любовь Израилевна.

— Фиры нет дома? — спросил я с тревогой.

— Почему нет, Сережа? Как всегда, ждет вас.

В комнате было темно. Я зажег свет. Фира сидела на диване, поджав ноги.

— Твой приказ исполнен, — сказала она безучастно. — Салон мадам Рекамье закрыт.

Я постарался утешить ее ласками — обычно мне это удавалось. Салон был и вправду закрыт. Ненадолго.

2

Она была очень странной, весна 1930-го.

Я все больше уходил от реальной жизни в мир философии семнадцатого — восемнадцатого столетий, в мир Декарта и Ньютона, Спинозы и Лейбница, Дидро и Канта. К тому же я бредил средневековьем, временем высокой мысли и покоряющего искусства. Я наяву воображал вокруг себя узкие улочки, здания поздней готики, стремящиеся в небо, в истинное царство духа. Божественность (эта главная особенность средневековья) вливалась в меня даже с крикливых южных бульваров. Я жил, двигался, мыслил в двух мирах. Наверное, я был просто болен иносуществованием в обыденности. И выводили меня из этого бреда два человека — Ося (во время наших философских бесед) и Фира (в часы нашей нежности).

А реальное время, и прежде неспокойное, становилось все более грозным.

На селе совершались перемены, не поддающиеся разуму, — тому самому, практическому, о котором так много говорил Кант. Правительство поссорилось с крестьянством, так это выглядело со стороны. Что ж, наркомы у нас были высокоидейные — тем хуже для мужиков, которые эти идеи не разделяли. Надо, надо им перестраиваться!

Но мужики перестраиваться не пожелали — они начали бороться единственным доступным им способом, который был равнозначен самоубийству. Они бросали землю своих — от времен Рюрика — предков, оставляли родные дома и устремлялись в города, на умножавшиеся промышленные стройки. Одессу заполнили новые беспризорники — не бездомная детвора, густо заселившая подвалы и подворотни после гражданской войны, а вполне солидные мужики, а чаще — женщины с детьми, ищущие пристанища. Карточки на хлеб были

введены уже больше года назад — шли слухи, что по ним вскоре перестанут что-либо выдавать. Голода еще не было, страх перед ним опережал его появление. На селе творилось что-то немыслимое, но что именно — мало кто знал: газеты молчали, на партийных собраниях хвастались умножающимися достижениями, на улицах и дома говорили шепотом — все еще с гражданской твердо запомнили, что ЧК недолюбливает громкоголосья.

Статья Сталина «Головокружение от успехов» ворвалась в эту сумятицу слухов и тревог как всеозаряющая вспышка молнии. Крестьяне восприняли ее как предвестье освобождения. А горожан она ужаснула, ибо только теперь стало известно, в каких муках корчится раздавленная властью деревня.

Мы с Оскаром горячо обсуждали эти чрезвычайные обстоятельства.

— Это вина Сталина, — доказывал Ося. — Он сам перегнул палку, а теперь пытается ее распрямить. Это великолепно, что он исправляет свои ошибки!

— Лучше бы он их не совершал.

— Не лучше. Ты понимаешь, что это означает для такого самолюбивого человека — признать свою вину? Да он теперь из кожи вон вылезет, чтобы оправдать себя в глазах партии и народа! Помнишь статью Демьяна Бедного по поводу пятидесятилетия Иосифа Виссарионовича?

— Хорошо помню: Демьян хвалил Ленина за то, что тот прощал насмешки над собой (разумеется, если они были благожелательными), и сравнивал его со Сталиным, который никому ничего не спускает. И ты еще сказал, что Бедному аукнется эта юбилейная оценка сталинского характера. А что в результате? Демьян в фаворе, как никогда. Руководитель РАППа Леопольд Авербах даже требует одемьянивания литературы.

— Возможно, с Демьяном я промахнулся, и Сталин решил ему не мстить. Иначе и вправду не объяснишь, почему рапповцы носятся с Бедным как с писаной торбой. Но свои собственные ошибки, раз уж он их публично признал (хоть и валит на местные власти), он выправит круто и решительно. Попомни мои слова: скоро на селе наступит полное умиротворение и хозяйственный расцвет.

Как обычно, многое мы угадали — и во многом ошиблись. Не простил Сталин Демьяну рискованных оценок — только отложил публичную казнь знаменитого пролетарского поэта на пяток лет, до лучших времен. И вовсе не так уж смертно напугали его собственные ошибки — этот человек не поддавался панике и не праздновал труса. Самолюбие — вот что было для него главным.

Не умиротворение пришло в село, а подлинная война на истребление. Грозная власть гнула в бараний рог сопротивлявшегося деревенского трудягу, ставила над ним своего верного служаку — бездельника и лентяя, спасавшегося этими несложными, но истовыми требами от окончательного разорения. И хозяйственного расцвета не наступило — наступил голод, унесший через два года многие миллионы уже не сопротивлявшихся, уже полностью отупевших крестьян. И голод этот был сознательно инициирован.

Но об этом — позже. Вернемся в тридцатый год.

Жаркое его лето было отмечено всесоюзным (или всероссийским?) съездом физиков. На него приехали все крупные ученые страны, было много иностранцев. Я, естественно, ходил на все пленарные заседания. Помню величественного Абрама Федоровича Иоффе, патриарха русской экспериментальной физики и организатора съезда; быстрого, легкоречивого, остроумного Якова Ильича Френкеля (впоследствии он стал очень известен); молодого, изящного Игоря Евгеньевича Тамма… Кстати, со многими из тех, кто тогда приехал в Одессу, я познакомился — но уже значительно позже, в семидесятые, когда писал книги об атомщиках.[88]

Но самым интересным из приехавших стал для меня двадцатитрехлетний ленинградский физик Александр Львович Малый, родной брат Любови Израилевны. Помню, как я удивлялся и расспрашивал Фиру, почему у них разные отчества. И она объяснила, что у ее деда, Льва-Израиля Малого, было четыре сына (Матвей, Аркадий, Маркус и Александр) и три дочери (Нина, Екатерина и Любовь), и все они, кроме ее матери и Нины, из двойного имени отца предпочти для отчества первое.

Александр Малый, студент третьего курса Ленинградского университета, приходился Фире дядей — но был всего на четыре года старше своей племянницы (и на три — меня). Мы подружились с первой встречи. Формально физик, как и я, он, как и я, любил Пушкина и Тютчева, поэзию вообще, особенно ту, что была в те годы в официальном загоне (я имею в виду Серебряный век). И Пастернаком восхищался не меньше. И живопись изучал. Русский импрессионизм, мастеров «Мира искусств», моих любимых художников, Саша знал куда лучше меня! Он жил в Ленинграде, бывал в Москве — а я еще не выбирался из Одессы. Только в понимании архитектуры мы с ним разошлись. Он не разделял моего увлечения готикой, был чужд средневековью. Он был прикован к Элладе — первый искренний эллинист, какого я встретил в жизни.

— Саша, почему ты физик? — удивлялся я (мы с ним быстро

— все же родственники — перешли на «ты»). — Тебе нужно быть искусствоведом.

— Ты тоже физик, а увлекаешься искусством и лезешь в философию, — парировал он. — Верхоглядство, скажешь? Во все времена оно было ученой профессией.

Я и не знал, какую глухую и ноющую рану растравляю в его душе…

Внешность его тоже покоряла. Невысокий, крепко сколоченный, темноволосый, темнолицый, он озарял всех такими большими, черными — ночного сияния — глазами с белком такой яркой синевы, что даже глаза Фиры (а они казались мне несравненно красивыми) тускнели и пропадали в их свечении. И у него был умный и культурный голос. Я знаю: так говорить не принято, но настаиваю именно на такой формулировке.

Я, конечно, постарался познакомить его со своими друзьями. Осе он сразу понравился — приязнь оказалась взаимной. Они нашли две темы для постоянных бесед и споров: искусство, в котором Саша значительно превосходил Осю, и философию, в которой несравненно сильней был Оскар.

Я уговорил прийти на одно из пленарных заседаний Амоса Большого, моего друга по профшколе № 2, и в перерыве повел его знакомиться с Сашей.

— Малый, — важно произнес Саша и протянул руку.

— Большой, — веско отозвался Амос.

Они растерянно уставились друг друга, пытаясь понять, почему серьезное знакомство начинается с передразнивания. Недоразумение завершилось общим смехом.

Вторая одесская встреча показалась Саше далеко не смешной.

Александр Малый

Александр Малый

Мы с ним сели в трамвай, кативший не то по Ришельевской, не то по Екатерининской. Вагон был, как всегда, переполнен.

— Саша, ты в Одессе? — раздался вдруг радостный голос.

К нам протиснулся полнолицый и холеный паренек наших лет. Они с Сашей пожали друг другу руки и стали разговаривать о житье-бытье. Я сразу понял, что знакомство у них старое — воспоминаний хватит на всю дорогу. Неожиданно Саша поинтересовался:

— Слушай, а ты не знаешь, как поживает Додик Ойстрах?

У собеседника огорченно скривилось лицо.

— Саша, да это же я Додик! Значит, ты меня совсем забыл?

Саша что-то пролепетал, оправдываясь, и выскочил на первой же остановке. На улице он сердито пожаловался:

— Черт знает что получилось! Я его всегда видел только со скрипкой, а сейчас он ехал без нее. И совсем на себя не похож.

— Он скрипач?

— Начинающий. Но будет знаменитостью, в этом никто не сомневается. Давид Ойстрах еще прославит нашу Одессу! А я его не припомнил — так нехорошо…

Была у Саши одна забавная черта, мало соответствовавшая его реальной жизни. Выросший в патриархальной еврейской семье, по духу, по образованию, по работе типичный русский интеллигент, он всюду держался барином. И умел себя показать, умел быть центром общества. Он вел себя как аристократ, не будучи аристократом — ни по рождению, ни по положению. Друзья принимали это безропотно, а вот посторонние сопротивлялись. И Саша страдал от невнимания к себе — как от оскорбления.

Он был невероятно честолюбив, за честолюбием следовало и самолюбие. Несоответствие между тем, каким он видел себя сам, и тем, каким считали его окружающие, было заметно невооруженным взглядом. Думаю, именно из-за этого (несовпадения собственного высокого потенциала, который он так хорошо знал, и житейской обстановки) и возникали психические срывы и сердечные приступы. Инфаркты начались у него сразу после тридцати — от последнего, третьего, он и скончался пятидесяти четырех лет от роду.

После его смерти Академия наук назвала его именем — Александр Малый — один из кратеров (диаметром около тридцати километров) на обратной стороне Луны. Глубоко убежден: что если бы Саша знал, какая ему уготована честь — навеки поселиться на Луне, рядом с такими титанами, как Эйнштейн и Циолковский, — не было бы у него инфарктов!

После окончания съезда Саша решил устроить банкет — но пригласил в ресторан не физиков, а своих одесских приятелей. Естественно, были там и мы с Фирой. Помню двух женщин: изящную Марию Семеновну (она была лет на пять старше меня, ее фамилии я, кажется, так никогда и не узнал) и красавицу Илу Баруцкую — впоследствии известный художник Евгений Кибрик (видимо, не на шутку влюбленный) написал ее портрет. После войны она стала женой моего друга Рувима Морана. Я побаивался переводить взгляд на Илу — она была слишком хороша, на нее

нельзя было просто смотреть — ей можно было только любоваться.

Меня посадили рядом с Марией Семеновной — и к концу вечера я понял, что женщина рядом со мной заслуживает самого глубокого внимания. Саша делил себя между ней и Баруцкой. Впрочем, это больше походило на хозяйскую вежливость, чем на ухаживание.

В тот день я получил очередную стипендию. Деньги лежали в пиджаке и, естественно, жгли карман. Я осторожно поинтересовался, не требуется ли моя помощь. Саша посмотрел на меня как на человека, неизгладимо его оскорбившего.

— Сергей, я не знаю, чем заслужил такое отношение! — отчеканил он.

Пристыженный, я замолк. Я впервые был в ресторане, впервые пил шампанское, впервые ел вкусные блюда, даже названия которых не знал (на всякий случай я пробовал их очень осторожно). Тосты, остроты и застольный шум кружили мне голову. Я не был пьян (мне достался лишь один фужер шампанского), но радостное мое возбуждение смахивало на опьянение — я чувствовал себя своим в этой интересной компании.

Официант подал Саше счет. Через плечо Марии Семеновны я взглянул на исписанную бумажку. В самом низу был подбит итог — 102 или 103 рубля. Саша небрежно сунул руку во внутренний карман пиджака — и окаменел. Все в нем словно застыло. Стало ясно, что в кармане не оказалось бумажника.

Саша нашел самое простое решение: он встал и подошел к одному из своих приятелей (тоже делегату съезда). Тот испуганно покачал головой — очевидно, и он был без денег.

Я молчаливо ликовал. Я наслаждался, а Саша никак не мог скрыть растерянности. Я с нетерпением ждал, что он предпримет. Он немного постоял и медленно вернулся на место. И стал снова и снова шарить по карманам и вытаскивать оттуда какие-то бумажки — наверное, искал документы, которые могли бы гарантировать скорое возвращение денег.

Я перегнулся через стол и злорадно поинтересовался:

— Может, все-таки прибегнешь к моей помощи, Саша? Саша засиял, его глаза загорелись. Он умел с непостижимой быстротой менять выражение лица.

— Сколько у тебя, Сергей?

— Сто двадцать рублей.

— Давай все!

Я протянул ему деньги. Он быстро сунул их во внутренний карман и непринужденно заговорил с одним из гостей. Снова

подошел официант. Саша, не глядя, протянул ему всю пачку.

— Без сдачи, пожалуйста! — строго сказал он и впервые посмотрел на официанта. Он словно предупреждал: попытка вернуть лишнее будет воспринята как неуважение. Ошеломленный официант рассыпался в невнятных благодарностях (времена были из небогатых). Саша небрежно кивнул и продолжил прерванную беседу.

Все было так великолепно разыграно, что я, в немом восторге наблюдавший эту сцену, готов был его расцеловать. Повторяю: он был великим мастером строить из себя патриция. Он не пыжился, не выпячивался, не выпендривался — просто спокойно и изящно барствовал.

Впоследствии я не раз был свидетелем и участником подобных представлений — даже в условиях, казалось бы начисто отвергавших саму возможность какого-либо пижонства. Саша умел и пятак ставить рублем! Когда в шестидесятые годы к нему заваливались гости, он водружал на стол все имевшиеся запасы. А если их не было, одалживал у соседей деньги и немедленно посылал жену в ближайший магазин (и она не осмеливалась возвращаться домой со сдачей). Жили они тогда бедно. И после каждого такого блистательного приема компенсировали широту своей души тем, что переставали покупать мясо, становились вынужденными вегетарианцами, отказывали себе даже в недорогих фруктах. И этого никто не знал. Только я, близкий друг, видел, как скудно их каждодневное существование.

— Южанин без форса не может, — добродушно посмеивался Саша. Он, конечно, форсил — но никто не воспринимал это как дешевое пижонство. Саша облагораживал все, что предпринимал. Он неизменно казался щедрым и хлебосольным барином, каким-то образом дожившим до времен, зло отрицавших всякое барство.

Вечером того ресторанного дня, явившись домой (он жил у нас, в комнате Любови Израилевны), Саша радостно объявил:

— Жду поздравлений. Искренних и горячих!

— С тем, что так удачно выкрутился? — нетактично съязвил я.

Он посмотрел на меня с презрительным пренебрежением (это он тоже умел великолепно).

— С тем, что я женюсь.

— На ком?

— На самой очаровательной женщине в мире.

— Понятно, что не самую очаровательную ты в жены не возьмешь. Но все-таки — кто она?

— Твоя новая знакомая — Мария Семеновна.

— Мария Семеновна? И давно ты надумал на ней жениться?

— Три часа назад. Когда мы сидели в ресторане.

— И добился ее согласия?

— Не добился, а получил. Выбирай точные выражения. Я своих возлюбленных не бью.

В комнату вошла Фира и, узнав о дядиной женитьбе, забросала его вопросами. Он познакомился с Марией Семеновной года три назад, еще до того как покинул Одессу ради Ленинграда. Она живет со старушкой матерью. Им очень трудно. Они из тех, кого нынче за людей не считают. Не рюриковна, конечно, но все-таки пятьсот лет столбового дворянства — сегодня от такого тяжкого груза спина сгибается до земли. Знает иностранные языки, но кого они интересуют? Сочиняет трагедию «Фауст двадцатого века» — понятно, не для печати. Одну работу себе нашла — единственную, где не спрашивают: что делали ваши родители до семнадцатого года и ваши предки — до Ивана Грозного?

— Что это за удивительная работа, Саша?

— Натурщица изо-художественно-архитектурного института, — торжественно возвестил Саша. — Позирует студентам, рисующим с натуры греческих богинь. Чтобы изображать богиню, одной пролетарско-колхозной биографии мало — нужно иметь божественное тело. С биографией у нее неладно, но пятьсот лет антипролетарского бытия в конце концов создали у последней представительницы рода именно такую фигуру. Я любовался ею (естественно — на рисунках) еще три года назад, теперь можете восхититься и вы.

И он развернул перед нами несколько листов бумаги. На всех была Мария Семеновна — нагая, в классических скульптурных позах. Не знаю, какие были тела у реальных богинь, но она явно могла посоревноваться с любой из них!

— Голая она гораздо лучше, чем одетая, — сказал я, восхищенный.

— Нагая, а не голая, — строго поправил Саша. — Запомни на будущее: женщина в натуральном образе бывает четырех видов — раздетая, обнаженная, голая и нагая. Раздетой, обнаженной и даже голой может быть всякая. Нагой — только совершенная.

Примерно через десять лет я смог добавить к этой классификации женской натуральности еще один пункт. Комендант зоны обнаружил на наре лихого урки голую женщину и написал в отчете: «Мною поймана и изъята из мужского барака № 14 одна баба-зека в полностью разобранном состоянии».

Мой восторг не нашел понимания у собарачников. Термин «разобранная» был им гораздо ближе и понятней, чем «обнаженная», тем более интеллигентское «нагая». Это был их

натуральный язык.

— Завтра Мария Семеновна будет здесь, — сказал Саша. — Сможете сами убедиться, какая она удивительная.

— Только не говори маме, что она работает натурщицей, — взмолилась Фира. — Ты знаешь, у нее предрассудки. Она не переживет, что невеста ее брата показывается голой молодым студентам.

Мария Семеновна сумела понравиться Любови Израилевне. А я был ею очарован. Истинная интеллигентка, какой всегда не хватало в моем окружении, — умная без выпячивания, культурная без предрассудков, она, русская в долгой цепи предков, достигла того высшего космополитизма, каким завершается развитие любого национального интеллекта. И она прекрасно знала мировую художественную литературу.

Как-то так получилось, что нас связала поэзия. Даже Фире я редко читал свои стихи, а вот Марии Семеновне — постоянно.

Она приходила к нам по вечерам. Саша не всегда бывал дома — он часто встречался со старыми друзьями. Я занимал Марию Семеновну разговорами — она охотно слушала, я охотно говорил.

Помню я как-то прочел ей:

Я шел, я вздрагивал, я умирал.
Сомненья, тревоги, забытые песни,
Забытые мысли, внезапно воскреснув,
Кружили меня. Но я умерял
Свой шаг. Но я заглушал свои чувства.
Я спрашивал: кто я? Чего я мечусь так?
Зачем мне волненье? Зачем мне тоска?
И путаясь в счастье, я думал: в крови я.
И мысли кружились, больные, кривые,
Как наспех набросанная строка.

— Школа Пастернака, — безошибочно определила она. — Сразу вспоминается его Марбург: «Я вздрагивал. Я загорался и гас». Прочтите что-нибудь специфически свое, оригинальное.

Я не делил свои стихи на подражательные и оригинальные. Я знал только одну градацию: хорошо, посредственно, плохо.

Но читать не отказался.

Смолистый запах вековой сосны,
Запутанные звездные дороги.
Над лесом месяц поднялся двурогий,
И все окрест холмы озарены.
А у реки, на соснах, что убого

Торчат на берегу, забравшись высоко,
На ветви их спит Бог.
И далеко Несется гулкое дыханье Бога.

— Это уже лучше, Сережа, — сказала Мария Семеновна. — В вас, мне кажется, есть что-то пантеистическое. Прочтите еще что-нибудь в том же духе.

И тогда я прочел ей стихотворение, казавшееся мне лучшим.

С утра было душно. Тяжелые тучи
Громадою рваной, угрюмой, кипучей
Запутали небо. И в толщах их
Ветер запутался и затих.

Все было спокойно. Но мысли сгорали,
Но тело металось в тоске и смятенье.
Звенело в ушах, проносились тени,
Виденья рождались и умирали.

И образы, яркие, как вспышки молний,
Как бред, беспорядочные и оголтелые,
Врывались в сознание, и думы полнили,
И полонили смятением тело.

Все было спокойно. Но слышалось уху,
Как доски скрипели, как где-то в саду
Срывались плоды и падали глухо,
Как ветви покачивались в бреду,

Как липы тревожно шептались с дубом,
Как камни стенали, толкаясь в стене…
Все шло как в неровном запутанном сне —
Над миром гудели беззвучные трубы.

Все было спокойно. Но виделось ярко
В постели, над книгой, в безумии парка,
Как в каждом движении, как в каждом звуке,
В смятенье, в бреду, в беспокойстве, в муке

Рождался в ночи, расправляя стан,
Сам яростный Бог, сам лохматый Пан.

— Сережа, вы не пробовали профессионально уйти в поэзию?

Мне кажется, вам бы это удалось. — Она говорила задумчиво, словно сама с собою.

— С меня хватит физики с философией, Мария Семеновна. Да и там я пока верхоглядствую. Зачем добавлять к верхоглядству дилетантство?

Помню, очень хорошо помню, что в тот момент я был неискрен. И физику, и философию, и стихи я считал не дилетантством, а вполне квалифицированной работой. Но признаться в такой лестной оценке своих дарований не посмел. Я был о себе очень высокого мнения, но только про себя — не дальше.

Я поспешил переменить тему.

— Должен признаться, Мария Семеновна, я недавно любовался вашей фигурой. На рисунках ваших студентов, разумеется.

— Ну и как — я вам понравилась? — спросила она равнодушно.

— Восхищен! Вы переступили грань совершенства. Жаль, что я не принадлежу к числу ваших студентов.

Она оживилась.

— Вам так хочется увидеть меня в натуре? Но это же очень просто. Притворитесь студентом, пройдите в мастерскую, возьмите свободный мольберт, пришпильте к доске лист бумаги и сделайте вид, что рисуете меня. Никто вас не остановит, ручаюсь.

Это было заманчиво, но неосуществимо. Остап Бендер, пытавшийся намалевать агитационный плакат, выглядел мастером по сравнению со мной. Даже под страхом смерти я не смог бы провести ни одной линии, хотя бы отдаленно напоминавшей изгиб живого тела.

— Это очень плохо, но поправимо, — сказала Мария Семеновна. — Исподволь попрактикуетесь — и сможете обмануть наших служителей. Вы думаете, среди студентов-архитекторов встречаются гении живописи?

Я обещал попрактиковаться в рисунке и возобновить этот разговор. Разумеется, о посещении изомастерской и думать было нечего.

Вскоре Саша и Мария Семеновна уехали в Ленинград. Спустя примерно год, в один из отпусков, туда приехал и я — познакомиться с городом и родственниками Фиры. Зачем-то забрел на Моховую и встретил Марию Семеновну.

Я обрадовался ей, она тоже.

— Пойдемте к нам, — предложила она. — Саша уже знает о вашем приезде. Он, наверное, уже дома.

В то время у Саши не было постоянного жилья — он жил то у

родственников, то у знакомых. Квартира, куда меня привела Мария Семеновна, принадлежала, кажется, ей самой — две небольшие комнатки в многоэтажном доме. Ни Саши, ни ее матери не было. Мы уселись на диван.

— Где вы сейчас работаете, Мария Семеновна? — спросил я.

— Ах, Сережа, где я могу работать? С моим порочным прошлым — несколько столетий дворянства… От меня в любом хорошем учреждении отшатываются как от чумной. Пошла опять в ИЗО — демонстрирую греческих богинь для студенческих карандашей.

— А мне так и не удалось повидать вас в вашем служебном божественном облике! Ленинград не Одесса — обманом здесь в мастерскую не проникнешь…

Она лукаво посмотрела на меня.

— Вам по-прежнему очень хочется? Тогда подождите. Она вышла в соседнюю комнату. Я и не догадывался, что случится через три минуты!

Она снова появилась передо мной — нагая. Медленно прошлась по комнате, останавливаясь, поворачиваясь, принимая классические позы… Сотни раз я видел такие изгибы у мраморных шедевров древних греков и римлян, и впервые — у живой голой женщины. У меня перехватило дыхание, но не от мужского голода — от восхищения. В ее наготе не было эротики — была эстетика. Я уже знал (мои подруги — и тогда, и потом — не раз это подтверждали), что пламенная греческая кровь не напрасно струится в моих жилах. Но в тот день, в сумрачном Ленинграде, где-то неподалеку от Моховой, оставшись наедине с обнаженной молодой женщиной, я неожиданно для себя понял, что есть более высокое и более могучее чувство, чем примитивное желание, — эстетическое наслаждение от ничем не прикрытой красоты.

Внезапно открылась дверь и вошел Саша. Я не услышал его — только увидел. Мария Семеновна скользнула во вторую комнату — перед ним мелькнула ее голая спина.

Саша надвигался на меня с искаженным лицом. Я еще не знал тогда, что он — в эти свои молодые годы — был бешено, до потери самоконтроля, ревнив. Но я все понял по его глазам. Понял — и, растерянный, вскочил с дивана. Увиденная им сцена была однозначной. Я чувствовал, что он кинется на меня с кулаками, если я немедленно не оправдаюсь. И не знал, как оправдываться.

— Что у вас происходило? — опросил он хрипло. — Почему Мария убежала?

Я молчал. У меня перехватило горло. Голос Саши стал

грозным.

— Молчишь? Еще раз спрашиваю: что у вас происходило?

Из соседней комнаты вышла Мария Семеновна в красивом мохнатом халате.

— Что ты так раскричался, Саша? Даже на улице, наверное, слышно, — сказала она спокойно.

Он повернулся к ней — такой же яростный.

— Ответь теперь ты: что у вас происходило?

— Да ничего особенного. Сережа хотел увидеть мои классические позы — я показалась ему.

— Нагой? — быстро спросил он. Я не сразу уловил, как изменился его голос.

— Конечно. Разве можно иначе?

— Все показала? — теперь Саша говорил совершенно по-другому.

— Почти все. Ты так неожиданно ворвался…

— А вот эту позу? А эту?

Он стал демонстрировать, о чем говорит. Она утвердительно кивала — он называл, очевидно, самые красивые (она начинала именно с них). Саша повернулся ко мне. Его лицо сияло. Он был не просто доволен — он гордился ею и гордился собой, имеющим такую жену.

— Ну как, Сергей? Понравилось?

— Выбирай более точные выражения, — отпарировал я его любимым присловьем. — Не могу ответить так просто: понравилось, не понравилось…

— Отвечай сложно. Ну?

— Я восхищен. Я испытал эстетическое наслаждение, если ты не боишься таких высокопарных слов.

— Правильно! Но все-таки признай: в образе Венеры Милосской она просто хороша, а в образе Артемиды-охотницы — великолепна. Афродита Книдская — тоже из моих любимых… А что понравилось тебе?

Он присел рядом со мной на диван. Он с восторгом описывал позы, входившие в художественный репертуар его жены. Ему и мысли не пришло, что я мог испытать что-нибудь, кроме эстетического наслаждения.

Он мерил меня своей собственной высокой меркой.

3

Однако вернусь к началу нашей дружбы.

Характерной особенностью нашего быта было то, что, знакомясь, мы спрашивали, где кто работает. Речь шла не о

призвании и увлечениях, не о страсти самовыражения — только о служебной принадлежности: должности, чине, профессии. Это было типично для винтиков государственного механизма эпохи всепожирающего гоббсовского Левиафана.[89] А мы все были винтиками…

Я, естественно, спросил Сашу, как ему учится в Ленинградском университете. Услышав, что плохо, — работа не оставляет времени на учебу, — поинтересовался и работой. Он ответил не сразу, а когда я стал настаивать, буркнул:

— Это не работа, а служение.

— Кому же ты служишь, Саша?

— Богатому рабовладельцу.

— Кому-кому?

— Рабовладельцу, и притом очень богатому. Разве я неясно выразился?

— Эта твоя ясность абсолютно темна. Я почему-то был уверен, что советская власть давно расправилась со всеми богатеями, а рабовладение отменено еще при царе-освободителе Александре Втором.

— Я сказал не богатей, а богатый. Уловил разницу?

— Пока нет. Чем же он богат, твой небогатей?

— Идеями. Желанием перевернуть современную технику. А еще — злодейским умением выжать из себя и тебя все жизненные соки, чтобы превратить заоблачные проекты в заурядную лабораторную практику.

— Воля твоя, Саша…

— Не моя, а его. Он всех подчинил. Вот почему я и в глаза именую его рабовладельцем.

И Саша поведал мне занимательную историю. Был у него в одесские школьные годы интереснейший приятель — Валя Глушко. Парень этот с детства увлекался астрономией, был рьяным посетителем школьной обсерватории, бредил космическими полетами, в пятом или в шестом классе завязал переписку с самим Циолковским, а затем переехал в Ленинград и поступил на физмат университета.

Но студенческими бдениями его занятия не ограничились. Он покорил своими идеями ученых, ему устроили встречу с Тухачевским — тот охотно помогает науке, перспективной для обороны. В общем — в Ленинграде создана специальная газодинамическая лаборатория, разрабатывающая двигатели для ракет большой дальности. Директорствует в ней Валентин Глушко, а его главный помощник, его любимый раб — Александр Малый. Работа зверски захватывающая, порой забываешь, что существует такая физическая категория — время, с которым (хоть

иногда, хоть редко) надо считаться как с трагической реальностью.

— Однажды под утро я завопил на Валю и других наших лаборантов словами твоего любимого поэта: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»[90] Они в ответ только хохотали, такие уроды. В иные минуты я способен заснуть стоя. Впрочем, с некоторыми из нас это случалось.

Через несколько месяцев, во время очередного своего приезда в Ленинград, я убедился, что Саша не преувеличивал. Он жил тогда на улице Деревенской Бедноты (в прошлом, кажется, Большой Дворянской) — ни один из сельских бедняков, естественно, и близко не подходил к этому аристократическому району. Как-то он отсутствовал дома ровно двадцать шесть часов: неподалеку, в равелине Петропавловской крепости, были расположены взрывные устройства, с помощью которых сотрудники лаборатории определяли силу тяги экспериментальных двигателей, — эту работу нельзя было прерывать. И пока я спешно готовил явившемуся наконец Саше еду, он повалился одетым на кровать и отключился. И проспал, ни разу не проснувшись, больше двадцати часов — время я определил по карманным часам швейцарской фирмы «Сигма» (их подарили мне к двадцатилетию). Но это было потом, а тогда, в Одессе, я возразил:

— Ты все-таки уехал в отпуск, Саша. Значит, и в твоей работе бывают перерывы.

— Только потому, что сам Валентин возжаждал отдыха. Завтра-послезавтра он приедет в Одессу, здесь у него остались отец и сестра. И немедленно появится у нас, чтобы предупредить: вслед за ним явится и его жена.

— Это так важно — знать, приедет его жена или нет?

— Очень важно. У нее нелады с семьей Валентина — возможно, она поселится у нас. Выгонит меня из комнаты Любы, а я выгоню Фиру из вашей — и будем жить так: Люба, Фира и Сусанна — с одной стороны, мы с тобой — с другой.

— Эта Сусанна, чувствую, такая же рабовладелица, как твой Валентин.

— Просто удивительно, как часто ты ошибаешься! Она очень вспыльчивая, очень сумасбродная, очень красивая и еще два «очень» — добрая и талантливая. Пока, правда, о ее талантах мало кто знает — она гид ленинградского «Интуриста», но закордонные зеваки, побыв с ней денек, потом долго бомбардируют ее благодарными письмами. Раза два даже цветы присылали — по предварительному заказу в наших цветочных магазинах.

— Ты говоришь о ней так, словно влюблен. Или был влюблен — до того, как ее перехватил Валентин.

— Опять ошибаешься! Она, во-первых, не в моем вкусе, во-вторых, моя племянница.

— Я знаю трех твоих сестер — Любовь, Нину и Катерину. Слышал и о трех братьях — Аркадии, Матвее и Эммануиле. Чья она дочь? И она на самом деле красива?

— Санна дочь Нины. А что до ее красоты — увидишь сам, когда она появится.

Первым появился Валентин Глушко. Его приняла Фира (Саши не было дома). Валентин вежливо поздоровался со мной, но говорил только с моей женой. Санна, двоюродная Фирина сестра, приедет примерно через неделю. Жить она будет не у нас, а на заранее подготовленной квартире.

Фира забросала его вопросами. Он отвечал кратко и точно. Впрочем, особого впечатления он на меня не произвел. Да, конечно, выше среднего роста, довольно красивый (хорошо прорисованное лицо свидетельствовало о мужестве и силе), — но, в общем-то, ничего экстраординарного. Я посчитал Сашино восхищение очередным преувеличением.

Сусанна появилась спустя неделю. Она не вошла, а ворвалась в нашу обитель. Фира, как метеор, помчалась на первый же звонок, но оглушительный трезвон продолжался и после того, как двери распахнулись, — Санна не умела сразу отрывать палец от кнопки. А затем зазвучали громкие, как выстрелы, поцелуи, радостные вскрики и какие-то, тоже выстрельные, слова. Только через полчаса в нашей комнате установился относительный порядок, при котором можно было членораздельно разговаривать.

— Это твой мальчик? — Санна бесцеремонно ткнула в меня пальцем. — Давай я его хорошо разгляжу: ты близорука и не могла всего увидеть! Мальчик, поворачивайтесь по моей команде и не спешите. Я недоступна очарованию с первого взгляда, это печальное свойство оставим Фире. Мне нужно вас внимательно рассмотреть.

— Рассматривайте, рассматривайте! — Честно говоря, я был порядком смущен — но все-таки не настолько, чтобы не смеяться. И стал медленно кружиться перед Санной, повинуясь ее жестам.

— В общем, парень ничего, но с недостатками, — авторитетно установила она после детального осмотра. — Плечи широкие — это приемлемо, но талия узка, как у девочки. Рюмочка! Для мужской фигуры — жидковато. И волосы длинные — зачем? Не по нынешней моде. Если не возражаешь, Фирочка, я постригу твоего мальчика, я могу это сделать. Нос длинный — к сожалению, не укоротить. Насчет глаз — ничего выдающегося ни

в ту, ни в другую сторону. Да, а как руки? Сила есть?

— Сережа носит меня на руках, — с гордостью сообщила Фира.

— Это хорошо. Пригодится, когда пойдем на Привоз за фруктами (в Ленинграде с ними плохо). Будет нести наши корзины.

— Сережа никогда не ходит на базар, — предупредила Фира.

— Теперь будет ходить. Иначе какой он тебе муж?

Пока она болтала с Фирой, я рассматривал ее, как забавную игрушку, — только что в руки не брал. Она была невелика, красива, изящна, быстра, темноглаза и темноволоса, одета с выкрутасами — явно не по зарплате мужа-инженера, даже выдающегося. Я потом узнал, что деньги ей поступали от отца. И раньше, при расцвете нэпа, и нынче, в его упадок, и после, в годы усиленного строительства социализма, он занимался одним и тем же, только название его работы менялось при каждом социальном катаклизме: от обыкновенного посредника — через специалиста-снабженца — до толкача и менеджера (так, кажется, именуют теперь дельцов такой специализации). А Михаил — он же Рахмиль — Исаевич Згут, отец Санны, невзирая на любые перемены, всегда оставался великим мастером своего дела!

— Как тебе понравилась Санна? — спросила Фира, когда мы остались одни.

— Еще не разобрался.

— А что показалось главным?

— Экстравагантность. Мне кажется, такие особы из кожи вон лезут, чтобы только удивить окружающих. Я неправ?

— Неправ. Она, конечно, экстравагантна, но только в одежде и поведении. Санна хорошо знает литературу, прекрасно читает стихи, интересуется живописью и архитектурой… И она сердечная и красивая — в нее влюбляются с первого взгляда.

— В это легко поверить! Сразу видно, что она из тех женщин, которые не просто покоряют мужчин — они делают это самозабвенно.

Свою кузину Фира знала лучше, чем я. Санна до старости сохранила и экстравагантность, и неутихающее стремление подчинять мужчин и подчиняться мужчинам — но этим она не исчерпывалась. Она была преданной матерью (к несчастью, ее ребенок умер маленьким), храбро воевала на Великой Отечественной (смелость ее была подтверждена многими орденами и медалями), после войны стала известной писательницей,[91] автором доброго десятка книг (многие из них были отмечены премиями и похвалами критиков и ценителей литературы).

Но обо всем этом — позже.

Моя узкая талия, судя по всему, так поразила Санну, что она уговорила меня на денек переменить пол. В церемониале переодевания участвовали все женщины — и она сама, и Фира, и даже Любовь Израилевна. Саше тоже отводилась важная роль: он методично обходил меня со всех сторон и беспощадно критиковал усилия модельерш.

Платье взяли у Любови Израилевны (Фирино и Сусаннино были мне малы). Теща, правда, оказалась пофигуристей — но ее одежку быстро ушили. Бюст соорудили из двух полотенец — и надежно скрепили мои махровые груди большим лифчиком. Подкрасили брови и ресницы, наложили тени — а вот румяна я отверг напрочь: мои щеки были и без того полны крови.

Труднее всего было с ногами: в туфлях с высоким каблуком (даже растоптанных) я не мог сделать и шага. И потом: женской обуви сорокового размера не нашлось ни в одном магазине. Пришлось ограничиться мужскими сандалиями. Саша умело утешил огорченных женщин:

— Девчата, вы наладили ему такой ошеломляющий бюст, что на ноги никто и не посмотрит. Разве вы не знаете, что прежде всего привлекает опытный мужской взгляд?

Примерно в полдень мы вчетвером вышли из дому и зашагали на Приморский бульвар. По малолюдной улице можно было идти в ряд (с боков меня охраняли Саша и Санна, Фира притулилась где-то с краю), на шумной Преображенской, а тем более — на Дерибасовской этот порядок нарушился. Мы разбились на пары — и все равно приходилось толкаться. Я выбрал себе Сусанну — она серьезней всех отнеслась к нашему маскараду. Моя жена, как ни старалась, не могла увидеть во мне женщину, а Саша слишком выразительно ухмылялся — это меня отвлекало.

Выходя из дома, я опасался, что все мужчины не будут сводить с меня глаз — и обман быстро раскроется. Но на меня просто-напросто не обращали внимания! Прохожие, сталкиваясь с нами, скользили по мне равнодушными взглядами. Видимо, я был вполне обычной девушкой: скромно одетой, не красивой и не уродливой, ведущей себя без зазывного нахальства. В общем — серятиной! Сначала я этому обрадовался, потом — обиделся. Мне казалось, что такая женщина, как я, заслуживает большего. Я стал поразвязней, начал пошевеливать плечами, пару-тройку раз невзначай столкнулся с проходящими парнями. Но те только бормотали «Простите!» и уходили не оглядываясь.

Мы уселись за столик уличного кафе, заказали мороженое и лимонад. Посетители этой общепитовской точки не проявляли к

нам никакого интереса. Сусанну и Фиру это восхищало (маскарад получился безукоризненный!), Сашу забавляло, а меня все больше утомляло. Даже легкое тещино платье казалось немнущимся как жесть — и таким же тяжелым.

На оживленном Приморском бульваре стало повеселее. Здесь можно было толкаться и громко разговаривать — до этого я побаивался подавать голос. Все-таки мой тенор (хотя позже, в лагере, его назвали неубедительным) было трудно замаскировать под сопрано, тем более — под дискант или фальцет. А в проспектном гаме он почти не выделялся.

Когда стало смеркаться, мы отправились на эстрадное представление в городской сад. На сцене хохмили известные комики. Рядом со мной уселся какой-то солидный чудик — и сперва осторожно, а потом все настойчивей стал касаться локтем моих полотенец. А я все нахальней и демонстративней поворачивался к нему боком — чтобы ему было удобней меня трогать.

Всю обратную дорогу я рассказывал о моем ухажере — и мы смеялись так громко, что на нас оглядывались. Похоже, люди старались понять: почему довольно изящная, неплохо одетая девушка хохочет таким совершенно неженским голосом? Но в вечернем свете разглядеть это было еще трудней, чем днем.

4

В тридцатом году жизнь моя круто поменялась. Но сначала — несколько общих замечаний.

К этому времени централизация в России приобрела невиданные размеры: прежняя российская монархия на фоне Центрального Комитета партии смотрелась чуть ли не детской игрушкой. А в ЦК почти бесконтрольно властвовал его Генеральный секретарь. Ни один русский император не имел такого влияния на общество, как Сталин. Большевистская практика полностью опровергла примитивную марксистскую теорию о роли личности в истории. Массы перестали быть движущей силой. Жизнь общества стала определяться характером вождя.

А вождь спешил и рубил с плеча — во всяком случае, так это выглядело со стороны. Правда, любую спешку вначале неторопливо обдумывали, просчитывая все последствия, — и лишь потом объявляли аврал. Расправа с крестьянством в начале тридцатых годов была разработана в двадцатых. Террор тридцать седьмого исподтишка подготовили чистки партии и общества двадцать девятого — тридцать первого. Плановым в этой стране

было не только хозяйство.

И одной из форм подготовки к грядущему террору (хоть и мелкой, но характерной) стала расправа с научной интеллигенцией. Именно в эти переломные двадцато-тридцатые годы Академию наук заполонили молодые советские ученые, а в вузах начали пересеивать сквозь идеологические сита старую профессуру — в первую очередь, естественно, гуманитарную. Впрочем, гуманитариями дело не ограничилось: гигантски развивающейся индустрии требовались специалисты — а для этого были необходимы все новые и новые вузы, все новые и новые преподаватели.

Оскар и я — к счастью или к несчастью — попали в категорию «наших людей». Нас вызвал профессор Леонид Орестович Пипер, который читал в институте курсы диалектического и исторического материализма, и предложил поработать вместе с ним.

Высокий, молодой, темноглазый, всегда в сумрачных очках, Пипер вызывал невольное уважение, какого не заслуживали другие диаматчики и преподаватели смежных дисциплин. И дело было не в том, что в своей области он был таким же глубоким специалистом, как академики Томсон и Орлов — в языкознании и астрономии, профессора Тимченко и Кириллов — в математике и физике. Философию Пипер, конечно, знал — но главным образом в той ее части, которая умещалась в рамках университетского курса диамата. Думаю, что в первоисточниках мы с Оскаром разбирались лучше и глубже, чем Леонид Орестович. Я мог читать лекции о Спинозе, Лейбнице, Гегеле, отводя по несколько занятий на каждого из этих мыслителей. Оскар был способен часами излагать теории Фихте и Шеллинга, к тому же он отлично разбирался в истории философии (от Платона до нашего Данилевского). Пипер не был на это способен и часто жаловался нам на ограниченность своих знаний. Впрочем, Леонид Орестович не только винился, но и обвинял. Однажды, года через два (к этому времени мы уже давно работали вместе), он с раздражением объявил мне:

— Сережа, вы кажетесь чуть ли не энциклопедистом, многих поражает ваша эрудиция — я сам временами вам удивляюсь. Но если по-честному, вся ваша образованность — дутая. Вы же ни одного иностранного языка не знаете — о какой серьезной учености здесь можно говорить? Но у вас есть незаурядная способность — вы всегда держите сведения, которые вам известны, в активном состоянии. В сущности, ваша эрудиция определяется вашей удивительной памятью — в этом вы нас всех превосходите. Знаете вы не так уж много, но свободно и быстро

вспоминаете нужные цитаты из Аристотеля и Спинозы, Дидро и Канта. А если пойдете сдавать того же Канта заурядному немецкому профессору, он легко посадит вас в лужу и больше тройки вы у него не заработаете.

Милый Леонид Орестович был, конечно же, прав. Знания мои были неглубоки и необширны (всю мою жизнь я сокрушался и временами даже скорбел по этому поводу), и хороший немецкий профессор быстро вывел бы меня на чистую воду, если бы я осмелился сдавать ему Канта, знатоком главных трудов которого считался в своем научном окружении.

Но главное было все-таки не в этом — и об этом главном Пипер промолчал, ибо оно непосредственно затрагивало и его самого. Моя нахватанность почиталась эрудицией потому, что пятнадцать лет идеологического вымывания привели к чудовищному упадку гуманитарных знаний (философии, социологии, истории, экономики) — причем это касалось и преподавателей, и студентов. На таком фоне Оскар и я не могли не выделяться.

Вполне по любимой пословице моей матери: на бесптичье и пес — соловей.

5

Нет, обаятельнейший Леонид Орестович Пипер покорил нас с Осей отнюдь не своей философской эрудицией. Удивительна была его жизнь, необычен был его характер. Меня вообще окружали воистину талантливые люди. Некоторые даже сумели реализовать свои интеллектуальные способности: кто — частично, кто (гораздо реже) — полностью. Но большинство все-таки пропадало, так и не осуществив себя. Страна моя была тюрьмой талантов. Любое дарование — это своеобразие, для претворения в жизнь оно требует интеллектуальной и гражданской свободы. Ни той, ни другой не существовало и в помине, а всякая нестандартность подавлялась как нечто имманентно опасное. Леонид Пипер всю сознательную жизнь пребывал в недрах этой жестокой давильни — пока она не расплющила и его самого, одного из своих создателей.

Его происхождение было удивительным. Король Карл XII, вторгаясь в Россию, прихватил с собой не только генералов, но и премьер-министра Пипера, произведенного в графы. Под Полтавой этот граф Пипер попал в плен. Он сидел за банкетным столом среди шведских военачальников, когда Петр Первый благодарил их за то, что они научили русских воевать и дали себя побить. Однако у императора был крутой характер:

поблагодарить пленников он поблагодарил, но тут же сослал их подальше от театра военных действий — на всякий, знаете ли, случай. Пипер попал в Сибирь и после войны остался в России — видимо, боялся появиться перед шведами, над которыми когда-то начальствовал. Леонид Пипер, сын графа Пипера, начальника Петроградского порта, был его потомком. Молодой аристократ, барич по происхождению, обхождению и привычкам и — одновременно — член РКП (б), партии русских большевиков.

В четвертом томе «Философской энциклопедии» о нем сказано: родился в 1897 году, член ВКПб с 1918, с 1921 — на педагогической работе, окончил ИКП (Институт красной профессуры), профессор Одесского (1928) и Ленинградского (1933) университетов, в апреле 1941 года расстрелян, посмертно реабилитирован.

За этой довольно обычной биографией скрывалась потрясающая необычность. Двадцатилетний граф отказался от привычек и традиций своего рода и своего класса и, полный великой и горячей мечты о неизбежной грядущей справедливости, вступил в партию злейших врагов своей семьи. Он был всей душой с этими людьми, но они ему не верили (из графьев же!). В гражданскую его направили следователем в ЧК. Страшное испытание — и точный расчет: если только притворяется, что наш, пускай становится проклятием для своего рода, исчадием ада для своего круга — тогда, кроме нас, ему некуда будет податься. Какая трагедия за этим стояла? Как воспринял он кровавую цепь, навеки — грузом вины и проклятий — привязавшую его к чужой повозке? Остался ли верен мечте своей юности? Не ужаснулся ли при виде крови и грязи, которыми она покрылась?

Мы никогда не задавали ему этих вопросов — наша дружба так далеко не простиралась. Он разрешал нам спорить с ним и втайне им восхищаться, но в душу его у нас пропуска не было. Он всегда оставался аристократом — ухоженный, бледнолицый, с белыми и пухлыми, страшной силы руками.

— У Пипера руки Петрония Арбитра, — говорил я Оскару. — Помнишь у Сенкевича:[92] ладонь почти женская, а схватил своего друга силача Виниция так, что тот и вырваться не сумел.

Так вот, о нашей совместной работе. Леонид Орестович вызвал нас с Оскаром к себе — и огорошил первыми же словами.

— По штату мне разрешено иметь двух ассистентов — по диалектическому и по историческому материализму. Хочу предложить эти должности вам.

— Да ведь мы еще студенты, только на третий курс перешли, — пискнул кто-то из нас.

— Это важно, но не определяюще, — постановил Пипер. — О вас очень хорошо отзываются. С ректором все согласовано, добро свыше получено.

И еще он сказал, что читал наши работы. Трактат Оскара о неизбежности испанской революции произвел на него самое глубокое впечатление: хорошее знание истории, мастерское использование материалистической диалектики, масса впечатляющих фактов об экономическом положении страны, отличная осведомленность о вождях…

Выводы покоряют убедительностью. Если в ближайшее время революция в Испании не произойдет, то это случится по ее собственной вине или из-за нерешительности испанских революционеров. Теоретически она обоснована абсолютно!

Революция в Испании произошла в следующем году — и почти точно по сценарию, который написал для нее Оскар.

Затем Леонид Орестович перешел к моим «Проблемам диалектики». Статью прислали из Харькова с очень хорошими отзывами, подписанными директором института марксизма-ленинизма Левиком и академиком Юринцом. Левик даже докладывал о ней наркому просвещения Украины Михаилу Алексеевичу Скрипнику (речь шла о положении дел в философских науках) — и тот собственноручно начертал предписание: «Назначить философа С. Штейна преподавателем одесских вузов».

— Для вас мнения Юринца с Левиком и указание Скрипника особенно важны, — сказал Пипер. — И не только потому, что вы, как и товарищ Розенблюм, еще студент. Вы — физик, эта область все-таки далека от проблем марксизма-ленинизма. Однако наш ректор Фарбер говорит, что ваше соцпроисхождение очень благоприятствует чтению лекций по марксистской философии. Вы, товарищ Штейн, будете помогать мне по диалектическому материализму, а товарищ Розенблюм — по историческому.

Мы были не единственными новичками в преподавательском корпусе института. Правда, остальные неофиты — Троян, Тонин, Лымарев (остальных не помню) — уже окончили вуз и даже имели некоторый стаж педагогической работы. Их разобрали другие профессора.

В общем, пышущий энтузиазмом отряд молодых ученых двинулся развивать науку — на благо укрепляющегося в стране социалистического строя.

6

Это было незабываемо: взойти на трибуну — и под десятками

обращенных на тебя глаз читать лекцию о великих теориях! Правда, поначалу меня смущало, что я был моложе своих учеников. Однако смущение это длилось недолго. Курс диамата приобретал все большее значение — это определяло и настроение преподавателей, и отношение студентов. Я умел говорить и научился распознавать, когда меня внимательно слушают, а когда тайком зевают. Мне говорили, что в студенческой среде я считаюсь хорошим лектором.

Что я читал? Вряд ли на этот вопрос можно ответить по-научному точно. Пипер излагал основы диамата — так, как они значились в программе, он не мог далеко от нее отойти. А мы с Оскаром углубляли его лекции. Мы не занимались пропагандой марксизма — мы рассказывали о его реальных философских основах, и это было ближе к настоящей науке, чем к агитации, которую требовали методички. Иногда, увлекаясь, мы шли дальше, не особо придерживаясь программы, — в те области, что захватывали нас самих. Как-то меня даже упрекнули, что я читаю буржуазный курс. Во всяком случае, это была философия — истинно источник марксизма, а не болтовня о нем! Я приносил в аудиторию книги великих философов — от досократиков до Бергсона — и цитировал, что поинтереснее и что могло дойти до моих слушателей.

К счастью, Пипер не заставлял нас вести занятия на тех факультетах, где мы числились студентами. Оскар, сколько помню, сразу пошел экстерничать и за год одолел два оставшихся курса. Я не сумел развить такой скорости — и посещал лекции еще два семестра, а потом приходил на факультет лишь для того, чтобы сдать оставшиеся экзамены.

У нас появилась некоторая известность — и не только в студенческих, но и в научных кругах. Во всех вузах срочно множились кафедры диамата — требовались новые преподаватели. Наши друзья Гордон и Тонин стали доцентами в индустриальных вузах. К весне одоцентились и мы с Оскаром, хотя в университете по-прежнему оставались студентами и ассистентами профессора Пипера. На мою долю выпала доцентура в трех институтах: холодильной промышленности, медицинском (на одном из факультетов) и даже Муздрамине (музыкально-вокальном). Оказалось, что для совершенствования дарования скрипачам и пианистам тоже требуется изучать победоносный марксизм-ленинизм…

Одно из моих педагогических назначений отдавало анекдотом. В университете, как, впрочем, и в других институтах, преподавалось военное дело — ВДП, что-то вроде военной допризывной подготовки. Армию я не любил, служба казалась

мне форменным насилием над самостоятельностью — и я с радостью получал отсрочки от призыва. Но неприязнь к армейской муштре не означала нелюбви к военной истории — тем более что войны составляли добрую половину общественных дел человечества (словечко «добрую» в данном случае следует понимать как обозначение количества, а вовсе не как оценку).

Преподавал военные дисциплины одноромбовик[93] военрук Хлебников, в гражданскую войну — один из героев сражения за Перекоп в составе 51-й дивизии В.К. Блюхера.[94] Воевал он, судя по всему, гораздо лучше, чем читал лекции.

Иногда Хлебников приглашал двухромбовика[95] Василенко, тогда, если не ошибаюсь, командовавшего 6-м армейским корпусом, расквартированным в Одессе. На одном из занятий Василенко поставил передо мной задание. Я — командир пехотной дивизии, она занимает фронт длиной двенадцать километров в холмистом районе без природных укреплений. На моем участке планируется наступление. Мне дополнительно придается усиление в размере четырехорудийной батареи шестидюймовых пушек. Что я в первую очередь сделаю?

— Прокляну свою судьбу, — ответил я не задумываясь. Василенко высоко поднял брови.

— Почему такая скорбь в предвидении наступления?

Смутившись, я объяснил, что скорби нет — есть затруднения. Тяжелая батарея шестидюймовок на конной тяге в пересеченной местности — отнюдь не сахар для командира дивизии. Гораздо легче сражаться, имея штатное оружие, чем проводить операцию с такой тяжеловесной подмогой.

— Интересное рассуждение, — сказал Василенко. — Между прочим, многие считают как вы. По собственному опыту знаю, что подобное орудийное усиление всегда связано с обострением начальственного внимания к твоему участку фронта, а это радует отнюдь не всех командиров.

Потом он перелистал чертежи, которые я (как и все) делал в порядке изучения ВДП, видимо, порасспросил в ректорате, кто я такой, и в следующее посещение института огорошил меня, что называется, в самое темечко.

— Мне кажется, у вас есть способности к штабной работе и понимание полевых командиров, — сказал он. — Не хотите приобрести военную специальность? Я мог бы походатайствовать о переводе вас в военный институт.

Я, разумеется, поспешно отказался. Василенко продолжал.

— Я, впрочем, так и думал, что вы не согласитесь. Тогда имею другое предложение. У нас при Доме Красной армии организуются курсы повышения квалификации для командиров

рот и батальонов. Не могли бы вы почитать им лекции о марксистском понимании войны — ее социальных причинах и общественных последствиях? Назовем этот курс так — «Учение Маркса-Ленина о войне».

Я в испуге отнекивался. Такие занятия может вести только военный. Что я знаю об армейской жизни, о способах сражений, о технических средствах боя?

Василенко спокойно опровергал мои возражения. Никто и не требует от меня знания военной техники, воинских уставов и армейского быта. Речь идет о самом главном — о социальных причинах войн, о том, что раньше называлось философией войны. Даже вопросы самой общей военной науки — стратегии — надо затрагивать лишь частично, в связи с экономикой, враждой между государствами и классовой борьбой внутри них.

Но ведь нет ни одного учебника такого курса — доказывал я. И не надо — устанавливал он. Вы, я это узнал, изучаете Маркса, Энгельса, Ленина и других теоретиков марксизма. Вот и расскажите комбатам, что говорили о войне наши учителя. И это будет ваш личный курс! Не боги горшки обжигают. И потом: вычитать у наших классиков нужные цитаты все же легче, чем заниматься обжигом.

В конце концов он меня уговорил. Время было такое: мы все легко хватались за неизведанное и неиспробованное. В эти годы всеобщей перебуровки море было по колено не только пьяным, но и трезвым. Я не составлял исключения. Лихое шапкозакидательство охватило село и город, быт и науку, астрономический календарь и семейные отношения. К тому же я уже прикинул: и Маркс, и Ленин военными дарованиями не блистали, учение о войне изложено практически одним Энгельсом, а уж его я знал, как говорится, «от и до».

Так начались мои лекции о марксистской теории войны. И продолжались они всю зиму, пока существовали курсы.

В свое оправдание скажу, что все-таки не позволил себе превратить эти занятия в халтуру. Трудолюбивая немецкая моя составляющая всегда протестовала против легкомысленной поверхностности. Моя библиотека быстро пополнилась десятками военных книг. Здесь были и пятитомная «История военного искусства» Ганса Дельбрюка,[96] и «О войне» Карла Клаузевица,[97] и «История войны и военного искусства» Франца Меринга,[98] и пухлая история Первой мировой войны генерала Зайончковского,[99] и только что вышедшее «Искусство вождения полка» Свечина,[100] о котором нынче рассказывает в своем «Августе четырнадцатого» Солженицын, и «Курс истории гражданской войны», и мемуары генерала Жомини,[101] и

Наполеон, и Гофман,[102] и Людендорф[103]… Часть из этих книг я перевез в Ленинград (они пропали после моего ареста), часть оставил у мамы (эти до сих пор стоят у меня на полках). Читал я с жадностью, память была отличная — материала для лекций хватало с избытком.

Однажды во время занятия в аудиторию вошла группа военных: сам Василенко и человек пять инспекторов из Москвы. Они чинно просидели до конца лекции, вопросов не задавали, но потом (очевидно — по их указанию) мне вручили какой-то подарок и грамоту с надписью: «За прочитанные лекции по теории войн». Я очень ей гордился!

Василенко еще не раз приезжал в Дом Красной армии. Ему нравилось со мной разговаривать. Я хорошо слушал, а его жизнь была вполне достойна авантюрного романа. И он умело разрушал созданные мной химеры — представления о наших великих полководцах как о выдающихся умах и кристально чистых личностях. Я как-то спросил, часто ли он обманывал своих командиров и солдат. Он посмеялся моей наивности.

— Ежедневно — так будет точно. Обман — важная форма военных действий. Причем обманывать нужно не только противника. Не будете же вы говорить своим солдатам о цели проводимой операции? В лучшем случае промолчите, потому что это — военный секрет. В худшем — солжете, чтобы обмануть и их, и противника. Причем второе случается чаще.

— У вас бывали трагические случаи, прямо требующие обмана?

— Один помню. На станции Синельниково мой полк взбунтовался. Митинг, крики, мат… Красноармейцы не просто отказались идти в бой — они были готовы повернуть оружие против нас. Мы наскоро посовещались — одни верные командиры. Я приказал придвинуть единственный наш бронепоезд к митингующим и вышел на площадь. Сказал речь о нашем красноармейском долге, а потом вынул револьвер и приставил его к виску. В другой руке у меня был платок. Мы тайно уговорились: если я им махну, бронепоезд накроет толпу пулеметным огнем. Толпа, увидя револьвер у виска, замолчала. Я кричу: «Ребята! Товарищи! На ваших глазах пущу себе пулю в голову, если не разойдетесь по ротам! Жду одну минуту. Хотите видеть меня живым или приговариваете к смерти?» И эта минута, доложу вам, была из самых тяжелых в моей жизни. Кончать с собой я не думал, но ведь если придется махнуть платком, весь мой восставший полк превратится в кровавое месиво. Нет, подействовало! В толпе стали орать: «Командир, живи! Убери револьвер!» Так я и потушил мятеж — обманом.

— Красочным спектаклем! — поправил я. — Простой обман без такой яркой сцены вряд ли подействовал бы.

— Именно на это я и рассчитывал.

После завершения цикла лекций я уже не встречался с Василенко. Слышал, что в годы страшных сталинских расправ он был расстрелян — как почти все командиры гражданской.

Дом мой в эти дни не оскудевал событиями. Любовь Израилевна переехала в Ленинград к Эмилии. Почти всю мебель она увезла с собой — это было приданое старшей сестры. У Фиры осталась одна комната. Вторая — отдельная, которую должны были отобрать, — полагалась матери в связи с ее болезнью. Чтобы не потерять это сокровище, Фира, еще при Любови Израилевне, устроила обмен.

Из роскошного дома на Троицкой мы переехали на Пушкинскую, в бедный двухэтажный домишко № 28 или 30 (он стоял рядом с редакцией «Черноморской коммуны»).

В глубине двора находилась квартирка на три комнаты, одна из которых была метров четырнадцати (ее окно выходило во двор), вторая, узкая, не больше восьми (но окно в ней тоже было), а третьей работал чулан, официально признанный жилым помещением. Большая комната стала общей, узкую я превратил в свой кабинет, а в безоконной нашла приют недавно появившаяся у нас домработница — Ирина.

У новой квартиры было два преимущества. Во-первых, она располагалась на самой красивой улице города. Во-вторых, я наконец-то (впервые в жизни!) получил помещение, в котором мог уединиться для работы. Я смастерил полочки для непрерывно умножающихся книг — и аккуратно размещал их по функциональному и содержательному ранжиру. Но тут же его нарушал, хватаясь то за одну, то за другую. Фира смеялась:

— В твоих книгах ясно просматриваются все три твои национальности. Аккуратный немец наводит порядок. Порывистый грек все разбрасывает. А покладистый русский равнодушно взирает на устроенный ими дикий хаос.

Домработницу к нам привела ее мать — по чьему-то совету. И добрая миловидная Ирина (настоящая степная украинка), и ее мать (высокая, страшно худая женщина) были типичным порождением социальных успехов года великого перелома. Иринин отец то ли был сослан, то ли вполне самостоятельно умер, а мать (вместе со старшей дочерью) от голодухи и неустройства сбежала в Одессу, оставив младшую (Женю) на попечение родственников.

Как раз в это время мы искали домработницу. При одной мысли об отъезде припадки Любови Израилевны стали учащаться

— за ней нужно было ухаживать. Моя новая зарплата позволяла нам такую роскошь. Мать Ирины, каким-то образом узнав об этом, привела к нам свою дочь. Ирина нам понравилась, мы ей тоже — и два последующих года мы трое прожили душа в душу. Потом она заболела — ей пришлось вернуться в деревню, на парное молоко и свежие яйца.

Я, однако, упомянул свою новую зарплату… Ассистент в то время получал 120 рублей, доцент — 250, профессор — 300. Асистентская ставка была равна персональной стипедии. Но я никогда не забывал, что моя персоналка незаконна: я получал ее не за собственные, а за отцовские заслуги. Причем от этого отца я отрекся, его фамилию перестал носить. Первая же зарплата немедленно вызвала желание отказаться от стипендии.

Сначала Фира удивилась, потом — возмутилась. Лишиться почетного отличия? В тот момент, когда скорый отъезд матери потребовал дополнительных расходов? Когда мы почувствовали, что можем не избегать кафе с пирожными и мороженым? Мне купили шевиотовый костюм (первый в моей жизни) — неужели и впредь экономить на носках и носовых платках?

До отъезда Любови Израилевны я еще сдерживался, но потом понял, что дольше медлить нельзя. Я подал заявление в ректорат: мол, оставаясь студентом, получаю зарплату преподавателя и потому считаю себя не вправе пользоваться государственной стипендией, к тому же повышенной. В ректорате удивились, слегка меня пожурили, но долго не уговаривали — мою стипендию раздробили и передали нуждающимся.

А Фире я поклялся, что возьму дополнительные нагрузки, взвалю на себя новые «часы», но перекрою образовавшийся урон. Богатыми мы с ней так и не стали, но свое обещание я выполнил — как вскоре выяснилось, на беду собственной научной работе.

Впрочем, работа моя пострадала не только от этого. Дело в том, что новая наша квартира быстро превратилась в подобие прежнего Фириного салона. Правда, на этот раз во всем был виноват я сам: меня одолевали друзья — и старые, и новые.

Старыми были Фима Вайнштейн, Моня Гиворшнер и Гена Вульфсон. Первых двух Фира сразу невзлюбила — она называла их воронами. Уезжая в Ленинград навестить мать, она неизменно причитала:

— Ну вот, останешься один — на тебя вороны налетят…

А хмурый Вульфсон ее очаровал.

— Ты для меня самый лучший — все-таки муж, — не то шутила, не то откровенничала она. — Но Гена, единственный среди наших друзей, гораздо лучше тебя!

Что-что, а сыпать парадоксами она в те годы умела — потом

эта способность, как, впрочем, и многое другое, в ней угасла. По сути, эта книга о том, как все мы, щедро одаренные природой, с годами неотвратимо стирались в ничто…

В страшный весенний голод 1933 года Гена в последний раз появился в нашей квартирке. Он улыбался, был оживлен и радостен — и это было так на него не похоже!

— Еду на село, — объявил он. — Необходимо помогать севу, там такая разруха! Получена партия новых тракторов, а как с ними управляться, знают плохо. Буду учить и просвещать — надо же вылезать из голода. Считаю это своим первым комсомольским долгом.

К этому времени он закончил профшколу № 3, специализировавшуюся на изучении машин, и стал крупным специалистом по автомобилям и тракторам. И уже имел свидетельства об усовершенствованиях — изобретательская его карьера развивалась очень успешно.

Мы с Фирой разразились напутствиями и пожеланиями. Пожелания наши Гене не помогли. Я еще расскажу, чем закончилась его командировка.

Среди новых знакомых, быстро ставших своими, самым заметным был друг и чуть ли не секретарь Пети Кроля, студент-архитектор Борис Ланда (он записывал кролевские стихи, поскольку сам автор не был охоч до записей).

Фима Вайнштейн, 1926 г.

Петя рекомендовал его в обычном для нас лапидарном стиле:

— Мой школьный друг Боб. Теперь он будет и твоим другом, Сережа.

Борис и вправду стал моим другом — сразу и навсегда. Он умер осенью прошлого, 1992-го, года. Инфаркт случился на кладбище, на могиле его жены — моей (в недолгие годы нашей молодости) Фиры. Пока я был в тюрьмах и лагерях, он, Борис, заменив меня у Фиры, воспитывал мою дочь Наташу с подлинно

отцовской любовью — вечно ему за это благодарен! Неровная, но верная наша дружба продолжалась шестьдесят три года.

Уже старики, лысые и седые, мы не уставали разговаривать о науке, о людях, о великих истинах и великих заблуждениях (во время своих визитов в Москву я обычно останавливался в их с Фирой и Наташей доме). В одно из последних свиданий я напомнил Борису стихи древнего китайского поэта:

Гляжу на себя в зеркало,
И печалюсь, и радуюсь.
Печалюсь, что весь седой,
Радуюсь, что дожил до седин.

И хоть мы с ним еще прошлой осенью радовались, что прожили такую долгую и такую незаурядную жизнь, я должен внести толику печали (самого человечного из человеческих чувств) в нашу общую радость. Она, радость, вовсе не равна удовлетворению. Это мое личное мнение, Борис его не разделял. Я считаю, что мы расстаемся с жизнью неудовлетворенными. Все мы не совершились — в разной степени, разумеется. Таким уж злым было наше время…

Но если был среди моих знакомых человек, наделенный воистину громадным талантом, воистину многосторонними (и глубокими!) дарованиями и абсолютно не сумевший претворить их в реальную жизнь, то в первую очередь он, недавно умерший мой друг Борис Давидович Ланда, второй муж моей первой жены. Детализировать не буду — Борис еще появится на этих страницах как составная часть моей собственной жизни.

Боб настолько освоился в нашей семье, что стал без предупреждения приглашать к нам своих приятелей. Однажды у меня образовалось окно между лекциями — и я вернулся домой днем. Фира была на занятиях, Ирина тоже отсутствовала. В комнате сидел незнакомый плотный парень и читал газету. Я остановился на пороге и удивленно на него воззрился.

Незнакомец расценил мое удивление как нерешительность и радушно пригласил:

— Входите, не стесняйтесь. Хозяина, правда, нет, но он скоро будет. Домработница ушла в магазин и разрешила мне здесь посидеть.

— Ну, если она разрешила вам, то, наверное, и меня не прогонит, — сказал я и присел у стола.

— Конечно, не прогонит, — заверил он. — Боб Ланда, мой приятель, утверждает, что здесь очень радушные хозяева. Они непременно обрадуются знакомству с нами.

— Тогда давайте воспользуемся их радушием, — сказал я и достал из серванта бутылку вина и две рюмки.

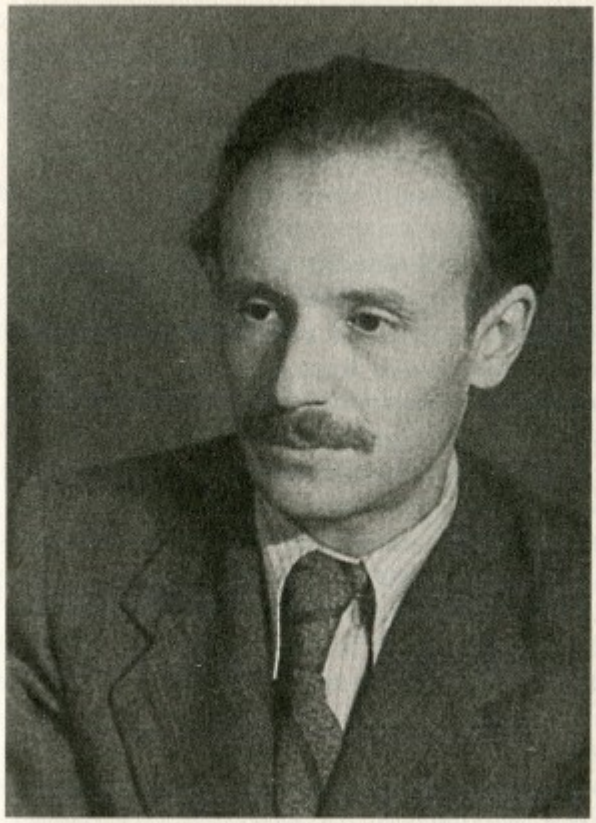
На лице незнакомца отразилось неодобрение.

— А вот этого не надо, — сказал он. — Я, знаете, не люблю переходить границы. Я ведь еще не знаком с хозяином. Нет-нет, поставьте бутылку назад, не будем нахальничать.

— Будем! — ответствовал я. — Ручаюсь, что хозяин не рассердится. Пейте спокойно.

Парень пил с опаской. Только приход Ирины разрешил недоразумение.

Новый знакомый побывал у нас еще раза два, потом исчез. Фамилии его я не помню.



Борис Ланда

Борис Ланда

7

Отъезд Любови Израилевны вызвал определенные трудности — теперь Фире приходилось каждые каникулы ездить к матери. Иногда я отправлялся с ней.

Весной 1931-го мы приехали в Ленинград и остановились у Эммы. Сестра Фиры жила в это время в пышном здании на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля (этажом ниже обитал Самуил Маршак). Дом был нарядный, но в многолюдной и тесной коммуналке Эмма с мужем занимали только одну комнату — и гости, конечно, страшно стесняли хозяев. Порой мне приходилось ночевать у Сусанны — та пользовалась большей жилплощадной свободой. Коммунальная квартира на углу улицы Желябова (или Перовской — не помню) и Невского проспекта была не такой большой и перенаселенной — всего две комнаты. В одной (побольше) жили Згуты (Нина Израилевна, ее муж Рахмиль Исаевич и Санна), в другой, совсем крохотной, с окнами на Невский, одинокий мужчина. В моей памяти почему-то засела фамилия Жуков, но я не уверен, что она принадлежала Саннину соседу.

Мы с Фирой ехали в Ленинград, уже зная невеселые семейные новости. Все они относились к Саше. Он поссорился со своим другом и начальником Валентином Глушко, бросил работу в газодинамической лаборатории, разошелся с Марией Семеновной, заболел каким-то сложнейшим психическим расстройством и попал в одну из клиник психоневрологического диспансера на Васильевском острове.

Мы поспешили на Васильевский. Нас предупредили, что с Сашей нужно разговаривать недолго и осторожно, не затрагивая никаких острых тем. Он был неузнаваемо худ и отрешен, разговор быстро стал ему в тягость. Я хотел было спросить его о Марии Семеновне, но сразу понял, что это невозможно. На прощание Фира сказала:

— Сашенька, ты скоро выздоровеешь, врачи это твердо гарантируют. Приезжай к нам на юг, степь и море помогут тебе окончательно поправиться.

— Приеду, — вяло пообещал он.

Я попытался раздобыть адрес Марии Семеновны, но его никто не знал. Кстати, квартира Эммы была недалеко от Моховой, но я не сумел вспомнить дома, в котором был только однажды. И в адресное бюро я не мог обратиться — я никогда не знал ее фамилии. Так и выпала из моей жизни эта недолгая, но удивительная моя знакомая.

В тот приезд я во второй и последний раз встретился с Валентином Глушко. Они с Санной жили — возможно, временно — в разных квартирах. Он пришел в дом своей жены. Санна где-то задерживалась, родители встретили его с большим почтением, но он не пожелал долго развлекать их малоинтересным бытовым разговором. Со мной, впрочем, он говорил несколько дольше.

— Вы заканчиваете физмат? — поинтересовался он. — Мне нужны хорошие физики. Не хотите переехать в Ленинград и поступить в мою лабораторию? Вы, кстати, знаете, чем мы занимаемся?

Кое-что я знал. Помню, я спросил Глушко, сильно ли его работы отстают от аналогичных исследований американца Роберта Годдарда и австрийца Германа Оберта (это были крупные конструкторы). Валентин презрительно скривился. Думаю, он не видел равных себе во всем мире. Надо сказать, основания у него были, свидетельство тому — блестящие успехи нашего ракетостроения. И если бы не арест в конце тридцатых и не шестилетняя оторванность от науки, он достиг бы еще большего. Впрочем, его послеарестные достижения и так огромны. Тогда, в день нашего разговора, он еще не предвидел непростого своего будущего, его переполняла уверенность в себе.

— Сегодня мы далеко превзошли и американцев, и немцев, — сказал он. — Думаю, наш новый двигатель гарантирует полет ракеты километров на триста. Но вы не ответили на мое предложение!

Я отказался от его предложения. Передо мной, молодым преподавателем диамата, открывался путь в философию. Она интересовала меня больше, чем прикладные области физики. В отличие от Гены Вульфсона, в любой отрасли техники я чувствовал себя неполноценным.

Последние ленинградские дни ознаменовались забавным происшествием. Сосед Санны Жуков зазвал меня к себе в комнату и показал главное свое сокровище — упакованное в яркую коробку, оно красовалось на самом видном месте. Это был набор разноцветных японских презервативов разных размеров.

— Двести пятьдесят штук, — похвастался он. — Ни в одной аптеке не достанешь, а у меня на годы запасено.

В то время импорт презервативов был прекращен, а подмосковный завод в Баковке еще не наладил производства этих житейски необходимых предметов.

Только-только поселившись со Згутами, Жуков пытался ухаживать за молодой своей соседкой, но получил такой отпор, что повторять попытку не осмеливался. За Санной вообще увивалось множество мужчин — и она не церемонилась с теми,

кто ей не нравился.

Как-то после войны, одинокая, она разоткровенничалась со мной:

— Добродетельные особы называют меня распутницей. Но это неверно, Сережа! Я отдавалась только одному из каждых десяти мужчин, которые меня добивались. А эти праведницы просто никому не нужны! И потому отдаются первому встречному, который посмотрит на них попристальней. Кто же из нас распутен?

На взаимность Жуков уже не надеялся — но за соседкой подглядывать не переставал. Я как раз был у них и разговаривал с Рахмилем Исаевичем, когда Санна пошла принимать ванну.

Жуков сделал вид, что не заметил этого, — и дернул дверь (он отлично знал, что в старых ленинградских домах все внутренние замки обычно не работали). Она распахнулась — и Жуков увидел намыленную Санну. Голая, разъяренная, вся в пене, она выскочила из ванны и кинулась его бить.

Он метнулся на лестничную клетку, а Санна ворвалась в его комнату, чтобы разнести там что-нибудь вдребезги, увидела нарядный ящичек с красочными японцами (он был открыт) и вышвырнула его на Невский.

В этот ветреный весенний день 1931 года над главной улицей Северной Пальмиры летали презервативы…

Они планировали и оседали на головы прохожих. Люди кричали: кто-то негодовал, кто-то торжествовал и жадно хватал падающий с неба дефицитнейший дефицит.

Взглянув в лестничное окно, Жуков понял, какой жестокой оказалась месть Санны. Он завопил:

— Сергей, спасай! — и ринулся на Невский.

В это время я был в коридоре — выскочил на гневные вопли голой родственницы, но передумал ее защищать и кинулся за Жуковым. Он ползал по асфальту, умоляюще крича: «Мое! Мое!» — и торопливо собирал разноцветные пакетики с японской продукцией. Кое-что ему удалось подобрать, но большинство хитрых изделий пропали в карманах проходящих мимо мужчин. А какая-то часть, думаю, залетела и в женские сумочки — в конце концов, женщины были заинтересованы в них не меньше. Когда мы вернулись домой, Санна рассказывала родителям о происшествии — из-за двери слышался ее возмущенный и насмешливый голос.

Потом она хвасталась, что, увидев ее, Жуков немедленно прячется в свою комнату.

В начале лета Саша вышел из больницы и приехал к нам в Одессу. От его болезни не осталось и следа. Он снова был весел,

словоохотлив, бодр, но наотрез отказывался говорить о причинах своего ухода из газодинамической лаборатории.

— Не о всяких секретах можно распространяться, — веско осадил он меня, когда я полез с расспросами.

О том, что случилось у них с Марией Семеновной (честно говоря, это интересовало меня гораздо больше), я тоже ничего не узнал.

— Она навсегда ушла из моей жизни, Сергей. Не надо растравлять старые раны.

Суровая внушительность ответа наложила непререкаемый запрет на дальнейшие вопросы.

Саша не собирался возвращаться домой. Он известил нас, что любит свой замечательный город, лучший, это он утверждает категорически, в мире, но и ноги его там больше не будет. Он отряхнул прах прекрасного Ленинграда со своих ботинок. Это звучало внушительно, но не очень понятно. Кроме того, у Саши не оказалось денег. Трагедией это не было — я зарабатывал достаточно. Это было унижением — для него, разумеется, не для меня. Каково было ощущать себя нищим при его барском характере!

Яков Савельевич, отец Фиры, главный инженер какого-то механического завода, взял его к себе на временную работу — старшим металлургом при непрерывно действующей вагранке. На заводе платили хорошо, деньги быстро скапливались в Сашиных руках и еще быстрей проскальзывали между пальцев — тратил он их артистически и со вкусом. Как-то я по-дружески заметил:

— Саша, тебе бы миллионером быть — вот тогда ты бы красиво бедствовал без денег!

— Миллионер — и без денег? Воля твоя — это что-то несообразное.

— Нисколько. Ты похож на Панурга из книги Рабле.[104] Он знал около двухсот способов достать деньги — и сидел без них, потому что тратить умел пятьюстами способами.

Саша даже не улыбнулся. Он не любил Рабле. Я никогда не мог определить принципы его художественных пристрастий. Знаю: он не был всеяден, как я. Готику он не любил (это вполне естественно для поклонника Эллады). Но он не жаловал и норвежцев, всех чохом, — Генрика Ибсена, Кнута Гамсуна, Эдварда Грига. А заодно пристегнул к нелюбимым и Рихарда Вагнера.

Уже после моего возвращения в нормальную жизнь, Саша, покупая мне пластинки (он любил меня ублажать), презрительно говорил: «Возьми своего Грига! Возьми своего Вагнера!». Но если на диске был его любимый автор, тон менялся: «Сергей,

послушаем нашего Бетховена! Сергей, я достал нашего Малера! Сергей, вот чудо — две пластинки нашего Глюка!» И, пренебрегая Гамсуном, он с упоением перечитывал Марселя Пруста, Анатоля Франса и (особенно) тяжеловесного Томаса Манна.

Временная работа на заводике Якова Савельевича позволила Саше опять ставить пятак рублем. Он восстановил прежние знакомства. В нашей квартире можно было устраивать сборы — Саша их созывал по три-четыре в неделю.

Как-то он привел своего приятеля, не то Полянского, не то Галянского, врача-психиатра и, кажется, ученика Бехтерева, и попросил его провести сеанс гипноза. Полянский, сказал Саша, считается сильным гипнотизером. В комнате собралось человек десять. Я некоторое время слушал унылые заклинания: «Спите. Спите спокойно. Ваши ноги наливаются свинцом. Ваши руки наливаются свинцом. Спите. Спите спокойно». От этой тягомотины, от повторяющихся пассов действительно можно было уснуть! Почти все и уснули. Я так этому удивился, что улыбнулся Полянскому.

После сеанса он подошел ко мне.

— Вы меня немного заинтересовали. Во-первых, вы и не подумали засыпать. А во-вторых, вы всегда так пристально, не моргая, смотрите людям в глаза?

Я объяснил, что у нас в детстве была такая игра — кто кого переглядит. И я так насобачился, что переглядывал всех. Полянский заметил, что это вовсе не так смешно, как кажется. Не хочу ли я немного позаниматься? Ему кажется, у меня есть кое-какие задатки гипнотизера — неплохо бы их проверить. Он в Одессе в отпуске, пробудет здесь еще месяц. Живет там-то и там-то, завтра ждет меня у себя.

Так начались мои кратковременные занятия с Полянским. Он обучил меня элементарным гипнотическим приемам — концентрации взгляда, движениям рук, словесным настояниям (спать, спать!), нужным интонациям. Честно говоря, рассказы о том, как академик Бехтерев, великий гипнотизер, проводил свои опыты с людьми, захватывали меня гораздо больше, чем наши уроки.

— Мне кажется, в вашей науке (если это, конечно, наука) много шарлатанства, — сказал я однажды. — Чего-то вроде чародейства и шаманства.

— Не шарлатанства, а внушения, — поправил он. — Замечу вам: все хорошие колдуны и шаманы были врачевателями. Лечить — вот какой была их главная обязанность. Глубокое знание психики сочеталось у них с не менее глубокими сведениями о лекарственных свойствах трав и веществ.

— Они устраивали спектакли! На больных действовало их искусство. Без бубна и побрякушек, без истерических выкриков и исступленных движений лекарства шаманов теряли половину силы.

— Вот именно, — спокойно согласился Полянский. — Великий гипнотизер — всегда артист. И сеанс гипноза — это своеобразный спектакль. Таков уж человек: красочное представление действует на него сильнее, чем научно убедительные, но скучные лекции.

На всякий случай Полянский меня предупредил: я не медик, поэтому любая попытка подзаработать с помощью тех приемов, которым он меня научил, вызовет преследование со стороны властей. Вообще-то использовать гипноз с корыстной целью зачастую не удается даже крупным мастерам — ибо ему обычно поддается тот, кто хочет поддаться. И гораздо реже — тот, кто сопротивляется. Он, Полянский, живет в Ленинграде, вот его адрес — он будет рад мне помочь, если, конечно, его помощь понадобится.

Она мне понадобилась — спустя два года, когда Фира собиралась рожать. Моя жена решила, что под гипнозом роды будут легче. Я не смог удержаться и, когда представился случай (уже после отъезда Полянского), немедленно воспользовался новоприобретенными возможностями — мне хотелось понять, на самом ли деле я обладаю даром внушения. После испытания я дал себе твердый зарок: никогда в жизни не пользоваться этими своими способностями. Во всяком случае — сознательно.

Теперь — о самом эксперименте. Но сначала — несколько необходимых предварений.

Еще в студенчестве я подружился с моим сокурсником Иосифом Наделем. Он, физик, был поэтом и музыкантом. Помню странную его строфу из цикла о Бахе:

Грозный Бах
В свинцовых гробах
Чадом веков пропах.

Отец Иосифа играл в оркестре и преподавал музыку, сестра Оля была пианисткой и композитором. Речь, собственно, пойдет ней.

Моя дружба с Иосифом быстро подружила нас с Олей. Ко мне домой он приходил часто, она очень редко — Фира меня ревновала. Зато я у них, Иосифа и Оли, появлялся частенько — я любил ее игру. Не знаю, была ли она хорошей пианисткой, я не специалист, но ни до, ни после я не слушал никого с таким

упоением. Потом, переехав в Москву, она стала штатным композитором ТЮЗа (одного из лучших московских театров того времени) и, по слухам, была там в серьезном фаворе.

Чаще всего Оля играла мне Баха. Она любила восьмую прелюдию из «Хорошо темперированного клавира» — прелюдия эта немедленно стала и моей любимой пьесой. Слушая Олю, я впервые понял, что именно печаль — самое высокое из человеческих чувств. Она проигрывала мне весь баховский сборник, исполняла Брамса и Шопена, Бетховена и Листа, но всегда, в каждый наш вечер, повторяла восьмую.

В редкие перерывы я читал ей стихи — свои и чужие.

Все это не могло пройти бесследно. Оле было восемнадцать, она только-только окончила музыкальную школу. Прав был Пушкин, когда сказал о Татьяне: «Пора пришла, она влюбилась». Я находился рядом, был молод, писал стихи, считался многообещающим ученым и с наслаждением слушал ее игру — чего же еще? Фира первой заметила неладное. Вскоре об этом узнал и я. Помню, это было после «Грез» Шумана. Я сказал, что музыка гораздо выразительней слов, но лишена точности — у разных людей она вызывает разные чувства. Оля возразила: у любой музыки, даже не программной, запрограммированное содержание — и поэтому она порождает определенные, присущие только ей эмоции. Любую душу можно выразить мелодией — если, конечно, она специально подобрана.

— А ты можешь выразить музыкой свою душу, Оля? — спросил я.

— Конечно, могу.

Она исполнила пьесу, которая меня восхитила (я еще никогда не слышал этой прекрасной вещи). Но понять, какова Олина душа, я все-таки не сумел — только заметил, взглянув через ее плечо, что она играла «Ночь» Рубинштейна.

Оля сказала, вставая из-за пианино:

— Теперь ты все знаешь обо мне, Сережа.

Она очень волновалась — это было неожиданно.

Вернувшись домой, я спросил Сашу, слышал ли он рубинштейновскую «Ночь» (в истории музыки он разбирался куда лучше меня).

— Очень известная вещица. Написана на одноименный стих Пушкина.

Я достал пушкинский томик — и все стало ясно.

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча

Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг… люблю… твоя… твоя!

Впоследствии я вставил это необыкновенное любовное признание в свою пьесу «Игорь Синягин».

Я не любил Олю. И притворился, что не понял, о чем она мне сказала.

Получилось так, что занятия с Полянским закончились, когда я остался один. Саша уехал в Ленинград с внезапно объявившейся второй женой (но об этом — позже), Фира отправилась туда же: заболела Любовь Израилевна.

Перед ее отъездом у нас состоялся серьезный разговор.

В высшей школе есть нерушимая традиция: студентки влюбляются в своих преподавателей, если те молоды, не уродливы, умелы в речах и обращении. Я, очевидно, соответствовал этим кондициям, и мне часто подбрасывали нежные и ревниво-язвительные записочки. Однажды мне домой пришло длинное стихотворение, в котором была такая строфа:

Он снисходительно небрежен,
Порой шутлив, порой угрюм,
В семейной жизни ненадежен —
Предмет девичьих нежных дум.

Фира возмутилась.

— Что ты от меня скрываешь?

Я долго убеждал ее, что семейно я абсолютно надежен (собственно, именно таким я был — тогда). Все ее подозрения я не рассеял, но немного успокоил. Уезжая, она предписала мне, остающемуся, строгий режим.

— Мужчины — кобели, это пишут во всех книгах, что я читала, — объявила она. — Не думаю, что ты очень от них отличаешься. Обещай мне хотя бы не терять головы. Я не потерплю соперниц! И дай честное слово, что никогда не станешь влюблять в себя девушек, не возьмешь в любовницы девственницу.

Такое слово я, естественно, дал — и, естественно, не сдержал. Это стало трагедией для трех человек — Фиры, той девушки и меня. Впрочем, это случилось позже. А в тот вечер Фира имела в виду Олю — и я был уверен в своей добропорядочности.

После отъезда Фиры Олины музыкальные вечера стали ежедневными. Однажды похвастался, что владею некоторыми приемами гипноза. Оля загорелась: ах, как это интересно! Не могу ли я ее загипнотизировать? Раздосадованный, что проболтался, я всячески отнекивался — она настаивала. Я сдался и назначил день.

Накануне неожиданно приехала мать Ирины и зачем-то увезла дочь в деревню. Это было непредвиденное затруднение! Фира могла узнать, что мы с Олей остались вдвоем в пустой квартире. Да и своих реакций я, наверное, побаивался: не знал, как поведу себя рядом с лежащей в постели влюбленной девушкой.

Я пошел к Гене — он всегда был готов помочь в трудной ситуации. Он пообещал прийти часам к десяти вечера — к началу сеанса.

Оля явилась в назначенное время и, одетая, легла на диван в моей комнате. Мы обменялись несколькими словами — и я приступил к делу. Я сразу понял, что она просто хочет спать — это значительно облегчало мою задачу. Я добросовестно проделал все, чему учил Полянский, и, даже когда она уже крепко спала, продолжал монотонно бубнить: «Спать! Спать! Как хорошо спать! Как хорошо спать!», делать пассы и осторожно — еле-еле — гладить ее волосы.

Когда появился Гена, я вышел в соседнюю комнату. Он водрузил на стол бутылку портвейна. Я так устал, что жадно выпил полный стакан.

— Даже за двойную лекцию так не измучивался, как за десяток минут внушения и пассов, — пожаловался я. — Недаром гипнотизеры дерут столько денег за свои операции!

— Покажи жертву, — попросил Гена.

Я осторожно провел его в соседнюю комнату. Оля лежала все так же спокойно, дышала все так же размеренно. На ее щеках проступил теплый румянец.

— Красивая, но длинноносая, — сказал Гена, когда мы вернулись в большую комнату.

— Прямоносая, — поправил я. — Удивительно похожа на итальянок, какими их рисовали художники Возрождения.

Об эпохе Возрождения Гена имел смутное представление, о художниках того времени — вообще никакого. Поэтому он охотно со мной согласился — и заговорил о новостях техники и своих изобретениях (в этом он разбирался глубже, чем в итальянской прямоносости).

Когда мы допили бутылку, пробило полночь. Я вспомнил, что Оле надо возвращаться домой. В голове была приятная пустота. Я

сказал Гене:

— Ты тут посиди, а я разбужу нашу прямоносую итальянку.

Оля, еще больше порозовевшая, спала мирно и красиво. Я дотронулся до ее плеча.

— Оля, проспишь возвращение! Пора вставать.

Она никак не отреагировала. Я подергал ее сильней — это тоже не помогло. Она лежала в прежней позе — умиротворенная и безмятежная. Я затряс ее сильней. Бесполезно. В дверь заглянул Гена.

— Что случилось, Сергей?

— Никак не могу ее разбудить, — отозвался я, все ожесточенней тряся Олю.

Гена с уважением посмотрел на меня.

— А ты силен! Усыпил лучше таблетки снотворного. Дай я попробую.

Но он будил Олю так бережно и осторожно, что я его прогнал.

— Подожди меня в той комнате. Если понадобишься, позову. Хочу сосредоточиться.

Я неподвижно сидел около дивана, на котором — лицом в потолок — спала Оля, и судорожно вспоминал все заветы и запреты Полянского. Я был в отчаянье. В голову лезли страшные истории: как после неумелого сеанса люди просыпались с ужасной головной болью, впадали в истерику, из которой мог вывести только врач, становились такими слабыми, что требовались поддерживающие лекарства…

И вдруг вспомнил, что Полянский рекомендовал повторное усыпление — если первое не удалось!

Я глубоко вздохнул и проверил, все ли со мной в порядке: встал, прошелся по комнате, внимательно посмотрел в зеркало. Шаг был уверенным, в голове — ясно, в глазах — никакой хмельной мути (небольшая порция алкоголя быстро выветрилась).

Подсев к Оле, я повторил сеанс усыпления, разговаривая со спящей как с бодрствующей. И закончил настойчиво и властно:

— Когда я скажу тебе: проснись — ты проснешься. Ты встанешь, когда я прикажу тебе встать, Оля! Слышишь? Ты встанешь, когда я прикажу тебе встать! Ты встанешь!

Я вернулся к Гене.

Он был на кухне — разжигал примус.

— Тебе сейчас нужно чаю покрепче, — сказал он. — Вид, будто тебя здорово отколошматили. Ничего, это пройдет.

Выпив чаю, я вернулся к Оле.

— Оля! Проснись и вставай! — приказал я. — Ты слышишь

меня — проснись и вставай!

Она медленно раскрыла глаза, вяло улыбнулась. Я помог ей подняться. Гена спешно налил ей стакан чаю. Она смотрела на него не видя.

— Гена, ты подождешь меня, пока я провожу Олю домой, — сказал я. — Можешь пока поспать на диване.

Оля медленно шла по улице, я поддерживал ее под руку. Мы не разговаривали — я не хотел, она не могла. Только у дома она сказала мне сонно-отсутствующим голосом — она все еще была под гипнотической одурью:

— Спасибо, Сережа, — было очень хорошо.

Возвращаясь, я дал себе слово: никогда больше не использовать свои жалкие способности для забавы. Это может привести к большому несчастью — сегодня мне просто повезло (права пословица: некоторым индивидам действительно везет…).

Только один раз я нарушил этот запрет. Но то произошло в Соловецкой тюрьме — и вовсе не для забавы.

Наши встречи с Олей продолжались — и у нее дома, и на концертах, и на спектаклях. Как-то она сказала мне:

— Сегодня мы пойдем в Муздрамин — там будут слушать выпускников по классу рояля. Один мальчик просто чудо, ему пророчат большую будущность.

— Как его зовут?

— Гилельс.[105] Моня Гилельс. Верней, Эмиль или Эммануил — точно не знаю.

В этот вечер в Муздрамине собралось много любителей музыки. В первом ряду сидел знаменитый Столярский (из его школы вышел Давид Ойстрах). Он оживленно беседовал с молодой женщиной, доцентом консерватории Айзенгарт. Мы сели прямо за ними — и слышали их разговор.

У нас, коренных одесситов, был особый язык — напевный и неправильный: в нем смешивались еврейско-молдавско-украинско-греческие интонации и конструкции, ударения зачастую стояли не на своих местах. Но Столярский всех перещеголял — а ведь он все-таки был профессором! Южный его говор отдавал такой еврейской местечковостью, что поначалу (пока слушающий не привыкал) — казался нарочито утрированным.

— Вы знаете, что я вам скажу, мадам Айзенгарт? — говорил Столярский. — Я ничего не скажу, я же должен сначала послушать, вот что я вам скажу.

— Вы изумитесь, Петр Соломонович, — убежденно отвечала Айзенгарт.

Перед рядами кресел (или стульев?) — возвышалась

небольшая площадка, подобие сцены, на ней, клавиатурой к окну, стоял рояль. Я хорошо помню появление Гилельса. Они вышел из внутренней двери, обогнул инструмент — и вдруг запнулся о ковер. Наклонился, растерянно посмотрел под ноги, и отправился дальше — к вращающемуся стульчику.

Это был мальчик лет шестнадцати, плотный, невысокий, лохматый. Рыжая шевелюра, видимо, расческе не поддавалась — тут требовался скребок. Когда он уселся перед роялем, я увидел на его темени вздыбивший клок волос. Мне бросились в глаза его туфли — ярко-красные, несоразмерно большие, поразили короткопалые руки — ими можно было хорошо орудовать слесарной пилой, но пианисту они подходили мало. Смеясь, я шепнул Оле, что еще не видел таких немузыкальных пальцев, они кажутся деревянными колышками — как можно ими играть? Оля посмотрела на меня укоризненно.

А потом Гилельс заиграл.

И сразу прекратились разговоры, перешептывания, разглядывания… Я уже забыл, что он исполнял (кажется, Баха, потом — Бетховена), но саму игру — помню.

Он положил руки на клавиши. Пальцы, только что казавшиеся деревянными, ожили, рояль вспыхнул и зазвучал. Я знаю, что надо сказать более точно, чем это выспреннее «вспыхнул и зазвучал», но не нахожу слов. Игра этого рыжего лохматого мальчика была удивительной, почти невообразимой.

А когда он неловко встал и начал неуклюже раскланиваться, я услышал восторженный голос Столярского.

— Мадам Айзенгарт, вы знаете, что я вам теперь скажу? Я мальчиком слушал Антона Рубинштейна. И мне казалось, что я больше никогда не услышу Рубинштейна, никогда не услышу! Так вот, я опять слышу великого Рубинштейна, опять слышу его, вот что я вам скажу, мадам Айзенгарт!

Я проводил Олю домой. Мы шли молча. В нас не затихали мощные звуки рояля. Игра Гилельса была сильней всего, что можно было о ней сказать, и все остальное было несущественно.

Вскоре Оля сказала:

— В Муздрамине назначено прослушивание выпускников скрипачей, — сказала Оля. — На него приглашен почетный гость — сам Иосиф Сигети.[106] Он сейчас у нас гастролирует.

О том, что у Сигети гастроли в Одессе, я знал — он и до этого приезжал в наш город. И каждый раз я ходил на его концерты. Однажды мне повезло: Сигети выступал вместе с пианистом Эгоном Петри,[107] они играли бетховенскую Крейцерову сонату. Это был счастливый вечер для одесских меломанов: нечасто две мировые знаменитости во время своих дальних гастролей

сходятся в одном городе.

— Кто же не знает Сигети? — сказал я. — Этот венгерский еврей с итальянской фамилией живет в Париже, гастролирует по всей Европе, а свободное время проводит в Америке.

— Не надо шутить! — с упреком возразила Оля. — Сигети прежде всего бог музыки, а потом все остальное. И это «все» ничтожно рядом с тем, как звучит в его руках скрипка Амати.

Я уже не помню выпускников, которые играли на этом вечере — я смотрел на еще молодого и красивого Сигети. Он пришел со своей знаменитой скрипкой. Он ничего не исполнял — просто держал футляр в руках. Он что-то сказал о выступавших — наверное, похвалил, это было вполне в стиле свадебного генерала, роль которого ему предназначили.

Но то, что случилось потом, резко поломало предписанный обряд.

Сигети уже уходил — он спускался по парадной лестнице. Перед ним толпились ученики консерватории — будущие музыканты, будущие певцы, будущие дирижеры. Образовался затор. За спиной Сигети теснились преподаватели и гости. Венгр застрял на площадке между мэтрами и молодежью, на повороте широкой нарядной лестницы. Он упрашивал дать дорогу — ему уже давно пора быть в отеле. Сверху ему пытались помочь именитые музыканты и меломаны, снизу молодежь громко требовала музыки.

Сигети сделал умоляющий жест: на лестнице нет рояля — как ему играть без аккомпаниатора? Голоса стали громче — и он покорился. Он махнул рукой — толпа потеснилась вверх и вниз, освободив площадку. Он вынул из футляра свою главную драгоценность — скрипку самого великого из несравненных Амати[108] и начал играть.

Играя, он все больше и больше увлекался — его покорила восторженность, с какой слушали его музыканты-профессионалы: и отыгравшие свое старики, и концертирующие преподаватели, и юнцы, только-только начинающие свою музыку. Он исполнял одну пьесу за другой, почти не останавливался и не раскланивался — раза два даже досадливо поморщился, когда аплодисменты помешали ему начать новую вещь. Он исторгался музыкой, наслаждался своей игрой — возможно, даже больше, чем его слушатели.

Это продолжалось не минуты, которые обычно отводят на бисирование, а гораздо больше часа. Было уже далеко за полночь, когда удивительный концерт закончился и Сигети смог наконец выбраться к поджидавшему его на улице автомобилю.

— Он бог музыки, он бог! — восторженно твердила Оля,

когда я провожал ее домой.

Как-то вечером, вернувшись после лекций, я задержался в прихожей — мыл руки. Фира крикнула из комнаты:

— Сережа, скорей, тебя ждут!

Навстречу мне поднялась стройная женщина. Я сразу узнал ее. Мы подружились, когда я учился в шестом классе, а она — в седьмом. Я всего раза два или три разговаривал с ней, но потом мы долго — больше года — переписывались. Про себя я называл Раю Эйзенгардт «девочкой в желтом пальто». С той поры прошло ровно шесть лет. Я уже думал, что никогда больше ее не увижу.

— Рая! — радостно кинулся я к ней.

Мы прижались друг к другу. Я обнял ее впервые — впоследствии это случалось часто.

— Сережа, ты почти не изменился. Говорят, уже профессор, а выглядишь, как прежний молдаванский босяк, — смеялась она. — У тебя то же мальчишечье лицо, те же длинные волосы. Ты, оказывается, сразу физик и философ? Вот уж чего от тебя не ожидала — физики. Впрочем, ты любил астрономию, а она недалеко от физики, правда?

— Расскажи: как ты меня нашла? — нетерпеливо требовал я. — Как ты вообще оказалась в Одессе?

Оказалось, она приехала в Одессу навсегда. Ей до смерти надоела ее Балта. Поселилась у друзей отца. Пришла к Фиме, она в школьные времена часто у него бывала. Он назвал мой адрес — вот она и нашла.

Когда мы немного наговорились, Саша, отведя меня в сторону, сказал выразительно и веско — он умел и одно слово подавать как речь:

— Сергей, у тебя очень красивые знакомые.

— Иных не заводим. Уроды не моя стихия, — парировал я.

Я и сам был восхищен, что моя школьная подруга, моя первая робкая любовь, расцвела так ярко.

Саша сиял. Он любил глазеть на красивых женщин — даже если они просто проходили мимо. Он немедленно завладел разговором — и стал неоспоримым центром нашей маленькой компании. Уже глубокой ночью мы вчетвером долго гуляли по Пушкинской, самой красивой улице города, потом провожали Раю к дому, где она поселилась.

Фира пригласила ее бывать у нас, я потребовал минимум пяти вечеров в неделю, Саша умолял: каждый вечер, а в выходные хорошо бы и днем.

Вскоре мы втроем — Саша, Фира и я — на несколько недель уехали в деревню. Около городка Ялтушково, на берегу приличного (по степным масштабам) притока Днестра мы

обнаружили истинно райский уголок с покоряющим именем Липовеньки — и зарядились жить здесь до осени. Саша объявил, что даже до первого снега: купанье в тихой речке под вербами — предел его человеческих вожделений.

Но спустя неделю из Одессы пришло какое-то неразгаданное письмо — и Саше вдруг опротивели и буйно цветущие липы с их медовым ароматом, полностью забивающим запах кизяка, который кирпичиками складывали у каждой хаты, и зарумянившиеся груши его любимого сорта «бера». Ему срочно понадобилось в Одессу. «Завтра уеду!» — возвестил он нам. Нам с Фирой оставалось только помахать ему на прощанье.

— Не помнишь, какой почерк у твоей старой знакомой? — поинтересовалась Фира, когда мы остались одни.

— Помню, конечно. Но словами описать не могу. А почему ты спрашиваешь?

— Адрес на письме написан женской рукой. Вот я и подумала: не Рая ли призывает Сашу в Одессу?

Вскоре стало ясно, что Фира угадала. Но внезапный Сашин отъезд был вызван не только Раиным призывом. Перед Сашей вдруг встала проблема более сложная, чем свидание с женщиной, которую он полюбил, — он надумал поменять всю свою жизнь. И позвал на совет меня и Осю.

Мы встретились днем в скверике у оперного театра — здесь обычно бывало мало народу.

— Я получил сообщение из Ленинграда, — торжественно начал Саша. — Предлагают хорошую инженерную должность, приличный оклад, реальную возможность командировки за границу.

— Возвращаешься к Глушко? — спросил я. Саша скривился.

— К нему я уже никогда не вернусь. И потом: сотрудникам газодинамической лаборатории заграница не светит. Они люди закрытые и секретные. Нет, речь о Наркомтяжпроме. Мне предлагают возглавить учреждение по конструированию электроизмерительных приборов. Гарантируют квартиру в Москве — когда сдадут в эксплуатацию собственный жилой дом.

Ося радостно воскликнул:

— О чем советоваться? Хватайся обеими руками!

— И я считаю, что нужно соглашаться, — сказал я. — Повода для совета не вижу. Или у тебя иное мнение?

— Иное, — хмуро сказал Саша. — Хочу отказаться от Наркомтяжпрома.

— Отказаться? — воскликнули мы с Осей в один голос.

— Да, отказаться. Хочу уйти из техники. Вы сменили свои профессии, Сергей из физика стал философом, ты, Ося, поступал

на юридический (или исторический?) — и тоже ушел в философию. Думаю тоже сменить свою технику на философию. Буду специализироваться в искусствоведении. И надеюсь на вашу помощь.

Мы с Осей были ошарашены (Ося даже больше, чем я). Они с Сашей быстро подружились, но встречались все-таки спорадически, а я общался с ним ежедневно и ежечасно. И хорошо знал, что искусство он понимает и чувствует лучше меня самого. Но одно дело — понимать и чувствовать, совсем другое — профессионально изучать. За нашими с Осей спинами стояло несколько лет штудирования философской литературы — и это была работа, которая требовала не только желания, но и времени. Сашу тянуло к искусству, он был в нем сведущ — но вдохновением, интуицией, чутьем, а не педантизмом профессиональной выучки.

Я растерялся, не зная, что сказать. Ося быстрей меня нашел нужные аргументы.

— Ну, хорошо, ты просишь помощи — мы поможем. Но как? Разве что книгами, разговорами, спорами. Для настоящей специализации необходимо несколько лет. Или ты собираешься заново поступать в университет? Ты ведь свой ленинградский физмат бросил?

— Физмат я бросил, в студенческую жизнь уже не вернусь.

— Не понимаю: кто же тогда тебя введет в философию — без соответствующего диплома?

— А у вас с Сергеем есть дипломы о философском образовании? Свидетельство об окончании курса философских наук дает в СССР только Московский институт Красной Профессуры, а оба вы и не приближались к воротам ИКП. Все преподаватели диамата в Одессе не имеют философского образования. Все ваши друзья — Троян, Тонин, Гордон… Чем я хуже их?

— Они по образованию — гуманитарии. По высшему образованию, Саша! А ты с головой влез в технику, да к тому же военную — ракеты! А теперь еще — Наркомтяжпром…

— Ненавижу технику, мечтаю стать гуманитарием! Мой план таков: вы оба поможете мне заполнить мои философские пробелы, а братья поддержат материально. Аркадий предоставит мне какую-нибудь необременительную должность — будет и материальное обеспечение, и время для научных занятий.

— Твой брат Аркадий? Я о нем ничего не знаю.

— Вы оба не знаете моих братьев — ни Аркадия, ни Матвея, ни Эммануила. Будете в Ленинграде и Москве, познакомитесь.

Да, мы оба не были с ними знакомы. Но, в отличие от Оси, я

много слышал о них. Особенно об Аркадии. В жизни самого яркого из четырех братьев была какая-то тайна — и, похоже, не маленькая, а государственного масштаба. Помню свое удивление, когда я впервые заговорил о нем, а Саша равнодушно ответил:

— Аркадий? Он важная шишка в ленинградском Интуристе. Ждет расстрела.

— Какого расстрела? Разве он в тюрьме?

— Четвертого или пятого, точно не помню. А пока не расстреляли, обитает в гостинице «Европейской» — подобрал для себя самые роскошные апартаменты. И разъезжает только на «линкольнах».

Это не могло меня не заинтриговать. Я пристал к Саше с расспросами.

Аркадий рос сорви-головой — один устраивал больше тарарама, чем все остальные братья вместе взятые. Лет восемнадцати, в революцию, он пристал к большевикам, сдружился с восставшими матросами броненосцев «Синоп» и «Алмаз». Командовал черноморским военным флотом, разместившимся тогда в Одессе, левый эсер Муравьев, примкнувший к большевикам и считавший себя хозяином всего Черного моря. При его посредничестве юного Аркадия назначили командиром большевистского бронепоезда.

Немцы-колонисты, обитавшие в нескольких селах вокруг города, подняли восстание против революционной власти, угнездившейся в Одессе. Аркадий спешно загрузил свой бронепоезд на заводе немца Гена, во время войны сменившего мирные плуги на снаряды и орудия, и помчался их усмирять.

Когда бронепоезд прибыл в район восстания, оказалось, что усмирять нечем: во все снаряды рабочие-геновцы напрессовали соли (вместо пороха). Во-первых, они хотели помочь своим восставшим братьям. Во-вторых, соли на одесских пристанях и в складах было гораздо больше, чем взрывчатки.

Аркадию нужно было немедленно возвращаться в город и перегружаться. Вместо этого он превратил свой бронепоезд в лавочку. На селе соль была дефицитом. И старший Сашин брат и не подумал раздувать огонь в топке паровоза, пока не закончил свою коммерцию и не высыпал соль из последнего снаряда — в обмен на муку и прочее продовольствие. Вернувшись в Одессу, он получил от местного ЧК награду — смертный приговор.

Это был первый расстрел Аркадия.

Однако вместо расстрела его послали в Москву — на «доследование», и после беседы с Дзержинским Аркадий сделал что-то такое чрезвычайно важное, что получил от советской власти индульгенцию на все будущие прегрешения. Так мне

сказал Саша — и мне пришлось поверить ему, потому что факты подтверждали его рассказ.

Что делал Аркадий в гражданскую и получал ли он новые расстрельные приговоры, Саша не знал. Но в начале нэпа Аркадий возглавил одесское акционерное общество «Ларек». Это было мощное торговое предприятие, призванное подавить торговца-частника. Я хорошо помню многочисленные вывески с одним-единственным словом — «Ларек», они красовались даже на пышных магазинах и универмагах, а не только на базарных палатках и уличных лавчонках. Обороты «Ларька» составляли миллионы золотых червонцев. Но и в новой служебной ипостаси Аркадий не стал бороться с прочно укоренившейся в нем привычкой — он совершенно не делал разницы между своей зарплатой и государственными деньгами. В результате этой служебной слепоты его арестовали и приговорили к расстрелу.

Это был второй (из известных мне) смертных приговоров Аркадия.

До реальной смерти ему, однако, было далеко. Вскоре он объявился — живой и на достаточно высокой должности. Он стал директором одного из крупных совхозов высокопородного коневодства. Понимал ли он что-нибудь в лошадях — не знаю. Мог ли поживиться в лошадином хозяйстве чем-нибудь, кроме сена и овса, — понятия не имею. Но спустя некоторое время выяснилось, что государство потеряло миллион от его конеадминистрирования.

Он получил третий по счету смертный приговор.

Но опять вместо пули в затылок обрел новое повышение — перевод из коневодческой провинции в северную столицу. На руководящую должность в обширном тресте Интуриста. Видимо, предполагалось, что в роскошных гостиницах меньше противогосударственных соблазнов, чем в совхозных деревушках, а общение с богатыми иностранцами идеологически спокойней, чем со специалистами по копытам и подковам.

Саша рассказывал, что Аркадий часто хвастался в семейном кругу:

— Каждый смертный приговор должна утвердить Москва. А в Москве лежат документы, гарантирующие мне процветание в этой земной жизни. И даже внушительную компенсацию за те неудобства, какие приходится претерпевать, несколько месяцев сидя в камере смертников.

При этом он никогда не говорил, что содержится в этих документах. Только мне, уже в Ленинграде, в роскошном номере «Европейской», совершенно пьяный, он признался в необыкновенном поступке, совершенном им однажды. И так как

деяние это противоречило всему, что я знал из писаной истории советской власти, я усомнился в его истинности. Все семейство Малых отличалось буйным воображением и некрепким психическим здоровьем, это я уже знал. Как бы там ни было, какая-то высшая сила в Москве сбрасывала с головы Аркадия все смертные приговоры (кстати, вполне им заслуженные). Его четвертый расстрел (за роскошествования в Интуристе) вылился в кратковременную ссылку на московский завод «Динамо» и очередное повышение: Аркадия послали заведовать правительственными санаториями и домами отдыха на Волге. Там его и прихлопнул последний, пятый смертный приговор. Время настало серьезное, тридцать седьмой год, — было не до копания в старых документах.

В это время я, успокоенный и присмиревший, сидел в Вологодском монастыре, превращенном в тюрьму.

Я еще поговорю об Аркадии. Он, конечно, мог помочь Саше, хотя Саша, человек совсем другого нрава, терпеть не мог обращаться к брату с просьбами. Нужно было дойти до крайности, чтобы решиться на это, — к счастью, ее у Саши так и не случилось.

Но Оскар понятия не имел, что за человек Аркадий, и ответил Саше нарочито сухо:

— Братья могут помогать материально, но вряд ли превратят техника по профессии в профессионального философа. Это дело твоих собственных трудов.

Саша грустно сказал:

— Вижу, вы не верите в мое перевоплощение.

Ося ответил за нас обоих:

— Ты спрашивал наше мнение — мы его высказали. А решать тебе.

Мы еще помолчали. Саша поднялся со скамьи.

— Пошли по домам. Завтра отправлю телеграмму в Наркомтяж, что принимаю их предложение. Провожать меня придете?

— Саша, ты принимаешь нас чуть ли не за врагов! — обиделся Ося. — Что бы с нами ни было, мы друзья навеки!

Мы провожали его на вечерний московский поезд. Шли по Пушкинской. В темнеющем воздухе, надрывно грохоча, пронесся биплан. Мы залюбовались его красивым полетом. Ося сказал:

— Как далеко ушла техника! А ты против нее, Саша.

Саша посмотрел на него. Взгляд его ярких глаз был очень выразителен, но он все-таки добавил:

— Как ты не понимаешь? Я за технику. Я только против того, чтобы самому ею заниматься.

Когда мы попрощались и поезд отошел, Ося облегченно сказал:

— Спасли человека! В технике он продвинется далеко, а в философии не одолел бы и первых барьеров.

Я не был так категоричен, но своих сомнений не высказал: Ося все равно нашел бы убедительные возражения. Я ждал продолжения. Продолжение последовало весьма быстро. Рая, не простившись со мной и Фирой, уехала в Ленинград. Вскоре нам сообщили: туда прибыл и Саша — теперь они муж и жена. Мы послали им поздравление.

Следующее сообщение пришло спустя несколько месяцев. Саше предложили шестимесячную командировку в Америку — для закупки приборов, измеряющих и записывающих высокие температуры в металлургических печах. Он отказался: его жена беременна, он не может оставить ее одну, пока она не разродится. Поездка за границу в эти годы была такой редкостью и считалась такой удачей, что отказ от нее ясней любых слов говорил о том, какой была степень Сашиной любви.

Следующей была ликующая телеграмма о рождении сына. Саша и здесь не удержался от выкрутасов. «Сергей Александрович приветствует Сергея Александровича», — значилось на бланке. В мою честь назвали ребенка — это было впервые! Впрочем, потом этот почетный для меня обряд повторялся еще трижды.

Мы с Фирой решили не уступать Саше. Наша телеграмма гласила: «Бесконечно рады Сергею Александровичу. Отвечаем Александром Сергеевичем».

Я не сдержал слова. Правда, в этом случае далеко не все зависело от меня: Фира родила дочь. И все-таки мы решили назвать ее Натальей, а не Александрой. Зато она, словно компенсируя нашу с Фирой неверность, дала своему сыну имя Александр.

Сашенька-младший умер шести месяцев от роду.

После рождения сына старший Саша уехал в командировку в Америку, Рая поселилась у его матери Анны Абрамовны.

Мы увиделись в начале 35-го, когда я окончательно распростился с Одессой и переехал в Ленинград.

8

Начались вступительные экзамены.

Как-то мы с Осей пошли выпить кофе в закусочную в городском скверике — на него выходил боковой фасад громоздкого трехэтажного Инархоза (экономического и юридического факультетов университета). Кофе не было, чай

отсутствовал, но водка имелась — и закуска тоже. Мы с Осей нерешительно переглянулись.

— Если грамм по пятьдесят? — пробормотал Ося.

— Тогда по сто, — расхрабрился я. — Неудобно так мало спрашивать.

— Хорошо, пусть по семьдесят пять!

Официант принес заказ. За рюмку я брался с опаской. Я еще ни разу не пил водки — с того дня, когда отец заставил меня осушить целый стакан. Я хорошо запомнил, к чему это привело.

На этот раз, однако, все обошлось. По жилам разлилось тепло, голова приятно замутилась. Ося невнятно пробормотал, что водка крепковата. Я согласился: градусов в ней явно больше, чем в том дрянном поддельном портвейне, которым были заполнены магазины и который мы иногда покупали. Мы усердно закусывали холодной вареной говядиной, нарезанной листиками.

В это время появился посланный от экзаменационной комиссии.

— Вас срочно ждут в институте, товарищи. Пипер и другие преподаватели на партсобрании, вам надо принимать экзамены.

— Через пятнадцать минут придем, — пообещал кто-то из нас.

Некрепкий хмель еще не полностью выветрился, когда мы вышли из закусочной. Окружающий мир был веселым и легким. Впереди нас шагала стройная длинноногая девушка. Я громко сказал:

— Ося, а у нее ноги красивые. Ты не находишь?

Ося не был выкормышем Молдаванки — и не умел общаться с девушками свободно. Он промолчал. Я продолжал:

— И талия — модельная. Такую бы девушку — да на обложку женского журнала…

Она резко обернулась. Глаза ее гневно сверкали.

— Вы нахал! — выпалила она.

— Нахал, — согласился я. — Иногда это со мной бывает. Ну и что?

Она отвернулась и пошла в другую сторону.

В вестибюле было полно абитуриентов. Секретарь приемной комиссии, сверяясь по спискам, разводил их по аудиториям — кроме нас с Осей, экзамены принимали Троян, Тонин и Лымарев. На каждого приходилось по 6–8 экзаменующихся.

Среди тех, которые достались мне, я увидел девушку, к которой только что приставал на улице. Когда я зашел в аудиторию, она побледнела от страха. Потом покраснела. Назвать своего будущего экзекутора нахалом — не лучший из жребиев, который может выпасть перед экзаменом. Я весело улыбнулся.

Уверен: моя улыбка показалась ей зловещей.

Впрочем, небольшую месть я себе все-таки позволил — вызвал ее последней. Спустя много лет, в Москве, на собственном дне рождения, она, доктор биологических наук, рассказывала своим гостям, тоже докторам, профессорам и членкорам (среди всей этой высокоученой братии оказался и я):

— Дело в том, что я перед экзаменом обозвала Сергея нахалом. И справедливо обозвала, он таким был и таким остается. Правда, не злым, а лукавым, даже добродушным. Смотрите, как он сейчас ухмыляется — разве не нахальство? В общем, я тряслась от страха, потому что предчувствовала месть. Я была последней и решила, что он просто выжидает момента, чтобы легче провалить меня да еще поиздеваться — без свидетелей. А он дождался, когда все ушли, и спрашивает с ехидной улыбочкой (не помню, о чем мы тогда говорили): «Мы, марксисты, придерживаемся в этом деле положительного мнения, а вы, товарищ Рутберг?» Если бы я тогда могла дать ему пощечину — и за вопрос, и за улыбку, — ох, какую огромнейшую оплеуху он бы получил! Я поняла, что тону. Он гонял меня по всей программе не меньше получаса, а потом объявил: «Поздравляю, товарищ Рутберг, с отличным ответом! Ставлю вам только пятерку, потому что выше отметки у нас нет». Не знаю, как я добежала домой: у меня тряслись ноги — и от страха, и от счастья. А через несколько дней в вестибюле вывесили списки принятых, но электричество выключили. Сергей достал где-то свечку, схватил меня за руку и пробился сквозь толпу. Ему почтительно уступали дорогу — все-таки преподаватель. Он ткнул зажженной свечкой в список: «Вот вы, товарищ Рутберг, — любуйтесь!» В тот вечер он провожал меня домой. Так мы стали друзьями — на всю жизнь.

Три года назад мой старый друг Ревекка Абрамовна Рутберг скончалась, дожив до восьмидесяти лет. Как-то уж так получается, что мои друзья уходят в небытие раньше меня. Вероятно, в этом таится какое-то дарованное мне благо, — но горечь от их ухода перекрывает печальную радость продолжающегося существования.

Рива назвала меня нахалом. Но таким я бывал редко. Я был скорей стеснительным, чем развязным. Но, как большинство одесситов, любил шутить и дурачиться, особенно на пари.

Как-то я пришел к Оскару домой. У него сидела студентка, девица лет восемнадцати. Ося с уважением сказал, что она читала самого Эйнштейна. Я поспрашивал ее и убедился, что так называемую специальную теорию относительности она выучила неплохо — примерно в той мере, в какой ее знал я.

Я удивился. Эта физика была явно не по студенческим зубам (особенно если этот студент — девушка).

Погода в тот вечер была теплая — шла ранняя осень. Мы решили прогуляться, и все четверо — Ося с Люсей, девушка и я — пошли по Дерибасовской. По дороге я сказал ей:

— Из вас мог бы выйти замечательный ученый. Правда, этому мешает, что вы женщина.

— Почему мешает? — возмутилась она. — Разве женщины хуже мужчин?

— Не хуже, а лучше, — заметил я фатовски. — Именно потому за ними начинают ухлестывать, вьются вокруг них, носят на руках… Им уже не до науки!

— За мной никто не ухлестывает, — отрезала она. — И никто не носит на руках — ни фигурально, ни физически. Для фигуральности у меня слишком тяжелый характер, для физичности — чересчур тяжелое тело.

Я смерил ее взглядом. Она была невысока, худа, узкоплеча.

— Если отставить в сторону ваш тяжелый характер, я бы взялся нести вас на руках по улице.

— До первого встречного, которого возмутит ваше неприличное поведение, или до первого милиционера, который выпишет вам штраф, а меня огорошит моралью, — сказала она насмешливо. — Это уложится всего в несколько шагов и закончится скучным наставлением.

— Не будет ни сопротивления встречных, ни милицейских лекций. Берусь пронести вас по всей Дерибасовской — и никто не встанет у нас на пути. Предлагаю пари.

Она, видимо, была задирой — но заколебалась.

— А чем я должна буду заплатить, если вы его выиграете?

— Только удовольствием, которое доставите мне, посидев у меня на руках, — галантно ответил я.

Оскар и Люся искренне наслаждались этой сценой — они знали мой характер. Девушка решилась.

— В таком случае — несите!

Я взял ее на руки и понес. Мы вышли на Дерибасовскую. Я предупредил Осю: нужно быть очень серьезными, иначе на нас обратят внимание. И они конвоировали меня с обеих сторон с такими каменными лицами, что каждому становилось беспощадно ясно: случилось что-то нехорошее — иначе зачем тащить женщину на руках? Лучше не ввязываться.

Девушка удобно устроила голову на моем плече. На нас смотрели, уступали дорогу, но никто не задавал вопросов и ничего не комментировал. К счастью, милиционер нам так и не попался. Пройдя три квартала до Ришельевской, я, порядком

уставший, опустил ее на землю.

— Вы выиграли пари, — сказала она, сияя. — Никогда не думала, что это так приятно!

Больше я с ней не встречался. И не слышал о появлении нового крупного математика или физика. Боюсь, женское естество, пробудившееся в ней, перемогло науку.

В ту осень Фира снова умчалась в Ленинград. Я заполнял опустевшие вечера книгами, работой над статьей «Основное звено как философская категория», встречами с Осей. Ко мне, как и всегда во время Фириного отсутствия, зачастили «вороны». Фима появлялся редко — он стал слишком серьезным, Гена возился со своими изобретениями, зато вместе с моим верным Личардой Моней Гиворшнером у меня стал появляться другой Моня — Гайсин (тоже из бывших школьных товарищей).

Гайсин был парень особой молдаванской выучки — животреп, как сам себя именовал, творец рискованных ситуаций, изобретатель небезопасных дурачеств. Я охотно сопровождал его в «предприятиях» — с ним всегда было интересно.

Именно Гайсин, явившись ко мне однажды с Гиворшнером, навсегда отучил меня от шуточек, граничащих с хулиганством.

Когда стемнело, он заявил, бросая карты, которые у него постоянно были при себе (мы играли в дурака):

— Надо прошвырнуться, хлопцы! Устроим на Дерибабушке небольшую катавасию.

— Против катавасии не возражаю, но не на Дерибасовской, — сказал я.

— Забыл, что ты теперь жуткая шишка! Дерибабушка на время отставляется. Район действия — зловещая окраина Молдаванки. Теперь идет?

— Теперь идет!

Я охотно согласился прошвырнуться, потому что все лекционные дни, пять в неделю, вел себя подкупающе прилично: ходил выутюженный, при черном галстуке, в туго накрахмаленном пикейном воротничке, разговаривал учтиво, глядел вежливо, здоровался степенно — был тем самым молодым ученым, образ которого сам себе состряпал. К концу недели мне это так осточертевало, что я прямо-таки жаждал хоть часок побыть тем, кем был еще недавно, — нормальным молдаванским босяком.

Мой друг Оскар для таких откровений души не годился — он и в детстве не числился в босяках. Его отец, хоть и просто зубной врач, закончил медицинский институт в Германии и был в своей области незаурядным специалистом — он бы не потерпел у сына никакой разнузданности. Старые школьные друзья идеально

вписывались в требования моего второго нутра, особенно Гайсин — мастер на любые проделки, не требующие, правда, срочного вмешательства милиции.

Мы решили отправиться за Михайловскую церковь, на Степовую, — только две параллельные улицы отделяли ее от реальной степи. Мои новые знакомые — преподаватели, студенты, всякая степенная интеллигенция — жили далеко от этих мест, опасность встретиться с кем-либо из них мне не грозила. Я предвкушал раздолье — поорать во весь голос, пораспевать уличные частушки, а может, накоротке, без злобы и крови, подраться с такой же группкой парней, а потом, дружески пожав врагам руки, мирно разойтись.

Степовая была из улиц, ночью освещавшихся только луной. Острые глаза Гайсина углядели неторопливо бредущую парочку. Он шепнул мне: «Готовься по третьему номеру!» Парень был высок и худ, девушка — изящна. Даже в темноте, освещенной лишь бликами окон, было видно, что оба — городские, а не наша молдаванская жлобня. Это предвещало занятный спектакль! Городские трусливей и безобидней — наш «третий номер» превращался в их испуганных глазах в жестокое нападение. Сейчас один Моня схватит меня справа, другой — слева, они будут крепко держать меня и заходиться криком: «Не надо! Ты же убьешь их! Успокойся!» — а я, вырываясь, дико заору: «Пусти! Душу выну!»…

Но Гайсин, сообразив, что парочка явно несолидна, внезапно переиграл третий номер на первый — и, схватив меня за плечи, швырнул вперед, как камень из пращи. Такое нападение обычно кончалось дракой. Девушек мы старались не толкать и особенно не пугать, а с парнями не церемонились: пусть показывают, чего стоят! Драки были несолидные, не до крови, но криков и толчков хватало.

Я уже собирался упасть на парня и, ударив его плечом, разразиться воплем: «На маленького, да? Теперь держись!», и смазать его, конечно, по роже, а он меня, естественно, по уху, а она, безусловно, завизжит, а мы, разумеется, скажем: «Только ради вас, мадмуазель!» — и великодушно даруем ее парню жизнь и здоровье, и разойдемся, прощающе помахав им рукой (так чаще всего и бывало)…

Но Гайсин, охваченный хулиганским вдохновением, разыгрывал спектакль не по программе — и я налетел на девушку, а не на парня. Чтобы не упасть, я должен был за нее ухватиться, а раз пришлось хвататься, я выбрал талию, а уж коли подвернулась талия — любовно и быстро прошелся по ней пальцами и замер в тесном объятии, отнюдь не собираясь до

вступления в игру ее приятеля убирать руки.

Но обошлось и без вконец растерявшегося и онемевшего парня. Девушка сама оттолкнула меня, смятенно воскликнув:

— Сергей Александрович, да что же вы делаете!

И еще до того, как она вскрикнула, еще не разглядев ее лица, по сверкнувшим в темноте глазам, может быть — по духам, а точнее — черт знает по чему, я понял, что напал на собственную ученицу, на студентку третьего курса Медина — из той группы, где мне завтра с утра предстояло читать лекцию!

И я немедленно, молча, отчаянно подорвал когти, то есть, говоря современным языком, дал несусветного деру, лихо драпанул, смылся, испарился, смазал пятки…

Гайсин возмущенно закричал — он не мог понять моей неожиданной трусости и чуть не кинулся в настоящую драку с опомнившимся парнем, но Моня Гиворшнер увлек его за мной.

Я был хорошим бегуном на короткие дистанции — Гайсин принадлежал к породе стайеров. Он нагнал меня квартала за два. В нешуточной ярости (какой вечер испорчен!) он выдал мне увесистый подзатыльник. И только то, что я не смазал его в ответ, раскрыло ему наконец всю бездну моего смятения и потерянности…

Он повалился на землю и захохотал, взбрыкивая длинными ногами. Он счастливо бормотал, что каждая такая минута по калориям заменяет полфунта сливок — и только отсмеявшись, посочувствовал мне:

— Будет тебе завтра денек, Сережка!

Но раньше, чем начался день, была ночь — и мне не пришлось вспоминать ее добрым словом…

Сон все не шел. Я видел во тьме мою студентку, девушку моих лет, однофамилицу моего друга Оскара Розенблюма. Эта Розенблюм была среднего роста, худа, грациозна, у нее было удивительно нежное и чистое лицо, красивые темные волосы. Занималась она превосходно, одевалась безукоризненно изящно, была молчалива, сдержанна, внимательна. Я часто украдкой заглядывался на нее — я угадывал за ее внешней уравновешенностью горячую натуру… Как такая женщина, по всему — природная интеллигентка, могла очутиться на нашей рабоче-босяцкой Молдаванке? Какими глазами я завтра посмотрю на нее? Как мне держаться с ней дальше?..

День начался, как все другие дни. Я не опоздал на свою лекцию. Розенблюм уже сидела в аудитории — изящная, молчаливая, с румянцем на тонком лице (она — я потом узнал — какое-то время болела туберкулезом), с блестящими темными глазами… Она не смотрела меня, она прилежно изучала лежащую

перед ней тетрадь — невозмутимая, как всегда.

Лишь какое-то подобие улыбки слегка нарушало спокойствие ее лица. Другие и заметить не могли, что она улыбается, но я видел: незаметная для остальных, эта улыбка предназначалась мне, моя студентка издевалась надо мной.

Я, как собака, мог вынести даже побои — но не насмешку! И, сорвавшись, громко сказал:

— Начнем лекцию с повторения прошлого материала. Прошу вас к доске, товарищ Розенблюм! Расскажите о том, как обосновывает Кант противоречивость своих четырех антиномий.

Этого она не ожидала. Она вздрогнула и растерялась: покраснела, смутилась. Сначала голос ее дрожал, но она быстро взяла себя в руки. Я спокойно смотрел на нее — и любовался. Она стояла передо мной — откинув голову, стройная, ее темные волосы, волнистые и густые, мягко блестели. И она хорошо отвечала! Я поставил пятерку, милостиво кивнул и удовлетворенно заметил:

— А вы молодец, товарищ Розенблюм!

Она обожгла меня ненавидящим взглядом. Уверен: ее трясло от бешенства. Но она умела держаться!

На перемене она подошла ко мне, вызывающе посмотрела в глаза и сказала с какой-то презрительной небрежностью:

— А вчера я думала, что вы трус…

Я молчал — у меня перехватило горло. Она язвительно продолжала:

— Вы, оказывается, в аудитории были смелее, чем сейчас в коридоре — тем более чем вчера на улице! Я все-таки жду, что вы извинитесь.

Стыд и смятение не давали мне говорить — я с трудом пробормотал:

— Не буду.

Она вспыхнула. Положительно, она ненавидела меня! Она сказала надменно:

— Может быть, все же объясните, почему не хотите извиняться? Чтобы я не думала о вас как о последнем нахале…

Я ответил дерзко — мне больше ничего не оставалось, кроме как дерзить:

— Если я извинюсь, это будет ложь! Будь моя воля, ту минуту, когда обнимал вас, я продлил бы до бесконечности! Можете считать меня последним нахалом…

Она порывисто отошла. Больше мы никогда не говорили на некурсовые темы. Временами мне казалось, что она боится смотреть на меня. Впрочем, возможно, я ей был просто неприятен! Хотя я, конечно, утешал себя другими

объяснениями…

Важнейшим итогом этого происшествия было то, что я перестал шляться со своими непутевыми друзьями по темным улицам. С развлечениями, сопредельными хулиганству, было покончено.

9

Наконец совершилось то, что Оскар давно (и убежденно) предвещал, а я нетерпеливо ждал. Мы всей кафедрой перешли в решительное наступление на наших противников. Главной задачей теперь было отыскать, где они, эти самые противники, прячутся и в чем, собственно, состоит их «противность».

Пипер, созвав заседание, обрисовал наши цели.

В стране развернулась новая грандиозная кампания — самокритики. Все работники, все руководители сами вскрывают собственные ошибки, открыто, честно и решительно обвиняют себя и дают торжественное обещание немедленно все исправить. А если кто уклоняется от разоблачения своих недостатков, ему сурово напоминают о них со стороны — так самокритика, самый диалектический из прогрессивных процессов, дополняется столь же диалектической жестокой критикой, которая гонит нас вперед.

— У нас с вами тоже много недочетов, — самокритично признался Пипер. — И мы должны их отыскать, осудить и ликвидировать. Эта диалектическая, почти гегелевская триада — поиск, осуждение и ликвидация — должна превалировать в нашем отношении к самим себе. Но она должна присутствовать и во взаимодействиях с нашими товарищами по диамату на других кафедрах города. Искать, осуждать и ликвидировать по отношению к ним означает диалектически превращать самокритику в критику. Без такого взаимного превращения двух форм движения вперед не будет и самого движения. Именно так на недавнем идеологическом совещании в горкоме сформулировали нашу общую задачу.

— Но это еще не все, — продолжал Леонид Орестович. — И даже не самое главное, хотя и очень важное. Партия обращает наше внимание на то, что нас окружают идеологические противники. Тут тоже действует диалектическая триада. Надо, во-первых, их выявить, во-вторых, раскритиковать их ошибочные взгляды и, в третьих, перевоспитать их в нашем единственно правильном духе. Если они, конечно, поддадутся перевоспитанию. В противном случае их передвинут на место, где они не смогут принести идеологического вреда. Впрочем, это уже не наше дело, наше дело — самокритика себя, критика

посторонних. Сказанное относится не только к людям, но и к наукам. В гуманитарных дисциплинах давно развернута идеологическая чистка. В философии борются с заграничными буржуазными учениями и отечественными механицистами[109] (а теперь еще с деборинцами, меньшевиствующими идеалистами), в экономике — с талмудоизированными абстракционистами известного экономиста Рубина.[110] Их разоблачение свидетельствует об успехе нашей борьбы. Но это, повторяю, гуманитарная сфера. А в области естественных наук еще и конь не валялся! Наша первоочередная задача — внедрять материалистическую диалектику в такие идеологически отсталые области, как математика и физика, биология и химия.

— Вот вы, Сережа, читаете статьи о диалектике в математике таких хороших философов, как Кольман и Яновская, они часто теперь печатаются в журналах, — обратился ко мне Пипер. — А где отдача от ваших студий? Где диалектика в математике? Чем физика в нашем институте идейно отличается от физики в каком-нибудь Геттингене или Кембридже? Считаю недоработкой, что мы до сих пор не обращали внимания на эту девственную для материализма почву — физико-математические и химико-биологические науки. Ставлю перед вами, как перед естественником, задачу: бороться за победу материалистической диалектики в математике, самой философской из точных наук.

Когда мы остались с Оскаром одни, предписания Пипера были тщательно пережеваны. Ося горел — он рвался в бой. Во мне воинственное начало было много слабей. Меня гораздо больше интересовала сама философия, чем борьба за нее. Оскар потребовал, чтобы я отыскал в себе зримые недостатки и подвергся острой самокритике. Я что-то невразумительно промекал.

— Хорошо, начну я, — объявил он. — Вижу у себя такие недочеты: плохо веду проверку того, как мои студенты осваивают материал. Слишком увлекаюсь чтением лекций — в ущерб контролю их понимания. Принимаю обязательство в ближайшее же время устранить их!

— И у меня такие же недостатки, Ося! — обрадовался я сносной самокритической отдушине. — Я тоже обещаюсь их исправить.

— Боюсь, этого будет мало, Сергей. Ты недавно сказал, что Сталин иногда не понимал Ленина и потому в апреле 1917 года допустил несколько ошибок, хотя быстро исправился. Это упоминание излишне.

— Почему излишне? Так было на самом деле. Сталин — человек, а человеку свойственно ошибаться.

— Сталин — вождь, он отличается от других людей. И он ведет жестокую борьбу во враждебном оппозиционном окружении. Не следует давать врагам повод для нападок на него. Ты же сам часто цитируешь какого-то поэта:

Вновь враги направляют удары
В стан глашатаев новых идей.
Берегите вождей, коммунары,
Берегите вождей!

— Мало ли каких поэтов я цитирую! Даже эмигрантов Бальмонта и Северянина. Что из того?

— Хорошо, отставим поэтов. С самокритикой все ясно, мы можем публично осудить свои недостатки. Теперь критика. Предлагаю начать ее с выявления преподавательских ошибок Леонида Орестовича.

— Пипера? — Я был ошарашен. Я слишком уважал Леонида Орестовича, чтобы нагло поднимать на него руку. Я решительно возразил: — Пипер — солнце без пятен.

Но Оскар, загораясь каким-нибудь желанием, закусывал удила.

— Ты полгода посещал обсерваторию и, не сомневаюсь, рассматривал в телескоп солнечные изъяны. Солнца без пятен не бывает. У Леонида Орестовича много недостатков. Не забывай: он граф, хотя и партиец. Это не может не наложить отпечаток на его лекции.

— Не верю! — обозлился я. — И ты мне их не перечислишь.

— Перечислю — и даже списком, — спокойно парировал Оскар. — Положу его перед тобой, когда ты немного успокоишься.

Он действительно принес мне список недостатков, обнаруженных у нашего шефа. Я давно их перезабыл, настолько они были несущественны — обычные у каждого преподавателя недочеты. Ни одного идеологического прегрешения Оскар в своем списке не упомянул. В нормальной обстановке никто на эти мелочи и внимания бы не обратил. Не было единственно нужного — нормальной обстановки. В стране бушевала истерическая идейная борьба.

Всю мою долгую жизнь одна общественная истерика сменяла другую — и все они казались идейными, все были борьбой за справедливое будущее. Если бы моя страна была человеком, я убежденно и однозначно посчитал бы его психически больным, страдающим манией величия и манией преследования, буйствующим в белой горячке — то среди зеленых чертей, то в

райских кущах. И мы, молодые члены этого полусумасшедшего общества, усердно способствовали непрерывной истерии — и сами становились истериками. Вполне по Писанию — творили волю пославшего нас. Это была безумная воля безумного хозяина — и мы тоже правоверно и самозабвенно впадали в безумие.

— Что ты предлагаешь делать с этим списком, Ося? Подвергнуть Леонида Орестовича публичному шельмованию?

— И мысли такой не было! Соберемся все вместе у Трояна, обсудим положение. Я уже говорил с Николаем, он согласен предоставить свою комнату. Главное — ничего не скрывать. Я сам приглашу Леонида Орестовича.

Я сдался.

— Приглашай.

Пипер согласился не возражая и сам назначил день. Не знаю почему, но, всегда аккуратный, я опоздал на эту встречу. Все трое были уже на месте. Пипер хмуро помешивал ложкой в стакане, Николай спокойно допивал чай, Оскар к своему так и не прикоснулся. Я посмотрел на него и удивился. Он был красный, растерянный и не поднимал на меня глаз. Крепко же они поспорили, подумал я.

Пипер очень резко сказал:

— Мы ждали вас, чтобы начать разговор. У вас ко мне какие-то претензии. Итак, что порочного вы у меня нашли?

Я понял, почему Ося так растерян и подавлен. Он не осмелился говорить без меня. Эту критическую кашу заварил он, а расхлебывать придется мне. От неожиданности я не сразу собрался с мыслями.

Честнее было бы прямо сказать: «Это придумал Оскар, пусть и рассказывает!» Но это была предательская честность, я не мог на нее пойти. И, путаясь и косноязыча, я по пунктам изложил оскаровский список, так и не вынув его из кармана.

У Пипера явно отлегло от сердца — он, по всему, ожидал обвинений похуже. В его партийном окружении сыпали куда более грозными ярлыками…

— Спасибо вам, молодые мои товарищи, за то, что вы так дружески, так честно открыли мне глаза на мои недостатки. Я сделаю все возможное, чтобы их исправить, — произнес он очень формально — в его голосе не было и намека на всегдашнюю покоряющую искренность. — А теперь простите меня, я должен уйти.

Он сразу ушел. Мы тоже распрощались с хозяином комнаты. На улице я дал волю своему гневу. Я набросился на Осю.

— Ты сам придумал эту критику! И должен был начать разговор, а я — только поддержать. Так мы уславливались — а

что получилось? Подставил меня, а сам остался в стороне!

Ося и не пытался оправдаться. Он просил прощения и объяснял, как все произошло. У него отнялся язык, когда он увидел нахмуренного Пипера. Он почувствовал, что неспособен и слова сказать. Он не собирался взваливать ответственность на меня, а вышло именно так. Теперь он узнал, что в трудные моменты может струсить. Он сознает, он глубоко сознает свою вину передо мной.

— Ладно, забудем, — подвел я итоги.

Формально это означало прощение. Это и было прощением — в том смысле, в каком обычно понимают это слово. Я больше не сердился на Оскара. Я никогда не винил его за тот вечер и тем более не собирался мстить. Дело было не в Осе — что-то случилось со мной.

Я вдруг потерял веру в реальность обещаний. Они утратили свою обязательность. Это было несравненно важнее того, что мой друг сплоховал перед трудностями. Он остался моим другом до самой своей смерти — но теперь я знал то, о чем раньше и подумать не мог: самый близкий человек может предать тебя в трудную минуту, даже если он практически не способен на сознательное предательство! Окружающий мир слегка пошатнутся и утратил часть своей определенности. Он стал немного иным. Это вызывало во мне незатухающую боль. Я знаю, это звучит слишком значительно, но ничего не могу с собой поделать: это было именно так.

Внешне наши отношения с Леонидом Орестовичем не изменились. И все-таки в них проник какой-то холодок. Пипер так и не узнал, что не я был инициатором восстания. Я был виновен только в том, что не отказался от него. Вина немалая! Пушкин сказал: «…тяжкий млат, дробя стекло, кует булат».[111] Я не был стеклом — это я узнал впоследствии. Но первый удар молотком по моей совести запомнился навсегда — и тем, что я ему поддался, и тем, что мой лучший друг в эту минуту оказался неверен.

В остальном я начал истово творить волю пославшего мя[112] и только многие годы спустя задал себе трудный и тяжелый вопрос: а так ли справедлива была эта воля, командовавшая мной? Я стал внедрять материалистическую диалектику в математику и физику. Публикаций появлялось много — тех же Кольмана (потом, если не ошибаюсь, сидевшего, а после отсидки — академика),[113] Яновской,[114] украинца Семковского.[115] Я честно излагал их содержание, добавлял к ним свои «изыскания», казавшиеся мне довольно важными, — я органически не умел пересказывать чужие статьи, не сдобрив их при этом научной

отсебятиной. И так как внедрение диалектики было предписано, а я все же избегал прямых глупостей, да и умением складно говорить обделен не был, на мои сообщения сходилось много народу, в том числе и преподавателей. Только однажды мой недавний учитель, профессор истории математики и методист К.М. Щербина, сказал после моей лекции:

— Вы бы лучше ограничились передачей того, что об этом пишут другие. Тогда проблема обрисовалась бы ясней.

Это было тонкое замечание! Я понял его слова, когда кампания «по внедрению диалектики в кузнечное дело», как потом шутили, прекратилась (и тоже — по велению свыше). Выполняйте, что вам приказали, но не вмешивайте сюда творчество, оно вам понадобится в настоящем деле, — такова была суть совета Щербины.

А доцент Гофман, человек горячий, с негодованием сказал мне впоследствии:

— Вы такую шумиху подняли в университете, что было страшно! Не я один — все мы тратили рабочее время, чтобы найти в своей науке что-то диалектическое. Ну какая может быть диалектика в векторном исчислении, которое вы у меня когда-то сдавали? Столько сил потрачено, столько мозговых извилин иссушено!

Конечно, он был прав. Победоносное переливание из пустого в порожнее, которое называлось торжеством диалектического мировоззрения во всех областях науки, было бесполезной тратой сил и нервов. Но за этим ликующим пустобрехством таилось и невидимое пока грозное подспудье — нужно было удалить из вузов старых ученых. Даже невежественные наши правители понимали: просто так выгонять заслуженных людей на улицу — дело малопочтенное и не очень приличное. Куда проще найти у них ошибки, открыто их раскритиковать, заставить старых профессоров публично признать их и покаяться в грехах — после чего спокойно выгнать. Как недостаточно компетентных в тех отраслях, в которых они были знатоками и которые зачастую создавали.

К этой первой волне чистки идеологически чуждых преподавателей я руки не приложил — даже слова против них не сказал. Хотя по должности обязан был участвовать в критической кампании: все же доцент передового пролетарского учения, диалектического материализма. Но тут уж нажимать на меня было бесполезно! Честно говоря, немногое из произошедшего в тот — идеологически неистовый — год я могу поставить себе в заслугу, но этим неучастием в нападках на старую профессуру горжусь и теперь — ибо плыл не в русле категорически

предписываемого течения. Ни один из моих учителей не отворачивался от меня при встречах — все дружески пожимали руку.

Зато отстраниться от критики моих коллег, преподавателей того же диалектического материализма, я, конечно, не мог. Да, наверное, и не хотел — почти все были «назначены на диамат», в их знаниях зияли провалы, граничащие с невежеством. Мы с Осей и раньше потешались над явным вздором, который от них слышали. Исправление соседских неисправностей было своеобразной цеховой самокритикой.

Единственным исключением стала, сколько помню, схватка Оскара с профессором Елиным.

Важный пожилой мужчина, по профессии не то биолог, не то химик, он заведовал лабораторией агар-агара.[116] Говорили, что он не только нашел новые методы извлечения этого вещества из водорослей, но и способен синтезировать его. В органической химии Елин, наверное, был заметной величиной. А кроме того — партиец чуть ли не с дореволюционным стажем, естественно, совершенно безупречный идеологически. И его «бросили на диамат» — профессором. Оскар, его ученик, говорил, что поставил бы Елину максимум тройку, если бы тот пришел к нему экзаменоваться.

Критике идеологических и педагогических ошибок Елина было посвящено специальное собрание. Я пришел на него вместе с Осей. Все началось со вступительной лекции профессора — он рассказывал об особенностях своего преподавания. А затем на него обрушился Оскар.

Едина студенты недолюбливали, он держался слишком надменно — и его эрудиция не оправдывала высокомерия. Каждое Осино критическое замечание зал встречал смехом и одобрительными возгласами. А сам Елин сидел в первом ряду и громко — скрипучего его голоса хватало на всю аудиторию — повторял:

— Ерунда! Ерунда! Ерунда!

Оскар не любил шуток, он был — в отличие от меня — человеком серьезным. Но в нем таилось злое природное остроумие — и оно разило жестоко. Когда-то, только-только познакомившись с Борисом Ланда, он изрек: «Если Боб женится, его жена будет сидеть на бобах». Это было не просто остроумно — истинно (и дальнейшая Борисова жизнь это только засвидетельствовала). Услышав непрерывно повторяемое: «Ерунда!», Ося презрительно бросил Елину:

— Что это вы, профессор, говорите только одно слово? Люди подумают, что вы, кроме ерунды, вообще ничего не знаете.

Зал ответил хохотом, несколько человек зааплодировали. Елин встал и вышел из аудитории. Нам потом говорили, что он расплакался, — во всяком случае, многие видели, как он вытирал платком глаза.

Финал этих горячих идеологических дискуссий был именно таким, каким он должен был оказаться, — и какого мы с Осей совершенно не ждали. В недрах обкома партии состоялось закрытое совещание — в результате его были уволены и старые профессора, наши учителя, и наши коллеги по ремеслу: профессор Елин, доценты Коган, Меламед и другие (я уже не помню их фамилий).

— Это наша вина, Ося! — сказал я. — Мы их критиковали.

Оскар не был склонен к самобичеванию.

— Нет за нами вины. Мы их критиковали, верно. Но за ошибки, а не ради злопыхательства. Это были честные выступления. Они могли опровергнуть нас, напасть ответно — но этого не сделали. Значит, мы были правы.

— Их сняли с работы…

— Не мы. Это сделали другие, мы за чужие дела не ответчики. Моя совесть чиста. Лично я охотно отстранил бы одного Едина. Моя критика остальных не была уничтожением — только формой помощи.

— Скоро и нам так же помогут.

— Ты всегда думаешь о худшем! Сняли с работы тех, кто ошибался. Мы с тобой не ошибаемся: мы достаточно знаем свой предмет, чтобы не делать ошибок. Поставить нам в вину недочеты, которых нет, не сумеет никто.

Его спокойствие успокаивало. Но меня постоянно мучило нечто вроде изжоги после плохого обеда. Может быть, мы и не были впрямую виновны в чьих-то действиях, но нас использовали в качестве повода для них. Я не раскаивался — Осина логика была неоспорима. Но меня уже тяготило смутное понимание, что я не больше чем марионетка в чьих-то недобрых руках.

10

Осень 1932 года началась грозными предзнаменованиями.

Газеты, как обычно, молчали о неудачах (самокритика распространялась только на частности), но всем стало ясно: урожай был плохим. Столь же ясно было, что стране не удастся завершить пятилетку без экспорта зерна. В порту дожидались своей очереди иностранные сухогрузы, в их трюмы лилась пшеница, а по продуктовым карточкам снизили выдачу хлеба, и он становился все хуже: сырой, тяжелый, влажный, с примесью малосъедобных дополнителей… Не всякий желудок переваривал такой хлеб!

Потом появились сообщения, что ширятся кишечные заболевания. Правда, их объясняли не плохим качеством еды и ее нехваткой, а гораздо приличней — несоблюдением санитарных норм.

Мы с Осей часто обсуждали положение в стране. В газетах каждодневно писали о победах пятилетки, об укреплении социалистического строя, а на улицах (уже в первые месяцы зимы) стали попадаться опухшие от недоедания люди.

— Повторяется 1921 год, — говорил я (тот кошмар навсегда сохранился в моей памяти).

— Он не повторится! — возражал Ося. — Вспомни: тогда уже в начале зимы всюду валялись умершие, бездомные бродили по улицам. Сейчас нет ничего подобного. Недород, конечно, — но не голод.

Я не мог ему возразить. Умершие на тротуарах действительно не валялись. Трупы не появились даже ранней весной, еще до первой травы, в самый пик голодания.

С. Снегов, 1932 г.

С. Снегов, 1932 г.

Мы с Осей просто не знали, что это был новый голод, непохожий на тот, что разразился одиннадцать лет назад.

Тогда у нас на юге вымирали в основном города. В селах южной Украины тяжко, но все-таки перебивались — с остатков зерна на бросовые травы. Пухли, резали последний скот — но не мерли целыми деревнями, как в Поволжье. Голод в городах был злей, чем на селе.

Сейчас картина была обратной. На город была возложена

важная миссия — пятилетка, его нужно было поддерживать — весной 33-го здесь люто недоедали, но все же не падали от истощения на асфальт. А на селе вымирали целыми семьями и родами. Там разразился особый голод — допущенный и даже стимулированный: весь скудный урожай отбирали и вывозили за кордон. Нужно было спасать любимое детище государства — пятилетку индустриализации.

Когда наша домработница Ирина заболела, к нам зачастила ее мать. Она появлялась каждую неделю, обменивала что-то на базаре, часть оставляла Ирине, часть увозила — в общем, спекулировала. Но это была необычная спекуляция, не похожая на торги прошлых лет. Она привозила из села не продукты, а вещи, а в городе закупала еду. В деревнях расставались с нажитым добром — чтобы выжить. И мать Ирины рассказывала, что из колхозов забирают весь хлеб, а у самих колхозников зерна нет, не то что законного — утаенного. В их селе, говорила она, даже бывшие единоличные закрома поломали, чтобы негде было хранить свое добро, — все несли в колхозные склады.

— Ежели не помрем, значит, Господь за нас. Только многие умрут, — печалилась она. — А и выживем — как сеять? Ни зернышка не осталось.

Не помню для чего, но весной 1933 года мне понадобилось поехать в Вознесенск. В памяти остались городская площадь, собор напротив гостиницы, две прекрасные речки, сливающиеся у города, — Синюха и Южный Буг, пляжи, на которых можно было позагорать не хуже, чем в Одессе, и вечернее пение соловьев в садах. Их было множество — я не мог уснуть, пока не прекращались их ночные концерты.

Но я помню и другое. В пути проводники закрывали окна, чтобы мы не могли бросить что-нибудь наружу, когда проносились мимо полустанков. А там, на перронах, на траве сидели и лежали оборванные крестьяне с детьми, на одной станции я увидел женщину, неподвижно распластанную на земле, а по ней ползал ребенок — еще живой…

Первая пятилетка выполнялась успешно.

Той весной Фира закончила институт. Последний год она, как и я, больше экстерничала, чем посещала лекции. И — непостижимо для меня — хорошо сдавала экзамены. Помню, как она расправилась с интегральным исчислением. Она запоздала с приездом из Ленинграда — на подготовку осталось три дня, сессия заканчивалась. Я был убежден, что за этот срок интегральное исчисление не изучит даже гений с головой шире плеч. Фира три дня и три ночи не отрывалась от учебника — и сдала экзамен на «хорошо». Пораженный, я сам ее проверил. Она

знала курс назубок, держала в уме все важные формулы, сумела решить задачу — оценка была заслуженной. Но через месяц уже мало что помнила, а спустя год вообще смутно представляла, что это за штука — интегральное исчисление.

Сияющая радостью, она заговорила о своем будущем. Ей надо определить жизненный путь.

— Понимаю, — сказал я. — Но, честное слово, не могу представить тебя в роли учителя физики или математики.

Оказалось, я сказал именно то, что она хотела услышать.

— Ты прав. Я не гожусь в учителя. И никогда не буду учительствовать.

Я уже чувствовал, что она задумала что-то экстравагантное. Эксцентричность из нее еще не выветрилась. Она еще была способна на сумасбродства. Я деловито поинтересовался:

— Кем же ты собираешься стать, Фируся?

— Актрисой! — выпалила она. — Хочу уйти в театр!

— В одесский театр?

— Нет, в какой-нибудь ленинградский. Я давно об этом подумываю. Что скажешь?

Я не мог сказать ничего вразумительного. Я отлично понимал, что Фира не годится ни в хорошие физики, ни в хорошие математики. Эти области были чужды ее натуре. Но потратить четыре года на изучение ненужных наук! Столько напрасного труда, столько потерянных сил…

— Зачем же ты вообще пошла на физмат, если давно подумываешь о театре?

— Сглупила. Мало ли глупостей мы делаем? Захотелось чаще видеть тебя.

— Встречаться со мной можно было и не теряя четырех лет.

— Так получилось — теперь не переделаешь. Скажи честно: одобряешь меня или будешь осуждать?

Вопрос был трудным.

В том, что Фира так радикально меняла свое будущее, была и моя вина. Разве я не восхищался ее чтением, ее голосом, ее умением изобразить любое чувство? Разве я не наталкивал ее на мысль, что в ней таится замечательная драматическая актриса? Вот она и не захотела дать этой актрисе погибнуть. Вполне, если вдуматься, естественное желание.

И еще одно. Могу ли я толкать ее к тому, от чего она отшатывается? Каждый из нас — самостоятельная личность. Каждый имеет право творить свое будущее таким, каким его видит. И актрисой она, наверное, будет выдающейся — не сравнить со школьной учительницей.

— Ты вправе поступать, как тебе заблагорассудится, — сказал

я. — Но почему Ленинград? Я работаю в Одессе.

— Из Одессы надо уезжать. В Ленинграде ты сможешь развернуться по-настоящему, возможностей больше. Самые близкие мои люди — мама, бабушка, сестра, тетки, дядья — они все либо там, либо в Москве. Меня никто не удерживает в Одессе, только отец. Но мои отношения с отцом ты знаешь.

Так было постановлено разделываться с Одессой. Это было еще не решение — только намерение. Но у Фиры намерения немедленно преобразовывались в действия.

Спустя несколько дней она уехала в Ленинград — подготавливать почву для новой жизни. Она так торопилась, что не дождалась свидетельства об окончании института.

В конце пятилетки почти все вузы устраивали досрочные выпуски студентов. И я, и Фира были досрочниками. Мы не защищали дипломов — только получали свидетельства. У меня такое свидетельство сохранилось. Фира старательно берегла все свои бумаги — письма, справки, рецензии на спектакли, но документа об окончании института я у нее не видел. Она, очевидно, им просто-напросто пренебрегла.

За несколько дней до отъезда в Ленинград Фира порадовала меня новостью, что беременна. У нее еще не выветрилось желание ходить передо мной в одежде нашей прабабушки Евы. Нагая, она крутилась перед зеркалом и внимательно себя осматривала. Я любовался ею и хохотал.

— Хороша! Хороша! Третий год замужем, скоро третий месяц беременности, а обводы как у семнадцатилетней девчонки.

— Я не любуюсь — я опасаюсь, — ответила она серьезно.

— Чего опасаешься? Своей красоты?

— Именно! Это ужасно, что у меня такая модная фигура.

— В каком смысле модная и в каком ужасно?

— Посмотри на мои бедра. Ты всегда называешь их мальчишескими. Но они хороши только для интимного красования перед мужем. Я не разрожусь при таких бедрах!

Я не разуверял, а высмеивал ее. Женщины не могли разродиться только в древности. Кесарево сечение — способ, которым был рожден Юлий Цезарь — и тогда было редчайшей редкостью, нынче к нему не прибегают даже самые отсталые. Я говорил с таким апломбом, будто был опытным акушером. Меньше всего я мог предположить, что не пройдет и десяти лет, как другая (и горячо любимая мной!) женщина не разродится и умрет, так и не увидев своего ребенка, — только попросит: если будет мальчик, назовите его Сергеем…

Я немного успокоил Фиру — но лишь на короткое время. Теперь она боялась боли. У нее мальчишеские бедра, ей будет

гораздо больней, чем нормально сложенным женщинам. Вряд ли она это вынесет!

— Врачи дадут тебе обезболивающие. Помнишь грозный завет Господа: в муках будешь рожать детей своих? Не нам с тобой менять законы естества.

— Именно это я и собираюсь сделать! Хочу рожать без боли. Есть возможность обойти проклятие Господа.

— Никогда об этом не слышал! Как же ты хочешь рожать?

— Под гипнозом, — ответила она спокойно.

И рассказала, что в Ленинграде, в знаменитой клинике Отта, уже ставятся опыты обезболивания при родах. Одни врачи дают роженицам сильные препараты, другие, специалисты-гипнотизеры, применяют внушение.

— Ты знаком с некоторыми гипнотизерами, мои родственники тоже. Саша лежал в психоневрологическом институте, перезнакомился со всеми врачами — этим тоже можно воспользоваться. Ты должен поехать со мной в Ленинград — вместе мы добьемся, чтобы меня приняли в клинику, где проводят эксперименты.

В конце концов она меня уговорила. Во время студенческих каникул всех молодых преподавателей посылали на село — помогать в уборке урожая. Я был назначен в самый крупный зерновой совхоз Украины «Красный Перекоп». Но до поездки было еще далеко — чуть ли не месяц.

И мы с Фирой поехали на север.

Дело с клиникой Отта уладилось быстро. Там даже обрадовались, что нашлась молодая женщина (да еще с высшим образованием), которая готова подвергнуться недостаточно апробированному эксперименту. Она, конечно, станет более ценным объектом опыта, поскольку сумеет сообщить врачам больше важных сведений: как именно чувствовала себя до родов, во время них, после… Наметили отдельную палату, выделили специальных сиделок, целый синклит врачей обещал непрерывно присутствовать при рождении нашего ребенка. Условия были оговорены заранее: двенадцать предварительных сеансов гипноза — и немедленное прибытие в клинику при начале схваток.

Первые из этих сеансов прошли еще при мне. Фира весело рассказывала:

— Понимаешь, не было ничего особо гипнотического — ни пассов, ни усыпления, вообще никаких штучек, о которых вы с Сашей рассказывали. Врач просто прочитал мне лекцию о том, как идут роды. И стал доказывать, что у всех живых тварей они совершаются без боли — у лошадей, кошек, собак… Боли при рождении человека носят скорее психический, чем

физиологический характер. И вот от этого, от психики, вызывающей физическую боль, он и будет меня освобождать. В общем, доказывал, что родовая мука есть истинно проклятие Господа, а не дар природы.

— Этот разговор, наверное, только первая фаза — потом будет и усыпление, — сказал я.

Гораздо больше, чем Фирина лекция, меня занимала трагедия Сусанны. Она разошлась с Валентином Глушко. Я не осмелился ее расспрашивать — она выходила из себя при каждом напоминании о разрыве. Но и мать ее, и Рахмиль Исаевич, и вся родня непрерывно говорили только об этом — и каждый что-то переиначивал и привирал. Я вносил поправки в их рассказы и в результате создал собственную версию. За полную точность не ручаюсь, но в правдоподобии уверен.

Сусанна, видимо, изменяла мужу — слишком уж много интересных мужчин увивалось вокруг нее, красивой и умной. Очевидно, не от всех просьб она смогла и захотела отбиться. Валентин об этом узнал. Разыгрался грандиозный скандал со взаимными оскорблениями и попреками. Сусанна хлопнула дверью и ушла. По словам ее родных, она яростно кричала (и на Глушко, и без него), что ей нужен муж, а не привидение. Возвращается с работы, когда она крепко спит, дрыхнет, когда ей пора на службу, — разве это нормально? Больше она и слышать не хочет о таком муже.

Глушко, похоже, любил ее больше, чем она его. Он решился на сумасбродный поступок — пустил себе пулю в сердце (Саша говорил, что сначала он достал анатомический атлас и тщательно изучил, в каком месте оно расположено). Пуля прошла впритирку. Валентину пришлось больше месяца пролежать в больнице.

На женщин такие поступки действуют гипнотически. Сусанна не была исключением — она снова полюбила мужа. Она явилась к нему с цветами, чтобы выпросить прощение. Но он тоже изменился. Пуля не только пробила грудь, но и вышибла из нее былую любовь. Глушко не принял вернувшейся жены.

В финале несостоявшейся семейной жизни был безобразный судебный процесс — развод с разделением имущества. Богатства мало интересовали Сусанну (иногда она представала подлинной бессребреницей) — но ее мать, Нина Израилевна, была из тех, которые своего не упускает.

Для меня эта история означала только одно: разрыв Саши с Глушко стал окончательным, примирение невозможно. Саша часто иронизировал по поводу Санны, но любил ее, наверное, больше всех сестер (даже больше Фиры). И Глушко, очевидно,

закаменел в недоброжелательстве к своему бывшему сотруднику, дяде отвергнутой шебутной жены, — так я тогда думал.

И, к великой своей радости, ошибался. Через много-много лет в юбилейной книге, посвященной советской космонавтике, в разделе о газодинамической лаборатории я увидел портрет Саши. Одним из редакторов был сам Глушко — он не забыл никого из своих бывших помощников. В недлинном ряду упомянутых сотрудников был и мой старый, мой давно умерший друг — молодой, красивый, с вдохновенным лицом, с горящими (даже на фотографии) глазами. А на карте обратной стороны Луны значился кратер с таким дорогим мне именем — Александр Малый.

Я пообещал Фире, что сразу после совхоза приеду к ней и побуду до родов. В перерыве между гипнотическими сеансами (планировался и такой) она хотела снять комнатку где-то около Невеля, городка в Псковской области, — там отдыхали ее знакомые.

Туда я и должен был приехать.

11

Перед командировкой нужно было зайти в обком партии и получить наставления. Меня принял Фейгенсон (так его, кажется, звали), заведующий отделом сельского хозяйства. Он был из старых подпольщиков, знал и моего отца, и моего отчима. Фейгенсон вручил мне два командировочных удостоверения в Каховский район.

И вот здесь память мне отказывает. Удостоверений было именно два — это точно. Но, возможно, они относились к разным поездкам — и я соединил их в одну только потому, что многое уже забылось.

Зато я хорошо помню свой разговор со старым партийцем.

— Слушай, Сергей, — сказал Фейгенсон. — В этой командировке тебе полагается револьвер. Я могу выписать прошение, а выдадут его тебе в нашем ГПУ — под расписку.

— Зачем мне оружие?

— Оружие нужно всегда, а на селе оно просто необходимо. Столько недобитых кулаков, подкулачников, тайных врагов… Ежедневно поступают сводки о нападениях на наших людей. Как ты сможешь отбиться без оружия?

— Раз вы советуете, я возьму револьвер.

— Нет, ты меня не понял. Я этого вовсе не советую. Даже наоборот — лучше откажись от него. Я просто говорю, что, если нападут, без револьвера тебе не отбиться.

— Не понимаю…

— Это же просто, Сергей! Пока у тебя нет револьвера, надо держаться так, чтобы на тебя не напали. Предостерегаться, не прогуливаться в темноте по пустым улицам — ты меня понял? Риск, конечно, — а что делать? Без риска теперь сельских командировок не бывает. А если в кобуре будет револьвер, на тебя станут охотиться. Оружие — это же такая ценность… Обязательно нападут! И вот тут револьвер станет необходим, чтобы отбиться. А вдруг не отобьешься?

— Я не возьму револьвера.

— И правильно сделаешь! Тебя посылают агитировать — какая же агитация с оружием в руках? Людей надо брать хорошим словом, а не пулей. — Он помолчал и горько добавил: — Сережа, мы с твоим отцом делали революцию ради народа. И мне сейчас страшно, что мы разговариваем с людьми, не выпуская из рук оружия! Так все непредвиденно обернулось…

Я не поддержал этого рискованного разговора. Я уже и тогда с недоумением повторял слова Сталина: «Печать — самое сильное оружие, при помощи которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своем, нужном ей языке».[117] Говорить при помощи оружия!.. Обычно вторую часть этой фразы опускают, но я-то ее хорошо знал. Это было очень опасно — упоминать такие формы разговора.

Я побоялся за Фейгенсона: он недопустимо (особенно для старого партийца) разоткровенничался. Впрочем, на совещаниях он, вероятно, выступал с другими речами. Политический дуализм, обязательное лицемерие уже давно стали формой партийного существования. Можно было лишь удивляться, что бывшего подпольщика потянуло на откровенность. Впрочем, он понимал, что я на него не донесу.

Я выехал в Херсон, оттуда — куда-то в район МТС (машинно-тракторной станции), в приднепровское село с гордым (а может, выспренним) названием «Новые маяки».

Станция была полна «Фордзонов», «Интернационалов»[118] и новеньких агрегатов с недавно пущенного Сталинградского тракторного. Были и автомашины — полуторатонные грузовики горьковского завода, пассажирские «эмки». Был недавно выстроенный Дом культуры (в нем я выступал с агитационными лекциями). Были лаборатория для анализа зерна и новенькая, добротная школа.

Меня поселили в хорошей хате, у чистоплотной хозяйки — кажется, ее звали Катериной (однако не ручаюсь). Мужа у нее не было — не то умер до коллективизации, не то арестовали и выслали в какие-то лагеря. Зато был сын — смышленый паренек,

который самозабвенно становился трактористом и каждый вечер приходил домой в черном тракторном масле — до того «перемазеканный», что легче было живьем снять с него кожу, чем хотя бы приблизительно ее отмыть.

А вот лошадей я не помню. Вероятно, они были, но в глаза не бросались. Возможно, их просто порезали и съели — голод, свирепствовавший всю зиму, только-только кончался. И коров было мало — их, чтобы не пали, колхозы еще до появления травы законно свозили на мясокомбинаты.

Все остальные воспоминания теряются в каком-то смутном мареве. Только три события ярко горят в моей памяти — одно чудо и две трагедии.

Чудом было то, что я впервые увидел звезды. Нет, я, конечно, смотрел на них и раньше, любовался Ими, изучал их — они сопровождали меня всю мою жизнь, все мои ночи сияли надо мной. Меня считали знатоком созвездий. Даже в астрономической обсерватории Александра Яковлевича Орлова меня называли самым начитанным в звездографии. Именно начитанным, а не «навиденным» (если можно так сказать), ибо, поглощенный вечными вычислениями цефеид, там я гораздо реже, чем во время бесцельных шляний по улицам, вглядывался в небо.

Но только в Каховской степи, где-то около МТС «Новые маяки», я увидел звезды по-настоящему. В селе, расположенном рядом с главной усадьбой станции, вечерами гасли все огни. И небо нависало над потерявшейся в темноте землей во всем своем сверкающем великолепии. Звезды, мохнатые, яркие, зримо моргающие, не просто светили — они исторгали праздничное сияние. Фира Володарская когда-то заметила, что в небе совершается торжественный пленум звезд. Это было сказано хорошо — и совершенно недостаточно. Тысячами глаз всматривалось ночное небо в темную землю. Неистово пылала Вега, мрачно горел красный Альдебаран, проникновенно сияли Арктур и Капелла, Денеб и Альтаир. А ближе к середине ночи из-за края земли величественно выдвигался Орион, красивейшее из созвездий, и вслед за ним — Сириус, самое яркое светило нашей вселенной, недобрый, как верили древние греки, глаз Бога, грозно высветляющий Землю. Все это было так прекрасно, что не хватало дыхания. Казалось, что при этом еженощном светопожаре можно читать газеты.

А теперь — о трагедиях.

Я наконец узнал о судьбе Генки Вульфсона, отправленного в эти края для помощи весеннему севу.

Я расспрашивал о нем всех, кого встречал. Многие помнили,

что разыгралось в этих местах всего несколько месяцев назад — слишком уж необычна была эта трагедия даже в тот трагедийный для всего народа год! Подробней всего мне рассказал о ней секретарь партячейки нескольких деревень, объединенных МТС. Сколько помню, это был худой недобрый человек, до коллективизации — полный бедняк. Затем он умело превратил свое беднячество в доходную профессию — и вышел в люди. Он был готов распахнуть пасть на всякого, в кого ткнут указующим перстом, и ограбить всех соседей и родичей до полного голода, если свыше поступит такое указание.

— Твой Генка поначалу был парень как парень, — рассказывал он. — Даже понравился: здоровый такой, голос — труба! Выпивали как-то с ним — пил хорошо. Ну, назначили его командовать тракторной бригадой, он трактора знал — не нам чета… Солнце пригревает, снег сошел, пора сеять — а семян нет: весь посевной материал еще в хлебосдачу на элеватор свезли. Послали Генку в город, с ним председатель колхоза, еще кто-то… В общем, привезли грузовик семенного материала, в смысле — хорошей пшеницы и ячменя. Рассыпали по сеялкам. А народ, сам знаешь, изголодался, иные еле ходят. Ему надо следить, чтобы сеялка равномерно подавала семя в землю, а он ту пшеницу сырую жрет — хватает обеими руками и нежеваную глотает, насыщается после голодухи. Такой вредный народ — начисто срывает государственный сев! И так семян поступило в обрез, а тут разгильдяйство и воровство… Генке бы прикрикнуть, кого пристукнуть палкой помалу, а на кого и сообщить куда положено. Нет, упрашивал — а какое упрашивание, если у человека живот шаром от зимнего недобора? У такого только изо рта выковырнешь — так еще сохранишь государственную ссуду. В общем — никакой не руководитель оказался этот Геннадий! А проверили, как засеяно, — ахнули: семян в земле — половина нормы. При таком засеве урожая не ждать… Провалили начисто посевную — путем кражи посевного материала для личной жратвы прямо на поле, при полном попустительстве руководителя! Короче — вредительство, которое тут же своевременно обнаружили, жаль, что поздно. И вызвал тогда Генку на допрос сам начальник городского ГПУ…

— А что произошло у начальника ГПУ?

— Сам я на допросе не был, лично не видел. Только что может быть у чекистов? Все, думаю, чин чином шло. Начальник на него, естественно, с матом: изменяешь Родине, подрываешь наше государственное благосостояние попустительством краже семенного материала, за это тебе то-то и то-то! И под конец заорал: посиди тут, покедова вызову конвой, посажу тебя в самую

черную камеру, а там, возможно, по суду и шлепнем, а может, если посчастит, лишь десяткой лагерей отделаешься! И вышел за своими стрелками, а Генка, не будь дурак, не стал дожидаться конвоя, а проворно полез в начальственный стол, хвать оттуда револьвер и пулю — в себя… Начальник прибегает на выстрел, Генка на полу, в воздухе дымок расходится. Так и завершился тот допрос. А человек Генка был вроде ничего, добрый, не шебутной, только очень уж густой голос. Не повезло парню…

…Не повезло, не повезло моему Генке! Всем нам не повезло. Общество потеряло талантливого изобретателя, который мог бы прославить свою страну. Мы лишились друга. Какая-то не вышедшая замуж женщина не нашла опоры, чудесного отца для своих так и не рожденных детей… Тысячи невосполнимых горьких потерь в одной преступно спровоцированной смерти!

Вторая трагедия произошла на моих глазах.

Секретарь партячейки предложил мне поучаствовать в раскулачивании одного нехорошего мужика, сильно вредящего нашему социалистическому строю.

— Какое раскулачивание? — удивился я. — Всех кулаков ликвидировали уже два года назад!

— Нет, не всех, — объяснил мне секретарь. — Остались еще некоторые гады, маскирующиеся под середнячков, которых мы принципиально не трогаем, а по своей натуре — типичные кулаки! Короче — подкулачники. Их тоже приказано вырубить под комель, где ни обнаружатся. Один из них затаился в нашем партийном кусте, объединяющем почти десяток деревень и сел. Когда-то служил в Красной армии — и потому голову задирает выше солнца. Завел лошадь, двух коров, овец, свиней, а в колхоз вступать (даже председателем предлагали!) отказался наотрез — еще и посмеялся над нами: мол, сплошные лодыри, с такими ему не личит. Во всем кусте единственный единоличник! По-хорошему посовещались в райкоме партии и решили: хоть формально и не кулак — раскулачить! Потому как нет больше терпежу видеть, как перед честными колхозниками выхваляется своим богатством… Завтра придем к его хате всем партийным скопом, прибудут и товарищи из ГПУ — без них раскулачивание не удастся, он способен каждому такой сдачи дать!.. Приходи и ты, Серега. ,

— Зачем я вам? Я не партиец, не из органов…

— Ты грамотный парень — нам такой обязательно нужен… Ведь все имущество переписать до ниточки — без этого сразу же растащат! И получится не раскулачивание, а разворовывание. В райкоме приказали, чтобы все было по-человечески: самого связать, если запротивится, семью увезти на телегах, а имущество

описать по-строгому… Значит, придешь?

— Приду, — пообещал я без охоты.

В назначенный день мы с секретарем приехали в село, где расправлялись с подкулачником, осмелившимся бросить вызов колхозу.

Народу было порядочно. Хату окружала вооруженная охрана, за выгородками мычал, блеял и гомонил скот, из дома доносились яростные голоса. Секретарь поспешно прошел внутрь, я остался снаружи: мне хотелось узнать настроение толпы. В толпе большей частью молчали, только некоторые осторожно допытывались у соседей, скоро ли выйдут из хаты — пора бы уж кончать это дело!..

Из дома вывели рыдающую растрепанную бабу — она держала на руках ребенка, две девочки лет пяти-семи цеплялись за ее платье.

Подкатила пустая телега. В нее загрузили женщину с детьми, один конвоир сел рядом с кучером, другой — рядом с арестованными, и лошадь пустилась вскачь. Еще с минуту доносился рыдающий голос:

— Да за что вы нас? Что мы плохого сделали? Креста на вас нет!

А затем из хаты вырвался хозяин — крепкий мужчина средних лет с дико искаженным лицом. Кто-то схватил его за руку — он отшвырнул хватавшего, как деревяшку. По-видимому, он был очень силен — с ним побаивались бороться.

Вдруг он остановился, осмотрелся — и бросился на меня. Тут его схватили уже несколько человек — он отчаянно вырывался, люто матерился и снова кидался на меня как на злейшего своего врага. Я даже не отступил, хотя мог попасть под его тяжелый кулак — я зачарованно смотрел на подкулачника.

Даже в бреду не мог я представить такого зрелища! На расхристанной гимнастерке, закрепленные стальными винтами, в выцветших от солнца и времени красных розетках светились два ордена Боевого Красного Знамени…

— Сопляк, сволочь городская! — орал он и рвался ко мне. — Меня сам Буденный своей рукой награждал, сам Семен Михайлович!.. А ты меня раскулачивать пришел. Добро, горбом нажитое, грабишь, гад длинноволосый! Я тебе, сопляку, покажу раскулачивание! Я советскую власть ставил, сам Семен Михайлович…

Его скрутили и оттащили от меня. Три человека свалили его во вторую подлетевшую телегу, другие три сели рядом и не давали вырваться. Еще один, с винтовкой на плече, разместился рядом с кучером — и телега умчалась, густо взметая пыль.

А я стоял на месте — и у меня тряслись руки. Меня ошеломили ордена арестованного подкулачника. После второй войны с Германией они стали привычным зрелищем — но тогда, в 33-м, были редкостью. И награждали ими в гражданскую не красноармейцев, а командиров: для рядового солдата — за любую храбрость, за любое геройство! — хватало медали. У этого же мужика, по всему — не военачальника, а рядового буденновского конника, был не один, а два ордена — не меньше чем две Золотые Звезды по нынешнему времени! Что же он сделал такого выдающегося для советской власти, что она дважды отметила его редчайшим для солдата отличием? И чем он так навредил ей, родной, что она переменила благоволение на ярость?.. Почему, почему власть, которую он геройски устанавливал и защищал, пошла войной на своего спасителя?..

Эти молчаливо кричащие мысли прервал подошедший секретарь.

— Ну, слава богу, обошлось по-хорошему! Пошли описывать имущество.

Я покрыл секретаря таким матом, какого сам до тех пор не слышал и не думал, что знаю, и ушел, прошагав пешком до села, где жил.

В последующие дни я разузнал подробности жизни орденоносца, так трагически закончившего свою крестьянскую карьеру. Он вернулся из армии со славой, но без кола и двора. Сельхозбанк, поощрявший всех крестьян-красноармейцев, открыл ему обширный долгосрочный кредит. На эти деньги он поставил двор, завел лошадь, выстроил дом, приобрел скотину — и начал широко хозяйствовать на выделенной ему земле. Долг вскоре был погашен, благосостояние росло. Коллективизации он не поддался, раскулачивание его не затронуло — он не брал наемных работников, к эксплуататорам его причислить не могли, да и ордена ограждали от придирок. А когда предложили стать председателем колхоза, он отказался: «Начальствовать над людьми… Не по мне!» Только в зиму подобравшегося к колхозу голода его хоть и уменьшившееся после хлебосдачи, но все же благополучие стало окончательно нестерпимым для соседей и начальства. Новое, изобретенное после ликвидации кулачества определение — подкулачник — очень ему подошло. Дорога для расправы была открыта.

Свирепо, самозабвенно рубила моя осатаневшая страна тот самый сук, на котором загнездовала свое миродержавие…

Вторая командировка привела меня в совхоз «Красный Перекоп». Шестьдесят тысяч гектаров угодий, тридцать тысяч — пашни, десять отделений, раскинувших на полусотне километров

почти от самой Каховки до Аскании-Нова, центральная усадьба с двух- и трехэтажными домами городского типа… Перекопские окраины омывало море, оторачивал Днепр, к ним подступала заповедная ковыльная степь, такая же, как в эпоху половцев и татар, — в тот год ее было свыше тридцати тысяч гектаров (не нынешние жалкие пятьсот). А над совхозными просторами раскидывалось великолепное южное небо и звенели цикады, степь пугала черные пауками, пылила сухой трухой горячая, как из печи, засуха…

По величине «Красный Перекоп» был вторым (после сальского «Гиганта») совхозом страны. Директорствовал в нем некий Шмидт, член ЦК компартии Украины, политотдельствовал Татьянин, красивый военный лет сорока, орденоносец, двухромбовик.

Я представился Татьянину, поглядел на невзрачного, заполошного Шмидта и получил направление в самое дальнее, почти у Аскании-Нова, десятое совхозное отделение — в помощь секретарю парторганизации Левартовскому, худому, злому, то трусливому, то отчаянному, ничего в происходившем не понимавшему и потому убежденному, что все средства хороши и возможны, ибо бога все равно нет, а исключения из партии не миновать.

В это время на Украине шла партийная чистка, в совхозе сидела комиссия, приехавшая, вероятно, из Одессы (если не из Харькова). И начала она свою работу с того, что отобрала у всех коммунистов партбилеты и предупредила: возвратятся они или нет — будет видно по сдаче хлеба. Воодушевление, вызванное таким честным заявлением, превзошло все мыслимые пределы. К мату мне и в Одессе было не привыкать (крепкое словцо шло за тире, за точку, за восклицательный знак), но в «Красном Перекопе» я впервые услышал, как разговаривают на голом мате, а для передыха, в качестве интонационных пауз, употребляют словечки из великого, могучего, свободного и прочего русского языка. Все это называлось идеологической и организационно-хозяйственной работой по хлебу. Хлеб выругивался, выбивался, выдирался, выщипывался и выкашивался.

А было его много… Коричнево-золотые поля, бескрайние, густые, шумели тяжелыми колосьями. Шелестящий этот гул начинался уже при слабом ветерке, бормочущий шепоток проносился по делянке в четыре квадратных километра (почти пятьсот гектаров!). Он превращался в грохот, если ветер усиливался, стебли и колосья толкались, сухие голоса взмывали вверх, кралась по дорогам, — все гудело и гомонило. Я закрываю глаза и слышу этот шум обильного урожая, который неожиданно

свалился на людей — и придавил их.

Комиссия, усердно исследовавшая квадратные метры на окраинах хлебных массивов (вглубь она, естественно, не забиралась), определила урожайность в 14–15 центнеров с гектара. Хлеба в местах определений, вероятно, было даже меньше — комиссии всегда завышали, они исходили из того, что лучше переложить, чем недоложить. К тому же если крестьяне соберут меньше — значит, будут сами виноваты: плохо работали, допустили потери урожая! А если окажется больше, чем определено, ни к черту будет уже комиссия: очковтиратели, пределыцики, агенты гидры и кулаки. Этого эмиссары допустить не могли: они были свои, а не агенты, большевики, а не гидра.

На основании их определений совхозу установили сдачу в 1 800000 пудов зерна. Шмидт, впав в отчаяние, доказывал, что план нереален. Он пытался объяснить, что сдаст все, что соберет (за исключением семян), не надо его торопить, он ведь не продаст на сторону ни единого мешка хлеба.

Его торопили. Его громили. На него обрушивались с неистовыми речами. От него требовали саморазоблачения, самоосуждения, самоотречения. Из ЦК били грозные телеграммы. В кабинетах вился сизый дым от пламенных формулировок. Шла жестокая принципиальная борьба — слова против слов, шабаш словоизвержений и словоплясок, вакханалия адских ярлычков.

И слово становилось делом. По южной Украине колобком катился маленький человечек с большой лысой головои, крохотными злыми глазенками, серыми щеками и зычным голосом, немощный, щуплый, страшный, всех травящий и сам затравленный — генеральный секретарь КП(б)У Станислав Косиор. Он прикатил и на центральную усадьбу «Красного Перекопа». На собрании, куда вызвали сельский актив и коммунистов, он разъяснил со всей авторитетностью вождя и мыслителя, что плохая хлебосдача проистекает от неумения руководителей развернуть на селе классовую борьбу.

— Где же ваша классовая борьба, когда девки на улицах песни поют? — исступленно вопрошал он, вонзая в собравшихся бешеные глаза. — Я еду по улице — поют, гады, завернул в переулочек — надрываются! Делать им нечего! Вот она, ваша работа, каждому видна — смехунчики, хохотунчики… А где боевой марксизм-ленинизм, я спрашиваю? Где коммунистическая непримиримость, большевистская принципиальность? И при такой веселой жизни вы хотите, чтобы шла хлебосдача?

Люди боялись смотреть друг на друга. Какая, и впрямь, хлебосдача, когда девки песни поют? А меня терзали запрещенные сомнения. У меня болело сердце. Я сам пел с

девками и гулял с ними. И не видел в этом преступления. И хлеб, который получали, удушив песни, становился мне горек.

Я, конечно, понимал, что трудности роста неизбежны — особенно когда перед тобой высокая цель, которая, как известно, оправдывает средства. И знал, что сомнения мои свидетельствуют, мягко говоря, лишь об идеологической невыдержанности. Но я ничего не мог с собой поделать: я не все средства принимал, не через все барьеры мог сигануть. Шиллер и Дидро, Сервантес и Спиноза, Свифт и Гегель, Платон и Толстой и еще сотни таких же идеологических путаников, а может, и прямых агентов гидры говорили во мне много сильнее Косиора. Я, безусловно, чтил украинского генсека (очень уж высока была должность), но во мне вздымалось тяжкое недоумение, недоумение превращалось в неприязнь.

Лет через пять я узнал об аресте и расстреле Косиора. Разумеется, он был осужден по выдуманному обвинению: вероятно, пытался продать Украину немцам — за пятьсот марок или японцам — за тысячу иен. Больше он сам не стоил, больше ему бы не дали. Да и воображения на суммы покрупнее у его кусочников-обвинителей не хватило бы. В общем, была, вероятно, какая-то обычная несусветная дичь. Его осудили невинно. Невинно пострадавших надо жалеть. Я его не жалел. Я презирал его и осужденного. Он сам рыл яму, в которую упал. Его страшный конец был делом его собственных страшных рук. Палач удостоился плахи.

Спустя несколько дней после отъезда Косиора Шмидт застрелился. Он оставил предсмертную записку: план в 1800000 пудов нереален, он не хочет обманывать горячо любимую партию и не менее горячо любимого Сталина и предпочитает расстаться с жизнью. На другой день после его самоубийства через совхоз катил еще один из вождей — Каганович (он тоже нагонял страху во время уборочной). Лазарь Моисеевич выразился о Шмидте кратко и гуманно:

— Собаке собачья смерть!

Спустя месяц я уезжал из совхоза. Было сдано уже 2300000 пудов, и отправка зерна на элеваторы продолжалась. В центре гигантских массивов урожай оказался не четырнадцать-пятнадцать, а двадцать четыре-двадцать пять центнеров с гектара. И на сторону девать его было некуда. И можно было не торопиться с истерикой. Хлеб поступал непрерывно — независимо от принципиальных речей и беспринципных сомнений. И сказал бы тогда тот же Каганович о Шмидте, что Шмидт герой, а не собака.

Не подождал Шмидт…

Итак, я жил в десятом отделении совхоза «Красный Перекоп», сперва в какой-то хате, потом в вагончике, поставленном в степи около тока. В нем обитали Левартовский, секретарь парторганизации отделения (так теперь стали называться прежние партячейки), и уполномоченный совхозный нарком Гонцов, полный, добродушный выпивоха, но не бабник, из тех, на которых начальство пашет и без пропуска в рай въезжает. Он был важной персоной, крупнее самого Островского (или Ковалевского, или — наоборот — Добровольского), начальника отделения, рыхлого, усатого и хитрого украинца, положившего, как и все, партбилет на стол очистной комиссии, но твердо решившего любыми средствами добыть его обратно. Я, как и другие командированные, относился к этим «любым средствам».

На полях работали отделенческие комбайны, грузовики прямо с поля возили зерно в Каховку, на элеватор. Этим занимались военные шоферы, прибывшие на своих машинах. Местные, совхозные, сгружали зерно на ток, где его хранили в бунтах.[119] Еду возили прямо в поле, она была скверной: мутная похлебка и каша из ячменя. Зато хлеба хватало. Ели суржик[120] из пшеницы с ячменем — зерно было плохо очищенное, но молодые желудки его брали.

Уборка шла медленно, хлеб осыпался. Кое-где он полег — не от дождя, от ветра. Гонцов ругался — огромный урожай погибал. Он поехал к Татьянину, кричал, грозил, умолял. Нам прислали уборочную бригаду из МТС «Новые маяки». Маяковцы прибыли на своих тракторах и со своими комбайнами. Ребята и девчата были старательные, довольно аккуратные (помню, Гонцов ставил их в пример совхозным).

Но проработали они всего один день, а на второй забастовали. У нас не хватило еды. Не мяса, разумеется (о нем и говорить не приходилось), — круп и муки. Обед в поле не привезли. Ужина тоже не было. И вечером маяковцы повернули свои машины домой.

Левартовский прибежал к Гонцову. Гонцов, прихватив меня, помчался за бунтовщиками. По дороге он сунул мне браунинг № 2.

— У меня еще наган есть — возможно, придется поворачивать их оружием. Смотри и делай, что я. Раньше меня не стреляй, а как начну, не медли!

Маяковцы уже выезжали на тракт, грейдерную дорогу на Каховку, когда мы их нагнали. Помню их бригадира, высокого, черного, страшно худого, — он один спорил с Гонцовым. Парни и девчата стояли позади и хмуро молчали. Я тоже не подавал голоса.

Бригадир доказывал, что они не обязаны работать не евши, кони и те без корма мрут, а чем люди хуже коней? А Гонцов уговаривал потерпеть, машина уже отправлена на центральную усадьбу — за мукой, приварок тоже будет. Ночку еще поголодаем, зато утром отожремся за двое суток! Неужели в наше революционное время, перед хищным лицом международного империализма, в первый год второй сталинской пятилетки единым хлебом жив советский человек, строитель социализма? Где наша вера в будущее, в сияющие перспективы грядущего расцвета?

Речь Гонцова была пламенна, он говорил так вдохновенно и убежденно, что меня дрожь прохватывала. Бригадир понял, что уполномоченного не перешибить. Он махнул рукой и, не вступая в прения, велел двигаться. Тракторы и комбайны зарычали и стали поворачивать с поля на грейдер. Гонцов выхватил наган и навел его на бригадира, я направил на толпу браунинг.

— Поворачивай на поле, даю минуту! — крикнул Гонцов. — Под суд пойду, но всех перестреляю, кто саботажник и отчаянный враг революции.

Долгую минуту бригадир всматривался в револьвер, нацеленный ему в лицо, потом крикнул рыдающим голосом:

— Сволоти! Що з ними зробиш? Пішлы знову уколювати, якщо в их совісті немає![121]

Один за другим трактора и комбайны сползли с дороги на поле. Гонцов хмуро посмотрел им вслед и взял у меня браунинг.

— А с предохранителя ты его снял?

Я его не снимал. Я не знал, что у пистолетов есть предохранители. Гонцов выругался. Ходить с такими дерьмовыми помощниками на серьезное политическое мероприятие! А если бы пришлось стрелять — что тогда? Стал бы неторопливо изучать конструкцию, пока эти гады, эта подлая контра, эти изменники революции бегут восвояси, да? Оружие надо знать, без этого с врагами не справиться, не перековать их в друзей. Запомни на будущее!

Я молчал. Я не находил оправдания. Я был кругом виноват. Ворогов было слишком много, а я втайне невыдержанно радовался, что не пришлось выстрелами превращать их в друзей.

Ночью, около трех, в самую темь, работавшим без передыху изменникам революции привезли еду. Пока это была каша без масла да хлеб из ячменя с пшеницей.

Левартовский, умело ускользнувший от вооруженного агитмероприятия, позвал меня на другое утро в домик заведующего отделением. Там уже сидел мрачный Гонцов и хлебал борщ. Нам с Левартовским борща не хватило, мы взяли по

малосольному огурцу и куску хлеба.

— Мясо нужно, душа из тебя вон! — сказал Левартовскии заву. — Давай мясо, не то напишу заявление в комиссию, чтобы вычистили как гада и вредителя. Ты этим не шути, головой рискуешь!

— А я пожалуюсь в Москву, — пригрозил Гонцов. — Места в совхозной системе себе не найдешь, это обещаю твердо.

Добровольский (или Ковалевский, или — наоборот — Устименко) шумно, по-коровьи, вздохнул.

— Ребята, посудите сами: у меня же направление зерновое — откуда взять мясо?

— Раскидывай мозгами! — одинаково сказали Гонцов и Левартовскии. — Шевели головой.

Добровольский, не переставая вздыхать, пошевелил лохматой головой. У него сосед, «Роза Люксембург», животноводческий совхоз, мясо у них отличнейшее, за быков по тысяче золотом плачено, и коровки не дешевле. Но, хоть они и животноводческие, зерновой клин тоже немалый, и хлебосдача запланирована. Товарищ Каганович пригрозил Попову, ихнему директору, что попрет из партии, невзирая на ордена и заслуги, если хоть пуда недодаст, ибо хлеб в период реконструкции решает все. И у них, естественно, горе — они же не зерновые, ни комбайнов, ни молотилок не положено. Скосить-то могут — а из колоса зерно выковыривать цепами, что ли?

— У нас есть молотилка — и, кстати, свободная. Вот бы ее недели на две — им, а они нам — коровку… Глядишь, и решили бы вопрос.

— Так в чем дело? Предлагай временно молотилку взамен коровы, — сказал Гонцов.

Левартовскии предусмотрительно промолчал. Его сферой были общие вопросы руководства, а не конкретность, всегда чреватая нарушениями и искажениями, если не прямой уголовщиной.

Добровольский хмуро покосился на Гонцова.

— А инструкции насчет незаконного товарообмена? Или не ты их подписывал? Я под суд идти не хочу. И ты не захочешь. И Левартовскии не загорится.

Гонцов был скор на радикальные решения.

— Сережа, ты не хозяйственник, только комсомолец — авось не попрут. А вылетишь из рядов — зачтется в поминальнике мировой революции, которой надо всеми способами помогать. Молотилка на две недели поступает в твое полное распоряжение, а как ты ею распорядишься — твое собачье дело, мы и носа не сунем. Понял? Учти положение. Грозящая катастрофа и как с ней

бороться![122]

Я все понимал и учитывал. Через часок я подъехал к усадьбе «Розы Люксембург» на совхозной тарахтелке (так называл свою повозку сам Добровольский). Около правления стояла бричка, в нее были впряжены два рыжих жеребца. Они были так ошеломляюще прекрасны, что я залюбовался.

Меня провели к директору. Попов, крупный, лысый, грозный, с двумя боевыми орденами на новой гимнастерке, посмотрел на меня очень хмуро: я был типичным командированным из области, а он (меня уже предупредили) таких недолюбливал.

— С чем пожаловал, малец?

— Молотилку имею, — солидно сказал я, присев без разрешения и забросив ногу на ногу. И Добровольский, и Гонцов рассказали мне, как нужно держаться у Попова, я заранее отрепетировал свою важность и непринужденность. Правда, они так и не сумели научить меня при этом не краснеть…

Попов вскинул брови.

— Ты, оказывается, помещик? А я думал, мы всех под комель вырубили.

— Один остался. Временный, на две недели.

— Из «Перекопа»? От Добровольского?

— От него. То есть не от него, я сам…

— Ясно. Отдаешь свою временную частную собственность в чужую эксплуатацию. Хитер, хитер классовый враг… И взамен коровку навечно.

— Да, коровку, вы угадали.

— Загадка твоя нетрудная — угадать! — Он вызвал старшего животновода. — Недорезанный помещик появился, вот этот длинноволосый, розовощекий, комсомольцем прикидывается. Молотилку дает на две недели. Не даром, конечно.

— Коровку? — вздохнул животновод. — А какую? У нас все такие!..

— Из тех, что от сапа пали, — пусть сам выбирает. Я испуганно вскочил.

— Вот еще — от сапа! Ни больных, ни тем более дохлых мне не надо.

Попов с животноводом засмеялись — их позабавила моя наивность. На время они даже примирились с падежом породистых животных от страшной болезни.

— Пойдем, комсомол! — сказал животновод. — Вот же хитрец Добровольский! Самому чтоб — кишка тонка…

В коровнике мне предъявили зады великолепных симменталок, упитанных, рослых, мытых, лощеных, мирно жующих, косящих на меня темными глазами. Животновод

вздохнул еще горестней: по пяти центнеров каждая, хлопай по заду, какая тебе… улыбается. Я долго не мог огреть смертельной пятерней ни одну из этих красавиц, я был подавлен, мне не хотелось превращать в мясо живую плоть.

Животновод начал сердится. Давай, еще оформлять сколько, а время идет! Бей по заду. Я ткнул пальцем в чей-то круп и поспешно убрался к своей тарахтелке.

Говорят, в тот вечер был великолепный ужин. Даже вредный бригадир из МТС поверил, что социализм восторжествует и козни мировой буржуазии будут посрамлены.

Я ужинал хлебом и водой. Я ушел в степь, чтобы не заметили, что я стал вегетарианцем. Надо мной укоризненно сияли звезды. Они были крупные и живые, ничья рука, сколько бы ее не тянули, не могла до них дотыкнуться. Это меня немного утешило. О звездах можно было не беспокоиться. Оставались одни коровы. Коров я больше никогда есть не буду!

На другой день, впрочем, ко мне вернулась любовь к мясу.

К нам в десятое отделение привезли партию «принудчиков».

— Заклятые враги советской власти, — прокомментировал Левартовский. — Орудовали тихой сапой. Подкулачники и их семьи. Ох, и навредили же, никто не поверит, кто не знает. Теперь за все злодейства расплатятся. Беспощадно будут работать — заставим гадов как миленьких!

После такого мрачного предупреждения я жгуче заинтересовался принудчиками. Я знал, что у советской власти много жестоких врагов — и, как и следовало, ненавидел их (а втайне даже побаивался). Я пошел знакомиться с вредителями и супостатами — для начала издали.

Издали они показались не столько страшными, сколько жалкими. На три четверти это были подростки — смертно худые, грязные, вшивые, исступленно голодные. Мимо них как-то прошел парень с ящиком на плечах (там был хлеб) — принудчики, замолчав, стали глядеть этот ящик (только на него!), жадно, тоскливо. Они, ручаюсь, не видели того, кто нес хлеб.

Тогда же я убедился, что женщины — сильный пол и что ни один мужчина не сможет вынести и половины того, что выносят они. Женщины ходили — мужчины еле плелись. Женщины хоть кое-как, но работали — мужчины даже не прикидывались, они валились наземь, как измученная скотина, если поблизости не было начальства. А при виде шагающего издалека опера с усилием приподнимались, тратя последнюю жизненную энергию на то, чтобы притворяться работающими.

Возможно, я немного преувеличиваю — с тех пор прошло много лет, но эта картина врезалась в память так остро, что ни

тюрьмы, ни лагеря не притушили ее красок.

Среди женщин было много девушек (под двадцать и чуть больше). Несмотря на рвань и худобу, они смотрелись. Среди них попадались миловидные — те даже прихорашивались, когда сытые и гладкие парни (вроде меня) бросали на них мимолетный взгляд.

Через некоторое время, привыкнув, я стал выспрашивать, как они дошли до жизни такой, стал выяснять для самого себя меру их преступлений.

Вина их была жестока и неизбывна: они могли вступить в колхоз — и не вступили. Кулаков, то есть зажиточных, среди них не было: всех зажиточных давно повысылали на Беломорканал, на Урал, в Сибирь. Они были из той социальной породы, которой широко открыли ворота колхозов. Но они пренебрегли приглашением. Они не доросли до сознания своей социальной сути, до понимания своей исторической роли.

И тогда на них обрушился карающий продналог — одно из могучих средств социальной перестройки. Они сдали весь урожай — не хватило: налог не посчитался с погодными условиями засушливого 32-го. А многие попытались не сдать, а припрятать — и сожрать, что не припряталось. Этим показали, что закон выше бога, слишком уж капризно жалующего землю дождями. Всех крупных недоимщиков пересажали. Некоторым дали прямые сроки — пусть потрудятся на стройках пятилетки. А этих вот, немощных, мужчин, женщин, подростков, покормив весной тюремной баландой, отправили на хлебоуборку — отрабатывать недоимку.

Расчет был верен, даже мудр. Крупорушка быстро превращала ячмень в крупу. Принудчики понемногу оживали, на костях возобновились утраченные мускулы, а мускулы, естественно, начинали служить нашему общему делу. С горечью признаюсь: я, сам того не желая, помешал этому процессу.

Дело было в том, что принудчиками командовал оперуполномоченный — парень чуть постарше меня, высокий, красивый, самоуверенный, наглый, с кобурой на боку, с папиросой в зубах. Море ему было по колено, земля до лампочки, а поскольку звезд с неба он не хватал и синь пороху не выдумывал, жилось ему легко и весело. Орал он на всех не по вине, а по встрече и взгляду. Ор его был жутко оскорбителен — сплошные матери в прямо-таки невероятных сочетаниях и позах, но никакого действия, кроме грома, не производил. Опер был не из тех, кто мечет молнии и строчит доносы.

К сожалению, я слишком поздно это понял.

Я его невзлюбил, он меня тоже. У него была своя хатенка —

вагончик с карцером для непокорных и столик для веселий. И веселья были еженощные — как темнело, так начиналось. Он тащил к себе девок покрасивее — звенели кружки, надрывались женские голоса, зудел его баритон. Вначале я не обращал на это внимания, потом кто-то из принудчиков попросил вмешаться: так недолго и всех девок перепортить.

Я поговорил с Гонцовым. У Гонцова на уме была одна хлебосдача. Он позавидовал, что кто-то может пить, петь и лапать девок — сам бы он тоже этим занялся, да надо срочно укреплять социалистическую экономику, не до водки и любви. Я обратился к Левартовскому. Он неопределенно ответил, что хорошо бы принять меры, очень бы хорошо, да разве в такой суматохе выберешь время навести порядок! Левартовский, как и большинство районных руководителей, побаивался товарищей из органов.

У меня еще не было такого провала! Я пошел к оперу и выложил, что думаю о его ночных времяпрепровождениях. Он дико завращал белками, заверещал надорванным голосом, стал торопливо расстегивать кобуру.

— Отойди на сто метров, контра! И ближе подходить — чтоб и мысли не было! Пришью и заактирую со свидетелями, что черный гад!

Впоследствии даже мой следователь Сюганов понимал, что так со мной разговаривать нельзя. От бешенства я на минуту-другую потерял голос. Я надвинулся на опера со сжатыми кулаками — он, ошарашенный, отскочил. Он так удивился, что успокоился.

— Да ты понимаешь, чего требуешь? — крикнул он вполне человеческим, недоуменным, отнюдь не органным голосом. — За кого заступаешься, парень?

— За советскую власть заступаюсь! — сказал я с ненавистью. — А вы — ее злобный враг. И скоро власть покарает вас, не сомневайтесь.

С первой же хлебной машиной я поехал в центральную усадьбу — путь на элеватор лежал через нее. Татьянин был у себя. Он хмурился, слушая мою горячую речь, что-то помечал у себя в блокноте.

— Возвращайся, — сказал он мне. — Меры примем.

Через два дня опера убрали. Вместо него появился уполномоченный другого склада, тихий, худой (он страдал язвой желудка), смирный, деловой. Ночные оргии прекратились. Новый опер не дурел от власти и не злоупотреблял ею.

А еще через некоторое время ко мне подошла красивая принудчица и жестко сказала:

— Сволочь ты — вот кто!

Я был так потрясен, что не оскорбился.

— За что вы меня?

— Будто не знаешь? За что опера спроворил? Мешал он тебе, да? Человек был как человек.

Я возмутился.

— Вы называете его человеком? А пьянки? А крики? А то, что он ваших же девок силком к себе тащил?

— Вот еще — силком! Которая хотела, та сама шла — на вкусную еду, на сладкую выпивку, на веселье. Ко мне разогнался, я дала от ворот поворот — шума не поднял. Знал, с кем можно, с кем нельзя. Зато через силу работать не приневоливал. Покричит, если заметит, а придираться не будет. Ты посмотри сам: люди оживать стали, вот он какой был, жить давал, не гонял до подыху. А новая твоя глиста? Он же всех нас угробит, он же не слезает — давай, давай! Кровью нашей, потом… Эх, ты! Девки о тебе хорошо думали, а теперь одно мнение: сволочь.

Она ушла. Я плелся домой, как побитая собака. С того дня я стал избегать принудчиков.

А Левартовский меня хвалил. Он утверждал, что старый опер, точно, был никуда, а новый — организатор, работяга, просто здорово как выполнение поднял! Надо будет написать ему благодарность от политотдела.

…Бога, конечно, нет. В молодости мне это исчерпывающе доказали мыслители из «Синей блузы». Впоследствии я неоднократно убеждался в их правоте: вокруг было столько мерзости и столько глупости, что просто совестно было приписывать это все высшему существу. Но я часто думал: если бы Господь существовал, и если бы он был загробным судией, и если бы, после моей смерти, он определил меня в ад за злое преступление перед людьми, за то, что я поспособствовал замене распутника, пьяницы и дебошира смирным и скромным служакой, то я, не протестуя, произнес бы только два слова — и сказал бы их со скорбью и покорностью:

— Виновен, Господи!

…Темная ночь звенела. Нет, это не гипербола. Ночь была темна, и ее наполнял звон цикад. Они надрывались так остервенело, что негромкое слово было неслышно. Я сидел на завалинке с девушкой и расспрашивал ее о жизни, а цикады мешали разговору. Звезды тоже мешали, они были крупные, спелые, упоенные собственным блеском. Но на них можно было не смотреть, они были недалеко, но вверху, а мы сидели на завалинке и смотрели то друг на друга, то в землю.

Шел второй или третий день моего пребывания в совхозе.

Меня временно поселили с Гонцовым — в комнате электрика отделения, молодого красивого парня. Шли приготовления к уборке, она должна была начаться со дня на день. Днем и вечером я выступал с речами, в которых громил мировую буржуазию и восславлял партию, ее мудрых вождей и сияющие дали социализма. А ночи были моими — и я долго не засыпал, растроганный красотой мира, в котором жил. Я чувствовал себя сродни звездам, они, правда, были побольше, но такие же молодые, как я, такие же чем-то переполненные, плещущие светом — мне тогда казалось, что я тоже сверкаю.

К электрику приехала сестра. Ей было лет восемнадцать, она была некрасивой, тощей, плохо одетой. Я увидел ее и удивился: до чего, оказывается, не идет девушкам, когда они голодны и оборванны! В обед она ела за двоих, а после украдкой грызла корки, которые собрала со стола. Вечером она примостилась на травке у забора, я присел рядом. Я задавал ей обычные вопросы: как зовут, откуда, где учится, кто родители? Я собирался полчасика потрепаться, а потом пойти спать. Трепотни не получилось. Она отвечала серьезно. Ответы ее были страшными.

Отец умер весной — от голода. Тело его пошло струпьями. Он еще ходил, а дух от него был тяжелый — голова кружилась, если стоять рядом. А недавно, месяц назад, умерла мать, она тоже перед смертью болела, и от нее тоже тяжело несло.

— И я болела, только без ран, — печально закончила она. — А когда выздоровела, меня вызвал брат. Зимой его взяли на курсы, он, когда устроился, сразу отписал, чтобы ехали. Но мама успела умереть, а я не поднималась. Я так все время хочу есть, — сказала она виновато, — что от запаха хлеба в голове мутится. Прямо плакать хочется, когда пахнет хлебом.

— Ничего, тут быстро отъешься, — утешил я ее.

Той весной я видел много умиравших от голода, цинготные тоже были не в новинку. В газетах писали, что происки классового врага создают трудности, нужно заняться организационно-хозяйственным укреплением колхозов. Девушка (я не помню ее имени) явно была из жертв происков и колхозного неустройства.

— Брат говорит: быстро отъедаться нельзя, могу еще хуже заболеть, — возразила она, чуть не плача от огорчения.

И мне стало так жалко ее, что я погладил ее волосы.

В это время появились Гонцов и электрик. Гонцов предложил спать на сеновале — электрик согласился, а я отказался. Оба они убрались с матрацами и одеялами (ночи были прохладные). Я завалился в свою постель, она легла на кровать брата.

Некоторое время мы лежали молча, потом я услышал тихий

плач, скорей даже скулеж: «Ох! Ох!» Я спросил, что с ней, — она не ответила. Я подошел к ее кровати, ласково погладил ее, попросил успокоиться. Она порывисто схватила мои руки и стала их целовать. Я поднял одеяло, лег рядом. Она была без рубашки и без бюстгальтера — старое белье, видимо, износилось или было продано (она сохранила лишь штанишки и платье). Я гладил и целовал ее, играл ее волосами, а когда стал настойчивей, она, не отбиваясь, умоляюще прошептала: «Ты не думай, я честная!»

Если бы она этого не сказала, то, вероятно, очень быстро стала бы нечестной, — но я давал Фире слово, что никогда не изменю ей с девственницей. Впрочем, дело было даже не в слове. Я понимал, что мне не по плечу эта ответственность — стать ее первым мужчиной. Ее первый мужчина должен был любить ее.

Я был слишком упоен собой, чтобы примириться со своей подлостью. Я не мог обмануть дурочку и бросить ее. Я отказывался от девушек не из жалости к ним, а из самоуважения и самолюбования. Еще четыре раза я лежал с женщинами и не трогал их, узнав, что они нетронутые.

Интересно: сами они удивлялись моему отнюдь не мужскому поведению и ни разу не поблагодарили за воздержанность. Две совершенно одинаково назвали меня дураком. Возможно, я им был.

А те два случая, когда я нарушил запрет, в моей жизни были поворотными ничуть не меньше, чем в жизни моих любимых.

Она прошептала недоуменно и встревоженно:

— Я тебе не нравлюсь, да? Я такая худая, такая худая!

Я уцепился за подсказку. Да, она очень худая, ей станет плохо, если она, не поправившись, превратится в женщину. Любовь требует много сил, их у нее нет…

Я целовал ее — чтобы она понимала, что я не брезгую, а смиряю себя.

Через некоторое время я благоразумно убрался на свою кровать. Молодая девушка, даже отощавшая от голодухи, слишком горючий материал, чтобы можно было долго возиться с ней, не обжигаясь.

На рассвете меня разбудил ее шепот. Совершенно голая, она стояла на коленях возле моей кровати и, обхватив мое лицо руками, нежно и крепко целовала меня. Я попытался обнять ее, но в сенях послышался грохот — она юркнула под свое одеяло. В комнату вошел ее брат и присел к ней на кровать. Они тихо заговорили. Я опять уснул.

Когда я проснулся, девушки не было. Брат сказал, что отвез ее на центральную усадьбу — она будет работать воспитательницей в детском саду.

Прошло несколько дней — я вспоминал о ней все реже. Недели через две почтальон привез мне письмо, на клочке серой бумаги было написано: «Я уже не худая». Ни даты, ни подписи, ни обратного адреса.

Я не ответил и в центральную усадьбу не поехал. Дня через два оттуда примчались детишки — посмотреть, как работают комбайны. С детишками была она — я заметил ее издали. Она была в новом платье, я слышал ее голос. Вероятно, и она увидела меня, но не подошла.

А я убрался подальше в степь. Я не мог предложить ей любви. Несколько страстных ночей, сотня нежных слов, переставляемых из сочетания в сочетание, — это было все, чем я мог ее одарить. Я понимал, что это ничтожно мало по сравнению с тем, что предлагала она. Я побоялся стать событием ее жизни.

Больше я не видел ее и ничего о ней не слышал. Вероятно, и она посчитала меня дураком. Но было бы много хуже, если бы, упав духом, она решила, что мужчины ею пренебрегают. Иногда я думал и об этом — и тогда жалел, что не повел себя по-другому.

Впрочем, как бы я в ту ночь ни поступил, я все равно был бы недоволен собой.

…Так и шла уборка зерновых в десятом отделении совхоза «Красный Перекоп». Ровно месяц комбайны кружили по своим участкам, края которых уходили за горизонт. На току вздымались облака пыли, еще больше пылила грейдерная дорога. У каховского элеватора часами простаивали машины с зерном, а я «помогал уборке», то есть изредка проводил беседы, перебирался с комбайна на комбайн, стараясь не мешать комбайнерам, и любовался степью. Или просто ничего не делал — как теперь понимаю, это было лучшей помощью, ибо, как и большинство командированных, навредить мог легко, а реально подсобить кишка была тонка.

Машины не успевали отвозить зерно, бунты росли.

В каждую хлебную гору, вываленную на брезент, втыкали термометры. Температура угрожающе росла.

Как-то ночью меня разбудил Гонцов: на главном бунте началось самовозгорание хлеба, под угрозой почти двадцать тысяч пудов зерна.

Мы кинулись на ток. Там уже орудовало человек сорок — принудчики, служащие, начальство. Левартовский тащил откуда-то деревянные лопаты, он убегал и снова возвращался. С брички Добровольского доносился чей-то директивный, плачущий голос. Сам заведующий, мощно сопя, самозабвенно орудовал лопатой — мы с Гонцовым и не помышляли за ним угнаться.

Над гигантской кучей вздымался парок, в нос било резким

запахом прели. Никогда до этого я не работал так отчаянно! Все вокруг вгрызались в тлеющий бунт — молча, быстро. Агитации и понуканий не было — спасали хлеб! И спасли.

К утру зерно, перелопаченное, раскиданное тонким слоем, охлажденное рассветным ветерком, подсохло — и снова стало зерном, а не накаляемой изнутри печкой. Я повалился рядом со спасенным хлебом и заснул прямо на земле. Около спали две принудчицы. На их ноги положил голову какой-то мужик — он тоже храпел.

Завтрак в этот день запоздал — повара трудились всю ночь. Но трактористы и комбайнеры, мотавшиеся до рассвета на делянках, не ворчали. Думаю, если бы еду привезли вовремя, они бы недобро поинтересовались: «Что, ребята, ночку отлынивали?»

Приближалось время отъезда. Я поехал в Каховку, привез оттуда красного вина и водки. Проводы устроили на квартире Добровольского. Вина, естественно, не хватило. Хозяин выставил жбан самогона. «Густопсовый первач!» — похвастался он и налил мне жестяную, почти поллитровую, кружку желтоватого, пахнущего керосинчиком пойла.

— Пей до дна! Пей до дна! — заорали все. Гонцов радостно захохотал, а Левартовский солидно добавил:

— Поработал ты хорошо, Сергей, претензий нет. Теперь покажи, что и за столом не растеряешься.

Я, разумеется, не растерялся. Я знал самогон по книгам — там он грозным не казался. Еще его пили в кино — на экране он выглядел тоже не особо губительно. На столе к тому же стояла роскошная закуска — вареная картошка и соленое сало. Я лихо опрокинул кружку в рот и потянулся к еде — но так ее и не достал.

Потом мне говорили, что я «здорово быстро опьянел — ну, не ожидали, такой же сначала бравый был». Подозреваю, что не опьянел, а потерял сознание.

На другой день я проснулся с головной болью и африканской жаждой. Я попросил воды, выпил кружку и снова провалился в небытие. В тот день я приходил в себя раза три, просил попить и немедленно опьяневал снова. Только к утру третьего дня я сумел встать на ноги.

Провожали меня Гонцов, Левартовский и Добровольский. На прощанье мы обнялись и дружески расцеловались. Гонцов сказал, чтобы заходил, когда появлюсь в Москве. Добровольский объявил, что если бы все командировочные были такими, что и жаловаться не надо, совсем бы хорошая жизнь пошла. А Левартовский доверительно шепнул, что отзыв послал самый хороший и что где-где, а в боевом десятом отделении передового совхоза

«Красный Перекоп» коварная ставка мирового империализма бита полностью и бесповоротно.

— Немецкий фашизм и японские самураи у нас не пройдут, Сергей! — торжественно сказал он, обнимая меня. — Так и передавай всем в Одессе: хрен у врага что получится! И твоя заслуга здесь тоже есть, кто же спорит.

Я уезжал в жаркий день. В воздухе вилась паутина. С юга, от солончаков, тянуло тонким запахом моря. На востоке, за «Розой Люксембург», бушевали седые ковыли асканийской степи — они буйствовали так каждый год, в начале осени, уже многие сотни тысяч лет. Они еще не знали, что доживают последние годы.

Со скошенных делянок неслась песня принудчиц — они собирали колосья в корзины и мешки. Солнце казалось усталым. Я лежал в кузове грузовика на пшенице, теплой и пахучей, и пел. Я был счастлив — миром, клонившимся в осень, собственной молодостью…

12

Дома меня ожидала нерадостная новость: Ирина разболелась так, что больше лежала, чем ходила. Врачи еще до моей поездки установили, что у нее туберкулез. Это была болезнь «не для нашего города», как горестно говорила ее мать.

Продуктов, получаемых по нашим с Фирой продовольственным карточкам, на троих не хватало, приходилось прикупать на базаре. Моей доцентской зарплаты — 250 рублей — «вистагало» (любимое Ирино словечко) разве что на три-четыре дня.

Чтобы справиться, я взваливал на себя все новые и новые лекции. Моя педагогическая нагрузка была так велика, что придавливала до усталости, равной изнеможению. Я приходил домой выпотрошенный, валился на диван и долго не мог нормально разговаривать. У меня было блестящее общественное положение — так это формулировалось на языке моих друзей, но оно не отменяло скудности. Я не жалуюсь. В тот год было плохо всем, а большинству — и похуже, чем мне.

Ирина лежала похудевшая, побледневшая до восковой полупрозрачности. Она обрадовалась мне (она всегда радовалась, когда я приходил), протянула ко мне руки. Я поцеловал ее в лоб, погладил волосы. Ее мать сидела рядом с термометром в руке. Температура была из гнилых, типичных для легочной хвори.

— Совсем я разболелась, Сергей Александрович, — виновато сказала Ирина.

— Выздоровеешь! Непременно скоро выздоровеешь, — пообещал я бодро. — А пока лежи и постарайся уснуть. Сон — лекарство ото всех болезней.

Мы вышли с ее матерью в соседнюю комнату. Она сразу приступила к делу. Она хочет забрать Ирину обратно в деревню. Сейчас, после хорошего урожая, жить там терпимо. В продаже появился хлеб — правда, неважный, но раньше не было никакого. Можно достать молоко, яйца, мед, хватает картошки. В общем, голод кончился, народ отходит от зимних мук. В родной деревне Ирине станет легче — свежая еда, воздух не чета городскому. Но она не хочет уезжать из Одессы. Плачет, чуть заговорю об отъезде, отказывается наотрез. Нужно, чтобы ты ее попросил, Сергей Александрович. Тебя она послушается.

Я думал. Положение было не из простых. Ирина, очаровательная девчушка, привыкла к нам. И мы ее полюбили. Она не просто стала нам родной — она превратилась в хозяйку нашей маленькой квартиры. Она командовала Фирой и мной во

всем, что относилось к еде и к отдыху. Комнаты сияли чистотой — но порядок в них был ее, Иринин.

Особенно она любила декорировать мой кабинет. Когда я уезжал, она наводила красоту на мои полки: большие книги ставила рядом с большими, маленькие — с маленькими. Возвращаясь, я терял не один час, чтобы разобраться и восстановить прежнюю функциональность. Ирина считала, что я неспособен к настоящему порядку, но прощала мое своевластие.

Она вообще спускала мне многое, чего не извиняла ни Фире, ни гостям. Она считала меня истинным хозяином, хотя сам я временами ощущал себя подкаблучником. Она не просто выполняла любые мои (разумные, конечно) желания — она делала это с воодушевлением. Она чуть ли не выпытывала у меня, не надо ли мне чего-нибудь. Фира даже ревновала.

— Ирина влюбилась в тебя, — говорила она, когда мы оставались одни. — Она смотрит на тебя преданными глазами. Она мгновенно делает все, что ты ни попросишь. Тебе не кажется, что двух влюбленных в тебя женщин для одной квартиры многовато?

Фира смеялась, но в ее шутках сквозило недовольство, ее обижало предпочтение, которое оказывала мне Ирина. Думаю, Фира ошибалась в природе этого выбора.

Просто в Ире сохранялось вековое женское уважение к мужчине — главе семьи, кормильцу и хозяину. Ныне, в эпоху равноправия, на первое место в отношениях мужчины и женщины вышла любовь. Нет любви — нет семьи. Причем под любовью обычно понимают плотское, чувственное влечение.

Но плотская любовь — продукт недолговечный, возрастной, к тому же определяют его зачастую случайные обстоятельства. До нынешнего формального равноправия, взвалившего на женщину чужие обязанности, семейный обычай был ненарушаемо тверд: мужчина — прежде всего кормилец, отец, хозяин, а телесное ублажение — дело необходимое, но вторичное.

Знаменитые (и не очень) писатели многократно и гневно повествовали о том, как страдали женщины от всевластия мужчин и пренебрежения любовью. Разумеется, это было верно! Но, потеряв свое главенство, мужчины лишились своего достоинства. Рано или поздно любой женщине перестает хватать просто умелого любовника — ей становится нужен защитник, предстатель[123] за семью перед всем миром. И я всегда гордился тем, что не теряю своих «неравноправных» мужских качеств!

Эта тема длинная, не здесь ее развивать. Скажу только, что Ирина в своем хозяине видела именно хозяина, даже если он сам и не претендовал на такую власть.

Мне не хотелось ее отпускать, но я понимал, что дома ей будет лучше.

Мы вернулись к Ирине. Выслушав меня, она заплакала, взяла мою руку и прижалась к ней мокрой щекой. На следующий день мать ее увезла. Больше я Иру не видел.

Иногда приезжала ее мать, порой появлялась младшая сестра Женя — и останавливалась у нас на ночь или на две. Она была много красивей и много капризней. Временами Женя становилась очень недоброй — впрочем, она умело маскировала это свое свойство. Как-то я сказал ей: «Знаешь пословицу: уси дівки янгелы — відкиля тільки відьмы бабы берутся? Это о тебе». — «Точно, обо мне!» — засмеялась она.

Зимой я послал Ирине бутылку муската. Вино ей понравилось — она ежедневно выпивала полрюмочки. Я отправил в деревню вторую бутылку — она осталась недопитой. К весне Ирина умерла — не помогли ни свежие продукты, ни деревенский воздух. Еще один хороший человек так и не выполнил своего естественного предназначения. Много, много людей в моем окружении погибли неосуществленными!

Некоторое время я носился с мыслью съездить попечалиться на ее могиле, но — довлела дневи злоба его![124] — так и не выбрался.

После отъезда Ирины я запер квартиру и помчался в Невель. Фира встретила меня располневшая и успокоенная. Она прошла только восемь сеансов гипноза из двенадцати, остальные нужно было добирать после возвращения в Ленинград. Но она уже не боялась, что не разродится.

А я шутил, что теперь ей не крутиться голой перед зеркалом, любуясь своим полумальчишеским телом. Меньше всего я мог предполагать, что ее фигура пропала навсегда! И ей уже не мчаться сломя голову по квартире, звонко постукивая каблучками по паркету. И не соревноваться со мной в сумасбродном беге по береговым откосам, по широким площадям, по пустынным улицам. Она стала степенна и неторопliва — на всю оставшуюся ей жизнь. Так потускнело первое из ее покоряющих очарований.

Примерно неделю мы провели недалеко от Невеля. После иссушающего зноя каховского Причерноморья и злобно сухих будяков сожженной степи влажная и мягкая теплынь Псковщины умиротворяла. Свежая зелень травы и деревьев, тонкий запах цветов, густой дух отцветающих лип и наливающихся яблок — все это порождало какую-то стойкую успокоенность.

Но на исходе недели у Фиры начались боли, показавшиеся ей предвестием родовых схваток. Я срочно помчался в Невель, купил два билета на проходящий поезд и с великой осторожностью

доставил на вокзал Фиру. Поезд останавливался всего на несколько минут. Мы пошли к нашему вагону, но свирепая проводница преградила вход и заорала: «Мест нет!»

Раздался звонок. Я вскочил на подножку — проводница схватила меня за плечо. Я отшвырнул ее в глубь тамбура и проворно втянул наверх Фиру.

Проводница продолжала орать. Мы прошли в купе. Места, указанные в билетах, были свободны. Не успели мы как следует расположиться, как появился начальник поездной бригады.

— Места — ваши, — важно сообщил он, проверив наши билеты. — Так что с этой стороны претензий нет. Теперь платите штраф.

— За что? — возмутился я, — Вы же сами видите, что мы на своих местах, а не на чужих.

— Штраф за физическое нападение на проводника при исполнении им служебных обязанностей, — невозмутимо разъяснил начальник. — Скажите спасибо, что она позвала меня, а не милиционера (у нас в поезде есть и милиционер).

— Заплати штраф! — умоляюще прошептала Фира. Мне не хотелось ее волновать. Я рассчитался и получил аккуратную квитанцию. Потом я показывал ее друзьям и хвастался, что был оштрафован за то, что пытался усесться на места, за которые предварительно заплатил.

В Ленинграде выяснилось, что до родов еще около месяца. Мы поселились у Эммы, Фириной сестры, в доме на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта.

Несколько дней мы отдыхали, потом к нам нагрянули друзья, старые одесситы, — Евгений Бугаевский, переехавший в Москву, и Борис Ланда, недавно поселившийся в Ленинграде. Борис устроился в какой-то архитектурной мастерской, а Евгений стал важной особой — он попал в любимцы к известному экономисту Рубину и, по протекции именитого шефа, отправился преподавать экономические науки в институт Наркомснаба. Он начал доцентствовать еще раньше, чем я, — ему только-только исполнилось двадцать (я-то получил свое звание в почтенные двадцать один год).

Мы, да и многие нам подобные, взметнулись вверх на одной крутой политической волне: преподавателей драматически не хватало, старых, знающих, но «не по-нашему», профессоров повыбрасывали, срочно понадобились молодые — из тех, кто поталантливей и наш. Впрочем, мы были самоуверенно убеждены, что причина всему — исключительно наши таланты и мы полняком держим бога за бороду.

Женя принес бутылку вина, я добавил свою и побежал за

закуской. Летом 33-го алкоголь было достать куда легче, чем еду. Все же я раздобыл в гастрономе коммерческой трески (правда, пахла она как-то подозрительно). Женя выложил на стол колоду карт и предложил сразиться в железку. Железка, как все азартные, а не умственные (вроде преферанса) игры, была проще дурака или очка. В очко я еще не играл (это пришло в лагере).

Выпив вино и истребив всю залежалую треску, мы взялись за карты. Евгению невообразимо везло, я столь же невообразимо валился в пропасть. Не прошло и часа, как я потерял все свои ресурсы (около семисот рублей — больше чем двухмесячную зарплату). Борис тоже отвалился от стола с опустевшим бумажником. Женя, поглядев на часы, вдруг спохватился:

— Ребята, мне же через час на поезд. Простите, бегу!

И он умчался, в спешке забыв осведомиться, остался ли у меня с Борисом хоть рубль на пропитание. Не сказать, что я огорчился: бывать без копейки в кармане приходилось и раньше, Борис тоже частенько это проделывал. Но Фира волновалась и нервничала. Она вслух раздумывала, к кому завтра пойти занимать деньги и сколько нужно будет просить. Мы втроем — Эмма, Борис и я — еле уговорили ее лечь, клятвенно заверив, что утро вечера мудреней.

А ночью вступила в игру треска. Оказывается, ее подозрительный запах адекватно отвечал сути. Нас прохватил жестокий колит. Мы с Борисом справились, а вот Фире пришлось вызывать врача. Врач определил острое отравление и вызвал скорую помощь. Сто раз ремонтированный рыдван из первых послереволюционных образцов (впрочем, довольно ходкий) умчал Фиру в инфекционное отделение Обуховской больницы.

Днем мы с Борисом отправились ее проведать. В инфекционном отделении нам сообщили, что искомой больной к ним не поступало. После получасовых поисков мы узнали, что она помещена в родильное отделение и что ее готовят к родам.

Я забушевал, Борис меня поддержал. Как это понимать — готовят к родам? Моя жена должна рожать в клинике Отта. У нее экспериментальные роды, за ней будет наблюдать целый отряд врачей. Немедленно возвратите роженицу, мы повезем ее на Васильевский остров!

Нам разъяснили, что об экспериментальных родах им ничего не известно, в Обуховской больнице рожают только древним женским способом. Я стал кричать. Чтобы успокоить меня и Бориса, нам выдали халаты и предложили лично объясниться с заведующим отделением профессором Никитиным (или Никишиным — точно не помню). Мы помчались, мотая полами, и, не встретив сопротивления, добежали до родильной палаты. К

нам вышел пожилой мужчина — сам профессор. Никогда не забуду его лица, его глаз, его голоса. Есть люди, сразу вызывающие симпатию, — Никитин был из таких. Он быстро потушил мою ярость.

— Понимаю ваше волнение, молодой человек. Все мужья должны волноваться — это их священная обязанность. И что в больнице Отта вашей жене отведена специальная палата — тоже понимаю и сочувствую, но отпустить ее не могу. И не отпущу, сколько бы ни настаивали. Вы знаете наш транспорт? Трясет и гремит, гремит и трясет. Вашу жену так протрясло по дороге к нам, что у нее начались, родовые схватки. Сегодня вы станете счастливым отцом без кудесников Отта. Идите, мои друзья, идите. Здесь вам оставаться нельзя.

Уходя, я услышал голос Фиры. Она дважды вскрикнула. Потом она рассказывала, что в первый раз закричала от неожиданности, когда дежурная акушерка сказала: «Женщина, соберитесь с силами, вы рожаете!», а во второй — от удивления, когда почувствовала, что рожает без боли. Гипноз все же подействовал. Хватило и восьми сеансов.

Но он подействовал плохо. С колитом, стимулировавшим схватки, справились сразу — последствия гипноза сказывались долго. Фиру мы привезли домой не возрожденной, как обычно бывает после удачных родов, а обессиленной. Ее мучила тяжелая депрессия — она две недели не вставала с постели. К ней каждый день приезжали врачи «из Отта», расспрашивали о состоянии, брали анализы. Кстати, в клинике скоро прекратили роды под гипнозом — из-за нежелательных психических последствий. Вполне вероятно, что Фира была последней из «экспериментaлок».

— Все-таки проклятие Бога нашим праотцам — в муке будете рожать детей своих — было умным предостережением и деловой подготовкой, — сказал я Фире. — Рожающим женщинам нужно мучиться.

— Это ваша мужская точка зрения, — парировала она. — А я родила без боли — не было никаких мук!

А в тот день мы с Борисом долго не уходили из больницы, пока не узнали, что родилась девочка и что ребенок и мать чувствуют себя сносно.

— Поздравляю тебя с дочкой, Сергей! — торжественно произнес Борис. Мы обнялись и расцеловались. — Уже условились, как ее назовете?

— Если будет мальчик — Александром, если девочка — Натальей, так договаривались. Сегодня, третьего сентября 1933 года, человечество стало выше на одну женскую голову.

— Рад за человечество! — весело ответил Борис. Теперь нужно было возвращаться в Одессу — занятия в институтах уже начинались. Несколько дней я раздобывал деньги.

Перед отъездом я поговорил с Борисом. Он мыкался по знакомым и в случайных углах, но истово искал самостоятельное жилье.

Мы договорились, что он учтет и нас с Фирой. Пока она поживет у своей сестры, но, когда приеду я, нужно будет что-то решать. Эмма с мужем и матерью обитают в небольшой комнате, если туда впихнуть еще троих — дышать станет нечем.

Мы условились, что Борис будет подыскивать не комнату, а квартиру. Некоторое время поживем коммунально — обычное дело! Фира не возражала.

Когда деньги были собраны, у нас произошла небольшая размолвка. Жена поинтересовалась, зарегистрировал ли я дочку. Я торжественно протянул Фире метрику.

— Ты записал Наташу еврейкой? — удивилась она.

— Конечно, Фира. В твою честь. Очень рад, что в мои три крови добавилась еще одна (и великая!) — еврейская.

— Нужно Наташе твое романтическое представление о величии! Русско-греко-немецкая еврейка! У тебя в паспорте написано — русский. Почему не записал ее русской?

— Фира, я же объясняю…

— Слушать ничего не хочу! Ты гордишься своим космополитизмом, хотя по маме значишься русским.

— Вот и Наташу по маме…

— Сегодня же иди в загс и переправь национальность Наташи по своему паспорту, — сердито прервала она. — Нужно думать не о высоком равенстве наций, а о благополучии Наташи в той стране, где ей придется жить.

Я покорно пошел в загс и попросил переписать Наташину метрику. Фира лучше меня знала нравы нашего общества.

13

Я вернулся в Одессу — к своим лекциям. Наступил и мой черед платить по счетам.

Первая пятилетка окончилась, началась вторая. Обозначились достижения и провалы. Голод прекратился — оскудение не прошло. Необходимы были виновники.

В поисках козлов отпущения прекратили прием в партию, организовали свирепую чистку колеблющихся и ненадежных, скромно поименовав ее проверкой партийных документов. Виновные были найдены. Они и заслонили собой реальное

преступление, которое называлось генеральной линией партии.

В холодильно-консервном институте, где я преподавал, заведующий кафедрой общественных наук Гершкович — тоже из «назначенных на историю», правда, только ВКП(б) — объявил, что пора покончить с гнилолиберальным отношением к самим себе. Он намерен провести обследование лекторов кафедры на предмет искоренения всех небольшевистских черт, передавшихся нам от старой профессуры. Именно так сформулировал этот вопрос товарищ Сталин. Именно так — по-сталински — он, Гершкович, ставит его на нашей кафедре!

Кто желает первым пройти идейно-воспитательное обследование? Может быть, начнем с вас, Сергей Александрович? Вы у нас самый молодой, а молодым везде у нас дорога, не так ли?

Я, разумеется, не возражал. В проверяющие мне досталась женщина, доцент экономических наук (я уже давно не помню ее фамилии). Я постарался поразить ее нестандартностью. Темой была немецкая идеалистическая философия. Я изобразил на доске все стадии Мирового Духа, как их трактовал Гегель в большой «Логике» и «Феноменологии духа».

На перемене экономистка экспансивно призналась:

— До вашей лекции я ничего и не знала об этом Духе. Спасибо — было очень интересно!

Она еще несколько раз посидела на моих занятиях — и снова с чувством меня похвалила. Потом почитала конспекты моих студентов — и отчет был готов.

В нем говорилось, что и в непосредственном содержании моих лекций, и в отдельных попутных замечаниях она обнаружила многочисленные недочеты и немаловажные ошибки. В частности, я сказал, что в общественных рабочих коллективах, фаланстерах утописта Фурье,[125] содержится своеобразный зародыш наших колхозов, что является грубой клеветой на социалистические коллективные хозяйства. Я утверждал, что в момент революции больше всего было эсеров, а не большевиков, а это недопустимое унижение нашей славной коммунистической партии. Я заявил, что и в мирной стране классовая борьба временами доходит до такой остроты, что правительству приходится применять оружие, чтобы, например, изъять у крестьян запасы хлеба. А ведь всем известно, что нашей политикой в деревне является дружба и смычка рабочих и крестьян. Я рисовал на доске диаграмму стадий идеалистического Мирового Духа с таким увлечением, что невольно выдал свое внутреннее поклонение идеализму, глубоко враждебному нашему пролетарскому диалектическому

материализму.

И так далее — всего восемь пунктов..

Вывод был таким: в лекциях явственно чувствуется гнилолиберальный, деборинский, меньшевиствующий идеализм и прямой троцкизм в толковании основ нашей генеральной линии.

Возмущенный, я кинулся за разъяснениями. Она удивилась.

— А как, по-вашему, я должна была писать? Меня отправили искать ваши ошибки, а не превозносить ваши достоинства. Интересно бы я выглядела, если бы не нашла никаких недостатков!

— То, что вы называете ошибками, — правда.

— Это вы так считаете. Пусть компетентные люди разберутся.

Я молча смотрел на нее. Переубеждать ее было бессмысленно. Кант как-то заметил:[126] доказать другому человеку, что ты прав, можно лишь передав ему все то, что знаешь и чувствуешь. Мы жили с ней в разных измерениях.

Я сказал:

— Ну, хорошо, попросим компетентных людей… Но вы сделали вывод, что я критикую нашу генеральную линию как троцкист. Это очень грозное обвинение.

Она пренебрежительно махнула рукой.

— Пустяки! Надо же было как-то назвать систему обнаруженных отклонений. Это слово уже никого не пугает. Бывших троцкистов, исключенных из партии, сейчас восстанавливают. Было бы много хуже, если бы я назвала вас бухаринцем! Но я ведь этого не сделала — цените!

Я побежал к Оскару посоветоваться. Он был категоричен.

— Ну и обвинение! Эта дура сама не понимает, чего наплела.

— Она не дура. Она только легкомысленна и невежественна.

— Тем хуже. Невежда опасней дурака. Надо срочно предпринять серьезные контрмеры.

— Какие?

— Если доказать, что она сама погрязла в идеологических грехах, ее обвинения обернутся против нее самой.

— Это мне не подходит. Защита типа «сам дурак» — не мой метод.

— Ты прав, это не наш метод. Можно, конечно, попытаться опровергнуть все, что она нагородила. Но тогда еще что-нибудь отыщут и переименуют тебя из троцкиста в бухаринца — ибо похоже, что ваш заведующий кафедрой крепко взялся за выкорчевывание всяких отклонений от генеральной линии.

— Он поклялся искоренить в нашем институте гнилолиберальный дух — это его любимый термин.

— Тогда остается одно — ждать. А дальше действовать по

обстоятельствам.

Ждать пришлось недолго. Гершкович объявил, что он внимательно ознакомился с отчетом доцента экономических наук и считает его заслуживающим внимания. Он собирается посоветоваться в обкоме партии по этому поводу.

— Все будет в порядке, — бодро пообещал он. — Получим указания и будем действовать сообразно с ними.

Через несколько дней меня вызвали в ректорат и объявили, что я уволен из института по решению обкома. Причина — искажение генеральной линии партии и протаскивание троцкистской пропаганды в лекциях по диалектическому материализму.

С этим решением, отпечатанным на машинке, я пошел к доценту экономических наук. Она еще ничего не знала.

— Спасибо вам за ваш отчет, — сказал я. — Со мной все выяснено.

Она просияла.

— Я вам говорила, что все это пустяки. Теперь вы и сами это видите.

— Да, вижу. Прошу и вас посмотреть. — Я протянул ей приказ.

Она так побледнела, что это немного примирило меня с увольнением.

— Я не виновата! — воскликнула она с испугом.

— Вы виноваты! — сказал я. — Нагородили вздора, открыли ворота тем, кто хотел расправиться со мной.

— Я этого не хотела! Поверьте мне, не хотела!

— Вернее — не предполагали, что так будет. Один древний мыслитель сказал: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят».[127] Еще раз повторяю — спасибо вам за все добро, что вы мне сделали!

Я постарался больше ее не видеть.

Вечером я пришел к Оскару. Он был подавлен не меньше моего. Он посоветовал мне пойти в обком и поговорить с секретарем по агитации и пропаганде Беляевым (тот хорошо ко мне относился) — нужно просить об отмене приказа. Я отказался. Обком — не то учреждение, где поминутно меняют свои решения. Я буду ждать, как отразится увольнения из пищевого института на мое пребывание на физмате университета и в Муздрамине.

Прошло несколько дней — новостей не было. Затем ко мне домой пришли Оскар и наш с ним новый друг, молодой профессор-диаматчик Пероцкий. Они сказали, что в университетской комсомольской организации будет слушаться мое персональное дело. Уже назначен день собрания. Нужно

посоветоваться со мной об одной важной проблеме — она решит мою судьбу.

А теперь — два отступления: о комсомоле и о Пероцком.

Дело в том, что я был комсомольцем. И даже с солидным стажем — что-то около восьми или десяти месяцев. Давно прошло то время, когда я мечтал об этом как о высшем признании и не на шутку мучился от того, что ленинский союз молодежи не хочет видеть меня в своих рядах. Я не вступил в комсомол — меня в него втолкнули. Ко мне пришли мои университетские товарищи (секретарь комсомольской ячейки Кублановский и несколько активистов) и объявили, что для меня не быть комсомольцем — неприлично и недопустимо. Я преподаватель самой большевистской, самой идейной дисциплины — диамата, и я не могу стоять вне самой большевистской, самой идейной молодежной организации. Лучше было бы вступить в партию, преподаватели диамата обычно партийцы. Но сейчас прием туда временно закрыт, они тоже пока не члены ВКП(б). Возраст у меня самый комсомольский — 21 год. Рекомендации — вот они, подпишем не выходя из комнаты. Так что давай, Сергей, давай!

Так я стал комсомольцем.

У моего комсомольского бытия были две существенные особенности. Во-первых, я отказался от всех нагрузок и посещал только одно собрание из пяти. Во-вторых, внешний мой вид вопиюще противоречил предполагаемой высокосознательной сути — в этой связи я даже удостоился вызова на бюро горкома комсомола. Заседание вел грозный первый секретарь с выразительной фамилией Козодеров.

Комнатка была полна — всех интересовало, как будет выкручиваться молодой доцент, вызванный на ковер по случаю недостаточной идейности его пиджака.

— Сергей, к нам поступили заявления, что ты ведешь себя несообразно своему высокому комсомольскому званию, и мы собственными глазами видим, что это горькая правда, — трагически обратился ко мне Козодеров. — Ты комсомолец, а одеваешься как буржуазный пижон. Нам известно, что костюм, который на тебе, ты шил у частного портного, как какой-нибудь нэпман. И ты всегда ходишь в накрахмаленных белых воротничках, при цветастом и даже черном галстуке — вот и к нам в горком осмелился прийти в нем. Ну, куда это годится, Сергей, посуди сам! Раз ты комсомолец, так и одевайся по-комсомольски.

— Буду всегда одеваться по-комсомольски, если мне покажут в уставе пункт о комсомольской одежде, — ответил я.

Козодеров смутился.

— Речь не об уставе — о нашей традиции. Ты сам знаешь, что пункта об одежде в уставе нет.

— Именно в связи с нашей традицией я и одеваюсь! Я лектор и ношу то, что носят все преподаватели вуза. Наши профессора ходят при галстуках, а не в косоворотках, выутюженные, а не мятые, выбритые и причесанные, а не лохматые. Члены партии в этом отношении не отличаются от беспартийных. Я буду ходить как они.

Спор на бюро закончился безрезультатно. Решения не приняли. Мне даже не поставили на вид — ограничились устной нотацией. Лишь на прощание Козодеров сказал с сожалением:

— Хороший ты парень, Сергей, но есть в тебе что-то не наше…

Эту характеристику — есть в тебе что-то не наше — я слышал и раньше. Я был (и есть) не наш для апологетов завершенных истин и разнообразных идеологических боевиков. Больше того: я ничей, то есть воистину свой. В тысячах форм борьбы (особенно литературной) я не примыкал ни к одной стороне, ибо видел в самом пламенном демократе несостоявшегося диктатора. Одна дама недавно сказала мне: у нас теперь столько партий, вам нужно выйти в люди — идите к нам! Но выходить в люди таким способом не по мне. Пастернак как-то сказал, что мог бы «провальсировать к славе шутя»,[128] но не захотел. Он поступил мудро: достиг мировой славы, не гоняясь за ней. Меньше всего мне нужен был пиетет людей, ограниченных каким-то одним мнением, одним направлением, одной кровью! Я был и остался космополитом. Мне близки все нации. И все они чуют во мне это зловещее — «не наш». Я был и остался человеком — не меньше, но и не больше.

Козодеров был тысячекратно прав: я был свой.

Теперь о Борисе Пероцком.

Этот человек приехал в Одессу не то из Днепропетровска, не то из Винницы и занял место уехавшего в Институт красной профессуры Пипера. Он стал профессором диамата (правда, без заведования кафедрой). Его появлению в университете (еще до утверждения в должности — оно было прерогативой обкома партии) предшествовал слух, что в городе наконец появился истинный философский гений.

Пероцкий был лет на пять старше нас с Осей. Видимо, в детстве он перенес полиомиелит — болезнь изуродовала его, он стал калекой. Он не ходил, а ковылял на скрюченных негнущихся ногах, левая его рука торчала под каким-то странным углом — он плохо ею владел. Но тонкое, умное его лицо с проницательными глазами и темные, густые волосы были воистину прекрасны.

Не знаю, заканчивал ли он какой-нибудь институт — но он знал философию по первоисточникам, а не по учебнику диамата или статьям в журнале «Под знаменем марксизма». Особой его страстью был Гегель — впрочем, великий немецкий философ был тогда на языке у всех диаматчиков. Мода на него была своеобразной: его истово почитали, но почти не читали — он был слишком сложен для ординарного преподавателя.

Пероцкий Гегеля не только почитал, но и читал. Он часто ссылался на труднейшую из гегелевских работ — «Феноменологию духа», и я несколько раз проверял эти ссылки — они всегда были точны. Вряд ли Пероцкий был творцом — мы с Оскаром ни разу не слышали от него о каких-либо философских изысканиях. Но что он был незаурядным знатоком философии — бесспорно. В масштабе требовавшихся тогда знаний, конечно.

Преподавателем Пероцкий был неважным. Лектор, а не учитель, он читал на украинском — и у него, в отличие от других, язык этот был настоящим, а не суржиком (на одну фразу на мове[129] — десять на русском). Но это был странный украинский — до того книжный, до того забитый галлицизмами,[130] что даже чистопородные украинцы, воспитанные на «Наталке-Полтавке» и «Энеиде» Котляревского,[131] не всегда его понимали. А если к этому добавить, что Пероцкий не признавал никаких учебников, никаких предписанных программ, то остается только пожалеть его студентов.

Впрочем, Борис не был строгим экзаменатором. Одно компенсировалось другим: непонятность его лекций перекрывалась тем, что он мирился с их неусвоенностью.

Он сразу потянулся к нам с Осей. С другими диаматчиками он был знаком — с нами дружил. Дружба его была странной: переброс остротами, хлесткими цитатами, умной болтовней — всегда умной и всегда болтовней. Никаких споров, никаких излияний, никаких переживаний — в общем, ничего того, что составляло суть наших с Оскаром отношений. Пероцкий избегал стрессов. Инвалидность приучила его всемерно охранять самого себя — любое нарушение осторожной расчетливости могло стать непоправимым.

Вспоминаю один забавный эпизод в самом начале нашего знакомства.

У меня был день рождения. Фира позвала гостей. Приковылял и Пероцкий. Он полушепотом отозвал меня в сторону и показал темную бутылку необычной формы.

— Вот. Величайшая редкость. Для тебя достал.

— Что это, Борис?

— Портвейн из крымских винных подвалов князя Сангушко.

Производство 1876 года — полсотни с гаком лет! Столько денег убухал — и все чтобы хорошо тебя поздравить.

— Спасибо, Борис.

Гости уселись за общий стол, а Пероцкий попросил для себя отдельный: в сутолоке кто-нибудь мог задеть его искалеченные ноги. Я приспособил для него одну из цветочных подставок. Пероцкий поставил на него свою редкостную бутылку, стакан и тарелку. За общим столом о нем временно забыли. Потом, вспомнив о борисовом сокровище, я подошел к Пероцкому. Бутылка была почти пуста.

— Давай, Борис, попробуем твой шедевр. Он укоризненно посмотрел на меня.

— Сережка, ну зачем тебе князь Сангушко? Для тебя всякая химия пополам со спиртом — тоже портвейн. Не будем швырять дорогие цветы под ноги.

И он хладнокровно вылил остаток в свой стакан.

Итак, ко мне пришли два друга — Оскар и Борис Пероцкий, чтобы обсудить важную проблему.

Начал Оскар. На комсомольском собрании, им это стало известно, будет решаться отнюдь не комсомольская проблема: оставить меня на идеологической работе или нет? Прибудет сам секретарь обкома партии Беляев, он это обещал. Мое будущее зависит от того, как он воспримет обсуждение. Необходимо, чтобы впечатление было благоприятным.

— Что нужно для этого сделать?

Оскар боялся выговорить те слова, которые они загодя обсудили с Пероцким: он понимал, как я отнесусь к его предложению. Борис перехватил инициативу.

— Сергей, у тебя есть только одна реальная возможность спасти себя. Ты должен признать справедливость всех предъявленных тебе обвинений, покаяться в своей вине и дать торжественное обещание полностью исправиться и больше такого не повторять.

Я молча смотрел на них. В моем мозгу не укладывалось их чудовищное предложение — признать ложь истиной.

— Вы что же, считаете, что отчет о моих лекциях был правдой?

На этот раз набрался духу Оскар.

— Сергей, у нас и мысли нет обвинять тебя в ошибках!

— Значит, я должен отстаивать то же самое, что говорил в лекциях. И доказывать, что врала эта доцентша, а не я, причем исключительно по причине своего дремучего невежества в том предмете, о котором взялась судить.

— А вот этого делать нельзя.

— Нельзя называть правду — правдой? Поклеп — поклепом? Невежество — невежеством?

Борис опять перехватил инициативу.

— Именно — нельзя! Ибо идет кампания очистки и проверки, у нее свои законы.

— Не знаю таких законов, по которым ложь — правдива. Когда верующие каются в реальных грехах, они получают прощение, — это я могу понять. Но вы сами признаете, что я не грешил, — в чем же мне каяться?

Пероцкий опять повторил, что у каждой общественной кампании свои законы. Их не преступить. Разве троцкисты не винятся в том, что боролись против советской власти? Но они вовсе не пытались уничтожить ее — они просто отстаивали свое понимание того, какой ей следует быть. Разве бухаринцы не бьют себя в грудь и не признаются публично, что хотели развалить сельское хозяйство? Но ведь они боролись не за развал, а против него. Проигравшие должны каяться, таковы правила. И если нет реального греха, нужно придумать что-нибудь достойное покаяния.

— Я не признаю себя проигравшим. Я знаю, что я прав.

— Ты неправ уже в том, что считаешь себя правым. Тебя критикует обком партии. Это и есть поражение. Любое обкомовское слово, направленное против нас, — наша катастрофа, независимо от того, какова его подоплека. Такова печальная диалектика нашего преподавательского существования.

Оскар подошел к проблеме реальности греха с другой стороны. Борис прав: все, кого критикуют, непрерывно охаивают сами себя. К чему бы такое самооплевывание? А к тому, что без него победа не выглядит победой, поражение не кажется поражением. Любой обвинитель, даже самый истовый, вовсе не до конца верит в справедливость своих обвинений. Он почувствует себя правым, когда его правоту признает противник. Вот почему любая общественная драка кончается публичным самоосуждением побитого. Самооплевывание одного необходимо для самоутверждения другого. В реальности победа не всегда победоносна, но вид она должна иметь победный. Если ты будешь доказывать свою правоту, ты выступишь против мнения обкома, а значит, заставишь его усомниться в своем решении — этого тебе не простят. Поступай как все!

— Поступай как все, — повторил Борис. — И тогда претензии к тебе отпадут. Указали хорошему человеку на ошибки, он их признал, принял к исправлению — что еще с него требовать? Будешь работать по-прежнему. А заупрямишься, сочтут

нераскаявшимся врагом — вылетишь отовсюду. Куда тогда пойдешь? Что предпримешь? Кто осмелится тебя взять?

— Завтра комсомольское собрание, Сергей, — напомнил Ося. — Ты должен решить, как держаться. Повторяю: нас почтит своим присутствием секретарь обкома.

— Буду думать, — сказал я.

Они ушли, а я заперся в своей комнатушке. Фира была в Ленинграде. Нужно было посоветоваться с женой — но времени на письмо не было. Я не мог понять смысла того, чего от меня требовали. Кому нужно, чтобы я покаялся в несовершенных ошибках? Какая польза в том, что я буду врать о себе? Почему, не солгавший, я враг, чужой, меня надо гнать с работы? Почему, солгав, потеряв к себе уважение, я снова стану своим, хорошим, меня опять будут ценить? Почему? Почему?

Ночь шла без сна, терзаемая жестокими вопросам и мучительными ответами. Я искал решение — и вспоминал. Я снова слышал речь о выдвижении меня на самостоятельный курс, о присвоении мне звания доцента (так захотел сам Леонид Орестович). Я видел великолепное (школы великого Кваренги) здание обкома партии (меня вызвали сюда на собеседование к Беляеву). Мне указывали нужный кабинет. В просторной комнате сидели человек пять, их лица были неотчетливы в табачном тумане немыслимой густоты — все жадно курили.

Вошел кто-то из аппарата (с папкой бумаг) и недовольно поморщился.

— Ну, накурили!

— Отлично накурили! — весело откликнулся Беляев (он расположился за большим столом, спиной к окну). — Ужасно люблю, когда дым такой, что его можно резать ножом, как студень.

А потом был разговор о высылке Тюльпы (я уже рассказывал об этом), после которого Беляев повернулся ко мне — и посветлел.

Он улыбнулся мне, задал несколько вопросов, с явным удовольствием выслушал мои ответы.

— Прет наша талантливая молодежь! — с уважением сказал он остальным. — Представлен на доцентуру, на самостоятельный вузовский курс диамата, а еще и двадцати одного года не исполнилось! Утвердим?

— Не нахраписто будет? — засомневался кто-то.

— Нахрапом города берут. Мы так революцию совершили. Вот американец Чарльз Линдберг, парень двадцати семи лет, летал, летал вокруг своего городка на одноместном самолетике — да вдруг, никого не спросясь, махнул на нем из Америки в

Европу. Нахрапом преодолел весь Атлантический океан! Молодость — величайшая производительная сила, по собственному опыту знаю. Будет у нас теперь в Одессе свой двадцатилетний доцент.

Потом, стороной, до меня доходили беляевские отзывы о моей работе. Они все были хорошими — кроме самого последнего, за которым последовало увольнение. Но, может быть, Беляев в этом не участвовал? Что, если его тогда не было в обкоме? Завтра он будет вторично решать мою судьбу. Как мне с ним держаться? Гневно отмести все обвинения? Быть честным перед собой, несмотря на все уговоры и советы? Или трусливо подчиниться и начать себя оплевывать? Это формальность, говорят мои друзья. Хороша формальность — взвалить на себя вину, которой нет! Тюльпу выслали из города, даже не поговорив с ним. Как поступят со мной, если я наотрез все отвергну? Сам секретарь обкома будет присутствовать на обсуждении моего личного дела! Для чего это ему нужно? Вызволять меня из грязи? Топить в грязи?

Голова моя раскалывалась…

Перед собранием меня перехватил Ося.

— Что ты решил? — спросил он с надеждой.

— Постараюсь выполнить твой совет. Буду оправдываться в том, чего не делал.

— Тогда держись веселей! У тебя похоронный вид. Этого ни в коем случае нельзя допускать. И говори как всегда — бодро и ясно.

— Постараюсь быть веселым и говорить бодро и ясно…

Зал был полон. Не все были мне знакомы. Кое-кто старался держаться от меня подальше. Некоторые подходили, чтобы пожать руку. За небольшим столиком уселись секретарь парткома и секретарь комитета комсомола. Беляев появился с опозданием и прошел в президиум, щедро кивая и улыбаясь в разные стороны. Мне он тоже улыбнулся и кивнул.

Комсомольский секретарь постучал по столу, призывая к тишине. Он объявил тему собрания — обсуждение принципиальных ошибок, допущенных доцентом Штейном, затем коротко перечислил их и предоставил слово мне.

Я пошел к кафедре.

Я начал с того, что молча осмотрел зал. Я привык, начиная лекцию, вглядываться в студентов. Обычно я видел спокойные лица и внимательные глаза — слушатели сосредотачивались, чтобы ясней понять и крепче запомнить то, о чем я буду рассказывать. Сейчас внимания не было — было любопытство. Меня окружила не спокойная вдумчивость — нетерпеливое

ожидание. Добрая сотня глаз словно требовала: объяснитесь!

И я понял, что не смогу искренне покаяться в несовершенных грехах — и (тем более!) убедить кого-нибудь в искренности своего покаяния.

Я забормотал о великой пользе самокритики: без нее невозможно движение вперед. И признался, что, видимо, плохо подготовился к лекциям, не сумел ясно раскрыть материал и потому его неверно поняли: нечетко изложенный, он допускал двойное толкование. Я ничего не сказал о конкретных фактах, ибо назвать правду ложью все же было выше моих сил. В конце я пообещал, что буду строже готовить лекции и никогда не разрешу себе неясных утверждений, допускающих двоякую, правильную и неправильную, трактовку.

Такое объяснение могло убедить только тех, которые хотели быть убежденными. Я еще надеялся, что все отнесутся к моему покаянию как к формальности.

Но Беляев сокрушенно покачал головой — его не удовлетворила моя самокритика. Я это почувствовал — остальные тоже.

— Как я выступал? — тихо спросил я Осю.

— Главное, что признался в ошибках, — очень хмуро ответил он. Он тоже вглядывался в Беляева.

А затем все пошло по предписанному сценарию. Первый же выступавший возмутился: мало того что я допустил недопустимые (даже не идейные, скорее — политические) ошибки, я еще не нашел мужества честно осудить свои заблуждения, юлил, пытаясь оправдаться. Остальные тоже не остались в стороне — ни один человек не признал мое объяснение удовлетворительным. Я внимательно — с нарастающей горечью — слушал, как на меня валили все новые и новые грехи.

На трибуну вышла девушка — худая, громогласная, быстрая в словах и движениях. И, вероятно, впервые за этот день я не огорчился обвинениям — я им удивился. Она напала на меня с такой яростью, с такой враждебностью (даже ненавистью), что это выходило за рамки любой принципиальной критики. У нее даже лицо исказилось от злобы.

Оскар тихо спросил:

— Ты не сделал ей какой-нибудь пакости?

— Впервые ее вижу, — прошептал я.

Еще до того, как закончились прения, Беляев удалился, не сказав ни слова, — все дальнейшее, видимо, было с ним заранее согласовано. Меня исключили из комсомола как совершившего идейные ошибки и отклонившегося от генеральной линии

партии. Проголосовали единогласно — без протестующих и воздержавшихся.

На другой день я узнал, что мне запрещено преподавание дисциплин идеологического цикла.

Дорога в официальную философию была закрыта.

14

Ровно шестьдесят лет прошло с того дня — два человеческих поколения. Я многое начисто забываю, ловлю себя на том, что начал путать даты. Не только месяцы, но и годы перехлестываются один с другим. Я уже не уверен, что то, о чем пишу, совершалось именно тогда, — промежуток между 31-ми 33-м годами хаотично смят в какое-то путаное целое.

Но зиму 33-го — 34-го я помню хорошо. Ибо тогда не просто рухнула воображаемая цель — надломилась реальная жизнь. Как хорошо заметил Багрицкий, «звезда споткнулась в беге».[132] Нужно было все менять.

И я занялся именно этим.

За несколько месяцев до исключения из комсомола и увольнения с работы произошло событие, которому я легкомысленно не придал никакого значения. Я закончил физхиммат.

Собственно, уже был восстановлен университет, объединивший возрожденные факультеты, ранее — в порядке революционного переустройства — названные отдельными вузами. Правда, дипломы нам выдали старого образца — их, похоже, заготовили на годы. В моем значилось, что я окончил Одесский физико-химико-математический институт.

Слово это — «окончил» — было не совсем точным. Я уже почти два года не ходил на занятия — только на экзамены, наскоро подзубривая курс. Я даже задумывался: не бросить ли это формальное студенчество, ведь я никогда не буду физиком, моя дорога определена — философия. К счастью, Фира была против — и диплом я получил. К себе моя жена была не так строга (я уже рассказывал о ее удостоверении).

В полуэкстерновом этом состоянии были свои плюсы (свободное время), однако минусов обнаружилось еще больше. И главный состоял в том, что преподаватели не знали меня в лицо и недобро поглядывали на студента, неглижировавшего[133] их лекциями. Я это остро почувствовал, когда пошел сдавать курс теоретической физики профессору Михневичу. Он воззрился на меня как на привидение, вынырнувшее из старого шкафа. Впрочем, он уже слышал обо мне.

— Скажите, вы не тот студент, который пошел в диаматчики?

— Тот самый, профессор.

— Так чего же вы хотите? У вас уже есть специальность.

— Хочу закончить и физмат.

— Так, так. Вы физик или математик?

— Физик.

— Очень хорошо. Значит, теоретическая физика в объеме для физиков. Что вы можете сказать об общей теории относительности?

Михневич задал мне очень каверзный вопрос. И не потому, что он был труден. Специальную теорию относительности я начал изучать еще в трудшколе и знал назубок все ее главные уравнения. Гораздо хуже было с общей теорией относительности. Ее математический аппарат далеко превосходил тогдашнюю вузовскую программу теоретической физики. И хотя все ее основные положения, все выводы, все относящиеся к ней астрономические и физические факты я тоже знал наизусть, дело было вовсе не в моем знании.

Общая теория относительности вызвала страстную дискуссию в научной печати. Одни знаменитые физики были за нее, другие, не менее известные, против. Споры затрагивали уже не физические законы, а физическое мировоззрение. Сын знаменитого ботаника Климента Тимирязева,[134] профессор физики Аркадий Тимирязев,[135] начал настоящую войну против Эйнштейна. Ему запальчиво возражал украинский академик — философ Семковский. До момента, когда общую теорию относительности открыто назовут еврейско-космополитической химерой и все советские физики разбредутся по лагерям ее сторонников и противников, оставалось почти двадцать лет. Но и во времена моей молодости маститые, возрастные ученые не очень чтили Эйнштейна, несмотря на его всемирную славу, и охотно прислушивались к его критикам. Михневич был человеком средних лет — он принадлежал к старой школе.

Я начал отвечать. Через несколько минут он раздраженно прервал меня:

— То, что вы говорите, гипотезы, а не теория. Они не удостоверены никакими серьезными доказательствами.

— Они подтверждены инструментально.

— Произвольными толкованиями случайных наблюдений, только и всего. Ставлю вам неуд. Придете еще раз. И только после того, как разберетесь в сущности этой недоказанной теории!

Обиженный и расстроенный, я ответил дерзко:

— Придется прийти, если так получилось. Но я буду сдавать только тому, кто разбирается в общей теории относительности.

Прошло, наверное, с месяц. Как-то мы столкнулись с Михневичем около университета. Я хотел проскользнуть мимо — он меня задержал.

— Когда придете пересдавать теоретическую физику? Я постарался быть максимально вежливым.

— Боюсь, что уже не приду, профессор. Я не смог переменить своего мнения о теории относительности.

Он покачал головой и сердито буркнул:

— Напрасно, напрасно… В таком случае передам в учебную часть оценку экзамена по первому вашему посещению.

— Значит, неуд?

— Пятерка, пятерка! Хоть вы и путаник, но все же много литературы прочитали, я это учел.

Я не удержался от улыбки. Препятствие на пути к диплому было неожиданно ликвидировано.

В свидетельстве об окончании института значилось, что мне присвоено звание ассистента Высшей школы по физике — на одну крохотную ступеньку вверх от обычного преподавателя. Диплом не принес особой радости — он только избавил меня от лишней нагрузки. Физика казалась пройденным этапом. Я переставил учебники и первоисточники на дальнюю полку. Но изгнание из всех институтов, где я преподавал, возвратило значимость моему основному образованию. Я мог вернуться в университет в новой ипостаси. В диамате я начал ассистентом Пипера — теперь постараюсь завербоваться в помощники к знакомому профессору физики. На худой конец можно пойти в школьные учителя — вакансий достаточно.

Была еще одна возможность круто развернуть споткнувшуюся жизнь — и я все больше на ней зацикливался. Почему бы мне не стать писателем? Стихи я сочинять не переставал — правда, последнее время было не до них: я не мог дух перевести от все умножающихся лекций. Теперь их не стало. И разве от стихов до прозы такое уж непреодолимое расстояние? Все поэты, кроме, может быть, наших Тютчева с Фетом, уходили в прозаики. Тот же Пушкин, тот же Лермонтов, не говоря уже о немце Гете или французе Гюго. Мастерство, приобретенное в стихах, найдет место и в прозе. Неужели мне не о чем рассказать? Я помню дореволюционный быт, революцию, страшный послереволюционный голод. Я испытал романтику пионерских лет, ярость общественных дискуссий двадцатых годов. Я знаю нынешнее время, великий взлет индустриализации и вызванный ею жестокий голод в деревне. Все это достойно описания. Почему бы мне этим не заняться — если остальные (и более важные для меня) пути перекрыты? Гегель как-то заметил, что мир нигде не

заколочен досками.[136] Моя вселенная перекрыта основательно. Но и в ней есть доступные мне стежки-дорожки. Может быть, двинуться по ним?

Яснее всего вырисовывались две вещи: роман о том, как жили и умирали люди в 21-м — 22-м годах и повесть о моих пионерских друзьях. Я даже придумал для нее название — «Девочка в желтом пальто» (предполагалось, что это будет рассказ о моей первой, невысказанной любви, о Рае, нынешней жене моего близкого друга) — и набросал первую главу. На мой взгляд, получилось неплохо.

Но до поворота на писательскую дорожку оставался не один десяток лет.

Ко мне снова пришли друзья (те же Оскар, Троян и Пероцкий). Они внесли новое смятение в мою и без того смятенную душу.

Оскар, очень взбудораженный, сообщил, что в верхах не собираются затягивать наказание. В обкоме говорили: месяца три-четыре поработает парень в хорошем учреждении, пообобьет гонор и спесь, станет с потрохами наш — вернем на преподавание. Такими кадрами не разбрасываются. Он еще потрудится на общую пользу!

— Сделай отсюда вывод, Сергей. Никаких крутых уходов в далекие специальности. И тебе философия нужна — и ты философии пригодишься.

— Главное — веди себя сдержанно, — добавил Пероцкий. — За тобой, конечно, будут приглядывать: как перенес взбучку? Не провоцируй открытых нареканий и тайных доносов!

— А в каком хорошем учреждении мне надо поработать, вы узнали?

— Узнали, — сказал Пероцкий. — Я спрашивал знакомую из обкома. Тебя направляют в областной отдел народного образования. Там имеется чудная должность плановика. Тебе она отлично подойдет, мне обещали.

Во мне ожили все мои прежние планы. Я часто потом думал, правильно ли поступил, поддавшись надежде.

Я ведь совсем уже было решил стать писателем. Я им стал, конечно, — но после десятилетий неудач, гонений, рискованных перемен профессий… Возможно, ничего подобного не случилось бы, если бы я сразу ушел в художественную литературу, — да и результаты были бы, наверное, покрупней. Правда, тогда не случилось бы и любви, так неукротимо и так печально вспыхнувшей во мне на краткий час и всю мою долгую жизнь озарившей своим неизбывным сиянием. Не знаю, не знаю, что было бы лучше…

И еще: я часто жалел, что не верю в Бога. Мой деизм не был способен утешить душу — он только успокаивал разум. Вера легче логических силлогизмов. Критиковал своих товарищей (и зачастую несправедливо, не по убеждению — по указанию), их незаслуженно наказали — твой грех. Потом критиковали и наказывали тебя, тоже незаслуженно, — расплата. Снова вернуться на работу, готов опять грешить — прими кару в качестве предупреждения. Все очень просто. Согрешил — покарали. Покарали — покаялся. И на душе опять ясно и спокойно.

Но у меня не было веры. Была логика.

Логика не утешала.

15

Итак, я превратился в плановика системы школьного образования в Одесской области.

Нет, я не расписывал, сколько учеников будет в разных классах, из каких районов — близких или отдаленных — они придут, какое количество часов будет отведено каждому учителю, какая часть учебника придется на ученическую голову, сколько перьев, карандашей, тетрадей и чернил требовать на всю область у наркоматовских властей. Все это было подлинное планирование — оно шло мимо меня. Мне достались арифметические операции — умножать разработанные другими дидактические коэффициенты на количество школ, классов и учеников и сообщить специалистам итоги.

Думаю, в мире найдется немного профессий, настолько от меня далеких — впрочем, для очищения от идейных погрешностей она вполне подходила. И если я не отмахивался с отвращением от навязанного мне дела, то лишь потому, что органически не умел уклоняться от того, что согласился выполнять.

Областной отдел народного образования был учреждением обширным, солидным и сумбурным. Он занимал целое здание в центре города. Как бы теперь ни хаяли советскую власть во всех ее проявлениях, но я видел, что здесь работали люди, которые отдавали своему делу душу. Сам я мало годился для такого занятия, но остальные были на своем месте — они быстро и квалифицированно выводили народ из глухой неграмотности. И если я назвал облоно сумбурным, то не для того, чтобы порочить его работников. Просто здесь, как и во всех других правительственных учреждениях (кроме, конечно, карательных) намерения драматически расходились с возможностями. Причем

расхождение это было гораздо значительней, чем в других сферах.

Проекты были благородные, цели возвышенные — никакая власть не осмеливалась окоротить их с самого начала. Правда, потом это делали вынужденно — ибо всякий раз собирались заглотить кусок шире горла. И приходилось десятикратно корректировать столько же раз утвержденные планы, лихорадочно перебрасывая средства из одной графы в другую, чтобы в очередной раз залатать Тришкин кафтан. Весь год, что я проработал в облоно, меня ошарашивали всяческие пересмотры, урезания, добавления, исправления (от потребных чернил и тетрадей — до числа учителей и учеников, ясель и интернатов для сирот).

Одно из этих латаний тряхнуло так больно, что в памяти навсегда остался рубец.

Председатель облоно Литинский и его заместитель Солтус встретили меня больше чем просто хорошо. Это было неожиданно: идейно ущербных уже начинали побаиваться. Может быть, сверху спустили прямое указание, а может быть, это была инициатива снизу — не знаю, но руководители явно прикидывали, не гожусь ли я на что-либо посерьезнее арифметических подсчетов. Литинский, человек средних лет, худой, словно немного развинченный, щеголял тонкими усиками (впоследствии их назовут гитлеровскими). Это был не то отличившийся педагог, не то выдвиженец гражданской войны, получивший повышение за храбрость (бывали и такие). Уже в первые недели моего пребывания в плановиках он вызвал меня для срочного разговора.

— Важное дело: урезают ассигнования на детские сады и интернаты, — объявил он, заметно волнуясь. Впрочем, он всегда (даже без особых причин) казался слегка взвинченным — он был не столько начальником, сколько горячим трудягой детского образования. — Через час начинается совещание в облисполкоме. Мне нужно там быть, но я не пойду: они заранее настроены против всего, что я скажу. Защищать детские сады и интернаты будете вы! Вы человек новый, может быть, вам удастся уговорить исполкомовцев не трогать ассигнования.

Я немедленно отправился на защиту интернатов и детских садов. В большой исполкомовской комнате было полно народу: педагоги, администраторы, хозяйственники. Совещание вел пожилой, болезненно худой и раздражительный человек. Рядом с ним сидел представитель финансового отдела — толстый, немногословный, старый. К нему часто обращались с вопросами и задавали их так вежливо, что я сразу понял: этот плохо одетый

старик — из тех дореволюционных специалистов, которые незаменимы даже в наше, не слишком привечающее их, время. Фамилию его я запомнил навсегда — Бромфенбреннер.

Председатель коротко информировал собрание о новых обстоятельствах. Положение на селе улучшилось, но число детей, оставшихся без родителей, не уменьшилось, а умножилось. Подростки сами бегут в города, младенцев выискивают и отправляют в ясли и детские сады — нужно увеличивать количество этих дошкольных учреждений. Необходимы новые детские дома и интернаты (предполагаемое их число уже утверждено). К весне они должны быть полностью укомплектованы и открыты — таковы строгие правительственные указания.

В Харькове ассигнований не нашли, все возложено на местные бюджеты. А там уже использованы последние резервы. С яслями и детскими садами положение трудное, но ясное: попросили родителей забрать своих детей домой, на освободившиеся места поместим прибывших. Хуже с интернатами: здесь все сироты, идти им некуда, а новые поступают постоянно, чуть ли не из каждого села. Если не найдем дополнительных денег, придется сокращать зарплату воспитателей и урезать питание, а новый контингент — сплошь дистрофики, кто опухший от голода, кто больной, их надо кормить и лечить, а не уменьшать и без того мизерные нормы. Первый вопрос — финансам: что выделит бюджет?

— Кое-что выделим, — осторожно ответил Бронфенбреннер.

— Что значит — кое-что? Учтите, наши требования — не выше полуголодной диеты.

— Одну треть запрошенного дадим. Больше — нет средств.

— Одна треть — тот же голод, от которого дети-сироты бежали из своих сел или были оттуда вывезены, — хмуро установил председатель. — Что скажут предприятия? Чем сможете помочь?

Представители предприятий продовольствия детям не предлагали: питание выделялось рабочим и служащим, а не заводам, запасов еды на складах не было. Но они не соглашались, чтобы заводских ребят забирали родители. Места в детсадах предоставлялись только тем семьям, которые по-настоящему нуждались, — их детям нельзя домой! Заводы выделят деньги на зарплату воспитателям и дополнительные пайки — лишь бы все оставалось по-прежнему. Положение в стране улучшается, а в детских учреждениях планируют явное ухудшение!

Я давно забыл цифры, которые тогда назывались, — но хорошо помню свое смятение. Конечно, это было не ново —

зияющая пропасть между пропагандистским благополучием и реальным горем. Разумеется, все знали о голоде, разразившемся год назад на юге страны. Я слышал о голодных смертях, на себе ощущал скудость пайков, загоняющих человека на грань дистрофии. Я видел еле державшихся на ногах принудчиков, которых выводили убирать урожай. Но все это были отдельные факты, их всегда можно было объявить единичными — их такими и объявляли. Естественно, это было страшно — но отдельные мазки еще не составляли общего пейзажа. А здесь была статистика, угрюмые цифры, цельная и беспощадная картина, которую утаивала официальная пропаганда.

На этом совещании не агитировали, не искажали, не приукрашивали — здесь пытались найти хоть какой-то выход. Горе называлось горем, а не великим переломом, социальной перестройкой, грандиозным движением вперед. И я — единственный! — не вполне понимая, что делаю, внес оглушительный диссонанс в это тяжелое деловое обсуждение. Я еще не избавился от веры, которая заменяла понимание и которую я всего несколько недель назад искренно внедрял в своих студентов, представляя (вполне катехизисно[137]) призрачное будущее реально бытующим.

Я еще оставался в мире иллюзий того материалистического идеализма, который назывался сталинизмом.

Председатель обратился ко мне и поинтересовался, как относится облоно к неизбежному ухудшению положения в интернатах и детских садах: зарплату педагогам временно сократить, нагрузку — временно увеличить? Я ответил вполне пропагандистской, идеологически безупречной речью, настолько же далекой от реальности, как благостное небо — от грешной земли. Я объявил, что облоно против ухудшения, ибо это противоречит великой партийной задаче всемерно совершенствовать народное воспитание и народное образование.

Я еще говорил, когда желчный председатель гневно схватил телефон и заорал в трубку:

— Мне Литинского! Литинский, ты? Я же просил, чтобы непременно прибыл ты сам — а ты кого послал? Нет, я спрашиваю: кого ты послал, как ты его инструктировал? Это мне надо разъяснять, что такое народное образование, мне, да? Я тебя спрашиваю, Литинский, меня надо агитировать за школы? Ты же знаешь наше положение! Не глупости нужно говорить, а тащить себя за уши из болота — иначе потонем! Так вот, сегодня к вечеру будь у меня сам, без агитаторов, — слышишь, Литинский? И пойдем с тобой в обком докладывать, что надумали.

Не помню, долго ли продолжалось обсуждение. Я сидел

подавленный. Меня корежил стыд. Наверное, я впервые так остро почувствовал, что абстрактно безукоризненные истины могут выглядеть полной чушью, прямым издевательством над тем, кто действительно занят делом.

Литинский с Солтусом вызвали меня к себе лишь на следующий день. Всегда серьезный Солтус сочувственно пожал мне руку, Литинский ослепительно улыбнулся.

— Не сердитесь, что подставили вас, — сказал он почти весело. — Так уж получилось: мне нельзя было идти, Солтусу тоже. С нас сразу потребовали бы деловых предложений, а надо было разъяснить: они собираются искажать решения партии и правительства насчет заботы о детях. Это мог сделать только человек новый…

— Как же все-таки будет с интернатами и садами? — спросил я. — Вы ведь вчера ходили в обком…

— Выкрутимся, — бодро пообещал Литинский. — Дано категорическое указание — выкручиваться. Столько раз бывало! Директивные организации ни разу не подводили. А вы не обижайтесь, что пришлось выслушать резкости.

Больше меня не посылали на ответственные совещания, где требовалось не только крутиться, но и выкручиваться…

Плановый отдел облоно занимал небольшую комнату на верхнем этаже. Работали здесь четыре человека: старший плановик Запорожченко, экономист Полевая, милая жена заведующего научной библиотекой Одессы, и ее соседка по столу — роскошная дама средних лет (помню, она густо красилась и, вечно опаздывая на работу, компенсировала это тем, что уходила раньше положенного). Четвертым в этой компании был, естественно, я, а самой заметной фигурой — наш начальник Запорожченко.

О таких говорят: дылда, верзила, полтора Ивана… Ростом и весом с весьма приличного медведя, он и сидел, и двигался как медведь: на стуле горбился, при ходьбе неуклюже переваливался. Если вызывали к начальству — почти бежал, на удивление быстро и по-своему, по-медвежьи, изящно. Дело свое, планирование народного образования, знал назубок — впрочем, как раз этим он и не отличался от любого заурядного, но старательного служащего. Все остальное в нем было, мягко говоря, необычно.

И первое, что поразило меня, было то, как он ел. Во время обеда он не подкреплялся, как мы, а пиршествовал. Точно в минуту, когда настенные — от карниза до пола — могучие часы возвещали о вожделенном перерыве, он освобождал свой стол от бумаг, застилал его (во всю ширину) отслужившей свой краткий срок газетой, ставил на нее две бутылки пива, клал два-три

крутых яйца, солидный шмат колбасы (или несколько селедок, которых иногда заменяла копченая вобла или тарань) и нарезал весь дневной паек хлеба (эту половинку буханки он ласково — по-солдатски и по-тюремному — именовал «горбушей»). Обжорное это великолепие увенчивалось тремя кусками пайкового, как и хлеб, сахара. Они ставились в середине стола один на другой — маленькая, белая, искрящаяся башенка. А затем начиналось неторопливое истребление.

Я сказал, что мы обычно только подкреплялись. Запорожченко не подкреплялся, не питался, не ел, не кушал, даже не вкушал, а совершал какое-то языческое колдовское камлание, почти жертвоприношение. И начинался этот обряд с того, что он досуха высасывал одну из двух бутылок пива, а потом принимался за хлеб с селедкой, или тараньку, или колбасу и яйца (причем все поглощалось по отдельности — упаси бог, не бутербродами!). Неторопливо — с некоей истовостью — расправившись с едой, Запорожченко закусывал сахаром. Он брал его по кусочку, звучно раздавливал крепкими зубами, медленно мусолил во рту — и, когда сахар таял, по капле, смакуя, проглатывал. А после того как последний кусочек исчезал, расплющенный и высосанный, Запорожченко брал вторую бутылку пива, долго ее тряс и так же неторопливо, с блаженной истовостью, опустошал. Пивом он начинал обед, пивом его заканчивал.

Однажды, пораженный количеством поглощенной им еды, я робко поинтересовался:

— Как вы теперь будете ужинать? Ведь до вечера не переварится.

— А я не ужинаю, — ответил он равнодушно.

— Ну, если дотерпеть до завтрака…

— И завтрака не будет. Я только обедаю — один раз в сутки. Не хочу терять времени на ненужные операции.

— И не чувствуете…

— Ничего не чувствую, — прервал он меня. — С меня хватает обеда. С голоду еще ни разу не умирал.

Вероятно, не я один удивлялся этой одноразовой суточной диете — ему явно надоели подобные вопросы. Еда в те скудные пайковые времена была важнейшим делом. Но только Запорожченко превратил это дело в ритуальное действо. Это, конечно, украшало его существование.

Но это была отнюдь не единственная странность нашего начальника. Вся его жизнь была необычной. Религиозная семья предначертала своему отпрыску дорогу в священники. Весной семнадцатого он успешно закончил одесскую семинарию и

готовился к рукоположению. Муторная зубрежка закончилась — на радостях семинаристы крепко набрались, и пьяный Запорожченко забрел на Куликовое поле, расположенное около вокзала, — в те годы обширный, в несколько гектаров, травянистый пустырь, шляться по которому в темноте не рекомендовалось даже силачам. А искусственного света здесь, естественно, не было (даже жилые улицы привокзалья еще не завели наружных светильников).

Была уже ночь, когда к милиционеру, прохаживавшемуся на светлом пятачке неподалеку от вокзала, приковылял вынырнувший из пустынной тьмы пьяный, горько рыдающий верзила и потребовал срочной помощи. Одной рукой он поддерживал спадающие брюки, другой волочил что-то темное.

— Скотина ты, я же звал на помощь, а ты не пришел, — плакал парень. — Я же беспомощный, у меня же штаны спущены, а они на меня вдвоем!..

— Да что случилось? Объясни толком, не рыдай.

Выяснилось, что на пустыре пьяный семинарист почувствовал острую потребность совершить то, чего, по категорическому утверждению автора «Дон Кихота», даже за короля никто сделать не может. Он спустил брюки, присел у кустика — и в это мгновение на него налетели двое грабителей. Запорожченко, стреноженный собственными штанами, заорал — никто не откликнулся. Пришлось отбиваться самому.

— Да где эти налетчики? Куда побежали? Я мигом!..

— Да никуда не побежали, — продолжал негодующе рыдать детина. — Один там в темноте лежит, а другого я притащил. У меня же штаны спадают — только одна рука свободна!

Запорожченко кинул к милицейским ногам потерявшего сознание грабителя и стал — уже обеими руками — застегивать брюки.

Дальнейшие его похождения тоже не были заурядными. О карьере служителя культа после революции и думать не стоило. К тому же с началом гражданской Запорожченко почувствовал, что военная служба в Красной армии ему гораздо ближе служения в церкви, а рваная буденовка приятней нарядной камилавки[138] — и сподобился многих подвигов на новом поприще. После войны, наскоро переучившись в экономиста, он определился развивать народное просвещение — и вершил новую службу со старанием. Похоже, он видел в ней не так дело, как деяние.

На юге без шуток не живут — даже когда решительно не до шуток. Запорожченко тоже шутил — правда, острота у него была всего одна, зато на каждый день и на все разговоры.

— Что-то я не понимаю, помогите, пожалуйста, — начинал он

шутить и указывал на какое-нибудь затруднение. Я помогал — и Запорожченко радостно возглашал:

— Нет, как права все-таки народная пословица: ум хорошо, а полтора лучше.

Я немедленно откликался:

— Значит, вы меня считаете полоумным?

И мы радостно хохотали. Он наслаждался своим удивительным остроумием, я искренне веселился, видя его нескрываемое наслаждение.

В столовую я чаще всего ходил с молодым — моих лет — заведующим нашим хозяйственным отделом Брауном — не то Николаем, не то Михаилом, но, возможно, и Алексеем (уже не помню). Он отвечал за снабжение всех школ области тетрадями, карандашами, перьями, даже партами и шкафами — и единолично царил в просторном, забитом канцелярскими сокровищами складе. К складу каждый день подъезжали просители: кто побогаче — на машинах, кто победнее — на телегах. Браун сам оформлял документы и сам тащил на спине отпущенный школьный товар. Он говорил: «Я — человек двуличный. С одной стороны, важный бюрократ, самовластно разрешающий областному образованию роскошествовать либо лишающий его всех материальных благ, а с другой — безотказный грузчик, переносящий на своем горбу ношу для десятка подвод или газиков в сутки».

Я подходил к складу Брауна спустя минуту после начала обеденного перерыва и деловито осведомлялся:

— Пойдем или нет?

Браун проворно навешивал на склад пудовый замок и весело откликался:

— «Или нет» категорически отклоняется. И не пойдем, а побежим. Обед по талонам даруется только раз в сутки, пренебрегать этим преступно.

Впрочем, мы не бежали — только быстро шли. И не было случая, чтобы опоздали.

Я мог бы не упоминать Брауна, говоря об одесском облоно: ни он, ни я переворотов в народном образовании не совершили, друзьями не стали — о чем рассказывать, собственно? И если бы ровно через пятнадцать лет не случилось у нас с ним одной знаменательной встречи, я, наверное, и не вспомнил бы, что был у меня такой знакомый — веселый парень Браун, не то Николай, не то Михаил, а возможно, и вовсе Алексей.

С. Снегов, 1946 г.

С. Снегов, 1946 г.

В 1948 году, после многолетних скитаний по тюрьмам и зонам, я, временно освобожденный, прибыл в Одессу — повидать маму и побродить по городу. Еще в доарестные времена я привык везде, куда ни забрасывала судьба, прежде всего ходить в художественные галереи, потом — в театры и на футбольные матчи. Я с детства знал каждую комнатку, каждый уголок всех одесских музеев — западной живописи (на Пушкинской), русской (на улице Короленко, в бывшем дворце Нарышкиных), новой (на

Сабанеевой мосту, во дворце графа Толстого) и археологическом (на Приморском бульваре).

Естественно, в первые же дни пребывания в Одессе я поинтересовался, как сказалась на них война. Война сказалась не так зло, как решения местных партийных руководителей. Музей западной живописи и археологический сохранились на прежних местах, а старых и новых русских художников объединили.

Я поехал в этот объединенный музей на улицу Короленко, бывшую Софиевскую, во дворец Нарышкиных (но, возможно, и Потоцкого — некоторые справочники называют именно эту фамилию). Война пощадила роскошное здание на высоком берегу над одной из гаваней порта. И картины в нем тоже были знакомы с детства — самое большое на Украине собрание русских и украинских художников.

Неожиданно я увидел портрет Сталина кисти И. Бродского[139] (вообще-то художник специализировался на Ленине, но в середине двадцатых годов сотворил красочный облик и нового вождя, неотвратимо становящегося единственным — из живых, понятно). Эту знаменитую картину сразу же приобрела Третьяковка, о ней много писали (естественно, только хвалили) — как ее занесло из прежнего престижного обиталища хоть и в богатый, но все же провинциальный музей? Я долго всматривался в портрет. Облаченный в партийный френчик, Сталин стоял, опираясь рукой на стол, и хмуро, с недоброй настороженностью смотрел на меня — отнюдь не парадный облик вождя и маршала, созданный недавно прославленным иконописцем Налбандяном[140] и украшающий ту же Третьяковку! Я не мог оторваться от картины Бродского, я понимал значимость того, что видел: мастер не только изобразил человека, каким он был в тогдашней реальности, но и предсказал, каким он станет в будущем.

Но самых моих любимых художников, мастеров «Мира искусства» (их картины были основой сабанеевского музея), в музее нынешнем, громко названном Одесской государственной картинной галереей, я не нашел. Меня стали мучить мрачные догадки: вероятно, во время войны в здание на Сабанеевой мосту попала бомба — и шедевры русских импрессионистов погибли под развалинами.

Я обратился к смотрительнице одного из залов (в каждом ходило по одной такой надзирательнице):

— Когда-то Одесса владела лучшим в стране собранием полотен русских художников начала века. Неужели ни одной картины не удалось сохранить?

Похоже, ее разгневало это оскорбительное подозрение.

— Что вы такое выдумываете? Ни одной картины не погибло. Еще и румыны не подошли к Одессе, а у нас уже все было упаковано и готово к эвакуации.

— В том числе и мастера «Мира искусства»?

— Конечно! Разве мы оставили бы их на разграбление румынским мамалыжникам? Ни одной картины не пропало, ни одна не погибла. Я сама их паковала — несколько суток домой не уходила. Головой отвечала за сохранность каждой вещи! Я недоуменно оглядел полупустые стены.

— Тогда где же они?

Смотрительница некоторое время боролась с собой: служебное рвение требовало сохранить важный государственный секрет, южная общительность призывала поделиться мрачной тайной.

— Укрыты! — выпалила она.

— Укрыты? Где? От кого? Таиться дальше не имело смысла.

— Ну, где? Где надо, туда и поставили. Весь наш запасник завален картинами. Запрещено показывать народу идейно вредные произведения.

— Идейно вредные?.. А где ваш запасник?

— На чердаке.

— Можно мне пройти на чердак? Хоть одним глазом глянуть…

— Нельзя. Только директор музея может позволить. Но он не разрешит, он очень строгий.

— Я все-таки пройду к нему.

Я постучал в директорский кабинет, услышал громкое: «Войдите!» — и сразу узнал поднявшегося мне навстречу Брауна. Правда, теперь это был не прежний рослый юноша-весельчак, а крепкий мужик с коллекцией боевых наград на кителе. Впрочем, мне показалось, что он не изменился — только повзрослел. Вероятно, и я, уже подходивший к сорокалетию, сохранился неплохо, потому что Браун, увидев меня, сразу воскликнул:

— Тю, Сергей! Вот не ожидал!

Мы обнялись, расцеловались и стали перебрасываться обязательными вопросами: откуда, как, когда, для чего? Я узнал, что Браун благополучно прошагал всю войну (однако ранений не избежал), после демобилизации на старое хлопотное местечко в народном образовании не вернулся — друзья подыскали уголок позатишней: опекать музейные сокровища. Я поведал ему о своих трудах и днях — он посочувствовал моим бедствиям и порадовался, что они мало на мне отразились: картавлю, правда, по-прежнему, но морщин не завел, даже зубы на своих цинготных северах не потерял. Он, Браун, о себе такого сказать не может —

и морщины есть, и зубы не все: окопная житуха была не слаще моей тюремно-лагерной, даже, наверное, похуже.

— Я ведь почему к тебе? — сказал я, когда мы покончили с приятельской обязаловкой. — Хочу посмотреть на художников, которых ты таишь в своем чердачном запаснике.

Он поморщился.

— Зачем? Ничего интересного — всякие импрессионисты, декаденты, упадочники…

— Многих из них я люблю с детства. Взглянуть бы на старые увлечения…

— У тебя всегда было неважно со вкусом, — назидательно установил Браун. — Помню, как тебя крыли за всякую личную отсебятину и идейные погрешности.

— Было, было… Но сейчас прошу как друга.

Браун вызвал смотрительницу и велел провести меня по запаснику.

Мы поднялись на чердак. Я восхищался и негодовал. На дощатом полу, вплотную, рамами одна к другой (как книги на полке — переплетом к переплету), стояли полотна знаменитых художников начала века. Я разворачивал и наклонял картины, чтобы лучше видеть, осторожно извлекал их из кучи… Здесь было все, чему я так радовался в юности, чуть ли не каждую неделю посещая удивительное сабанеевское собрание. Я снова увидел и величественную «Валькирию» Врубеля, и «Дон Жуана» Репина, и «Осенний пруд» Левитана, и «Небесное видение» Рериха, и его же «Кудесников», и «Болотные огни» Серова, и весь «Мир искусства» — Бенуа, Добужинского, Вакета, Лансере, Остроумова, Головина, Коровина, Борисова-Мусатова, бесценные, изящные миниатюрки Сомова. Впрочем, Сомов был не весь, многое из его одесского дореволюционного собрания было продано в первую пятилетку. И над всей этой сокровищницей нависала голая, даже дощатым потолком не прикрытая, жестяная крыша, зимой — заваленная снегом и насквозь промерзшая, в свирепые июльские солнцепеки — раскаленная до ожогов…

Впоследствии я, уже писатель, два раза был в запасниках Третьяковки, где в прежней церковке хранилось то, чему не хватило места в официальной экспозиции и что не разрешалось показывать посетителям — дабы охранить их, посетительскую, идейную незамутненность. Там все же господствовал некий порядок. Картины были размещены в специальных деревянных козлах, чтобы одна не терлась о другую, всюду висели термометры и психрометры — температура и влажность воздуха контролировались…

— Ты — преступник! — гневно бросил я Брауну, вернувшись

в кабинет. — Ты сознательно губишь народное достояние!

Браун, видимо, неплохо помнил мой характер: он знал, что я непременно нападу на него, и надежно подготовился к защите. Он хладнокровно парировал:

— Не преступник, а отличник музейной деятельности! Надежный исполнитель письменных указаний нашего министра культуры Николая Александровича Михайлова. И не гублю народное достояние, а охраняю наш высокоидейный, наш глубокосознательный народ от вражеских извращений, от тлетворного дурмана поклонников буржуазного искусства для искусства, препятствующего нам в нашем героическом… На, почитай сам, если сомневаешься!

Единым духом выпалив эту тираду, Браун швырнул мне загодя приготовленные оправдания — директивные указания министерства культуры музеям страны, как надлежит хранить художественные экспонаты. Преступный документ! Браун действительно был безгрешен. Он точно выполнял предписания своего московского начальства — не допускал, чтобы идейно порочные и идейно ущербные художественные произведения разъедали здоровый дух нашего героического народа.

— Вот такие пироги, браток, — прервал Браун затянувшееся молчание. — На меня ничего валить не надо. Все мы выполняем волю пославшего нас — так, кажется, сказано в Евангелии. Между прочим, вредная, но умная книга: я как-то заметил, что и сам товарищ Сталин не пренебрегает цитатами из нее. Он ведь в детстве хорошо изучил религию…

— Ну, прямой запрет экспозиции — но ведь не порча картин! — собрался я с духом. — Они же гибнут на чердаке, пойми! На международных аукционах за каждую из них дадут больше золота, чем она весит (вместе с рамой!). Ты же военный, ты прошел половину страны — ты лучше меня знаешь, какой разор, какую нищету принесла эта проклятая война. Да если просто продать за границу эти гибнущие шедевры — сколько детей можно накормить, сколько домов построить, сколько заводов восстановить! Или ты заботишься о том, чтобы и капиталисты не подверглись тлетворному влиянию всяких наших упадочников, импрессионистов и декадентов?..

— Ша! — прервал он меня. — Ша, говорю тебе. Слушай теперь сюда. Имею важное деловое предложение. Напиши на меня донос.

— Донос? Какой донос? — растерялся я.

— Принципиальный, идейно выдержанный. Научно обоснованный.

— Не вижу повода для шуток! — разозлился я. Я решительно

не понимал, к чему он клонит.

— Никаких шуток! Какие могут быть шутки в таких серьезных делах, как принципиальное доносительство?

Изложи письменно все, что ты сейчас наговорил, и адресуй моему начальнику — министру культуры Михайлову Эн. А.

— Но ведь это не разоблачение, а всего лишь горестная констатация…

— Будет и разоблачение — сразу после твоей горестной констатации. Без хорошо состряпанного доноса на определенную личность бумага не имеет делового вида. Общие рассуждения никого не захватывают.

— И ты хочешь, чтобы я донес на определенную личность — и этой личностью должен стать ты?

— Именно! Вижу: лагерные мытарства таки не полностью отшибли у тебя природную сообразительность. Правда, соображаешь ты не быстро.

— Воля твоя…

— Правильно — моя! И не только воля, но и реальное выполнение. Поклеп на меня я тебе продиктую, поручить тебе это важное дело не могу. Ты увлечешься и такое накатаешь! Настоящий донос должен идти на пользу и нашему общему делу, и — особо — доносчику. Ergo,[141] донос на меня должен послужить и галерее, и лично мне. Бери бумагу и выводи: «Уважаемый Николай Александрович! Приехав по делам в Одессу…»

И Браун продиктовал мне письмо в министерство культуры, в котором было и реальное положение дел, и обвинение директора галереи в недостаточной заботе о физической сохранности картин художников начала века. «Этот типичный исполнительный чиновник, этот бюрократ, буквально претворяющий в жизнь любые правительственные предписания, — увлеченно доносил на себя Браун, — решительно отказывает деятелям "Мира искусства" в экспозиции и ссылается при этом на министерские директивы номера и даты такие-то… — он педантично перечислил соответствующе цифры. — А на замечание, что чердачное помещение абсолютно не приспособлено для запасника и дорогие картины в нем неизбежно портятся, с той же бюрократической обстоятельностью возразил, что три раза обращался с настоятельной просьбой выделить деньги для надлежащего оборудования и три раза получал решительный отказ из-за отсутствия свободных средств, номера и даты отказов такие-то…»

— Теперь отчетливо надпиши конверт и укажи свой обратный адрес, — приказал Браун, удовлетворенно перечитав надиктованную бумагу. — Почерк у тебя по-прежнему далек от

каллиграфии, но это мы переживем. Теперь вложи донос в конверт и заклей его. Собственным языком!

— Я сдам письмо заказным по дороге домой, — сказал я, собственноязычно заклеивая конверт.

— «По дороге домой» — категорически отменяется. Доверить тебе такие важные документы, как донос на меня, решительно не могу. Отправлю его сам. Даже услугами секретаря не воспользуюсь.

И Браун хладнокровно положил конверт в бумажник.

— Скажи, — вспомнил я, — а почему в твоей экспозиции оказался портрет Сталина кисти Исаака Бродского? Такая знаменитая картина…

Он лукаво подмигнул.

— Времена со временем меняются — слышал о таком изречении? То, что когда-то считалось восхвалением, сегодня расценивается как умаление, а то и прямой поклеп. Не уверен, что завтра не прикажут снять это прославленное творение с экспозиции и притулить его куда-нибудь в заказник — в самую паутинную темень.

Больше мы с Брауном не встречались. Вернувшись в Норильск, я получил письмо из министерства культуры. На бланке были напечатаны два слова: «Ваше предложение», а ниже — лиловыми чернилами — от руки добавлено: «учтено». Внизу виднелась такая же лиловая подпись — но не Михайлова, а кого-то из его заместителей.

В 1955 году, после реабилитации, я снова пришел в Одесскую картинную галерею. Браун в ней уже не директорствовал. И портрета Сталина работы Бродского не было в экспозиции. Зато несколько залов занимали картины художников «Мира искусства» и их современников — те сокровища, которые еще недавно погибали на продуваемом всеми ветрами и раскаляемом солнцем чердаке.

Не думаю, что донос директора галереи на самого себя, написанный моей рукой, сыграл заметную роль в их воскрешении. Причина была в смерти Сталина — самые омерзительные из его идеологических запретов понемногу умирали вслед за своим автором.

Но меня тешила мысль, что и я приложил к этому свою слабую руку.

16

Отсутствие лекций резко сократило мои финансовые поступления. Одной теперешней зарплаты могло хватить лишь на скудное существование — и то в условиях стабильного быта. А этого — житейской стабильности, еще недавно как-то сохранявшейся стационарности — и не было. В Ленинграде Фира с ребенком металась в поисках работы и квартиры, поиски требовали денег, а у меня не было никакого дополнительного заработка.

Вскоре моя жена примчалась в Одессу. Я удостоился еще не испробованного блаженства: носить на руках крошечного человечка — кровь от крови и плоть от плоти моей. Фира смеялась.

— Ты удивительно смешно держишь Наташку! Словно это не крепкий человечек, а хрустальная ваза, наполненная драгоценной жидкостью. Даже покачать ее боишься. Да потискай ее покрепче, ей понравится. — И тут же испуганно кричала: — Не так сильно! Не так сильно! Перестань! Она же ребенок, а не кукла. Ух, какой ты мужлан, Сережа, — чуть не раздавил свою дочку!

Фира порадовала меня двумя новостями. Впрочем, первая была радостна весьма относительно: Борис нашел две квартиры, каждая годилась для коммунального обитания вчетвером. Он предложил Фире выбрать — она еще не решила, на какой остановиться. Вторая радовала абсолютно: молока у жены хватало. Она так боялась, что оно пропадет, теперь это чуть ли не мода: на втором, на третьем месяце вынужденно прекращать кормление. В наше время нет ничего ужасней, чем переходить на искусственное вскармливание, а на кормилицу нет денег. Что ты ухмыляешься, Сережа?

— Радуюсь, что оправдываются законы природы.

— Какие?

— Те самые, о которых я тебе говорил перед родами. Ты и тогда тревожилась, что молока не хватит, а я утверждал, что, согласно самым категорическим из законов, его у тебя будет с избытком. Разве не так?

— О каких законах ты говоришь?

— О самых распространенных — животноводческих. Каждый крестьянин знает: худые коровы — самые молочные. От рогатых толстух обильного удоя не ждать. А чем женщины хуже коров? У тебя всегда была идеальная фигура. И я всегда ждал от тебя молока — как естественного следствия твоей телесной гармонии, как необходимого выражения совершенства твоей божественной

женственности.

В Фире боролись два чувства: удовольствие от очередного признания ее физической идеальности (тем более желанного, что после родов она стала уже не такой идеальной), и злость, что ее божественность описана в животноводческих терминах. Она, вероятно, предпочла бы, чтобы я заявил: «В тебе мало от уверенной полноты Венеры Медицийской, ты живая копия Афродиты Книдской, ну, на худой конец, Артемиды-охотницы» — именно так я выражался еще недавно. Победила злость. Фира презрительно сказала:

— Всегда удивлялась, как совмещаются в тебе серьезность, тонкое художественное чутье — и лексика одесского босяка и хулигана. Все же согласись: божественность мало вяжется с животной добротностью. Поговорим о более насущных вещах, чем проблемы молочного производства у прекрасных женщин и тощих коров.

— Слушаюсь. Итак, самые насущные вещи.

— Первая. Окончательно ясно: тебе нечего больше делать в Одессе. Здесь дорогу тебе закрыли. Надо переезжать в Ленинград. Тем более что я могу найти себя только там. Все трудности переезда беру на себя. Ты мало способен на хозяйственные операции. Не возражаешь?

— Возражаю. Не мало способен, а полностью бездарен. Передаю вожжи управления в твои руки. Тебе хорошо известно, что я всегда мечтал о Ленинграде. Слушаю о второй вещи.

— Вторая — деньги. Переезд без средств, немалых и свободных, причем в руках, а не в перспективе, немыслим. Надеюсь, ты это понимаешь?

— Очень хорошо понимаю. Как и то, что ты денег пока не зарабатываешь, а у меня их стало меньше, чем было. Не уверен, что хватит даже на скудное существование.

— Надо искать срочный выход.

— Надо. Вполне по Ленину — еще месяц назад мне частенько приходилось его цитировать — «Грядущая катастрофа и как с ней бороться?»

— Я говорю серьезно, Сергей.

— Я тоже серьезен, Фирусенька. Просто, в отличие от Ленина, не вижу никакого быстрого выхода из безвыходного положения. Только один, но медленный — ждать, пока мне простят мои несовершенные прегрешения.

— Ты все-таки удивительно несерьезный человек, Сергей.

— Уже слышал.

— Неплохо еще раз услышать. Я уже в Ленинграде знала, что ты ничего толкового не придумаешь — просто засядешь за книги,

и все!

— Каждый может только то, что он может. Предложишь что-нибудь необычное?

— Ты не ошибся — предложу. Но совершенно обычное. То самое, что уже однажды нам помогло, — помнишь, когда мама переезжала в Ленинград?

— Тогда ты обменяла квартиру на Троицкой на нашу теперешнюю.

— Тогда мы продали старую квартиру и получили новую — причем с хорошей доплатой.

— Уж не собираешься ли ты проделывать рискованные операции с нашим жильем?

— Именно! Но не рискованные — только трудные и, кстати, вполне законные. Квартира в самом престижном районе, на лучшей улице города, независимо от ее размеров и состояния, — такая огромная ценность, что вполне может нас выручить. Она нам не нужна, если мы решили уезжать из Одессы.

И Фира изложила свой план, обдуманный задолго до родов. Это был запутанный, многоступенчатый обмен квартирами — до операции такой сложности я ни при каких условиях не поднялся бы.

Она впервые задумалась об этом, когда прочитала объявление, наклеенное на уличном столбе: инженер из Николаева, которого переводили в Одессу на постоянную работу, предлагал обменять тамошнюю квартиру на жилье здесь. Он часто ездил к нам в командировки — и указал адрес своих одесских знакомых. Когда я уехал в «Красный Перекоп», Фира, давно задумавшая переезд в Ленинград, зашла к ним. Там оказался и сам инженер. У него была большая семья, свою николаевскую квартиру он называл роскошной. У него уже появился вариант обмена, при котором вместо многокомнатных хором он получал какую-то одесскую лачугу — правда, с большой доплатой. Все деньги инженер собирался отдать тому, кто поможет ему по-настоящему устроиться в Одессе.

— А зачем нам квартира в Николаеве? — удивился я. — Мы ведь собираемся переехать в Ленинград.

— Твоя мама говорит, что ты был очень наивным ребенком! — засмеялась Фира. — И, по-моему, в этом смысле ты так и не повзрослел. Тебе не придется переезжать в Николаев — ты временно поселишься с мамой, пока я буду хлопотать в Ленинграде. Когда ты был в совхозе, я на всякий случай обсудила этот вариант с Зинаидой Сергеевной.

И Фира рассказала мне все подробности. Я сразу запутался в деталях непрерывных перемещений бывших и будущих жильцов

(и, естественно, очень скоро их забыл). Но в результате мама с отчимом должны были поменять свою двухкомнатную квартиру на трехкомнатную в том же доме, мы с Фирой переезжали к ним и занимали две комнаты, родителям оставалась одна (они соглашались потесниться), инженеру из Николаева каким-то законным способом доставалось наше жилье на Пушкинской, а доплат за все обмены должно было хватить и на мамин переезд, и на первоначальное устройство в Ленинграде.

— Как видишь, все очень просто, — победно закончила Фира.

Все эти простые для нее многоходовки были явно выше моего понимания — но зато они полностью отвечала Фириному характеру. В далеком «впоследствии» она, сначала актриса, затем — известная журналистка «Литературной газеты» Эсфирь Малых, энергично бралась за сложнейшие житейские ситуации — и мастерски в них разбиралась. Она словно взрывалась пониманием и наполнялась неведомо откуда взявшейся мощью, которая помогала ей все преодолеть. Особенно если нужно было выручить кого-нибудь из беды… Наверное, эту взрывную энергию помощи следовало изобразить попроще, но у меня нет слов более точных, чем эти.

Теперь — о моих отношениях с мамой.

Я уже рассказывал о нашей ссоре, после которой я ушел из дома и несколько месяцев не показывался там, ночуя то на чердаке у своей жены, то (тайком) у нее в комнате и питаясь на 15 копеек в день. Фира радостно взвалила на себя обязанности домашней хозяйки: по вечерам она стирала мою рубашку и трусы, чтобы утром я мог одеться в чистое.

Осень внесла коррективы в этот почти устоявшийся быт. Выстиранное вечером белье перестало высыхать к утру, а холода потребовали более плотной пищи, чем три стакана кефира в сутки. К тому же возобновились занятия в университете. И сменное белье, и учебники, и даже мои кровные пять рублей, полученные за уроки и демонстративно оставленные на месте (теперь они могли стать неплохим подспорьем к кефирно-хлебному существованию), — все это было дома.

Нужно было идти к маме.

Я не сразу решился подвергнуть свой гонор такому серьезному испытанию. Я выбрал хмурый денек и предстал перед киоском на углу Колонтаевской и Средней. Мама, увидев меня, побледнела, у нее перехватило дыхание. Но у нас были похожие характеры: она и не собиралась демонстрировать мне ни волнения, ни радости — она справилась. Только сказала свою любимую фразу (она всегда так говорила, когда ее что-нибудь ошарашивало):

— Явление в коробочке для самых маленьких!

— Здравствуй, мама, — сказал я, тоже стараясь не волноваться. — Я по делу.

— Знаю, что без дела не ходишь. Что понадобилось?

— Хочу взять белье.

— Ключи на месте. Все твои вещи собраны.

Больше я ей ничего не сказал — просто повернулся и пошел домой. Ключ был в углублении, в свое время продолбанном в самом низу кирпичной стены. Мое выглаженное белье было стопочкой сложено на видном месте. Я достал из шкафчика заветную пятерку и положил ее в карман — несколько дней буду добавлять к стакану кефира с куском хлеба еще и горячую сосиску, а иногда — настоящее пирожное (это грядущее роскошество я просчитал заранее).

Книги, как и прежде, громоздились на полочках старой этажерки и на двух подоконниках большой комнаты (я валил их туда, когда не находил свободного места). Моя детская кроватка, удлиненная, когда я повзрослел, большой табуреткой, была чисто убрана, простыни и наволочки сменены. Единственным, что изменилось, был передний угол: в нем опять появились иконы, еще недавно аккуратно сложенные на полу платяного шкафа. Я вгляделся в них как в старых знакомых — и удивился, что эти добрые лики вызывали во мне когда-то такую непонятную (иными словами — принципиальную) вражду. Я вдруг почувствовал, что я, атеист, вовсе не фанатик атеизма — деизм, проникший в меня с пантеизмом моего любимого Бенедикта Спинозы, уже потихоньку давал себя знать. Я даже засмеялся от удивления. А перед книгами я стоял долго. Я снимал их с этажерки, просматривал, возвращал на полки. Это были мои друзья — все эти месяцы я остро чувствовал их отсутствие. Я стал отбирать самое необходимое — учебники по высшей математике, физике, химии, несколько философских трактатов… Получилась порядочная кипа, ее, связанную, нужно было тащить на спине — она была тяжела даже для обеих рук. А рядом стояли другие книги, сегодня они были не так необходимы, но жить без них было немыслимо — и они тоже не должны были существовать без меня. Морозовское собрание Пушкина, весь Лермонтов в одном томе, такой же полный однотомник Гоголя, Шекспир и Шиллер в роскошных брокгаузовских переплетах, марксовские издания Ибсена и Кнута Гамсуна, Достоевского и Уайльда, многотомные творения Сенкевича и Шоу — и многие, многие другие, мои учителя и братья, и прежде всего, главней всего — суть моей собственной души. Добрый десяток лет мне дарили их на дни рождения, я их выискивал, добывал, покупал — это был я сам, я

не мог уйти от них и не мог взять их с собой — вдохновенный груз свободно хранился в моем сознании, но был непосилен для спины. Я только перебирал их, гладил переплеты, просто сжимал в руках, как что-то живое и бесконечно близкое. Внезапно стукнула дверь и голос отчима воскликнул:

— Сережа, наконец!

Осип Соломонович шел ко мне — и радостно протягивал руки. Мама не признавала нежности и сентиментальности, считала их мещанским слюнтяйством — и я в этих вопросах был пуритански, по-мальчишески суров. Но я тоже протянул руки и шагнул к нему — и он обнял меня и заплакал.

— Осип Соломонович, что с вами? — спросил я, порядком сконфуженный.

— Ничего, ничего! — торопливо сказал он, вытирая глаза. — Это, знаешь, от усталости, я так бежал…

— Бежали? Зачем?

— Я подошел к киоску, мама сказала, что ты пришел за бельем и сразу уйдешь. Я очень торопился, чтобы застать тебя. А я, знаешь, уже не юноша, да и вообще рекордов в беге никогда не ставил. Больше не будем обо мне. Расскажи о себе. Как ты живешь? Что у тебя нового?

— Нового нет ничего — просто существую, — сказал я с улыбкой. — И существую очень неплохо.

— Неплохо, да! Ушел, не взяв ни копейки. Мама боялась, что ты умрешь с голоду, но из гордости никогда не признаешься, что голодаешь. И ты не сказал, где тебя искать. Я пошел в канцелярию университета, но там мне дали наш адрес, нового ты им не сообщил.

— Новый у меня пока тайный, только Фира знает, где я живу.

— Твою жену, значит, зовут Фирой? — спросил он осторожно.

— Фирой, разве я вам не говорил? Вы хотели встретиться со мной в университете?

— Мама запретила мне искать встречи. Ты ее знаешь, она бы не простила, если бы я нарушил запрет. Я только узнал, что ты аккуратно посещаешь лекции, весел и здоров, и передал это маме. Она сказала: «Вот и хорошо, и нам не надо его знать, если он нас знать не хочет!» У твоей мамы такая гордыня! А ночью она не раз втихомолку плакала — я слышал. Я очень рад, Сережа, что ты пришел. Я очень боялся, что мама заболеет от горя. Да и мне без тебя было…

Он замолчал, сдерживаясь, чтобы опять не заплакать. Я переменил тему:

— Я заберу сейчас свое белье, Осип Соломонович. И все нужные книги. Дайте веревку, чтобы перевязать пачку.

Он ужаснулся:

— Ты с ума сошел, Сережа! Такой груз! Ты надорвешься. Я просто не могу тебе разрешить взять сразу все.

— Но мне нужны все эти книги.

— Ты же не будешь читать их одновременно, скопом. Возьми половину, завтра заберешь вторую.

— Я не смогу прийти завтра. Я начал ходить в астрономическую обсерваторию — там по вечерам много работы. Впрочем, и днем ее тоже хватает.

— Придешь послезавтра, придешь через три дня. Книги твои никуда не денутся. Мама часто вытирает их, чтобы не пылились.

Я смотрел на книжную пачку — и сомневался. Конечно, я был сильным, но эта ноша, пожалуй, действительно была не по силам: от дома до Фиры нужно было пройти полгорода. Отчим снова заговорил очень осторожно:

— Между прочим, Сережа… Тебе не кажется, что тебе надо бы прийти сюда вместе с Фирой? Все-таки теперь родственники…

— Мама так тогда ее оскорбила, что я боюсь их знакомить.

— Ты все-таки плохо думаешь о маме, Сережа. Она же не знала, что Фира твоя жена. Думала, какая-то шалая девчонка…

— Узнала, когда я показал вам загсовское свидетельство. Могла заговорить и по-хорошему.

— Заговоришь с тобой в такую минуту! Посмотрел бы на себя в зеркало, когда сердишься… Ты был в ярости, в жуткой ярости! Никогда не видел тебя таким.

— Она могла хоть что-нибудь сказать. Нет, враждебно молчала.

— Не враждебно, Сережа. Ошеломленно! Ты нас как по голове ударил. У меня даже в горле перехватило, у мамы тоже. Очень прошу тебя — приходи с Фирой. Она поможет тебе и книги забрать, какие захочешь. А мама встретит ее хорошо, слово даю.

— Нет, — ответил я, немного подумав. — Мама, возможно, и постарается загладить свою вину. Но моя жена не из тех, кто забывает незаслуженные оскорбления. Уж я-то ее знаю! Даже если очень попрошу, не согласится.

— Ты все-таки попроси, — сказал отчим. — Мне кажется, главное все-таки не в ней, а в тебе. Ты бываешь иногда таким суровым…

— Это у меня от мамы. Никогда не допущу, чтобы порочили дорогого мне человека!

— А разве мы не дорогие тебе люди? — как-то философски произнес Осип Соломонович. — Мама по крови, а я… ну, по душе… Столько намучились с тобой во время гражданской и голода! Ты так болел — испанка, возвратный тиф, дистрофия,

отравления. Сознание терял… Сколько раз мама хваталась за голову и кусала руки, чтобы не зарыдать. Я видел! Все ее дети погибли — и ты уже погибал. Так это было, Сережа.

— Хорошо, я поговорю с Фирой и скажу вам, как она решит, — сдался я. — Но я уверен в ее отказе, честно предупреждаю.

Разговор с Фирой получился иным, чем я ожидал. Она и не думала вспоминать старых обид. Она не рассердилась, а обрадовалась приглашению. И, как всегда, немедленно перешла к активным действиям.

— Сегодня уже поздно, — сказала она с сожалением (мы разговаривали вечером). — Но завтра явимся.

— Я ведь обещал предупредить заранее…

— Именно об этом я и говорю. Завтра, еще до занятий в университете, подойдешь к киоску и скажешь маме, что вечером явимся знакомиться.

— Сколько знаю, я с ней уже знаком, — засмеялся я.

— Как сын — да, как мой муж — нет, — парировала Фира. — Ту глупую сцену на улице я в расчет не беру. Если хочешь знать, я даже оправдываю твою маму: она молодец! Она защищала тебя от всяких поклонниц — сам ты неспособен отбиться от интересных девушек. А с женой твоей она будет ласкова до нежности, ручаюсь тебе.

— Крепко сомневаюсь.

Внешне встреча прошла по Фириному сценарию.

Мама, узнав о нашем приходе, немедленно закрыла киоск и побежала на Привоз за продуктами. Стол был накрыт еще до нашего появления — и еда была именно той (и только той!), которую я любил. Лишь одну слабость разрешила себе моя мать: сладкий кагор (бывшее церковное вино).

Знакомство наконец состоялось. Ласковой до нежности мама, конечно, не стала (эти два понятия — ласковость и нежность — плохо вязались с ее характером), но вежлива была безукоризненно: по-хорошему расспрашивала, по-хорошему отвечала. Отчим почти не вслушивался в разговор, я тоже. Фира держалась оживленно и весело, но в оживлении ее порой проскальзывал наигрыш — правда, самую чуточку, и все же…

— Мне было очень трудно, — пожаловалась она, когда мы ушли. — Твоя мама временами так смотрела на меня… Ничего плохого, конечно, но, знаешь, я чувствовала, что внутри у нее таится что-то недоброе. Боюсь, мы никогда не станем подругами.

— Обычное отношение свекрови к невестке, Фируся. Классическая картина, отягченная двумя обстоятельствами. Во-первых, моя мать не из тех, кто непрерывно обнимается и

целуется. А во-вторых, я поступил все же по-хамски, даже не намекнув, что собираюсь жениться, — и она не может мне этого простить.

— Она тебя давно простила, не заблуждайся. А вот мне простит не скоро. Она не сомневается, что я заморочила тебе голову и соблазнила. Впрочем, так оно и было, она не ошибается. Сам ты такой теленок, что еще долго не осмелился бы жениться на мне, — тебя надо было основательно подтолкнуть.

— Так думаешь ты или моя мама?

— Мы обе. Я тебя задурила, а она об этом догадалась. Возражаешь?

— Не возражаю, а благодарю. Это так прекрасно, что ты меня задурила, очаровала, ослепила, связала… Что еще сказать, чтобы ты поняла, как я счастлив?

Фира засмеялась. Сейчас, на улице, слушая мои признания, она искренне радовалась, а не притворялась веселой, как раньше. Она только сказала:

— Тут есть одна опасность. Я завоевывала именно тебя, а мама, вероятно, подумает, что так я поступаю со всеми мужчинами.

— Как-нибудь я разъясню ей, что ты совсем не такая. Я скажу, что ты из тех женщин, которые только очень немногим великодушно разрешают доставить им удовольствие. И я оказался в числе избранных!

— Только, пожалуйста, говори не так кручено. В твоей похвале чувствуется ирония. Это меня пугает. Скажешь маме, что ты единственный избранный, а не из числа избранных.

Мы шутили и смеялись всю дорогу. Я радовался, что все обошлось лучше, чем я ожидал. Фира и ликовала, что встреча состоялась, и огорчалась, что она прошла не так, как хотелось. Мы, конечно, подружимся с твоей мамой, убеждала она меня, но это будет нескоро и ох как непросто!

Так оно и оказалось — добрые отношения у них наладились, но любви не вышло. Мама была слишком умна, чтобы превратиться в классическую сварливую свекровь, но внутренней отчужденности не преодолела.

Впрочем, мои неожиданные служебные успехи смягчили ее настороженность. Мама все же опасалась, не оправдаются ли предсказания отца, посулившего мне пьянство, разврат, преступления и — как итог — тюрьму. Тюрьмы она не страшилась, в пьянство не верила, но хулиганство и распутство заранее исключить не могла: слишком уж рано, еще не способный быть действительно самостоятельным, я уже требовал формальной независимости — и бесцеремонно перегибал палку.

А теперь она успокоилась. Преподавание в вузе — это было очень почетно! Почет удовлетворял неумеренное честолюбие и ограничивал вольность. Я, по всему, стоял на правильной дороге!

Я потихоньку переносил старые книги в свой новый дом (кстати, мама никогда не выражала желания в нем побывать). Они были серьезной гарантией добронравного поведения: внезапно появившаяся жена не отвратила от чтения — стало быть, она не поощряла распутной жизни.

Мама не могла этого не оценить — и понемногу ее отношение к Фире смягчалось. Она даже стала приветливой.

Фирина беременность ускорила этот процесс. Мама обрадовалась, что может помочь невестке, а Фира охотно прислушивалась к ее словам: женщина, которая рожала пять раз, была неоценимой советчицей! Моя жена очень хотела ребенка — и очень боялась родов. Случалось, она приходила к маме даже без меня и все выспрашивала, как ей нужно себя вести. И подробно рассказывала о моих успехах — мама хорошо слушала (особенно если рассказы были такими приятными).

Ей, правда, очень не понравилось, что рожать Фира поедет в Ленинград — она осторожно заметила, что дети благополучно появляются и в Одессе. Даже для такого рискованного дела, как роды, не обязательно мчаться в северные дожди и вьюги. Но Фира объявила, что это мое решение, я уже договорился, что к моей жене отнесутся по-особому (о сеансах гипноза, мы, естественно, промолчали — такого новшества мама не перенесла бы) — и все возражения были сняты.

И о своей будущей театральной карьере Фира старалась не распространяться. Мама, в молодости почти театралка (она даже несколько лет выступала в рабочих музыкальных труппах), все же не считала подмостки лучшим местом для серьезной работы. Это было увлечение, хобби — не больше. Но она услышала от Фиры, что это я настаиваю на театре, и замолчала, приберегая свои возражения для отчима.

Теперь она старалась не спорить со мной — потому что слишком хорошо знала, что переубедить меня очень сложно, а дискутировать и не ссориться удается не всегда. Фира часто объясняла свои поступки и намерения моим категорическим настоянием — этот прием безошибочно срабатывал и в нашей семейной жизни. «Ты ведь сам этого требовал!» — чуть ли не с обидой доказывала она, возвещая об исполнении очередного своего желания. И я терялся, потому что не мог вспомнить, точно ли я этого хотел.

Моя месячная командировка в «Красный Перекоп» в первые же дни ознаменовалось заключением тайного квартирного

конкордата[142] между мамой и Фирой. Моя жена поведала, что роды — не единственная причина ее отъезда. Просто она старается как можно лучше и быстрее исполнить желание своего мужа, который хочет переехать в Ленинград.

Впоследствии я узнал, как это происходило.

— Сереже нечего делать в Одессе, — доказывала Фира. — Он ученый с огромным потенциалом — такому человеку здесь не развернуться. Он способен прославиться — но только в больших научных центрах, Ленинграде или Москве. Просто бросить свою квартиру глупо. Нам надо объединиться, жить одной семьей, чтобы не терять жилплощади и получить базу для летнего отдыха. В Ленинграде Сережа собирается только работать, а отдыхать мы с ребенком будем на юге. У вас, в двух маленьких комнатках, это невозможно — значит, надо поменять две наших квартиры на одну большую, чтобы зимой вам с Осипом Соломоновичем было просторно, а летом и нам места хватило.

Правдой здесь было только то, что я мечтал о переезде в Ленинград, но и шага не собирался для этого делать. Фира продумывала наше будущее без меня, не сомневаясь, что убедит меня во всем, что пожелает. В ней уже проявилась огромная сила внушения, которая потом поражала всех и помогала ей справляться с просто запредельными трудностями, если для их преодоления нужно было кого-то в чем-то убедить.

Когда я примчался в Невель, моя жена и словом не обмолвилась о своем квартирном соглашении с мамой. Пока это был вариант на будущее. На первый план его выдвинуло крушение моей научной карьеры.

Резкое уменьшение заработков заставило искать дополнительные источники доходов. Фира примчалась в Одессу, уже твердо зная, что нужно делать. Мама увидела внучку, потетешкала ее, погуляла с ней — лучшего довода в пользу своего плана Фира и придумать не могла! Я постепенно привыкал к мысли, что я не только муж, но и отец, и старательно постигал свои новые обязанности — попутно освобождая жену, с головой ринувшуюся в квартирную эпопею, от части домашних дел.

Фира с блеском доказала, что рождена для прохождения административных лабиринтов (если, конечно, у них было хоть какое-то подобие выхода!) Уже через несколько недель мама поменяла свою двухкомнатную квартирку на трехкомнатную в том же доме, стеснилась с отчимом в одной комнате (окно ее выходило во двор), а в оставшиеся две въехали мы трое — Фира, Наташа и я.

В Одессе еще редко пользовались грузовиками для перевозки мебели, но тачки и биндюги — двуконные или одноконные

повозки — пока не перевелись. Фира заказала для нас именно такую. Мы с возчиком были единственными грузчиками.

— Теперь у нас есть деньги на первое обзаведение в Ленинграде, — порадовала меня Фира. — Хочешь, я распишу тебе, как собираюсь их использовать?

— Не хочу, — сказал я. — Я ни о чем не спрашивал, когда приносил тебе лекционную зарплату, — и теперь не стану этим заниматься. Не в коня корм, Фируся.

Через две недели моя жена поняла, что ей тяжело жить в новой квартире. Да, конечно, мама помогала возиться с Наташей, но слишком уж отличалась Молдаванка от тех благоустроенных районов, где привыкла жить Фира!

Впрочем, дворовые туалеты, общие для всех жильцов, были нередки даже в «городе». Я привык таскать ведрами воду из уличного крана, привык мчаться через весь двор по любой нужде… Зимой, в метель, такие прогулки были не очень приятными — и мы учились не делать себе поблажек и сдерживаться до самого «не могу» (и, кстати, довольно успешно учились).

— Это непереносимо! — жаловалась Фира. — Зимой я не вынесу такой жизни. Пойми: ребенка нужно каждый день купать, а ванны нет, только тазик.

— Сочувствую, но помочь не могу, — грустно отвечал я. — Постараюсь, конечно, купить тазик побольше, но, боюсь, этим все и ограничится. Ни водопроводом, ни канализацией я не командую.

Однажды Фира объявила, что ей пора уезжать. Если она еще задержится, ее усилия пойдут прахом. Возражать я не смел: все было размечено заранее — не мне было это менять.

Мама и отчим простились с внучкой и Фирой дома, я проводил своих женщин на вокзал.

На перроне к нам присоединились Оскар с Люсей.

— Помни, я жду тебя, — сказала Фира. — И знай: без тебя мне жизни нет.

— Мне тоже, Фируся. Приеду сразу, как позовешь.

Я внес Наташку в вагон и положил ее на нижнюю полку в уже устроенную постельку. Раздался второй звонок. Я вышел из поезда и несколько секунд шел рядом с набиравшим скорость составом. Фира махала мне рукой из окна.

Люся ушла по делам, а мы с Осей решили немного прогуляться. Он сообщил важную новость: наш бывший шеф Пипер, закончивший институт красной профессуры, получил двойное профессорство — московское и ленинградское. Теперь он собирается ездить из одной столицы в другую и руководить двумя

кафедрами сразу.

— Он предлагает мне перебазироваться в Ленинград, — сказал Ося. — Уже подобрал доцентуру в педагогическом институте имени Герцена. С одесским обкомом все согласовано: здесь не возражают против моего отъезда, а в Смольном согласны на мой приезд. Пипер сам сказал мне это по телефону. Я спросил о тебе. Леонид Орестович боится, что без согласия одесских руководителей тебя не примут. Он советует переждать, пока страсти не улягутся.

— Буду ждать, — сказал я. — Что мне еще остается? Было за полдень, когда я вернулся домой. Отчим был на работе, мать сидела в киоске. В два окна моих комнаток жарко лилось солнце. Я сидел на диване, оглядывал свое жилье — и словно впервые видел его. Даже книги — больше тысячи нитей, связывавших мою душу с этими стенами, — казались мне почти незнакомыми. Я остался один.

17

Впрочем, это не совсем точно — в Одессе еще был Ося.

Мы снова, как в студенчестве, гуляли по городу. Мы знали, что нам придется расстаться — хотя и не догадывались, что это будет расставание навсегда. Но мы вели себя так, словно не могли наговориться.

Если он не мог ко мне прийти, я шел к нему. Его квартира стала моим вторым домом. Я часами говорил с его женой и его отцом, умным и проницательным стариком. При моем появлении они бросали дела — поболтать со мной было важнее.

Иногда болтовня превращалась в споры — бытовые и политические. Один из них я запомнил навсегда.

В те дни Гитлер дорвался до канцлерства — и я сказал, что у фашистского вождя есть одна сильная и одна слабая черта. Сильная — национализм — вознесет его высоко, ибо немцы фанатики своей страны, лозунг Deutschland über alles[143] не навязан им сверху, он — выражение духа народа. А слабая — антисемитизм — погубит, ибо смешно думать, что такую культурную нацию можно увлечь русским черносотенным лозунгом[144] — «Бей жидов, спасай Германию!» Отец Оскара вмешался в наш разговор.

— Сережа, вы недопустимо заблуждаетесь. Национализм и антисемитизм в Германии неразделимы. Это самая антисемитская страна в мире. Я прожил там пять лет, закончил институт (у немцев нет краткосрочных курсов для зубных врачей, как у нас). И могу вас уверить, что антисемитизм не слабая, а

сильная политическая черта Гитлера — именно она отвечает духу народа.

— Не согласен! Столько известно смешанных браков — даже в высших кругах Германии. Сам кронпринц хотел жениться на еврейке…

— Но ведь не женился! А если бы женился, быстро бы перестал быть кронпринцем.

— Кайзер Вильгельм, его отец, полунемец-полуангличанин…

— Полунемец — а не полуеврей! Не связывайте фашизм с антисемитизмом. Фашизм появился в Италии в девятнадцатом году — но вы что-нибудь слышали об итальянских гонениях на евреев? Антисемитизм — не просто форма национализма, как, например, ненависть французов к немцам или англичанам. Евреи живут по всей Германии, на основе немецкого языка они создали свой идиш.[145] Неприязнь к ним — это не отторжение чужого народа и другого языка, это протест против того, что в тебя проникло и чего ты не хочешь принять. Мне страшно, когда я думаю об этом.

— Вы страшитесь, что Гитлер будет поощрять погромы? В культурной Германии? Что за бред!

— Я говорю не об отдельных погромах. Я боюсь, что этот страшный человек попытается физически устранить все чуждое немцам — и в первую очередь евреев.

— Маркс говорил, что евреи расселились в порах польского общества, но отчаянные националисты поляки отлично с ними уживаются!

— Германия не Польша.

Он меня не убедил. Я не жил в Германии и не доискивался, какие подспудные процессы идут в ее обществе. Да, конечно, немцы — народ — обожествляли свою страну. Но я знал великую немецкую литературу, великую немецкую философию. Неужели Гете считал арийцев пупом мироздания? Он был истинным эллином — просто его Эллады уже давно не существовало на свете. Кто осмелится назвать шовинистом Фридриха Шиллера? Только две его пьесы рассказывают о немецкой жизни — «Разбойники» (целиком) и «Коварство и любовь» (частично). Герои остальных — итальянец Фиеско, швейцарец Вильгельм Телль, испанец Дон Карлос, француженка Жанна д'Арк, шотландка Мария Стюарт, русский Дмитрий Самозванец… Разве еврей Генрих Гейне не был великим немецким поэтом, а еврей Мендельсон — одним из любимейших композиторов Германии? Кто станет отрицать, что грандиозная немецкая классическая философия — естественное продолжение и завершение общеевропейской научной мысли?

Только один известный мне факт косвенно напоминал о немецком национализме. Когда Виктор Кузен[146] (он собирался издать философский сборник) попросил Гегеля изложить свои мысли вкратце, популярно и по-французски, тот ответил, что его философию нельзя пересказать ни вкратце, ни популярно, ни по-французски. Впрочем, скорее всего это была просто острота.

Я так и не поверил отцу Оскара, что антисемитизм коренится в натуре немецкого народа. Только когда разразилась Вторая мировая война и мир услышал о лагерях уничтожения, я припомнил пророчества старшего Розенблюма. Нет, я по-прежнему не считал их истинными — я просто задумался.

А с Осей мы чаще всего обсуждали наше будущее. Теперь оно казалось нам иным, чем раньше.

Первый раз мы занялись прогнозированием своей судьбы году в тридцатом или тридцать первом. Оскар завершил блестящую работу о неизбежности революции в Испании, я разработал философскую систему чистого капитализма. Я хотел разобраться: каким стал бы этот общественный строй, если бы он был свободен от посторонних социальных включений — сохранившихся элементов феодализма, мелкобуржуазных устремлений крестьянства, анархистских и социалистических потуг рабочего класса. И установил, что только субъективный идеализм может стать его философским зеркалом. Оскар восторженно сказал, что если бы сам Маркс знал об этой работе, он бы охотно включил мои выводы в свою теорию капитализма — как философский эквивалент капиталистической системы. Именно тогда Ося впервые четко разграничил наши интересы.

— Тебя больше привлекает прошлое, Сергей. Раньше ты не выходил за рамки семнадцатого — восемнадцатого столетий. Сейчас двинулся дальше, но даже капитализм тебя занимает только как абстрактно чистая конструкция. Она замечательно тебе удалась — но меня это не захватывает. Я стану разрабатывать философию социализма, теорию его возникновения и победы. Мы будем дополнять друг друга.

— Спасибо за такое лестное разделение, Ося, — засмеялся я. — Ты мне предоставляешь что полегче.

— Нам нужно не только разграничить теоретические интересы, — продолжал Оскар, — но и установить реальные цели, к которым мы станем стремиться. Кем мы собираемся стать — вот главный вопрос.

— Да, кем мы хотим стать, ты прав, Ося. Это — главное. Что ты предлагаешь?

— Мы должны стремиться к власти.

— Какой власти, Ося?

— Большой. Власти в стране. Мы должны стать членами политбюро — это минимум.

И он растолковал мне свой план. В стране создано единовластие, конусная государственная иерархия с верховным владыкой на вершине. Между разными уровнями этого конуса идет непрерывный живой обмен властителями: секретари райкомов становятся секретарями обкомов и крайкомов, членами ЦК и политбюро — верховными иерархическими божествами. Главное в таком устройстве — постоянная поуровневая смена главенствующих. Эти люди меняются ежегодно, ежемесячно, а порой — и чаще. Даже высшие правители, взбираясь на трон, вскоре рушатся. Где всенародный вождь — Троцкий? Где сменившие его Зиновьев и Каменев? Где явившиеся вместо этих двух Бухарин и Рыков? Сейчас властвует Сталин и его окружение. И если сам Иосиф Виссарионович пока держится крепко, то этого не скажешь о его команде. Состав политбюро меняется не только от съезда к съезду, но и от пленума к пленуму. Посмотри на тех, кто рушится вниз, на тех, кто выкарабкивается наверх. Это же интеллектуальная серятина, мы с тобой гораздо умней и талантливей любого из них!

— Это еще ничего не значит, Ося.

— Это значит все, Сергей. Скажи, ты мог бы заменить в политбюро таких, как Андреев, Косиор, Куйбышев?

— Ну, этих любой может заменить…

— Вот тебе и причина, чтобы подниматься наверх.

— Причина для действия — это еще не возможность действия. Сейчас я как раз разрабатываю проблему диалектического движения — в статье о теории основного звена, так блестяще придуманного Лениным.

— Наше интеллектуальное превосходство и есть то основное звено, потянув за которое мы сможем вскарабкаться наверх. Или ты не хотел бы стать членом политбюро?

— Очень хотел бы. Хорошая цель. Методы ее достижения — вот вопрос.

Но у Оскара уже был готов ответ. Пока мы совершенствуемся как преподаватели вузов, у нас большие успехи — нас ценят, с нами считаются. Это хороший путь, но косвенный — боковушка, а не магистраль. Нужно, пользуясь уже приобретенным багажом, постепенно выбираться на торную дорогу. Ему, Оскару, предлагают стать членом обкома комсомола. Это будет первым шагом. Дальше следует подниматься по комсомольской лестнице, на каком-то этапе перепрыгнуть на партийную — и продолжать идти вверх уже по ней. Разве тебя не увлекает такая картина?

— Нет. Я планирую другое завоевание.

— Завоевание чего?

— Науки. Я хочу стать крупным философом. Если в конце этой дороги расположена Академия наук, сочту себя удовлетворенным. Не хочу повелевать людьми — хочу открывать законы мира.

— Ты только что говорил, что не прочь стать членом политбюро.

— Чисто абстрактное желание. Не возражал бы — но добиваться этого не буду. Методы не по мне.

Оскар улыбнулся.

— Впервые мы с тобой расходимся. Но ты прав в одном: это пока еще не больше чем наши желания. Посмотрим, удастся ли превратить их в дела.

Так мы думали о своем будущем три года назад. Дорога, которую наметил для себя Оскар, была наглухо перекрыта. В члены обкома или горкома его не выбрали: вспомнили, что в пионеры его рекомендовал Троцкий. Рекомендация Льва Давидовича теперь считалась клеймом, а не заслугой. Оскара (еще до встречи со мной) даже исключили из комсомола — но тут же восстановили. Однако идеологический рубец остался — правда, жить он не мешал, но в партию не пускал. Впрочем, туда уже несколько лет никто не мог проникнуть: по всей Украине был объявлен запрет на прием — результат провалов на селе и неудач первой пятилетки. А когда началась вторая, объявили проверку партбилетов — партию жестоко чистили, выгоняли всех, в ком сомневались. Вполне конкретные планы Оскара стали маниловскими мечтами. Он и сам это понял.

— Видимо, твои желания не только скромней, но и верней, — сказал он как-то. — Конечно, возможны неожиданности. Но если ограничиться предсказуемыми вариантами, остается твой путь. Тебя ведь прошлое интересует больше, чем будущее. В прошлом не нужно производить социальных и государственных переворотов — его можно только изучать.

— Но неожиданности ты все-таки допускаешь — значит, полностью от своих целей не отказываешься?

— Не отказываюсь — если речь идет о желаниях. Отступаюсь — если о реальной жизни. Прошлое видно в деталях, будущее — в эскизе. Буду развивать науку о будущем мира. Теперь поговорим о тебе. Как собираешься выкарабкиваться?

— Мы уже говорили об этом — когда меня поперли с работы. Но появилось и кое-что новое.

Это означало: буду ждать реабилитации и возврата к лекциям. Фира подготовит все к моему приезду. Очищенный от обвинения в троцкистских ошибках, я легко смогу найти себе

место в каком-нибудь вузе Ленинграда. Там уже будет Ося. Пипер обещал помочь Осе — поможет и мне. Ося подсобит. Это первый круг ожиданий.

— Хорошо — первый. Значит, есть и второй?

— Есть. На тот случай, если меня не очистят от грязи, которую сами на меня и вылили. С диаматом придется распроститься — не уверен, что это будет такое уж горе. Я все равно уеду в Ленинград. Займусь физикой. Попытаюсь разработать философские ее разделы — вряд ли у меня найдется много конкурентов. Меня давно интересует физический смысл неевклидовых геометрий. Я уже литературу подбираю, и даже кое-какие соображения появились.

— Очень хорошо — философские проблемы современной физики. А если и это не удастся — что тогда?

— Не забывай о моей любви к литературе. Я все-таки не зря понаписал столько стихов. Я уверен: это настоящее искусство, а не графомания. Напишу большой роман о голоде двадцатых — я его хорошо помню. Кстати, чем бы я ни занялся, я все равно — рано или поздно — расскажу о жизни и смерти Варламова.

— Варламова? Это кто?

— Главный герой моего будущего романа. Это вымышленный персонаж, но его будут окружать реальные люди — друзья моего детства, их родители… Поверь мне, Ося, это будет одна из самых страшных книг мировой литературы. О голоде много писали — Кнут Гамсун, Джек Лондон… И делали это великолепно! Но у них голодали отдельные люди — причем в эпоху всеобщего благоденствия. Я создам роман об индивидуальном голоде во время голода всеобщего. Это будет много страшней, ибо безысходней.

— Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. Сергей, ты собираешься выбрать очень рискованный путь! Боюсь, он окончится провалом — и провал этот будет много страшней недавнего твоего несчастья (верней — неудачи). Я скажу честно. Ты пишешь стихи — это хорошо. Но кто сейчас их не пишет?

— Ты, Ося.

— Ты прав, не пишу. Я как Мцыри: «Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Сергей, ты никогда не станешь великим поэтом. Зачем же тогда тратить свою душу на рифмовку? И выдающимся писателем не будешь. Не графоман, нет, — но и следа в мировой культуре не оставишь. За твои книги не будут драться, ими не станут украшать домашние библиотеки — их, может быть, прочтут, но вряд ли перечитают. А писатель, которого не перечитывают, — плохой писатель. Ты мыслитель, Сергей, — вот твое призвание. Мы оба занялись философией —

это моя область, тут я могу судить квалифицированно. Ты не имеешь права бросать науку! Ты начал разрабатывать диалектику — как многостороннюю науку со многими законами, не с тем жалким багажом, что остался в черновых заметках Энгельса. Ты должен продолжать эту работу. Лучше уж займись физикой неевклидовых геометрий — это тоже философия, логика мироздания. Но оставь свои рифмы и метры, позабудь о неудачниках Варламовых…

Я засмеялся.

— Ты говоришь — словно завещание оглашаешь!

— Просто я давно хотел об этом сказать, а сейчас повод появился — все же уезжаю. Ты слишком разбрасываешься, Сергей. Я интересовался тем, что ты делаешь, и одним этим заставлял тебя держаться в рамках. Теперь я буду далеко, а в письме всего не выскажешь.

— Буду помнить твои наставления. Имеешь еще?

— Имею. Не наставления — вопросы.

— Спрашивай.

— Сначала о другом. Мы когда-то условились, что будем делиться всем, даже сердечными тайнами. Этот договор в силе?

Я помедлил. Многое изменилось с того дня, когда мы об этом договорились. И Оскару было гораздо легче следовать нашему соглашению: женщины не стали важной частью его жизни. Он спокойно и ровно любил свою Люсю — никто не нарушал его покой. Он превращал супружескую неверность в предмет для шуток. Помню, как-то при мне он доказывал Люсе, что даже если когда-нибудь ей изменит, то это вовсе не будет означать, что он ее разлюбил: «Ты все равно останешься любимой. Просто нужно увериться на практике, что ты мне дороже всех. Ты знаешь, что мой любимый писатель — Шекспир. Но не могу же я всю жизнь читать его одного! Но зато я каждый раз убеждаюсь, что Шекспир действительно превосходит всех». За этими остротами ничего не стояло. Осе нечего было скрывать от меня.

А вот у меня все получилось иначе. С некоторых пор женщины стали тайной моей жизни — а тайнами я не был способен делиться ни с кем. Оскар был мне близок как брат — но я уже знал чувства куда сильней братских. И я хранил их от всех, кто был вне.

Но тогда, в последний наш разговор, я догадывался: Оскар не станет у меня ничего выпытывать. Он мог говорить со мной только о Фире — наша жизнь была у него на виду. И я ответил:

— Говори.

— Я скажу о твоей жене.

— Говори о моей жене.

— Сергей, ты убежден, что Фира тебе верна?

— У тебя есть сведения, что она мне изменяет?

— Никаких сведений! Одни подозрения. Но жена Цезаря должна быть выше подозрений — так утверждал твой любимый Кай Юлий. Ты мой самый близкий друг — мне обидно, что это тебя пачкает.

— Слушаю.

Ему, Оскару, мои отношения с женой кажутся странными. В них присутствует нечто недоступное обычному разуму. Понимаешь, Сергей, Фира любит тебя — это очевидно. А ее любит Борис — этого тоже не скроешь. И она теперь больше половины времени проводит не в Одессе, а в Ленинграде, куда он переехал, и они не просто в одном городе, а в одной квартире. Они такую искали — ты сам дал на это согласие, я знаю. И они ее нашли — и живут вместе, а ты один. Я недавно был в Москве, оттуда поехал в Ленинград — я был у них. Типичная коммуналка: в одной комнате Фира с ребенком и домработницей, в другой — Борис. Повторяю, у меня нет никаких фактов, но ты поглядел бы, какими глазами смотрит Борис на Фиру! Он раб ее, он готов исполнить любое ее желание — и она командует им как рабом, а вовсе не как знакомым, не как другом. Общее мнение всех ее ленинградских родственников: их жизнь не коммунальное соседство, а связь. И все посмеиваются и жалеют тебя: муж всегда последним узнает об измене жены.

— Я еще не узнал о ее измене.

— Боюсь, тогда ты просто слепой. Такие подозрения…

— Ты прав — подозрения. Но не факты.

— Ты знаешь факты, которые их опровергают?

— Знаю.

— Назови их. Я больше не хочу обижаться на то, что тебя обманывают.

Я замолчал. Я понял, что не смогу этого сделать. Нет, факты были, я знал их, я в них верил, но рассказать об этом не мог. «Мысль изреченная есть ложь», — сказал Тютчев. Факты были в чувствах и мыслях, и слова, их выражающие, отнюдь не передавали всего сокровенного значения. Я мог рассказать Оскару об одном из наших последних разговоров. «Я люблю тебя, ты для меня единственный, — говорила Фира. — И ты выше всех штампов, выше всех предрассудков, выше всех обывательских мнений, поэтому там, где пошляки и мещане подозревают грязь, ты ее не обнаружишь. Они, мещане, толкуют отношения на своем уровне, своим низким пониманием. Но твой уровень, твое понимание, твои высокие чувства отринут все низменное — опираюсь на твою высоту, на твое благородство, мой

единственный». Я сумел бы повторить Оскару эти слова — и они были бы теми же. Но как я мог передать голос Фиры, который проникал в душу, ее удивительные глаза, завораживающие и покоряющие, незримый ореол, каким сиял каждый произнесенный ею звук? Она не скрывала возможных слухов, но это были слухи для иных людей. Я был для нее высшим существом, я видел недоступную другим истину — низкие подозрения были не для меня.

Мне не всегда нравится то, что я пишу, но драма «Игорь Синягин» у меня — одна из любимых. Я говорил в ней о двух видах обмана. Первый, обычный, сводится к элементарной лжи, к старательному устройству секретов, недоступных малопроницательному взгляду. Второй, изощренный, эксплуатирует высшие чувства, обманутому внушается, что он чище всех, кто его окружает, он всех благородней — и поэтому недоступен для лживых обвинений. Подозрения не затушевываются, а презрительно отметаются — как недостойные высшего разума. Но все это было потом. А тогда я сказал Осе: — Факты в наших характерах — моем, Фиры и Бориса. В нашей вере в благородство друг друга. Ты прав: Борис любит Фиру — я просто не способен на чувство такой силы. Все по Гамсуну: Господь поразил его любовью… Заметь — не одарил, а поразил. Он боготворит Фиру, так уж получилось. Но он мне не соперник. Он не будет склонять мою жену к измене — именно потому, что так сильно ее любит, так высоко ее ставит. Если Фира мне изменит, это станет ее унижением, — он ведь знает ее отношение ко мне. И ты его знаешь! Борис никогда не подвергнет Фиру. такому оскорблению, как необходимость лгать. Другое дело, если бы Фира захотела разорвать со мной. Но я знаю, что она этого не хочет. И Борис это знает. Повторяю: я верю в их благородство. Оскар вдруг иронически заметил:

— Мне временами кажется, что ты веришь в благородство своей жены гораздо больше, чем в свое.

— Ты прав. Мужчины вообще более падки на очарование женщин, чем женщины — на притягательность мужчин. Между прочим, закон природы! Я не такой уж порочный, кстати, — я не обещал Фире, что никогда не согрешу. Но я поклялся, что не заведу интрижки с девственницей, ради похоти или прихоти не стану первым мужчиной в жизни случайной подружки. Могу тебя информировать: я уже несколько раз убедился, что способен держать это обещание — несмотря на все соблазны.

Оскар никогда не отказывался сыронизировать.

— Рад за твою выдержанность. Но что касается биологического закона неравенства женских и мужских

влечений… Генрих Гейне, помнится, установил, что он противоречит школьной арифметике. Женщины (в среднем — на одну голову) признаются в двух-трех любовниках за всю жизнь. А мужчины хвастаются десятком и больше связей. Между тем в целом их должно быть примерно поровну, ибо ни одна из любовниц немыслима без любовника. Кто же больше врет — мужчина или женщина? — удивлялся Гейне.

— Вряд ли он делал это искренне. Он не только обильно любил женщин, но и отлично знал их природу. Как, впрочем, и свою, мужскую. Одни горделиво преувеличивают успехи, другие скромно преуменьшают грехи.

На этом наш разговор закончился.

До «Игоря Синягина» оставалось почти десять лет.

18

В секретариате облоно работала девушка лет двадцати — огненноволосая, всегда хорошо причесанная и до того усеянная крупными веснушками, что щеки и руки ее отливали золотом. Я как-то сказал ей:

— Тося, на правах старшего хочу дать вам надежный житейский совет. За вами, конечно, ухлестывает много особей моего пола, и многие говорят вам: золотая. Но не обольщайтесь: они не льстят вашему характеру — они точно описывают вашу внешность. Вы золотая даже на равнодушный взгляд.

Она оживилась.

— Вы хотите сказать, что вам не нравятся мои веснушки?

— Разве я давал вам повод для оскорбления? Они меня восхищают! Они так красочны, так живописно разбросаны… Но в вас мне нравятся не только веснушки.

— Когда у меня выпадет свободный часок, я обязательно попрошу вас рассказать, что вам во мне нравится. Это прекрасная тема для серьезного разговора, а я к тому же такая любопытная…

Не было дня, чтобы мы не перекидывались подобными безвредными шуточками. Все у нас знали, что Тося давно — и небезуспешно — влюблена в самого Солтуса, заместителя заведующего. Солтус, высокий, немногословный, престижный, был не только дельным, но и просто хорошим человеком. Они прекрасно дополняли друг друга — начальник и его секретарша: красивый, плотный, слегка замедленный мужчина — и порывистая, веселая, острая на язычок, совсем не красивая, зато обаятельная девчушка. Обычно он, хмурый, стоял у ее стола и слушал, не прерывая, ее чириканье — естественно, служебное. Канцелярских нагрузок у нее накапливалось сверх головы: одних

писем десятки в день — каждое надо было прочесть и подготовить ответ. Тосю любили и жалели — Солтус был женат. И не было похоже, что он собирается разводиться.

Однажды у Тоси появилась помощница — лет восемнадцати или девятнадцати. О том, что количество сотрудников облоно увеличилось на одну штатную единицу, нас информировал Запорожченко.

— Удивляюсь нашей Тосе, — сказал он, пожимая широченными плечами. — Я вообще не трусливого десятка, но на такой риск никогда бы не пошел! Надо же подумать и о последствиях.

— Никогда не поверю, чтобы Тося сделала что-то плохое! — горячо возразила экономист Полевая. — Она чудная девочка.

— Чудная, но неосторожная. Вы поглядите на них обеих. Тося — девочка лучше не надо, но не больше. А новенькая — штучка.

— Что значит штучка? Характер?

— Насчет характера не знаю. А внешность — да! Им нельзя сидеть рядом. После новенькой на Тосю и взгляда никто не кинет. Для нее опасно такое сравнение.

— Как зовут это чудо? — поинтересовался я.

— Фамилия обыкновенная — Гусева. А имя чудное — Нора. Я такого имени и не слышал. Несовместно, по-моему. С одной стороны — гусь, нормальная птица, а с другой вдруг — Нора.

Запорожченко так много распространялся о Тосиной помощнице, что и мне захотелось на нее посмотреть. Красота ее меня не интересовала: в Одессе и своих красавиц хватало — а еще больше наезжало с севера, на отдых. Да и в нашем облоно было много привлекательных женщин (молодых учительниц, выдвинутых на руководящую работу).

Меня заинтересовало имя новенькой. В нем был иностранный привкус — оно напоминало об Ибсене. В моем окружении не было людей, интересовавшихся норвежской литературой.

Я пошел к Тосе, чтобы поглядеть на его носительницу. Они сидели рядом. Тося, рыжеволосая, пышнокудрая, что-то объясняла худенькой девушке, склонившейся над огромной ведомостью, начерченной от руки. Новенькая внимательно изучала графы. Я не видел ее лица, только голову — очень четкий, старательно вычерченный пробор в темных, гладких волосах.

— Огненноголовая, салют! — приветствовал я Тосю. — Становитесь начальницей, обзаводитесь собственным штатом?

Новенькая оторвалась от ведомости. Запорожченко не солгал: она действительно была красива. Она смотрела спокойно, почти равнодушно. Мне вдруг показалось, что она вообще меня не

видит: рассеянные люди умеют глядеть не на человека, а сквозь него. Но она, похоже, была не рассеянной — скорей погруженной в себя. Ее не занимало то, что представало перед глазами. Я ее не заинтересовал.

— Теперь понятно, Нора? — закончила Тося начатый еще до моего прихода разговор. — В типографии проверь, чтобы все разместили, как у нас начерчено: иногда они так ужимают отдельные графы, что потом их трудно заполнять.

Нора ушла, аккуратно сложив ведомость. На меня она больше не взглянула — даже безразлично. Тося запоздало сказала.

— Не штатом, нет. А помощница мне давно нужна. Вам она нравится, Сергей Александрович? Наши ребята, поглядев на нее, вдруг все перебесились. Браун сегодня трижды прибегал — и каждый раз забывал придумать причину. Выпучит глаза, промямлит что-то — и снова бегом. Но вы не ответили на мой мучительный вопрос: она вам нравится больше, чем я?

— Я бы ответил, Тося, но боюсь, что после этого некоторые наши начальники станут мне смертельными врагами, а это опасно. Что до вашей Норы, то меня занимает одно: почему она Нора?

— По паспорту она Анна. А Нору придумала сама. Посмотрела какой-то спектакль в нашем театре — и вдруг отказалась от своего имени. Даже матери не разрешает называть себя по-старому! Так что не упоминайте Анны — Нора из тех, которые считают свои капризы законами. Если, конечно, хотите любезничать с ней без опаски.

— Буду опасаться ее сердить. Но вы, Тося, кажется, хорошо знаете Нору?

— Немного знаю. Я сама упросила Литинского взять ее к нам. Она в этом году окончила школу. И хорошо окончила, она очень умная. Но характер — ой-ей!

— У нее что-то нездешнее в лице — это от характера? На ведьму она, впрочем, не похожа — она не злая, а какая-то скорбная, отрешенная, что ли…

Тося явно колебалась: делиться ли со мной чужими секретами? Свои тайны она мне давно уже открыла — с не своими была строже. Но она все же решилась. Дело в том, что у Норы есть друг, школьный товарищ, имя ему — Володя, фамилии Тося не помнит, но какая-то есть. Володя этот высокий, красивый, элегантный. И постоять за себя умеет, и с девочками хорошо держится. Она, Тося, была бы в восторге, если бы у нее был такой друг. Нора выбрала его в суженые — все знают, что они поженятся, когда Володя встанет на ноги. А недавно они поссорились — и, похоже, надолго, если не навсегда. Володя

пошел матросом на торговый флот, а Нора задумала стать актрисой — экзаменоваться в театральную студию. Володя восстал. Он из бугаевских, там у них свои порядки: ребята за девушек стоят насмерть, а девушки на посторонних и взгляда не кидают. Да и своим до свадьбы вольностей не разрешают. В общем, Вовка ей крикнул: «В театр идти — что в аллею проституток! Будешь моей женой — не разрешу». Тогда она и вышла из себя: «Никогда не буду твоей женой! Не смей ко мне больше являться!» И выгнала из дома. И мама ее, и брат Толя просили простить Вову (они его любят), сам он несколько раз приходил объясняться — и слушать не хочет, на глаза не пускает. Вот такие приключения!

— Теперь понятно, почему у нее такое странное лицо. Терзается из-за ссоры с женихом — думает о нем, другие ее не интересуют.

— Наверное, и это, Сергей Александрович! И еще кое-что посерьезней. Она уже третий день ничего не ест. Сказала, что умрет от голода, если Вова не повалится ей в ноги и сам не попросит идти в актрисы.

— Горячая любовь против священного творческого призвания — так, что ли? Тося, вы верите, что она не просто грозит, а вправду голодает? Женщины часто прибегают к рискованным способам настоять на своем…

— За всех женщин не скажу, а Нора на все способна. Она даже не прикасается к еде — только иногда воду пьет. Она из тех, кто убить себя может — если разозлится. Я была у них — мама плачет… Нора Вову переломит, вот увидите! Она, если влюбляется, то без всяких границ — такая натура.

— Рад, если она победит. И любимого парня сохранить, и любимой работы добиться — такое стоит небольшой голодухи!

— Напрасно вы иронизируете, Сергей Александрович. Вы просто Норы не знаете — Нора очень серьезная девочка. Она не шутит.

Я не иронизировал. Я, конечно, не знал нашей новой сотрудницы, но не верил, что ее демонстративный, мстительный голод зайдет очень далеко. Выбор профессии неравноценен сохранению жизни — в этом я не сомневался.

На всякий случай я подбирал разные убедительные предлоги, чтобы лишний разок забежать в канцелярию и полюбопытствовать, как протекает пытка истощением. Но уже на следующее утро Тося с радостью оповестила мена, что Нора прекратила голодовку — на четвертый день лишений она сдалась на уговоры матери и брата. Думаю, моя радость по этому поводу тоже показалась Тосе одной из форм иронии.

Убедившись, что помощнице нашей секретарши больше не грозит голодная смерть, я перестал придумывать причины для посещения канцелярии. К тому же Нора заметила мое внимание. Я просил Тосю не говорить, что мне известно о разразившихся любовно-диетных перипетиях — стало быть, Нора восприняла мое любопытство как «заглядывание».

На нее действительно заглядывались — думаю, она привыкла к этому еще в школе. И все же теперь она тоже поглядывала на меня с интересом — так иногда смотрят на диковинного зверька. Я пристал к Тосе с расспросами: она, случаем, ничего не говорила Норе обо мне?

— Все говорила, — радостно объявила Тося. — Ничего не скрыла. Вы такая интересная тема для обсуждения.

— Верней — для сплетен.

— Никаких сплетен! Такой молодой — и давно женат, даже отец. Еще студент — и уже преподаватель вуза. Все студенты вас хвалят, все профессора уважают. И вдруг — трах, бах, ах! Вышибают по политическим причинам, исключают из комсомола. Одни драматические факты, никаких сплетен. Она спрашивала, кто у нас служит, — я не могла умолчать о вас. Вы возражаете, Сергей Александрович?

— Только сомневаюсь. Я вовсе не такая интересная тема для обсуждения, как вы расписываете, — скорей грустная.

— Грустные темы — самые интересные. Я об этом знаю лучше вас. Никто не разбирается так, как я, что интересно, а что нет. И никто еще не называл меня сплетницей! Мое правило — передавать только твердые факты.

Я перестал ходить в канцелярию. Необычная ситуация с новой служащей облоно разрешилась вполне ординарно — сумасбродная голодовка прекращена, отношения с выгнанным женихом, по всему, восстановлены. Заботиться не о чем, помощи не требуется. А быть предметом чьего-то сочувствующего любопытства… Такое меня не устраивало.

Я стал забывать, что у моей доброй рыжеволосой подружки Тоси появилась красивая помощница. К тому же теперь она не всегда была на месте: Литинский с Солтусом стали посылать ее в разные директивно-руководящие учреждения — само ее появление среди мрачных начальников гарантировало успех.

Мы с Норой изредка встречались в коридорах — и я не помню, раскланивались или нет.

Моя голова была занята другим: у меня менялась жизнь. С Пушкинской мы переехали на Южную. Фира несколько недель пожила вместе с моей мамой и отчимом, помучилась и умчалась с годовалой Наташей в Ленинград — устраиваться в какой-нибудь

театр и подыскивать квартиру. Мне было не до новой сотрудницы нашего облоно! К тому же Браун пожаловался на ее скверный характер.

— Понимаешь, Сережка, достал два билета в кино на «Путевку в жизнь». Там теперь такие очереди — не меньше часа проторчишь. Натурально, пригласил ее — а кого еще? У нас она самая красивая. И возраст подходящий: не девочка, восемнадцать исполнилось — можно и в кино с солидным человеком.

— Ты считаешь себя солидным?

— Не хами! За таких, как я, надо обеими руками хвататься. А знаешь, что она мне сказала? Отрезала: «Ваша путевка в жизнь не из тех, что меня интересуют!» Вот так. Больше к ней даже под угрозой плетки не подойду.

С. Снегов и Нора (первая слева)

С. Снегов и Нора (первая слева)

— Одна свинья зарекалась — а помнишь, чем кончилось? Между прочим, у этой Норы есть жених. Вот у него в руках настоящая путевка в жизнь (жизнь с ней, я имею в виду). Ты, конечно, солиден, на важной должности, старше ее лет на десять — в общем, из журавлей в небе. А он — синица в руках. Понял, чья возьмет?

Одно знаю твердо: в эти летние дни 1934-го Нора перестала меня интересовать, как, впрочем, и все остальные сослуживцы.

Меня волновали две проблемы: достанет ли Фира квартиру в Ленинграде и восстановят ли меня на прежней работе? Это был предел надежд: вернуть свое доброе имя и, какое-то время почитав лекции в Одессе (чтобы осела идеологическая пыль), бежать на берега Невы, где уже нашли себе место Оскар и Николай Троян.

Все поменяла наша с Норой неожиданная встреча на улице. Я вышел из облоно и отправился домой. Теперь я предпочитал идти по Торговой. Дорога по улице Льва Толстого была, конечно, короче, но она проходила мимо университета — теперь это было мне неприятно.

Впереди меня шла Нора — она тоже свернула на Торговую. Я не старался ее догнать — просто еще не научился ходить медленно, а Нора была не такой стремительной, как Фира. Она увидела меня и недоуменно спросила:

— Почему вы идете за мной? Вы хотите мне что-то сказать?

— Я иду не за вами, а с вами. В смысле — по одной дороге. И мне нечего вам сказать, Нора.

— Куда же вы направились? На базар?

— Что мне там делать? Я иду домой.

— Ваш дом на Пушкинской — это в противоположной стороне.

— Я уже не живу на Пушкинской, Нора. Моя квартира теперь на Южной. А ваша, разрешите узнать?

— На Раскидайловской, у Дюковского сада, если это вас интересует.

— Нам по пути. Впрочем, я могу обогнать вас, если вам неприятно идти со мной рядом.

— Идите рядом, — равнодушно разрешила она.

Мы молча прошли продовольственные корпуса Нового рынка и недалеко от Старопортофранковской я попрощался: мне нужно налево, а ей — прямо.

Она удивилась:

— Вам тоже прямо. Сразу выйдете на Южную к своему дому.

Я объяснил, что идти по Южной мне неинтересно: ни одного примечательного домика, сплошь двух- и одноэтажки. Я всегда хожу мимо немецкой кирхи — это настоящая поздняя готика. Нора сказала, что ей тоже хочется посмотреть на кирху. Она, разумеется, видела ее и раньше, но никогда не рассматривала — а сейчас ей это просто необходимо. Она читает «Коварство и любовь» Шиллера, ей хочется проникнуться духом немецкой жизни, а без знания архитектуры того времени это невозможно. Может быть, ей придется сыграть Луизу или саму леди Мильфорд. А может — ее служанку Софи. Нужно почувствовать,

по каким улицам эти женщины ходили, какими зданиями любовались.

Мы свернули налево. По дороге я сказал, что кирха близка мне еще и потому, что я почти год занимался в немецкой гимназии Святого Павла и в свободное время часто прибегал сюда — здесь играл толстый, всегда небритый органист. Мы с приятелем Вилли Биглером заслушивались его игрой. И еще я рассказал, что она сложена из ракушечника — из него построены самые бедные дома Одессы. Здания подороже (хорошие особняки и — особенно — дворцы) — кирпичной кладки. Ракушечник — тоже строительный материал, но для архитектурных художеств (лет через тридцать я, наверное, назвал бы их излишествами) он мало пригоден: порист, нестоек, тонких деталей из него не сделать.

— Но посмотрите, Нора, как великолепно вытесаны эти карнизы, балюстрады, эти витые колонны… Архитекторы и скульпторы кирхи были не просто вдохновенны — отчаянны, они брали не только мастерством, но и смелостью. Использовать для ажурных элементов самый негодный, самый грубый материал — для этого нужно быть очень уверенным в себе! Один поэт сказал: «…Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам».[147] Нет, поверьте мне, Нора: у людей, которые сто лет назад возвели одесскую кирху, был великий дух и высокие стремления. Правда, у них не было кирпича — его привозили издалека и стоил он дорого (а денег тоже не имелось). И они не побоялись бездуховного ракушечника — и создали из него одухотворенную красоту.

Мы обходили кирху, отдалялись от нее, чтобы понять ее в целом, приближались, чтобы потрогать… Нора вдруг призналась:

— Я боюсь оторвать от нее глаза, чтобы случайно не увидеть окружающих домов. Когда я смотрю на кирху, мне кажется: я в другом городе, а не в Одессе, даже в другом времени. И сама я тоже внезапно другая. Всматриваюсь в себя — и не узнаю. Смешно, правда?

Она улыбалась, но глаза ее были настороженными: она боялась, что я посчитаю это благоглупостью (а может, и просто глупостью — без смягчающего «благо»).

И я разразился речью.

— Да, Нора, да, вы испытали именно то чувство, какое стремились вызвать в вас строители кирхи, именно то настроение, которое они хотели породить. Вдумайтесь, Нора, в это сочетание: камень как воплощение духа! Я скажу вам так, Нора: каменные творения всего полней, всего совершенней выражают религию, ее мистику, ее абсолютную духовность. И это

только кажется парадоксом.

Вспомните античную архитектуру — невысокие, совершенные здания. Это сам рай, жилище богов — только выстроенное на земле. Греческие небожители вообще были очень земными — они немыслимы без своих мирских владений, без своих поместий. Ни один из них не уходил в заоблачную высоту, даже сам Зевс не взбирался выше земного своего угодья — Олимпа (очень небольшой, кстати, горы). А другие? Аполлон был помещиком на острове Делосе (его так и звали — Делосский бог), Гефест трудился в Сицилии, около вулкана Этны, Афродита царствовала на Кипре, Афина повелевала Микенами и Аттикой, Гермес хозяйствовал в Аркадии, Посейдон никогда не вылезал из морских пучин…

Строго говоря, как раз небожителями-то (в прямом значении этого слова) греческие боги и не были — они были повелителями, могущественными, многовластными, но даже на невысокий Олимп к Зевсу взбирались редко (обычно лишь по его прямому приказанию или на очередную пирушку). Они были настолько материальны, что почти небожественны — во всяком случае, абсолютного могущества у них не было.

Под Троей человек Диомед сумел поразить копьем Ареса, бога войны, и, по свидетельству Гомера, великого знатока божественного синклита,[148] рана была серьезной, бессмертный стонал и ругался. Греческая архитектура отвечала этим представлениям — она не отрывалась от земли, только украшала ее, превращала в истинную обитель богов.

Готика — совсем другое дело! Боги христианства, и Отец, и Сын, и воссиявший над ними Дух святой, покинули свои земные покои. Теперь их обителью стал рай, местечко где-то в неизведанной высоте, небесный феод верховного сюзерена. Их окружили верные крылатые слуги, девять ангельских ликокружий[149] — серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, начала, архангелы и просто ангелы, лишенные индивидуальных рангов. А к ним вскоре добавилась обширная когорта божественных вассалов — апостолов, великомучеников, страстотерпцев, угодников и прочих святых, удостоенных высшего блаженства.

Земля, у греков столь совершенно прекрасная, утратив своих богов и святых, стала греховной, ее населила нечистая сила разных рангов и категорий — от свергнутого с небесной высоты изменника, светозарного (в недавнем прошлом) Люцифера и его генералов — Велиала, Вельзевула, Бафомета, Азазеля до разночинных дьяволов, чертей, мелких бесов и местной нечисти — домовых, леших, водяных… Древние арабы боялись плевать на

землю, потому что, по их точным изысканиям, на Земле обитало больше трехсот миллионов зловредных духов: где гарантия, что плевок не попадет в одного из них и ты не обретешь мстительного врага?

В святцах у католиков значится около десяти тысяч святых, удостоенных обитания в небесных эмпиреях. Если бы составить не святцы, а сквернцы (если, конечно, можно так сказать) или грешнцы — для перечисления нечистой силы, то для их хранения потребовалось бы многоэтажное здание. Недаром в некоторых книгах пишут, что средние века — это вовсе не время победы Бога, это время отчаянной борьбы с одолевшим мир дьяволом и сонмищами покорных ему чертей и бесов.

Архитектура блестяще выразила дух религиозного средневековья. Человеческое сознание не могло удовлетвориться пребыванием в царстве смрада и греха — то есть на земле. Мысль стремилась в высоту. Именно готика стала материальным выражением этого стремления. Взгляните, Нора, — говорил я, — здания того времени почти отрываются от земли. Античное ее обожествление превратилось чуть ли не в отвержение. Достаточно посмотреть на уносящиеся ввысь готические башни, чтобы понять, где теперь истинная обитель Бога. Конечно, небоскребы современной Америки выше средневековых храмов. Но они только достигают неба, только скребут по нему, по-прежнему мирно покоясь на своих фундаментах, — а Кёльнский собор туда улетает. Американские высотки бездуховны. Это каменные дылды, архитектурные верзилы, тупые истуканы, громоздящиеся на земле, вспухшие на ней, но отнюдь не собирающиеся ее покидать. А полюбуйтесь этой маленькой одесской кирхой, Нора! Она ведь именно уносится ввысь, она вся — стремление в небо, порыв на высоту, окаменевшее страстное желание преодолеть свое земное пресмыкательство и ничтожество!

Я наконец замолчал. Я не был уверен, что Нора поняла все, — но с меня было довольно, что я высказался. Она задумчиво сказала:

— Вы, значит, любите готику… И представить не могла, что вы такой.

Я свел себя с готических высот на социалистическую землю.

— В каком смысле «такой»? Я вас не понял, Нора.

— Ну, как же? Вы преподавали диамат, правда? А диамат — материализм. И вдруг такое восхваление духа, такое преклонение перед божественным. Готика как стремление к заоблачному Богу, греческая архитектура как пребывание богов на земле…

Я смутился (я вовсе не хотел показаться ей религиозным!) и сухо ответил:

— Вы неправильно толкуете мои слова, Нора. Я преклоняюсь перед искусством. Божественное в нем — синоним совершенства, а вовсе не констатация личного присутствия некоего бородатого бога.

Она внимательно посмотрела на меня, не возражая, не споря, не упрекая и не опровергая. Она только сказала:

— Я теперь часто буду ходить мимо кирхи и думать о ее каменной красоте. Я завидую, что вы слушали в ней какого-то музыканта. А вы не знаете: орган сохранился?

— Думаю, его уже нет — здесь давно не проходят богослужения. — Мы пошли на Молдаванку. — Почему вы позавидовали мне, Нора? Вы любите музыку?

— Не знаю. Мне нравится слушать оркестр в парке. Я два раза была в опере — нас водила туда учительница. Было очень хорошо. Но настоящей музыки я не знаю. Одну меня мама не пускает, а никто из знакомых на концерты не ходит. А вы ходите?

— Стараюсь. Скоро к нам приезжает известный скрипач Мирон Полякин — непременно пойду. Хотите со мной?

Она посмотрела на меня с благодарностью.

— Спасибо! Только предупредите заранее, чтобы я успела приготовиться.

— А чего готовиться, Нора? Причесаться и одеться — вот и все.

Она засмеялась.

— Вы мужчина, вам не понять женских забот. Когда мама наконец примирилась, что я пойду в актрисы, она стала шить мне парадное платье. Но она очень медленно это делает — нужно ее поторопить, чтобы успела к концерту.

— За неделю предупрежу — этого хватит? Нора, можно задать вам один щекотливый вопрос?

Она нахмурилась.

— Наверное, почему я взяла имя Нора? Все об этом спрашивают. Захотела — и взяла. Что здесь особенного? В Одессу приезжал Виктор Петипа со своей труппой. Они играли всякие пустяки… Но был и серьезный спектакль. «Кукольный дом» — знаете Ибсена? Мне очень понравилась Нора. Я потом видела эту пьесу в нашем русском театре. Нора звучит красивей, чем Анна. Вот и все. У вас есть возражения?

— Никаких. Еще один вопрос. Как вы надумали идти в актрисы?

— Проще простого. Надумала — и все. Еще в школе пошла в наш театр, поговорила с артистом Алексеем Петровичем Харламовым. Вы о нем слышали?

— Я с ним даже знаком. Что он вам сказал?

— Посоветовал для начала попрактиковаться в студии при Доме культуры — там скоро начнутся репетиции «Коварства и любви». В пьесе четыре женских роли. Три из них я могу играть.

— Вы мне говорили — леди Мильфорд, ее камеристку Софи или несчастную Луизу. Скажите, Нора, а вам не хотелось бы сыграть Фердинанда? Было бы очень эффектно! В Ленинграде я видел в этой роли Юрьева. Конечно, Юрий Михайлович очень хороший актер, но для Фердинанда все же староват.

Нора или не поняла моей иронии, или пренебрегла ею. Она ответила очень серьезно:

— Мужчин я играть не буду. Может быть, мальчишку… Но у Шиллера нет мальчишеских ролей.

Мы пересекли Портофранковскую, за ней — Манежную, Садиковскую, Южную, Мастерскую, подошли к Конному базару. Нора молчала, я тоже. Потом осторожно заговорил:

— Еще один вопрос, Нора. И тоже о театре. Тося говорила, что из-за своих планов вы поссорились с другом. Еще не помирились?

Нора улыбнулась. У нее была хорошая улыбка — добрая.

— Помиримся! Он уже приходил просить прощения — его испугала моя голодовка. Но я хотела его покрепче помучить. Он хороший мальчик, Вова.

— Он согласится с тем, что вы станете актрисой?

— А куда он денется? Он же любит меня. И я его люблю. Он был лучше всех в школе — на других девочек и не смотрел. На выпускном вечере мы твердо решили пожениться, пошли в учительскую и поцеловались. Он сказал, что этот поцелуй будет залогом верности на всю его жизнь. Я тоже пообещала быть ему верной.

— А недавно прогнали за то, что ему не нравится жена актриса! И отказались выйти за него замуж, так говорила Тося. Не такая уж она и крепкая, ваша верность.

Нора нахмурилась.

— Очень крепкая! Я же не перестала его любить. И он пусть меня любит. Но мешать мне уйти в театр он не должен. Я не разрешу ему мной командовать.

У Конного базара, на котором давно не было коней — только немногочисленные старушки с морковкой и помидорами, Нора вдруг остановилась.

— Мы забрались слишком далеко — вам надо возвращаться. Так мы до самого моего дома дойдем.

— Ну, раз уж мы сюда забрели — пошли до конца. Мы миновали пустые ряды. Нора сказала:

— Вы спрашивали меня о моем друге. Разрешите и мне

задать нескромный вопрос. Почему вы с женой живете в разных городах — она в Ленинграде, а вы в Одессе? Тося не говорила, что вы разошлись.

Вопрос был простой, но ответить на него было сложно — слишком о многом пришлось бы рассказывать. Порой мне казалось, что я и сам не знаю всей правды. Я понимал одно: мы — Фира и я — вовсе не хотели расходиться. Нас связывала не только любовь, но и ребенок. Фира не говорила мне, как сказала через пятнадцать лет другая женщина: «Ты очень средний муж, хороший любовник и отличный отец». Но, еще не высказанная и не понятая, эта истина уже существовала: похоже, я тосковал по дочери больше, чем по жене.

Пришлось отвечать туманно:

— Так уж получилось, Нора. Во всяком случае мы с женой не собираемся расходиться.

— Тося так и говорит. Она знает, что вокруг вас было много хороших девушек, но вы ни с кем не встречались наедине. Я думаю как Тося, — неожиданно добавила Нора. — Мне кажется, вы не станете обманывать свою жену.

— Очень рад, что вам так кажется, — буркнул я. — Польщен вашей верой. Но вы не считаете, что мы завели очень странный разговор?

— Почему странный? Самый нормальный. Вы же меня спрашивали о Вове — значит, я могу спросить о вашей жене. А вот здесь я живу. Раскидайловская, 45 — запомните.

Это был типичный мещанский домик — такими заканчивались все улицы Молдаванки. Двухэтажный фасад, внутренний садик, вокруг которого тянулось одноэтажное жилье. Здесь начинались дальние городские окраины — Слободка-Романовка и Бугаевка. Где-то в Бугаевке жил Норин жених…

— До свидания! — Нора протянула мне руку.

— До скорого свидания. До завтра!

— Да, до завтра. А вы не забыли, что обещали сводить меня на концерт?

— Не забыл. Куда вы еще хотите сходить?

Она оживилась.

— А куда вы сами ходите?

— Во многие места, Нора. В оперу, в оба драматических театра — русский и украинский, еще в музей.

— Вот и хорошо! Никогда не была в музее. С радостью пойду с вами. — Она вдруг спохватилась и робко добавила: — Если пригласите. Со мной вам, наверное, скучно.

— Нет, не скучно. Скорей — забавно. Но есть одно осложнение, Нора. Ваш Вова, кажется, ревнив. Как он воспримет

наши культурные операции?

Она посмотрела на меня с недоумением.

— А как он может их воспринять? Он же должен понимать: вы женаты, любите свою жену и к тому же лет на пять старше меня. Ему нечего бояться!

— Вы правы, вы абсолютно правы. Удачно, что он такой понимающий, — это облегчит наши экскурсии.

Я возвращался домой — и посмеивался. Я сказал, что с ней забавно, — это было самое точное определение. Житейская наивность и знание Шиллера сочетались очень причудливо и до странности естественно — это покоряло. Впрочем, я не был уверен, что она правильно понимает своего жениха — вряд ли он был таким, как она рассказывала. Но меня трогало ее чувство к неведомому мне Вове. Такие девушки были редкостью на нашей грубой и невежественной Молдаванке.

Несколько дней я добывал билеты на концерт Мирона Полякина. Мне повезло: я нашел их у перекупщика. Концерт был назначен в зале Биржи.

Я предупредил Нору за несколько дней, платье было сшито. Мы условились встретиться на Тираспольской площади, на конечной остановке трамвая из Бугаевки и Слободки. Я пришел раньше, но ждал недолго — Нора не считала непременное опоздание особым женским шиком.

Она выскочила из вагона первой и побежала ко мне. Я восторженно присвистнул. Новое ее платье было нарядно и хорошо скроено. Нора, правда, была в том возрасте, когда девушкам идет почти все, что они напяливают на себя, — была бы фигура хороша и лицо миловидно. Но обновка не просто украшала Нору — она преображала ее.

— Что вы смотрите на меня как на диковину? — поинтересовалась она.

— Не смотрю, а засматриваюсь, — ответил я. — Вы сегодня неузнаваемы. Не просто хорошенькая (такая вы всегда), не просто красивая — а форменная красавица! От вас глаз нельзя оторвать.

Около Биржи уже толпились зрители. Бойко торговали перекупщики. На юге всегда хватало любителей всяческих представлений — залы, кино- и просто театры никогда не страдали от отсутствия людей. Приезд Мирона Полякина был событием — вся музыкальная Одесса собралась у роскошного здания.

Я поводил Нору по коридорам и фойе, показал бюст строителя Биржи итальянца Бернадоцци, рассказал, какие еще здания и храмы строил в прошлом веке этот зодчий.

— Ничего я не знаю, — огорченно сказала она, посмотрев

программку.

— Это и хорошо, — весело отозвался я. — Сегодня начнем ваше знакомство с серьезной музыкой.

Билеты наши были на первый ряд — здесь обычно располагались заслуженные и не очень молодые меломаны. Рядом со мной сидел профессор Варнеке, за ним — два известных в Одессе журналиста: театральный критик Ларго (именно так он подписывал свои статьи), и фельетонист с не менее странным псевдонимом д'Маллори. Они смотрели в нашу сторону — но не на меня, а на Нору. Вероятно, появление в первом ряду юной и красивой девушки показалось им необычным.

Концерт состоял из двух отделений. В первом — Сарасате, Паганини, Сен-Сане, еще кто-то (я уже не помню — кто именно), во втором — «Чакона» Баха.

Полякин заставил себя ждать. Зал немного пошумел, пока его не было, и с минуту поаплодировал, когда он вышел. Затем замолчал.

Я закрыл глаза: слушать Полякина было лучше, чем смотреть на него. Виртуозные пьесы Паганини были прекрасны, но они не так пробирали душу, как «Цыганские напевы» Сарасате, «Рондо-каприччиозо» Сен-Санса и равелевская «Хабанера».

В перерыве Варнеке сказал, обращаясь не то ко мне, не то к Норе:

— Великолепно, правда? Такой серьезный цикл для первого отделения — внушительно! Второе будет потяжелее: «Чакона» — не самая легкая пьеса.

Нора, похоже, была переполнена звуками — она даже пыталась тихонько напеть Сарасате. Я сравнил ее с Фирой. Ни я, ни Саша не могли затащить мою жену на концерты классической музыки, ее интересовали только стихи (причем драматические, а не лирика) и театр. А Нора вдруг стала рассеянной — ее интересовало лишь то, о чем рассказывала скрипка, остальное до нее почти не доходило.

Я, конечно, не раз слышал «Чакону» (как, впрочем, и все остальное, что играл Полякин). Не могу сказать, что она захватывала меня так же, как фортепьянные вещи Баха или его «Страсти по Матфею». А Нора была покорена. Если бы я аплодировал с такой же страстью, у меня бы вспухли ладони и появились мозоли.

Потом Полякин бисировал — по просьбам из зала. Нора крикнула ему (он раскланивался со сцены как раз над нами):

— А я хочу «Чакону»!

Полякин взглянул на нее и сыграл арию Эвридики,[150] переложенную для скрипки. Когда замолкла эта мелодия, одна из

самых красивых и печальных в мире, Нора снова крикнула:

— А я хочу «Чакону»!

Варнеке наклонился к ней и ласково сказал:

— Баховская «Чакона» не подходит для бисирования, девушка. На бис скрипачи подбирают вещи полегче. Это ведь конец концерта, Полякин устал.

Нора скосила на него глаза и ничего не ответила. Но когда Полякин снова появился на сцене, она опять крикнула:

— А я хочу «Чакону»!

Ее звонкий голос разнесся по всему залу. Я вдруг ощутил, что, став громким, он одновременно стал необыкновенно красивым, по-особому, захватывающе мелодичным. И это почувствовал не один я. Ларго и д'Маллори привстали, чтобы лучше разглядеть, кто кричит. Они улыбались — им нравилась и эта девушка, и ее просьба. В задних рядах тоже приподнимались. Смех заглушал аплодисменты. Полякин раскланивался, держа скрипку в опущенной руке.

Нора крикнула еще звонче:

— А я хочу «Чакону»!

Тогда Полякин наклонился в ее сторону и громко сказал:

— «Чакона», барышня!

Он сыграл ее, конечно, не целиком, только фрагмент, — но аплодировали ему дольше и горячей, чем за все второе отделение. И часть этого восторга предназначалась Норе. На этом концерт закончился. Публика, шумно беседуя, освобождала зал. Варнеке обратился к Норе.

— Поздравляю вас, девушка, вы добились удивительного результата. Полякин бисировал вещью, отнюдь для того не предназначенной. — Он повернулся ко мне. — Между прочим, в Одессу скоро приезжает другой отличный скрипач — Михаил Эрденко.

— Непременно придем! — быстро ответила Нора.

Мы возвращались почти не разговаривая, — она все не могла освободиться от музыки, а я не хотел ей мешать. Только у самого дома она вдруг спросила:

— Вы не сердитесь, что я за вас согласилась слушать этого нового скрипача… как его?

— Эрденко. Не только не сержусь — я даже обрадовался. Что будем делать до его приезда?

— А что вы предложите?

— Предлагаю пойти в украинский драматический театр. Там объявлено «Укрощение строптивой» Шекспира. Петруччио играет Шуйский, а Катарину, если не ошибаюсь, прекрасная Наталия Ужвий. Спектакль должен стать сенсацией, потому что Шуйскому

год или два запрещали играть — как украинскому националисту. Сейчас его простили — и он появится на сцене после долгого перерыва. Не знаю только, удастся ли достать билеты.

Достать билеты удалось. Зал был полон, в каждом ряду стояли приставные стулья, у стен теснились допущенные «безбилетники». Среди них были и строгие стражи порядка в неприметных костюмах — видимо, опасались националистских скандалов по случаю реабилитации Шумского. Но общественных дебошей уже никто не устраивал, время открытых (да и тайных) выступлений давно закончилось.

Зато театр порадовал сценической отсебятиной, очень сдобрившей текст Шекспира. Когда занавес поднялся, из-за кулис показался загримированный Шуйский и неторопливо прошелся по сцене, громко похлестывая себя плеткой по голенищам. Он ничего не говорил: появления Петруччио до пролога драматург не предусматривал и слов ему не дал, а словесной отсебятины Шумский себе не позволил. Он был хорошим актером — а может, побаивался нового наказания (оно могло оказаться похуже первого). Но хлесткая плетка говорила за него — и зал восторженно хохотал и бил в ладоши, пока Петруччио не прошествовал из левой кулисы в правую.

Нора была в восторге и от Шумского, и от Ужвий, а всего больше — от самого Шекспира. А я радовался, что доставил ей эту радость.

— Что теперь? — спросила Нора, когда мы прощались у ее дома.

— Теперь — три музея живописи. Буду знакомить вас с прекрасными полотнами великих мастеров. Я ведь ваш учитель. Надеюсь, не забыли, что я на шесть лет старше?

— Кажется, забываю, — засмеялась она. — Но это ничего не значит. Я готова быть вашей ученицей.

Мы начали не хронологически, не с картин прошлого века в Нарышкинском дворце, не с западных художников на Пушкинской, а с моего любимого нового русского музея — в основном «Мира искусства». Не могу сказать, что Нору покорили импрессионисты — но они разбудили в ней любопытство.

Как ни странно, большинство моих подруг не любили живописи. Фиру мне лишь раз или два удалось затянуть в картинные галереи — и то в Москве и Ленинграде (там просто необходимо было однажды посетить Эрмитаж, Русский музей и Третьяковку — без этого было невозможно считаться культурным человеком).

Нора хотя бы не отказывалась от музеев и всегда внимательно слушала мои комментарии — я был ей за это

благодарен.

Во второй половине лета началась компания командировок на село — на помощь в уборке урожая. Я получил месячное направление в уже знакомые мне херсонские и каховские степи. Перед отъездом Нора заявила, что должна отблагодарить меня за многочисленные приглашения на концерты, в театры и музеи. В одном из клубов облоно устраивается вечер танцев — она хотела бы пойти со мной.

— Но я не танцую, — сказал я с сожалением. — Как-то не сумел выучиться.

Нора (как, впрочем, и все остальные) сочла мое неумение танцевать непростительной виной — и тут же ее простила. Я пойду с ней, чтобы она не была одна. Я смогу развлечься. Будет много интересных женщин. Обещали прийти и ученики музыкальной школы, и хор народной песни — мне понравится.

Я не был уверен, что мне понравится народное пение, и я сказал:

— Почему вы не пойдете с вашим Вовой, Нора? Он, наверное, умеет танцевать?

— Он отлично танцует! Ходить на танцы с ним — это удовольствие. Но он нанялся на пароход и отправился в море. Приходится ограничиваться вами.

— Ладно, ограничивайтесь мной, — сдался я. — Но Вову я вам не заменю — учтите на будущее. Я не умею прыгать выше головы.

Не помню, каким был этот вечер. Наверное, интересным — шуму и толкотни было много. Гораздо больше, чем я способен спокойно снести. Нора мелькала в толпе. Звучала мазурка — и все взбрыкивали ногами, ее противоестественно сменял фокстрот — и все попеременно дергались и крались.

Видимо, Нора, хорошо танцевала — в перерывах около нее скапливалась парни, они выпрашивали следующий танец.

Я отвернулся от зала и присел у буфета с бутылкой пива. Ко мне подошла раскрасневшаяся, радостная Тося.

— Как жалко, что вы не танцуете, Сергей Александрович! Мне Нора говорила, что вы полный инвалид по этой части. Неужели вас не огорчает ваше неумение?

— Ни в малейшей степени. Я даже не смотрю на зал. Танцующие меня совершенно не занимают, Тося.

— Кроме одной женщины. Кстати, самой красивой. Надеюсь, вы согласны, что Нора — красавица? Я еще не видела ее такой прекрасной, как сегодня.

— В самом деле? Надо будет присмотреться.

Тося засмеялась. Она делала это очень заразительно. На ее

смех, даже не зная его причины, хотелось немедленно откликнуться — хотя бы улыбкой.

— Вы лукавите, Сергей Александрович! Вы же не отрываете от Норы глаз.

— Побойтесь бога, Тося. Я сижу к залу спиной.

— Неужели вы не замечаете, что непрерывно поворачиваетесь, чтобы увидеть ее в толпе? Вы смотрите только на нее, других вы просто не замечаете.

— Вот как? Что же это, по-вашему, означает?

Тося стала очень серьезной.

— Вы влюблены, Сергей Александрович. Я уже давно об этом догадываюсь. И вы ей кружите голову, вот что вы делаете. А ведь вы женаты!

19

Мы условились, что Нора напишет мне до востребования в Херсон, если случится что-нибудь важное.

Прошло недели две, прежде чем я сумел выбраться в город. Письмо от Норы уже ждало меня на почтамте. Она сообщала, что от Вовы, ушедшего матросом в южные порты Черного моря, нет ни слуху ни духу, она очень тревожится: не случилось ли чего с пароходом? Кроме того, Харламов наконец поставил в одном из районных клубов культуры «Коварство и любовь» и выпустил ее на сцену. Она готовила сразу три роли — но досталась ей только служанка Софи. Для начала достаточно, не будем заноситься, — сказал ей Харламов.

Нора упоенно извещала: успех был большой, много аплодировали, после спектакля вызывали трижды. Ее приняли даже лучше, чем профессиональных артисток, сыгравших Луизу и леди Мильфорд. Я, правда, заподозревал, что причина здесь не столько в таланте, сколько во внешности дебютантки, но благоразумно об этом промолчал — только горячо поздравил.

И про себя решил: вернусь в Одессу — немедленно пойду на «Коварство и любовь». Сам проверю, что больше действует на зрителей: талант, который со временем, по мере накопления мастерства, будет только разгораться, или красота, которая с каждым годом станет тускнеть.

Увидеть Нору на сцене мне не удалось, Харламов куда-то уехал, профессионалы, которых он привлек к своей постановке, тоже разбрелись — труппа распалась (как и всегда в полулюбительских театрах). А Нора только укрепилась в своем стремлении: дебют прошел отлично, он доказал, что иного пути у нее нет.

Шла золотая осень. Я провожал Нору после работы. Маршрут был привычным — он установился еще до поездки на село. По дороге я спросил:

— Куда же вы хотите поступать, Нора? Ограничитесь одесским театром — или замахнетесь на столичные сцены?

— Хочу в Москву. Алексей Петрович Харламов советует экзаменоваться в студию Художественного или Камерного театра — я хотела бы в Камерный. Художественной почти такой же бытовой, как Малый, — это не по мне. А вы как думаете?

— Камерный — самый интеллектуальный из наших театров. И там играет Алиса Георгиевна Коонен, есть у кого поучиться. Но я люблю Малый. Все-таки на него работал величайший из наших драматургов — Островский. Его поздние пьесы на общечеловеческие темы гениальны. Вы хотите поехать в Москву в этом году?

— Нет, сейчас уже поздно — поеду на следующий. Алексей Петрович даст мне характеристику. Но я не уверена, что она подействует.

— Конечно, подействует! Харламов — из старой гвардии провинциальных гастролеров, в столице его хорошо знают. Гастролировал даже такой великий актер, как Павел Орленев. Он приезжал к нам в Одессу, я видел его в ролях Освальда в «Привидениях» Ибсена и царя Федора в трагедии Толстого. Это было потрясающе!

— Я Орленева не видела, только слышала о нем, — сказала Нора с сожалением.

Мы прошли ее дом, углубились в парк, вернулись. Уже темнело, вечер был холодный, небо — в тучах. Я осторожно спросил:

— Как Вова отнесся к вашему дебюту, Нора? Он был на спектакле?

— Был. А потом сказал, что остается при своем: театр не та профессия, которую он хотел бы для своей жены. Я приказала ему уйти и не появляться, пока не переменит мнения. Он пока не вернулся. Правда, он опять ушел в море.

— Вы уверены, что он вернется?

— Уверена. Он же знает, что я его люблю.

— Любовь — это хорошо. Но для нее нужно непрерывное общение. Вы собираетесь уезжать, он — моряк… Как физически совместить Москву и Черное море?

Нора тяжело вздохнула.

— Каждый день об этом думаю. И ничего не могу придумать. Наверное, Вове надо переехать в Москву. Он переедет, он меня любит.

Мы шли по самой длинной и пустынной улице города — Балковской. Неожиданно на нее свернула лихо мчавшаяся телега. Нора вскрикнула и отпрянула. Пьяный возница захохотал, но на всякий случай стегнул лошадь: хотел поскорей скрыться с места, где чуть не задавил человека. Я успел схватить Нору, прежде чем она упала. И — задохнулся, потерял голос. Не от испуга (я крепко держал ее) — оттого, что она оказалась в моих руках.

Я внезапно сделал открытие.

Я, конечно, тысячи раз читал, что чувствуют мальчики, впервые обнявшие любимую женщину. Столько уже было сказано о трепете, охватившем обоих, когда их тела соприкоснулись! Это стандартно до пошлости — такое позволительно чувствовать, но говорить и писать об этом не стоит.

Но сейчас я пишу именно об этом — о смятении. Говоря о том, что я ощутил, я повторяю абсолютный штамп — но в моем чувстве не было шаблона! Я уже не был юнцом, млеющим от прикосновения к женщине (я давно не впадал в смущение даже при самых тесных соприкосновениях). В любви, в любой близости для меня не было открытия — только приятное повторение хорошо изведанного. Фира слишком часто и слишком надолго оставляла меня одного, чтобы я смог устоять против искушений. Меньше всего я был похож на шиллеровского рыцаря Тогенбурга, всю жизнь одиноко тосковавшего под окном недосягаемой возлюбленной. И вот я, опытный мужчина, потерялся как мальчишка. Я задыхался, сжимая Нору, я не мог разжать рук. Она резко высвободилась, испуганно посмотрела на меня.

— Что с вами? Вы так побледнели!

Я все еще не мог говорить — судорога не отпускала. Я притянул ее к себе, стал целовать. Она попыталась слабо оттолкнуть меня — потом обняла и начала отвечать на поцелуи. Она тоже перестала что-либо понимать: мы стояли на открытом месте — и нас мог видеть любой, кто появился на улице.

Спустя минуту я все же оглянулся — Балковская была пуста. Нора положила голову мне на грудь. Где-то опять загремела телега.

Мы наконец перешли улицу и постояли под куполом старого каштана. Голос ко мне еще не вернулся. Нора сказала:

— Мы себя плохо ведем. Как вы посмотрите в глаза своей жене? Что я скажу Вове, когда он вернется из рейса?

— Как-нибудь обойдется, — пробормотал я. Мы пошли к Нориному дому.

— Надо прощаться, — грустно сказала она.

— Надо прощаться, — тупо повторил я.

Она снова положила голову мне на грудь. Я снова стал

задыхаться.

— Я не хочу, чтобы вы уходили, — сказала Нора.

— Я не хочу уходить, — ответил я.

— Надо, — сказала она со вздохом. — Уже темно, мама будет тревожиться, что я задержалась.

Мы помолчали, прижимаясь друг к другу.

— Вам не хочется еще раз меня поцеловать? — тихо спросила Нора.

Нора

Я целовал ее долго.

— До завтра, — сказала она, оттолкнув меня. — Не знаю, как мы встретимся. Не приходите в канцелярию — я боюсь, что все увидят, как я краснею. Но домой мы опять пойдем вместе. Хорошо?

— Домой мы пойдем вместе, — ответил я, с трудом сдерживая рвущееся дыхание. — До завтра, Нора.

Я возвращался уже в темноте — Конный базар, сквер Петропавловской церкви… Я присел на скамейку. Было рано, мама и отчим еще не легли — я не мог с ними разговаривать. Я спрашивал себя: что произошло? Хорошее или плохое? Тося сказала, что я влюбился. Я влюблялся уже не раз — но то, что случилось у нас с Норой, непохоже на прежние увлечения. Прикосновения и поцелуи были теми же. Смятение мое — иным. Что это? Неужели любовь — та, на которую я не считал себя способным?

Самым трудным было удержаться и не зайти в канцелярию. Но я справился — я даже не приблизился к ее двери.

В конце рабочего дня я подождал Нору у выхода. Она с упреком посмотрела на меня.

— Ни разу не зашли, а я вас так ждала!

— Но ведь вы сами запретили мне заходить в канцелярию, чтобы вас не смущать.

— Я?

— Вы, Нора.

— Дура была! Куда мы пойдем, Сережа? Можно вас так называть?

— Нужно — и только так! Пойдем туда, куда вы хотите.

— Мне никуда не хочется.

— Тогда где-нибудь посидим.

В тот день мы выбрали сквер Петропавловской церкви, где я провел добрую часть ночи. С некоторых пор я полюбил это место. Небольшая церквушка, единственное ампирное здание среди культовых сооружений, стояла на пересечении Петропавловской и Южной, рассекая их пополам. Она восхищала меня своими чистыми пропорциями, своей отнюдь не византийско-славянской строгостью. Она была архитектурно изящна, художественно скромна — как ни одна другая церковь в Одессе.

Сейчас ее уже нет. После войны ее превратили в какое-то военное сооружение, закрыли вход в ее сад (стража у ворот даже на случайных прохожих поглядывала с подозрением). Потом — срыли, как и соседнюю Мещанскую церковь у пересечения Колонтаевской и Старопортофранковской, на стыке города и

Молдаванки. Это было время материального истребления религии. Южная и Петропавловская стали длинней, да и автомобилям было удобней — важное достижение цивилизации! Теперь приходилось увертываться от транспорта, а не любоваться. Впрочем, любоваться уже было не на что.

Мы допоздна просидели в сквере. В полночь я привел Нору домой.

Так начались наши ежедневные прогулки, наши ежевечерние встречи — теперь эта пытка терзала меня неиссякаемо. Зачем я все это делаю?

Я не узнавал себя. Когда-то я спокойно пообещал Фире, что никогда даже не попытаюсь завести любовь с девственницей. Я был уверен в своей мужской порядочности. Я не был монахом, даже на простую добродетельность меня не хватало — я не пренебрегал связями с женщинами, которые сами этого хотели. Но быть первым мужчиной в жизни девушки, чтобы потом бросить ее, я не хотел и не мог. И у меня уже были доказательства моей выдержки. Женщины были мне необходимы и желанны, я любил их. Но желанное и необходимое не равнозначно главному. А главным они не были. Я был уверен в себе, я знал, что темпераментен, но не похотлив.

И все это рушилось.

Я делал то, что считал непорядочным, — морочил голову девушке. Я не собирался расставаться с Фирой, бросать ребенка, которого я так хотел. И я не мог оправдать свое отношение к Норе любовью. Нет, любовь была, это знал я сам, это знала Нора. В этом чувстве не было голой похоти, оно оставалось чистым. Его нужно было прекратить, пока оно не зашло неотвратимо далеко — а Нора влюблялась все больше. Я всегда гордился своей волей, был уверен, что немыслима ситуация, из которой я не смогу выбраться, не потеряв самоуважения.

Но ситуация воистину была немыслимой. Я запутался в своих желаниях. Я тоже влюблялся — безрассудно и безоглядно. И мне не за что было себя уважать. Я твердил себе, что пора прекратить наши встречи — они могут принести горе и мне, и Норе. И каждый раз требовал их, спешил на них. Я ежедневно поражался собственной слабости и твердил про себя гамсуновскую формулу: «Это история Дидериха и Изелинды, которых Господь поразил любовью».

Внезапное горе на время прекратило наши встречи: в Ленинграде умер Оскар.

Сначала пришла телеграмма от Фиры: в городе — очередное осеннее наводнение, Ося промок и продрог. Он простудился, у него высокая температура. Спустя два или три дня мне принесли

вторую телеграмму: его увезли в больницу, он без сознания, врачи не ручаются за благополучный исход. Я метнулся к родителям Оскара. Они уже все знали. Нужно было срочно ехать в Ленинград. Но мать была слаба, отец сам лежал с температурой. Последняя телеграмма извещала: Ося умер — простуда, сепсис, острое воспаление мозга. Ленинградец выжил бы — но коренной южанин не привык к тому, что ветры Финского залива дуют совсем иначе, чем черноморские.

Родители умоляли привезти тело сына в Одессу. Я выехал в Ленинград. Мне удалось выпросить отпуск на несколько дней — это было все, что я мог сделать для Оси. В Ленинграде уже подготовились: Люся с Трояном достали свинцовый гроб, Фира с Борисом им помогали. Металлическую домовину поместили в обычную (или наоборот — уже не помню) и погрузили в отдельный вагон пассажирского поезда. Я уехал в тот же день. Фира пока жила у сестры. Дочка (ей исполнился год и два месяца) меня не узнала, но охотно лезла на руки.

Гроб прибыл в Одессу за несколько дней до ноябрьских праздников. Университет устроил торжественные похороны своему бывшему преподавателю. Смерть и посмертная поездка не изменили Оскара — он лежал светлый, черноволосый, с умным и тонким лицом.

На похоронах я шел вместе с Люсей — она тяжело опиралась на мою руку. Панихида, которая началась в университете, продолжилась на кладбище. Там собралось около пятисот студентов — процессия растянулась на два квартала. Последнее слово говорил я. Я сказал: Осе еще не исполнилось и двадцати пяти, он умер, только начиная жизнь. Он не успел сделать всего, для чего был предназначен. Но то, что он свершил, поражает: и талантом, и невыполненными обещаниями.

Я закончил бессмертными некрасовскими словами о Добролюбове (он умер в двадцать шесть, годом старше Оскара):

Не рыдай так безумно над ним!
Хорошо умереть молодым.
Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем,
Становись перед ним на колени,
Украшай его кудри венком!
Перед ним преклониться не стыдно,
Вспомни, сколькие пали в борьбе,
Сколько раз уже было тебе
За великое имя обидно!

— За его имя никогда и никому не будет стыдно, он сделал все для этого, — так я сказал.

А вечером написал Фире: «Помнишь, как он смеялся, когда я просил выбить эту надпись на моей могиле?

— Ты, Сергей, умрешь восьмидесяти лет, и тогда я напишу эти строчки.

Нет, не думал я, что мне придется читать эти стихи над ним. Решено, они будут на его памятнике!»

Не получилось. И памятника не возвели, и могилу снесли, да и само кладбище стерли с лица земли. А вместо него устроили какой-то военный полигон. «Смертию он смерть попрал!» — радовались древние. «Уничтожу и след о бывших смертях!» — грозили мои современники. Великое продвижение вперед!

А я не просто дожил до восьмидесяти, я почему-то перешел этот рубеж — мне идет восемьдесят четвертый. И, вероятно, единственной памятью о прекрасном юноше Оскаре Розенблюме, умершем бездетным, будут эти скорбные строчки о том, что некогда он блестяще и бесплодно просуществовал свою короткую жизнь и я был его верным другом.

Мы возвращались с Люсей молча, рука об руку.

Спустя несколько дней я пошел на могилу Оскара. Я сидел около нее один, думал о нем и о себе и томился от того, что был живым в царстве неисходно мертвых.

Я должен подробнее рассказать об этом чувстве — оно обусловлено разницей между иудейскими и христианскими погостами.

Наверное, это не очень обычно — но я с раннего детства, со смерти брата Вити, любил кладбища. Конечно, христианские, причем безразлично, какой церкви — православной, католической, даже лютеранской (отчасти).

Среди могил — с их памятниками, деревьями и цветами — мне было хорошо и спокойно. Они были украшены статуями и вделанными в камень иконами и фотографиями, их осеняли пирамидальные тополя, прикрывали широколистные каштаны и платаны, кусты сирени и роз, они благоухали, наполняли слух мягким шумом ветвей и листьев… В них не было горечи вечного ухода — только радость продолжающегося присутствия. Думаю, это происходило оттого, что предчувствие вечности было внедрено не только в души. Кладбища знаменовали собой не провал в вечное небытие, а выход в новое, райское существование — скорбь по поводу ухода перекрывалась радостью вечного блаженства. Нарядность и благолепие, парадоксально названные вечным упокоением, — вот что отличало хорошие городища мертвых. Грусть здесь была неотделима от радости, временное

отчаяние — от вечного блаженства. «Печаль моя светла» — эта пушкинская формула, вероятно, полней всего выражает смысл христианства.

А мне, мальчишке, было не до философской сущности религий — я просто радостно бродил в тенистых аллеях и сиреневых переулках междумогилий, дышал запахом роз и белых акаций. А потом приводил сюда подруг. И за всю свою жизнь сделал, вероятно, единственное исключение — с Норой я на кладбище не ходил. И только один раз, больше шестидесяти лет назад, почувствовал не светлую сопричастность вечности, а вполне современную досаду, если не прямое негодование.

Это было летом не то 1931-го, не то 1932 года. В стране продолжалась «золотая лихорадка» (я о ней уже говорил) — золото выискивалось, вытаскивалось, выжималось и выбивалось из каждого, на кого падало подозрение. Из людей его вроде бы полностью выдавили — пришла пора добывать из могил. Не знаю, как в других городах, но в Одессе начали грабить кладбища.

Это называлось очередным достижением в деле строительства социализма. Ценности, бесполезно (так утверждали газеты) хранившиеся в гробах, отправляли на переплавку (это было материальным подспорьем промышленности), сокровищами могил пополняли оскудевшие подвалы Госбанка. Грузовиками вывозили и сдавали в металлолом железные ограды и бронзовые изваяния, снимали мраморные памятники. Не забыли привлечь и тех, кого называли общественностью, — чтобы предохранить от индивидуального разграбления то, что должно было разграбить коллективно.

В одну из таких комиссий включили и меня. Я выдержал раскопки только дважды.

В Одессе в те годы было два города мертвых. Первый, старый, заложенный в незапамятные времена, начинался от Привоза и тянулся больше чем на километр. Сколько помню, он делился на несколько кладбищ: первое православное, которое занимало три четверти могильной территории, за ним, отгороженное кирпичной стеной, шло первое еврейское, а завершалось это общежитие покойников караимо-магометанским упокоением, вплотную примыкавшим к гигантскому чумному могильнику — знаменитой Чумке.

К евреям и караимо-магометанам я не ходил — это были мрачные места, лишенные даже намека на парадность. А у христиан бывал часто: кладбище это примыкало и к городу, и к Молдаванке. В мои годы на нем уже не хоронили, да и на излете империи чести оказаться здесь удостаивались немногие — только аристократы, крупные чиновники и богачи. Если уж понадобилось

искать схороненные в земле сокровища, то это нужно было делать именно здесь.

Разбивали, сколько помню только склепы и хорошо украшенные могилы — остальные сравнивали с землей и утаптывали. Среди членов комиссии, кроме обязательных сотрудников ГПУ (еще недавно оно называлось ЧК) и чиновников Госбанка, обычно присутствовали и знатоки старой Одессы, помнившие, кто в какой могиле захоронен. Среди них выделялся профессор Варнике — вероятно, лучший историк города. Говорили, что иногда приходил и старик Дерибас (в честь его деда была названа самая известная одесская улица) — но я его не видел.

В первый день вскрывали богатый склеп. Ничего особенного — несколько мужских и женских скелетов. Но палец одного из них был плотно замотан — ткань давно превратилась в лохмотья. Похоже, мертвеца похоронили с перебинтованной рукой…

Лохмотья убрали — и обнаружили прекрасный перстень с кроваво-красным камнем. Варнеке тут же объявил, что это знаменитое кольцо, на котором лежит древнее заклятье: все, кому оно принадлежит, погибают насильственной смертью. Проклятый перстень привезли не то из Венеции, не то с Востока, в Одессе он пробыл недолго, но успел сменить несколько хозяев — и каждому приносил только горе. Но за ним все равно охотились — красивый и дорогой, он привлекал и своей мрачной славой. В середине прошлого века кольцо бесследно исчезло — и вот теперь нашлось: последний его владелец скрывал свое сокровище под обыкновенным бинтом, чтобы не возбуждать опасного любопытства. Правда, неизвестно, спасло ли его это от проклятия…

Представителя Госбанка угрюмые перспективы не испугали — он изъял перстень из рук Варнеке и сунул его в специальный банковский мешок с замком.

Вскоре по Одессе прошел слух, что какая-то богатая американка, прельстившись грозной репутацией кольца, купила его у Госбанка за тысячу долларов (огромная по тем временам сумма!). К сожалению, никто так и не узнал, сошла ли ей эта покупка с рук или упрямый перстень выполнил завещанную ему зловещую роль.

На второй день разрушали склеп Федора Федоровича Радецкого, генерала от инфантерии, который прославился в русско-турецкую войну. Он защищал Шипку — горный перевал, на который наступала турецкая армия. Это он, Федор Федорович, в зиму 1878–1879 годов, в дни самых ожесточенных сражений, посылал в Россию лаконичные телеграммы «На Шипке все

спокойно!», ставшие чуть ли не народной поговоркой. Погребли его в роскошном семейном склепе, окруженном кованой оградой, с трофейными турецкими пушками по углам. Естественно — со всеми орденами и наградами, главной из которых была жалованная Александром Вторым золотая сабля с эфесом, усеянным бриллиантами. И ордена, и золотое оружие были немедленно изъяты — мне удалось лишь мельком взглянуть на них. Гробы Радецкого и его родных выносили из склепа, когда я уже ушел.

В те годы я был горячим сторонником социалистического строительства, рьяным исполнителем всего, что могло пойти на пользу первой пятилетке. Разграбление могилы Радецкого явно шло на пользу — одна золотая сабля с бриллиантами тянула на целый цех. Мне бы поприветствовать «прогрессивное мероприятие» — так это именовалось на птичьем языке тогдашних газет. Но, против собственной воли, я почувствовал себя оскорбленным: мне стало обидно за храброго генерала, снежной зимой, в горах, сдерживающего с кучкой солдат войско турок — чтобы не допустить их на только что освобожденную от многолетнего турецкого владычества болгарскую землю.

Больше на разграбление первого христианского кладбища я не приходил.

Очищенное от склепов и памятников место загладили и — вместе с неизъятыми гробами — отвели под общественные развлечения: часть отдали зоопарку, часть — парку культуры и отдыха имени Ильича.

Когда-то в древности дикие всадники Джебе и Субудая,[151] положив доски на плененных при Калке славянских князей, пировали на них, пока русичи не погибли. Но жестоким татарам и в голову не пришло назвать эту расправу «культурным мероприятием». И дело не в том, что они просто не знали таких слов. Они мстили побежденным — и не собирались этого скрывать.

Мы в Одессе тоже плясали на телах — правда, бывших, но это ничего не меняет. Да разве только в Одессе? Презрение к тем, кто умер, стало важной особенностью нашей высокой культуры. Когда-то великий преобразователь человеческой морали запальчиво провозгласил: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Вряд ли он отчетливо предвидел, что воспоследует из его неосторожного призыва. Умершие не вставали из могил, чтобы похоронить новоприбывших, — это все же оставалось на долю живых. А они, живые, мстили своим родным за то, что те умерли, — и спустя некоторое время устраивали на могильниках торжища и танцплощадки.

Я пишу это в городе, в котором на старом немецком кладбище разбили очередной парк культуры и отдыха, знаменательно присвоив ему имя Калинина — одного из самых бездарных и трусливых советских руководителей. А в Норильске, где я прожил почти двадцать лет, безымянные захоронения заключенных, не обозначенные даже простыми холмиками, стали фундаментами новых жилых домов. Это мы, причудливо сплавив культуру и отдых в нечто целое, стали считать культурой измывательства над телами собственных предков, а отдыхом — веселые танцы на их костях.

Но я опять отвлекся.

Я уже говорил, что не ходил ни на еврейские, ни на мусульманские кладбища. Когда мы хоронили Оскара, я не обращал внимания на могилы, мимо которых двигалась процессия. Сейчас, когда я был здесь один, они теснили меня, они преграждали мне дорогу. И я впервые ощутил, какая огромная, какая непереносимая разница между этими двумя упокоениями — христианским и иудейским. Здесь не было зелени, не было цветов — одни надгробья и памятники. Не светлое ожидание — ужас безысходности разливался в воздухе.

Мраморные и гранитные фигуры были закутаны в покрывала — символы вечного, непреходящего горя. И я остро и болезненно понял, что в душах людей, нашедших свой последний приют под этими надгробиями, никогда не было надежды на воскресение, мечты о новом, блаженном существовании, о рае, который должен сменить утерянную землю. Здесь не было будущего — только вечный конец, абсолютный провал в небытие, неизбывное невозвращение. Все было тихо на этом кладбище без лиц и цветов — и все безмолвно вопило о мучительной скорби, все было единым ее ликом.

И это отчаянье, исходившее от каждого памятника, вошло в меня и стало разрывать мне сердце. Мне еще многое предстояло пережить — но первое горе, первое осознание неотвратимости пришло ко мне именно там, на могиле Оскара, когда я понял, что мой лучший, мой самый близкий друг ушел от меня действительно навсегда.

И я заплакал, закрывая лицо руками, — точно так же, как закрывали их покрывалами мраморные и гранитные фигуры, толпившиеся вокруг.

20

Осенью 1934-го произошло много важного. Были и глобальные события, были и мелкие эпизоды, которые касались

только меня.

Мне сообщили, что обком партии сменил гнев на милость. Чарова, заместительница (или помощница?) Беляева, объявила: мне разрешают вернуться к преподаванию диамата в каком-либо институте, где кафедрой заведует идейно проверенный профессор.

Я встретил профессора Арнаутова и рассказал ему эту новость.

— Отлично. Идите ко мне, — предложил Арнаутов. — Мне давно нужен помощник. Формально вы будете ассистентом, но дело не в должности. Я дам вам самостоятельный курс. Я так занят на другой работе, что мне часто приходится пропускать занятия.

Не могу сказать, что он меня осчастливил. Когда меня прогоняли из института, я уже сам имел трех ассистентов — Когана, Кандея и Морочника. Отношения с Кандеем и Коганом прервались сразу — больше я их не видел. А с Семеном Морочником мы встретились после войны — он в это время профессорствовал в Ташкенте и написал большой и, по-моему, скучный трактат об Омаре Хайяме. Он был женат на Лиде Гринцер, подруге моего и Фириного детства. У них был сын — специалист по метеорной астрономии.

Я посчитал, что, уж если меня простили, как-то зазорно возвращаться в науку всего лишь ассистентом. Но выбора не было — главным все-таки стало прощение. К тому же — серьезный аргумент! — меня пригласил именно Арнаутов.

Собственно, ученым в полном смысле этого слова он не был — его, как почти всех одесских диаматчиков, просто выдвинули на этот предмет, так и не ставший настоящей наукой. Зато он был хорошим человеком, профессор диамата Арнаутов, до революции — видный эсер, после — коммунист, невысокий, плотный, типичный украинец, с хохлацкими усами, с неистребимым акцентом, умный, хитроватый «щирий дядько».[152]

В обкоме его не очень жаловали (все же бывший эсер) и систематически посылали в сельские командировки — распутывать непрекращающиеся затруднения и завалы. То ли потому, что он лучше всех знал деревню и мог сориентироваться на месте, то ли потому, что терпеливо поджидали, когда он поступит не по-нашему, не по-большевистски — и можно будет со спокойным сердцем гнать его из партии. В нем угадывали если и не чуждое дело (он был осторожен), то чужой дух — вполне достаточное основание для расправы. Точно не знаю, но думаю, что он не пережил тридцать седьмого года.

Не помню уже, в каком институте преподавал Арнаутов, как

не помню, удалось ли мне прочитать хоть одну лекцию.

Первого декабря 1934 года и входившее в моду радио, и все газеты разнесли по стране весть: в Ленинграде убит первый секретарь обкома, член политбюро Сергей Киров. В тот же день всех потряс новый закон, выпущенный с неслыханной еще спешкой: террористические преступления против руководителей государства расследуются немедленно и наказание, без права апелляции и помилования, только одно — смертная казнь.

Но кто убийца Кирова? Сообщили о расстреле нескольких десятков старых аристократов. Значит, преступление совершили недобитки старого режима? Даже дебилам такое предположение показалось немыслимым.

Новое сообщение (правительство словно спохватилось, что совершило ошибку): виновны зиновьевцы и троцкисты, а не царские служаки, — и новые сомнения. В двадцатых годах Киров, конечно, свирепо расправился с ленинградской партийной оппозицией, но ведь возглавлял эту борьбу не он, а Сталин. Почему же удар нанесли по второстепенному противнику? К тому же всем, кто интересовался партийными делами, было известно: в годы первой пятилетки Киров приближал к себе и царских специалистов, и энергичных деловых людей из бывшей оппозиции. Уничтожать его было явно во вред самим себе. Недавние оппозиционеры были лицемерами — но в глупости их вряд ли можно было обвинить.

Все эти сомнения быстро рассеял ураган, взметенный против так называемых троцкистско-зиновьевцев. Их выискивали и вытаскивали на публичный позор — только (пока!) не истребляли физически. «Вывести — как тараканов, укрывшихся в щелях!» — так это красочно формулировалось в газетах. Казалось, на время позабыли о всех других врагах: остатках старой аристократии и чиновничества, сельских кулаках, городских продавцах и лишенцах, бухаринцах, промпартийцах, передельщиках и недоделыциках, верующих в бога и не верящих в вождей — в общем, всех не наших людей, которые составляли, наверное, три четверти страны. Истребляющий луч временно был сфокусирован только на тех, кого отметили клеймом троцкистско-зиновьевца.

Я был заклеймен еще до убийства Кирова — и, естественно, предназначался на расправу.

Она началась с того, что спешно отменили мое прощение. До меня дошло, что Чарова чуть ли не клялась: она и не думала его возвещать, я сам решил себя простить и обманул легковерного Арнаутова. Я принял эту новость сравнительно спокойно. Я начал сомневаться в себе: а смогу ли я преподавать диамат, который все больше отдалялся от философии в сторону примитивной

пропаганды? Я по-прежнему искренне считал себя философом, превращаться в агитатора и пропагандиста — это было не по мне. Я все резче восставал против любого интеллектуального принуждения. Я освобождался — новое отстранение от преподавания уже казалось мне естественным, чуть ли не желанным.

Но мне было стыдно перед Арнаутовым — он мог поверить Чаровой! Я испугался: а не повредит ли этому хорошему человеку опасное общение с таким заклейменным типом, как я? Я не встречался с ним, не знаю, как сложилась его жизнь. Но меня долго мучила мысль, что он может вспоминать меня недобрым словом.

Второй удар судьбы формально был менее значительным, но гораздо более болезненным. Меня уволили из облоно.

Увольняли не одного меня — и не только из облоно. Везде вылавливали и травили заподозренных в троцкизме. Это называлось вполне благородно: очищение трудовых рядов от недостойных и неблагонадежных.

В самом начале этой кампании я попал на профсоюзное собрание, где выводили на чистую воду кого-то из областных руководителей. Одним из обвинителей был не то секретарь партячейки, не то просто видный партиец, еще нестарый, но, как говорили, из подпольщиков. Троцкистско-зиновьевец, подавленный и мрачный, сидел в президиуме, разоблачитель бесновался на трибуне. Меня потрясла его ярость: он не столько клеймил, сколько проклинал своего (судя по всему) начальника. Он не говорил, а кричал, часто вытирая губы, — их заливала слюна. А потом обвиняемый каялся во всех грехах, и обвинял себя, и от себя открещивался…

Все это было отвратительно до тошноты. Я еще не задавался целью точно установить, сколько в этих дикарских разоблачительных кампаниях правды, а сколько лжи, — это была задача будущего. Но что искренности в обвинениях и оправданиях было поровну, стало ясно сразу. «Какие лицемеры! — твердил я себе. — Нет, какие трусливые лицемеры!»

Лет через четырнадцать-пятнадцать я повстречал того секретаря партячейки в Дудинке — уже старика, смертно подавленного, в полусмерть отощавшего, в драни, иронически именуемой «внесрочным обмундированием». К тому времени я уже отмотал свой десятилетний срок, а он, видимо, получил побольше десятки — и еще не сподобился воли. Я уставился на него — он испугался моего испытующего взгляда. Похоже, он мучительно старался вспомнить, кто я и откуда его знаю. Я хотел было сказать ему наше общеупотребительное: «За что боролся, на

то и напоролся», но удержался. Я не исповедовал мстительного правила «Лежачего не бьют, а втаптывают в землю». К тому же я сам был из лежачих.

А тогда, в грозные декабрьские дни 1934-го, я ждал, что и меня подвергнут шаманскому ритуалу с неистовым камланием, перезвяком критических бубенцов и лихим скаканием вокруг моих идейных грехов.

Запорожченко часами пропадал у Литинского и Солтуса — и никому не говорил, о чем талдычит с ними в закрытых кабинетах. Иногда он брал с собой составленные мной таблицы.

Проницательная Полевая как-то сказала:

— Подбирают к вам ключи. Хотят пощадить — не наказывать за старые грехи, а подыскать какие-либо новые упущения. Это все-таки лучше, чем обвинение в троцкизме. Литинский к вам хорошо относится: он собирается не казнить вас политически, а уволить служебно. Вот Запорожченко и выискивает непорядки в вашей работе.

Вероятно, она была права. Казни меня не подвергли. Меня даже не вызвали на общегражданское собрание с конкретными обвинениями и требованием публичного покаяния. Я готовился именно к такому повороту событий — и твердо знал, что на этот раз не поддамся, не признаюсь в не совершенных мной грехах. А там пусть будет, что будет — совесть моя останется чистой.

К счастью, ничего похожего не произошло. Начальники облоно уберегли меня от очередной расправы. На доске объявлений появился короткий приказ, что меня освобождают от должности плановика за погрешности в служебной деятельности. Что это за погрешности, ни в приказе не упомянули, ни мне не разъяснили. Даже двухнедельного выходного пособия и продовольственных карточек не лишили!

На какое-то короткое время я мог не заботиться о своем материальном бытии, по прописи — определяющем мое сознание. Но у нас мало что совершалось по правилам. Именно идеология и сознание определяли, задавали, диктовали реальную жизнь — причем делали это в самой что ни есть грубой материальной форме.

И я стал безработным — в стране, где безработных по определению не было.

Перед уходом из облоно у меня вдруг появился знакомый — впрочем, сам он рекомендовался моим давним другом. Это был один из облоновских консультантов. Имени его не помню. Моего роста, с неопределенным голосом и еще более неопределенным полноватым лицом. Типичный одессит — с лексикой бугаевского жлоба.

Он поведал, что давно и скорбно следит за моими несчастьями. Его цель — помочь мне и утешить меня. Он провожал меня после работы домой, расспрашивал, здоров ли, спокойно ли сплю, не впадаю ли в отчаяние… Попутно любопытствовал, как я отношусь к Есенину: у этого поэта, конечно, есть отдельные хорошие строчки, но в целом он все-таки апологет враждебного социализму кулачества — не правда ли? И еще его интересовало, как поведут себя троцкисты теперь, когда товарищ Сталин разоблачил их как передовой отряд международного империализма. Что я думаю на этот счет?

Он явно напрашивался ко мне домой. Я отговаривался: отчим болен, ему не до гостей. Мама часто говорила, что в детстве я был мальчиком умным, но простодушным и очень наивным. От наивности я избавился не полностью, но дураком все же не был. У меня на полках стояли и полное собрание сочинений Троцкого, и язвительные антисоветские карикатуры сатириконца Реми, и «Философия эпохи» Зиновьева, и книги Бухарина, Радека… А рядом — многотомник философских трактатов под отнюдь не социалистическим названием «Творения святых отцов западных». Но самой опасной была крохотная, в четыре странички, брошюрка 1918 года на синей плотной бумаге, в какую до революции завертывали сахарные головы, — «Л.Д. Троцкий — вождь и организатор Красной Армии» — с крупно выведенной на первой странице фамилией автора: И.В. Джугашвили (Сталин). Показывать эти сокровища настойчивому и неожиданному моему другу значило рисковать головой. Я еще не дошел до того, чтобы прятать книги, но уже не хвастался ими.

Незадолго до увольнения из облоно мой незваный опекун мрачно разоткровенничался:

— До меня дошли сведения, Сергей, что Литинский и наши партийцы намерены устроить тебе партийную проработку. В общем, жди гражданской казни. Говорю это тебе по-дружески, чтобы ты приготовился. Уже составляют список ораторов, назначенных принципиально тебя затоптать. Мне тоже предлагали.

— Ты согласился?

— Сергей! За кого ты меня держишь? Я же знаю, что ты абсолютно наш человек. Обещаю тебе самым честным словом, что буду молчать, что бы о тебе ни говорили. Ни одного слова против не скажу — как твой истинный друг. Можешь не сомневаться в моей порядочности, я не предатель.

Казалось, он говорил это искренне.

После того как вывесили приказ о моем увольнении, он перестал приставать ко мне со своей дружбой.

Когда спустя почти двадцать лет я думал, остаться ли мне в Норильске или убраться куда-нибудь в сибирскую глушь — подальше от хорошо меня изучивших местных «органов», мой добрый знакомый, начальник отдела кадров медного завода Петр Лепешев во время очередной нашей пьянки горячо убеждал меня:

— Сергей, как твой друг… Немедленно сматывай удочки! Добром это не закончится. Ты знаешь, я часто к ним хожу — все же отдел кадров… Там заканчивается второй том доносов на тебя. И кто пишет? Лучшие твои друзья!

— И ты тоже, Петя?

— Я — нет. Зачем? Но дело идет к новому аресту, можешь мне поверить — как честному человеку. Беги, иначе судьба тебя настигнет!

Судьба меня (по странной терминологии Лепешева) не настигла — умер Сталин. И в Норильске все же преобладали открытые друзья, а не тайные информаторы — только там, в лагере и ссылке, я убедился, что порядочных людей все же больше, чем подонков. А припомнил я это к тому, что мой новоявленный одесский друг 1934 года был, вероятно, первым из тех, которые усердно создавали тайную литературу, посвященную мне, — думаю, сегодня она состоит не из двух, как на Севере, а из доброго десятка томов.

К довершению всех моих неудач меня стала крутить малярия.

Судя по всему, я заразился во время летней сельской командировки. В окрестностях городка Голая Пристань комаров было видимо-невидимо. К удивлению врачей, болезнь проявилась не в конце лета (когда — по всем медицинским законам — ей полагалось возникнуть), а лишь зимой, на несколько месяцев позже срока. Зато сразу — свирепо, без всякой раскачки. Она называлась трехдневной: двое суток я был на ногах, на третьи валился в постель. Температура взлетала — как на воздушном шаре. Во время приступов она зашкаливала за сорок градусов, однажды дошла до 41,2°. Я потом даже гордился, что несколько часов меня жег такой краснокалильный жар — а я все-таки выжил. Хинина, нормального антималярийного лекарства тех лет, в аптеках не было, выдавали какой-то акрихин. Он был малоэффективен — и от приступов почти не предохранял.

Со временем, в Ленинграде, я вообще перестал его принимать — мне понравились мои припадки. Если они были особенно сильными, я обычно терял сознание — ненадолго, на час-другой. Но перед этим у меня начинались видения. Я еще различал, хотя уже не очень отчетливо, свою комнату, людей, мог отвечать на простые вопросы — и одновременно все больше уходил в мир призраков. Вселенная переворачивалась на голову, красочно

вертелась, бешено проносилась мимо, скульптурно замирала… Мир обалдевал, сходил с ума. И я свихивался вместе с ним. Я становился атомом этого великолепно спятившего мира, сливался со всем, что носилось вокруг меня. Я никогда не пробовал наркотиков. Но приступы действовали наркотически. Я превращался в малярийного наркомана.

Впоследствии, уже по совсем другому поводу, я написал стихи, где изобразил этот призрачный мир. Они очень понравились моему другу Льву Гумилеву — правда, он воспринял их как факт философии, а не как результат нападения малярийных плазмодиев.

Вселенная играла дикий туш.
И, распадаясь, стал всем миром в сумме я.
Безумие — всесопричастность душ.
Так вот — то было, видимо, безумие.

На другой день после приступа я чувствовал себя совершенно здоровым — нормально разговаривая, нормально мыслил, нормально работал.

Впрочем, то, чем я занимался после увольнения из облоно, нормальной работой назвать трудно.

Тогда я впервые понял, насколько справедлива поговорка «Мир не без добрых людей». Легко быть хорошим, если тебе это ничего не стоит, — но, собственно, о какой особой доброте можно здесь говорить? В моем случае все было по-другому.

Я остался без работы. Пойти рабочим на завод мешали и гонор, и малярия. В Ленинграде Фира с дочерью ждала денег — а у меня их не было даже на еду. Мной медленно, но неотвратимо овладевало худшее из отчаяний — отчаяние неотвратимости.

Мне помог человек, с которым я не был знаком (я только слышал о нем), — Полевой, муж моей бывшей сослуживицы, директор центральной научной библиотеки Одессы. Наверное, его попросила жена, — она всегда ко мне хорошо относилась. Он неожиданно озаботился образованием своих сотрудников — и организовал курсы повышения знаний, пригласив единственного преподавателя — меня. Собственно, в этом не было ничего удивительного: такие ликбезы устраивались на многих предприятиях, но читали на них лишь идеологические и политические предметы — правительство было уверено, что только они стоят затраченных денег. Но идеология и политика были мне запрещены. А физику, математику и биологию библиотекари знали и без меня — все они имели среднее, а некоторые и высшее образование.

Полевой придумал единственный предмет, совершенствование в котором хотя и не было необходимым, все-таки могло пригодиться — занятие им не попадало под запрет свыше. Это была физическая география. Я, естественно, не был в ней специалистом — но не боги горшки обжигают, тем более Полевой подобрал для меня хорошие книги — и специальные трактаты, и ходовые учебники.

На некоторое время я был избавлен от угрозы голода — я даже смог кое-что послать Фире.

Но с нового года созданные специально для меня (во всяком случае, так мне сказала Полевая) курсы прекратили свое существование. Я снова — и уже окончательно — стал безработным.

Не знаю, почему я не попытался устроиться в школу (я собирался это сделать еще во время первого шельмования). Возможно, в середине учебного года не было вакансий. Может быть, мешала малярия: все-таки трудно вести урок при температуре за сорок.

Я снова вернулся к мыслям о литературе, написал большой кусок повести «Пионеры» и начало давно вымечтанного романа о Варламове. Но какими бы сильными ни были страницы, повествующие о том, как голодала моя страна, проблему моего личного голода они решить не могли. К тому же до первого появления в печати моей писанины оставалось двадцать с лишним лет (я, конечно, этого не знал — и все же…), а есть хотелось уже сегодня.

Экклезиаст утверждал, что за временем разбрасывания камней приходит время их собирать. Я решил подойти к этой проблеме с другой стороны. За моими плечами были пять лет усердного собирания книг — пришла пора отделываться от собранного. Я зачастил в комиссионные магазины.

На продажу были предназначены самые дорогие книги. Не для меня дорогие, разумеется (эти я оставлял) — дензначно. Роскошные издания Брокгауза, полные собрания великолепно иллюстрированных сочинений Шекспира, Шиллера, Пушкина, обоих Толстых. Я расставался с ними без особой боли — на моих полках стояли те же самые стихи, пьесы и романы, просто изданные куда скромней. Я, конечно, был усердным книголюбом — но отнюдь не библиофилом, я читал книги, а не любовался ими. Ни редкость издания, ни роскошь оформления меня не покоряли — только содержание.

Ко времени перехода на книжную диету у меня дома собралось больше двух тысяч томов. Моя библиотека похудела на несколько сотен из них — и тем спасла от отощания своего

хозяина. Я, конечно, не наедался — но и не голодал. Малярия изнуряла меня гораздо больше.

Позже я убедился, что первооткрывателем не был. Мой лучший редактор, умнейший и милейший Федор Маркович Левин (до войны — создатель издательства «Советский писатель», член партии с 1918 года), в конце сороковых был объявлен чуть ли не главарем космополитов без роду и племени (иными словами — интеллигентных евреев-гуманитариев). Больше трех лет он ходил в безработных, его семья существовала благодаря обширной (не чета моей!) библиотеке. И многие из тех, которые публично клеймили и позорили Федора Марковича, тайком пробирались в букинистический магазин, куда он сдавал свои сокровища, чтобы попользоваться от его безысходности.

Помню еще один драматичный случай «книжного существования».

Это было в сентябре 1948 года. После освобождения я приехал в Москву и встретился со своим норильским другом Виктором Красовским (он тоже недавно освободился), в прошлом — юным любимцем Бухарина, в будущем — многолетним (до самой смерти Алексея Николаевича Косыгина) консультантом предсовмина по экономическим вопросам. Мы шли мимо Ильинских ворот, когда к Виктору кинулась высокая худая женщина. В руках у нее была авоська с кипой книг. Не выпуская ее, женщина обнимала и целовала Виктора и радостно твердила: «Витя, ты! Живой, здоровый! А мы все думали, что тебя разменяли[153] — ведь никаких известий!» Виктор отвечал, что работает в Норильске, а не писал потому, что тем, кто остался на воле, такая переписка могла грозить неприятностями.

Я отошел в сторону, чтобы не мешать. Впрочем, они говорили так громко, что я слышал каждое слово.

— А ты что делаешь? — спросил Виктор.

— А что мне делать? — ответила женщина. — На работу меня нигде не берут, не та фигура. Постепенно распродаю папину библиотеку. Ты помнишь, наверное, как он ей гордился. Сейчас иду в букинистический магазин, он недалеко от моего дома. — Она показала на известный всей Москве книжный магазин у Ильинки, за технологическим музеем. — Денег от сегодняшней продажи хватит на неделю. Уже не один год так живу.

С. Снегов, 1949 г.

С. Снегов, 1949 г.

— И долго это продлится?

— Остатков папиной библиотеки хватит на пару лет. А дальше — как получится.

Они снова расцеловались и попрощались. Мы пошли вниз к площади Ногина. Виктор долго молчал. Я осторожно спросил:

— Виктор, кто эта женщина?

Мне показалось, что он ответил невпопад:

— Как называется эта площадь, Сергей?

— Площадь Ногина, — ответил я, удивляясь этому вопросу, странному для коренного москвича.

— А эта женщина — дочь Ногина, — грустно сказал Виктор.

21

В последние дни 1934-го бурно финишировали наши отношения с Норой.

Мои неудачи сблизили нас еще больше. Временами мне казалось, что Нору они огорчают сильней, чем меня. Она не утешала меня, только мучилась — так что это мне приходилось ее утешать. Мне было не до смеха — но я смеялся, когда мы оставались наедине (это ее хоть чуть-чуть отвлекало). Я убеждал ее, что тучи вскоре рассеются. Впрочем, это относилось только к работе. Был еще один грозный и настоятельный вопрос — и он не имел отношения к моим служебным неприятностям: что будет с нами?

Нора не требовала ответа. Но я ежедневно задавал этот вопрос себе. Я уже знал, что впервые в жизни так сильно, так страстно, так горько влюбился — и решительно не понимал, что делать дальше. Об этом же спрашивала себя и Нора — и отвечала сама, не советуясь со мной и не прося моего согласия. Как-то я сказал:

— Мы с тобой давно не говорили о Вове. Он что, вернулся из своего задержавшегося рейса?

Она спокойно ответила:

— Рейс не задержался. Володя давно вернулся, побыл дома и ушел опять.

— Ты мне об этом не говорила.

— Ты не спрашивал.

— Теперь спрашиваю. Ты с ним говорила?

— Конечно. И даже очень долго.

— О чем? Могу я это узнать?

— Давно бы мог, если бы поинтересовался. Я сказала ему всю правду: что полюбила другого человека, что этот человек женат и не хочет расставаться со своей семьей, что поэтому полной близости у нас нет, но я не могу, любя другого, обещать Володе выйти за него замуж. И поэтому он должен забыть меня. Хочешь знать, что он ответил — или достаточно?

— Что он ответил?

— Он сказал, что я обрекаю себя на несчастья. Что не выйдет ничего хорошего из моего сумасбродного желания идти в театр. И что моя любовь к женатому мужчине, не желающему расстаться с семьей, ужасна — я должна отречься от него, пока окончательно не опустилась. Я ответила, что этот человек любит меня и потому я запрещаю так говорить. Я прогнала его, приказав не приходить. «Знать тебя не хочу!» — крикнула я ему. Я была очень зла — и на

него, и на себя.

— И на меня, наверное?

— И на тебя, конечно. Я долго плакала, когда осталась одна. Теперь ничего не изменить.

— Ты хочешь что-нибудь изменить?

— Во всяком случае, его возвращения не хочу.

Мы присели в садике Петропавловской церкви. Дни были холодные, долго гулять не удавалось, а другого места для встреч наедине у нас не было. Я украдкой смотрел на Нору. Она выглядела подавленной. Я удивился. Не так давно она казалась мне совершенной девчонкой, наивной и очаровательной. Сейчас рядом со мной сидела грустная взрослая женщина — я чуть было не сказал «умудренная»… Она до неузнаваемости повзрослела в эти немногие месяцы. В церкви ударили колокола — издалека им ответили другие. Я очень любил колокольный звон. Мне казалось, что это город разговаривает сам с собой на разные голоса. Я робко сказал:

— Нора, пойдем ко мне. Она покачала головой.

— Не надо, Сережа. Не заставляй меня.

Я замолчал. Я просил ее об этом не раз — но никогда не настаивал, когда она отказывалась. Я понимал, что не имею права взваливать на себя ответственность за ее судьбу. Я чувствовал себя трусом — и принимал свою трусость как должное. Она поднялась.

— Проводи меня домой, Сережа.

Перед новым годом у Тоси было новоселье — она получила комнату. Она объявила всем своим друзьям (просто знакомых у нее не было — только близкие друзья), что достигла всего, о чем мечтала. Единственное, чего ей не хватало, — это возможности принять у себя близких людей, теперь этой проблемы не существует. По этому случаю она устроила роскошный праздник.

Она сходила в Торгсин[154] и, расставшись с какой-то золотой безделушкой, накупила колбасы и сыру — в простых магазинах этих деликатесов давно уже не было. И пообещала познакомить нас с одесским чудом — великой ворожеей, почти колдуньей. Гадалка эта может предсказать судьбу любого, даже отсутствующего человека — если, конечно, разберется, какая карта ему соответствует.

Нас с Норой, естественно, Тося тоже пригласила. Нора пришла в восторг. Ей не терпелось узнать свое будущее. Я смеялся. Я уверял ее, что сам если и не гадалка, то, так сказать, «гадал» (или «гадалец»?). Могу похиромантить по знаменитой системе госпожи Тэб, могу поворожить на картах по методу девицы Ленорман, предсказавшей Наполеону, что он умрет на

далеком, почти необитаемом острове.

— Вот видишь, она правильно предсказала! Есть, значит, настоящие ворожеи.

— У меня другая версия, Нора. Когда Наполеона победили в первый раз, то задумались, что делать с воинственным императором. И кто-то вспомнил, что ему нагадали умереть на одиноком острове. Решили выполнить предсказание — и послали его на Эльбу. Но мистика не сработала: Эльба была слишком близко от Франции. После того как его разбили вторично, гадание разумно скорректировали — и выдворили корсиканца на другой остров, подальше. Всякая чертовщина должна опираться на разум и логику, иначе она не будет действовать. И вообще: в основе мистики лежит мистификация.

— Ты всегда смеешься, — сказала Нора с упреком. — А я верю!

Ворожба началась после ужина, когда мы разделались с чаем (денег на вино ни у кого не было), а также с сыром и колбасой. Я, впрочем, сыра вообще не ел — я распробовал его лишь в Норильске, после освобождения, а до того даже не приближался к тарелкам, на которых он лежал.

Гадалка, некрасивая женщина лет за тридцать (возраст, по моим тогдашним представлениям, вполне ведьминский) разложила карты. Тося загодя нас предупредила: сама по себе эта колдунья женщина добрая, но уж больно неудачлива в личной жизни — потому в последнее время прорицания ее весьма пессимистичны.

Нора первой вызвалась узнать грядущее. Но вместо того чтобы назвать себя, она показала на меня: она уже не отделяла своего будущего от моего.

Гадалка вгляделась в мое лицо и раскинула колоду. Не сомневаюсь, что Тося ей заранее все рассказала: кто я, что со мной происходит — и это существенно облегчило прорицание. Я смотрел, как ложатся карты, а Нора, обняв меня, выглядывала из-за моего плеча. Я часто видел, как гадает моя мать, — и кое-что в этом деле соображал. Нора в нем совершенно не разбиралась.

Гадалка рассказывала долго и подробно. Впрочем, все было стандартно: скорый отъезд из родного дома, долгие скитания в новых местах, навечное расставание с женщиной, которую люблю, и в качестве логической точки — поселение в казенном доме на полном государственном обеспечении.

Гости встретили предсказание скорее одобрительно, чем сочувственно. Казенный дом в нашу эпоху гипертрофированной государственности мог означать одно из социалистических учреждений: завод, совхоз, контору, учебное заведение. Гадалка

скептически усмехалась — и молчала. В ее карточном мире существовало лишь одно государственное учреждение, один казенный дом — тюрьма. Я засмотрелся на ее улыбку. Некрасивая, колдунья была все-таки мила. Но улыбка, злорадная и зловещая, преображала ее лицо. Оно становилось почти красивым — какой-то очень недоброй красотой.

Меня ее предсказания не испугали. Я твердо знал: будущее, конечно, можно предугадать, но только логически — клочки разрисованного картона для этого недостаточно авторитетны. А Нора была потрясена. Она побледнела и задохнулась. Тося предложила потанцевать под гитару — она отказалась.

— Пойдем, я больше здесь не могу, — шепнула она. Ночь была теплая (для зимы, разумеется), а главное — совершенно ясная. Все зимние звезды были на своих дежурных местах. Огромный Орион выполз на южную половину неба — я тогда еще не знал, что греки, назвавшие самое великолепное созвездие именем великого охотника, побаивались его влияния. Рядом сиял мятежный Сириус — он определенно приносил несчастье.

На темных улицах не было прохожих. Нора прижималась ко мне и молчала. Я чувствовал ее дрожь. Дойдя до Южной, я хотел свернуть направо, к Петропавловской церкви, — так мы теперь ходили каждую ночь. К ее дому. Она молча свернула налево — ко мне.

Я не поверил. Я так часто звал ее к себе, она так упрямо отказывалась — сразу я даже не понял, зачем она поворачивает.

— Если нам суждено расстаться, мы расстанемся как близкие люди, — ответила она на мой незаданный вопрос.

Тогда замолчал и я. Смятенно молчащие, мы вошли в мой дом, поднялись по лестнице. Света я не зажигал. В окне сияли звезды. Нора сама разделась, сама легла на диван — и порывисто обняла меня.

Я обещал Фире, что не буду изменять ей с девственницами. Несколько лет я честно держал слово. Да, конечно, иногда я лежал с девушками — но всегда удерживался. Это были интрижки, увлечения, страсти — я был в силах бороться с собой. Бороться с любовью я не мог и не хотел. В мире существовала одна-единственная женщина — и эта женщина меня хотела.

Я постарался не причинять ей большой боли — я уже был опытным мужчиной, а не растерявшимся девственником, как пять лет назад. Все же она слабо вскрикнула, но еще сильней прижалась ко мне. А потом она положила голову мне на грудь, ее волосы покрыли мои руки и плечи, она упоенно шептала: «Да! Да! Да!»

И я понимал, что это «Да!» означает, что она меня любит, что

она отныне и вечно моя, а я — ее, что если настанет разлука, то расстанутся тела, а не чувства и память, что теперь это неизбывно — быть половинками одного целого… «Да! Да!» — шептала она и лихорадочно, нежно и страстно целовала мою грудь и плечи, а я, вспыхивая все снова и снова, сливался с ней во что-то сладостно и мучительно единое.

Я задыхался и трепетал. Я был так счастлив, что не мог говорить о своем счастье. Слова любви были бы кощунством перед действом любви.

Когда в окне забрезжил мутный рассвет, мы оделись. В доме еще спали. Я проводил Нору.

— Что ты скажешь своей маме? — спросил я.

— Что-нибудь скажу. Еще не думала.

— А все же…

— Объясню, что осталась у Тоси. У нее теперь своя комната, мама знает.

— Нужно предупредить Тосю, что ты осталась у нее.

— А зачем? Она давно удивляется, что мы так долго воздерживаемся.

Мы молча стояли у ворот ее дома. Мы не могли расстаться. Нора быстро поцеловала меня.

— Я приду к тебе после работы, хорошо? Будешь меня ждать?

У меня снова отказал голос, я лишь молча кивнул.

Когда я возвращался домой, у меня начался приступ. Температура мчалась вверх, как на гонках. Я разделся и снова лег. И вскоре не то заснул, не то потерял сознание — а возможно, и то и другое. Я очнулся, когда почувствовал, что рядом лежит Нора, — и испугался. Я не сразу понял, как она здесь очутилась.

— Разве ты не уходила? — глупо спросил я и попытался встать и одеться, чтобы проводить ее домой.

Она засмеялась.

— Лежи, лежи! Мне открыла твоя мама. Я догадалась сказать, что мы в облоно тревожимся, как твое здоровье, и я пришла узнать, что с тобой. Мама сказала, что ты болен, у тебя высокая температура.

— Она говорила с тобой вежливо?

— Больше чем вежливо — ласково. Мне кажется, ее тронуло, что твои бывшие сослуживцы беспокоятся о тебе.

Я улыбнулся. Я знал, что мама гораздо проницательней, чем это кажется Норе. И она никогда не любила Фиру, хоть и старалась не показывать своей неприязни. Я хорошо помнил, как тяжело пережила она разлуку с внучкой, которая сразу стала ее любимицей. После первого моего ухода из дома мама дала себе слово не вмешиваться в мои семейные дела и, как всегда,

выполнила собственные предписания. Но отъезда Фиры с Наташей она простить не смогла. Собственно, она не была против исчезновения моей жены, но отсутствие Наташи переживала трудно. Я слышал, как она говорила Осипу Соломоновичу:

— Ну, пусть бы уезжала, если надо устроиться, — слова бы не сказала. Но зачем девочку забрала? Разве Наташа не могла побыть у нас? Разве мы ей не родные? Не любит нас Фира, и Сережу не любит, вот что я тебе скажу, Осип! И когда-нибудь у него, дурачка, раскроются глаза. Вот помяни мое слово!

— Сережа умный, — возразил отчим.

— Не тем умом! — резко ответила мать. — С одной стороны, умный — лучше не надо. А с другой — дурак дураком.

Я не признался, что слышал этот разговор, и не стал ее разубеждать. Это вообще было делом бесполезным. Как-то — по другому поводу — я сердито процитировал ей любимого ее поэта:

Мужик — что бык. Втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не вышибешь…

В ответ она только растроганно сказала:

— Очень хорошо писал Некрасов! Ты молодец, что любишь его.

Спустя несколько дней после знакомства с Норой мама вдруг сказала:

— Эта твоя сослуживица… Нора, да? Красивая девочка, очень красивая. И хорошая.

— Зачем ты это говоришь? — иронически поинтересовался я.

— Просто хочу сказать, что она мне нравится. И больше ничего.

Это облегчало наши ежевечерние встречи. И мама, и отчим, конечно, слышали, как она звонит и я торопливо срываюсь к двери — но и шага не делали, чтобы показаться в коридоре. И утром, когда мы уходили, они и шепотом не проговаривались, что проснулись.

Норе удалось объяснить своей матери ежедневные отсутствия и опоздания. В облоно подводили итоги учебного года: ее подключили к разным бухгалтерским и плановым подсчетам, приходится работать допоздна. Ночевать лучше у Тоси — та живет рядом. Идти на другой конец города пешком — одной, в зимнюю темень… Это очень опасно! Зато утром, когда светало, она прибегала домой — показаться маме и позавтракать. И после работы она тоже успевала появиться — чтобы пообедать. А потом,

объяснив, что бежит на дополнительные вечерние работы, шла ко мне. Ее маму успокаивали эти объяснения. Так и шли эти вечерние и ночные часы, которые мы выкрали у судьбы.

Мы лежали, обнимались, сливались — и говорили, говорили. Мы никак не могли наговориться. Мы прекращали эти разговоры только для поцелуев.

Если бы меня спросили, что такое счастье, вряд ли я сумел бы объяснить это убедительно. Формально ему не было места в моей жизни — во всяком случае, в те годы. Но я был счастлив, как еще никогда не случалось.

Потом я нередко удивлялся парадоксальности этого удивительного занятия — быть счастливым. Я бывал безмерно, великолепно счастлив, когда все окружающее, казалось, свидетельствовало о горе. В начале августа 1938-го, в Вологодской тюрьме, суровой до отвратительности (она была предназначена — и это казалось не мне одному — исключительно для умирания), я внезапно открыл для себя, что история мира и процесс развития человеческого сознания строятся по одним и тем же непреложным законам. И это было счастьем. Я еще расскажу об этой вологодской истории — если доживу до ее описания. А пока повторю: время, проведенные с Норой, было временем моего гражданского унижения, безработицы, почти голодания — и самой большой радостью из всего, что мне на тот момент довелось испытать.

Даже малярия не могла этому помешать. Когда вечерами я терял сознание, я знал, что, придя в себя, почувствую: Нора рядом, она обнимает меня, всем телом впитывая струящийся из меня жар. Разделяет, оставаясь здоровой, мою болезнь, как разделит сразу после этого мою страсть.

Это тоже было странно и великолепно: после приступа я был слаб настолько, что еле ходил, — но эта слабость никогда не отражалась на любви: желание было сильней малярии.

Вскоре к нашей радости примешалась особая (тоже любовная) тревога. Я первым заметил, что у Норы пропали месячные. Она призналась, что совсем забыла о них, — и встревожилась.

Приближалось замечательное время (Михаил Пришвин очень точно назвал его весной света). Капель еще не началась, но в затишных местечках, несмотря на мороз, пригревало солнце. Дни оставались короткими, но уже светлели. Если не было приступа, я встречал Нору на Косарке или у Петропавловской церкви. В эти дни почти все наши разговоры сводились к одному: что делать, если она забеременела? Мы не видели выхода. Я старался быть осторожным, не умея им быть. Она становилась все более грустной.

Но однажды она, сияя, вошла в мою комнату и прямо с порога негромко сказала:

— Радуйся!

Я не понял, чему мне радоваться, когда все так сложно. Она повторила:

— Радуйся — неужели не догадался?

Тогда я обрадовался. Я схватил ее на руки и долго кружил по комнате. Она испугалась: не повредит ли это моей малярии? Я объяснил: все, что вредит малярии, полезно мне.

Счастливые ночи, прерываемые моими приступами, продолжались. Мы опять стали неосторожными — и скоро поняли, что Нора забеременела. Какое-то время она утешала себя тем, что это обычная задержка — у нее такое бывало.

Тося (она уже все знала) посоветовала побольше двигаться: ходить, бегать и прыгать — иногда это помогало. Весна света перешла в весну цветов — все зазеленело и зацвело. Теперь мы ежедневно гуляли — и Нора старательно выполняла предписания: бегала и прыгала. Особенно мы любили Потемкинскую лестницу. В ней, если память мне не изменяет, сто сорок ступенек, — наверное, больше двадцати метров в высоту. Я одолевал лестницу вместе с Норой, чтобы ей не было скучно. Мы бегом спускались и бегом (насколько позволяло дыхание) поднимались. Мы смеялись и шутили — и прохожим казалось, что мы просто-напросто занимаемся спортом. Иногда нам даже одобрительно махали. Я считал подъемы. На десятом-двенадцатом мы совершенно выбивались из сил и усаживались отдохнуть — неподалеку от Дюка, под старыми платанами. И, восстановив дыхание, снова бежали по лестнице.

За спортивный рекорд эти упражнения еще могли сойти, но на состояние Норы совершенно не действовали. Аборт стал неотвратимым.

Однажды Нора пришла ко мне вместе с Тосей.

— Ребята, я знаю врача, который вам поможет, — объявила она. — Это лучший гинеколог Одессы Гросс. Он очень неохотно берется за такие дела, но мои друзья помогли — я их очень просила. Завтра он ждет вас обоих, не опаздывайте. У вас, конечно, нет денег. Я немного одолжу — у меня была небольшая премия. Остальное доставайте сами. Гросс стоит дорого.

На другой день мы пошли к Гроссу. Он весело расхохотался, когда я рассказал, как мы пытались избавиться от беременности.

— Да вашу жену можно палкой бить — все равно ничего не поможет! А вы — ходьба, бег… Вы и представить себе не можете, что это за мощь — желание жить. Лет через пятнадцать-двадцать подобные методы, возможно, помогут — потому что сила жизни

ослабеет. А пока вы, милая моя, — обратился он к Норе, — всем в себе нацелены на деторождение, каждая клетка, каждая капля крови работает на это. Взбегать по лестнице, танцевать — ну, не смешно ли?

Он назначил день операции и отпустил нас.

В этот вечер я на многое посмотрел по-новому.

Пять лет назад, когда Фира сделала аборт, я не думал о ребенке, которому запретили быть. Я любил Фиру, боялся за нее, опасался ее ссоры с отцом, был подавлен нашей необеспеченностью. Отцовские чувства не пробудились во мне и намеком. Я еще не созрел.

Но теперь, после пяти лет, все было иначе. Я вдруг понял, что не имею права решать: быть или не быть человечку, который так жадно, так мощно стремится жить. Я ощутил себя чуть ли не убийцей. У меня не было сил взваливать на себя такую ответственность.

И я сказал об этом Норе.

Она сперва расплакалась, потом разозлилась.

— Ты думаешь только о себе! — закричала она — до этого она никогда не повышала на меня голос. — Что будет со мной, если мы оставим ребенка? В этом году я собираюсь в Москву. Какие могут быть экзамены с младенцем на руках? Это значит, что я должна навсегда оставить мечту о театре. Ты этого хочешь?

— Я думаю о ребенке, Нора. Это ведь наше с тобой дитя! Наше, Нора!

— Наше, да! Но что значит — наше? Я все время думаю об этом, каждый день, каждый час. Я бы еще заколебалась, если бы ты был моим мужем, если бы нам не предстояло расстаться, как наворожила та гадалка. Ты ведь никогда не говорил мне, что собираешься бросить Фиру с Наташей. Оставить меня одну с ребенком, без надежды на театр, без любви… Бездумно и бессердечно разбрасывать своих детей по разным городам — никогда не думала, что ты на это способен!

Я был подавлен. У меня не было ответа на ее упреки.

Несколько дней мы искали деньги. Теперь я отбирал не только самые роскошные книги — в дело шли любые, имевшие хоть какую-то товарную ценность. Я ходил из одного комиссионного магазина в другой. Запрошенная сумма постепенно собиралась — ко дню операции даже образовались излишки.

Аборт был назначен на утро. Я привел Нору к Гроссу. Он велел прийти за ней через три часа. Все это время я метался около его дома: пытался отойти подальше — и боялся это сделать. Минута в минуту я позвонил в дверь.

Гросс встретил меня на пороге и дружески похлопал по плечу.

— Все сошло отлично! Ваша жена молодец. Через несколько дней будет ходить и прыгать. Мой вам сердечный совет, молодой человек: в следующий раз не терзайте себя, а рожайте. У вас будут отличные дети, можете мне поверить!

Нора была уже одета. Бледная и вялая (еще не отошла от общего наркоза), она двигалась очень медленно и всем телом опиралась на мою руку. Такси в те годы в Одессе не было, ехать на трамвае Гросс не советовал — старенькие вагоны сильно трясло. Я довел ее до дома, она устало сказала:

— Я скажу маме, что на работе почувствовала себя плохо. Теперь иди, мне трудно стоять.

Я не мог идти домой и уселся на обычном месте наших свиданий — в садике Петропавловской церкви. Я вдруг испугался малярийного приступа: что, если я не сумею сегодня прийти к Норе и не узнаю, все ли благополучно?

И я отправился к ней домой. На звонок открыла полная женщина. Она посмотрела на меня с недоумением.

— Простите, пожалуйста, за нахальство, — поспешно сказал я. — Меня послало начальство облоно, я там служу. Очень тревожатся, что с Норой.

— Ей стало лучше, — ответила мать. — Я хотела позвать участкового врача — Норочка категорически отказалась. Наверное, много работала в последнее время, устала, голова закружилась. Да вы войдите, поговорите с ней.

Когда я вошел, Нора нескрываемо испугалась. Мать деликатно вышла, чтобы не мешать. Нора приподнялась, поцеловала меня, схватила мою руку — и не выпускала ее, пока кашель матери не возвестил о том, что она собирается войти.

Спустя несколько лет, в соловецкой тюрьме, я написал:

> Огромные, синие, как море в сказках, глаза твои,
> Пальцы, обнявшие плечи мои бессильным объятьем…
> О зачем, зачем ты казнишь меня скорбною лаской,
> Поцелуем прощающим клеймя, как проклятьем?

Стихотворение это начиналось словами: «Мой первый сын, мой нерожденный сын».

— Как видите, Норочке лучше, — сказала вошедшая мать. — О ней можно не беспокоиться.

— Да, обо мне не надо беспокоиться, — слабо повторила Нора.

Я пошел домой. Там лежала только что полученная

телеграмма. Фира срочно выехала из Ленинграда — одна, завтра она будет в Одессе.

Я повалился на кровать. Температура была ровно 41°.

22

Я не сумел встретить Фиру. К утру приступ должен был прекратиться, но температура почти не спала — вероятно, малярию усилила нервотрепка. Я знал, что Фира приехала без дочери — значит, помощь ей не требовалась. Мама была в своем киоске, отчим ушел на службу. Квартиру они оставили открытой — чтобы я, потный, не шел по холодному коридору.

Когда Фира появилась, я еще и не пытался вставать.

— Ты весь в жару и поту, — сказала она, обнимая меня. — Это ужасно — твое состояние.

— Если в поту, то жар уже спал. Значит, ничего ужасного нет, — ответил я.

— Снимай белье, оно все мокрое. Где чистое — в комоде? Куда ты положил лекарства? Немедленно принимай пилюли и переодевайся.

Я поднялся. Фира села рядом со мной.

— Почему ты не писал о своем состоянии? — спросила она. — Я же понятия не имела, что тебе так плохо.

— А зачем тебе это знать? Ты бы только нервничала, а помочь мне все равно не смогла бы.

— Ты знаешь, зачем я приехала?

— Догадываюсь.

— Хочу увезти тебя в Ленинград. Мне писали о том, что тут происходит. Буду спасать тебя, пока все не зашло чересчур далеко. Как ее зовут — Нора?

— Нора. Но, боюсь, что это уже поздно.

— Как это понимать?

— Самым простым образом. Нора забеременела.

Фира долго молча смотрела на меня.

— Ты хочешь разорвать со мной, Сережа?

Я ответил совершенно искренне:

— Нет, этого я не хочу.

— Значит, будешь прекращать отношения с Норой? И на это я ответил честно:

— Не представляю, как я смогу это выдержать.

Фира опять помолчала. Я тоже не спешил говорить — я просто не знал, что сказать. У меня не было ни одной разумной мысли. Фира спросила:

— Сколько у нее месяцев беременности?

— Уже нисколько. Она вчера сделала аборт.

— Где она сейчас?

— У себя дома.

— Ты был у нее после аборта?

— Был. Операция прошла хорошо. Завтра она, наверное, выйдет на службу.

Мы опять долго молчали. Фира снова заговорила:

— Расскажи мне: как это получилось? Кто такая Нора? Чего она хочет? Я понимаю, что во многом виновата сама: слишком надолго оставляла тебя одного. Я думала об этом, меня предупреждали подруги. Но я так верила в твою любовь… Теперь придется расплачиваться за легкомыслие. И еще одно. Ты всегда гордился, что никогда не врешь в серьезных делах. Ты и вправду раньше не лгал — не лги и сейчас. Не щади меня. Если ты любишь Нору больше, скажи это прямо — я перенесу. Я уже многое пережила, когда ехала сюда — и понимала, что придется или навсегда потерять тебя, или насильно увезти с собой.

Мы говорили долго — и я ничего не скрыл. Я даже сказал, что Нору люблю, возможно, больше. Но у нас дочь. Надо решать — с кем остаться? И я не способен выбрать ни одно, ни другое. Я знал, что это — трусость. Я чувствовал себя последним подлецом. Пусть они сами — Фира и Нора — решают, кому я нужней. Я люблю обеих и не хочу расставаться ни с одной — пусть они выберут за меня. Я подчинюсь тому, что они постановят.

— Раньше ты не был трусом, — сказала Фира. — Не могу сказать, что твое поведение меня восхищает, но я тебя понимаю. Итак, нам надо договариваться с ней — о тебе. Сегодня ты еще не был у нее?

— Не был.

— Тогда иди. Предупреди, что я приехала. Скажи честно, что не способен решить, с кем останешься. И что она должна подготовиться к разговору со мной. Погуляй с ней, ей сейчас тяжело.

Я не удержался.

— Ты говоришь так, словно уверена в успехе.

— Абсолютно уверена, — твердо сказала Фира. — Я боялась только твоего решения, а ты предоставил его нам. Ты должен остаться с Наташей и со мной. Мне говорили, что Нора очень красива. Против нее сыграет даже ее красота. Иди, Сережа. Иди к Норе!

Весь этот вечер мы ходили с Норой по городу, сидели в нашем любимом садике. Она чувствовала себя уже хорошо — выздоровление, как Гросс и обещал, было быстрым. Я рассказал о приезде Фиры. Нора упрекнула меня грустно и безнадежно.

— Я думала, что ты все-таки освободишь меня от этого разговора. Не учла, что ты тяжело болен и растерял половину своей решительности. Но я тебя не виню. Ты не мог иначе. Я ведь давно знала, что мне придется говорить с твоей женой. И даже удивлялась, что она так долго не едет.

— Ты ждала ее?

— Конечно. На ее месте я приехала бы гораздо раньше. И это наверняка было бы лучше — и для нее, и для меня. Передай Фире, что завтра сразу после работы я приду к тебе домой.

В этот день у меня не было приступа. Фира казалась собранной и решительной — готовилась к трудному разговору. Чтобы время шло быстрей, она энергично наводила порядок в моих комнатах.

Я ушел из дома заранее, чтобы не мешать, и сказал, что вернусь не раньше десяти.

В десять я вернулся. Нора и Фира спокойно разговаривали. Фира сказала:

— Сережа, мы обо всем условились. Проводи Нору домой, по дороге она обо всем расскажет.

— О чем же вы условились? — спросил я, когда мы вышли.

Нора спокойно ответила:

— О том самом, чего ты заранее ожидал.

— А если конкретней?

— Конкретней — ты уезжаешь с Фирой в Ленинград, я остаюсь в Одессе.

— Так легко договорились? — вырвалось у меня. И с Норы слетело все ее спокойствие.

— Легко, да! Рубили по живому! Твою Фиру не переговоришь и не убедишь. Знаешь, что она мне сказала? Что я моложе ее на пять лет, передо мной вся жизнь, а она связана ручками вашей дочки — куда ей теперь деваться? И что я красива, ей до меня далеко, все мужчины на меня засматриваются — кого захочу, того и захвачу. А у нее такого никогда не было и не будет. И еще она сказала, что нет таких весов, чтобы взвешивали любовь — чья больше. Но есть мораль, есть общечеловеческие права — и они на ее стороне. Она никого не отбивала, а я отбираю у ребенка отца. Мужей и любовников может быть много, а мать и отец всегда единственные. Имею ли я право причинить твоей дочери такое горе? Она ведь ни в чем не виновата! Я знаю, сказала она, что, расставшись с вами, Сергей будет мучиться. Но если вы его у меня заберете, он будет тосковать о дочери и обо мне, станет упрекать вас за то, что вы лишили его семьи. И никакая новая семья не вылечит его от этой потери. Что же лучше? Чтобы он о вас грустил и непрерывно помнил о вашей любви — или чтобы

вспоминал обо мне, о своем первом ребенке и непрерывно упрекал вас за то, что вы разрушили и эту любовь, и это отцовство? Такой вот был интересный разговор!

— И ты сразу согласилась?

— Сперва расплакалась, а потом закричала: «Перестаньте! Согласна! На все согласна!»

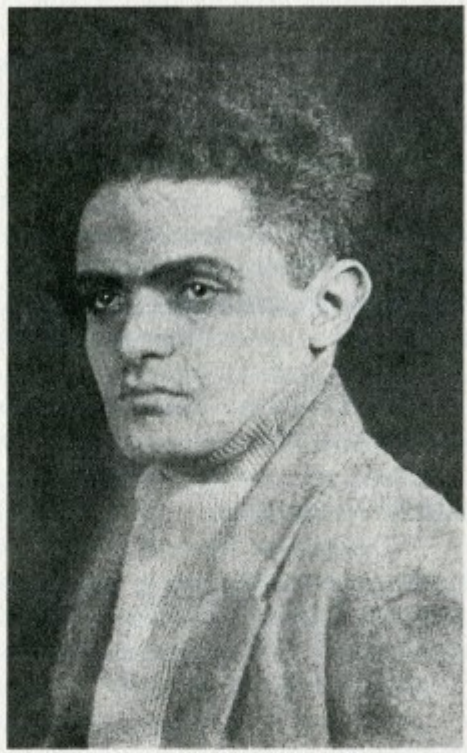
— И все?

— Когда мы немного успокоились, я сказала: «Но помните, Фира. Я люблю Сергея — и он любит меня! И он не перестанет меня любить, как бы далеко я ни была». Фира отнеслась к этому спокойно. В эту минуту вошел ты.

Дальше мы шли молча. У ее дома остановились. Нора порывисто обняла меня.

— Сережа, прощай! Прощай, мой любимый, прощай, прощай! — прошептала она.

И, вырвавшись из моих рук, скрылась в темноте подворотни. Я еще постоял — она больше не появлялась. Я поплелся обратно. Меня шатало, как пьяного. Я отчаянно шептал себе: «Трус! Трус!» И знал, что, как бы ни поступил, этого обвинения мне не снять. Существовало только два выхода — и каждый был непереносим. Судьба била меня палкой о двух наконечниках. Как бы я ее ни выворачивал, боли меньше не становилось.



Моня Гиворшнер, 1927 г.

Моня Гиворшнер, 1927 г.

Трехдневная малярия вернулась почти на сутки раньше. Когда я поднимался к себе, я едва удерживал равновесие: ступеньки лестницы то набегали на меня, то отскакивали.

На следующий день я отбирал и упаковывал книги. У меня оставалось около двух тысяч томов — я отобрал около семисот-восьмисот. Фира сама сдавала их в багаж — мне это было не под силу. За день до отъезда ко мне пришли старые друзья — Моня Гиворшнер и Фима Вайнштейн. Они несказанно удивились, узнав,

что я уезжаю из Одессы — и уже навсегда. Фира недолюбливала «ворон», ей не хотелось с ними общаться — и потому она сказала:

— Погуляй на прощанье по городу, Сережа.

Маршрут у нас был отработан — на Дерибасовскую и оттуда на бульвар, к Дюку. По дороге Моня и Фима стали уговаривать меня не расставаться с Одессой. Здесь я так хорошо начал, здесь могу продолжить свою научную карьеру. Я разозлился и на них, и на Одессу. Какая может быть наука в этом городе? Ни один талантливый человек здесь не засиживается — все бегут в столицы. А почему? Да потому, что Одесса несерьезна — легковесна, легковерна. Здесь принимают за чистую монету любую чушь — такая атмосфера не подходит для серьезных исследований.

— И докажешь? — иронически усомнился Моня.

— Не сходя с места! Только делайте, что я скажу.

В это время мы были на Соборной площади (сам собор недавно снесли — название осталось). Мы остановились, задрали голову и стали всматриваться в небо — там не было ничего, кроме звезд. К нам подошел какой-то мужчина.

— Ребята, на куда смотрите? — обратился он к нам типично по-одесски. — Там же ничего нет.

— В том-то и дело! — сказал я. — А один парень сказал нам, что там чудо. Мы смотрим-смотрим — и ничего не видим.

Один за другим появлялись новые и новые прохожие. И все спрашивали, что мы ищем на небе. Одни делали это вполне литературно, другие — по-молдавански и по-бугаевски: «На куда интересуетесь?» Вскоре люди стали нервничать и ругаться — вот же дурак нашелся, увидел что-то, чего нет! Кому это надо? Любопытствующие все прибывали. Когда собралось человек двенадцать, я сказал:

— Видите, я был прав. Сенсации на пустом месте. Несерьезнейший город!

Моня сразу согласился, Фима только иронически ухмыльнулся.

Мы прошлись по Приморскому бульвару, я поклонился бронзовому Дюку — на прощанье.

Примерно через час мы повернули назад. Толпа на площади не рассеялась — она увеличилась раза в три. И все шумели, спорили, переругивались. Я спросил человека, стоящего с краю, почему собрались. Спрошенный сердито ответил:

— Да понимаете, один чудик сказал, что на небе появились какие-то знамения, а там ничего нет. И все ругаются на того дурака, что он всех обманул.

Теперь и Фима признал, что в природе Одессы действительно

есть что-то несерьезное.

На другой день мы с Фирой уезжали в Ленинград. Нас провожали только мама и отчим. Мама была хмурой и злой, отчим — печальным.

Он чувствовал, что больше со мной не увидится.

Мать С. Снегова и его отчим — Осип Соломонович Штейн

Мать С. Снегова и его отчим — Осип Соломонович Штейн

ГЛАВА ВТОРАЯ
Ленинград

1

Квартира, которую нашли Фира и Борис, была типичной коммуналкой: несколько комнат, по-гостиничному вытянутых вдоль коридора, не то второй, не то третий этаж. Дом стоял на площади Льва Толстого, на пересечении Каменноостровского (тогда — Красных Зорь) и Большого проспекта Петроградской стороны. На первом этаже размещалась столовая (вскоре она стала рестораном «Белые ночи»). В сторону отходил переулок, застроенный высокими тяжеловесными домами.

— Модерн, конечно, но какой! — сказал Борис, знакомя меня с окрестностями. — Белобородов,[155] Щусев[156]… Белобородов сейчас строит в Финляндии, а Щусев остался у нас.

Фира уже приискала себе место в одной из театральных трупп — театре Радлова, ставившего, если не ошибаюсь, одну классику. Роли ей доставались маленькие, ни в одной она не блеснула, зато подружилась со многими актрисами — одну из ее подруг (у нее была очень знаменитая фамилия — Гамсахурдия) я хорошо запомнил.

А молодой артист Борис Виноградов влюбился в Эмму, Фирину сестру, и отбил ее у прежнего мужа Вичика. Борис был красавец и умница, Вичик ни тем, ни другим не брал. Брак начинался очень счастливо — а вот закончился трагически (впрочем, не по вине Эммы и Бориса). Перед войной театр Радлова гастролировал на Северном Кавказе, попал там в оккупацию, в полном составе переселился в Германию и натурализовался на Западе. Борис вернулся в СССР уже после смерти Сталина — с немецкой женой. Немка не вынесла нашего быта и убралась к себе на Рейн, а он, одинокий, так и не нашел себе места на родине и постепенно спивался, пробавляясь лишь посылками западной жены.

Вскоре Фира поменяла труппу Радлова на театр Ваграма Папазяна (он состоял всего из нескольких артистов). Сам Папазян недавно вернулся из Парижа, где его признали одним из лучших Отелло в мире. Созданная им труппа выспренне именовалась «Ленинградский театр классики», но театром-то как раз и не была: просто несколько второстепенных актеров обслуживали одного премьера.

Папазян плохо владел русским — но это ему не мешало. Помню, как он по-французски читал знаменитый монолог Гамлета. Текста никто не понимал — но общий смысл был ясен, так захватывающа была игра, так выразительна мимика.

Еще великолепней был его Отелло. Помню, однажды, в сцене драки, разгневанный мавр вылетел из-за кулис с криком:

— Вложите ваши ножи в ваши ножницы!

И никто не засмеялся — так мощно это было сказано.

В Москве в это время гремел другой Отелло — Александр Остужев. Это был подлинный герой сцены! Много лет как оглохший, он так живо и точно воспринимал любую реплику, что никто и не замечал его глухоты. Он был, конечно, хорош в образе исступленного ревнивца, но Папазян мне нравился больше. Остужев покорял, Папазян восхищал. Он все же был большим мавром.

Фира в роли Виргинии,
спектакль «Великий грешник»

Фира в роли Виргинии, спектакль «Великий грешник»

Не помню, сколько мы прожили на площади Льва Толстого — вряд ли больше месяца (или двух). Фире удалось подыскать свободную квартирку взамен тех двух комнатушек, которые мы занимали в коммуналке.

Квартирка, тоже двухкомнатная, находилась в неказистом доме в Соляном переулке, в сотне метров от Фонтанки и в полусотне — от праздничной Сергиевской улицы (сейчас — Чайковского). Это была, конечно, трущоба — зато в центре Ленинграда. Помню, как меня удивило, что Фира так легко нашла отдельное жилье в самом престижном районе.

Ни она, ни я, ни Борис еще не знали, что Ленинград уже начала трясти лихорадка очищения. Новый владыка бывшей имперской столицы Андрей Жданов (он явился сюда из Горького) железным скребком очищал свое новое владение от еще сохранившихся «бывших людей» — остатков аристократии, чиновничества, загнанного священства, обнищавшего купечества. Шло великое переселение горожан — одни уже начинали пропадать неведомо куда, другие, более (вероятно) достойные, меняли свои халупы на благоустроенные квартиры.

Завершался процесс, который так бурно и свирепо начался сразу после революции. Тогда владельцев богатых квартир стесняли в отдельных комнатках, превращая роскошное жилье в примитивные коммуналки. Теперь утеснение превращалось в вытеснение — административную высылку из города. Борис (он служил в архитектурной мастерской) как-то рассказал, что одному выселяемому в милиции объявили просто и категорично: «Пожил в хорошем городе, дай пожить и другим».

В той лачуге, которую раздобыла Фира, аристократы явно не обитали. Здесь, видимо, жили те настоящие «свои люди», которым посчастливилось обзавестись жильем показистей. Вполне в соответствии с модными тогда стишатами: «На несчастии другого каждый строить счастье прав».

С переездом в Соляной переулок наше коммунальное семейство увеличилось: Фира наняла домработницу. Она была не то из архангельских, не то из вологодских крестьянок (оттуда тоже бежали в город) — пухлая, живая, работящая, некрасивая, но милая девчушка с именем Маруся, типичным скорее для юга, чем для севера. Мы с ней быстро подружились. Наташа в ней души не чаяла. Маруся, естественно, занималась ею больше, чем нами всеми вместе взятыми.

Правда, и я был у нее на особом положении: малярия по-прежнему через день валила меня в постель. Я вдруг переставал

устойчиво стоять на ногах и что-либо отчетливо сознавать — волей-неволей Марусе приходилось обо мне заботиться! Впрочем, неволи не было: Маруся ухаживала за мной охотно и даже сердито кричала, когда я, обессиленный, отказывался есть то, что она наготовила.

Вскоре после моего приезда Фира объявила, что займется незамедлительной ликвидацией малярии. К несчастью, в аптеках не было даже хины. Продавалось какое-то суррогатное лекарство — единственное его сходство с хинином состояло в том, что оно было таким же горьким. Я перестал его принимать — разумеется, не сообщая об этом жене. Уже работая на заводе «Пирометр», я спокойно расхаживал с температурой 38–39° — видимых признаков слабости просто не было, я научился не поддаваться приступам. Зато вечерами я отпускал себя на волю.

Температура подскакивала до сорока и выше. Я валился на постель — и поступал в распоряжение красочного бреда. Меня переполняли фантастические видения, я погружался в сюрреалистический (до крика) мир — он не столько мучил, сколько захватывал меня. Я увлекся призрачными образами, стал ждать их, когда они задерживались. Подсев на высокую температуру, я опять превращался в наркомана.

На лето Фира подыскала нам дачу. Собственно, определение «дача» мало подходило избушке в Тайцах, где Фира сняла небольшую комнатку с верандой. Обычно здесь жили мы трое — Маруся, Наташа и я (постоянной работы у меня еще не было). Фира приезжала в выходные и праздники, Борис вообще не появлялся.

Тайцы — крохотная станция на Балтийской дороге (сразу после Дудергофа, где зимой на внушительном холме устраивались лыжные гонки и постоянно квартировало какое-то воинское соединение). От Балтийского вокзала до самой Гатчины это было, наверное, самое неподходящее для малярика место: болотистое поле, небольшой сырой лесок, чахлая кучка домиков. Что удалось, то и достала, — сокрушенно известила меня Фира, привезя на летнее обиталище. Я не сетовал: раньше у меня вообще не было дач. А что сплошное болото, после вечной южной суши даже понравилось. Правда, раздражало, что ноги вечно хлюпали по слякоти, заросшей дурной травой.

Как-то я ехал в Тайцы в полупустом вагоне. Сидел у единственного открытого окна. Напротив меня разместились двое военных. У одного в петлицах красовался ромб,[157] у другого — только две шпалы.[158] Оба закурили — «шпалист» вытащил пачку «Казбека», а «ромбовик» вынул из кармана золотой портсигар.

— Откуда такая роскошь? — поинтересовался «двухшпалый».

— За боевые заслуги, — отозвался «ромбовик». — Смотри, здесь именная надпись.

Он протянул портсигар товарищу. Видимо, написанное впечатляло — на лице читавшего проступило уважение. А портсигароносец, вынув последнюю папиросу, спокойно выбросил свою награду в окно, как пустую бумажную коробку.

Портсигар еще был в воздухе, когда оба военных, чуть не столкнувшись, растерянно высунулись из вагона.

— Немедленно остановите поезд! — отчаянно крикнул «двухшпалый» и кинулся к стоп-крану.

От места падения мы успели отъехать на добрый километр. Поезд остановился. Оба военных выскочили наружу и помчались назад по железнодорожной колее. Поезд постоял с минутку и двинулся дальше, не дожидаясь своих пассажиров.

— Черта с два найдут! — скептически комментировал происшествие проводник. — Золото в окно выбрасывают только дураки, а умные, кто найдет, не возвращают.

Потом мне удалось узнать, что «ромбовику» возвратили его золотое отличие. Кто-то из местных солдат обнаружил портсигар в придорожной траве и, прочтя на нем фамилию своего высокого командира, сообразил, что в казарме скрыть такую находку не удастся, а возвращение ее сулит льготы и хорошее вознаграждение.

2

В первые мои ленинградские дни к нам приехал Саша Малый.

Он недавно (и притом досрочно!) вернулся из Америки и поселился в Москве, навеки распрощавшись с Ленинградом. Мне его приезд показался удивительным. Дело было не в том, что он решил появиться на берегах Невы, — просто ему предложили продлить командировку, а он наотрез отказался. И написал в заявлении, что уже шесть месяцев находится в главной капиталистической стране мира и до тошноты наглотался ее торгашеского духа. Больше невмоготу — надо срочно глотнуть свежего воздуха социалистической родины! Об этом мне рассказала Фира.

— Неужели так и написал? — удивился я. — Я до сих пор не замечал за ним глупостей.

Фира засмеялась.

— И не заметишь! От поездки в Америку он нисколько не поглупел. И, как умный человек, вовремя сообразил, что Рая слишком красива, чтобы оставлять ее на второе полугодие в московском одиночестве.

— Да ведь у нее на руках маленький ребенок!

Фира охотно острила на эротические темы.

— У вас, мужчин, бес в ребро, когда седина в бороду. У нас, женщин, иначе. Молодые матери обычно стремятся проверить, не исчезла ли после родов их женская привлекательность. Умным мужьям не стоит рисковать.

Саша, впрочем, объяснил свое возвращение несколько иначе.

— Можешь поверить, Сергей: мне действительно все надоело. Небоскребы и витрины магазинов, конечно, впечатляют, но сколько можно пялить на них глаза, если в кармане — только тощие командировочные? Правда, как и все наши, я подзарабатывал, когда переезжал из города в город: ехал автобусом, а в отчете показывал поезд (он почти в два раза дороже). Но главное — я люблю свободно говорить, а мой английский годился только для информации, а не для интеллектуальных откровений. Каждым третьим словом поперхивался…

— Но как тебе удалось убедить начальство? Обычно все умоляют хоть немного продлить их пребывание за границей…

Саша хитро улыбнулся.

— Обстоятельства помогли. У Форда стажировался мастером один из руководителей строящегося Горьковского автозавода. Жуткий бородач, в гражданскую — партизан, еще в царское время

— большевик. И вот как-то Форд, проходя по цеху, завязал с ним принципиальный спор об экономических законах. А что бывший партизан понимает в экономике? Генри мгновенно положил его на лопатки, а бородач взбесился и рубанул: «Что бы вы мне ни доказывали, мы все равно повесим вас как капиталистического гада, когда придем к власти в Америке!» Воображаешь, что началось? Ор во всех газетах. Я сам видел его портрет в одной из них: лохматая борода, дико вытаращенные глаза, в зубах — нож… И подпись: будущий убийца Генри Форда. В Амторге[159] наделали в штаны — и мигом спровадили партизана домой. Ну, и меня заодно — вдруг я чего нахулиганю, раз уж капитализм мне так невтерпеж.

Способ, каким Саша ухитрился вернуться домой, долгое время служил нам поводом для смеха. Но потом я понял, что в нем, в этом преждевременном возвращении, таилось Сашино спасение. В конце тридцатых годов все его служебное окружение — и начальников, и подчиненных — переарестовали. Кто получил пулю в затылок, кто отделался лагерным сроком. Сам Саша объяснял свою удивительную удачу тем, что занялся монтажными работами — переезжая из города в город, он налаживал на новостройках пирометрию[160] и автоматику. И, как чужой, в местные репрессивные разблюдовки не попадал, а дома о нем забывали — поскольку вечно отсутствовал. Основания в таком объяснении были: вечные командированные и вправду избегали плановых арестов чаще, чем наглухо прикрепленные к местам обитания. Но еще большую роль, мне думается, сыграло старое американское заявление Саши о том, что он не может жить при отвратительном капитализме и только здоровый воздух сталинской державы ему по нутру. Эти слова так противоречили мыслям выезжавших в западное бытовое благополучие, что не считаться с ними не могли даже на Лубянке.

Возвращаюсь, однако, к появлению Саши в Ленинграде. Он здорово переменился, как-то красочно заматерел. Не прежний быстрый, резкий, легко меняющий интонации живчик с подвижной мимикой — а весьма вальяжный, степенный в движениях, неторопливый в речах и поступках мужчина.

— Саша, ты одним своим видом внушаешь если не почтение, то уважение, — сказал я. — Я даже немного робею.

— Правильно, робей. Даже больше — восхищайся! Один мой костюм чего стоит. Не чета твоим ширпотребовским поделкам. Каждая ниточка — чистейшая шерсть. Это, кстати, была моя первая серьезная покупка. Надо же за границей приодеться по-человечески. И знаешь, где раздобыл? Еще в Берлине — были дела с торгпредством. На три дня там задержался, обедал в

ресторане у Ашингера, жил в отеле на Фридрихштрассе. Уловил ситуацию?

Костюм действительно был великолепен: темно-синий, с некоторым запасом на зарождающееся брюшко. Саша снял пиджак — я его примерил. На мне он висел мешком: я все еще «недобрал тела», как выразилась Фира. Но качество одежды, где «каждая ниточка — чистейшая шерсть», я оценил при первом касании — пиджак, плотный, покоряюще легкий, не отягчал, а ласкал кожу.

Впрочем, возвращая его Саше, я, не желая, огорчил не только его, но и себя с Фирой. Я отвернул воротник — под ним была нашивка: «Москвошвей». Саша, впрочем, быстро нашелся.

— Ничего особенного, наши экспортные товары высоко котируются на Западе, ибо делаются по их технологии, из их лучших тканей. У меня есть еще один костюм — покажу, когда приедешь в Москву. Тот я уже купил в Штатах. Знаешь, сколько стоит? Почти сто долларов — в полтора раза дороже обычного хорошего американского костюма.

— А почему такая надбавка?

— Ручная строчка.

— Но ведь машинное шитье лучше — глаже, ровней…

Саша презрительно посмотрел на меня.

— Провинциал ты все-таки, Сергей! Машинное шитье — что? Зингер — ничего особенного. А ручная работа — индивидуальность, для элиты. Солидные люди в Америке носят только такую одежду. Первое, что советуют приезжающим (если им, конечно, требуется внушительность), — покупать одно ручное. Кстати, я привез тебе подарок — получай настоящую автоматическую ручку с золотым пером.

— Надеюсь, ручной работы — в смысле: ручной сборки? — невинно поинтересовался я.

— От Паркера, — строго сказал Саша.

Ручка, кстати, была великолепна — писала легко, не пачкала и не засыхала. Я заполнил с ее помощью добрых три сотни страниц и нигде и пятнышка не поставил, хотя вскоре перешел с американских чернил, изготовленных специально для «паркеров», на наши, ширпотребовские, одинаково малопригодные для любых ручек. Она пропала при аресте — занесли в «Конфискацию личного имущества». Правда, ничего больше, кроме ручки и часов, не изъяли.

— Знаешь, зачем я прикатил в Ленинград? — продолжал Саша. — Конечно, официальные служебные задания, но с ними я мог и подождать месяц-другой. Неотложным было другое.

— Саша, спасибо, что ради встречи…

— Погоди благодарить. Ты, конечно, еще без работы? Так вот, я приехал устраивать тебя на службу. Ты с завтрашнего дня уже не преподаватель философии, а заводской инженер, к тому же исследователь. С Георгием Павловичем согласовано. Ясно?

— Объяснишь — будет ясно. Пока только неожиданно и интересно. Кто такой Георгий Павлович?

— Гений, — серьезно ответил Саша. — Конечно, только в местных масштабах и в своей узкой технической области. Но другого такого в нашей стране нет. Георгий Павлович Кульбуш — создатель отечественной пирометрии. Но это самое малое, что можно о нем сказать.

— А если сказать больше?

— Тогда надо обратиться за квалифицированной консультацией к Марку Твену. Помнишь, как у него некий капитан Стромфильд вознесся на небо и обнаружил там чудовищное несоответствие между небесными знаменитостями и теми, кого прославляли на земле? Ибо внизу превозносят людей за то, что они сделали, а наверху — за то, что могли бы сделать. Рай, по Марку Твену, царство возможностей, а не реальных деяний. Величайшим полководцем там слывет не Наполеон, не Цезарь, не Александр Македонский, а какой-то сапожник, который превзошел бы всех военачальников мира, если бы попал на войну, — но ее при его жизни не случилось… А самым гениальным драматургом считается не Шекспир, а некий дровосек, который заткнул бы за пояс всех прозаиков и поэтов, если бы предварительно научился грамоте.

— И твой Кульбуш тоже из породы гениев для рая, а не для земли?

— Именно. Покажи он на что способен, перед ним померкнут Эдисоны,[161] Сименсы[162] и Шуховы.[163] Но неудачное происхождение виснет на его гении как свинцовая гиря. В наше время нехороший подбор родителей мешает взмыть в высоту. Зато в своей скудной инженерной области он совершил невозможное — для любого другого с таким происхождением. Превратил маленькие ремонтные мастерские в завод-гигант, написал замечательную книгу «Электрические пирометры», создал школу даровитых учеников (я тоже причисляю себя к ним) и твердо выводит отечественное приборостроение на мировой уровень. Вот какой это человек — Георгий Павлович Кульбуш. Удовлетворен?

— Нет, конечно. Ты очень много наговорил о Кульбуше, кроме главного — кто он по должности? И почему я должен проситься к нему в ученики?

— Кульбуш — не только создатель завода «Пирометр», но и

его главный инженер. Он слышал о тебе — от меня. Завтра мы будем у него. — Саша вдруг прищурился и остро глянул мне в глаза. — Придется на время расстаться с философией, Сергей. Не знаю, как было бы у тебя на марктвеновских небесах, но на земле придется вникать в технику. Печально, но такова реальность.

Я уже тогда понял, что Саша не забыл нашего спора в Одессе, когда мы с Осей отговорили его от философии и настояли, чтобы он остался в индустрии — тем более что она ему улыбнулась.

Лет через десять я получил доказательство, что след от того разговора действительно сохранился в его душе.

3

От площади Льва Толстого до короткой улицы Скороходова (почти всю ее занимал завод «Пирометр») был всего один квартал, но Саша и за этот недолгий путь успел напичкать меня кучей новых сведений.

Прежде всего я должен помнить, что главным вдохновителем заграничной поездки Саши был Кульбуш. Лучше всего было бы, конечно, если бы в Америку поехал он сам, но его за границу не пускают — вот Георгий Павлович и поратовал за своего молодого друга и ученика. И дал строгое указание: из двух конкурирующих в Штатах фирм — «Браун» и «Нортоп» — выбрать «Нортоп», ее продукция лучше. Но Саша перед отъездом получил еще одно указание, уже от самого заместителя Орджоникидзе Пятакова: покупать что подешевле, ибо если фирмы не прогорают в Америке, то любая их продукция на голову выше нашей (если мы вообще производим аналоги). Саша обнаружил, что приборы «Брауна» дешевле — и предпочел «Брауна». Пятаков был прав: изделия обеих фирм были выдающимися. Освоение брауновских аппаратов на наших заводах приведет к технической революции — в этом он, Саша, собирается убедить своего друга и учителя на сегодняшнем производственном совещании. Немцов, начальник их главка в Наркомтяжпроме, назначил ленинградскому «Пирометру» воспроизводить американскую продукцию. Он вскоре сам приедет в Ленинград, чтобы посмотреть, как на их заводе осуществляется лозунг «Догнать и перегнать!».

Саша говорил очень бодро и решительно, но я угадывал в нем неуверенность, почти робость. Мне показалось, что он побаивается предстоящего технического совещания.

Со мной дело оказалось проще, чем с фирмой «Браун». После проверки в проходной Саша провел меня в кабинет главного инженера. Кульбуш встал мне навстречу, крепко пожал руку, весело всмотрелся. Этот человек умел покорять с первого взгляда!

Чуть повыше среднего роста, гибкий и быстрый, с красивым породистым лицом, украшенным светлой, хорошо ухоженной бородкой, он выглядел и очень умным, и очень добрым одновременно — сочетание отнюдь не ординарное. Он и был именно таким — и умным, и добрым: ум без ехидства и резкости, доброта без покладистости и рыхлости. И картавил он куда больше меня.

— Очень хорошо, что вы к нам пришли, — сказал он, дружески показывая на стул. — Наш завод заждался квалифицированного физика-экспериментатора.

Я бы мог возразить, что меньше всего гожусь в квалифицированные физики, тем более — в экспериментаторы, но не осмелился на такую откровенность.

Кульбуш вызвал к себе заведующего заводской лабораторией. Вошел худой человек с удлиненным лицом (тощая темная бородка еще больше искажала его пропорции), в дымчатых очках. В нем было что-то демоническое — такой вполне мог пригодиться на сцене в роли дьявола средней руки.

— Георгий Эдуардович Кёниг, ваш начальник, — сказал мне Кульбуш. Кёниг хмуро поклонился. Я постарался, чтобы мой ответный кивок выглядел приветливей. — Георгий Эдуардович, — продолжал Кульбуш, — наш новый сотрудник Сергей Александрович, по профессии — физик. Что у нас не ладится с новой продукцией? Поручим ему распутать все, что не идет.

— Хуже всего у нас с радиационными и (особенно) оптическими пирометрами, — сказал Кёниг. — До того запутался, что иногда хочется кулаком научить их работать.

— Отлично — оптические и радиационные приборы! Теперь это полностью ваша епархия, — сказал мне Кульбуш. — Сегодня получите пропуск на завод, завтра приступайте к работе. А сейчас мы пойдем в красный уголок, послушаем об американских приключениях Александра Львовича.

Он показал мне дорогу в красный уголок, а сам вместе с Сашей зашел к директору завода Чеботареву. Мы прошли уже два цеха, когда Кёниг угрюмо поинтересовался у меня:

— Вы, стало быть, хорошо знаете оптические пирометры?

— Я вообще впервые услышал это название. Должен заранее предупредить: в любом виде техники я профан, если не прямой невежда. Начну с азов и попрошу вас мне помогать.

Кёниг покосился на меня с неодобрением и на просьбу о помощи ничего не ответил. Я понял, что мне будет трудно. Я даже подумал, что этот мрачный и немногословный второразрядный демон станет моим прямым недоброжелателем.

Я еще не встречал человека, внешность которого так вопиюще

противоречила бы его характеру. Они, внешность и характер, не просто не согласовывались — опровергали друг друга. Лицо Кёнига было хмурым, сам он — веселым. Он мрачно молчал — но сквозь мрачность проступала радостная ирония. Демонический облик прикрывал детскость. Казалось, это было существо не из нашей жестокой эпохи. Сын крупного царского чиновника — главного контролера империи, — он был наглухо отрезан от всех законных путей к успеху, ему даже в высшем образовании отказали.

Вместе мы проработали недолго (его вскоре перевели на должность пониже — освобождали пост для «нашего человека»). Если я и встречался с ним, то лишь в столовой и на технических совещаниях. Меньше всего я мог предположить, что через пять лет нам предстоит столкнуться в Норильске, и мы сойдемся и служебно, и по сердцу, и не будет у меня на севере друга искренней и добрей, умней и благожелательней. И когда его нерадостная жизнь завершится вторым инфарктом — в новой ссылке, в ангарской тайге, я восприму его гибель как утрату части себя самого, — и мне будет долго мерещиться, что у меня вырвали с кровью нечто такое, без чего невозможно существовать…

Ни он, ни я, живя рядом, не чувствовали друг в друге особой необходимости, но как же я обеднел, когда Эдуарда (я почему-то называл его так — вместо Георга, и ему это нравилось) не стало!

Доклад Саши был длинным и (для меня) малопонятным. На столе стояли экземпляры закупленных им приборов и механизмов, среди них выделялось массивное сооружение, похожее на современный телевизор, — автоматический потенциометр Брауна, самописец, фиксировавший высокую температуру в объектах, к которым были подключены его датчики. Саша увлеченно описывал схему его действия — я в ней ничего не понял, мне были неясны даже изначальные категории: потенциометр, датчики, автоматическое регулирование температуры. Слушатели забрасывали Сашу вопросами (они-то все знали), а я украдкой поглядывал в окно. С Финского залива накатывалась очередная буря, облака неслись как оглашенные, небо то до сияния светлело, то впадало в грозную мрачность. Оно мне было понятней, чем автоматическая запись и регулирование высоких температур в печах.

Когда мы шли с завода, Саша иронически спросил:

— Ты, конечно, не поинтересовался, какой тебе положили оклад?

— Мне это очень интересно, Саша, но спрашивать было неудобно.

— Я не постеснялся. Тебе установили 375 рублей в месяц. Устраивает?

Ни до того, ни тогда, ни после — всю мою жизнь — я не чувствовал себя ни скупым, ни даже прижимистым. Тратить деньги мне было приятней, чем их копить. Но мне редко предоставлялась даже одна из этих двух несовместимых возможностей. Высшие обстоятельства навечно освободили меня от подобных крайностей, и я научился соразмерять желания с реальностью. Я быстро прикинул, что оклад средний, даже, пожалуй, ниже среднего, но голодом он не грозил, и удовлетворенно ответил:

— Я бы, конечно, предпочел три тысячи вместо трехсот. Но Фира, наверное, будет довольна. По одежке протянем ножки.

— Я пробуду в Ленинграде несколько дней, — сказал Саша. — Потратим их на твое знакомство с городом. Ленинград — единственное место в мире, где я с утра до вечера могу бесцельно слоняться по улицам. Начнем встречу с Питером сегодня же. Сейчас — день, потом будет белая ночь. Пошли?

И мы пошли. Я и раньше — когда приезжал — любовался этим великим городом, но я только поверхностно оглядывал улицы. Саша не только восхищался — он знал. Встреча со знаменитыми зданиями была для него событием, а не простым любованием. И он великолепно рассказывал. Я и сам был хорошим гидом (разумеется, по тем местам, которые я знал) — в этом мы с ним сходились, но не соперничали. Меня слушали (иногда с интересом — особенно женщины), Сашу заслушивались. Вероятно, мы с Осей были все же неправы, когда отговаривали его от специализации в теоретической эстетике.

Это было долгое странствие — наша первая прогулка по Ленинграду. Мы прошли весь Каменноостровский проспект, Троицкий мост через Неву, отдохнули в Летнем саду и Михайловском парке, вышли на Невский (на нем еще доживали свои последние годы прославленные торцы, по деревянной мостовой глухо цокали копыта лошадей и по-змеиному шипели шины скромных «эмок» и роскошных «линкольнов» и «паккардов»). Саша подводил меня к знаменитым зданиям, рассказывал об их творцах, о возникновении этих шедевров — вместо мертвого «строительство» он всегда говорил «создание». Город не просто проходил перед моими глазами — он мне открывался. Многоликое живое существо, прекрасное в своем разнообразии.

Раза два мы заходили в закусочные (их, как и в Москве, уже именовали «забегаловками») — перехватить самое известное тогда в Ленинграде блюдо: сосиски с кислой капустой и бутылкой

пива. И достаточно вкусно — и не очень обременительно (для кармана).

— Угощаемся городом и пробавляемся сосисками, — не то сострил, не то признался Саша. Он, кстати, любил и сосиски, и пиво — как, впрочем, и я.

Саша научил меня гулять по Ленинграду. Не было дня, свободного от малярийного приступа, когда бы я, уходя с завода, от часа до трех (лимитировала изменчивая погода) не тратил на блуждания по улицам. И даже когда подкатывал высокотемпературный угар, я сколько мог медлил с возвращением домой.

Я выходил с завода по Стороходовской — на Каменноостровский и у остановки возле роскошного дома № 26–28 (это было правительственное обиталище крупных чинов, некогда здесь жил сам Киров) садился в трамвай № 2, который шел до Балтийского вокзала. Нужная мне остановка находилась сразу за Троицким мостом, на Марсовом поле, но я проезжал еще немного и выходил лишь на Садовой.

До дома было не так уж далеко. Я медленно обходил растреллиевский памятник Петру и мрачно-нарядный Инженерный замок, последнюю обитель Павла Первого. С полчаса ходил по Михайловскому парку и Летнему саду с его мраморными богами и боженятами и напоследок, выбираясь к Неве, любовался гениальной садовой решеткой Фельтена — впитывал в себя ее величественные линии.

Иногда в эти малярийные дни, пройдя еще пару сотен метров до Соляного переулка, я, отмахнувшись от ужина, сразу валился в постель, чтобы перенестись в другую художественную страну — больных видений.

4

В новом городе появлялись новые знакомые. Одна из встреч была весьма необычной.

В Ленинграде жил и наш с Осей одесский друг Николай Троян. Однажды он пригласил меня на какой-то семейный праздник. Гостей в просторной комнате набилось прямо-таки невпроход. Среди них выделялась очень привлекательная дама с исторической фамилией Палей и солидный мужчина — профессор философии Ральцевич.

Сначала я обратил внимание на Ральцевича. Он был хорошо известен в научной среде. Пару лет назад в печати появилась статья, подписанная тремя фамилиями, — его, Митина и Юдина. Резкая и категорическая, в полемическом стиле тех лет (он

предписывал начинать все названия словами «против того-то или чего-то»), она обрушилась на Деборина и деборинцев как представителей меньшевиствующего идеализма. Именно тогда начался разгром философии, завершилась многолетняя дискуссия гегельянствующих марксистов и их противников механистов: оба течения были осуждены как ошибочные и вредные. Положения этой разгромной статьи были далеки от моих интересов, но встреча с одним из философских громил заинтересовала.

У нас сразу завязался разговор. И я с удивлением обнаружил, что Ральцевич совсем не похож на малокультурного научного вышибалу, какими представлялись мне все авторы статьи. Он был довольно интеллигентен, неплохо осведомлен о философских школах и вовсе не демонстрировал той узколобости (обычно ее называют ортодоксией), какой я ожидал. Говорили мы, естественно, не о статье — при всем желании быть приятным я не мог бы сказать о ней ничего приемлемого.

— Николай мне рассказывал о вас, — обратился ко мне Ральцевич. — Знаю о ваших временных неполадках. Любите ходить нехожеными тропами — такое о вас мнение. Не хотите выступить на философском семинаре у нас в Комакадемии?

— С чем выступить? — удивился я.

— С чем-нибудь таким, чтобы у нашего председателя Тымянского глаза на лоб полезли, — хладнокровно объяснил Ральцевич. — Очень уж он любит тишь да гладь. Что-нибудь необтекаемое, остроугольное. Конечно, не на тему наших сегодняшних дискуссии — о них уже высказалось партийное руководство.

Я быстро прикинул, что некоторые мои мысли вполне укладывались в программу вылезания глаз у любителей тиши и благодати.

— А как вы отнесетесь к доказательству, что в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленина есть прямые параллели с философией Спинозы?

Глаза Ральцевича на лоб не полезли, но на лице отразилось немалое удивление.

— Вы уверены, что Владимир Ильич изучал Спинозу?

— Уверен, что он его даже не читал — на это нет никаких ссылок. Я говорю не о заимствовании, а о сходстве.

Ральцевич попросил объяснений. Я сказал, что в основе гносеологии Спинозы лежит утверждение, что природа, которую он именует богом, имеет только два всеобщих атрибута — протяженность и мышление. Это означает, что каждая ее частичка обладает размерами (следовательно, она материальна) и способностью мыслить (значит, духовна). Это удивительное

совмещение всеобщей вещественности и всеобщего мышления и поставило в тупик наших историков философии: куда отнести Бенедикта Спинозу — к материалистам или идеалистам, и того и другого у него много. Но вспомните утверждение Ленина, что сознание есть отражение объекта в субъекте. Именно это отражение Ленин считал сущностью мышления. И утверждал, что простейшие его формы существуют и в мертвой природе. Отсюда можно сделать вывод, что мышление в его примитивном физическом варианте свойственно и неживой материи. Прямая параллель с гносеологией Спинозы! Соответствующие цитаты я подберу.

— Во всяком случае — оригинальная мысль. Даже больше, чем просто оригинальная, — сказал Ральцевич. — Надо подумать, можно ли выносить такие парадоксальные суждения на публичные слушания.

К нашему разговору прислушивалась Палей. Ральцевич вдруг сказал:

— Мне кажется, Николай вас не познакомил. Товарищ Палей — кандидат философских наук, секретарь философского отделения Комакадемии, и все, о чем мы с вами говорили, касается ее очень близко — и научно, и организационно.

Мы еще немного поговорили, и Ральцевич удалился. Больше я его никогда не видел. Он стал одной из жертв забушевавшего террора. Оба его литературных сотоварища, Марк Борисович Митин и Павел Федорович Юдин (они были значительно более серыми и малозначными — так мне говорили люди, которые были с ними знакомы), ареста избежали. Больше того: они возвысились до академиков. Юдин даже стал послом в Китае. Если госбезопасности требовалось выбирать между двумя личностями — яркой и бесцветной, то удар падал на того, кто больше выделялся, — вполне по юноше Марксу, написавшему в подготовительных работах к «Святому семейству», что в первой фазе коммунизма любые индивидуальные владения, в том числе и талант, станут государственно опасными.

После ухода Ральцевича я стал увиваться за Палей. Большой красотой она не брала, но была своеобразной и привлекательной. Мы сидели на диване и разговаривали. Я спросил ее о фамилии: неужели она из тех знаменитых украинских Палеев, прославленных Пушкиным и описанных Костомаровым? Она подтвердила, что ведет род именно из этой семьи и среди ее предков есть даже графы. Впрочем, она не чистая украинка. Не то отец (уже в советское время), не то дед (еще до революции) — я уже не помню деталей — сошелся с цыганкой из табора, певуньей и плясуньей. Умение петь ей не передалось, она использует свой

голос лишь для академических речей. Но танцевать она любит. Не пройдемся ли в танго или вальсе под патефон?

— К сожалению, не могу, — сказал я, назвав ее по имени. Это имя — и, кажется, красивое — теперь начисто выветрилось из моей головы. — Так и не научился танцевать.

— Понятно, тонули с головой в книгах. А что бы вы могли сделать в обычной жизни — столь же чудовищно необычное, как ваша теория о том, что Ленин был последователем Спинозы?

— Могу сесть на пол у ваших ног, смотреть вам в глаза, говорить старорежимные комплименты, старорежимно целовать ваши руки и даже колени — если, конечно, позволите.

— И это при всех? Тогда показывайте! Люблю, когда мужчины валяются передо мной на коленях.

Она все же не ожидала, что я рухну на пол. Она побледнела и откинула назад голову — а я поднял на нее глаза, которым постарался придать выражение полной готовности к дальнейшим услугам.

Наш многообещающий разговор, однако, не состоялся. Я услышал тревожный голос Трояна:

— Сергей, срочно на кухню! Нужна гастрономическая консультация.

На кухне Николай свирепо набросился на меня.

— Ты что — рехнулся? При всех обнимать колени Палей! Захотел завтра же получить ссылку в астраханские степи? И еще повезет, если только на пять лет!

Я ничего не понимал.

— А почему я не могу обнимать колени женщины, если она привлекательна и умна? Или за кандидатами философских наук и секретарями ваших идейно непорочных академий запрещено ухаживать?

— Остолоп! Даже за докторами волочись, если нравится. Но за подругами Андрея Жданова — не смей! Ясно?

Теперь все было ясно. Я лез на рожон (и порой — остервенело) только по крайней нужде. Здесь ее не было.

Несколько минут я постоял на кухне, чтобы вернуть себе полную безмятежность. Когда я вернулся в комнату, Палей насмешливо улыбалась. Она отлично поняла, о чем беседовал со мной на кухне Николай Троян.

Спустя несколько минут она сама подошла ко мне.

— За мной пришла машина, я должна уехать, — сказала она. — Мы с вами так интересно провели время, что я задумала одно дело. Как вас можно известить, если я захочу с вами увидеться?

Я назвал номер телефона заводской лаборатории — другого

способа связаться со мной не было. Примерно через неделю она позвонила.

— Вы можете уйти с вашего завода днем? Послать за вами машину?

— Не надо никакой машины, — поспешно сказал я. — Второй номер трамвая ходит часто. Куда ехать?

— В академию. Мы располагаемся в Мраморном дворце на Дворцовой набережной. От остановки трамвая на Марсовом поле не больше двух сотен метров.

С завода я мог уйти в любое время: служебных дел было много и на стороне. Честно говоря, я часто этим пользовался.

Вскоре я уже входил в Мраморный дворец. Палей сидела в огромной нарядной комнате, одна, за большим столом.

— Как вы, наверное, догадались, я позвала вас не для того, чтобы вы стояли на коленях у моих ног, — улыбнулась она. — Мне нужна квалифицированная помощь, и, думаю, она вполне в ваших силах и интересах. Но — условие: согласитесь вы или откажетесь, никому ни слова.

Я охотно это пообещал. Палей продолжала. Секретная кремлевская типография печатает переводные политические книги (тиражи маленькие — от десяти до сотни экземпляров, в основном для членов ЦК и политбюро, ну, и для других крупных партийных руководителей). Ее друг систематически получает эти издания. Некоторые он сразу читает или просматривает. Но у него так мало свободного времени! Многие книги он передает ей — после она обращает его внимание на самые интересные места. Но и ей некогда. И потом: она специализировалась в истории философии, а не в проблемах международной политики — временами ей просто трудно. Она могла бы давать мне некоторые из этих книг, поскольку других возможностей познакомиться с ними у меня никогда не будет. А я — в благодарность — скажу, какие ей нужно просмотреть страницы, чтобы потом доложить о них другу.

— А я смогу брать эти издания с собой?

— Конечно, нет! Все они идут под грифом «секретно» или «совершенно секретно». Вы будете сидеть в соседнем пустом кабинете и читать, что я вам выдам. Я даже закрою вас на ключ, чтобы никто не вошел. Связываться будем по телефону. Перед уходом вы вернете книгу и сообщите, что в ней заслуживает особого внимания. Согласны? Тогда начинаем.

Она достала из стола «Миф двадцатого столетия» Альфреда Розенберга — средних размеров книжицу, отпечатанную на прекрасной бумаге, с грифом «секретно» на переплете и большим номером 8, написанным цветным карандашом.

Пустой кабинет оказался еще более внушительным и нарядным, чем комната Палей, — наверное, это было служебное обиталище ее отсутствующего начальника. Она закрыла меня на ключ — и я просидел взаперти до шести вечера. Книга Розенберга показалась мне довольно скучной. На столе лежала кучка цветных, хорошо очинённых карандашей. Палей разрешила мне подчеркивать самые важные фразы, только потребовала, чтобы я ничего не писал ни на полях, ни в тексте — мой почерк в таких изданиях был неуместен.

Так началось наше с Палей тайное сотрудничество, которое продолжалось несколько месяцев. Сперва раз в неделю, потом один-два раза в месяц я приходил в Мраморный дворец и знакомился с литературой, закрытой для общего пользования. Некоторые книги (например, толстая «Моя борьба» Гитлера) требовали от меня несколько дней. Но из «Mein Kampf» я не выбрал ничего, кроме нескольких широко известных цитат о восточной политике фашистов. Опус Гитлера тоже показался мне изрядно скучным. К тому же он был плохо написан.

Одна из книг оказалась не так интересной, как загадочной — я говорю о мемуарах поляка Рыдз-Смиглы,[164] преимущественно посвященных его сотрудничеству с недавно умершим создателем польского государства Юзефом Пилсудским. Рыдз-Смиглы вспоминал об одном историческом эпизоде, который показался мне очень значительным. С того дня, как я держал в руках эти мемуары, прошло почти шестьдесят лет, многое стало забываться, многое видится по-другому, но эта страница стоит перед глазами, словно только что прочитанная.

Рыдз-Смиглы писал, что летом 1920-го, когда новосотворенная Польша находилась на краю гибели (Тухачевский подошел к самой Варшаве, а конная армия Буденного победоносно наступала на Львов), Пилсудский собрал секретное совещание лидеров политических партий левого крыла. Все присутствующие были его противниками — разных направлений и разной степени вражды. Маршал изложил собравшимся единственный план спасения, воссозданный им из столетнего небытия. Он, конечно, сделает все возможное, чтобы остановить Тухачевского и отразить Буденного, ему помогает Франция — она прислала в Варшаву генерала Вейгана. Но он, маршал, не может не считаться с реальной возможностью падения столицы. А в занятом большевиками Люблине два предателя — Юлиан Мархлевский[165] и Дзержинский, лакеи Ленина, забывшие свою национальную честь. Если они придут к власти, полякам как нации придет конец. И вот он, Пилсудский, требует от «левицы», своих сегодняшних политических противников: в

том случае, если Варшава падет и в ней появятся Мархлевский с Дзержинским, немедленно вступайте в коммунистическую партию Польши! Ибо там хоть плохие поляки, но — поляки, а не слуги Ленина, лишенные национальности рабы своего диктатора. Пока «левица», хоть и под видом коммунистов, будет у власти, польское государство сохранится. Это будет не та Польша, которую он создавал, плохая Польша, но все-таки — Польша, а не безликая область советской империи.

Рыдз-Смиглы заканчивал свой рассказ зловещей фразой: многие из нынешних руководителей польской коммунистической партии присутствовали на том секретном совещании, созванном Пилсудским.

На полях против этой фразы книги стояла краткая — красным карандашом — пометка: «Что скажет тов. Ст.?». Не знаю, кто был ее автором, — может быть, сам Жданов.

У меня в библиотеке, привезенной из Одессы, была небольшая книга самого Пилсудского — «1920 год». В ней создатель новой Польши удивлялся, что такой отсталый в нынешней механизированной войне род войск, как конница, мог нагнать столько страха на поляков, чуть ли не поставить их на грань поражения. Восхищался талантом Михаила Тухачевского и гордился, что под Варшавой сумел нанести поражение этому блестящему полководцу.

Надеялся, что еще скрестит шпаги с выдающимся советским военачальником, Наполеоном XX века.

Но он нигде не говорил о своем секретном совещании с левыми лидерами Польши! Либо Пилсудский скрыл этот важный государственный секрет, либо Рыдз-Смиглы придумал опасную провокацию против своих политических врагов. Впрочем, это маловероятно: люди, которых он поминал (правда, не уточняя их фамилий), были еще живы и могли протестовать.

Меня уже тогда занимало: что же на самом деле скажет Сталин, получив столь серьезную информацию? Автора заметки на полях не случайно интересовала сталинская реакция: он, очевидно, хорошо знал характер своего владыки. А я вспомнил, что среди многочисленных иностранных комвождей у Иосифа Виссарионовича было лишь два явных друга — немец Эрнст Тельман и поляк Юлиан Ленский, оба генеральные секретари своих национальных компартий. Я видел снимки: на одном Сталин обнимался с дубоватым на вид немцем, на другом — с импозантным поляком.

Фюрер, упрятав Тельмана в тюрьму, защитил его от изменчивых симпатий отца народов, а Коминтерн распустил немецкую компартию как организацию, в которую проникли

классовые враги (это случилось после того, как коммунисты потерпели поражение в своей собственной стране). Наверное, и Тельману, останься он на воле, грозила бы гибель (уже не от Гитлера — от Сталина), и гораздо более скорая: фюрер десять лет терпел своего врага в лагере — Иосиф Виссарионович был куда быстрей и свирепей…

Я догадывался, что после грозных откровений Рыдз-Смиглы Ленскому придется несладко: Сталин, недоверчивый к соратникам, врагам верил. И — соответственно — был податлив на провокации. Но, конечно, я и подозревать не мог, каким жестоким будет его ответ!

Уже в лагере, куда стекались все слухи и тайные сведения, я узнал, что в 1937 году Сталин пригласил на совещание в Москву весь актив польской коммунистической партии. Не приехали — и потому спаслись — лишь те, которые в это время сидели в местных тюрьмах. Остальные тайными тропами пробрались в СССР. Здесь их арестовали и без промедления расстреляли, а сама компартия была распущена Коминтерном — как зараженная вражеским проникновением. Восстановили ее, если не ошибаюсь, только после нашего XX съезда.

Так руководитель коммунистов всего мира расправлялся с зарубежными коммунистическими партиями. Впрочем, своей тоже доставалось — до полной смены местных руководителей и почти полного обновления состава.

Книга Рыдз-Смиглы была, кажется, последней, полученной от Палей. Ко дню моего ареста летом 1936 года наше необычное сотрудничество тихо сошло на нет.

Одним из самых необычных моих знакомых начальной ленинградской поры стал Аркадий Малый (в этой многочисленной семье он оставался единственным, с кем я еще не встречался). Не помню, где произошла первая встреча, но вторая была в «Европейской» (он занимал там внушительный номер). Посреди комнаты на переносном столике был сервирован роскошный ужин: закуски, отбивные, мороженое, торт, напитки. Аркадий, невысокий, плотный, с гитлеровскими усиками, был совсем не похож на своих братьев и сестер.

Впрочем, у младших Малых было мало общего — словно и родители у них были разные. Лишь дураков среди них не наблюдалось: все одинаково выделялись умом, инициативностью и угловатостью характера. Саша, пожалуй, был самым талантливым в этой когорте незаурядных личностей.

— Пей! — приказал Аркадий, усаживая меня за столик. — Ешь тоже, но это не главное: даже в «Европейской» изысканной жратвы теперь не достать. А шампанское — французское, и ликер

«Доппель-Кюмель» из Германии. Фашизм на качестве продукции пока не отражается. Коньяк наш — зато «Греми».

— Учту, — сказал я и налил себе «Греми» (для начала).

— А ты похож на себя, — продолжал Аркадий. — В смысле: Фира тебя так и описывала. Немного перехлестнула, конечно, насчет наружности. Ничего особенного — тут она завралась.

Я не стал спорить.

— А чего еще ожидать от влюбленной женщины?

— Тогда выпьем за влюбленных женщин! — предложил Аркадий. — Ужасно рад, что они существуют на свете. Налей вон из той бутылочки. И мне плесни — это «Бенедиктин», семьдесят градусов, горло обжигает, но дух не спирает. Вершина питейной техники! Французский, разумеется.

Аркадий больше налегал на изысканные напитки, чем на закуску, и быстро пьянел.

— Все же забористо, — сказал он после «Бенедиктина». — О чем мы с тобой говорили?

— О влюбленных женщинах.

— Правильно, о женщинах. Слушай, тебе не нужно девочек? Могу обеспечить, только позвони. Ты кого предпочитаешь — коллективисток или индивидуалочек?

— И это предлагает родной дядя моей жены? — засмеялся я.

— А в чем дело? — забеспокоился он. — Ты же Фире не скажешь, правда? Я твою жену уважаю, как никого. Никогда не буду ее огорчать. А насчет девочек — это же специфически мужское дело, хорошей жены оно не касается.

Мы выпили еще немного. Я, в отличие от Аркадия, еще и закусывал.

— Как твои ленинградские дела? — спросил он. — Научился зарабатывать деньги? Впрочем, если попросишь взаймы, не дам. И не потому, что бедный или скупой. Денег через мои руки проходит много, но свободных никогда не бывает. Давай перейдем на шампанское. Оно очень легкое, вытрезвляет. Чуешь, какой смак? Не чета нашему — даже крымскому, из «Нового света», с завода князя Голицына.

Я все же был недостаточным эстетом, чтобы понять, чем французское шампанское отличается от нашего. Вино было как вино — шипучее и вкусное. И меня оно не отрезвляло, а все больше пьянило.

Мы осушили французскую бутылку. Аркадий продолжал:

— Мы на чем остановились? Да, на девочках. Могу позвонить, придут сразу две. Выберешь сам, какая больше понравится. Обе хорошенькие, можешь не сомневаться. Уродливые — не моя стихия.

— Не нужны мне твои девочки. Меня другое интересует.

— Говори. Все сделаю. Только денег не проси — нет.

— Я слышал, тебя дважды приговаривали к расстрелу.

— Трижды, — сказал он с гордостью. — Честь по комедии: три полностью законных раза.

— И не расстреляли?

— Разве незаметно, что я живой? Меня расстрелять невозможно.

— Значит, у тебя большая рука в Москве?

— Не большая рука, а большие дела. Сам Вышинский мне недавно сказал — по-дружески так: «Давно надо бы с вами разделаться, Малый, а не могу — права не имею».

— Вышинский по-дружески с тобой разговаривал?

— А как он мог по-другому? Впрочем, Вышинский — гад. И прокурор Крыленко — подонок. С ним я тоже говорил. Нехорошие люди. Возмущаются, что меня расстреливать запрещено. И впредь так будет: приговорить к расстрелу — пожалуйста, не возражаю. А привести приговор в исполнение — дудки.

— Чем же ты заслужил такую индульгенцию?

— Чего-чего?

— Индульгенцию. В смысле: освобождение от наказания за любое прегрешение.

— Не за любое. Подними я восстание против советской власти — защита не сработает. Но восстания не моя стихия, я больше по экономике.

— И по красивым девочкам. Сам говорил, что они тоже твоя стихия. Семья исключена?

— Исключена. Не женился и не женюсь. Зачем? Юбками меня господь не обделил — этого добра хватит.

— Какие же у тебя немыслимые заслуги? Он хитро улыбнулся.

— Вот чего захотелось! А слышал о такой вещи, как подписка о неразглашении?

— Всякое неразглашение имеет свой срок. По истечении времени секреты рассекречиваются.

— Мой секрет не рассекретят, пока существует советская власть. Ибо он касается принципиальных ее основ. Понял? Принципиальных!

— Понял только то, что ничего не понимаю.

— А больше тебе и не надо. Теперь понимаешь? Так как же насчет девочек? Позвонить, что ли? Одна шатенка, другая черней нашей южной ночи. Тебе обе понравятся. Но выбирай только одну, другая будет моей.

— Пошел ты со своими девочками! Так не расскажешь о своих принципиальных тайнах?

Аркадий совсем захмелел — у меня в голове тоже зашумело. Я становился все настойчивей — он слабел. И наконец раскололся, взяв с меня слово, что даже после смерти, на адском суде, на строгом допросе у верховного Сатаны, я и намеком не проговорюсь о том, что он, Аркадий, считал своим величайшим подвигом.

Я постараюсь передать его пьяный и несвязный рассказ своими словами.

Я уже говорил, что когда-то Аркадия послали усмирять восставших немцев-колонистов — начальником красного бронепоезда. На заводе Гена снаряды начинили не взрывчаткой, а поваренной солью. Нужно было немедленно возвращаться обратно для перезарядки, но Аркадий задержал бронепоезд, чтобы вдоволь поспекулировать дефицитным для села товаром. В ЧК, предвидя расстрел, он заявил, что дружит с левым эсером Муравьевым (еще недавно тот командовал Черноморским флотом, а теперь стал одним из руководителей Восточного фронта, который сражается с Колчаком). Вряд ли его другу понравится, доказывал Аркадий чекистам, что они так жестоко расправились с боевым товарищем. Муравьев был капризен и политически непредсказуем (все-таки не большевик), но воинская его слава гремела по всей стране. С ним приходилось считаться. И одесские чекисты, чтобы не попасть впросак со своей самодеятельностью, отправили Аркадия в Москву, рассчитав, что там либо утвердят их расстрельный приговор, либо заменят провинциальный гнев на столичную милость. Пока Аркадия этапировали, много чего произошло. Муравьева назначили командующим Восточным фронтом — и он принял под свою руку все части Красной армии, находившиеся на Волге. Против советской власти подняли восстание пленные чехословаки — они, вместе с Колчаком, готовились к наступлению на Москву. Ленин объявил, что самое главное — это Восточный фронт и что речь идет о полной гибели или об окончательной победе советской власти.

Именно тогда, в конце июня 1918 года, левые эсеры подняли в Москве восстание и убили немецкого посла Мирбаха, чтобы спровоцировать возобновление войны с Германией. Мятеж поддержала московская ЧК, в которой служили много социал-революционеров, восстали войска и в других городах. Троцкий с помощью верных ему латышей Данишевского быстро подавил московские беспорядки и направил отряды на ликвидацию волнений в Ярославле и других северных городах.

Но позиция волжских эсеров оставалась неясной. И это было самым тревожным. Если бы новый командующий Восточным фронтом поддержал мятеж и направил войска на Москву, Красная армия не вынесла бы соединенного удара своих восставших дивизий, поддержанных чехами и Колчаком. Муравьев колебался весь конец июня и начало июля. Судьба большевистской власти воистину висела на волоске — и волоском этим был характер нового командующего советскими восточными армиями.

В эти дни Аркадия привезли в Москву. Его принял важный государственный чин из руководителей ЧК. «Даже сверхважный!» — довольно объяснил Аркадий, не назвав, впрочем, фамилии.

— Вы товарищ Михаила Артемьевича Муравьева? — спросил «высокий» чекист.

— Даже друг, — ответил Аркадий. Он надеялся, что близость к знаменитому военачальнику существенно облегчит его положение.

— За одно то, что вы друг Муравьева, вас следует расстрелять не один, а два раза, — мрачно сказал чекист. — У нас есть точные данные, что он готовит измену.

Аркадий, хоть и ошеломленный неожиданным известием, все-таки был из людей, которые в самых неблагоприятных ситуациях не теряют ни сообразительности, ни присутствия духа.

— Я же не собираюсь изменять советской власти — зачем меня расстреливать, да еще дважды? Вы ликвидируйте Муравьева — это будет справедливей.

— А как его ликвидировать?

— Это в ЧК не знают, как это сделать? Что-то не верится.

— Муравьев не в наших руках. Он на Волге, командует фронтом, вокруг него верные ему солдаты…

— Подошлите к нему хорошего человека, лучше из его знакомых, чтобы он сразу не заподозрил. Неужели не найдете?

— Вы не только знакомый, но и друг. Возьмете на себя такое поручение?

— А зачем мне убивать Муравьева? Я террором не занимаюсь.

— Вы приговорены к расстрелу. Разве вас не прельщает перспектива, что приговор будет отменен?

— А вы дадите гарантию, что со мной не расправятся охранники Муравьева? Я свое дело, может быть, и сделаю, но и они не из калек. Я многих его телохранителей знаю — отчаянный народ.

— Вы тоже из отчаянных, нам это известно.

— Нет, я не буду менять смерть на гибель. Выгоды не вижу.

— Есть выгода, — сказал чекист. — Слушайте меня внимательно, Малый. Мы, большевики, принципиально против

индивидуального террора. И никогда на него не идем. Наш метод — террор массовый, класс против класса. А если вынуждены идти против отдельного человека, то под давлением чрезвычайных обстоятельств и в большой тайне. Сегодня создались такие чрезвычайные обстоятельства. Нужно убрать Муравьева — чтобы он не убрал нас. И сделать это до того, как он объявит нам открытую войну и двинет на Москву войска Восточного фронта. А вам, как исполнителю тайного теракта, принесем нашу особую благодарность за великую услугу советской власти!

— Благодарность, равную возможной потере головы?

— Она будет выше! Не забывайте, что, отказываясь от нашего поручения, вы потеряете голову реально.

— Маловато, согласитесь… Шило на швайку.

— Я сказал: получите особую благодарность. Если выполните задание и спасетесь, мы дадим вам привилегию, которая освободит вас от судебного наказания за любые преступления, кроме восстания против советской власти и убийств. Это письменное обязательство будет храниться в нашем тайном архиве — и оно освободит вас от вынесенных уголовными судами приговоров. Разве мало?

В общем, сказал Аркадий, он согласился рискнуть головой, чтобы сохранить ее и обеспечить себе неслыханную независимость от судебных преследований. В помощь ему дали здоровилу моряка, тоже из прошлых муравьевских товарищей (он, как и Аркадий, за какие-то грехи попал под «размен» в ЧК). Их быстренько доставили в Симбирск, куда приехал Муравьев. В день их приезда он объявил о разрыве с большевиками, приказал Восточному фронту повернуть армии на Москву, от имени всей России отменил Брестский мир и самолично возобновил войну с Германией.

Аркадий и матрос явились в ставку и попросили охрану пропустить к Михаилу Артемьевичу двух его старых черноморских друзей. Их обыскали и забрали оружие.

Муравьев сидел за столом — спиной к открытому окну. Стоял жаркий июль, с Волги в окно тянуло прохладой. На столе перед Муравьевым лежал маузер. У противоположной стены сидели охранники, зорко следившие за поведением гостей. Аркадий и матрос сели к ним спиной.

— Рад вас видеть, старые товарищи! — сказал Муравьев. — С чем пожаловали?

— Душевный привет Михаил Артемьевич! — ответил Аркадий. — Явились под твою защиту. Немного поссорились с советской властью, пришлось подорвать когти.

— А насколько поссорились?

— Да нас решили пустить на распыл за некоторые прегрешения. Только мы тоже не промах — сбежали. А я случайно узнал, что против тебя тайно готовят большое дело, и пустился на Волгу, чтобы предупредить.

— Большое дело и тайно? Еще до того, как я объявил большевикам войну? Так что они надумали?

— Приговорили тебя к смерти: уже давно внушаешь недоверие. И подобрали исполнителей.

Муравьев весело захохотал.

— Казнить меня? Среди моих людей? Да кто эти сумасшедшие?

— Мы! — крикнул Аркадий и схватил со стола маузер.

В эту секунду матрос опрокинул на Муравьева массивный стол и быстро повернулся к ринувшимся на них телохранителям. Аркадий пускал пулю за пулей в прижатого к стене Муравьева, а матрос, схватив стул, отбивался от охраны, которая не стреляла, боясь попасть в своего шатавшегося командира.

Потом Аркадий вскочил на подоконник и выпрыгнул в окно. Он услышал за собой выстрелы: телохранители наконец применили оружие. Поняв, что товарищ наверняка погиб, Аркадий припустил в береговые кусты. Он свободно мог бегать на рекорд и в спокойное время, а тут смерть гналась по пятам. Ему помогло и то, что в городе началась перестрелка между солдатами, верными погибшему вождю, и большевиками.

В тот же день в Москве Совнарком объявил Муравьева вне закона — это придало убийству видимость законности.

— Так в чем особая секретность твоего поступка? — допытывался я у Аркадия. — Почему прямо не объявили, что Муравьева ухлопал ты и потому тебе вся честь и заслуга?

— Чудак, неужели не понимаешь? — удивился Аркадий. — Да именно потому, что партия в принципе против индивидуального террора, а убийство Муравьева было совершено еще до того, как он официально порвал с большевиками. Арестовать его и законно судить было невозможно, оставался индивидуальный теракт, совершенный тайно. Вот это и надо скрывать, чтобы не позорить коммунистические идеи.

Рассказ Аркадия противоречил всему, что я знал о гибели Муравьева. Шумное заседание Симбирского совета, проходившее под руководством старого большевика Иосифа Михайловича Варейкиса, вызов на него мятежного полководца, возникшая в ходе политического спора перестрелка и гибель Муравьева на глазах у всех присутствующих… Привычные картины подавления мятежей при помощи мудрого большевистского руководства и при всенародной поддержке советской власти так крепко засели в

моей голове, что поначалу я усомнился. Но в словах Аркадия было одно преимущество: они хорошо объясняли необъяснимую его защиту от любых судебных кар. И наоборот: если их отвергнуть, то на первый план выходила все та же непостижимая загадка — что же такого удивительного он совершил, что удостоился стоять вне закона?

Только когда настал зловещий 1937-й, защита Аркадия не сработала. Его арестовали за очередное наплевательство на экономические интересы государства, некоторое время продержали в тюрьме и наконец привели в исполнение смертный приговор — пятый или шестой в его жизни.

Следующим важным событием стала встреча с Сусанной Згут, сменившей свою фамилию. Собственно, с Санной как с обычным человеком (в смысле: совершенно, до полной экстравагантности необычным) я познакомился пять лет назад. Но сейчас я узнал новую сторону ее личности — и в некоторой степени это коснулось и меня.

Санна влюбилась в нового своего поклонника, архитектора Георгиевского (и, кажется, в первый и в последний раз в жизни — по-настоящему, как обыкновенная женщина: беззаветно, покорно и без измены). Она вышла замуж, сменила фамилию (чего не делала, когда была замужем за Глушко), взвалила на свои непривычные плечи обязанность домашней хозяйки и — в довершение перемен — надумала стать писательницей. И вполне разумно решила Сусанна Георгиевская начать не с самостоятельных сочинений (тем более что с темами была напряженка, как сейчас модно выражаться), а с переводов хороших иностранных романов — для выработки стиля. И немедленно объявила мне, что я должен ей стилистически помогать.

Сусанна Георгиевская

Я, естественно, выразил полную готовность.

Трудность состояла в том, что она была совершенно свободна, а я по восемь часов проводил на заводе. И в немалярийные дни еще час или два бродил по городу, все больше им проникаясь. Дома я появлялся только поздним вечером. Правда, когда случались приступы, я приходил рано — но зато непрерывно боролся с помутневшим сознанием, пока оно бесцеремонно не валило меня в постель. Именно эти

ранневечерние часы были удобны Санне — поздние вечера истово отдавались мужу.

Вскоре наша совместная работа наладилась. Когда я появлялся дома, меня обычно уже ждала Санна. Наскоро перехватив что-нибудь ужинное, я ложился на диван — она читала мне свои записи или вручала рукописи (если, конечно, они были разборчиво написаны — я всегда плохо понимал почерки, включая и свой собственный). Слушая или читая, я предлагал поправки. Редактором я был плохим, в чужой стиль входил с трудом — и зачастую совместная наша работа сводилась к тому, что я начисто перечеркивал ее текст и диктовал свой. Впрочем, это случалось только по первости — и лишь с переводами. Когда она начала приносить свои собственные вещи, я стал осторожней. Я изначально уважал чужое творчество и никогда не делал того, что называется «лезть с суконным рылом в калашный ряд». И я не терпел гладкописи — впрочем, в этом у нас было полное единение.

Так рождалась писательница Сусанна Михайловна Георгиевская.

Ее маленький сын Петя умер. С мужем она развелась в самом начале войны — и отправилась на фронт, на передовую. Она занималась агитацией — вела передачи на немецкие окопы (для этого были предусмотрены специальные громкоговорители). Накопив впечатлений и тем и выпустив ряд книг, она стала очень известной — и у читателей, и в литературном кругу. У нее было свое писательское лицо.

А наши отношения были сложными. Мы никогда не ссорились, нас ничто не разделяло — даже мой разрыв с Фирой (которого мне не простили очень многие родственники). Но и дружбы не получилось.

Не только по литературным симпатиям, но и по характеру мы были очень разными людьми.

— Познакомьтесь с моим первым литературным учителем! — говорила она после моего возвращения из лагеря, когда представляла меня своим друзьям-писателям. Эти же слова она повторяла и в редакциях, где нам приходилось встречаться.

Но наедине со мной она часто вела себя по-другому.

— Ты поступал со мной очень плохо, — сказала она мне однажды. — Помню, я принесла тебе очень важный перевод — я так надеялась на эту работу. Я ждала тебя больше часа. А ты сразу завалился на диван, велел Марусе положить тебе на голову мокрое полотенце — и только после этого взял мою рукопись. И читал ее без особого внимания — я это сразу увидела.

— Саннушка, я был очень болен.

— Я говорю не о твоей болезни, а о твоем отношении ко мне. Ты никогда не воспринимал всерьез моего писательства!

Мои запоздалые оправдания не действовали. Она публично и неизменно твердила, что я был ее наставником, — а про себя так же упорно считала, что я мог бы делать это и получше. Возможно, она была права. Все-таки она была слишком красива, чтобы вот так, сразу, признать за ней еще и серьезность.

5

Итак, из человека, воображавшего, что он — ученый, я стал производственником.

И вот что меня поразило. В пропуске, который я получил, была вклеена моя фотография и обозначена должность: «инженер лаборатории». И мне понравилось мое новое звание! Это было тем более удивительно, что в душе я всегда был принципиальным гуманитарием. Но я вынимал пропуск и любовался надписью. Я вдруг почувствовал почтение к профессии, которую мне навязал Саша.

И это не могло не сказаться на моей работе.

Завод первым в стране начал производство радиационных и оптических пирометров — аппаратов, измеряющих температуру от 700 до 2000 градусов. И производство это не пошло: ни один из приборов, скопированных с иностранных образцов, в серию не годился. В заводской лаборатории мне отвели специальный стол (практически у меня была отдельная комната). На столе лежали и западные прототипы, и наши копии, и я старался разобраться, почему одни работают, а другие (по виду — двойники) — нет.

Здесь я должен сделать несколько технических пояснений — постараюсь не выходить за рамки школьного курса физики.

Оба типа приборов (и радиационные, и оптические) представляли собой простые визирные телескопические трубки, в которые были вмонтированы устройства, принимающие жар раскаленного тела и выражающие его световое излучение в электрической величине, измеряемой обычным, но очень точным гальванометром. Но в одном приборе, радиационном, приемником служила термопара, а в другом (оптическом) — небольшая лампочка накаливания.

Что касается термопары, то она состояла из двух тонких разнородных проводников, двух проволочек, с одной стороны спаянных в узелок, а с другой — подключенных к гальванометру. Если спай нагревали, то на свободных концах появлялась разность электрических потенциалов (величина ее определялась степенью нагрева).

Собственно, на «Пирометре» создавали большие термопары и точные гальванометры, измеряющие разность потенциалов и вызываемый ею электрический ток.

Термопары были разные. Платино-платинорадиевые (один проводник — платиновая проволока длиной от одного до двух метров, другой — такая же проволока, но из сплава платины и радия), более дешевые хромоникелевые, из других сплавов. Все они заключались в стальные трубки, которые погружались в печь или расплав, температуру которых нужно было измерить.

С радиационным пирометром было проще. Он закреплялся перед раскаленным предметом, тепловая радиация нагревала крохотную термопару в оптической трубке, гальванометр показывал, какая появляется разность потенциалов (или, как ее называли, термоэлектродвижущая сила, ТЭДС), а гальванометр демонстрировал градусы, в которые она пересчитывалась.

Неполадки были связаны с плохим качеством термопар: неоднородные проволочки развивали разную ТЭДС при одной и той же температуре. Когда требования ужесточили, производство пирометров пошло — и завод стал выпускать серийную продукцию. Впрочем, большим успехом в стране эти приборы не пользовались, да и за рубежом ходовыми не стали.

Значительно сложней обстояло дело с оптическими аппаратами. Прежде всего, они были переносными. Пирометрист таскал на себе и трубу, и гальванометр. Принцип действия этих приборов был основан на сравнении яркостей лампочки и раскаленного объекта. Считалось, что когда накаленная ламповая нить пропадает на фоне светящегося объекта, температуры их одинаковы (поскольку совпадают яркости). А температуру нити определяли по величине пропускаемого через нее тока — лампочка то разгоралась, то притухала.

Тут были свои сложности. Дело в том, что суммарное излучение состоит из лучей разного цвета, иными словами — с разной длиной волны. И каждая световая волна обладает определенной энергией. У тел, нагретых до нескольких тысяч градусов, самой интенсивной является зеленая (ее длина примерно 500–580 миллимикрон). Недаром земные растения зеленого цвета — они приспособились к восприятию самой эффективной части солнечного излучения.

И в оптическом пирометре все сравнения удобней было вести не по суммарному излучению, а в определенной волне (и лучше всего самой эффективной — зеленой). Для этого в визирную трубку монтировался стеклянный светофильтр, выделявший в излучениях и тела, и лампочки эту самую эффективную волну.

Пока светофильтры покупали у знаменитой на весь мир

немецкой фирмы Шотта (она поставляла свою продукцию еще более прославленному Карлу Цейсу), никаких осложнений не было: немцы двести лет производили оптические стекла и здорово в этом насобачились (так с уважением говорил мой начальник Георгий Кёниг, тоже, по всему, из русских немцев). Но индустриальная революция первых пятилеток внесла в это дело свои коррективы. Иностранная продукция стала очень дорогой, к тому же оптическое стекло было стратегическим товаром — а стране нужна была гарантия полной военной автаркии.[166]

Короче, это стратегическое стекло стали варить на своих заводах: прозрачное — на «Дружной Горке» под Ленинградом, цветное — в Изюме на Украине (вероятно, были и другие). Нашим главным поставщиком был завод в Изюме, военное, уже и тогда номерное предприятие, производившее, в частности, дорогие красные стекла — «золотой рубин» (в их состав входило золото и еще один «рубин», «медный», — собственно, чистая медь). Сколько я знаю, из «медного рубина» были изготовлены кремлевские звезды, поражающие специалистов своим глубоким красным сиянием.

Весной 1936-го мне пришлось отправиться в командировку на Изюмский завод (нужно было согласовать технические условия на светофильтры). Я еще расскажу об этой поездке — в моей дальнейшей судьбе она сыграла, возможно, решающую роль.

Оптические пирометры поставили передо мной ряд проблем, которые требовали немедленного решения: задержка с их серийным выпуском сказывалась на всем заводе. И весь тот год (с небольшим), что я провел на «Пирометре», я был занят распутыванием этого клубка.

И первое, что я должен был сделать, — это установить, что же представляют собой дорогие, фиолетовых оттенков стеклянные пластинки, обильно поступающие с Украины. Сложность была в том, что у нас не было прибора, позволявшего определять реальную «эффективную волну света», которую они пропускали. И на других ленинградских заводах его не было. Мне сообщили, что такой аппарат (немецкий спектрофотометр Кёнига-Мартенса) есть в цветовой лаборатории Государственного оптического института — ГОИ, но институтские оптики вовсе не расположены подпускать к нему посторонних.

Мы с Кёнигом пошли к Кульбушу.

— Буду звонить директору ГОИ Вавилову, — сказал Кульбуш. — Сергей Иванович, конечно, прижимист, но ему не может не понравиться, что промышленное производство нуждается в помощи его института. Попытаюсь сыграть на этом.

Спустя короткое время Кульбуш вручил мне и Кёнигу

письменное ходатайство завода «Пирометр» о разрешении поработать на спектрофотометре Кёнига-Мартенса.

— С Сергеем Ивановичем согласовано, — сказал он. — Не просто разрешил, даже обрадовался: «Наконец-то производственники стали понимать, что без настоящей науки им далеко не уйти!» И совсем развеселился, когда узнал, что его прибор и наш начальник лаборатории носят одинаковые королевские фамилии — Кёниг.

Мы немедленно поехали на Васильевский остров.

Нас приняла заведующая цветовой лабораторией ГОИ — мощная мужеподобная дама, она была на голову выше меня. Кёниг потом клялся, что завлабша (его глазомеру можно верить!) носит обувь 46-го размера. Лицо у нее, впрочем, было милое, и разговаривала она вполне по-женски — сопрано. И ученым была серьезным: впоследствии стала членкором Академии наук, даже Сталинскую премию получила.

— Даю спектрофотометр только раз в неделю и не больше чем на час, — категорически постановила она. И отвергла наши робкие попытки выпросить побольше.

Всю зиму я строго придерживался этой квоты: еженедельно приходил в ГОИ (уже без Кёнига, он ограничился одним посещением) с набором светофильтров, которые нужно было проверить. Я всегда брал их больше, чем нужно. В лаборатории работали преимущественно женщины, недавние выпускницы ленинградского университета. Я хорошо знал, что они генетически обречены сердобольствовать молодому мужчине, оказавшемуся в трудной ситуации. «Не тащить же эти штуки обратно непроверенными», — грустно говорил я, показывая на оставшиеся светофильтры. И всегда находил понимание и сочувствие.

Одну из «цветолаборанток» я даже пригласил в кино, но какую картину мы смотрели — решительно не помню.

Весной 1936 года заведующая объявила, что прекращает помогать «Пирометру» (именно в это время, если не ошибаюсь, Вавилов переехал в Москву). Впрочем, причина, по ее словам, была не в отъезде директора: Кёниг-Мартенс донельзя перегружен институтской работой — посторонним нельзя выделить и минутки.

Это был тяжелым ударом. Как раз тогда я привез с Украины партию новых светофильтров. Их необходимо было проверить, потому что в Изюме тоже не было спектрофотометра. Мы кинулись на поиски. Результат оказался неожиданным: в Ленинграде был еще один аппарат Кёнига-Мартенса. Он находился в лаборатории Всесоюзного электротехнического

института. Директорствовал (или, во всяком случае, технически руководительствовал) в ВЭИ профессор Александр Антонович Смуров, видный электротехник, в прошлом — член ГОЭЛРО,[167] автор знаменитого учебника «Техника высоких напряжений».

Я запасся нужными бумагами и отправился к нему на прием. Он быстро решил мои затруднения — правда, совершенно непредвиденным способом.

— Раз «Пирометру» надо — значит, надо, — сказал он, даже не поинтересовавшись моими ходатайствами. — Можете поработать на нашем аппарате. Но есть одно условие. Спектрофильтром заведует хороший человек и прекрасный физик — моя аспирантка Елизавета Ивановна. Нагружать ее дополнительно я не могу, а вам без нее не обойтись. Посторонние не могут оставаться в одиночестве в лаборатории высоких напряжений — слишком опасно.

— Александр Антонович! Неужели нет выхода? — взмолился я.

— Конечно, есть, молодой человек. Аспирантская зарплата — мизер, даже на паек по карточке — и то еле хватает. А «Пирометр» — завод богатый. Платина, например, сегодня чуть не вдесятеро дороже золота, а у вас она едва ли не в каждом приборе. Заключите с Елизаветой Ивановной соглашение, заплатите за помощь вашему заводу в сверхурочное время. И пусть договор подпишет ваш директор Чеботарев. Или Кульбуш — я его лучше знаю. А я поставлю на вашей просьбе решающее «Согласен» и посмотрю сквозь пальцы, если Елизавета Ивановна решит помогать вам не сверхурочно, а в рабочие часы. И последнее: особенно ухаживать за ней не рекомендую. У нее полно поклонников и в нашем институте.

Я и понятия не имел, что сотрудникам институтов разрешено заключать трудовые соглашения на производство особых работ. Но сделал все от меня зависящее — и вскоре появился в лаборатории, где начальствовала аспирантка Смурова Елизавета Ивановна (фамилии ее не помню, потому что, подозреваю, никогда и не знал).

Лаборатория была как лаборатория: большая комната, уставленная силовыми и измерительными стендами, трансформаторами и моторами. Наличествовал здесь и спектрофотометр Кёнига-Мартенса. И командовала всем этим молодая женщина (на год или на два младше меня), невысокая, стройная и до того быстрая, что мне казалось, будто она непрестанно бегает. Хотя она всего лишь ходила — но уж больно стремительно…

Меня поразили ее изысканные светлые туфельки на таких

высоких остроконечных каблучках, каких я еще не видел. Когда мы немного подружились, она позволила мне измерить каблук — в нем оказалось одиннадцать сантиметров. Для того времени — воистину рекорд!

Первый мой день в световой лаборатории ВЭИ чуть не закончился трагически. Впрочем, начиналось все обычно.

— Осветителями для спектрофотометров будут обычные электрические лампы мощностью от 100 до 1000 ватт, — сказала Лизавета Ивановна, — напряжение — от 127 до 1000 вольт. Какие выберете?

— Неплохо бы 500 ватт при напряжении в 500 вольт, — сказал я, прикинув, что крупная лампа даст вполне достаточную яркость. Кстати, в цветовой лаборатории ГОИ такой выбор отсутствовал.

— Какой нужен ток — переменный или постоянный?

— Лучше постоянный — яркость будет без колебаний.

— Проверим, есть ли сейчас постоянный ток.

И Лизавета Ивановна направилась к силовому щиту, смонтированному на торцевой стене. Я пошел за ней.

Щит этот был довольно-таки устаревшим сооружением. Здесь не было кнопочных магнитных пускателей — только медные рубильники с деревянными ручками. На одной из его половинок красовалась надпись «Постоянный ток», а пониже — четыре деления: 127, 220, 500 и 1000 вольт. Лизавета Ивановна подошла к пятисотвольтовому рубильнику, я стал рядом.

Я думал, что она возьмется за деревянную ручку и вонзит оба ножа в щелевые клеммы — но, к моему ужасу она вдруг протянула к клеммам руку, явно собираясь замкнуть напряжение в 500 вольт на свое тело.

Ее пальцы не успели коснуться щита — я с воплем вцепился ей в плечо, чтобы отшвырнуть куда-нибудь подальше. Отшатнувшись от рубильника, она вытянула руки перед собой — словно пытаясь меня остановить.

Не знаю, как выглядел в эту секунду я, но она стала белым-бела.

— Сумасшедший! — крикнула она. — Если бы я не отвела от рубильника рук, вы были бы убиты!

Я тоже сорвался на крик.

— Это вы должны были быть убиты! И я совершенно не понимаю, почему этого не произошло!

— Этого не могло произойти. Отойдите от меня на пять шагов! — скомандовала она. — Нет, еще дальше. Теперь спокойно смотрите и не делайте никаких судорожных движений. Я покажу вам нечто удивительное.

Это было воистину чудо! Обычное заводское напряжение в 380 вольт смертельно для человека. В детстве я видел, как мужчина случайно замкнул на себя трамвайную линию (500 вольт) — и не только мгновенно умер, но и обуглился. А Лизавета Ивановна, убедившись, что я не сумею допрыгнуть до нее одним прыжком, мирно держала руку на клеммах под напряжением в полтысячи вольт, — и ничего не случилось! Она должна была уже валяться мертвой или биться в предсмертных судорогах — а она весело хохотала! И зорко следила, чтобы я к ней не рванулся.

Я сделал какое-то движение — она мгновенно сняла руку с рубильника.

— Но ведь это невероятно! — потрясенно сказал я, когда она отошла от щита. — Вижу — и не могу поверить! Или щит не под напряжением?

— Все как надо — напряжение ровно 500 вольт, — спокойно сказала она. — Но для меня это неопасно. А вот вы уже лежали бы мертвым, если бы успели меня коснуться…

— Все-таки не понимаю… Почему напряжение, смертельное для меня, для вас — что слону дробина?

— Это разъясняет теория Александра Антоновича.

И Лизавета Ивановна достала книгу Смурова «Техника высоких напряжений». Профессор установил, что для человека губителен ток силой от 0,01 до 0,1 ампера. Если он больше 0,1 — сгорают внутренности. Если меньше — обгорает тело. А если ниже 0,01 — он просто вызывает судороги (или дрожь). Обычно электрическое сопротивление человеческого тела колеблется между 30 тысячами и 100 тысячами ом (впрочем, последнее встречается реже). Сила тока определяется делением напряжения (в вольтах) на сопротивление (в омах). Поэтому человеку с сопротивлением в 30 тысяч опасно напряжение в 300 вольт, ибо оно порождает силу тока в 0,01 ампера; 3000 вольт дают 0,1 ампера. Для обыкновенных людей напряжение в 500 вольт смертельно!

— Но вы же не погибли! — возразил я.

— А кто вам сказал, что я обыкновенный человек?

И Лизавета Ивановна с удовольствием рассказала, что однажды попала под напряжение в 1000 вольт — и ничего! Это было настолько невероятно, что Смуров ее обследовал. И оказалось, что электрическое сопротивление ее тела от одной руки до другой (то есть через сердце, легкие и печень) не 50-100 тысяч ом, как у нормальных людей, а около 3 миллионов! По теории Смурова, это означало, что ей не страшно напряжение даже в 3000–5000 вольт. Вложив оба пальца в розетку, она даже легкой щекотки не почувствует.

— Ну, и как ваше уникальное электрическое сопротивление сказывается в жизни? — осторожно поинтересовался я.

— Аппетит — обычный, запросы — тоже обычные, женские: книги, кино, одежда. Правда, очень люблю танцевать. Но, думаю, от моих омов и вольтов танцы не зависят.

Мы засмеялись. Я и предположить не мог, что не пройдет и десяти лет, как смуровская теория электрического сопротивления человека обернется ко мне совсем другой своей стороной…

У меня в Норильске был лаборант — мальчишка-зэк лет пятнадцати-шестнадцати. Возраст у него был юный, срок — взрослый, да и преступление нешуточное: не то утащил буханку из хлебной лавки, не то польстился на чей-то кусок колбасы. Паренек он был удивительно смирный, послушный и безотказный на работу. Я, впрочем, старался загружать его поменьше, совал ему разные книжки — он собирался после освобождения поступить в какой-нибудь техникум. Однажды он зачем-то забрел в аккумуляторную, зацепился рукой за оголенные провода от понижающего трансформатора и был мгновенно убит электрическим разрядом.

Комиссия, изучавшая причину его смерти, установила, что он попал под напряжение 127 вольт. Это показалось невероятным. Провода во всех цехах пообтрепались, люди частенько попадали под напряжение и повыше, но катастрофы не происходило.

Заволновались и рабочие, и начальство. Низковольтная проводка тянулась во многих местах, она часто оголялась — от ветхости. А цеха были освещены плохо. Долгое ли дело — задеть за провод? И что — сразу смерть?

На совещании у директора «куста» металлургических заводов Александра Романовича Белова я рассказал о теории профессора Смурова и предположил, что у мальчика, слабосильного и отощавшего, сопротивление тела упало, потому и при низком напряжении сила пронесшегося по нервам тока стала смертельной.

— Слабосильных и отощавших у нас много. Значит, повторение возможно, — сказал Белов. — Особенно это относится к вашей лаборатории., Там у вас и зэки, и вольняшки из сибирских сел. Кто из них в войну ел досыта? Проведите инструктаж по технике безопасности.

Я прочел своим лаборантам лекцию о том, что такое сопротивление человеческого тела, какой ток смертелен и какого напряжения следует опасаться. Еще я сказал, что величина этого самого сопротивления может колебаться. И вообще: у каждого человека свой минимум. И предложил его определить.

Делали мы это так: связывали обе руки с электрическими

проводами от карманных батареек, дававших в сумме 10 вольт, и вставляли в сеть чувствительный гальванометр, реагировавший на миллионные доли ампера. Потенциал батареек, деленный на крохотный ток, давал искомую величину. У всех сопротивление лежало в нормальных пределах: 30-100 тысяч ом.

А потом к столу подошла Зина. Это была самая красивая и самая смелая из моих лаборанток. Она носилась между чанами с металлическим расплавом, ловко уворачивалась от кусков раскаленного шлака, не боялась огненных брызг… И мне постоянно было страшно, что она попадет в беду.

Она смотрела на гальванометр, я стоял рядом. Сопротивление было обычным — около 50 тысяч ом. И тогда я сильно ущипнул ее чуть пониже спины.

Зина вскрикнула, стрелка прыгнула к концу шкалы.

— Теперь послушай, что произошло, Зиночка, — громко сказал я. — В нормальном состоянии сопротивление у тебя тоже нормальное, напряжение в 220 вольт для тебя не опасно. Но когда я тебя ущипнул, проводимость твоих нервов увеличилась в десятки раз. В этот момент тебя убили бы и 50 вольт! Отсюда вывод, — я обращался уже ко всем. — Не полагайтесь на свое природное электрическое сопротивление, держитесь подальше не только от силовых, но и от бытовых электросетей. Знаете же: на бога надейся, а сам не плошай.

Впрочем, это было только через десять лет.

С Лизаветои Ивановной мы проработали около месяца. Наступили белые ночи. Как-то мы вместе вышли из института — и оказалось, что нам по пути. Мы проходили мимо Ботанического сада.

— Наша ленинградская достопримечательность, — сказала она. — Вы здесь уже бывали?

— К сожалению, ни разу.

— Тогда пройдем через него.

— С удовольствием. Где тут берут билеты?

— Я проведу вас бесплатно. Все мы так ходим.

И она показала мне внушительную дыру в ограде.

Судя по всему, это был день, закрытый для посетителей. Сад был совершенно пуст. На всякий случай мы держались подальше от оранжерей с орхидеями и другими редкими цветами и деревьями — кое-где в них работали садовники.

— Лизавета Ивановна, спасибо, что вы меня сюда привели, — сказал я. — По-моему, в городе нет лучшего места для свиданий. Обязательно буду приглашать сюда женщин, в которых влюблюсь!

Она лукаво посмотрела на меня.

— Как жаль, что вы в меня не влюбились… Тогда вы смогли

бы пометить нашу прогулку как свидание — и начать свой список.

— Это всего лишь дело времени, — бодро пообещал я. — Любовь не всегда начинается с первого взгляда, тем более что при этом первом взгляде я чуть не погиб, безрассудно пытаясь спасти вас от несуществующей опасности. Поэтому не теряю надежды, что в списке будет значиться и ваше имя!

Впоследствии я еще несколько раз приходил в Ботанический сад — но уже один.

Сотрудничество с Лизаветои Ивановной завершилось хуже, чем мне хотелось. Бухгалтерия завода отказалась оплатить трудовое соглашение с ВЭИ. Оказалось, что я совершил ошибку, а Кульбуш ее не увидел: подписи главного инженера на договоре было недостаточно, требовалась виза главбуха. А главная наша бухгалтерша была женщиной самолюбивой — ей не нравилось, когда ее недооценивали. В результате долгих упрашиваний она согласилась расщедриться на требуемые сто рублей — но лишь при условии, что завод перевыполнит план (и только в тот месяц, когда это перевыполнение будет).

Узнав об этом, Лизавета Ивановна не на шутку огорчилась — и я понял, что повышенное электрического сопротивления ее тела драматически сочетается с финансовой недостаточностью ее кошелька. Какое-то время я носился с мыслью, что заплачу ей сам. Мне, возможно, дадут 50 рублей премии, а вторую половину суммы я извлеку из очередной зарплаты — и придумаю какую-нибудь отговорку для Фиры. Лизавете Ивановне, конечно, ничего об этом не скажу.

План этот рухнул 6 июня 1936 года, в день моего ареста. И, боюсь, Лизавета Ивановна так и осталась при убеждении, что я — обманщик. Помню, меня это долго мучило — и в тюрьме, и в лагере.

Проверка радиационных и оптических пирометров была не единственной моей заводской обязанностью. Я должен был оценивать электрические свойства платиновой и платинорадиевой проволоки (их поставляла немецкая фирма «Гереус»).

Часть проволоки шла в нагревательные элементы трубчатых печей Марса (они давали температуру свыше 1600°). Это были простые устройства, лаборатория ими не занималась.

Но для высокотемпературных термопар требовалось особое качество. И хотя фирма «Гереус» была известна во всем мире и не было случая (по крайней мере — при мне), чтобы она нарушила свои обязательства, термоэлектрическую характеристику все-таки нужно было проверять.

Перед ноябрьскими праздниками 1935 года из Германии поступила очередная партия платины — что-то около килограмма проволоки. Новый начальник лаборатории Михаил Сергеевич Морозов (Кёнига уже переместили) передал ее мне.

Платина была отличная — иначе как на отлично знаменитая фирма не работала. Подошло время обеда. Я предупредил Морозова, что проволоку можно передавать в производство, и захватил ее в столовую, В ней обедали в три смены: сначала рабочие одного цеха, потом — другого, а в завершение — заводское начальство всех рангов. Инженеров лаборатории причислили к начальникам.

В зале было человека три-четыре, подавальщицы мыли столы, какой-то немолодой мужчина развешивал на стенах портреты вождей. Я положил перед Морозовым солидный моток. Морозов равнодушно взял проволоку и сунул ее в карман. Мы поели и разошлись.

Я еще где-то задержался, а когда вернулся к себе, встревоженная лаборантка сказала, что меня срочно требует Морозов. Я схватил телефонную трубку.

— Сергей, что случилось? — в голосе Морозова была почти паника. — Куда ты дел платину?

— Платина у тебя, — ответил я. — Выражаясь по Бабелю, собственноручно видел, как ты сунул моток в карман.

— Нет у меня платины, — объявил Морозов. — Немедленно бежим в столовую, может быть, я ее там обронил.

В столовой было чисто и пусто. Мы кинулись к Чеботареву, директору завода. Директор был прямолинеен, как телеграфный столб. Он досконально знал, как бороться с пропажами.

— Воровство! — объявил он. — Всем сменам на вахты — обыск. Всех уборщиц и подавальщиц немедленно ко мне. В органы пока сообщать не буду, но ведомственную охрану — на ноги!

Ни уборщицы, ни подавальщицы, ни мужчина, развешивавший портреты вождей, никакой платины не видели. По их насмерть перепуганным лицам было ясно, что они не лгут. Настроение директора изменилось.

— Если обыски на вахтах не дадут результата, значит, не воровство, а нечто похуже. Не исключаю вражеской диверсии — указание из Москвы насчет вредительских попыток недавно разослано по всем заводам. После праздников сообщу в ГПУ, чтобы прислали специалистов.

По заводу быстро разнесся слух о ЧП в лаборатории. Общий обыск дневной смены (каждого выходящего ощупывали) добавил жару. Вообще-то обыски были привычны: во всех цехах работали с

драгоценными металлами — серебро шло на провода в электрических термометрах, золото — на подвески перьев в самопишущих приборах, платина, как я уже сказал, на термопары и нагревательные элементы лабораторных печей. Но обычно ограничивались выборочной проверкой того, что выносил с собой один из пяти или десяти рабочих. Всеобщий обыск тоже значился в списке охранных функций, но, как мне объяснили старожилы, его не было уже несколько лет. А сейчас на вахте появилась целая команда охранников, обыскивали с такой тщательностью, какой еще не знали, — снимали даже ботинки. Люди по часу ждали своей очереди.

Ни у дневной, ни у вечерней, ни у ночной смены платины не обнаружили.

На следующий день заводская колонна аккуратно отшагала с улицы Скороходова на площадь 25 октября. Во время парада Морозов прошептал:

— Плохо наше дело, Сергей. Уверен: к нам подбирают ключи. Завтра Чеботарев вызывает спецов из Большого Дома.

Но Чеботарев так и не сообщил в ГПУ о пропаже платины. Розыском властно занялся Кульбуш. Утром он вызвал в свой кабинет всех начальников цехов и служб.

— Не верю в кражу, — объявил он. — Платину нельзя ни продать, ни пустить в дело — разве что за рубеж можно вывезти (и то — тайно). По закону от 7 августа за мешок зерна или за кусок сукна дают десять лет лагерей, а тут килограмм металла ценой в несколько десятков тысяч долларов. Воровать такой нереализуемый товар — сознательно подставлять затылок под пулю. Настоящие воры редко бывают дураками. Платина где-то на заводе — будем искать. Позовите ко мне всех, кто был тогда в столовой.

Мы с Морозовым присутствовали при допросе, учиненном Кульбушем. Дело разъяснилось быстро.

— Ты взял платину? Признавайся! — сказал Кульбуш мужчине, который развешивал портреты. — Только чистосердечное признание…

Мужчина побелел.

— Что вы! Да никогда в жизни. Куска сахару не своровал — даже в детстве. А вы — платина!

— Не воровал? Значит, нашел. Повторяю, только признание…

— Не видел я платины! Ни куска…

— А что видел? Что делал, кроме как портреты развешивал?

— Еще ветки хвои навесил — на проволоке, по стенам. Хвою привезли утром, а железную проволоку я принес со склада. Только негибкая она была, я ее потом всю обратно отнес. Нашел

другую, помягче, — на ней и закрепил.

— Где нашел мягкую проволоку?

— На полу валялась. Кто-то выбросил — я поднял. Кульбуш выскочил из-за стола.

— Айда в столовую!

Хвоя висела на платине, драгоценная проволока была аккуратно закреплена гвоздями. Смотав ее, мы кинулись в лабораторию — к аналитическим весам. Все было в наличии — грамм в грамм.

— Силен ваш бог, други! — воскликнул Кульбуш, радостно улыбаясь. — Спасли свои молодые жизни! Но последствия еще будут, не думайте, что это вам так просто сойдет. Впрочем, теперь это мура!

Неделю-другую мы с Морозовым беспокойно ждали последствий, но они все не наступали, и мы постарались забыть о платине — во всяком случае, избегали упоминать ее вслух. К тому же Кульбуш взвалил на меня новое задание.

— У нас систематический брак с дорогими гальванометрами, — сообщил он. — Стрелки приборов, как вам известно, закреплены на двух остриях — кернах. А керны опираются на подпятники и качаются в их ложе. В часах, как правило, подпятником служит рубин. Еще лучше — алмаз, но он слишком дорог. Мы используем агат — камень, правда, полудрагоценный, но тоже высокой твердости. Каждому керну соответствует особый подпятник. Мы делаем их по немецким инструкциям — но что-то идет не так. Запросили фирму, у которой скопировали гальванометры, она порадовала, что брак случается и у них, только поменьше нашего. В общем, разберитесь.

О кернах и подпятниках я, конечно, слышал — но и только. Помню, Осип Соломонович подарил мне на совершеннолетие ручные швейцарские часы и важно сказал:

— На двадцати камнях — носи на здоровье!

Часы у меня украли хозяева хаты, в которой я останавливался во время одной из сельских командировок, — и мне так и не удалось узнать, где в них таятся эти загадочные камни.

О кернах и подпятниках в гальванометрах я знал не больше.

— А где я найду материалы? — спросил я.

— Обратитесь к начальнице отдела технического контроля. У нее есть все инструкции. И она великолепно разбирается в теории. Добрую четверть нашей продукции она бракует из-за плохого скольжения.

Прежде всего я осмотрел керны и подпятники: крохотные иглы из особо прочной нержавеющей стали — и маленькие

чашечки из телесного агата. Острие керна и диаметр полированного ложа должны были соответствовать друг другу, чтобы ничто не мешало иголке качаться.

Затем взялся за инструкцию — и мало что понял: я не любил геометрической оптики. Поколебавшись, пошел к начальнице ОТК и признался в своей тупости.

Начальница посмотрела на меня с презрением. Она была красива и надменна. Она подвела меня к микроскопу, показала подпятник и почти дословно пересказала инструкцию.

— Теперь вам, надеюсь, понятно? — сухо осведомилась она.

Я знал, что разумней всего было бы восхищенно всплеснуть руками и поблагодарить за помощь, а потом, в одиночестве, попытаться разобраться еще раз. Но ее лицо выражало такое сочувствие моему идиотизму, в голосе слышалось такое пренебрежение моими умственными способностями, что я ощетинился.

— Нет, по-прежнему не понимаю, — повторите, пожалуйста, — сказал я максимально вежливо.

Она догадалась, что сейчас последуют каверзные вопросы, и поставила меня на место очень действенным способом. Она позвонила Кульбушу.

— Георгий Павлович, вы прислали ко мне нашего нового инженера, чтобы я рассказала, как мы измеряем диаметр подпятника и радиус его закругления. Я объяснила, но он ничего не понимает. Говорит, что не может разобраться.

— Немедленно ко мне! — распорядился Кульбуш. — Ничего, что сразу не поняли, — весело сказал он, увидев мое смущенное лицо. — Сейчас я вам все расскажу, это же так просто. Только слушайте внимательно и, если будет темно, переспрашивайте.

Он, видимо, подготовился к яркой и короткой лекции — он любил такие (особенно в своем кабинете). И он в совершенстве знал теорию всех приборов, производимых на созданном им заводе, и охотно демонстрировал свою исключительность.

Однако на этот раз он только повторил своими словами то, что было изложено в немецкой инструкции. Я с отчаянием почувствовал, что понял еще меньше, — а значит, придется снова признаться в своей инженерной неполноценности: врать Кульбушу я не смел.

— Ну, как — теперь уяснили? — спросил он.

— Нет, Георгий Павлович, — честно признался я. — Я вообще плохо понимаю с голоса… Разрешите мне самому подумать. Завтра я вам доложу.

В голосе Кульбуша послышалась досада.

— Не будем откладывать! Все так просто. Начнем еще раз — с

самых азов. Вот этот кружок в микроскопе, если его пересчитать по формуле… — Кульбуш вдруг запнулся. — Впрочем, почему по этой формуле?.. Она здесь мало подходит! Надо бы по другой… Нет-нет, та из иной области оптики! — Он вдруг замолчал, потом схватил инструкцию, молча вчитался в нее и стал вглядываться в микроскоп (перед нашим приходом он выставил его на стол). Лицо его вдруг посветлело. Он с веселым недоумением посмотрел на меня. — А знаете, что я вам скажу? Вы ведь правы — ничего не понятно! Формула не годится. Она не дает истинной картины ложа подпятника. Как мы это раньше не заметили?

Я почувствовал скромное облегчение. Оказывается, мое непонимание объяснялось вовсе не тупостью! Кульбуш отставил микроскоп и предложил:

— Давайте попробуем сами вывести истинную формулу перерасчета. Отводим на это сегодняшнюю ночь. Завтра утром приходите ко мне, сравним результаты.

К счастью, эта ночь была свободна от малярии. До самого рассвета я пытался вывести формулу. Минусы мешались с тангенсами, на них накладывались производные — я до предела мобилизовал свои математические способности. И в результате получилось что-то замысловатое, по чему можно было хоть как-то рассчитать повороты керна.

Утром я отнес Кульбушу результаты своих ночных математических потуг.

— Отлично! — одобрил он, просмотрев мои записи. — Вы на верном пути. Но это только начало, а не окончательный результат. Посмотрите, что успел сделать я.

И он протянул мне пять или шесть уже отпечатанных на машинке страничек с вписанными от руки формулами. Я читал их — пораженный и восхищенный. За одну ночь Кульбуш сделал то, что я — даже при творческом озарении — не сумел бы сотворить и за неделю. Он дал полную теорию скольжения иглы в сферическом ложе подпятника. Разобрал все возможности сочетания закруглений иглы и ложа. И вывел окончательную формулу — гораздо проще той, которая приводилась в инструкции.

— Ваше мнение? — с улыбкой поинтересовался Кульбуш — он был чувствителен к похвалам.

— Великолепно! — искренне воскликнул я. — Я думал, Георгий Павлович, что вы только производственник, а вы в такую теорию вдались! Вашу статью надо напечатать.

— Сегодня же отправлю ее в журнал. Мне тоже кажется, что она представляет интерес не только для нашего производства. Подпятники нам поставляет петергофский завод абразивных

изделий — теперь им придется работать по новой инструкции. Поручаю это дело вам. Петергоф — отличное место для отдыха. И фонтаны скоро заработают. Надеюсь, там вы займетесь не только абразивами, но и парками.

В Петергоф я поехал на следующий день. Завод оказался солидным, его продукция шла не только на «Пирометр», но и на всю страну. Мне разрешили пройтись по цехам. Я увидел мастеров, работавших с алмазами и рубинами (для ювелирных изделий и по военным заказам), боксы со столами для золотых работ (там были специальные приспособления для собирания драгоценной пыли)…

Новые технические условия приняли без возражений, но попросили, чтобы мы присылали своего представителя — принимать каждую партию. Мне показалось, что ни особых сложностей мы им не доставили, ни особого значения они нам не придают — считают, что заняты куда более важными вещами. А завод этот — всего лишь огромные кустарные мастерские. Правда, отлично организованные.

Случай с подпятниками изменил наши с Кульбушем отношения. Он явно выделил меня из сотни заводских инженеров. Стал чаще вызывать на совещания, иногда оставлял и после — чтобы поговорить наедине. Он пригласил меня на день рождения. Заводчан было только двое или трое, остальные — незнакомые мне кульбушевские друзья. Меня поразил уровень разговоров: о литературе, архитектуре, операх Шостаковича (только что поставленном «Носе» и предстоящей «Леди Макбет Мценского уезда»), танцах Чабукиани, который творил чудеса на сцене Мариинки, о том, что архитектурный конструктивизм двадцатых сменяется поворотом к новому советскому ампиру… Удивительным был и роскошный стол: закуски порядком выше, чем в обедневшем гастрономе Елисеева, а на двух углах и посередине — три «Рыковки» (стеклянных поллитровых бутыли с водкой), другого питья и в помине не было.

Благосклонность Кульбуша простерлась так далеко, что, послав меня в командировку на Украину, он попросил немного подождать с отъездом: ему надо в Наркомат к Орджоникидзе, вот закончит ленинградские дела — поедем до Москвы вместе.

Мы и поехали вместе — в двухместном купе «Красной стрелы». И почти до рассвета разговаривали, прерываясь лишь на то, чтобы осушить очередные полстаканчика водки (в чемодане у Кульбуша оказался целый набор бутылок в разноцветном исполнении, и русских, и иностранных, — для московских приятелей).

Помню, что говорил Георгий Павлович о стахановском

движении, — тогда страна прямо-таки помешалась на нем. Все газеты были полны известиями, что на очередном предприятии появились свои чудо-рабочие, перевыполнявшие индивидуальные нормы в десять и больше раз. Почин шахтера Алексея Стаханова, в одиночку нарубившего в своем забое столько угля, сколько целая бригада не смогла бы, покорил всех. У нас на заводе тоже нашлись два мастера, вдесятеро перекрывшие нормы. «Чудо-хитрецы, такие таланты скрывали!» — сказал о них наш директор Чеботарев, и мне показалось, что восхищения в его оценке было больше, чем иронии. Многократное превышение заграничной производительности труда, с ликованием возвещали газеты и радио, свидетельствовало, что лозунг «Догнать и перегнать!» превращается в неоспоримый факт — мы оставляем капиталистов далеко позади. Стахановское движение неотвергаемо доказывало: социализм наконец выполняет свою угрозу — хоронит капитализм.

— Очковтирательство это ваше стахановское движение! — категорически заявил Кульбуш. — Скажу резче: оно не ведет производство вперед, а тормозит его, в иных случаях даже отбрасывает назад. Сужу по нашему заводу и по другим ленинградским предприятиям.

Это настолько противоречило общему мнению, что я потребовал доказательств. Тогда мне представлялось, что стахановство — это путь наверх в нашем до того неровном индустриальном развитии. Кульбуш хладнокровно опроверг меня. Прежде всего: подобные подвиги — вовсе не достижения талантливых одиночек, это труд целых коллективов, просто результат приписывают кому-то одному. Вы знаете, что забой для Алексея Стаханова готовила целая бригада — он только умело использовал их предварительную работу? Конечно, человек он незаурядный, все крупные стахановцы люди по-своему выдающиеся. Но их индивидуальные достижения вовсе не повышают общего прироста продукции. Иной рекорд даже понижает производительность — слишком много затрат требуется на его подготовку. Стахановство — это политика, а не производство. Не по этой дороге нам обгонять запад.

Не могу сказать, что Кульбуш убедил меня сразу. Но он поразил меня своей непохожестью на остальных. А что Георгий Павлович был не только оригинален, но и прав, я понял потом.

Последнее, что успел сделать для меня Кульбуш в мае 1936 года, — это санкционировать повышение моего служебного оклада до 500 рублей (такой была ставка начальника цеха). Я так и не получил этой зарплаты. Ко дню ее выдачи я уже был в Москве — на знаменитой Лубянке, в главной тюрьме Советского

Союза.

Кульбуш был лет на десять лет старше меня. Он давно умер. Умерли и его друзья и сослуживцы. Теперь, вероятно, только я могу рассказать об этом замечательном человеке, еще в молодости прозванном отцом советской пирометрии и советского приборостроения, потому что я — остался. И я исполню свой долг.

Саша был абсолютно и в каждом слове прав, когда рассказывал мне о Кульбуше. Он был выдающимся инженером и ученым, Георгий Павлович Кульбуш, но весьма посредственным политиком — хотя бы потому, что слишком вольно о ней, политике, говорил. Наверняка он рассказывал о стахановцах не одному мне — и не все слушали его только для того, чтобы чему-нибудь научиться. Он был свободным человеком — и эта свобода отпечаталась на всем: на статьях и книгах, им написанных, на мучениях в пыточных казематах ленинградской ЧК, на самой его смерти в одной из наспех созданных для таких, как он, тюремно-научных шарашек. Его заботило главное, он пренебрегал пустяками. А они, эти пустяки, — остроты, шуточки, резкие оценки, — неожиданно стали куда огромней самого громадного деяния. Слово не просто стало делом — оно победило. Кульбуш — такой, каким он был, — не мог этого понять.

Не поняли этого и мы, молодые инженеры, влюбленные в своего руководителя. Он был красив даже внешне: хороший рост, спортивная фигура, тщательно ухоженная русая бородка (она очень нравилась женщинам), мягкая картавость… Мы жадно прислушивались к каждому его слову. Как всякий настоящий интеллигент, он поражал не только специальными знаниями, но и всесторонней образованностью: любил музыку, знал историю, разбирался в архитектуре и художественной литературе. И (быть может, это было самым важным) был проникновенно добр. Такому человеку его время могло предназначить только одну-единственную дорогу. Он погиб в заключении — потому, что стоял много выше своего окружения.

Теперь — о заводских сослуживцах, с которыми я приятельствовал. Собственно, их было только трое.

Михаил Сергеевич Морозов начальствовал над нашей лабораторией после ухода Кёнига. В отличие от Георгия, очень серьезного во всем, что касалось работы, он обожал «производственные шалости». Лаборатории ежемесячно полагалось определенное количество спирта — на разные технические нужды. Морозов уговорил меня написать в заявке, что жгучая водица требуется на промывку оптических (то есть воображаемых, а не материальных) осей пирометров — и

радовался как ребенок, когда искомое было получено. А потом спровоцировал инженера из техотдела, механика по специальности, на письменный запрос в лабораторию: «Срочно сообщите в микронах, каковы допуски на механические обточки оптических осей». Морозов повесил эту официальную бумагу в своем кабинете и хвастался ею перед всеми, кто к нему заходил.

— Подобные строгие технические требования как-то облегчают наше трудное производственное существование, — весело говорил он.

Бюрно и Берзан, не то уже инженеры, не то еще техники, пареньки моих лет, обычно сопровождали меня во внезаводских забавах.

Помню, что в тот торжественный день, когда все проблемы с оптическими пирометрами были наконец решены и приборы запустили в серию, я получил солидную премию. Конечно, накрыл стол в лаборатории (к сожалению, на заводе невозможно было обеспечить ни хорошей выпивки, ни вкусных закусок). Часть денег я отдал Марусе — на хозяйство (Фира уехала на гастроли с труппой Папазяна). Остатки премии жгли карман. Мы решили потратить их где-нибудь на воле.

— Пойдем в роскошный ресторан в переулочке на Невском, — предложил Бюрно. — Раньше он назывался «Медведь», там еще сохранился дореволюционный дух. Во всяком случае, в закусках и выпивке.

— Знаю, — поддержал его Берзан. — Не хуже, чем в «Европейской» или «Астории». Только это солидное богоугодное заведение называлось не «Медведем», а «Квисисаной».

— Согласен на любое название, — объявил я. — Итак, срочно туда!

В ресторане, лишенном прежнего экзотического имени, людей было немного, но люстры сияли, а многочисленные зеркала, хоть и немного потускневшие с доисторических царских времен, исправно отражали картины на стенах и роскошные пальмы в красивых кадках.

Мы заняли столик в середине зала. Бюрно, лучше всех нас разбиравшийся в ресторанах, долго изучал меню, а потом величественно приказал немолодому, благообразному (правда, в обычном ширпотребовском костюме) официанту:

— Значит, так. По полтораста водки и по две бутылки пива на каждого. А закуску не из пайковых снедей, а что-нибудь фирменное.

— У нас все фирменное, — равнодушно сказал официант. — Итак, что прикажете: бифштекс, ромштекс, эскалоп?

— Бифштекс, — велел Бюрно.

— Ромштекс, — решил Берзан.

— Эскалоп, — попросил я. Из всех съедобных мяс я больше всего любил свинину.

Пока жарились наши порционные блюда (их, впрочем, принесли не слишком горячими), мы выпили по рюмке водки, закусив беленькую бокалом пива и бутербродом с килькой.

В это время в зале появилось двое новых посетителей. Впереди мощно вышагивал грузный мужчина того возраста, когда бес уже нацеливается на ребро, а за ним двигалась женщина лет двадцати, очень красивая, очень нарядная, очень грациозная. Он на нас и не взглянул — она посмотрела очень внимательно. Они заняли столик недалеко от нас, он — спиной к нам, она — лицом.

Я залюбовался ею.

— Классическая ситуация, — хмуро констатировал Берзан. — Недорезанный нэпман из раньшего, как говаривал незабвенный Паниковский, времени женил на себе юную красавицу. Даже в нашу героическую вторую пятилетку деньги решают все.

— Вздор! — категорически установил Бюрно. — Во-первых, не нэпман — их в Ленинграде давно вывели под комель. Наверное, какой-нибудь замнаркома или спец по экспорту. А во-вторых, не жена, а прихожалочка.

— Уже успел у нее спросить? — сыронизировал Берзан.

— К сожалению, не успел — просто вижу. У меня два главных достоинства — хороший глаз и острое чутье.

— Пользуешься тем, что мы не можем этого проверить.

— Почему не можем? — вмешался я. — Берусь узнать у нее самой, кто она такая: жена по званию — или милая по профессии? Но что мне за это будет?

— Мы удвоим ваш ужин, — немедленно отозвался Бюрно.

— Пойдем после ресторана в кафе «Астория» есть их знаменитые «наполеоны», — ответил Берзан (он был поскупее).

Я достал листок бумаги и написал: «Восхищены вашей красотой. Когда мы можем с вами встретиться?»

— Передайте вон той девушке, — сказал я подошедшему официанту.

Он сурово посмотрел на меня.

— А вы знаете, что нам грозит за такие дела? Я на Беломорканал не собираюсь.

— Вот вам — чтобы легче ехалось на канал, — веско сказал Бюрно и протянул официанту не то трешку, не то пятерку.

Тот поколебался и взял обе бумажки.

Он ловко выбрал время, чтобы сунуть мою записку, — то ли нэпман, то ли замнаркома пошел к буфету выбирать конфеты. Читая, незнакомка осветилась улыбкой — она хорошо улыбалась.

Официант вернул мою писульку с ласковой карандашной припиской на обороте: «Милый мальчик, я вам не по карману».

— Моя взяла! Жена так не ответит! — ликовал Бюрно. — Приступаем ко второму ужину.

— Плохой ответ! Откуда она знает, что у нас в карманах? — обиделся за меня Берзан. — На двойной ужин не тянет. Будем жрать «наполеоны» в «Астории».

Я тоже посчитал, что такой ответ лучше подсластить, а не заесть. Мы отправились на Исакиевскую площадь, в кафе при гостинице «Астория». Слоеные пирожные местного изготовления славились на весь город: в два раза крупней обычных, в четыре раза дороже, они, по общему мнению, были ровно в десять раз вкуснее. А об их творце, пожилом кондитере, говорили, что сам Микоян установил ему персональную ставку — и она была выше наркомовской. Я не раз заявлял, что искусство кондитера «Астории» по масштабу равно мастерству его одесского коллеги Дуварджоглу. Но только бывшие одесситы понимали, какой высокой меркой я мерил ленинградца. Когда у меня заводились хоть какие-то лишние деньги, я забегал в «Асторию», чтобы купить домой что-нибудь вкусненькое.

Вечер закончился очень сладко.

Как-то мы еще раз получили премию — но такую, что больше чем на пиво с сосисками ее не хватало.

Дело шло к белым ночам. Мы поехали на «острова» — так ленинградцы называли эти клочки зеленой земли между тремя Невками (Большой, Средней и Малой). На островах было пустынно (настоящее лето еще не пришло) и довольно прохладно. Мы укрылись в недавно открытом кафе. В зале не было ни одного посетителя, а в меню значилось любимое блюдо того времени — горячие сосиски с тушеной кислой капустой.

— Пива и сисисок! — распорядился я, когда к нам нехотя подвалила полная официантка.

Она вдруг обиделась.

— Гражданин, прошу не выражаться! Я понимаю, на что вы намекаете.

— Я намекаю только на то, что нам хочется пива с сисисками, — сказал я.

Она даже покраснела от негодования.

— Не ожидала, чтобы такие культурные люди… Я позову заведующую, если будете грубить.

— Грубить не буду, а пива с сисисками требую, — не унимался я.

Она убежала на кухню — и вскоре появилась с заведующей (габариты этой дамы были еще солиднее). Заведующая начала

разговор мирно.

— Ребята, что же вы так? Не ожидала!

— Чего не ожидали? — Я по-прежнему солировал.

— Ну, этого… Не надо безобразничать, ребята.

— Мы не безобразничаем. Мы культурно просим выдать означенную в меню порцию горячих сисисок с тушеной капустой.

Заведующая распалилась пуще официантки.

— Я позову милиционера, — пригрозила она. — Он научит вас, чтобы публично не выражались.

Мы молча ждали милиционера.

Официантка, на всякий случай отошедшая подальше, зорко следила: скоро ли мы начнем бить посуду и ломать стулья?

Милиционер, видимо, сидел на кухне — он появился вместе с разгневанной заведующей. Это был молодой решительный парень в новенькой форме. Ему, очевидно, уже обрисовали ситуацию, и он был готов к действиям.

— Граждане, не надо хулиганить публично, я этого не позволяю, — обратился он к нам.

— Мы и не думаем хулиганить, товарищ милиционер, — вежливо возразил я. — Я просто, как нормальный посетитель, мирно, без крика попросил, чтобы нам выдали по порции горячих сисисок с тушеной…

— Вот видите, опять! — гневно закричала заведующая. — Неужели оставлять таких без наказания?

— Категорически запрещаю! — строго распорядился милиционер. — Чтобы никаких нехороших слов!

— Каких именно слов, товарищ милиционер? — невинно поинтересовался я.

— Этих… Что за сиски в государственном учреждении? Почему не говорите как приличные граждане — сосиски?

— Послушайте меня внимательно, товарищ милиционер, и вы, товарищи милые женщины, — терпеливо убеждал я. — Неужели до вас не доходит? Скажу я сосиски или сисиски — сиски все равно будут присутствовать.

Милиционер не на шутку рассердился.

— Вы мне баки не забивайте! Не разрешаю, чтобы присутствовали. Вот что я вам скажу, граждане: уматывайте отсюда по-хорошему, пока я не приступил к исполнению служебных обязанностей.

Мы убрались из негостеприимного кафе. И до ночной серости шатались голодные по зеленым прибрежным уголкам — больше забегаловок на «островах» не было.

И весь долгий сияющий вечер у нас было хорошее настроение.

6

Осенью 1935 года Нору зачислили в студию Камерного театра.

Я ждал этого с нетерпением и страхом: боялся, что она провалится и останется в Одессе. Одесса была для меня недоступна. Москва была не просто ближе — она гарантировала хоть какое-то облегчение. Я просто не знал, как Нора сумеет пережить второй после нашего разрыва удар — провал на экзаменах.

Я все больше понимал, что разрыв этот был всего лишь формальным — она оставалась со мной, во мне. Уже в первые свои ленинградские дни я стал заваливать ее письмами. Бывало, я приезжал в город из своего тайского заточения лишь для того, чтобы побывать на центральном почтамте: не пришло ли письмо до востребования?

А когда письмо приходило, начинались новые мучения: его надо было уничтожить, чтобы не прочла Фира, а у меня не хватало сил порвать бумагу, на которой были слова, написанные Нориной рукой. Я жил двойной жизнью — и терял к себе уважение. Я скрывался и лицемерил.

У нас с Фирой было неоговоренное, но свято соблюдаемое условие: о Норе мы не говорили. Но я не выдержал и рассказал, что она уже в театре.

— Ты, конечно, поздравил ее, раз ты с ней все-таки переписываешься, — сказала Фира.

— Разумеется, поздравил! Не мешало бы и тебе это сделать. А что до переписки… Я обещал порвать нашу связь. Но перестать интересоваться ее жизнью — такого обещания я не давал!

— Вспоминаю, ты не обещал и стать к ней безразличным… Все-таки хорошо, что она выбрала московский, а не ленинградский театр. Поздравь ее от меня сам, я ей писать не буду. Она слишком красива, чтобы я с ней дружила.

Фира и раньше почему-то напирала на Норину красоту, хотя (я знал это твердо!) было в Норе нечто, что покоряло меня гораздо сильнее.

Удачное поступление бурно взметнуло мои воспоминания. Я не мог никому ничего сказать — и снова стал переносить свои тайные переживания в рифмованные строчки. Я писал и перечеркивал, снова писал — я и раньше так работал. Но появилось и нечто новое: я заметил, что стал терять свой талант. Уже не было прежней легкости, не стало улучшающих переделок… Да, конечно, я по-прежнему старался: что-то менял, что-то говорил по-новому — но стихи от этого лучше не

становились. Говорят, поэзия заканчивается в молодости, единственное исключение — Гете — только подтверждает это правило. Неужели закончились и мои стихи?

Частые мысли о Гете (до этого он никогда не числился в моих любимцах) вдруг заставили меня написать — не то как подражание, не то как посредственное продолжение — цикл стихов о Фаусте. В гениальном отрывке Пушкина молодой второй молодостью доктор философии сентиментально признается бесу, что единственным святым переживанием его жизни была любовь к Маргарите. А язвительный, блистательно умный Мефистофель цинично доказывает, что в этом безгрешном чувстве никогда не было самой любви, с верой, а не сомнениями, с нерасторжимостью тел и душ, а не тайным безразличием после первого же удовлетворения. Пригрезившийся мне Фауст был истинным немцем: сентиментальным, наивно-искренним, по-тевтонски привязанным к философским разглагольствованиям в полумраке пивного кабачка. И он снова старел.

Вероятно, не только уходящее мастерство, но и примитивность замысла привели к тому, что все стихи этого цикла оказались сплошь неудачными. Я их рвал и бросал в корзину.

Помню, что последнее фаустовское стихотворение я написал 31 декабря 1935 года — перед уходом на новогодний вечер к Георгиевским. И в нем, посвященном, естественно, Норе, я рассказывал и о своей любви к ней, и о фаустовской тоске по Маргарите — личное чувство винегретно перемешивалось с общечеловеческими страданиями. Долгие годы я думал, что эти стихи тоже пропали.

Но в 1950 году, через десять лет после смерти Норы, я приехал в Одессу и пришел к ее матери, одинокой, потерявшей обоих детей (дочь погибла в сибирской эвакуации, сын — на северном фронте). И она отдала мне связку моих писем к Норе — в одном из них оказалось и это стихотворение. Уже понимая, что поэтические мои способности неостановимо истощаются, я, оказывается, не удержался от искушения порадовать Нору напоминанием о неизбывности моего чувства.

Переписываю его не полностью — оно на самом деле мало похоже на то, что я писал раньше.

С новым годом! В далеком детстве
Я мечтал: с тобой до седин. Ты ушла.
Я не знаю средства
Воротить тебя. Я один.

Радость, счастье, любовь нарушу,
Затащу весь мир по судам.
И отдам бессмертную душу,
Все мечтанья, все сны отдам.

В скорбных радостях и печалях
Ты проносишься, как в бреду…
Приходи! Как невесту — встречаю,
Как любовницу — ночью жду.

В первые мои ленинградские месяцы я часто хотел одиночества. Я никогда его не боялся — вероятно потому, что не знал. Я, даже совершенно один, всегда был с очень интересным собеседником — самим собой. Но друзей я раньше не избегал.

В Ленинграде меня постоянно окружали люди — и часто очень необычные: мои собственные (все умножающиеся) знакомые, родственницы Фиры — Эмма, Сусанна, их подруги, приятели Бориса. Никто, однако, не стал мне по-настоящему близок. Я принимал новые знакомства, но не откликался на дружбу. Я вдруг стал терять интерес к людям. Я начал их сторониться.

Вначале я думал: это происходит из-за того, что я полюбил город. Великие архитектурные творения Ленинграда захватывали меня гораздо больше, чем идущие мимо них прохожие. Любоваться зданиями было удобней в одиночестве, а не коллективно. Саша в этом смысле был исключением, но Саши на Неве уже не было. Чем больше я вникал в город, тем очевидней становилось: мне лучше с ним, чем с теми, кто в нем жил. Я не столько знакомился с Ленинградом, сколько старался отвлечься от ленинградцев.

И когда я это понял, я стал создавать для себе одиночество.

Лучшей его формой стало время, проведенное в парках. Я начал с городских — Летнего сада и Михайловского, потом пошли загородные — Петергоф, Детское село, Павловск. Но больше всего меня покорила Гатчина.

Ее парк был обширен и пуст (он почему-то был не в чести у ленинградского начальства). Великолепный, всегда закрытый дворец не привлекал посетителей, чудесное озерцо неподалеку от него не облепляли ларьки и киоски, в прекрасных аллеях не бродили парочки. Зато здесь хорошо думалось — и я с новой остротой ощущал любимые с детства строчки:

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада.

Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам мой юный ум,
И праздно мыслить было мне отрада.[168]

Я привык каждое воскресенье уезжать в Гатчину, бродить несколько часов по парку, где-нибудь наскоро перекусывать и только к вечеру возвращаться в Ленинград.

Одна из поездок выдалась особенной.

В то воскресенье, хмурое и холодное, парк был по-особому пуст. Я бродил по его аллеям, шуршал опавшими листьями, вольно вдыхал дурманящие запахи увядания. Я тоже, как и Пушкин, больше всего любил осень — но не золотую, а ту, что следует за ней: позднюю, предзимнюю, ясную, звонкую, еще многокрасочную…

А осень тогда была так хороша, что я опьянел от холодно сияющего неба, тихо покачивающих рыжими кронами деревьев, глухо шелестящих пожелтевших трав. Мне захотелось кричать и размахивать руками — дать себе свободу наедине с собой. И я бежал по широкому кругу вокруг дворца, и пел, и размахивал руками, и громко кричал стихи. Мне и вправду было свободно — как давно, может быть с детства, не бывало.

Около дворца меня остановила молодая цыганка.

— Парень, не убегай! Я должна тебе погадать, — сказала она.

Я отмахнулся от нее — она увязалась за мной. Мне показалось неудобным убегать — а сама она не отставала. И все говорила, говорила… Она знает что-то такое о моей жизни, что и мне непременно нужно узнать. Нет, она не ищет заработка, она великая гадалка, а не мелкая вымогательница. Послушай, парень, это же твоя жизнь, я ее вижу лучше, чем ты свои книги. Вот я сейчас раскрою тебе твое будущее — ты узнаешь, чего и не ждешь. Я уходил — она шла рядом. Я отшучивался — она сердито махала руками. Я уверял ее, что и сам умею гадать, и вот сейчас по системе девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеону, и госпожи де Тэб, великой хиромантки, раскрою ей собственное ее будущее. У нее будет один муж, трое любовников и десять детей.

Она сердилась все больше, она горячилась, почти впадала в исступление. Никакая она не хиромантка, зачем я ее ругаю? Она просто знает мою жизнь и хочет, чтобы и я узнал свою судьбу. Больше ей ничего не надо.

Причина моего отказа была проста: в кармане у меня лежала единственная бумажка — пятерка. Торопливое уличное гадание

стоило копеек двадцать — тридцать, но у меня не было других денег, а с пятеркой мне было жаль расставаться. Цыганки сдачи не дают, знание будущего явно не тянуло на такую сумму. Я не был уверен, что мое будущее вообще чего-нибудь стоит.

Наконец ее настойчивость победила. Я преодолел свою скаредность. Обратный билет в Ленинград я купил заранее, обойтись без обеда было не так уж и страшно. Мы сели на скамейку, она взяла мою руку и стала говорить. А я рассматривал ее саму.

Она была чем-то похожа на Палей, кандидатку философии, но гораздо моложе и красивей. Она была хороша по-настоящему — не одной прелестью скоротечного южного цветения. Ей было года 22–23, не первая молодость для цыганки. Темное, удивительно гладкое и чистое лицо, блестящие волосы, блестящие глаза, блестящее золото сережек. И такие яркие (без краски) губы, что от них не получалось оторвать глаз. Удивительно белые зубы вспыхивали между этими губами как огни — она почти ослепляла своими зубами.

И от нее, от волос, от кожи, от одежды шел несильный, но дурманящий запах — запах юного, чистого, здорового тела, тот чудесный аромат женщины, который пьянит почти как вино. В определенном смысле у меня собачье отношение к людям, меня тянет к женщинам, если они хорошо пахнут. Она пахла хорошей женщиной, просто женщиной — без духов. В ней не было ничего от тошнотворного духа других цыганок (мои звериные ноздри не раз ощущали это сочетание бедности, нечистоты, старой одежды и дешевого одеколона — оно било на расстоянии). Ее аромат был легким, нужно было наклониться к ее голове, к ее лицу, чтобы ощутить его. Она была разительно непохожа на обычных цыганок.

— Все! — сказала она, отпуская мою руку. — Теперь ты знаешь свою судьбу.

Я достал пятерку, протянул ей — и замер, потрясенный. Она отвела мою руку, она отказалась от денег. Она гадала ради откровения, я обижаю, я оскорбляю ее. Неужели после того, что я услышал, я могу говорить об этих жалких бумажках? Убери их скорей, парень, слышишь, убери. Между нами не может быть денег!

Она говорила так горячо, с такой обидой, что я растерялся. Я попытался вложить бумажку в ее ладонь — цыганка отбежала. Я бросился за ней — она остановилась. Защищаясь, положила руки на грудь. Сережки в ее ушах бились и звенели, как диковинные птицы. Мне захотелось ее обнять, стиснуть, яростно вжаться в ее рот. Я почувствовал, что побледнел, у меня перехватило горло. Я знал, безошибочно знал, что, если схвачу ее, она не закричит, не

сумеет отбиться — она просто не станет этого делать. Это было то мужское чувство, которое никогда не обманывает. Спустя десяток лет одна кратковременная подруга сказала мне, что я слишком труслив и слишком самолюбив, чтобы лезть на любовный рожон без шансов. Я всегда ощущал возможность успеха — собственным своим смятением, убыстренной кровью, удушьем, подступающим к горлу. Нет, она не стала бы сопротивляться, я это чувствовал. И она знала, что я чувствую ее беспомощность. Она только прошептала:

— Тебе будет стыдно, тебе будет стыдно…

Я опомнился, мне захотелось зло выругаться.

— В последний раз — возьмешь деньги?

— Нет, — сказала она, еще сильнее сжимая руками свою грудь. — Нет, теперь же ты должен понимать!..

И тогда я убежал. Я мчался через пустынный парк — и только у вокзала зашагал спокойней. Я бесился и ругался, я чуть не плакал от ярости, словно меня незаслуженно оскорбили. Вероятно, со стороны я казался ненормальным. Впрочем, скорее всего, я им был.

В вагоне я пришел в себя. И меня пронзила мысль, что я не помню ее гадания. Я вспоминал, усиленно вспоминал, но ни единого слова не восстанавливалось. Я любовался ею, а не слушал ее.

С той поры прошло много лет. Я часто думаю о том темном осеннем воскресенье. И всегда непостижимо отчетливо, с удивительной яркостью вижу странную мою гадалку. И не слышу ни единого слова из ее прорицаний…

Зимой 1935–1936 года не случилось ничего особенного. Правда, я получил возможность слышать Нору. Я сообщал телеграммой, что вызываю ее на телефонный разговор. И — всегда заранее — спешил на улицу Марата, где тогда размещалась междугородняя переговорная. Не помню, о чем мы говорили. Все это было неважно по сравнению с тем, что я слышу ее голос.

Думаю, и она испытывала что-то похожее.

А потом, во время моих одиноких блужданий, каждый наш разговор снова и снова возобновлялся во мне. Я все больше ощущал, что живу ненормальной жизнью, — ее нужно менять. Иначе, чем это было сделано в Одессе.

А весной я чуть было не порвал с Фирой. Она часто уезжала: Папазян старался создать свой театр, но так и остался только гастролером, каким до него был и великий Павел Орленев. Между ними, кстати, было много общего — кроме выговора и репертуара.

Во время Фириных отлучек (впрочем, зачастую и при ней тоже) в доме безраздельно хозяйничала Маруся. Борис обычно приходил поздно — он, в отличие от меня, не увлекался пустыми хождениями, просто работал. Из всех нас Наташка больше всего любила Марусю (и даже едва ли не сильнее, чем собственную мать). Во всяком случае, ко мне на руки она просилась редко, а с Марусиных старалась не слезать.

И вот во время одного из Фириных возвращений я случайно увидел ее паспорт: Маруся убирала чемодан из прихожей, он раскрылся, вещи вывалились. Я поднял паспорт — и он распахнулся. Ошеломленный, я смотрел на страничку, где было означено семейное положение владелицы. Там стоял штамп, в нем красивым почерком был четко записан брак Фиры. Мужем значился Борис Давидович Ланда.

Не помню, что я думал. Не уверен, что у меня в голове вообще были какие-нибудь четкие мысли. Меня словно прихлопнули.

Я положил паспорт в карман и сел ужинать. В тот вечер Борис явился первым, и, повозившись с какими-то чертежами, завалился на диван в своей комнате. Маруся легла на свою раскладушку, уложив и усыпив Наташку, еще до того, как вернулась Фира. У нее был какой-то спектакль, она пришла утомленная, но веселая — видимо, представление удалось. Маруся оставила ей ужин в нашей комнате — Фира ела с аппетитом, только пожаловалась, что чай уже остыл.

— Ты сегодня какой-то мрачный, — сказала она, внимательно всматриваясь в меня. — Что-то случилось?

— Кое-что. Расскажу, когда закончишь с ужином.

Она быстро допила чай.

— Я поужинала. Можешь рассказывать, что произошло.

Я молча протянул ей паспорт, раскрытый на странице, где стоял штамп. Фира, еще не взяв его в руки, сильно побледнела, потом бурно залилась краской. Я догадывался, что сердце тяжело заметалось в ее груди. И, как она ни старалась сдержаться, голос ее вдруг охрип и задрожал.

— Ты увидел сам? Я давно хотела тебе сказать, но все как-то забывала.

— О чем ты забывала мне сказать? Что стала двоемужницей?

Она возмутилась. Она вообще как-то очень быстро пришла в себя. Вероятно, она не раз продумывала, как объяснить мне новый штамп (если, конечно, я его увижу). И она была не из тех, кто не способен вполне благообразно, даже благородно объяснить любые свои поступки. Она сразу перешла в наступление.

— Ты делаешь вид, что поражен, Сергей? А почему? Я только

исполнила то, что ты пожелал.

— Я пожелал, чтобы ты со мной разошлась? И, ничего мне не говоря, вышла замуж за Бориса?

— Я не разводилась с тобой! Я не выходила за Бориса!

— Может, это не твой паспорт? Или запись сделана по ошибке?

Я зло саданул по красной книжице, которую она положила на столик. Фира все больше успокаивалась.

— Паспорт мой, и запись безошибочна. Но она фальшива, за ней ничего не стоит.

— Признаюсь, я часто вел себя как дурак. Но круглым идиотом ты считаешь меня все-таки напрасно.

— Повторяю: я только выполняла твое желание, — сказала она. — Ты захотел жить в Ленинграде, ты согласился на коммуналку. Но оказалось, что мы с Борисом, совершенно чужие, не можем снять одну квартиру на разные фамилии. Единственное, что оставалось, — притвориться, что мы с ним одна семья. Ты был в Одессе, я не могла тебя сразу известить — а дело было срочное. Так и возникла эта фальшивая запись. Я не сомневалась, что ты согласишься на этот невинный подлог и не усомнишься в моей порядочности.

— Надеялась, что я, как всегда, тебе покорюсь и ты меня снова опутаешь? А Борис? Он тоже согласился, что штамп о вашем браке — только безобидный способ получения общей коммунальной квартиры?

— Не надо обижать Бориса, — устало сказала Фира — Ты знаешь, что он готов беспрекословно выполнить любое мое желание. И пойдет, если я захочу, на такие жертвы, на которые ты не способен.

— Я не пойду на них, ты права. Иные дела…

— Не дела, а слова! — страстно прервала она меня. — Только слова! В делах я перед тобой честна.

Теперь я твердо знал, как мне нужно держаться.

— Слово есть дело, Фира. Я слишком люблю слова, чтобы относиться к ним как к набору пустых звуков. По-моему, эту мою черту ты хорошо знаешь.

— Скажи, что ты хочешь? Я все исполню.

— Ты должна завтра пойти в загс и переписать паспорт.

— Как это сделать?

— Твое дело. Ты внесла запись о повторной женитьбе. Внеси новую — о втором разводе. К счастью, его дают по требованию одной стороны — и без промедления. Если завтра я этого не увижу, я немедленно покину дом, где числюсь квартирантом, а не твоим мужем. И, надеюсь, нам больше не придется встречаться.

Я говорил так, что Фира не осмелилась возражать.

Мы разошлись по разным кроватям. Я погасил лампочку. Мы не спали и не разговаривали. В тот день у меня была малярия, но приступ оказался слабым, без бреда — можно было свободно думать. И я почему-то размышлял не о том, подчинится она или нет, а о том, что я буду делать, если она не подчинится.

Нужно будет уйти из дома, раз уж я дал такое слово, — хоть на вокзалах ночевать, пока не уеду из Ленинграда.

Но был и другой вариант — его я тоже обдумывал. Перед тем как мы переехали с площади Льва Толстого в Соляной переулок, кто-то из моих новых приятелей — не то Бюрно, не то Берзан — предлагал пожить у него: было свободное место, а в компании приятней. На время переселюсь, а потом — в Москву!

Об Одессе я не думал, в Одессу меня ничто не влекло.

Покончив с проблемами, я вдруг удивился себе. Я вел себя так, словно разрыв с Фирой уже совершился, — и я не мучился, не впадал в отчаяние, не терзался от неуверенности: уходить или оставаться? Все было совсем по-иному, чем год назад в Одессе. Фира была еще недавно так близка, так дорога мне — неужели я ее разлюбил?

Я допрашивал себя — и, чувствуя, что многое переменилось, не мог понять: эти перемены действительно так велики — или во мне говорит оскорбление, которое она нанесла? Я знал, что вспыльчив, что временами, впадая в бешенство, становлюсь неуправляемым. Что же сейчас мной движет: преходящая ярость — или что-то более прочное и настоятельное?

Фира все же уснула. И мало-помалу я стал задавать себе совсем неожиданные вопросы. А почему, собственно, я бешусь? Отчего впал в неистовство? Передо мной вдруг зримо возникла огромная картина Поленова — я уже несколько раз любовался ею в Москве. Жгучий день в Иудее, Иисус с учениками сидит на желтых камнях, к ним приближается безумная толпа, благоверные евреи гонят впереди себя испуганно согнувшуюся женщину — и вопят, вопят: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Иисус что-то чертил перстом на песке и, оторвавшись, — так писал Иоанн, — произнес: «Кто из вас без греха, первым брось в нее камень». Притащившие женщину стали молча, один за другим, уходить. А ты, спрашивал я себя, ты сам — без греха?

Ты чист перед своей женой? Ты уже много раз провинился перед ней — делом, а сам пока не можешь обвинить ее в действительной неверности — только в словах, которые звучат как измена.

Это были трудные вопросы — и у меня не было убедительных ответов. И самое главное (Фира была права: это было главным) — я хотел переехать в Ленинград, мне не стало жизни в Одессе. Что было бы, спросил я себя, если бы она заблаговременно сказала тебе: нужно притвориться, будто они с Борисом — супруги, и записать это в паспорте, иначе твое горячее желание не осуществится? Пошел бы ты на это?

Однозначного ответа не было и на этот вопрос. Возможно, я отказался бы — наверняка бы отказался! А ведь суть семьи — не в чернильной записи, не в буквах, а в чем-то несравненно более важном и сложном. В делах, а не словах.

Мне казалось: я подводил итоги. Итак, ты злишься, что тебе не предупредили? Что с тобой не посоветовались, не испросили твоего согласия? Итак, ты пригрозил Фире разрывом из-за слов, пустых слов, фиолетовых букв на листке бумаги? А ведь разрыв уже не слово, а дело. Ты хочешь оправдать реальное зло выдуманным оскорблением?

Наверное, именно так, признался я себе. Но я скажу, как некогда Лютер: здесь я стою, я не могу иначе. С высшей, с философской вершины я вижу: неправ. Хорошо сказал великий Учитель: если тебя ударили по правой щеке, подставь левую.[169] Но это не по мне. При одной мысли, что меня ударят, я готов броситься на противника. Во мне нет нравственного совершенства. Завтра, если Фира не изменит записи, я с ней расстанусь. Навсегда.

С этой мыслью я уснул.

Утром к нам вторглась Женя Нестеровская, наша с Фирой свидетельница, которая вышла замуж за Исидора Гуровича, одного из моих соперников. Она родила ребенка и развелась с Гуровичем.

Их развод меня удивил. Он противоречил моему представлению о жизненных установлениях. Исидор был гораздо более порядочным, верным и заботливым мужем, чем я. Он был настоящим семьянином — за такого надо было держаться обеими руками. А Женя сама разорвала с ним — и так радовалась, была такой раскованной, словно вырвалась на волю из мрачного заточения, а не лишила своего ребенка отца и не потеряла истинную опору своей семьи.

— Фируся, я в Ленинграде! — возвестила она. — Сегодняшний день ты проводишь со мной.

— Ты примчалась вовремя, — ответила Фира. — Сегодня мне очень нужна твоя помощь.

Я ушел, когда Борис еще только поднимался — мне не хотелось с ним разговаривать. И после работы я домой тоже не

торопился.

Был март, ночи стояли темные. Ни Фиры, ни Жени, ни Бориса дома не было. Я поужинал и пошел к себе. Я сидел на кровати и думал, что делать. Я чувствовал, что нового объяснения с Фирой не выдержу. Мне нужно было только взглянуть в ее паспорт — и действовать. Лучше всего было бы заранее уложить вещи и, не проронив ни одного слова, спокойно уйти. Но я еще ничего не знал — я не мог возиться с чемоданом.

Внезапно в комнату ворвалась разъяренная Женя.

— Сергей, иди посмотри, что ты наделал! — крикнула она.

Я опрометью выскочил во двор. У стены, опираясь на нее плечом, стояла Фира. Бок ее пальто был перепачкан — видимо, она упала. Женя что-то кричала — я ее не слушал. Фира прошептала:

— Помоги мне войти в квартиру, там увидишь — в паспорте… Я все выполнила.

— Что с тобой случилось? Что, говори же! — требовал я.

Вместо Фиры мне ответила Женя. Они нормально вышли из загса и зашли в кафе выпить чаю. И по городу шли нормально. А здесь, уже во дворе, Фире стало плохо. Начался такой сильный сердечный приступ, что она упала. Женя еле подняла ее, прислонила к стене и побежала за помощью.

— Сергей, ты чуть не убил ее! Разве можно так поступать со своей женой? Ты варвар, вот что я тебе скажу!

Я впал в такое неистовство, какого за собой и не подозревал. Я грубо тащил пошатывающуюся Фиру и бешено шептал ей на ухо:

— Отлично разыграно! Просто мастерское исполнение, поздравляю! Всю дорогу шла спокойно, а у дома — обморок. Чтобы я увидел, как тебе тяжко, и понял, как я жесток. Да и Борис проникся бы…

— Сережа, не надо! — взмолилась она.

— Очень, очень надо! — зло шипел я. — Теперь слушай меня внимательно и запоминай — на всю жизнь запоминай. Если у тебя снова случится демонстративный обморок — он будет последним в нашей общей жизни. Ограничивай свое актерское умение сценой, там тебе похлопают. Ты меня слышишь, Фира?

— Слышу, — прошептала она.

7

Я уже писал, что Кульбуш предложил мне командировку на Украину — на изюмский завод, и до Москвы мы ехали вместе. В столице Георгий Павлович сразу отправился в Наркомтяжпром, а я закомпостировал билет, указав однодневную остановку, — больше тогда не давали.

Я отправился к Саше, которого заранее предупредил о своем приезде. Они с Раей жили в недавно возведенной пятиэтажке недалеко от завода «Авиаприбор», поблизости от набережной Москвы-реки.

С Раей мы не встречались больше года, но особых перемен я не увидел. Кроме, пожалуй, одной: ее Сережа превратился в красивого трехлетнего мальчугана, умного и проказливого.

Зато Саша изменился сильно: с него спала заграничная солидность, он стал прежним — умным, насмешливым, тонким.

— Отлично, что завернул к нам, — сказал Саша, накрывая на стол (они, я это скоро узнал, разделили обязанности: она куховарила — он приносил продукты, накрывал стол и мыл посуду). — Я сегодня не пойду на службу, будем до ночи выяснять, что в мире и что с нами.

— Отменяется, Саша. Я только поздоровался и ухожу. Нужно встретиться со многими друзьями.

— Со многими друзьями — в смысле: с одной подругой, — спокойно поправил меня Саша. Он ни разу не видел Норы, но, естественно, о ней знал.

Я уточнил:

— Нужно-то как раз со многими, но встреча, ты прав, будет только одна. И, возможно, я вернусь очень поздно.

— Пусть это тебя не беспокоит. Постель будет готова, ужин — на столе, а дверь оставим незапертой.

— Ты не боишься воров?

— Видишь ли, я их не предупрежу, что сегодня дверь будет открытой.

Нора жила в театральном общежитии где-то на незнакомой мне далекой улице Шота Руставели (лет через двадцать она перестала числиться в отдаленных). Саша растолковал, каким трамваем ехать.

Я не сказал Норе, что приеду, и все во мне было напряжено: как она меня встретит? Вахтерша известила, что (в принципе) посторонних в женское общежитие не пускают, но она своим зорким взглядом безошибочно определила, что я человек достойный и не стану задерживаться позже допустимого.

Я поднялся на указанный этаж, постучал в указанную комнату — незнакомый женский голос приветливо прокричал:

— Можно, можно — входите!

Я открыл дверь. В комнате было три женщины. Нора стояла ко мне спиной. Ее соседки взглянули на меня с любопытством. Одна вежливо поинтересовалась:

— Вы к нам?

— К вам, — сказал я и вошел в комнату. Нора обернулась и кинулась ко мне.

— Ты! — воскликнула она. Она обняла меня, вжалась. — Ты, ты! — повторила она и замолчала — только прижималась все крепче. И у меня сорвалось дыхание. Мы стояли посреди комнаты, обхватив друг друга, и, наверное, целую минуту не могли выговорить ни слова. Потом она откинула голову, всмотрелась в мое лицо, словно сомневаясь, я ли это, и потянулась к моим губам. Целуясь, я смотрел на ее соседок. Сначала к двери тихо зашагала одна, потом и другая.

Прошло немало времени, прежде чем мы заговорили.

— Ты в Москве? Давно? — спросила она, как будто еще не вполне веря в мое появление.

— Давно. Скоро три часа.

— И не предупредил! Хоть бы телеграмму послал.

— Хотел, чтобы ты меня не ждала.

— Я все равно ждала — каждый день, каждый час. Боже мой, это ты, ты! Просто невероятно. — Она оглянулась. — А где соседки?

— Тихонько ушли, чтобы не мешать нам целоваться. Она мгновенно оценила предоставленную нам возможность.

— Садись сюда, это моя постель, у нас острый дефицит стульев, — сказала она, когда мы снова оторвались друг от друга. — И рассказывай, как у тебя в Ленинграде? И надолго ли ты в нашу первопрестольную?

Она сказала «нашу первопрестольную», словно была коренной москвичкой.

— О Ленинграде говорить нечего: живу — и только. Уезжаю утром.

— Боже мой, так скоро! А мне сегодня нужно на репетицию.

— Я поеду с тобой.

— Занятия в Камерном театре, тебя туда не пустят.

— Посижу на Тверском бульваре. Теперь поговорим о самом важном — о тебе. Как прошли экзамены? Как чувствуешь себя в театре? Как…

— Постой, постой! — засмеялась она. — Ты задал столько вопросов, что я и до утра не отвечу. Ограничимся первыми двумя.

Итак, экзамен.

Экзамены прошли благополучней, чем она ожидала. Она очень надеялась на харламовскую рекомендацию, но та большого впечатления не произвела. Зато монологи и стихи, которые они с Харламовым выучили, прослушали и похвалили. Самое страшное было в конце. Один из преподавателей разыгрывал с абитуриентками сценку из четырех реплик — и многие проваливались на двукратном повторении двух слов: нет, да.

К Нориному ужасу, в экзаменационную вошел сам Таиров[170] — и она играла с ним.

— А что это за сценка из двух двукратно повторенных слов?

— Удивительно простая и чрезвычайно коварная. Он садится и задает четыре вопроса, а ты отвечаешь «да» и «нет». «Нас никто не слышит? — Нет. — Хочешь, потолкуем? — Да. — У тебя есть милый? — Нет. — Хочешь, буду милым? — Да!» Вот и все. Мои ответы понравились Александру Яковлевичу, он сам мне сказал. И это решило мою судьбу.

— Представляю себе — публичная похвала самого Таирова! А как он сейчас к тебе относится?

— Ну, ему не до студийцев. Он весь в своем театре. Зато я, кажется, становлюсь любимицей его жены. Ты знаешь Алису Коонен? О ней столько пишут и говорят.

— Я видел ее в двух спектаклях во время прошлых приездов в Москву. Это великая актриса. Как она играла в «Федре» и «Андриенне Лекуврер»! Так она к тебе благоволит?

— Во всяком случае — благосклонна. Подруги говорят: она держится так, словно готовит меня дублершей на свои роли. Мне надо идти, Сережа.

Мы пошли к трамваю. Нам повезло: в вагоне нашлась свободная скамейка. Вскоре, на подъезде к Савеловскому вокзалу, он был так переполнен, что люди висели на подножках, держась не за поручни, а за плечи тех, кто успел ухватиться за ручки. Я уже убедился, что в Москве всегда так ездят — до пуска первой линии метро оставалось около месяца.

— Я тебе покажу одну из московских достопримечательностей, — сказала Нора, когда мы выехали на Новослободскую. — Посмотри в окно. Это большое кирпичное здание — Бутырская тюрьма.

Потом я считал зловещим предзнаменованием, что Нора обратила мое внимание на Бутырку. Не прошло и года, как я стал устойчивым обитателем ее камер, — и это время явно не было лучшим в моей жизни.

Но в тот день тюрьма мне понравилась: она еще не была скрыта фасадом многоэтажного дома и выглядела очень

монументально.

— Внушительно, — сказал я с уважением. — Почти крепостная мощь. Умели строить наши предки!

Нора в сценическим костюме

Нора в сценическим костюме

— В Москве ходят слухи, что в связи с окончательной победой социализма все тюрьмы скоро снесут, — заметила Нора.

— Ну, этого здания на наш век хватит, — легкомысленно отозвался я. — Бутырка — не храм Христа Спасителя, ее не

взорвать: кругом жилые дома.

— Как-нибудь снесут. Или приспособят под что-либо иное, — уверенно ответила Нора. — У нас на студии один лектор говорил, что церкви и тюрьмы — проклятое наследие прошлого и, пока с ними не расправятся, настоящее будущее не наступит.

Меньше всего в тот момент я думал о будущем. Рядом со мной сидела Нора — это маленькое настоящее было гораздо важней всех грядущих в мире.

На бульварах мы сошли и направились к Камерному театру. Пушкин еще стоял на своем старом месте, но Спасского монастыря уже не было.

— Ты будешь ждать? — полувопросительно сказала Нора.

— Конечно. Куда я могу деться?

— У тебя много друзей в Москве. И, наверное, подруг.

— Видишь ли, и друзья, и подруги есть. Но их, как ты справедливо заметила, много. А ты — одна. Больше чем одна — единственная!

— Я постараюсь не задерживаться, — шепнула она, убегая.

Я ходил по Тверскому, садился, снова ходил. И думал о том, что у меня в Москве и вправду много друзей, — всех хотелось увидеть, с каждым поговорить. И Саша с Раей — я умчался, едва успев сказать пару слов. И Оля Надель — она теперь композитор в ТЮЗе (говорят, сегодня это один из лучших театров Москвы). И Женя Бугаевский — он уверенно взбирается на научные вершины, дай ему Бог. И Петя Кроль — он, наверное, в Москве не прижился, не везет ему, бедному, а ведь какой поэт!

И Сема Липкин — надо бы и с ним встретиться, столько переговорено в Одессе, вот бы еще поговорить!

И, думая о друзьях, я грустил, что никого не увижу: завтра нужно уезжать. Я знал почти все адреса, мог бы и навестить, пока Нора на занятиях. Но сделать этого я решительно не мог. Даже минуту ожидания Норы я был не в состоянии променять на самую радостную встречу с кем-либо еще. Нет, я сказал ей правду: друзей — много, она — единственная!

Нора появилась, когда уже совсем стемнело. Она радостно взяла меня под руку.

— Заждался?

— И заждался, и дождался. Все хорошо, что хорошо кончается, как утверждал некий Шекспир. У вас не собираются ставить Шекспира?

— Не слышала. Он не во вкусе Таирова. Александр Яковлевич ставит классиков, но не реалистов, а романтиков — «Антигону», «Федру», «Мадам Бовари».

— И такого великого писателя наших дней, как Всеволод

Вишневский…

— Это, наверное, приказали свыше. Знаешь, судя по всему, я буду играть в «Оптимистической трагедии» — намек такой был.

— Рад за тебя! И с удовольствием посмотрю, какова ты в трагедии, пусть даже оптимистической.

— Сережа, ты знаешь, я очень хочу есть!

— Разве в театре нет буфета?

— Там была очередь — человек пять. А ты ходил по улице… Пойдем в кафе на Никитском, это рядом. У тебя есть деньги?

— В командировку без денег не ездят.

— У меня теперь тоже есть! Хочу тебя угостить — ты ведь в Москве гость, а я нормальная прописанная москвичка.

— Нора, еще ни одна женщина!..

— Знаю, знаю! — засмеялась она. — Не буду оскорблять твое мужское самолюбие.

Было уже совсем темно, когда мы вышли из кафе.

— Теперь к трамваю? — спросил я.

— Тебе хочется скорей от меня отделаться? — лукаво спросила она. — Ты ведь уезжаешь только утром.

— Тогда пешком. Указывай дорогу: я Москву плохо знаю, а ты уже нормальная прописанная москвичка.

Сначала мы шли по бульвару, потом свернули на Чеховскую, вышли на Каляевскую, миновали Бутырку, завернули на Савеловский вокзал и выпили там зельтерской воды (в Москве она уже именовалась газированной) — и зашагали дальше.

Мы не торопились. Апрельский вечер был по-майски теплым. Когда попадалась скамейка, мы присаживались и целовались. Час проходил за часом, город замирал: трамваи появлялись все реже и вскоре совсем пропали, автобусов тоже не стало, кое-где на улицах начали гаснуть фонари.

Когда мы добрались до общежития, город уже мертво спал.

— Вот я и дома, — грустно сказала Нора.

— У дома, — поправил я. — Только «у», а не «в». Используем это блаженное отличие!

Мы сели под старое дерево — и все никак не могли наговориться. Уже светало, когда мы оторвались друг от Друга.

— До новой встречи! — прошептала Нора, обнимая меня.

— До скорой встречи! — поправил я. — Через неделю я снова буду в Москве. Нам еще много предстоит разговаривать и обниматься. И — целоваться, целоваться!

Она еще раз обняла меня — и проскользнула в дверь. Это была наша последняя встреча. Больше я ее не видел, не обнимал и не целовал. Только один раз я услышал ее голос. Ей позвонил с Лубянки мой следователь — он нарочно отставил трубку от уха,

чтобы я мог все разобрать.

Часа через два я уже сидел в поезде.

Изюм был небольшим городком, красиво раскинувшимся на берегу исторической речушки Северский Донец (иногда ее неправильно называют Северным Донцом). Я разыскал гостиницу (она, впрочем, была единственной), обошел пешком почти весь Изюм, посидел на бережку и направился на завод № 7 (или № 9) — так тогда называлось это оптико-механическое предприятие.

И тут произошла первая из двух моих изюмских неожиданностей.

В Ленинграде меня предупредили, что этот украинский завод — из числа самых засекреченных. В нем около десяти цехов, и в каждый выписывается отдельный пропуск. Ходить можно только в сопровождении охранника — все остальное воспрещается. Первые впечатления оправдывали эти грозные предупреждения. В канцелярии меня встретили приветливо, быстро выписали пропуск в нужный цех, однако на вахте пришлось ждать около часа: отсутствовал единственный вооруженный разводящий. Он явился с винтовкой на плечах — низкорослый, веселый паренек, говорящий на южном суржике: русские слова забавно переплетались с украинскими, и те и другие звучали по-степному певуче, но очень невнятно.

— Пошли! — приказал он, поправил винтовку, и повел меня в строгом соответствии с уставом: я — впереди, он — в шаге сбоку и на полшага позади.

Цех находился в конце завода. Его начальник, немолодой мужчина, принял мое командировочное удостоверение, прочитал пропуск и написал на нем, в какой час и какую минуту я появился.

— Когда прийти за товарищем? — спросил разводящий.

— Я отметил на пропуске: ровно через три часа, — ответил начальник цеха.

Паренек ушел, а мы стали штудировать новые требования «Пирометра» к качеству поставляемого стекла. Через полчаса все было рассмотрено и обговорено.

— Жутко сколько свободного времени осталось, — огорченно сказал начальник цеха. — Вы могли бы уже уйти, но без разводящего вас не выпустят, а он раньше своего времени не явится. Пойдемте, я покажу вам производство. Пока вчерне, завтра будете сами проверять, как варим ваше стекло.

Он показал мне плавильные печи, стан, где прокатывалось в листы уже сваренное стекло — внушительные комья пылающей жаром мягкой массы. На осмотр, вопросы и ответы ушел еще час.

— Что же мне теперь делать? — спросил я.

— Походите по цехам, — посоветовал он. — Вы увидите много интересного.

— А это не… — я постарался быть максимально выразительным.

— Ну, кто вас будет задерживать? — Он махнул рукой. — Но к назначенному часу обязательно придите ко мне — разводящий будет вас ждать.

Часа полтора я шлялся по заводу, заходя то в один, то в другой цех. Обстановка разнообразием не отличалась — и я задержался только в помещении, где варили «золотой рубин». Я уже знал, что красное это стекло содержит до двух процентов чистого золота — правда, в особой, коллоидной, форме. Но и здесь никто не поинтересовался, почему в сверхзасекреченном месте появился посторонний человек: раз ходит — значит, надо.

Мне скоро надоело блуждание по заводу, и я вернулся в крохотную конторку того цеха, где должно было вариться стекло для оптических светофильтров. Начальник был на печах, в комнате сидела только его секретарша — девчушка лет восемнадцати, не особо миловидная, зато веселая и словоохотливая. Мы с ней мило поболтали.

Потом я встревожился: назначенный час прошел, а стрелка все не было. Я хотел было в одиночку пойти на вахту, но секретарша не дала.

— Что вы! У нас очень строго! Вы должны ждать разводящего только там, где он вас оставил.

Разводящий явился, опоздав всего на час. Мы снова пошли по заводу: я — впереди и сбоку, он — позади. Он отлично нес свою сторожевую службу: на всякий случай крепко придерживал висевшую на плече винтовку и подозрительно наблюдал, не приглядываюсь ли я к запрещенным мне цехам. Я ухмылялся: я уже постиг всю строгость режима на секретном заводе.

Впоследствии я узнал, что подобная строгая режимная секретность довольно обычна и для других военных объектов. Ровно через тридцать лет мне пришлось посещать многие особо закрытые учреждения, и я убедился, что нравы охраны, несмотря на тысячи всяческих ужесточений, в основе своей меняются мало.

В атомном институте И.В. Курчатова мне не только выписывали отдельный пропуск в каждую лабораторию, но и сопровождали туда — правда, не стрелки, а сам заместитель начальника охранной службы Владимир Семенович Обычайко, полковник в штатском. Он сдавал меня «на руки», уславливался о времени возвращения и удалялся.

А я, если освобождался раньше, свободно гулял по

прекрасному институтскому парку или заходил в другие лаборатории — у меня везде были знакомые.

Только раз этот «строгосвободный режим» дал трещину. Проводив меня к академику Кикоину, Обычайко не удалился, но сиднем просидел в приемной все три часа, пока мы с Исааком Константиновичем разговаривали. По-видимому, режимному полковнику был заказан вход в лабораторию. Но это исключение лишь подтверждало правило.

— Как жаль, что я не шпион, — говорил я тогда своим московским друзьям. — Столько разузнал бы интересного! А может, и бесценного.

Вторая изюмская неожиданность поджидала меня в гостинице. Я пошел в ресторан пообедать. В меню были шницель отбивной, гуляш с картошкой и рыба. Я попросил гуляш — блюдо было из тех, какие трудно испортить.

— Возьмите лучше шницель: сегодня день Марфы Тимофеевны, она его сама готовит, — посоветовала официантка (в Изюме их называли подавальницами).

— А что мне в вашей Марфе Тимофеевне? Было бы мясо свежим да хорошо отбитым — а кто его отбивал, мне все равно.

— А вы раньше попробуйте шницель Марфы Тимофеевны, а потом говорите, все ли вам равно, — улыбнулась подавальница.

Вспоминая теперь тот изюмский обед, я сомневаюсь, правильно ли я назвал ту незнакомую мне повариху — многие имена уже выпадают из памяти. Но блюдо, поданное мне, запомнил твердо и навсегда. На большой тарелке широкой лепешкой лежал шницель, его венчали зелень, крохотные соленые огурчики и листки обжаренной с двух сторон картошки. Он резался легче, чем хлеб, и в каждом его кусочке чувствовался свежий лимон.

— Ну, как вам понравился шницель? Вы довольны? — спросила подошедшая официантка.

— Я возмущен! — ответил я. — Тем, что заказал только один шницель. Я с голода не умираю, но ограничиться одним экземпляром — это преступление. Нельзя ли исправить мою ошибку?

— Сейчас побегу узнать, остались ли шницеля. Там было еще три, но их могли перехватить другие заказчики.

Когда она вернулась, я попросил рассказать, кто такая эта кудесница. Подавальница присела рядом и, с удовольствием наблюдая, как я расправляюсь с роскошным блюдом, стала говорить. История была грустной. Марфа Тимофеевна, нынче одинокая старушка, в молодости много лет служила поварихой у графини Браницкой и дослужилась до старшего повара. Во время

революции графиня бежала в Польшу. Марфа Тимофеевна за своей хозяйкой не последовала, но всю жизнь ее преследовали несчастья. Муж погиб в германскую войну, сын — в гражданскую, а в Сибири, во время конфликта с Китаем, убили и единственного внука, последнего ее родственника на земле. Систематически работать она уже не может, все-таки около восьмидесяти, но три раза в неделю приходит в ресторан и готовит два десятка шницелей по старому своему рецепту.

— Могу засвидетельствовать: кухня у графини была на высоте, — одобрил я. — Ни в одном ресторане Москвы и Ленинграда мне не приходилось есть столь же вкусно.

— Браницкая была жуткой богачкой, — с уважением сказала подавальница. — И обожала хорошо поесть!

Думаю, графиня и впрямь была из богачек. Когда мы с Сашей отдыхали где-то около городка Бара, нам случилось проехаться в обширную дубраву, протянувшуюся через всю среднюю Украину до Закарпатья. И местные жители рассказывали, что значительная ее часть принадлежала Браницкой.

Я выяснил, в какие дни приходит «на шницеля» старая Марфа Тимофеевна, и предупредил подавальницу, что не пропущу ни одного из них и меньше чем на двух шницелях не помирюсь. Но я уехал из Изюма раньше, чем предполагал. Первая же плавка цветного стекла по новым техническим условиям удалась на славу. Больше мне нечего было делать в Изюме. В последний свой день я вышел вместе с секретаршей начальника цеха — мой уход совпал с окончанием смены. Нам оказалось по пути. Проходя мимо ресторана, я пригласил ее пообедать, пообещав, что угощу ее так, как и в Москве не угощают.

— А я и не знала, что здесь так вкусно готовят, — сказала она, энергично расправляясь со шницелем.

— К сожалению, мне уже не пробовать этого местного чуда, — пожаловался я. — Не хочется покидать ваш чудесный городок, а что делать?

— А вы останьтесь, — предложила она. — Задержитесь дня на два — на три. Вы же говорите, что вам здесь нравится.

— Да, но отметка в командировке…

— Я вам сама отмечу — на три дня позже. Давайте вашу командировку. Завтра утром будет готова.

Мы погуляли по берегу, зашли в кино. Я купил билеты на два оставшихся вечера и вручил их секретарше.

— Пусть будут у вас. Я такие маленькие бумажки часто теряю.

Утром следующего дня я в последний раз пришел на завод. Девчушка удивилась, но вручила мне оформленную

командировку.

— Что вы так заторопились? Я хотела отдать сама — вечером.

— Я думал, что мое присутствие при оформлении необходимо. Итак, до вечера. Жду вас у входа в кино.

С завода я побежал в гостиницу за чемоданом и успел к отходу поезда «Харьков — Москва». Не прошло и часа, как я навсегда распростился с гостеприимным Изюмом.

Некоторое время я еще думал: интересно, что сделала секретарша с лишними билетами? Продала? Кого-нибудь пригласила? Порвала с досады?

К Москве я подъезжал с приятным сознанием, что владею двумя свободными днями, законно оформленными как служебные.

На Курском вокзале я кинулся к камере хранения и сдал свой чемодан. Купив три роскошные красные розы, втиснулся в трамвай. Обед еще не наступил — в это время Нора должна была быть в общежитии.

Вахтерша была другой — и она решительно преградила мне путь.

— Еще и с цветами! Праздник какой, что ли?

— Мне надо наверх. В общежитие Камерного театра.

— Студийцы?

— Студийцы. Гусева Нора.

— Нет студийцев. Всех собрали и вывезли. Не то на спектакль, не то на иногороднюю экскурсию. Приходите через недельку, раньше не будут. Нет, розы не оставляйте — завянут до возвращения.

Я поплелся обратно на Курский вокзал — забирать чемодан и ехать к Саше.

8

— Видимо, твоей загадочной подруги, ради которой ты недавно даже часика нам с Раей не уделил, в Москве нет, — вернувшись со службы, констатировал Саша. — Иначе бы ты не забавлялся столько времени с Сережей, поджидая меня и Раю.

— Твоя проницательность не поддается описанию, — съязвил я. — Или предвидимость — мне это словечко нравится больше.

— Надеюсь, ты запасся свободными деньгами для более продолжительного, чем в прошлый раз, пребывания в Москве, — продолжал Саша.

— Ты прав — запасся. Но почему это тебя интересует?

— Ну, во-первых, нам с Раей хочется наконец с тобой пообщаться. А во-вторых, — Саша был невозмутим, — две дамы

сейчас нетерпеливо ждут твоего прихода.

— Кто они? И откуда узнали, что я в Москве?

— Одной сказал я — и взял ее адрес. Другая и без меня всегда знает, где ты находишься.

— Ты не ответил на первый вопрос.

— Одна дама — твоя старая знакомая Оля Надель. Ты в свое время нас представил. Я повстречался с ней случайно, в метро. Она очень обрадовалась, что ты приезжаешь в Москву, и захотела непременно увидеться. Довожу до твоего сведения: она хорошо выглядит.

— Рад, что ты ее встретил. Непременно заеду. Вторая дама тоже жаждет свидания?

— Еще больше.

— Может, все-таки скажешь, кто она?

— Твоя собственная жена, она же — моя родная племянница.

— Фира в Москве? Почему она приехала? Она мне ничего не говорила.

— Просто еще не был решен вопрос о московских гастролях Папазяна. Завтра его спектакль в одном из дворцов культуры.

— Почему Фира не у тебя?

— Вся труппа Папазяна квартирует в «Национале». Фира ждет тебя там.

Я отправился в «Националь».

Фира (вместе с другой артисткой, Ольгой Николаевной, — худенькой, умной и милой женщиной) занимала двойной номер. Он был, конечно, роскошней бедненькой квартирки Саши и очень нравился обеим женщинам. Ольга Николаевна ходила по комнате, прихорашивалась перед зеркалом, восхищенно ощупывала тяжелые оконные гардины.

Фира вела себя не так непосредственно. Она даже немного посмеивалась над восторженностью подруги. А меня восхитила радость Ольги Николаевны — она не скрывала своего счастья от того, что удалось пожить в «люксе». Сколько помню, она до смерти оставалась такой же по-девичьи стройной, любящей и верной. Фира очень изменилась — но Ольга Николаевна по-прежнему принимала ее верховенство.

Когда она на минуту вышла, Фира быстро спросила:

— Повидался?

— В первый приезд в Москву виделись, — холодно ответил я.

— Почему сегодня не у нее?

— Потому что сегодня ее нет в Москве.

— А завтра?

— И завтра не будет.

Больше мы с Фирой о Норе не разговаривали.

В гостинице я не задержался: им обеим было не до меня. И потом — мне хотелось повидать Олю. Она открыла дверь — и бросилась мне на грудь. И я заволновался: ко мне вернулся кусочек старой жизни, который еще не до конца себя исчерпал. В Олиной комнате — крохотной каморке в одно полуслепое окно — не было пианино.

— На чем же ты играешь? — спросил я. — Так хотелось тебя послушать. И твои собственные вещи — тоже: ты ведь теперь композитор ТЮЗа! Я слышал, твою музыку хвалят.

Она засмеялась.

— Хвалят, хвалят! Но Бах, Шопен и Франк, которых я тебе играла, значительно лучше. Можешь мне поверить, я в этом немного разбираюсь. Играю я для себя — в театре, когда нет спектакля. Если хочешь, можешь послушать. Приходи завтра утром.

— А сейчас пойти нельзя?

— Сейчас у меня репетиция с оркестром, — сказала она огорченно. — Она начинается через полчаса. Ты меня не проводишь?

— Провожу, конечно. Так жаль, что днем ты занята. У меня как раз свободное время, а вечером мы с Сашей и Раей идем на Папазяна.

— Зайди к Жене Бугаевскому — я ему говорила, что ты в Москве. Он живет на Садово-Кудринской. У него появилась жена, Мара, студентка музыкального училища. Учится на пианистку.

— Тебе нравится ее игра?

— Не особенно. Технику она освоила — будет совершенствоваться и дальше. Но, мне кажется, она не очень любит музыку.

— А это возможно: быть пианистом — и не любить музыку?

— Я сказала «не любит» — в смысле, не живет ею. Пианино для нее профессия, а не страсть.

Мы с Олей простились у Театра юного зрителя. Я зашагал по бульвару. В то время Садовая (нынче — мощный поток автомобилей по широкой улице без единого деревца) была аллеей могучих деревьев. Транспорту отводились узкие полоски по бокам.

Женя жил в большом доме, в коммунальной квартире на добрый десяток комнат (они выходили в просторный, плохо освещенный коридор). На входной двери висела типичная для тех лет табличка: куда сколько раз звонить, кому — продолжительно, кому — коротко. Я, естественно, перепутал звонки. Мне открыла какая-то женщина и, разозлившись, что я ее напрасно вызвал, сердито буркнула:

— Ваш Бугаевский вон там — стучите покрепче. Они все глухие.

Женя занимал одну комнату. Я, не стуча, дернул незапертую дверь, услышал радостный крик — и сам вскрикнул от неожиданности. В комнате был не только Женя, но и «человек без адреса», как мы его тогда называли, мой старый одесский друг — Петя Кроль.

— Жрать будешь? — почти сразу деловито осведомился Женя.

— Уже перехватил в забегаловке.

— Сколько тебя помню, всегда отказываешься от угощений. В данном случае это хорошо — Мара приготовила еду только для нас с Петей. Теперь давай делиться житейскими фактами: кто и что, о ком и о чем?

Я коротко рассказал о своей новой жизни. Женя сообщил, что он преподает политическую экономию в институте Наркомснаба, готовит статью о некоторых важных экономических проблемах, недавно женился на хорошей девушке Маре, но она сумасшедшая: грозится нарожать ему дюжину детей. Он этого не допустит, он так ей и сказал: ни одного ребенка, пока сами не выйдем из детского возраста, а это будет не раньше, чем лет через тридцать.

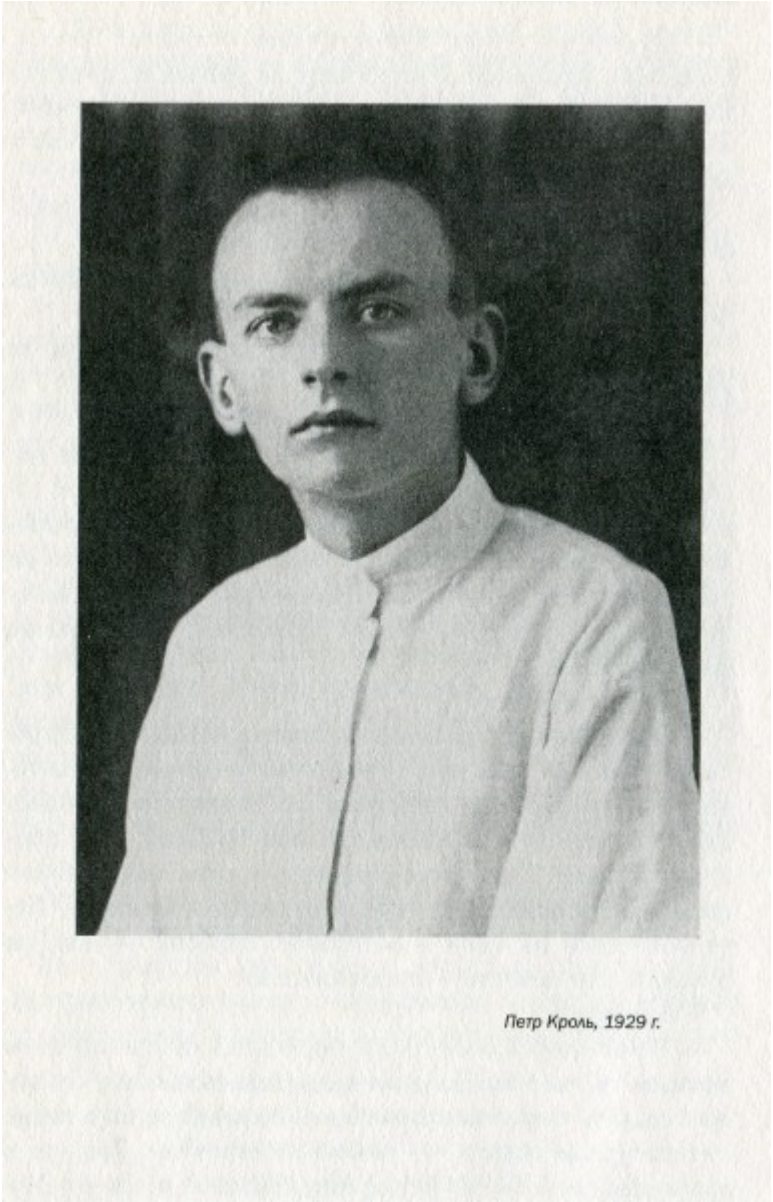
Рассказ Пети был гораздо грустней. Он уже давно слоняется по Москве, но жилья так и не приобрел — ночует у друзей, по разным углам. С литературой пока не везет — его стихи все хвалят, но никто не печатает. Правда, появилась хорошая перспектива. Приятели ввели его в военное издательство, и он подписал договор на книгу для детей, называется «Пушки и параграфы». Ты сам, Сережа, когда-то изучал военную литературу и знаешь, какое это трудное занятие — убивать таких же людей, как ты, только в других мундирах. А нужно, чтобы это было увлекательно — дети же! Вот и хожу по библиотекам, выписываю, что поинтереснее. Вся надежда на эту книгу.

Разговор о книге напомнил Жене, что я оторвал их от срочной работы.

— Садись и записывай! — приказал он Пете. — А ты, Сергей, приткнись на диване, забейся в уголок и не мешай.

Женя расхаживал по комнате и громко, с выкриками в нужных местах, диктовал что-то вроде повести. Петя, притулившись у стола, старательно записывал. Иногда Женя украдкой поглядывал на меня: как мне нравится его творение? То, что он декламировал, звучало примерно так: «Я для нее надену новую рубашку. Черт ее знает, может, она обожает новую одежду на мужчинах. Я скажу ей, что потратился из-за нее, пусть она это ценит. Вообще я не терплю новых вещей, скажу я, но для

вас, черт меня побери, готов на все. Когда пойдем в кино, почаще смотрите на меня, а я выпячу грудь — пусть все видят, что я в новой рубашке».



Петр Кроль, 1929 г.

Все остальное было в том же стиле. Неожиданно прервав диктовку, Женя распорядился:

— На сегодня хватит. Будем обедать — вдвоем: Сергей, к счастью, отказался. Пусть сидит на диване и, пока мы хлебаем

борщ, развлекает нас литературными историями — он их много знает. Давай вон ту кастрюлю, пойду на кухню — разогрею.

Он ушел с кастрюлей, прихватив еще и чайник. Я спросил Петю:

— Ты что, в секретари к Жене нанялся? Хотя бы за деньги?

— За обед, — сказал Петя. — Иногда, вместо обеда, за ужин и ночлег.

— Похоже, он превращает тебя в раба.

— Наоборот. Он сам выдумал эту диктовку — для моего успокоения. Он так и сказал: «Чтобы не мучился совестью, что задарма столуешься, буду тебя эксплуатировать. И зверски! Это создаст у тебя впечатление, что не ты должен меня униженно благодарить, а я тебя, поскольку обязан тебе по гроб жизни». Согласись, оригинальная форма помощи.

— Что он диктует?

— Задумал какую-то повесть. Заявил недавно: она прославит меня на весь мир, потому что гениальна. И ты тоже станешь всесветно известным, ибо я занялся ею только для того, чтобы ты почувствовал себя трудягой, а не праздношатальцем. Ergo, и ты в некотором роде творец моего шедевра. История будет тебе за это признательна. — Петя покосился на меня и осторожно спросил: — Как ты думаешь, его повесть — графоманство?

Я засмеялся.

— Разве можно оценить крупную вещь по одному-двум абзацам? К тому же Евгений всегда был талантлив. Он может создать творение чудовищное, не лезущее ни в какие литературные ворота, — только не серятину. Так что в графоманстве я бы его не упрекнул. Скажи, а как его Мара? Он назвал ее сумасшедшей…

— Она такая же сумасшедшая, как мы с тобой, Сережа. Обычная девчонка — миловидная, хитренькая. Держится очень свободно. Это Жене, по-моему, не избежать психиатрички. У него и раньше были приступы эпилепсии — сейчас они участились. Он лечится люминалом, а теперь его трудно достать.

— Он по прежнему ссорится со своим братом Владимиром?

— Еще как! Много больше, чем в Одессе. Недавно Владимир явился сюда. Сперва мирно беседовали, а потом рассорились из за какого-то стихотворения — Володя занялся переводами. Он говорит: единственное средство для поддержания штанов — хорошие переводы плохих, но чтимых нацменов. Женя их разругал. Володя кинулся защищать свои стихи кулаками. Он сильней, но Женя более ловкий. Падали то один, то другой. Мы с Марой выскочили наружу и не возвращались, пока Владимир, весь ободранный, не вывалился на улицу. Женя после этой стычки

весь вечер охал и не поднимался с дивана. Я назвал этот вечер «Битвой при Садовой». Жене очень понравилось. Ты знаешь, он силен в истории — он даже похвалился: «В этой новой битве при Садовой я играл роль немца Мольтке, а не австрийского генерала Бенедека». Мне иногда кажется, что он гордится своими схватками с Володей.

Женя все не приходил. Я продолжал расспрашивать:

— А ты что новое написал?

Петя прочитал мне поэму и несколько стихотворений. Из трагической поэмы о винограднаре, которому обрыдло существование, я запомнил только несколько первых строк:

Виноградарь устал до смерти,
Виноградарь устал до жизни.
Он забросил свой нож садовый
И сказал: «Долой виноград!»
Здесь проехались ящеры Круппа,
Обративши все в тишину.

А из многих стихотворений в моей памяти сохранилась только концовка одного сонета, горделиво возвещавшая:

Я — Петр Четвертый, Христос второй.

Женя наконец вернулся с кастрюлей и чайником. Они с Петей уселись за стол. Поглощение борща не мешало Бугаевскому разговаривать — мне не пришлось тешить их заказанными историями.

— Теперь так, — сказал он, покончив с обедом. — Петя остается дома до прихода Мары. Я иду в ферейновскую аптеку за люминалом. Сергей сопровождает меня, по дороге поговорим. Вечером сойдемся опять.

— Вечером я на спектакле.

— Тогда завтра. Завтра ты еще будешь в Москве?

— Буду. До завтра, Петя, — сказал я.

Я не подозревал, что прощаюсь с ним уже навсегда.

Всю дорогу до Никольской, где была аптека, мы болтали о пустяках. На Театральной площади я увидел регулировщика — это было ново для Москвы. Затянутый в щегольской мундир, он стоял на специальном возвышении и жестикулировал руками в белых перчатках. Я залюбовался: милиционер был из породы актеров. Он, исполняя службу, священнодействовал. Каждый поворот его тела, каждый взмах руки, каждое движение головы

были нескрываемо артистичны. Он словно танцевал всем телом, не сходя с места.

— Пойдем! — Женя с досадой дернул меня за рукав. — Что загляделся на это чучело?

— Не на чучело — на артиста. У него только ноги неподвижны. Наверное, ему трудно выстоять на месте целую смену.

— Сейчас я заставлю его размяться!

— Каким образом?

— Очень просто. Он возьмет меня под ручку и переведет через дорогу прямо к «Метрополю». Следи за мной.

Бугаевский подошел к постовому и заговорил с ним. Милиционер вдруг соскочил со своего пьедестала, взял Женю под руку, осторожно пересек с ним проспект, отдал честь и вернулся на свое место. Женя пошел дальше.

Я нагнал его у Лубянского проезда.

— Что ты ему сказал?

— Что иду в ферейновскую аптеку за лекарством. Ноги подкашиваются, боюсь, что попаду в аварию под его носом. Он, естественно, не захотел, чтобы я свалился под машину рядом с его постом.

Этот мастерский обман так меня восхитил, что через двадцать лет я предложил своему приятелю Прохорову потревожить постового и заставить его остановить движение, не понеся при этом наказания за хулиганство. Прохоров выполнил задачу без вранья и без наглости, даже расцеловался с улыбнувшимся милиционером — и получил за это три бутылки шампанского. Но об этом я подробно рассказал в другом месте. [171]

В аптеке на Никольской Женя так же искусно разыграл еще одну сценку.

Он предъявил рецепт и попросил лекарство. Аптекарша равнодушно ответила, что люминала нет, когда будет — неизвестно.

— Мне нужен люминал, — сказал Женя, трагически усиливая голос.

— Я же вам ответила: люминала нет и не ждем, — рассердилась женщина.

— Мне нужен люминал, — повторил Женя еще трагичней. Он не кричал — но в голосе его была какая-то зловещая надрывность.

— Гражданин, я вам сказала…

— Заведующего! Немедленно заведующего! — прервал ее Женя. — Прошу вас, очень прошу…

Продавщица взглянула на его лицо, перепугалась и убежала. Заведующий, солидный мужчина в белом халате, появился почти мгновенно и на ходу, еще не подойдя к стойке, раздраженно заговорил:

— Гражданин, вам же русским языком сказали, что люминала…

Женя обеими руками схватился за стойку. Рот его открылся, глаза закатились. Теперь он говорил медленно, почти по слогам:

— Не надо… люминала… Пожалуйста… скорую помощь… Побыстрей!

— Одну минуту, постойте здесь! Сейчас все сделаю! — закричал заведующий и метнулся внутрь.

Аптекарша вышла из-за стойки и взяла Женю под руку. В ту же секунду появился заведующий. Он почти бежал.

— Вот вам люминал, удалось отыскать, — сказал он, всовывая в Женину руку пакетик с лекарством. — К счастью, вспомнил, что немного осталось. А вы скорей поезжайте домой, вам надо полежать.

Женя спрятал лекарство в карман.

— Сколько с меня?

— Не нужно! — Заведующий, сменив аптекаршу, ухватил Женю под руку и осторожно повел к двери. — Придете в другой раз — сразу за все заплатите. А сейчас — домой, домой!

С десяток метров Женя шел как пьяный — медленно и неровно. А когда нас уже не могли видеть из аптеки, зашагал нормально.

— Актерствовал ты блистательно, — сказал я с уважением. — Но что бы ты сделал, если бы вместо люминала заведующий вызвал скорую? Ее не обмануть, ей подавай настоящий припадок.

— Не актерствовал, а бесился, — серьезно поправил Женя. — Я не сомневался, что у него в сохране есть тысячи лекарств, в которых обычному больному отказывают. И, как видишь, попал в точку.

— Ты не ответил на мой вопрос о скорой помощи.

— Отвечаю. Не знаю, что было бы. Никогда не предчувствую, когда грянет припадок. Это только у Достоевского князь Мышкин заранее знал, что скоро хлопнется, — мне это не дано. Побесился бы еще немного — возможно, скорой помощи пришлось бы меня связывать и вытирать пену с губ.

— Не ругай Достоевского! Он сам был эпилептиком и приписал свои ощущения Мышкину.

— Значит, припадки проходят по-разному. Между прочим, многие гении были припадочными. И твой любимец Юлий Цезарь, и Лев Толстой, и тот же Достоевский… Да мало ли кто

еще!

— И ты в этом гениальном клоповничке?

— Не остри по поводу того, что должно вызывать почтение. Ты ни минуты не сомневаешься, что мы с тобой гениальны.

— По делам их узнаете их — так, кажется, сказано в Священном Писании. Придется подождать, Женя, пока накопятся дела.

— Ждать недолго. Все великое совершается в молодости! А мы пока молоды.

Мы вышли на Красную площадь. Она была величественна и пуста. В старых торговых рядах (впоследствии ГУМе) квартировало какое-то секретное учреждение, храм Покрова[172] был давно глухо заперт.

Когда мы подошли к Спасским воротам. Женя громко возгласил:

— На белой лошади въезжаю в Кремль!

Я оглянулся — поблизости никого не было. Я иронически поинтересовался:

— Насчет белой лошади — из твоих стихов? Петя называет себя похлеще — Христом вторым. Правда, не отказывается и от Петра Четвертого.

— Это не стихи, а прорицание, — возразил Женя. — А короновать меня будут в храме Васьки Блаженного, а не в Кремле. Я это категорически решил заранее.

— Прелестная картина: чистопородного еврея коронуют в православном храме русским христианнейшим государем!

— Христианским, а не христианнейшим. Ты путаешь французских королей с русскими царями. Я их отличия затвердил. А насчет религии… Сам могу придумать любую — еще красочней Христа, Магомета или Будды.

— Шут с тобой — будь императором на православном престоле. А мне надо домой, вечером концерт. До встречи, друг мой Женька, — не то гений, не то царь, не то творец новой религии, не то (и всего вероятней) обитатель смирительной рубашки. Вполне как у Пушкина: посадят на цепь дурака…

Я и представить себе не мог, что не пройдет и четырех месяцев, как смирительную рубашку, которую я предназначал Жене, напялят на меня самого. И произойдет это всего в километре от того места, где мы стояли.

9

Концерт был блистателен — Папазян поочередно играл сцены из «Отелло» и «Гамлета».

После представления артисты папазяновскои труппы отправились в «Националь», а мы с Сашей и Раей поехали к ним домой. Настал наконец тот вечер, о котором мы мечтали. Саша расспрашивал меня о заводе, о новых моих товарищах и, главное, о Георгии Павловиче. Он сказал, что уже несколько раз разговаривал с Кульбушем обо мне (тот часто приезжает в Москву). И Кульбуш прямо сказал, что из меня вырастет незаурядный инженер. А в его устах такая характеристика — ого-го!

Саша радовался моим производственным успехам гораздо больше, чем я сам. Он считал себя автором моего перевоплощения из философа в инженеры — и гордился своей удачей. В полночь он отправился спать — ему нужно было рано вставать. Мы с Раей остались одни. Настал и наш черед исповедоваться друг другу.

— Ты любишь эту свою подругу? — спросила Рая.

— Да, люблю.

— И Фиру любишь?

— И Фиру.

— Как же эти две волчицы совмещаются в твоей душе?

— В том-то и загвоздка, что они не совмещаются, а раздирают ее на части.

— Фира знает, что ты был у нее?

— Я не скрывал. Да и зачем? Фира угадала бы и не спрашивая. Она дьявольски проницательна.

— Кого же ты все-таки любишь больше?

— Задай вопрос полегче. Я и сам об этом непрерывно думаю.

— И что надумал?

— Ничего утешительного. Больше люблю ту, которой около меня нет. Если бы остался в Одессе с Норой, постоянно думал бы о Фире и тосковал бы. А сейчас я с Фирой — и потому больше люблю Нору.

— Тебе нужно перейти в магометанство. У них женщина может иметь только одного мужа, зато муж — неограниченное число жен.

— Ограниченное, Раинька. Законных — только четыре.

— Тебе хватило бы и двух. Меняй религию, Сергей!

— Я бы поменял — не вижу особых трудностей. Но Фира — иудейка, а Нора — православная. Они не фанатки культа, но традициям не изменяют. Предвижу, что на ислам ни одна не клюнет.

Разговор понемногу перешел на Раины житейские дела. Я спросил, как она справляется с ролью хозяйки дома. Боевому секретарю стоголового пионерского форпоста, каким она была в

нашей молодости, наверное, было легче, чем нынешней доброй жене, заботливой матери и умелой кулинарке. Рая печально улыбнулась.

— Разумеется, легче! Это лучшее, что у меня было, — мои пионерские годы и наша с тобой дружба. Тогда была подготовка к жизни, сейчас — реальная жизнь. Чудовищное несовпадение!

— Что тебя тревожит? Бытовые трудности?

— И они тоже. Впрочем, не слишком. После возвращения Саши из Америки мы жили — лучше некуда. Он привез много хороших вещей, мы их потихоньку продавали — денег хватало. Сейчас пополнений не стало, зато квартира удачная. Нет, на материальные условия я не жалуюсь.

— А на что жалуешься?

— Видишь ли… Это чисто женское — не знаю, поймешь ли. Вы, мужчины, пока холостые, мало думаете о будущей жене. Вы уверены, что она у вас в любом случае будет — стоит только захотеть. Вам не до нее — пока не встретите и не влюбитесь. А мы, женщины, еще не влюбившись, мечтаем о будущем муже. Вы тоже мечтаете, конечно, — о хорошей работе, успехе, карьере… Мы же — только о вас, еще не появившихся. Понимаешь эту роковую разницу?

— Неужели роковую?

— Роковую, Сережа! Мечтают ведь только о совершенстве, а не о недостатках. А реальности без недостатков не бывает. Жизнь, даже самая лучшая, когда начинаешь в ней самостоятельно барахтаться, разочаровывает. Вы, мужчины, вдруг понимаете, что работа тяжелее той, которую ждали, успехи не так значительны, карьера идет медленней — взбираешься вверх куда дольше. А мы, даже любя, втайне разочаровываемся в своих мужьях. Самые лучшие из них все же не столь ярки и не так совершенны, как те, которых мы ждали.

— Это относится и к Саше?

— Естественно.

— Саша — самый яркий, самый блестящий человек из всех, кого я знаю!

— Вот ты меня и не понял, — грустно оказала Рая. — Разве я отрицаю, что Саша блестящ? Но когда он блестит? Когда рядом ты или подобные тебе и вас нужно поразить и увлечь. Если я привожу домой подруг или он (вне дома) встречает других женщин — он должен их очаровать, ослепить, ошеломить… Тут он, конечно, способен побить все рекорды! Он необычен в необычных ситуациях. А в семье? На что выдающееся он способен, когда берется вместо меня подметать пол или кормить Сережку? И то, и другое я делаю гораздо лучше. В обычном существовании

он меньше, чем обычен, — сер и малоспособен.

— Но когда он сверкает…

— Дома ему не до сверканий. Он приходит усталый, даже говорит с трудом. И его главное желание — завалиться на диван и отдохнуть. Весь его блеск не в доме, а где-то в отдалении.

— Большое видится на расстоянии, — философски процитировал я.

— А я — рядом. Всегда рядом! И мне радостно, когда он сверкает. Но он так редко позволяет мне радоваться… Он тускнеет в семье — вот что ужасно.

— Могу сказать одно — не знаю, утешу ли: все тускнеют в тусклой обстановке.

— Я это и говорю: всем нам приходится разочаровываться. И женщинам больше, чем мужчинам.

Она пошла спать. Я примостился на отведенном мне диванчике.

Днем я отправился к Оле. Она ждала меня. Она очень обрадовалась, что я согласился провести вечер у Жени Бугаевского.

— Пойдем вместе, — сказала она. — И Женя, и Мара столько раз меня приглашали — и я столько раз обещала… Сегодня самый удобный случай. И обещание исполню, и с тобой побуду. Ты не забыл, что я должна сыграть тебе все, что ты любил, и немного своего?

За два или три года, которые мы не виделись, накопилось столько, что и за месяц было не переговорить. Оля плакала, когда рассказывала о своем брате: он сошел с ума и повесился. Мало кто из моих друзей страдал ограниченностью — но Ося Надель был одним из самых умных.

А потом мы отправились на поиски свободного инструмента. И Оля играла мне все, что я любил. Это был последний концерт, который я слушал на воле, — и он несколько лет звучал у меня в ушах.

К Жене Бугаевскому мы пришли вечером. Он читал какую-то книгу. Мара хлопотала на кухне — я увидел ее, когда она принесла в комнату еду. Я поставил на стол бутылку мадеры, Женя достал чуть початую кварту чего-то зеленого — не то ликера, не то подслащенной сивухи. Я отпустил несколько комплиментов Маре — худенькой, быстрой и веселой. Женя громогласно возгласил, что вселенная идет к концу: звезды, это доказано, ошалело убегают во все стороны от того места, где покоимся мы, а Землю поделили между собой мерзавцы и дураки. Такой схлест противоположностей чреват взрывом. Разве это не явное предвестье конца света?

— Кого ты держишь в дураках, а кого в мерзавцах? — полюбопытствовал я.

— Мерзавцы, естественно, мы, — немедленно отозвался Женя. — И главное — потому, что терпим дураков, которые расплодились на Западе, в частности — в Германии. Провозгласили высшую расу — разве не глупость? Высота — отличие индивидуумов, а не толпы, человеков, а не народов. Тем более — не рас. Имеешь возражения?

— Имею. Дураков хватало всегда и везде. Ни одна эпоха не жалуется на их недостаток. Это непреложный закон истории.

— Назови этот закон своим именем, ибо это твое открытие.

— Когда-нибудь назову. Теперь второе. У нас дураков не меньше, чем на Западе. И глупость не в том, что их терпят, а в том, что недооценивают их проницательность.

— Ты скоро дойдешь до того, что и Гитлера объявишь образцом ума, — презрительно бросил Женя.

— Я сказал — проницательность, а не ум. Ум — это не для толпы. Толпа живет воображением и эмоциями. Народу плевать на глубокие рассуждения, на интеллект, на логику. Ум — это наша узкая область, наша сфера деятельности. А когда умные люди скапливаются в толпу, их всецело охватывают эмоции. И Гитлер это понял.

— Говорю тебе: ты становишься апологетом фашизма!

— Просто пытаюсь уяснить степень его опасности. Гитлер зажигает эмоции, действует на воображение, превращает обычного неглупого человека в часть толпы, и тот заболевает заразной болезнью — чумой неконтролируемого чувства. У фюрера очень действенные методы!

— И ты берешься их проанализировать?

— Конечно. Действует все, что превращает индивидуума в массу. Общие сходки, общие собрания, демонстрации, манифестации, даже митинги (хотя на них может блеснуть и аналитический ум). И действенность этих массовок усиливается, если необычна обстановка: ночь, факельное шествие, общее пение, строй, мундиры, балахоны… Отдельные человеки становятся единым целым: сначала — толпой, потом — отрядом. Умные люди неправильно борются с фашизмом — они высмеивают и опровергают его логически, а его необходимо подавить эмоционально. Не нужно возражать полубезумной толпе — просто нельзя допускать, чтобы в нее превращались нормальные люди. Христос, да и другие пророки, взывали к интеллекту каждого человека — и это была философия. А творцы культов, укрепляя религию, собирали индивидуумов в храмы и окутывали их сладостными дымами, благозвучными

песнопениями и общими слезами — то есть все снова и снова занимались победной типизацией личности.

— Неужели ты не понимаешь: чтобы разогнать опасную толпу, нужно применить силу, то есть раньше победить тех, кто ее, толпу, создал?

— Понимаю, Женя. Именно потому меня и пугает фашизм. Он глуп с точки зрения разума. Но разумом его не победить.

Мы разговаривали, пили и закусывали. Смесь мадеры и зеленого пойла была из действенных. У меня уже мутилось в голове. Впрочем, Женя, похоже, опьянел не меньше — во всяком случае, лицо его заметно покраснело.

Обе женщины молча прислушивались к нашему разговору. Они почти не пили и не ели.

Я вдруг запоздало удивился отсутствию Кроля.

— Женя, разве Петя сегодня не приходил?

— Приходил, — хмуро ответил Женя.

От выпивки и от спора, в котором он не чувствовал себя победителем, у него испортилось настроение. В этом он отличался от меня: выпив, я веселел и добрел.

— А почему не остался?

— Потому что не оставили.

— Ты прогнал его, Женька? Он же знал, что я приду.

— Именно потому, что ты придешь, он не остался.

— Он не захотел встретиться со мной?

— Я разъяснил ему, что больше трех человек в этой комнате не поместится. Он понял меня с полуслова.

— Свинья ты, Женя, — от души сказал я. — Нас четверо.

— Четвертая — Оля, она женщина. Это меняет дело.

— Не понимаю.

— Не понимаешь — разъясню. Уже поздно. Скоро придется ложиться. Выгонять тебя и Петю в час, когда перестают ходить трамваи, мне было бы совестно. И положить вас на полу вместе я не мог. Мужчина с мужчиной — это противоречит моим пуританским убеждениям.

— Я все равно ухожу. Отсутствие трамваев меня не смущает.

— Можешь не уходить. Мара постелит вам с Олей на полу хорошее ложе. И тебе, и ей понравится, могу поручиться.

Я взглянул на Олю. Она густо покраснела. Во мне разгоралась ярость.

— Ты, кажется, считаешь себя вправе мне указывать, с кем дружить, с кем встречаться, с кем ложиться? Не слишком ли много на себя берешь?

— А что особенного? Нормальное дело, — сказал он равнодушно. — Никогда не замечал в тебе противожелания к

женщинам. А Оля человек одинокий, может ни с кем не считаться. Ты думаешь, она уже не лежала с мужчинами?

Оля расплакалась, уронив голову на руки. Я хорошо знал, что Женя не церемонится ни в выражениях, ни в поступках. Но я думал, что его несдержанность ограничивается только мужчинами. Как он может в моем присутствии жестоко оскорблять женщину?

Я встал, чтобы выдать ему оглушительную оплеуху, но вдруг услышал, что говорила Мара плачущей Оле — и это подсказало мне иную кару.

Мара вела Олю к дивану, гладила ее по голове и утешала диковатым, по-моему, утешением. Оля уже перестала рыдать, но все еще не поднимала головы, чтобы я не увидел ее заплаканного лица. Женя смотрел на них без раскаяния, а с каким-то удивленным любопытством.

— Оленька, не надо расстраиваться, — говорила Мара. — Женька грубиян, но он не хотел тебя оскорблять. В самом деле — что особенного? Я постелю вам обоим. И можешь быть спокойна: никто из наших друзей не узнает, как ты провела ночь.

Я заговорил не сразу — сначала нужно было усмирить ярость. Я притворился, будто продолжаю прежний абстрактно-философский спор. Бугаевского было нетрудно обмануть…

— Скажи мне, пуританин, до каких границ простирается твое пуританство? — спокойно начал я. — Ты, значит, считаешь, что с одинокими женщинами позволено все?

— Я пуританин, а не ханжа, — с неожиданным достоинством ответил он. — Против законов природы я не восстаю. Одинокая женщина — самодовлеющая личность. Она никого не оскорбляет своим поведением. Ее поступки — ее личное дело.

— На замужних женщин твое пуританство распространяется?

— Только на них! Юлий Цезарь, которого ты считаешь величайшим гением в истории, говорил, что его жены не должно касаться даже подозрение, ибо раскованность жены оскорбляет мужа.

— Мысль ясна. Теперь я ухожу. Руки не подам, пока не уясню, чем твое пуританство отличается от хамства и наглости. Можешь меня не провожать: я не пуританин и могу забыть, что ты мой друг.

Я подошел к Оле и нежно поцеловал ей руку. Она только беспомощно взглянула на меня. Я обратился к Маре:

— Мара, милая, проводите меня, пожалуйста, я боюсь заблудиться в ваших бесчисленных дверях.

Она вышла, я последовал за ней.

В коридоре я захлопнул дверь, прижал ее спиной, схватил

Мару и притянул ее к себе.

— Что с вами? Что вы делаете? — испуганно закричала она.

— Целуй меня! И поскорей! — потребовал я, обнимая ее. — Твой муж скоро забеспокоится и начнет к нам ломиться. Надо успеть.

Женя, услышав за стеной какую-то возню, и вправду стал рвать дверь.

— Пустите! Немедленно пустите, не то подниму шум на весь дом! — настаивала Мара, пытаясь вырваться. Впрочем, голос она не повышала, чтобы не будоражить многочисленных соседей.

Но я ее не отпустил. Я сжал ее еще крепче — голова ее откинулась, и я впился в ее рот.

И тут произошло то, чего я не ожидал. Мара, похоже, уже была пьяна — и мой натиск окончательно ее замутил. Она вдруг обхватила руками мою шею и страстно ответила на поцелуй.

У нас, видимо, сместился центр тяжести — я покачнулся и перестал придерживать дверь. В коридор вырвался разъяренный Женя. Он окаменел, обнаружив, что Мара висит на мне. Я осторожно опустил ее на пол — судя по всему, она не понимала, что произошло.

— Теперь ты видишь, пуританин, что подозревать надо всех женщин! — фыркнул я. — Даже жену Цезаря. Жены московских доцентов — не исключение.

И я выскользнул наружу. Мне было очень весело. Вслед мне неслись Женины ругательства — в них было больше удивления, чем ярости.

Я шел по опустевшим улицам и непрерывно смеялся. Я радовался, что мне удалось так удачно наказать Бугаевского. Естественно, я не предполагал, что спустя месяц он нанесет мне ответный удар — и тот будет гораздо сильнее.

Когда Женю арестуют, он вспомнит о нашей последней встрече, о своей жене в моих руках — и первым и главным своим подельником назовет меня.

Утренним поездом я вернулся в Ленинград.

Все было в порядке. Борис приходил поздно вечером, Фира уехала на очередные гастроли. Маруся командовала домом, а ею повелевала быстро подраставшая Наташа. Моя малярия то приходила, то пропадала, будто ее и не было. Она здорово ослабела. Я надеялся, что скоро она закончится — то ли от количества проглоченных пилюсь, то ли от ее собственной усталости.

В конце мая Морозов ушел с завода еще до обеда и вернулся только к вечеру. Он был сильно взволнован.

— Вызывали в Большой Дом. Учинили допрос, — сказал он.

Большим Домом в Ленинграде называли огромное здание ОГПУ, недавно возведенное на Литейном проспекте, на углу Шпалерной. Я подумал, что вызов связан с прошлогодней пропажей драгоценной проволоки — других важных грехов ни за собой, ни за Морозовым я не знал.

— Платина? — спросил я со страхом.

— Не платина, а ты. Интересовались, кто ты такой, почему появился в Ленинграде, каким образом устроился на завод, как ведешь себя на работе. Думаю, кто-то на тебя настучал.

— Что ты сказал?

— Что надо, то и сказал. Что хороший работник, что в фаворе у Кульбуша, что тебе повысили зарплату. В общем, если после моего отзыва тебя не наградят орденом, то в мире нет справедливости — так я считаю.

И мы неразумно засмеялись — слишком весело для создавшейся ситуации.

Вечер 6 июня был до удивления хорош. Подходила пора белых ночей. Я задержался на работе и поздно вышел из проходной. Уходящее солнце пересекало проспект Красных Зорь — небо по его оси пламенело. Я остановился на мосту через Неву и долго вдыхал запах быстротекущей воды. Потом миновал торжественную решетку Летнего сада и свернул по Фонтанке на Сергиевскую, в Соляной переулок. Мне было так хорошо, как редко бывало. Я растрогался от красоты мира, в котором мне посчастливилось жить.

Дома меня ждал паренек чуть постарше моих двадцати пяти с ордером на обыск и арест.

notes

Примечания

1

Фраза Максима Горького.

2

Иван Барков — переводчик и поэт XVIII века. Сведения о нем скудны; даже отчество его не установлено (по одним данным Семенович, по другим Степанович). Всероссийскую славу стяжал «срамными сочинениями». Самое знаменитое из них — «Лука Мудищев».

3

Опера М.И. Глинки, в советские времена называлась «Иван Сусанин».

4

Хлеб или смерть (нем.).

5

«Следуй за Мной и оставь мертвым хоронить своих мертвецов» — слова Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 8:22.

6

Борис Пастернак, «Рояль дрожащий пену с губ оближет…» («А в наши дни и воздух пахнет смертью: открыть окно — что жилы отворить»).

7

Беня Крик — налетчик, герой «Одесских рассказов» Исаака Бабеля.

8

Атаман Григорьев — настоящее имя Никифор (Ничипир) Серветник. Родился в 1885 году. В годы Первой мировой войны дослужился до штабс-капитана. Член революционного комитета Юго-Западного фронта. Активно участвовал в создании новой «украинизированной» армии, подчиненной Центральной Раде. Симон Петлюра присвоил Григорьеву звание подполковника. В начале февраля 1919 года переметнулся к «красным». Дивизия Григорьева мародерствовала и устраивала еврейские погромы. В том же году убит кем-то из офицеров Нестора Махно, а может, и им самим.

9

Апостол Павел (Гал. 3:26–28).

10

Личарда — ироническое наименование верного слуги; взято из «Сказки о Бове-королевиче», где Личардой зовут слугу короля Гвидона.

11

Идите, дети! (нем.)

12

Имманентный — внутренне присущий какому-либо предмету, явлению, проистекающий из его природы.

13

Моор (настоящая фамилия — Орлов) Дмитрий Стахиевич (1883–1946), советский график.

14

Американская администрация помощи. Своей задачей официально провозгласила оказание продовольственной и другой помощи европейским странам, пострадавшим во время Первой мировой войны.

15

«Я лютеран люблю богослуженье…»

16

«Наш ответ Чемберлену» — лозунг, появившийся в связи с нотой английского правительства от 23 февраля 1927 года за подписью английского министра иностранных дел Чемберлена, в которой содержалось требование прекратить «антианглийскую пропаганду» и военную поддержку революционного гоминьдановского правительства в Китае.

17

Школьный метод обучения, состоящий в том, что ученики самостоятельно выполняют задания по каждому предмету под руководством преподавателей в особо оборудованных кабинетах.

18

Максимилиан Волошин (1877–1932).

19

Международная организация помощи борцам революции.

20

Части особого назначения — военно-партийные отряды, создававшиеся при заводских партячейках, райкомах, горкомах, укомах и губкомах партии для оказания помощи органам советской власти по борьбе с контрреволюцией, несения караульной службы у особо важных объектов и т. п.

21

Цитата из «Дворянского гнезда» И.С. Тургенева.

22

От нем. бессер — лучше и виссен — знать.

23

Общественная советская организация «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству» (1927–1948).

24

Введенский Александр Иванович (1888–1946), идеолог русской обновленческой церкви. Обновленчество — движение в русском православии, оформившееся после Октябрьской революции. Его последователи выступали за модернизацию религиозного культа, усиление выборного начала во всех органах церковного управления, расширение прав мирян в приходе и т. д.

25

Патриарх Тихон (Белавин Василий Иванович, 1865–1925), глава русской православной церкви с 1917. Был привлечен к суду за антисоветскую деятельность. Перед смертью призвал верующих сотрудничать с советской властью.

26

Джеймс Рамсей Макдональд (1866–1937), премьер-министр Великобритании в 1924 и 1921–1931 годах.

27

Отрывок из стихотворения «Портрет» А.С. Пушкин.

28

Опера А. Даргомыжского.

29

Амос Большой.

30

Эжен Мельхиор де Вогюэ (1848–1910) — французский писатель и историк литературы.

31

Макс Штирнер, настоящее имя Иоганн Каспар Шмидт (1806–1856) — немецкий философ.

32

Цитата из поэмы «Двенадцать» Александра Блока.

33

Джироламо Савонарола (1452–1498) — итальянский религиозный реформатор, обличавший папство и проповедовавший аскетизм.

34

Иоанн Лейденский (Ян Бокелзон, 1509–1536) — голландский анабаптист, вождь Мюнстерской коммуны.

35

Джаггернаут — безрукий и безногий бог, особо почитавшийся в Бенгалии и Ориссе. Согласно одному из мифов, был создан из пепла, оставшегося после кремации Кришны. Культ его включал в себя ритуальные самоистязания и самоубийства верующих, бросавшихся под колесницу, на которой возили его изображение. Отсюда пошло известное выражение «колесница Джаггернаута», которым обозначают проявления слепой непреклонной силы.

36

Василий Князев (1887–1937).

37

К сожалению, авторы примечаний не смогли узнать имя поэтессы. С. Снегов рассказывал о ней, но фамилии ее в его записях не осталось. Известно только, что женщина эта впоследствии стала крупным ученым и скупала по знакомым и незнакомым все сохранившиеся экземпляры своей первой и единственной книжки «Любовь к женатому мужчине» — не хотела, чтобы люди знали этот факт ее биографии.

38

Мария Шкапская (1891–1952).

39

Российская ассоциация пролетарских писателей.

40

Из стихотворения Бориса Пастернака «Борису Пильняку».

41

Рувим Моран (1908–1986).

42

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), русский литературовед, критик, писатель.

43

Лары и пенаты — в римской мифологии покровители домашнего очага и семьи.

Гамен (франц.) — уличный мальчишка.

45

«Союз марксистов-ленинцев». Один из его организаторов, Мартемьян Никитич Рютин (1890–1937), в рукописном обращении «Ко всем членам ВКП(б)» обвинил И.В. Сталина в извращении ленинизма, узурпации власти.

46

Фата-моргана (фея Моргана, по преданию — живущая на морском дне и обманывающая путешественников призрачными видениями) — редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями.

47

Глушко Валентин Петрович (1908–1989) — крупнейший ученый в области ракетно-космической техники; основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения.

48

Время «Ч» — время начала операции, условное обозначение начала действия войск.

49

Мечников Илья Ильич (1845–1916) — русский биолог, физиолог и патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии, создатель сравнительной патологии воспаления и фагоцитарной теории иммунитета, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908).

50

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — выдающийся русский физиолог. Открыл так называемое центральное торможение. Впервые показал, что всякое раздражение вызывает тот или иной ответ нервной системы — рефлекс. Сформулировал понятие о сигналах и об уровне организации сигналов как регуляторов поведения.

51

Ковалевский Александр Онуфриевич (1840–1901) — русский биолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии и физиологии. Не только показал общность закономерностей развития позвоночных и беспозвоночных животных, но и доказал взаимное эволюционное родство этих групп.

52

Вейерштрасс Карл Теодор Вильгельм (1815–1897) — немецкий математик. Разработал систему логического обоснования математического анализа на основе созданной им теории действительных чисел.

53

Поликлет из Аргоса (V в. до н. э.) — древнегреческий скульптор и теоретик искусства, прославившийся статуями атлетов, а также своим учением о пропорциях.

Так проходит мирская слава (лат.).

55

Деизм — религиозно-философское учение, признающее Бога творцом мира, но отвергающее его участие в жизни природы и общества.

56

Так зачем ему молиться? Так зачем его благодарить? Все равно он останется глухим! (укр.)

57

Шуйский Александр Яковлевич (1880–1946) — украинский революционер, нарком просвещения Украины (1924–1927). С 1933 г. неоднократно репрессировался.

58

Скрыпник Николай Алексеевич (1872–1933) — нарком просвещения Украины (1927–1933).

59

Саблин Владимир Михайлович (1872–1916) — знаменитый русский книгоиздатель и переводчик. Типография Саблина выпускала в основном книги западноевропейских писателей.

60

Мухтарова Фатьма Саттаровна (1893–1972) — советская певица (меццо-сопрано).

61

Опера К. Сен-Санса (1835–1921) «Самсон и Далила».

62

Калибан — получеловек-получудовище, олицетворение грубого и стихийного животного начала («Буря» Шекспира, драма «Калибан» Ренана).

63

Прагматизм — субъективно-идеалистическое философское учение (Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи, Дж. Г. Мид). Прагматисты рассматривают мышление лишь как средство для приспособления организма к среде с целью успешного действия. Функция мысли — не в познании, а в преодолении сомнения, являющегося помехой для действия, в выборе средств, необходимых для достижения цели. Идеи, понятия и теории — лишь инструменты, орудия или планы действия.

64

«Итак, по плодам их дел вы узнаете их» (Евангелие от Матфея, 7:20).

65

Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание».

66

У. Шекспир, «Смуглая леди сонетов».

67

«Горе молодого счастливого отца не поддается описанию» — Михаил Зощенко, «Бегемот».

68

«Гой» — «народ» (иврит). Этим словом, вошедшим во многие языки (в частности — русский и английский), иудаисты обозначают нееврея и употребляют его, как правило, с презрительным оттенком.

69

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) — философ, представитель немецкой классической философии.

70

Рассел Бертран (1872–1970) — английский философ и математик, внесший значительный вклад в развитие математической логики.

71

Тельман Эрнст (1886–1944) — деятель германского и международного рабочего движения. Активно участвовал в Ноябрьской революции 1918-го в Германии. Играл руководящую роль в Гамбургском восстании 1923-го. Руководитель коммунистической партии Германии. Один из заместителей председателя Коминтерна. Погиб в Бухенвальде.

72

Торглер Эрнст (1893–1963) — немецкий политический деятель, коммунист, лидер коммунистической фракции в рейхстаге. Был в числе обвиняемых в поджоге рейхстага. В 1935 году исключен из коммунистической партии, по-видимому, за то, что открыто регистрировался в полиции вопреки партийным приказам. Позднее вступил в социал-демократическую партию.

73

Штрассер Грегор (1892–1934) — нацистский партийный деятель, с 1926 года — имперский руководитель НСДАП по пропаганде, с 1932 года — по оргпартработе и одновременно заместитель Гитлера. На раннем этапе соперник Гитлера за лидерство в партии.

74

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — выдающийся немецкий философ.

75

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) — знаменитый немецкий философ, математик, богослов, историк, изобретатель.

76

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — большевистский политический деятель, философ и социолог, действительный член Академии наук СССР.

77

Субъективный идеализм — направление в философии, отрицающее объективное существование материального мира и признающее единственной реальностью индивидуальное сознание, ощущение, восприятие.

78

Беркли Джордж (1685–1753) — ирландский философ и священник.

79

Позитивизм — идеалистическое направление в философии. Оно исходит из того, что источником истинного знания являются специальные науки, роль которых ограничивается описанием и систематизацией фактов, а не их объяснением.

80

Александр Блок, «О доблестях, о подвигах, о славе…»

81

Осип Мандельштам, «Ахматова».

82

Алексей Константинович Толстой, «Алеша Попович».

83

А.С. Пушкин, «Моцарт и Сальери».

84

Айседора Дункан (1878–1927) — знаменитая танцовщица, жена Сергея Есенина.

85

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин».

А.С. Пушкин, «Моцарт и Сальери».

87

Деборин (настоящая фамилия — Иоффе) Абрам Моисеевич (1881–1963) — советский философ. В постановлении ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 о журнале «Под знаменем марксизма» отмечалось, что «…по ряду важнейших вопросов…» группа Деборина занимала позиции «…меньшевиствующего идеализма».

«Прометей раскованный», «Творцы» и неопубликованная «Повесть об институте».

89

Томас Гоббс (1588–1679) — английский философ. Уподоблял государство мифическому библейскому чудовищу Левиафану.

Борис Пастернак, «Про эти стихи».

Сусанна Георгиевская.

92

Генрик Сенкевич (1846–1916), «Quo vadis» («Камо грядеши»).

93

До 22 сентября 1935 года в Красной армии один ромб в петлицах носили начальники штабов дивизий и помощники комдивов.

94

Блюхер Василий Константинович (1890–1938) — один из крупнейших советских военачальников. Маршал Советского Союза (1935). Расстрелян.

Два ромба соответствовали должности командира дивизии.

96

Дельбрюк Ганс Готлиб (1848–1929) — немецкий военный историк.

97

Клаузевиц Карл (1780–1831) — немецкий военный теоретик, генерал-майор прусской армии, участвовал в войнах с Францией. В 1812–1814 годах находился на русской службе.

98

Меринг Франц (1846–1919) — один из основателей Коммунистической партии Германии, философ, историк и литературный критик.

99

Зайончковский Андрей Медардович (1862–1926) — русский военный историк, генерал от инфантерии. Впоследствии — профессор академии РККА.

100

Свечин Александр Андреевич (1878–1938) — советский военный историк, генерал-майор.

101

Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779–1869) — военный теоретик и историк, генерал от инфантерии русской армии.

102

Гофман Макс (1869–1927) — германский генерал. Фактический глава германской делегации на переговорах в Бресте (1917–1918) с Советской Россией.

103

Людендорф Эрих (1865–1937) — немецкий генерал. В Первой мировой войне фактически руководил военными действиями на Восточном фронте, в 1916–1918 годах — всеми вооруженными силами Германии.

56 Франсуа Рабле (1494–1553), «Гаргантюа и Пантагрюэль».

105

Гилельс Эмиль Григорьевич (1916–1985) — советский музыкант, один из выдающихся пианистов XX века.

106

Сигети Йожеф (1892–1973) — знаменитый венгерский скрипач.

107

Петри Эгон (1881–1962) — немецкий пианист. Прославился интерпретацией сочинений И.С. Баха и Ф. Листа.

108

Амати — семья итальянских мастеров смычковых инструментов. Самый знаменитый из них — Николо (1596–1684). Учениками Николо Амати были Страдивари и Гварнери.

109

Механицизм — философское учение, которое сводит все качественное многообразие форм движения материи к механическому движению, а все сложные закономерности развития — к законам механики.

110

Рубин Исаак Ильич (1886–1937) — советский экономист. Занимался вопросами социального страхования и трудового законодательства. Расстрелян.

111

А.С. Пушкин, «Полтава».

112

Евангелие от Иоанна (6:38): «Яко снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца».

113

Кольман Арношт (Эрнест Яромирович) (1892–1979) — философ, математик. Виднейший идеолог сталинской эпохи.

114

Яновская Софья Александровна (1896–1966) — советский философ, логик, математик.

115

Семковский (Бронштейн) Семен Юльевич (1882–1937) — советский социолог и философ.

116

Агар-агар (малайск.) — продукт, получаемый из красных и бурых водорослей и образующий в водных растворах плотный студень. Применяется в биологии в составе питательных сред для культивирования бактерий, грибов, водорослей, медицине, а также в кондитерской промышленности.

117

И.В. Сталин, организационный отчет ЦК XII съезду РКП(б), 1923 г.

118

Марки тракторов.

119

Бунт — связка, кипа, сложенный в штабеля товар. Здесь — куча зерна.

120

В сельском хозяйстве — смешанный посев озимой пшеницы с ячменем. Здесь — хлеб, приготовленных из двух видов муки.

121

«Сволочи! Что с ними сделаешь? Пошли снова вкалывать, если у них совести нет» (укр.).

122

Название работы В.И. Ленина.

123

Заступник, покровитель.

124

Измененное «Довлеет дневи злоба его» — «Хватает дню его забот» (Евангелие от Матфея, 6:34).

125

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837), французский социалист-утопист. Согласно Фурье, стержнем идеальной системы социальной организации является фаланга. Она строится на сельскохозяйственной основе, но предполагает взаимодействие с промышленным производством.

Фаланстер — огромный дворец, в котором должны жить и отчасти работать члены фаланги.

«Пролегомены».

127

Евангелие от Луки, (23:34).

128

Б.Л. Пастернак, «Заместительница».

129

Мова (укр.) — язык.

130

Словами, заимствованными из французского языка, и оборотами, построенными по образцу французских.

131

Котляревский Иван Петрович (1769–1838) — знаменитый украинский писатель, основоположник украинской литературы.

132

Э.Г. Багрицкий, «Происхождение».

133

Пренебрегавшего (устар.)

134

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) — выдающийся русский ботаник и физиолог.

135

Тимирязев Аркадий Климентьевич (1880–1955) — советский физик. До конца жизни не признал ни теорию относительности, ни квантовую механику.

«Философия природы».

137

Здесь — не сомневаясь, как религиозное учение. Катехизис — краткое изложение православного вероучения в вопросах и ответах.

138

Высокий головной убор православных священников.

139

Бродский Исаак Израилевич (1883–1939) — знаменитый советский живописец и график.

140

Налбандян Дмитрий Аркадьевич (1906–1993) — один из самых именитых художников советского периода.

141

Ergo (лат.) — следовательно, итак.

142

Конкордат (лат.) — договор между правительством какого-либо государства и Ватиканом, определяющий взаимоотношения страны и католической церкви внутри нее.

143

Германия превыше всего (нем.) — слова из немецкого гимна.

Иногда авторство лозунга «Бей жидов, спасай Россию!» приписывают Нестору Махно — впрочем, это вызывает серьезные сомнения у многих исследователей.

145

Порой идиш называют новым еврейским языком, в отличие от иврита — древнееврейского, языка священных книг

146

Кузен Виктор (1792–1867) — французский философ, деятель образования и историк.

147

О.Э. Мандельштам, «Notre Dame».

148

В Древней Греции — собрание высших сановников.

149

Девять чинов ангельских.

150

К.В. Глюк (1714–1787), опера «Орфей и Эвридика».

151

Монгольские военачальники, разбившие в 1223 году объединенное войско русских князей и половцев в битве на Калке.

152

Искренний дядя (укр.)

153

Расстреляли.

154

Торгсин — в 1930-е годы магазин, в котором товары продавались за валюту или боны (от разговорного сокращения названия — «Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами»).

155

Белобородов Александр Яковлевич (1886–1965) — знаменитый русский архитектор. С 1934 года жил в Риме.

156

Щусев Алексей Викторович (1873–1949) — архитектор, теоретик и историк архитектуры. Среди его работ — Казанский вокзал в Москве, Мавзолей В.И. Ленина, здание НКВД на Лубянке и многие другие.

В 1935 году это соответствовало должности комбрига или бригадного комиссара.

158

Батальонный комиссар или военспец 2-го ранга.

159

Амторг (Amtorg Trading Corporation) — торговая организация, занимавшаяся как комиссионер-посредник экспортом советских товаров в США и импортом товаров из США. Была учреждена в мае 1924 в Нью-Йорке.

160

Пирометрия — методы измерения температуры.

161

Эдисон Томас Алва (1847–1931) — знаменитый американский изобретатель в области электротехники.

162

Вернер фон Сименс (1816–1892) — немецкий инженер, изобретатель, ученый, промышленник, основатель фирмы «Сименс».

163

Шухов Владимир Григорьевич (1853–1939) — инженер, автор или соавтор ряда патентов на промышленные установки по переработке и использованию нефти (признан изобретателем крекинг-процесса).

164

Рыдз-Смиглы Эдвард (1886–1941) — генеральный инспектор польской армии, фактический диктатор Польши с 1935 года, маршал. Командующий армией в советско-польской войне 1920 года.

165

Мархлевский Юлиан Юзефович (1866–1925) — один из организаторов и руководителей социал-демократии Королевства Польского и Литвы. В 1920 году председатель Временного ревкома Польши.

166

Автаркия (греч. «самодостаточность»), здесь — политика хозяйственного обособления страны, создание замкнутой экономики, основанной на самообеспечении.

Государственной комиссии по электрификации России.

168

А.С. Пушкин, «В начале жизни школу помню я…»

169

Слова Иисуса: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф., 5: 39).

170

Таиров Александр Яковлевич (1885–1950) — выдающийся режиссер, создатель и руководитель Камерного театра.

171

Сергей Снегов, «Что такое туфта и как ее заряжают» (сборник «В середине века»).

172

Собор Василия Блаженного.

comments

Комментарии

1

По-видимому, в издании 2007 года пропущен фрагмент текста. *(В.И., примечание добавлено при создании файла).*